Н. И. Алексеева

Одна жизнь — два мира

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В своей автобиографической книге Нина Ивановна Алексеева (1913–2009) повествует о судьбе своей семьи в разные периоды жизни в СССР и за рубежом, куда ее мужа, Кирилла Михайловича Алексеева, направили по линии Наркомвнешторга в Мексику в начале мая 1944 года. После гибели в авиакатастрофе посла СССР в Мексике К. А. Уманского, в ноябре 1946 года, семья Алексеевых эмигрировала в США. Одна из причин вынужденной эмиграции — срочный вызов Алексеевых в Москву: судя по всему, стало известно, что Нина Ивановна — дочь врага народа, большевика Ивана Саутенко, репрессированного в 1937 году.

Затем последовали длительные испытания, связанные с оформлением гражданства США. Не без помощи Александры Львовны Толстой и ее друзей, семья получила сначала вид на жительство, а затем и американское гражданство.

После смерти мужа и сына Нина Ивановна решила опубликовать мемуары о «двух мирах»: о своей долгой, полной интересных встреч (с политиками, людьми искусства и науки) и невероятных событий жизни в СССР, Мексике и США.

Живя на чужбине в течение долгого времени, ее не покидала мысль о возвращении на родину, которую она посетила последний раз за три месяца до своей кончины 31 декабря 2009 года…

- Н. И. Алексеева
  - Глен-Ков
  - Мой папа — большевик
    - Капризы памяти
      -
      - Это мой папа!
      - Бабушка Ирина
      - Как мама и папа поженились
      - Рождение брата Шурика
      - Немного о Мариуполе[1]
      - Семейная идиллия
    - Беспорядки в стране
      -
      - Как рухнула монархия
      - Двоевластие
      - Папин учитель
      - Октябрьская революция
      - Коммунары и коммунарки

- Добровольческая армия
- Красногвардейские отряды на Украине
- Три всадника
  -
  - Австро-Венгерская оккупация
  - Отец в подполье
  - Македоновка
  - Дедушка
- Беспокойная жизнь
  -
  - Большевицкие щенки
  - Пойду искать Ваню
  - Девочка в поле
  - Там вдали за рекой…
  - А не достанешь, не достанешь!!!
  - Мой саван
  - Голод
  - Белые мухи
  - Мама приехала!
- Мы едем к папе
  -
  - Далекое путешествие
  - Чудо
  - Пешком по сугробам
  - Военный эшелон
  - Вот мы и дома…
- В Дибровском лесу
  -
  - Конец гражданской войны
  - Впроголодь
  - Горькая весть
  - Сказка и жизнь
  - Шурик
- Наш Петя-пулеметчик женится
  -
  - звезда театра
  - Украинская хата
  - Выстрел
- Конец банды Махно
  - Амнистия
  - Угрозы
  - Приглашение в Дибровский лес
  - В бандитском логове
  - Чекист Лаубэ

- Трудная задача
- Инвентаризация
- Слово чести
- Русский самородок

- Отстрелялись!
  -
  - Как Саша стал Наташей
  - Начнем с нуля
  - Цветы улиц
  - В поисках настоящих людей
  - У Эльзы
  - Карандаш из гильзы
- Смысл жизни моего отца
  -
  - Новая экономическая политика
  - Великолепный Бердянск
  - Так всегда было и будет!
  - Религия дружбе не помеха
  - Самые лучшие годы НЭПа
  - Смерть Ленина
  - Дело Ленина
  - Ветер странствий
  - Наш Фордзон
  - Повоевали — пора и пожить!
  - Средство от малярии
  - Я в комсомоле
  - У молоканского проповедника
  - Десятая годовщина революции
  - В немецкой слободе
  - Секрет фирмы и «Красный дьяволенок»
  - Лунные прогулки
  - Летно-подготовительные курсы
- Закат НЭПа
  -
  - Сталинская коллективизация
  - Абсурд
- Моя подруга Зоя
  -
  - Я-сама
  - Лучшее место на земле
  - Дети новой эпохи
  - Лишенцы
  - Заколоченные дома
  - Применение особых мер

- В воде дырку не провернешь
- Когда хлеб печет сапожник
- Абитуриентка
- Гибель Зои
- Подкулачник
- Снова в Македоновке
- Колоски

- Преданность и предательство
  - Воскресший Азеф
  - А что, если бы не Сталин?
  - Великое изобретение русского народа

- Как у Христа за пазухой
  - В Москву, в институт цветных металлов и золота
    -
    - Мария
    - Провинциалки
    - Отказ
    - Безнадежное дело
    - Не имей сто рублей, а имей сто друзей
    - Отчаянный шаг
    - Тетушки «из бывших»
    - Приняли!!! Приняли!!!
    - Первый поцелуй
  - Эксперименты в области образования
    - Тамара
    - Кризис недопроизводства
    - — тысячники
    - Лабораторно-бригадный метод обучения
    - Прозаседавшиеся
    - Бездомная
    - Удочерили
    - Ударная группа
    - Дали общежитие!
    - Воскресники и субботники
    - Стипендия
    - Стенгазета
    - Новый, 1931 год
  - Первая производственная практика
    -
    - Сборы
    - С мечтой в кармане
  - Риддерский металлургический комбинат
    - Обустройство
    - Предрассудки

- Инженеры-вредители из Промпартии
- Английская пунктуальность
- Возвращение по-царски
- Между небом и землей
- Каникулы дома
- Белые лилии

- Второй курс
  -
  - Опять бездомная
  - Ромео и Джульетта по-русски
  - Добрые люди
- Красноуральский медеплавильный комбинат
  -
  - Бурная ночь в поезде
  - Красноуральск
  - Голодная забастовка
  - Что такое эксплуатация?
  - Студенческая столовая
  - Гибель Марии
- Третий курс
  - Вербовка на остров Шпицберген
  - Общежитие «Дома коммуны»
  - Новое здание
- Встречи с женой Сталина
  - Приятная неожиданность
  - Знакомство с Надеждой Сергеевной Аллилуевой
  - Завидный жених
  - Надежная опора
  - Благие намерения
  - Семейные дрязги Сталиных
  - Смерть и похороны Н. С. Аллилуевой
  - Верный друг Сталина
  - Легенда о белой розе
  - Слухи
  - Мне жалко Надю!
- Арест Оли
  -
  - ГПУ видней
  - Незваный спаситель
  - Прощание с Ольгой
  - Честный вор
  - Самоотвод
  - Красный бант от Буденного

- Из кроликов лошадок вырастим!
- Что творится в нашем царстве-государстве?
- Чем занимались в НКВД
- Устала
- Открытка от Оли
- То был благодатный край
- Заложники Сталина

- Сопромат или любовь?
  -
  - Федя
  - Смерть Сергея Мироновича Кирова
  - Ленинград
  - Как я познакомилась с Кириллом
  - Что такое любовь
  - Как мы «поженились» с Кириллом: не обычно, а смешно и весело
  - Блестящая защита
- Преддипломная практика
  - Дорога во Владивосток
  - В поезде
  - Самое красивое озеро в мире — Байкал
  - Труд облагораживает человека
  - Яблоневый хребет
  - Владивосток
  - В поисках белых туфелек
  - Рассказ Мити
  - Из Владивостока в Тетюхэ
  - В Тетюхе
  - Головотяпство
  - «Золотая» Колыма
- Евгений Львович
  - Курорт в Крыму
  - Потрясающий красавец
  - Семейная жизнь
  - 8 Марта — женский день
  - Первое мая
- Защита дипломного проекта
  -
  - Защита диплома
  - Семен Петрович Александров

○ Жизнь без прикрас
- Жизнь без прикрас
  - Рождение дочери. Киев

- Заветы отца
- Московское житье-бытье
- Самый кровавый год
- Арест отца
  -
  - Ценности нашей семьи
  - Брат
  - Шпионы и диверсанты
  - Пытка
  - Набор новых кадров в НКВД
  - Судьба отцовских реликвий
  - Узнай, Саша, кто теперь у власти и что происходит там, наверху!
  - А в это время там, наверху, происходило вот что
  - Каким чудовищем был Сталин
  - Мы получили ответ
  - Папа жив!
  - Прием у Калинина
  - Бессердечная бестактность
  - Последнее известие об отце
  - Вещий сон
  - План по уничтожению «врагов народа» выполним!
  - Награда Вышинского
- Уму непостижимо!
  - «Враги народа»
  - Король-то был голый!
- Слава героям!
  -
  - Антисоветская деятельность Сталина
- Новая квартира
  -
  - Я снова встретила Евгения Львовича

○ Война
- Зловещий заговор
  - Серебряный Бор
  - Договор с Германией
  - Неожиданное нападение?
  - Зловещий заговор
- Начало войны
  -
  - Куда исчез отец народов?!
  - Колосс на глиняных ногах без головы

- 7-я симфония Шостаковича
- Защитники родины
  - Мой брат Александр Саутенко
  - Виктор
  - Ученые-ополченцы
  - Дося
  - Сереженька
  - Надежда на избавление
- Нашествие
  -
  - Эвакуация детей
  - Воздушная тревога
  - Первая ночная бомбардировка Москвы
  - Немецкая пунктуальность
  - Дежурство
  - Фаталист
  - Наши студенческие друзья
- Эвакуация
  - Своя рубашка ближе к телу
  - Исповедь старика
  - Наконец и я решила выбраться из Москвы
  - Расстрел Вани Никулина
  - Хаос
  - Володенька помог
- Станция Морозовская
  -
  - Завод
  - Похоронка
  - Иван Иванович и Надежда Петровна
  - Каторжанка Мария
  - Рассказ Марии
  - С отъездом пришлось задержаться
  - Знакомый из Киева
  - Великая московская паника
  - Неожиданная встреча с Кириллом
  - Выпьем за героев женщин!
  - Хорошие новости
- Мы записываемся в добровольцы
  -
  - В Сталинграде
  - Возвращение в Москву
  - Опять бездомные
- Мародеры
  -

        - Обыск
        - Пострадавший требует отмены приговора
    - Юные героини
    - Наше изобретение — противотанковый снаряд
    - Москва. 1942–1943 годы
        - Московские кордоны
        - Поездка за детьми на Морозовскую
        - Письма моего брата Шуры с Ленинградского фронта
        - Мысли моей мамы
        - Опустошенное Подмосковье
        - Сережка вернулся
        - Шуру похоронили в рост
        - Встреча 1943 года
        - Битва за Сталинград
    - Нет войне!
        -
        - Похождения американского солдата
        - Союзнички
    - Народная победа
        - Вопреки воле Сталина
        - А что же дальше?
- Советское посольство в Мексике
    - Международная обстановка
    - Открытие посольства
        - Посол Уманский
        - Подготовка к открытию посольства
        - Семейная трагедия Уманских
        - Прощание Константина Александровича с Родиной
        - Положение обязывает
        - Вручение верительных грамот
    - Как мы попали в Мексику
        - Случайная встреча
        - Были ли репрессированы ваши родственники?
        - Деликатное предложение
        - Законный брак
        - Партийная принадлежность
        - Престижная командировка
    - Почти кругосветное путешествие
        -
        - Теплый прием на Алеутских островах
    - Порт Сиэтл (США)

- Напутственная инъекция
- Преображение
- Первые впечатления о загранице
- Прощальный вечер на корабле
- Пропал Володя!!!
- «Балхаш» вернулся!
- Начеку
- Как живут в Америке
- В поезде Сиэтл — Сан-Франциско

- Сан-Франциско
  -
  - Только для белых
  - В советском консульстве
  - Негритянский квартал
- Лос-Анджелес
  -
  - Стриптиз
  - Мир кино
  - Сочувствующие
  - В гостях у слесаря
  - Бедный фермер
- Дорога в Мехико-Сити
  - Эль-Пасо
  - Через полгода я буду говорить по-испански
  - Таможенный досмотр
  - Жара. Пустыня. Нищета
  - Первые знакомые и тропические фрукты
  - Это не та Америка!
  - Марьячос
  - Пригороды
- С приездом!
  -
  - Малков
  - Отношения с Мексикой
  - Болезнь детей и господин из Эквадора
  - Мексиканский врач
  - Прогулки по Мехико-Сити
  - Русский ресторан
  - В поисках квартиры
- Эпоха посла Константина Уманского
  - Первый визит в советское посольство
  - Рая Михайловна Уманская
  - Илюша, друг Николая Ивановича Вавилова
  - Дамы

- Катя Калинина
- Стиль работы
- Блестящий советский дипломат
- Великий советский композитор
- Эмигранты
- Школа при посольстве
- Попутчики и члены компартий
- Успехи посла Уманского
- Советник посла
- Пачука
- Подготовка к празднованию годовщины революции
- Прием 7 ноября 1944 года
- В домашнем кругу
- Для чего существует дипломатия?
- Два Наполеона
- Встреча 1945 года
- Любовь с первого взгляда

- Катастрофа
  - Дурные предчувствия
  - Банкет в честь освобождения Варшавы
  - Прощание с Уманскими
  - Ранний звонок
  - Черные повязки
  - Рассказ дипкурьера
  - Рассказ Мары
- Похороны
  - Неразбериха в советском посольстве
  - Мексиканцы выражают соболезнования
  - Разрешите попрощаться с мужем…
  - Мои чувства
  - В ожидании распоряжений из Москвы
  - Бальзамирование на кухне
  - Роковая опечатка в мексиканской газете
  - Прощание народа с советскими дипломатами
  - Мара поправляется
  - Кремация
  - Подготовка к приему урн
  - Конфетные коробки
  - Мара провожает мужа в последний путь
  - Конец эпохи посла Константина Александровича Уманского
- Расследование

- Журналист Юрий Дашкевич
- Предупреждение посла Коста-Рики
- Свидетельство сотрудников аэропорта
- Проверка самолета
- Бомба в советском посольстве

- Поверенный в делах
  -
  - Сталинская чуткость
  - Проказы Дани Яновской
  - Подвохи мексиканского климата
  - Страдания Кати
  - Катя сама решила свою судьбу
  - Затишье
  - Мы оказались в центре внимания
- Приезд нового посла
  -
  - Коварство и любовь
- Гвадалахара
- Срочный вызов в Москву
  - Страшный сон
  - Счет Сталину
  - Последние дни работы в школе
  - Кирилл сдает дела
  - Мучительные раздумья
  - Душераздирающее решение
- Побег
  - Изменение планов
  - Господин случай
  - Прощай, Родина!
  - Навсегда

○ Политические эмигранты
- Письмо Сталину
- Политическое убежище
  - Смертельно опасный поступок
  - Первоочередные задачи
  - Редактор «Нового русского слова» и адвокат Виноградов
  - Толстовская ферма «Рид Фарм»
  - Цена опечатки
  - Поклонница Евгения Львовича
  - Слухи ползут
  - Крупный адвокат господин Моррис
- Литературные страсти
  - Шуточки разведчика НЕВИ

- Сколько Кравченко получил за книгу?
- Нью-Йорк. Пиратское убежище
- Литературные страсти накаляются
- Таинственные шаги адвоката Морриса
- Меры безопасности
- Ночное интервью
- Сенсацию! Сенсацию!
- Выступление в печати
- Тактические соображения
- Договор с Ричмондом

- Мухи в паутине
  - Шантаж
  - Правительство СССР требует нашей выдачи
  - Из огня да в полымя
  - В тупике
  - Пресс-конференция
  - Поднадзорные
- Новые знакомые: русская эмиграция
  - Великосветские рауты
  - Александр Федорович Керенский
  - Меньшевики
  - Революционер Борис Иванович Николаевский
  - Американские стукачи
  - Дочь анархиста Кропоткина
  - Мира Гинзбург — лучшая переводчица США
- Трагическое недоразумение
  - Мюриель Гарднер, blue blood American
  - Литературные агенты
  - Моррис Моррису рознь
  - Разрыв с адвокатами
  - А ларчик просто открывался
- В поисках работы
  - Рейл-род апартамент на адской кухне
  - Без бумажки ты букашка
  - Усадьба в штате Вермонт
  - Калифорния. Предложение от «Гонолулу-Компани»
  - Сколько стоила Америка?
  - Крушение надежд
  - Мы под судом
- Матерый журналист и советские перебежчики

- Затяжной прыжок Оксаны Косенкиной
- Душевнобольной
- Вдова самоубийцы
- Я выбрал свободу!

- Короткая передышка
  - Каникулы на чудо-острове с Еленой Истман (Крыленко)
  - Пустяк
  - Патент
- Приговор: туберкулез
  - Медосмотр
  - Санаторий «Дебора»
  - Юбилей Айды
  - Жизнь продолжается
  - Бизнесменши
  - Мой научный руководитель — шпион?!
  - Проблеск надежды
  - Еврейский вопрос
  - Тенор Большого театра
  - Канун Рождества
  - День за днем
  - Профсоюзный активист
  - Выписка под расписку
  - Возвращение
- Задушевные разговоры с А. Ф. Керенским
  - Симфонический концерт в Карнеги-холл
  - На Пасху
  - Кричали женщины «ура!» и в воздух лифчики бросали…
  - Земляки и почти одноклассники
  - Особенности отечественных вольных каменщиков
  - Семья Керенского
- Приговор: туберкулез-2
  - Хорошая больница «Монтеферы»
  - Проводы
  - Друзья Советского Союза
  - Первое мая в Нью-Йорке
- Поездка в Лос-Анджелес
- Снова Нью-Йорк
  - Частный доктор
  - Дебет с кредитом
  - Будни
- Друзья-приятели

- Сережа Максимов
- Давид Давидович Бурдюк
- Балетмейстер Джордж Баланчин
- Мира Гинзбург
- Странный посетитель
- Опять двадцать пять

- Католическая больница «Сен-Жозеф» в Бронксе
  -
  - Счастье Стелы
  - Былое и думы
- Политические беседы с А. Ф. Керенским
  - Член комиссии по кровавым делам
  - Почему Николай II был сослан в Тобольск?
  - Почему народ не пошел за вами?
  - При Ленине было бы лучше?
  - Последняя встреча с Керенским
- Холодная война
  -
  - Маккартизм
- Берегитесь докторов!
  - Антибиотик ойромайссин
  - Добрый доктор Айболит
  - Пусть меня минует чаша сия
  - Торговцы здоровьем
  - Берегитесь докторов!
- Лед тронулся
  - Смерть Сталина
  - Амнистия!
  - Чем хуже, тем лучше
  - Смерть — это крепкий сон
  - Меченые
  - «Билль» прошел!
  - Фея-спасительница
- Разочарование
  - Женщина-металлург?!!
  - United Metallurgical Petroleum Society
  - Чет, нечет
- Эпилог
- Подводя итоги
  - У нас было много веселого, жизнерадостного
  - Диспуты журналистов
  - Разговор по душам
  - Сталинский «трест»

        - Открыть Америку
            -
            - Лунный пейзаж
            - Детоубийцы
        - Маленькая уютная планета
    - Исторические комментарии
        - Как возник город Мариуполь
        - Беспорядки в стране
        - Как рухнула монархия
        - Октябрьская революция
        - Белая армия. Борьба на Украине
        - Австро-венгерская оккупация
        - В огненном кольце
        - Разгром генерала Врангеля
        - Батька Махно
        - Контрреволюционные группировки
        - Коллективизация
        - США, 1929 год. Великая депрессия
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23

Н. И. Алексеева
Одна жизнь — два мира

Глен-Ков

Прошло много, много лет. Много воды утекло и много крови было пролито за эти годы, и я, до мозга костей советский человек, очутилась в богатой, обильной, но в холодной и совсем мне чужой стране.

Я ходила вдоль берега залива в Глен-Ков, и ничего, абсолютно ничего мне здесь не напоминало мое ласковое, уютное, любимое с детства Азовское море, даже всплеск волны казался мне не тот. Не только тоска, а физическая боль давила меня. Все, казалось, происходит в каком-то кошмарном сне.

Почему я здесь, а не там, в той стране, которую я любила, люблю и любить буду до самой смерти.

Слова «предатель, изменник» ко мне не подходят ни с какой точки зрения.

Я никогда, ни при каких обстоятельствах свою страну не предавала. Я никогда ей ни в мыслях, ни в душе, ни во сне, ни наяву никогда не изменила. И в те страшные годы во время войны так же, как мой брат, погибший в Ленинграде, готова была все силы отдать и работать, работать, не считаясь ни с чем, на фронте, на производстве, лишь бы это было для спасения моей Родины. И только случай, какие бывают во время войны, сохранил мне жизнь.

Оказалась я здесь только из-за того, что не желала, чтобы я и мои дети стали еще одной невинной жертвой бессмысленного сталинского террора, именно сталинского террора.

Я в это время уже твердо считала, что все его чудовищные, жестокие преступления творились им *сознательно,* при помощи каких-то темных сил, пробравшихся в правительство и умно манипулировавших им. Их задача заключалась в том, чтобы убрать, уничтожить самые лучшие, самые образованные, самые преданные кадры коммунистов, которые принимали наиболее активное участие в происшедшей революции и искренне, честно стремились создать в нашей стране наилучшие условия жизни для людей. А также убрать, уничтожить миллионы беспартийных и партийных тружеников, и тем самым создать тот кошмарный голод в стране, особенно с того момента как Сталин начал проводить эту бесчеловечно жестокую коллективизацию, которая восстановила основную часть населения нашей страны против советской власти.

Я всегда считала и считаю, что при социалистической системе жизнь в Советском Союзе должна, могла быть и была бы самой прекрасной, самой свободной, богатой и счастливой, и не

только в нашей стране, но и на всей планете. Революция дала нашей стране все возможности, чтобы осуществить эту мечту. Но с тех пор как Сталин взял все бразды правления в свои руки, он и только он, как будто получая какие-то инструкции откуда-то, делал и сделал все, чтобы как можно скорее загубить все, он начал гнать, сажать и уничтожать всех неугодных ему.

Во всех этих ужасах был *виновен* Сталин, и только он.

Войны, я глубоко уверена, не было бы, если бы Сталин не уничтожил весь командный состав нашей армии и миллионы советских людей, подготовив тем самым Гитлеру почву для его «молниеносной войны». Ко всем предыдущим его злодеяниям надо отнести миллионы погибших — лучший цвет нашей страны — и миллионы искалеченных в этой самой жестокой, самой беспощадно страшной войне.

Трудно было беспомощно наблюдать, и больно было видеть тот непоправимый вред, который нанес и продолжал наносить не только нашей стране, но и коммунистическим партиям всего мира этот обезумевший от власти кровопийца.

Поэтому, и только поэтому мы очутились здесь, в этой чужой, неуютной для меня, самодовольной, самовлюбленной богатой стране.

И вот однажды на закате яркого солнечного дня после прогулки я присела с детьми отдохнуть на берегу залива в Глен-Ков.

Здесь же по берегу прохаживался пожилой, крепко упитанный человек. Услышав, что я с детьми говорю по-русски, он подошел и присел на край лавочки.

— Оце диты так здорово говорять по-русски, — заговорил он с сильным русско-украинским акцентом. Слово за слово он начал рассказывать о себе.

— Откуда вы? — спросила я.

— Я, я из Мариуполя. Такий город е на берегу Азовського моря.

Из Мариуполя! Я была радостно удивлена. Впервые здесь на чужбине я встретила человека из Мариуполя, который жил в том же городе, где я родилась, ходил по тем же улицам, что и я, дышал тем же воздухом. И я засыпала его вопросами:

— Чем вы там занимались? Что вы делали? Как и когда вы сюда попали?

— Служив у Генерала Деникина у карателях.

— Что же вы делали у карателях?

— Вышалы жидив та большевикив на каждому стовбы.

— И много вы их перевешали? — спросила я с бьющимся от волнения сердцем, вспомнив как у нас в доме искали оружие, как

у меня на глазах уводили в тюрьму мать, дедушку и как охотились не только за моим отцом и за его друзьями, но и за многими молодыми ребятами, удиравшими от мобилизации в Белую армию, и как на столбах действительно висели трупы после ухода всяких «доблестных дроздовцев».

— Достаточно много, — гордо ответил он. — Та ви же не знаете, що це таке город Мариуполь, це було таке большевистске гниздо. Я був начальником карательного отряда и мав задание зловиты цилу шайку заядлых партизан — коммунистив. Головой той шайки партизанив був такий чернявый, вси казалы що вин грек, а я знаю що його батько из Таганрога из донских козакив.

Я замерла, услышав так неожиданно исповедь из уст карателя, как он охотился за моим отцом. Мне было жутко слушать, а он продолжал, упиваясь своими воспоминаниями, рассказывать о своих «доблестных походах».

— Стильки раз вин почти був у нас в руках, та мы уже и столб для него приготовилы, та вин выскользав у нас миж пальцив, як та нечиста сила, такий вин був неуловимый.

Я настолько была потрясена исповедью этого деникинского карателя, что сидела как прикованная к скамейке. Он иногда упоминал даже имена, кого они поймали, кого повесили…

А ночью, уложив детей спать, я до утра не могла уснуть, не могла успокоиться и ходила, ходила и перебирала, перебирала в голове до мельчайших подробностей все, что сохранилось в памяти за те годы. Я просто не могла найти себе места, и иногда такая страшная боль сжимала мне сердце, что казалось, я не вынесу ее. В горле стоял комок. Как же так могло случиться, как же так получилось, что я, дочь этого заядлого партизана-коммуниста, которого деникинцы собирались повесить и уже столб для него приготовили, сидела рядом с этим карателем и слушала исповедь о его «доблестных» походах, а моего отца, того самого заядлого коммуниста, за которым они охотились и хотели повесить, арестовала, пытала, казнила, как «врага народа», Советская власть после двадцати лет своего существования. Та власть, за которую он горячо боролся и готов был жизнь отдать, и не только он, а многие такие же, как и он, его соратники, которые также погибли или погибали в тюрьмах и в лагерях.

Мне хотелось не плакать, а просто кричать. Я ходила и стонала как раненый зверь. И в эту ночь мои детские годы стали мелькать в моей памяти, иногда ясно и отчетливо, как будто все произошло вчера, а иногда смутно и отрывисто, как на старой кинопленке.

Я не помню числа, я не помню месяца и года, я только помню, что был ясный, яркий солнечный день, было нестерпимо

жарко, очень хотелось пить.

В этот день по улицам шли, шли и шли бесконечные, радостные, веселые колонны демонстрантов под новенькими алыми знаменами, от которых день казался еще более ярким, веселым и праздничным. На груди у всех алели красные банты, гремел духовой оркестр, и воздух был насыщен звуками музыки и песен. Пели «Марсельезу», «Варшавянку», «Интернационал», и эти гордые революционные песни остались у меня в памяти на всю жизнь. И до сих пор, когда я их слышу, я вспоминаю именно эту демонстрацию, и мне кажется, что так красиво, так гордо и с таким энтузиазмом их не сможет петь никто, никогда и нигде на свете.

Я не понимала ни смысла, ни содержания происходившего, но меня все равно волновало всеобще радостное возбуждение и что-то новое, волнующее было у всех на лицах. С высоких плеч демонстрантов я видела вокруг себя радостных, счастливых людей, и среди них моих родителей. Более веселого, счастливого и торжественного праздника я в жизни больше не помню.

Демонстранты окружили трибуну, с трибуны говорили многие, но запомнила я только моего отца, и он никогда не изгладится у меня из памяти.

Мой папа — большевик

Капризы памяти

Какую злую шутку играет с человеком память. Я легко могу забыть и забываю, что произошло вчера, и так ясно помню то, что происходило, когда я была почти ребенком, в 5-7-летнем возрасте, и даже раньше.

То, что отпечаталось в те далекие детские годы на чистой пленке нашей свежей детской памяти, остается глубоко и навсегда в наших воспоминаниях.

Я помню звуки, запахи, цвета и даже вкус того времени. И даже сейчас, когда я услышу или увижу какую-либо вещь, картину, песню или просто запах, напоминающие мне то далекое прошлое, у меня вдруг замирает сердце от щемящей, тоскливой радости или грустной, тоскливой боли.

Это мой папа!

Неожиданная суета и шум в доме разбудили меня. Любопытство преодолело желание снова уснуть, и я тихонько, чтобы не разбудить Шурика, встала с постели и прижала свой нос к застекленной двери. В столовой тускло горела лампа. Бабушка суетилась у стола, взволнованно и часто утирая нос и глаза передником.

В слабо освещенной комнате мое внимание привлек незнакомый мужчина: борода, усы и темные длинные волосы придавали ему непривлекательный вид.

Мама застыла, устремив на него счастливый взгляд. И вдруг они оба устремились к нам в спальню. Я быстро, как мышь, юркнула в постель, но через мгновенье я была уже в крепких объятиях незнакомца. Он горячо прижал меня к себе. Я прильнула к его колючей щеке, она была мокрой от слез. «Папа» — промелькнуло у меня в голове. Не выпуская меня, он взял на руки Шуру, но тот, увидев незнакомого «страшного дядю», рванулся к матери и громко заорал.

Брат несколько дней чуждался отца, но я была так счастлива, что всем знакомым докладывала: «А это мой папа!», как будто кто-то в этом сомневался.

После приезда отца в доме стало шумно и весело, появилось много новых, незнакомых лиц. Они что-то читали, о чем-то долго и горячо спорили — потом успокаивались и через некоторое время снова пускались в бурные дебаты, и так иногда было почти до утра.

Это были партийные товарищи моего отца, Ивана

Федоровича Саутенко. После окончания реального училища он стал работать на заводе «Провиданс» в городе Мариуполь. Здесь же он начал принимать активное участие в рабочем движении и вскоре с группой таких же, как и он, молодых энтузиастов попал в тюрьму.

Бабушка Ирина

Бабушка Ирина, папина мама, славилась своим гостеприимством. Ее дом был излюбленным местом встреч прогрессивной молодежи, здесь все чувствовали себя просто и уютно.

Вечные диспуты и споры на политические темы в этом доме были первой школой моего отца.

Его мать, как любая мать, возлагала большие надежды на будущее своего единственного сына.

Но он, благодаря своему пылкому, честному характеру, очень рано, со школьной скамьи, как только окончил реальное училище, втянулся в подпольную деятельность революционно настроенной молодежи. Это была небольшая группа, но на Мариупольских заводах появились листовки с призывами требовать от администрации улучшения положения рабочих. Кончилось это тем, что некоторых участников этого подпольного центра арестовали.

Отец поступил на завод, чтобы продолжать свою деятельность среди рабочих.

Тогда бабушка поняла, что поступки ее сына не случайное заблуждение, а искренние убеждения, и что она виновата в том, что не смогла уберечь своего единственного ребенка от страшного в то время революционного движения среди прогрессивной молодежи и что она должна спасти своего Ваню.

Бабушка Ирина была в дружбе с родными нашей мамы, хотя и жили они в разных местах, и расстояние между ними было по тем временам довольно внушительное.

Как мама и папа поженились

Семья мамы была абсолютной противоположностью папиной семье.

В этой патриархальной семье отец был полновластным хозяином, и его слово было законом. Умный, всеми глубоко уважаемый, он был неизменным старшиной в этой уютной Македоновке, и все население шло к нему за советом. Надо было выдать замуж дочь или женить сына — шли советоваться к Ивану

Семеновичу. Надо было что-то перестроить в хозяйстве, купить, продать — шли также к нему. Не было такой отрасли, в которой он не разобрался бы и не дал исчерпывающий совет, легко и просто разрешающий любую сложную семейную проблему.

Он также был на все руки мастер. Пришла соседка, попросила сделать бочку для огурцов. Пожалуйста. Он никогда никому ни в чем не отказывал.

Бочка была готова. Через день пришла снова:

— Иван Семенович, я посолила огурцы, но весь рассол вытек.

— Рассол вытек? — невозмутимо спросил дедушка, — а огурцы?

— Огурцы? Нет, — удивленно ответила женщина.

— Ну, так оно и должно было быть, ты же просила для огурцов, а не для рассола.

Женщина расхохоталась:

— Ну и шутник же ты, Иван Семенович.

В свободное от работы время, оседлав свой нос очками, читал, читал без конца и умел очень интересно все по-своему пересказывать, и все удивлялись:

— Ну и голова у вас Иван Семенович, откуда все это?

— Да что голова, голова это просто инструмент, которым надо уметь правильно пользоваться, а то ведь заржаветь может.

К нему и обратилась мать моего отца за советом и поддержкой: что делать, как спасти ее сына, как казалось ей, от неминуемой гибели?

Дедушке в сыновьях не везло, рождались одни девочки. Самая старшая Соня, ей было 17 лет, была сосватана за очень известного, очень богатого молодого врача в город Мариуполь.

Этот молодой человек даже не был с ней знаком, где-то встретил ее случайно и влюбился так, что немедленно послал к ее родным сватов. Это было время, когда дочерей выдавали замуж по выбору родителей, и ослушаться — это уже был «бунт».

Как мама рассказывала:

— Я ведь понятия не имела, кто он, я видела его только из окна своей комнаты. Но все уже поздравляли друг друга, будучи уверены, что сделка уже состоялась и я выйду замуж за него. Выходить замуж я вовсе не хотела, он слал мне дорогие подарки, а я всегда пряталась, когда он появлялся. Решал все отец.

Вот в это время бабушка Ирина и появилась со своей проблемой. И начались долгие разговоры о «заблудившемся» и «пропащем» Ване. Так вот и появился в ее жизни юноша ее возраста, и уже с такими твердыми убеждениями.

И в этой семье произошло неслыханное событие: Соня, почти накануне свадьбы, вернула все дорогие подарки, присланные ее

блестящим женихом, и заявила, что выйдет замуж только за Ваню. Это заявление ошеломило всех родных. Даже дедушка, всегда уверенный и спокойный, растерялся. Надо знать обстановку и семейные устои того времени, чтобы понять, какую тяжелую миссию взяла на себя мама, когда за детей все решали родители. И особенно в отношении дочерей, да и вообще, что касалось женщин — это была особая статья. И ослушаться, в этих вот условиях, — это была просто «семейная революция». Тогда женщины, особенно молодые, могли появляться в мужском обществе только в исключительных случаях, а уж вмешиваться в разговор или выставлять свои требования вообще было немыслимо. Существовал еще такой обычай: невестка должна была молчать и даже не показываться на глаза свекру до тех пор, пока он не покупал ей дорогой подарок и этим как бы снимал с нее обет молчания. Об этом я узнала, когда вышла замуж младшая сестра мамы.

Задача мамы была по тем временам поистине героическая.

Родные отца были рады. Они думали, что семейная жизнь, дети отвлекут сына, вылечат его от опасной политической болезни. Но вскоре им пришлось глубоко разочароваться, т. к. не только Ваня не отказался от своей политической деятельности, но и Соня стала помогать ему, его мысли стали ее мыслями и его идеи — ее идеями.

Отец приобрел в лице своей жены сильную моральную поддержку. Она унаследовала от своего отца тот же сильный характер, который помог ей перенести тяжелейшие испытания, выпавшие на ее долю, и всегда всю жизнь работать и жить для других.

Когда мне было годика полтора, арестовали отца и вскоре после какой-то демонстрации арестовали мать. Я очутилась у бабушки Ирины. По рассказам всех, она так меня любила, что любой мой вздох, случайный кашель, плохой аппетит превращались в невероятное событие в доме. Говорят, что я росла здоровым, веселым ребенком.

Рождение брата Шурика

Спустя несколько месяцев друзья родных привезли мою мать с вечно плачущим больным ребенком, моим братом Шуриком, они вытащили ее из тюрьмы, т. к. она должна была вот-вот родить.

Считая, что ей дома быть опасно, они скрывали ее у себя. Роды были тяжелые. Врача поблизости не оказалось, пришлось его искать. Когда он пришел, мать лежала без сознания и с ней

посиневший, с еле приметными признаками жизни ребенок. Только после долгих мучительных усилий удалось спасти ребенка и вернуть сознание матери. Мать долго и тяжело болела. Это испытание не прошло бесследно: она никогда больше не могла иметь детей.

Мама стала поправляться, но, несмотря даже на молодость и здоровый организм, из-за большой потери крови после родов это происходило медленно, и на руках у нее лежал худой, как скелет, больной ребенок. Ни внимательный уход заботливой бабушки, ни хорошее питание, ни врачи ничем не могли помочь. Все сходились на том, что ей надо примириться с тем, что он не жилец на свете.

И вдруг, когда она увидела, что ребенок почти перестал подавать признаки жизни, она схватила его и помчалась искать врача. Но по дороге ей изменили силы, и она опустилась на ступеньки чужого дома.

Очнулась она в незнакомой комнате, возле нее суетился седой маленький старичок.

— Где мой ребенок? Умер?!! — вскрикнула мама.

— Умер? С какой стати. Кто вам сказал такую глупость?

Старичок оказался хорошим, ласковым врачом, и мать рассказала ему все.

— Нет-нет, вы уж оставьте об этом думать. Мне вот уже 75 лет, и я полвека со смертью борюсь. Сын ваш будет жив, мы его подлечим, да и вас подлечить не мешает. А теперь скажите, откуда вы и кому сообщить, что вы здесь и чтобы о вас не волновались.

— Так, через несколько дней, — рассказывала мама, — горячо поблагодарив чудесного спасителя и нагруженная всевозможными лекарствами, я вернулась домой.

Не прошло и месяца, как ребенок улыбнулся во сне, а через годик его уже можно было ущипнуть за румяные пухленькие щечки. От болезни не осталось и следа. Он рос здоровым, крепким мальчиком. Как с самого начала, так и в дальнейшем, жизнь не баловала его, и только благодаря своему крепкому здоровью он мог с ней бороться. И даже во время блокады Ленинграда он писал нам, что только крепкое здоровье помогает ему выжить.

Немного о Мариуполе[1]

Территория Северного Приазовья окончательно вошла в состав Российской Империи после победы России в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.

Екатерина II мечтала освоить и заселить эти степные просторы надежными людьми. Узнав от греческого митрополита о тяжелом, бедственном положении находящихся под турецким гнетом греков, она предложила ему переселить греков из Турции на эти земли и выдала грекам-переселенцам дарственную грамоту на эту территорию.

Так в 1778 г. на берегу Азовского моря, в устье реки Кальмиус, где митрополит впервые ступил на берег с группой греков из Турции, спасавшихся от турецких притеснений, был заложен город с красивым названием Мариуполь. Бабушка рассказывала из воспоминаний ее родных, которые, кстати, были близкими родственниками этого митрополита, как турки издевались над греками — загоняли и запирали взрослых и детей в сараи и живьем сжигали их. Сюда же, при содействии митрополита, начали переселяться греки из Крыма и из других мест.

Таким образом, вокруг города Мариуполь появилась большая греческая колония, состоящая из 21 села со старинными красивыми греческими названиями, как: Старый Крым, Ялта, Гурзуф, Мангуш, Чермалык, Сартана, Македоновка и др, в каждом из которых жители говорили на разных греческих диалектах точно так же, как на многочисленных островах в Греции, и часто не понимали друг друга. Но обычаи были одни и те же и одежда стариков (а стариками мне казались все старше 30 лет), была такой, какую носят до сих пор на их исторической родине.

Семейная идиллия

После освобождения отец стал работать в городе Мариуполе на трубопрокатном заводе «Никополь». Мы переехали к нему и поселились в рабочей колонии, где все дома как две капли воды были похожи друг на друга, и мы с братом часто терялись, как только попадали за калитку.

Улица этого заводского поселка освещалась электричеством, и я любила подкарауливать, как каждый вечер на высоком столбе у нашей калитки под белой тарелкой вдруг вспыхивала лампочка. Я привыкла к керосиновым лампам, и электрическое освещение было непонятно и таинственно для меня.

В это время отец возвращался с работы и мы, завидев знакомую походку, со всех ног бросались к нему навстречу, я повисала у него на шее, а брат очень ловко усаживался к нему на плечи, и к нам навстречу выходила веселая и счастливая мама.

Эта маленькая семейная идиллия продолжалась очень недолго. Город Мариуполь оказался одним из важных

стратегических центров во время продолжительной и изнурительной гражданской войны. Как только началась война, мой отец стал одним из первых организаторов красногвардейских и партизанских отрядов на Мариупольщине.

Беспорядки в стране

Тяжелая изнурительная война России с Германией, продолжавшаяся с августа 1914 г. до 1917 г., довела страну до полной политической и хозяйственной разрухи. В Петрограде и в других городах проходили массовые демонстрации голодного населения. Да не только там, а по всей стране происходили огромные беспорядки уставшего от четырехлетней войны народа, в ответ на это повсюду усиленно шли аресты.[2]

Как рухнула монархия

23 февраля 1917 г. произошла, как тогда говорили, «Великая бескровная» революция. А 27 февраля 1917 г., когда весь Петроград фактически был уже в руках восставших, в один и тот же день были созданы совместно Совет рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет Государственной думы во главе с председателем 4-й Думы монархистом Родзянко.

Царь под давлением со всех сторон *вынужден был отречься* от престола, но отрекся он не только за себя, но и за своего сына Алексея, в пользу своего брата Михаила Александровича.

Брат Николая II Михаил Александрович 3 марта 1917 г. также *подписал отречение* и тем самым передал всю власть Временному правительству.

Так рухнул 300-летний дом РОМАНОВЫХ.

Двоевластие

С первых же дней революции в стране, как тогда говорили, установилось своеобразное *двоевластие*, и идеи и интересы у них были совершенно разные.

С одной стороны, буржуазное Временное правительство, находясь под руководством помещиков и капиталистов, под председательством князя Львова, являясь органом диктатуры буржуазии и защищая ее интересы, требовало «войны до победного конца».

С другой стороны, *трудящиеся,* которые совершили революцию во имя мира, земли, хлеба, требовали от Советов рабочих и солдатских депутатов, органов революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства выполнения лозунгов, во имя которых и произошла революция: «Заводы и фабрики рабочим, землю — крестьянам».

17 апреля В. И. Ленин выступил в Таврическом дворце на совещании большевиков — членов 7-й Всероссийской конференции Советов и сказал: «Россия сейчас — самая свободная страна в мире из всех воюющих стран… Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности… с другой стороны, отсутствием насилия над массами».

Но под руководством Ленина в Петрограде быстро возобновилось издание газеты «Правда», обещавшей солдатам мир, рабочим — фабрики, крестьянам — землю. А уставший от войны народ тоже требовал хлеба, мира и свободы. *Лозунги большевиков оказались созвучны желанию народа.* Так как никто, кроме большевиков, ни в годы монархии, ни во время двоевластия, ни даже во время гражданской войны не хотел, не мог или боялся выразить волю народа, а все только требовали продолжать войну «за веру, царя и отечество» до победного конца. Но народ, который уже принес неисчислимые жертвы во имя этого, воевать за это никак не хотел[3].

Папин учитель

В начале 1917 г., как только в Мариуполь дошли вести о Февральской революции и свержении самодержавия, все демократические партии вышли из подполья, и их основная задача заключалась в том, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше членов. На площади напротив дома, где жили мы, были расставлены столы, заваленные всевозможной литературой: газетами, брошюрами, лозунгами, плакатами. Перед каждым из них стоял человек, до хрипоты зазывавший к себе, объяснявший, расхваливавший и доказывавший достоинства своей партии. Здесь были большевики, меньшевики, эсеры и многие, многие другие, даже анархисты.

Отец в это время уже был членом коммунистической партии большевиков, в которую он вступил по глубокому и твердому убеждению в том, что это самая честная, самая справедливая и самая неподкупная партия в мире, и за нее он готов был жизнь отдать.

Мы в это время жили в доме папиного учителя — старого большевика. Он только что вернулся из ссылки, парализованный, и с трудом передвигался из комнаты в комнату на коляске.

В комнате у него на высокой металлической подставке в клетке сидел красавец попугай, который замечательно насвистывал русские и украинские мелодии и ловко ворчал на нас, детей.

Этот дом, я помню, всегда был битком набит, как пчелиный

улей, людьми. Николай Степанович, тяжело передвигаясь между ними на своей коляске, сиял от радости. Вытащили откуда-то из подвала печатный станок, появились новые, молодые веселые лица, которые с самого утра до поздней ночи о чем-то жарко спорили, что-то писали, что-то печатали, напечатанное куда-то уносили, откуда-то тащили то бумагу, то краски. Комнаты были завалены печатной литературой, попугай тоже стал более крикливым, старался всех перекричать.

Отца среди них не было. Он иногда быстро влетал в дом, здоровался со всеми, все бросались к нему с вопросами, как будто он один мог разрешить все их бурные споры. Он быстро отвечал и быстро убегал. Отец был одного возраста с ними, а мне казалось, что они к нему относятся как к человеку намного старше их и знающему все.

Отец принимал активное участие в создании Мариупольского комитета РСДРП(б). Председателем Комитета в первых выборах был избран большевик В. А. Варганов. После перевыборов он остался председателем Совета рабочих и солдатских депутатов, большая часть которого состояла также из большевиков.

Октябрьская революция

Итак, 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) было назначено открытие 2-го съезда Советов.

Военно-революционный комитет получил от ЦК партии большевиков распоряжение привести воинские части в полную боевую готовность и выступить накануне. Штаб восстания находился в Смольном. Туда и прибыл Ленин из Финляндии. Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде началось 24 октября 1917 г. до открытия съезда Советов 25 октября 1917 г.

Утром 25 октября 1917 г. были заняты все подступы к Зимнему дворцу, где заседало Временное правительство, которое оказалось в полной изоляции, т. к. ни одна воинская часть не поддержала его.

Временному правительству было предъявлено требование немедленно сдаться. Но оно отказалось, и в 9 ч. 40 мин. вечера красногвардейские отряды, солдаты, матросы под руководством Антонова-Овсеенко при поддержке холостым выстрелом из 6-дюймовой пушки крейсера «Аврора» бросились на штурм Зимнего дворца, и в 2 ч. 10 мин. ночи Зимний дворец был взят.

В 10 часов утра Военно-революционный комитет объявил о свержении Временного правительства и переходе власти в руки Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.

Так 26 октября 1917 г. (8 ноября по новому стилю) вся власть перешла в руки Совета.

Крестьянам без всякого выкупа, по Ленинскому *«декрету о земле»,* было передано около 160 млн. гектаров земли. Крестьяне освобождались от ежегодных арендных платежей помещикам в сумме около 500 млн. рублей золотом.

В 2 ч. 30 мин. ночи был утвержден декрет об образовании первого советского правительства — Совета народных комиссаров. Председателем СНК съезд утвердил В. И. Ленина. Верховным главнокомандующим — Н. В. Крыленко.[4]

Коммунары и коммунарки

В конце декабря 1917 г. восстали также рабочие заводов города Мариуполя. Им на помощь были направлены харьковские, московские и петербургские красногвардейские отряды, и после ожесточенных, тяжелых боев 12 января 1918 г. в Мариуполе была установлена советская власть.

Вновь организованные советы, во исполнение декрета советской власти, немедленно взяли под контроль металлургические заводы «Никополь» и «Русский Провиданс», национализировали государственные и частные банки. После издания 21 января 1918 г. декрета об отделении церкви от государства в школах были отменены занятия по закону божьему. А 19 марта 1918 г. Мариупольским советом было принято постановление о национализации земли в Мариупольском уезде и о создании первых коммун в уезде.

Так в нашем доме теперь появились коммунары и коммунарки. Они много курили. Это в нашем доме, где не только женщины, но и мужчины никогда не брали папирос в рот. Особенно помню одну веселую, энергичную Ольгу Николаевну. Она много курила и ела хлебные корки, густо натертые чесноком, сидеть близко возле нее было невозможно. Они надевали любую одежду, которая попадалась на глаза или которую они могли натянуть на себя, и в ней спокойно и бесцеремонно уходили. Такое у них было примитивное представление о коммунах. Мама относилась к этому спокойно, как к должному:

— Ах, — говорила она после поисков какой-либо вещи, — я забыла, ее надела Лиза или Оля.

Бабушка не могла к этому привыкнуть, особенно к *табачно-чесночному* запаху, и долго проветривала комнаты после их ухода.

Средств к существованию у нас не было, и мама, чтобы прокормить нас, сидела днем и ночью, согнувшись над швейной машинкой, и строчила, строчила без конца. Наша комната,

которую я помню до сих пор, была заполнена тонкими кружевами и ажурным бельем или ярко красными полотнищами и бантами во время демонстраций.

Добровольческая армия

Атаман Всевеликого Войска Донского генерал Алексей Максимович Каледин объявил Донскую область самостоятельной, себя хозяином и начал готовиться к войне с советской властью. Так Кубанская и Донская области стали убежищем контрреволюции.

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев прибыл на на Дон к атаману Донского казачества генералу А. М. Каледину. 15 ноября 1917 года он отдал приказ о формировании Добровольческой армии.

Так здесь зародилось и начало формироваться, главным образом из бежавшего сюда на юг офицерства, контрреволюционное белогвардейское добровольческое движение, и отсюда началась беспощадно жестокая Гражданская война не только на Украине, а по всей стране.

Атаман Всевеликого Войска Донского генерал Каледин в конце декабря 1917 г. во исполнение своей идеи борьбы с советской властью, захватив Ростов-на-Дону, двинулся на Донецкий бассейн. Ему помогала Украинская Центральная Рада — оружием, боеприпасами, деньгами и вооруженной силой, пропуская к нему казаков и юнкеров со всех сторон[5].

Красногвардейские отряды на Украине

Декрет об организации Красной армии на Украине был издан только 20 января 1918 г.

Но на защиту Донецкого бассейна и ликвидацию мятежа Каледина были быстро мобилизованы красногвардейские рабочие отряды Донбасса, красногвардейские и *партизанские отряды Мариуполя,* активным организатором и участником которых был в то время *наш отец.*

Он также был *одним из главных участников* в создании 5 января 1918 г. Центрального штаба Красной гвардии Донбасса во главе с Д. И. Пономаревым. В эти отряды отовсюду шли рабочие, крестьяне, раздетые, разутые, плохо вооруженные, но полные решимости и непобедимого энтузиазма встать несокрушимой стеной на защиту своего родного Донбасса.

В помощь рабочим Донбасса и красногвардейским местным отрядам для ликвидации мятежа А. М. Каледина прибыли также

красногвардейские отряды по борьбе с контрреволюцией на Юге под командой В. А. Антонова-Овсеенко.

Три всадника

Как я говорила, мой отец, Иван Саутенко, стал одним из первых организаторов красногвардейских и партизанских отрядов на Мариупольщине.

Наступила глубокая зима. Мы с братом сидели у окна и смотрели, как лениво шел снег. Вся огромная площадь перед домом была покрыта ярко сверкающим пушистым снегом. Вдали появились три всадника, приблизившиеся к нашему дому, я быстро сорвалась с места, помчалась в холодные сени и очутилась в крепких объятьях отца. Отец пришел только попрощаться с нами, он уходил на фронт.

И когда эти всадники удалялись, я видела, как лошадь папы обернулась несколько раз, как будто не слушаясь его. Ему, по-видимому, хотелось еще раз взглянуть на наши прильнувшие к окну заплаканные рожицы. Отец в это время находился уже целиком и полностью в центре революционной деятельности на Украине.

Австро-Венгерская оккупация

После Октябрьской революции Украинская Центральная Рада отказалась признать Советскую власть. Несмотря на подписание 2 декабря 1917 г. Брест-Литовского соглашения о перемирии, Германия и Австро-Венгрия заключили с Украинской Центральной Радой отдельный договор, 18 февраля 1918 г. оккупировали Украину.[6]

Отец в подполье

Большевистская партия в Мариуполе ушла в подполье, и мы все реже и реже стали видеть не только отца, но и всех его друзей, наполнявших раньше веселой гурьбой дом, в котором мы жили. Теперь в городе был создан подпольный большевистский комитет во главе с Г. Македоном.

В нашем доме стало тихо и пусто, исчез печатный станок, и грустно затих попугай.

Македоновка

Вскоре после оккупации Мариуполя австро-венгерскими войсками за нами приехал наш дедушка и увез нас к себе в

маленькую, уютную, около 100 дворов, утопающую летом в зелени садов и занесенную глубокими пушистыми сугробами снега зимой, деревеньку с очаровательным названием Македоновка, расположенную в 12 км от Мариуполя.

Дом дедушки, который мы всегда называли «наш дом», с прекрасным вишнево-яблочным садом и замечательным огородом, с яркими узорчатыми грядками, стоял на самом видном месте в центре села, красиво выкрашенный в бело-голубой цвет и под красной черепичной крышей. Он был как «винт», ввинченный в центре этого уютного маленького поселка, и, казалось, если вынуть его, то все дома с садами и огородами, такие же чистенькие и уютные, разлетятся на все четыре стороны.

Оказывается, как мне вскользь объяснили, да и я очень мало этим интересовалась, моя бабушка была самая младшая из трех сестер, оказавшихся близкими родственниками *того знаменитого митрополита,* который получил от Екатерины II право на переселение греков из Турции в эти пустующие таврические степи.

Миллионерами никто из его родственников не стал, но огромное село Сартана начало строиться в том месте, где *один из его родственников* заложил первый камень, поэтому дом бабушкиной сестры стоял так же в самом центре теперь уже огромного села Сартана рядом с Мариуполем.

Наш дедушка так же, как только женился, сразу ушел из большого села Сартана, расположенного на берегу реки Кальмиус, и первый построил свою усадьбу в этой степной пустыне, расположенной приблизительно в полутора км, между ж-д. полустанком Асланово и чистой, как слеза, студеной речкой Кальчик.

Посреди расстилавшейся перед нашим домом огромной, открытой квадратной площади стояла, утопая в зелени акаций и сирени за ажурной железной оградой, большая красивая белокаменная церковь с 4-классной школой.

Построить и содержать такую церковь и школу для такого маленького прихода являлось показателем того, что народ здесь жил *вполне зажиточный* и *достаточно грамотный* по тем временам, и в этом была огромная заслуга *нашего дедушки.*

Здесь не было *абсолютно никакой* администрации. Был один маленький магазинчик, в котором можно было купить все, от иголок до керосина. Яркая золотая луковка утопавшей в зелени церкви видна была далеко, как маяк. Две ветряные мельницы стояли в конце этой огромной площади. За ними расстилались безбрежные степи, луга и пастбища до самой речки Кальчик, бегущей по камням, с кристально чистой, как слеза, водой, куда

гоняли скотину на водопой и где мы ловили раков ведрами и здесь же варили их в чистой, прохладной родниковой воде.

Дедушка

Дедушка наш был здесь интереснейшей, центральной фигурой, вроде такого же винта, как и его дом. Вечный почетный староста, судья, кум, сапожник, плотник. По существу, не было такой профессии, за которую он не брался бы с азартом. И все это делалось из любви к искусству, а не в целях наживы. Без работы он сидеть не мог, всегда был занят в своей мастерской, всем помогал. Все говорили, что даже мясо не такое вкусное, если не он забьет скотину. Но денег дедушка ни у кого и никогда не брал.

На жизнь он смотрел легко и радостно — на это у него была своя философия.

Дедушка был в этом месте всеобщим консультантом, ни один житейский вопрос во всем этом поселке без него никто решить не мог. Женить сына, выдать дочь замуж, крестить, купить, продать — за советом все шли к нему, к Ивану Семеновичу.

Бабушка была маленькая, ласковая, самый добрый человек, какого я когда-либо встречала. Она не могла выпустить человека из дома, не накормив и не напоив его чаем. И даже в самые тяжелые голодные годы она могла поделиться последним куском хлеба.

Она любила ткать, в комнате у нее стоял ткацкий станочек, на котором она ткала потрясающей красоты высокохудожественные покрывала и длинные узорчатые полотнища, которыми были обвешаны все комнаты.

Мамина единственная, хорошенькая сестренка была в невестах и готовилась к свадьбе. Вот в этом замечательном, родном, спокойном и казавшимся таким безопасным доме потекла наша беспокойная жизнь.

Беспокойная жизнь

Отец изредка появлялся, обычно ночью. И я до сих пор помню запах мороза, дождя или свежести, который он вносил с собой, крепко целуя нас, спящих в постели. Появлялся он не один, а с товарищами, и они, приглушив свет лампы и прикрыв плотно ставни, склонялись над развернутыми картами на столе, на полу и, углубившись в свою работу, не замечали, как пролетала ночь. И так же неожиданно, как появлялись, исчезали. А я в это время часами лежала с открытыми от восторга глазами и с детской гордостью смотрела на них. Мне казалось, они делают что-то большое, интересное, не похожее на то, что делают все люди вокруг меня.

Но чем сильнее становились партизанская борьба и героическое сопротивление, оказываемое плохо вооруженными партизанскими и красногвардейскими отрядами, тем жестче и страшнее становились репрессии карательных отрядов.

Ходили упорные слухи, что карательные отряды ищут, хватают, пытают и вешают большевиков-коммунистов и партизан, что в городе уже несколько дней висят партизаны и большевики.

Обыски и аресты в нашем доме тоже стали обычным явлением, во время них наш дом переворачивали вверх дном. Искали оружие, литературу, отца большевика-коммуниста, после чего уводили в город в тюрьму либо мать, либо дедушку или обоих сразу. И я думаю, если бы не огромная популярность дедушки, их давно в живых бы не было.

Отец был на фронте, а матери, активно помогавшей ему, приходилось прятаться во время этих нашествий.

Большевицкие щенки

Нас научили называть дедушку и бабушку папой и мамой, чтобы не возбуждать опасных вопросов: «Где родители?..»

Но не всегда это помогало, обыски и аресты дедушки и матери стали в нашем доме обычным явлением, и часто бывало, не успевали они вернуться из тюрьмы домой, как их снова арестовывали и уводили в тюрьму в Мариуполе.

Во время обысков требовали указать, где отец прячет оружие, которое переправлялось партизанам, и сказать, кто поддерживает его и помогает ему. Нам, детям, пришлось увидеть и перенести много.

Моего четырехлетнего брата, задабривая слащавыми улыбками и конфетами, заставляли сказать то, о чем мать под

угрозой расстрела молчала, я помню:

— Дам конфетку, скажи, где папа прячет оружие?

И поставив нас перед матерью, произносили:

— Расстреляем, расстреляем, если не скажете, где спрятано оружие, где муж и кто с ним?

А мать… А мать бесстрашно и твердо отвечала:

— Можете расстрелять, но оружия здесь нет, а где муж и кто с ним, я не знаю.

Взбешенный офицер кричал:

— Арестовать!

И это слово в его истеричном крике звучало почти так же, как «Расстрелять!». И снова, и снова они уводили мать и ее отца, а мы, волнуясь за их жизнь и за жизнь отца, ждали и ждали.

Я тогда уже не плакала, я понимала, что если мать не плачет, то этого не нужно делать и нам. Я была старшей и, крепко стиснув руку брата, старалась удержать его от порыва броситься к матери и заплакать.

Я помню, как однажды младший брат побежал за матерью с криком:

— Мама!!! Мама, вернись! Отпустите мою маму!!!

Рассвирепевший офицер обернулся и сильным ударом швырнул его на пыльную дорогу, а матери даже не позволили оглянуться.

— Оставь, не сдохнет, большевицские щенки живучи!

Мать увели, а я долго сидела, утирая струйки крови бежавшие по лицу моего брата. Окровавленное лицо брата, его широко открытые от ужаса и непонимания происходящего глаза я помню до сих пор.

Я также помню, как ночью он стонал и запекшимися губами спрашивал:

— Нина, скажи, за что они хотят нашу маму расстрелять?

Эти испытания родили в наших сердцах чувство *глубокой любви* и *безграничной преданности* и *уважения* к нашим родителям.

А отношение в дальнейшем к отцу его соратников и друзей, говоривших о нем с восторгом, как о *честном, справедливом* человеке, коммунисте и отважном бесстрашном воине, кроме любви, рождало также *чувство гордости* за отца.

В те годы мы были не просто дети, мы были *дети коммунистов-большевиков.* «А, *это дети большевиков»* или *«Твой отец большевик»* — я слышала часто. Одни произносили это с любовью и симпатией, другие с ненавистью и желчью.

Даже не зная, что такое *большевик*, я думала, что если мой отец и его друзья — *большевики,* значит это что-то *светлое,*

хорошее, справедливое, честное, и я сквозь слезы клялась себе, что как только я вырасту, то я буду тоже как отец. И поэтому, когда я позже одна из первых вступила в пионеры, а затем в комсомол — это были *светлые, счастливые дни моей жизни*.

И мой ответ на призыв «Будь готов!» — «Всегда готов!» защищать дело трудящихся во всем мире, не было для меня пустым звуком[7].

Пойду искать Ваню

Наш Мариуполь был снова освобожден 29 марта 1919 г. 1-й Заднепровской советской дивизией под командой П. Е. Дыбенко с огромной помощью красногвардейских и партизанских отрядов.

Как только освободили Мариуполь, мы ненадолго вернулись в город и остановились в гостинице «Континенталь». Отец в это время был занят формированием батальона, который стал полком регулярной Красной армии, сыгравшей огромную роль в боях против Деникина и Врангеля.

Но скоро мы снова вернулись в нашу уютную Македоновку, т. к. Мариуполь еще много, много раз переходил из рук в руки. Кто только не проходил через наш Мариуполь и через нашу Македоновку!

Все сильнее и сильнее разворачивались бои в нашем Мариупольском уезде. Одна власть сменяла другую, иногда даже по несколько раз в день, и стрельба не прекращалась. И какая бы власть ни приходила, она хватала, арестовывала, вешала, расстреливала своих противников. Одни ругали и проклинали большевиков-коммунистов, другие немцев, белых, зеленых, махновцев, дроздовцев и прочих, и прочих.

Мать, вернувшись однажды после очередного ареста, заявила:

— Больше нет сил… Все равно замучают. Берегите детей, а я пойду искать Ваню.

«Искать Ваню» — легко сказать! Это было в то время все равно что искать иголку в стоге сена. Мы от отца никаких достоверных известий не только не получали, но даже кто-то, заехавший к нам случайно, сообщил, что наш отец во время последних ожесточенных боев *погиб*. Но мать все равно ушла искать отца, нашла и осталась в том же отряде до конца войны.

Трудно было понять и разобрать, от кого надо было прятаться. Нас, детей, во время усиленной стрельбы прятали в глубоком погребе, откуда мне казалось, что наверху бушует буря и непрерывно грохочет гром. А под вечер, когда все стихало, через Македоновку по широкой дороге, обсаженной пышными кустами душистой сирени и благоухающими акациями, шли

подводы с тяжело ранеными. Были это красные или белые, мы понятия не имели, они стонали и просили пить, Мы бежали и тащили им воду в кувшинах. На их изодранных грязных одеждах и на белых марлевых повязках виднелись ярко-красные пятна и сгустки темной, липкой запекшейся крови, от которых шел тяжелый запах.

Подводы с изуродованными ранеными уходили, и снова наступала кратковременная тишина.

А ночью мы просыпались от шума. В дом вваливались какие-то военные: чеченцы, казаки, деникинцы, дроздовцы, белые, красные, и все они требовали, чтобы их накормили, напоили. И бабушка среди ночи покорно разжигала печь или плиту и готовила им еду из кур, гусей и из всякой живности, которую они ловили здесь же, во дворе.

В доме становилось так тесно, что с трудом можно было протиснуться. Они спали на полу, на креслах, на диване, и даже после таких кратковременных постояльцев в доме становилось пусто, исчезало все съестное и уничтожалось все живое, что попадало им под руки или на глаза.

Девочка в поле

Наступили прекрасные апрельские дни, когда после холодной, необычайно холодной суровой зимы весна казалась особенно прекрасной. Но в эти же прекрасные апрельские дни веселые песни и трели всевозможных птиц заглушались непрерывной стрельбой и громкими разрывами снарядов. Со станции Волноваха через наш полустанок Асланово, приблизительно километрах в полутора от нашей Македоновки, взад и вперед двигался бронепоезд.

Снаряды разрывались и не разрывались, долетали и не долетали до нашей Македоновки, и долго потом крестьяне, когда пахали, подбирали осколки снарядов, гильзы пуль, пули, а иногда подрывались на неразорвавшихся снарядах. Вспоминаю, как в ясный солнечный полдень послали меня отнести лекарство больному дяде.

По дороге к ним меня окликнула знакомая девочка, моего приблизительно возраста, она упорно старалась что-то сдвинуть с крыши какого-то курятника.

— Помоги мне снять эту штуку, — попросила она.

Я остановилась в раздумье — помочь, или раньше освободиться от своей ноши.

— Слезай и подожди меня, я быстро вернусь и помогу тебе, — пообещала я.

И помчалась, но не успела даже войти в дом, как за моей спиной раздался оглушительный взрыв. И долгие годы я с ужасом вспоминала и не могла забыть, как в глубокой яме, среди хаоса развалин, вместо Лизы лежало окровавленное месиво, из которого торчали куски голубого платья, и далеко от дома на кустах висели розовые куски ее мозга.

Там вдали за рекой…

Помню из рассказов отца, с какой силой сопротивлялись красногвардейские, партизанские и красноармейские части на узловой ж.-д. станции Дебальцево. Здесь произошло одно из самых тяжелых, кровавых столкновений с Добровольческой армией. Добровольческой армии, снаряженной, вооруженной до зубов иностранными интервентами, организовавшей «крестовый поход» против советской страны, удалось здесь прорваться и двинуться на Москву.

Второе крупное сражение, по рассказам отца, сыгравшее огромную роль в задержке продвижения Добровольческой армии на Курск, произошло под Купянском. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, задержавшей наступление Белой армии на Курск, им все-таки удалось прорваться еще раз и в начале сентября 1919 г. занять так называемую «красную крепость» — Курск. А 1 октября 1919 г. корниловцами и марковцами был занят Орел. Они стали приближаться уже к Туле, а Май-Маевскому был дан приказ наступать прямо на Москву.

24 октября 1919 г. была разбита деникинская конница Мамонтова. А в ноябре 1919 г. была создана Первая Конная армия Буденного.

А не достанешь, не достанешь!!!

В это время голод охватил уже всю страну. Голодали не только промышленные районы страны, голодала даже доведенная до крайнего истощения, вся обескровленная, ограбленная, богатая хлебом Украина. Цены на продовольствие росли с головокружительной быстротой.

Вместе с голодом нагрянули вечные и неизбежные спутники разрухи и нищеты повальные инфекционно-эпидемические болезни: сыпной и возвратный тиф, скарлатина, дифтерит, холера, черная оспа — эти остроинфекционные болезни нечем было лечить. Ни докторов, ни лекарств, лечились все своими домашними средствами. Эти болезни косили людей беспощадно, их не успевали хоронить.

Пустели дома. В доме напротив нас за одну ночь скончалась вся семья из шести человек, и я из окна видела, как вынесли четыре больших и два маленьких гроба. Бабушка и те соседки, кто держался еще на ногах, ходили обмывать и одевать покойников. Когда бабушка возвращалась, от нее пахло воском и ладаном, которым окуривали покойников.

Заболела черной оспой моя подруга, девочка моих лет, меня к ней не пускали, но через окно я видела, как болезнь превратила ее в страшную куклу, покрытую язвами. Она металась и стонала в постели. У нее были завязаны руки, мне сказали, для того, чтобы она не раздирала нарывы, после которых оставались безобразные, глубокие шрамы на лице и на всем теле на всю жизнь.

Наташа умерла. А я, прижавшись к окну, смотрела на небольшой гробик, в котором лежала Наташа, с чужим, обезображенным болезнью личиком. Возле гроба, как каменная, не шелохнувшись, стояла ее мать. Наташа не была похожа на себя, и мне казалось, что это обман, что это чужая незнакомая девочка, а моя Наташа, с которой я так недавно играла, беззаботно и весело носилась по саду, сейчас подбежит ко мне со звонким смехом.

Гробик унесли, и над ним вырос холмик из свежей промерзшей земли.

«Что такое смерть? Почему она входит в дом, безжалостно, жестоко уносит навсегда без разбору кого ей захочется, и ни слезы, ни отчаяние, ни мольбы не помогают?», — думала я.

И долго меня мучил образ Наташи. Я закрывала глаза и видела Наташу, которая, вскочив на кровать и хлопая в ладоши, кричала:

— А не достанешь, не достанешь!

А из-под кровати вдруг выползала *смерть*! Безносый, страшный скелет, и со страшной улыбкой протягивал к ней руки и смеющаяся, румяная Наташа превращалась в черную, обезображенную куклу.

Мне становилось *страшно*. Мне казалось, что она и ко мне протягивает свои костлявые руки и шепчет:

— Вот и к тебе доберусь, доберусь.

И я с ужасом бежала к взрослым, стараясь найти у них защиту. С тех пор я стала бояться темноты, одиночества, темных углов и завывания ветра, мне казалось, что всюду притаилась и в любую минуту может выскочить эта холодная, костлявая старуха-*смерть*.

Мой саван

К мысли о смерти все уже привыкли и смотрели на нее, как на что-то неизбежное. Плакать? Но и на это нужны были силы, а их ни у кого не было. Они только говорили:

— Ну, вот и Николаевна *отмучилась*… Слава Богу — умерла.

Этим они выражали свое соболезнование не то ей, не то себе, что им еще предстоит мучиться.

Заболела тифом и я, да так тяжело, что какая-то сердобольная соседка пошила мне белую длинную рубашку — саван, в которую собирались нарядить меня в гробу и которую я потом долго носила, как ночную рубашку.

Во время болезни у меня образовался на спине под правой лопаткой огромный, с куриное яйцо, нарыв. И когда все считали, что мой конец уже близок, меня обмыли, уложили на чистые простыни, а нарыв вдруг прорвался, и я очнулась. Я до сих пор помню эту минуту, как будто горячая липкая струя обожгла мне спину, и я почувствовала такую необыкновенную легкость во всем теле, что, мне казалось, я могу взлететь.

После кошмара болезни я особенно остро запомнила *чувство голода*. Я очень хотела есть, а есть было нечего.

Голод

Отец и мать были на фронте. Отец всю гражданскую войну сражался в рядах Красной армии против Каледина, Деникина, Петлюры, против Врангеля, а в конце гражданской войны был назначен командиром специального кавалерийского отряда по борьбе с бандитизмом на Украине в Гуляйпольщине — знаменитой родине батьки Махно.

Мы продолжали жить у дедушки.

Как сейчас помню весну этого года. Помню, как из-за горизонта рано утром зловеще поднималось кроваво-красное горячее солнце. Пожилые люди, с ужасом глядя на восток, говорили:

— Будет засуха, неурожай, голод.

Прошло знойное душное лето с отвратительными сухими ветрами, дувшими, как из раскаленной печи, из Каракумской пустыни. Ни тучки на небе, ни росинки на траве. Посевы, зазеленевшие весной за счет накопившейся за зиму влаги, не сумев подняться от земли, пожелтели, свернулись и застыли в своем желтовато-сером спокойствии.

Даже косилки в то лето не выезжали в поле. Косить было нечего. Мычала голодная скотина, возвращаясь с пастбищ.

Надвигалась ужасная осень и жестокая, голодная, холодная зима.

— Новая власть… Голод в России, нехорошее предзнаменование, — сетовали старики.

Все закрома были пустые, скотина уничтожена. Бесконечная война обескровила, ограбила страну. Отсутствие рабочих рук, инвентаря, лошадей, мобилизованных и угнанных, как и люди, на фронт, усугубили жестокий удар природы. Пахали на коровах и волах, коровы перестали доиться, волы без корма издыхали.

Начался повальный голод по всей советской республике. Особенно пострадали разоренная Украина и Поволжье.

Кто-то говорил, что за Доном, в Ейске, на Кубани относительное благополучие. Туда и хлынул народ в надежде привезти хоть пудик муки, и наш дедушка решился поехать. Продали все, что случайно сохранилось от бесконечных обысков и грабежей. Уехал.

Как сейчас помню, вернулся больной, измученный. Положил буханку черствого, черного хлеба на стол, не сел, а упал на стул и сказал:

— Вот и все. Скажите спасибо, что живым домой вернулся.

По дороге всех задержали, продукты у всех реквизировали. Мы с ужасом смотрели на эту картину. Чувство голода нам было знакомо давно. В начале нам бабушка пекла по одной пресной лепешке, потом с отрубями, потом отруби пополам с травой. Запах свежеиспеченного хлеба преследовал нас. Мы не просили ни сладостей, ни конфет, нам только хотелось съесть кусочек хлеба.

Сколько надежд возлагали мы на дедушкино возвращение! Помню, как мы с голодной мольбой смотрели на бабушку и как она, разделив свой последний кусочек, успокаивала нас.

— Потерпите детки, вот дедушка скоро вернется, тогда я вам хлебушка испеку.

Запах свежеиспеченного хлеба преследовал нас. Как она бедная, худенькая, почти вся высохшая, жила, даже трудно представить.

Белые мухи

Коммунистов в те годы было не так много, но о том, что наш отец коммунист-большевик, я слышала и знала с тех пор, как помнила себя. Одни произносили слово коммунист с гордостью и восторгом, другие с ненавистью и шипением.

И я помню, как однажды вечером у дедушкиного дома, где обычно собирались соседи, как на сходку, рассаживались на чем попало и жарко обсуждали происходящие события, кто-то сказал.

— А вот скоро прилетят наши белые мухи, и тогда мы этих

коммунистов-большевиков будем стрелять и вешать.

И хотя я не могла понять и не понимала, что происходит вокруг, но где-то в глубине души мне казалось, что отец и его молодые веселые друзья боролись за что-то очень хорошее, справедливое, и правда на их стороне. Я ушла с глубокой обидой и долго плакала в ту ночь. «За *что? За что надо убивать, стрелять и вешать большевиков-коммунистов, если они все борются за что-то очень хорошее для всех людей*?»

Мы в это время были одни, с нами не было ни отца, ни матери, и увидим ли мы их когда-нибудь или никогда, мы тоже не знали.

Мама приехала!

Поэтому огромной неописуемой радостью было для нас внезапное появление матери в одно холодное зимнее утро. Она вошла в дом, шатаясь от усталости, с разбитой окровавленной ногой.

Мама рассказала, что ехала она к нам на поезде, на открытой раме, согнувшись в три погибели, под какой-то цистерной. В таком положении в декабрьский мороз надо было не только удержаться самой, но еще удержать в онемевших от холода руках драгоценный груз — муку, а ведь мука была все! Дороже всех благ на земле, ради муки люди шли на смерть и на муки. Окоченевшие от холода руки и ноги не удержали ее, и она свалилась на ходу с поезда в глубокий ров, чудом осталась живой и только сильно поранила себе ногу. Как она дошла? Из разорванного башмака шла кровь. Мама вошла в дом хромая, оставляя за собой кровавый след. Мы не сразу узнали ее, так сильно изменилась она, и я часто, украдкой смотрела на нее, мне казалось, как будто кто-то подменил ее.

Чувствуя мой взгляд, она оборачивалась, и я встречала теплую, родную улыбку ее красивых темных глаз. Те же чудные волнистые волосы, красиво причесанные, как будто она только что вышла из парикмахерской, тот же тонкий с горбинкой нос, все было знакомо. Но, что-то изменилось: что-то очень грустное, скорбное появилось в ее лице.

Я обнимала, прижималась к ней так крепко, как будто боялась потерять ее снова, и запах, до боли знакомый с детства запах матери наполнял меня чувством трепещущей радости.

Мне казалось, что это сон, что я проснусь, и этот сон исчезнет, и снова потянутся грустные дни одиночества, голода, болезней и смертей.

Мы едем к папе

Мать действительно собиралась уезжать, но не одна, вместе с нами. Она сообщила нам, что отец жив, был жив, когда она оставила его. Он находится на одном месте, он командир особого кавалерийского отряда по борьбе с бандитизмом и остатками махновских банд в знаменитом Гуляйпольском уезде.

Увидев, в каком тяжелом положении мы находимся, она решила забрать нас с собой. И хотя отец был еще в армии и в боях, оставить нас она боялась. В доме у нас было пусто, как говорят, хоть шаром покати.

Во время остановок всевозможных военных отрядов было съедено все съестное и все живое, а во время обысков уносили все остальное. И даже я удивлялась — ищут оружие, а тащат даже коробочки с запонками и различными безделушками (для меня все ювелирные изделия были безделушки), и как-то бабушка с грустью сказала:

— Ничего, ну абсолютно ничего не осталось, что можно было бы обменять хоть на кусок хлеба.

Впереди всех ожидала длинная холодная, голодная зима.

Начались сборы, они были незатейливые. На дворе стояли жестокие морозы, а наша одежда далеко не была приспособлена к путешествию в такую зимнюю стужу. У нас не было ни теплого белья, ни платья, ни обуви. Но мать спешила с отъездом, так как в тех условиях, в которых находился отец, все могло случиться. Мы могли не найти отца в этом месте, а может быть даже в живых.

Взять детей к себе при таких условиях жизни было почти *безумие*, но голод сделал свое. Мама, благодаря своей изобретательности, сумела старые поношенные вещи, даже одеяло, превратить в нашу одежду. Но самое главное и страшное было — чем кормить нас в дороге. Ту муку, которую она привезла перед отъездом, обменяв ее на обручальное кольцо и золотые серьги, надо было оставить родным. Мука в то время была не просто питанием, а служила *обманом сознания*, что вот есть еще горстка муки, и люди чувствовали моральное спокойствие, что при ее помощи можно склеить любой неудобоваримый продукт.

Наступили сильные морозы. Мама еще не поправилась, но, скрывая свою боль, она стремилась в дорогу.

Далекое путешествие

Наконец мы на вокзале. Наступила темная, холодная ночь. На дворе завывала вьюга, ветер свободно гулял по вокзалу, наметая

сугробы снега через разбитые стекла.

Снег не таял. Вокзал не топили. Утомленные голодом и холодом, мы даже уснули на голой деревянной лавке. Здесь мы провели не одну ночь, а несколько жутких, холодных ночей в ожидании возможности сесть на поезд. Поезда ходили редко, а если подходили, то были до отказа набиты людьми, как внутри, так и снаружи. Голод и холод сорвал всех с насиженных мест и гнал всех в далекую неизвестность в поисках куска хлеба.

Одни говорили, что на Кубани хорошо, люди ехали на Кубань. Другие говорили, что на Украине хорошо, люди ехали на Украину. Люди менялись местами, но положение не менялось. Это был тяжелый, страшный, повальный голод и катастрофическая, даже еще не послевоенная разруха, т. к. во многих местах еще шли жестокие бои.

Наконец среди ночи пришел долгожданный, битком набитый внутри и обвешанный людскими гирляндами снаружи, поезд. Пассажиры бросились к нему, но к поезду даже близко подойти было невозможно. Толпа просто тащила вас вперед-назад вдоль поезда.

Не только внутри не было *ни одного* свободного места, но и снаружи не было ни одного свободного крючка, на котором можно было бы повиснуть.

Чудо

Вырвавшись из толпы, мы очутились возле паровоза. Здесь было пусто. Поезд был готов вот-вот уже тронуться каждую минуту. Мама была в отчаянии. Она знала, что если мы останемся, то нам снова надо будет бог весть сколько ожидать, и картина все равно будет одна и та же.

И вдруг произошло чудо. Машинист подбежал к нам, схватил Шурика на руки и посадил на свое место, справа у открытого окна паровоза, а меня и маму на открытую платформу с углем, который он огромной лопатой бросал в топку паровоза. Вот на этой открытой платформе с углем в нестерпимую декабрьскую стужу я сумела даже вздремнуть, прижавшись к матери. Проснулась я от того, что я вместе с углем сползла в образовавшуюся воронку на огромную лопату.

Здесь я увидела огромное огнедышащее жерло топки паровоза и Шурика, сидящего у окна, красного от огнедышащей топки с одной стороны, продуваемого насквозь ледяной струей ветра с другой. Я же мало сказать замерзла, я просто окоченела. Я дрожала так, что слышно было, как щелкают мои зубы. Но этот машинист мне казался добрее всех ангелов на свете.

Так под утро мы очутились на станции Юзовка. Здесь нам предстояло пересесть на другой поезд и дальше еще на третий. Какое магическое слово сказала мама машинисту, я не знаю, но рано утром, прощаясь с нами, наш спаситель очень жалел, что дальше ничем не может помочь нам, и попросил:

— Передайте Ивану (это папе), что он мне как брат родной. Сколько раз мы от смерти друг друга спасали. Передайте ему, что нашего друга Николая Папаса деникинцы повесили и у *живого* на груди *красную звезду* вырезали. Привет от Григория, живы будем, свидимся.

Так хорошо я запомнила это потому, что меня потрясли слова *«у живого на груди звезду вырезали»,* я никак не могла забыть этих слов.

Пешком по сугробам

Было очень рано, холодно. Хотелось зайти в вокзал согреться. Но когда мы подошли к вокзалу и попробовали открыть дверь, она не поддавалась нашим усилиям. Подошел военный и, отстранив нас, открыл с силой дверь и зашагал внутрь по ногам, по рукам, по головам. На полу до самой двери лежали вповалку здоровые, тифозные больные, раненые, покрытые все вшами, как просом. Одни стонали, другие бредили. Пройти внутрь было физически невозможно. Из открытой двери валили клубы пара и шел нестерпимый смрад. Впереди не было никакого просвета. Шурик с испугом прижался к матери:

— Мама, я не пойду туда… — сказал он и мы пошли в сторону ж-д. путей.

Подошел поезд, идущий в нашем направлении. Все бросились к нему, совали огромные пачки денег, чтобы только попасть в него. Когда мы протиснулись сквозь толпу, с нас запросили такую сумму денег, что мать даже ахнула. Поезд ушел, и на перроне остались стоять мы и несколько таких же бедолаг. Кто-то сказал, что до следующей станции всего-то километров шесть.

— Мама пойдем пешком, — сказал мой мудрый пятилетний брат. — Ты нам лучше хлеба на эти деньги купи.

И мы пошли. Выхода у нас не было. Дорога оказалась длинная, не 6, даже не 10, а все 12 или даже больше километров. Шли мы долго, прямо по глубоко заснеженному полю, мы, дети, стойко выдержали это испытание.

Военный эшелон

На вокзале, после нескольких неудачных попыток сесть в

проезжавшие поезда, мать подошла к стоявшему на запасных путях военному эшелону, и здесь нам снова повезло. Когда мать сказала зачем, куда и в какой в отряд ей нужно скорее вернуться, мы сразу очутились в теплушке, среди военных. В этом вагоне оказался военный, который заявил, что он был в одном отряде с папой.

— Как же не знать, мы же вместе Курск освобождали, — сказал он.

Посреди вагона ярко горела «буржуйка» и кипела в котелке пшенная каша.

Когда каша была готова и все начали есть, Шурик, уткнувшись матери в колени, тихонько и горько заплакал.

— О чем это он? — спросил кто-то из военных.

— От голода, — ответила мать.

И все военные сразу разделили с нами свою скудную трапезу. Как долго мы ехали в этом вагоне, я не помню. Я только помню мучительно длинные остановки и мучительно нестерпимый голод, и если бы с нами не делили свой скудный паек военные, не знаю, как сумели бы мы выдержать.

В вагоне их было человек 12, веселых, молодых. Бывший соратник нашего папы рассказывал всем про свои походы где-то под Курском в одном отряде с нашим папой.

— Входим мы, значит, с нашим командиром (с нашим папой) в дом — темень, хоть глаз выколи. Начали приглядываться, ноги с печи торчат, а кругом чернота и сажа, как паутина, только тараканы шуршат. А знаете, хлопцы, что это такое? Да там же по-черному топят, дым, значит, не в трубу пускают, а прямо в хату, и он процеживается сквозь соломенную крышу, и вся хата, как труба, в саже.

Ребята не верят, хохочут.

— А в другой раз зашли мы в дом, — так себе чистенький, принесла нам хозяйка молока попить. Быстро вынула из кувшина лягушку на веревочке за ножку и сказала: — Я вам с «холодушечкой» налью. Мы все пулей выскочили из хаты.

Наш молодой спаситель был очень веселый, разговорчивый парень откуда-то из-под Полтавы. Он всю дорогу неугомонно рассказывал о своих военных похождениях и о том, как глубоко поразила его бедность в тех местах России, в которых ему пришлось побывать как военному и как освободителю.

Вот мы и дома…

На нашу станцию Просяную мы прибыли ночью. Нас встретил начальник станции и пригласил к себе. Жена его напоила нас

горячим сладким чаем с ломтиком белого хлеба.

Начальник станции послал человека сообщить отцу, что мы приехали. Но его на месте не оказалось, он уже 3 дня был в походе, освобождая какие-то села от каких-то налетов.

За нами приехал молодой военный на санках. Он всю дорогу старался развеселить нас, рассказывая всевозможные, как ему казалось, забавные истории. О том, как они неожиданно налетали на села, в которых пьяные, разгулявшиеся бандюги грабили, насиловали, убивали, и как они полураздетые в панике драпали, теряя по дороге награбленное добро и оружие. И как они натолкнулись на колодезь, полный изувеченных трупов женщин и детей.

Наконец после долгих мытарств, до смерти уставшие, по хорошей санной дороге в ночь под Рождество мы добрались «домой».

— Вот мы и *«дома»* — сказала мама.

Это «дома» был огромный дом священника. Четыре комнаты с левой стороны от входа занимал священник с семьей. Все правое крыло этого дома с пристройками занимали военные, с левой стороны была канцелярия и какие-то еще помещения. Наша комната была посередине проходная, она соединяла часть дома, в которой жили и спали военные, и канцелярию, или помещение штаба. В нашей комнате справа от входа стоял диван, на котором спали мы с братом, рядом между двух окон стоял стол и 4 стула, а с противоположной, левой, стороны комнаты находилась кровать родных и в углу плита, на которой всегда кипел чайник для всех военных, которые заходили или проходили через эту комнату.

Несмотря на ранний час, нас очень приветливо встретила пышная красивая жена священника Пелагия Федоровна. Напоила нас чаем с сахарином и белыми булочками из пузатого ярко начищенного самовара, который стоял на столе под красивой хрустальной люстрой, блестевшей всеми цветами радуги.

За столом в черной рясе сидел высокий, худой молодой священник, и мне казалось, что его шелковистая борода и волнистые длинные волосы ловко приклеены. Мама очень оживленно с ним разговаривала, и я решила, что они знают друг друга уже давно.

Меня и брата Шурика познакомили с тремя детьми священника, чинно сидевшими за столом: Николенькой, Оленькой и Сашенькой. Они молча наблюдали за мной, и вдруг Николенька подскочил, как ужаленный: «Мама, да она уже третий кусок сахаина в чай кладет». И я не успела оглянуться, как мой чай выплеснули в полоскательницу.

— Вот хорошо, вот спасибо тебе Коленька, — заметила Пелагея Федоровна, глядя на сына и на меня ласково.

«Жадюля, — подумала я про себя, покраснев до ушей, — пожалел. Если с одним кусочком сладко, то с тремя было бы слаще».

Но вся моя обида исчезла, когда нас пригласили в другую комнату, в которой сверкала роскошно убранная елочка.

За домом был огромный, утопавший сейчас в сугробах снега, парк. Напротив дома, посреди огромной открытой площади, за красивой железной оградой, выкрашенной в зеленый цвет, стояла большая белокаменная церковь с позолоченными луковицами, над которыми с шумом носились стаи черных ворон, и несметное количество серых воробьиных комочков шевелили затоптанный в снегу навоз вокруг церковной ограды.

В Дибровском лесу

Это большое село под названием Мало-Михайловка было расположено между Гуляйполем и Дибровским лесом, к которому боялись приближаться ночью и днем не только местные жители, но даже и воинские части.

В этом лесу после набегов и грабежей находили приют и убежище всевозможные разрозненные и организованные, как тогда их называли, банды и также остатки когда-то многочисленных махновских отрядов.

Здесь, в этом Дибровском лесу, у махновцев был устроен под землей великолепно закамуфлированный, хорошо оборудованный, неприступный бункер.

Напротив Дибровского леса находилось другое большое село — Большая Михайловка (или Дибривка), 900 дворов, которое почти все дотла было сожжено карательными отрядами австро-немецких оккупантов с помощью вернувшихся помещиков и немцев-колонистов, так как это село было известно своим крепким, партизанско-повстанческим движением, откуда вышло много идейных руководителей махновского движения.

Так очутились мы в знаменитом Гуляйпольском районе. Знаменитым его сделал анархист-коммунист — «батько Махно», который заявил что Гуляйполе это столица Анархо-повстанческой республики.

Армия Махно, ведя бескомпромиссную войну с австро-немецкими оккупантами на Украине, помогла уничтожить гетманщину и ликвидировать петлюровщину. Она боролась как с белым контрреволюционным движением на Украине, так и с Красной армией.

С последней она часто объединялась для совместной борьбы против Белого движения, но как только цель бывала достигнута, разногласия обострялись, и начиналась жестокая борьба между Красной армией и Махно. И несмотря на то, что Нестор Иванович Махно считал себя анархистом-коммунистом, все считали его большим разбойником. Он был смелый, бесстрашный, до наглости решительный и беспощадно жестокий.

Страх и ужас охватывали население, когда сотни пулеметных тачанок и многочисленная конница армии Махно, доходившая иногда до 50 тысяч разношерстных бойцов, внезапно с грохотом и свистом врывались в города и села. Они жгли, крушили, грабили, уничтожали помещичьи усадьбы, кулацкие хозяйства, вешали и расстреливали урядников, священников, офицеров и всех тех, кто с точки зрения Махно являлся символом народного рабства. А

после пьяного разгула, опустошительных грабежей и насилия они покидали населенные пункты. Стреляя без разбора направо и налево и так же без разбора убивая, махновцы оставляли после себя горы трупов. А за ними следовали тачанки, нагруженные добычей: золотом, тюками всевозможной одежды, ящиками с коньяком, спиртом и водкой.

Махно также крушил, разрушал и взрывал тюрьмы, т. к. считал, что тюрьмы являются символом народного рабства и что буржуазия всех стран в течение тысячелетий укрощала бунты народа плахой и тюрьмой, а свободному народу они не нужны.

Вначале Махно крепко поддерживали украинские беднейшие крестьяне. Когда он собирался в поход, то в мгновение ока мог собрать многотысячную армию мужиков-партизан, он умел зажечь толпу своими речами. Кончался бой — и эти же мужики мирно стояли у своих хат, как ни в чем не бывало, в то время как немецкие и австрийские войска с ног сбивались в поисках махновцев.[8]

Конец гражданской войны

Итак, 15 ноября 1920 г. закончилась абсолютно никому не нужная, бессмысленная, братоубийственная, безжалостная, жестокая, кровопролитная почти 4-летняя Гражданская война. Эта война кроме горя, страданий, разрухи и голода ничего не дала стране, за которую якобы воевала Добровольческая, а позже, так называемая, *Русская армия.* По существу, это была не армия освободителей, а *армия мстителей.* Она мстила за могучую *народную революцию,* которая разрушила, разбила, уничтожила старый строй в России.

Мстила народу за защиту Октябрьской революции, которую народ совершил в *глубокой надежде* создать *новый, справедливый,* свой рабоче-крестьянский строй в измученной, уставшей, веками эксплуатируемой России.

Мстила народу, который *хотел избавиться* от *своих поработителей* и от иностранной зависимости, народу, который шел на смертный бой *за землю, за волю, за лучшую долю* и за светлое будущее счастье на всей нашей планете, если не для себя, то для будущих поколений на земле.

Читая и перечитывая литературу, написанную самими участниками или историками, изучающими вопросы *причины неудач белых в гражданской войне,* приходишь к одному единственному заключению: что на фоне существовавшей в это смутное время неразберихи только у большевиков были выдвинуты те лозунги и выражены те цели и задачи, за которые

народные массы готовы были идти на смерть. Рабочим обещали фабрики и заводы, крестьянам землю и всем, всем мир, свободу, полную независимость и *райскую жизнь* здесь, на земле, а не на небесах. А *что такое коммунизм, что такое социализм, никто никакого понятия в то время не имел*[9].

Впроголодь

Отца мы увидели только через несколько дней. Когда он вернулся из какого-то похода, мы оба, я и брат, лежали тяжело больные. У меня от голода и истощения появились глубокие язвы на теле, шрамы от которых остались на всю жизнь. Помню, как он, влетев в комнату, крепко прижал нас к своей пахнувшей снегом и лошадиным потом шинели, какое счастье было увидеть его! Он сказал, что почти всю неделю не слезал с лошади, так было трудно.

Голод в этом обильном богатом крае становился все более жестоким.

Голодали все. Армия питалась впроголодь. Их паек был мизерный, выдавали иногда кусочек синей солонины, немного сахара и хлеб, если то, что давали, вообще можно было назвать хлебом. Это была черная твердая масса, в которой было больше соломы, чем муки. Когда его ломали, то оттуда торчали т. н. по-украински «устюки», то есть мелко нарезанная солома или полова, кое-как склеенная мукой. Вкуса хлеба в ней не было и в помине. До сих пор помню, как этот хлеб царапал до крови горло, окрашивая слюну в красный цвет, как трудно было проглотить его. И даже этого хлеба, который так трудно и больно было глотать, не было в достатке.

Отец получал такой же паек, как и все красноармейцы. В отряде отца среди красноармейцев были два закадычных друга — Петька-пулеметчик и Федька-каптенармус, и я помню как каптенармус, веселый кудрявый Федька, намекнул однажды отцу:

— У вас дети больные, разрешите выписать немного продовольствия на ребят.

Отец категорически и твердо заявил:

— В армии я, а не мои дети.

И веселый кудрявый Федька даже заикнуться об этом после не смел. О каких-либо поблажках для высшего состава отец и слышать не хотел.

На площади вокруг церкви каждое воскресенье собирались по старой памяти традиционные украинские базары. Крестьяне привозили кое-что из своих пожитков, цены были астрономические, деньги ничего не стоили. Миллионы равнялись

копейкам. Торговля шла полным ходом. Спекуляция расцвела пышным цветом. Спекулянты наживали состояния, обменивая за кусок хлеба или за кружку муки бесценные вещи. За пуд муки покупали дом, здесь же рыскали местные власти, шла жестокая борьба со спекуляцией.

Голод не утихал, по утрам подъезжала подвода и на площади вокруг церкви подбирала замерзшие, окоченевшие от холода и голода трупы. Появились слухи о людоедстве. Где-то находили обглоданные человеческие кости. В купленном на рынке холодце кто-то нашел детский мизинец. Задержали мать, которая съела двух своих детей. Люди сходили с ума. Никогда не изгладится у меня из памяти вид этой женщины с воспаленными безумными глазами. Быть людоедом своих собственных детей! Говорили, что воруют детей и просили не отпускать детей одних далеко от дома.

Голод в это время был настолько жестоким, что даже при всех предпринятых Лениным чрезвычайных мерах погибло около 6 млн. человек.

Ленин, невзирая ни на что, обратился к капиталистическим странам за помощью, капиталистические страны соглашались оказать помощь голодающим только при условии, что советское правительство признает долги царской России и возвратит национализированные предприятия иностранным капиталистам.

Когда я болела, прибегал Николенька, всегда чистенький, причесанный, как мышонок.

— Скажи ты все сейдишся за сахаин? — картавя, спрашивал он. — Я тебе прейсфийку и огайок свечки пиенес, давай кавалейею сделаем.

Мы крепко подружились и все окна в комнате превращали в зверинцы, в армию, в героев из сказок при помощи воска, ножниц и бумаги. Девочки были чуть постарше нас и, когда мы собирались вместе, они читали и рассказывали нам какие-то интересные истории, особенно Оленька, иногда очень страшные.

Как-то прибежали все трое и потащили меня в дом через дорогу. Тетя Даша открыла нам дверь и провела нас в комнату, здесь я увидела то, что запомнилось на всю жизнь. Посреди комнаты на круглом столе стояли рядышком пять гробиков размером чуть-чуть больше коробочек из-под детских туфелек, и в каждой из них лежала мертвая куколка. Возле стола сидели две женщины — молодая мать этих пяти деток, которые, не успев родиться, здесь же скончались, и их бабушка. Мы зажгли, поставили свечки и потихоньку удалились. Такое событие! Родилось у женщины сразу пять младенцев. И никто в то время не обратил на это никакого внимания, а какое это было бы событие в

других условиях!

Горькая весть

Всю ночь бушевала вьюга, так сильно, что дребезжали стекла. Утром через сильно замороженные окна трудно было разглядеть, что же делается на дворе. И вдруг открылась дверь, и из канцелярии, весь облепленный снегом, как дед мороз, в комнату вошел наш милый, родной дедушка. В этом похудевшем, уставшем, посиневшем от голода и холода человеке с трудом можно было узнать нашего красавца дедушку.

Мать бросилась к нему:

— Папа, как ты добрался? Как мама?

Тяжело опустившись на стул, он с трудом произнес:

— Я пришел, чтобы вы нас спасли от голода.

И, отдышавшись немного за стаканом горячего чая, сообщил нам страшную, жуткую весть, что от голода умерли мать и отец папы. Умер дедушка Федор, а несколько дней спустя скончалась бабушка Ирина. У людей не было сил похоронить их на кладбище, и их похоронили во дворе в погребе, где всегда летом хранили лед. Они жили тоже недалеко от Мариуполя, на расстоянии 18–20 километров, в селе Сартана.

Отец вздрогнул, закрыл лицо руками, и я видела, как дрожали его пальцы и плечи. Эта страшная весть потрясла нас всех, особенно отца. Он — их единственный сын, в котором они души не чаяли, боролся, отдавая все свои силы, рискуя каждую минуту своей жизнью, за счастье всех людей на свете, в то время как его родители умирали от голода, а он ничем, абсолютно ничем не мог помочь им.

Я уже знала, что такое голод, и понимала, какая это мучительная, жестокая смерть. Я уже много видела смертей за свою короткую жизнь, но так близко она еще не коснулась меня. Я вспоминала их милые, дорогие мне лица. Перед моими глазами стояла моя стройная, гордая бабушка. Она была такая красивая и ласковая, что на нее все заглядывались. Бабушка была особенная. Дедушка был, просто дедушка — голубчик, милый, ласковый, любил удить рыбу, гулять с нами и ходить со мной в длинные-предлинные прогулки. И вот их нет, нет, нет теперь, они умерли такой ужасной, мучительной смертью. Это казалось мне немыслимо и, уткнувшись в подушку и натянув на себя одеяло, я проплакала весь день. И даже этот жуткий горько-соленый кусок хлеба я не могла проглотить.

Да что тогда, мне всю мою жизнь, до сих пор, без горечи и боли тяжело вспоминать об этом, и так же, как тогда, когда

вспоминаю, кусок застревает у меня в горле.

Отец так сильно переживал, что на него больно было смотреть. У него не было даже времени молча в тишине пережить свое страшное горе.

Налеты становились все более смелыми и жестокими.

И не успел отец прийти в себя, как в комнату ворвался раненый человек. Он с ужасом, без конца твердил:

— Та воны всих, всих поубывалы. Всих начальникив поубывалы. Воны ж думалы, що я мертвый.

Немедленно раздалась команда отца:

— По коням!

И послышался топот бегущих красноармейцев.

Этой ночью налетела какая-то банда на деревню и всю ночь продолжала убивать, грабить и насиловать.

Я подбежала к отцу, обняла его, он прижал меня к себе с такой силой, что я почувствовала, как дрожало все его тело и сердце билось так сильно, что мне казалось, что всем слышно.

И так продолжалось несколько дней подряд: не успевали красноармейцы освободить одну деревню, не успевали ввести лошадей в конюшни, как их ожидали уже в другом месте, и снова раздавалась команда:

— По коням!

Такой была еще жестокая действительность в то время. Свое горе некогда было горевать. Кругом все еще шла кровавая, беспощадная драка. Окрестность была терроризирована настолько, что люди умоляли отца остаться. Обещали поить, кормить весь отряд, только бы иметь защиту.

Сказка и жизнь

То, что окружало нас, недолго занимало меня своей новизной, я сильно тосковала о своих бабушках и дедушках. Мы выросли у них на руках, и моя привязанность к ним была такая же сильная, как к отцу и матери, и разлуку с ними я переживала очень тяжело.

Жизнь родных, насыщенная вечной тревогой, опасными походами, боями и стрельбой, ранеными и убитыми, быстро измотала нас, детей. За нами часто заходили какие-то нам незнакомые люди и уводили нас к себе, иногда на несколько дней, пока все не утихало.

Мне хотелось от того, что происходит вокруг нас, уйти, скрыться, чтобы никто нас ночью не будил, не отрывал от теплой постели и, завернув в шинель, не тащил на мороз во двор, где иногда со всех сторон шла какая-то беспорядочная перестрелка,

бряцало оружие, ржали кони. А затем мы попадали в какую-то незнакомую избу и на нас смотрели чужие ласковые люди и, сокрушенно качая головой, говорили:

— Диты, як квиточки, тильки б жыты та радуватыся, а тут дывись чи вернуться батько, та маты, чи ни.

Эти жалостливые слова сжимали мне сердце жгучей болью, хотелось плакать, становилось жаль себя и Шурика, который, так же как и я, не понимая, что происходит, испугано прижимался ко мне. Мы тихонько подходили к окну, протаивали в толстом заиндевелом стекле дырочку и весь день тревожно смотрели во двор, ожидая возвращения родителей.

Родные спасли нас от голодной смерти, но ничего они больше нам дать не могли, забот и волнений у них было столько, что им было не до нас. И так мне хотелось снова очутиться там, где остались такие уютные бабушки и дедушки.

Я никак не могла понять, зачем нас оторвали от родного гнезда, и теперь мы должны скитаться по свету, а как хорошо было там, думала я, в такие же пушистые зимние дни.

Я вспоминала, как после сильной вьюги, когда наметало огромные сугробы снега, я затевала игру: набирала полные стаканы снега, ставила на теплую плиту и наблюдала, как снег превращается в воду, и удивлялась, почему сахар, такой же белый и пушистый, не тает так же, как снег.

— Пора спать, — заявляла мама, укутывая меня поплотнее в теплое одеяло, и я спрашивала у мамы:

— А она злая?

— Кто злая?

— Да вот эта вьюга-ведьма.

— Пурга действительно злая, но она не ведьма, это просто сильный ветер заметает снег. Спи ты, неугомонная. Не буди брата, — и, чмокнув меня в лоб, мама уходила.

Я оставалась недовольная маминими ответами, у мамы было все просто. Другое дело у бабушки Ирины. У нее все вещи имели свой особый характер, имели свое объяснение, и мне очень нравилось слушать ее рассказы, и я глубоко верила им.

Вот и вьюга, по бабушкиным рассказам, была страшная седая старуха, которая хватала длинными костлявыми руками охапки снега и разбрасывала их с диким хохотом вокруг себя. Когда я заскучала и захотела пойти к своей подруге Зое, бабушка сказала, что пурга очень злая, она не любит, когда детки гуляют и мешают ей беситься, она может схватить меня в свои холодные объятия и заморозить насмерть. Это было понятно, страшно и очень интересно. Я больше никогда не просилась погулять в пургу. А мама говорит — ветер и снег, разве это страшно? У мамы все

просто.

Вот летом я любила заглядывать в колодец, бросать туда камешки и наблюдать, как поверхность воды вдруг оживала. Мама кричала:

— Уйди от колодца, упадешь туда!

Бабушка просила:

— Отойди от колодца, не беспокой водяного, вот он схватит тебя за косы и утащит к себе, — и я стала обходить колодец.

А здесь я часто убегала к папиному и моему любимому коню Ваське и горько жаловалась ему:

— А знаешь, Васенька, если бы ты знал дорогу, увез бы ты меня домой, — и я рисовала ему счастливые картины, о которых я сама так тосковала. — Я бы овса тебе свежего дала, на речку купать тебя водила, а потом долго бы летала с тобой по полю, пока солнце не зашло и бабушка не позвала бы нас ужинать. Ты знаешь, Васенька, нет уже ни дедушки Федора, ни бабушки Ирины, и их беленький домик на крутом берегу речки стоит холодный и пустой. И больше никогда, никогда дедушка с трубкой в зубах не будет ходить со мной на рыбную ловлю и рассказывать мне страшные и интересные сказки.

А наша красивая бабушка никогда, никогда уже после долгих прогулок не будет встречать нас и кормить вкусно пахнущим обедом из овощей, собранных вместе со мной рано утром на огороде.

А вечером, Васенька, всегда приходили знакомые, мы пили чай с вишневым вареньем, и огромные звезды, как светляки, выскакивали на черной вуали неба, лягушки у реки прохладно и громко давали свой ночной концерт, а из садика доносился нежный и любимый запах ночной фиалки.

— Значит никогда, никогда этого больше не будет, — твердила я, заливаясь горькими слезами, глядя в его огромные, по-человечески печальные глаза. — Теперь, Васенька, папа — круглый сирота.

Мне было жалко папу. И жутко и холодно становилось от мысли, что и я тоже, в один страшный день, могу остаться сиротой.

Шурик

Все военные в отряде отца очень любили моего брата и проводили с ним все свободное время. По-видимому, он всем напоминал оставленных дома детей или младших братьев. Я помню, как каждое утро, как только раздавалась команда на проверку, мой брат срывался с постели, мчался на двор и

становился со всеми в одну шеренгу. Красноармейцы тащили и ставили его на табуретку:

— Наш правофланговый, — шутили те, кто проводил перекличку.

Мы с братом ходили заниматься к Наталье Петровне, мы ее очень любили. Она умела вырезать из разноцветной бумаги такие удивительные вещи: деревья, дома, животных, и все наклеивалось на картон, и получались усадьбы, сельскохозяйственные угодья, городские дома и улицы, по которым двигались экипажи.

Однажды, когда она открыла дверь, чтобы выйти, в дом ворвалась женщина, оттолкнув нас, она бросилась к столу, на котором лежала горсточка муки, и в мгновение ока, хватая двумя руками, засунула все себе в рот и так же мгновенно выскочила, мы не успели даже опомнится.

Наш Петя-пулеметчик женится

Рано утром, после большого снегопада, Николенька, Оленька и я деловито доканчивали нашего деда-мороза — у него уже все было на месте. Усы, для которых я отрезала концы своих кос, какая-то красная тряпочка вместо носа и угольки вместо глаз, даже метелка была у него в руках, не хватало только трубки во рту.

В это время во двор заехали, гремя бубенцами, широкие, по-праздничному убранные сани, и из них вышел такой же Дед Мороз, как и наш, но только в шубе и с трубкой в зубах.

И мы решили попросить или стащить ее хоть на время, за это взялся Николенька. И пока живой Дед Мороз, радостный и счастливый, приглашал всех, всех на свадьбу своей дочери Оксаны и нашего Петра-пулеметчика, его трубка очутилась у нашего деда во рту.

И я вспомнила, как накануне к нам в комнату не вошел, а влетел наш Петро и, сияя от радости, сообщил:

— Женюсь, женюсь на Оксане! Всех, всех приглашаю на свадьбу! Оксана сказала: «Щоб и диты булы», — сказал он, как Оксана, по-украински.

Оксана была «щира украинка», а Петр — настоящий сибиряк. Добрый, щедрый, он никогда, мне кажется, не съел кусок хлеба, не поделив его с нами, детьми. Я до сих пор помню этот жесткий хлеб, раздиравший горло до крови, и кусочки сахара, пахнувшие потом и махоркой.

звезда театра

Несмотря на голод, холод, разруху и на продолжавшуюся еще в той или иной форме войну, театр никогда не умирал. Он даже расцвел с невероятной силой, как никогда раньше. Здесь, в этом местечке, работал великолепный драматический театр. Шли замечательные украинские пьесы: «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем», «Назар Стодоля» и мн. другие. И новые, написанные тут же, о гражданской войне и революции, с невероятным количеством стрельбы и порохового дыма. Репертуар был обширный, и энтузиазм молодежи неугасимый.

Хотя артисты в основном были любители, играли они искренне, задушевно. Зрители реагировали замечательно, плакали, смеялись, гремели аплодисменты. Зал всегда был битком набит до отказа.

И все эти постановки начинались и кончались пением

«Интернационала». Пели все артисты на сцене: с правой стороны сцены стояли мужчины-артисты в широченных, «як море сине», шароварах, подпоясанные пестрыми украинскими кушаками, в серых смушковых шапках. Слева артистки в роскошно вышитых украинских костюмах, утопая в блеске монист и разноцветных лент.

И на фоне этой действительно потрясающей разрухи и голода гордо и мощно гремели слова «Интернационала»:

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой идти готов.

Зрители в зале вставали и подхватывали:

Весь мир насилья, мы разрушим
До основанья, а затем
Мы свой, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Пели с таким огромным, неугасимым энтузиазмом и с такой верой и надеждой на будущее, на то, что действительно «кто был ничем, тот станет всем», что казалось, эти люди могли свет перевернуть.

Под звуки этого «Интернационала» и других революционных песен прошло мое детство, и даже сейчас, когда я слышу их уже только на пластинках, перед моими глазами проплывают картины того далекого прошлого. Я вижу демонстрации под горячими лучами солнца, когда так хотелось пить, и так радостно и весело было вокруг, гремел духовой оркестр, пели песни. Или занесенные глубоким снегом села Украины с их роскошными театральными постановками, которые я так любила и не пропускала ни одной, а если нужны были в них дети, я всегда была под рукой.

Вечером здесь в театре шла оперетта «Наталка Полтавка». Играла и пела в этой оперетте Оксана. Мне и до сих пор кажется, что я никогда и нигде, ни в каком благоустроенном, с отшлифованными голосами театре не слышала лучшего и более искреннего пения.

В фойе театра был киоск, в котором продавали газеты, журналы и конфеты. Больше всего мне запомнились молочные ириски, светло-коричневые, блестящие, которые я даже не

попробовала.

Как всегда в театре было очень шумно и весело. Под конец пришел папа, после какого-то похода, его встретили аплодисментами. Отец иногда даже очень коротко выступал, заверяя всех, что советская власть стремится создать счастливое будущее и что ликвидация бандитизма и всякого сопротивления советской власти — задача всех и каждого живущего в этом районе человека.

Как всегда, закончилась постановка пением «Интернационала», и все веселой гурьбой проводили нас до калитки.

Оксана была звездой этого театра. У нее был такой ласковый красивый голос, что мне всегда хотелось броситься к ней и расцеловать ее.

Украинская хата

Рано утром мы выехали в то село, где жили родители Оксаны.

Оксана, крепко укутав нас в свой теплый овчинный полушубок и, прижав к себе, всю дорогу что-то весело щебетала.

Петро ехал рядом верхом на лошади. Кругом картина была, как на рождественской открытке. Чудесные украинские домики под соломенными занесенными снегом крышами, вокруг домиков плетни, колодцы с журавлями. Поражала чистота и тишина.

Семья Оксаны встретила нас всех как самых дорогих, родных гостей.

Снаружи их домик был такой же красочный, как и все остальные, с занесенным снегом садом и огородом, внутри все блестело от чистоты.

Все было сказочно красиво, но ничего здесь не напоминало мне мою любимую, с таким красивым именем, Македоновку. В ней все дома были городского типа, кирпичные, с балконами, большими окнами, под красными черепичными крышами.

Здесь слева при входе в самую большую горницу была большая белоснежная украинская печь, разукрашенная причудливыми узорами и петухами. Казалось, что это просто украшение и никто не пользуется этой печкой. Но ею пользовались зимой, и даже летом, но как только кончали готовить, ее снова подбеливали, подкрашивали, и она стояла чистая, яркая, нарядная, как будто никто к ней не прикасался. Длинный большой стол стоял в углу справа под образами. Вокруг портрета Тараса Шевченко висело ярко расшитое украинское полотенце.

Веселая, счастливая Оксана старалась сделать все, чтобы нам

было уютно и тепло. Нас накормили, притащили старые журналы «Нивы», карандаши, тетради, поставили керосиновую лампу и уютно устроили на лежанке возле печки.

Наш Петро в своей чистой военной форме выглядел красавцем. Оксана, в украинской ярко вышитой кофте, со своей белокурой косой вокруг головы, блестела красотой. Она сидела за столом между папой и Петром в «красном углу» под образами. Я не могла отвести от них глаз. Мать Оксаны хлопотала, вынимала кочергой горшки из этой нарядной печки, подавала ужин.

Выстрел

И вдруг в этой мирной, спокойной обстановке прогремел выстрел, зазвенело и разлетелось разбитое стекло, раздался легкий стон Оксаны, и она упала головой на грудь и на руки Петра, кровь быстро залила ее лицо.

В тот же момент, когда произошел выстрел, наша лампа упала, разбилась, обдав меня горячей струей керосина, которая обожгла мне живот и ноги. Наше счастье, что лампа погасла до того, как упала и разбилась.

Со двора раздался топот бегущих людей или лошадей, остальное мне до сих пор жутко вспоминать. Искали всю ночь. Следы вели в сад, но шел снег, и их быстро заметало. Прихватили каких-то двух типов, оказалось — не они.

Была страшная ночь. Так же как и все, я не могла уснуть всю ночь. Страшно горело обожженное горячим керосином тело, но я как будто окаменела и не могла оторвать глаз от мраморно-белого лица Оксаны, которая только что целовала нас, говорила какие-то ласковые слова и вдруг навеки умолкла, и можно было кричать, биться головой об стенку — и ничего, ничего не поможет.

Что же творилось с матерью и отцом Оксаны, даже страшно вспомнить. Кто и какими словами мог утешить их? Мать сидела всю ночь, прижав голову к остывающему телу своей дочери. Вместе с ней и их жизнь кончилась. Как можно пережить такое?

И вместо веселой свадьбы были тяжелые, печальные похороны красавицы Оксаны. Она лежала в гробу, как живая, под теми же образами.

Тот, кто совершил это гнусное, жуткое преступление, был, по-видимому, очень хорошо знаком с этой местностью, т. к. он очень ловко обошел расставленные повсюду патрули и исчез, как сквозь землю провалился.

А нашего веселого красавца Петра невозможно было узнать. Отец предлагал ему уехать в отпуск, прийти в себя. Но он

категорически отказался заявив:

— Никуда я не уеду до тех пор, пока от этих гадов и следа не останется. Пока я всю эту сволоту собственными руками не передушу.

Обожженные части моего тела покрылись мелкими волдырями, но я никому ни слова не сказала об этом.

В одном из очередных походов ранен был папа и с ним наша любимая лошадь Васька. Отец так был удручен ранением своей любимой лошади, что на свою рану даже не обратил внимание.

— Та у вас же кровь из голенища хлещет, — сказал кто-то.

Пришлось разрезать сапог и перевязать рану, но рана Васьки оказалась смертельной.

— Сколько раз он мне жизнь спасал, — грустно вспоминал отец.

Я тоже оплакивала гибель Васьки, я тоже потеряла друга, и теперь мне некому было рассказать, как мне тяжело. Мне казалось, что он по человечески понимал меня.

Конец банды Махно

Амнистия

ВУЦИК — Всеукраинский Центральный исполнительный комитет объявил амнистию всем, кто воевал в годы гражданской войны против советской власти на Украине, а теперь готов встать на путь честного труженика и работать на пользу новой советской власти.

Эта амнистия не распространялась только на таких «закоренелых преступников», как командующие белогвардейскими войсками и главари бандитских формирований, врагов рабочих и крестьян Украины: Скоропадского, Петлюру, Тютюника, Врангеля, Деникина, Кутепова, Савинкова, Махно и многих других.

Для того чтобы собрать народ и сообщить ему об амнистии, в то время был один единственный способ — колокольный звон. Поэтому с самого утра начал звонить церковный колокол, и к обеду на площади вокруг церкви было столько народу, что, как говорится, иголке некуда было упасть.

Помню заснеженную, переполненную народом площадь у братской могилы, в которой только что похоронили пять молодых красноармейцев, изрубленных, превращенных в кровавое месиво теми самими бандами, которые еще очень активно орудовали в нашей местности. С трибуны доносился голос отца:

— Война кончилась. Советская власть объявила амнистию.

Женщины в огромных украинских цветных шалях. Мужчины в овчинных тулупах, и среди них много, много военных.

Отец, всегда немногословный, говорил почти 3 часа, и люди стояли и слушали так тихо и внимательно, что, казалось, слышно даже, как падают снежинки. Он говорил с огромным энтузиазмом, с жаром об ужасах, переживаемых страной, о голоде, о разрухе и о том, что нужно общими усилиями взяться за восстановление разрушенной страны и укрепление добытой в таких тяжелых боях свободы. И о том, что амнистию объявила *самая гуманная* и *справедливая* советская власть. Когда он закончил, к нему двинулась толпа, его окружили женщины, мужчины, старые, молодые, среди них были даже дети. И все обращались к нему с одним и тем же наболевшим вопросом: «Скажите, у меня муж, отец, сын, брат или просто друг находился в Белой армии, у Деникина, Врангеля, Петлюры, Махно и в различных других военных формированиях, а сейчас прячутся. Если они сдадутся,

что с ними будет?»

Многие плакали и ожидали, ожидали от отца ответа, как приговора.

Отец отвечал:

— Наша, теперь уже наша, советская власть объявила амнистию, и тот, кто добровольно сложит оружие, будет помилован.

Люди благодарили.

— Да вы не меня, а советскую власть благодарите, она несет всем свободу и счастье, а я также вместе с вами счастлив, — отвечал отец. Он так глубоко был уверен в этом.

Уже на следующий день рано утром у дверей военной канцелярии образовалась очередь. Одни приходили, бросали оружие и клятвенно обещали никогда не подымать руку против советской власти, другие, и многие из них, говорили, что они были просто мобилизованы, и что у них другого выхода не было. А некоторые заявляли:

— Так мы давно собирались прийти, но боялись, что убьют.

Отец рассказывал, что были и такие, кто говорил:

— Много у меня греха на душе, знаю, что не простят, убьют, но все пошли, и я пришел, чего же одному подыхать.

Однако сопротивление банд[10] все еще не утихало и продолжалось иногда даже с еще большей жестокостью. В этих местах продолжал орудовать какой-то неуловимый Грицько. Уже одно имя вызывало панический страх у населения. И я помню, как отец этого Гришки, старичок, приходил несколько раз жаловаться на бесчинства сына и просил помощи. Но Гришка оставался неуловимым. И вдруг привезли раненую девочку лет десяти, она без конца твердила:

— Та це все Грицько, вин всих поубывав в хати, всих позаризав.

Он убил всю свою семью, семь человек: отца, двоих братьев, двух невесток и двух детей. Каким-то чудом уцелела раненная, но живая Наталка. Она долго жила с нами, пока какие-то родственники не забрали ее.

Отовсюду все еще продолжали поступать сведения о безжалостных зверских убийствах различных представителей местной власти.

Угрозы

На отца было совершено уже несколько покушений. Отец не переставал получать угрожающие письма, одни написанные от руки, другие напечатанные на пишущей машинке, но содержание

было одно и тоже: требование немедленно или в трехдневный срок вывести свои отряды из этого района, а если нет, то вот тебе гроб, с крестом или без креста.

Прочитав такие письма, отец выбрасывал их в мусорный ящик. Только несколько из них сохранились, благодаря Косте, и попали в музеи Мариуполя и Гуляйполя. Там я их и видела, когда мы с классом посещали эти музеи.

И как раз в это время к отцу пришел новый, только что назначенный, не то четвертый, не то уже пятый, председатель местного совета (т. к. всех предыдущих очень быстро убивали, дома, на работе или прямо на улице). Он сообщил, что к нему явился человек от командира особого отряда батьки Махно Забудько.

Забудько, командир особого отряда, не захотел бежать вместе с Махно, когда тот с небольшой группой (остатками своих, когда-то многочисленных, войск) приблизительно в 200–250 человек, после бесконечных и ожесточенных боев, неоднократно раненный, в августе 1921 г. пересек Днестр и бежал за границу в Румынию. Он остался вместо батьки Махно в их логове в Дибровском лесу и возглавил махновские отряды, или, как тогда уже говорили, махновские банды, которые дрались теперь не на жизнь, а на смерть, зная, что все равно другого выхода у них нет. Эта была война даже более опасная, чем обыкновенный фронт, так как враг был невидимый, скрытый.

Приглашение в Дибровский лес

Так вот, этот самый Забудько, правая рука батьки Махно, передал, что хотел бы вступить в переговоры, но только с отцом и при одном непременном условии: что отец придет к нему в Дибровский лес, где находится их штаб-квартира, один, без охраны и с этим, совершенно незнакомым ему, человеком.

После стольких случаев покушений, после стольких писем с требованием убраться и угроз убийства отправляться ночью в Дибровский лес, где еще со времени борьбы с германскими оккупантами находились оборудованные ими подземные блиндажи, лазареты, склады оружия! По существу, это была военная база и штаб-квартира батьки Махно, откуда они вели разведку, производили налеты и где находили убежище в критические моменты своей борьбы и оставались неуловимыми.

Туда даже регулярные войска опасались забираться даже днем, пойти туда на переговоры ночью, с абсолютно незнакомым человеком, без охраны, было воистину безумие. Когда в Дибровском лесу в это время расположилась уже даже не армия,

не повстанцы, а самые закоренелые, отъявленные бандиты, грабившие, убивавшие, насиловавшие без разбору, и с которыми было трудно справиться даже самому оставшемуся с ними Забудько, командиру особого боевого отряда батьки Махно.

Если раньше дисциплину батька Махно поддерживал прямо расстрелом на месте, то сейчас анархия дошла до предела, и выход у Забудько был один — сложить оружие и сдаться на милость победителей.

Когда отец рассказал об этом своим ближайшим помощникам в отряде, все в один голос запротестовали: нельзя — убьют! Это просто ловушка.

В бандитском логове

Я проснулась под утро, было еще темно. В комнате было полно военных, но отца среди них не было. Красноармейцы во дворе вывели из конюшни лошадей, нервничая, топтались на месте. Куда идти? Где искать?

И когда чуть-чуть забрезжил рассвет и в предутренней мгле вдруг появились два всадника, все радостно бросились к отцу. После такого напряжения всем казалось, что он как будто с того света вернулся. Громкое «ура!» огласило утреннюю тишину. Поздравляли отца и его спутника. Кто-то спросил у папы:

— Скажите, а страшно было?

— Страшно, — искренно и просто ответил отец. — Но я знал, что это надо было сделать, и это было главное.

«Особенно страшно было, — рассказывал папа, — когда после долгого блукания (блуждания) по лесу мы очутились где-то среди густого кустарника у великолепно замаскированного снаружи входа куда-то в подземелье. Здесь у меня мелькнула мысль: ступив за этот порог, выйду ли я оттуда живым, или здесь, в этой чертовой норе, найду свою могилу. Я недоверчиво взглянул на своего спутника, но он уже открыл передо мной дверь. Невероятно спертый воздух, до тошноты со свежего воздуха, и тьма кромешная окружила нас.

— Нагнитесь, ступеньки ведут вниз, — подсказал мне провожатый. За небольшим поворотом мы очутились в довольно просторном полном людей помещении. Здоровые, раненые, больные лежали и сидели на полатях, на креслах и даже на полу. Помещение тускло освещалось керосиновыми лампами. Из глубины этого помещения к нам вышел человек средних лет, весь обросший, но с хорошей выправкой. Вежливо поздоровавшись, он попросил нас пройти в отдельное помещение. Дорогие роскошные ковры на полу, кругом тесно поставленная хорошая мебель,

тщательно убранный письменный стол.

Передо мной стоял Забудько, тот самый Забудько, который был правой рукой и командиром особого боевого отряда Махно, который не захотел бежать в Румынию вместе с Махно, остался в знаменитом Дибровском лесу и возглавил отряды махновцев. Забудько произвел на меня приятное впечатление, — продолжал отец. — Наши переговоры продолжались недолго. Вопрос о сдаче был, по-видимому, у него решен. Но он хотел сдаться *именно нам* и получить *гарантию от меня,* что всех, кто сдастся вместе с ним, я не передам ЧК.»

Чекист Лаубэ

Все сводилось к тому, как избежать и есть ли возможность избежать ЧК. Попасть в ЧК означало неизбежную смерть для всех.

Начальником ЧК на Гуляйпольщине был латыш Лаубэ. Высокий блондин с голубыми, как льдинки, глазами. О нем шла молва, что он бессердечно жестокий и что не дай бог попасть к нему в руки или к нему в подвалы ЧК. Но все «светские дамы» по нему с ума сходили, находили, что он красавец. Женился он на нашей учительнице, такой нежной и хрупкой, как фарфоровая кукла. Все говорили, что она бывшая жена бежавшего за границу офицера.

Мой брат Шурик, по-видимому, наслушавшись всяких ужасов о нем, на общей какой-то юбилейной фотографии выколол ему глаза булавкой, к ужасу нашей мамы. Вот к нему в руки и боялись попасть все амнистированные.

Трудная задача

Отец по своему положению, как командир специального кавалерийского отряда Красной армии по борьбе с бандитизмом, был независим и мог решать многие вопросы сам. Но суд, расправа и тюрьма находились в руках ЧК и его начальника Лаубэ. Вот он и требовал всегда всех пленных сдавать ему в ЧК, и некоторые иногда даже до тюремной камеры не доходили. Их он мог расстрелять просто по дороге — «при попытке к бегству».

Отец знал все это, и поэтому его вторая, и не менее героическая, задача была, как передать этих людей в соответствующие военные органы, минуя Лаубэ.

Инвентаризация

Как только отец вернулся из своего похода, он немедленно

дал приказ красноармейцам запрягать лошадей и отправляться в лес помочь вывезти больных, раненых и освободить заваленные награбленным добром подвалы.

И целый день, с утра до вечера, из леса везли награбленные богатства. Несколько комнат рядом с канцелярией были битком набиты до потолка. Чего здесь только не было: всевозможных видов оружие, седла, сбруя. Горы, горы дорогих мужских и дамских меховых, суконных, кожаных шуб; дорогие плюшевые одеяла; сундуки с бельем и одеждой и огромные мешки, не просто какие-то там мешки, а чувалы из-под зерна, полные драгоценных ювелирных изделий. Все это добро везли, везли, и казалось, конца этому не будет. Появились какие-то страшные обросшие люди. Привезли раненых — грязные, у многих раны уже начали гноиться. Смотреть на них было страшно. Мобилизовали врачей, сестер для оказания им первой помощи.

Когда вся эта операция была закончена, приступили к инвентаризации, отец хотел передать все это добро в распоряжение Харьковского военного округа.

Я вспоминаю маленький эпизод, как пример того, с какой скрупулезной строгостью отец относился ко всему.

Во время инвентаризации Федор вошел в комнату, снял со спинки стула старую потрепанную кожаную куртку отца и заменил ее на совершенно такую же, только новенькую. Вошел отец, начал искать свою куртку.

— Где моя куртка? — обратился он ко всем.

Федор обернулся.

— Та вон вона на стуле.

— Я спрашиваю: где моя? — закричал он так, что потолок задрожал. — Эту убрать немедленно!

И бедный Федор долго даже боялся зайти к нам в комнату. Помню, приоткроет дверь:

«Батько дома?» спросит, и если его в комнате нет, заходит.

Таким ***неподкупным, честным*** оставался отец до конца своей очень короткой жизни. Для блага страны и советской власти, не дрогнув, готов был пожертвовать своей жизнью и даже нашей, но для себя не хотел ничего, ни при каких обстоятельствах.

Все имущество, все до последней пылинки, отец передал на хранение в Гуляйпольскую казну, поставив об этом в известность ЧК и лично Лаубэ. Но категорически отказался выдать людей по требованию того же Лаубэ, ввиду того что он уже отправил в Харьков рапорт с просьбой немедленно прислать комиссию для сдачи ей людей и имущества.

Слово чести

Из Харькова в Гуляйполе немедленно прибыл Вячеслав Рудольфович Менжинский — член Президиума ВЧК УССР. Когда отец вошел в кабинет с докладом, Менжинский вдруг поднялся и заявил:

— Именем военно-революционного трибунала вы арестованы. Всех махновцев немедленно передать в распоряжение ЧК.

Всего мог ожидать отец, но не такого приема. Все мог вытерпеть, но ни при каких обстоятельствах, никогда — подлости и несправедливости.

Отец рассказывал, что он положил на стол все документы, оружие и даже снял военную гимнастерку, и, повернувшись к вошедшим красноармейцам, заявил:

— Ну, что же вы стоите? Берите меня под стражу. Я арестант!

Никто из красноармейцев не тронулся с места.

Лаубэ вскочил быстро, выслал всех из кабинета.

Менжинский обратился к отцу с просьбой успокоиться, не горячиться.

Он заявил, что к ним в Харьков поступил материал, что отец слишком мягко поступает с врагами и не выполняет распоряжений ЧК, тем самым дискредитирует ответственный советский орган. Но он надеется, что все это недоразумение, и все можно будет решить гораздо проще, чем минуту назад.

Отец ответил, что он твердо и решительно боролся с врагами, защищая нашу родину на поле боя. Но те, кто добровольно сдались в наши руки, по нашей, нами объявленной ***амнистии,*** ждут не расстрела из-за угла, а ждут ***справедливого*** решения их судьбы.

— Я связан ***словом чести,*** и воинская честь для меня дороже всего. Мы же коммунисты, а не бандиты. Со мной поступайте, как хотите, в соответствии с полученным вами приказом. Но я твердо стою на своем. Мое слово окончательное, и до тех пор, пока не приедет комиссия, дальнейшие разговоры со мной я считаю бесполезными.

Когда отец вернулся, все уже знали, что произошло. Все были потрясены:

— Это за что же? — недоумевали все.

Забудько после возвращения отца влетел к нам в комнату, это даже я помню, и умолял отца не передавать их в ЧК Лаубэ. Он спал в кабинете отца в канцелярии, по существу, у нас под дверью, до последнего момента, до тех пор, пока не приехала из Харькова комиссия, которая многих рядовых передала на поруки родным и близким, ведь почти весь рядовой состав этой армии состоял из крестьян близлежащих сел.

А весь комсостав был отправлен в Харьков. Я помню, отец

рассказывал, что иногда он встречал на разных конференциях и совещаниях кое-кого из них, значит, некоторые сумели примириться, приспособиться и работать на советскую власть. Что касается Забудько, я никогда ничего о нем от папы не слышала, и я думаю, если бы папа когда-нибудь его встретил, он бы об этом упомянул.

Ведь действительно, произошло, по существу, историческое событие. Закончилась, закрылась еще одна страница нашей чисто русской истории.

Русский самородок

Появление и существование Махно с его 50-тысячной армией (а иногда даже больше), принимавшего самое активное участие в гражданской войне, имевшего свою программу, за которую шла без оглядки в бой его армия, — это явление сродни появлению Стеньки Разина, Пугачева, Ермака в русской истории, и к этому нельзя относиться как к просто бандитизму.

Отец считал, что и сам Махно это не просто бандит, а типично русский самородок, как Стенька Разин, Ермак, Пугачев и многие другие. И что Махно и махновщина — одно из очень интересных, важных и очень запутанных явлений, происходивших в годы гражданской войны.

И что роль Махно на Украине во время гражданской войны, в борьбе за освобождение Украины от немецких оккупантов и белогвардейщины, а также его борьбу с большевиками-коммунистами еще никто не потрудился толком исследовать, проанализировать, распутать и описать.

— По существу, во время гражданской войны на Украине, — говорил отец, — было три армии, боровшихся за власть: Красная армия, Белая армия и армия батьки Махно.

Махно отчаянно боролся с немецкими оккупантами Украины, белогвардейщиной, скоропадщиной, петлюровщиной и с большевиками. Махно называл себя анархистом-коммунистом и боролся за «вольные советы» и «безвластное государство».

И ликвидация его штаб-квартиры в Диковском лесу захлопнула крышку над могилой махновского движения.

С этого момента также прекратились налеты, грабежи и насилия. И наступили, в какой-то степени всеми давно забытые, тишина и спокойствие. За одно это, за мужество, за геройский поступок надо было благодарить отца и его отряд. Ни о какой награде ему даже в голову не приходила мысль, он только думал, как бы скорее закончить происходившие вокруг ужасы и приступить к мирной жизни.

Отстрелялись!

До сих пор помню это странное чувство, как будто после грозы вдруг наступила тишина. И помню, как мой брат, взобравшись к отцу на колени, спросил:

— Папа, почему больше не стреляют?

В его представлении, как и в моем, вся жизнь — это война и стрельба, болезни и смерти, другой мы не знали. И отец, смахнув грусть с лица, отвечал ему:

— Отстрелялись, сынок, отстрелялись. Теперь конец. Теперь мы новый мир строить начнем, да такой, чтобы ни тебе, ни твоим детям, ни твоим внукам никогда, никогда уже стрелять не пришлось. А это, брат, потрудней стрельбы будет. Ну да не беда. Большевики ведь на то и большевики, чтобы не бояться трудностей.

Он так был уверен, что отстрелялись раз и навсегда и что больше никогда, никогда люди не решатся на такое побоище.

Петька-пулеметчик снял с пулемета служивший покрывалом весь изрешеченный пулями ковер, принес маме:

— Береги на память.

Этот ковер принесла им какая-то украинка со словами:

— Оцэ щоб йому тепло було, щоб не заржавив от снигу та дождя.

Этим ковром был бережно накрыт пулемет в любую непогоду от дождя и снега, когда он молчал. Он, то есть этот ковер (а по существу, это была скорее просто плюшевая скатерть), всю жизнь оставался единственной и самой ценной реликвией нашей семьи. Он видел много, и много мог бы рассказать. Мама с Петром делила все тяжести походов и боев на тачанке рядом с пулеметом.

Сколько раз, переезжая, нам приходилось ликвидировать наше незатейливое «хозяйство», и куда бы мы ни переезжали и сколько раз ни теряли бы все, этот тоненький коврик всегда висел над кроватью, и на нем висело именное оружие, тщательно вычищенное и смазанное заботливой рукой отца. Все эти вещи с надписями именные — в те годы награждали именным оружием за различные подвиги, у каждой этой вещи была своя очень интересная история. Этим оружием часто пользовались местные любители-артисты, когда в театрах на сцене разыгрывались современные постановки о революции, о гражданской войне и о том, что недавно «разыгрывалось» в жизни, с невероятным количеством пустых выстрелов и едкого порохового дыма.

Погибли все боевые друзья этого ковра, а он, как немой

свидетель былой отваги и чести замечательных людей, всегда висел у моего изголовья, и он мне был так дорог, что я не обменяла бы его ни на какие сокровища на свете. Каждая дыра на нем имела свою историю, обагренную кровью смелых, мужественных людей.

Как Саша стал Наташей

Для нас только сейчас наступило мирное время. Вскоре мы переехали в Гуляйполе.

Здесь мы встретили Наташу и Костю, которые уехали туда раньше, и остановились у них. Костя, это тот самый Костя, который спас жизнь отца, когда был взорван мост и раненый отец упал с лошадью в реку. С тех пор он никогда с отцом не разлучался. А те, кто видели, что произошло, передавали нам, что отец тогда погиб.

Наташа вышла с Костей из больницы в образе парнишки, который якобы прибился к отряду, и все считали его офицерским сынком, которого приютил Костя. Но все полюбили его за его нежность, мягкость и чуткость.

И когда мы прибыли в Гуляйполе, этот милый Сашенька оказался очаровательной Наташенькой, здесь они и поженились. Свадьба была шумная, веселая. Никто не думал тогда, какая ужасная судьба постигнет их позже. Мы ходили с ней на замерзшую речку, катались на каких-то самодельных, с трудом приспособленных к нашей обуви коньках, и здесь же удили в проруби рыбу.

И мне казалось, что всем, также как и нам, кажется странно, что после стольких лет непрерывной борьбы, непрерывной стрельбы наступила вдруг тишина.

Начнем с нуля

Окончилась война. Окончилась стрельба, и надо было на развороченных снарядами руинах, на пропитанной кровью земле, усеянной трупами убитых, раненых и умерших от голода, холода и болезней людей, начинать ***новую,*** абсолютно новую, не совсем еще осознанную, никогда никем не апробированную «новую, при абсолютно новой системе жизнь».

Была истая, великая цель, ради которой они дрались не на живот, а на смерть, не жалея своих голов. Никто не знал, никто еще не понимал и ни у кого не было ни малейшего опыта, и неоткуда было взять его, и никакого представления, с чего же надо начинать, с новыми, абсолютно новыми, полными

энтузиазма, но в основном малограмотными или совсем неграмотными людьми. Ведь начиная от какого-нибудь дворника и до самого наркома всюду были новые люди, и у каждого была своя идея, какой должна быть и какой будет новая система, новая власть и новая жизнь.

До самого 30-го года существовали еще ***ликбезы*** — курсы по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Миллионы, миллионы людей не умели просто расписываться. Мне было 15–16 лет, когда мне пришлось преподавать рабочим-строителям четыре простых действия арифметики. Вся жизнь начиналась с нуля.

В простенькой, скромной рамке стоял на столе портрет отца во весь рост в военной форме, написанный каким-то местным художником. Отец надел гражданскую одежду, и мне он казался другим, не похожим на себя — новым. И ему самому как-то было странно, что он сменил «меч на орало».

Цветы улиц

Мама сразу же заявила, что сейчас в первую очередь необходимо немедленно приложить все силы и заняться вопросом ликвидации беспризорности. Надо открыть новые дома и улучшить условия жизни в тех домах, которые уже существуют и которые не могут охватить армию бездомных ребятишек, скитающихся по безграничным просторам России.

Война, революция, Гражданская война, голод и разруха лишили этих детей всего: отцов, матерей, крова. Жизнь, как злая мачеха, разогнала их по свету.

Зимой в трескучие морозы — в язвах, со вздутыми животами и страшными голодными глазами, завернутые в невероятные лохмотья, ползающие на кучах отбросов, разрывающие коченеющими руками снег в поисках пищи, они заполняли сырые, холодные подвалы разрушенных домов, заброшенных шахт, полные голодных крыс, которые иногда отгрызали у детей пальцы ног и рук. Дети боролись за свое существование, как могли.

Они собирались в шайки, занимались грабежами, а порой и убийствами. У этих шаек были свои законы, свои уставы. Они делились по специальностям, делили между собой районы города. У них сложился свой фольклор, свой жаргон, собранный впоследствии в словари внушительных размеров, который изучали работники уголовного розыска, следователи и судьи.

У всех у них, у этих бездомных, всех национальностей и всех вероисповеданий, детей было одно общее имя — беспризорные.

Воровство, пьянство, разврат были школой первой ступени

для этих детей.

Это было тяжелое наследие Первой мировой войны, предреволюционной и революционной эпох, с чем надо было бороться и как можно скорее ликвидировать.

В поисках настоящих людей

Мама начала обивать пороги учреждений и, вернувшись домой, жаловалась:

— Куда проще было воевать! Там были люди смелые и честные. Я даже не подозревала, что в эти жестокие годы гражданской войны могла появиться такая большая когорта бездушных бюрократов. Трудно поверить, что это вчерашние освободители России!

И она уехала в Харьков искать «настоящих людей».

Там она рассказывала о Донбассе, о детях, ютившихся в затопленных, заброшенных шахтах.

— Беспризорность — это наш позор, мы должны как можно скорее это все ликвидировать.

Она просила оказать ей помощь, обещала организовать целый ряд детских домов, уверяла, что крестьяне ей помогут продуктами. Она просила дать ей возможность набрать кадры преподавателей и рядовых работников, отпустить средства для их содержания и зарплаты, а также получить немного мануфактуры, чтобы одеть детей.

Возвращалась она, окрыленная надеждой, увозя с собой не деньги и мануфактуру, а ***обещания,*** что ей помогут, и напутственные слова «продолжайте».

— Из всех людей, кого я знаю, — с восторгом рассказывала мама, — Феликс Эдмундович Дзержинский, председатель Комиссии по улучшению жизни беспризорных детей, делает все и больше всех в отношении ликвидации беспризорности.

Я помню, как мама в поисках продовольствия даже до Ташкента на верблюдах добиралась. И потом весело рассказывала нам, как верблюды плевались, когда ребята бегали за ними и дразнили их. В те годы, по-видимому, это был один из самих надежных видов транспорта и способов передвижения.

У Эльзы

Нас в это время оставляли на попечение худой, высокой как жердь, Эльзы — немки, преподавательницы детского дома, или у красивой, как рафаэлевская Мадонна, Анны Капитоновны — дочери священника.

Анна Капитоновна вместе с сестрой Олей и братом Олегом, который работал секретарем у папы, жила в большом, из красного кирпича, доме, окруженном огромным запущенным садом. Мебель в этом доме была сдвинута так, как будто в него только что въехали и не успели расставить все по местам.

Мы очень любили эту семью и чувствовали себя с ними, как дома. Когда Олег женился на Верочке, нас, детей, уложили спать в спальне, и я проснулась от веселого шума и вышла посмотреть, что происходит в огромной гостиной. Олег схватил меня за руки и стал танцевать со мной — это был мой первый танец.

Эльза была воспитательницей детского дома, где мама была директором. С ней я часто ездила в неподалеку расположенные немецкие колонии, в одной из которых жили ее родные.

Здесь мне сразу бросались в глаза чистота и порядок. Женщины работали в поле в белых панамах, чистых фартуках, в перчатках. С нами здоровались очень вежливо:

— Гуд морнинг, — и мы въезжали в широкую, прямую, как стрела, улицу с мощеными тротуарами, обсаженными могучими, роскошными деревьями, где за высокими красивыми железными оградами в строгом порядке стояли окруженные огромными садами один за другим великолепные кирпичные дома.

Фруктовые деревья ломились от изобилия всевозможных фруктов, яблок, груш, слив и необыкновенно вкусных ягод. А кругом цветы, цветы и розы, тьма-тьмущая роз, украшали вокруг дома и аллеи садов, и чистые-пречистые дворики, которые осенью превращались в тока, на которых после молотьбы скирдовали солому в аккуратные живописные скирды.

В каждом доме на просторной кухне была большая плита, а в конце ее был вмурован огромный котел, в котором всегда была горячая вода. Зимой, даже в самые сильные морозы, все спали в ненатопленных помещениях под пуховыми одеялами с грелками в ногах и с открытыми форточками.

Женщины зимой вязали и разматывали шелковичные коконы. В каждом доме разводили шелковичных червей, для этого у всех во дворе росли тутовые деревья, а в огромных залах на полу летом были разбросаны зеленые ветки тутовых деревьев и масса различных черных, белых, желтых шелковичных коконов, которые женщины ловко распаривали и также ловко разматывали.

Карандаш из гильзы

В школу пошла я очень рано. Мой первый карандаш и карандаш моей подруги Зои были отлиты Зоиным братом Юрой из свинцовых пуль, собранных им после боя. Он также делал из

патронных гильз, собранных после боев, обручальные кольца, выглядевшие не хуже золотых.

В одно прекрасное осеннее утро, когда я увидела бегущих мимо нашего дома в школу ребят, я выпросила у дедушки тетрадь, схватила отлитый мне Юрой карандаш и помчалась вслед за ними через всю площадь в школу.

Школа была в одном здании при церкви и состояла из двух комнат: в первой комнате размещались 1-й и 2-й классы, во второй комнате 3-й и 4-й классы. В этом же крыле размещались небольшая библиотека и небольшая квартира учителя с женой Маланьей Николаевной (которая после смерти ее мужа — нашего учителя — и смерти моей бабушки вышла замуж за нашего дедушку и стала нашей бабушкой Маланьей).

Моя мама тоже училась в этой школе и у этого же учителя. Увидев меня, учитель в недоумении спросил:

— А ты откуда взялась?

Но, взглянув на меня, махнул рукой:

— Да ладно, ладно, сиди, учись.

И я была одна из самых старательных учениц, стихи учила на лету и строчила их, как из пулемета.

Приезд мамы оторвал меня от учебы, и вся моя дальнейшая учеба полетела вверх тормашками. Но несмотря на эти тяжелые, суматошные годы, нас все-таки очень старались учить.

О нормальной учебе в школе не могло быть и речи. Для этого у нас не было никакой физической возможности, бесконечные переезды нашей семьи с места на место, иногда по два-три раза в год, не давали возможности даже хорошо познакомиться с детьми, учителями, наши родители снова собирали свой незатейливый багаж, и мы переезжали на новое место.

Смысл жизни моего отца

Наступили дни мирной гражданской работы. Членов партии в те годы было не так много, а крепких, испытанных, как тогда говорили, ***проверенных в боях,*** еще меньше.

Весь смысл жизни отца заключался в том, чтобы продолжать бороться за те идеи, за которые было принесено столько жертв и пролито столько крови. Он теперь хотел бороться за ***счастливую*** жизнь, за счастье ***всех*** людей на свете. И для него это были не пустые слова. Это была та ***цель,*** ради осуществления которой он готов был работать днем и ночью, без отдыха, без выходных, без отпуска.

Слова «устал» или «отдых» отсутствовали в его лексиконе, он никогда ни на что не жаловался и, я уверена, никогда не интересовался, сколько он будет получать за свой труд. Он был одним из тех, кто считал, что завоевать советскую власть — это только начало.

Главное — подготовить новые кадры, организовать, наладить работу и выполнить те огромные задачи, которые партия поставила перед собой, и обещания, которые партия дала народу. Это основная работа, и нельзя, нельзя почивать на лаврах победы, т. к. впереди еще непочатый край работы.

Его и перебрасывали с одного аварийного участка на другой, где требовалась его неугасимая энергия и умение быстро организовать и наладить работу, а таких аварийных участков в условиях послевоенной разрухи было очень, очень много.

И мы снова и снова переезжали с места на место, из одного города в другой. Он не успевал соскочить с поезда или с подводы, как уже мчался на работу. Мы его почти не видели. Ему не хватало 24-х часов в сутки, приходил он в полночь и уходил с петухами.

Как ***член партии***, он испытывал глубокое чувство ответственности перед народом и стремился всеми силами как можно скорее доказать, что та идея и та советская рабоче-крестьянская власть, за которую они так тяжело и так героически боролись, должна быть самой лучшей, самой крепкой, самой справедливой на земле. Поэтому он всегда надеялся, что еще немного, еще чуть-чуть надо потерпеть, и тогда всем-всем будет лучше. Всем-всем должно было быть лучше, а не нам, не ему одному, он жил, боролся и работал для всех, на благо всех, никогда не ожидая и не требуя никаких привилегий и никаких наград для себя.

Новая экономическая политика

В марте 1921 г. на 10-м Съезде партии по разработанному В. И. Лениным плану была принята новая экономическая политика — НЭП. НЭП был введен взамен неудачного эксперимента политики военного коммунизма, вызвавшего всеобщие волнения, и для скорейшего восстановления и развития разрушенного народного хозяйства. Продразверстку заменили продналогом, разрешили частную торговлю, частные мелкие промышленные предприятия и даже иностранные концессии под строгим контролем государства. Ленин подчеркивал, что НЭП не отступление от социалистического строительства, а единственная политика, обеспечивающая возможность ***построения фундамента социалистической экономики.*** Десятки, сотни пропагандистов и агитаторов разъясняли крестьянам, что НЭП — не случайное или временное мероприятие, а введен правительством на ***продолжительное*** время, и что восстановление разрушенного народного хозяйства надо начинать с сельского хозяйства, и что без получения необходимого продовольственного сельскохозяйственного сырья нельзя рассчитывать на подъем и развитие промышленности.

Крестьянам даже разрешили ***арендовать*** дополнительные земельные участки и нанимать рабочих, правда, не больше двух человек, в горячую пору уборки урожая. Это было то, о чем всегда твердил Бухарин — что первым делом надо создать ***продовольственное богатство*** в стране.

Начали открываться мелкие предприятия, концессии, быстро, как грибы после дождя, появились маленькие ювелирные, кондитерские, магазинчики с игрушками и всякой всячиной, где продавали такие аппетитные, блестящие кремовые молочные ириски, которые мне так хотелось, но не удалось даже попробовать.

Великолепный Бердянск

Впервые по-настоящему я пошла в школу в городе Бердянске. Проверив мои знания, меня посадили в 5-й класс.

До этого мы с братом иногда занимались у частных репетиторов, и я не помню случая, чтобы мне не пришлось прервать учебу один или два раза в течение учебного года. Я была очень стеснительная, и для меня было мучительно тяжело появляться каждый раз в школе «новенькой» и привлекать к себе всеобщее внимание. Поэтому я была очень рада, что хоть на один год я останусь на месте. В моем классе все были на пару лет

старше меня, но это меня не смущало, я уже привыкла общаться с детьми намного старше меня.

Бердянск в те годы выглядел великолепно.

НЭП здесь был в полном разгаре. ***Поворот*** от военного коммунизма ***к новой экономической политике,*** провозглашенный на 10-м съезде партии, вызвал у народа ***колоссальный энтузиазм.***

В это время уже была введена единая денежная система и появилась твердая валюта — обеспеченные золотом червонцы, серебряные и медные разменные монеты. И я никак не могла понять, почему серебряные монеты стоят меньше бумажных купюр.

Рынок был завален продуктами: на прилавках глыбами лежало масло, свежее мясо, овощи, фрукты. Лавки ломились от всевозможных товаров, в писчебумажных магазинах можно было достать все: карандаши, тетради, детские игрушки, мячи, куклы непривычно радовали взор.

Я часто останавливалась у витрин и долго разглядывала эти детские богатства. Во мне боролись два чувства: детство — мне хотелось иметь вот ту большую куклу, с волосами, как лен, и голубыми, как васильки, глазами; колясочку и всю обстановку для ее комнатки. Играли мы до сих пор разноцветными осколками битой посуды. Но я знала, что игрушки очень дороги, и я никогда не буду их иметь. И тогда я успокаивала себя тем, что я уже большая и мне стыдно играть в куклы.

Но вот мое внимание привлекли разноцветные мячи. Подсчитав свой бюджет, я заметила, что у меня не хватает одной копейки для покупки маленького разноцветного мячика. Продавец, аккуратно проверив, поверил мне, что копеечку я обязательно принесу, и, осчастливленная, я помчалась домой, чтобы поиграть с братом в мяч. И как сейчас помню, при первом же ударе мой мяч залетел на крышу чужого дома, и я больше никогда его не видела!

Я мчалась мимо витрин колбасных и кондитерских магазинов, которые ломились от изделий: торты, кексы, печения, всевозможные пирожные. У столиков сидели, весело болтая, люди, уплетая пирожные и запивая их шипучей сельтерской водой из сифонов или разноцветными вкусными фруктовыми напитками.

Из колбасных лавок шел такой запах, что можно было язык проглотить.

По городу медленно и важно двигались тяжело нагруженные арбы со спелым, сочным виноградом с прохладным названием «Березка». У нас во дворе из этого винограда давили самым

примитивным способом вино со странным названием «Кукур», и терпкий винный запах заполнял весь двор. Бочки с вином здесь же закупоривались и отправлялись на выдержку в погреба того дома, в котором мы жили. Но здесь же можно было купить бочонок свежего виноградного сока и пить его кружками.

Это винодельное предприятие возглавлял сын прежнего владельца этого огромного дома, расположенного прямо в центре города на широком Азовском проспекте. Он очень активно и успешно продолжал дело своего отца, тогда еще действовала ленинская политика НЭПа.

Рыбные рынки и лавки были буквально завалены всевозможными сортами соленой, копченой, свежей трепыхающейся рыбой: судаки, чебаки, бычки. Свежую рыбу можно было покупать ведрами, полтинник за ведро. Как бусы, нанизанные на ниточку, висели гирлянды золотистой копченой рыбешки, копченые килечки.

А больше всего здесь было людей. Бердянск — это курортный город. Чудесный песчаный пляж разделялся на мужской и женский. Спустившись с лесенки вниз, мужчины шли направо, женщины налево. Соляные озера, грязевые лечебные ванны и знаменитый целебный виноград «Березка» — сочный, душистый, который врачи рекомендовали съедать по два-три фунта в день, он лежал на тарелках возле каждой женщины на пляже.

Вечерами в городском саду гремела музыка, благоухали цветы и шло веселое гуляние. Таким я помню Бердянск.

Так всегда было и будет!

Цены были баснословно низкие. 8 копеек фунт винограда, 12 копеек фунт колбасы, 3 копейки фунт хлеба. На фоне всего этого изобилия низкие зарплаты вызывали раздражение, недовольство у некоторой части служащих и рабочих.

— Боролись, кровь проливали, буржуев били, рабочему классу говорили, что жить будет лучше. А где же это лучше? Получку принес домой, а через неделю семья на голодный паек села. Опять буржуи, нэпманы живут, вон сколько их понаехало, обжираются, а мы как раньше, так и теперь голодаем. Чего уж там говорить, раз у них деньги, то и власть у них — так оно было всегда, так и будет!

Но в эти годы прилагались ***огромные усилия*** и предпринимались всевозможные меры для улучшения и облегчения жизни рабочих и крестьян. И введение новой экономической политики было одним из мудрых шагов, предпринятых Лениным для быстрейшего восстановления

разрушенного народного хозяйства, главным образом сельского.

Он был одним из тех, кто постарался бы найти наиболее безболезненный путь к осуществлению своих, может быть утопических, идей, а может быть, даже и отказался бы от некоторых из них, как от военного коммунизма, понимая, что народ не готов. Но в одном я глубоко уверена: он ***ничего*** не сделал бы во ***вред народу,*** у него было достаточно здравого смысла, мудрости и, главное, чувства ответственности перед народом, все, что произошло, было ***сделано для блага народа,*** и он отказался бы от некоторых своих идей, если бы понял, что они несвоевременны, неосуществимы или просто трудно осуществимы. И поэтому, поживи Ленин еще лет 10, наша жизнь улучшилась бы во много, много раз.

При Ленине было время, когда он старался не обострять, а наоборот ***смягчить*** так называемую ***классовую борьбу*** со многими слоями общества.

Ведь кроме меньшевиков, многие другие оппозиционные группы готовы были постепенно начать принимать участие в общей работе (т. к. все они тем или иным путем стремились улучшить жизнь населения) в надежде, что со временем все образуется и все найдут общий язык. И я глубоко верю в то, что это так и было бы, если бы не сталинская ***безумная*** политика «обострения через 10–12 и 20 лет классовой борьбы».

Сколько людей во время гражданской войны, независимо от классовой принадлежности, перешли на сторону Советов и активно всю гражданскую войну воевали и погибали за ***народную*** советскую власть! И так же активно они продолжали работать при советской власти до тех пор, пока Сталин не стал настойчиво и упорно ликвидировать их после стольких уже лет существования советской власти. Почему? Почему через 10–12 и 20 лет после революции, при окрепшей уже советской системе, классовая борьба при Сталине вдруг стала ***обостряться,*** вместо того чтобы ***затухать?***

Ведь тех классов эксплуататоров-капиталистов-кровопийц, которые за счет голодающего рабочего класса богатели, жирели, о которых до революции писал не только Карл Маркс, а писали также все русские писатели, по существу, после гражданской войны уже больше не существовало. Вся промышленность была национализирована, все помещики разбежались, их земля была передана крестьянам или совхозам, и было чувство, что все работают для блага страны.

И если кто-нибудь из них смог «разбогатеть», то есть стать зажиточным, благодаря своему ***трудолюбию***, а не за счет эксплуатации тех, кто умирал от голода, то таких людей надо

было не наказывать, а поощрять, ведь их труд и результаты их трудолюбия помогали крепнуть нашей родине. По существу, так и было до начала ***сталинской коллективизации.*** Именно, подчеркиваю, до сталинской коллективизации.

Ведь если бы кто-либо каким-то нечестным образом сумел прорваться вперед, и это принесло бы не пользу, а вред нашей стране, в нашей самой ***гуманной и справедливой*** стране было много гуманных способов поставить их на место.

Религия дружбе не помеха

У нас в школах, где я училась, не было чувства антагонизма или неприязни друг к другу из-за классовых соображений. В одной школе с нами училась Наташа, дочь священника, и мы все крепко дружили с ней. В другой школе в другом городе мы так же все дружили с сыном священника Виталием.

А самой близкой моей подругой была Мария — дочь раввина, ведь мы, дети, уже все жили и росли при советской власти, в новое время, и не чувствовали никакой неприязни друг к другу, а тех классов, с которыми боролись наши родные до революции, уже не существовало. Мы, дети, были ***умнее и мудрее*** взрослых.

Церкви и синагоги до смерти Ленина почти все тоже были открыты. Хотя он всегда твердо утверждал, что «религия это опиум для народа», но верил, что к этому просвещенный народ должен прийти и придет сам и что нельзя заставлять силой верить или не верить, поэтому Ленин и считал что надо «учиться, учиться и учиться».

Ему так хотелось как можно скорее увидеть Россию грамотной и образованной не хуже, а лучше всякой Европы! Ведь церкви тоже начали усиленно громить и разрушать только после смерти Ленина.

Я ведь до сих пор помню, как торжественно справляли Пасху, пекли вкусные куличи, красили яйца, готовили невероятное количество вкусных блюд, как интересно и забавно справляли Рождество и другие праздники, как вместо хлеба угощали меня мацой и вкусными изделиями из мацы мои пионерские подруги. Ведь все это могло существовать и существовало почти до 1927–1928 годов. Все люди работали с огромным энтузиазмом, желая как можно скорее сделать жизнь богаче и зажиточней во всей стране.

Самые лучшие годы НЭПа

Новая экономическая политика дала возможность крепко

встать на ноги советской власти. Она ***укрепляла союз*** рабочих и крестьян и помогала развивать социалистический сектор народного хозяйства. Новая экономическая политика оживила политическую жизнь в селах, крестьянство начало принимать более активное участие в общественной деятельности страны, тем самым НЭП оказывал огромное благотворное влияние на всю экономику страны. Так вещали со всех трибун.

И прав был Ленин, который сказал, что это ***не кратковременное*** мероприятие, а будет продолжаться до тех пор, пока мы сами не научимся торговать и управлять государством. Именно так, не дословно, но смысл, мне кажется, был такой.

И опыт показал, что для успеха этого перехода необходима не штурмовая атака, а ***длительный переходный период,*** и что нам необходимо было быстро изменить методы своей работы применительно к НЭПу, научиться хозяйствовать новыми методами. «Учитесь культурно торговать» — таков был лозунг В. И. Ленина. Собственного опыта в этой области у нас не было, и негде было его заимствовать, да и к вопросам торговли было у нас весьма пренебрежительное отношение.

Первая мировая война, Гражданская война, массовая эвакуация и гибель миллионов лучших из лучших обескровили промышленность и хозяйство. Ведь самая страшная трагедия войн состоит именно в том, что в войну погибают самые лучшие слои общества, и это не единицы, а миллионы.

И партия в те годы в большинстве своем состояла, чего греха таить, не из интеллигенции, а в основном из ***неграмотных или малограмотных*** людей. «Принимать в партию в первую очередь людей из ***рабочих и крестьянской бедноты*** правильно с политической точки зрения, но хорошо было бы иметь в партии и самых высококвалифицированных, самых образованных людей, — говорили многие умные люди. — ***И не делаем ли мы ошибку,*** выталкивая их на второй план?» Ведь в результате этой недальновидной политики на руководящие посты выдвигались малоопытные, малообразованные члены партии. И Ленин очень хорошо понимал, чего можно было ожидать от них, и поэтому выдвинул лозунг «Надо учиться, учиться и еще раз учиться». Ленин ***ценил образованных*** людей, потому что сам был высокообразованный человек, ***а малограмотный*** Сталин их ненавидел и боялся.

Еще при жизни В. И. Ленина в декабре 1923 г. было принято постановление «Об очередных задачах в экономической политике», в котором намечалось проведение широких мероприятий по обеспечению сбыта и ***снижению цен*** на промышленные товары, а также по борьбе с безработицей.

В те годы существовала еще большая безработица. Еще не знали, как и куда пристроить людей. Многих надо было чему-то научить, дать им возможность приобрести какую-либо специальность. Например, многие девушки, работавшие днем домработницами, вечером ходили на разные курсы заниматься, стараясь приобрести какую-нибудь более полезную специальность и более интересную работу. И я должна сказать, многие из них добились больших успехов.

И все это было еще в те годы, когда наша страна, в условиях неблагоприятной международной обстановки, испытывала самые большие трудности в деле восстановления народного хозяйства. Правительства США, Франции, Англии провокационными актами все время усиленно старались вовлечь советскую страну в войну или в какую-нибудь военную авантюру.

Керзон в мае 1923 г. заявил Советскому правительству ультиматум, угрожая новой антисоветской интервенцией. В Дарданеллы вошел английский военный флот. Ультиматум Керзона явился сигналом для усиления антисоветской деятельности и начала кампании клеветы и шантажа против Советского государства.

Смерть Ленина

До сих пор мне кажется, что та зима была нестерпимо холодная. Моя одежда была не по сезону легкая, обувь и того хуже, купить что-либо потеплей, по-видимому, еще не было возможности. Хотя отец занимал ответственные посты, жили мы очень скромно. Когда я прибегала в школу, то первым делом бежала к печке подсушить обувь и согреться.

Январь, трескучий мороз. В один из таких дней, как сейчас помню, вошел очень расстроенный отец, и мама спрашивала:

— Неужели это правда? Как, когда это случилось? Ведь это ужасно, как же дальше? — Она спрашивала так, как будто ждала отрицательного ответа.

Отец ответил:

— Это страшно, но это правда. Только что начали на ноги становится, вокруг еще хаос, разруха — и такая ужасная потеря. ***Нет такого человека,*** который смог бы заменить его, нет. Начнется грызня, склоки, пойдут доказывать, кто прав, кто виноват. Ленин не стеснялся сказать: мы ошибаемся, нам надо действовать по-другому. Ведь сколько было и сколько сейчас еще есть жалоб и обид на НЭП. Но ведь он нас вывозит, и по-другому нельзя, пока мы сами не научимся разумно хозяйничать, как всегда утверждал Ленин.

Отец рассказывал, что разъезжая по районам, он видел, что там творится. «Многие работники простую справку написать еще не умеют. Нам ведь досталась огромная неграмотная страна, многие еще пальцем расписываются. Надо начинать с ликвидации неграмотности среди взрослого населения, найти просто грамотного секретаря — проблема».

Он почти всю ночь не мог уснуть. И, как ни странно, наблюдая за ним, как тяжело он переживал, даже я, не имея еще толком никакого понятия, ***какую силу*** представлял Ленин, почувствовала, что произошла какая-то ***страшная катастрофа.***

В день похорон Ильича со всех сторон на площадь к центру города шли люди с плакатами и портретами Ленина, окаймленными черным бархатом, и красными знаменами с черными бантами. Я шла со школой.

На трибуне на перекрестке теперь Ленинского и Азовского проспектов стоял отец, и я из толпы чувствовала, как он нервничает. Он говорил недолго, с глубокой скорбью, и быстро сошел с трибуны. За ним выступали многие, все призывали объединиться, сплотиться вокруг партии большевиков для продолжения строительства новой жизни. «Ильич не умер! Ильич с нами!» Раздались длинные траурные гудки, военный салют, продолжительное молчание, и все тихо и грустно разошлись, как с кладбища.

Дело Ленина

Отец после смерти Ленина ***еще больше работал,*** он как будто взвалил на себя десять дополнительных обязанностей. Как ему хотелось, чтобы все было так, как он мечтал. Мы еще реже его видели.

В школе появились молодые энергичные ребята. Собрали всех учеников, долго говорили о Ленине и о том, что сделал Ленин для нас, и под конец сказали, что все могут вступить в организацию юных ленинцев. Но честь носить имя юного ленинца должен каждый оправдать в учебе, в работе, и те лучшие, кто оправдает это звание, будут переведены в комсомол и затем в партию.

Я была одной из первых, вступивших в ряды юных ленинцев. С каким восторгом я летела в этот день домой, чтобы сообщить об этом родителям! Я шла, не разбирая дороги, не чувствуя озябших ног в ботиночках, полных снега.

— Что с тобой? — увидев мою ликующую физиономию, спросила мама.

— Я сегодня такая счастливая, я вступила в ряды юных

ленинцев. Ты понимаешь, я хочу быть такая же честная, смелая и решительная как вы с папой. Потом я вступлю в комсомол и в партию и буду всю жизнь работать так, чтобы все жили хорошо и все были счастливы.

Мама сидела, зажав ладони между колен, и слушала меня внимательно и грустно.

Я старалась передать ей то, что я чувствовала, ведь так много еще предстояло нам сделать, ведь, думала я, Россия только освободилась от капиталистов и помещиков, а во всем мире они еще существуют. Нам сказали, что Ленин стремился освободить весь мир от поработителей, но он умер, и теперь это должны сделать мы. А для этого нам нужно много и хорошо учиться и работать.

Нам читали письма из многих стран, писали дети из Африки, и даже из Англии дети углекопов писали, как тяжело они работают в шахтах, как хотят учиться и не могут. И что все они надеялись, что придет Ленин и освободит их тоже. Все это я выпалила без передышки.

— Мама, ты что, плачешь?

— Нет, нет, родная, мне просто кажется, мы проглядели ваше детство, нам было некогда.

Пришел отец, и я слышала, как мама ему говорила:

— Я думала, Ваня, что мы сами создадим для детей жизнь со всеми радостями детства, не успели… Ты бы видел, как Нина мечтает встать с нами в одни ряды и бороться за счастье других детей, а ведь сама не знает, что такое детство. Проворонили мы их детство.

— Не грусти, — успокоил папа. — Хорошие у нас дети растут.

И я почувствовала прикосновение его пушистых усов у себя на лбу.

Вскоре я стала заместителем вожатого всего школьного отряда. Новое назначение наполнило меня чувством гордости и сознанием большой ответственности.

Мы организовали пионерский клуб. Три раза в неделю проводили пионерские сборы. Создавали интересные и разнообразные программы самодеятельности: декламации, пения.

До сих пор помню те песни, которые учил нас петь наш учитель музыки. Был у нас также драмкружок, в котором самой бездарной артисткой была я, т. к. никогда не умела «перевоплощаться».

Кружок по изучению языка эсперанто, он стал очень модным. Считалось, что при помощи этого языка мы сможем общаться с детьми всего мира.

Ветер странствий

Откровенно говоря, желание поездить по всему миру, повидать все страны мира у меня было очень большое, я очень любила географию, книги великих путешественников были моими настольными книгами, я их зачитывала до дыр, и все страны мира мне казались очень заманчивыми. Под влиянием этих книг я мечтала стать капитаном, летчиком, покорить морские и воздушные пространства, совершить кругосветное путешествие. Появилась какая-то неугасимая жажда знания, мне казалось, что теперь все возможно, все доступно.

В это время в Бердянск приходили иностранные торговые пароходы из многих стран, и нас, школьников, даже водили к ним на экскурсии. Мы приносили им цветы, они дарили нам красивые фотографии своих стран. Все было как-то проще. По городу ходили, гуляли иностранные матросы.

Мои родители снова переехали до окончания моего учебного года. Человек, носивший партбилет, не принадлежал себе и совершенно не имел никакой возможности распоряжаться своей судьбой. Это был стиль партийной работы в первые годы существования советской власти. Не считаясь ни с чем, коммунистов переводили с места на место для налаживания работы на наиболее важных хозяйственных и промышленных предприятиях, где часто вовсе не было членов партии.

Я осталась у Веры Петровны Богданович, очень полной дамы. Когда она подходила к пляжу, курортники громким шепотом говорили:

— Сейчас море затопит пляж.

Она была замужем за купцом из Болгарии, торговавшим свежими и сухими фруктами, жила она прямо на проспекте Ленина, это был самый шумный бульвар. Театры, рестораны, фруктовые и кондитерские магазины, здесь всю ночь жизнь кипела ключом. В это время я уже научилась быть «независимой», старалась вести себя так, чтобы меня никто не замечал, никому не мешать, никого не беспокоить. Это очень мне помогло в мои бездомные студенческие годы. Я очень рано стала взрослой, поэтому и друзья мои были намного старше меня, с моими ровесниками мне было скучно и не о чем говорить.

Наш Фордзон

14-й съезд партии, состоявшийся 18–31 декабря 1925 г., вошел в историю как съезд индустриализации страны. И с 1926 г. СССР вступил в период индустриализации страны, несмотря на

очень сложную и напряженную международную обстановку. Членов партии, как я уже сказала, тогда еще была горстка, 643 000 на весь Советский Союз. Отец ***работал на износ***. Старые соратники все более и более настойчиво старались перетащить его в Харьков, чему отец всеми силами сопротивлялся.

Они просили его освежить своим энтузиазмом ту «протухающую атмосферу», которая уже начинала создаваться.

— Нам такие, как ты, работники позарез нужны. Здесь у тебя вся Украина будет как на ладони, — обещали они ему.

Отец на это отвечал:

— И так же, как и вы, потеряю связь с народом. Нет, друзья, хоть ваши предложения очень заманчивы, но я должен быть там, где максимум пользы принесу. Народ это та почва, откуда я черпаю силы.

Один раз даже поехал, пробыл там несколько месяцев и буквально сбежал.

— Отправьте меня на завод, — взмолился. — Нам нужно поднимать сельское хозяйство, деревне нужны трактора, молотилки, комбайны, а не инструкции, как сеять и пахать на коровах.

И отца отправили в Большой Токмак, на завод «Красный Прогресс», который в то время не то осваивал, не то пытался изготовить трактор по образцу «Фордзона». СССР тогда еще своих тракторов не имел, а для закупок «Фордзонов» из США не было достаточно валюты.

Мы переехали в Большой Токмак. И очень скоро на этом заводе был выпущен первый, весьма примитивный, по-видимому, такой же примитивный, как и первый автомобиль у Форда, трактор по модели и под названием «Фордзон». Все равно, это было неповторимое событие. Это был огромный праздник не только на заводе, но и во всем городе. Он долго, увешанный красными флажками, тяжело и важно пыхтя, двигался по улицам города, оставляя за собой елочный след.

За ним шли толпы ликующих людей, и под громкие крики «ура» он еще более важно выехал из города в поле, где должен был вспахать 26 десятин земли.

Здесь же присутствовали представители из Харькова. Был даже представитель американской фирмы «Форд». И в конце проведенного испытания было установлено, даже по мнению иностранных представителей, что по своим качествам (по глубине вспашки и т. д.) он не только не уступает американскому аналогу, но даже превосходит его.

Вечером был устроен «банкет», на котором все пили, пели и произносили красивые тосты за советскую власть, за смычку

города с деревней и рабочих с крестьянами. Присутствовавшие делегаты от крестьян, радостно обнимая рабочих, твердили:

— Если вы нам поможете, мы вас засыплем зерном.

Глядя на этот праздник, я тоже радовалась и гордилась. Я знала, сколько сомнений, тревог, бессонных ночей, сверхурочной работы было отдано за освоение этого примитивного трактора. В те тяжелые годы трудно было доставать материалы, трудно было с деньгами, и все-таки, несмотря ни на что, трактор освоили, он пошел, и глубина вспашки хорошая, и скорость больше, чем у «Форда». Как же было не гордиться? Но почему-то дальше этого дело не двинулось, и тракторного завода здесь не построили, а построили его в Харькове. Отца перевели в Кривой Рог.

Повоевали — пора и пожить!

Это были самые благотворные годы НЭПа. Но в это же самое время многие члены партии быстро выбросили вон из головы великие идеи и решили:

— Хватит, повоевали, а теперь пора пожить.

И одни стали брать взятки. Другие растрачивать государственные средства на себя, третьи, пользуясь своим положением, партбилетом и заслугами, устраивать свои личные дела.

Была и четвертая категория, к ним принадлежали такие бессребреники, как мой отец. Эти люди были как бы не от мира сего, они честно, добросовестно, не покладая рук работали и приносили домой свой партмаксимум, которого еле-еле хватало на скудную жизнь.

Отец был болезненно против всяких ***привилегий***, предоставляемых по занимаемой должности или по настоящим или прошлым заслугам, от кого бы то ни было, от частного лица или от государства, ему казалось все ***подкупом и взяткой.***

Поэтому многие считали, что годы НЭПа, сыграв огромную положительную роль в деле экономического укрепления, восстановления и развития народного хозяйства страны, оказали также ***пагубное*** влияние на дисциплину и мораль в партии.

Я очень хорошо помню период НЭПа, когда на рынках рядами стояли корзины, полные помидоров, кабачков, вишен, абрикосов и, боже мой, каких только там не было овощей и фруктов! Магазины ломились от колбас, рыбы, хлеба, пирожных. За три рубля заворачивали полную подводу арбузов и дынь прямо во двор. Помню, как за 33 копейки купили три метра шелковистого батиста и сшили мне платье.

Магазины ломились от товаров. Рестораны, кондитерские

были полны. Овощи и фрукты покупали не фунтами и не килограммами, а целыми ведрами, корзинами или подводами. Отовсюду доносились вкусные запахи, все варили варенье, повидло. Мы, пионеры, все лето проводили в лагерях, в то время еще не было великолепно оборудованных лагерей, как впоследствии, но и в лесу, на берегу реки в палатках было неплохо. С нами были комсомольские вожатые, замечательные преподаватели, они водили нас на экскурсии, учили плавать, а вечерами у костра читали нам интересные лекции.

И, наглотавшись досыта кислорода, мы все весело, с песнями возвращались к началу учебного года.

Ах, картошка, объеденье, пионеров идеал.
Тот не знает наслажденья, кто картошку не едал.

Нас, школьников, также возили на экскурсии в Донбасс. Там нас спускали в угольные и соляные шахты, водили на сахарные заводы, на предприятия по изготовлению фарфоровых изделий и по многим другим предприятиям.

А в ботаническом саду в городе Славянске мы видели потрясающие розы, от сногсшибательно белых до черных. Нас повсюду сопровождали учителя, вожатые из старших классов. На такие поездки школьникам предоставлялся иногда целый вагон в поезде.

Останавливались мы в закрытых на лето школах. Кто платил за нашу учебу, за наши прогулки, никто не спрашивал, всем нам казалось, что это все так и должно быть, так и надо. И это были не какие-то специальные школы, а обыкновенные городские, для всех, и это было всего-то через 5–6 лет после окончания гражданской войны.

Средство от малярии

В разгар лета я вдруг умудрилась заболеть жуткой малярией, никогда не забуду эту страшную болезнь. Мне становилось холодно, меня знобило, я начинала дрожать так и до такой степени, что зуб на зуб не попадал. Меня укрывали несколькими одеялами, но я не могла согреться, это длилось, мне казалось, бесконечно долго.

После окончания приступа я начинала обливаться потом, да так, что постельное белье приходилось менять несколько раз, а затем наступала такая жажда, что мне казалось, я легко могла выпить ведро воды. От хинина у меня разболелись уши, в голове

стоял непрерывный шум, и спасло меня от этой страшной болезни, не могу об этом не вспомнить, какое-то первобытное бабушкино средство.

Кто-то сказал маме, чтобы она разбила сырое яйцо, сняла тоненькую пленку внутри яичной скорлупы, обернула ее плотно вокруг пальца и крепко завязала. Мама немедленно все выполнила.

Приступ у меня начинался, как по часам, ровно в пять часов вечера и продолжался до полуночи. В этот раз после приступа я сразу крепко уснула и проснулась от нестерпимой боли в пальце, я не просила, а умоляла снять узел на руке. Оказывается эта пленка, засохнув от невыносимо высокой температуры, врезалась мне в палец так крепко, что палец как будто высох.

Но самое удивительное было то, что после этого вечера приступы малярии у меня сразу прекратились, и я стала поправляться.

Я в комсомоле

В этом году пять лучших пионеров в первомайские праздники, торжественно переводили в комсомол. В эту пятерку попала и я. Я была на «седьмом небе» от радости.

На сцене стоял стол, накрытый красным сукном, вокруг цветы, два красных знамени скрещивались в глубине сцены. В официальной части торжественного заседания говорилось о нашем единственном пролетарском государстве, где мы можем совершенно свободно праздновать 1-е Мая — День солидарности рабочих всего мира, не боясь гонений полиции. В буржуазных государствах за участие в первомайских торжествах демонстрантов разгоняют дубинками, поэтому все взоры международного пролетариата обращены сюда, к нам, счастливым и свободным.

Что такое комсомол? Комсомол — организация Коммунистического интернационала молодежи (сокращенно КИМ), и каждый вступающий в комсомол, признает программу и устав, выполняет его решения и активно участвует в его деятельности и борьбе.

Комсомолец должен бороться с шовинизмом и национальной рознью.

Комсомолец должен свое учение связывать с участием в борьбе всех трудящихся против эксплуататоров.

Эти основные положения устава и программы комсомола и многое другое каждый комсомолец должен знать в течение всех лет пребывания в комсомоле.

Зачитали приветственную телеграмму, полученную от германских комсомольцев, в которой говорилось, что СССР — первое отечество всех рабочих, СССР — ударная бригада пролетариата всех стран и что в СССР нет помещиков и капиталистов. Что в СССР диктатура пролетариата и что колоссальная энергия пролетарской молодежи должна быть включена в революционные силы борьбы против угрозы империалистической войны. И что КИМ — это кузница победы, и, наконец, что комсомольская молодежь Германии будет защищать революционные традиции КИМа.

Над всеми этими установками стоял лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Комсомолец должен по первому зову партии встать в передовые ряды международной пролетарской армии.

Пролетариат — авангард всего трудящегося населения.

ВКП(б) — авангард пролетариата.

Секретарь комсомольской ячейки, в синей косоворотке, причесанный «а-ля Карл Маркс» — тогда это было очень модно — был в президиуме. Свое выступление он закончил словами:

— Мы можем гордиться, что в наши ряды войдут сегодня хорошо проверенные товарищи, испытанные на работе, в быту и в учебе.

И вся наша пятерка вышла на сцену под марш оркестра. Я шла впереди всех, мне, как самой молодой из всей пятерки, тоже надлежало что-то сказать, дать обещание, что мы до конца своей жизни будем верны заветам Ленина, что я и выполнила с огромным энтузиазмом. Я чувствовала и видела, что все мои друзья испытывали такой же восторг, как и я.

— Вы сегодня вступили в ряды комсомола, до конца ли вы обдумали ваш поступок? Готовы ли вы вместе с комсомолом жить и бороться, а если потребуется, то отдать и жизни за его идеи?

Конечно, мы были готовы, все было давно передумано в счастливые бессонные ночи.

— Будьте готовы! — закончил секретарь свою речь, высоко подняв над головой руку с пятью тесно сжатыми вместе пальцами.

Мы также, высоко вскинув вверх руку, твердо ответили:

— Всегда готовы!

У нас, пионеров, это значило, что в любое время мы готовы защищать пролетарскую революцию в любой части света. Пять сжатых вместе пальцев означали пять частей света, спаянных одними интересами. Выше головы — что интересы пролетарской революции во всем мире выше личных интересов, и «Всегда готов!» значило, что каждый пионер всегда готов пожертвовать

собой во имя идеи мировой революции. Так я растолковывала этот наш пионерский салют. Теперь мне казалось, я не просто я, а что я принадлежу каким-то образом всей стране и несу какую-то ответственность за все, за все, что происходит и будет происходить в нашей стране. Оркестр заиграл «Интернационал». Все встали, и зал огласился мощными звуками молодых голосов. Мы стояли на сцене, вытянувшись в струнку. Это был один из самых торжественных моментов.

Я комсомолка — это звучало гордо. Теперь что бы я ни делала, я всегда должна была думать, хорошо ли это, достойно ли это высокого звания комсомольца.

С кем я поспешила поделиться это радостью? С Зоей, с подругой детства в моей обожаемой Македоновке. И со всеми общими друзьями, с которыми я любила проводить каждое лето. До чего же это была талантливая молодежь!

Гаврик — художник, он любил писать море. В Харькове, на выставке в художественной академии его картины привлекли такое внимание, что о нем говорили, как о новом будущем Айвазовском, ему было 16 лет.

Костя был среди нас писатель, он писал пьесы, которые мы тут же разыгрывали. Писал удивительные рассказы из повседневных наших событий, даже стихи.

Зоя была потрясающий математик. Когда она училась в 5-м классе, преподаватель иногда просил ее проверять работы по математике 7-го класса ее школы. Из всей этой группы я была самая бездарная, мне нравилось все и ничего в отдельности.

У молоканского проповедника

В этом году мои родители снова решили не отрывать меня от занятий в школе, а дать мне возможность спокойно окончить учебный год. И для этого оставили меня не где-нибудь, не просто у кого-нибудь, а в семье молоканского проповедника. Я до сих пор вспоминаю с удовольствием зиму, проведенную в этой семье. Как видите, в те годы даже у таких убежденных коммунистов, как мой отец, не было никаких предубеждений против глубоко верующих людей, даже каких-либо сектантов, а тот, у кого родители меня оставили, был не просто сектант, а глава молоканской секты. В те годы важнее всего было не то, во что человек верит, а главное было, как и в любом государстве, чтобы его деятельность не причиняла вред и не вела к борьбе против советской власти.

Первый раз в жизни я услышала, что кроме православной, католической, иудейской религий на свете существуют еще какие-

то религиозные секты: баптисты, духоборы, скакуны, молокане и всякие другие. А здесь их было много, и я понятия не имела, как они существовали — легально или полулегально, только у тех, у кого я жила, все было нормально.

Проповедник, Николай Степанович, занимался столярным мастерством, часть большого красно-кирпичного дома занимала его мастерская. У него был даже подмастерье, молодой парень лет 18-ти, который изготавливал всякие интересные вещи для домашнего употребления, а также вырезал удивительные фигурки из дерева, которые дарил нам. Николай Степанович по воскресениям читал проповеди в большом доме с огромным садом через дорогу от нас. Там же выступали приезжавшие в то время из Канады проповедники, которые после проповедей приходили к нам обедать. Обед в этом доме всегда в воскресенье состоял из очень вкусной домашней куриной лапши.

У них было три дочери, со старшей, Надей, мы вместе учились. И я даже в одно воскресенье пошла с ней посмотреть и послушать проповедь для молодежи в том же здании напротив. И была удивлена. Большая аудитория, чистые пустые стены, никаких икон, картин, плакатов, ничего, только скамейки и небольшая трибуна. Прослушали лекцию для молодежи приехавшего из Канады проповедника, выступавшего в обыкновенном костюме, и разошлись. В те годы даже многие молокане, эмигрировавшие в царское время в Америку, возбудили ходатайство о возвращении их СССР.

Я должна признаться, что мне очень понравилась не лекция, суть которой я даже не поняла, а сама обстановка и простота отношений в общине. Православная религия с ее вычурной торжественностью мне всегда казалась очень театральной.

Надя тайком от родителей все-таки вступила в комсомол, и за ней в это время уже ухаживал наш вожатый. Тогда я впервые начала чувствовать, что религия делит людей на желанных и нежеланных.

Что люди делятся на бедных и богатых, на эксплуататоров и эксплуатируемых, это я понимала. Но Бог — он же один-единственный для всех, абсолютно всех людей на свете, так какое право имеют люди делить его по своему усмотрению. Как люди могут сказать: мой Бог лучше, а твой хуже. Разве может быть один Бог хороший, а другой плохой?

У меня никогда не было никакого предубеждения против какой бы то ни было религии. Я только считала, что у религиозных людей, независимо от того, кто они — мусульмане, христиане, иудеи — или принадлежат к каким-то другим религиозным конфессиям, у всех у них должна быть какая-то

общая любовь друг к другу. Ведь все они любили и любят одного и того же Бога, независимо от того, к какой религии они принадлежат и как бы по разному ни молились они этому Богу. А разные религии — это что-то такое, как будто все читают одну и ту же книжку, и каждый старается растолковать ее по-своему.

Десятая годовщина революции

В ноябре 1927 г. наступил ***грандиозный*** праздник: Первое десятилетие Великой Октябрьской социалистической революции. Шутка ли — в Москву съехались представители со всего мира.

Ведь столько событий произошло в России за такое короткое время: начиная с 1914 года — Первая мировая война, свержение в 1917-м году монархии — 300-летнего Дома Романовых, появилось Временное правительство. В 1917-м году произошла Октябрьская революция, рухнуло Временное правительство. Затем последовала разрушительная Гражданская война, стихийный голод 1921–1922 гг. и жуткая военная и послевоенная неразбериха так называемого периода военного коммунизма, переход к НЭПу, восстановления народного хозяйства и начало индустриализации… А прошло-то после Октябрьской революции и окончания гражданской войны в 1920-м году всего-то даже меньше 10-ти лет.

И все, что досталось после всех этих событий теперь уже советскому народу при новой советской власти, — это разрушенные дотла пустые заводы, без окон и без дверей, с разбитым заржавевшим оборудованием, затопленные шахты и рудники, развалившийся ж-д. транспорт и тяжелая промышленность, вся катастрофически бездействовавшая из-за отсутствия топлива, угля, нефти, сырья и при почти полном отсутствии квалифицированной рабочей силы.

Народное и сельское хозяйство после империалистической и гражданской войн, иностранной военной интервенции, неурожая и голода 1921–1922 гг. было в еще худшем положении, чем промышленность, и находилось на нищенском уровне.

Кроме погибших в войне людей, погибли и лошади, вся тягловая рабочая сила, и при полном отсутствии сельскохозяйственного инвентаря поднимать сельское хозяйство надо было самым тяжелым примитивным способом ***вручную и тоже почти с нуля.***

Ведь основные средства передвижения в те годы в армии тоже были лошади, и их мобилизовали на фронт так же, как людей на военную службу. И я даже помню, как сокрушались крестьяне, которые сегодня пахали, убирали хлеб, а завтра не знали, как

собрать урожай или молотить хлеб. Лошадей забирали, и белые, и красные, и деникинцы, и буденовцы. Иногда, в лучшем случае, оставляли своих полуиздыхающих кляч, которые с трудом двигали ногами и вызывали у крестьян такую печаль и тревогу, как после похорон. Ведь никакой механизации в те годы не существовало, а на себе с поля урожай не привезешь.

Поэтому необходимо было как можно скорее приступить к подготовке таких кадров, которые были бы способны не только поднять сельское хозяйство, но и приступить к капитальному восстановлению и строительству тяжелой промышленности. Для чего требовались огромные ресурсы, которые необходимо было найти внутри страны. И это все в условиях всеобщей неграмотности.

Из 126-миллионного населения до войны четыре пятых были неграмотны, и та одна пятая часть грамотных (для которой учеба была доступна), была той частью населения, которая в большинстве своем либо погибла во время войны, либо эвакуировалась за границу. Недаром же белая эмиграция ***всю жизнь*** была твердо убеждена в том, что с ее исчезновением в России, а теперь в Советском Союзе вообще грамотных не осталось.

Но эти кадры и средства для их подготовки при советской власти с трудом, но нашлись, нашлись, благодаря тому, что основные отрасли народного хозяйства были сосредоточены в руках пролетарского государства, и не только без всякой экономической помощи извне, но даже при упорном препятствовании, отовсюду.

В 1927 году консервативное правительство Англии прервало дипломатические отношения с Советским Союзом. И только в 1929 году, осознав ущерб, нанесенный ***ей же самой*** прекращением нормальных торговых отношений с СССР, вынуждено было вновь восстановить дипломатические, хотя провокации со стороны Англии никогда не прекращались и даже продолжались с новой силой.

Английские империалисты, да и не только они, а многие другие страны, через своих агентов организовывали антисоветские провокации и вели усиленную борьбу против Советского Союза. В 1927 году английским диверсантом была брошена бомба в партийный клуб в Ленинграде, где было ранено 30 человек. В Варшаве был убит советский полпред Войков. И масса других провокационных действий была направлена на создание единого антисоветского фронта капиталистических государств против Советского Союза.

В этих условиях и проходило торжественное празднование

десятилетия Великой Октябрьской революции.

И уже тогда, да по существу и тогда, и до, и после, и всегда чувствовалось, что у Советского Союза никакой передышки в отношении его внешней политики никогда не было и не будет.

Например, Китайско-Восточную железную дорогу — КВЖД, построенную Россией в 1897–1903 гг. и находившуюся с 1924 г. под совместным управлением СССР и Китая, под давлением иностранных империалистов и огромной русской белогвардейской колонии, в то время хозяйничавшей в северо-восточных провинциях Китая и совершавшей систематические провокационные нападения на советские границы, — в 1929 г. захватили китайские империалисты.

Поэтому в августе 1929 г. и была создана ***Особая Дальневосточная армия*** против нарушителей советских границ, и только после разгрома китайских войск в декабре 1929 г. было подписано соглашение о ликвидации конфликта на КВЖД.

Советское правительство все эти годы постоянно и безуспешно ставило вопрос перед Лигой наций о полном или частичном разоружении всех государств.

В немецкой слободе

Как только в конце двадцатых годов начали закрываться иностранные концессии, отца назначили директором фабрики сухого молока (единственной в то время не только на Украине, но во всем Советском Союзе).

Эта бывшая немецкая концессия находилась в немецкой колонии под названием Валдорф в 12 км от города Молочанска, в окружении целого ряда богатых немецких колоний. Добротные усадьбы Валдорфа на высоком берегу реки Молочанск были разделены вымощенной прямой, как стрела, улицей. Мы сняли квартиру в огромном немецком особняке, блестевшем чистотой. Из окон нашей квартиры и с крыльца открывался великолепный вид другого низкого берега реки Молочанск, вдоль которого расположилась красивая, типично украинская гоголевская деревня, с маленькими домиками под соломенными крышами, как будто игрушечными по сравнению с этими немецкими особняками.

На этой фабрике сухого молока раньше работали в основном одни только немцы. Но как только эта концессия перешла государству, все немцы уехали в Германию, и здесь остался только один инженер, высокий, костлявый немец, о нем говорили, что он якобы один знает секрет производства сухого молока такого замечательного качества. Свой секрет он очень хранил и за

это получал очень хорошее вознаграждение.

Через несколько дней после того, как я приехала из Мелитополя, отец пригласил меня посмотреть это предприятие.

Фабрика произвела на меня потрясающее впечатление — все оборудование блестело, чистота, как в аптеке.

В последней стадии производственного процесса с огромных зеркально блестящих барабанов медленно спускались в смесители полотнища сухого молока ярко-кремового цвета, как крепдешин, и оттуда молоко расфасовывалось прямо в красивые упаковочные пакеты.

Мы зашли в огромную светлую лабораторию, полную приборов, пробирок, баночек, скляночек, где стояли лаборанты и что-то колдовали. Мне она показалась царством науки. Посреди кабинета главного инженера Карла — так звали этого немца — стоял большой стол, а на нем зеленый лес пивных бутылок из знаменитого пивного завода в городе Молочанске.

— Карош русской пиво, — похваливал Карл, наливая всем в баварские кружки пиво. Я попробовала, первый раз в жизни, и мне оно показалось горьким, как полынь. Ему же, как мне сказали потом рабочие, каждое утро привозили прямо с пивоваренного завода 24 бутылки, а вечером убирали пустую посуду.

Он был по уши влюблен в Эльзу-лаборантку, дочь нашей хозяйки, у которой мы снимали квартиру. Она так же по уши была влюблена в Яшу-еврея, бухгалтера завода, и я невольно была втянута в эту романтическую драму, т. к. Яша и Эльза должны были встречаться тайком от ее родителей.

Не без моей помощи Эльза в конце концов сбежала из дому с Яшей. Брак их оказался очень счастливым, и они очень часто навещали моих родителей уже с детьми.

Секрет фирмы и «Красный дьяволенок»

Карл же проникся ко мне какой-то симпатией и очень активно начал посвящать меня в тайну этого производства. И я, еще ничего не понимая, изо всех сил старалась вникнуть в тайны этого производства.

— Я скоро уету в Германию, и все искаль кафо научить рапотать в лапоратории — народ не поймут. Вам я все расскашу.

Работать на этом заводе я не собиралась, но таким его доверием ко мне я была польщена и была не прочь узнать его секрет. И все, что я узнала от него, я с большим удовольствием передавала молодому, только что прибывшему веселому-превеселому инженеру, у которого, казалось, смех брызжет из всех пор.

Вместе с ним мы нашли помещение, оборудовали клуб для рабочих и молодежи, нашлись музыканты, и часто вечерами мы устраивали танцы «до упаду». Немцы любили танцевать, и с абсолютно бесстрастными лицами притаптывали до дурноты.

К торжественному открытию нашего клуба мы приготовили пьесу «Красный дьяволенок». В этой пьесе была представлена жизнь обюрократившегося партийного работника, который бросил семью, простую деревенскую жену, детей, и собирался жениться на городской. Но в эту семейную драму вмешался молодой шустрый паренек — «красный дьяволенок», который своей находчивостью уладил назревавший семейный конфликт. Этого шустрого мальчишку играла я. До сих пор помню, до чего же бездарной актрисой я была в данном случае.

Наше первое выступление в огромной немецкой колонии Розенталь превзошло все наши ожидания, было таким успешным, что, я думаю, нам могли бы позавидовать даже профессиональные артисты с большими именами. Нас требовали нарасхват все немецкие колонии, а их было здесь немало.

Нас приглашали из дома в дом и с гордостью показывали свое хозяйство. Роскошные кирпичные дома с великолепно ухоженными благоухающими от изобилия цветов и роз парками, все подсобные помещения, сараи, кухни, всюду был безукоризненный порядок и чистота. Нас угощали, тащили нам ведрами вишни, клубнику и другие фрукты. В наше первое выступление приехали мы в 6 часов вечера, а выступать начали только после 10-ти, когда все вернулись с полевых работ.

А когда почти под утро мы подошли к нашим тачанкам, то ахнули от удивления — они были буквально завалены розами. И такой триумфальный успех мы имели повсюду.

Из этих богатых немецких колоний каждое утро на завод шла вереница подвод с полными бидонами свежего молока. Здесь быстро проверяли молоко на жирность и еще на что-то и отправляли на обработку не обезжиренное, с молока сливки не снимали, т. к. считалось, что чем жирнее молоко, тем оно лучше и вкуснее. Поэтому с сушильного барабана спускались блестящие полотна сухого молока ярко-кремового цвета. Одна чайная ложка этого сухого молока, разведенная в стакане горячей воды, имела вкус настоящего свежего топленого молока, даже с крупинками жира, плавающими наверху.

Лунные прогулки

Но на комсомольские собрания из Валдорфа в Молочанск 12 км мне надо было ходить пешком туда и обратно, и я очень

любила эти прогулки. Выходила из дому в 4 часа и приходила задолго до начала собрания, и как только кончалось собрание, я быстро исчезала. Проделывала я этот путь обратно часа за два, в одном месте надо было идти даже мимо кладбища, но часам к 12 ночи я была уже дома. Это продолжалось до тех пор, пока ребята не разнюхали, куда я исчезаю, и начали встречать меня возле кладбища и весело провожать до самого дома и возвращались обратно к себе в город на велосипедах.

В лунные ночи эти прогулки были сказочно красивые. Большую часть пути надо было идти вдоль реки Молочанск. Река не глубокая и не широкая, но чистая, как слеза, и вся заросшая вербами. И у самой воды вдоль берега тянулись украинские села. Ухоженные, чистенькие, беленькие хаты под соломенными крышами, с живописными колодцами с журавлями, утопали в вишневых садиках, а когда весной расцвели деревья, издали казалось, что эти сады покрыты нежным белым кружевом, а ночью от соловьиных трелей трудно было уснуть. И невольно, вспоминалось:

Я знаю край, где все обильем дышит,
Где реки льются, чище серебра,
Где мотылек степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора.

Вот такие именно веселые, уютные, зажиточные хутора были в то время до начала коллективизации на Украине.

В меня даже умудрился влюбиться, очень интересный, секретарь комсомольской ячейки Яша Сапожников. Грустно вздыхал, провожая меня. А когда мы уехали оттуда в Геническ, он приезжал несколько раз, хотел жениться, а было мне всего 15 лет, и я в это время хотела объять необъятное, и грустный, почти со слезами, он уезжал обратно.

Летно-подготовительные курсы

Когда я вернулась в Харьков, я обратила внимание, что в военно-физкультурном отделе ЦК ВЛКСМ большое оживление. Причиной суматохи было выступление А. С. Бубнова, начальника Политуправления РККА, на комсомольской конференции МВО (Московского военного округа) о мобилизации комсомола в военные школы.

Он обращался к комсомолу, требовал укрепить боевую подготовку первой в мире Красной армии, организующей силой

которой является ВКП(б).

Комсомол обвиняли, в том, что у него военная работа идет «самотеком», что ее нужно усилить и проводить повседневно. Что стране идет гигантская стройка, а на западе все явственней звучат боевые сигналы, и что мы ходим на демонстрации, поем марш Буденного «Даешь Варшаву, дай Берлин!» И надеемся, что кто-нибудь другой за нас, займется этим делом, то есть военной подготовкой.

Комсомол быстро откликнулся, и мобилизация началась. От Украинского комсомола надо было мобилизовать 5000 человек. Я тут же чуть ли не одна из первых записалась на осоавиахимовские летно-подготовительные курсы. Шесть месяцев быстро пролетели. Прибыла из центра комиссия по отбору студентов в Московскую военно-летную школу. Мы даже в воздух должны были подняться на «кукурузниках», как мы в шутку называли наши учебные самолеты. Высота подъема чуть-чуть выше колокольни, с этой высоты весь город был как на ладони.

Со мной вместе был Сергей Рутченко, самый красивый курсант и замечательный актер. Он был женат, и его беременная жена всегда сидела за кулисами при всех постановках, где он всегда играл героев-любовников, как будто боялась, что ее Сережу кто-нибудь, унесет.

Когда мы спустились и вошли в помещение, там было шумно, весело. Все громко говорили, радостно смеялись. Сережа предложил посидеть тихонько и поиграть в шахматы. Я согласилась. Но не успели еще расставить фигуры, подошел курсант и сказал, что меня просят зайти в кабинет.

Я с бьющимся сердцем направилась по длинному коридору в кабинет начальника курсов, где заседала комиссия. Начальник комиссии крепко пожал мне руку, похвалил (на этих курсах я была единственная женщина), сказал, что у меня все очень хорошо, но — указав пальцем на дату моего рождения на анкете, спросил, правильна ли она или это ошибка. Я ответила, что правильна.

— Жаль, — сказал он, — несмотря на ваши хорошие успехи, мне придется отчислить вас по возрасту, мы детей за штурвал не сажаем, — но увидев, что со мной творится, он попробовал успокоить меня: — Не огорчайтесь, мы через два-три годика еще с вами встретимся.

И чего я не прибавила себе эти «два-три годика», злилась я на себя, — ведь никто никогда никаких метрических записей у меня не спрашивал, сколько написала, столько и прошло бы. Да и вообще, никогда в жизни у меня не было никакого метрического документа. Год и число моего рождения я всюду писала так, как

сказала мне мама. Но думать об этом было уже поздно.

Да и события летели с молниеносной быстротой. В тот вечер во время любительского концерта Сережа выступил с длинной поэмой, в которой делился своими впечатлениями о нашем полете. Из него я только запомнила, как после каждого четверостишья он твердил: «На землю, на землю; на землю спустить». Такое еще тогда было отношение к авиации.

Закат НЭПа

Меры, принятые по инициативе В. И. Ленина на 10 съезде партии 8-16 марта 1921 г., дали положительные результаты. Новая экономическая политика с каждым днем оказывала все более и более благотворное влияние на экономику страны. И если бы не засуха 1920–1921 гг. и страшный голод 1921–1922 гг., который обрушился на 34 губернии с населением свыше 30-ти миллионов человек, хозяйство страны еще быстрее вышло бы из кризиса.

И даже, несмотря на все перенесенные страной невзгоды, страна сумела за такое короткое время восстановить не только сельское хозяйство, но и разрушенную дотла промышленность. Я очень хорошо помню, как и с каким энтузиазмом в период НЭПа люди работали.

Я помню сельскохозяйственные выставки и ярмарки в эти годы на Украине, они были похлеще тех, какие описывал Гоголь. Я помню ярмарку в городе Мелитополе.

Овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, разнообразные товары, горы сверкающих на солнце горшков, а скотина: откормленные черные, белые, пятнистые чистые, упитанные свиньи, некоторые даже с какими-то наградными бантиками. Солидные, важные, породистые, выписанные откуда-то коровы, вымя которых почти касалось пола, дающие самый большой удой молока. Холеные красавицы лошади, которых с трудом удерживали их хозяева, казалось вот-вот у них из ноздрей полыхнет пламя, и они унесутся, как в сказке, в поднебесье. И гордые владельцы этих откормленных, породистых животных, конкурирующие друг с другом, чья скотина лучше и кто получит первый приз.

Жюри выдавало их владельцам подарки, премии, и всем было весело. Веселые крестьяне гордились и хвастались друг перед другом своей холеной выращенной скотиной. Так на всю жизнь запомнилась мне эта прекрасная ярмарка, что может сделать и чего может добиться человек своим честным и праведным трудом.

Я не говорю о тех вкусных вещах, которых всегда полно на ярмарках: о пирожных, тортах, блинчиках, борщах и великолепных вкусных фруктовых напитках, которые можно было тут же покупать за копейки. Магазины, ломились от товаров, не чужих, привезенных из-за океана, а своих, созданных здесь, своим собственным трудом.

После таких ярмарок даже знаменитая московская сельхозвыставка не произвела на меня особого впечатления, она

не была такая живая и веселая. В ней не было той черноземной силы. Такой я помню в те годы Украину.

В. И. Ленин всегда подчеркивал, что Нэп это не отступление от социалистического строительства, а ***единственная политика,*** обеспечивающая возможность построения фундамента социалистической экономики. НЭП — это не случайное или временное мероприятие, он введен Коммунистической партией и Советским правительством на ***продолжительное время.***

И что для дальнейшего успешного развития и восстановления всей промышленности основной задачей является восстановление разрушенного народного хозяйства, которое надо начинать с ***сельского хозяйства,*** т. к. без получения необходимого сельскохозяйственного сырья нельзя рассчитывать на подъем и развитие промышленности. И что трудовому крестьянству необходимо помочь, надо вести такую политику, которая стимулировала бы и помогала им восстановить сельское хозяйство в этой отсталой, разоренной стране.

В. И. Ленин всегда интересовался, принесла ли пользу новая экономическая политика. Это главный вопрос, говорил В. И. Ленин, и он имеет первостепенное значение для коммунистической партии. Если бы ответ получился отрицательный, то «мы все были бы обречены на гибель».

Рабочие и крестьяне — в осуществление ленинского принципа — во время сосуществования двух систем в период НЭПа добились колоссальных успехов.

Новая экономическая политика была ***единственно*** правильная политика. Она укрепила союз рабочих и крестьян и помогла развивать социалистический сектор народного хозяйства. Новая экономическая политика оживила политическую жизнь, а главное, в селах крестьянство начало принимать более активное участие в общественной деятельности страны, тем самым оказывало огромное благотворное влияние на всю экономику страны.

Ленин еще в 1922 г. говорил, что «вопрос о земле, вопрос об устройстве быта громадного большинства населения — крестьянского населения — для нас вопрос коренной».

Кооперирование мелкого крестьянского производства — самая трудная задача после завоевания пролетариатом власти… Объединение крестьян в кооперативы должно проводиться на ***добровольных началах*** и ни в коем случае административными мерами… «Лучше меньше, да лучше».

Ленин также подчеркивал, что «для поголовного участия населения в кооперации необходима ***целая эпоха»…*** И что для такой подготовки потребуются десятилетия и соответствующие

материальные базы, а также определенный уровень культуры и что крестьянина необходимо переубедить и не словами, а ***практическими*** примерами. Ленин еще писал: «Нам осталось только одно: сделать наше население настолько „***цивилизованным***“, что бы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие. Только это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму».

Та новая экономическая политика, которую ввел В. И. Ленин в 1921 г., могла существовать, должна была существовать, и существовала бы при советской системе до тех пор, пока советская экономика не окрепла. Но Сталин, в нарушение ленинского плана, ликвидировал ее в конце 1920-х годов, и тем самым он разрушил всю экономику страны.

Многие не понимали значение ленинской политики, но В. И. Ленин даже считал, что при наличии в руках государства ***командных*** высот народного хозяйства не надо бояться сдавать в концессию иностранным капиталистам некоторые предприятия для более быстрого восстановления тяжелой советской промышленности и некоторого оживления капитализма. Такая была твердая установка В. И. Ленина до последнего его вздоха.

И тов. Бухарин еще в 1925 г. тоже заявил:

— Наша политика по отношению к крестьянству и деревне должна развиваться в таком направлении… чтобы уничтожались многие ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства. Крестьянам, всем крестьянам, надо сказать: ***«обогащайтесь,*** развивайте свое хозяйство и не бойтесь, что вас прижмут».

Прав был Н. И. Бухарин, тысячу раз прав. Деревню надо было поддержать, дать ей инициативу и возможность развиваться так, чтобы деревня превратилась в пышный цветущий сад, в источник изобилия, и тогда сильнее, крепче нашей страны не было бы на всей нашей планете.

Владимир Ильич Ленин скончался 21 января 1924 г., и в своем завещании писал и предупреждал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». В. И. Ленин в этом же завещании предлагал партии «обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место ***другого*** человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, а именно, был бы более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью,

но это не мелочь, или это такая мелочь, которая может положить решающее значение». (В. И. Ленин. Полное собр. соч. Т. 36, 4-е изд. С. 544, 546).

Самую большую, ***роковую*** ошибку совершила партия, когда на первом заседании ЦК генеральным секретарем был избран И. В. Сталин, и, на свою погибель, не приняв во внимание такое убедительное предупреждение В. И. Ленина, оставила Сталина на этом месте. С этого момента в нем кипела злость против всех. И он шаг за шагом искал причины для того, чтобы уничтожить всех, кого он считал умнее или сильнее себя.

Господи, до чего же был прав В. И. Ленин, который до самой смерти писал, и все время твердил, что перевооружение сельского хозяйства должно происходить на основе ***механизаци***и и электрификации и что «…дело переработки мелкого землевладельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее ПОКОЛЕНИЙ… только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификации»… (9 Соч. Т. 32. С. 194). Помогут справится с этой задачей. (В. И. Ленин. Полное собр. соч. Т. 32, 4-е изд. С. 194). Такова была установка и завещание В. И. Ленина.

Сталинская коллективизация

То, что творилось и что происходило при Сталине, ничего общего не имело с гениальным ленинским кооперативным планом.

Сталин игнорировал все мудрые установки Ленина о том, что после завоевания рабочим классом власти наиболее сложной задачей пролетарской революции является проведение социалистической перестройки сельского хозяйства и что главным и самым коренным интересом пролетариата является увеличение количества продуктов. И, как утверждал Ленин, для этого потребуется ЦЕЛАЯ ЭПОХА и несколько поколений. Сталин, как будто всем назло, решил доказать, что прав не Ленин, а он, Сталин, и уже в декабре 1927 г. на 15-м съезде партии настоял на принятии постановления о всемерном развертывании коллективизации сельского хозяйства в СССР.

Да что там на 15-м съезде партии, он уже на 14-м съезде, состоявшемся 1831 декабря в 1925 г. заявил: «Темпы движения к социализму необходимо ***ускорить».*** Как видно из этого, Сталин после смерти Ленина времени не терял.

А на 15-м съезде партии: «Всесторонне рассмотрев и обсудив вопрос о ***всемерном*** развертывании коллективизации сельского

хозяйства, уже было принято решение о переходе земледелия к крупному социалистическому производству, основанному на новой технике». Вот этой самой новой техники в это время еще в помине не существовало, и по существу, не было подготовлено ничего, даже простого сарая, простого амбара, простой крыши над головой. А уже решено было развернуть подготовку наступления социализма по всему фронту (формулировка-то какая), не добровольное вступление, а «наступление социализма» на основании вот этой самой не существовавшей новой техники.

Накануне массовой коллективизации на Украине насчитывалось 5,2 млн. крестьянских хозяйств, на 30 % больше, чем до революции. Бедных было 30 %, главной частью был середняк — 65 %, а т. н. «кулацких» хозяйств — всего 4,5 %, и они производили ***четвертую*** часть товарного хлеба и всякой другой сельскохозяйственной продукции. И несмотря на то, что выпуск валовой продукции промышленности и сельского хозяйства к концу 1927 г. был уже больше, чем до войны (а колхозы и совхозы по производству зерна занимали еще весьма незначительное место), и посевные площади Украины в 1927 г. превысили довоенные почти на треть, и что повысилась не только урожайность, но и разнообразие культур, и что восстановлено было поголовье скота, и что улучшилось благосостояние основной массы трудящихся, и что молодежь с увлечением и с энтузиазмом начала заниматься сельским хозяйством, и что все время увеличивалось количество индивидуальных крестьянских хозяйств, Сталин, вопреки всему этому и всем заветам В. И. Ленина, поступил по-своему.

Под давлением Сталина в 1929 году НЭП ***прекратил*** свое существование. И с 1929 по 1932 гг. в Советском Союзе развернулось по всему фронту строительство так называемого социализма.

В «Правде» в это время появилась статья под названием «Год великого перелома», о ***коренном*** переломе в развитии нашего земледелия от мелкого отсталого индивидуального хозяйства к крупному, передовому коллективному земледелию. Это было тогда, когда еще не кончились и не были полностью решены основные задачи восстановительного периода народного хозяйства в стране.

В это же время на основании нового, законодательно оформленного постановления в 1929 г. в высших органах государства решено было перейти от политики ограничения и вытеснения кулачества к политике ***ликвидации*** кулачества как класса на основании сплошной коллективизации. И это рассматривалось как единственное и правильное решение, тогда

как во время НЭПа рабочие и крестьяне, в осуществление ленинского принципа сосуществования двух систем, добились колоссальных успехов. Ну, разве это не абсурд?[11]

Абсурд

Во время жестокой коллективизации Сталин в оправдание своей жестокости заявил: «Мы проводим коллективизацию ***опираясь*** на бедноту. Ну, скажите на милость, разве это не абсурд?»

Разве правительство должно было ***опираться*** на бедноту, когда беднота должна была опираться на советскую власть, которая должна и обязана была дать возможность и создать такие условия, при которых вся беднота исчезла бы. Ведь революция произошла, и народ боролся за то, чтобы «кто был ничем, тот станет всем», и за это люди готовы были идти и шли «в смертный бой», а не ради того, чтобы весь народ превратить в бедноту. Ведь беднота тоже боролась не за то чтобы стать еще беднее, а за то чтобы стать богаче и зажиточней. К этому, насколько я помню, и стремилась наша страна под руководством таких прекрасных людей, как Н. И. Бухарин, и многих других таких же замечательных, как он. И пусть бы потом появились и колхозы, даже через «несколько поколений», как предвидел Ленин, но появились бы они на ***добровольных*** началах, по желанию самих трудящихся, а не под плач и стоны не только крестьян, но даже под рев ненапоенных и ненакормленных животных.

Ведь Сталин понятия не имел, что он делает, он только издавал один закон хуже и страшнее другого, и не потрудился даже увидеть, к чему эти законы привели. Он не видел и никогда не хотел видеть, как рабочие голодали, как пухли и умирали их дети от ***искусственного*** голода, ***созданного им,*** а он из упрямства тянул свою антинародную, античеловеческую политику, называя это «борьбой за социализм». Он превратил смысл и содержание этого слова в издевательство и насмешку. Кому был нужен голодный социализм?

Он разорил страну, разорил сельское хозяйство настолько, что оно не смогло никогда больше по-настоящему поправиться, он упрямо тянул свою антинародную, античеловечную политику.

Ведь этот кошмар даже ***меня,*** безгранично любившую советский строй, именно советский строй, с детства воспитанной в партийно-комсомольской среде, оттолкнуло от таких нелюдей, как Сталин, Ежов, Берия, Вышинский, и от тех, кто выполнял безоговорочно их указания.

Но не оттолкнуло от советской системы, с которой я никогда

их не отождествляла. Так что же можно было ожидать от миллионов людей, которые никогда не имели никакого родственного чувства к советскому строю, к советской системе (ведь советской системе в то время было только 20 лет)?

Они просто жили при этой системе и советскую систему, советскую власть ***отождествляли*** со Сталиным, Ежовым, Берией, Вышинским и считали, что при советской системе ничего другого, кроме этого ***ужаса,*** быть просто не может.

Кто дал право Сталину так преступно дискредитировать лучший строй в мире? Новый народный строй, завоеванный, именно ***завоеванный*** и ***созданный*** первый раз за всю историю человечества ***простым народом,*** простым человеком и для простых людей. И с потрясающей силой заявить всему миру, что он создан для блага человека, всего человечества, а не какой-то избранной кучки, что все люди равны на нашей планете и все имеют совершенно равные права от рождения и до смерти. И если бы не проклятое вмешательство Сталина, наша страна стала бы одна из самых передовых, самых богатых, самых цветущих и самых справедливых стран мира.

Моя подруга Зоя

Как только я немного освободилась от своих комсомольских нагрузок, я быстро решила поехать в свой любимый Мариуполь. Там были самые близкие мои друзья с самого раннего моего детства. Там жила и училась самая моя близкая как сестра подруга.

Мы вместе ползали, вместе научились ходить и говорить. Дом нашего дедушки стоял в центре на перекрестке двух главных улиц, дом Зои был на против оположном углу этой улицы. Их сад соприкасался с дедушкиным огородом. Из окон «нашего» дома (мы всегда так называли дедушкин дом) мы видели поезда, проходившие мимо полустанка Асланово в Мариуполь, и людей, идущих с поезда в «нашу» Македоновку.

Напротив нашего дома посреди широко открытой площади стояла большая, утопающая в зелени церковь, а вдали справа, в конце этой огромной открытой площади, были две большие крылатые ветряные мельницы.

По воскресеньям молодежь собиралась у церковной ограды со стороны школы, т. к. школа и церковь находились под одной крышей. Школа служила чем-то вроде клуба. Молодежи здесь было очень много, у них был свой проспект от церковной ограды до ветряных мельниц. По-гречески это называлось: «на пагум аста курича» — «пойти туда, где собираются девушки». Туда все надевали свои лучшие наряды, и там всегда было очень, очень весело. Когда наступали сумерки, молодые люди с веселыми песнями провожали приглянувшихся девушек домой, и наступала тишина, которую нарушали только забравшиеся в дом сверчки.

Ни телефонов, ни радио, ни кино здесь не было и в помине. Самым большим событием в жизни этого села были свадьбы. На них гуляла до упаду вся деревня почти целую неделю. Столы накрывались и в доме, и во дворе, и не было человека, который мог бы пройти мимо, не поздравив молодоженов. Браки были прочные, и о разводах не было и речи. Был еще один престольный праздник, который праздновали после сбора урожая, на него съезжались все соседние села, жарили целых барашков, столы стояли во дворе и ломились от яств. Такие события или праздники были очень полезной отдушиной в их тяжелом, напряженном труде. Ведь крестьянский труд очень тяжелый, напряженный круглосуточный труд — не ограниченный часами. Они старались дать скотине больше возможности отдохнуть, чем отдыхали сами. И все это было, я помню, до коллективизации.

Я помню, как дедушка вскакивал несколько раз в такую

короткую летнюю ночь, ходил проверять лошадей, подсыпать им корма или просто убедиться, все ли у них в порядке. И еще я помню, как в одну такую ночь он в ужасе увидел пустые места там, где стояли лошади, их ночью после того, как он проверил и лег прикорнуть, увели.

Видя его отчаяние, я тогда поняла, почему так жестоко люди расправляются с конокрадами, когда они попадаются, над ними очень часто творили самосуд и убивали их здесь же, на месте. Конокрады для крестьянина были самые ненавистные и самые презренные воры. Отняв у крестьянина лошадей, их рабочую скотину, они обрекали их на голодную смерть. А потерять лошадей в горячую пору было ужасным, смерти подобным несчастьем.

На смену этим красавицам лошадям у дедушки появились волы, белые-белые, с огромными красивыми рогами — они двигались и делали все медленно и важно. Но осенью вдруг появился человек, который заявил, что волы у него были украдены года два-три тому назад, и на них его тавро, хоть даже и измененное. Дедушка купил этих волов в Мариуполе на ярмарке на Сенной площади — и так ему бедному не повезло!

В это время предприимчивые, энергичные молодые люди создали кооператив на добровольных началах, в него и вошел наш дедушка. Купили трактор «Фордзон». И я помню, как его сняли с поезда, как ликующая толпа ребятишек и взрослых сопровождала этот грохочущий трактор в село, он шел степенно, важно до первого единственного деревянного мостика, переброшенного через балочку, туда он и провалился.

Старым лошадям пришлось вытаскивать это чудо новой техники под грохот и хохот окружавшей его толпы. Но какая была у всех радость, и как все были благодарны, когда этот трактор облегчил полевые работы всего села. Очень скоро после трактора этот кооператив или артель, не помню как они себя называли, купили комбайн, на котором по очереди молотили посевы во всем селе.

Я только помню, что каждый дом в этом селе был полная чаша. Осенью в домах засыпали зерном даже парадные комнаты, т. к. никаких элеваторов поблизости не было, чтобы сохранить такое изобилие. После уборки урожая зерно везли в город, сдавали все, что полагается, в государственные ссыпные пункты, а излишки продавали. В садах деревья ломились от изобилия фруктов. С баштанов везли арбузы, дыни и другие овощи до самой глубокой осени. Народ варил, солил, мариновал, сушил — работа кипела в каждом доме. Готовили и для себя, и для продажи в городе. Какими только вкусными вещами не были

завалены чердаки и подвалы домов!

Все люди были веселые, счастливые, днем тяжело работали, а вечером отовсюду доносились веселые голоса и пение. Работали все радостно, с удовольствием. Впереди их ожидала суровая, но уютная и полная достатка зима. Так приятно было видеть эти полные достатка счастливые села. Ни помещиков, ни кулаков-мироедов, какими я представляла их себе, здесь не было и в помине. Прекрасные, здоровые труженики крестьяне жили все в одних и тех же условиях, может быть за небольшим исключением. Те, у кого были большие семьи, такие как у моей подруги Зои, у них и рабочих рук было больше, и жили они, может быть, немного лучше, чем другие, а так в среднем все жили одинаково и очень хорошо.

Я-сама

Бедных в этом селе не было, и кулаков тоже, здесь жили крепкие, любившие свой труд люди, стремившиеся как можно лучше вести свое хозяйство. Помню только одну-единственную бедную семью Сашки «я-сама», как его прозвали все. Это был приемный сын местного адвоката, который работал в городе, а здесь у него был рядом с дедушкиным садом свой собственный, очень красивый, особняк. Он был здесь один из самых состоятельных интересных людей, я даже помню, как и когда он умер от тифа, вскоре за ним скончалась его жена, только успев женить Сашку из боязни, чтобы тот не остался один. Я также помню, как его красивую будущую жену Лизу наряжали на свадьбу в нашем доме. После смерти родителей бездельник Сашка очень быстро стал распродавать имущество отца. Помню, как он продал последнюю корову и купил в городе какую-то замысловатую зажигалку. Мы, дети, были в восторге от этой игрушки, но у него уже родился ребенок, и его сын остался без молока. И моя сердобольная бабушка каждое утро носила им кувшин молока, и даже тогда, когда у нас почти ничего уже не было, она всегда находила что-нибудь, чтобы отнести Лизе и ее детям. В конце концов этот «я-сам» продал дом и переехал в какую-то халупу в конце села. Когда я приехала к бабушке на лето, она послала меня отнести что-то ребятам. Я пришла в ужас, когда увидела этот сарай, в котором лежал Сашка посреди комнаты без мебели, вокруг него копошились уже трое детей, а он, растянувшись на полу, ловким движением кнута сбивал мух с потолка. Его хорошенькая жена Лиза превратилась в худую измученную женщину с тремя ребятишками. Так в этом селе появился «бедняк», бездарно промотавший состояние отца: «Я-

сам». За ним так закрепилось это прозвище, что все забыли, как его зовут. Шли годы, и во время коллективизации этот «Я-сам» стал одним из самых почетных членов общества. Сидел он во вновь организованном сельсовете с кнутом, лежавшем перед ним на столе (хотя ни лошадей, ни коров у него не было), и ходил он тоже не расставаясь с ним, изредка отбиваясь от лающих на него собак. И это был здесь единственный бедняк — бездельник.

Лучшее место на земле

Я очень любила это место, и уезжая отсюда, всю зиму жила воспоминаниями о приятно провиденных каникулах вместе с Зоей и друзьями среди цветущих садов и полей, и с нетерпением ожидала другого лета. Все они тоже после учебы возвращались из города на каникулы домой. Мой приезд вносил разнообразие в их спокойную жизнь, и я всегда чувствовала, что они ожидают меня так же с радостью, и как только я ступала на перрон, то попадала в их цепкие объятия, и домой мы шли уже веселой гурьбой.

У калитки встречала нас бабушка в черной праздничной одежде и в беленьком платочке, из-под которого непокорно высовывались пряди вьющихся, но уже седеющих волос.

Западная сторона «нашего» дома была обсажена белыми акациями, южная сторона персидской сиренью Розы, ирисы, тюльпаны, а поздней осенью астры окружали дом, но когда расцветала белая акация и ночные фиалки, я задыхалась по ночам у открытого окна от запаха цветов. У ворот стоял тот же злополучный на 4-х камнях «рундучок», тот самый, под каменные ступеньки которого мама бросила оружие в красной тряпке во время обыска.

За этим домом начинался мой любимый сад, посаженный в молодости дедушкой. От обилия фруктов ломились ветки деревьев: груши, яблони, абрикосы и дымчатые сливы всяких сортов. Вишневые ряды рдели в лучах заходящего солнца, гнулись и ломались ветки от изобилия плодов.

Здесь прошли лучшие годы моего детства. Здесь мы находили прохладу с Зоей в знойное южное лето под тенью широко раскинувшихся деревьев, здесь мы читали Толстого, Дюма, Джека Лондона, Пушкина, Майна Рида, Чехова, Теодора Драйзера и многое другое, что попадало нам в руки. Здесь мы мечтали о будущем, которое казалось нам таким радостным и заманчивым. Здесь мы заучивали свои роли для очередной постановки в церкви, которую в 1928 г. вдруг превратили в клуб.

Над этим «клубом» повесили красный флаг из дешевой материи, который от дождя и солнца слинял и превратился почти

в белый. И моя глубоко религиозная бабушка, глядя на это богохульство, говорила: «Видишь, Бог не вынес такого надругательства». Для таких, как она, это была большая трагедия, и зачем это делали, я до сих пор не могу понять, зачем людей лишили этой радости. Ведь десять лет после революции она никому не мешала. Зачем надо было превращать церкви в кинозалы и склады, в музеи — это куда еще ни шло.

Ведь мое поколение к религии относилось уже совсем равнодушно, а со временем у людей еще моложе нас это религиозное чувство само по себе стало бы постепенно отмирать.

В этой маленькой, уютной, в 100 дворов Македоновке рано-рано утром со всех сторон доносилось бряцанье и визг цепей, все тащили воду из глубоких колодцев для полива огородов, мычали коровы. И пастух, щелкая громко, как выстрелом из пистолета, своим длинным кнутовищем, загонял собранное на площади стадо на луга.

Ночной аромат цветов рано утром сменялся запахом кизяка и соломы — все готовили завтрак. Как будто скорбя и жалуясь, за ворота со скрипом выезжали арбы и сперва как бы нехотя, а потом все быстрее и быстрее укатывали в поле, чтобы к обеду вернуться нагруженными дарами щедрой природы: рожью, овсом, пшеницей или кукурузой, подсолнухами, арбузами и дынями. Все здесь дышало изобилием. Здесь люди любили свой труд, они работали всю неделю от зари до поздней ночи, зато рано утром в воскресенье в город на рынок, на ссыпной заготовительный пункт нескончаемой вереницей ехали подводы и к вечеру возвращались с городскими покупками. Покупали в городе все: красивую сбрую, сельхозинвентарь, домашнюю посуду, даже граммофоны и, конечно, обновки всем домашним.

Дети новой эпохи

Семья у Зоиных родителей была большая. Зоя была младшая в семье, три сестры, два брата. Отец Зои был очень умный, достаточно образованный человек, он имел полную возможность жить и работать в городе, но город он не любил с его шумом, вечной суетой, а больше всего он не любил покупать фунтами то, что так щедро в неограниченном количестве давала природа. Он приехал, получил участок рядом с усадьбой моего дедушки и, пока строился его дом, жил у дедушки. Отец Зои работал много, взрослые дети помогали, у них появилось две коровы, пара лошадей, амбары были полны зерна, жили они, благодаря трудолюбию всей большой семьи из восьми человек, очень хорошо.

Зоя ненавидела сельское хозяйство, она вечно твердила: «Это труд, от которого мозги сохнут».

В моей памяти запечатлелись чудные южные ночи. Либо густые, черные, окутывавшие черной вуалью все вокруг, либо лунные, когда все блестело и светилось серебристым светом, и тени ложились вокруг этих усадеб, как причудливые кружева. В такие ночи мы уходили далеко-далеко в поле и долго бродили в степи, вдыхая пьянящий аромат полей. Забирались к кому-нибудь в баштан, где нас угощали сладкими сочными холодными арбузами или дынями.

Ведь и я, и Зоя, и все наши друзья были детьми новой эпохи. Мы не помнили старое время, мы только хорошо помнили борьбу наших близких за великое будущее нашей родины. Мы помнили революцию, эпоху военного коммунизма, великий голод 21 года, период НЭПа и период восстановления советского хозяйства. Ни у Зои, ни у меня, ни у кого другого из нашей компании не было вины перед нашим отечеством. В этом мире нам все казалось хорошим, и действительно, до этого момента все было хорошо, ведь у нас воспитывалось чувство коллективизма, любви ко всем и всех к одному, и мы любили всех. Не только у меня, но и у всех моих друзей радостно билось сердце от счастья и подъема, что мы живем и являемся свидетелями и, прямо или косвенно, участниками такого ***великого*** и могучего события. И все мы собирались — и как собирались! — ***построить новый мир***, и все мы были уверены — и как уверены! — что мы этот ***новый мир*** построим, и не только для себя, а для всех будущих поколений, и может быть, во всем мире. Поэтому у меня всегда было чувство, что мы должны быть такими, чтобы весь мир смотрел на нас с надеждой и восторгом.

Лишенцы

И вот впервые, когда я вышла из поезда, вместо веселой гурьбы я увидела только одиноко стоящую Зою.

— Где все ребята? — спросила я.

Зоя смущенно, как бы чувствуя себя виноватой за такую встречу, заметила:

— Да где-то здесь.

В стороне от вокзала стояли Костя, Гаврик, Дима.

— И это все? — удивилась я.

Зоя объяснила:

— Ты знаешь, мало кто приехал. У многих ребят родителей здесь лишили права голоса, и каждый думает: не встречаюсь с родными, значит не поддерживаю связи с родителями-кулаками.

— С какими кулаками, о чем ты говоришь? — я никак не могла понять, откуда вдруг вот здесь появились какие-то кулаки.

Но я также узнала, что некоторые ребята, вместо того чтобы учиться в техникуме или в институте, пошли работать на производство, зарабатывают себе рабочий стаж.

Вечером, как всегда, ребята собрались у меня, все были скучные, у Гаврика, у Кости, у Димы и у других ребят была одна и та же ситуация. Их родители оказались в той группе, которую раскулачили и должны были вот-вот выслать.

— Ты можешь жить без комсомола? — прервала мои мысли Зоя.

Я ни разу не задавала себе этого вопроса, но то, о чем думала Зоя, передалось и мне.

И я вдруг подумала, что если бы я, так же как они, вдруг оказалась выброшенной из общества без всякой вины с позорным клеймом, и всякий проходимец мог с презрением швырнуть мне в лицо «ты ***лишенец»,*** и у меня не было бы ни моральной, ни физической возможности, вернее не возможности, а права, оправдаться, мне стало жутко. Без комсомола жизнь потеряла бы для меня всякий смысл.

Ведь комсомол это то, что включает в себя все-все лучшие идеи в мире. Как можно лишать вот таких замечательных ребят права быть в комсомоле. Мне было очень тяжело признаться в этом. Ведь мы все родились и живем в самой прекрасной, самой лучшей стране мира, и все любим ее. Что же происходит?!

Мы все гурьбой пошли, как всегда, гулять в поле. Ночь была чудная, мягкая, ласковая. Взошла луна, звезды поблекли, но все предметы на земле стали принимать приятные, фантастические очертания. Воздух наполнен был ароматом полей, трав и цветов. Дышалось легко, свободно. Кузнечики как будто утомились, трещали тише. И каждый из нас думал, в созерцании этой степной красоты: какой прекрасный мир, и кому чего не хватает? Почему нужно людям с кем-то и с чем-то без конца бороться. И вдруг в тишине раздался протяжный вой собаки. «Отчего она воет? — спросил кто-то. — Здесь недалеко кладбище, — ответила Зоя, — там недавно похоронили ее хозяина».

Заколоченные дома

Во второй мой приезд было хуже и страшнее. Меня поразило, что в этом чудесном, таком всегда благополучном, веселом месте, где все друг друга знали с дня рождения и до смерти, такое всеобщее уныние. Все замерло в каком-то тревожном ожидании. Я прошла мимо нескольких уже заколоченных домов, это были

дома тех, кого уже успели выслать за «сопротивление коллективизации». В их числе стоял заколоченным и дом старшей сестры Зои, у которой мужа уже выслали.

Сестра Зои, оставшись беременной третьим ребенком, решила сделать аборт, с этой целью она обратилась к какой-то местной знахарке, и та взялась за дело при помощи вязального крючка. Вскоре Варя потеряла сознание, ее отвезли в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание, от внутреннего кровоизлияния в результате прободения матки.

Для семьи это был очень тяжелый удар. Внучата, две девочки, остались с бабушкой и дедушкой.

Семью Зои тоже причислили к «кулакам», лишили права голоса и вот-вот собирались полностью раскулачить и выслать.

Старший сын, Вася, вернулся из армии с чудесными характеристиками за примерную дисциплину и великолепную политическую благонадежность. Но как только он увидел, что творится в семье, и вообще вокруг, собрался и уехал на Дальний Восток на Сучанские рудники. Оставаться ему было нельзя, его бы сделали лишенцем, как отца и других членов семьи. Зоя переехала к младшему брату, который уже работал на заводе. Все это я узнала сразу после моего второго приезда от бабушки.

Я поднялась с намерением идти к Зоиным родным.

— Ты бы отдохнула, — утирая слезы, упрашивала меня бабушка. Но я была уже за дверью.

Меня поразило запустение в этом дворе. Всегда таком чистом, ухоженом. Весь двор был всегда посыпан желтым песочком, кругом благоухали цветы. Теперь двери пустых сараев были открыты настежь, мать Зои, раньше полная цветущая женщина, сразу постарела, сгорбилась. Вошел отец, вытирая натруженные руки, и сделав усилие над собой, улыбнулся:

— Ну вот, дождались нашу рабоче-крестьянскую власть!

Он подал мне листок по дополнительной хлебозаготовке:

— Я уже все продал, чтобы заплатить первые два налога, а для этого мне уже нечего продавать, — объяснил он.

Неделю тому назад пришли, описали все имущество, а через неделю предложили ему выбраться с семьей.

— Что же это делается? В колхоз меня не принимают, я лишенец — значит смерть под забором на старости? — говорил он мне со слезами в глазах. — Да разве я о себе старался! У меня их шестеро, я думал каждому нужно есть и жить. Ведь все знают, что я, как вол, работал день и ночь, за что же меня бить? Хороший хозяин свой рабочий скот бережет, а здесь людей трудящихся избивать начали. Разве так хозяйство строят?

Крупные слезы сбегали по морщинкам и прозрачными

дождевыми каплями повисали на усах. Куда девалось прежнее величие этого красивого, здорового человека!

Уходила я из этого дома в подавленном настроении: так вот она, прелесть коллективизации. Не могла понять, зачем, почему нужно разорять, губить жизнь таких веселых, жизнерадостных, трудолюбивых людей. В душе у меня был полный хаос.

«Да разве те, кто сидит там, наверху, не видят, что происходит вокруг? — думала я. — Как может партия позволить творить эти ужасные безобразия? — И сейчас же старалась оправдать: — Не партия виновата, а всякие проходимцы, пролезшие в партию».

И все надеялась и ждала, что вот-вот кто-то поймет, что все идет не так, и спасет страну от неизбежной катастрофы, а что дело идет к катастрофе, даже мне было ясно.

Но исполнительным комитетам предоставлялось право всевозможными мерами бороться с кулаками вплоть до ***полной конфискации*** их имущества и выселения за пределы районов, округов, республик. Из центра явилось несколько человек, и всем «кулакам» был дан приказ немедленно, в течение 12 часов, освободить помещения и собраться у сельского совета. Народ замер, в домах даже говорить стали шепотом, боялись даже на улице показаться.

Я решила зайти к Зоиным родным. У меня еще теплилась надежда, что, может быть, их оставят. Здесь я увидела картину, которую трудно забыть всю жизнь.

Отец ходил из угла в угол, как помешанный. Анна Дмитриевна (которую все называли ласково Анюта) копалась в вещах, как будто что-то искала. На балконе лежали узелки, дети старшей сестры прощались с кошкой и собакой.

Старшая, Наденька, лаская большого красивого пса, назидательно говорила ему, водя пальчиком перед его носом:

— Ты будь умником, за курами не гоняйся, чужих яиц не воруй, а то, когда мы вернемся, я тебя накажу, — и обернувшись к бабушке: — Бабушка, ведь мы скоро вернемся, правда?

Увидев меня, бросилась ко мне:

— Тетя Нина, ты будешь кормить нашего Полкана? А то он с голоду сдохнет или яйца начнет воровать, и его будут бить за это. — Я ей пообещала. И тут же она продолжала жаловаться:

— Бабушка плачет, дедушка тоже… Как могут старые люди плакать, я не люблю смотреть на плачущих дедушек.

Она щебетала, а у меня стоял ком в горле.

«Вот сейчас, — думала я, — не хватит у меня мужества, и я взвою белугой».

Излишне описывать тяжелую сцену прощания этих старых,

натруженных людей с домом, садом, где каждый кустик, каждый камешек был знаком и близок, как живой, обласканный и посаженный любовной рукой хозяина. Мать вошла в залу. Все вещи стояли по-прежнему, даже цветы были политы. И здесь она упала как подкошенная. Рыдала она громко, причитая, вспоминала, как вот здесь родила Васеньку, Зоиньку… Подошла дочь…

— Ну, хватит, — произнесла она довольно грубо. — Уже пришли выгонять.

Я чувствовала, что за этой грубостью скрывается боль, и она боится при ласковом слове смалодушничать и расплакаться. Ее глаза были припухшие, и я поняла, что всю ночь она проплакала.

И вот со двора вышла эта печальная процессия. Маленькая девочка прижала к себе крохотного котенка, Полкан бежал за Наденькой.

Поравнявшись с моим домом, они попрощались со мной без слез, но в последний момент мать, целуя меня, произнесла: «Передай привет, поцелуй мою»… — и имя дочери заглушили ее рыдания.

Так опустели и были заколочены еще 22 двора этого красивого поселка.

Зои не было, она была потрясена, когда я ей вечером сообщила об этом, ведь собирали и свозили всех как с пожара. Это был «счастливый» случай, эту семью ***не выслали*** по этапу, в первую очередь ее поселили в каком-то пересылочном бараке.

И долго, как тогда на кладбище, у опустевшего дома, нагоняя страх на жителей, выл Полкан, пока его кто-то не прикончил.

Я собиралась уезжать, но мысль, что мне нужно оставить Зою в таком состоянии, не давала мне покоя, я просто переживала за ее одиночество, я знала, что ей будет очень, очень тяжело.

Несколько последних дней я провела вместе с ней.

— Поедем со мной, — просила я ее.

— Нет, — категорически заявила она. — Ты пойми меня, ведь в моей стране меня сделали человеком, лишенным всяких прав, в стране, которую я так горячо люблю. Ну, скажи, кто имеет право лишить меня самого святого права, быть гражданином этой страны.

И вот в этом маленьком, всегда таком веселом счастливом местечке были выселены и исчезли больше 30 семейств.

Так произошло одно из самых чудовищно страшных ***преступлений,*** в момент самой напряженной международной обстановки, которое совершил Сталин, именно Сталин. Потому что совершенно противоположных взглядов придерживались ***здравомыслящие*** Бухарин, Рыков, Томский и многие, многие

другие, занимавшие ответственные посты члены правительства. Но на ноябрьском пленуме ЦК в 1929 г. их взгляды были признаны капитулянтскими, не совместимыми с партийными, и их всех вывели из состава Политбюро ЦК.

Как мог «вождь» ***не понять,*** что в это время еще многие, да просто вся основная часть взрослого населения, которая жила и росла в ***дореволюционное*** время, не могла, не знала и не умела так сразу, легко и просто, приспособиться, даже привыкнуть еще к этой совершенно новой системе.

Ведь, по существу, народ только-только начал осваиваться и входить во вкус новой, совершенно новой для него системы. И мудрость нового правительства заключалась не в том, чтобы громить, уничтожать и обострять, а в том, чтобы, имея для этого все возможности, стараться создать такие условия, при которых даже самые закоренелые, антисоветски настроенные граждане поколебались бы в своих убеждениях, поняли и оценили достоинства новой системы и, пусть даже нехотя, но согласились бы с тем, что эта власть для народа лучше прежней.

Но Сталин сделал все наоборот, не только настоял, он не дрогнув потребовал проведения ускоренными темпами сплошной коллективизации в стране, совершенно еще не готовой к этому ни морально, ни материально, и при полном отсутствии какой-либо технической подготовленности.

Так, после смерти В. И. Ленина, вместо того чтобы, продолжая ленинскую политику, постараться сделать так, чтобы классовая вражда постепенно стала утихать, в сталинское время, я до сих пор понять не могу почему, классовая борьба с «кулачеством» вдруг начала ***обостряться,*** начала принимать и приняла не просто острые, а катастрофически жестокие формы. Каким образом через 10 лет после Октябрьской революции и существования советской власти появилось сразу столько злостных кулаков, почему в течение этих десяти лет власти не могли просто тихо и спокойно приструнить тех, кто зарвался и превысил доступные нормы производства?

Может быть, это было бы более полезно прежде всего для тех, кто изо всех сил ***надрывался,*** считая что он не просто должен, а обязан производить как можно больше всевозможной сельскохозяйственной продукции и поднять нашу продовольственную экономику на такую высоту, чтобы она могла досыта накормить не только себя, а всех тех, кто стоял за станком и всю веками голодавшую не только с некрасовских времен, а даже еще раньше, огромную нашу страну. Ведь помещиков давно уже и след простыл, остались самые простые трудовые крестьяне.

Кто и как мог в такое тревожное в международном

отношении время и при таких тяжелых обстоятельствах надоумить или подсказать ему эту убийственную идею ***насильственной*** коллективизации, к проведению которой он приступил с настойчивостью маньяка, неизвестно. Одно можно твердо сказать, что такой совет могли дать не друзья, а враги.

Или он сам упрямо и вопреки всякому здравому смыслу решил доказать «троцкистско-зиновьевскому антипартийному блоку», настойчиво утверждавшему, что в данный момент еще невозможно развитие крестьянского хозяйства по социалистическому пути, что вот он, ***Сталин, может*** построить и ***построит*** социализм в одной отдельно взятой стране и так, как он хочет. И чем больше приводилось доказательств пагубности этой идеи в данный момент, тем еще сильнее, с тупым упрямством и настойчивостью, не считаясь, как всегда, ни с кем и ни с чем, он настаивал и требовал доказать, что это можно сделать, и может сделать только он. И для этого в эту диктаторскую авантюру, вольно или невольно, он вовлек всю коммунистическую партию и довел страну до повального голода.

Я ведь помню, я видела, как многие члены партии со слезами на глазах выполняли посылаемые сверху директивы, понимая, что они приведут к ужасным последствиям, голоду, репрессиям, и в конечном итоге к гибели ***одной из лучших, завоеванных народом государственных систем в мире.*** Никакие враги, а их было много, очень много, не способны были нанести Советскому Союзу и Коммунистической партии ***больше вреда,*** чем это сделал сам Сталин, глава Коммунистической партии. И никто другой, а именно Сталин решил, что коллективизацию надо проводить именно так, не понимая, не сознавая и даже не желая понять, во что это может вылиться. Ведь для создания в колхозах новой общественной дисциплины труда требовалось время, много времени, и большие усилия. Никакого опыта у партии, да не только у партии, а просто ни у кого в этом деле еще не было.

Итак, начиная с 1928 г. положение в стране все время ухудшалось, ухудшалось и катастрофически ухудшилось.

Применение особых мер

Вот в это горячее время, как только вернулась я в Геническ, не успев еще опомниться от своего огорчения, представитель из центра по наблюдению за проведением коллективизации на периферии обрадовался:

— Вот здорово, — заявил он, — ты приехала кстати. Здесь черт знает что творится! Выехать отсюда никуда не могу. Всех мобилизовали, все разъехались, а со всех сторон поступают все

более и более тревожные сведения — все жалуются, а я здесь один, ну хоть разорвись. Ты знаешь, в деревнях бабы взбунтовались, распускают слух о каких то 100-метровых одеялах, которые шьются для колхозов, и что все должны спать под одним общим одеялом. Вот и попробуй разубедить их.

Выехала я в деревню, где полным ходом, так же как и повсюду, шла коллективизация, чтобы разубедить будущих колхозников, что никто не собирается шить для них стометровые одеяла. Здесь уже были бригады, которые ходили из дома в дом, копались в огородах, обстукивали полы, рыли ямы в сараях в поисках спрятанного зерна.

Еще один парадокс: искали необходимое для нужд государства зерно таким образом, и в то же самое время разгромили всех состоятельных крестьян, которые могли безболезненно обеспечить страну этим зерном в избытке.

В школе, утопая в списках живого и мертвого инвентаря, сидели члены комиссии. Когда я взглянула в эти списки, мне стала ясна тревога и возмущение женщин. Здесь было записано все, все вплоть до домашней утвари. Сеялки, веялки, лошади, коровы, куры, утки, посуда, даже ухваты.

Во дворе стоял невообразимый рев скотины, ревели недоеные коровы, ненакормленные свиньи, ненапоенные и ненакормленные лошади, я вспомнила, как когда-то в детстве я наблюдала солнечное затмение — скотина вела себя так же беспокойно.

Народу пришло много. Угрюмые злые лица. Чувствовалось — народ задет за живое. Большинство было женщин. Представитель районного комитета заявил, что все по этим спискам должно быть снесено в указанные места в трехдневный срок, и если через три дня найдутся такие хозяйства, которые не выполнят указаний, то они будут ликвидированы, а хозяева лишены права голоса и высланы.

Тогда-то и загудели женщины:

— Ничего мы не снесем, все это своими мозолями нажито!

— И так уже остались без хлеба, а дети — без молока!

— У меня уже всех курей отняли, корову забрали, мало вам — так возьмите душу, все одно здыхаты!

Чем их успокоить? Что им сказать? Что это делается для их блага? А где же доказательства? Их не было.

Крики превратились в настоящий бабий вой.

Районный представитель стоял бледный, руки у него дрожали. Собрание кончилось, но народ не расходился.

Толпа продолжала гудеть: куры дохнут без корма, хлеб гниет, недоенные голодные коровы ревут, а собранную скотину держат под открытым небом, нет ни сараев, ни помещений и кормить

нечем.

— Жен своих в колхоз запишите, а нам колхоз не нужен! — кричали женщины.

— Куда делась молодежь? — спросила я секретаря партячейки.

— Все разбежались на заводы и на шахты, — он подошел к двери, вернулся. — Закройте двери, — посоветовал нам.

Мы перешли в учительскую, кто-то бросил увесистый камень в окно. Мы сели на диван и стали совещаться. Что же делать дальше?

В воде дырку не провернешь

Вскоре я попала в Харьков, здесь я встретилась с Панасом Петровичем Любченко, он был в то время секретарем ЦК КП(б) Украины, на меня он произвел очень приятное впечатление, такой добродушный. Вот я ему с горяча все свои сомнения и выложила.

Сейчас странно вспоминать, но в те годы все было проще, и мне тогда казалось, что ***нет никакого преступления*** в том, чтобы сказать ***правду,*** как я ее видела, и даже наоборот, скорее преступление — это скрывать, умалчивать. Но Сталин сумел и все это перевернуть, разрушить. Я помню, где-то прочла слова Ленина, что критиковать можно и нужно и что если критика содержит хоть один процент правды, то ей уже цены нет, настолько ему хотелось, чтобы люди не боялись высказывать свое мнение.

Любченко мне ответил, что времена меняются, и никто из нас, ни он, ни я в воде дырку не провернем, и что по этому поводу ему пришлось выдержать много атак. И что если не верить в успех дела, то очень, очень трудно работать, и что большевики уже сделали одно великое дело — ***Народная*** (он даже подчеркнул слово народная) советская власть существует уже 12 лет и будет существовать. И что ни одна революция ***без жертв*** не совершалась, а коллективизация это тоже революция, и еще какая.

Я тоже понимала, что во время революции гибнут невинные, но ведь мы строим мирную жизнь, и мы все хозяева нашей страны, как же можно допустить, чтобы люди ругали, проклинали коммунистов-большевиков — не унималась и продолжала возмущаться я. Об этом чудовищном колхозном строительстве уже повсюду и вовсю гудели наши враги по всем странам света, по всем заграницам.

Мне всегда было больно слышать, когда ругали коммунистов,

это осталось у меня еще с детства. Зачем же довели такую высокую идею до того, чтобы люди возненавидели ее? Ведь ***не идея коммунизма*** виновата, виноваты те, кто требует проводить в жизнь эту идею вот таким страшным образом. Ведь те, кто издает такие приказы и требует их выполнения, не соображают, что они творят. Это так же, как и во времена христианизации: не христианская религия или идея творила те жуткие преступления во имя той, в то время тоже идеальной, идеи, а люди, те люди, которые боялись потерять власть. Слава богу, ведь мы живем уже в другое время.

Значит, ***все понимают***, что происходит что-то непонятное, и надеются, что пронесет, и, может быть, и в самом деле все изменится к лучшему.

Я гораздо позже начала понимать, что многие, особенно умудренные опытом, старые члены партии молчали и терпели из опасения, что их могут обвинить в каких-либо правых, левых, зиновьевско-троцкистских и черт его знает в каких еще уклонах, что и случилось, но немного позже, и исключить из партии, а это для них было равносильно самоубийству.

Когда хлеб печет сапожник

Теперь я попала в группу, работавшую по сбору и подготовке материала о наших достижениях 16-му партсъезду ВКП(б), который должен был состоятся в Москве с 26. 06 до 13. 07 1930 г. — по итогам первого 5-летнего плана и вопросам развернутого наступления социализма по всему фронту, то есть по вопросам сплошной коллективизации сельского хозяйства и перехода к политике ликвидации кулачества как класса.

Вот в это самое время всем командировочным, в том числе и нашей группе, надлежало проехаться по целому ряду колхозов района, собрать материал о наших достижениях, вернуться в Мелитополь, составить рапорт о наших достижениях и вручить его комсомольской велоэстафете Севастополь — Москва, которая должна была прибыть на днях из Джанкоя. Рапорт готовился для передачи 16-му партсъезду ВКП(б) к его открытию 26 июня 1930 г.

Мне предложили сначала поехать в колхоз-миллионер им. Сталина. Я уже до этого побывала в нескольких колхозах, а этот был один из старейших богатых колхозов в районе. В этом колхозе были свои коровники, свинарники, курятники, был у них даже какой-то медицинский пункт, ветеринарный пункт без ветеринара и большая общая столовая, детский сад, своя школа для детей и для взрослых по ликвидации неграмотности и

малограмотности.

Как раз в это время, сразу после ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1929 г., профсоюзы приняли постановление о мобилизации и отправке с предприятий передовых рабочих промышленности в деревню в различные колхозы, так называемых двадцатипятитысячников, для оказания помощи в организации колхозного хозяйства и для внедрения передовых методов работы.

Сюда, в этот колхоз, прислали двоих рабочих. Один был из Днепропетровска с завода им. Петровского, другой — аж с Тульского оружейного завода, вот они обязаны были заниматься организацией колхозного хозяйства. Научить крестьян производственным методам работы, ремонту сельскохозяйственного оборудования, которого по существу у крестьян еще не было.

Откуда эти молодые люди, которые никогда в жизни с сельским хозяйством не сталкивались, могли знать и понимать больше, чем крестьяне, что такое сельский труд, и как и чему они могли их научить, когда сами не умели ни запрячь лошадь, ни отличить овес от ржи, а рожь от пшеницы? Но им полагалось вмешиваться в крестьянскую работу, давать всякие советы, указания и учить крестьян «производственным методам» — ведь для этого их и послали сюда.

Меня тоже, 16-летнюю девчонку, посылали вместе с ними учить уму разуму крестьян, как им ***организовать*** и вести хозяйство. Как будто крестьяне, испокон веков занимавшиеся сельским хозяйством, ***хуже*** нас знали, что к чему.

Вместо того чтобы подготовить и послать в новоиспеченные колхозы и совхозы агрономов, ветеринарных врачей, побольше сельхозтехники, посылали хлопцев, которые выросли в городе и в жизни не видели, как и где пшеница растет и из чего хлеб делается. Я даже до сих пор помню, как долго надо было объяснять этим молодым людям, как отличить рожь от пшеницы и овес от ржи. Крестьян они ужасно раздражали. Как только я приехала сюда, они стали горько жаловаться:

— На кой к нам этих дармоедов прислали?

Но эти парни имели самые широкие полномочия. Они распоряжались всем колхозом, составляли сводки, писали докладные.

— Тож, поихали на бахчу — хлопцам (это двадцатипятитысячникам) захотилось огирькив (огурцов), — стал рассказывать мне по-украински милый усатый сторож. — Показав де воны растуть, а воны нарвалы цилу корзину маленьких дынь. А воны ж таки гирьки, як полынь. А я кажу (говорю): так это же

дыни, а не огуркы, огуркы чуть-чуть дальше растуть. Ну и робытничкив нам попрысылали, воны думають, що на вербы груши растуть.

Колхоз им. Сталина в прошлом был огромной помещичьей усадьбой: чудесные постройки, огромный запущенный сад. Здесь же были построены два двухэтажных дома — общежития для колхозников, и мне стало так грустно смотреть на эти убогие колхозные жилища.

— Убрали бы, — посоветовала я.

— Чего убирать — нема ни мыла, ни белья, — недовольно проворчала женщина.

В эти годы многие еще стирали просто глиной вместо мыла. А это был то время большой образцовый колхоз.

Подходила к концу красивая, но тяжелая весна, все деревья пышно распустились, рано утром чистые политые улицы издавали нежную томную прохладу. В киосках появилась ароматная сирень, ландыши, фиалки, от томящей теплоты, звенящего воздуха и аромата цветов хотелось жить, жить и жить.

На вокзале ко мне присоединились эти же два двадцатипятитысячника. Они явились на вокзал с двумя огромными свертками газет. В дороге газеты порвались и оттуда посыпались куски сахара.

— Куда вы сахар тащите!? — спросила я.

— Как куда — к себе! Давали нам по карточкам, вот мы и взяли по дороге сюда, когда вернемся, его уже не будет.

Газета порвалась, бумаги ни у кого не было, пришлось собирать сахар в носовые платки и в фуражки этих парней.

Вот в таком виде, с узелками и фуражками, наполненными кусковым сахаром, мы и явились в Мелитополе в окружком комсомола для вручения рапорта о наших достижениях. После того как материал был собран и рапорт о наших достижениях был вручен прибывшей из Джанкоя велоэстафете Севастополь — Москва, я зашла к представителю окружкома по высшему образованию Василию Величко и заявила, что больше никуда не поеду, навидалась столько, что мне на всю жизнь хватит.

Я искренне возмущалась, почему там, наверху, никто понять не может, что здесь творится, ведь люди гибнут.

Итак, спустя почти 10 лет после гражданской войны, под ***мудрым*** руководством, вместо расцвета сельского хозяйства и улучшения благосостояния населения наступил жестокий голод. Страна перешла на карточки, которые выдавались не всем, и в основном только рабочим в больших городах, в провинции народ переживал невероятные трудности и умирал от голода. Также не хватало обуви, одежды и многих других предметов первой

необходимости, мыло, зубная паста превратились в дефицитный товар.

Закрывались кустарные производства вплоть до сапожных мастерских, кому они мешали? Для чего правительству надо было взваливать на себя заботу о каждой мелочи, от иголок до набоек, а населению бегать по магазинам в поисках всякой мелочи, вместо того чтобы заниматься крупными хозяйственными делами? Это был сплошной бред сумасшедшего, и этого человека вся страна начала превозносить до небес, и самое страшное было, что он все это ***принимал*** в полной уверенности, что он действительно незаменим и все, что он делает и что делается вокруг него, не подлежит никакой критике.

Абитуриентка

А я никак не могла понять, почему наш первый пятилетний план, который начал осуществляться с таким энтузиазмом осенью 1928 года, стал вдруг осуществляться в условиях ***напряженной классовой борьбы?*** Почему, классовая борьба вместо того, чтобы утихнуть, через 10 лет после Октябрьской Революции вдруг ***вспыхнула*** и стала напряженной. Почему не подождали, как настаивал Ленин, не подготовили техническую базу, ее же не было, не постарались поднять культурный уровень крестьян, чтобы и им ***понятно*** было, что же происходит с ними и ради чего, нарушив уже веками установленный образ жизни, их тащат в какую-то неизвестность. Ведь это же не неодушевленные предметы, а взрослые солидные люди, которых тоже переставлять надо с умом, а не силой, ну об этом хоть кто-нибудь должен был подумать.

Выслушав меня, Величко горько улыбнулся и спокойно ответил:

— Не горячись. Мы писали уже все и срочно, и секретно, но мы должны выполнять полученные из центра директивы, я вот жду заместителя. Я в партии с 1917 года, и то ничего не пойму, а ты и не старайся.

Перед ним лежала открытая газета «Правда». Он протянул мне объявление из газеты.

— Вот возьми. Поезжай-ка учиться, я тоже подал документы в МГУ (Московский государственный университет).

Дома я развернула и прочла, подчеркнуто было: «Открыт прием в Институт цветных металлов и золота» (бывший факультет Московской горной академии). Дело новое, интересное, специалистов мало в этой области, — вспомнила я слова Василия Величко. Мне показалось даже забавно стать

инженером вместо летчика или капитана, о чем я всю жизнь мечтала.

Несмотря на мою неудачу в летном деле, я по-прежнему крепко была влюблена в воздух, но ждать два-три года было глупо, и я решила не терять время. Всю прошлую зиму я занималась в каком-то коммерческом техникуме в Геническе и одновременно на девятимесячных курсах по подготовке в вуз — и соображала, куда же мне дальше податься. Идея о Московском институте цветных металлов мне понравилась, и я решила: позанимаюсь в институте, если что не так — уйду и посвящу себя летной карьере, кто мне помешает?

Тогда мне казалось все доступно, легко и просто, не понравится — перейду в другой. Мысль, что могут куда-то не принять, мне даже в голову не приходила. Но 1930 год был буквально годом паломничества в высшие учебные заведения.

Я быстро собрала, как мне казалось, все необходимые документы: справку из коммерческого техникума, справку об окончании 9-месячных курсов по подготовке в вуз — эти курсы были организованы для тех, кто во время гражданской войны прервал учебу, и сейчас, освежив в памяти свои прежние знания, мог продолжить учебу; рекомендацию от комсомольской организации и все. О да, еще заявление с просьбой принять меня в институт. Вот с такими четырьмя-пятью справками, написанными по-украински от руки на страницах из школьных тетрадей (в те годы шла усиленная компания за всеобщую украинизацию) с подписями, которые даже я разобрать не могла, послала все эти «документы» в Москву и решила сразу же помчаться в Мариуполь.

Гибель Зои

В последнее время письма от Зои были очень грустные, я чувствовала, что все мужество ее покинуло, что все настоящее и будущее ей кажется беспросветным. В одном из них она написала мне: «Только что я окончила читать Достоевского „Преступление и наказание“, прочти, обязательно прочти эту гениальную книгу». Вернувшись рано домой, я уткнулась в нее, и уже под утро, когда рассвело, с трудом оторвавшись от нее, охваченная омерзением и ужасом, я выбросила эту книгу. Зачем, зачем, надо копаться в душе людей, выворачивать ее на изнанку. Достоевский, как будто схватив за кончик ниточки, тянет, тянет безжалостно, нудно, с ноющей болью тянет, стараясь размотать, вывернуть психологию человека наизнанку до конца.

Я написала ей: «Милая Зоя, пожалуйста, выкинь из головы эту

жуткую достоевщину, я скоро приеду, и мы что-нибудь, придумаем.» Что можно было придумать? Когда в это время по новым правилам черным по белому было написано: запретить зачисление в вузы и втузы лиц, лишенных прав, и их иждивенцев. Вот эта молодежь как раз и была теми иждивенцами, которые росли уже при советской власти. Какие «умники» придумали и зачем этот чудовищный закон? Я знала Зоин характер, прямой, честный, и я знала, что она ни на какие сделки со своей совестью не пойдет, как бы я или кто-либо другой ее не уговаривали.

С такими грустными мыслями я ехала по безграничным украинским просторам. Куда ни кинешь взор — всюду расстилались богатые плодородные степи, урожай в этом году предполагался исключительно богатый.

Я уже приближалась к своим любимым местам. Радовала взор и волновала каждая знакомая деталь. Внешне все было так же, как и прежде. Так же, как и прежде, под равномерный стук колес мелькали, то опускаясь, то поднимаясь, вдоль тропинок телеграфные столбы. Пролетали бахчи, огороды, поля. Я уже знала, кому что принадлежало. Чахлые деревца, цель которых заключалась в том, чтобы зимой предохранить железнодорожное полотно от снежных заносов. Летом в знойные дни они были любимым местом наших прогулок и пикников на этой безлесной, лысой степной равнине. Вот и последняя контрольная будка промелькнула мимо, стукнули колеса вагонов на стыках рельс, и уплыл куда-то седоусый старик с зеленным флажком в руке, что означало «путь свободен». Не было сил сидеть на месте. Как же я хотела, как прежде, встретить вместе с Зоей всех друзей. Я вспомнила все, что произошло в прошлый мой приезд, и жуткая боль пронзила меня.

Мне вдруг показалось, как будто откуда-то надвинулась какая-то страшная сила, изменила, разрушила все, сломала самое основное, самое главное в жизни, ее уклад, ее спокойный мерный ход, привычки и все то, что составляет и из чего складывается радость жизни. О, как бы я хотела, чтобы здесь все, все осталось по-прежнему, радостно и весело.

Поезд остановился, я вышла на пустой перрон, меня никто не встречал. Что-то недоброе кольнуло меня. Две женщины привлекли мое внимание:

— Такая молоденькая, и хотела броситься под паровоз, но машинист ей пригрозил. Так она ответила ему: «я пошутила», и бросилась под последний вагон.

— Какая же сила была у нее, — ответила вторая женщина, утирая слезы. — Молодая, красивая, и что же это толкнуло ее жизни себя лишить?

Как будто электрический ток пробежал у меня по всему телу от этих слов. Девушка, молоденькая… Я помчалась к сестре моей матери: «Что случилось?» — хотела спросить. Но… взглянув на нее, я поняла все. Она никак не могла прийти в себя.

Похороны Зои превратились в огромную демонстрацию. Здесь были молодежь и старики. Даже комсомольцы пришли, несмотря на то, что комсомол официально осуждал самоубийство как малодушие, недостойное комсомола. Ребята собрали оркестр и по дороге на кладбище играли похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». Этой пытки я не могла выдержать. Эта песня была для Зои и меня символом беззаветной борьбы за счастье народа. Эта песня вдохновляла людей на совершение бессмертных подвигов.

«За что погибла ты, Зоя, за что растерзали твое юное тело колеса безжалостного поезда? — думала я. — Разве тебе не было места среди нас, молодых…» Я опомнилась лишь тогда, когда у засыпанной цветами могилы остались только ее брат Юрий, я и Коля, любивший ее также крепко, как и все мы.

Так много цветов на могиле, почему же в жизни было так много горечи и боли?

К нам подошла согнутая почти вдвое старушка. Из глубоко впавших глаз лились слезы. Она опиралась левой рукой на палку, правой крестилась.

— Похоронили горемычную без священника, — причитала она.

Эта старушка жила недалеко от того места, где погибла Зоя. Она говорила с ней буквально за несколько минут до ее смерти.

— Она все мне рассказала и жаловалась, что для нее ничего не осталось кроме смерти. А я ей бедняжке говорю: «Красавица ты вон какая, твоя жизнь еще впереди, перемелется, мука будет», — а она как зарыдает: «Не могу больше, ведь если кто-нибудь возьмет на себя смелость помочь мне, с ним случится то же, что со мной, а это страшно». Она ушла, а через полчаса я услышала, что девушка под поезд бросилась…

По дороге обратно я с горечью вспоминала, как Зоя из пионеров тоже была переведена в комсомол, и она писала мне: «Что может сравниться с тем чувством, которое испытала я. Наши отцы освободили нашу страну от тиранов, они завоевали нам нашу свободу и счастье, но нам с тобой, на нашу долю выпала не меньшая, а может быть ***большая честь*** — строить новую жизнь. Мы с тобой обязаны построить такую ***фантастическую*** жизнь, в которой не будет ни одного безрадостного лица. Я пишу это тебе, т. к. знаю, что ты меня поймешь. Мне так много хочется сделать, во мне столько силы и энергии, что кажется, ее хватило бы горы

свернуть».

Это писала Зоя в 1927 году, когда ей было 15 лет, а в 18, потрясенная всем произошедшим не только с ее семьей, но и с тем, что происходило вокруг нее, покончила жизнь страшным, трагическим образом. Так покончить жизнь не может малодушный, слабый человек, как нам твердили, так покончить с собой может только человек с глубоким разочарованием в жизни и, самое страшное, с чувством разбитых растоптанных надежд и нестерпимо тяжелой болью в груди: «За что?».

За что были бессмысленно жестоко разбиты, разрушены семья из восьми человек и миллионы других подобных семейств, молодых, крепких здоровых тружеников? Превратили их во «врагов народа», «лишенцев» в своей стране. За что?

За то, что люди трудились, не покладая рук, для себя и для других, стараясь вытащить нашу страну из того тяжелого состояния, в котором она находилась после войны, после голода, разрухи — ведь от такой семьи, от таких хозяйств никакого вреда советской власти не было, только польза. Эта смерть тоже лежит на счету сталинских ***убийств***.

Подкулачник

В поезде ко мне подсел пожилой человек, который тоже очень горько сетовал на свою судьбу:

— Та какой же я «подкулачник» — вот этими руками я всего добился. У меня три сына, все они как волы работали. Я радовался — наша власть пришла, еще немножко поработаем вместе, потом женю сынов, отделю их, построят себе дом и будут так же, как и я, хлеборобами, уж очень все они землю любили — вставали чуть свет и в поле. Когда я был малым хлопцем, я батрачил у немцев. Какие ж они хозяева! Там я и научився хозяйнуваты. Если бы был жив Ленин, никогда бы этого не произошло, он никогда бы этого не допустил, — закончил мой собеседник.

И я вспомнила, как сокрушался мой отец, когда умер Ленин:

— Теперь начнутся склоки.

Сама я, будучи свидетелем того, что происходило у меня на глазах, никак не могла понять, для чего необходимо было ***уничтожить как класс*** самое здоровое, трудолюбивое, зажиточное крестьянство. Ведь это не были кулаки-кровопийцы, какие существовали до революции, которые сами ничего не делали, а на них работали наемные рабочие, которых они эксплуатировали и которым платили гроши за их ***каторжный*** труд, в то время как сами прохлаждались по заграницам. Ничего

подобного я нигде не видела. Это были тяжело работавшие крестьяне со своими семьями.

Господи, и до чего же был Ленин во всем прав! Ведь все яснее ясного: при ***сытом здоровом крестьянстве сытым и здоровым был бы рабочий класс***. И коллективизацию можно было бы проводить тихо, спокойно, постепенно, на добровольных началах по ленинским заветам, а не теми жестокими, пожарными методами, которые применил Сталин, доведшими людей и страну до повального голода. Неужели он не помнил или забыл, что народ в 1917 году восстал против голода и нищеты, он требовал «хлеба и свободы» и во имя этого совершил революцию, и боролся за ***народную советскую власть*** в глубокой надежде, что при этой народной власти каждый будет сыт, получит «хлеб и свободу», избавится от нищеты и сумеет добиться успеха по способностям?

Бухарин, Рыков, Томский выступали в это время с теорией затухания классовой борьбы и даже мирного врастания кулака в социализм. Да какие это были «кулаки»? Тех, кого я видела, были просто крепкие, зажиточные, трудолюбивые крестьяне.

Ведь смычка рабочих и крестьян совершила революцию. Люди воевали за землю, за волю, за лучшую долю, и это привело к победе в самых страшных условиях гражданской войны.

Эта же смычка вытянула страну из кризиса после гражданской войны. И она бы вознесла Советскую власть на недосягаемую высоту, весь мир содрогнулся бы перед ее могуществом, мудростью и силой. Ведь так и должно было быть. И этого все народы мира от нее ожидали и только враги этого боялись.

Снова в Македоновке

Прошло несколько лет, прежде чем я заставила себя вновь посетить мою любимую Македоновку.

Коллективизация закончилась, и по всей стране на все мотивы начали распевать песенку на слова Сталина из какого-то его выступления: ***«жить стало лучше, жить стало веселей».***

Я вышла из поезда на пустой перрон. Вдали белели оголенные под лучами горячего солнца дома, утопавшие раньше в прохладе роскошных садов. Грустной тишиной встретило меня это когда-то цветущее село. Ни души на улице, ни одного звука не доносилось из домов, даже лая собак нигде не было слышно.

— Где люди? Где молодежь? — спрашивала я у бабушки. — Куда делись сады, цветы?

— Цветы сажать некогда, люди заняты с утра до ночи. Сады вырублены на топливо в зимнюю стужу, а молодежь разбежалась.

Вечер, откуда-то начали появляться какие-то незнакомые тени людей. Проходили мимо, не глядя по сторонам, устремив усталые лица в землю, и исчезали, как привидения. Вместо обычного богатого стада прошло несколько тощих коров. Люди перестали держать скотину, ее надо было кормить — не было корма, за ней надо было ухаживать — не было времени и сил.

Ни от обычного вечернего оживления, ни от былого шума не осталось и следа. Только ленивый дымок, выходивший из редких труб, указывал на какие-то признаки жизни в этом совсем недавно таком оживленном богатом селе.

Настала ночь. Темная, южная ночь. Небо усыпано огромными яркими звездами. Ни одного огонька в домах, на селе. Народ, не зажигая света, ложился спать засветло, не было даже керосина.

Я стояла на дворе и думала: «Боже, какая тишина, как на кладбище…» Постояв несколько минут и подавляя в себе внезапно вспыхнувший страх, бросилась к дому.

Какая-то тень вдруг отделилась от крыльца и испуганно отбежала в сторону.

— Кто здесь? — окликнула я.

Тень молчала…

Вздрогнув, я быстро вбежала в дом.

И невольно вспомнила нашу шумную, веселую компанию молодежи, мы собирались вечером всегда вот здесь, у нашего дома, и до полуночи обсуждали те вопросы, которые волновали всех нас, строили планы на будущее и, разойдясь, с нетерпением ожидали следующей встречи, на следующий день, чтобы все обсудить и решить все неразрешенные нами вопросы до конца.

С этими грустными мыслями я уснула.

Проснулась я утром, на той же постели, на которой спала я в далеком детстве.

Солнце заливало ярким светом ту же любимую комнату. В этой комнате все было по-прежнему. Я улыбнулась — как здесь хорошо! И вдруг вчерашний день вспыхнул в памяти, как кошмар.

В пустом дворе бродило несколько курочек. Печальные грядки на огороде. Одинокая унылая акация на углу дедушкиного дома. Под акацией с детства еще знакомый камень. Такой красиво обтесанный, как будто остался здесь еще с ледникового периода, на нем сидит обросший оборванец, и рядом дедушка о чем-то уговаривает его.

Глаза этого человека пугливо бегают по сторонам, и на мгновение останавливаются на мне. И вдруг все лицо напряглось, в невероятных усилиях воспоминаний.

— Кто она? — шепотом спросил он у дедушки.

— Дмитрий Васильевич? — вскрикнула я, опустившись перед

ним на землю. — Я Нина, Нина, ты помнишь меня?

Он махнул головой, не то давая понять мне, что вспомнил, не то отмахнулся от каких-то тяжелых дум, и произнес хриплым, чужим голосом:

— Табачок бы мне, закурить…

Я сунула ему пачку папирос, и, еле сдерживая рыдания, твердила:

— Дмитрий Васильевич, вспомни, я Зоина подруга — Нина…

Лицо его исказилось невероятной болью:

— Зои нет у меня… Нет Юры, нет Васи, нет Марии, нет Василисы. Весной старуха умерла… Я вот один стерегу свой дом…

О, это было ужасно…

Замечательный когда-то дом, с огромным садом, окруженный цветами. Великолепный чистый, ухоженный двор, покрытый чистейшим желтым песочком, с огромной крытой террасой, где мы с Зоей любили спать в жаркие душные ночи и болтать о наших будущих планах почти до утра, превратили в колхозную кузницу, а теперь здесь были просто развалины, где по ночам дико хохотали филины и совы.

— Кто ты? — вдруг снова обратился он ко мне…

— Я, Нина, ну вспомни, вспомни меня… — умоляла я.

— Пойдем, позавтракаем, — дедушка тронул его за плечо. Но он, пугливо оглянувшись вокруг, быстро встал и ушел.

— Вот так уже полгода, — со вздохом произнес дедушка, глядя на удаляющуюся фигуру. — С тех пор, как умерла Анюта (жена его). Чем только он живет? Покормить его мне стоит больших трудов. Зайдет в село, попросит закурить и снова куда-то исчезает. С ним это произошло еще в лагере.

Я быстро уехала из этого кладбища живых покойников. И еще долго не могла освободиться от гнетущего душу кошмара.

Весной, когда растаяли сугробы, труп старика (замечательного гордого человека) нашли в развалинах его собственного дома.

Так исчезла, так погибла прекрасная, трудолюбивая, крепкая, здоровая семья, которой надо было просто гордиться.

И в таком маленьком, из 100 семейств, поселке почти половина семей была жестоко раскулачена. Никто из них не был кулаком-мироедом, никто из них никого никогда не эксплуатировал. Это были умные крестьяне, умевшие трудиться и любившие свой труд. Их талантливые дети — Коли, Пети, Мити, с которыми я так любила проводить лето, разъехались, разбежались, а их родители, став «лишенцами», были все

сосланы.

Ведь люди работали с радостью, именно с радостью, это то, что я помнила до начала этой жуткой опустошительной коллективизации.

Колоски

Крестьяне все до последнего зернышка должны были сдавать государству, даже не оставляя ничего для собственного пропитания или для посева. Во многих местах хлеб стоял не скошенный, не обмолоченный, не было достаточно ни тягловой, ни человеческой силы. Обмолоченный хлеб свозили к элеваторам, а там, где их не было, свозили прямо к железнодорожным станциям и ссыпали прямо у железнодорожного полотна на землю под открытым небом, здесь он лежал до самой глубокой осени, гнил, прорастал под осенним дождем.

Я помню, как проезжая из Геническа до Мелитополя, я плакала, глядя на эти жуткие штабеля насыпанной под открытым небом пшеницы, от которых шел пар, и мой сосед грустно сказал: «Горит пшеница… Горит… Яйцо положи — сварится». И это было на Украине, и в то время, когда хлеб уже был дороже золота. Я никак не могла понять — что, наше правительство ослепло, не понимает, не видит, что происходит?

А вот, например, закон, изданный 7 августа 1932 г., «О борьбе с хищением и охране социалистической собственности», по которому нельзя было подбирать даже колоски, оброненные по дороге или оставшиеся после уборки урожая в поле, за это можно было получить 10 лет или ссылку в лагеря. Более циничного и преступного приказа нельзя было издать при здравом уме. Что же, в правительстве все с ума сошли?!

И к ответственности была привлечена женщина, которая приказ этот, по-видимому, и в глаза не видела, а просто шла с поля, подбирала упавшие по дороге колоски пшеницы, растирала их руками и, сдунув с них полову, зерна собирала в фартук. И вот за собранное таким путем полкило зерна получила 10 лет лагерей. Детишки также не имели право собирать колоски в поле или выкапывать мерзлую картошку из под снега, а в это время собранные овощи, для которых не было транспорта отвезти в город или тары для хранения, на глазах у колхозников погибали, а колхозники, на основании этого идиотского закона, не имели права взять даже один огурец из этого гниющего имущества, принадлежавшего колхозу. Вот скажите, пожалуйста, кто может и кто должен ***полюбить*** эту сталинскую власть?! И идея тех, кто издавал и кто поощрял издание этих законов и заключалась в

том, чтобы вызвать ненависть народа к этой власти.

Я помню, как дедушка с неугасимым юмором рассказывал:

— Зима была суровая, а топить нечем, заболела бабушка. Вот я и решил: была не была, пойду в поле набрать соломы (колхозная солома после молотьбы оставалась в поле) и хоть воды горячей вскипятить. Иду обратно, тащу эту солому и жизнь проклинаю, а навстречу мне председатель колхоза:

— Ты что же несешь, Иван Семенович?

— Разве не видишь, помидоры.

— Не помидоры, а солому.

— Так чего же ты спрашиваешь?

— А за расхищение государственной собственности!

— А по твоему что, люди это что, не государственная собственность, пусть, значить, замерзают?

До такого абсурда доходила жизнь.

Я любила, когда выступал Н. И. Бухарин:

— Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота, мы должны теперь вести такую политику, в результате которой у нас беднота исчезла бы.

Поистине золотые слова.

Как можно было опираться на бедноту и душить тех, кто, тяжело работая, кормил всю страну и эту бедноту. А бедноте, как предлагал Бухарин, надо было помочь разбогатеть, организовав для них колхозы и совхозы и предоставив им займы и всевозможные льготы в такой степени, чтобы они не только поднялись до уровня «кулаков», но даже превзошли их. А все так называемые «кулацкие» хозяйства надо было оставить в покое, пусть даже под контролем государства.

Так была «убита курица, несущая золотые яйца», по выражению Н. И. Бухарина.

А со всех сторон уже шли тревожные вести: помираем от голода…

Преданность и предательство

Воскресший Азеф

АЗЕФ — (это имя — синоним предательства) это тот тип, который в течение 15 лет, в конце девятнадцатого и начале двадцатого столетия был главой сильной, жестокой, страшной и самой беспощадной террористической организации ЭСЕРОВ. На счету этой организации не только убийство министра внутренних дел В. К. Плеве и великого князя Сергея Александровича, а многих, многих других. И одновременно он же был в течение этих 15 лет активным агентом царской полиции.

Но самым невероятным было то, что этому предателю, провокатору настолько глубоко верили и доверяли все члены этой организации, что привлекли к суду за клевету не провокатора, а того человека, кто разоблачил его.

Так же и в отношении Сталина, я где-то прочитала, что в старых дореволюционных полицейских архивах кто-то нашел ***контракт*** с фотографией и несколькими доносами И. В. Джугашвили, и что вот этот самый И. В. Джугашвили был провокатором и работал на царскую разведку. Тогда мне это показалось это чудовищным и неправдоподобным.

Но теперь мне кажется вполне возможным, что этот Сталин, а прежде И. В. Джугашвили, будучи в прошлом тайным агентом полиции (трудно в это поверить? — но это ведь факт), так же крепко захватил власть в свои руки, стал самым жестоким террористом. И якобы стараясь изо всех сил уничтожить всех врагов партии, хочет показать всем, что он один является самым ***правоверным*** коммунистом и все те, кто не с ним, «враги народа» и должны быть ликвидированы. И поэтому настойчиво, упорно и методично, без передышки, начал убирать всех со своего пути, отправляя на расстрел одного за другим, не успев еще даже дочитать им приговор. Ведь стоит только взглянуть на списки тех, кого он оставил в живых, чтобы ясно было, что не о компартии он беспокоился, а о том, кем ему было легче и проще манипулировать.

Сталин, как только начал бороться с Л. Д. Троцким за власть, создал достаточно крепкий раскол в рядах членов партии.

И в то же самое время силы, враждебные советской власти и ее ***настоящие*** враги, которых тогда было много, очень много и которые всегда без устали стремились, не жалея средств, уничтожить советский строй, тоже решили, что все это легче и

проще всего можно сделать с помощью Сталина. Надо только найти и подобрать к нему ключ.

И как только они поняли, что все, что он делает, он делает из-за ***страха*** потерять власть, а не из идейных соображений, они прямо или косвенно стали ***внушать*** ему идеи, которые рано или поздно привели бы к дискредитации Советского Союза и, в конечном счете, к распаду. Сначала потихоньку, а постепенно все увереннее и увереннее подливали масло в огонь, а он, постепенно набираясь сил, начал освобождаться от трусости и, захватив уже власть в свои руки, становился все жестче и беспощадней, уничтожал самых умных, самых образованных, потому что сам-то он был неуч, никто не должен был быть выше него.

А также, используя его мнительность, враждебные силы старались убедить его в том, что он окружен внутри страны врагами, что они могут разоблачить его прошлое, и, как будто по заказу свыше, всякого рода подхалимы стали воспевать его до невероятной степени. Я однажды подсчитала: на одной странице газеты «Правда» имя Сталина было упомянуто ***сто девятнадцать*** раз. Его обожествили, превратили в какого-то земного небожителя, а он, упиваясь своим величием, начал упрямо выполнять все, что ему как будто кто-то подсказывал, с кем и как нужно расправиться, кого и как уничтожить. И никакое антисоветское правительство в мире не могло, ***не способно*** было бы с такой точностью убрать все лучшие кадры и оставить все ничтожества.

До сих пор также трудно понять. Но ведь кто-то внушил ему эту страшную, бесчеловечно дикую идею коллективизации и что это надо сделать вот ***сейчас, немедленно, без передышки.*** И что вот сейчас, в такое критическое время, в начале усиленной индустриализации и полной ***технической*** неподготовленности сельского хозяйства, необходимо немедленно приступить к проведению такими варварскими методами, с такой бесчеловечной жестокостью коллективизацию с полной ликвидацией кулачества как класса. Ведь было абсолютно ясно, что это приведет к полному развалу сельского хозяйства в стране и экономическому развалу страны в самый смертельно опасный момент усиленной индустриализации страны и в самый лучший, самый благополучный момент развития сельского хозяйства. То есть ***полностью разгромить,*** разрушить сельское хозяйство и создать самый страшный голод в стране.

Я не помню, чтобы я встретила ***хоть одного*** человека, который согласился бы с этим безумием, но все выполняли приказ свыше даже со слезами на глазах. Вот скажите, кому и зачем это было нужно? Значит, кому-то надо было создать такие

условия, при которых легко было разгромить, разрушить очень успешно развивающееся сельское хозяйство страны и создать повальный голод вплоть до людоедства. Ведь даже для того, чтобы переехать с одной квартиры на другую, требуется время и силы, пока все увяжется, уляжется, расставится по местам и человек начнет нормально трудится. Как же можно было в такое ответственное время усиленной индустриализации устроить такой переворот, такое землетрясение в сельском хозяйстве страны? Полностью разрушить сельское хозяйство страны?

И вот опять, зачем, почему, кому и для чего нужна была такая пагубная спешка? Ведь никто никуда убегать не собирался. И всем было ясно, что если это мероприятие нужно провести, то для этого было достаточно времени и это можно было проводить более цивилизованным образом, так, как предлагал В. И. Ленин еще до своей смерти, а затем Бухарин, Томский и многие другие.

Но тогда ***не было бы*** искусственно созданного голода и гибели миллионов, миллионов советских людей, тогда не было бы голодных рабочих, и на работу рабочие шли бы радостно, оставив дома сытую семью и детей, тогда не было бы у миллионов советских людей такой ненависти к советской власти, все бы были счастливы. А тем, кто дирижировал всем этим сверху, как раз и нужно было, чтобы все было ***наоборот.*** Им надо было ***вызвать ненависть*** у народа и довести ее до точки кипения. Я до сих пор помню, когда голодные рабочие в Красноуральске забастовали, как я в кабинете директора комбината, захлебываясь от слез, кричала, что так нельзя, что это преступление, что нельзя морить рабочих голодом.

Нам надо честно и прямо признаться, что вся власть в стране и наша компартия, в силу абсолютного отсутствия опыта и по несчастному стечению обстоятельств, попала после смерти Ленина в руки Сталина, такого же предателя, как Азеф.

Ллойд Джордж в книге «Правда о мирных договорах», издание 1957 года, пишет: «…еще в самые первые дни появления на свет советской власти в начале 1919 года, в самый разгар Гражданской войны в России, на Мирной конференции глав правительств капиталистических государств, состоявшейся во Франции в Париже, обсуждался вопрос „Как бороться с большевизмом“» И Ллойд Джордж высказал свое мнение, что большевизм ***«не сокрушить речами».***

А дальше идут в той же книге Ллойда Джорджа «Правда о мирных договорах» выдержки откровенных записей дебатов, происходивших на Мирной конференции в Париже в январе 1919 года: «…надежды на то, что большевистское правительство будет свергнуто, потерпели несомненное крушение». «Крестьяне боятся,

что все остальные группировки, если это им удастся, ***восстановят*** старый режим и отнимут у них землю, которую дала им революция»; и дальше — «Станем ли мы тратить свои силы на поддержку ***кучки*** крупных помещиков против огромной крестьянской массы»? (Там же, с. 288–289). Обратите внимание, это было в 1919 году.

И среди целого ряда высказанных планов, как сокрушить большевизм, был и такой: «…создать вокруг большевистской территории своего рода санитарный кордон, а затем ***уморить большевизм голодом»…*** (Там же, с. 298).

Г-н Орландо, итальянец, поддержал это предложение и заявил: «…санитары предлагают соорудить санитарный кордон, потому что ***изолировать*** большевизм — значит победить его». И вот они с математической точностью с помощью Сталина выполняли план, разработанный ими еще в 1919 году, а ***Сталин крепко и целенаправленно долгие годы помогал*** им тем, что сам соорудил санитарный кордон и уморил миллионы советских людей голодом.

Партия претворила в жизнь «гениальный ленинский» кооперативный план. Так писали в газетах. Но это было вранье, если бы Ленин видел, как все это претворялось в жизнь, он бы перевернулся несколько раз в гробу. У него было слишком большое чувство ответственности за судьбы людей и за их благосостояние, и он не посмел бы пойти на такое преступление.

Сталин также заявил: «была успешно решена ТРУДНЕЙШАЯ, после завоевания власти РАБОЧИМ КЛАССОМ, историческая задача социалистической революции…». А где же было крестьянство в момент завоевания власти? По Сталину выходит — крестьянство в этом не принимало участия? А чьи же тогда сыновья воевали?

Но не успела закончиться эта страшная голодовка и как будто начала чуть-чуть налаживаться жизнь, как начались жуткие судебные процессы. У Сталина или у тех, кто держал его в своих «ежовых рукавицах», тоже были свои планы: не давать никому передышки, ковать железо, пока горячо, и, выполнив успешно первое задание, приступить к выполнению второго. Уничтожив, разгромив самую лучшую продуктивную часть крестьянского населения, что уже явно нанесло очевидный вред стране, теперь надо было уничтожить самых лучших людей, дав им кличку «враги народа». Так что же, это все тоже произошло просто так, ***«непродуманная ошибка»?!!*** Или ***«промахи»?!!***

А мне кажется, что это тоже был где-то кем-то хорошо продуманный и разработанный план создать невыносимые условия работы, подорвать нашу экономику и как можно сильнее

дискредитировать наш строй.

А что, если бы не Сталин?

Все достижения, которых добился народ нашей страны и которыми мы гордились, были созданы не благодаря сталинской политике, а вопреки ей. И если бы сталинская политика не была помехой, наша страна при ***советской системе*** стала бы самой передовой, самой справедливой, самой богатой и счастливой, да, именно счастливой страной в мире.

Почему, зачем Сталин все это должен был изменить, уничтожить, загубить? Кто был автор или авторы этого убийственного в то время мероприятия, которое вместо расцвета и благополучия довело страну до страшного повального голода 1930–1933 гг. и до людоедства?

Только враги — настоящие враги нашего народа могли додуматься и подсказать этому сумасшедшему сумасброду такую убийственную мысль. Я тысячу раз задавала себе этот вопрос. Ведь были другие пути и способы, более человечные и менее болезненные для проведения этой, по каким-то непонятным никому соображениям, столь неизбежной, столь необходимой именно в тот момент коллективизации.

И я невольно вспоминала отрывок из исторического романа Мордовцева: «Чего тут стараться, сама природа постаралась сколотить такую грудь, такие мускулы, вырастить такую косую сажень… Хороша была матушка, спородившая чадушко, да и природа, знать, была не мачеха, что вырастила, вылелеяла, выходила такое тело славное молодецкое… Украина-матушка, хатка беленькая, чистенькая, садочек вышневый, вербы шумливые, „гаи зелененькие“, поля цветливые, солнышко жаркое да приветливое, реки с берегами густо-зелеными, ночи чудные, песни дивные — вот что вырастило, выхолило этого детину бронзового. Он ел вдоволь и пил воду из чистой криницы…»

Так описывал Мордовцев казака, взятого в рекруты с Украины. Так было и могло бы быть на Украине до начала коллективизации, после чего начали раздаваться с Украины вопли «умираем от голода, помогите»… Это был тот первый гвоздь, который вбил Сталин в гроб советской системы, советского государства и коммунистической идеи во всем мире.

Великое изобретение русского народа

В советской системе первой, новой, единственной во всем

мире, так же как и во всех других системах мира, кроме положительного было много недостатков, которые надо было ликвидировать. Это была система, которую надо было стараться совершенствовать и улучшать, так как это было первое за всю историю, новое великое «изобретение» народа и для народа во всем мире.

Такое же великое, как изобретение первого колеса в истории. Да что там говорить, такое простое, с позволения сказать «изобретение», как чемодан на колесиках, я до сих пор не перестаю удивляться, почему таких чемоданов не было в мои студенческие годы, да и во время войны их не было, ведь колесо-то давным-давно было уже изобретено. Мы, надрываясь, таскали эти тяжеленные чемоданы. А здесь все хотели, чтобы эта новая, единственная в мире система была так вдруг освоена за какие-то десятилетия.

Ведь все наши великие фантастические идеи и изобретения, все фантастические достижения нашего двадцатого века потребовали от всех народов мира проведения невероятного количества удачных и неудачных экспериментов в течение не столетий, а тысячелетий.

Кто дал право Сталину так преступно дискредитировать самый лучший в мире строй, первый раз за всю историю человечества завоеванный и созданный простым человеком для простых людей — народный строй? Строй, созданный для блага всех людей, всего человечества, а не какой-то избранной кучки населения. И если бы не проклятое вмешательство Сталина, наша страна стала бы одной из самых богатых, самых цветущих и самых справедливых стран мира.

И на улучшение и усовершенствование этого нового строя, завоеванного народом для народа, необходимо было потратить несколько поколений.

Ведь, как говорил Ленин, брать нам пример не у кого.

И все то, что завоевал народ, и все то, чего он пытался достичь при этой совершенно ***новой советской системе,*** и многие другие блестящие, благородные идеи, за которые он боролся, ему удавалось удержать и сохранить страшной ценой, по существу, не имея ни одного спокойного дня и никакой поддержки ни от кого и ни откуда. В то время как все это должно было происходить в мирное время и при самом дружелюбном отношении к Советскому Союзу, к этому новому строю.

Но, к великому сожалению, никаких мирных условий и никакого дружелюбного отношения к Советскому Союзу никогда не существовало. Буржуазия, захватив богатства и власть во всем мире в свои руки, боролась против этой системы, не жалея

средств на пропаганду, на подкуп и на диверсии.

А самое большое несчастье этого ***беспрецедентного эксперимента*** было в том, что правительство нашей страны возглавил не человек, болевший за страну и народ, а параноидальное чудовище, для которого ничего святого на свете не было, кроме неукротимого желания любой ценой удержаться у власти.

И все достижения, за которые народ боролся, были не только обойдены, а были просто превращены им в деспотизм и тиранию. Ведь с тех пор, как он остался у власти после смерти Ленина, он не давал передышки никому.

Например, трудящийся народ Америки, да не только он, а все трудящиеся народы на нашей такой теперь маленькой планете, не отдают себе даже полного отчета, сколько пользы принесло им существование советской системы в Советском Союзе. Какие социальные перемены и реформы были внесены в жизнь каждого трудящегося во всех странах мира благодаря тому, что где-то появилась и существовала страна с советской системой, с названием Советский Союз.

Где народ, простой народ, научился управлять и, по существу, уже управлял государством огромной страны, в которой он завоевал такие привилегии, которых не было во всем мире: восьмичасовый рабочий день; бесплатное, доступное для всех образование; бесплатное медицинское обслуживание и лекарства; продолжительные отпуска; отдых в санаториях (вы только взгляните на фотографии, и увидите, кто отдыхал в наших санаториях); декретные отпуска для матерей и полное запрещение детского труда — и многое другое, как спорт и любые бесплатные занятия для взрослых, молодежи и детей в различных клубах, что воспринималось в Советском Союзе уже как должное, в то время как Европа, да и весь мир, только-только разворачивался.

Вот, например, цитаты из книги ***«Правда о мирных договорах»*** Дэвида Ллойд Джорджа, где он пишет что «… перемены, которые внесла Международная организация труда во многих странах, должны показаться невероятными». И дальше он приводит вот эти примеры (обратите внимание на годы).

«В Китае, по сообщению английского консула в 1924 году, нормальная продолжительность рабочей смены на хлопчатобумажных фабриках Шанхая, принадлежащих англичанам и японцам, составляла 12 часов… На фабриках, принадлежавших китайцам — 14 часов. В другом городе 18-часовой рабочий день был самым обычным явлением. В некоторых местах рабочие отдыхали только 4 дня в году. Грязь на

предприятиях была такая, что 70 процентов рабочих, занятых в спичечной промышленности, болели туберкулезом… И на таких предприятиях работали дети школьного возраста.

В Иране в ковровых мастерских работали дети в возрасте от пяти лет. Они просиживали целые дни в тесных, душных помещениях на узких досках без спинки, подвешенных к потолку; они не могли спуститься вниз, в случае надобности они должны были просить, чтобы кто-нибудь снял их». И это все происходило не в 1924 году, а даже еще позже.

Даже тогда, когда президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт в тридцатые годы во время кризиса собирался вводить в жизнь свой «Нью-Дилл» — «Новый курс», мероприятие, предпринятое для ликвидации смертельно опасного для американской «демократии» экономического кризиса, сопротивление буржуазии было настолько сильное, что он, обращаясь к американским предпринимателям, заявил: «Если вы не пойдете на уступки рабочим, вы рискуете потерять все, так же, как в России».

Я помню, как американцы, жившие и пережившие великий американский кризис, убеждали меня в том, что если бы не «Нью-Дилл» Рузвельта, здесь тоже произошла бы революция, и не менее жестокая и кровавая, чем в России. ***И это было в начале тридцатых,*** уже больше 15-ти лет после Великой Октябрьской Революции, а до этого, и даже позже, в Америке еще существовали так называемые sweat shops, то есть такие мастерские, где из человека выжимали все до седьмого пота.

И все колониальные страны мира должны выразить глубокую благодарность Советскому Союзу за свое освобождение.

Как у Христа за пазухой

В Москву, в институт цветных металлов и золота

Подходило к концу чудесное южное лето в теплом уютном городе Геническе.

Город постепенно пустел. На пляжах все меньше и меньше появлялось народа. Курортники и все приехавшие отдыхать, купаться и загорать отпускники рано разъезжались. С продовольствием становилось все хуже и хуже, да и цены становились менее доступными, и в поисках лучшей жизни местная молодежь стала быстро разъезжаться, кто куда. Большинство уезжало в большие города учиться, там и со снабжением было лучше. Рабочим выдавали 1 кг хлеба, служащим 600 г и кое-что из продуктов.

Я решила, не дождавшись ответа на мое заявление о приеме в Московский институт цветных металлов и золота, тоже ехать в Москву.

Я была так уверена, что меня примут, что другой мысли мне даже не приходило в голову.

Против моего решения ехать в Москву запротестовали родители, а особенно отец, он категорически заявил:

— Близкий свет Москва, где ни одной знакомой души нет. Никуда ты не поедешь.

— Подожди ответа, — упрашивала меня мама.

Мне было странно. Ведь я почти всегда, с детства, могла ехать куда угодно, и они относились всегда к этому спокойно. Полностью доверяли мне, и вдруг как-то «раскисли».

Отец первый раз в жизни холодно простился со мной. Брат тоже надулся: «Упрямая, ты все делаешь по-своему, даже если это огорчает родителей». Поцеловав меня, быстро убежал…

Мама крепилась, но я чувствовала, что ей было очень горько.

Почему всем так грустно? Я никак не могла понять. Я же еду на учебу в нашу родную столицу. Почему их так напугало мое решение? Ведь Шура тоже скоро уедет учиться, и они останутся одни. Им будет скучно без нас, но материально им станет немного легче, и они хоть разок сумеют воспользоваться отпуском и отдохнуть. Я вспомнила, что отец никогда-никогда не отдыхал, ему всегда было некогда.

С такими невеселыми мыслями я простояла в поезде у окна вагона всю дорогу до Мелитополя, пролетавшая перед моими глазами картина была удручающая. Недалеко от вокзала вдоль путей огромные бурты чистейшего зерна прели под открытым

небом. От них шел пар, а кругом уже начала прорастать пшеница. Более преступного головотяпства нельзя было себе представить. Это было в годы бурной коллективизации, когда никто не знал по существу, куда ссыпать, куда сдавать зерно, когда не хватало или вовсе отсутствовали элеваторы, также как не знали, что делать с обобществленной, согнанной вместе под открытым небом скотиной без подготовленных убежищ.

Возле меня остановился пожилой мужчина и угрюмо произнес: «Горит пшеница, горит, яйцо положи — сварится». А я стояла, плакала и думала: зачем, зачем же такое творится у нас, когда хлеб уже становится дороже золота.

Мария

Очнулась я от этих невеселых мыслей, когда поезд остановился у вокзала в Мелитополе.

На перроне вокзала, как всегда, было оживленно, весело. По-провинциальному гуляли парочки, поглядывая с завистью на скорый «Севастополь — Москва», увозивший загоревших, закусанных комарами москвичей с курортов домой.

Здесь меня встретила веселая, шумная группа ребят, впереди всех с цветами бежала ко мне Мария, ребята за ней тащили чемодан, чайник и два арбуза.

Пассажиры, увидев такую веселую шумную компанию, с грустью подумали — прощай, спокойный сон. Но поезд тронулся и мы, распрощавшись, остались одни. Сразу стало тихо, моя неугомонная Мария тоже притихла. Она была старше меня лет на пять. К нам в дом влетала она, как вихрь, все вокруг нее смеялось и звенело.

Когда прошел первый бурный порыв нашей встречи, мы начали думать о нашем приезде в Москву. Ни у меня, ни у Марии ни родных, ни даже каких-либо знакомых в Москве не было. Мы, две наивные провинциалки, надеялись и думали, что нас примут в институт и тут же дадут нам общежитие.

Но все-таки, куда мы заедем прямо с вокзала? Не на улице же мы будем ночевать? Денег на гостиницу у нас, конечно, тоже не было. Да и попасть в гостиницу вот так, просто с улицы, без командировок и всяких прочих атрибутов было просто невозможно. Куда же мы заедем, хоть на одну ночь? К кому? Подсчитали наши капиталы. Их тоже было в обрез, в случае неудачи с трудом хватило бы добраться обратно домой.

Черт с ними, с деньгами. Как-нибудь не пропадем, а теперь — утро вечера мудренее — давай спать. В этот момент затормозил поезд и с верхней полки слетел арбуз и лопнул, как бомба.

Сонные физиономии испуганно стали выглядывать с полок. Мария бросилась подбирать куски кроваво-красного арбуза. Пассажиры, поняв, что их жизни не грозит опасность, снова захрапели.

— Жалко арбуз, — заметила Мария, — но ничего, зато как он воздух освежил!

Рано утром, подъезжая уже к Москве, не успев еще глаза продрать, Мария вдруг весело завопила:

— Ты знаешь, мне пришла в голову гениальная идея! Одна знакомая моей мамы попросила меня передать вот это письмо какой-то ее знакомой даме.

— Ну и что? — удивилась я.

— Да как что? Вот мы с вокзала и поедем с этим письмом прямо к ней. Я надеюсь, что она войдет в наше положение и разрешит нам одну ночь у нее переночевать, а дальше видно будет.

Поезд затормозил, остановился, нетерпеливые пассажиры уже толпились у выхода. Нам было некуда торопиться, мы потихоньку собрались и последние вышли из вагона.

Провинциалки

Москва нас встретила плаксиво, небо было затянуто сплошной свинцовой пеленой облаков, шел мелкий, угрюмый дождик. На привокзальной площади стояла вереница промокших извозчиков. Мы решили взять одного из них. Чемоданы наши были тяжеленные, мы везли в них не одежду, а главным образом продукты: хлеб, масло, рыбу сушеную. Мы знали, что снабжение в Москве было по карточкам, а получить продуктовую карточку могли только московские жители или студенты с пропиской. Мы тоже надеялись получить их, как только станем студентами, а пока что… Подойдя к одному из извозчиков, Мария твердо произнесла адрес, написанный на конверте письма: «Тверская, 67».

Прокатав нас добросовестно, как нам показалось, за наши 15 рублей по ухабистым улицам Москвы, а взял он с нас в три раза дороже, как нам потом сказали, извозчик остановился у серого пятиэтажного дома на Тверской, 67.

В этом доме и жила знакомая знакомой Марииной мамы.

Когда мы поднялись на третий этаж и позвонили, нам открыла дверь молоденькая, лет 15-ти, девушка. Возле нее стояли двое ребятишек в возрасте четырех-пяти лет. Хозяйки дома не оказалось, она проводила свой отпуск на юге в Крыму.

Мы попросили у нее разрешения оставить вещи и, если можно, остаться переночевать.

Вся «квартира» состояла из одной чистой, уютной комнаты с хорошей мебелью, приблизительно 20–25 кв. м., в ней жила семья из пяти человек.

Оставив, с разрешения Наташи (так звали нашу новую знакомую), наши вещи у нее, мы тут же помчались: я — в бывшую Горную академию на Большую Калужскую, 14, Мария — в МГУ на Моховой.

В трамвае по дороге на Калужскую меня, провинциалку, поразила грубость москвичей. Как могут так грубо обращаться друг с другом совсем незнакомые взрослые люди?

Отказ

Огромное, с колоннами у входа здание Горной академии, выкрашенное в желтый цвет, было расположено в глубине двора, отгороженного от улицы высоким железным забором. У входа стояла будка, очевидно для сторожа, чтобы не растащили строительный материал, которым был завален весь двор. С двух сторон этого здания достраивались два новых корпуса.

Шесть главных факультетов Горной академии — горный, нефтяной, геологоразведочный, стали, цветных металлов и золота и торфяной — стали самостоятельными институтами. Количество студентов увеличилось почти в сто раз, но все они продолжали оставаться в одном здании Горной академии, под одной крышей. Снаружи общая картина была серая, неприветливая.

Внутри помещение мне так же показалось угрюмым. Какой-то сухой, мрачной ученостью веяло от этих полутемных аудиторий и коридоров, в которых еле-еле мерцал электрический свет.

Студенты, профессора, служащие пробегали мимо меня с занятым, озабоченным видом. Никому не было до меня дела. Чистая русская речь резала мне ухо. По-видимому, так же, как и им мой явно украинский акцент.

Я растерялась. Какие все чужие, неприветливые. Если бы в это время я вдруг услышала, как кто-то заговорил по-украински, я подошла бы к нему, как к старому знакомому.

Наконец объявление привело меня к цели, я прочитала: «Приемная комиссия». С громко бьющимся от волнения сердцем я вошла в кабинет. За столом, заваленным папками, сидел симпатичный молодой человек, один из членов приемной комиссии. Порывшись в списках и взглянув на меня, он грустно и ясно произнес: «Отказано».

Меня бросило в жар, у меня подкосились ноги.

— Отказали, не приняли. Почему?! — волнуясь, возмущенно спрашивала я.

— Очень просто, — ответил он, — большой наплыв, на каждое вакантное место подано почти 30 заявлений. Народ пожилой: парттысячники, профтысячники, все прямо с производства, с огромным производственным стажем, многие из них прервали свою учебу в силу различных обстоятельств во время или после гражданской войны. Надо всех обеспечить стипендиями. Нет общежитий — это главное. А потом, ты такая молодая, что тебе стоит подождать один-два годика.

Это я уже слышала не первый раз, слышала при отборе кандидатов в летную школу, и вот теперь.

Он отдал мне все документы. «Все документы» содержали: заявление с просьбой принять меня в институт, справку об окончании девятилетки, справку об окончании девятимесячных курсов по подготовке в вуз при каком-то коммерческом техникуме в городе Геническе и рекомендацию от комсомольской организации. Все написаны не на гербовой бумаге, а на листочках из школьных тетрадей в клеточку, без печатей, с какими-то неразборчивыми подписями, которые даже я разобрать не могла.

Шла сюда с надеждой, окрыленная, а вышла за ворота с подбитыми крыльями. Что же дальше? С чего начинать? К кому обратиться? В этом чужом, незнакомом городе. И потом, все доводы приемной комиссии были настолько убедительны, что казалось, нет никакой надежды переспорить, переубедить кого-либо. В этом году особенно трудно было встретить мало-мальски грамотного человека в возрасте до 40 лет, кто бы ни подал документы в какое-либо учебное заведение. В связи с развернувшейся индустриализацией страны и с усилением (почему с усилением, а не ослаблением, тоже было не понятно) недоверия к старым специалистам, правительство решило подготовить новых «красных» специалистов и широко открыло двери для всех желающих учиться.

Мысль о том, чтобы ***вернуться домой***, мне даже в голову в эту минуту не приходила. Я уже здесь и должна добиться того, ради чего я сюда приехала. Да, но к кому я могу обратиться, с кем поговорить, кому объяснить свое положение в городе, где нет ни одного знакомого мне человека? И я, конечно, решила обратиться в комсомольскую организацию.

Безнадежное дело

И прямо из Горной академии на Большой Калужской, 14 я помчалась в ЦК ВЛКСМ. Здесь я настояла на том, чтобы меня

принял не кто-либо, а сам Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Косарев.

Он выложил передо мной целый список институтов: педагогический, медицинский, какой-то кустарно-промышленный и еще какие-то, где тоже перебор, но куда все-таки легче попасть.

— Вот, выбирай любой. Может быть, туда тебе повезет.

— Но ты понимаешь, Саша (до чего же в те дни все было просто, не Александр Васильевич, а просто Саша, независимо от занимаемой должности, ведь мы — и он, и я — были комсомольцами, и это было главное), что я уже твердо решила: никуда, ни в какой другой, кроме того института, куда я подала заявление, не пойду.

— Желаю тебе успеха, но я ничем помочь не могу. Ты решила бороться за безнадежное дело. Передумаешь, заходи.

Из упрямства я решила: пойду по всем инстанциям нашего народного образования, где-нибудь, у кого-нибудь добьюсь того, чего я хочу, а именно, поступить и учиться в этом институте. Так я добилась приема у Андрея Сергеевича Бубнова — наркома просвещения, у его заместителя Эпштейна, у Надежды Константиновны Крупской.

Сейчас можно только удивляться, насколько простые, демократичные в то время, в конце двадцатых и начале тридцатых годов, были отношения с так называемым высоким начальством. Ведь я, девчонка, появившись откуда-то из глубокой украинской провинции, могла без всяких затруднений получить прием и попасть ко всем этим высокопоставленным лицам не по какому-нибудь чрезвычайно важному для человечества вопросу, а просто по вопросу важному в тот момент лично для меня. И я искренне считала, что все они для того здесь и сидят, чтобы помогать всем, кто к ним обращается вот в таких критических, как у меня, случаях.

До чего же просто было тогда попасть к кому угодно, никакой особой охраны, никаких заграждений. При отсутствии паспортов и вообще каких-либо вразумительных документов, верили так просто, на слово. Ведь вот у меня никаких, ну просто никаких документов не было на руках, чтобы, как говорится, доказать, что я — это я. И все меня без всяких затруднений принимали и отвечали на мои жалобы, что я вот приехала черт его знает откуда, а меня вот не приняли в институт. И все мне вполне серьезно отвечали: «Ты стараешься попасть туда, куда невозможно попасть, где на каждое место подано десятки заявлений». Но, сейчас даже трудно поверить, я вспоминаю, что никто, ни один из этих высокопоставленных лиц не сказал мне, девчонке: «Это не наше дело, нас это не касается». Нет, они все

терпеливо со мной разговаривали, старались убедить меня подумать и подать заявление в тот институт, куда можно легче попасть.

Марию Бинштok приняли в МГУ, но общежитие даже не обещали. Там тоже общежития были переполнены.

И несмотря на то, что все меня упорно отговаривали и старались убедить, что попасть в этот институт безнадежное дело и мне нужно примириться и подать документы в какой-либо другой институт, я упрямо решила подать заявление в апелляционную комиссию и ждать результатов.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей

Жить было негде. Мы целый день бродили, как бездомные, а вечером стеснялись идти ночевать к той милой Алле Сергеевне, которая даже после приезда с юга нас так мило приютила.

Несколько ночей мы спали на вокзале под видом транзитных пассажиров, несколько раз чуть ли не в какой-то пустой аудитории. И когда, мне казалось, мы дошли уже до точки, больше нет никаких сил, мы решили — ну все, я вдруг встретила во дворе академии Володю Корина, тоже из Геническа. Он был уже на третьем курсе нефтяного института, занимавшего левое крыло Горной академии…

— Вот здорово, никак не ожидал. Ты что же, решила к нам по цветным металлам и золоту? — широко улыбаясь, тряс мою руку Володя. — До чего же рад тебя видеть!

— Да, Володя, очень хотела, но не приняли. Мария тоже здесь, и мы уже подумываем как-нибудь потихоньку сматываться обратно.

— Обратно?! Ну, это дудки, не для того я тебя встретил, чтобы разрешить тебе ехать обратно! А ты брось хандрить, это тебе не к лицу. Правда, народ здесь суровый, неприветливый. Да не нам с тобой пугаться. Об отъезде слышать не хочу, никуда ты не уедешь, иначе учеба пиши — пропало. А там только рады будут, цап-царап и запрягут в комсомольскую работу, знаю я…

— Ты знаешь, мы уже бродим целую неделю, как бездомные собаки, негде умыться, переодеться, ночуем, где попало.

— Да… Москва может быть хуже мачехи. Вот, на тебе адресок, вечерком заходи к нам в общежитие на Никольской, что-нибудь обмозгуем.

И вот, вечером мы сидим в каком-то студенческом общежитии нефтяного института, тоже временном, и чаевничаем… Большая комната в старом, запущенном доме, два ряда железных узеньких кроватей, накрытых жесткими

солдатскими одеялами. Под кроватями ящики, чемоданы, а посреди комнаты табуретка вместо стола, и на ней огромный чайник. На разостланной газете мелко наколотый сахар, маргарин, расплывшийся по газетной бумаге, хлеб, нарезанный огромными ломтями…

Володя наливал чай в большие жестяные кружки. Все пили, обжигаясь, угощали нас.

Это был обычный студенческий ужин.

— Вам, как прикажете, с лимончиком или так? — зубоскалил красивый грузин, передавая кружку с чистой горячей водой здоровому скуластому сибиряку.

— Лимончика? — переспросил тот, — это, я полагаю, что-то вроде клюквы нашей будет?

— Какая там клюква, — глаза грузина затуманились, видно, от воспоминаний о жарком юге. — Это, брат мой, цитрус — вечнозеленое растение, а аромат… — он поднес щепоть пальцев к носу, глубоко вздохнул, как будто держал этот ароматный фрукт в руке. — А аромат, какой аромат…

— Не понимаю, — глядя на его экстаз, произнес сибиряк, — вот ежели, к примеру, нашу клюкву, да после заморозков в рот возьмешь, так что твой сахар…

— Эх ты, клюквенный кисель, — как будто обиделся грузин. — Да когда твой сахар-клюква, в рот берешь, так наш Тифлис видать отсюда.

— Да к черту, хватит вам, а то и так уже слюнки текут, — прервал их угрюмый парень из угла.

Чайник пустел и несколько раз наполнялся из «Титана», стоявшего недалеко в коридоре.

Уже было поздно, голоса и шаги в общежитии давно утихли. На дворе лил противный мелкий дождь, кривыми струйками сбегали отяжелевшие капли по оконным стеклам, иногда задерживались, как будто задумывались, и бежали дальше. Эта грязная и накуренная комната, при мысли, что сейчас нам надо уходить в эту ненастную, темную ночь, казалась нам уютнее рая. У меня было только одно желание — свернуться в комочек и крепко надолго уснуть где-нибудь.

Мы встали, начали прощаться.

Володя, вдруг скомандовал:

— Ну ребята, выкатывайтесь из комнаты, нашим гостям спать пора. Вот вам кровать, — указал он на левый угол возле двери, — а мы вас сейчас загородим «японской ширмой».

Все ребята оживились, бросились отгораживать наш угол ширмой — старым одеялом. Володя продолжал:

— Встретил сегодня я Нину, и слышу: уезжать решили,

деваться некуда.

Подошел сибиряк:

— Вы что же, девчата, москвичам на радость бежать решили? Они никуда не уедут, у них здесь все: квартиры, папы, мамы, и учиться будут, — и быстро вышел покараулить, чтобы случайно не пришел комендант общежития, так как оставаться в общежитии посторонним строго-настрого всюду воспрещалось.

Так за этой ширмой, которую вешали на ночь и убирали утром, мы прожили целую неделю и, кажется, даже дольше. Восемь студентов, со всех концов нашего необъятного Советского Союза, относились к нам тепло и внимательно, как к родным сестрам.

Откуда брались силы? Денег практически уже не было, даже три копейки на трамвай приходилось экономить, обувь износилась. Я заходила иногда в какие-то московские учреждения, где, я думала, могут помочь. У меня было странное отношение ко всем этим высокопоставленным учреждениям, такое же, как и к любому провинциальному учреждению. То есть, мне даже трудно сейчас все это объяснить, именно было чувство, что все эти люди сидят в этих учреждениях, чтобы выслушать и оказать, если они могут, какую-нибудь помощь тем, кто обращается к ним. Но пока никакого просвета ниоткуда не было. Домой я ничего не писала о своих мытарствах, не хотела расстраивать родных.

Мы с Марией долго искали «угол». «Угол» — это просто возможность у кого-то в комнате, в каком-нибудь углу поставить кровать или просто раскладушку, так же, как у ребят за ширмой, только за плату. Но не нашли, московские жилищные условия в то время были потрясающие. Я помню, как у кого-то в общей, закопченной, как пещера, коммунальной кухне я стояла и думала, какая бы я была счастливая, если бы мне разрешили вот за этой страшной плитой поставить раскладушку.

И в это время мне сообщили, что заседание апелляционной комиссии состоится в следующий четверг в Ветошном переулке, 13 и что всем нам предстоит небольшая переэкзаменовка, так как очень много желающих.

«Ну что ж, — думала я, — экзамены, так экзамены. Надеюсь, сдам, лишь бы учиться приняли».

У Марии занятия начинались только через месяц, и она решила уехать на это время в Харьков. Я осталась одна ожидать решения моей судьбы. Она увезла с собой свою неудержимую жизнерадостность, веселый смех, который подбадривал меня и помогал нам в самые отчаянные минуты наших с ней скитаний.

Отчаянный шаг

Со мной вместе экзамен сдавали человек 20. Все постарше меня, я была самая молодая из всех. Это были дети московской интеллигенции, успевшие закончить рабфаки, техникумы. В общежитии и стипендии, по-видимому, не нуждались. Я же окончила какие-то скороспешные девятимесячные курсы по подготовке в вуз. Переэкзаменовка была также одним из методов фильтрации для тех, кто подал апелляцию, так как во все институты принимали без экзамена.

Хотя экзамен прошел, кажется, нормально, я все-таки чувствовала, что у меня нет никаких преимуществ перед москвичами.

Когда меня попросили зайти в кабинет, где заседала апелляционная комиссия, я почти была уверена — это все. Откажут.

За столом сидели пожилые, солидные профессора, человек пять.

Первым долгом они попросили меня перевести им мои «документы» с украинского на русский. Я была удивлена, я думала, что им украинский язык так же понятен, как мне русский. Задали несколько незначительных вопросов, и после долгой паузы председатель апелляционной комиссии обратился ко мне:

— Вы знаете, что мы не можем обеспечить всех студентов стипендиями и общежитиями.

Но я не просила стипендию и общежитие.

— Да, слышала, — с глубокой грустью ответила я.

И вдруг он спросил:

— А вы можете дать нам расписку, что вы не нуждаетесь в стипендии и общежитии?

Я просто остолбенела — в моем положении давать такие расписки?

Я была уверена, что каждый сидевший здесь считал, что я, конечно, откажусь. Я могла ожидать всего, чего угодно, но мне даже в голову не приходило, что могут предложить такое в том жутком положении, в котором я находилась — без денег, не зная вообще, куда я пойду ночевать, выйдя отсюда. Родители мои, я знала, не могут мне помочь.

И я вдруг ответила, не то со злости, не то от отчаяния.

— Да могу!

И на предложенном мне клочке бумаги написала: «Прошу принять меня в институт без предоставления стипендии и общежития».

«Значит, это еще один способ отказать», — твердо решила я.

Вышли мы все из этого здания веселой гурьбой, ребята шутили, смеялись, поздравляли друг друга. «Чему они радуются?» — удивлялась я. Это все, в основном, были москвичи, условия приема их не угнетали, и никто-никто из них не догадывался, что творилось у меня на душе. Но жребий был брошен. «А если примут? О, если только примут, моя борьба за тяжелую, самостоятельную, полную неожиданных превратностей и лишений жизнь только начнется. Ну, а если не примут?»

Итак, мне надо было ожидать решения апелляционной комиссии.

Распрощавшись с этой гурьбой веселых ребят, я шла не знаю куда. Что же я буду делать дальше? Если откажут, будет обидно, больно. Надо будет сразу же решать, в какой другой институт я подам заявление, ведь я приехала учиться и хоть, как говорят, «кровь из носа», буду (о возвращении домой в Геническ мне не хотелось даже думать).

А если произойдет чудо, и меня примут, что же я буду делать тогда??? Ведь это все равно, что повесить меня без веревки. Куда я денусь? Разве смогу я даже одну неделю прожить без общежития и стипендии? И я сама же лишила себя этой возможности. Зачем же я дала такую расписку?

Тетушки «из бывших»

С такими невеселыми мыслями я пришла в общежитие, где было не «восемь девок — один я», а восемь парней — одна я. Все ухаживали за мной, но ни один меня даже пальцем не тронул.

Когда я вошла, все закричали: «Танцуй, тебе письмо».

Письмо было от мамы. В мамином письме какая-то знакомая мамы просила меня зайти к какой-то Кити Юрьевой, которая живет у своей тетушки из «бывших». По существу, мы все тогда были еще «бывшие», но это было подчеркнуто, поэтому ребята сразу решили, что это была не просто обычная тетушка, а какая-то в прошлом либо графиня, либо княгиня. Нужно передать ей, что ее Юрочка уже здоров и ходит в детский садик. Моя мама была директором этого детского садика.

Я прочла всем письмо вслух. Первым отозвался красавец грузин, Вано.

— Можно пайти на княгиня русский посмотрэть. Я видал только князь грузинский — одын баран — одын князь (я поняла это так, что все грузинские князья такие бедные, что, имея одну овцу, он уже чувствует себя князем), русский князь я не видал, — он говорил с «балшим» грузинским акцентом.

Я пошла. Жила она недалеко, на Пятницкой улице.

Вошла во двор — грязь непролазная, не двор, а сплошная лужа. На маленьком островочке в виде летней клумбы носился чумазый, лет шести, мальчишка.

— Ты не знаешь, — называю фамилию, — как их найти?

— Знаю, вон иди по-над домом, до того угла, — указал он в правую сторону дома.

Пошла я «по-над домом» и остановилась перед сплошным озером воды, доходящим до самой двери, спускающейся куда-то в подвал.

— Здесь что ли? — спрашиваю опять.

— Да ты, тетенька, не бойся, прыгай вниз, там направо, — командует он.

Прыгнула и спустилась. Темно, сыро — прошла по темному коридору и уткнулась в черное отверстие кухни в конце коридора.

Сразу в этой темноте трудно было что-либо различить. На потолке шоколадного цвета за проволочной сеткой тускло мерцала электрическая лампочка. Две женщины стояли спиной друг к другу и любезно переругивались:

— Не успею войти в комнату, как вечно крышка моей кастрюли хлопает, кто заглядывает в чужие кастрюли?

— Да что вы, господь с вами, я стою одна здесь, никто не заходил, вам просто показалось.

— Хорошее — «показалось», а намедни мясо исчезло у меня из супа — это тоже показалось?

Я прервала «идиллию» вопросом, как попасть к таким-то.

Агрессивная сторона указала на дверь и продолжала:

— Если бы мне попался тот, кто это делает, я бы горячую кастрюлю на голову ему вылила, не пожалела бы супа.

В этой проходной черной, закопченной кухоньке стояло несколько тесно прижатых друг к другу столов, загроможденных посудой. И даже она показалась мне уютной, и я даже подумала: и здесь бы я могла ночевать, если бы мне разрешили вон в тот угол втиснуть раскладушку.

Но в это время кто-то очень приятным голосом крикнул «войдите».

Я вошла в комнату, пропахшую сыростью и нафталином. Окон в ней не было, она освещалась очень красивой хрустальной люстрой, свисавшей над столом.

В комнате были две женщины, очень молодые, но ярко противоположные по внешности. Я спросила Кити, ко мне подошла чудесная блондинка, я отдала ей письмо, и пока она его читала, я разглядывала обстановку.

Вся комната была заставлена, как антикварный магазин,

старинной тяжелой мебелью. Огромный буфет с великолепной резьбой из черного дерева. Дамский письменный стол розового дерева. В углу кровать из карельской березы, роскошные хрустальные вазы на полках и масса старинных фарфоровых безделушек, запыленных и засиженных мухами.

И среди обломков этой «богатой старины» в светлом платье, с красной косынкой на плечах сидела на кровати, высоко закинув ногу на ногу, красавица-брюнетка Серафима.

Кити кончила читать письмо, на глазах у нее были слезы.

— Ты извини нас Сима, пойдемте, Нина ко мне.

Это «ко мне» была в полном смысле конура. Прямо напротив двери было окно ниже уровня тротуара. Вся стена была сырая, с обвалившейся штукатуркой. С левой стороны огромный гардероб с провисшей дверью, туалетный столик и тахта с правой стороны.

— Вы извините, — обратилась Кити ко мне, намекая на слезы, — это всегда со мной, когда вспоминаю наш солнечный юг.

Она мне понравилась. Какая прелесть, подумала я. И такие красивые чистые синие глаза.

— Пойдемте, погуляем, — предложила она, и часа через два мне уже казалось, что я знаю ее целую вечность.

Кити и Сима, обе предложили мне остаться у них до приезда их тетушки, Надежды Николаевны, которая отдыхала в Крыму.

Приняли!!! Приняли!!!

Ждать пришлось недолго.

Когда я позвонила, Ротман из Ветошного переулка, 13 закричал мне: «Приняли! Приняли! Зайди за документами».

Я не пошла, я помчалась. Господи, после всех моих сверхчеловеческих мытарств — приняли! Ведь это я так коротко описываю свои скитания, а ведь я уже целый месяц моталась по всем учреждениям, и к кому-кому я только не ходила, и все утверждали, что я трачу силы на абсолютно безнадежное дело и, вдруг — ***приняли!***

— Ты одна из самых счастливых. На, получай свои документы и отнеси в институт, — протянул мне папку Ротман.

На первой странице, сверх выписки из протокола апелляционной комиссии «Принять без предоставления стипендии и общежития», было мое заявление. «Прошу принять без…» и так далее. Я, не долго думая, здесь же, вырвала свое заявление и на глазах у всех порвала и выбросила в мусорный ящик.

— Ты, что с ума сошла, что ты делаешь?! — закричал Ротман, секретарь апелляционной комиссии. — Ведь там все равно все

написано!

— Ну и пусть написано, но не моей рукой. А потом, ведь ты понимаешь, что без стипендии и общежития я не могу. Да я сегодня не знаю, где ночевать буду.

С этими моими документами на пяти страничках из школьных тетрадей и с выпиской из протокола апелляционной комиссии я помчалась на Большую Калужскую, 14.

Двор, заваленный стройматериалами, мокнувшими под уже прохладным московским дождем с его лужами, показался мне уже родным и близким. Здесь уже что-то принадлежало мне, а я ему. Я вся буквально трепетала от радости. Все москвичи мне тоже вдруг показались более приветливыми. Хотелось смеяться и кричать всем вслух: «Приняли!!! Приняли!!!»

Я бегом поднялась на второй этаж, переступая через две ступеньки, не обращая внимания на вечно текущую по ним жижу из вечно засоренного туалета, находившегося прямо напротив ступенек второго этажа.

Без всяких церемоний я так же вихрем влетела в кабинет директора и положила перед ним на стол папку. Он, не открывая, прижал ее ладонью и сказал: «Занятия начнутся через две недели».

Не успела я выскочить из кабинета, как за мной выбежал сидевший в кабинете директора человек и окликнул меня. Подойдя ко мне, он спросил:

— Вы на какой факультет подали?

Факультет? Об этом я совсем не думала. Я поступила в институт, а факультет? Мне было все равно, я даже думала, что факультеты выбирают после того, как начнутся занятия.

— Никакой, — ответила я.

Он рассмеялся.

— Тогда, с вашего разрешения, я вас приму на мой горно-металлургический — по обогащению руд цветных металлов и золота.

Я с восторгом ответила:

— Согласна!

— Значит, через две недели я вас здесь увижу.

Это был профессор Станислав Вячеславович Ясюкевич.

Первый поцелуй

Залетев к Кити за своим незатейливым чемоданом, я, больше чем через сутки, очутилась в теплом, уютном, солнечном Геническе. Из всех наших многочисленных переездов Геническ мне казался самым близким. Он стоял на берегу моего любимого

спокойного, богатого вкусной рыбой Азовского моря.

Обрадовав родных, что принята, я промолчала на каких условиях. Да и зачем было их расстраивать, я ведь очень хорошо знала, что, при всем желании, помочь они мне не смогут. И была какая-то чертова уверенность, что я в ***своей стране никогда, нигде не пропаду.***

У нас уже несколько дней гостил сын папиного друга, погибшего во время гражданской войны. Я помнила Мишеньку в светлом костюмчике по фотографии, которую когда-то прислала моим родным его мать. Сейчас я познакомилась с красивым молодым человеком, только что закончившим Военно-морскую академию в Ленинграде и успевшим побывать уже в короткой командировке в Англии. Он заехал в Геническ к нам, чтобы забрать свою мать Евгению Николаевну из дома отдыха, в котором она отдыхала.

Как только я приехала, наш дом превратился в клуб. Каждый день ребята собирались у нас в доме. В основном это были студенты, которые так же через пару недель должны были разъехаться кто куда. Кто в Харьков, кто в Ленинград, кто в Одессу, а кто в Москву, по институтам. Мы всей гурьбой, загородив почти всю улицу, с веселыми песнями мчались вечером в порт, хватали на лодочной станции пять плоскодонок и уплывали в открытое море.

После этих прогулок мы возвращались домой поздно, наплававшись, накупавшись, с мозолями на руках и с беззаботной радостью на сердце. Гитары, как будто устав за ночь, звучали глухо во влажном предутреннем воздухе. Михаил не ездил с нами в эти прогулки. Он проводил время с моими родными. Но однажды, возвращаясь как обычно, я заметила его знакомую фигуру, бродившую по берегу моря, и я страшно смутилась.

— Вы очень долго сегодня задержались, и папа попросил меня встретить вас.

Он взял меня за руку:

— Скажи, тебе не стыдно оставлять меня одного скучать?

И мне действительно стало стыдно, что я даже не старалась чем-нибудь развлечь его, как гостя.

— Ты знаешь, Миша, я думала, что наша шумная, полувзрослая-полуребячья компания тебя совершенно не интересует.

— Да, но в ней же ты, — сказал он.

И я твердо ответила:

— Честное пионерское, мы не дадим тебе больше скучать.

И Миша громко расхохотался.

— Согласен.

Время настало, все уже потихоньку начали разъезжаться.

Последние несколько дней мы много времени проводили вместе. В день его отъезда мы все стояли на перроне, шутили, смеялись, все вокруг казалось каким-то празднично веселым. Поезд пыхтел и готов был вот-вот тронуться. И Миша, стоя на подножке вагона, вдруг сильно обнял меня, почти поднял в воздух и крепко-крепко поцеловал и с такой нежностью опустил на перрон, что мне показалось, что не поезд двинулся от меня, а я вместе с перроном уплываю куда-то от поезда.

Во мне вдруг вспыхнуло еще никогда-никогда не испытанное чувство к этому до сих пор чужому человеку. Он в одно мгновение стал мне дорогим, близким, не просто Мишей, а «моим, моим и только моим Мишей». И сразу исчезло чувство, которое, мне казалось, я испытывала к нему, как к старшему брату. Я вдруг перестала быть девчонкой, легко шутить, без причины смеяться, иногда влюбляться и дразнить ребят: «Знаете, ребята, я люблю Колю, Женю, Юру, да я всех вас, ребята, люблю».

Иногда я думала, ну кого бы я выбрала из этих ребят? У каждого было что-то хорошее, и всем нам вместе было очень весело. Мы играли во множество всяких игр, катались на лодках, купались, загорали, пели почти до утра и очень бережно относились друг к другу. Никогда никто никого не обидел из нашей компании. И вот я уходила с этого вокзала другим человеком. Я как будто сразу повзрослела, исчезла юношеская неуверенность, мне казалось, теперь я знаю, что я буду делать. Я стала взрослая, и чувство это было и радостное и грустное, как будто я что-то очень хорошее потеряла и что-то очень дорогое приобрела.

Через пару дней кое-как собрали мне на дорогу деньги. Одежды у меня было в обрез и никакой теплой для московской зимы. О шерстяном свитере я только мечтала. В одном чемодане я везла с собой все, вплоть до постельного белья: простыни, наволочки, полотенца, даже подушку. Второй тяжеленный чемодан был опять с продуктами.

И все, что было у меня в кармане — это несколько рублей и письмо для Тамары Гасенко, студентки какого-то не то коммерческого, не то торгового института, от ее мамы. Тамара была дочерью священника, который «расстригся», бросил больную жену и двух детей сбежал с молоденькой уборщицей куда-то в Крым.

Мой брат Шура очень крепко дружил с братом Тамары, тоже Шурой. Они вместе добровольно и в армию пошли.

Эксперименты в области образования

Тамара

Сдав в камеру хранения свой багаж, я пошла бродить по городу, стараясь обмозговать, что же мне дальше делать. Попроситься переночевать у Кити, но ее тетушка уже приехала, или зайти по «старому знакомству» на Тверскую, 67? А завтра в институте, может быть, кое-что выяснится. Я была уверена, что меня и те, и другие не оставят на улице ночевать. Но сама мысль, что надо просить, была мучительно тяжела.

Наконец, проголодавшись, я зашла в какую-то булочную на Тверской недалеко от Почтамта. Хлеб уже давно в Москве давали по продуктовым карточкам, а всякие булочки, ватрушки еще можно было купить без карточек. Пока я сосредоточенно разглядывала, что купить, кто-то тихонько подошел ко мне сзади и закрыл мне глаза. Я обернулась — передо мной стояла Тамара:

— Откуда ты свалилась? Вот не ожидала. Когда приехала? Давно ты здесь? — засыпала меня вопросами Тамара.

— Остановись на минутку, тебя ко мне прямо бог послал.

— Ну, ты моя безбожница, — расхохоталась Тамара.

— Да и ты не шибко верующая. А я собиралась искать тебя, на, тебе письмо от мамы. Мама сказала мне, что ты вышла замуж, правда?

— Вот поедем ко мне, познакомлю со своей половиной. Но мы живем не вместе, я живу в общежитии с девчатами, он в мужском общежитии.

В трамвае я пересказала ей, как мне рассказывала Тамарина мама о ее замужестве:

— Приехала Тамара с молодым человеком, студентом, тоже из Москвы. Я, конечно, предложила ему (места у нас много) остановиться у нас. А утром, когда он вышел во двор умываться, Тамарочка поливала ему на руки, он и спросил: «Тамарочка, где наше мыло?» — Тут я все и поняла.

Тамара расхохоталась так, что все пассажиры на нее оглянулись.

Так мы добрались до Волоколамского шоссе, которое действительно было «у черта на куличках».

В комнате общежития, где жила Тамара, было 12 студенток, меня приняли очень приветливо: ничего страшного, будешь тринадцатой, будет у нас «чертова дюжина». Вместе с ними, в этой маленькой тесной комнате, мне пришлось прожить довольно

долго.

Кризис недопроизводства

Долгожданный день настал — я студентка, и сегодня первый день занятий. Всю ночь я нервничала, не могла уснуть. Что же будет дальше? Что ждет меня, как смогу я преодолеть все трудности? Но это нисколько не омрачало то чувство счастья, которое я испытывала от сознания того, что я добилась своего и теперь я студентка не какого-то Кустарно-промышленного института, а того института, куда хотела поступить. Я знала, какие трудности придется мне испытать, но я была готова и дала себе слово все перенести.

Сегодня я увижу всех тех, с кем придется делить горе и радости студенческой жизни долгих пять лет.

Поднявшись наверх на второй этаж, я прочитала в списках, в какую аудиторию должна войти.

Подойдя к аудитории и открыв дверь, я просто растерялась. В узенькой комнатке стоял один стол, три стула, а пришедшие раньше меня студенты озабоченно бегали где-то в поисках стульев и стола. И только когда появились студенты старших курсов, они нам весело объяснили, что удивляться тут нечему, что это обычная история.

— У нас, видите ли, это обычная канитель, — утешали нас старшекурсники. — Горняки тащат у металлургов, металлурги у технологов, а те у кого попало, поживете, привыкнете. У вас еще ничего, есть стол, а то, бывало, только к концу занятий кое-как укомплектоваться удавалось. А если стул удавалось достать, так и сидели на нем, боясь расстаться, как бы кто не упер.

Стало как-то легче на душе. Растерянность на лицах новичков исчезла, все заулыбались.

— Ну, что ж, давайте привыкать. Привыкать, так привыкать, — сказал кто-то еще. И мы стали столы и стулья отвоевывать с боем, и к началу занятий кое-как «укомплектовались».

После реорганизации Горной академии прием студентов увеличился во много раз, и пришлось все большие аудитории разделить на маленькие, в которых с трудом помещалось 20 студентов. Сидели мы, как сельди в бочке, плечом к плечу, локоть к локтю, а через тонкие фанерные перегородки с успехом можно было слушать лекцию в соседней аудитории. Оборудования, столов, стульев и многих других вещей так же не хватало.

— Да, товарищи, — со вздохом заметил один из студентов, — это кризис недопроизводства.

И тут же задал вопрос:

— А что, товарищи, лучше — кризис недопроизводства или перепроизводства?

Один из сидящих на подоконнике подвел итог:

— Перепроизводство — это феномен загнивающей капиталистической системы. Например, Америка задыхается от перепроизводства, зерно сжигают, зерно выбрасывается в океан, а рабочие голодают, товаров много, а покупательная способность трудящихся сведена к нулю. У нас кризис недопроизводства, что это значит? Это значит, что благосостояние трудящихся улучшается с каждым днем, спрос превышает предложение. При разумном государственном планировании мы подойдем к идеальной системе, то есть к такой, когда спрос будет равен предложению.

Когда первые хлопоты утряслись, я с большим интересом принялась разглядывать своих новых товарищей.

— тысячники

Вместо здоровой жизнерадостной молодежи я увидела вокруг себя пожилых, уставших и мрачных людей. У многих были огромные портфели, по которым более или менее можно было судить, какой раньше пост занимал его хозяин. Многие из них были старше моего отца. У некоторых были дети старше меня. Это были парттысячники, профтысячники и многие другие, не успевшие завершить свое образование до начала войны, революции и гражданской войны, а затем работавшие на восстановлении разбитого, разрушенного народного хозяйства. Некоторые из них занимали очень крупные хозяйственные и партийные должности в разных автономных республиках. Они все имели право в первую очередь получать общежитие и повышенные стипендии.

Ко мне отнеслись они с особым отеческим вниманием, а я с грустью думала: пропали мечты о веселой студенческой жизни, когда «хоть есть нечего, зато жить весело».

Занятия кончились, и все стояли в нерешительности — что же дальше, неужели и завтра начинать занятия с поисков стульев и столов?

Выручил небольшого роста студент казах Куинджанов, он заявил:

— Не волнуйтесь, товарищи, мне ведь все равно ночевать негде, после второй смены я останусь и буду караулить.

Но на следующее утро, когда мы пришли на занятия, оптимизм его исчез, и нам снова пришлось отвоевывать свои

стулья.

Лабораторно-бригадный метод обучения

В нашем институте в то время «свирепствовал», как тогда говорили, лабораторно-бригадный метод обучения. Он заключался в том, что группу разбивали на бригады из пяти-шести человек, которая ежедневно оставалась после окончания занятий на два-три часа для общей проработки материала.

В нашей группе был 21 человек, 18 мужчин и 3 женщины. Обе, кроме меня, москвички. Нашу группу сразу же разделили на четыре бригады. Наиболее подготовленная часть студентов терпеть не могла этот метод, так как в большинстве это сводилось к тому, чтобы кому-то, окончившему учебу много-много лет назад и забывшему все на свете, вдалбливать в голову какую-либо ясную, как божий день, теорему. Для индивидуальных занятий просто не оставалось времени.

Увильнуть или отказаться от этих занятий было просто невозможно. Об успехах студентов судили больше по тому, как успевает вся бригада. Отсутствие на занятиях бригады было почти равносильно непосещению института. Даже отметки ставили огульно: например, бригада № 1 — отличники, бригада № 2 — так себе или плохая, тянет всех на черную доску. А в этой плохой бригаде могло быть один или два студента, с которыми вся бригада билась, как «рыба об лед», и ничего сделать не могла. Вообще, за пять лет нашей учебы на нас перепробовали столько новых методов обучения, что мы в шутку называли себя кроликами.

Прозаседавшиеся

Первые месяцы учебы были сумасшедшие. Отнюдь не в смысле учебы — нет, а в смысле бесконечных собраний, заседаний, долгих, утомительных. Фактически, не было ни одного дня без каких-либо собраний. Проводились они по любому поводу, во время перемен между уроками, во время обеденного перерыва, в конце уроков, очень часто до 10 часов вечера. Собрания были всякие: групповые, факультетские, комсомольские, партийные, профсоюзные и всевозможные другие. Почти на всех этих собраниях и заседаниях строго полагалось присутствовать. По этому поводу у Владимира Маяковского был очень удачный стих «Прозаседавшиеся», который очень удачно подходил к нашей ситуации.

Был еще один бич у студентов. В любую минуту во время

занятий вас могли вызвать и отправить куда-нибудь на производство или просто на какую-либо общественную работу. Например, рано утром занятия начинались при полном составе, а часам к 12 аудитории пустели. Общественная работа считалась настолько важной, что профессора и преподаватели были обязаны освобождать студентов от занятий и продолжать читать лекции полупустой аудитории. Таким был первый семестр нашей учебы.

Я считала, что от общественной работы отказываться нельзя. Ведь это для пользы всего коллектива, и ее надо выполнять честно. Если для этого надо даже отказаться от всех личных удовольствий, от этого пострадаю только я, а вот если я откажусь от проведения какого-либо общественного мероприятия, то я сорву какое-либо общественно-полезное дело. Короче говоря, участие в общественно-полезном деле на меня действовало магически. И через месяц на меня, кроме всего прочего, навалили уже шесть общественных нагрузок.

Не подумайте, таким «недугом» страдала не только я или такие активисты, как я. В этот водоворот в те годы были втянуты все: одни — по партийной линии, другие — по комсомольской, а беспартийные — по профсоюзной.

Бездомная

В первые дни все мое внимание поглощено было знакомством с новыми людьми, с новой обстановкой, мне даже некогда было подумать о себе.

Но как только выходила я за ворота академии, мне становилось страшно, а что же дальше? Где я буду ночевать сегодня? У кого? Опять у Тамары? Я уже несколько недель каждый вечер мчалась на Волоколамское шоссе к Тамаре в общежитие. Но их тоже перевели в общежитие в самый центр города, возле Политехнической библиотеки. В комнате теперь у них было не 12, а 8 девчат, но здесь каждую ночь к ним заходил комендант проверять, нет ли у них в комнате посторонних. И какие же нервы надо было иметь, чтобы это перенести, чтобы каждый вечер дрожать и бояться, что ты вдруг среди ночи можешь очутиться где-то на улице. Как долго я смогу так существовать, без денег, без общежития?

На Украине жизнь с каждым днем становилась все более и более дорогой. Мои родные не могли мне помочь, а из моих писем они не имели ни малейшего представления, в каком положении я нахожусь. Но как же мне быть? Без стипендии я не протяну и недели, а без общежития и того страшнее. Положение было очень тяжелое. Не только я, но и многие студенты ночевали

на вокзалах, в пустых аудиториях, в коридорах. Неужели после стольких страданий и мук я должна бросить учебу и уехать обратно? Эта мысль была страшнее всех.

Я ходила по этой угрюмой, суетливой Москве, и такой она мне казалась неуютной, холодной, неприветливой. Я думала, думала — никому, ни одному человеку здесь нет дела до того, что делается на Украине, да и вообще во всей стране. И перед моими глазами стояли эти растерянные женщины, раздраженные, растерянные мужчины и присмиревшие, со своим скорбным взглядом, дети, и как будто все спрашивали:

— Что случилось? Зачем так сломали нашу жизнь? Зачем перевернули все вверх дном?

Это была коллективизация, и никто не понимал, не мог понять, откуда она взялась и кому и зачем она нужна в этой прекрасной, родной для всех нас стране. И именно вот сейчас, в это самое тяжелое для страны время, в момент усиленной индустриализации. Зачем? Разве нельзя было подождать, дать возможность людям подумать и самим решить, что же лучше?

И если бы все это было к лучшему, а то сразу стало хуже.

На моих глазах все люди с каждым годом стали жить все лучше и лучше. Я видела, с каким азартом люди трудились, стараясь улучшить свою жизнь, а значит, жизнь всего общества, всей страны.

Зачем же не оставили их в покое? Зачем же из уверенных, веселых, жизнерадостных, трудолюбивых тружеников сделали злых, раздраженных людей… Перевернули все вверх ногами, как после стихийного бедствия. И эти трудолюбивые люди, если не сосланы за свое трудолюбие, растерянно сидят у развалин с таким трудом, с таким тяжким трудом построенного ими хозяйства. И моя Зоя была бы живая, и сколько пользы она принесла бы с ее незаурядным талантом. И откуда появилось это противное, проклятое слово, которое я ненавидела — «лишенец», «лишенцы».

— Если бы был жив Ленин, никогда-никогда бы это не произошло, — твердо решила я. Сталин заявил — «произошло головокружение от успехов», каких успехов? Успехов коллективизации? Ведь никаких успехов и в помине, не было. Было насилие и упорное, угрюмое сопротивление. Люди не понимали, что с ними происходит и кому это так внезапно нужно.

Удочерили

На Добрынинской площади меня кто-то окликнул. Здесь ожидала трамвая Аннушка Кочеткова:

— Ты куда? Поедем ко мне. Кстати, позанимаемся спокойно вдвоем, — попросила она.

Из трех женщин в нашей группе самая старшая из нас была Аннушка (как ее все ласково называли). Бывшая московская ткачиха жила с мужем у родителей мужа — оба профессора Ветеринарного института. Это я узнала по дороге к ним. Родители Севы (так звали ее мужа) приняли меня очень тепло, были очень приветливы, как будто они так и ожидали нас вдвоем. Жили они в старинном двухэтажном деревянном доме, предназначенном на снос. Квартира была типично старомосковская, обитая темными обоями, со старинной мебелью. Мы занимались с упоением. Часов в 10 я собралась уходить.

Клавдия Тимофеевна, мать Севы, обратилась ко мне:

— Ниночка, где вы живете? Как далеко вам ехать?

Я сказала, что ехать мне не так далеко, а живу пока я в общежитии у знакомых студенток.

— Значит, своего общежития у вас нет. Вы у нас «бездомная», — заявила Клавдия Тимофеевна. — Я же знаю, что творится в наших университетах. Так, вот что, снимайте пальто, мы вас никуда сейчас не отпустим, места у нас достаточно, а девочкам позвоните, чтобы они не волновались.

Мне стало до слез больно от их такого трогательного участия. Неужели я вызываю такую жалость к себе? Я попробовала отказаться, у чужих я всегда очень стеснялась. Но они настаивали.

— До получения общежития мы вас удочеряем, я думаю все со мной… «Согласны»!!! — раздался из другой комнаты голос Владимира Николаевича.

— Согласны, согласны, — засмеялись все. — А теперь давайте, снимайте с нее пальто.

Ударная группа

В это время в нашем институте происходили радикальные перемены. По всей стране правительство, через средства массовой информации, требовало выполнить первую пятилетку экономического и социального развития досрочно в четыре года. Для быстро развивающейся индустрии требовались специалисты, которых, по существу, было очень мало. Многие институты разукрупнялись, переходили на сокращенные учебные программы. Наш институт, как и многие другие, решил не отстать от общего темпа, и на общем собрании приняли решение выполнить нашу пятилетку, то есть пять лет учебы, в четыре года. Но в нашей группе нашлись суперэнтузиасты, которые выдвинули

встречный план и предложили «по-ударному» окончить институт в два с половиной года. И администрация института, поверите или нет, согласилась. Нас сделали ударной группой, записали на красную доску. И теперь все мы ломали голову, разрабатывали методы, каким образом мы сумеем окончить институт в два с половиной года и с какой программой.

И выход был найден. Решили заниматься в две смены. С восьми часов утра до часу дня и после двухчасового перерыва от трех до восьми вечера без выходных и без отпусков. Сокращения срока учебы мы еще собирались достичь путем удаления из программы некоторых дисциплин второстепенного значения, а также тесной связью с производством и перенесением на производство изучения некоторых теоретических дисциплин во время производственной практики.

Старые почтенные профессора пришли в ужас и, хватаясь за седые головы, стонали:

— Помилуйте, непрерывная практика ни в коем случае не заменит тех дисциплин, которые должны быть отменены за недостатком времени.

Такой крупный профессор, как В. А. Пазухин, заявил:

— Я считаю своим долгом доложить деятелям высшей школы, что такое изменение программ приведет к снижению квалификации. В этом случае мы будем готовить мастеров, а не инженеров. И ответственности за такое качество подготовки специалистов взять на себя не могу. Переубедить меня и доказать целесообразность данного мероприятия невозможно. Я буду работать с вами вопреки всякому здравому смыслу, а только подчиняясь приказу.

Другой профессор также заявил:

— Если директор института издаст приказ о сокращении сроков учебы в два раза, мы можем не подчиниться ему, так как он ошибается в силу своей некомпетентности. И мы обязаны указать на его ошибки. Я убежден в том, что через год правительство свой приказ отменит, и мы будем опять удлинять сроки.

Тем не менее, почти два месяца, до производственной практики, мы занимались с таким напряжением.

В это время я почти целую неделю наслаждалась гостеприимством этих замечательных людей и чувствовала себя не как гостья, а как член семьи. И в дальнейшем меня всегда принимали, как члена семьи. И даже когда они переехали в какой-то бывший роскошный особняк на Большой Димитровке, у них всегда стояла в углу у входа кровать-раскладушка для меня, и встречали меня всегда радостным возгласом:

— Наша Нинца приехала (или пришла)!

Дали общежитие!

И вот в один прекрасный день, месяца за полтора до окончания первого семестра, по институту прошел слух, что где-то на Калужской площади в бывшей сапожной мастерской отремонтировали помещение для женского общежития.

В тот же день я помчалась на разведку.

Всю Калужскую площадь окружали старые покосившиеся двухэтажные домики, требовавшие усиленного ремонта. На нижних этажах были пивные забегаловки, продовольственные, булочные, бакалейные магазины, а также всевозможные пошивочные и сапожные мастерские.

Вот одну такую сапожную мастерскую на углу Калужской площади и Большой Калужской улицы решено было переоборудовать под общежитие для женщин. Это была мастерская, в которой я чинила свою обувь, пока ее можно было чинить и пока пальцы не вылезли из протертой подошвы, а потом я просто надела на них галоши и не снимала, пока не получила ордер на обувь.

Дверь со стороны площади замуровали и оставили вход со двора. Когда я нашла вход и открыла дверь, то просто отшатнулась от неожиданности.

Темная, как подвал, прихожая, напротив вдоль стены три-четыре вечно текущих в продырявленный под ними жестяной желоб крана, на полу озеро. Справа засоренная уборная, из которой тоже лилась на пол зловонная жижа. От порога входной двери до следующего порога наискось проложена доска, по которой с акробатической ловкостью можно было пройти в другое помещение, не утонув в этой зловонной жиже под доской. Открыв дверь с левой стороны, я вовсе оторопела. Это здесь или я не туда попала? Я очутилась, как в угольном забое. Маленькая электрическая лампочка освещала небольшой пятачок на потолке, напротив голые темные нары, на которых кто-то храпел, жуткий запах табачного дыма и пота от немытых тел мог сбить с ног даже слона. Я готова была бежать обратно, но вдруг справа открылась дверь, и из ярко освещенной свежевыкрашенной комнаты вышел комендант общежития нашего института. Он пропустил меня внутрь. После того ада, который я видела у входа, она показалась мне царственно солнечной. За ней была вторая комната, с печкой, которую еще не успели оштукатурить, и которая должна была обогревать обе комнаты. Весь пол был еще заляпан краской.

— Значит, ты тоже зашла обследовать, вот завтра мы и будем

заселять общежитие, — гордо заявил он.

— Это завтра, — сказала я, — а на чем же мы спать будем?

— Как на чем? Пойдем, покажу тебе кровати.

Мы вышли во двор. В конце двора под огромным сугробом снега лежали какие-то полузаржавевшие, как мне показалось, прутья.

— А это вот кровати для вашего общежития. Выбирай любую.

Твердо решив про себя, что я должна попасть сюда, или вся моя учеба, после стольких невероятных усилий, кончится печально, больше мне некуда идти, и что сегодня же я буду ночевать здесь, я попросила:

— А знаешь что, помоги-ка мне внести одну из них внутрь.

Он немного поколебался, но, увидев мою решимость не отступать, ответил:

— Ну что ж, давай внесем.

Мы с трудом втянули это холодное, обледенелое сооружение внутрь.

— Куда тебе поставить? — спросил он.

— А вот давай в тот самый дальний угол у окна возле печки.

Когда кровать была поставлена на место, он вдруг спросил у меня:

— А ордер у тебя есть?

— О чем ты спрашиваешь, если нет, то завтра будет, — уверенно ответила я, про себя подумав, что отсюда меня смогут выдворить только силой и с нарядом милиции.

Поблагодарив его, я помчалась собирать свои пожитки — часть у Тамары в общежитии, часть у Аннушки.

Когда часов в 10 я вернулась, на нарах в комнате, напоминавшей забой в угольной шахте, запах в которой выворачивал все внутренности, уже храпело человек 10 сезонных рабочих.

А когда я открыла дверь и вошла в наше теперь общежитие, была очень приятно удивлена. В несколько часов тому назад пустых комнатах было уже человек 15 студенток. Некоторые кровати были уже застелены, кое-кто, весело болтая, застилал свои кровати. Меня встретили радостными возгласами: «Добро пожаловать. Вот пустая кровать, располагайся, как дома».

— Спасибо, девочки, но у меня уже есть, — ответила я и вошла в другую комнату.

Наш новый сырой, неоштукатуренный «камин», затопленный сырыми дровами, весело трещал, распространяя дым и вонь.

На моей кровати кто-то уже уютно разостлал свою постель, но я, будучи в весьма возбужденном состоянии, недолго думая, собрала чью-то постель и переложила на пустую соседнюю

кровать, а на появившиеся откуда-то соломенные матрасики постелила свою постель. «Оккупантка», захватившая мою кровать, оказалась Зиной — очаровательной, красивой спортсменкой, с которой мы довольно крепко подружились.

Настроение у всех было такое, как будто мы все поселились в каком-то замке или в первоклассной гостинице. Смех, шутки, пение не прекращались до полуночи.

У красивой, с ямочками на щеках, Танюшки оказался замечательный голос, и она запела:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.
В той степи глухой замерзал ямщик.

Зинка, запела свою любимую песню:

Есть Россия, свободная страна,
Всем защитой служит она…

И наша дальневосточница Раечка, недавно, после продажи КВЖД, выехавшая из Китая, тоже запела:

Я знаю песнь о верном сыне, в одной из дальних, дальних стран
Простой китаец жил в Пекине, простой китаец Ли О Ан.
На свете странного немало, в Пекине есть такой закон.
Что вдоль посольского квартала проход китайцам запрещен.
«Назад»! Схватив его за ворот, вскричал английский капитан.
«Но ведь Пекин родной мой город» — ответил тихо Ли О Ан.

Рая после наших веселых бравурных песен спела эту песню почти со слезами на глазах, даже все притихли.

Но наш «камин» уже разгорелся, стало тепло. Все притащили в нашу комнату у кого что было, устроили общий полуночный ужин.

Видно не одна я, а все достаточно намучились без жилья.

Лиза, самая старшая из нас, беременная, которую мы все называли: «Наша парттысячница», грустно заявила:

— Знаете, товарищи, мы с вами самые счастливые, а ведь

многие ребята едут куда-то в Расторгуево под Москву. Эти поездки отнимают у них уйму времени, и живут они там в таких деревянных бараках, которые защищают их только от ветра.

И все мы знали, что даже там не было достаточно места. Это были годы, как будто где-то плотину прорвало. Все, кто мог и не мог, прямо с каким-то ожесточением набросились на учебу. В некоторых институтах было подано почти 30 заявлений на одно место. На такой наплыв не хватало ни общежитий, ни даже учебных помещений. Ведь вместо одной Горной академии сейчас было шесть переполненных институтов, не хватало всего: стульев, столов и всего прочего, но энтузиазма было столько, что можно было горы свернуть.

Заселялись недостроенные общежития, строились институты. Мы рыли котлованы, разгружали и таскали стройматериалы для здания нашего будущего института на Крымском валу, 3. Ни дождь, ни снег, ни морозы — ничто нас не останавливало, строительство шло полным ходом.

Такие были в то время тяжелые материальные условия и такая неукротимая жажда учебы.

На следующий день, с бьющимся от волнения сердцем, я шла бороться за свое право на общежитие. И была очень приятно удивлена, когда, ни о чем не спрашивая, мне выдали ордер.

Только бездомные могут понять то чувство, которое испытала я. Это было чувство счастья, радости и облегчения. Да именно, счастья, что вот я могу прийти после занятий, сесть или лечь на свою постель и делать все, что я хочу. И если я раньше благословляла все заседания, все собрания, благодаря которым имела возможность до 10 часов ночи торчать в институте, то теперь я с нетерпением ожидала их конца, чтобы скорее уйти в свой уголок, лечь на свою кровать, почитать, пописать или просто, забросив руки за голову, немного помечтать, не чувствуя ни страха, ни неловкости.

Воскресники и субботники

У студентов кроме изнурительно долгих собраний и заседаний был еще один бич. Каждое воскресенье устраивались так называемые «воскресники». В субботу нас предупреждали явиться ровно в 8 часов утра в институт, попроще одеться, прихватить с собой пару старых перчаток, если есть. Мы уже имели удовольствие в одно прекрасное воскресенье разгружать вагоны с загнивающими овощами, которые через некоторое время с успехом можно было бы отправить на свалку или на удобрение. Или рыть котлованы, перетаскивать строительные материалы,

кирпичи, цемент, песок. Таким же способом мы помогали строить наш институт, который до конца нашей учебы так и не был полностью достроен.

Самое неприятное было разбирать гнилую картошку. От запаха гнили кружилась голова, тошнило. Помню, как-то появился упитанный чистенький зав. складом, мы все набросились на него:

— Зачем же вы продукты гноите, не отправите покупателям?

— Видите, до сих пор разрешения от «Пищеторга» не пришло. Овощи попахивают гнильцой, но ничего не поделаешь, начальству виднее.

Обувь, одежда, руки покрывались липкой гнилью. Я лично предпочитала таскать цемент, кирпичи, все что угодно, так как после таких «прогулок» даже помыться было негде. Бани по воскресеньям не работали. Горячей воды и в помине не было. Достать кусочек мыла было невозможно, а в нашем общежитии просто подойти к умывальнику было трюком высшего пилотажа. Весь пол был загажен, залит водой и грязью из вечно невообразимо засоренной уборной. Чтобы пройти к нам со двора и не утонуть в этой грязи, от порога до порога были проложены дощечки, и, как я раньше сказала, по ним надо было пройти с акробатической ловкостью.

В ответ на наши просьбы и жалобы приходил комендант, заколачивал огромными гвоздями дверь в уборную. Сезонные рабочие тут же ее отрывали, и так продолжалось до тех пор, пока дверь не отлетела совсем.

Как мы умудрялись следить за собой и соблюдать чистоту, уму не постижимо. А ведь умудрялись. Ходили в баню, простаивали там в длиннющих очередях. Шаек и мыла там тоже не хватало и приходилось за них воевать, и радостные, веселые, с таким облегчением возвращались в общежитие.

Мы все уже успели привыкнуть к этой нестерпимой вони в проходной комнате, от которой даже крысы могли подохнуть, и к пьяному галдежу строительных рабочих, и к тесноте и духоте наших полухолодных, вечно наполненных едким дымом комнат, в которых было уже 22 студентки — и все это ни капельки не мешало нам не только радоваться жизни, но даже заниматься.

Каждое крохотное улучшение заставляло думать и верить, что все изменится к лучшему. Не сразу, правда. Но вот неделю тому назад я приходила в отчаяние, а теперь я уже в общежитии. Ведь принять с резолюцией «без предоставления стипендии и общежития» было равносильно «отказать».

Стипендия

Итак, я уже преодолела одно препятствие. Вопрос с общежитием решен. Надо было бороться дальше. Я давно уже существовала на голодном пайке, и если бы я в этих тяжелых, стесненных условиях не сумела бы иногда подработать в одной строительной конторе (размещением на чертежах размеров), то, наверное, умерла бы с голоду. 16 копеек стоил наш студенческий обед, 12 копеек батон хлеба. И часто, очень-очень часто у меня не было денег даже на это. Мой рацион был до предела ограничен. По натуре я довольно замкнутый человек. Не люблю говорить о себе много. Я никогда никому не жаловалась, никогда ни у кого ничего не просила, ни у кого денег не одалживала. Вела себя так, как будто ни в чем не нуждаюсь, если даже была голодна до обморочного состояния. Такой я была с детства, такой и осталась на всю жизнь.

Но студенты, которым всегда не хватало денег от стипендии до стипендии, и которые постоянно ходили «стрелять» друг у друга денег, всегда говорили:

— У Нины? Да, у Нины денег куры не клюют.

Потому что никто из них никогда не слышал от меня ни жалоб на безденежье, ни просьбы одолжить.

Шел уже четвертый месяц нашей учебы. Я дошла до точки, когда без стипендии не могла прожить больше ни одного дня. Считая, что на стипендию, так же как и на общежитие, я имею полное право, я в один прекрасный день решилась. Была не была, один у меня выход — подать заявление, просить стипендию.

И до сих пор вспоминаю и забыть не могу, как после подачи заявления я ночи не спала, нервничала, готова была, как львица, бороться за свое право на учебу. И не просить, а уже требовать.

И вдруг ко мне подошел староста нашей группы Ваня Шалдов и, как ни в чем не бывало, так запросто, сказал:

— Иди получать стипендию.

Сначала я даже подумала, что это злая шутка. Но у кассы мне выдали ровно 55 рублей, даже без вычетов. И никто меня никуда не вызывал, никаких вопросов не задавал. Мне сказали: «Иди получать стипендию» — и точка.

Это было накануне Нового 1931 года.

Стенгазета

Мы с Аннушкой помогали ребятам оформлять новогоднюю стенную газету нашего института на 1931 год.

— Тебе нравится? — любуясь газетой, спросила Аня.

— Знаешь Анечка, красивое оформление еще не все, главное содержание. Я хочу, чтобы была правда в каждой букве, в каждой

строчке. Я не хочу лживой мишуры. За что мы распекали Юрия? Честного, умного и самого смелого и справедливого из всех, кого я знала.

— Да, я с тобой согласна. Но он не должен был так резко выступать, он мог бы высказаться не в такой форме о том, что видел на практике, и тем самым не компрометировать авторитет нашего правительства и нашей партии.

Уже несколько недель подряд, чуть не каждый день вечером, после занятий, в огромной аудитории Горной академии проходил общественный суд над только что вернувшимися с практики студентами Юрой и двумя его товарищами. И мы после занятий должны были сидеть и слушать бесконечные наставления «шибко умных» активистов, которые умели, в буквальном смысле, делать из мухи слона и которых я впоследствии просто ненавидела. В конце концов, этот «общественный суд» вынес им приговор. Их отправили на два года на перевоспитание на производство с правом окончить институт после того, как они исправятся и «наберутся ума-разума». Всем этот суд надоел до чертиков, он шел по принципу «тебе дочка говорю, а ты невестка слушай». Для этого мы все и сидели там по два-три часа после утомительных занятий. Я за это время успевала получить уйму записочек от ребят. Одни приглашали в кино, другие просто хотели познакомиться, а некоторые даже успевали объясниться в любви. Сидевший рядом со мной парень пожаловался:

— У меня уже руки отсохли записки тебе передавать.

Уже это говорит о том, с каким «вниманием» относились все ребята к этим судам.

Тогда еще было более или менее мягкое отношение к таким студенческим выступлениям: ругали, выносили выговор, устраивали «общественный суд», как вот сейчас, выносили приговор, но до арестов еще не доходило. Вот это событие и было освещено в стенгазете.

— Я с тобой не согласна, народ и все должны знать о наших ошибках и недостатках. Мнение народа — это закон для партии…

Раздался звонок.

— Ну, Нинок, дискуссия окончена, мы едем встречать Новый год. Уже пол-одиннадцатого. Давай скорее, скорее. Ты не одета? Фу, какое мещанство. Вот только пятно от краски на лице сотри. Да не ходи в уборную, ее всю залило, туда не подступись, — пока я приводила себя в порядок, она без устали тараторила. — В довершение хочу предупредить, что там будет чудесный мальчик, новый друг моего Севы. Смотри, не влюбись, потеряешь покой, сон, аппетит. Даже я во сне и наяву его вижу, прошу Севку: «Да не приводи ты его к нам».

— За трамвай плачу я, у меня есть трамвайные билеты.

Новый, 1931 год

Новогодняя Москва особенно хороша. Кузнецкий мост под пышным покровом новогоднего снега. Третий этаж — и мы в роскошной гостиной. Шумно, весело встречает нас уже немного подвыпившая компания.

— Мы старый год уже спровадили, сейчас пробьют кремлевские куранты, и мы выпьем шампанское за новый год.

Бой часов, «Интернационал» и голос диктора из репродуктора:

— С Новым годом, товарищи… Желаем вам новых подвигов и новых побед на пути к построению социализма и нового бесклассового общества….

Так наступил новый 1931 год. ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА, ГОД КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ГОД РЕШИТЕЛЬНОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ.

Это был мой первый Новый год в Москве, вдали от родных и близких, старых друзей и знакомых. Компания была интересная, но я никого не знала и не чувствовала себя так свободно, как среди моих знакомых.

Я никогда не умела быстро знакомиться с людьми, не умела вести светские разговоры, не умела, абсолютно не умела кокетничать. Я немного, по-хорошему, завидовала девчатам, кто умел это делать. Но сама всегда старалась быть как можно менее заметной, спрятаться, как рак, в свою скорлупу.

Потихоньку я подошла к огромному трюмо, на столике перед которым стояли удивительно красивые косметические баночки, флакончики, совсем не похожие на наши «Метаморфозы». Это была заграничная косметика племянницы хозяина, которая недавно приехала к нему в гости из Парижа. (Тогда еще можно было приезжать и даже уезжать за границу, железный занавес еще не прочно опустился).

Ко мне подошел хозяин этой роскошной квартиры, обнял меня за плечи, кивнул на батарею этих косметических принадлежностей и сказал:

— Тебе совсем все это не нужно, ты у нас без этого самая красивая.

Это и был тот «чудесный мальчик», в которого Аннушка предупреждала не влюбиться. Я не влюбилась, но мы стали большими друзьями. Мы любили встречаться, ходить, гулять и долго-долго разговаривать. Он мне нравился, но никакого чувства, что называется любовью, у меня к нему не было. Он это

знал, и мы просто остались хорошими друзьями. Гуляли мы здесь всю ночь, за мной тогда настойчиво ухаживал наш студент Петя Бельский, без пяти минут инженер, как мы тогда говорили. Утром после завтрака все отправились в парк на каток, обедали в ресторане «Шестигранник» в парке и ужинали снова у Даниэля (так звали этого красавца).

Первая производственная практика

В конце 1930 и в начале 1931 г. мы, студенты первого курса института Цвет-метзолота, уже проходили практику в Казахстане на гигантском Риддерском комбинате по добыче и обработке свинцово-цинковых руд, на Красноуральском медеплавильном комбинате, Магнитогорском металлургическом комбинате на Урале и на многих других, только что отстроенных, недостроенных или находящихся еще в процессе строительства предприятиях. Обновлялись или строились новые гиганты: новокраматорские заводы в Донбассе, Березинский и Солекамский химкомбинаты, а также в таких городах, как Запорожье, Мариуполь, Ростов.

Осуществление всех поставленных перед нами и перед страной задач в области развития народного хозяйства и такого огромного капитального строительства за 6–7 лет после окончания гражданской войны требовало не только миллиардных вложений, для чего были мобилизованы все внутренние ресурсы, но и сверхчеловеческих усилий теперь уже советских людей.

Комсомол весь свой неугасимый энтузиазм вложил в дело индустриализации нашей страны.

В эти годы десятки, сотни тысяч партийной и беспартийной молодежи, юноши и девушки по призыву комсомола со звонкими песнями и веселыми улыбками отправлялись на ***самые тяжелые далекие*** новостройки Сибири, Дальнего Востока, Урала, Кузбасса, Донбасса, на Северный полюс и во многие другие далекие, еще необжитые места. И каждый из них чувствовал себя винтиком этой огромной родной страны. Такого гигантского энтузиазма в таких невыносимо тяжелых условиях, я думаю, никогда нигде, ни в одной стране на нашей планете не было, все, что строилось, все, что добывалось, все, что плавилось, создавалось и производилось — производилось для НАС для ВСЕХ, для НАШЕЙ СТРАНЫ, на благо всех. Казалось, вся страна принадлежит НАМ, и МЫ принадлежим стране, все было НАШЕ. НАШИ недра, НАШИ шахты, НАШИ заводы, НАШИ необъятные просторы, степи, реки и леса — где хочу, остановлюсь, куда хочу, поеду, за это «НАШЕ» все готовы были жизнь отдать. В этот период миллионы рабочих были охвачены пафосом гигантского строительства, охватившего всю страну.

Я помню стихи моего любимого поэта Владимира Маяковского, который писал их о таком именно народе и его энтузиазме:

Я знаю —
Город будет,
Я знаю
Саду цвесть,
Когда
Такие люди
В стране
советской есть.

Или Тихонова:

Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей…

Эти стихи были написаны до сталинских массовых репрессий. Когда еще во главе нашей страны находились такие крупные руководители как Орджоникидзе, Пятаков, Серебровский Бухарин, Рыков, Косиор, Постышев и многие, многие другие, которых ликвидировал Сталиным.

Сборы

Первый семестр первого курса нашей теоретической учебы подходил к концу. 31 января 1931 года мы должны были уехать на 4 месяца на производственную практику. Вся эта система называлась НПО — непрерывное производственное обучение. Эта система давала нам возможность ознакомиться с предприятиями, на одном из которых, вероятно, впоследствии пришлось бы кому-нибудь из нас работать. Это были те годы и то время, когда, взамен старых методов обучения, шли усиленные поиски новых более рациональных методов, при которых старались сблизить теорию с практикой. Поэтому студенты так едко шутили, называя себя кроликами, над которыми проводятся бесконечные эксперименты.

До отъезда оставались считанные дни. Идея поездки была очень приятна, всем очень нравилась, и собирались мы на нее, как на увеселительную прогулку.

В конце семестра преподаватели без экзамена, на основании результатов текущих занятий, ставили всем просто зачет.

Когда наш профессор по высшей математике Брауде поставил всем, и мне, зачет, я запротестовала, попросила не ставить мне зачет, так как из-за общественной работы, которая всегда приходилась на уроки математики, на занятиях я присутствовала

всего 3–4 раза, следовательно, считала я, математику я знала недостаточно хорошо. Вся группа зашипела на меня, между группами шли соревнования, и я тем самым подвела бы всю группу. Но я категорически настаивала, чтобы мне не зачли математику. И только после долгих препирательств со стороны группы профессор согласился со мной. Так я получила «хвост» по математике, который должна была сдать осенью, кстати, он был первый и последний.

Итак, в самый разгар зимы, в конце января, мы должны были поехать на производственную практику в Казахстан на Риддерский горно-металлургический комбинат по добыче и обработке полиметаллических руд. За неделю до 31 января нам выдали дополнительные продовольственные карточки на дорогу и ордера на обувь и на некоторые вещи первой необходимости.

Я разбогатела, получила стипендию, купила полотенце, простыню, а главное, ботинки, и считала, что теперь я могу хоть на Северный полюс отправиться.

Но только что приехавшие оттуда студенты, глядя на нашу обувь и наши пальто «на рыбьем меху», горько улыбались:

— Разве можно в такой одежде на Алтай ехать? Вы же понятия не имеете, что такое сибирские морозы, в таком виде вы туда и носа не суйте, это вам не Москва.

Одежда наша зависела главным образом от снабжения московских магазинов. Теплой одежды достать было невозможно: перчаток, теплых носков и в помине не было, а о валенках и мечтать нельзя было, но нам просто повезло.

У нас в группе учился Коля Кротков, он работал в ГПУ еще при Дзержинском, и даже потом каждое лето он пристраивался к какой-либо группе, уезжавшей в Крым или на Кавказ, что они там делали и кого они там охраняли — неизвестно. Хотя, как он сам нам тогда еще рассказывал, охрана в то время там была еще та, «липовая».

Но когда он заявил:

— Ребята, собирайте деньги, валенки будут.

Мы поверили ему. И он где-то и как-то сумел достать для всех нас валенки-чесанки, не тяжелые, грубые, а уютные, легкие, красивые, как картинки.

На продовольственные карточки мы купили: маргарин, консервы из дельфиньего мяса, колбасу из конины (все шутили, колбаса у нас фифти-фифти пополам, один рябчик, один конь), колбасу сильно прожарили, насушили сухарей. Едем в Казахстан, значит, надо привыкать есть конину, там это любимое мясо.

Сахар, который получила по карточке, я отправила родным на Украину, решила сделать им подарок, так как там давно уже

нельзя было достать его.

Накануне отъезда я получила посылку от дедушки: бутылку топленого масла и бутылку меда с его пасеки. Этой бутылке меда все очень обрадовались, и мы решили устроить чаепитие.

Посреди нашей комнаты стоял длинный стол из плохо обструганных досок, стульев не было, были длинные скамейки по бокам. На стол поставили ведерочко с горячей водой, чтобы растопить застывший мед и масло. По мере оттаивания каждый наливал масло и мед прямо на хлеб, никакой посуды у нас просто не было. Несмотря на убожество нашей обстановки и сервировки, чаепитие было очень веселое.

Даже такое небольшое событие, как бутылка меда, могла создать среди 22 человек столько радости, хохота и песен. И действительно, нет более счастливой поры в жизни, чем студенчество. Никакие лишения не страшны, каждый был уверен, что все это только временно, до окончания института, а затем — работа в свое удовольствие по специальности, при полном материальном благополучии. И только тогда, когда мы окончили университет, то все, с кем мне пришлось встретиться, вспоминали:

— Вот дураки, мы-то не ценили, а жили ведь как у Христа за пазухой.

И я должна без излишней скромности сказать, что наш институт за эти годы, несмотря на тяжелые условия учебы и жизни, выпустил огромное количество крупных, замечательных специалистов. Почти все гигантские предприятия в области цветной горнодобывающей металлургической промышленности были подняты, достроены, отстроены и поставлены на ноги выпускниками наших институтов. Каждое предприятие было, как наше общее детище, мы вкладывали всю свою душу в эти ***наши*** предприятия.

Иногда работы — как в Норильске, Красноярске, Риддере, в Красноуральске и многих других местах — начинались почти с нуля, на ровном месте. Начальники главков, главные инженеры, директора, профессора, научные сотрудники, преподаватели были питомцами наших выпусков.

При встречах все рассказывали, какие невероятные трудности им приходилось преодолевать, за что они получали Ленинские и Сталинские премии, становились Героями труда. Ведь такое предприятие, как Норильский горнометаллургический комбинат по добыче и обработке никеля, кобальта, меди, золота, серебра и других редких и цветных металлов, был буквально создан и поставлен на ноги лучшим другом Кирилла, замечательным, гениальным инженером ***Николаем Селиверстовым.*** Они вместе

учились, вместе кончили наш институт, и Николай Селиверстов был один из тех светлых, блестящих умов, которыми восторгались профессора нашего института.

И там же он стал героем и лауреатом тех же пресловутых премий. И, потеряв здоровье на тех же предприятиях, парализованный, заработал себе право лечиться в Кремлевской больнице, где и находился под конец своей жизни чаще, чем в бедно обставленной квартире где-то далеко за городом. Он с гордостью рассказывал нам о тех трудностях, с чего и как начинал он строительство этого гиганта, очутившись после окончания нашего института в 1935 году в этом самом пресловутом Норильске, куда якобы до сих пор засылали только самых заядлых преступников.

— И вот один я, вольнонаемный, и человек пять заключенных в пустом помещении с какой-то игрушечной муфельной печью.

Так началось строительство и так был построен гигантский Норильский горно-металлургический комбинат. И точно так же на наших глазах были построены и многие другие, подобные ему. И работая в этих тяжелых сверхчеловеческих условиях, он заработал паралич ног. Лечили его, правда, в Кремлевской больнице, но дома за ним ухаживали жена, дочь и его внуки. Жили они на какую-то крохотную его пенсию, и Тоня, его жена, мучительно старалась получить пенсию за время, проработанное в нашей институтской лаборатории до замужества, чтобы хоть как-нибудь улучшить условия жизни. Умер парализованный Николай в Кремлевской больнице, а вскоре после него умерла и Тоня, его жена, от рака мозга. Такой ценой осваивались эти предприятия.

С мечтой в кармане

Накануне нашей первой поездки на практику староста нашей группы объявил, что мы все должны подписаться на государственный заем, и что из нашей стипендии ежемесячно будут вычитать 10 процентов, а также что мы должны покрыть нашу задолженность с 1 октября, с начала учебного года. Мы все согласились единогласно.

Итак, 31 января 1931 г., в самый трескучий мороз, мы заняли почти целый вагон в поезде «Москва — Новосибирск». В кармане у меня осталось 20 копеек. Но мы не унывали.

Поезд мчал нас мимо Вятки, мимо Перми, мимо Свердловска по заснеженным лесам. На остановках ребята бегали за кипятком и прикупить кое-что к нашей, уже достаточно всем осточертевшей, колбасы. На одной из остановок ко мне подошел

Хохлов — наш профуполномоченный:

— Что же ты не выходишь? Хочешь, я принесу? А лучше вот, — он положил на столик передо мной 25 рублей, — в получку ты мне вернешь. Договорились?

И быстро ушел. Такое внимание было трогательно до слез. Никаких «спасибо», никаких «не надо, не хочу» — ничего этого, а просто положил и вышел.

Наконец, ночью мы прибыли в Новосибирск. Выгрузились со всем нашим скарбом. На следующий день мы должны были пересесть на поезд «Новосибирск — Семипалатинск». Здесь мы решили переночевать в городе в гостинице. Ночь, темень и никакого транспорта, мне до сих пор кажется, что мы шли по открытому полю, утопая в сугробах снега, в жгучий сибирский мороз -50 °С. Когда мы добрались до гостиницы «Сибирь», мы хорошо прочувствовали, что такое сибирская зима. У многих были отморожены носы, уши, щеки, и все усиленно бросились растирать снегом побелевшие от мороза части тела.

В гостинице не было ни одного свободного места, и все мы расположились спать в коридоре, прямо на полу.

Утром Новосибирск произвел на меня впечатление глухой деревни. Длинный, утопавший в снегу бульвар и два ряда невзрачных домиков по сторонам. Ну, просто, захолустье.

Из Новосибирска на поезде мы доехали до Семипалатинска — сердца Казахстана. В Семипалатинске мы остановились в доме-конторе главного управляющего «Цветметзолота».

А дальше из Семипалатинска до Усть-Каменогорска, расположенного в предгорьях Рудного Алтая, мы должны были, передохнув пару дней, ехать почти 75–80 км на санях по замерзшему Иртышу.

Нас разместили на пяти санях-розвальнях. Мы все старались как можно глубже зарыться в наваленное здесь сено и сверху укрыться чем попало — одеялами, подушками. Когда уже все были готовы тронуться в дорогу, управляющий «Риддерзолота» взглянул на меня, быстро вернулся обратно в контору и вынес оттуда огромную волчью доху и сибирские валенки «пимы», они были такого размера, что я прямо всунула в них ноги в моих «красивых» чесанках. Я до сих пор думаю, что если бы не это, то вместо меня привезли бы сосульку, да не только я, а все мы с трудом выдержали это путешествие.

Лошади выглядели как сахарные. Ямщики были мертвецки пьяны. Одеты они были в длинные овчинные тулупы и огромные овчинные шапки, повязанные сверху башлыками, и с поллитровками за пазухой. Когда становилось невмоготу от холода, они останавливали наш транспорт, прикладывались к

поллитровкам и, широко размахивая руками, пританцовывали на месте, чтобы согреться. Мы вылезали тоже, бегали вокруг саней, чтобы размять онемевшие и окоченевшие ноги.

Иногда наши ямщики, разогретые водкой и задремав на козлах, летели на ухабах в такие огромные, глубокие сугробы, что мы их еле-еле оттуда вытаскивали. А бывало даже так, что седоки летели в сугробы так, что одни ноги оттуда торчали.

Температура в начале февраля доходила до -50 °С. Дышать было трудно, струя воздуха леденила все внутренности. То и дело мы натирали чей-либо отмороженный нос, щеки, уши. Лица у всех потрескались от мороза и были в ранах от усердного натирания снегом.

Но это было не все. Наше путешествие еще не кончилось и продолжалось дальше. Из Усть-Каменогорска нам надо было преодолеть, кажется, еще 28 км до Риддера по узкоколейной железной дороге. Этот почти игрушечный поезд шел черепашьим шагом, то и дело слетая с рельсов, мужчины водворяли его на место, паровоз пыхтел, скрипел и иногда даже не мог двинуться с места, как будто примерзал к рельсам. Топливом служили дрова, и мы, чтобы окончательно не замерзнуть в этих игрушечных вагончиках, бегали вокруг поезда, собирали и таскали дрова для паровоза.

Риддерский металлургический комбинат

Обустройство

И когда рано утром на рассвете мы наконец достигли цели, перед нашими глазами широко развернулась потрясающей красоты, ярко освещенная солнцем панорама Риддерского поселка. Эта живописная долина, окруженная со всех сторон отрогами Алтайских гор, утопала в сугробах свежевыпавшего снега, сверкавшего на солнце так ярко, что больно было смотреть. Вот этот Риддерский поселок, расположенный в Рудном Алтае в Восточно-Казахстанской области и стал центром по добыче и обработке богатейших полиметаллических свинцово-цинковых руд. На этой белоснежной поверхности, как темные заплаты, чернели трубы, из которых лениво шел дымок. А с правой стороны поселка с высокой горы сверху вниз опускались металлургический завод и обогатительная фабрика новенького Риддерского металлургического комбината.

Нас разметили в новых стандартных двухэтажных кирпичных домах без особых удобств, правда, в кухне был один водопроводный кран на весь этаж и огромная никогда не затухавшая плита. А вот женские и мужские туалеты, внушительных размеров деревянные сооружения, находились во дворе возле каждого дома и, почему-то, вдоль улицы. Полуоткрытые двери этих уборных намертво примерзли к ледяным глыбам янтарного цвета льда. Протиснуться внутрь можно было с огромным трудом, но и там все кругом было покрыто полуметровым слоем льда из мочи и человеческих отходов. Это было зимой, что же летом?

Первые дни мы, наша женская часть, устраивались. Надо было вымыть, вычистить невероятно грязную комнату, достать кровати, стол стулья. Когда мы все закончили и решили отдохнуть, наша чистая комната привлекла внимание жителей этого дома, и к нам в комнату повалили непрошеные гости. Шумно, без стука, отлетал запор, широко открывалась дверь, и на пороге появлялся рабочий-казах, а за ним выглядывал второй — в этих домах также были общежития для рабочих-казахов. Они входили, бесцеремонно оставляя за собой огромные следы грязных сапог, с размаху садились на наши кровати, подпрыгивали на них, разводили руками, широко улыбались, что-то лопотали на своем родном языке. Уговорить их уйти было бесполезно. Их надо было просто вытолкнуть. Они не

сопротивлялись и не пытались вывернуться, а просто стояли, как предмет, который надо выставить.

Опасаясь таких налетов ночью, мы выработали некоторые способы защиты — каждая клала под подушку горсть соли или какой либо острый предмет (например, вилку), связывали все кровати веревкой и привязывали их к двери и бросали жребий, кому лечь на ближайшую к двери кровать. Это было до тех пор, пока они не привыкли к нам, а мы к ним.

Я иногда заходила к ним. Большие комнаты почти до дверей загорожены голыми нарами. Эти нары служили им и столом и постелью. Работали они в шахтах, на обогатительной фабрике, металлургическом заводе — работа не из чистых. О каком-либо купанье после работы они и понятия не имели. Возвращаясь с работы в мокрой от шахтной сырости одежде, пропитанной грязью и металлической пылью, не раздеваясь, они валились на голые нары и засыпали мертвецким сном.

Я даже решила просвещать их, старалась учить грамоте и русскому языку.

Здесь же на втором этаже была большая общая кухня с огромной плитой, на которой можно было готовить 24 часа в сутки, и кубовая, где мы брали кипяток и горячую воду для питья и для мытья, это было удобно для всех работавших в разных сменах.

Наконец, кончив уборку, мы решили прогуляться по поселку.

Магазины были открыты, ничего съестного, пустые полки, но, к нашему всеобщему изумлению, в изобилии были… духи «Манон». В то же самое время в Москве ни за какие деньги нельзя было достать духи, и мы увозили отсюда в Москву по несколько флаконов «Манон». Трудно представить, какому безмозглому идиоту понадобилось, неизвестно для кого и для чего, завезти сюда такое количество духов. Неужели нельзя было потрудиться и доставить сюда что-либо более необходимое и полезное?

Нас прикрепили к неуютной общественной столовой. В огромной, как сарай, комнате стояли длиннющие столы и деревянные лавки, на столе блюдо, полное жареного мяса. Мы все с дороги с жадностью набросились на это изобилие. И только когда кончили нашу трапезу, кто-то заржал в конце стола, выразив предположение, что лошадка была довольно пожилая. На следующий день вместо мяса на стол была подана просто селедка и больше ничего. С продовольствием здесь было очень трудно, но все-таки хоть что-то, где-то и как-то еще можно было достать.

Предрассудки

Наша практика начиналась с шахты. Когда мы пришли утром, нам выдали спецодежду, огромных размеров сапоги и брезентовые куртки, ношенные-переношенные, но без такой спецодежды даже появляться на этом производстве было немыслимо. Нас прикрепили к бригадам шахтеров. Мы должны были ознакомиться со всем процессом добычи и отправки руды на-гора, на обогатительную фабрику. Когда бригадир узнал, что я должна спуститься в шахту с шахтерами, он покачал головой и сказал:

— Шахтеры откажутся спускаться, так как среди шахтеров, как и среди моряков, спокон веков существует суеверие: женщина в шахте — неизбежная авария.

После долгих пререканий, что это наша студенческая практика, и в результате моей настойчивости мне разрешили спуститься в шахту. Бригадир взял меня под свое крыло:

— Ты же от меня ни на шаг не отходи, — твердо заявил он.

Студентов-мужчин пропустили запросто.

Но через несколько дней произошла небольшая, как горняки говорили, рутинная авария. Эту горную породу, как уголь, киркой нельзя взять. Бурильщики алмазного бурения пробуравливали 10–12 глубоких скважин, в них загоняли динамит, запальщики производили взрыв, предварительно отправив всех рабочих в безопасный забой. После взрыва забой проветривали и приступали к отгрузке руды конвейером или вагонетками «на-гора».

И снова приступали к бурению новых скважин. Вот в это время и происходили эти, так называемые, «рутинные аварии». После взрывов в породе оставались небольшие углубления от прежних шурупов, с которых строго-настрого запрещалось бурильщикам начинать бурение, но, несмотря на запреты и стараясь облегчить свой адский труд, они начинали бурение с этих скважин, а вся опасность заключалась в том, что в некоторых из них оставался чуть-чуть динамит, и он, конечно, взрывался. Это случалось не часто, но случалось.

Такой вот взрыв и произошел при мне. К счастью без несчастного случая — но все равно, чувство было жуткое.

Взрыв был далеко не мощный, но достаточный, чтобы погасить все наши карбидные лампочки и оставить нас в кромешной темноте. Что-то стукнуло меня по голове, боли я не почувствовала, но в заводском отделении «Скорой помощи», куда оправили всех поднявшихся на-гора, врач сказал, что у меня на голове небольшая шишка, а из-за ворота моей рабочей куртки извлек кусок руды:

— А это ты сохрани на память.

Несмотря на то, что правительство в это время, на основании закона о равноправии мужского и женского труда, стремилось внедрять женский труд повсюду, в том числе и на шахтах и на металлургических предприятиях, большого успеха оно не добилось. Да и я, сейчас оглядываясь на прошлое, твердо могу сказать: быть горно-металлургическим инженером — еще куда ни шло, но работать шахтером или металлургом у раскаленных печей — не женское это дело.

Инженеры-вредители из Промпартии

Следующим, и основным, этапом нашей практики была работа на обогатительной фабрике.

Свинцово-цинковая руда прямо из шахты поступала в крупно-дробильное отделение и дальше проходила весь процесс обогащения до получения отдельных концентратов свинца и цинка, и даже золотую амальгаму — «сплав Доре» получали.

После шахты даже обогатительная фабрика, с ее невыносимым грохотом дробилок, тяжелейшим запахом химических реактивов, грязью флотационных ванн, шумная, грохочущая, вредная, опасная для здоровья, но захватывающе интересная, произвела на нас благоприятное впечатление.

На этом заводе работало два инженера-«вредителя» из «Промпартии» Рамзина. Я очень хорошо помню, как мы, студенты, даже партийные, относились к ним с каким-то особым уважением и любопытством. Они отбывали здесь ссылку. Говорили, что сначала они были приговорены к расстрелу, но чистосердечно покаялись, выдали все свои планы, и наш пролетарский суд заменил им расстрел ссылкой.

Они были всегда изысканно вежливые, приветливые. Общаясь с ними, мы даже подружились. И я вспоминала, как только три месяца тому назад, 3 декабря 1930 года, когда вся засыпанная пушистыми хлопьями снега, как белой ватой, Москва приобретает особую прелесть, у Колонного зала Дома Союзов была организована грандиозная демонстрация протеста. Там шел суд над группой вредителей «Промпартии» Л. К. Рамзина и другими, их обвиняли в создании антисоветской подпольной организации, целью которой было проведение подрывной деятельности в промышленности и на транспорте. Мы, студенты, веселой гурьбой влились в огромную колонну поющих демонстрантов.

Проходя мимо Дома Союзов, все кричали: «Смерть вредителям!», «Смерть предателям!», «Смерть шпионам французского империализма!», «Смерть Рамзину!», «Смерть Ларичеву!» и т. д. Громкоговорители разносили эти призывы по

всей Москве.

Честно, видя всеобщее негодование народа, я тоже верила, что все они вредители, стремившиеся к свержению советской власти и возвращению старого режима.

В те годы очень легко в это можно было поверить. Ведь прошло всего только семь-восемь лет после окончания гражданской войны. А все они были воспитаны при старом режиме, и у многих, очень многих интеллигентов еще была большая симпатия к прошлому режиму, а не к пролетарской революции и к всплывшей на поверхность полуграмотной, неотесанной, темной массе, наполнявшей все учреждения, при котором их уклад жизни совсем изменился.

По Москве в это время ходили упорные слухи, что «Промпартию» разоблачили потому, что произошла среди них неувязка и грызня из-за портфелей. А именно, кто какое министерство возглавит после падения советской власти (ведь в те годы еще многие верили, что советская власть скоро падет), и кто-то из этой компании якобы не выдержал и предал их.

Кто дал им право свергать советскую власть, которую ***народ завоевал*** такими страданиями и жертвами? Разве они спросили вот у этих людей, у этой толпы, желают ли они этого? Трудно сейчас, очень трудно, а разве раньше вот такому простому народу было лучше или легче? А ведь именно таким, как они, миллионам и принадлежит будущее. Ведь не капиталисты и не миллионеры создают богатство страны, а вот эти трудовые люди, вот они и вынесут на своих плечах все трудности. Какая беда, что вот у меня ноги промокли в прохудившихся башмаках? Зато мы живем, учимся, строим и чувствуем себя полноправными гражданами своей необъятной страны, не кланяемся, не гнем спину перед господами, будущее принадлежит нам. А им что до этого? Им нужны были титулы, министерские портфели, они делили шкуру неубитого медведя. Так думала я. Но также я слышала, как возмущались и как думали другие.

— Ведь они занимали крупные должности в правительстве. Правительство им доверяло, они пользовались уважением, вниманием и всеми доступными в то время благами, и им было всего этого мало, они носили нож за пазухой.

Ярко освещенный Дом Союзов остался позади. Колонны демонстрантов с хохотом и песнями весело рассыпались. Собралась группа ребят.

— Ну, а теперь куда? В кино?

Куда угодно, в кино, так в кино.

Всем хотелось увидеть что-то хорошее, услышать что-то хорошее, сделать что-то хорошее, хотелось жить, чтобы никто не

мешал. Мне хотелось, чтобы все были добрые, любили друг друга. У Лизы, рядом со мной, с трудом застегивались пуговицы синего потрепанного пальто на ее вздувшемся животе, но лицо ее сияло, она пела громче всех.

Подошел Петя (студент 5 курса), уже давно и упорно он старался ухаживать за мной, обнял меня за плечи:

— Ты знаешь, Лиза, я очень люблю ее.

— И я люблю, — ответила я.

— Так в чем же дело? — повернулась ко мне Лиза.

— Но я люблю другого.

Все громко расхохотались.

— Вот, нашли место в любви объясняться. Пошли скорее в кино, — предложил кто-то из ребят.

Все это я вспомнила, когда пришлось встретиться с бывшими членами «Промпартии», вместе работать, подружиться, и проникнуться к ним глубоким уважением.

Английская пунктуальность

В свободное от работы на предприятии время мы решили заниматься некоторыми теоретическими предметами, в их числе был английский язык. Нам немедленно прислали преподавателя, это была жена инженера из Великобритании, работавшего в Риддере. Видите, насколько в то время было все проще. В те годы на многих наших предприятиях работали еще иностранные специалисты по контракту. Она не знала ни слова по-русски, но была пунктуальна до секунды, в любую погоду.

А погодки здесь были знаменитые, в пургу в двух шагах от дома вы могли потеряться, а весной, когда начинал таять снег и вода с гор стекала в эту котловину, лошади по брюхо тонули в жидкой грязи на самых центральных улицах. Тротуаров и мощеных улиц в то время в Риддере и в помине не было, мы с трудом добирались до обогатительной фабрики, буквально по колено утопая в грязи. Мы, как акробаты, вытаскивали из грязи один сапог, затем второй и, изнемогая от усталости от таких упражнений, добирались до предприятия в сапогах, полных этой грязной хлюпкой жижи, а она, как часы, приходила ровно в 10 часов утра. Нам нравилась удобная, практичная одежда нашей преподавательницы, и мы с удовольствием срисовывали фасоны ее платьев себе в тетради.

К нам прислали даже какую-то уборщицу, которая убирала, мыла полы и за наши незначительные подарки пекла нам очень вкусные пироги с алтайской облепихой. Я, южанка, до этого никогда даже не слышала о существовании такой ягоды. Как

только наступила весна, нас приглашали на прогулки, нам старались показать все достопримечательности Великого Алтая. Хотя теплеет здесь довольно поздно (во время первомайской демонстрации шел сильный снег), но склоны Алтайских гор с южной стороны, освободившись от снежного покрова, уже покрылись ковром цветов небывалой красоты. Странно было видеть роскошные цветы с южной стороны гор, когда на северной стороне еще лежал глубокий снег. Мы поднимались верхом на маленьких, низеньких лошадках по крутым склонам гор к каким-то сказочным горным озерам, берега которых тоже утопали в цветах.

Кто платил уборщице и всем остальным за эти услуги? Мы понятия не имели и никогда не спрашивали. Но все это было, и всего только через десять-двенадцать лет после окончания гражданской войны и падения трехсотлетнего царского режима, и было это не для детей какой-то элиты, а для детей простых рабочих.

Пролетели четыре месяца, кончился срок нашей практики, и в один чудесный июньский день мы покинули этот великолепный по природе, тяжелый в то время для жизни, Алтайский край.

Возвращение по-царски

Обратно в Москву мы возвращались «по-царски». Вместо мучительной езды на «игрушечном поезде» от Усть-Каменогорска до Риддера, как это было зимой, мы на том же «игрушечном» поезде по узкоколейной железной дороге долетели обратно от Риддера до Усть-Каменогорска чуть ли не за час.

Город Усть-Каменогорск — пристань на реке Иртыш — расположен в предгорьях Рудного Алтая в Восточно-Казахстанской области. Здесь, я помню, нас предупредили быть осторожными, далеко от центра не отходить, так как где-то в окрестностях Усть-Каменогорска все еще рыскали какие-то бандитские группы басмачей, то есть война еще где-то как-то и кем-то продолжалась.

Переночевали мы в Усть-Каменогорске, побродили по магазинам. Теперь мы могли уже кое-что купить. Четыре месяца на практике мы получали на предприятии зарплату так же, как рабочие, «по занимаемой должности». В шахте как шахтеры, на обогатительной фабрике и металлургическом заводе как рабочие. В Усть-Каменогорске я купила себе очень красивый вязаный костюм, бордового цвета с бежевой отделкой из очень тонкой шерсти.

Из Усть-Каменогорска до Семипалатинска мы проделали наш

путь не на санях в пятидесятиградусный мороз по почти насквозь промерзшему Иртышу, а на пароходе, надраенном до умопомрачительной чистоты. Дорога была сказочной красоты. С левой стороны Иртыша высокий крутой берег, а с правой стороны весь берег утопал в цветах черемухи, от запаха которой кружилась голова даже на пароходике. Мы стояли на палубе, не в силах оторвать глаза от этой неописуемой красоты. Но оторваться пришлось.

Нас пригласили ужинать в застекленную с трех сторон уютную маленькую столовую, откуда мы могли продолжать любоваться неописуемой красотой Иртыша и его берегов. Посреди стола на огромном блюде лежал зажаренный… поросенок, который вызвал бурю восторга и аплодисментов. Оказывается, наши ребята решили «по-царски» отпраздновать окончание нашей первой практики. Появилось даже несколько бутылок вина. Все шумно и весело поздравляли друг друга с окончанием первой практики и первого года учебы.

В Семипалатинске мы с грустью распрощались с этим белоснежным речным пароходиком, с его капитаном и с его весело зубоскалившей командой.

Дорогу из Семипалатинска до Москвы по железной дороге я даже особенно не запомнила. Это была обыкновенная железнодорожная поездка, с беготней на остановках за кипятком и за покупкой чего-нибудь съестного у торгующих вдоль железнодорожного полотна местных жителей.

В Москву мы вернулись уже с деньгами, у каждого кое-что осталось от нашей зарплаты, а в институте нам немедленно выдали стипендию за четыре месяца, которые мы провели на практике.

Между небом и землей

Но, вернувшись с практики в Москву, я снова оказалась между небом и землей. Снова без общежития. Нашу бывшую сапожную мастерскую в наше отсутствие занял кто-то другой. Наш «Дом коммуны», наше будущее общежитие во 2-м Донском проезде все еще достраивали, и даже в недостроенное уже вселили студентов старших курсов, и оно было переполнено до отказа, а все остальные, кто туда не попал, расселялись где попало. Я сразу же решила уехать к родным в солнечный приветливый Геническ.

Нам, студентам, выдавали бесплатно железнодорожный литер, то есть проездной билет для поездки в каникулы домой. С этими литерами можно было ездить по железной дороге в любой

конец Советского Союза. Я, например, три раза в год ездила бесплатно к родителям на Украину, на Кавказ и в Крым отдыхать.

В эти литеры ловкие ребята иногда вписывали самые невероятные фантастические маршруты, и шутили: «Знаешь, я через Челябинск во Владикавказе очутился». Никто, ну буквально никто не спрашивал и не требовал ни справок, ни документов кто, куда и зачем едет, выписывая студенческий проездной литер, просто спрашивали маршрут, верили на слово. Например, в каникулы со мной часто ездили студентки к морю, и им тоже выдавали проездной билет в противоположном от их дома направлении. Единственное ограничение было в том, что литер был годен для поездки в общем вагоне, но если студент хотел ехать в спальном, не в первом классе, а в купе на 4 пассажира, то он должен был доплатить какой-то пустяк. А вот достать билет на поезд считалось фигурой высшего пилотажа, наши поезда всегда были переполнены до отказа.

Каникулы дома

Лето в Геническе в начале июня было в полном разгаре. Погода стояла жаркая и ласковая. Геническ — небольшой провинциальный городок на берегу теплого Азовского моря, с замечательным пляжем. Широкие улицы и бульвары обсажены деревьями. В этом городе был маленький и уютный городской сад. Я его очень любила, особенно после дождя, когда листья были покрыты крупными прозрачными каплями влаги и цветы особенно благоухали. Здесь была сцена, где летом, в разгар курортного сезона, часто выступали приезжие хорошие артисты. В городе было три дома отдыха. Курортники задавали тон всему городу, концерты, вечера самодеятельности, кончавшиеся танцами и иногда выпивкой, хотя это удовольствие строго-настрого запрещалось.

Мои тяжелые испытания за этот год остались позади. С каким благоговейным чувством я переступила порог нашей скромной квартиры, где жили мои родители. Наша квартира за период моего отсутствия «обогатилась» мебелью, появился черный лакированный гардероб, торчавший, как вавилонская башня, в полупустой комнате. Это была первая в жизни моих родных своя мебель.

— Почему такой странный, черный цвет?

— Тебе не нравится? — грустно спросила мама, — а я так рада, что есть куда собрать вещи. Другой краски не было.

Несмотря на то что наш дом стал самым веселым местом в этом уютном городке, я как-то особенно болезненно ощутила всю

бедность нашей обстановки. У таких ответственных, честных, преданных партийных «трудоголиков», как мой отец и вообще мои родные, которые никогда о себе не думали, не было никакой возможности, ни средств обзавестись каким-либо основательным имуществом. И я впервые почувствовала в голосе матери усталость от отсутствия элементарных житейских удобств. Гардероб был первой ласточкой. Уж если отец решил создать такую помеху в его вечных скитаниях, то это уже что-то значит, решила я.

Куда делся этот гардероб, я понятия не имею, вероятно, при первом же переезде его где-то оставили.

Скоро начали съезжаться студенты из Москвы, из Ленинграда, из Харькова, со всех концов нашего необъятного Советского Союза. Приехала моя Мария. И когда из командировки вернулся отец, то наш скромный дом с утра до ночи потрясал веселый смех как будто беззаботной молодежи. Но забот было много, очень много.

Трудно было с продовольствием, невероятно трудно было с промтоварами. Всем ребятам, я знала, хотелось приобрести самое необходимое, но это было невозможно, магазины были пустые, а если что-то и появлялось, то это немедленно каким-то магическим образам исчезало. Мама старалась перешить, перекроить какие-то старые вещи, чтобы какая-то смена у меня была. Так было у всех. Но когда собирались все вместе, кто об этом думал?

Все мы были слишком молоды, слишком много сил и энергии было у всех у нас, поэтому нам казалось, что в будущем мы горы свернем. А сейчас у нас во дворе каждый занимался, чем хотел: кто-то играл на гитаре, кто-то пел, шахматисты играли в шахматы, кто-то декламировал, кто-то сочинял стихи, кто-то рисовал. А когда нам надоедало заниматься всем этим, мы хватали полотенца и вперегонки неслись со всех ног вниз к морю.

И не успевали лодочники опомниться, как некоторые уже успевали переплыть канал, а из лодок все вываливались прямо в море, плавали, загорали и, уставшие от избытка движения, от нестерпимого солнца, возвращались, притихшие, домой, чтобы после непродолжительного отдыха и скромного ужина снова собраться и весело и шумно пойти в парк или с песнями в море на плоскодонках.

И вот в один из таких дней мама вручила мне телеграмму от Миши. Я радостно вспыхнула от неожиданности. В эту минуту мне вдруг показалось, что Миши мне недоставало, и что о нем я думала часто, и он мне стал особенно дорог:

— Что с тобой? — взглянув на меня пытливо, спросила

мама. — Что-нибудь неприятное?

— Нет, мама, не знаю. Миша пишет, что на днях будет здесь.

Шурик взял телеграмму, повертел в руках, повернувшись к маме, заявил:

— Я тебе говорил мама, что нашелся чудак, который хочет на нашей Нинке жениться.

— Не говори глупости, он наш друг, с чего ты это взял? — обернулась к нему мама.

— Откуда, откуда, — обиделся он. — Я все знаю, вот увидишь, иначе бы он телеграмму прислал папе и тебе.

— Ну что ж, если так, то выдадим замуж, а то видишь, наша Нина засиделась в девках, — как-то грустно пошутила мама, и когда Шура вышел, добавила: — А я думала, что твоя главная цель — это учеба. Я хотела видеть тебя человеком независимым, образованным, а с замужеством, Нинок, не торопись, это ты всегда успеешь. Поверь мне.

— Зачем, родная, ты мне это говоришь? Я не выйду замуж до тех пор, пока не закончу институт.

Я поняла в эту минуту, сколько затаенной боли было у нее в душе, оттого что она в эти страшные годы, прошедшие через нее, не смогла получить то образование, которое хотела, и теперь она жаждала, чтобы мы восполнили этот пробел в ее жизни.

В этот момент в окно влетела Мария:

— Ты что, замуж, что ли, собираешься? Шура уже успел мне насплетничать.

Но увидев грустное лицо мамы, она присела возле нее:

— Софья Ивановна, и вы поверили ей? Да ее, ей-богу, кнутом не заставишь выйти замуж, я ее знаю. Она всех любит, все ей нравятся, но замуж ни-ни. Да что вы, вот тоже, придумали себе заботу!

В это время с подоконника на пол с шумом свалились корзина, и две огромные живые рыбины зашлепали хвостами. Мы бросились ловить их и снова водворять в корзинку. Мария была страстным рыболовом.

— Это я прямо с рыбалки. Можно, — обратилась она к маме, — мы их зажарим и вечером устроим у вас общий ужин?

— О, конечно, я все сделаю до вашего возвращения, а теперь, — развеселилась мама, — вы ступайте на море.

Белые лилии

Осталось несколько дней до моего отъезда, и я с трудом мирилась с мыслью, что мне нужно расстаться с морем, с пляжем, с солнцем в самое лучшее время года, в «бархатный сезон», и

поэтому, стараясь запастись как можно больше солнечной энергией, проводила на пляже весь день с утра до вечера. Загорела так, что превратилась вся в бронзовую куклу.

Усталая, как разваренная рыба, я сидела в плоскодонке, которой мягко и ловко управлял перевозчик, перевозивший нас за пятачок через канал, с пляжа на крымском берегу, как мы шутили, на нашу украинскую сторону. Мария, обладавшая неиссякаемой энергией, выскочила, чуть не опрокинув лодку, и завизжала:

— Миша! Миша!

Наш перевозчик, с трудом удержав лодку, произнес:

— Ото, як скаженна.

По дощатому настилу пристани приближались две высокие мужские фигуры в ослепительно белых кителях. От неожиданности я растерялась, не знала, что мне делать, а Мария уже болтала в воздухе ногами, повиснув на шее у Михаила, а он широко и ласково улыбался, глядя через ее плечо на меня.

— Ну ты, чурбан, что ты стоишь, как застыла, ведь рада, знаю, что рада, — звенел голос Марии. Я действительно была так рада, что потеряла дар речи. Такое чувство было у меня впервые, мне казалось, что этого человека я люблю так же крепко, как мать, отца и брата, как будто он член нашей семьи.

Когда все успокоились, Михаил представил нам своего товарища:

— Виктор, мой друг, прошу любить и жаловать — известный альпинист. Нам показалось немного смешно: красивый сероглазый верзила в морской форме с огромным крабом на морской фуражке, и вдруг — известный альпинист, к тому же он тоже стоял, как будто растерянный от такой бурной встречи.

Когда мы шли мимо парохода, с которого они сошли, я вспомнила, что видела, как он приблизительно часа полтора тому назад приближался к пристани, но не обратила на него внимания — мало ли их здесь проходит. Михаил крикнул стоявшему на палубе товарищу:

— Спиридоныч, спустите цветы.

И огромный букет роскошных белых лилий плавно был спущен первым помощником капитана.

Второй курс

За время нашего отсутствия на практике Аннушкину семью переселили на Малую Димитровку, где в старинном, когда-то роскошном особняке им дали две большие комнаты, окна которых открывались, как двери, прямо на маленькие, красиво зарешеченные балкончики. На этом этаже жили еще четыре семьи. Здесь, жила элита: двое военных с семьями, два артиста Театра сатиры, занимавшие тоже по комнате, с общим для всех туалетом, с общей ванной, с общей кухней в огромной когда-то прихожей.

Родители Аннушкиного мужа, не знаю за что, относились ко мне так хорошо, что и в новой своей комнате отделили мне угол, за ширмой поставили раскладушку и тумбочку. А после отпуска встретили меня радостным возгласом:

— О, наша Нинца приехала.

Просили меня не стесняться, чувствовать себя как дома. Если бы не они, не знаю, куда бы я делась со своими двумя чемоданами. Возвращаясь из отпуска, я, как всегда, везла с собой не вещи, а чемодан с продовольствием: копченую рыбу, всякие мамины ватрушки, масло, мед, яблоки (купленную в дороге антоновку), помидоры и все, что могла мама достать, уже с трудом, на рынке. В Москве в те времена помидоров и в помине не было. Помидоры, огромные, сладкие, сахарные, произвели на всех самое лучшее впечатление.

Так начался 2-й курс института. Занятия уже шли полным ходом, а общежития как не было, так и не было. В институте просили потерпеть, обещали как только где-либо что-либо освободится, сразу же дать мне ордер. И на мою горькую долю захворала Клавдия Тимофеевна, когда она вышла из больницы, надо было взять человека, который мог бы ухаживать за ней.

Опять бездомная

Мои скитания продолжались. Меня приютили две студентки: Тамарочка Малявина, высокая, красивая, скандинавского типа блондинка, откуда-то чуть ли не из Финляндии, и Верочка Грызина из Тирасполя, в интересной внешности которой было много цыганского. Они также заняли кабинку временно отсутствовавших студентов, вот здесь у них я стала третьим человеком, в кабинке размером точно как купе в вагоне, где двери даже не открывались, а просто отодвигались. Спала я в узеньком проходе на чемоданах между двумя узенькими кроватями. Целый

день я скиталась в институте, вечером шла в недостроенное, но уже густо заселенное общежитие. Не одна я скиталась, как бездомная, многие студенты старались приткнуться куда угодно. Сюда тоже не так просто было попасть, надо было иметь пропуск или, как тогда говорили, каждый вечер проникать «зайцем».

В «Доме коммунны» во 2-м Донском проезде (так называлось это недостроенное общежитие) спали в душевых, в читальне, в спортивных залах, даже в вестибюле. Самыми счастливыми были теперь те ребята, которые ездили куда-то к черту на кулички, в Расторгуево.

Ромео и Джульетта по-русски

Перед моим отъездом до окончания летних школьных каникул к нам в Геническ приехала знакомая учительница Ася Сторобина и попросила меня передать в Москве письмо и небольшую посылочку ее брату Феде Сторобину и его жене Соне Смоткиной. Федя работал следователем уголовного розыска, его жена Соня преподавателем физкультуры в спортивном клубе Динамо. Жили они на Малой Бронной, в старинном особняке, в одной маленькой комнатке на третьем этаже. На этом же этаже в каждой комнате жили еще пять семейств, по три-четыре человека в каждой семье, с общим туалетом, общей, даже не действовавшей, ванной и общей кухней. У них я обрела еще одну семью, которая буквально открыла мне свои объятия. Они в первый же день, даже не зная о том, что мне некуда приложить голову, дали мне ключ от квартиры и предложили приходить к ним в любое время отдохнуть, позаниматься, когда мне надоест шум и гам студенческого общежития.

От них я узнала семейную трагедию, которая произошла с Асей, когда ей было лет 16–17. Родители Аси жили в Германии, из Германии переехали в Россию, поселились в каком-то городе недалеко от черты оседлости. Федя родился в Германии, Ася родилась после приезда уже в России.

Ася, влюбилась в русского парня, и они объявили Асиным родителям, что решили пожениться. Реакция была жуткая. Пете запретили даже близко появляться возле Аси, а Асю прокляли и забили камнями до потери сознания. Парень от горя ушел в армию и там погиб, а от Аси семья отреклась. После смерти отца брат Асиной матери, профессор математики в МВТУ (Московское высшее техническое училище), перетащил свою сестру с сыном Федей в Москву.

Какими путями Ася, много лет спустя, оказалась учительницей в районе Геническа, я не знаю. Я была той

соломинкой, которая связала ее с братом, но не с матерью.

Я познакомилась с Асей на какой-то учительской конференции, и с тех пор всегда, когда она приезжала из провинции в Геническ, она останавливалась у нас. Очень милая, веселая, остроумная, но могла вдруг как-то отключиться и стать по-детски странной, грустной, печальной. Вынимала из своей сумочки какие-то вещички и шептала: «Это от Пети». Кто такой Петя, я понятия не имела. Я даже думала, что она так невнятно произносит имя своего брата Феди.

И когда я уже была в Москве, мама написала мне, что Ася, как обычно, приехала к нам, и мама, поняв, что она очень больна, увезла ее в Днепропетровск в нервно-психиатрическую клинику на обследование. Мама ездила с ней не один, а несколько раз, пока врачи не сказали, что лекарств от такой болезни нет, и что постепенно ее состояние будет даже ухудшаться, и что никакое лечение ей не поможет. Летом Федя и Соня поехали к ней и провели у нее свой отпуск. Вот к ним я также могла зайти переночевать, но у меня не было угла, куда я могла бы прийти прилечь, отдохнуть и позаниматься.

Добрые люди

Я скиталась по библиотекам, читальням допоздна, и все время думала, где же я сегодня ночевать буду: у Клавдии Тимофеевны, Сони Сторобиной или у Тамарочки с Верочкой, которые так же, как и я, жили в этой кабинке на птичьих правах, так как временно уехавшие студенты могли вернуться в любое время. Я с детства была очень стеснительной, и для меня невыносимой пыткой было думать и решать каждый вечер, куда же я сегодня пойду ночевать, кого я должна сегодня побеспокоить, и это ведь было не на одну ночь, а уже второй год подряд. И до сих пор вспоминаю, как в холодную зимнюю стужу, бродя по Москве, как бездомная, я прошла мимо дома, где за окном в ярко освещенной комнате под ярко-оранжевым абажуром сидела за столом семья москвичей. И мне казалось, я была бы самая счастливая, если бы имела возможность быть в такой комнате, сидеть за таким столом.

Соня и Федя пригласили меня пойти с ними на какой-то юбилейный концерт. По дороге к ним в трамвае у меня сильно разболелась голова, а когда я вошла в комнату, первое, что услышала:

— Нина, ты вся горишь! Федя, дай термометр.

Температура была выше 39 градусов.

— В постель, немедленно в постель, — скомандовала Соня.

Хоть я и порывалась уйти, не знаю даже куда, но оставаться больной здесь, даже у таких милых людей, мне казалось, я ни в коем случае не должна. Они меня силой вернули, напоили чаем с медом, уложили и, взяв с меня слово, что я без них никуда не уйду, ушли на концерт. Когда они вернулись, температура у меня зашкалила за 40 градусов. Немедленно вызвали врача, и когда врач сказал, что нужно отправить сейчас же немедленно в больницу, Соня категорически заявила:

— Никуда я ее не отпущу, она останется здесь.

Врач выписал рецепты и уехал. Федин друг и начальник, с которым они меня познакомили раньше, тоже пришел с ними и сейчас помчался за лекарством искать какую-нибудь открытую в два часа ночи аптеку.

И здесь у них, в этой уютной маленькой комнатке, я проболела целую неделю. Соня спала со мной больной на одной кровати, Федя на диване. Они ухаживали за мной, как за самым близким, родным человеком, о больнице Соня и слышать не хотела. И это при моей стеснительности, когда я ушла бы даже с температурой 40 градусов, если бы хоть на секунду почувствовала, что я им в тягость. Разве такое забывается? Я всю жизнь храню в душе глубокую благодарность всем тем, кто так радушно и тепло меня принимал. Когда я приходила к Аннушке и слышала радостный, веселый голос Клавдии Тимофеевны и Владимира Николаевича:

— О, наша Нинца пришла!

Меня сажали скорее за стол, согревали горячим чаем и теплыми улыбками, так хорошо и легко становилось на душе, что я даже шутить и смеяться могла вместе с ними. А если я несколько дней не приходила к Соне с Федей, меня встречали вопросом:

— Куда ты пропала, мы тебя ждали!

По каким соображениям не знаю, быть может, потому, что выше головы не перепрыгнешь, или по каким-то другим соображениям, но вопрос об усиленных занятиях в две смены, без выходных и отпусков, для окончания института в два с половиной года, как-то сам собой отпал. И наши занятия начались со второго курса более или менее нормально. Эти нормальные занятия тоже были очень напряженные, мы не только слушали лекции, но нас просто заваливали заданиями для домашних и бригадных занятий, что заставляло нас сидеть до полуночи в читальнях или в опустевших аудиториях.

Так подходил к концу теоретический терм второго курса. До сих пор, когда вспоминаю, с трудом могу понять, как я могла, ведь я не просто баклуши била или гуляла, а занималась, причем

очень напряженно, очень интенсивно, таскала с собой все учебники, когда даже тетрадь иногда не на чем было раскрыть. Торчала в читальнях до их закрытия, затем продолжала занятия на каком-нибудь подоконнике или где-нибудь прямо на лестничной клетке.

Ведь кроме этого надо было переодеться, умыться и вообще привести себя в порядок.

Трудно даже представить, что после таких тяжелых, напряженных занятий я даже не знала, где буду ночевать. В «Дом коммуны» ребята вернулись, Тамарочка ушла к своей сестре, которая училась в архитектурном институте, Верочку приютили родные из Тирасполя. Я опять очутилась между небом и землей. И вот в это время, когда Клавдия Тимофеевна уже поправилась, и женщина, которая за ней ухаживала, ушла, с ней вместе ушли все мои оставленные там вещи, и я даже ни словом не обмолвилась об этом, так я не хотела их беспокоить. И поэтому, когда пришло время ехать на практику, я восприняла это с огромным облегчением.

Красноуральский медеплавильный комбинат

В этот раз мы ехали на практику не всей группой, как раньше. Нас разделили на три бригады по семь человек. Наша бригада должна была поехать на производственную практику. Другие бригады студентов были направлены на другие предприятия с целью более широкого ознакомления со всеми предприятиями цветной металлургии, на которых нам предстояло в будущем работать.

В этом году перед поездкой на практику все студенты разъехались по домам на двухнедельные весенние каникулы, и на практику каждый ехал теперь самостоятельно, кто с Украины, как я, кто из Казахстана, кто с Кавказа, то есть, со всех концов нашей необъятной страны. Дорога нам полностью была оплачена, никто из своего кармана ни копейки не доплачивал.

Мне сказали, что в Красноуральск я могу ехать любым путем, через Свердловск или через Пермь. Дорога через Свердловск была мне хорошо знакома, и, желая увидеть что-нибудь новое, я решила поехать через Пермь.

Бурная ночь в поезде

Пермь — старинный город, расположенный на холме в живописной лесистой местности на берегу реки Кама и ее притока Чусовой. Суровая северная природа нехотя, с трудом уступала требованиям весны. Катила свои мутные воды красавица Чусовая, торопясь к полноводной Каме. Низко склонившиеся ивы полоскали в ней свои ветки. В лучах заходящего солнца ярко горел красно-глиняный берег, и легкие челноки, управляемые опытными рыболовами-пермяками, скользили по реке. Эта дорога на Урал была фантастически красивая, особенно вдоль Чусовой.

«Какая неописуемая кругом красота! — думала я, глядя из окна медленно двигавшегося поезда. — Какая прелестная, прекрасная наша страна, какая природа! Жить бы и жить, наслаждаясь ею. Всем хватило бы ее щедрот и богатств».

Поезд без конца останавливался, казалось, что он нарочно решил у каждого пня стоять. Увлеченная мыслями и волшебным зрелищем северного заката, я не заметила, как в вагон постепенно, до отказа, набивался народ.

Скоро в вагоне стало совсем темно, свет никто не зажигал. Электрическое освещение в этом поезде отсутствовало. Свечей не

было. Фонарь над дверью еле-еле мерцал. Народу набилось столько, что от спертого воздуха кружилась голова. На верхних полках сидели мужчины, свесив ноги над головой пассажиров, курили жгучую махорку и сплевывали вниз. Им повезло, они имели свои места. Между сиденьями и даже под лавками расположились пассажиры-«счастливчики» в самых непринужденных позах. Каждый лежал или сидел в обнимку со своим мешком или узлом. Куда эти люди ехали и зачем, непонятно. Внутри этого мрака и смрада раздавался детский плач. Так выглядел вагон, с наружной стороны которого было написано «Для женщин и детей».

Ночь была бурная, у кого-то утащили вещи, у кого-то украли кошелек с двадцатью целковыми. Одного ленинградского студента, ехавшего на практику, предупредили — будь осторожным, здесь воруют. Он и решил перехитрить воров, залез на верхнюю полку, привязав себя к чемодану, и уснул. Среди ночи раздался грохот, все всполошились, оказалось, всего на всего, вор дернул чемодан, а за ним с полки на головы спящих пассажиров свалился находчивый студент. Появившийся проводник с фонарем обнаружил нескольких мужиков волтузивших друг друга, а вора и след простыл.

Утром я даже не смогла пойти умыться, уборную за ночь так загрязнили, что вместо того, чтобы вымыть и почистить, проводник ее просто запер.

Рядом со мной сидела женщина с грудным младенцем, ее ребенок заплакал, она вытащила кусок черного хлеба, разжевала во рту, завязала узлом в тряпочку и сунула ему в рот. Ребенок жадно засосал и утих.

Вечером в наше купе зашел пассажир, на вид очень больной, утром среди пробудившихся пассажиров его не было видно.

— Куда девался наш сосед, он показался мне таким больным. Он, что сошел? Обратилась я к соседке.

— А тебе на что он нужен? Чать, вон под лавкой дрыхнет.

Но вскоре пришел контролер по проверке билетов и кондуктор начал толкать его, пытаясь разбудить.

Моя соседка не выдержала:

— Чего бьешь-то, погляди, может, он уже помер, вчера сидел здесь опухший, точь его целая колода пчел искусала.

Слова ее подействовали, мешки и узлы растащили в стороны и вытащили его мертвое тело.

Появился милиционер, врач — составили протокол.

Я подошла к молодому пареньку, которого все называли доктором:

— Скажите, вы местный врач?

Он посмотрел на меня, видно понял, что я студентка.

— Нет, я студент медик, здесь на практике. А вы куда едете? Тоже на практику?

— Скажите, отчего он так внезапно умер?

— Болезнь у всех одна — голод. А вы откуда, из Москвы?

— Из Москвы.

Труп унесли, и студент вышел вслед за ним.

— Равелин, — прервал мои мысли один из пассажиров.

Небо было затянуто низко нависшими свинцовыми тучами, шел мелкий частый дождик. Земля, деревья и серое здание Равелина были оплаканы дождем.

— Знавал я эту тюрьму, сидел там, как политический, три раза бежал, три раза ловили и снова сажали, — как бы про себя вспоминал мой сосед.

Тюрьма — это слово всегда вызывало у меня острое любопытство, пробуждало чувство жалости к тем, кто должен сидеть там. Как дорого должно быть слово «свобода» для тех, кого отделяет от внешнего мира высокий забор с башнями по углам.

Мой спутник рассказывал о своем прошлом, глаза его лихорадочно блестели, рассказ его то и дело прерывался удушливым кашлем.

В прошлом он был студент Томского университета, участвовал в подпольных кружках, за что сажали, а сейчас вот инвалид — едет искать работу.

— Говорят на Красноуральском медеплавильном предприятии снабжение лучше.

Красноуральск

Вот и приехали. По перрону вдоль поезда бегала баба, предлагая красные сочные ягоды — клюкву:

— Рубль стакан, два стакана полтора, сладкая, как сахар!

Дождь продолжал моросить, но на него никто не обращал внимания. Народ потащился с узлами на вокзал.

Я купила стакан клюквы, сначала от кислоты сводило челюсти, но она хорошо освежила, даже голова перестала болеть.

Ребята меня встретили гурьбой.

— Вы что, так здесь и дежурите? — поинтересовалась я.

— Да видишь ли, всегда кто-нибудь приезжает. Ну как бы ты без нас свой чемодан дотащила? — И правда, ведь никакого транспорта и в помине не было.

А несколько дней спустя из Кемерово приехала еще одна студентка из нашей группы и мой близкий друг Ольга Файер. Ее отец был директор гигантского коксохимического комбината в

Кемерово, который должен был, так же как и наш Красноуральский комбинат, снабжаться продовольствием не только в первую очередь, но даже лучше.

Красноуральский медеплавильный комбинат был расположен в бывшем поселке Уралмедьстрой Свердловской области. В 1932 году его переименовали в город Красноуральск.

Здесь и была построена новая обогатительная фабрика, новый гигантский медеплавильный металлургический завод, административно-подсобные помещения комбината, а вокруг бараки, бараки, бараки с еще не выкорчеванными вокруг них пнями от срубленных деревьев, и все это окружено девственно дремучим лесом.

Бараки абсолютно неблагоустроенные, неосвоенные, необжитые. В нашем, студенческом, в большей его части размещались ребята — человек 60, а в меньшей половине — наша женская группа, 8 человек. Здесь были студенты из московского, ленинградского, владикавказского и даже дальневосточного институтов.

Наши койки в этих бараках стояли вдоль стен, сложенных из неотесанных бревен, щели в которых были забиты паклей. Посреди комнаты стоял стол и рядом «буржуйка», которую мы топили перед сном, чтобы теплее было раздеться и лечь в постель, а утром наши одеяла и простыни примерзали к бревнам и мы с трудом их отдирали.

Но не в этом еще была главная беда. Главная беда была в том, что все были голодные, а в магазинах было абсолютно пусто.

Здесь были студенты не только такие, как мы, младших курсов, но и студенты-выпускники, без пяти минут инженеры. Их прикрепили к столовой ИТР — то есть к столовой инженерно-технических работников, где давали еще какую-то похлебку, похожую на суп, и перловую кашу с клюквенным киселем. Эти ребята сразу предложили прикрепить меня к этой же столовке ИТР, но я категорически отказалась. А как же все остальные? А было нас всех, ни много, ни мало, человек 70–80, и все ходили голодные.

Перед началом смены мы вместе с рабочими заходили в столовую на предприятии, где рабочие должны были получать горячий завтрак, обед и ужин. Но здесь на стол всем подавали тарелку желтовато-прозрачной жидкости, где буквально плавала пара перловых крупинок, стакан мутной воды, заваренный какой-то травой — чаем даже не пахло — и тонюсенький ломтик хлеба. Не преувеличиваю ни капельки, именно так и было.

Мне было больно и жутко смотреть на этих здоровенных металлургов за столом с такой едой, после которой им

предстояло стоять у раскаленного горла металлургических печей.

Здесь с питанием было гораздо хуже, чем в прошлом году в Казахстане. И так же, как в Риддере, на пустых полках в магазинах вдруг появились, правда, не духи, а роскошные… ковры. Такие красивые, что даже, когда мы вышли из магазина, Оля не выдержала и заявила:

— А что, если я продам свое кожаное пальто (в котором она ходила) — и куплю ковер?!

— Ты что, собираешься завернуть себя в ковер для тепла? — спросила я.

Кому в этих жутких бараках нужны были эти роскошные ковры? Какие идиоты, из каких соображений засылают в такие места, где живут в таких тяжелых условиях голодные люди, такие никому не нужные вещи роскоши, как духи, ковры?

Голодная забастовка

Через несколько недель после начала нашей практики, как всегда, наша утренняя смена шумно и весело шла на работу, но чем ближе подходили мы к заводу, тем тревожней всем становилось — к производственному грохоту мы уже привыкли и даже не замечали его, а вот тишины испугались. Нас поразила мертвая, абсолютно мертвая тишина. Что случилось, неужели авария? Неужели такая большая авария? Было также странно, что по пути мы не встретили никого из рабочих, идущих на смену или со смены.

Когда пришли на завод, мы все были потрясены. В пугающей тишине мы ходили из цеха в цех — ни одного рабочего, ни одной души, заброшенные агрегаты: перестали грохотать дробилки, застыли флотационные ванны и сгустители-сушилки. Начали остывать медеплавильные печи. Нам стало жутко, привычные вещи пугали, страшно было смотреть на умолкнувший гигант.

Ночная смена ушла, а утренняя смена не явилась на работу. Нам всем было ясно, почему. Значит, ***забастовка.*** Это слово было непривычно нам, и не только слово, а сама суть. За-бас-тов-ка… Где?!! У нас, в Советском Союзе!!! Я посмотрела на Ольгу, губы ее дрожали, глаза были полны слез. Я сама старалась крепиться, но горький ком застрял у меня в горле.

Нет слов передать, какую горечь испытывали мы с Ольгой.

Нам казалось, что в нашей стране при советской власти такой несправедливости к рабочим не может и не должно быть. Мы считали, что самая большая привилегия должна предоставляться тем, кто тяжело работает, стараясь накормить, напоить, одеть и обуть всю страну. И если трудно — то должно быть трудно всем в

одинаковой степени.

Это не была забастовка с плакатами, с требованиями к администрации, рабочие просто не вышли на работу.

Так продолжалось несколько дней. И вдруг я увидела, как на территории завода у трансформаторной будки поставили стол и рабочим стали выдавать хлеб. На этом комбинате по контракту работал ***американский инженер*** мистер Кант. И самым потрясающим для меня было, когда я узнала, что он отправил лошадь с пролеткой (это был прикрепленный к нему лично «транспорт») на железнодорожную станцию «Верхняя» в 12 км от Красноуральска, где стоял эшелон с продовольствием, который кто-то загнал на запасные пути, и привез оттуда несколько мешков муки. Напекли хлеба, раздали рабочим. Рабочие, получив по буханке хлеба, покорно пошли на работу. Я помчалась к директору:

— Почему это сделал ***американец,*** а не вы? — кричала я, задыхаясь от слез.

— Ему дали для своих собственных нужд, а попробовал бы сунуться я… Я уже сколько раз телеграфировал в Москву, надеясь скоро получить ответ… — лепетал он, и еще что-то менее внятное.

У меня было чувство, как будто мы все получили пощечину. Мне казалось, все, что происходит, это чистой воды вредительство: за 12 км от Красноуральска загнали эшелон продовольствия куда-то на запасные пути, вместо того чтобы доставить это продовольствие в Красноуральск, и как в насмешку заполнили прилавки коврами.

На работе ко мне подошел рабочий:

— Знаете, — сказал он, — увидев поступок иностранца, мне стало стыдно, да стыдно, стыдно за себя, за нашу администрацию, за наше правительство, которое довело нас до такого состояния. Килограмм хлеба не избавил от голода ни меня, ни мою семью, но я почувствовал боль и стыд за всех нас и вышел на работу.

В ту же ночь я написала письмо Н. К. Крупской: «До какой ***низости*** опустились наши верхушки, чтобы инженер-иностранец так утер им нос. Достал муку, напекли хлеба, раздали рабочим, и рабочие вышли на работу. Как мы в нашей стране могли допустить до этого?» Я не думала о том, что мое письмо может попасть в другие руки. О том, что меня могут арестовать, сослать, мне даже в голову не приходило такое, за что? Ведь не о своем личном благополучии я волновалась, я болела за судьбу таких людей, от которых, как мне казалось, зависела судьба и благополучие всей нашей страны.

Что такое эксплуатация?

На практике я крепко подружилась с Олей. После рабочей смены мы шли с ней на прогулку подальше от ужасных рабочих бараков, от пней и катакомб, окружавших наш поселок, в прекрасный, девственно чистый дремучий лес, в котором так легко дышалось.

Возвращаясь с прогулки, мы выбирали пень поудобнее, садились на него и читали, читали, запоем читали, чуть ли не до утра, все, что можно было достать в здешней библиотеке: Шекспира, Пушкина, Достоевского, Драйзера, останавливались, перечитывали друг другу те абзацы и те мысли, над которыми уже давно задумывалось человечество.

В наши 18–20 лет мы думали, мучительно много думали о справедливости, о счастье для всех людей на свете. В Красноуральске в эти весенние и летние месяцы были белые ночи, и мы могли читать почти всю ночь до утра.

Пустые магазины, пустые рабочие столовые, которые довели рабочих до прекращения работ. Все это потрясло нас.

Я вспомнила, как, сидя на пенечке, мы с Олей обсуждали вопрос об эксплуатации. Что такое эксплуатация? Это значит, что рабочий не получает достаточное вознаграждение за труд, который он вложил. Если он работает на хозяина и хозяин ему недоплачивает, значит, хозяин его эксплуатирует, а если он работает на государство, значит, государство его эксплуатирует.

Да, это так, но ведь государство те деньги, которые недоплачивает нам, тратит на благо для народа. Строит заводы для всех, прибыль идет на улучшение жизни все тех же людей, которые строят эти предприятия. Ведь мы, народ, прямо или косвенно являемся хозяевами этих предприятий. Государство строит для нас школы, университеты, учеба у нас бесплатная, медицина бесплатная, лекарства тоже, квартиры бесплатные, санатории, дома отдыха, да и транспорт наш копейки стоит.

В наших санаториях ведь рабочие из самых отдаленных уголков нашей, ты понимаешь, ***нашей*** родины. Мне кажется, что весь мир живет в своих странах, как будто в снятой, арендованной квартире, мы же всюду, как дома. Кто же мешает нам жить нормально? Почему же надо доводить людей до забастовок? До голода? Ведь лучше нашей системы в мире нет.

Так рассуждали мы с ней, сидя в белые ночи на пенечке возле нашего барака на Урале.

Студенческая столовая

Тогда я решила (если кто остался жив, могут подтвердить) организовать столовую в нашем бараке для студентов. Заставила ребят построить с нашей, женской, стороны барака плиту, натаскать и наколоть дров, нашла кухарку, жену какого-то ссыльного. Кто-то из еще более ретивых подсказал мне: а знаешь, она жена ссыльного.

— Ну и что? — ответила я. — Готовить она, наверное, умеет.

Достала продукты, да, их действительно надо было доставать. Когда я пришла к заведующему по продовольственной части и потребовала подписать заявку на продукты, он заявил:

— Склад пустой, продуктов нет.

— Хорошо, — ответила я, — тогда мы пишем вот здесь вместе с вами в Москву рапорт о том, что мы, студенты, посланные сюда на практику со всех концов Советского Союза, немедленно разъедемся обратно, если вы не сумеете помочь нам организовать соответствующее питание. Кто-то за это должен будет ответить. Нас же прислали сюда не в шашки играть, за все это наше государство платит.

Он понял, что я не собираюсь уступать, и после долгого и упорного сопротивления, после долгих препираний, скрепя сердце, подписал мою заявку: на крупу, макароны, рис, масло, сахар и даже соль.

— Я выдаю вам продукты из продовольственных запасов для детей, — заявил он в свое оправдание.

Значит, на складах были какие-то продукты, их придерживали, и это еще раз убедило меня в том, что все, что происходит, это тоже вредительство чистой воды, и так было уже нестерпимо голодно, а здесь еще старались попридержать те маленькие запасы, которые еще где-то хранили. И так продолжалось три месяца до самого дня моего отъезда: каждую неделю со мной на склад шли пять студентов, они тащили оттуда продукты для нашей столовой, кололи дрова, приносили воду, и вообще, все по очереди дежурили и обслуживали нашу столовую с трехразовым питанием. И когда я уже была в Москве, встретив приехавших после нас студентов, спросила про организованную мной столовую. Они ответили:

— Как только ты уехала, сразу все распалось.

Мы с Ольгой до нашего возвращения в Москву решили собрать группу студентов, желающих поехать из Красноуральска в Магнитогорск на Магнитогорский металлургический комбинат провести на этом предприятии недельку нашей практики. Это был тоже один из первых строившихся гигантов нашей новой социалистической индустрии. Даже не достроенный, работая не на полную мощность, он производил грандиозное впечатление,

его строительство было закончено только в 1934 г.

Полпути от Красноуральска до Магнитогорска мы прошли пешком. По дороге собирали ягоды, а их было здесь такое количество, что когда мы предложили какой-то женщине собранные нами ягоды, она напоила всех нас молоком.

Здесь, на этом комбинате, с продовольствием было благополучнее, чем в Красноуральске.

Гибель Марии

Возвращались мы обратно из Красноуральска в разгар лета не через Пермь, а через Свердловск. Наши проездные билеты были настолько гибкие, что позволяли нам пользоваться ими так, как нам было удобно. День мы провели в Свердловске, в походах по музеям, посетили даже дом Ипатьева, где в 1918 году был расстрелян последний царь России Николай II с семей, прошли по всем этажам, даже спустились в подвал, где произошла экзекуция.

— Неужели нельзя было поступить иначе? — спросил кто-то из нас.

— Нет. Колчак был уже у ворот Свердловска, и это решило их судьбу, — ответили нам.

Никому тогда и в голову не приходило, что найдется когда-нибудь кто-то, кто бульдозерами в течение ночи развалит этот дом. Он стоял при Ленине, он стоял даже при Сталине, и кому он помешал???

Проголодавшись, мы пошли искать прославленную фабрику-кухню. В этом колоссальном здании, напоминавшем снаружи скорее тюрьму, чем ресторан, постояв в длинной очереди, мы получили такой обед, что даже нас, студентов, привыкших ко всему, он поразил. И здесь же, на этой фабрике-кухне, нам, как студентам, выдали кое-какие продукты на дорогу.

Понятно, что по возвращении в Москву даже полупустая Москва показалась нам краем изобилия.

Вовсю торговали торгсины, в этих магазинах было все. Мне очень хотелось приобрести белый фетровый берет, но приобрести его можно было только в торгсине и, конечно, только за золото.

У меня была массивная золотая брошь, подарок моей бабушки на мой шестнадцатый день рождения, я решила эту брошь продать, тем более что носить золотые украшения считалось мещанством.

Мне было жаль расстаться с подарком, но желание щегольнуть в новеньком берете взяло верх, и я подала его в кассу, где золото обменивали на бонны. Поверите или нет, мне даже самой трудно поверить, но приемщик сказал мне:

— Ваша золотая брошь стоит 76 копеек.

А берет стоил 90 копеек. Золотая брошь величиной в полсигары не стоила одного фетрового берета!

Торгсины превратились в рай для спекулянтов, вместо помощи государству. При мне приходили женщины, приносили роскошные ювелирные изделия с драгоценными камнями, приемщики золота выдергивали драгоценные камни и выбрасывали их, как будто ненужный хлам, и взвешивали только золото. Немудрено, что эту лавочку довольно скоро прикрыли. На этом деле наживалась кучка ловких, мягко говоря, махинаторов.

До начала занятий я решила недели на две поехать домой в Геническ. По дороге в Геническ в Харькове я встретила Марию, и мы вместе решили провести эти две недели на море. Мария, вернувшись из Москвы в Харьков, решила в Москву не возвращаться и поступила в Харьковский мединститут.

Дома мне сообщили страшную весть, что где-то в горах погиб Миша, что старались и не могли со мной связаться. Его друг Виктор немедленно после похорон уплыл, а мать в жутком состоянии увезли к себе какие-то родственники из Одессы. Мне было нестерпимо тяжело, я не знаю, как бы я пережила эту уже вторую в моей короткой жизни тяжелую потерю, такого, как мне уже казалось, близкого мне человека, если бы не Мария. Смерть Миши ее тоже очень глубоко тронула, мы обе притихли.

По дороге обратно в Москву я остановилась на пару дней с Марией в Харькове. Здесь нас встретил наш общий друг Федя Михайлов, мы рассказали ему все, он изо всех сил старался развеселить нас и сделать наше пребывание в Харькове приятным. Через несколько дней я уехала в Москву, Федя в Ленинград. Это была моя последняя встреча и с Марией.

Очень скоро я получила от нашей общей подруги Клавы Пыляевой письмо, что наша общая любимая подруга Мария погибла, попала под автомобиль — бежала, чтобы не опоздать в театр. И откуда взялся этот автомобиль? Ведь было-то их тогда на весь Харьков столько, что можно было по пальцам пересчитать.

Это была уже третья трагическая потеря самых любимых, самых близких мне людей, и если бы не друзья, мне кажется, я бы не пережила. Федя, как услышал, моментально приехал из Ленинграда в Москву и всеми силами старался успокоить меня, привести в нормальное состояние. Мы вместе поехали в Харьков, навестили ее могилу, посадили цветы. Федя боялся оставить меня одну и всеми силами старался уговорить меня уехать с ним в Ленинград.

Третий курс

Вербовка на остров Шпицберген

Теперь я уже была студентка 3 курса, и после двух таких тяжелых, мучительных лет должна же была, наконец, получить общежитие в нашем знаменитом, так называемом «Доме коммуны», строительство которого вроде бы закончилось или подходило, наконец, к концу.

И вдруг в это время прошел слух, что Народный комиссариат образования издал приказ — видно приняв во внимание катастрофическое положение студентов с общежитиями — разрешить студентам получать годичный отпуск для работы на периферии с полным правом, вернувшись через год, продолжить учебу.

Мы с Ольгой немедленно решили отправиться на год куда угодно, в любую тьму тараканью, попробовать свои силы. Я — после всех моих таких тяжких испытаний, в надежде успокоиться, а также в надежде, что через год условия с общежитием улучшатся. Ольга — просто со мной за компанию. Кто-то в Наркомате образования подсказал нам, что идет большая вербовка персонала на острова Шпицберген, там в то время были совместные советско-норвежские концессии. Мы немедленно помчались туда и немедленно получили годичный контракт в «Арктуголь».

Архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, до 1920 г. считался «ничьей землей» и только в 1920 г. был подписан договор по Шпицбергену, провозгласивший над ним суверенитет Норвегии, но при этом любое государство также имело право вести там любую научную и экономическую деятельность. Советский Союз быстро присоединился к этим условиям, и Норвегия официально признала, что Советский Союз имеет на этом архипелаге особые экономические интересы.

Условия работы и оплата были великолепные, часть зарплаты выплачивалась даже валютой. Снабжение в это тяжелое для страны время было там просто царское. Здесь я должна не просто сказать, а даже подчеркнуть, что при советской власти там, где не вмешивались спекулянты, а государственные продукты направлялись прямо на снабжение экспедиций, все шло великолепно.

Нас не испугало даже то, что там три месяца полярная ночь,

арктические морозы, а основные «аборигены» — белые медведи, и нам рекомендовали без вооруженных провожатых не выходить на прогулки. Ну что ж, решили мы, там тоже люди живут, поработаем, оденемся, соберем немного денег, вернемся и спокойно закончим образование. Так мы уже собрались в долгий путь.

Но так же вдруг и так же неожиданно этот приказ отменили и постановили вернуть всех студентов обратно на учебу. Это еще были те годы, когда быстро и просто издавались приказы, которые так же быстро и просто отменялись. Казалось, что вся жизнь идет еще как-то на ощупь.

Общежитие «Дома коммуны»

Итак, наконец, мне выдали временный ордер в общежитие «Дома коммуны» во 2-м Донском проезде на кабинку временно отсутствовавшего студента последнего курса, который вот-вот должен был вернуться с практики.

Наш «Дом коммуны» — теперь уже «наш», это оригинальное здание, шедевр современного архитектурного искусства, было похоже на корабль, на фабрику и бог знает на что еще. Углов у этого здания не было, они были закругленные, как башни, а круглые окна-иллюминаторы и овальные трубы на плоской крыше еще больше подчеркивали его сходство с пароходом. При входе обширный вестибюль, почта, студенческая столовая, кафетерий, огромный физкультурный зал, медицинский кабинет с дежурившим круглосуточно врачом, на втором этаже кинотеатр, библиотека, читальня, комнаты для занятий, а дальше шли жилые помещения.

Жилая часть здания делилась на две половины: южную и северную, вдоль длинных узких коридоров справа и слева были двери, которые не открывались, а просто отодвигались как в вагонах, и комнатки, которые мы называли кабинки… Кабинки были размером два метра в длину на два с половиной в ширину. Они напоминали матросские каюты на пароходах, в них нельзя было заниматься, считали, что студенты будут заниматься в учебных помещениях, в читальне, а здесь только ночевать. В этих кабинках помещались две узенькие кровати и между ними ровно столько свободного места, чтобы можно было пройти присесть или лечь на кровать.

А все подсобные помещения находились далеко. Так, например, принять душ можно было один раз в неделю, когда давали горячую воду. Чтобы сходить в туалет, умыться, помыть руки или просто выпить глоток воды, надо было бежать вдоль

этого длиннющего коридора к середине здания, почти два блока, а чтобы достать горячую воду из кубовой для чая, вообще надо было спуститься в подвал. Удобства были «те еще». Но несмотря ни на что, здесь жили даже семейные студенты с детьми.

Новое здание

В это же самое время мы, наконец, переехали из здания Горной академии на Большой Калужской, 14 в новое, еще далеко не достроенное, здание теперь уже нашего Института цветных металлов и золота на углу Калужской площади и улицы Коровий Вал, 3. Так называлась улица, которая спускалась прямо к Парку культуры и отдыха им. Горького. Вокруг нашего нового непривлекательного, темного грязно-серого цвета здания были горы стройматериалов, цемента, глины, песка, кирпичей и глубокие котлованы, в которых легко можно было ноги сломать при входе.

Занятия наши начались в мрачном неоштукатуренном, неотапливаемом здании, где полным ходом продолжались строительные работы по монтажу отопительной системы. С первого до четвертого этажа в каждой аудитории были по углам дыры для прокладки труб, и, несмотря на наши лекции, стук и грохот не только не прекращались, а иногда с первого до четвертого этажа сопровождались такой сочной матерщиной, что заглушали даже голоса преподавателей.

Мы мерзли на лекциях, ноги-руки коченели, карандаш нельзя было держать в руках, сидели в пальто, в перчатках, поджав под себя окоченевшие ноги. Когда профессор вызывал к доске, то терпеливо ждал, давая время надеть обувь на окоченевшие от холода ноги. И только во время перерыва мы вылетали из аудиторий в коридор, где стояла наша буржуйка и, подбросив в нее дрова, окружали ее плотным кольцом, грели озябшие руки и, с трудом разжимая застывшие челюсти, пели охрипшими голосами. Каких мы только песен не перепели за это время — тоскливых, веселых, бодрых, боевых.

— Атмосфера вполне подходящая, чтобы мозги не протухли, — шутили студенты.

А на занятия в лаборатории почти до окончания института ходили в старое здание Горной академии на Большую Калужскую, 14 и на Шаболовку.

Было еще одно место, где требовалось затратить уйму времени и нервов — это на походы в столовую, на стояние в очередях, где, так же как и повсюду, не хватало мест, столов, стульев, посуды, стаканов, тарелок, ножей и вилок. Самыми

радостными днями были походы в баню, где так же в раздевалках надо было стоять в очереди, не хватало мест, не хватало мыла (один из наиболее дефицитных продуктов), где за каждую шайку и за каждый кусочек мыла надо было бороться. Я до сих пор помню, как однажды я в центре города встретила знакомого из Геническа, который работал завхозом где-то у Измайловского парка, и я поехала в такую даль, чтобы получить кусок мыла по знакомству. И какое это было замечательное приобретение!

И в этих невероятно трудных условиях все старались помочь друг другу.

Встречи с женой Сталина

Приятная неожиданность

Почти в начале семестра, незадолго до Октябрьских праздников, сидя уже пару часов в томительном ожидании своей очереди в парикмахерской Гранд-отеля, в одном из красивейших зданий на площади Революции (парикмахерские даже для нас, для студентов, были вполне доступны), я увидела, как вошла женщина, у гардероба сняла пальто, шляпу, подошла к зеркалу и каким-то далеким, знакомым жестом стала поправлять волосы.

Московская жизнь в то время меня уже достаточно «разложила», хотя комсомольская этика, особенно в провинции, еще не поощряла применение косметических средств, но никто из моих московских друзей этой «этики» особенно не придерживался. И мне приятно было появиться среди своих друзей хорошо причесанной и с маникюром, а друзей и знакомых у меня в это время появилось уже очень много.

«Где я ее видела?» — начала напрягать я свою память. Что-то далекое-далекое промелькнуло в моей памяти. Голодный год, молодой, задорный адъютант с женственной улыбкой, потом Гуляйполе… и очаровательная Наташа.

Какое сходство. Она взяла в руки газету, потом журнал, но я чувствовала, что она, в свою очередь, тоже наблюдает за мной, и вдруг, быстро пересев на освободившийся возле меня стул, спросила:

— Как ваше имя?

— Нина, — и я очутилась в ее объятиях.

— Нина, родная, как я рада! Я Наташа, ты меня помнишь? Скажи, помнишь? Какая взрослая, красавица, вылитая мать, как я рада, какая приятная неожиданность… Как мама, папа, Шурик? У меня есть сын Майка, хороший мальчик… Я сейчас позвоню Косте… — и она снова бросалась меня целовать. — Нет, только подумать, где и как встретились, свет мал! Пойдем к нам, мы только что приехали, и живем еще здесь недалеко, в гостинице «Националь»…

Наташа говорила как фонтан, ей хотелось высказать все и сразу.

— А ты мне расскажешь все-все, обстоятельно, подробно дома.

Наташа пыталась поступить в Промакадемию им. Сталина. Костя работал в промышленном отделе Наркомтяжпрома, и его

только что перевели из Днепропетровска в Москву.

Я сказала, что не могу пойти к ней сегодня, а завтра приду с удовольствием.

— Приходи завтра к обеду обязательно, я познакомлю тебя с Надей Аллилуевой, моей подругой, которую я знала еще в моем далеком детстве и тоже встретилась с ней случайно здесь, в Москве.

Для меня это имя было пустым звуком, я не помнила даже, чтобы когда-нибудь слышала его.

Знакомство с Надеждой Сергеевной Аллилуевой

На следующий день я встретила Наташу в дорогом, но неуютном номере гостиницы «Националь». Обедали мы одни, Надя позвонила, что придет к чаю. Обед Наташа получила в кремлевской столовой, в меню этого обеда меня поразил компот из консервированной черешни. Я знала черешню во всех ее видах, но никогда не слышала о консервированной черешне. Деликатес, который можно было достать только в правительственном магазине или в торгсине, и который каждый раз Наташа мне вручала, когда я заходила к ней.

Наташа стала рассказывать мне, что Костя недавно вернулся с Днепростроя, где только что закончилось колоссальное строительство Днепрогэса.

— И как всегда он в своем докладе, — говорила Наташа, — в резкой форме критиковал руководство и настойчиво требовал улучшения условий труда, снабжения и ускорения жилищного строительства для рабочих.

— Знаешь, Наташа, я Костю очень хорошо понимаю, — я стала рассказывать ей о нашей практике в Красноуральске.

— Вот я Косте и говорю, что новое поколение…

— Понимает, за что мы боролись, — раздался сзади меня мужской голос.

Я обернулась и увидела за своей спиной Костю, возмужавшего, ставшего еще красивей. Вот его бы я узнала где угодно.

Мы крепко расцеловались.

— Нет, это просто невероятно, — оглядывая меня со всех сторон, говорил он. — Ведь была вот такая, как Майк, сидела у меня на коленях, засыпала у меня на руках…

— Нина уже на третьем курсе института, была на практике в Красноуральске и рассказывает, что там то же самое, что и на Днепрострое.

— Все видят, разве слепой только не заметит, — с горечью

заметил Костя.

Раздался звонок, Наташа поднялась:

— Ну, вот и Надя идет.

В комнату вошла молодая интересная, скромно одетая женщина. Темные, гладко зачесанные волосы, разделенные прямым пробором, большие, красивые темные глаза на овальном лице со смугловатым оттенком и приятная улыбка делали ее очень привлекательной.

— Познакомься — дочь нашего бывшего командира во время гражданской войны. А какой это человек, Надя, настоящий! Ну, а как себя чувствует благоверный?

Надя, глядя на Костю, крепко пожала мне руку.

— Я, товарищи, к вам на минутку, спешу, зашла только повидаться, особенно с Костей.

— Вот и хорошо, пошли скорее чай пить, у меня вкусное кизиловое варенье, с Кавказа прислали.

— Мое любимое варенье, напоминает мне лучшие годы моей жизни…

— Ну что за настроение? Как будто у тебя все в прошлом.

— Пожила бы ты на моем месте, — Надя повернулась к Наташе и начала ей что-то рассказывать.

Мы с Костей начали вспоминать прошлое.

Надя повернулась к нам:

— Расскажи, Костя, пожалуйста, что на Днепрострое? У меня, кстати, вчера был крупный разговор по этому поводу.

— Что тебе рассказывать, считаю, в таких случаях самим полезно туда съездить и посмотреть, тем более что Промакадемия как раз и готовит руководящие кадры для промышленности, — уклончиво ответил Костя.

— Ты совершенно прав. Действительно, хорошо самим съездить посмотреть. Я вот получаю сотни писем с жалобами, все пишут, как трудно. Пишут малограмотные Мани, Тани, Пети, разве можно им не верить, ведь им письмо написать труднее, чем котлован вырыть. Я показала несколько этих писем Орджоникидзе и Кагановичу. И знаешь, что мне Каганович ответил? «Стоит тебе обращать внимание на всякие контрреволюционные кулацкие вылазки. Я ведь тоже получаю сотни писем от кулаков. Никакие крупные государственные мероприятия не могут проводиться без жертв».

— Ну, знаете, — вскипел Костя, — такого цинизма трудно придумать. Он считает себя большевиком, а знает ли он, что из тех, кого мы раскулачиваем, 90 % были до революции бедняками или середняками. Новая экономическая политика дала им возможность окрепнуть, мы пошли им навстречу, поощряли —

выдавали им субсидии, премировали образцовые хозяйства, чтобы за ними тянулись другие. Мы многое сделали для того, чтобы заинтересовать крестьянство к работе. Мы достигли того, что в деревнях не стало той части крестьянства, которое не хотело бы работать. Следовательно, мы дали возможность значительной части крестьян, да — значительной, подчеркиваю, стать зажиточными. А теперь… — Пусть подыхают, как классово-чуждый элемент, так получается?

— Зачем горячиться, разве нельзя потише, — вмешалась Наташа.

Надя нервно зашагала по комнате:

— Я понимаю Костю, спокойно об этом не скажешь, кричать нужно об этом. Беда наша в том, что мы окружены вражескими странами, подстерегающими каждое наше слово и со злорадством ожидающими наших ошибок и промахов. Это заставляет нас молчать в печати о наших недостатках, но между собой мы обязаны говорить откровенно, иначе притупится все наше партийное чутье и мы, привыкнув считать, что у нас все хорошо, перестанем стремиться к лучшему (мне эта ее реплика очень понравилась). Костя, ты докладывал о положении на Днепрогэсе?!

— Представь, доложил, что народ живет там в невыразимо тяжелых условиях: жилищные условия ужасные, снабжение отвратительное, оборудование до-по-топное, — протянул он. — Лопате надо дать орден, она все вывозит.

Ты знаешь, я предложил некоторые практические меры для улучшения жизни и условий труда рабочих, а некоторые умники, такие, как Каганович, знаешь, что ответили? «Мы строим там не курорт, а промышленный гигант, когда достроим, тогда выдадим путевки на курорт тем, кто этого заслужил».

— Вернее тем, кто жив останется, — присушиваясь к их разговору, не выдержала даже я.

— Если бы ты видела, как на меня набросились, от «твоего» досталось больше всех: «Ты еще партизан, на работе не нужна ***партизанщина,*** у нас все идет по плану».

— Да, Костя, тебе нелегкая борьба предстоит, держись крепче, пусть кричат «партизанщина», в этом ничего нет оскорбительного. Не уступай, ты хозяин производства.

— Я-то не уступлю, да меня могут «уступить», — засмеялся он. — Ты бы видела, какая радость была у этих людей, когда им выдали по буханке белого хлеба по случаю такого торжества.

Надя заторопилась.

— Ну, куда ты торопишься, посиди еще немного, — просила Наташа.

— Не могу, в другой раз, я и так засиделась.

Проводив Надю, Наташа вернулась и сообщила:

— Это жена Сталина, у нее разные домашние неприятности, а вообще она очень веселая и остроумная.

На меня не произвело никакого впечатления это сообщение, она мне просто сама понравилась.

Кто бы из присутствующих мог в эту минуту подумать, что эта молодая, цветущая женщина за два месяца до окончания Промакадемии покончит жизнь самоубийством. И что у этой, с виду такой хрупкой, женщины хватит мужества дважды нажать курок, когда она почувствует, что первый выстрел не смертельный.

Завидный жених

Вскоре после встречи с Надей, Наташа познакомила меня с Николаем Васильевичем Гриневым. Он преподавал в Военно-воздушной академии и в Промакадемии. Выглядел он очень солидно, мне казалось, старше моего папы. С первого дня нашего знакомства он начал усиленно за мной ухаживать. У него была жена где-то в Свердловске, с которой он не то разводился, не то уже развелся. Ходил он чаще всего в военной форме, иногда переодевался в гражданскую форму — желтое кожаное пальто, голубой шарф — и старался выглядеть моложе. У него была большая трехкомнатная квартира на Большой Пироговке. Продукты получал в правительственных магазинах, питался в правительственных столовых, от женщин у него не было отбоя.

Надежная опора

Подходил к концу голодный 1932 год. Еще более тяжелый, более страшный голод ожидал всех в 1933 году, особенно ужасно было на Украине, в Казахстане, на Урале, да, собственно, повсюду.

Я никак не могла забыть голодную забастовку рабочих в Красноуральске.

Я еще очень хорошо помнила голод 1921 года, да не только я, его очень хорошо помнили Костя, Наташа, и, наверное, так же хорошо помнила и Надя. В те годы даже быть рядом с Лениным вовсе не значило быть полностью сытым, но тот голод произошел в результате стихийного бедствия и послевоенной разрухи. И тогда Ленин, стараясь спасти людей от голода, обратился ко всему миру с просьбой о помощи, не обращая внимания на стремление и желание всех капиталистических стран стереть с лица земли этот вновь возникший ненавистный им строй. А

теперь Сталин, как будто всем назло, как будто стараясь кого-то наказать, делает все с точностью наоборот.

Я, вспоминая то, что происходило во время коллективизации на Мариупольщине, Мелитопольщине, да вообще там, где я жила, твердо считала, что этот голод произошел в результате преступных методов коллективизации, разоривших все производительное сельское хозяйство, и преступной бесхозяйственности. Какие же «кулаки» были Зоины родные, у которых было две коровы, пара лошадей и восемь человек семьи? И это я привожу как пример, потому что все, кого я знала и кого раскулачивали при мне, были точно такие же «кулаки».

А чего стоил идиотский закон, который был издан совсем недавно, 7 августа 1932 года, который запрещал подбирать «колоски» — колоски, оброненные по дороге, когда везли снопы с поля, или колоски оставшиеся в поле после уборки урожая, и это в то время, когда люди уже пухли и погибали от голода. За «колоски» могли сослать человека в лагерь на 10 лет, как расхитителя социалистической собственности. Колоски были дороже человеческой жизни. Кто придумал этот издевательский закон, который потряс всех?!

Лозунг «опираться на бедноту» сам по себе тоже был, по-моему, самый идиотский. Как могла беднота накормить всю страну, если она сама была голодная и нуждалась в помощи. Надо было, по-бухарински, опираясь на зажиточную часть населения, помочь бедноте разбогатеть, и тогда никакого голода не было бы в стране и в помине.

Так думала я и с горечью вспоминала картину, которую видела на станциях по дороге сюда, в Москву. Тогда требовали сдавать зерно, а из-за недостаточного и иногда полного отсутствия элеваторов или каких-либо других хранилищ драгоценное зерно ссыпали прямо под открытым небом, вдоль железнодорожного полотна, где, поливаемое осенним дождем, оно гнило и прорастало, втаптываемое в грязь. Так же погибала голодная скотина из-за отсутствия корма, отвратительной подготовки к содержанию, уходу, а вернее, из-за отсутствия всякой подготовки к проведению коллективизации в таких грандиозных масштабах. Все, что творилось в это время, даже мне казалось, было похоже на сплошное издевательство.

Меня ужасно злило, почему сидят где-то люди за Кремлевской стеной и издают на бумаге законы, не понимая и не соображая, что творится на самом деле вокруг. Почему никто из них не проедет, не пройдет и не посмотрит, во что обернулись эти законы? Подумаешь, тоже мне, новые аристократы объявились!

Благие намерения

Осенью 1932 года уже было ясно, что в стране бушует катастрофических размеров голод. И из боязни, что будет хуже, у некоторой части ответственных партийных работников и некоторых членов Политбюро ЦК партии появилось чувство, что надо что-то предпринять, попробовать уломать самую твердолобую часть членов Политбюро немножко смягчить, изменить жесткую политику, чтобы хоть как-нибудь улучшить ситуацию и предотвратить надвигавшийся голод 1933 года.

Незадолго до Октябрьских праздников, рассказала мне Наташа, у них собралась небольшая группа: Н. К. Крупская, Надежда Аллилуева и кто-то еще. Они обсуждали вопрос, что хорошо было бы уломать Сталина и всех, кто его поддерживает, занять более мягкую позицию по отношению к крестьянам и объявить об этом как раз во время празднования пятнадцатой годовщины Октябрьской Революции в 1932 году.

Наташа сказала, что Надежда Константиновна высказала мнение, что такие товарищи, как Бухарин, Рыков, Орджоникидзе, Бубнов и кое-кто еще поддержат эту идею, так как они такого же мнения. Их также поддержит самый ярый защитник НЭПа и противник насильственной коллективизации М. П. Томский. И что было бы хорошо, если бы больше товарищей поддержало их, вот если бы Жемчужина могла повлиять на Молотова.

О Калинине вопрос якобы стоял особо. Надежда Константиновна ему не доверяла:

— Прежде чем мы выступим с этим предложением, Сталин будет знать все, — уверяла она. — Человек он беспринципный, таким он был всегда.

Надя ответила, что Михаил Иванович ее поймет и что она с ним кое о чем уже говорила и уверена в его поддержке.

— Смотри, Надя, на твоей совести лежать будет — я не советую, — еще раз подчеркнула Надежда Константиновна.

Енукидзе, присутствовавший здесь, сказала Наташа, поддержал Надю:

— Нас мало, надо чтобы больше товарищей поддержали нашу позицию. Я думаю, старикану можно доверить.

И Надя рассказала Калинину весь план их будущего выступления. Он заверил Надю, что он все понимает и сделает все от него зависящее. Но предупредил:

— Знаем об этом только ты и я, для всех остальных я с тобой ни о чем не говорил.

Надя дала согласие.

Ведь это не был какой-то заговор против правительства. Эти

товарищи просто хотели на внеочередном совещании, почти на семейном собрании, без протоколов и резолюций, по-дружески обсудить выдвинутые ими предложения, надеясь выработать какое-либо дружеское компромиссное решение, которое можно было бы преподнести народу как что-то хорошее с трибуны Большого театра в праздник пятнадцатилетия Великого Октября.

— Костя рассказывал, — сказала Наташа, — что совещание затянулось очень надолго, и чтобы не прерывать возникших бурных прений, участникам даже обед подавали туда. Сталин спокойно выслушал всех. И что с самой взволнованной речью выступил Рыков. Он заявил, что мы отступили от ленинского пути, так как Ленин не считал НЭП случайным или кратковременным мероприятием и отступлением от построения социалистического государства, а служит для восстановления и укрепления экономической мощи страны. А то, что мы делаем сейчас, — рубим сук, на котором сидим. Еще не поздно, мы можем многое исправить…

В том же духе выступали и другие из этой группы. Приводились статистические данные и многие примеры пагубности наших форсированных методов коллективизации. Поголовье скота в это время катастрофически уменьшилось, так как даже те крестьяне, которые записывались добровольно в колхозы, зная, что скотину у них при записи в колхозы все равно отберут, стали резать и продавать скот.

Предлагали дать крестьянам некоторые послабления с налогами, выдать хлеб голодающим районам и принять меры для ликвидации голода 1932–1933 гг.

Бухарин выступил последним, он предложил субсидировать организованные уже колхозы, чтобы они могли как можно скорее окрепнуть настолько, чтобы могли привлечь добровольный поток единоличных хозяйств в колхозы.

Надежды Аллилуевой на совещании не было. Сталин якобы потребовал, чтобы она отсутствовала.

Обстановка и настроение было такое, что у всех создалось мнение, что решение будет положительное.

Но слово взял Л. М. Каганович. Он заявил, что политика Ленина-Сталина, которую проводит и которой держится Иосиф Виссарионович, самая правильная. Никаких изменений, никаких послаблений и отступлений от уже намеченного пути не может быть и, он надеется, не будет, обращаясь прямо к Сталину, закончил он.

— Нэт, — отрезал Сталин. — Из всех выступающих Лазарь Моисеевич панимаэт настоящую обстановку лучше всех, а у всех остальных нэт бальшевистского духа. Никаких перэмен, никаких

отступлений от генэральной линии партии, слышите, никаких! — закончил Сталин.

И вдруг он обратился к Кирову:

— Меня удивляет, каким образом у тэбя, Сергей Мироныч, то же мнение, что у Бухарина?

Киров понятия не имел о том, что существовала какая-то договоренность о выступлении на совещании.

Об этом знал Сталин, так как Калинин смалодушничал и все доложил Сталину до начала совещания. Сталин терпеливо дал высказаться всем, и теперь знал мнение всех так называемых «заговорщиков», и самым неожиданным сюрпризом для него было выступление Кирова в их поддержку.

В это время вбежала Н. С. Аллилуева:

— Я не могу слышать, как нас проклинают миллионы советских людей! Неужели вы не знаете, что люди умирают от голода? Россия стонет, а мы делаем вид, что не замечаем, не видим этого. Я прежде всего член партии, и сколько у меня хватит сил, буду бороться против этого.

— А я всех уберу со своей дороги, если нужно, и тебя в том числе, но не допущу никаких отклонений от генеральной линии партии, — твердо заявил Сталин.

Аллилуева ушла с этого совещания почти в истерике.

— Так закончились, — сказал Костя, — все наши благие намерения и дружеская попытка тех близких к правительству людей, которые хорошо понимали обстановку, в которой находилась и находится наша страна, особенно в это катастрофически тяжелое время, и хотели помочь спасти народ от повального голода.

Семейные дрязги Сталиных

Приближались октябрьские праздники 1932 года, мне очень хотелось во время парада попасть на Красную площадь. Наташа обещала достать мне пропуск. День был пасмурный, прохладный, неприятный, на парад я не попала. Но когда я на следующий день зашла к Наташе, она лежала в постели с температурой.

Пришел Костя:

— Ну, вот и хорошо, Наташенька. Да не подумай, хорошо, что ты больная, я о том, что есть предлог не пойти на эти сборища, которые я терпеть не могу. А ты, Наташа, поправляйся скорей, и мы дома устроим пир горой, — и пошел в кухню готовить ужин.

После ужина Наташа обратилась к Косте:

— Ты знаешь, он совсем спятил, и, по-видимому, не только он, но кое-кто из его советников. Приехала Ольга Евгеньевна,

мать Нади, так он запретил ей остановиться у них, а Наде видеться с матерью, потому что она оказывает на нее плохое влияние. Ты знаешь, я понимаю Надю. В последнее время она сама не своя, жалко на нее смотреть. На днях я встретила знакомого профессора из Промакадемии, — продолжала Наташа. — Он остановил меня и озабоченно сообщил: «Пришла ко мне товарищ Аллилуева сдавать зачет, я не успел еще задать ей ни одного вопроса, как она вдруг схватила книги и выбежала из кабинета». Профессор был страшно расстроен: «Спросите, пожалуйста, — просил он, — может быть, я явился причиной? Передайте, что я приношу глубокое извинение». Я постаралась успокоить его как могла. Жалко мне Надю, она совсем извелась за последнее время. И чем это только кончится? — сказала Наташа.

Я неожиданно с глубокомысленной наивностью заявила:

— Очень просто, возьмет Надя и бросит его.

Для меня в моем возрасте он еще не был такой всемогущий вождь, его имя тоже не было особо весомое, многие другие имена старых большевиков-революционеров производили на меня гораздо большее впечатление, я любила и считала их настоящими творцами нашей системы. Они много писали, часто и запросто выступали, даже среди студенчества. Я помню, как однажды Н. И. Бухарин должен был выступить у нас, так наши ребята от радости прямо на руках дотащили его на третий этаж нашего института.

На имя Сталина я начала обращать внимание, и оно произвело на меня не очень благоприятное впечатление, во время коллективизации, когда появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», после и был принят закон ***о полной ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации, что означало лишение кулачества производственных возможностей*** существования и конфискацию у них всего имущества, всех средства производства, сельхозинвентаря, скотины, машин, и ссылку их на лесозаготовки и на работы в шахтах.

Я только после знакомства с Надеждой Сергеевной первый раз услышала, что уже в 1929 году, как только власти перешли от политики ограничения и притеснения кулачества к политике ликвидации кулачества как класса, во время проведения сплошной коллективизации Надежда Сергеевна Аллилуева старалась всеми силами воздействовать на политику Сталина. И что знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов» в марте 1930 года, которая должна была принести какие-то послабления, была якобы до некоторой степени ее победой. Но, к сожалению, ни улучшения, ни облегчения положения статья не принесла. И даже наоборот, в районах сплошной

коллективизации стало еще страшнее, еще круче, и от политики ограничения и вытеснения очень скоро перешли ***к политике полной ликвидации кулачества как класса.***

Это как раз и были годы, до начала жестоких сталинских репрессий, когда у руководства стояли еще те кадры, которые за долгие годы работы получили хорошую подготовку, а не просто набранные с улицы, как во время репрессий, чтобы как-нибудь и кем-нибудь заполнить освободившиеся после арестов места.

И хотя я восприняла ее тогда с облегчением, потому что думала: должен же кто-то, наконец, прозреть и что-то предпринять, но в то же самое время она вызывала у меня раздражение и досаду. Я никак не могла понять, как можно было писать такую необдуманную статью на фоне всех тех преступлений, которые, с моей точки зрения, уже происходили вокруг. Какое же это было «головокружение» от успехов, от каких успехов? И чем больше усиливалась компания по раскулачиванию и ликвидации кулачества как класса и чем больше его имя связывали с проведением этих «мероприятий», тем больше и сильнее я начинала ненавидеть его. «Подумаешь тоже, мудрец нашелся», — думала я о нем.

— Нина, дитя ты еще, все не так просто. Да и любит она этого черта рябого.

— Может быть, он тогда поумнеет и вернется к ней лучшим, — не унималась я.

— Да было однажды уже такое, но не удержалась, вернулась…

Вечером 8 ноября Надя позвонила Наташе:

— У Ворошилова сегодня по случаю празднования 15-й годовщины Октября прием, а как твое здоровье?

— И надо же было так глупо заболеть, — ответила Наташа. — Желаю тебе провести приятно время, потом увидимся.

Но увидеться не пришлось.

Смерть и похороны Н. С. Аллилуевой

9 ноября рано утром все близкие друзья Надежды Сергеевны Аллилуевой очень быстро узнали о ее самоубийстве. Кто-то, дежуривший в эту ночь в Кремле, сообщил Косте, что вчера ночью, 8 ноября, Надя вернулась от Ворошиловых очень расстроенная, в слезах, он никогда раньше в таком состоянии ее не видел, и заперлась у себя в комнате. После нескольких попыток связаться с ней он решил позвонить к Ворошиловым.

— Ничего страшного, пустяки — бабьи глупости… — ответил Сталин, и я почувствовал, что он навеселе, в хорошем

расположении духа, и успокоился. А утром прислуга в истерике прибежала к начальнику охраны и сообщила, что когда она открыла дверь в комнату Нади, пришла в ужас, на полу с пистолетом в руке лежала мертвая Надя.

На вызов очень быстро пришли несколько человек, участники вчерашнего приема у Ворошилова: Постышев, Енукидзе, Каганович, Полина Жемчужина. Все были потрясены и сидели в гостиной в совершенно шоковом состоянии, заявил знакомый Кости.

— А Сталин, где же был Сталин? — спросил Костя.

— На даче, — сказал он.

Когда Сталин ворвался в комнату Нади, он был похожий на получеловека-полузверя. На предложение врача увезти труп Нади в больницу Сталин категорически запротестовал. Решили оставить, не увозить и все приготовления к похоронам произвести здесь, на месте.

Костя был потрясен, Наташа рыдала так, что с трудом ее успокоили.

Случившееся, то есть истинную причину смерти Нади, надо было во что бы то ни стало скрыть. Знали об этом пока только несколько человек и все они были очень близкие Сталину люди. Самоубийство, с точки зрения коммунистической этики, всегда глубоко осуждалось как малодушие, как безвольный поступок, недостойный истинного коммуниста, поэтому самоубийц обычно хоронили без всяких почестей, и даже присутствие на таких похоронах коммунистов и комсомольцев не только не поощрялось, а даже запрещалось. Поэтому то, что произошло с женой Сталина, надо было сохранить в глубокой тайне. Люди, близко знавшие Надю, считали, что ее самоубийство было не только личным, но и политическим актом.

Газеты с прискорбием доводили до сведения товарищей, что в ночь на 9 ноября скончалась активный и преданный член партии тов. Надежда Сергеевна Аллилуева.

А семья и близкие друзья с глубокой скорбью сообщали, что в ночь на 9 ноября ВНЕЗАПНО скончалась Надежда Сергеевна Аллилуева.

Тело Н. С. Аллилуевой 9 ноября вечером было перенесено из кремлевской квартиры Сталина в большой зал ВЦИК на Красной площади.

Несмотря на плохое состояние Наташи, мы пошли туда.

Гроб стоял в большом белом зале, утопая в зелени, в цветах и венках. Оркестр играл траурный марш, и низко были опущены траурные знамена. В почетном карауле стояли члены правительства и Надины друзья.

Наташа горько безутешно рыдала. А я старалась разглядеть полузакрытое осунувшееся лицо той Нади, с которой я совсем недавно познакомилась. Нади, которая так сильно мне понравилась и которая с таким энтузиазмом и интересом допытывалась у Кости, что происходит на строительстве ДнепроГЭСа.

Сколько силы надо было иметь, чтобы за два месяца до окончания Промакадемии, которую она торопилась скорее закончить и начать самостоятельно работать, покончить с собой.

Я вспомнила, как она сказала мне:

— Какая ты счастливая, я ведь тоже мечтала в твоем возрасте учиться, но до этого разве было в то горячее время, вот мы с Наташей и наверстываем упущенное.

Наташе стало плохо, мы ушли.

На другой день, 10 ноября, был открыт свободный доступ для всех желающих проститься с покойной. И с 8 часов утра до позднего вечера в большой белый зал заседаний, где стоял гроб с телом Н. С. Аллилуевой, шел непрерывный поток людей — это были те же люди, которые только два дня тому назад, весело шагая по Красной площади, приветствовали Сталина и всех стоявших с ним на трибуне вождей, стоящих сегодня у ее гроба в траурном почетном карауле.

Верный друг Сталина

Газеты распинались во всю мочь, что «от нас ушла еще молодая, полная сил, бесконечно преданная партии и революции большевик»… Что росла она и воспитывалась в семье рабочего-революционера. Что как в годы гражданской войны на фронте, так и в послевоенные годы Надежда Сергеевна самоотверженно работала для страны. Что ее очень ценил В. И. Ленин и передавал ей самые секретные, самые ответственные поручения, и был уверен, что она выполнит все их с честью.

Член ВКП(б) с 1918 года, она была самым активным членом партийной ячейки Всесоюзной промакадемии им. Сталина и парторгом химического факультета, где была слушательницей отдела искусственного волокна.

11 ноября мы также пришли опять. Доступ народа был прекращен в полдень. В последнем почетном карауле стояли Каганович, Ворошилов, Микоян, Молотов. Перед тем как поднять гроб, подошел Сталин и, обхватив гроб, зарыдал. Стали выносить венки. Вместо траурного марша оркестр заиграл «Интернационал». Постышев, Каганович, Енукидзе, Молотов, Ворошилов, Андреев и Яковлев подняли гроб и отнесли к

катафалку.

За катафалком по Манежной, Кропоткинской, Зубовской, Большой Пироговке шли сотни, сотни людей до самого Новодевичьего кладбища. Сталин шел в начале за катафалком. Потом незаметно исчез. Прощальную речь у могилы произнес Каганович:

— Мы хороним друга того, кто руководит величайшей борьбой пролетариата за победу социализма.

Газеты писали: «Не один десяток лет могла бы еще поработать… Трудно писать о ее смерти, слишком живая и хорошая она была…»; «Вместе с тобой переживаем чувство тяжелой утраты твоего близкого друга и помощника в работе и борьбе за дело коммунизма». Так писали старые друзья и товарищи Сталина, такие как Бубнов, Кржижановский, Сулимов и многие, многие другие. Все они были впоследствии необоснованно репрессированы, расстреляны и посмертно реабилитированы.

В официальных некрологах Аллилуеву ***избегали*** даже называть ***женой*** Сталина. Только в одном соболезновании жен Сталинских соратников: Е. Ворошиловой, З. Орджоникидзе, Т. Постышевой, М. Каганович, А. Микоян и др. скромно упоминалось об этом: «Память о Надежде Сергеевне, как о преданной большевичке, жене, ***близком друге*** и ***верной помощнице*** тов. Сталина будет всегда нам дорога».

Но она была не только женой, она была и ***матерью*** двух его детей. Какая же невыносимо страшная должна была быть жизнь этой молодой цветущей женщины с этим чудовищем, чтобы в 31 год решиться на такой поступок, чтобы даже маленькие дети — шестилетняя дочь Светлана и девятилетний сын Василий, о которых никто даже мельком не упомянул, — не смогли удержать ее от рокового шага. До какой же степени допекла, до какой же степени невыносимой стала для нее жизнь с этим беспощадным, жестоким деспотом.

Те, кто знали его ближе, говорили, что в домашних условиях он просто тиран и деспот. Господи, да разве только в домашних условиях он был тиран и деспот?! Он был еще палач, и не просто палач, а самый изощренный палач в истории человечества.

Легенда о белой розе

На белой мраморной плите над ее могилой, говорят, высечена белая роза, якобы в память того, что Сталин, прощаясь с Аллилуевой, бросил в могилу на ее гроб белую розу. Но была и другая версия, что на вечере у нее в волосах была роза, которая

валялась на полу возле ее трупа. Народу на кладбище было очень много.

Похороны Н. С. Аллилуевой были тоже необычные. Правительство после строительства крематория (одно из достижений науки и техники), предлагало отказаться от церковных обрядов и поповских комедий, а просто кремировать умерших. «Нет места среди нас религиозному дурману. Не должно быть места и мещанству похорон». Так писали газеты, а народ, не желая расставаться со старыми обрядами и привычками, распускал самые нелепые слухи, например, что во время кремации мертвецы перед сожжением вдруг оживают и вскакивают.

Но видных членов партии, умерших своей смертью, всегда кремировали и замуровывали в стенах Кремля, и даже подчеркивали это.

Поэтому все, в том числе и члены партии, были поражены решением похоронить Аллилуеву на кладбище Новодевичьего монастыря. И даже, помню, распускались слухи, что ее отпевал священник. Этого, конечно, не было. Но решение не кремировать, а похоронить ее на кладбище, вопреки протестам Сталина, родственники и друзья Нади рассматривали так же, как и ее самоубийство — как вызов Сталину — и категорически настояли на выполнении ее последнего предсмертного желания.

Слухи

По поводу ее «внезапной» кончины тоже долго и упорно распускались самые невероятные слухи: говорили, что ее прикончил сам Сталин; что она отравилась, пробуя пищу Сталина; что она застрелилась прямо на вечеринке у Ворошилова в присутствии всех, когда высказала свое критическое мнение по поводу крестьянской политики, приведшей к голоду в деревне, а Сталин ей ответил самой грубой бранью, которая существовала в русском языке.

Говорили также, что на вечеринке у Ворошилова Сталин, заметив, что Надежда Сергеевна не пьет, обратился к ней:

— Эй, ты!

И бросил несколько нецензурных выражений в ее адрес. Он всегда был груб и жесток, но в этот вечер все, кто был там, заметили, что его грубость превзошла все границы.

— Я тебе не «эй ты», — ответила Надежда Сергеевна ему.

Тогда он стал делать шарики из хлебного мякиша и бросать в нее через стол, один попал ей прямо в глаз. Аллилуева поднялась и немедленно ушла с этой попойки. С ней вместе вышла Полина

Жемчужина, которая якобы старалась успокоить ее.

На это, я помню, Наташа сказала:

— Тоже мне, утешительница нашлась, она же и вашим и нашим, самый неискренний человек из всех, кого я встречала.

Сталин же, как будто, с этой вечеринки уехал прямо на дачу с какой-то женщиной. О чем и сообщил ей дежурный, когда она позвонила на дачу Сталину.

Мне жалко Надю!

Надежда Константиновна Крупская на похороны Нади не пришла, и даже не выразила соболезнование Сталину.

В то время, я также помню, в кулуарах, да и так просто, почти громко вслух, ходили упорные слухи, что Сталин может убить и Надежду Константиновну Крупскую. Они были настолько упорные, что это, вероятно, и было ее единственным спасением — так как в тот момент, если бы она скончалась, даже умерла естественной смертью, ее смерть была бы приписана в счет Сталинских убийств. Говорили, что впоследствии он все-таки сумел выполнить свое затаенное желание.

Наташа переживала до такой степени, что на нее тяжко было смотреть.

— Ты знаешь, Нинок, Надю я встретила, как и тебя, почти случайно, дружили наши родители, а мы с ней были детьми, дружили по-детски. Потом я почти никогда не вспоминала, не ожидала, что мы когда-нибудь встретимся, и вот видишь. Мне было бы легче, если бы я ее никогда не встретила.

Даже я, которая знала ее так мало, не могла прийти в себя от такой неожиданности. Если бы она попала под машину, утонула или заболела и умерла, на меня это не произвело бы такого страшного впечатления, как выстрелить в себя два раза!

Не много ли было в мои годы терять так часто и так трагично близких и знакомых мне людей: погибла Мария, попав под машину, погиб Миша, слетев с горы в своем альпинистском походе, погибла Зоя под колесами скорого поезда, а разрушенная, разбитая жизнь Кости, Павлика, Гаврика… Они-то чем виноваты? Что оказались детьми раскулаченных лишенцев?

А как мы все вместе мечтали, кто кем будет: Костя художником, Павлик писателем, а Гаврик артистом! Что с ними произошло в дальнейшем, я даже не знаю, я только услышала, что в один печальный день они вдруг все стали детьми кулаков-лишенцев, и все это произошло в течение двух лет.

Когда мы вернулись домой, я не выдержала, разревелась и заявила:

— Наташа, мне жалко Надю, мне очень, очень больно за нее, мне даже трудно представить, сколько горечи, обид, оскорбительных унижений должна была перенести она, чтобы прийти к такому концу. Но скажи мне, зачем же она покончила с собой, а не пустила пулю в лоб ему? Чего она этим поступком достигла? Абсолютно ничего, он станет еще злее и пойдет крушить направо и налево еще больше.

Так оно и было, я как в воду глядела, и сколько студентов за этот год было арестовано!

Только несколько дней спустя после похорон Н. С. Аллилуевой Сталин поблагодарил всех за внимание к внезапно скончавшейся — опять же — дочери старого большевика-революционера (повсюду подчеркивалось, что она дочь старого большевика, но упорно старались умолчать, что она жена Сталина).

Арест Оли

После занятий в институте наша бригада уже несколько дней шла заниматься к Ольге. Оля жила на Пятницкой с сестрой, которая только что вышла замуж и ушла к мужу. У Оли осталась маленькая комнатка в полуподвальном этаже старого двухэтажного домика. Одна стена под окнами всегда была покрыта плесенью, комната, постель, одежда всегда были пропитаны сыростью. Оля всегда чувствовала себя простуженной. Но, несмотря на все, все считали Ольгу счастливой, потому что у нее была своя комната.

Как только мы приходили к ней, первым делом затапливали голландскую печь, пекли картошку, иногда варили суп и, закусив по-домашнему, садились заниматься.

В единственном сухом углу ее комнаты стояло пианино, она неплохо играла. После занятий я всегда усаживалась в кресло, Ольга за пианино, я слушала и любовалась ею. Высокий лоб, светлые волосы, чуточку вздернутый носик над красивыми губами придавал ее лицу милое капризное выражение. Она любила все светлое.

Ольга играла мелодии Чайковского, Шопена. Прелестные, грустные звуки лились из-под ее тонких, красивых пальцев. Дрова весело потрескивали, играя бликами на лакированной поверхности пианино. Так мы любили проводить с ней время, иногда срывались и мчались в Большой зал консерватории, туда у нее был постоянный пропуск.

Как-то по дороге мы встретили Женю, нашего однокурсника. Шел густой теплый снег. Его куртка и шапка были покрыты толстым слоем снега. С веселой улыбкой он подошел к нам.

— Вы далеко направились, друзья?

— Музыку послушать. А тебя где так облепило снегом? — спросила я.

— Да я шел долго пешком. А можно вас проводить?

— Собственно, мы и без тебя дорогу знаем, но если уж на то твоя добрая воля, то можешь.

Ольга всю дорогу молчала, я не могла понять, что произошло, обычно они из института часто вместе возвращались пешком домой. Жили они в одном районе, закончили один и тот же рабфак. И мы все считали его хорошим другом.

Когда мы остались одни, она сказала:

— Не нравится мне в последнее время Женька. Он часто попадается там, где его не ожидаешь.

Наш пропуск был в директорскую ложу с правой стороны

зала. Когда мы уселись, Ольга обратилась ко мне:

— Обрати внимание на сияние лысин в первых рядах партера, от них даже светлее в зале.

Там действительно сидела солидная публика, любители прекрасной классической музыки, дальше шла уже смешанная публика.

Несмотря ни на какие трудности, мы с ней не пропускали ни одного концерта, ни одной театральной постановки, если даже голодные оставались.

Мы (то есть наша бригада) уже несколько дней подряд занимались у Ольги, готовились к экзамену. Я иногда после занятий оставалась ночевать у нее. Накануне экзамена все решили поехать к себе пораньше — привести себя в порядок. Я пообещала Оле, что скоро вернусь, и мы еще успеем позаниматься вместе.

Но я так устала, что прилегла на минутку и уснула, как убитая. Проснулась около 10 вечера, бросилась вниз к автомату в вестибюле, позвонила Оле:

— Да ты не волнуйся, уже поздно, позанимайся одна, а завтра мы увидимся, — ответила Оля.

Утром Ольга в институт не пришла.

— Что могло случиться? Я же с ней говорила в 10 часов вечера, она не жаловалась, что больна, — недоумевала я. Как только кончились занятия, я помчалась к ней. По дороге меня догнал Ваня, студент из нашей бригады.

— Ты к Ольге? Пошли вместе, я накануне забыл у нее галоши.

В темном, как погреб, коридоре мы долго стучали в ее дверь. Внутри тихо, никто не отвечал.

— Где же наша больная, куда она ускакала? — Ваня нагнулся к замочной скважине, пытался что-то насвистывать.

В этот момент отворилась дверь напротив, оттуда выглянуло испуганное лицо соседа и быстро спряталось. В это короткое мгновение я заметила круглую сургучную печать на дверях. Не веря тому, что увидела, я попросила Ваню зажечь спичку. Никаких сомнений не было, дверь была опечатана.

В голове поднялся хаос, хотелось закричать, хотелось застучать кулаками в заколоченную дверь:

— Оля, за что же, за что?

Ваня, забыв про свои галоши, схватил меня за руку и вытащил на двор.

Во дворе я подошла к окну и заглянула внутрь. Книги, бумаги и различные вещи были разбросаны на полу. Посередине лежали чемоданы, вокруг которых валялось белье. Постель была

разобрана.

Значит, она спала, когда «они» пришли за ней.

— Нина пойдем, — Ваня тащил меня за руку, а я не могла оторваться, не могла поверить, что это действительность, а не кошмарный сон.

От этой полуподвальной комнаты я уходила, как уходит человек от свеже-засыпанной могилы.

Вернулась в общежитие совершенно разбитая. Ольга в тюрьме. В тюрьме… у нас, здесь, в Советском Союзе. За что?! Что она успела такое сделать, чтобы представлять такую угрозу для страны? Я готова была кричать, биться головой о стенку.

ГПУ видней

Ольга была первая. Вся наша группа на следующий день знала о том, что произошло с Олей, но все молчали. Мне казалось, если бы я пришла с похорон, я не была бы такой убитой. Я старалась уговорить себя, что это какое-то недоразумение и Ольгу отпустят. Но прошла неделя, пошла вторая.

Собрали собрание, все сидят молча, все знали, о чем будет идти речь. Всем неудобно в глаза друг другу смотреть. Ольга была лучшей студенткой и очень хорошим товарищем. Но собрание шло по заведенному шаблону, все должны были выступить, все должны были что-то сказать, что каются за свою близорукость. И что впредь они будут бдительны, что ни один гад не сумеет ускользнуть от них.

Уже все закончили свои выступления, лица всех обращены ко мне. Ведь я была самым близким ее другом, значит, я первая должна была встать и вылить ушат грязи на ее несчастную голову. Так полагалось, чтобы отвести от себя всякие подозрения.

Ожидание уже становилось нестерпимым. Лиза, в президиуме, наблюдала за мной и нервничала. А я уже ничего не видела вокруг, только устремленные на меня глаза, и злилась на себя, почему я такая плаксивая. Только бы не зареветь. И не то про себя, не то вслух вырвалось у меня:

— Не верю, не могу поверить, что Ольга в чем-нибудь виновата. Вот увидите, там разберутся, ее выпустят, и нам всем тогда будет стыдно.

Собрание кончилось. Лиза села возле меня.

— Нина, посмотри на себя, ты совсем больна. Зачем ты пришла на занятия?

— Лиза, неужели ты веришь тому, что говорилось на собрании? Веришь, что Ольга — волк в овечьей шкуре, что она змея со спрятанным жалом… веришь? Скажи, веришь?.. Ну что же

ты молчишь?.. Или я ослышалась? Почему же все стараются друг перед другом заплевать, заклеймить человека, которым вчера еще гордились?

Лиза тоном старшей поучающей сестры обратилась ко мне:

— Нина, в ГПУ без вины не берут, ты должна это усвоить. А потом, откуда мы знаем Ольгу хорошо?

— Неправда, я ее знаю, она невиновна. Когда мы были в Красноуральске и видели безобразия, которые там творились, мы обе переживали в равной степени. А разве ты, Лиза, осталась бы равнодушной? Трудно поверить — Ольга распространяла контрреволюционные идеи, деморализовала нашу среду и многое другое. Ну скажи, хоть слово правды есть в этом? Ольга и я — дети старых революционеров, мы выросли при советской власти, нас воспитала школа, пионеры, комсомол. Откуда у Ольги в 19–20 лет столько контрреволюционности? Разве можно поверить, что она в ее годы настолько опасный для общества человек, что ее нужно посадить в тюрьму? Если с тобой или со мной случится что-либо подобное, нас так же заклюют.

Лиза поднялась:

— Хватит, замолчи, ГПУ лучше нас с тобой знает, что делает, а тебе я советую быть аккуратнее, за язык тебя никто не тащит. Пошли обедать и поедем ко мне заниматься.

Без Ольги мне было невыносимо грустно, я очень тосковала. На ее месте сидел уже кто-то другой. «Холмик земли как будто рос над ее могилой».

Все об Ольге как будто забыли, кроме старосты нашей группы. Очень странный человек, который для всех был загадкой, так как никто не мог понять, откуда он взялся. Говорил он только по-украински, причем, с таким сильным западноукраинским акцентом, что иногда даже мне было трудно его понять. Перебежал он с западной Украины (тогда эта часть была заграницей), скрывался несколько месяцев где-то в зарослях не то пшеницы, не то подсолнухов, как он мне как-то сам рассказывал, пока не решил объявиться властям. Как попал он в наш институт, понятия не имею. Было ему лет 40 с хвостиком, все допытывался у меня:

— Та скажи ж ты мени, що вы там з Ольгой болтал?

Писал, читал и говорил он настолько неграмотно, что трудно было понять, как он сумел окончить институт. В то время как все в институте старались приодеться, он ходил в подчеркнуто старой потрепанной одежде «под пролетария». В заношенных до неприличия брюках, темных, черных или серых рубашках на выпуск и засаленных потрепанных пиджаках. Но деньги у него были, это знали все, он никогда ни в чем себе не отказывал.

Наконец я не выдержала и заявила ему:

— Знаешь, на тебя тошно смотреть, пошли покупать тебе костюм.

Так он переоделся в темно-синий костюм, приличную рубашку, но все равно сморкался, прижав одну ноздрю пальцем. Был он один из самых больших активистов, и даже под конец учебы умудрился вступить в партию. Парторгом нашей группы был тоже, под стать ему, очень неприятный тип, товарищ Кутаев, они крепко дружили. Вначале они занимали одну кабинку вдвоем, потом их разлучили. И вдруг после ареста Оли они оба стали ко мне очень внимательны, но Кутаев никогда, ни разу не спросил об Ольге. В то время как Гришка непрерывно приставал ко мне с вопросами.

После ареста Оли я настолько изменилась, что Лиза часто говорила:

— Нина, разве можно так? Ты должна понять, что помочь ей не в твоих силах. Наше правительство зря людей не сажает. Изолируя единицы, оно охраняет спокойствие миллионов.

Незваный спаситель

И вот как-то вечером постучали, и в комнату неожиданно вошел Гринев Н. В. Я никогда его не приглашала, и он никогда не заходил ко мне раньше. И вдруг явился…

— Как вас сюда занесло? — удивилась я.

Не извиняясь за свое неожиданное появление, он с ужасно озабоченным видом обратился ко мне:

— Мне нужно, мне очень нужно с вами немедленно поговорить по весьма, весьма важному делу, которое касается непосредственно вас.

Тон его был настойчивый, решительный. Он заявил, что является моим лучшим другом, и мое благополучие его очень беспокоит.

— Спасибо, Николай Васильевич, но я вовсе не нуждаюсь в каком-либо покровительстве, и никакого повода к этому я вам не давала, но я чувствую, что что-то произошло или случилось, что привело вас сюда так неожиданно, объясните просто и ясно.

Мой гость замялся и затем решительно приступил к объяснению: что с огнем не шутят, что я совершенно не понимаю серьезности своего положения и веду себя «просто по-детски».

— В чем дело? Я ничего не понимаю, расскажите же, наконец, толком, что произошло?

— Хорошо, начнем с того, вы знаете, где находится ваша лучшая приятельница Ольга. Имейте в виду, что туда попадают

люди, в виновности которых нет сомнения. Ее имя прочно связывают с вашим, ее и ваше имена пишут через тире, — подчеркнул он несколько раз.

— Но при чем здесь вы? Вы же о существовании Ольги вовсе не знали, — закричала я.

Он смутился, и через минуту сказал:

— Ну вот что, я вам верю и постараюсь быть откровенным, как только могу.

Он сообщил мне, что его пригласил следователь и дал возможность ознакомиться со всеми материалами относительно дела Ольги.

— Я был поражен, прочитав вашу фамилию. Меня спросили, знаю ли я вас. Я не имел оснований ответить отрицательно… Мне предложили даже присутствовать на допросе Ольги. И я несколько часов слушал, как ее допрашивали.

Меня охватил ужас. Ольгу допрашивали! О чем?! Я схватила его за рукав шинели:

— Скажите, что с Олей?! В чем ее обвиняют, о чем ее допрашивают?! То, что ее имя и мое пишут через тире, меня вовсе не волнует и не интересует. Скажите же мне, как Ольга?!

Он заявил, что должен признаться, что такого упрямства, такого гордого мужества от такой молоденькой, хрупкой девушки он не ожидал. Иногда ему казалось, что не ее, а она допрашивает.

— Она же не на юридическом факультете, а в техническом институте училась, — продолжал рассказывать он, а я про себя думала, как же можно вести себя иначе, если виноватой себя не чувствуешь.

Он вдруг, как бы прочитав мои мысли, произнес:

— Но это и плохо. К ней будут подходить гораздо строже.

— Николай Васильевич, если вы называете себя моим другом и говорите, что это привело вас ко мне, то скажите, что от нее нужно этой почтенной организации? Почему пал жребий на нее? В чем ее обвиняют? Она ни в чем, ну абсолютно ни в чем не виновата, я хорошо это знаю, и поэтому меня этот вопрос очень мучает, — обратилась я к нему.

Он ответил, что не может и не имеет права отвечать на все мои вопросы, но постарается ответить мне так, чтобы я поняла. Ольгу обвиняют в троцкизме.

— Ольгу обвиняют в троцкизме?! — я широко открыла глаза. — Почему?! Какое она имеет к этому отношение?

— У нее нашли книгу Троцкого изданную… — он не успел закончить, как я почти закричала:

— Дико, глупо, мы ее читали вместе, а нашли мы ее в ящике с книгами, предназначенными для растопки печей.

— Это не важно, кто и где нашел, важно, что ее читали, хранили, что она вызвала такой интерес.

— Знаете, я все-таки не допускаю, чтобы среди ночи или под утро явились с ордером на арест, перевернули в комнате все вверх дном и искали книгу, подобранную в мусорном ящике, кстати, лежавшую на столе. Это немыслимо. Какая же настоящая причина ее ареста? Это ужасно!

— Вот чтобы этот ужас не постиг и вас, — сообщил он, — я и явился к вам. — У меня был очень серьезный разговор по поводу вас, — продолжал он. — Если бы не я, вы уже имели бы очную ставку с Ольгой, и вам пришлось бы разговаривать уже не со мной в этой комнате, как с другом, а в ГПУ со следователем. Я рассказал им все, что знал о вас и что слышал о вас от ваших друзей Кости, Наташи.

— Господи, да вы-то тут при чем?! И почему вас спрашивали обо мне, а не меня, и кто вас уполномочил?

Он встал и попытался шагать по комнате, два шага до двери и два обратно, но решил обратно сесть.

— Перестаньте! Успокойтесь! — властно приказал он. — Вы не понимаете опасности вашего положения… Я очень, очень прошу вас, не сердитесь на меня, но я сказал, я вынужден был сказать… Наконец я им сказал, что я вас хорошо знаю, что я женюсь на вас… — с трудом выдавил он из себя. — Этого потребовали обстоятельства… Я дал за вас свое поручительство, я ручался за вас своей головой, своей честью… И я не смогу это выполнить, если вы будете жить здесь… Вы должны переехать ко мне немедленно.

В первый момент я просто растерялась. Меня могут арестовать, и за что?! Или я должна выйти замуж за эту «телегу мяса», как я со злости обозвала его.

— Уходите, уходите, пожалуйста, уходите немедленно! — закричала я. — Не только замуж, но я просто видеть вас больше не желаю! Кто вас просил давать за меня поручительство, вы сами за себя не можете поручиться! Мне ваше поручительство не нужно, я не чувствую себя виноватой ни перед кем, вся моя жизнь кристально чистая перед людьми, которых я люблю, и перед страной. И если за это сажают, то запомните, более высокой чести себе не желаю. А теперь уходите, пожалуйста, уходите, и немедленно!

— Нина, перестаньте, я вовсе не такой, я вас люблю, очень-очень люблю, и только это привело меня к вам. Я испугался за вас, за ваше будущее, я ведь знаю, что значит попасть таким, как вы, в этот капкан. Я не должен был рассказывать вам все, что рассказал. Делайте со мной, что хотите, но я тронут, глубоко

тронут чувствами вашей дружбы к Ольге… Какой счастливый был бы я, если бы мог рассчитывать хоть на одну сотую долю их. Я ухожу, но умоляю вас, подумайте. Защитить вас смогу один я, но только в том случае, если вы будете со мной под одной крышей.

— Вот что, вы раньше скажите, что ждет Ольгу? И можете ли вы чем-нибудь облегчить ее участь? Если уже вас в это дело втащили.

— Положение ее могло быть лучше, но она ухудшила его своим поведением, она так же, как и вы, заявила, что если ее осудят за то, в чем обвиняют, то это честь для нее. По статьям, которые ей предъявили, ей грозит от 3 до 7 лет тюрьмы или ссылки.

У меня перехватило дыхание: Ольге, с ее здоровьем, от 3 до 7 лет тюрьмы или ссылки, где даже один год пребывания — гибель для нее! Мне стало так страшно и больно за нее, что я наговорила сгоряча столько, что он даже закрыл мне рот рукой.

— А теперь, пожалуйста, — попросила я, — пожалуйста, уходите…

Он встал.

— Николай Васильевич, помогите, помогите не мне, а Ольге, если вы можете, я очень прошу вас.

В моем возрасте, в эти годы, я никак не могла понять, почему вопреки всякому здравому смыслу происходят вещи, которые наносят вред, как мне казалось, нашей лучшей в мире системе и нашему государству.

Жуткая гибель Зои, трагическое самоубийство Надежды Аллилуевой, с которой я только что успела познакомиться, и которая была еще как живая в моей памяти. Мне казалось, что кроме всего прочего, она погибла из-за того, что, будучи идейным членом партии, она не могла видеть и перенести то, что творилось в стране, и, почувствовав свою беспомощность, покончила с собой. И вот теперь арест Оли. Спрашивается, за что? Какая бессмыслица: выдумывать обвинения, набивать тюрьмы совсем невинными людьми — такими как Ольга. Ведь туда могла бы, очень легко могла бы попасть и я. И за что? И почему Оля, а не я? Мы с Олей думали одинаково, чувствовали и переживали одинаково. Значит, и я такой же социально опасный элемент, как Оля, так почему же Олю арестовали, а не меня? Ведь мы возмущались, ругались, делали это не из желания изменить наш строй, а из желания улучшить, считая, что он должен быть идеальным, примером справедливости во всем мире. Другой системы мы не знали, мы выросли при советской власти и считали ее самой лучшей и справедливой на всем земном шаре, и бороться за что-то другое нам и в голову не приходило. Так за что

же нас сажать и ссылать?

Перемены к лучшему, теперь я уже знала это, могли прийти только сверху, от тех, кто стоял во главе государства. Но попав, более или менее, в их среду, я также поняла, что некоторые бывшие идеалисты превратились в обыкновенных карьеристов, дрожавших за свое личное благополучие и сквозь пальцы смотрящих на происходящее вокруг них.

Сталина уже многие ненавидели, по выражению Енукидзе, его «надо было уничтожить еще в утробе матери», и даже мать его надо было в молодости заточить в монастырскую крепость. Калинина считали ничтожеством. Каменева и Зиновьева, которые после опалы сделали резкий поворот к партии — флюгерами, Буденного называли великим конюхом, Ворошилова — никчемным политиком, а Молотова «каменной задницей» и т. д.

И все-таки еще было много честных, преданных коммунистов, способных принести себя в жертву за те идеи, за которые они, не щадя своей жизни, совсем недавно так упорно боролись. Вот их-то и стремился Сталин как можно скорее не просто убрать, а ликвидировать.

Прощание с Ольгой

«Войдите!» — и на пороге появилась бледная, прозрачная Ольга. Я была больная и уже несколько дней торчала дома в общежитии, и в первую секунду в голове мелькнула мысль, что это бред, привидение, настолько изменилась Оля.

— Оля, Оля, как я рада! Выпустили, выпустили! — я крепко обняла ее. Господи, как она похудела. — Оленька, родная, это не мираж, это ты, ну садись, расскажи все, все, я хочу знать все!

— Ну, здравствуй, да ложись ты и успокойся, — Оля села напротив на кровать моей соседки. Глубокие впадины глаз, заострившийся нос на бледном, без кровинки, лице. — Я заехала в институт, думала, там увижу тебя, но мне сказали, что ты больна. По дороге к тебе я задумалась и проехала три трамвайные остановки до Воробьевых гор, оттуда шла пешком, — чужой, надтреснутый голос.

Оля вынула папиросу, закурила…

— Оля, ты куришь? Ведь это вредно для тебя…

Оля, горько улыбнулась, и затянулась всей грудью:

— Вредно? А голодовка не вредна была, а допросы не вредны были? А сиденье в одиночной камере без света и воздуха?! Ты, пожалуйста, не очень расспрашивай меня, я дала подписку. Этих слов ты тоже не слышала. Вредно курить? Да меня на Лубянке и научили.

Оля нервно раскачивалась всем туловищем, крепко сжав руки.

— Накорми меня, если у тебя есть чем.

Я достала из-за окна все, что там было: одна банка компота, консервированная черешня, кусок черствого хлеба, селедка и не помню что еще.

— Откуда у тебя торгсиновский товар? — Оля указала на консервную банку.

— Наташа принесла.

О многом хотелось спросить, так много хотелось рассказать ей — как я ночи мечтала о встрече с ней, мысленно вела с ней бесконечные разговоры — а вот теперь сидит Оля со мной, и я как будто все забыла. Это потому что она предупредила ни о чем не спрашивать, мелькает у меня в голове.

— Оля родная, хоть что-нибудь, — не выдержала я, — но ведь хоть что-нибудь можно?

— Получила я три года. Высылают в Алма-Ату. Дали день на сборы. Никак не пойму, откуда такая привилегия. Разговаривала я с ними так, что у меня не было ни малейшего основания рассчитывать на такую милость. Знаешь, Нина, политэкономию нужно изучать там, а не как мы с тобой, просиживая до закрытия в библиотеках. Какие мы наивные были! А как Костя? — вдруг спросила она. — По старому? Не нужны нам больше такие идеалисты, как Костя, не ну-ж-ны, — протянула она.

Ольга заторопилась.

— Мне пора уходить, если я засижусь у тебя, это может быть небезопасно для тебя.

Вот сейчас Ольга уйдет, и я никогда, никогда ее больше не увижу. Но где же все то, о чем я собиралась говорить с ней? Да и к чему все это, к чему все эти разговоры, когда уходит из моей жизни молодая, двадцатилетняя Ольга. За ней закроются двери даже тех незначительных радостей, которыми обладает свободный человек. Лучшие годы жизни в ссылке… Выдержит ли ее хрупкое здоровье это трехлетнее испытание?

— Нина, моя жизнь кончилась, — как будто угадав мои мысли, произнесла Ольга.

— Оля, я думала, что тебя совсем, совсем выпустили. Почему Оля? За что? Оленька, ну скажи, за что? Ведь на Урале мы были вместе, письмо писала я, не ты. Ругалась со всем начальством я, не ты, так за что же тебя, а не меня?!!

— Успокойся, это все никакого отношения к Красноуральску не имеет. Об этом никто даже не упоминал, не мучай себя.

Самой ужасной была последняя минута прощания. Что я могу сказать ей на прощание? Будь здорова, будь счастлива,

счастливого пути? Какой же это счастливый путь, по этапу… Горький ком подступает к горлу, нет, нет, я не должна плакать, не должна. Чувствуя, что все мужество меня покидает, я стала уговаривать ее.

— Оля, наберись мужества, помни, что у тебя есть друзья, которые тебя не забудут…

Оля не дала мне закончить:

— Нинок, родная, не волнуйся обо мне, самое тяжелое испытание я уже выдержала. Поправляйся, я буду писать тебе — надеюсь, ты мне ответишь.

— Конечно Оля, мы будем переписываться. Я буду высылать тебе книги, новую учебную программу, старайся заниматься там… Вернешься, и мы будем вместе защищать диплом, — успокаивала я ее, не веря сама своим словам.

Ольга ушла, шаги ее затихли, а мне хотелось кричать — за что? Кому она мешала? Кому она угрожала? У меня уже накопилось так много — страшная гибель Зои, тяжелая потеря Оли — что казалось, мне было бы легче, если бы я очутилась там же, где Оля. Завтра поезд умчит ее далеко-далеко отсюда, а ее место на Лубянке займет другой.

Оставаться дома после встречи с Олей я просто не могла. Мне казалось, я с ума сойду. Промучившись всю ночь, я рано утром, чувствуя себя еще очень больной, помчалась в институт.

Честный вор

В кафетерии института до начала занятий ко мне подошел студент нашей группы Ваня Богатырев. Бледный, как полотно, он безжизненно опустился на стул.

— Что с тобой, тебе дурно? — заволновались студенты.

— Нет, нет товарищи… Я потерял… потерял… стипендию… — посиневшими губами шептал он.

Мы все притихли. Каждый из нас понимал, что отчаяние его так велико, что мы не в состоянии ни помочь, ни утешить его. Это был один из самых странных студентов в нашей группе: бледный от вечного голода, с темными впалыми глазами на похудевшем лице. Его огромная голова с ушами утопала в странной блинообразной фуражке какого-то дореволюционного происхождения. Темное ношенное-переношенное пальто было ему явно не по росту. Лет двадцать тому назад, вероятно, портной шил его на человека, по крайней мере, в полтора раза выше него. В него можно было втиснуть два таких Богатыревых. Рукава он подбирал гармошкой, или они болтались чуть ли не до полу. В особенно холодное время он это пальто подпоясывал подобием

какого-то ремня, чтобы холоду было труднее проникнуть под его покров. Теперь облезший, а когда-то меховой воротник этого пальто он обвязывал шерстяным чулком, приспособленным под шарф. Под пальто он носил галифе, первоначальный цвет которого установить было трудно, и серую рубашку-косоворотку прямо на голое тело. Ноги были обуты в огромные ботинки, обмотанные до колен обмотками. Носки были для него недостижимой роскошью. Но в академическом отношении это был один из лучших студентов.

Исчезла стипендия, студенческий билет, обеденные карточки в невероятной давке московских трамваев. Забыв, что он голоден, что впереди предстоит целый голодный месяц, он только стонал:

— А мать… как же теперь она… Больная… она же ведь ждет.

Мы обошли всю группу, собрали с каждого по рублю. И группой решили, что каждый из нас, по очереди, один день свой обед отдаст ему.

Прошло дней десять. И вдруг ко мне явился сияющий Ваня. Его широкое лицо расплылось в счастливой улыбке. Положив на стол все, что собрали для него студенты, сказал:

— Пожалуйста, раздай и поблагодари ребят.

— Ты что, наследство, что ли получил? — удивилась я.

— Почти… — улыбнулся он, протянув мне письмо.

Безграмотным почерком было написано:

— Прости друг, бывает, и я ошибаюсь. Развернув свою добычу, я увидел, что обворовал нищего студента. У меня тоже есть совесть. И вот тебе подарок за мое тебе беспокойство, двести рублей. Половину отправь своей старушке.

У Вани вместе со стипендией был список его расходов, баланс был явно отрицательный. Мы все были в восторге от такого честного вора.

Самоотвод

Ольга уехала, и мне казалось, что что-то во мне рухнуло, оборвалось, она как будто увезла с собой частицу меня. Я с нетерпением ждала писем, но их не было. Я стала более замкнутой, более сдержанной на комсомольских собраниях, меня уже раздражали пафосные выступления горе-активистов, я садилась куда-нибудь подальше в угол, чтобы меня не замечали, и молчала, а если предлагали куда-нибудь меня выбрать, я искала уважительную причину, чтобы отказаться.

В те далекие времена происходили открытые голосования, председатель или кто-либо из президиума обычно предлагал собранию несколько кандидатур и просил всех высказаться по

поводу каждой из них, кто за, кто против, а сами кандидаты могли либо согласиться, чтобы их избрали, либо дать себе так называемый «самоотвод». И после этого проходило открытое голосование.

Такое мое поведение было необычным, так как в комсомольских кругах меня часто выдвигали и отправляли, как тогда говорили, на проведение всяких ответственных общественных мероприятий.

Лиза понимала меня и, боясь за меня, выступала в качестве моей защитницы:

— Уважим просьбу Нины, — и предлагала другую кандидатуру вместо меня. А после собрания меня журила:

— Возьми себя в руки, так нельзя, это может кончиться для тебя плохо.

— Мне все равно, — отвечала я, — в Сибири тоже люди живут. А ты мне скажи: все-таки за что туда ссылают?

— За дело. Да перестань ты, наконец. Помни, что правительство лучше нас знает, что делает. Пойдем лучше ко мне сегодня, — предлагала Лиза.

Жила Лиза — «наша парттысячница», как мы говорили — очень скромно. Семья у Лизы была большая, ютилась в двух крохотных комнатушках, которые она получила, как парттысячница, в общежитии на Усачевке. Лиза, ее муж Вася — тоже студент Промакадемии, маленький, вечно больной ребенок, мать и два брата — младший Ваня, студент нашего института, и старший Костя, свободный художник, без конца имевший какие-то неприятности с блюстителями порядка. Оба они были великолепные музыканты, играли на всех инструментах, которые попадали под руку. Особенно этим отличался Костя. Анекдоты, в том числе антисоветские, рассказывал с таким мастерством и юмором, что даже сильно партийная Лиза не могла не хохотать.

Мать кормила семью ужином, подавая на стол крохотные порции еды. Я всегда отказывалась, мне казалось, что у нее все рассчитано, так что если я съем что-нибудь, то кто-то останется голодным.

После ужина мать укладывала вечно плачущего ребенка спать, а мы с Лизой садились заниматься. В непогоду Лиза не отпускала меня, оставляла ночевать, стелила мне на длинном сундуке, а чтобы ноги не свешивались, подставляла стул. В такие вечера ребята далеко за полночь развлекали нас игрой на гитаре, балалайке, скрипке, гитаре и, как я уже сказала, на всем, что под руки попадет.

После ссылки Ольги к Наташе я ходила редко. Я избегала встречаться с Гриневым, его покровительственный тон при

встречах меня раздражал.

Красный бант от Буденного

23 февраля празднуется ежегодно День советской Армии и Военно-Морского Флота. В этот день мне выпала не только честь присутствовать на празднике, но мне даже доверили приколоть красный бант к груди Буденного. Когда я приколола красный бант к его защитной гимнастерке, я тоже самое сделала нескольким ветеранам гражданской войны, присутствовавшим на этом юбилейном празднике в качестве гостей.

Рядом с Буденным сидел Бубнов (нарком просвещения), я ему также приколола бант. Буденный снял бант и приколол мне:

— А знаете, красное вам идет!

Я смутилась и подумала, что он обиделся, что я его не выделила из числа других, сделала движение, чтобы снять бант, но Бубнов остановил меня:

— Не надо, не надо, вам ведь и правда хорошо, — и он улыбнулся.

Помню еще, как на торжественном собрании по случаю досрочного выполнения годовой программы на заводе им. Калинина в Москве присутствовал Калинин. Ему должны были преподнести какую-то почетную грамоту, и опять от Ленинского райкома комсомола послали меня. Я благодарила Калинина от имени завода и преподнесла ему грамоту. И тогда я с трудом понимала, почему это должна была делать я? На заводе могли найти более подходящего человека, правда, завод этот был подшефным нашего института, и все же, если это считать за честь, то эту честь, я считала, заработали многие на заводе.

Из кроликов лошадок вырастим!

Эта зима была очень тяжелая для меня, и мне так хотелось в эти весенние каникулы попасть домой. Письма родных были ласковые, бодрые, они никогда не жаловались. Писали, что забрали к себе мамину сестру с тремя ребятишками, я поняла, чтобы спасти от постигшего Украину голода 1933 года.

Я начала экономить по своей продовольственной карточке все что могла — сахар, крупу, макароны, сушила сухари — чтобы послать им.

Отец был директором металлургического чугунно-литейного завода, и даже для этого завода ему потребовались колоссальные усилия, чтобы добиться получения продовольственных карточек для рабочих.

Это был тяжелый, голодный 33-й год.

Перед отъездом Наташа протянула мне пропуск в правительственный магазин.

— Это откуда?

— Возьми, это передал тебе Гринев, он хотел передать тебе лично, но ты его избегаешь.

— Не возьму. Чужие блага мне не нужны, — зло отчеканила я. — Пусть он отдаст кому-нибудь другому и оставит меня в покое.

— Глупости ты говоришь. Он взял их только для тебя, он ими не пользуется, у него в Кремле все есть. Ты же едешь домой, купи все, что полагается по книжке, маме и ребятишкам, все пригодится.

— Перестань, Наташа, меня уговаривать. Ты ведь знаешь, если отец узнает, что я привезла продукты по этим кремлевским книжкам, он перестанет меня уважать.

— Надо сказать, ты характерцем отцу не уступишь. До сих пор помню, как мы месяц боялись на глаза отцу показаться после нашей неудачной попытки заменить его старую кожаную куртку на такую же новую, — вдруг вспомнила Наташа.

— Так вот, каким он был, таким он и остался.

Голод в этом году на Украине был даже хуже, чем в 1921 году, но тогда два года подряд была засуха плюс послевоенная разруха. Но почему же произошел этот грандиозный по своим размерам и потрясающий по последствиям сталинский (как я его уже тогда назвала) голод в 1933 году?

В этом же 1933 году все газеты громко трубили, что советский народ успешно выполнил первый пятилетний план и приступил к осуществлению второй пятилетки.

За несколько дней до поездки домой я зашла к Наташе. Кости дома не было, он явился вечером в сопровождении своих старых товарищей. Так близко, по-домашнему я встретила их всех первый раз: Яна Гамарника, Авеля Енукидзе, Серго Орджоникидзе, Бухарина, все они казались мне старше моего отца, и я соответственно вела себя с ними. Пришли они с какого-то собрания или совещания, продолжая обсуждать какой-то вопрос, по которому, по-видимому, не смогли прийти к общему соглашению.

Зашел Буденный, прямо с ипподрома, еле держась на ногах не то от выпитого, не то от возбуждения. На его новенькой гимнастерке сияли ордена.

— Ты прямо как на параде, во всем облачении, — хлопнув его по плечу и прижав к дивану, что бы усадить, съязвил Енукидзе.

— А какие, товарищи, лошадки, какие лошадки, загляденье!

И шли по ипподрому, как балерины.

— У тебя на все одна мерка — балерина, — не унимался подшучивать над ним Енукидзе.

Бухарин отошел от окна, сел в кресло:

— А как бы вы считали товарищи, вот если бы таких лошадок продемонстрировали нам в колхозах, неплохо было бы…

— Все будет, и колхозы будут, и лошадки будут, мы из кроликов лошадок вырастим, — громко вставил Буденный. Все расхохотались.

— Подохнут, ей богу подохнут, как все наши кролики подохли, — хохотал до слез Енукидзе.

В 1930 году, как раз когда я приехала в Москву, была какая-то кроличья лихорадка. Правительство мудро решило восполнить отсутствие мяса в результате гибели и убоя скота во время нерадивой преступной коллективизации за счет разведения кроликов на мясо. Всем заводам, колхозам, городам и селам предписывалось, и не только предписывалось, а даже требовалось по плану, заняться разведением кроликов. Изданы были горы книг, руководств и инструкций по размножению кроликов и уходу за ними. В Москве выстроили дома-питомники. В Парке культуры и отдыха устроили выставку. Там развели таких красавцев, что все, кто верил и не верил в спасение с их помощью страны, в том числе и я, несколько дней подряд ходили любоваться ими. И вдруг разнеся слух: какая-то кроличья чума напала на наших кроликов. Искали вредителей. Все выставки и кроличьи дома опустели. Так закончился дорогой кроличий эксперимент и эта бесславная идея — кому бы она ни принадлежала.

Вскоре Буденный собрался уходить. Перед тем как уйти, он подошел к столу, налил вина в рюмки и предложил мне и Наташе выпить с ним на брудершафт. Быстро опрокинув рюмку в рот, выпил одним глотком, обтер усы и заявил:

— Ну что ж, поцелуемся.

— Любит целоваться, усатый черт, хорошо, что ты ушла, — заявила Наташа.

Явился Гринев, он должен был прийти почему-то с Надеждой Константиновной, но пришел один.

— Что случилось? Почему один? — заволновались все.

— Не могу понять, вчера обещал, сегодня Ягода заявил: не могу, ничего не могу сделать, это последнее распоряжение.

Настроение у всех упало.

Орджоникидзе разгорячился:

— Жену Ленина держат под наблюдением, хоть и под домашним, но под… Товарищи мы должны что-то сделать.

Человек она больной, и это убьет ее.

— Ягода сказал — несмотря на то, что это держится под большим секретом — у него есть сведения, что в народе уже ползут слухи, и что он собирается подать об этом рапорт Сталину, — сообщил Гринев.

Как же это так, тогда уже подумала я, значит власть, по существу, сосредоточена в руках у одного человека. А все эти люди, боровшиеся за советскую власть, не щадя своей жизни, растерялись, стали в тупик перед столь возмутительным фактом, как содержание под (как тогда все говорили) домашним наблюдением Н. К. Крупской, жены Ленина, и не знают, что же делать. Все считали, что после смерти Н. С. Аллилуевой Сталин стал более жестоким, и особенно в немилость попала Надежда Константиновна.

— Я поеду к Сосо и поговорю с ним, — волнуясь и нервничая, предложил Орджоникидзе.

И я сразу же прониклась к нему глубоким уважением. Вскоре все ушли.

Что творится в нашем царстве-государстве?

С Орджоникидзе я была уже знакома, когда мы были в Красноуральске на практике, он прибыл туда сразу после забастовки.

Возле нашего барака, где мы жили, было небольшое беленькое здание кинотеатра. У самого входа в этот кинотеатр подбежала ко мне секретарь директора завода:

— Пойдем, пойдем скорее, тебя там ждут.

Я была удивлена: кто меня ждет и зачем?

— Ты понимаешь, приехал Орджоникидзе, и директор хочет, чтобы ты пришла.

Пришлось вместо кино идти к директору. Оказывается, директор хотел, чтобы я рассказала Орджоникидзе все, что я рассказала ему в истерике во время забастовки.

Как только все ушли, ко мне подсел Гринев.

— Нина, я вас так давно не видел. Почти целую вечность. Несколько раз я пытался зайти к вам, и все не решался. Я хотел предупредить вас, будьте осторожны, прекратите звонить Олиной сестре, прекратите свидания с ней…

— А вы здесь причем?

Наташа, посмотрела на меня укоризненно:

— Нина это ребячество, если тебя Николай Васильевич просит, у него есть достаточно оснований для этого.

— Хватит, перестаньте. Как можно жить в своей стране, в

стране которую я люблю больше жизни, и вечно бояться чего-то. Я не предатель, я не враг, я не совершила ни одного поступка, который причинил бы вред моей стране или мне было бы стыдно за него, ведь вы все знаете об этом, так против чего вы меня предупреждаете? Вы добивались свободы, завоевали власть героическими жертвами, не щадя своей жизни, а сегодня мне было грустно смотреть на вашу беспомощность. Разве такими я представляла себе вождей народных?

— Ты Нина, конечно права, но Николай Васильевич как друга предупреждает тебя, а не дай бог, попадешь ты на глаза какому-нибудь мерзавцу, а к сожалению их так много еще, и загремишь как Оля, ни за что.

— Вы знаете, вот я не представляла себе ни на одну секунду, чтобы в нашу советскую тюрьму могли попасть такие, как я или Оля, ни за что. И я, кажется, действительно так думала до сих пор, и мне казалось, даже интересно было бы узнать, чем же отличаются тюремные условия при нашей советской власти от тюрем царского режима?

И вдруг в эту минуту мне пришла в голову совершенно идиотская мысль:

— А что если я поступлю работать в ГПУ, я бы хотела стать просто следователем.

— Ты с ума сошла! Ты знаешь, что это за адская работа? И что за фантазия тебе в голову пришла! — заорал на меня почти с испугом Костя.

Гринев обрадовался:

— Не отговаривай, Костя, я считаю, это замечательная идея, я поговорю и устрою.

— Да ты что, в самом деле, всерьез принял? Бросьте — давайте лучше чайку попьем.

— Нет, Костя, я кроме шуток, хочу знать, что творится в нашем царстве-государстве и откуда все это идет. Может быть, оттуда виднее.

Эта мысль мне вдруг так понравилась, что я решила — может быть, и в самом деле стоит пожертвовать карьерой инженера ради этого. Ведь Оля сказала, что «только побывав там, становится все ясно».

Чем занимались в НКВД

Октябрьская Революция произошла 25 октября 1917 года, а ВЧК была создана только 20 декабря 1917 года, то есть только через полтора месяца после того, как начала формироваться Добровольческая армия. Значит, ВЧК появилась в противовес тем

карательным органам, которые были уже созданы во время организации Добровольческой армии.

Возглавил ее в те годы Феликс Эдмундович Дзержинский, его помощником был В. Р. Менжинский. В 1922 году ВЧК была реорганизована в ГПУ, во главе этой организации после Ф. Э. Дзержинского встал В. Р. Менжинский. А Г. Г. Ягода, который при В. Р. Менжинском занимал пост секретаря особого отдела ОГПУ, стал его заместителем. А после В. П. Менжинского во главе ОГПУ, а затем НКВД до 1936 года был Г. Г. Ягода, вот в это время он и стал «одним из главных исполнителей массовых репрессий». При нем и началась усиленная охота на старых, неугодных Сталину, видных большевиков. Но приказ на охоту на старых большевиков мог дать только один человек — Сталин. Он отдавал приказы, а фальсифицированные обвинения придумывал его подручный Вышинский. Так 19 августа 1936 года перед военным судом предстала группа: Зиновьев, Каменев, проф. Смирнов, Бакаев, Берман, Юдин и другие, всего 16 человек, и через неделю, 25 августа, все обвиняемые, весь так называемый «троцкистско-зиновьевский центр», как сообщил президиум ЦИКа в печати, — были расстреляны.

А ровно через месяц, 25 сентября 1936 года Сталин и Жданов телеграфировали из Сочи в Москву Кагановичу и Молотову и потребовали немедленно снять Ягоду за то, что он опоздал с этим процессом ровно на 4 года, и назначить тов. Ежова. Значит, Ягода оказался плохим исполнителем. Этот приказ был выполнен на следующий же день, 26 сентября 1936 года Ягода был снят и на его место назначен Н. И. Ежов

Устала

Я очень любила московскую весну. Любила, когда на улицах таял снег, бежали ручейки и Москва утопала в грязи, затем просыхали дорожки, и воздух становился такой теплый, ласковый, прозрачно-ароматный, и все скамеечки вокруг общежития были заняты студентками с ребятишками, так как, несмотря даже на невыносимую тесноту, в общежитии жили семейные студенты с детьми. Особенно хороши были вечера вокруг студенческого городка.

Появлялись влюбленные парочки, которые, тесно прижавшись друг к другу, стараясь уместиться на узенькой, протоптанной среди грязи дорожке, направлялись в Нескучный сад или на знаменитые Воробьевы горы. Мне казалось, гор-то там не было, была просто крутая возвышенность над Москвой рекой, утопавшая летом в зелени, откуда открывался великолепный вид

на реку, на Москву, на Кремль. Мы очень любили это тихое в будни и шумное в воскресные дни место.

Приближались весенние каникулы. Особенно приятно было после долгой холодной московской зимы с чувством облегчения снять с себя тяжелую зимнюю одежду, тяжелую обувь и переодеться во что-то легкое, красивое, а вся моя одежда основательно износилась, обувь еле держалась на ногах. Единственную пару туфель я уже месяц не вынимала из галош, несмотря на то что каблуки уже вылезли и галоши уже не спасали от грязи, разве что пальцы еще были сухие, и достать, именно достать, а не купить, что-нибудь было почти невозможно. Свое старое осеннее пальто я отдала перекрасить, чтобы придать ему более приличный вид.

Накануне своей поездки домой я забежала к Наташе попрощаться. В тот же день, как всегда «неожиданно», явился Гринев. Одет он был в новенькую, с иголочки, весеннюю форму. Побритый, подстриженный, надушенный, таким покоем и благополучием веяло от его вида, что вдруг на секунду у меня промелькнула мысль: а что если бросить к черту все мои принципы и стать женой этого человека, и кончатся сразу все заботы. Гринев похудел, стал интереснее.

Наташа ушла на кухню. Он нервно ходил по комнате, долго стоял у окна и вдруг, придвинув стул, сел напротив:

— Нина, почему вы меня избегаете? Я скучаю, очень скучаю. Наташа сказала, что вы были нездоровы, я мог бы вам помочь, я несколько раз подходил к вашему общежитию и не решался к вам зайти. Зачем вы мучаете меня так, я вас так люблю, Нина, и с каждым днем все больше.

Мне показалось, он стал мягче, привлекательней, я не любила его, но он был мужчина, которого легко можно было полюбить, заботливый, внимательный, и главное, так сильно, я чувствовала, любит меня, хотя я абсолютно никакого повода не давала ухаживать за мной и даже очень, очень грубо отталкивала любой намек на это.

В своем одиночестве я отвыкла от каких-либо забот обо мне, а здесь человек, который с радостью готов дать все для спокойной нормальной жизни.

— Хотите, я поеду с вами в Геническ? Оттуда мы поедем в Сочи, у меня две путевки. Я буду вас сопровождать, я хочу чтобы вы ближе со мной познакомились, я взял отпуск на полтора месяца… Ну скажите хоть слово, хоть одно слово.

— Хорошо, — сказала я, и мне показалось, как будто кто-то другой произнес это за меня.

Гринев на мгновение остолбенел от удивления, не мог

понять, не ослышался ли он. И вдруг схватив мои руки начал целовать:

— Нина, родная, милая, милая моя…

— Наташа, — закричал он, вбегая в кухню, — мы едем, едем вместе с Ниной! Где Костя, вот еще вечный труженик, давай шампанское, давай, Наташенька, все на стол. Я так счастлив, так счастлив, — в каком-то экстазе он целовал Наташу. — Ну позвони, позвони скорее Косте.

Наташа села возле меня и ласково сказала:

— Так бы давно, а то он меня замучил, чуть с ума не сошел. Не пожалеешь, Нина, он будет хороший муж, и он хороший партиец.

За ужином все веселились, кроме меня.

— Ну что ты, как на поминках, да улыбнись ты хоть раз, — просил меня Костя.

И отойдя со мной в сторону, спросил:

— Зачем ты это сделала? Тебе что, тяжело?

— Устала. Сама не знаю, так просто, по глупости. Может быть, там сверху все виднее…

Костя горько улыбнулся:

— Устала — это я понимаю, но все остальное выбрось из головы, тогда лучше не надо.

Открытка от Оли

Категорически отказавшись от провожатых, я быстро помчалась к себе в общежитие, по дороге я вынула почту и обомлела — там была открытка от Ольги. Бегом, не чуя почвы под ногами, я влетела к себе и стала читать.

«… До сих пор я была в Семипалатинске, когда ты получишь открытку я уже буду в Алма-Ата, адрес вышлю позже. Ко мне хотела приехать мама, но ее не пустили. Я здесь встретила и полюбила человека, но его у меня отняли, а меня отправляют дальше. Нинуся, милая, я стала сильнее и готова ко всему, правда, с легкими неважно — но в этом мире не одна я с такой хворобой. Ты знаешь, я не удручена своим положением, мне кажется, я стала значительней и нужнее. Здесь окрепли мои мысли и чувства, и за них я буду бороться. Часто хочется перемолвиться с тобой словечком, ты меня понимала».

Я всю открытку прочитала между строк. Мой адрес был написан чужой рукой, подпись совсем неразборчива.

«А я, дура, раскисла, устала, — ругала себя я, — а вот ее ни тюрьма, ни ссылка не сломали. Хватит, размещанилась…» Я быстро и радостно уложила вещи и почти счастливая уснула.

Рано утром я получила роскошные цветы и конфеты, но, встретив Гринева, заявила:

— Домой я еду одна. Вы поезжайте отдыхать в Сочи один или с кем-нибудь, обо мне забудьте, обманывать вас не хочу…

Ужинала я с Костей и Наташей, они хотели меня проводить. Я думала, Гринев обиделся и не придет, но он пришел к ужину и пошел даже провожать.

Ужин прошел натянуто, и я с облегчением вздохнула, когда поезд тронулся.

— Этот красивый мужчина в форме, который провожал вас, ваш супруг? Он такой внимательный, — поинтересовалась сидевшая напротив меня женщина.

— Нет, — отчеканила я и начала убирать с полки какие-то свертки.

— Это все ваши, их внесли мужчины с чемоданами, — недоумевала соседка.

Я быстро все убрала и легла, стараясь уснуть. Моя соседка оказалась дама очень разговорчивая и долго не давала мне ни думать, ни уснуть.

Весь следующий день она превратила в пытку, видно было, что он так ее поразил, что она все время старалась допытаться, что он и кто он, и только когда она сошла, я обрадовалась, что наконец отдохну.

То был благодатный край

Я открыла окно, поезд мчался по широким украинским просторам, бархатно ласковый ветер Украины врывался в окно, и мне стало легко и радостно. Когда я приехала домой, у нас в доме была семья маминой сестры, двое взрослых и трое детей. Голод был в разгаре и, несмотря на то, что все взрослые работали, они все равно еле-еле, с трудом сводили концы с концами. И это в таком благодатном, даже богатом раньше, крае.

Шура уже был в армии, и, получив обмундирование в армии, отправил свою гражданскую одежду нашему дедушке, и дедушка рассказал, что когда он открыл посылку и там ничего съестного не оказалось, бабушка даже расплакалась. А ведь это был край сплошного изобилия. Ведь про этот край писали:

Я знаю край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где мотылек степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора…

Такая была Украина, которая только воспрянула после восьми лет военной и голодной разрухи, и мне казалось, что те, кто довел сейчас нашу страну до такого голода, хотят раздавить, разрушить завоеванную народом нашу народную советскую власть. Те, кто находится в Кремле — так называемые «слуги народные» — они, что, не помнят или забыли, как трехсотлетний монархический режим, один из сильнейших, казалось, в мире, был легко, даже без кровопролития, свергнут? Так же легко, без сожаления произошло свержение Временного правительства. И так же легко, без труда, и с радостью произошла Октябрьская Революция, и народ героически защитил свои завоевания, и все это произошло потому, что народ устал от нищеты и не мог дальше переносить голод. Народ вначале требовал, а затем, в гражданскую войну, не просто требовал, а воевал и погибал за тот же лозунг «Хлеба и свободы». Неужели Сталин и те, кто сидел рядом со Сталиным, не знали, не помнили или забыли об этом?

Народ — это миллионы, миллионы простых людей, которые беззаветно боролись за народную советскую власть и ее прекрасные идеи, ради них народ принес неисчислимые жертвы, иначе он не смог бы победить хорошо снаряженную, вооруженную до зубов, сытую Белую армию вместе со всеми ее иностранными союзниками.

Небольшая горстка коммунистов оказалась той силой, которая ***сумела*** в тот горячий момент понять, поднять и возглавить бушующий людской «самум». Но мне кажется, и я даже уверена, что в то время всеобщая атмосфера была такая, что даже без вмешательства коммунистов народ все равно сверг бы Временное правительство, разгромил бы Белую армию и добился того, что он хотел. Ведь народ громил и жег помещичьи усадьбы задолго до появления коммунистов, когда коммунистов и близко еще не было. Если бы Ленин был жив или у власти оказался такой же человек, как Ленин, который так же скоро понял бы, что коммунизм, каким бы привлекательным он ни был на бумаге и в теории, нельзя насаждать силой. И что для этого потребуется, как Ленин сам сказал, сытый, здоровый народ и еще не одно поколение, ради чего и был введен НЭП.

Ведь благодаря разумной ленинской политике, разумным послаблениям народ воспрянул духом и начал жить лучше, значит, надо было стремиться к тому, чтобы следующее поколение жило еще лучше, а не хуже, тогда бы никакая сила не свергла советскую власть. И вот поэтому те, кто стремится лишить народ «хлеба и свободы», кто обрек и обрекает его на безмолвную голодную смерть во имя любых прекрасных идей в будущем, и являются самыми злейшими врагами советской

власти. И также отсутствие хлеба, свободы и голод создадут, как и раньше, те же условия для свержения советской народной системы. Такую политику могут проводить только враги. Поэтому я твердо была уверена в том, что если бы Владимир Ильич Ленин не умер так рано, через два года после окончания гражданской войны, он нашел бы способы накормить, напоить народ и дать ему возможность развиваться нормально. Потому что основная идея, основная задача его жизни была сделать народ сытым, здоровым и счастливым, и не только у нас в стране, а во всем мире. Именно поэтому вся буржуазия всего мира не жалела средств на его уничтожение, так как они боялись, что он добьется своего, народ воспрянет и сметет тех, кто эксплуатировал их. Самая большая трагедия для народа произошла тогда, когда скончался Владимир Ильич Ленин, так как он хотел добиться счастья для всех людей, для всего человечества на этой планете, а не на том свете.

Мои родные, как отец, так и мать, остались верны своим идеям. Я помню, как главный инженер завода рассказывал мне:

— Меня он заставлял брать такси, а сам пользовался общественным транспортом в целях ***экономии государственных денег.***

Когда отцу сказали, что для старых партизан и политкаторжан открыт продовольственный ларек, отец был возмущен и категорически отказался пользоваться им и нам запретил, заявив:

— Я буду получать ровно столько, сколько получают рабочие на нашем заводе, и не больше.

«Интернационал» в дальнейшем, для следующих поколений, был просто гимном, тогда как для предыдущего поколения это был призыв к борьбе за справедливое переустройство всей жизни не только у нас в стране, а на всей планете. «Мы наш мы новый мир построим» гремело с такой убедительной силой, что стены дрожали. ***«Смело мы в бой пойдем, за власть Советов и, как один, умрем в борьбе за это».*** В те годы, полные энтузиазма, миллионы, миллионы смелой и решительной молодежи, в основном БЕСПАРТИЙНОЙ — именно беспартийной, так как ПАРТИЙНОЙ была тогда горсточка — раздетые, голодные, холодные, смело и решительно боролись, защищали, и защитили наперекор всему, СОВЕТСКИЙ НАРОДНЫЙ СТРОЙ, именно СОВЕТСКИЙ, именно НАРОДНЫЙ, с простой и благородной идеей — все для всех. Среди таких людей я росла, жила и до смерти любила их энтузиазм, их жажду героических подвигов для всех, за всех. Это они, народ, а не горсточка большевиков, добились победы над всеми вооруженными до зубов врагами.

Я до сих пор помню, как эти молодые воины, сами почти дети, превращались в веселых, милых Коль, Петь, Федь, хватали нас на руки и делили с нами свой голодный паек. Никто из них в партии не был, и все они боролись не за двуглавого орла, не за трехцветное знамя, а за пятиконечную звезду, за серп и молот и за красное знамя. И вот всем им на 20-м году существования советской власти Сталин приклеил ярлык «враги народа». И не вражеское правительство их заклеймило, а свое, советское, которое они защитили ценой своей жизни. Клеймо-то, какое! — «враг народа» — и в 1937 году все они исчезли.

Кто дал право Сталину вешать на них такое клеймо?

И вот они-то все и оказались «врагами народа», и потом, после 1937 года, я только встречала членов их семей, которые спрашивали: «за что?», «что происходит?», «что случилось»? и «как могло произойти такое»?

Где же партия, которую они так горячо, так беззаветно горячо защищали в самые лучшие годы своей жизни, и почему она не могла защитить их сейчас? Но не только не защитила, а, находясь под «мудрым руководством» Сталина, она их заклеймила. Это был страшный, уму непостижимый кошмар, который невозможно было понять. И я до сих пор не могу ни понять, ни принять, как могло случиться, чтобы все они в один миг, в одно мгновение превратились во «врагов народа» и исчезли, и часто не только они, но и их жены и дети.

Стоит только вдуматься: за что? За что был наказан с такой жестокостью наш героический народ? Ведь воевал и погибал за советскую рабоче-крестьянскую власть не Сталин, а народ. Значит, эта власть была — власть народа и принадлежала народу. Так за что же он заставил народ перенести такие муки и страдания и пролить океаны слез?

Коммунистическая партия оказалась репрессированной, парализованной, терроризированной Сталиным и, даже не будучи за тюремной решеткой, она была такой же арестанткой, как и те, кто сидел, томился и погибал в тюрьмах.

Манипулируя и спекулируя прекрасными советскими лозунгами, Сталин держал всю страну, всю партию в страхе, а миллионы арестованных были его заложниками.

Заложники Сталина

Заложниками были те люди, которые защитили страну от иностранной интервенции, от контрреволюции и от всевозможных банд, те люди, которые вынесли на своих плечах ликвидацию тяжелой послевоенной разрухи. Люди, создавшие

такое могучее государство, которое даже после сталинских потрясений способно было защитить не только свою страну, но и всю Европу, весь мир в эту самую страшную войну из всех, выпавших на долю человечества. И это спустя 20 лет, только 20 лет, когда страна по существу начала только-только подниматься после таких катастрофических потрясений, как Первая мировая война, Гражданская война, голодный 1921 год и страшные голодные годы сталинской коллективизации. И это сделали, опять же, советские люди, наш советский народ, который воевал за наш Советский Союз, за наш советский герб — СЕРП и МОЛОТ, за нашу красную звезду и за наше красное знамя, ведь над Рейхстагом взвилось наше КРАСНОЕ ЗНАМЯ с серпом и молотом, а не трехцветное с двуглавым орлом. С этим знаменем в руках наш народ победил дважды — в Гражданскую войну и во Вторую мировую войну. Это знамя обагрили своей кровью и отдали за него свои жизни миллионы, миллионы наших советских людей. Даже те, кто попал в плен или сдался немцам, а таких я встречала много, не собирались воевать за двуглавого орла и за старое трехцветное знамя, за всю эту старорежимную атрибутику, которую бывшая аристократия не смогла защитить и утопила, как все говорили, в Черном море.

Сопромат или любовь?

Вернувшись после отпуска в Москву в мрачное дождливое утро и с трудом протиснувшись в трамвай, полный мокрых раздраженных пассажиров, я задумалась — куда ехать? После каждого приезда, даже на 4-м уже курсе, ордер на общежитие так просто с «разбегу» нельзя было получить, надо было постоять в очереди, и через неделю, через две, если повезет, получить ордер, а пока ночуй, где попало. Даже на 3-м курсе я только в конце семестра получила общежитие.

Когда я вошла в институт, там уже было полно народу, несмотря на ранний час. В хозчасть стояла очередь, ребята выглядели обновленными, посвежевшими, девушки в новых нарядах, и глядя на эти хорошие, веселые лица, я прибодрилась.

— Ты знаешь, мы уже целую неделю здесь торчим, а занятия начинаются через день, — успокоили меня ребята.

Неужели опять ждать здесь не одну, а, может быть, несколько недель? Идти к знакомым у меня не было никакого желания, хотя я знала, что везде меня примут хорошо, но все жили в таких стесненных условиях, что лишнего человека трудно было втиснуть. Сколько раз за прошлые годы, если мне приходилось поздно возвращаться или задержаться, я засыпала прямо на ступеньках лестничной клетки. Так я стеснялась и боялась побеспокоить людей, давших мне приют. Мне так хотелось получить свой уголок, свою кровать и приступить нормально к занятиям!

Но — о чудо! — к концу дня мы с Олей Беркович получили ордер и как угорелые помчались устраиваться. Я была такая счастливая! Наша кабинка стала самой популярной, все домашние занятия нашей бригады теперь проходили у нас.

С питанием было очень, очень тяжело, поэтому было принято решение для лучшего обслуживания студентов организовать трехразовое питание в столовой при нашем общежитии. Туда мы сдавали свои продовольственные карточки, и взамен должны были получать завтрак, обед и ужин. Но здесь образовывались такие очереди, что для того, чтобы получить завтрак и не опоздать в институт, нужно было встать в очередь чуть ли не в шесть часов утра, то же было с обедом и ужином. А внутри столовой за каждым сидящим за столом тоже стояла очередь в несколько человек, здесь не хватало посуды, столов, стульев, даже вилок и ножей.

Еда была до такой степени безвкусная, что ее с трудом можно было проглотить. Рыбные котлеты из перемолотой кильки мы

называли «котлеты из каспийского барашка». Перловую кашу — «выдвиженка», а вывозил всех нас и здесь, и в кафетерии института наш знаменитый винегрет.

Этот «Дом коммуны» был не занят, он был просто битком набит студентами всех национальностей со всех концов Советского Союза.

И несмотря на все это, было огромное чувство удовлетворения от сознания того, что мы учимся, что всколыхнулась и рванулась масса простого народа, как веками нетронутая целина, навстречу знаниям. Рабочие и крестьяне из самых далеких, глухих захолустий, все стремились к учебе.

Вряд ли где-либо в мире в это время можно было встретить более разнообразную массу людей, как по внешнему виду, так и по внутреннему содержанию, чем в наших институтах. Здесь были студенты всех национальностей, населявших одну шестую часть планеты в возрасте от 17 до 40–45 лет и выше, на одном курсе часто учились отец с сыном и мать с дочерью.

Наконец эксперименты поисков новых методов обучения если не закончились, то приутихли. Преподаватели перестали ставить всем просто «зачет» в конце каждого семестра или в конце учебного года на основании своих впечатлений об успеваемости студентов, как это было первые пару лет, поэтому у нас никогда не было дополнительной заботы по сдаче экзаменов. А сейчас вышло постановление сдавать экзамены во время сессий по всем основным техническим и специальным предметам. Это делало предмет более весомым, и те, кто не боялся таких экзаменов, по-настоящему были рады. В этом году также были введены отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Речь шла также о чтении профессорами совместных лекций студентам различных факультетов, проходивших один и тот же предмет. От этих первых реформ на устах профессоров появилась улыбка, а когда вышло постановление о сдаче дипломных проектов, то ликование было полное.

Если раньше студенты, окончившие институт, получали только справку об окончании института и отправлялись работать на предприятия, то после этого постановления многие инженеры, проработавшие уже несколько лет на производстве, возвращались в Москву для переподготовки и защиты дипломного проекта.

Итак, во время весенней сессии мы готовились к сдаче экзамена по сопротивлению материалов, одному из наиболее сложных, как все утверждали, предметов:

— Сдал сопромат — жениться можно, — шутили профессора.

Занятия бригадами еще не были отменены, в нашей бригаде

было три парттысячника. Нашим парттысячникам было глубоко за сорок. Каждому из них было невероятно трудно понять те «кружевные» формулы, которые выводила им на доске серьезная Оля Беркович, особенно Седушкову, о котором говорили, что он в Белоруссии занимал очень высокий пост. Он всегда ходил важно, с огромным, набитым до отказа портфелем. Оля, тоже из Белоруссии, была у него как нянька.

Я сидела на подоконнике 3-го этажа и, глядя на пышно распустившийся Парк культуры и отдыха, вспоминала свежий песок его аллей, Москву-реку, блестевшую серебристой лентой в лучах заходящего солнца, и, слушая музыку, доносившуюся из парка, думала, как хорошо было бы вместо зубрежки этих сухих формул очутиться в парке, лечь и поваляться на прохладной травке. Или влюбиться в кого-нибудь, но в кого? В нашем институте многие студенты и профессора старались ухаживать за мной — я даже не знаю почему, я была такая недотрога, что мне казалось, могла отпугнуть кого угодно. Но, несмотря на большой выбор, что-то мне говорило, что все это не то, любовь нагрянет внезапно, и тогда я не буду выбирать, как сейчас, кто лучше, кто хуже, — нет, героя своего романа я еще не нашла. Любовь, думала я, должна быть какая-то другая, от нее нужно пьянеть, забыть все, не думать, а, закрыв глаза, нырнуть, как в ледяную прорубь. Любовь должна обжечь… А ты еще так никого не любила, подожди, она еще придет, — шептало что-то внутри… В душе я уже любила, любила крепко, безрассудно, сильно — но кто он, я не знала. Меня волновала эта таинственность — этот кто-то, которого я так крепко люблю, и который не знает, даже не подозревает о моем существовании. Ну что ж, куда мне торопиться подожду… Ну, а если не найду?.. Тогда все, наверное, пройдет, остынет, и я просто выйду замуж за кого-нибудь. Кто этот «кто-нибудь», я тоже не имела никакого представления.

— Ты все мечтаешь, это черт знает что, — нервничал Седушков. — Вот провалишь завтра сопромат и всю нашу бригаду.

Вбежала хохотушка Танюшка:

— Вот что, пошли-ка все в парк, отдохнем, подышим свежим воздухом. А завтра прибудут к нам иностранные студенты, и мы должны их встречать, попросили одеться получше.

Это значило, надо было идти «домой», и приводить в порядок свой «гардероб». Все считали, что американские студенты — это что-то особенное. Действительно, они были одеты более практично и просто. Я же, прибежав «домой», начали искать чулки. Помню, были у меня две пары, берегла я их, как зеницу ока, куда они делись, не могла понять.

— Рая заходила, что-то у тебя искала, — вспомнила Танюша.

Все порванные нашла под матрасом.

— Вот бревно, — обозлилась я, — хоть бы для американских гостей одну целую пару мне оставила.

И было грустно, что пара чулок должна стать проблемой и испортить настроение.

Прием прошел хорошо, не знаю, какое у иностранцев осталось впечатление от нашего мрачного недостроенного института, но зато мы с гордостью показали им нашу новую замечательную металлургическую лабораторию и угостили их по-русски.

Федя

В нашу первую сессию первый экзамен совпал с днем моего рождения. Первая часть экзамена состояла из письменных ответов, вторая из устных.

Первыми пошли сдавать экзамен наши парттысячники, один провалил, второй и третий вытянули на «удочку», мы, девчата, сидели, дрожа от страха.

— Вот бревна — сколько трудов мы положили, и все насмарку, — с трудом улыбаясь, шептала бледная Таня. Раньше им все под шумок сходило, а теперь за столом сидело несколько профессоров, и все с упоением старались задать как можно больше вопросов, ведь они уже давно настаивали на введении таких экзаменационных сессий. Таня сдала хорошо, Оля отлично и я, не знаю почему, но тоже отлично.

Когда наши экзаменаторы объявляли нам отметки и поздравляли нас, я вдруг выпалила:

— Спасибо вам, сегодня мой день рождения, и это ваш лучший мне подарок.

Когда мы вернулись в общежитие, Татьяна, как всегда, быстро рванула дверь, отлетел мой фиктивный замок, и она застыла:

— Нинка, скорее, подарков-то у тебя сколько.

— Брось шутить, — ответила я.

Но, к моему удивлению, это была не шутка. На столе лежал огромный букет цветов, вино, конфеты, на кровати пакеты — в них оказались готовальня, счетная линейка, справочник Гьюте и отрез на блузку с великолепной вышивкой ручной работы. Записки не было.

— Откуда все это? — ломала я голову. Это мог только Федя, но я знала, что он где-то далеко, не то в плавании, не то в какой-то долгосрочной командировке.

Ребята мудро предложили:

— Давай сначала выпьем, а потом разберемся.

— Гринев, — подсказала Лиза.

Но я знала, что ему и в голову не пришло бы подарить готовальню, справочник, которые у студентов ценились на вес золота, вот вино, цветы, конфеты — это он мог.

Вошла Танюша с цветами в вазе:

— Вот тебе записка.

Записка была от Феди, он сегодня приехал из Ленинграда и очень хотел меня видеть. Всегда, когда он приезжал в Москву, его приезды были неожиданны и приятны. «Ожидаю тебя в шесть, на том же месте, как всегда, — это значило на Красной площади, — есть билеты в театр. Поздравляю с днем рождения. Федя».

Татьянушка моя взгрустнула, она видела Федю несколько раз, и мне казалось, что она чуть-чуть влюблена в него.

— Как ты можешь не любить его. Я первый раз в жизни встречаю такого, он же, Нина, не похож на человека с нашей планеты. Ну кто бы догадался, кроме Феди, сделать этот приятный сюрприз. Ты, Нина, счастливая.

Мне было жаль Танюшу, такая красивая, мне казалось — дать ей в руки младенца, и с нее можно писать картины Божьей матери. Веселая, любила фигурное катанье на коньках, а что-то не клеилось.

— Танечка, я приглашу Федю, я хочу, чтобы ты с ним поближе познакомилась.

— Не говори глупости, Нина, Федя в тебя так влюблен, что ему никто не нужен. Ты оденься, Нина, получше, я хочу, чтобы ты была очень красивая.

Как обычно, я опоздала почти на полчаса, и к моему удивлению, Феди нигде не было. Прошла по всей Красной площади и собиралась уже разозлиться и уйти, как увидела бегущего ко мне Федю. Он схватил меня за руку:

— Пошли, пошли скорее, отсюда. Поужинаем — и в театр, а то опоздаем.

— Да что с тобой?

Зеленые глаза улыбаются:

— Все, все расскажу позже, в ресторане.

В ресторане «Метрополь» у фонтана Федя, давясь от смеха, рассказывал, что пришел он рано, гулял вокруг Мавзолея, к нему подошли двое в штатском и предложили ему пройти в комендатуру.

— Проверили документы, и все допытывались, почему я так долго на Красной площади топчусь на одном и том же месте. Откровенно говоря, я не хотел вмешивать тебя, а отговорки умной в голову не приходило. Ты бы видела, с каким

подозрением они меня ощупывали. Все это ерунда, забудем.

Одет он был замечательно, выглядел настоящим иностранцем, вот это, по-видимому, и привлекло их внимание.

— А теперь я хочу поговорить с тобой о главном, — сказал Федя. — Мне предложили командировку в Японию, прежде чем дать ответ, я решил поговорить с тобой. Поедем со мной, эту командировку я взял бы только ради тебя, я уже там был, меня ничего туда не тянет. — Федя смотрел на меня своими красивыми влюбленными глазами.

Федя не был красавцем, но до такой степени был привлекательный и интересный, особенно красивыми были глаза, что, увидев его раз, нельзя было забыть. Он был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо встречала на своем жизненном пути. Он был друг, настоящий друг, веселый, добрый, отзывчивый и щедрый. Он был настолько интересный человек, что с ним никогда не было скучно. Когда мы были на практике в Красноуральске, он часто мне писал, и такие длинные письма, что всегда приписывал: «почитай, отдохни и снова почитай». Они были настолько интересные, что я могла читать их вслух всем девчатам. Нас было восемь человек в комнате, и они всегда в нашем холодном, неуютном бараке вечером перед сном просили:

— Почитай, Нина, Федины письма.

— Спите, тоже мне, классика нашли.

— Да что ты, — возражали они, — классики, да ведь это скучища по сравнению с письмами Феди.

Знали они его только по письмам. Описывал он обыкновенные, каждодневные происшествия, но так забавно, весело, добродушно и интересно, что девчата, весело закатываясь от смеха, говорили:

— Ну до чего же все это интересно у него, а ведь мы каждый день это видим, проходим мимо и не замечаем.

Арест Ольги он тоже воспринял очень болезненно и ни как не мог понять, за что так жестоко была наказана молодая девушка, ничего плохого в своей жизни не сделавшая. Мария была нашим общим другом, и мы вместе пережевали ее гибель. Про гибель Миши и про трагическую гибель Зои я ему тоже рассказала, как только мы с ним познакомились, и он очень хорошо понимал, что мне очень, очень тяжело, и поэтому, видно, решил увезти меня куда-нибудь подальше от Москвы, переменить обстановку.

— Федя, милый, прости, я очень тронута, но не могу, не могу я бросить институт, ведь все самое трудное уже позади. Через год я буду защищать диплом, поезжай один, дай мне закончить, а там видно будет.

Уехал Федя со слезами на глазах. Я чувствовала, как

невыносимо тяжело было ему. Мне было жалко огорчать его, я тоже вернулась с вокзала со слезами, ругаясь и злясь на себя. Какого черта мне нужно, кого я жду? Вероятно, все так выходят замуж, а мне кажется, что это что-то совершенно неожиданное. Ведь я люблю Федю, я скучаю по нему, когда долго не вижу.

Летние каникулы в этом году я провела в Мариуполе, отца перевели туда весной. Поехала я туда не одна, со мной поехали две студентки. Мы буквально, как говорили тогда про нас, «закупались» в этом ласковом Азовском море. Урожай фруктов был в том году, я помню, тоже потрясающий, мы, как алкоголики, набросились на фрукты и вкусные овощи. Мне до сих пор кажется, что там особая земля, и все, что там произрастает, имеет особый вкус и запах.

Как только я вернулась из Мариуполя, получила от Феди письмо. Он вернулся из командировки и продолжал усиленно уговаривать меня приехать в Ленинград и даже постараться перейти в Ленинградский горный институт. После долгих размышлений я решила: ну что ж, попробую. Решила: поеду в Ленинград на два-три дня просто повидаться с Федей, и, может быть, сумею перейти в Ленинградский горный институт.

Смерть Сергея Мироновича Кирова

Как вдруг, как сейчас помню, по радио сообщили: «1 декабря 1934 года, в 16 часов 30 минут в здании Ленинградского Совета (бывший Смольный), от руки убийцы, подосланного врагами рабочего класса, погиб Секретарь Центрального Ленинградского Комитета ВКП(б) и Главный Председатель ЦИК Сергей Миронович Киров. Личность убийцы выясняется».

Туда помчались: Сталин, Орджоникидзе, Молотов, Калинин, Ворошилов, Каганович, Косиор, Постышев, Енукидзе, и, наверное, многие, многие другие. Кирова многие любили.

Я никогда лично С. М. Кирова не видела, но я слышала о нем, что он был одним из тех замечательных людей, в которых так сильно нуждается наша страна. По радио передавали, что Сталин даже всплакнул над гробом С. М. Кирова. Когда я это услышала, моя первая реакция была — убил, а теперь проливает крокодиловы слезы. Даже Тамара, сидевшая рядом, спросила: «Ты что?»

Тогда у меня уже было чувство, что Сталин способен на все, особенно после смерти Н. С. Аллилуевой. Если он мог довести жену, мать своих детей до самоубийства, то он спокойно мог приложить руку и к этому убийству. После самоубийства Надежды Сергеевны я почему-то всегда представляла его

сидящим со своим холодным змеиным взглядом напротив своей жертвы, в данном случае жены, скатывающим шарики из мякоти хлеба и бросающим их ей прямо в лицо. От такой картины у меня даже мурашки по спине пробегали.

Похороны С. М. Кирова состоялись 6 декабря в Москве на Красной площади. Жене С. М. Кирова Марии Львовне отправили соболезнование: Надежда Константиновна Крупская, Мария Ильинична Ульянова, жена и сестра В. И. Ленина, и жены членов правительства Полина Жемчужина, Екатерина Ворошилова, Мария Каганович, Зинаида Орджоникидзе и другие.

Убийцей оказался Л. В. Николаев 1904 года рождения, бывший служащий Ленинградского РКИ. А вот кто был его вдохновителем или его заказчиком, так и осталось секретом за семьюдесятью замками, ходили даже слухи, распространялись сплетни, что Николаев убил С. М. Кирова из чувства ревности. Но тогда, по чьему приказу у Кирова была снята охрана? И каким образом беспрепятственно пропустили Николаева в Смольный с оружием в руках? Это тоже покрыто мраком неизвестности.

Ленинград

В Ленинград я поехала в конце декабря. Попытка перейти в Горный институт Ленинграда не удалась. В институте заявили, что можно перейти только в том случае, если я найду себе равную замену. Искать замену за полгода до окончания института было просто нереально. Но прекрасный зимний Ленинград запомнился мне на всю жизнь. Новый год встречала я в огромной, очень веселой, очень шумной компании друзей Феди. Федю, почувствовала я, очень любили, как мужская так женская часть компании. Я тоже им понравилась, и они все дружно выпили за нового члена их веселой группы.

Всю Новогоднюю ночь шел крупный пушистый снег. Весь Ленинград, вся набережная утопали в сугробах пушистого снега. Мы шумно носились по снежным сугробам, любовались неописуемо сказочной красотой Ленинграда и возвращались в гостиницу Астория, где я остановилась и где мы провели эту новогоднюю ночь до утра. Разошлись все только часов в 9 после завтрака. Все уговаривали меня не возвращаться в Москву, остаться в Ленинграде. И эта попытка Феди иметь меня поближе к себе тоже не удалась.

После возвращения из Ленинграда, после новогодней встречи, я почти каждый день получала письма от Феди. Он писал: «Теперь не только я один скучаю по тебе и с нетерпением жду, но все мои друзья передают тебе привет и спрашивают —

когда же ты приедешь». От Феди снова пришло письмо и фотография с подписью «Другу… И ты мне пришлешь». Меня очень глубоко тронула эта надпись, значит, он понял, что я люблю его как друга. И письма он подписывал «твой искренний друг навсегда».

Как я познакомилась с Кириллом

Я вышла из лаборатории на Большой Калужской, 14 (некоторые наши лабораторные занятия все еще проходили в этом старом здании Горной академии) и встретила профессора по деталям машин Житкова.

— Можно я пройдусь с вами? — обратился он ко мне.

И мы пошли вдоль Большой Калужской улицы, вдоль Нескучного сада, присаживались на скамеечки, вставали и шли дальше. О чем разговаривают преподаватели со студентами? Конечно, главным образом, о студентах. Он был в восторге от двух студентов.

— Это светлые головы нашего института. Один из них гениальный химик, другой уже работает со мной в специальном конструкторском бюро, гениальный конструктор. Вы знаете о ком, я говорю? — спросил он.

— Понятия не имею, — честно призналась я.

Он даже немного удивился. Действительно, наши аудитории были рядом, а я понятия не имела, о ком он говорит.

А через несколько дней, во время занятий в лаборатории, я держала платиновый тигель, собираясь поставить его в муфельную печь. Ваня Шалдов, староста нашей группы, стоял рядом, не то помогал, не то мешал. В открытую дверь лаборатории быстро вошли два высоких худющих парня, один из них, увидев тигель у меня в руках, сказал: «практичесцы, теоретичесцы». Это был намек на то, что то, что я собираюсь делать, относится к предмету, который преподавал заведующий нашей кафедрой профессор Ясюкевич. Именно он так произносил эти два слова. Не то потому что он был польского происхождения, не то потому что просто шепелявил, но «милые студенты» всегда умеют замечать за преподавателями их слабости и довольно едко издеваться над ними.

— Откуда они взялись? — спросила я у Вани.

— Как откуда — они наши соседи. Наши «золотари», — так, тоже ехидно, прозвали студентов факультета по добыче и обработке золота.

И вот однажды после занятий в вестибюле у вешалки я встретила Ваню Шалдова с тем самым насмешливым худющим

студентом. Он быстро и ловко помог мне надеть пальто, и мы вышли:

— Ты знаешь, мы идем в парк в бильярдную шарики покатать, пошли с нами, — предложил мне Ваня.

— Ладно, — решила я, — пусть они шарики катают, а я погуляю в парке.

Но они быстро вышли из бильярдной и заявили:

— Там полно, за каждым бильярдным столом очередь стоит.

Мы вышли из парка, дошли до Калужской площади:

— Давайте зайдем в пивную, выпьем по кружке пива, посидим, — предложил Кирилл (я уже знала, что его зовут Кирилл).

Зашли в пивную на углу Калужской площади и Большой Калужской улицы. Дым коромыслом — не продохнуть, не то что сесть, но и плюнуть негде было. Вышли и потихоньку пошли провожать меня. Я почувствовала, что им просто хотелось посидеть, поболтать, выпить кружку пива.

— Вот что ребята, берите свое пиво и пошли к нам в общежитие, только предупреждаю, никакой закуски нет, даже селедочного хвостика.

Они обрадовались:

— А это ты не волнуйся, мы что-нибудь сообразим.

В ларьке по дороге купили брынзу, что-то еще, и весело просидели почти до полуночи, пока не стали выставлять из общежития всех посетителей.

Им так понравилось, по-видимому, что они несколько раз повторили свой налет, уже без моего приглашения.

Теперь я уже знала, что Кирилл и его друг Николай Селиверстов были те самые гениальный химик и гениальный конструктор, которыми восхищался профессор Житков, но они также были заядлые преферансисты. В преферанс играли, как алкоголики, запоем. Чаще всего они играли у Николая Селиверстова. Николай жил с женатым братом, типичным старым «буржуа». Женат он был на сестре киноартиста Абрикосова.

Несколько раз Кирилл отрывался от своего преферанса, и мы ходили в кино. Первый раз в жизни у меня появилось чувство к человеку, которого я, по существу, очень мало знала, появилось чувство, которое я никогда до сих пор ни к кому не испытывала, желание близости, желание чувствовать его рядом с собой. Иногда мне тоже казалось, что я любила, и в кого-то влюблялась даже до слез, но ничего похожего не было в сравнении с тем, что я испытывала сейчас.

Кирилл не был одним из тех красавцев, с которыми я всегда встречалась, но чем-то он был совсем не похож на остальных, все

считали, что он один из выдающихся светлых умов в нашем институте, и это, кажется, меня тоже притягивало к нему.

Зашел он как-то вечером, а у меня сидел Толя Венгеров, мы собирались пойти в физкультурный зал на занятия западных танцев. Танцевальный кружок появился у нас после того, как в наших газетах стали писать, что наши дипломаты, приезжая за границу, совершенно не подготовлены к светской жизни запада. Что иногда на приемах дамы приглашают их танцевать, а наши дипломаты не умеют танцевать, смущаются, отказываются. Я вспомнила, как иногда самые ретивые комсомольцы говорили:

— Что такое танцы — пыль поднимать, пыль глотать, негигиенично, вот физкультура это другое дело.

И вдруг в институте решили тоже ввести кружок танцев. Появился откуда-то преподаватель западных танцев, самые модные тогда были фокстрот и танго.

Мы спустились вниз в спортивный зал, Кирилл тоже пошел с нами посмотреть. Партнер мне попался, о каких говорят «корова на ухо наступила». Несколько раз к нам подходил преподаватель, указывал, что во время танца надо держаться на таком расстоянии друг от друга, чтобы между вами мог поместиться человек. Мой партнер висел на мне, оттоптал мне все ноги. Кирилл не выдержал, подошел:

— Хватит, не могу больше смотреть. Пошли на каток.

Катался он замечательно, а я только благодаря нему держалась на коньках. Здесь он меня обнял и крепко, крепко поцеловал. Это и был тот роковой поцелуй, после которого мы с ним прожили, не разлучаясь, всю жизнь.

В один прекрасный день нам объявили, что в конце занятий нас ждет комиссия по распределению. Это значило, что каждый из нас уже будет знать, куда он поедет работать после окончания института, а также получит задание для выполнения дипломного проекта по тому предприятию, на котором ему предстоит работать в будущем. Обычно считалось, что каждый старается схитрить, ищет уважительные причины, чтобы остаться где-нибудь поближе к центру.

Я же сразу заявила:

— На Дальний Восток, Тетюхинский Сихоте-Алинский горно-металлургический комбинат по добыче и обработке полиметаллических свинцово-цинковых руд.

Вся комиссия молча переглянулась. Это самое далекое предприятие нашей необъятной страны, и туда еще никто не ездил из нашего института на практику. Чуть подальше от Тетюхе Колыма, самое богатое месторождение золота, которое тогда тоже только что начали осваивать, ставшее в эти годы самым

страшным местом ссылки. Как видите, места не столь веселые, туда надо было получать даже специальный пропуск, как в пограничную зону, и добровольно туда мало кто готов был поехать.

Самый влиятельный член этой комиссии по распределению Семен Петрович Александров мило улыбнулся и заявил:

— Хорошо, а я буду руководителем-консультантом вашего дипломного проекта.

Когда я вышла и сообщила, что руководителем-консультантом моего дипломного проекта будет Семен Петрович Александров, никто не хотел поверить.

— Ты шутишь, — з акричали все, — он никогда, никогда не был руков одителем-консультантом проекта ни у одной женщины.

— Ну вот, а теперь будет, — успокоила я их.

Услышав наш разговор, ко мне подошел Мишка Борисов — он уже защитил дипломный проект и собирался куда-то уезжать:

— Ты мне подала хорошую идею, я попрошу отправить меня тоже в Тетюхе, и ты туда приедешь, вот это будет здорово, ну просто замечательно.

И уже из Тетюхе писал мне: «Тебя ничем удивить нельзя, но то, что ты увидишь здесь, прекраснее всех красот Швейцарии, ждем тебя с нетерпением». Откуда и что он знал о красотах Швейцарии, понятия не имею.

Вечером зашел Кирилл:

— Ты что, серьезно решила?

— Абсолютно, без всяких размышлений.

— А как же я? Как же я останусь без тебя, я надеялся, закончим, будем вместе работать, получим квартиру, и у нас будет семья, — это было сказано так, как будто никакого сомнения у него по этому поводу не было. Отношения наши были еще такие трогательно милые, ограничивались только нежными поцелуями.

Жил он в очень тяжелых квартирных условиях, в квартире из двух комнат пять человек и шестой парализованный брат, который с трудом передвигался по квартире. Я жила в общежитии, которое должна была покинуть после окончания института. О какой семье можно было думать?

«Господи, — подумала я, — до чего же могло бы быть просто, вот так сойтись и жить с любимым человеком, если бы была комнатка, не квартира, а просто комнатка». Но ее-то и не было, даже в перспективе. Кроме всего прочего, ему надо было еще и материально помогать матери и больному брату.

Ведь это еще были те годы, когда в такой короткий срок — после окончания 1-й Мировой войны, Гражданской войны,

послевоенной разрухи и голода — надо было не только восстановить разрушенную до основания старую промышленность, но и продолжать строительство и освоение таких новых гигантов, как Днепрогэс, Уральский завод тяжелого машиностроения, Уральский медеплавильный комбинат, Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты. В Магнитогорске первая домна в 1932 году только за пару месяцев до нашего приезда на практику дала первый чугун. И в это тяжелое время надеяться получить какое-либо жилье было просто бессмысленно.

Это были еще те тридцатые годы, когда в школах ликбеза обучалось больше 30 миллионов неграмотных или малограмотных, а перед страной уже стоял вопрос о превращении СССР из страны, ввозящей машины из-за границы, в страну, машины производящую.

На очереди стояли: Челябинский и Харьковский тракторные, Московский и Горьковский автомобильные, Саратовский комбайновый и многие другие предприятия, для строительства и освоения которых требовались гигантские усилия и колоссальные средства, а их у государства было, по существу, «кот наплакал».

Чего в это время было больше чем достаточно, так это энтузиазма. Миллионы рабочих были охвачены пафосом нового строительства, голодные, полураздетые, в тяжелых барачных условиях работали, не покладая рук, почти даром, стремясь досрочно выполнить и перевыполнить планы строительства гигантских предприятий, и в это время даже думать о каком-либо новом жилищном строительстве казалось недопустимой роскошью…

До конца занятий мы с Кириллом встречались очень редко. Иногда проходило несколько недель, и вдруг он появлялся: «Пошли в Большой, у меня есть билеты» или «Пойдем ужинать в „Шестигранник“ (ресторан в Парке культуры и отдыха)». Я соглашалась, шла и каждый раз давала себе слово, что в следующий раз никуда с ним не пойду, и в то же время не могла дождаться, когда он оторвется от своей компании и снова появится и скажет: «Сегодня я весь твой, пошли, куда хочешь». Это значило, что сегодня он отказался играть в преферанс, в бильярд или просто пойти куда-либо со своими друзьями и пришел ко мне.

Всю эту компанию, состоящую из двух-трех студентов — Кирилла Алексеева, Николая Селиверстова и Вани Егорова — связывала крепкая дружба с профессорами и преподавателями нашего института Глебом Житковым, Николаем Романовым, и

даже профессором Нефтяного института имени Губкина, академиком А. Ю. Губкиным. Их связывала страсть к игре в преферанс и в бильярд, иногда ночи напролет.

Одним из ведущих среди них, почему-то, был Кирилл, и когда он вдруг стал, как они утверждали, уходить ко мне, их ансамбль начал распадаться. А я все сильнее и сильнее стала скучать о нем и с нетерпением ждать, когда он снова появится. И вдруг неожиданно даже для самой себя я твердо решила, что судьба моя решена и рано или поздно мы будем вместе. Почему именно с ним, когда перед нами стояли такие трудности, преодолеть которые, казалось, просто невозможно, не знаю.

Что такое любовь

До встречи с Кириллом мне казалось, что я тоже в кого-то влюблялась, кого-то любила, даже думала иногда, а не выйти ли мне замуж, наверное, все так выходят. Я совершенно не могла понять, почему некоторые иногда даже плакали, уверяя меня в своей любви. «И стоит, — я думала, — из-за этого плакать?» И только когда я сама влюбилась, поняла, что такое любовь и что она, кроме радости и счастья, приносит много горечи и страданий, которых иногда даже врагу не пожелаешь.

И как-то сразу все те, кто был старше меня на десять-пятнадцать лет, солидные, с положением, кто предлагал мне не только руку и сердце, но и полное материальное благополучие, и за кого я могла бы, не моргнув глазом, выйти замуж, перестали для меня существовать.

Не знаю, как это вышло, но выбор у меня был огромный. За мной ухаживали многие, начиная от Пети Бельского, самого красивого парня в нашем институте, которого все девчонки с самого первого дня, как я поступила в институт, ревновали ко мне, и который еще на первом курсе вечно торчал под окном нашего общежития на Калужской площади. Мы с ним встречались, гуляли, целовались. И Федя целовал меня, но это были нежные братские поцелуи. Заместитель директора нашего института Даниель Ильинский — Даня. Ухаживал за мной и преподаватель истмата и диамата итальянец, мы все его прозвали «люлька революции» — он всегда говорил «люлька», вместо «колыбель», со всеми привилегиями, о которых только можно было мечтать. О нем даже ходили слухи, что он «революционный бунтарь» из какой-то очень знатной, приближенной к итальянскому королю, семьи. Он настойчиво и упорно назначал мне свидания (и это было тогда, когда я моталась, как бездомная, и в один миг могла разрешить свою проблему) то у Никитских

ворот, то у памятника Пушкину, то в ресторанах «Националь», «Метрополь» или в Большом театре. Я все время извинялась и ни разу не пришла. Несмотря на это, он даже оценку мне не снизил.

Могла выйти замуж за профессора. Это тоже было модно, даже очень модно. Например, одна из моих приятельниц Людмила, наша студентка, с которой мы были вместе на практике в Красноуральске, вышла замуж за профессора Плаксина, тучного, старше нее лет на 20. Другая, Леля Ж., еще до моего появления в институте сильно влюбленная в Петю Бельского, влюбленного в меня, тоже вышла замуж за очень некрасивого, но очень знаменитого профессора Бочвара. Я тоже могла. А сколько было студентов старших курсов, уже окончивших институт, которые безнадежно ухаживали за мной! За любого из них я могла бы легко выйти замуж, все они были хорошо обеспечены, все они мне нравились. Но когда они начинали объясняться мне в любви, и когда я думала о том, что этот человек должен быть со мной 24 часа в сутки, каждый день, на всю жизнь, я старалась убедить их, что я замуж не собираюсь и что только после окончания института я начну об этом думать. И вдруг этот худющий, как комар, занял все мои мысли, и я никак не могла выбросить его из головы. Откуда он взялся, я же сколько лет даже не замечала его! А всем моим друзьям и знакомым даже в голову не могло прийти, что я могу вдруг выйти замуж за Кирилла.

Как мы «поженились» с Кириллом: не обычно, а смешно и весело

Институт мы закончили в 1935 году, но диплом об окончании института можно было сдавать в любое время, хоть сейчас, хоть через год. Вот я и решила поехать в Тетюхе поработать, собрать необходимый материал для диплома и вернуться в Москву для защиты.

Незадолго до моего отъезда, в один прекрасный весенний день я подошла к Нескучному саду. Мне стало так грустно думать, что вот это уже конец, я уеду, и может быть, навсегда. Что меня там ожидает? Дальний Восток от Москвы — ведь это почти одна четверть окружности земного шара. И было очень приятно, что я первая решилась туда поехать.

Москва. И откуда такая притягательная сила у этого города: кривые узенькие переулки, щербатые стены, невообразимая смесь азиатчины и настоящей сермяжной Руси, но чем больше по ней бродишь, чем ближе с ней знакомишься, тем уютнее себя чувствуешь в ней. Особенно я любила ходить по Москве ранним прохладным утром, когда дворники в белых фартуках, широко

размахивая метлами, подметали тротуары, а недавно политые улицы наполняли воздух мягкой свежестью. До чего ж хороша Москва, особенно весной! Я спустилась вниз прямо к Москве-реке, и вдруг откуда-то появились два друга: Кирилл и Николай.

— Говорил же я Жужикову (это наш преподаватель физкультуры), что эти жестянки ни к черту не годятся (это противогазы), а он заставил меня пройти через камеру, чуть не задохнулся. А ты откуда взялась? — вдруг, увидев меня, обратился ко мне Николай.

— То же самое могу я у вас спросить. Какая нелегкая вас сюда принесла, да еще так рано?

— Мы решили проветриться немного.

— Проветриться? А всю ночь, наверное, в карты дулись, — решила я.

Мы вместе пошли в институт, болтая по дороге о всяких пустяках.

— Ты в субботу не занята? — спросил меня Кирилл. — Я зайду к тебе, и мы пойдем ужинать в «Прагу».

— По какому это поводу? — поинтересовалась я.

— Видишь ли, это Кириллу пришла в голову идея собрать ребят, ведь скоро разъедемся, и кто знает, когда и как мы снова все соберемся, — ответил Николай.

— По такому серьезному поводу я даже постараюсь отложить консультацию с Семеном Петровичем по моему проекту.

В «Праге» собралась кампания человек двадцать — двадцать пять, нам отвели отдельную комнату. Ужин затянулся, в полночь появился прекрасный цыганский хор («Прага» славилась этим), стало шумно, весело, пили, пели, и почти под утро подали шампанское. Кирилл, подняв бокал, заявил:

— Я собрал вас сюда, мои дорогие друзья, чтобы сказать вам, как мне трудно и грустно с вами прощаться. Все мы разъедемся во все концы нашей огромной родины, но я очень хотел бы, чтобы мы договорились каждый год встречаться здесь или в любом другом месте, не терять связь и делиться нашим жизненным и производственным опытом. А еще хочу сообщить вам, что Нину я от себя никуда не отпущу. Мы будем вместе, и я хочу, чтобы мы все выпили за наше будущее.

Ребята завопили так, что я думала, потолок обвалится. Кирилл поцеловал меня, и все бросились целовать и поздравлять нас.

Мы вышли под утро (ночи в это время в Москве очень короткие), и всей гурьбой пошли пешком к Москве-реке, там сели на какую-то баржу и вышли у Воробьевых гор. Гуляли, любовались видом на Москву, а когда все устали, решили зайти в

какой-то крестьянский дом, по-видимому, кому-то уже давно знакомый (в то время на Воробьевых горах еще были чудные огороды и паслись коровы). Нас всех накормили замечательным завтраком: подали на стол свежий душистый хлеб, молоко, творог, сметану. Нас снова все поздравляли, целовали, желали много лет веселой, как сейчас, и счастливой жизни. Здесь же все, кто как умел, отдохнули, некоторые даже успели вздремнуть. Обедать отправились в ресторан «Шестигранник» в Парке культуры и отдыха. Кирилл щедро расплачивался, кто-то спросил:

— Ты что, выиграл в лотерею?

— Нет, — расхохотался Кирилл, — хороший гонорар мы с Давидом получили.

Здесь мы почти через сутки и распрощались, но с нами в общежитие все-таки вернулось человек восемь самых близких, до того мы привыкли быть вместе, что трудно было расстаться.

И как-то вдруг так получилось — не то я вышла замуж за Кирилла, не то Кирилл женился на мне, для меня это было все равно, мы просто стали жить вместе, и, по-видимому, как он, так и я думали, что теперь нас никакая сила не разлучит. А все мои знакомые говорили:

— Нинка из упрямства вышла замуж за Кирилла.

Блестящая защита

Когда уже более или менее каждый из нас знал, куда он поедет после окончания института, Кирилл обратился в комиссию по распределению с просьбой отправить его тоже на Дальний Восток на золотые прииски. Ему категорически отказали, заявив, что его хотят назначить главным инженером того завода, над проектом которого он уже работал. Защитил он дипломный проект так блестяще, что Государственной квалификационной комиссии даже не потребовалось уйти на совещание. Они тут же, не вставая со своих мест, единогласно решили: защита отличная, проект немедленно отдать в печать и принять за образец для внедрения на производстве и оставить Кирилла в аспирантуре. Все стоя долго, долго аплодировали. Это была самая-самая блестящая защита дипломного проекта, которую наш институт когда-либо имел. И о выезде куда-либо на периферию, конечно, не могло быть и речи.

Преддипломная практика

Дорога во Владивосток

Как только занятия в институте закончились, я решила сразу выехать на Дальний Восток. В июне месяце мои друзья шумно и весело провожали меня, ребята тащили тяжелые чемоданы с продуктами. «Бери все с собой, по дороге ничего не достанешь», — так уговаривали меня все, каждый исходя из своего личного опыта. Да и уговаривать особенно не надо было — я сама знала, как трудно было за пределами Москвы что-либо достать. Советов и пожеланий было столько, что даже когда поезд уже тронулся, на перроне все еще не могли успокоиться, а я осталась одна, и мне стало невероятно грустно. Грустно, потому что кончилась, хотя и тяжелая и далеко не беззаботная, но самая лучшая пора студенческой жизни, и я знала, что, когда вернусь, в Москве уже никого не будет из тех, кто провожал меня. Все мои друзья так же разъедутся по безграничным просторам НАШЕГО, необъятного нашего Советского Союза, и вряд ли мы снова когда-нибудь увидимся. Я ехала в один из самых отдаленных уголков нашей России, на Дальний Восток. Из Владивостока я должна была плыть дальше на север, где в отрогах Сихотэ-Алинского края, у побережья Японского моря, на берегу реки Тетюхе расположился один из крупнейших комбинатов по добыче и обработке богатейших полиметаллических руд.

Тяжело было расставаться с Кирой. Расставалась я не просто с Кирой, а с мужем. Я еще никак не могла прийти в себя и понять, как и откуда могло появиться такое сильное чувство к человеку, которого я четыре года, занимаясь рядом в аудиториях, даже не замечала. И вдруг он стал для меня дороже всех на свете. Как долго я выдержу без него и не делаю ли я глупость, уезжая, несмотря на все его просьбы?

Я вспомнила, как все наши друзья, узнав, что мы решили жить вместе, то есть пожениться, в один голос заявили: «Нинка из упрямства решила выйти замуж за Кирилла. А вот теперь, тоже из упрямства, решила уехать».

Муж остался в Москве, в аспирантуре, и продолжал работать над проектом еще не достроенного предприятия, с надеждой, что к моему приезду у него что-нибудь прояснится с жильем, и мы организуем нормальную семейную жизнь. Неизвестность впереди меня тоже немного пугала, но я старалась побороть все сомнения и страхи перед грядущим.

В поезде

Мне очень повезло, у меня в купе оказалась чудная соседка, которая ехала к мужу на Дальний Восток, и мы были всю дорогу вдвоем.

На Дальний Восток, как правило, уезжали одни мужья, за длинным рублем, а жены оставались в больших городах и, получая деньги от мужей, жили в свое удовольствие. В нашем вагоне, кроме нас, двух женщин, все остальные были одни мужчины: летчики, писатели, журналисты и военные, возвращавшиеся после отпусков в свои части на Дальний Восток. Все в вагоне перезнакомились невероятно быстро и разделились на группы: шахматистов, любителей домино и картежников.

Летчик Леня, журналист Женя и инженер-путеец Юра собрались играть в преферанс, но, не сумев найти четвертого партнера, обратились ко мне. Я честно сказала, что в карты не играю, а к игре в преферанс даже испытывала особую неприязнь за то, что она так часто отнимала у меня Кирилла.

Они так мило меня уговаривали, уверяя, что играть мне вовсе не придется, что в этой игре играют всегда только трое попеременно и тот, кто освободится, будет играть за меня. Все играли с азартом, а когда кончили партию, чуть ли не в полночь, я ушла спать, а игроки пошли подсчитывать результаты. Раздался громкий стук в дверь купе — оказывается я «выиграла» 84 рубля, и они старались вручить мне мой «выигрыш». Моя соседка попросила:

— Дайте ей выспаться.

Я же предложила:

— Если вам так уж хочется расстаться со своими деньгами, пропейте их.

Поезд мчал нас все дальше и дальше от Москвы: проехали Свердловск, перевалили через Уральский хребет, кончилась Европейская часть России — началась Азия, и это все была Россия. Чудные пейзажи, один краше другого, менялись как в кино.

Молодежи, ехавшей с нами в этом поезде, было вовсе не скучно, она развлекалась, как и положено молодым — новые люди, новые впечатления, а пожилое поколение, после долгих лет тяжелой работы попав в оборот почти десятидневного безделья, забыв свой возраст, развлекалось не хуже молодежи.

После двух-трех дней пути все уже успели познакомиться, и ребята, переходя из вагона в вагон, шутили: «Анкеты заполнены». Это значило, что все уже знают кто куда, зачем и почему едет. Что же делать дальше? Пассажиры начинали сближаться друг с

другом, и вскоре всякие дорожные приключения становились достоянием всего поезда. И все равно, если бы не эта неописуемая красота и разнообразие дороги, трудно было бы выдержать восемь суток в поезде.

Промчалась Западная Сибирь, вступили в дикое, суровое Забайкалье. Все реже и реже встречаются селения, все длиннее и длиннее расстояние между станциями. Кругом дремучий лес и сопки, сопки, сопки, много рек, речушек и море цветов. Мы мчимся, как вдоль какой-то сказочной оранжереи, сотни, сотни километров тянутся поля, усыпанные цветами неописуемой красоты. Перед моими глазами проплывают огромные махровые шапки красных, белых, розовых пионов. Белые лилии, синие ирисы и многие, многие другие, такого изобилия, такого разнообразия, такой величины, яркости и такой дикой неописуемой красоты я в жизни не видела. При внезапных остановках пассажиры вылетали из душных вагонов и возвращались с роскошными букетами.

Лица людей постепенно менялись, пошли местные скуластые, низкорослые крепыши, баргузины, якуты, монголы.

Самое красивое озеро в мире — Байкал

Сколько рассказов я о нем слышала, но никто никогда не смог передать той единственной, неповторимой, неописуемой красоты этого поэтического озера. Мы проезжали его при дивном, дивном, ни с чем не сравнимом закате солнца, при лунном освещении ночью, когда по тихой зеркальной поверхности воды плыли узкие лодочки со светом впереди (это местные рыболовы вышли на ночную ловлю), и при незабываемом рассвете. Это самое глубокое пресноводное озеро в мире, расположенное в юго-восточной части Сибири, в нем сосредоточенно 20 % всех пресноводных ресурсов мира и 80 % российских.

В Байкал впадает 336 рек, а из этого единственного в мире озера вытекает только одна река Ангара.

«Славное море, священный Байкал»… Это озеро все называют — «священным». Оно не терпит грязи. Говорят, любой предмет, брошенный в это озеро, выбрасывается немедленно на берег и вода в этом озере всегда чистая, прозрачная, как слеза.

Все прилипли к окнам и громко, на весь вагон, затянули песню.

«Славное море, священный Байкал.
Славный корабль омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Плыть молодцу не далече.
Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в степях Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя»…

А поезд мчался все дальше и дальше вдоль озера, ныряя из одного туннеля в другой, через семьдесят четыре туннеля. Я не могла уснуть и всю ночь смотрела, не отрываясь от окна, рассвет был чудесный…

На рассвете была продолжительная остановка на станции «Слюдянка» на берегу озера Байкал, здесь добывают слюду, мрамор. Поезд стоял долго, что-то смазывали, что-то чинили, и пассажиры быстро отравились к озеру, успели даже искупаться в чистой студеной воде Байкала и купить жареную рыбу, знаменитый байкальский омуль и хариус.

Как море, тихо плескался Байкал, шепотом рассказывая свои впечатления прибрежным камням. Не хотелось расставаться с этим чудным видом, но надо было спешить.

Звонок. Все помчались к поезду. Бежит старичок, у него во все стороны льется кипяток из чайника, бежит женщина с жареной рыбой на тарелке, споткнулась, рыба вильнула хвостом, как будто ожила, и разлетелась по шпалам. После такого кристально чистого воздуха не хотелось заходить в вагон. В вагоне было душно, накурено, но я еще продолжала дышать запасом утренней прохлады.

Поезд, вздрогнув, тронулся, а дальше пошла еще более дикая местность. И кругом буйная трава и цветы, море цветов, таких ярких, чудных, пышных.

Дремучий лес и сопки, сопки, покрытые серебристыми елями, как будто кто-то набросил на них белоснежное кружевное покрывало, и среди этой буйной красоты иногда появлялись серенькие, разбросанные, как шелуха от семечек подсолнуха, печальные деревеньки.

Труд облагораживает человека

Отсюда поезд пошел по старой одноколейной дороге, а рядом полным ходом шло строительство второй магистрали, так называемой Байкало-Амурской магистрали — БАМа. Новые шпалы, новые рельсы, по сторонам аккуратные насыпи, обложенные свежим дерном или красным кирпичом, с затейливыми рисунками и лозунгами: «Труд в СССР есть дело

чести, доблести, геройства», «Труд облагораживает человека» и масса других лозунгов.

Рабочие здесь в основном заключенные, сказал Юра-путеец, ехавший в Хабаровск. А они, то есть рабочие, приблизившись к поезду, кричали: «Киньте что-нибудь! Киньте покурить!» Я схватила все свои продовольственные запасы и с огромным удовольствием побросала им. В Москве меня убеждали, что по дороге ничего не достанешь, бери с собой все. Я и набрала, а оказалось, в этом году не все, но кое-что на каждой станции уже можно было купить. Местные жители к приходу поездов приносили свежие сырники, пирожки, молоко, поэтому многие мои продукты оказались лишними: хлеб, колбасы и консервы стояли нетронутые. Так поступали и другие. В ответ рабочие ловко бросали нам в открытые окна вагонов, насаживая на концы палок, роскошные букеты диких цветов, которые росли вдоль железной дороги, как ковер.

Мое внимание привлек товарный состав, стоявший на одинокой, угрюмой станции. Все вагоны были заперты, и единственное окошечко вверху было за решеткой, оттуда выглядывал бледный, измученный человек. Это была единственная отдушина, которая соединяла его с внешним миром…

Ко мне подошел Юрий-путеец, я предложила ему пройтись. Меня потянуло туда, в сторону этого несчастного поезда. Мы подошли очень близко, нас окликнул стражник:

— Граждане, здесь ходить не разрешается.

Мы обошли поезд, с другой стороны охраны было меньше, так как она была сосредоточена на людной стороне.

Этот состав меня пугал и привлекал своей таинственностью. Слово тюрьма для меня было самое ненавистное слово, оно ассоциировалось у меня со словом «ад». Зачем нам нужны тюрьмы? Разве только для рецидивистов и неисправимых убийц, но я очень верила в то, что если будут созданы соответствующие условия жизни, то никакие тюрьмы нам не будут нужны. И эти условия должны создать мы в нашей стране.

Вошел Юрий:

— Легче стало? — спросил он.

Значит, видел, как я нервничала после нашей прогулки, тщательно стараясь скрыть от окружающих волнение.

— А вот я привык, — сказал он. — Давайте закурим, успокойтесь. Вы едете на Дальний Восток. Поберечь надо себя.

Взор не оторвешь, до чего же богата и прекрасна наша страна, наша природа! Сколько красоты, сколько радости, и глядя на все это, хочется радоваться и смеяться по пустякам. Все, что казалось

за минуту до того безнадежно тяжелым, смягчилось и потянуло вперед, к новой жизни, к новой творческой работе. А у меня было так много радужных надежд впереди! Я ехала с такой радостью на производство работать и собирать материал для диплома.

Яблоневый хребет

После небольшой остановки на глухой таежной станции, где вокзалом назывался вагон, стоявший чуть-чуть в стороне, шла дорога, извиваясь причудливыми кольцами, как змея.

— Забайкалье — Яблоновый хребет, — выкрикнул начальник поезда, проходя через наш вагон с проводником. — Длина 650 километров, высота 1600 метров над уровнем моря. Сейчас будет крутой спуск, к нашему составу в конце поезда прицепят второй паровоз.

— Здесь часто случаются аварии, — успокоил всех проводник и пошел дальше.

Вот вам и знаменитый Яблоновый хребет, поезд не едет, а ползет медленно-медленно. Скрипевший и стонущий паровоз с трудом удерживал состав, хвост поезда то появлялся, то исчезал. Было страшно и красиво. Я стояла, не отрываясь от окна.

Юрий сказал, что совсем недавно здесь произошла авария. На этом спуске сорвался огромный товарный состав и сгорел. Были жертвы. А наш поезд мчался и мчался все дальше и дальше, и картины менялись, как на экране.

Когда всей нашей дружной веселой компании, увлеченной карточной игрой, надоело играть в карты, взялись за домино, уверяя меня, что в дальнейшем моем морском путешествии эта игра будет мне очень полезна. Наш вагон также был самим певучим, а уж выпить по поводу и без повода — не уступал другим.

В этом изнуряющем путешествии очень кстати оказался мой день рождения, который превратили в круглосуточный праздник.

По этому случаю наши спутники убрали и вычистили соседнее купе. Из чемоданов соорудили стол, накрыли белой салфеткой. Посреди «стола» стоял огромный букет цветов в консервной банке, появилось столько бутылок и консервных банок, что почти всему составу хватило выпить, закусить, попеть и пошуметь. Наполнив стаканы и кружки разного сорта вином, все горячо поздравили меня с днем рождения. А к концу дня чуть ли не весь состав принял участие в нашем празднике, всем было весело, и вскоре уже никто не помнил, с чего же, собственно, это все началось. Цветов было столько, сколько было пустых выпитых бутылок, любая артистка могла бы позавидовать. Мои

изобретательные попутчики умудрились, одним им известным способом, протереть пустые бутылки шпагатом, ловким ударом отбить у них горлышки и превратить их в вазы для цветов.

А поезд тем временем медленно и уверено, огибая бухту, в одно пасмурное туманное утро приближался к Владивостоку.

Владивосток

Вода в бухте была стального цвета, как и небо. Над этой свинцовой поверхностью носились стаи чаек, плавали рыбачьи лодки, баркасы.

В поезде все суетились, укладывали вещи. Куда ни глянь, чемоданы, баулы, бумага, мусор, как будто всю дорогу не убирали. Зашел проводник, побрызгал из чайника и начал мести. Пыль коромыслом, а бедные пассажиры, только что приодевшиеся и разместившиеся у окон, желая посмотреть на окрестности Владивостока, заметались из стороны в сторону, считая себя совершенно лишними в вагоне.

Поезд медленно, медленно подошел к вокзалу. Владивосток! Владивосток!!! — пронеслось по вагону, и все после долгого, утомительного пути радостно рванулись к выходу.

На перроне многие прощались со слезами, за этот длинный путь люди сблизились, даже успели завязаться какие-то романы.

Когда я вышла на перрон, меня липкой влагой окружил туман.

Ко мне бежала Тамара. За огромным букетом цветов я увидела копну каштановых волос, огромные серые глаза и счастливую улыбку Тамарочки. Наша радостная встреча была такая бурная, что многие оглядывались на нас, букет был лишний. С Тамарочкой я познакомилась еще в Бердянске, потом мы встретились в Москве, где она училась вокалу в консерватории, и по окончании получила направление в оперный театр Владивостока. Опомнились мы, когда к нам подошел шофер.

— За вами машина. Вас ждут.

Я не была такой большой шишкой, за которой надо было посылать машину, но управляющий «Дальцветметзолота» славился своей трогательной заботой о молодых специалистах.

— Приказано везти вас прямо в гостиницу «Золотой Рог».

— О нет, пожалуйста, ко мне, я ее годы ждала, — обратилась к нему Тамарочка.

— С удовольствием, куда хотите, хоть на край света, — глядя на нас, весело ответил шофер. — Я только передаю приказ хозяина.

Желание привести себя в порядок, помыться, переодеться после такого долгого пути взяло вверх, и мы поехали в гостиницу.

В гостинице нас встретил управляющий Сихотэ-Алинским комбинатом.

— Вот и приехала, а денег хватило на дорогу?

— Хватило. А вам Серебровский привет посылает.

— Спасибо, а в главке все грызня. Лучшие работники все исчезают. Сколько их сменилось при мне, не перечесть, вот и я жду своей очереди…

Я искоса взглянула на него. Ему было лет шестьдесят, он крепился, но выглядел старше.

Как потом я узнала, он был членом коммунистической партии с 1905 года. Состоял он в обществе старых большевиков и политкаторжан, и это наполняло меня чувством глубокой симпатии и доверия к нему. Он же, имея за собой тридцатилетний партийный стаж, был довольно прям и откровенен в разговорах с близкими, знал всех вождей лично и очень хорошо.

— Я воробей стреляный, — говорил он. — Знаю царские ссылки и тюрьмы, всю свою жизнь посвятил партии, и иногда «критикнуть» имею право. Но попал в опалу, и был послан управляющим Сихотэ-Алинским комбинатом не по своей воле, а в порядке партийной дисциплины.

Завтрак на всех был заказан прямо в номер гостиницы.

— Да что вы встречаете меня как начальника главка? — засмеялась я.

— Инженер, наш советский молодой инженер. Уважать, черт возьми, надо, уважать и ценить.

За завтраком появился новый персонаж.

— Глеб Успенский — начальник радиоточки Тетюхинского комбината, — отрекомендовал нам его Кокшенов.

— Что это вы, имя писателя присвоили или родственник ему? — поинтересовались мы.

— Не читал — коротко ответил шевелюристый парень.

Вот тебе и директор радиоточки. «Не читал — и точка», — подумала я.

— Идея! Как только вам станет скучно, у вас будет нагрузка — помогите Глебу музыкально укомплектовать его радиоточку. Мы ему выдали 15 тысяч рублей для этого, а то ведь сил нет его кошачьи концерты слушать, — обратился ко мне Кокшенов.

— Это вы не по адресу. Машины, заводское оборудование — тут я к вашим услугам, а вот насчет музыки… — я обернулась к Тамаре, — поможешь?

— Тамара Сергеевна Голубева — поет, как соловей, играет,

как бог, и красива, как мадонна. Я вас в среду слушал в «Мадам Баттерфляй». Вы из московского «Большого»?

— Нет, из нашего, Владивостокского, — улыбнулась Тамара.

— Какая золотая молодежь! И что бы мне лет этак десятка на три позже родится. Слушал вас и плакал, ей богу. В молодости театральным критиком считался, и неплохим. Театр любил, как невесту, а потом жизнь закрутила, завертела, как щепку, и прямо выбросила на берег Тихого океана. Но знакомых я имел и имею в Москве, хоть отбавляй. Хотите, Тамара Сергеевна, моя рекомендация, а главное, ваш голос — и место в «Большом» вам обеспечено? — почти с отеческой улыбкой обратился он к Тамарочке.

— Нет, нет, — почти с испугом произнесла Тамара.

— Как хотите, в любое время, только дайте мне знать. А вы, — обратился он ко мне, — пока ваш «Феликс Дзержинский» (пароход) прибудет за вами, погуляйте по Владивостоку, хороший город, я его очень полюбил. А теперь нам пора, Миша, а то мы на поезд опоздаем, мы едем в Хабаровск.

Недолго пришлось ему ждать, в 1937 г. его арестовали и вскоре расстреляли.

Город Владивосток расположен вдоль восточного побережья Амурского залива. Главный город Приморского края. Конечный пункт Транссибирской железнодорожной магистрали, лучший порт на Тихом океане. Город раскинулся по берегу бухты Золотой рог, на протяжении пяти километров ступеньками поднимаясь вверх по склонам холмов, прикрывающих бухту. Сверху открывалась живописная панорама Владивостокского рейда. Владивосток мне тоже очень понравился, он не был похож на шумные портовые города нашего юга. Приятное, уютное впечатление производили небольшие, купеческого стиля, домики, обсаженные зеленью, чистые тихие улицы, и только на главном Ленинском проспекте, пересекавшем весь город и спускавшимся прямо к морю, днем и ночью царило оживление. Здесь разгуливало много иностранцев с американских, английских, итальянских и греческих пароходов.

Вечером мы спустились в ресторан, заказали ужин. Меня поразило, что в ресторане было пусто, только кое-где в глубине зала за столиками сидели одинокие женщины. Вскоре заиграла музыка, появились мужчины, они подсаживались к этим столикам, и веселье закипело. Мне объяснили, что эти женщины здесь для того, что бы привлекать иностранцев. Здесь было много офицеров, капитанов с иностранных судов. Эти женщины попали сюда после продажи КВЖД, они говорили по-китайски, по-японски, по-французски, по-английски и, конечно, по-русски и

были ценные работники.

В поисках белых туфелек

В этом году в Москве появились и быстро исчезли какие-то белые не то туфельки, не то спортивные тапочки на каучуке. Это был «шик», но их в Москве невозможно было достать. И перед моим отъездом меня попросили: «Говорят, во Владивостоке их полно. Пожалуйста, купи и пришли нам».

Во Владивостоке мы с Тамарой прошлись по магазинам, там их тоже не было.

— Ты знаешь, мы их достанем на рынке у китайцев, — посоветовала Тамара.

В те годы на окраинах Владивостока были целые поселки, где в аккуратных беленьких уютных домиках, которые называли «фанзами», жили китайцы, занимались они рыболовством, огородничеством, а в основном торговали контрабандой.

Меня поразило множество китайцев, корейцев, которые, бегая рысью по кривым горным улицам города, развозили багаж на высоких с большими колесами тележках. Одеты они были в робы из когда-то белого, а сейчас цвета дорожной пыли материала. Они все делали с абсолютно ничего не выражающими лицами. На рынке их было тоже полно, торговали здесь в основном китайцы.

Во Владивостоке в это время были также открыты «коммерческие» магазины, в которых по повышенным ценам можно было купить различные продукты. Запомнились мне красиво убранные вино-водочные магазины и гастрономы, почти такие, как я их помнила с периода НЭПа.

Что это был за рынок! Я в жизни ничего подобного не видела. Он буквально ломился от всевозможных продуктов: от каких-то экзотических рыб до каких-то незнакомых мне овощей, и какой только рухляди там не было! Тьма-тьмущая всяких, совершенно незнакомых мне, безделушек и масса заграничных перламутровых пуговиц, погоня за которыми в те годы была тоже одной из слабостей наших московских обшивавших себя дам.

Там можно было достать все: китайский шелк, китайский, японский фарфор, ковры, картины со всего света. Среди массы народа с таинственным видом медленно прохаживались морячки и как бы невзначай напевали себе под нос: «О, где же ты, мой маленький креольчик»… или «В бананово-лимонном Сингапуре»… И сразу же можно было догадаться, что у него под бушлатом были спрятаны патефонные пластинки Вертинского, Лещенко и другие, очень в то время популярные и немного запретные. Все эти товары были привезены контрабандой и

продавались из-под полы за «бешеные» деньги, от трехсот до пятисот рублей и выше.

Но те, кто имел их, заигрывали просто до дыр, и всегда могли быть уверены, что скучать их друзья не оставят. Мы уговорили Глеба приобрести три такие пластинки Вертинского, Лещенко, и, кажется Семенова, за умопомрачительные деньги и долго бродили по рынку в поисках наших волшебных черевичек, но так и не нашли.

Тогда Тамара обратилась к сидящим здесь китайцам, занимающимся чисткой обуви. Один из них откликнулся:

— Моя мозить достать, васа плиходить в сесть возле китайский ресторан, моя будет здать.

В условленное время мы с Тамарой были у ресторана. На улице сидел наш чистильщик с невозмутимым видом китайского божка. Но, увидев нас, он быстро собрал свои вещички, встал и пошел. Мы догнали его:

— Ну как же, ходя, где наши туфли?

Он завернул за угол:

— Васа идет за мной, моя пойдет к зене. У нее две пали васа.

Китаец шел, поворачивая из одного переулка в другой, а мы шли за ним. Наконец мы вошли в какой-то длинный коридор. Неприятный тяжелый запах. Китаец открыл низенькую дверь и пропустил нас в небольшую полуосвещенную комнатку. Указав на два покосившихся стула, предложил нам сесть, а сам исчез. Мы, удивленно озираясь, брезгливо присели и, взглянув друг на друга, расхохотались. Вначале нам было смешно от своей авантюры, но время шло, а наш китаец не показывался, как в воду провалился, и нам стало скучно и даже немного страшновато.

— Ты знаешь, — спрашиваю Тамару, — где мы находимся и как выбраться из этого чертового гнезда?

— Ей-богу, — ответила Тамара, — сколько лет живу во Владивостоке, а о существовании таких пещер и не подозревала.

— Давай-ка, попробуем выбраться на свет божий, а там дорогу найдем.

Но не тут-то было, как мы ни старались, а дверь не поддавалась нашим усилиям. Здесь, честно признаюсь, все мужество нас покинуло.

— Что делать, куда «ходя» нас завел? — шептала испуганно Тамара. — Да и мы тоже дурака сваляли, пошли за ним.

По левую сторону комнаты я увидела дверь, она легко открылась, и мы очутились в такой же, но более светлой комнате. Обрадовавшись тому, что дверь легко открылась, мы смелее открыли следующую, нашим глазам предстала жуткая картина: в комнате было человек десять-пятнадцать, дым коромыслом, тот

же удушливый запах, который царил и во всех других помещениях. Мы рванулись обратно, крепко прихлопнув дверь. Куда бежать? Но в это время дверь отворилась, в комнату вошел молодой человек лет двадцати пяти. Мы с Тамарой прижались к двери и смотрели на него с ужасом. Молодой человек улыбнулся и очень приятным голосом спросил:

— Вы-то как сюда попали?

Я ему объяснила и попросила вывести нас. Он охотно согласился, и, к нашему удивлению, у него все двери открывались легко и без труда. Оказывается, здесь были просто какие-то замысловатые щеколды, и мы не знали, как ими пользоваться.

Когда мы уже шли по широкому освещенному ярким солнцем проспекту, мы внимательно начали разглядывать нашего спасителя. Это был высокий, широкоплечий, с хорошим открытым лицом молодой человек. Каштановые волосы непокорно падали на его высокий лоб, большие карие глаза были печальны, но нам сразу стало весело, и мы наперебой начали благодарить своего избавителя.

Наш спаситель вдруг остановился и громко, даже испугав нас, спросил:

— А тапочки-то как?

— Аллах с ними, с тапочками, вся история поинтересней тапочек будет.

— Ну, вот я вас и вывел, а теперь мне можно вас покинуть? — полувопросительно сказал он.

— Нет, уж нет, пойдемте с нами, попросили мы, и расскажите нам все-таки, где мы были.

— Много знать будете, рано состаритесь, — отшутился он. — Пожалуй, я пойду.

— Нет уж, никуда вы не пойдете, — настаивали мы. — Пойдемте с нами в парк, а туда вы всегда успеете.

Он поднес руку к вискам, потер их пальцами и, махнув решительно рукой, произнес:

— Пойдемте. А знаете, где вы были? — спросил теперь нас наш спутник.

Мы ответили, что понятия не имеем.

— В опиокурильне, — сказал он. И столько горечи было в этих словах, что нам даже жалко стало его.

Тамара только удивленно пролепетала, что никогда не думала, что что-то подобное вообще может здесь существовать.

Через несколько кварталов мы очутились у городского парка. У входа толпился народ, среди них было много военных, преимущественно моряки — в белых рубашках с огромными синими воротниками, в брюках клеш и бескозырках, лихо

надвинутых почти на переносицу. Здесь же прогуливались барышни, искоса поглядывая на моряков, и, стыдливо отворачиваясь, потихоньку хихикали.

Играла музыка, мы быстро вышли из шумной толпы и пошли к самому возвышенному месту парка, там было меньше людей, и вид был изумительный. Весь Владивосток был виден как на ладони, окруженный безбрежным пространством воды.

Картина была потрясающе красивая, мы все невольно засмотрелись, Тамара даже запела, пела она с большим чувством.

— Как вас зовут? — обратилась я к нашему герою.

— Митя.

— Расскажите о себе, Митя.

— Хорошие вы девушки… — слушая песню, сказал Митя. — Ну что ж, расскажу, только история моя невеселая.

Мы потихоньку спустились вниз, прошли к самой воде и уютно уселись возле какой-то опрокинутой лодки.

Рассказ Мити

— Сам я с Украины, — начал Митя, — отец мой был врач-хирург. В 1931 году его обвинили в агитации против колхозов и выслали. Мать моя очень страдала, не зная, где он и что с ним. Я случайно узнал, что отец, вместе с другими, был отправлен на ДВК и, как будто, потом попал в Комсомольск-на-Амуре. Узнав об этом, мать рвалась поехать туда. Она говорила, что согласна жить где угодно, лишь бы недалеко от него. «Ведь он там погибнет один», — твердила она. Я знал, что это безумие, но я решил приехать с ней сюда, в надежде, что это принесет ей успокоение. Мы приехали в Хабаровск, дальше вместе ехать было нельзя. Здесь я оставил ее у знакомого врача, у старого друга моего отца, а сам решил пробраться в Комсомольск.

Путь туда был очень трудный, я пробирался через тайгу и уже по дороге начал сомневаться, найду ли я отца в живых? Если его сюда послали, то вряд ли он дошел, думал я. Ведь при моей молодости и то я иногда приходил в отчаяние и хотел вернуться обратно. Но я был единственный сын, и воспоминания о матери, которая ждет известий, не покидали меня и придавали мне силы.

И я добрался…

Что я увидел там, передать трудно. Одно могу сказать — это был лагерь. Начальники, надзиратели, рабочая сила — заключенные.

Я вспомнила, как по дороге во Владивосток один военный, Евгений Александрович Доронин, который возвращался в Комсомольск-на-Амуре, рассказывал мне, что родился этот город

в тайге на берегу реки Амур. Туда отправилась пятитысячная группа комсомольцев-энтузиастов. Отсюда и получил свое название город.

Из всех этих пионеров многие погибли, не сумели выдержать условия жизни. Вслед за ними сюда были также отправлены большие партии политических и уголовных заключенных. Условия там были жуткие. Даже для начальства не было достаточного количества бараков. Заключенные жили в землянках, сырых и холодных. Начались жуткие эпидемии. Голод, холод, отсутствие инструментов делали работу убийственной. Охрана вначале была слабой, думали, что в такой глуши не найдется смельчаков на побег. Но жизнь была еще страшнее, и люди иногда бежали. Затем охрану усилили, добавили еще работников. Решили также в качестве охранников использовать уголовных преступников. От уголовников жизни не было не только политическим, но даже и самим военным. Они обворовывали всех, даже своих собственных начальников. «Однажды, вернувшись к себе, — продолжал мой попутчик, — у меня даже кровать украли. — Вызвал я их заправил и заявил, чтобы через час все было здесь на месте, иначе арест и дополнительный срок всей вашей братии обеспечен.

И ушел, а через час все было восстановлено, как было. Объяснили они свои поступки тем, что хотели проверить, не потеряли ли они свою „специальность“, не разучились ли воровать».

Я устроился работать там в качестве вольнонаемного. Подружился с некоторыми работниками ГПУ и, казалось, отчаялся что-либо узнать в этой многотысячной неразберихе. Но вот один из больших начальников ГПУ, услышав мою фамилию, подозрительно взглянув на меня, потом долго вспоминал что-то и вдруг спросил:

— А вы вот такого-то человека не знали?

Я замер. И только чувствовал, что сердце мое отчаянно билось. Мне казалось, что все услышат и поймут, что я за этим только пересек тысячи километров. У меня даже язык одеревенел во рту. Не очень наблюдательный, мой собеседник стал мне рассказывать, каков был собой мой однофамилец:

— Ведь это был мой спаситель, он мне сделал операцию в самых ужасных условиях, и видите — я сейчас живу.

— Как такой крупный врач — специалист, по такой статейке вдруг попал сюда?

— Политический… А все это старая закваска, интеллигентщина. Никак не могут примириться с нашим строем, вот и гибнут. Вы думаете, я все это не понимаю? Понимаю… Я

здесь навидался, сколько их погибло, ужас…

Он был полупьяный и болтал, уже не обращая никакого внимания на меня. А я соображал: «С чего начать, как спросить? Где этот мой однофамилец и что с ним?» Я бы это очень просто сделал о постороннем человеке, но я боялся рта открыть, чтобы мое душевное волнение не выдал бы мой голос. У него на столе стоял спирт, я выпил стакан залпом, и это подействовало. Мой собеседник был уже очень пьян. Он молол всякую чепуху про свою работу, свои неурядицы, а я думал о своем. И вдруг, набравшись храбрости, спросил:

— Где тот врач, который спас вам жизнь, что с ним сейчас?

Он пьяно взглянул на меня.

— Ты о ком? О да, врач, он приказал долго жить. Весной его нашли замерзшим в котловане. Разве такую работу должны делать его руки?

— А все это интеллигентщина… — бормотал он. — Никак не могут примириться.

Но я уже ничего не слышал дальше…

Очнулся я под утро от дождя, который успел промочить меня до нитки. Лес шумел кругом. В одном месте светился огонек, который то угасал, то загорался. Передо мной лежал высокий, стройный сломленный бурей кедр. Его ветки были разбросаны, как руки, по сторонам, мне вдруг стало страшно, я бросился бежать…

Я вернулся в Хабаровск, мать меня ни о чем не спрашивала… Жизнь потекла своим чередом. Я устроился работать механиком.

Митя замолк. Мы прислушивались к ропоту моря. Шум его, навевал грусть, Тамара, прижавшись ко мне, тихонько вздыхала. Кто-то, проходя мимо, играл на гитаре и пел:

Там море полно угроз.
Там ветер многих унес.
Там жил когда-то матрос…
С женой продавщицей роз.

— И вот однажды, возвращаясь с завода, я думал: «Вот сейчас я снова войду в дом, меня встретит мать и во взгляде ее я прочту вопрос: „Ну как, может быть сегодня ты решишься сказать мне всю правду?“». А я, как всегда, пряча глаза, возьму полотенце и пойду мыть руки долго и старательно, чтобы оттянуть время. А потом сяду ужинать и буду рассказывать ей какую-нибудь пустую небылицу, ни меня, ни мать не интересующую, только чтобы отвлечь от жуткой правды. Но в тот день мне не пришлось этого делать, на пороге меня встретил врач.

— Митя, — обратился он ко мне, — мать больна, у нее был сильный сердечный приступ, положение тяжелое, с сердцем плохо, ты возьми себя в руки…

Я рванулся в дом, но он меня задержал:

— Подожди минутку, — она несколько раз теряла сознание и, приходя в себя, все спрашивала:

— Так и умру, а правду не скажете?

И мы решили обмануть ее, сказать ей, что жив, что скоро отпустят.

С этим намерением я вошел в дом. Уже в коридоре на меня повеяло знакомым запахом лекарств. На постели лежала мать, мне показалось, что она уже мертвая — так бледно и спокойно было ее лицо. Почувствовав мое приближение, она открыла глаза, еле слышно прошептала.

— Митя, ты никогда меня не обманывал… Я знаю все!

И крупные слезы полились из ее глаз.

Я опустился на колени у ее постели и прильнул губами к ее руке. Она была холодная, я прижался к ней крепче, стараясь отогреть… Под утро ее не стало… И вот с тех пор я потерял все.

Из Хабаровска я уехал в Биробиджан, потом в шахты на Сучанские рудники. Я работал день и ночь, стараясь в самой тяжелой работе найти успокоение, но ничего не помогало. Я очутился во Владивостоке. Плавал на пароходе механиком, но от себя я уйти не сумел…

— Кокаин помог, — откровенно сказал Митя, — отравляет мой организм, но приносит временное успокоение.

Я провела рукой по Тамариным волосам, по щеке, и почувствовала, что рука у меня мокрая. Тамара плакала… Слов для успокоения у меня не нашлось.

У выхода из парка Митя попрощался с нами.

— Хорошие вы девчата, я рад был вас встретить и исповедаться перед вами.

И быстро ушел, мы его не удерживали.

Жаркий летний день сменила ночная прохлада, мы долго гуляли. Подходя к гостинице «Золотой Рог», мы увидели пролетку извозчика и чей-то зычный, пьяный голос донесся до нас.

— Гони на третий этаж, получишь трешницу!

Извозчик, полуобернувшись, терпеливо уговаривал своего седока.

— Слезай, дорогой товарищ, да иди пешком. Я же тебя подвез к гостинице.

Владивосток был в это время городом, о котором говорили: «Там рубль не деньги, на улице не поднимут». Заработки здесь были большие, но жизнь была очень дорогой.

Народ, приезжая во Владивосток с периферии, распоясывался, тяжело заработанные средства легко и быстро проживались. И часто молодые инженеры, не имея средств на дальнейшую дорогу, возвращались обратно в тайгу.

Из гостиницы на эту сцену вышли два товарища, с трудом стащили его с извозчика — одна нога была у него короче, он где-то потерял костыли — и потащили его наверх.

После исповеди Мити спать не хотелось. Мы с Тамарой пересекли проспект и спустились к набережной. У пристани светились огоньки барж и пароходов.

Тамара, нервно вздрагивая, прижалась ко мне:

— Нина, жаль Митю, хороший парень, неужели нельзя его спасти?

Из Владивостока в Тетюхэ

Наконец подошел наш долгожданный «Феликс Дзержинский». Стоя на борту парохода, я долго наблюдала, как медленно исчезали Владивосток и грустная фигура стоявшей на берегу Тамары.

Какое красивое море, как хорошо вот так плыть, плыть и плыть далеко-далеко, хоть на край света. Всю жизнь я так любила море, мне всегда становилось и грустно, и весело при виде моря. Мне с детства всегда хотелось стать капитаном, покорять морские просторы, или пилотом, завоевывать воздушные пространства, а стала инженером и каким — горно-металлургическим, ничего общего не имеющего ни с морем, ни с воздухом.

Меня тронули за плечо, обернувшись, я увидела Митю. Я обрадовалась ему.

— Как вы тоже едете? Куда?

— Куда угодно, мне все равно, лишь бы от себя подальше.

Мы помолчали…

— Я видел, как вы с Тамарой прощались. Она вас очень любит. Как хорошо, если можешь так любить. Вы знаете, после того вечера, когда я с вами так разоткровенничался, я решил что во Владивостоке мне делать больше нечего…

Подошли два инженера — возвращались из отпуска, попросили составить им компанию в домино.

— У нас уже все готово, не хватает партнеров.

На открытой палубе опять чемодан вместо стола, на одном конце водка, икра, колбаса. На другом — домино.

— Это тоже необходимо? — кивнула я на бутылки.

Они извиняющие улыбнулись:

— Простите, говорят, это помогает от морской болезни, а

Глеб ею страдает хронически.

Мы весь вечер щелкали костяшками, особенно старался Митя, играл он артистически.

В Тетюхе

Наконец рано утром на рассвете наш пароход, вздрагивая и тяжело вздыхая, приблизился к цели и остановился на рейде в открытом море. Вдали поблескивали огоньки. К пароходу приблизился катер, на палубу поднялся начальник пограничной зоны. Он проверил наши документы, отобрал наши пограничные пропуска, после чего мы были готовы сойти на берег. Пристани здесь не было, поэтому и пароход остановился в открытом море. Вместо пристани — простые деревянные подмостки, к ним и причалил наш катер.

Встречали меня, к моему удивлению, как Колумба, открывшего Америку. Огромные букеты цветов. Замечательный завтрак, человек на десять, у главного инженера комбината, среди них два инженера, окончившие наш институт на год раньше, которые заявили, что если бы не моя инициатива, то им и в голову бы не пришло ехать в такую даль на работу. Они с энтузиазмом писали мне отсюда: «Удивить тебя ничем нельзя, но ты сама увидишь — красота здесь, как в Швейцарии, а климат, как в Ницце». Откуда они знали, какой в Ницце климат, где никогда в жизни не были?

Сихотэ-Алинский хребет простирается вдоль западных берегов Японского моря и Татарского пролива. Японское море отличается зимой сильными штормами, летом — туманами. Здесь, на побережье Японского моря, у устья реки Тетюхэ и расположен один из крупнейших, богатейших в Советском Союзе комбинат по добыче и обработке свинцово-цинковых руд, почти каждый кусок руды был почти чистый свинец, дававший 30 % всей союзной добычи свинца и цинка.

В этих рудах так же содержалось золото и серебро, которое в виде сплава Дорре отправлялось в Москву, а чистые свинцовые чушки — заказчикам или на склад.

А вот цинковые концентраты, которые были навалены на берегу под открытым небом, проделывали головокружительно длинный путь. Их отправляли морским путем на Украину, на Константиновский электролизный завод «Укрцинк» в Донецкой области. Для этого фрахтовались иностранные торговые судна: шведские, норвежские или греческие, своих грузовых судов еще было недостаточно. Несколько больших океанских грузовых пароходов, курсировавших между Владивостоком, бухтой

Нагаево, Александровском на Сахалине, были загружены до отказа. Они снабжали эти столь отдаленные места продовольствием, а также живой силой, состоящей из вольнонаемных и заключенных.

Металлургический завод находился здесь на берегу моря, но чтобы попасть на рудник и обогатительную фабрику, надо было по узкоколейной железной дороге вдоль берега реки Тетюхе проехать вверх по течению около 30 километров.

Дорога была фантастически красивая. Но до смешного маленькие вагончики то и дело сходили с рельсов, так же как в стужу тридцатого года по дороге в Риддер, но здесь пассажиры выходили не собирать дрова, а погулять, пособирать цветы и полюбоваться стремительным бегом реки. Общими усилиями вагончики так же ставились на рельсы, раздавался сиплый гудок, поезд трогался, пассажиры, не торопясь, шли рядом, спокойно взбираясь на ходу в вагоны.

Наконец мы прибыли на место. И то, что я увидела здесь, действительно превзошло все мои ожидания.

Обогатительная фабрика, окруженная горами и мощной растительностью, была расположена в великолепной, живописной горной долине на берегу реки Тетюхе. Рудник находился еще выше в горах и вечером при закате солнца, когда долина быстро погружалась во тьму, наверху на руднике еще долго наслаждались ярко-багряным закатом солнца, и мы часто поднимались вверх к руднику, чтобы полюбоваться этим сказочно красивым солнечным закатом.

Меня поселили в замечательном двухсемейном, полностью меблированном английском коттедже. Гостиная, столовая, спальня, кухня с холодной и горячей водой, с запущенным теннисным кортом во дворе. Из моих окон, утопавших в зелени кустов, слышался веселый шум реки. На заброшенных клумбах вокруг коттеджа цвели необыкновенно красивые цветы.

После пяти лет тяжелых студенческих скитаний по чужим тесным — не квартирам, а комнатам — моих знакомых и малюсеньким каютам нашего общежития это была царская роскошь. Англичанам, видно, здесь в этой красивой, живописной долине жилось не так плохо. Концессионеры умели на широкую ногу хищнически эксплуатировать эти богатейшие рудные месторождения. Они снимали сливки с этих богатейших предприятий (как я узнала потом) и отправляли в отходы так называемые «хвосты», материал с таким высоким содержанием полезного металла, что его экономически выгодно было вновь пустить во флотацию.

Головотяпство

Это предприятие уже несколько месяцев работало не на полную мощность. На одной из крупных дробилок износился конус, на который уже давно был отправлен заказ. И когда нам сообщили, что конус прибыл, радости нашей не было предела, мы готовы были целовать его. Но как только начался монтаж, мы пришли в ужас — его габариты были больше требуемого. Целую неделю, днем и ночью, рабочие точили и подгоняли конус по размеру. Я не знаю, может ли кто-нибудь представить себе эту каторжную работу.

Через неделю или две на моих глазах разорвало главный конвейер. Конвейер дошел до такого состояния, что не поддавался никакому ремонту. На складе не только нового конвейера, но даже ремней для сшивания не оказалось, и заводу грозила остановка на долгое время. Кто виноват, кого привлекут к ответственности, за головотяпство или за вредительство?

Старик-мастер вошел ко мне и сокрушенно сказал:

— Вот так всегда, вы-то еще не привыкли, а мы уж сколько времени так работаем. Вот когда концессия была, так оборудование эксплуатировалось столько времени, сколько требовалось по паспорту. Когда я видел, как меняют вполне крепкий конвейер на новый, и спрашивал зачем это делают, то получал ответ: «Авария будет стоить дороже».

Глядя на оборванный конвейер, на котором как говорится, не было живого места, на котором можно было бы заплату поставить, нельзя было не поверить мастеру.

А сейчас все мотались, беспомощно разводя руками, в поисках этого злополучного, «вылитого из золота» конвейера. И действительно, в эту минуту он был дороже золотого. А что если завод простоит не сутки, а больше, то во сколько тогда обойдется такой ремень?

Выслушав мастера, я быстро сообразила: а что если поискать среди заброшенного оборудования, может быть, на каком-либо складе найдется старый, давно выброшенный конвейерный ремень?

Мне повезло, очень повезло, на одном из заброшенных складов, куда и в голову никому не пришло бы заглянуть, я нашла старый, заброшенный концессионерами ремень. Все радовались, как дети, меня чуть не задушили от радости.

И опять мастер, проработавший много лет на этом предприятии, сокрушенно вздыхая, сказал:

— Вот когда концессия была, этот конвейер привезли бы из Японии через пару часов, и завод не простоял бы ни секунды.

Невольно хотелось спросить: «Откуда и зачем столько головотяпства? Почему из-за какого то грошового конвейера должно простаивать предприятие?»

Это тоже, я считала, был один из излюбленных методов саботажа, так у нас было принято, почти как правило: на одних предприятиях лежали завалы ненужного оборудования и запасных частей, а в то же время от недостатка того же оборудования и отсутствия необходимых запасных частей могли простаивать другие предприятия, нанося многотысячные убытки стране.

Директора таких заводов с «затоварившимся» оборудованием и запасными частями научились вступать в сделки с директорами тех предприятий, которые нуждались в этом оборудовании, получались в каком-то роде взятки: «Ты мне сделай вот это, тогда получишь у меня то, что тебе нужно» или жди, пока, пройдя многочисленные инстанции, получишь на свою заявку ответ: «Таких запасных частей нет». Такие истории можно было услышать очень часто.

Я с большим энтузиазмом взялась за работу, организовала лабораторию для проверки результатов работы по часам, и готова была чуть ли не ночевать на предприятии.

Никаких развлечений здесь не было. Был, правда, один клуб, на дверях которого вечно висел замок, и открывали его, когда нужно было провести какое-либо срочное собрание или какой-либо общественно-показательный суд.

Народ от скуки не знал, куда себя деть, поэтому вечерами все шли в единственное место развлечения — рабочую столовую.

Это небольшое уютное здание с отдельной комнаткой для инженерно-технического персонала вечером превращалось в коммерческий ресторан, своего рода вечерний клуб. Накрывали столы белыми скатертями, ставили цветы и появлялись кое-какие блюда, которые никогда днем не подавались, и которые можно было получить за более высокую плату. Появлялись пианист и скрипач. Танцевать здесь можно было до утра.

Вино, почему-то, сюда в магазины привозили в бочках, и мы его покупали и приносили в ресторан в чайниках. Однажды забросили сюда и «Тройной одеколон», который расхватали в мгновение ока, и несколько дней все благоухали. Питание здесь было не в пример всем остальным предприятиям намного лучше, но меня больше всего поражало, что в этом богатейшем рыбой крае рыбу к столу подавали очень редко.

А местные жители говорили, что когда огромные косяки кеты или иваси поднимались вверх по течению реки метать икру, можно палку поставить — стоять будет, или с одного берега на

другой можно перейти пешком. А сколько ее погибало, тысячи тонн! А в столовых было пусто, и когда я спрашивала: «почему?», мне отвечали: «Очень просто, рыбоконсервные заводы программу не выполняют. Нет тары: бочек, стекла, соли, специй. И только после того как будет у них выполнена программа, они могут излишки передать в столовые на предприятия». Это тоже одно из тех же очередных «головотяпств». У меня даже начало все больше и больше закрадываться чувство, как будто кто-то умышленно это делает, вопреки всякому здравому смыслу.

И было обидно слушать, как рабочие грустно делились со мной воспоминаниями из своего житья-бытья.

— Вот я приехал сюда, как только концессия открылась, — рассказывал старый мастер завода. — Детишек ни много ни мало — пятеро, мне сразу дали материал на постройку дома, я вон какую домину отмахал… Прихожу как-то в контору на завод грустный, а управляющий спрашивает: «Что с тобой?» — «Да вот, — говорю, — детворы бог послал пятерку, а коровы-то нет, малы все, молока бы им надо». Вечером вызывает меня в контору: «Вот тебе деньги на корову». Я обрадовался страсть как… «Тебе ведь и сарай нужен, возьми, сколько нужно, материала на сарай, да и сена. Отработаешь!» Вот я и вкалывал. А сейчас дырки заделать в сарае прошу немного досок, не дают. Кругом тайга, а дерево, значит, «дефицитный материал».

А другой, облокотившись на стол, вздыхал:

— А кормили нас как! Хлеб на столе, ешь, сколь хошь, белый, пушистый, из муки «харбинки», масло шанхайское, сахар, и за все это даже платить не полагалось. И одежа тоже была, не то, что нынче. Я всю жизнь мытарился, жил под Рязанью, а тут думаю: «Вот куда меня счастливая звезда занесла». Да недолго длилось счастье, опять до щей пустых доехали. Народ заграничный и работать умеет и жить, не то что наша серость. Мы-то тут давнишние, а вон гляньте-ка на тех горемык, — он указал на тех, кто сидел в углу за столом, они недоверчиво смотрели на всех и жались друг к другу. — Их сюда пятьсот семей пригнали, спецпереселенцы, значить.

Потом я узнала, что этих людей расселили на так называемой Саманной площади в домах «скоростного строительства» — из саманного кирпича, но жить оказалось в них невозможно. Крыши протекали от малейшего дождя, а когда на втором этаже мыли полы, то на первом подставляли ведра. Зимой замерзали в них от холода, летом задыхались от жары. Строителей этих домов отдали под суд. Я приехала в разгар этого судебного разбирательства, которое проходило как раз вот в этом самом клубе. Оказалось, в Москве для работы на «Дальстрое» были

завербованы всякие проходимцы. И бедным переселенцам пришлось расхлебывать это головотяпство. Главные организаторы этих строительных бригад собрали кругленькую сумму и исчезли, на скамье подсудимых сидела всякая мелочь. Среди жильцов этих домов не только улыбку, а часто даже слово было трудно выжать.

Но вот по комбинату разнеся слух, что в одну прекрасную ночь все мужчины собрались, оставили свои семьи и ушли в дебри, в лес, в горы, чтобы попасть на «большую землю». Для этого им надо было пересечь глухой, дикий, почти непроходимый Сихотэ-Алинский хребет. Дорог там никто, кроме диких зверей, не прокладывал. Вся связь с Тетюхэ осуществлялась морским путем, и оттуда зимой почти немыслимо было выбраться.

Семьи этих горемык также собрали, погрузили в подошедший из Магадана теплоход и увезли на «большую землю».

Через некоторое время после моего приезда прибыли студенты-практиканты из Владивостока, из Хабаровска, стало шумно и весело. На производстве я была их начальником, а вечерами они все собирались у меня во дворе, где мы на расчищенной теннисной площадке разводили огромные костры, пытаясь дымом разогнать микроскопическую мошкару — гнусь, которая темной тучей, как столб, вилась над головой каждого из нас. От нее не трудно, а просто невозможно было избавиться, она залезала в нос, глаза, уши. Старожилы утверждали, что от нее даже спутанная на ночь лошадь где-то на пастбище задохнулась насмерть. Мы же ухитрялись весело проводить время, петь, читать стихи, придумывать всякие смешные истории и расходились далеко за полночь.

Мы также устраивали экскурсии по живописным окрестностям Тетюхэ. А смотреть здесь было на что, такая красотища вокруг, что дух захватывало.

Но приближалась осень, и я чувствовала, что мне нужно как можно скорее отсюда выбираться, иначе я застряну здесь на всю зиму. Директор комбината и главный инженер категорически не хотели меня отпускать, и все рабочие тоже крепко упрашивали меня остаться. На мои доводы, что я хочу поехать, чтобы в этом году защитить диплом, и после этого вернусь, главный инженер и директор комбината заявили:

— Никуда мы вас отсюда не отпустим. Мы пригласим сюда всех тех профессоров, кому вы должны сдавать диплом, мы создадим все условия, чтобы вы могли здесь, не отрываясь от производства, защитить дипломный проект, и это мы вам обещаем.

Защитить диплом прямо здесь, на производстве, и остаться жить в этом роскошном двухсемейном коттедже было чертовски

заманчиво.

Я знала что никогда, ни в каком другом месте ничего подобного я не получу, так как повсюду были довольно примитивные условия, может быть, чуть-чуть лучше, чем в Красноуральске, и даже в Риддере, а кое-где могло быть даже еще хуже. Но выбраться отсюда, и как можно скорее, я должна была, мое положение здесь становилось все более и более невыносимым, когда за мной стали ухаживать три человека сразу, преследовавшие меня по пятам, они ходили за мной как тени. Как же мне вырваться из этих тройных тисков? Мне стало ясно, что никакие мои героические самопожертвования и никакие мои благородные идеалистические порывы не помогут, мне надо как можно скорее выбираться отсюда. Кирилл в это время тоже осаждал меня письмами: «Когда же ты, наконец, приедешь?» Боже, как выбраться отсюда, ведь не пешком же по морю?

Но о моем отъезде никто и слышать не хотел.

Выручил меня, понявший всю создавшуюся вокруг меня ситуацию и относившийся ко мне по-отечески, директор комбината. Раньше он и слышать не хотел о моем отъезде, а сейчас, поняв все, задумался:

— Откровенно говоря, мне очень жаль терять такого работника. Но я постараюсь вам помочь.

Но в последнюю минуту все вдруг спохватились, директор предприятия отказался дать расчет, партсекретарь снять с комсомольского учета, а начальник погранохраны выдать пропуск. Все трое приходили и настойчиво просили меня не уезжать. Мне самой так же очень жаль было покидать производство, где я работала с огромным удовольствием, и свои хоромы.

— Теперь вот что, — посоветовал мне директор комбината. — Переезжайте к нам на пристань, моя жена будет очень рада, а разговаривать с ними буду я. И спустя несколько дней сообщил:

— У меня для вас есть хороший выход. На днях сюда прибудет «Тобольск», я откомандирую вас с исследовательской партией в Магадан. Пароход «Тобольск» на обратном пути из Колымы в Тетюхэ не останавливается, и вы, может быть, сумеете на нем вернуться прямо во Владивосток.

Вот такой круг надо было сделать. А мне было все равно.

Наконец пришел долгожданный «Тобольск». Это был тот последний рейс, после которого навигация прекращалась надолго. Митя быстро погрузил мои чемоданы на вагонетку, толкнул ее с горы вниз и, пролетев 30 километров, приблизительно через час доставил их на пристань.

Пароход стоял далеко на рейде, надвигавшаяся буря не

давала ему возможности подойти поближе к берегу, и для безопасности капитан торопился скорее выйти в открытое море.

Охотское море — самое неспокойное из всех морей. На нем постоянно блуждают воздушные вихри, и воздух бурлит, как в котле. Над Охотским морем сталкиваются теплое воздушное течение и холодное полярное, образуя тяжелые туманы, которые поднимаются на огромную высоту. Так мне объяснил капитан парохода. Охотское море не изменило своей славе — оно клубилось тяжелым туманом и грозило штормом. Мне, для того чтобы оформить мой отъезд, пришлось не просто договариваться, а вынести целую битву.

Начальник порта заявил:

— Скорее получайте документы. Если пароход уйдет раньше, вам придется догонять его на катере.

Но после вмешательства директора комбината я получила документы и в последнюю минуту на катере быстро догнала уже набиравший скорость пароход. Сверху спустили сетку, и я вздохнула с облегчением, оказавшись на палубе огромного «Тобольска».

«Золотая» Колыма

В 1935 году прошло только четыре года со дня организации «Дальстроя» в бассейне таежной реки Колыма. Основное производство «Дальстроя» — добыча золота. За четыре года своего существования «Дальстрой» сделался одним из наиболее мощных трестов нашей золотодобывающей промышленности.

Буря усилилась. Пароход трепало, как щепку. Большинство вольнонаемных пассажиров, ехавших зарабатывать «длинные рубли» на Колыму, лежали пластом.

«А что же делается там внизу, в трюмах?» — думала я.

На этом пароходе перевозили также тех, кого на долгие, долгие годы отправляли в ссылку, а может быть навсегда, как это было позже, уже в 1937 году с моим очень близким знакомым, бывшим следователем уголовного розыска, мужем моей приятельницы Сонечки Смоткиной Федей Сторобиным, который там же и скончался.

Мы причалили в порт Нагаево в бухте Нагаево в Охотском море. На берегу злой, жестокий ветер, налетая ураганными порывами, рвал и трепал все, что преграждало ему путь. Буря бушевала уже несколько дней, и все устали, и не было, кажется, здесь никого, кто не жаловался бы на головную боль. На зубах скрипел песок, и шумело в ушах. Редкие прохожие пролетали мимо друг друга, не останавливаясь и не здороваясь. Удержать

что-либо в руках в эту зверскую погоду было почти невозможно. Пароход стоял здесь довольно долго.

Капитан с трудом выпускал нас на берег, но мы и сами торопились побыстрее вернуться обратно на пароход. На нашем «Тобольске» собралась большая шумная компания. «Харбинка Наташенька», так ее все называли, так как она вернулась из китайской эмиграции еще до того, как было продано в марте 1935 года КВЖД правительству Маньчжоу-го. У нее был замечательный голос, и здесь на Колыме она давала концерты. Два инженера возвращались на большую землю, как они говорили, в длительный отпуск. Две влюбленные пары, одна из которых — мой сосед из Тетюхе Иван Алексеевич Алексеев (тогда еще не мой однофамилец) со своей возлюбленной Марией. Он занимал вторую половину нашего двухсемейного коттеджа, и в своей половине этого коттеджа ночью храпел так, что, если у меня было открыто окно, я не могла уснуть. Из Владивостока до Москвы пришлось ехать с ними в одном спальном вагоне, где все пассажиры взбунтовались, и его куда-то переселили.

Еще с нами плыл славный веселый молодой человек Юрий, сын или племянник Сергея Лазо, да, да, того самого Лазо, главкома Красных войск, установившего советскую власть на Дальнем Востоке и в Приморье. Того самого, которого японские интервенты и белогвардейцы вызвали на совещание в штаб японских войск, арестовали, пытали, замучили и живого сожгли в паровозной топке в 1920 году. Юра всю дорогу развлекал нас всех, играл на гитаре и перепел нам все песенки Вертинского не хуже самого Саши Вертинского.

А когда провожали меня шумной толпой из Владивостока, он, стоя на перроне, пел песню Вертинского: «Часы считать, часами мерить. Я научусь в разлуке жить. Я буду жить, я буду верить, я буду помнить и любить». Это был год, когда Вертинским увлекались все, как тогда говорили, «взахлеб».

И когда поезд тронулся проводник, грустно сказал: «Так это вы одна едете, а я думал, что вся эта веселая компания с нами поедет».

Евгений Львович

Курорт в Крыму

Вернувшись с Дальнего Востока, я готова была уже через пару месяцев защищать дипломный проект. Но вдруг поняла, что я жду ребенка, а первые месяцы беременности я переносила так тяжело, что мне потребовался не только отпуск, а даже санаторное лечение, и скорым поездом «Москва — Севастополь» я выехала в Крым.

Рано утром сошла в Севастополе с поезда, иду к автобусу, дальше в Симеиз — приморский климатический курорт недалеко от Ялты на южном берегу Крыма, а в какой санаторий идти, еще не знаю. Тащу чемодан к автобусу, к нему привязаны ремнями валенки, крымские ребята бегут за мной, тычут пальцем в валенки и спрашивают:

— Тетенька, что это?

В Крыму никто в валенках не ходит, но из Москвы я выехала в трескучий мороз.

От Севастополя до Симеиза, кажется, 70–80 км. Автобус мчался все время вверх, как по спирали. Дорога невероятно крутая, чувствуешь себя, как на карусели. И вдруг на самой высокой точке, на самой живописной вершине нашего путешествия водитель сообщил: «Остановка, перекус!»

Знаменитые Байдарские ворота, высота 503 метра — перевал через Крымские горы, отсюда спуск вниз от Байдарской долины к Черному морю. Все с облегчением вздохнули, радостно вылетели из автобуса и помчались в ресторан.

Рестораном оказалась церковь, стоявшая с незапамятных времен на этой скале. Кому пришла в голову идея закрыть ее и переоборудовать в чебуречную? Стены внутри расписаны ликами каких-то угодников, старинными изречениями, написанными славянской вязью, кто-то усиленно старался прочесть вслух, что там написано, но ни я, ни кто-либо другой из сидящих вокруг меня, я уверена, ничего в этом не поняли.

Все быстро расселись вокруг столов, чебуреки были замечательные, а головокружительная красота вида на море и на все окрестности с этой возвышенности просто захватывала дух. Но когда наш автобус пошел винтить дальше по дороге вниз, произошло что-то невообразимое. Всех укачало, всех тошнило и рвало. И когда водитель остановил автобус и выкрикнул «Алушта», все не вышли, а просто вывалились из автобуса. А

вокруг уже бегали турки в черных бараньих шапках с нарезанными на подносах ломтиками лимона и кричали во всю глотку «Скорая помощь! Скорая помощь!» Очнулись мы только тогда, когда очутились на распределительном пункте. На этом закончился первый этап нашего путешествия.

Огромная приемная, народу много. По-видимому, кроме нас, сюда уже раньше приехало несколько автобусов.

Распределение шло очень быстро, за столом сидел человек, задавал пару незначительных вопросов и отправлял вас в соответствующий санаторий. Одних в туберкулезный, других в невралгический и т. д.

Меня «распределили», как тогда мы говорили, в Симеиз в невралгический санаторий «Красный Маяк». Санаторий роскошный, главный корпус в каком-то старинном «замке». С двух сторон новые пристройки: слева для медицинских процедур, справа мужской корпус и административные помещения. И вся эта красота стоит на высоком берегу Черного моря.

Окружен этот санаторий всевозможными субтропическими деревьями и растениями. В январе в цвету орхидеи, олеандры, зеленеет магнолия. И зима здесь такая редкость, что когда вдруг однажды чуть-чуть не то запорошил снежок, не то просто побелело от утреннего инея вокруг, все уже пели песенку Вертинского не «Как дикая магнолия в цвету», а «Как дикая магнолия в снегу». А через полчаса вновь засияло солнце, иней растаял, и птицы запели во все голоса.

Меня поместили в главном корпусе с видом из окна прямо в парк. Вход в нашу комнату был также прямо с высокого крыльца, по углам и на ступеньках которого стояли огромные вазы, полные пахучих, цветущих растений.

На моей кровати у окошка лежало чистое постельное белье. Я быстро застелила кровать и собиралась выйти в сад, как в комнату вошла высокая, стройная женщина, себя я еще в то время считала девчонкой, а она мне показалась солидной лет 30-ти дамой.

— Наталья Николаевна, — протянула она мне руку, — вот видите, я вас нашла. — Заметив мое удивление, она улыбнулась и продолжала: — Знаете, как это вышло? Вы уехали, а когда подошла моя очередь, я попросила распределителя: «Отправьте меня тоже туда, куда вы отправили девушку в красном плаще». Он немного подумал и вспомнил: «В Симеиз, в санаторий „Красный Маяк“». — Так, пожалуйста, туда и меня отправьте. Так я очутилась здесь. Здесь я так же заявила главному врачу: «К вам недавно прибыла девушка в красном плаще» — «Да помню». «Так, пожалуйста, — взмолилась я, — поместите меня вместе с ней в

одну комнату». И вот я здесь.

— Так, значит, будем знакомы. Меня зовут Нина.

На меня она произвела такое приятное впечатление, что я готова была обнять ее.

Мы вместе вышли, болтая о разных дорожных пустяках. Вместе пошли ужинать. Главный врач оказался таким чутким, что даже посадил нас за один и тот же стол. В этом санатории кормили на удивление вкусно и обильно. На ужин были поданы нам такие вкусные морковные и капустные котлеты со сметаной, что я готова была заказывать их каждый день. К концу дня вывешивалось меню, и каждый получал то, что заказывал. Вечером перед сном, после прогулок или после кино, в столовой на столе лежали печенье, булочки, кувшин с молоком. Я попросила йогурт вместо молока, так мне прямо в комнату ставили баночку йогурта с печеньем.

На следующий день после тщательного осмотра врач назначил нам всевозможные процедуры, которые должны были оздоровить и укрепить наше здоровье.

Через несколько дней, после акклиматизации, наступили дни прогулок и экскурсий, все здесь было бесплатно — концерты, кино. Вечером билеты в кино лежали у каждого отдыхающего прямо на столе. Мы с Натальей Николаевной часто отказывались от кино, а просто отправлялись бродить по аллеям, любоваться морем и дышать, дышать таким сладким ароматным воздухом, который, казалось, можно пить просто рюмками.

За нашим столом сидело шесть человек, все молодые здоровые ребята, рабочие со всех концов нашей страны, один был даже с Дальнего Востока, другой — веселый казах, всех смешил необыкновенными выдумками, ленинградец — токарь с какого-то завода. Это был обыкновенный санаторий для всех, а не какой-то специальный, которых тогда еще было не так много.

Потрясающий красавец

Мы с Натальей Николаевной очень подружились и все время ходили, как привязанные друг к другу. Однажды после прогулки мы зашли к главному врачу. В приемной у него сидел потрясающе красивый молодой человек, в какой-то задумчивой, скучающей театральной позе. По дороге в столовую Наталья Николаевна, не выдержала:

— Господи, ведь есть же на белом свете такие красавцы, а я-то думала, что только в кино такие бывают.

Ужин уже подходил к концу, когда вошел главный врач с этим красавцем. Главный врач посадил его прямо напротив нас с

Натальей Николаевной и, обращаясь ко всем, представил его:

— Евгений Львович Невзоров, прошу любить и жаловать.

Все хором ответили:

— Очень приятно.

На следующий день шла картина «Граница на замке», и мы решили посмотреть. В кинозале мы заняли наши места согласно билетам, между мной и Натальей Николаевной оказался пустой стул. Я решила, что это ошибка, быстро пересела на это место.

— Нет-нет, садись на свое место, я просто хочу узнать, кто из сидящих за нашим столом ребят решил нас с тобой разлучить, — попросила Наталья Николаевна, так как многие из них настойчиво и упорно старались за нами поухаживать.

Например, люди всегда ведь чем-то недовольны, вот и я несколько раз посетовала:

— Почему не подать нам на стол жареной рыбки, живем же на берегу Черного моря.

Не прошло нескольких дней, как однажды вечером раздался стук к нам в окно. Подняв занавеску, я увидела наших ребят с огромной не «золотой», а с серебряной рыбиной, которую они показывали мне в окно. Где они ее раздобыли? Я даже подумала, что это просто шутка, но все мои сомнения улетучились, когда на следующий день всем сидящим за нашим столом подали к обеду вкусную жареную рыбу.

И вот в полутьме, когда картина шла уже в полном разгаре, вошел и сел между нами наш новый пока еще незнакомец. Когда картина кончилась, и зажгли свет, Н. Н. спросила:

— Ну, как, понравилось?

— Ничего, бывает и хуже, — ответила я.

— Как приятно слышать откровенное мнение, — произнес наш незнакомец и быстро вышел из театра. Мы с Натальей Николаевной направились к нашему любимому месту, к высокой каменной ограде, откуда могли долго часами при лунном освещении любоваться зеркальной поверхностью моря и игрой дельфинов. Дельфинов было очень, очень много, они прыгали, кувыркались, нарушая спокойную серебристую гладь моря и разбрасывая вокруг себя хрустальные всплески воды. Это все было так красиво, что от этого зрелища трудно было оторваться.

— Можно к вам присоединиться? Евгений Львович, — протянув нам руку, отрекомендовался он. Мы так же ответили, и с этого момента он очень вежливо, ненавязчиво, старался все время быть с нами после наших бесконечных экскурсий, на которые он никогда не ходил.

И вдруг Наталья Николаевна получила телеграмму, очень тяжело заболела ее мать. И она немедленно уехала. С этого

момента Евгений Львович стал моим неизменным спутником. Каждое утро он встречал меня на ступеньках нашего корпуса, и расставались мы с ним только перед сном и на короткие моменты процедур, которые, кстати, очень часто пропускали, если уходили куда-нибудь на далекие прогулки.

Однажды, выходя после процедуры, я встретила главного врача:

— Как это вы одна? Вот не ожидал, вас ведь водой не разольешь.

— Виноваты вы. Вы же нам разные процедуры прописали, — пошутила я.

А самая красивая, как все называли ее, «аппетитная», сестра каждый раз, когда я приходила на процедуры, с мольбой обращалась ко мне:

— Ну, скажите, когда же наконец вы уедете, ведь такое сокровище не так часто к нам залетает. Я уж постараюсь, чтобы он без вас здесь не скучал.

Я чувствовала, что женщины с завистью смотрят на меня и ждут отъезда.

Нам действительно было приятно и весело быть вместе, мы никогда не скучали, отправлялись в какие-то далекие прогулки, лазали по горам, любовались на море и болтали, болтали обо всем без конца.

Он был необыкновенно красивый, и мне было очень приятно просто смотреть на него. Не такой, как некоторые красавцы грузины, которые тоже пытались за мной ухаживать, от красоты которых, говорила я, меня даже тошнит. Евгений Львович был мужественно красивый, в него трудно было не влюбиться.

А мне просто было очень приятно проводить с ним время, и, наверное, я влюбилась бы в него по уши, если бы не была так сильно влюблена в своего мужа.

Он рассказывал мне о себе все, как будто исповедовался передо мной, я же очень мало говорила о себе. Знал он самое главное: что я замужем, живу в общежитии, готовлюсь сдавать диплом и кое-что из самых житейских мелочей. Я вообще никогда ни с кем, ни при каких обстоятельствах не любила и не умела говорить о себе.

Он был ко мне очень внимательный, ласковый, нежный. Но мы ни разу даже не поцеловались. Я помню, как мы однажды взбирались на какую-то крутую, хаотичную гору, и я поскользнулась, он испугано подхватил меня почти на руки и все, что он сделал, — радостно взял мои руки в свои и крепко поцеловал.

Настал день моего отъезда, мой автобус уходил в

Севастополь в 6 часов утра. Я очень просила его не провожать меня. Мы попрощались накануне вечером, но когда я вышла в 5.30 утра, он уже стоял на крыльце. Когда мы распрощались у автобусной остановки, он долго стоял, как пригвожденный, пока наш автобус не скрылся. Женщина, сидевшая рядом со мной и наблюдавшая за нами, обратилась ко мне:

— Вы что, с ума сошли — оставить такого мужа на курорте, куда вы едете? Да я бы 24 часа с него глаз не спускала.

Вернувшись в Москву, я окунулась в работу, надо было наверстать упущенное. Проведенное в санатории время приятно было вспомнить, но никаких особых волнений у меня оно не вызывало.

И вдруг пришло письмо, в нем было так много грусти и нежности, и заканчивалось оно словами: «По горам лазаю один… Ваш, искренне ваш Евгений».

«Значит все эти дамы, с таким нетерпением ожидавшие моего отъезда, вздыхали впустую», — улыбнулась я.

После нескольких писем у меня промелькнула мысль: «Неужели он в меня влюблен, я же никакого повода к этому не давала, мы даже на „ты“ не перешли и я его только по имени-отчеству называла. Нет, какая-то ерунда, этого быть не может, это мне только кажется. Вернется, окунется в свою артистическую среду, а там этих красоток тьма-тьмущая, на любой вкус — все и пройдет».

Семейная жизнь

Мы с Кириллом жили раздельно. Он продолжал жить в семье, в очень стесненных жилищных условиях. Даже я в это время в общежитии была в лучшем положении, чем он. Всем дипломникам теперь уже до сдачи дипломного проекта полагалась отдельная кабинка, вместо второй кровати у меня стоял чертежный стол. Но жить у меня Кирилл не мог, так как считали, что у него, как у москвича, есть жилплощадь в Москве.

8 Марта — женский день

Весь день 8 Марта я проторчала в библиотеке. Когда вернулась домой, в моей кабинке девчата празднично накрыли чертежный стол: закуски, бутылки, цветы. Самая свободная комната была моя, и все решили отпраздновать 8 Марта здесь, у меня. Вечер прошел шумно, весело, разошлись в 2–3 часа ночи. У меня осталась ночевать моя подруга Галя, она жила так далеко, что добраться ей к себе уже не было никакого транспорта.

Об уборке не могло быть и речи. Чтобы вымыть посуду, надо было тащиться далеко в душевую, где были рукомойники, горячую воду надо было тащить снизу из кубовой, короче говоря, мы решили лечь спать, оставив все бутылки, тарелки, остатки еды на столе и под столом. Девчата обещали прийти утром помочь убрать.

Рано утром в восьмом часу Галина ушла на работу, а я, подумав минутку, решила до того, как придут мои помощницы, поспать.

Не успела я закрыть глаза, как раздался в дверь тихий, очень деликатный стук. Никто из нашей компании так деликатно не стучал. Девчата вбегали вообще без стука, а ребята грохали так, как будто внутри были все глухие.

Поэтому я, быстро накинув халат, приоткрыла дверь и буквально остолбенела. За дверью стоял… Евгений Львович.

— Евгений Львович, вы можете подождать минут 10–15, я быстро оденусь и впущу вас, — попросила я.

Легко сказать, быстро оденусь или приведу себя в порядок в таком абсолютном беспорядке.

— Да, да, пожалуйста, сколько угодно. Вы, ради бога, извините меня, не спешите, я подожду.

Господи, как же я приглашу его в эту кабинку, где стоит такой ералаш и вот-вот должны прийти девочки помочь убрать. А мне ведь тоже нужно хоть как-то, с грехом пополам, привести себя в порядок, умыться, одеться, да и гардероб мой был такой убогий, что не так просто было быстренько набросить на себя что-нибудь по такому случаю. Но мне обязательно, обязательно надо как можно скорей увести его куда-нибудь, пока девочки кончат уборку.

Когда я вышла, он спокойно прогуливался по нашему длинному коридору. Увидев меня, он быстро и радостно бросился ко мне навстречу, а я подумала — «Что случилось? Почему и зачем в такую рань он появился здесь?»

— Извините, извините, тысячу раз прошу вас извинить меня, но я должен был, — сказал он.

— Евгений Львович, успокойтесь, я очень рада вас видеть. Единственно, я не могу пригласить вас зайти ко мне в комнату, там даже присесть негде, — и, приоткрыв дверь, я показала, что там творится.

— Вот и хорошо, очень хорошо. Можете вы сейчас поехать со мной, в ресторане мы позавтракаем, а потом придумаем, что нам дальше делать, — радостно попросил он.

Погода была солнечная, на удивление теплая. Мы прогулялись, потом поехали завтракать в гостиницу «Националь».

После завтрака пошли в музей, и снова гуляли по набережной. Обедали в «Метрополе». Вечером он просил меня пойти с ним в «Дом кино» на просмотр какой-то картины. И весь день он говорил о том, что приехал только вчера вечером и всю ночь не мог уснуть, не мог дождаться утра:

— Я так соскучился, я так хотел вас повидать, я все время только и думал о вас. Я даже приготовил вот письмо и думал, что если… то я вам передам письмо и скажу «от брата», но я должен, должен был вас увидеть.

Мне было лестно и странно, что такой элегантно одетый красавец, на которого, даже торопясь на работу, женщины оглядываются, таким необычным образом объясняется мне в любви.

Ведь не мог же человек так просто, ни с того ни с сего, встать утром ни свет ни заря и из центра города совершить такое длинное путешествие ко мне в восьмом часу утра, на другой конец города, в наш 2-й Донской проезд, и даже с риском, что со мной будет муж, а он якобы только заскочил, чтобы передать мне письмо от брата.

И я даже всему этому не придала никакого серьезного значения, а отнеслась к этому, как к странному эпизоду.

Проводил он меня до общежития, взяв с меня слово, что я разрешу ему снова со мной повидаться.

Когда я вернулась, кабинка моя была убрана, на столе цветы, принесенные вчера ребятами по случаю 8-го Марта. Любочка и Тамарочка сидели за столом, пили чай и ожидали меня.

— Спасибо, девочки, я так рада вас видеть.

На столе пирог и еще какие-то закуски. И я с удовольствием налила себе чай.

— Ну вот, заворожила еще одного, — задумчиво произнесла Тамарочка.

— Да ты что? Наша Нинка, да она с ребятами чуть-чуть потеплее айсберга с Северного полюса, это они все тают от нее, как лед от тропического солнца. Никогда не видела, чтобы к такой льдине и столько хлопцев липло, — ответила Любочка.

— Ты знаешь, вышла я утром, — продолжала Тамара, — и вижу, по коридору медленно прогуливается такой красавец, такой красавец! Я бегом к Верочке, ну скажи, к кому бы это ни свет ни заря такой красавец в гости пожаловал?

— Как к кому, к нашей Нинке, — сразу догадалась Верочка.

— Девочки, это очень хороший мой знакомый. Я же не могла его принять в нашей кабинке после нашего вчерашнего «банкета», мне даже посадить его некуда было.

— Вот я и говорю, заворожила, заворожила, — продолжала

Тамарочка. — Ну, если бы нет, разве мог такой солидный, интересный мужчина в восьмом часу утра появиться — ну где, сама посуди, — в нашем студенческом общежитии в «Доме коммуны».

Что же мне делать? Как быть дальше? Мне никак не хотелось обидеть его.

Мы с ним переслушали почти все оперы, изучили все музеи, и наконец, я решила познакомить его с Галей. Она недавно вернулась из-за границы. Была в Голландии, Норвегии, навезла чудесные наряды, очень интересная, чемпионка по фигурному катанию, и я лелеяла надежду, что, если он ею увлечется, мне будет легче с ним расстаться.

Познакомились, несколько раз мы все вместе ходили в театр, на прогулки. Но он не обращал на нее никакого внимания, за исключением обычной вежливости и милой учтивости, и то только потому, что она была моя приятельница.

Я очень обрадовалась, когда он заявил, что должен на несколько месяцев уехать на какие-то съемки не то в Казахстан, не то в Узбекистан, где больше солнечных дней. Оттуда шли длинные письма, полные тоски и желания снова поскорее увидеть меня.

Первое мая

Утром 1-го Мая мы с Галей, празднично нарядные, вышли из общежития и вдруг нам навстречу… Евгений Львович.

— Господи, вот не ожидала. Каким это ветром тебя сюда занесло?

— А вот так, решил 1 Мая провести в Москве, — ответил он.

Из Казахстана или откуда-то еще примчаться в Москву, чтобы провести праздник!

Я же поняла, что если бы Гали не было, он сказал бы:

— Провести с тобой.

Мы весь день провели вместе. Он попросил нас зайти к нему домой отдохнуть, так как вечером в Доме кино был какой-то вечер, куда ему хотелось пригласить нас. Мы согласились. В квартиру зашли прямо с улицы. Большая приемная, справа квартира отца, слева Евгения Львовича, а прямо — старшего брата, архитектора. Видно было, что они занимают весь этаж этого очень уютного особняка.

У Евгения Львовича была большая гостиная, кабинет, спальня.

— А столовая у нас общая, — сообщил он нам.

Зашел отец, высокий, стройный, такой же красавец, лет 60-ти.

— Рад, очень рад с вами познакомиться.

Минут через 15 извинился:

— Надеюсь почаще видеть вас у нас, — как бы вскользь произнес, пожимая мою руку.

— Папа, попроси Пелагию Николаевну сообразить нам чаек, — попросил Евгений Львович.

Минут через 15 вошла очень милая пожилая женщина, внесла поднос с чайником, накрытым вышитой салфеткой, блестящая серебряная сахарница с кубиками сахара, лимон, печенье. Видно, она была очень хорошей хозяйкой.

Евгений Львович представил нам ее:

— Это наш «главнокомандующий» Пелагия Николаевна.

— Наливаты? — с крепким украинским акцентом спросила она.

— Нет, нет спасибо мы сами, — ответил он.

— Выбачайте, — извинилась она и вышла.

После наших 2-метровых кабинок эти просторные комнаты показались нам, как хоромы. В кабинете висела масса фотографий с подписями и без подписей, среди них одна большая рама с фотографией очень милой дамы с девочкой лет десяти.

Глядя на эту фотографию, я вспомнила, что когда мы познакомились, он, по-видимому, еще не совсем освободившись от воспоминаний своего романа, рассказывал мне некоторые подробности о ней, из чего я поняла, что она была очень в него влюблена. Иначе зачем бы она ездила за ним, будучи иностранкой, по каракумской пустыне, жила в палатке, среди гремучих змей и скорпионов, которых, как он рассказывал мне, надо было утром вытряхивать из башмаков. Она была женой известного американского журналиста в Советском Союзе, очень симпатизировавшего нам.

Мысль о том, что я когда-нибудь, где-нибудь эту даму увижу, мне даже в голову не приходила.

Пока мы пили чай, зашел брат Евгения Львовича, тоже интересный, но мало похожий на младшего брата. Он пригласил всех нас пойти с ним на какую-то первомайскую вечеринку. Я отказалась. Евгений Львович тоже отказался. Галя согласилась, и они быстро ушли.

Я в это время была на шестом месяце беременности, не знаю почему, но никто как будто этого не замечал. Одна Галя, стараясь прикрыть мой живот, брала мою сумку со стула и клала мне под руки, но сразу подходил Евгений Львович, убирал сумку, как будто для того, чтобы она мне не мешала. Так продолжалось несколько раз, пока Галя не ушла.

Когда все ушли, он подошел ко мне, опустился на пол,

положил, как ребенок, свою голову ко мне на колени и грустно сказал:

— Нинок, родная, милая, ведь я приехал ради тебя, не уходи, останься со мной навсегда, навсегда, на всю жизнь. Ты увидишь, я буду лучшим из лучших мужей. Я еще никогда в жизни никому этого не говорил и женатым никогда не был, пока не встретил тебя, я хочу, очень хочу, чтобы ты была со мной днем и ночью, всегда и навсегда. Когда ты уехала из Симеиза, я хотел бежать за тобой, но заставил себя остаться. Думал и надеялся, что все пройдет. Но не прошло, не мог дождаться, когда приеду и снова увижу тебя. Я ведь не мальчик, чтобы так просто сгоряча влюбиться. Я не влюблен, я люблю тебя сильно и навсегда. Мучительно и долго я боролся сам с собой, ничего не вышло, и вот я здесь, с тобой, и чувствую себя самым счастливым человеком.

— Женя, милый, я не могу, не могу. Если бы это случилось год тому назад, не ты, а я бы, наверное, умоляла тебя: люби и не покидай меня, но сейчас поздно. Дай мне руку, ты слышишь? — я ношу в себе ребенка, и я очень люблю отца моего ребенка. Мы поздно встретились с тобой, мне очень, очень больно и тяжело, но нам придется расстаться и больше не встречаться, чтобы не было так больно и мне и тебе.

— Но это же твой ребенок, он будет наш, у нас еще будут дети. Умоляю тебя, останься со мной, я сделаю все, чтобы ты никогда об этом не пожалела — ребенок будет наш. Я уехал на съемки, снова думал все пройдет, но видишь, не выдержал, сбежал со съемок, чтобы увидеть тебя и увезти с собой. Я там места себе не находил, все мои мысли были о тебе. Ты понимаешь, я даже такое банальное слово, как «люблю», не могу тебе сказать, я просто, мне кажется, жить без тебя не смогу. У меня к тебе чувство больше, чем любовь, этому чувству еще название не придумано. Я только хочу, чтобы ты — и только ты — была всю жизнь со мной.

— Женя, милый, ну посуди сам, куда я поеду с тобой? Через две недели моя защита дипломного проекта, а через два с половиной месяца я должна уехать к родным, где собираюсь родить. Что будет потом, я даже загадывать не собираюсь. Ведь я свою специальность тоже люблю, и хотела бы работать по специальности.

Защита дипломного проекта

Приближался день защиты моего дипломного проекта. Я усиленно над ним работала, так как за две недели до защиты я должна была отдать весь готовый материал на проверку руководителю моего дипломного проекта Семену Петровичу Александрову.

Накануне 1 Мая, когда я принесла ему мой дипломный проект, он очень мило обратился ко мне:

— Могу я пригласить вас пойти со мной в Большой театр на торжественное первомайское заседание и концерт?

От такой чести нельзя было отказаться, тем более от приглашения профессора Семена Петровича Александрова. Да и делать мне было нечего, с окончанием проекта гора с плеч свалилась.

Кирилл уехал в командировку почти на два месяца. Он в это время работал уже главным конструктором в специальном конструкторском бюро, которое было создано для строительства первого и единственного завода в Советском Союзе. Оборудования для такого завода в Советском Союзе не было — его надо было выписывать за валюту из-за границы. И тогда решено было спроектировать и разместить заказы по производству такого оборудования на наших отечественных предприятиях. И там, где выполнялись эти заказы, Кирилл, по существу, находился день и ночь, так как сроки всегда поджимали.

После торжественного заседания и концерта Семен Петрович пригласил меня в ресторан, и только часа в два ночи его шофер привез меня в общежитие.

Когда я вошла в кабинку, там меня ожидала Галя.

— Ты знаешь, я решила прийти к тебе, а завтра мы пойдем вместе с тобой погуляем, посмотрим, как народ веселится. Мы сейчас с тобой свободные, нам ни к какой демонстрации теперь во время парада прилипать не надо.

— С удовольствием, — ответила я, — я ведь тоже свободная — сегодня сдала все и очень приятно провела с Семеном Петровичем вечер.

— Ты знаешь, он в тебя влюблен.

— Пожалуйста, хоть ты не говори глупости. С чего ты взяла? Я принесла ему проект, он очень мило попросил сходить с ним в Большой.

— Откуда я взяла? Да за твоей спиной все об этом говорят.

— Эти слухи пошли просто потому, что он консультант и

руководитель моего дипломного проекта, и я у него первая студентка. Он почему-то всегда предпочитал ребят. И я думаю, что девчата немножко от зависти болтают.

— Ну, вот и поэтому.

Защита диплома

Пока я развешивала чертежи, Семен Петрович Александров, постоянный председатель Государственной квалификационной комиссии по защите дипломных проектов, он же руководитель и консультант моего дипломного проекта, обратился к членам Государственной квалификационной комиссии и к профессору Василию Александровичу Пазухину с просьбой занять его место на время защиты моего проекта.

Профессор В. А. Пазухин, крупнейший ученый-металлург, славился своими беспощадными требованиями к дипломантам (я не была исключением). Он занял место проф. С. П. Александрова.

Между профессорами тоже всегда шли какие-то разборки. Считали, что профессор Плаксин старается завалить студентов профессора Ясюкевича, тот в долгу тоже не оставался, так было, когда завалили Аню Лабаян, которая в ту же ночь пыталась отравиться. И мне пришлось ее спасать.

От профессора В. А. Пазухина мне очень досталось, он засыпал меня таким количеством вопросов, что я еле-еле успевала на них отвечать, и каждый раз я замечала, как лицо Семена Петровича озарялось одобрительной улыбкой при удачном ответе на особенно каверзные из них.

Все мои присутствовавшие здесь друзья волновались за меня не меньше, чем я сама, понимая, что здесь происходит.

Мой диплом получил не отличную, но хорошую оценку. Все поздравляли меня, зная, через что пришлось мне пройти, находясь под обстрелом этих двух конкурирующих между собой профессоров.

Когда кончилась защита, кто-то тихо на ухо сообщил профессору Пазухину, что я в положении, — и я только услышала, как он вскрикнул:

— Ну что же вы мне раньше об этом не сказали?

Он очень мило подошел ко мне, поздравил и извинился. Зато Семен Петрович радостно расцеловал меня.

Кто-то протянул мне букет цветов, при виде него поднялся общий хохот — в этом огромном букете остался один цветок. И, оглянувшись вокруг себя, я увидела, что поздравлявшие меня имели у себя в петлице по красной розочке. Оставшуюся розу закололи мне в волосы, а огорченный подноситель, пожав

плечами, сунул голые стебли в какую-то вазу в вестибюле, и мы все шумной — я должна сказать, очень шумной — толпой пошли в ресторан. Еще недавно окончившие институт инженеры щедро угощали всех в счет своих «еще не заработанных ста тысяч». Кто-то предложил ежегодно собираться здесь и делиться своим производственным опытом. Предложение было дружно принято.

Выйдя из ресторана, мы долго гуляли по городу. Домой попали почти под утро.

Еще в коридоре мы почувствовали запах гари.

— У кого-то что-то сгорело, — сказал кто-то.

Но когда я открыла дверь к себе, я просто застыла от изумления. В моей такой чистой, уютной, когда я уходила, кабинке был невообразимый беспорядок. Перед уходом на защиту я погладила только один носовой платок и забыла выключить утюг. По дороге в коридоре я встретила свою соседку Любочку:

— Можно мне взять утюг погладить пеленки? — спросила она.

— Пожалуйста, — ответила я.

Дверь у меня давно уже не запиралась, с тех пор как я потеряла ключ. Ребята вытащили крючок с одной стороны замка, и он просто висел как камуфляж на двери. Так вот, когда Любочка открыла дверь и вошла, она увидела уже тлеющие рядом с утюгом книги. Она схватила утюг и поставила его на кувшин, кувшин разлетелся, тогда она бросила его на стул, затем на ковер, короче, она не знала, как охладить его. Когда я увидела все это, то подумала, что было бы, если бы она не вошла и произошел пожар? Страшно было даже подумать. Вместо производства была бы тюрьма!

Семен Петрович Александров

А на следующий же день после защиты Семен Петрович назначил меня секретарем Государственной квалификационной комиссии, и все выдаваемые в дальнейшем дипломы шли бы за подписью С. П. Александрова, как председателя Государственной квалификационной комиссии, и моей, как секретаря, но я очень скоро уехала к родным рожать, а вернувшись, пошла работать в «Гипроцветмет».

С Семеном Петровичем мы продолжали встречаться. Он приглашал меня пойти с ним в кино, в театр, а чаще всего просто погулять в парке. Не знаю, был ли он в меня влюблен, как утверждали все, или нет, но когда мы встречались, мне казалось, он даже выглядел моложе.

Однажды рано утром зашла Лина Щукина, одна из моих

любимых подруг:

— Нина, почему ты не подаешь заявление о вступлении в партию?

— Ты знаешь, Лина, до членства в партии, мне кажется, я еще не доросла. Ведь стать членом партии это не просто взять партийную книжку, положить в карман и показывать ее, как пропуск на хорошую работу. Если и когда я заслужу эту высокую честь, тогда я стану членом партии. А сейчас, получив диплом в руки, я испытываю глубочайшую благодарность нашему народу, народу, который дал мне, тебе и всей нашей молодежи возможность стать инженерами, врачами, учеными за счет своих личных тяжелых, очень тяжелых лишений. И мы обязаны, каждый из нас должен, пока хватит сил отдать все свои силы, все свои знания и труд на пользу народа, и я надеюсь, очень надеюсь, что у меня хватит на это сил, и вот тогда я стану членом партии.

Я до сих пор помню то чувство, которое испытала, когда стояла у открытого окна рано утром и наблюдала, как студенты веселой гурьбой шли из общежития в институт, и мне стало нестерпимо грустно. Я почувствовала себя такой одинокой, оттого что за мной закрылись двери института, меня там уже нет, я там уже для всех стала чужая. Кончилась беззаботная, хотя и проходившая в таких тяжелых условиях, студенческая жизнь. Когда, как говорили, «хоть есть было нечего, зато жить было весело». И теперь начинался самостоятельный тяжелый, но новый этап нашей жизни. Мы, молодые инженеры, разъедемся по всей стране, я, например, начну новый этап моей жизни в диких условиях Дальнего Востока или, может быть, еще где-нибудь. Может быть, Лина права, может быть, партия и есть та единственная организующая сила, которая может собрать всех вокруг себя. И я должна часть своей энергии внести туда.

Жизнь без прикрас

Жизнь без прикрас

Рождение дочери. Киев

Я была в положении, а никто этого как будто не замечал до последнего почти месяца. Когда я сказала кому-то: «А ведь мне скоро рожать», услышала удивленный вопрос: «Как скоро?». А ровно через две недели я родила дочь почти 12 фунтов. Головка у моей доченьки была большая, и на разрывы после родов надо было наложить 8 внутренних и 8 наружных швов без наркоза. Доктор пожалел меня и предложил:

— Потерпите, все равно уже наболело, а после наркоза вам будет еще хуже. Это «потерпите» было пострашнее родов. А через две недели у меня вспухла правая грудь — образовалась грудница. Поднялась температура, и я потеряла сознание. Мой врач созвал консилиум, и они не отходили от меня до тех пор, пока не привели в сознание, и я до сих пор помню их радостные улыбки, мне кажется, что все они думали, что я не выдержу. Это был уже второй случай в моей жизни, когда все думали, что мой конец уже пришел.

Первый — когда я в детстве заболела тифом, и мне приготовили белый саван, в котором уже собирались хоронить. И тоже помню ту секунду, когда прорвался нарыв, горячая струя потекла по спине и я очнулась. Никаких врачей тогда возле меня не было, не было даже мамы. Были только бабушка и несколько сердобольных бабушкиных соседок. В этот раз меня приводили в чувство три солидных врача, дежурившие у моей постели всю ночь.

Как только я пришла в себя, Кирилл умчался в Москву устраивать «наши дела». Это как раз было то, что он никогда не умел делать. На работе — да, там его ценили. Студенты в институте обожали его. Когда встречали меня, радостно сообщали, что Кирилл Михайлович преподает у них или руководит дипломным проектом. Но для себя он не умел ничегошеньки. Таким он был, таким и остался.

И время тогда было такое, как я уже сказала, строили гигантскими шагами промышленность: Московский и Горьковский автомобильные заводы, Березниковский и Невский химические комбинаты, Челябинский и Харьковский тракторные заводы и многие сотни других мелких и крупных предприятий в Москве, в Сибири, на Урале, на Украине, в Казахстане, Туркестане, Узбекистане, да повсюду, по всей нашей необъятной

стране. А о такой «мелочи», как жилье, никто даже не задумывался. Правда, в 1932 году построили один довольно убогий и мрачный Дом правительства, звону по этому поводу было много.

А строить дома для ***терпеливого*** русского народа, казалось, что еще не пришло время, для этого еще надо подождать, пока страна станет крепко на ноги. Народ кое-как разместился пока по коммуналкам, ну и слава богу. А если в самой благополучной квартире, как у Кирилла, в трех комнатах с кухней жили 12 человек, так это считалось благополучной семьей, которой можно было завидовать.

Оправившись после своей болезни, я оставила свою Ляльку с родными и немедленно вернулась в Москву. Провожая меня в Москву в Киеве на вокзале, отец просил меня:

— Устраивайтесь, о Лялечке не беспокойтесь, пусть она будет с нами, у вас еще будут дети.

Он был такой нежный дедушка, не успевала она пикнуть ночью, как он уже был у ее кроватки. Бедный, он так глубоко верил в наше хорошее будущее, что ему никогда, никогда в голову не могло прийти, что его подстерегает такое страшное будущее.

Заветы отца

Я помню, как летом в 1936 году я и мой брат Шура приехали домой в отпуск к родным, отец был так занят, что за целый месяц ему даже пообедать с нами было некогда.

И мы с братом заявили:

— Если он не найдет время хоть раз пообедать с нами и провести пару часов, то мы немедленно уедем.

И когда после одного-единственного обеда вместе мы вышли на лужайку и сели в тень под огромным развесистым дубом на берегу реки, мы стали говорить отцу, что нельзя так работать на износ, что таких ретивых работяг уже давным-давно нет, что хоть немного надо подумать о себе. Он нам ответил:

— Вот вы учитесь, государство вас содержит, заботится о вас, а откуда, вы мне скажите, у него возьмутся эти средства, если мы будем спустя рукава работать. Государство наше, страна наша и работа наша… Вы знаете, с каким большим трудом мы это государство защищали, какой дорогой ценой оно нам досталось. Сколько прекрасных людей отдали свои жизни за него, и если мы не удержим его, они нам не простят. И мне даже трудно передать вам, дети, какую я радость испытываю, когда вижу, что наша работа укрепляет нашу страну. Когда я вижу и чувствую, что наша

страна крепнет и, несмотря на все препятствия, улучшается, какое это счастье для меня — думать о том, что и я что-то сделал для этого, и моя капля пота в этом огромном море есть.

Он говорил с такой убедительностью, что нельзя было не понять его. Он всегда твердил нам:

— Народную Советскую власть за год не построишь, это труд долгий, тяжелый, упорный, но, поверьте мне, самый благородный. Не миллионеры и богачи создают все богатства на земле, а трудящиеся, те, кто копается в земле, вот им и надо создать самые лучшие условия жизни.

Во двор уже въехала машина, его уже ожидали. Это была наша последняя семейная встреча.

Московское житье-бытье

Вернулась я в Москву снова прямо в общежитие, но теперь уже временно, пока не начали съезжаться студенты.

Переезжать в дом к Алексеевым мне даже в голову не приходило. Мы с Кирой начали искать, нельзя ли у кого-нибудь снять на время комнату, но это было почти так же осуществимо, как полететь на Луну. Тогда я решила временно уехать. В это время на предприятиях цветной металлургической промышленности требовались специалисты нарасхват.

Не успела я в «Главцветмете» заикнуться об этом, как мне предложили: «Выбирай, куда хочешь: Урал, Казахстан, Дальний Восток, Кавказ».

Я выбрала Дальний Восток, вызвала маму, чтобы вместе выехать.

В конце ноября приехала мама с Лялечкой. Билет был у меня уже на руках, через неделю я собиралась уехать.

Вечером после ужина я со своей приятельницей Аней Цветаевой сидела в холле нашего общежития в «Доме коммуны», к нам подошел молодой человек и спросил Аню, можно ли ее сфотографировать, она показалась ему очень фотогеничной. Оказывается, здесь, в нашем общежитии, происходила какая-то киносъемка. Аня согласилась, на меня он не обратил никакого внимания. Но в эту минуту, как из-под земли, возле меня появился Евгений Львович.

Он радостно обнял меня:

— Я думал, что потерял тебя навсегда. Ты уехала, не оставив ни следа. А я вот до сих пор с ума схожу.

— Женя, хочешь посмотреть мое сокровище? — предложила я ему.

— Обязательно.

Мы поднялись на второй этаж. На кровати спала моя Лялька, она была такая красивая, черные вьющиеся волосы, раскрасневшееся личико, поднятые рученьки, на одной красивая черная родинка. Он стоял долго, никак не мог оторваться и вдруг повернулся и крепко поцеловал меня:

— Ну куда ты поедешь? В какую-то тьму тараканью, а если что-то случится с этой крошкой? Нинок, я по-прежнему тот же и люблю тебя так же крепко, останься со мной, ты увидишь, я буду самый нежный, заботливый отец. Я ведь специально пришел сюда, в общежитие в надежде что-либо узнать о тебе, не уезжай, останься со мной, вот сейчас, сию минуту я увезу тебя к себе.

Съемки кончились поздно, все уже разошлись, мы все сидели, никак не могли расстаться.

На следующий день я пошла окончательно оформлять свой отъезд, а когда вернулась часов в шесть, вошла в пустую кабинку, на полу валялся только красненький бантик, на подоконнике соска. Я побежала к Тамарочке:

— Куда делась моя семья, мама, Лялька?

— Пришел Кирилл и забрал их, — ответила спокойно Тамара.

— Как забрал?! Куда забрал?!

— Как куда? К себе — он мне так сказал. А я думала, вы уже все решили.

— Господи, мне даже подумать об этом было страшно, зная, в какой тесноте они живут.

Пока мы с ней обсуждали, что же мне делать дальше, пришел Кирилл:

— Где мама, Лялька?

— Пошли к нам, там мы все обсудим, — пришлось пойти.

Когда мы пришли, Лялька была в центре внимания всей семьи. Посадили ее на диван, и вся семья, все дяди: Дося, Коля и Паша, Женечка и Борюшка, дяди-Досины ребята — все не отходили от нее. Наша «выставочная» — окрестили они ее уже.

— Вот что, мы все решили никуда вас не отпускать, — заявил старший брат Дося.

— Я не могу вас стеснять, потом у меня уже все на руках, и через несколько дней я уеду.

— А мы без вас уже все решили, — еще раз повторил он. — Оля, младшая сестра, уехала к Ефиму, к мужу (Ефим был военный) в Кенигсберг, Ленку отправили в общежитие, мама уедет через пару дней к Ольге, а пока побудет у Нади, а вам с Кирой освободили их комнату.

Кирилл сказал:

— Наркомат боеприпасов пообещал мне квартиру, и уже начали надстраивать два этажа над домом в нашем же жилищном

комплексе на Люсиновской улице, только на противоположной стороне, надеюсь, скоро закончат. Придется потерпеть.

Эти «скоро» и «потерпеть» тянулись с 1936 до 1939 года. За это время у нас родился еще Володя, и в этой тесноте надо было взять еще няню, так как я работала в «Гипроцветмете» в Ветошном переулке, 13, с противоположной стороны от Красной площади, и во время обеденного перерыва мы ходили обедать в ГУМ. Рестораны в то время были доступны всем, и готовили там довольно вкусно.

Так я и осталась жить в Москве на Мытной, 23. Это был новый жилищный комплекс, состоявший из 12 однотипных 4-этажных зданий, занимал почти два квартала между Мытной улицей с одной стороны и Люсиновской с другой стороны (где и шла надстройка на одном из корпусов), построенных в конце двадцатых годов. Коммунальные удобства в этой трехкомнатной квартире на всю семью из 12 человек включали только кухню с одним краном для холодной воды, к которому по утрам надо было стоять в очереди, чтобы умыться, а мужчинам и побриться, и один малюсенький туалет, куда с трудом можно было протиснуться.

О газе, горячей воде, ванных, холодильниках никому даже в голову не приходило. Зимой замораживали продукты прямо за окном. Летом было хуже, беречь продукты было невозможно, надо было покупать продукты почти каждый божий день, стоя в очередях. Возвращаясь с работы, надо было сразу же начинать готовить обед или ужин на знаменитых керосинках или примусах. На этой же знаменитой керосинке надо было греть воду, купать детей, стирать пеленки и детское белье, что делало невыносимо тяжелой жизнь, особенно для работающих матерей. Надо только удивляться, как на все это хватало сил и энергии.

Но здесь, в этом же жилищном комплексе, было одно чуть ли не на всю Москву «чудо» — механическая прачечная, где стояли огромные стиральные машины (не надо путать с современными стиральными машинами), это были просто огромные вращающиеся барабаны. Мы еще в наши студенческие годы пользовались этой прачечной, из общежития тащили в институт чемоданы с грязным бельем и из института после окончания занятий мчались в эту прачечную, где, простояв в очереди, успевали постирать и погладить белье до ее закрытия в двенадцать часов ночи. Но тогда я еще с Кириллом даже не была знакома и понятия не имела, что мне когда-нибудь придется в одном из этих домов жить.

Теперь на моих руках сразу очутилась большая семья. Но жизнь облегчало то, что в это время продуктов в магазине и на

рынке было более или менее достаточно.

Трудно даже поверить, но это факт, что в 1936 году осенью в Москве был очень короткий период, когда в продовольственном магазине можно было заказать продукты по телефону, даже с доставкой на дом. И это было не в каких-нибудь спецмагазинах, а в обыкновенных районных у нас на Даниловской. Тогда же появились какие-то коммерческие магазины, где цены были чуть-чуть выше государственных.

Помню, как с апреля по июнь 1937 года я находилась почти 3 месяца в командировке по обследованию предприятий, в которых имелись металлургические цветно-литейные цеха по переплавке первичных и вторичных цветных металлов. Я проехала по многим городам, по многим крупным промышленным центрам не только на Украине, но и в Крыму, и всюду было достаточно продуктов. Нет, изобилия не было, но было вполне достаточно. В Крыму, в Керчи мы пили вкусное венское кофе с горячими булочками, а знаменитая керченская селедка, как вылитая из серебра, в рыбных магазинах стояла прямо в бочках. В Симферополе, Севастополе и на Украине в Харькове, Днепропетровске, Мариуполе, Киеве и во многих других городах в магазинах, на рынке и в ресторанах было в достаточном количестве продовольствия. Я помню, в Днепропетровске в гастрономах было полно колбас, даже были медвежьи окорока — буженина. В Харькове, Севастополе, Симферополе, Киеве никаких особых затруднений с продовольствием не было. В ресторанах готовили, как всегда, обильно и очень вкусно.

Но так продолжалось очень недолго, до осени 1937 года, и чем сильнее разгорались репрессии и аресты, тем все труднее и труднее становилось с продовольствием, даже в больших городах и в промышленных центрах. А осенью и особенно зимой 1937-го уже снова надо было не просто стоять в очередях, а надо было вставать чуть свет, бежать занимать очередь в надежде, как только откроется магазин, что-либо «достать», слово «купить» снова исчезло, а именно надо было «достать».

И еще, очень странно было то, что периодически, как только появлялись какие-нибудь послабления или улучшения в области снабжения, как будто кто-то сразу вмешивался, быстро подходил, закрывал кран, и все снабжение вылетало из-под контроля. Как будто кто-то давал команду постараться создать как можно больше трудностей, чтобы все улучшения сразу и немедленно исчезли и снова появились самые невыносимые условия жизни и чтобы люди вечно жили в каком-то напряжении.

И вообще, каких улучшений можно было ожидать? О какой нормальной работе могла идти речь? Принимая во внимание то,

что творилось в это время. Если на каждом предприятии, в каждом учреждении по всей стране руководство менялось три-четыре раза в год. Вновь назначенные не только не успевали ознакомиться с работой или войти в курс дела, они даже кресло под собой согреть не успевали, как их пересаживали в тюремные камеры и на их место назначали новых. Проектное бюро, в котором я работала в «Гипроцветмете», буквально опустело. Среди моих знакомых почти не было семьи, в которой кто-то не исчез. Удивлялись не тем семьям, у которых был кто-либо арестован, а тем, у кого никого не трогали.

Самый кровавый год

Весь 1937 год полным ходом шли кровавые процессы, страну спасали от «врагов народа», от «вредителей», а жить становилось все хуже и хуже.

И как только с 26 сентября 1936 года и до 25 ноября 1938 года НКВД СССР стал возглавлять Ежов, кровавые процессы не только не прекратились, а увеличились с невероятной быстротой и силой. Теперь Сталин с помощью Вышинского и Ежова начал плести невероятную сеть интриг вокруг всех неугодных Сталину людей. Н. И. Ежов, Л. М. Каганович и А. Я. Вышинский были в это время в самом большом почете у Сталина, и никаких опозданий с расстрелами уже не наблюдалось.

Репрессии в это время усилились и дошли до такой чудовищной степени, что весь 1937 год, несмотря на все репрессии до и после, остался в памяти чудом переживших это время людей как самый страшный, самый кровавый период в нашей истории. И теперь главным исполнителем этих массовых репрессий стал Ежов.

А кто же был самый главный автор и вдохновитель этих жутких кровавых процессов? Ведь за один только 1937 год в Москве и Московской области было расстреляно 3000 ответственных не просто даже работников, а самых ответственных работников, а из 136 секретарей райкомов к середине 1937 года осталось только 7 человек.

23 января 1937 года состоялся процесс 17-ти старых большевиков. На скамье подсудимых оказались: 1-й заместитель НКТП Григорий Пятаков, товарищ наркома путей сообщения Л. Я. Серебряков, тов. НКПС Лифшиц, командир Московского военного округа Н. И. Муратов, Дробнис, Корк и многие, многие другие. Они обвинялись: 1) в образовании центра для захвата власти; 2) в убийстве Кирова; 3) в подготовке террористических актов, направленных против Сталина, Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Кирова. Слушая эту белиберду, даже я тогда высказала сомнение: «Ну что за глупость, если они действительно собирались убивать, то почему они начали это с одного из самых безобидных и всеми любимых — Кирова, а не со Сталина или, например, с Кагановича? Ведь в этом поступке нет никакой логики.» Из этой всей группы только бывший полпред в Лондоне Г. Сокольников и редактор «Известий», органа печати ЦИКа СССР, К. Радек были сосланы на 8-10 лет. Все остальные были расстреляны.

10 июля 1937 года состоялся процесс М. Н. Тухачевского и

его семи товарищей: И. Э. Якира, И. П. Уборевича, А. И. Корка, Р. П. Эйдельмана, Б. М. Фельдмана, В. М. Примакова и В. К. Путны. А 12 июля 1937 года официально в «Правде» сообщалось, что все обвиняемые, во исполнение приговора Специального судебного присутствия Верховного суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания расстрелу, расстреляны. Поспешность-то какая, ***10 июля процесс, а 12 июля уже расстреляли*** и кого расстреляли:

Тухачевского Михаила Николаевича (1893–1937, ему было только 44 года) — маршала СССР с 1935 года. Члена КПСС с 1918 года, кавалера орденов Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени. В Гражданскую войну командовал армиями в боях на Урале, Юге, в Поволжье, Сибири. Бывший командир Западного фронта в польско-советском военном конфликте. Был директором Военной академии. Труды Тухачевского оказали огромное влияние на развитие советской военной науки и практику военного развития. Играл важную роль в техническом перевооружении РККА.

И. Э. Якира, с 1921 года командующего войсками Украинского военного округа. Члена партии с 1917 года. Кавалера ордена Красного Знамени. Кандидата в ЦК компартии. Члена ВЦИК СССР.

И дальше пошли-поехали:

И. П. Уборевич, командующий войсками Белорусского военного округа…

Р. П. Эйдельман, директор Красной военной академии…

А. И. Корк, широко известный генерал, командовавший Московским, а затем Ленинградским военным округом…

В. К. Путна, начальник генерального штаба Блюхера — автор научных военных трудов…

Б. М. Фельдман, ближайший сотрудник Я. Б. Гамарника — начальника Политуправления Красной Армии…

В. М. Примакова

В декабре — Енукидзе, Карахан и другие.

Февраль — процесс правотроцкистского блока.

С 1936 по 1939 год было репрессировано от 4 до 5 миллионов человек.

Я. Б. Гамарник в обстановке массовых репрессий покончил жизнь самоубийством. Так же поступил М. П. Томский — крупнейший политический деятель, член ВКП(б) с 1904 года — тоже покончил с собой, не желая подвергаться физическим методам воздействия от рук советского правительства, за которое он боролся с юных лет своей жизни.

Разве только они? Ведь всех не перечислишь. Я привела этих

как пример. Погибли тысячи, миллионы таких же крупнейших государственных деятелей, которыми Советский Союз вправе был бы гордиться. Как же этот мудрейший из мудрейших вершителей не мог понять, что он расстрелял не просто Тухачевского, Блюхера, Якира, замену которым найти просто было невозможно, он разгромил нашу Красную Армию, он расстрелял вместе с ними миллионы наших советских воинов во Вторую мировую войну.

В конце июня 1937 года, после процесса Тухачевского, Пленум ЦК ВКП(б) вынес постановление об усилении режима в тюрьмах ввиду возмущения Сталина, что «наши тюрьмы превращены в курорты», в «дома отдыха».

Сталин называл «курортами» камеры для 10 человек, в которые втискивали 40 человек и больше. Люди задыхались, теряли сознание от недостатка воздуха, а 7 августа 1937 года при Ежове по указанию Сталина был принят еще один закон о «применении специальных мер воздействия». После чего П. П. Любченко — участник Октябрьской революции и Гражданской войны на Украине, председатель Конституционной комиссии покончил с собой, чтобы тоже избежать ареста и применения недозволенных методов следствия.

Даже император Александр I еще в 1801 г. издал указ, запрещавший применение пыток и истязаний. «Само слово „пытка“ — писал царь, — должно быть навсегда изглажено из памяти народной».

Правда, в наше время их не называли пытками, это были «физические методы воздействия». Но хрен редьки не слаще, и никому от этого легче не было.

И с 1936 по 1937 год при Ежове были периоды, когда в одной только Москве расстреливали чуть не по 100 человек в день, за этот же период времени погибло больше коммунистов, чем за годы подпольной работы, трех революций и Гражданской войны.

Если это сталинское правосудие так легко и безжалостно расправлялось с такими людьми, что же можно было ожидать от него в отношении простых людей, попавших в его лапы. А их надо было считать не сотнями тысяч, а миллионами.

Ежов, этот «главный исполнитель массовых репрессий», держался у власти ровно до тех пор, пока крепко и свято выполнял «заветы Сталина» и был ему нужен для ликвидации тех, кого подсказывал и подставлял ему Сталин. В их числе был даже такой маститый писатель, как Алексей Максимович Горький. Сталин перестал с ним встречаться, приглашать к себе и отвечать на телефонные звонки, и чем более непримиримым становился Алексей Максимович Горький, требуя более гуманного отношения к так называемым оппозиционерам, тем все больше и

больше Сталин хотел убрать его.

Так был ликвидирован, уничтожен весь незаменимый и невозместимый золотой фонд страны. И очень скоро ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ…

Арест отца

В начале сентября 1937 года, в ***двадцатую годовщину Великой Октябрьской революции,*** 9 сентября 1937 г. арестовали папу как «врага народа».

Это был такой страшный удар, который, казалось, не хватит сил перенести, В момент ареста отец работал в Киевской области, недалеко от Житомира. Ему было только 42 года. Сколько полезных, продуктивных лет работы было у него впереди!

Мать, в глубокой надежде, что отца все-таки скоро выпустят, боялась сообщить о его аресте мне в Москву, брату в Ленинград, где он учился после окончания действительной военной службы. У меня в это время был декретный отпуск, и она боялась за состояние моего здоровья и писала: «Отец находится в длительной командировке». Этому легко было поверить, так как он всю жизнь был в командировках.

И только после того как отец, любивший детей, не откликнулся на такое счастливое событие, как рождение внука, которого он с таким нетерпением ожидал, я стала подозревать, что с отцом случилось что-то очень серьезное и мать боится сообщить мне об этом. Мне приходило в голову все: что он тяжело болен, что он ушел из дому, что он умер. Но что его могли арестовать за какое-либо преступление, а тем более как ***врага народа!!!*** — такая дикая мысль не приходила, не могла прийти мне в голову ни при какой погоде. Не только я, но и все, кто знал отца, не могли в это поверить.

Он скорее умер бы, пустил себе пулю в лоб, если бы у него не было другого выхода, но никогда, ни при каких обстоятельствах не изменил бы и не предал нашу народную Советскую власть, партию, страну, народ, если бы его даже четвертовали.

Но всю глубину постигшего нашу семью несчастья ***я поняла*** в ту секунду, когда в дом неожиданно вошла измученная, усталая мать.

Я поняла, что случилось что-то страшное, такое страшное, что навсегда изменит и разрушит жизнь всей нашей такой маленькой, но такой всегда любившей друг друга семьи. А весь ужас постигшей нас трагедии я осознала лишь тогда, когда услышала подробности обыска и ареста отца. Они были хуже, страшнее и унизительнее, чем те обыски и аресты матери и дедушки, которые производили в нашем доме карательные отряды Петлюры, Деникина, немцев в поисках оружия и отца в те страшные годы Гражданской войны, которые так ярко запечатлелись в моей детской памяти на всю жизнь.

Я до сих пор без боли и ужаса не могу представить себе, что должен был пережить, испытать отец. Когда в дом вошли не какие-нибудь карательные отряды дроздовцев, деникинцев, петлюровцев, с кем он успешно боролся в годы Гражданской войны, защищая страну не для себя лично, не для избранной элиты, а для всего народа. Вошли свои, советские люди, за которых он боролся, не щадя своей жизни. Перевернули вверх дном квартиру и увели его как «врага народа» в нашу советскую тюрьму в том, в чем он стоял. Он не взял с собой ничего, даже зубную щетку, так как вряд ли ему даже в самых диких предположениях могло прийти в голову, что его посадят надолго, навсегда и никто, никто никогда не сможет не только защитить его, но даже узнать, куда он делся. Человек просто исчезал. И никому даже в голову не приходило сообщить родным и близким, куда он исчез, почему и как погиб. Когда отца уводили, он, повернувшись к матери, сказал:

— Не волнуйся, Сонечка, это какое-то недоразумение. Я сейчас все выясню и скоро вернусь.

Он никогда, никогда не вернулся. Он не только не вернулся, но мать дни и ночи простаивала у тюремных ворот и не смогла ничего о нем узнать и ничего ему передать, даже ту же зубную щетку или теплую одежду.

Ценности нашей семьи

После того как отца арестовали, мать старалась что-то сделать, чем-то помочь, чем-то облегчить его судьбу. После долгих хождений вокруг тюрьмы ей не только не разрешили его повидать, но даже не разрешили передать ему какую-либо одежду (его увели, в чем он стоял).

Знакомый прокурор, к которому она обратилась, сказал ей:

— Софья Ивановна, если у вас есть какая-либо возможность немедленно скрыться или куда-нибудь уехать, я вас очень прошу, немедленно уезжайте. Вы ничем Ивану Федоровичу не поможете. Уезжайте немедленно.

В ту же ночь этот прокурор был арестован. И мама, поняв, что он предупредил ее и что ее могут также в любую минуту арестовать, приехала ко мне в Москву.

— Я решила, — сказала мама, — что на свободе мы сможем что-то сделать, что-то предпринять, а из тюрьмы???

Парадокс! Она думала и надеялась, что сверху, с «горы», виднее. Где поближе к Сталину, правды и справедливости больше. Это страшная ошибка, все выяснится, и их (а их таких, как отец, были уже не тысячи, а миллионы) выпустят. Их всех выпустят…

Всех выпустят. Ей так хотелось верить в это! В голосе этой женщины, так много пережившей и никогда, никогда не роптавшей, я слышала глубокую веру и надежду на справедливость нашей власти. А в глазах читала такую мучительную боль, что до сих пор не могу забыть.

Для меня это известие было самым ужасающим, которое я когда-либо в жизни могла услышать. До сих пор не знаю, как я все это пережила. Мое чувство к отцу было больше, чем дочерняя любовь, — это был фундамент моего существования, моих идей, смысла жизни. Это был кусок истории нашего великого героического прошлого, настоящего и будущего. Это в той или иной степени прошло через меня, коснулось меня. Я видела и пережила голод, холод, убийства, кровь, горечь поражений и счастье победы, за которые не жаль было людям жизнь отдать. И у меня тоже, мне казалось, было чувство огромной ответственности за настоящее и будущее. Мне также казалось, что мы, дети таких родителей, должны, обязаны работать изо всех сил, чтобы довести до конца дело, за которое наши отцы боролись и погибали. Все мне было близко и дорого, мне хотелось взяться за все и работать изо всех сил. Мне принадлежал Советский Союз, и я принадлежала Советскому Союзу. Это было самое прекрасное чувство, которое я когда-либо испытала в жизни.

После приезда мамы я очень тяжело заболела, пропал сон, аппетит, в груди появились глубокие маститы, которые требовали немедленного хирургического вмешательства, пропало молоко, ребенка перевели на искусственное питание, я потеряла 18 кг веса и превратилась в живую тень. Когда я пришла к врачу, он, взглянув на меня, заявил:

— Вы что же, милая, решили отправить себя на тот свет медленно, но верно или решили: «три к носу — все пройдет»? Лечиться будем серьезно. Нервы ваши в отчаянном состоянии. Но прежде всего вам надо набрать вес.

Он прописал мне какой-то варварский способ увеличения веса, серию инсулиновых уколов, предупредив, что перед каждым уколом мне надо съесть больше полстакана сахара и плотно пообедать, чтобы инсулин переработал сахар в жир — так мне объяснили. После третьего укола меня вынесли из трамвая у Павелецкого вокзала в инсулиновом шоке. Случайно на этой остановке оказался мой знакомый, он сразу же принял все меры, и меня кое-как откачали в ближайшем медпункте.

Брат

Так мучительно тяжело было сообщить об аресте отца брату.

И только спустя несколько месяцев, после утраты всякой надежды на его освобождение, мы решились написать ему об этом.

И я до сих пор без боли и без содрогания в сердце не могу вспоминать, что должен был пережить и испытать мой брат, когда получил от нас это трагическое сообщение, что наш отец арестован, как «враг народа».

Его реакция была жуткая. Он писал: «Как это случилось? Как могло это случиться? Не верю, не могу поверить! Но если… если это правда, то „собаке собачья смерть“».

От этих слов мне стало жутко. Это письмо, эти строки обжигали. Они были результатом его нечеловеческих страданий, мук и долгих бессонных ночей, когда он бродил по прекрасным улицам Ленинграда, который он любил, как и всю нашу страну, защищать которую учил его с детства отец, что это является священным долгом каждого советского гражданина. Ему не с кем было поделиться, не к кому было приклониться, не у кого было получить поддержку — он был один, совершенно один, с несмываемым клеймом «сын врага народа». Наш отец — враг народа, мы — дети врага народа. Это было непостижимо, чудовищно непостижимо. Это нельзя было ни понять, ни принять ни единой частицей здравого смысла, это было неправдоподобно, чудовищно неправдоподобно. Какую боль, какую нестерпимую боль должен был перенести человек, такой, как мой брат, чтобы написать эти слова об отце, которого он любил, которым гордился и всю жизнь хотел быть сыном, достойным своего отца. В это время Шура был один, он жил и учился в Ленинграде, вдали от родных и близких, вдали от семьи, которую считал безукоризненно образцовой. Он писал мне: «Какие мы счастливые, имея таких замечательных молодых родителей. Ошеломленный, потрясенный морально и физически разбитый, я брожу по Ленинграду и считаю — неважно, что я не сижу в тюрьме, что я не арестован, но, по существу, мне вынесен такой же жестокий приговор, как и отцу, и мы оба, как он, так и я, обречены, оба приговорены тем или иным способом к смерти».

Мне было тоже тяжело, нестерпимо тяжело, но у меня была семья, муж, дети и больная, совершенно измученная мать.

Шпионы и диверсанты

Сама я еще не могла постичь всю глубину происходящей в то время катастрофы. Сначала я еще думала, что это страшные ошибки, не преступления, а ошибки, от которых страдают ни в

чем не виновные люди. Лес рубят, щепки летят! Но постепенно, когда я увидела, что творится вокруг: аресты, суды, расстрелы известных партийных и беспартийных работников, тех, кого я так близко знала еще с детства. Все были в тюрьме. Даже когда эти аресты сопровождались такими красивыми лозунгами, как «спасение страны от „врагов народа“», мне было трудно, я не могла понять, не могла поверить, что все они так вдруг, так сразу превратились во «врагов народа».

Иду по коридору «Гипроцветмета», навстречу мой однокашник, обрадовалась. Я была очень хорошо знакома с его родителями:

— Как живешь, Юра? Как поживают твои родители?

Он не дал мне фразу закончить:

— Ты знаешь, каким подлецом оказался мой отец?

Я поняла, что он смог произнести такое лишь из боязни, что я могу подумать, что он защищает своих родителей, сидевших уже в тюрьме. Я не смогла удержаться, развернулась и дала ему пощечину. Он поцеловал мне руку и горько, горько расплакался.

Таня Фридман тоже работала со мной в «Гипроцветмете», ее отец был председателем общества старых большевиков и политкаторжан. Мы вместе с ней пошли в декретный отпуск, у нее родилась дочь, у меня — сын. Вскоре после возвращения из декретного отпуска она, взволнованная, разбитая, подошла ко мне и сказала:

— Сегодня ночью арестовали моего отца, мать лежит в постели, еле-еле дышит.

Я уже прошла через этот ужас, и мне было очень, очень понятно, через какие муки ей надо пройти. Мы вместе с ней пошли к начальнику нашего проектного бюро тов. Карасеву. После окончания работы он созвал у себя в кабинете комсомольско-партийную часть нашего коллектива для обсуждения этого события. Под самый конец Карасев с мольбой в голосе обратился к Тане, сидевшей со мной рядом на диване (ему так не хотелось поверить, что вот так запросто могут войти в дом, арестовать и увести ни в чем не виновного человека):

— Таня, ведь вы же жили с ним под одной крышей, скажите, ну хоть когда-нибудь, ну хоть что-нибудь вы заметили?

Таня не дала ему договорить:

— Никогда, никогда, ничего, — твердо ответила она.

Неделю спустя, когда я пришла утром на работу, секретарь тов. Карасева, не говоря ни слова, кивнула в сторону кабинета нашего начальника. На дверях его кабинета красовалась красная сургучная печать. Без слов было ясно — Карасева арестовали, и я вспомнила, как он умоляюще спрашивал у Тани: «Таня, может

быть, ну когда-нибудь, ну хоть что-нибудь, вы заметили?» И мне самой точно так же хотелось спросить у него.

На Красной площади у ГУМа я встретила Нору Шумятскую, давно не виделись, я очень обрадовалась. Но взглянув на эту всегда веселую, красивую женщину, я без слов все поняла, мне стало больно. У нее арестовали мужа, арестовали отца и мать. Ее отец, Шумятский, был наркомом кинопромышленности. Вечером позвонила Соня Сторобина:

— Нина, Федю арестовали! — Он был следователь уголовного розыска. Ему, еврею, предъявили обвинение в симпатии к нацистской Германии. Абсурд! Соня, его жена, была в это время беременна. Я уже боялась поднять трубку телефона, мне было больно и страшно услышать: ночью пришли, забрали. А когда у Сони родился и вырос сын Феди, он спрашивал у меня:

— Скажите мне, Нина Ивановна, каким был и как выглядел мой папа? которого он никогда в жизни не видел.

Это были те «шпионы и диверсанты», от которых Ежов — «сталинским стилем работы» — спасал страну.

Но как тяжело и трудно забыть, как вокруг меня пустели столы на работе. Ведь это не просто пустели столы, это значило, что фактически прекращались проектные работы. Арестовали начальника проектного бюро «Гипроцветмета», а за ним высококвалифицированных специалистов, замечательных конструкторов, которые работали в этом конструкторском бюро со дня его основания. Это значило, что работа нашего конструкторского бюро, которое работало как часы, выполняя все заказы вовремя и на самом высоком уровне, прекратилась. Как можно было сразу набрать такое количество специалистов для продолжения нормальной работы? Это ведь не просто были аресты самых высококвалифицированных специалистов, это был глубоко продуманный, тщательно спланированный террористический акт саботажа для подрыва экономики всей нашей страны. И я считаю, что только тогда, когда где-то когда-то откроются все архивы, правда всплывет наружу.

А сейчас пустели не только столы в учреждениях, пустели квартиры, пустели дома, особенно те, в которых жили военные. Я помню дом, в котором жили семьи работников Военно-воздушной академии. Мы шли по длинному коридору, и почти на каждой двери были красные сургучные печати. Творилось что-то абсолютно здравому уму непостижимое. И я с ужасом, выходя из такого дома, спрашивала: «А что, если завтра война?!»

Пытка

Я не сдавалась и была полна решимости защитить честь своего отца и вернуть ускользавшую из-под ног почву. Я начала писать письма с просьбой расследовать дело отца. Я писала проклятому прокурору Вышинскому (которого тогда уже, слушая его злобно-ядовитые выступления, я прозвала Малютой Скуратовым, но он был хуже), Сталину, Ежову, Калинину, Булганину.

Жутко подумать, что пережил отец, думая, что мы могли поверить клевете о том, что он преступник, что он ***«враг народа»***, и бросили его на произвол судьбы, не попытались защитить. Даже сейчас, много лет спустя, когда я об этом вспоминаю и пишу, у меня разрывается сердце от боли. Это тоже один из видов пытки, пытки на всю жизнь для тех, кто остался жив.

И не только невыносимо тяжело, а просто невозможно было понять, почему при этой власти, при нашей власти надо было арестовывать, сажать в тюрьмы, мучить, унижать, бесчеловечно, жестоко, морально и физически уничтожать самых преданных ей, честных людей, почему?! В тюрьме отец сидел не один. По иронии судьбы с ним в той же тюрьме сидели все его соратники, с которыми он воевал за Советскую власть.

Набор новых кадров в НКВД

Когда в начале 1938 года в Ленинграде стали набирать новые молодые кадры для работы в органах НКВД, то ли потому, что всех старых уже пересажали, то ли объем работы увеличился настолько, что потребовались дополнительные работники, моему брату также предложили.

— Я не могу пойти на эту работу, — ответил он, — у меня отец арестован как «враг народа».

Ему даже не поверили. Такая была безупречная репутация у нашего отца.

— Проверьте, это в ваших возможностях, — ответил им он.

Проверили, исключили брата из университета, сняли с работы, фактически лишили средств к существованию.

Судьба отцовских реликвий

Когда из Ленинграда на пару дней приехал к нам брат повидать маму, мама решила, что держать отцовский «арсенал» в такой тесной квартире ни к чему, она настояла на том, чтобы мужчины нашли какой-либо выход. Когда Шура и Кирилл уносили оружие, я плакала.

Но на маму было больно и тяжело смотреть, она не умела

плакать, она всегда в таких случаях как будто застывала, и мне казалось, ей было бы легче, если бы она умела плакать, как я. Я видела, как нестерпимо больно было ей и что это значило для нее. Ведь не оружие несли выбросить, не кусок металла, а кусок нашей славной героической истории.

На мое замечание брату:

— Ты много куришь (я знала, что ни отец, ни он никогда не курили) — он ответил:

— Курю, чтобы есть не хотелось. Я за долгое время впервые выпил стакан горячего чая у тебя.

Зная своего брата, я подумала: если он мне сказал об этом, то я могу себе представить, в каком состоянии и в каком положении он находится. Я посоветовала ему:

— Шура, уезжай куда-нибудь, уезжай туда, где тебя не знают и где ты сумеешь устроиться и начать нормально жить.

Он даже не поверил, что такое может услышать от меня.

— Да ты что, неужели ты думаешь, что я в своей стране, которую люблю больше жизни, начну лгать, изворачиваться, скрываться, как преступник, и стараться пристроиться ради куска хлеба и крыши над головой? Мне моя честь дороже жизни. Я вернусь в Ленинград, приложу все свои силы, сделаю все, что зависит от меня, чтобы оправдать имя отца и доказать, что я не сын врага народа.

Что я ему на это могла ответить? Уткнувшись головой в подушку, я просто рыдала. За что? Я хотела бы знать: за что?

Я помню, когда до 1937 года я случайно встречала кого-либо из них в поезде, на совещании, на каком-либо собрании или просто у знакомых в доме, услышав мою фамилию, они крепко хватали меня в объятия и радостно вспоминали те годы Гражданской войны, где остались их юность, их молодость и их героические подвиги, без которых Советская власть не существовала бы. Неужели Сталин этого не понимал? Все они уже имели детей, все они были почтенные отцы семейств, но я была для них дорогой гостьей. Они рассказывали своим детям, женам, близким и родным о нас, о детях, и о том тяжелом и счастливом времени, где и как судьба нас столкнула. Пули Гражданской войны пощадили этих людей, а погибли они от пули той власти, за которую готовы были головы сложить и которую защищали, не щадя своей жизни.

Узнай, Саша, кто теперь у власти и что происходит там, наверху!

Откуда взялись двадцать лет спустя эти садисты, которые

могли в доме, в поезде, на работе и даже на улице арестовать, посадить в тюрьму абсолютно ни в чем не виновного человека, лишив его какой-либо связи с семьей, как будто этого человека никогда и не существовало? Ведь это была пытка не только для тех, кто был арестован и сидел в тюрьме, это была пытка для всех родных и близких, для жен, матерей, отцов и детей.

И неужели никому, никому не приходило в голову, как мучительно больно было жить тем, кто на свободе. Когда внутри, как нарыв, болело и ныло чувство, что вот сейчас, в эту минуту, где-то мучается, страдает, а может быть, и умирает самый дорогой, самый любимый и самый близкий, ни в чем не виноватый человек. Как же этот «мудрец» Сталин не мог понять одной простой вещи, что заточив в тюрьму, расстреляв или замучив одного человека, он получает взамен в десятикратном размере и даже больше людей, ненавидящих не только его, но и Советскую власть, и Коммунистическую партию, и все ее прекрасные идеи. Неужели он думал, что отцы, матери, жены, мужья и дети арестованных будут ликовать и радоваться, так же как и он, уничтожению родных и близких, членов своей собственной семьи. Господи, господи, да ведь он же, как каменный, уничтожил, истребил всех членов своей собственной семьи, также не дрогнув.

И еще совершенно невозможно было понять, почему спустя двадцать лет после существования Советской власти надо было ужесточать классовую борьбу с «врагами народа». И откуда они так сразу, так вдруг и в таком невероятном количестве через двадцать лет появились, когда этих «врагов» должно было становиться все меньше и меньше?

Кому еще была от этого польза, как не настоящим врагам Советской власти? Именно для них такие люди, как мой отец и его соратники, могли представлять какую-то опасность, так как таких людей нельзя было ни купить, ни свернуть с пути, но чтобы уничтожить Советскую власть, надо было раньше всего убрать, уничтожить таких людей, как они.

Находясь даже в тюрьме, в окружении своих бывших соратников, и пройдя через все испытания, выпавшие на долю заключенных с кличкой «враги народа», отец не мог допустить, не мог поверить, что в этом виновата его любимая партия. И что она могла так жестоко расправиться с такими верными и преданными ее защитниками.

Когда из той же тюрьмы выпустили Сашу — бывшего соратника Щорса, который сидел в тюрьме за то, что под пьяную руку заехал какому-то милиционеру в физиономию, отец обратился к нему с просьбой:

«Узнай, Саша, кто теперь у власти и что происходит там, наверху».

Саша сообщил нам, что тюрьма битком набита старыми большевиками. Что с отцом вместе сидят десятки бывших военных, товарищей отца по оружию. Саша сообщил, что «батька» (так называл он со времен Гражданской войны и Щорса, и отца) сидит, опустив голову на руки, погруженный в свои мысли, совершенно не реагируя на происходящее вокруг него. Для него это был тяжелый моральный, психологический удар, он был в шоке, поэтому просил: «Узнай, Саша, кто теперь у власти и что происходит там, наверху».

Отец был уверен, что произошла какая-то смена власти и власть попала в руки той контрреволюции, с которой они когда-то очень успешно боролись во имя светлого будущего для всего человечества.

А в это время там, наверху, происходило вот что

А вот Сталин сейчас делал все, буквально все, что старались, хотели и не могли сделать с самых первых дней существования Советской власти правительства всех буржуазных стран мира в борьбе с «большевизмом», как они окрестили нашу народную пролетарскую революцию. Ведь Уинстон Черчилль хотел, стремился и жалел, что не сумел задушить «большевизм», по его словам, «как младенца в колыбели» или «в утробе матери».

Кончился самый ужасный, самый страшный за всю нашу историю год — 1937-й. Всем казалось, что кровавый разгул ежовщины (почему ежовщины, а не сталинщины? Ведь и при Ягоде, и при Ежове, и дальше при Берии всем и всеми заправляли Сталин и хитрый, хитрющий Вышинский) дошел до кульминационной точки и никакого просвета уже быть не могло.

В начале 1938 года на смену Ежову — исполнителю массовых репрессий, (неизвестно, чем же не угодил Ежов Сталину) — пришел Лаврентий Павлович Берия, тоже впоследствии названный одним из главных организаторов массовых репрессий и необоснованных политических обвинений.

Господи, сколько же их было, этих «организаторов и исполнителей массовых убийств»! Почему же нельзя было убрать этих ОРГАНИЗАТОРОВ до того, как они стали ОРГАНИЗАТОРАМИ массовых фальсифицированных обвинений и убийств, и сохранить жизнь миллионам людей? И опять хочется спросить — кто же был или были те главные заказчики, которые санкционировали эти репрессии? Ведь без санкции сверху они не были бы не только «главными и массовыми», а даже просто

никакими.

Из двадцати пяти членов СНК СССР 1935 года в годы репрессий погибли двадцать человек, так же продолжалось и дальше.

Уничтожен был состав ЦК ВКП(б), избранный на 17-м съезде. Из 139 — вдумайтесь только! — арестовано было 110 человек. Кто же мог вот так сразу заменить эти 110 человек?

Где же была наша «мудрая партия» во главе со столь «мудрейшим вождем», которая в течение 20 лет не видела, что так долго выбирала в члены ЦК ВКП(б) «изменников, предателей, врагов народа». Значит, партия должна была за этот недосмотр в первую очередь немедленно снять и отдать под суд кого? — Сталина, человека, бывшего во главе этой «банды», как он называл их. Но Сталин, глава этой «банды», остался цел и невредим, он просто заявил, что партия убирает с дороги гнилых и лживых людей.

Красиво сказано, не правда ли? А вот кто может поверить и согласиться с тем, что Тухачевский, Блюхер, Егоров и все остальные, расстрелянные вместе с ними, более гнилые и лживые, чем Ворошилов и Буденный? Или что Рыков, Томский и многие, многие другие, также расстрелянные и погибшие вместе с ними, более гнилые и лживые, чем Молотов, Хрущев и Каганович?

Сталин и Вышинский с помощью Ежова уничтожили уже всю старую большевистскую гвардию, обезглавили армию, уничтожили всю партийную и беспартийную часть наиболее трудоспособного населения страны и, казалось, насытились и перенасытились до такой степени, что уже можно было ожидать, что наступит какое-то послабление.

И действительно, как будто кто-то наступил на тормоза. 23 ноября 1938 года Н. И. Ежов, занимавший пост наркома внутренних дел с 1936 г., вдруг подал на имя Сталина заявление с просьбой освободить его от работы в НКВД по состоянию здоровья (даже он выдержать не смог), и 25 ноября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР Н. И. Ежов был освобожден от должности наркома Внутренних дел СССР. На его место Сталин поставил Лаврентия Павловича Берия, и сразу же прошел — или был пущен — слух, что наступит послабление, дела всех заключенных будут пересматриваться и объявят амнистию.

И у многих, в том числе и у меня, появилась хоть и слабая, но все-таки надежда, что сейчас все пойдет по-другому, что Берия наведет порядок. Но для многих советских граждан этот период был не менее кровавым и страшным, так как аресты, расстрелы и

ссылки, хоть и не в таких масштабах, все еще продолжались. Но хотя бы исчезли лозунги: «А сколько ты выявил врагов народа?»

И Берия после Ежова как будто начал наводить порядок. И снова прошел слух, что в НКВД этим делом уже занимаются. И со стороны создавалось такое ложное впечатление, что Сталин во всех этих злодеяниях — арестах, пытках, ссылках, расстрелах — был ни при чем, и что во всем виновен этот кретин, бывший нарком и наркоман Ежов, и что без него сейчас все пойдет по-иному.

В те годы я все еще очень надеялась, и старалась не терять надежду, на нашу советскую справедливость, невзирая ни на какие предупреждения со стороны родных и близких:

— Успокойся, отцу ты не поможешь, а сама загудишь как пить дать, тебя тоже могут арестовать, что же тогда будет с детьми?

О каком спокойствии могла идти речь? Я продолжала писать и писать письма Сталину, Вышинскому, Калинину, в украинскую прокуратуру. Я думала, обобью все пороги, камня на камне не оставлю, но СПАСУ отца. СПАСУ — мне даже это слово трудно было произнести. СПАСУ. СПАСУ от кого? От Махно? От Петлюры? От Деникина? От белогвардейской контрреволюции? От кого? За что?

Каким чудовищем был Сталин

Сразу после смерти В. И. Ленина Сталин, спекулируя именем Ленина, старался всеми правдами и неправдами удержаться у власти, сметая с дороги всех, кто стремился сохранить завоеванную народом и для блага народа систему.

Но все, что он делал, ничего общего с заветами Ленина не имело. Он пытался играть роль самого правоверного коммуниста, как будто хотел всем доказать, что он больше коммунист, чем папа римский — католик. Он вел себя так же, как французский король Людовик XIV, который говорил: «Государство — это я». Сталин так же считал и говорил: «Партия — это я».

Неужели, принимая во внимание все, что творилось вокруг, нельзя было понять, что Сталин — это вовсе не тот мудрый, гениальный человек, который защищает Советскую власть от врагов, каким хотят его представить средства массовой информации?

Простой пример, оглядываясь на прошлое. Если Сталин был такой стопроцентный коммунист и пекся так сильно за кристальную чистоту компартии и во имя этого уничтожал всех, кто был слева, кто был справа, и вообще всех, кто имел смелость

иметь свое мнение или высказать его, то как же он допустил, чтобы такой тип, как Вышинский, стал вторым человекам после него в качестве общественного обвинителя, то есть палача, на всех сфальсифицированных судебных процессах против таких кристально чистых, глубоко преданных Коммунистической партии и Советской власти людей?

Вышинский

Вот выписка из официального документа.

Андрей Януарьевич Вышинский МЕНЬШЕВИК с 1903 по 1920 год. В ВКП(б) вступил в 1920 году. С 1933 по 1939 год — прокурор СССР — в самый разгар самых кровавых процессов. Самый беспощадный, самый страшный и жестокий государственный обвинитель, который требовал на всех сфальсифицированных массовых политических процессах уничтожить, как «бешеных псов», самых выдающихся, самых преданных Советской власти и Коммунистической партии людей. И этот тип стал самым доверенным и самым приближенным лицом Сталина.

А вот Николая Васильевича Крыленко, тоже юриста, члена партии с 1904 года, участника двух революций — 1905 и 1917 годов, наркома по военно-морским делам с 1917 по 1918 годы, Верховного главнокомандующего в 1918 году, наркома юстиции СССР и члена ЦИК СССР, Сталин и Вышинский не задумываясь в 1938 году расстреляли.

Господин А. Я. Вышинский был меньшевиком и не просто так, случайно, по малограмотности, вступил в эту партию, далеко не так. Он был сознательно членом этой партии с 1903 года, с момента раскола компартии, и до 1920 года.

И вдруг в 1920 году, внезапно прозрев, выключил себя из меньшевистской партии и тут же, сразу, без передышки, в том же 1920 году вступил в большевистскую компартию и стал самым «правоверным ***кристально чистым большевиком».*** Быстро, без запинки, сумел занять высокий пост не рядового юриста. Опасаясь за свое прошлое, что его, как бывшего меньшевика, могут тоже арестовать, он на посту прокурора СССР своим ядовитым «красноречием», с

мстительным злорадством отправлял на смерть сотни тысяч честных невинных граждан, наилучшие военные кадры нашей страны, оголяя и ослабляя тем самым нашу Красную Армию, нашу промышленность и всю нашу экономику до предела. И никто, никто не заподозрил его в измене и предательстве. Вот что значит быть под покровительством Сталина и выполнять его грязные замыслы. А ведь он как раз и был тем предателем, который беспрекословно выполнял волю других предателей, которые стояли выше него. И, может быть, сам подсказывал им, кого следует оклеветать, кого убрать, кого расстрелять, и это значит, что вина за миллионы наших погибших на поле боя солдат, лишенных опытного руководства высококвалифицированных, уничтоженных Сталиным и Вышинским военных кадров, также лежит на совести этих палачей-инквизиторов.

В те страшные годы, когда Вышинский был Верховным прокурором СССР, поистине шло уничтожение самого лучшего, самого крепкого, самого здорового, самого инициативного слоя населения. Погибли прекрасные неповторимые личности, сколько полезного могли бы они внести в нашу жизнь, в нашу экономику и культуру! При нем погибло и было расстреляно столько невинных людей, что в их крови можно было бы утопить этого нелюдя. И Сталин его терпел. Вот скажите: почему?!

Ведь самое большое богатство, которое существует в любой стране, — это ЛЮДИ. Они создают все, и ради них создается все, и прав Максим Горький: ЧЕЛОВЕК — звучит гордо, и это слово надо писать с большой буквы.

Но есть ведь и нелюди. Стоит только взглянуть на тех, кто остался в окружении Сталина, и на списки уничтоженных, чтобы стало ясно, что все, что происходило в то время при Сталине и Вышинском, не было случайностью. Все происходило по глубоко продуманному где-то и кем-то плану.

Были уничтожены почти одновременно самые лучшие кадры. Это тоже не случайность, а хорошо продуманный где-то и кем-то план, и все участники этой кровавой оргии, ничтожества, торжествовали победу.

Мы получили ответ

Наконец лед как будто тронулся, и в ответ на наши многочисленные письма и просьбы пришла открытка из

канцелярии Сталина, что наша просьба передана на рассмотрение в соответствующие органы.

Затем пришла другая открытка от самого «Малюты Скуратова» — Вышинского:

— В ответ на вашу просьбу сообщаем, что дело вашего отца находится в ведении Киевской прокуратуры, туда мы направили вашу просьбу, и туда надлежит вам обратиться.

Из Киевской прокуратуры пришел ответ:

— Ввиду отсутствия материалов для пересмотра дела И. Ф. Саутенко его дело пересмотру не подлежит.

Каких материалов, что за материалы, откуда их взять? «Дело»? Какое «дело» и по какому «вопросу» пересмотру не подлежит? Круг опять замкнулся. Началась новая переписка.

И с этого момента вся наша жизнь превратилась в сплошную пытку стояния дни и ночи в дождь, снег, грязь и слякоть в многотысячных очередях у стен тюрьмы. Стояния с тысячами таких же несчастных матерей, жен и детей, которые тоже надеялись хоть что-либо узнать, хоть что-либо услышать, что-либо передать, чем-либо облегчить судьбу тех несчастных, кто томился за этими тюремными стенами или уже месил грязь по длинным дорогам Сибири, задыхаясь в переполненных эшелонах. А их матери, дети и жены, страдая и мучаясь за судьбу близких и дорогих им людей, простаивали и просиживали с узелками в руках недели и месяцы под забором вокруг тюрем, желая что-то передать, чем-то облегчить судьбу обреченных.

Это продолжалось до тех пор, пока матери не сообщили, что ему ничего не нужно, и посылку опять не приняли.

С каким мужеством должна была принять мать этот страшный удар! И даже после этого она жила надеждой, крепкой надеждой, что справедливость восторжествует и мы сумеем добиться освобождения отца.

«Ты знаешь, — сказала она мне однажды, — во мне как будто все окаменело. Я держусь, но если вдруг что-то произойдет и какой-то кусочек сорвется, я не выдержу, я развалюсь».

Папа жив!

И как только Ежова, этого «железного наркома», Сталин убрал и на его место назначил Берия, я, как и все, не пошла, а прямо полетела туда. В приемной НКВД я встретила многих, многих моих знакомых. Мы все получили и заполнили какие-то опросные листки и передали их дежурному, который сказал: «Зайдите через месяц». И вот через месяц я снова в приемной НКВД, и снова — толпа знакомых и незнакомых, но таких же

несчастных и замученных, как и я. Здесь были даже дети, они также хотели хоть что-нибудь узнать о судьбе своих родителей, которых часто и в живых уже не было. Рядом со мной на лавке сидели две девочки, лет 10–12, сестры. У них были арестованы отец и мать.

— Где вы живете? — спрашиваю.

— У маминой сестры, — отвечает старшая, — но она очень больная, не может работать, и нас нечем кормить. И я хочу попросить, чтобы мне разрешили взять из квартиры некоторые вещи, там все запечатали, даже наши детские вещи.

Подошла моя очередь. У меня дрожали ноги, когда я подходила к окошечку. Порывшись в довольно длинном списке, дежурный сообщил:

— Саутенко Иван Федорович специальной выездной тройкой НКВД 8 января 1938 года осужден как враг народа на 10 лет и выслан в дальние лагеря НКВД без права переписки.

У меня от радости закружилась голова, забилось сердце так, что я чуть не упала: «Осужден!!! Раз осужден, значит, жив?.. Жив?» А раз жив, значит, что-то можно сделать.

— Жив?! — спрашивала я без конца.

— Жив, — ответил он.

— И я могу о нем ходатайствовать? Скажите, к кому я могу обратиться, он ни в чем не виновен. Скажите, пожалуйста, скажите!

— Нет! — твердо и категорически ответил он. — Вы ничего не можете сделать, ничего.

— Почему??? Он не виновен, это ошибка!!!

— Потому что он и только лично он может и должен уполномочить вас вести за него дело.

— То есть как?! Как может сделать это человек лично, если — вы же сказали, что он осужден БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ!!! Где находится он? В каких лагерях? И как может человек без права переписки поручить кому-либо вести его дело?!!

— Это все, — ответил он. — Следующий!

— Скажите, он жив?!! — еще раз обратилась я к нему.

— Значит, жив, — повторил он. И мое место заняла другая женщина, за мной стояла длинная, длинная очередь.

Я вышла оттуда, мокрый снег таял у меня на лице, под ногами хлюпала слякоть, с визгом и скрежетом пролетали трамваи, машины, разбрызгивая вокруг мокрые хлопья грязного снега, а я шла, не разбирая дороги, и мне казалось, что ярко светит солнце, цветут розы и вся Москва благоухает.

Ведь отец мой жив! Жив! Сердце колотилось от радости до боли. Значит, жив, а если жив, значит, есть надежда. Значит, он

перенес все ужасы, все унижения, все невзгоды нашей советской тюрьмы, моральную и физическую боль и остался жив, а я так боялась, что у него не хватит сил. Жив — и это было самое, самое главное. И я шла, шла, не замечая ничего вокруг, не видя и не слыша ничего, поглощенная этой мыслью — жив!!! А раз жив, есть надежда, и я камня на камне не оставлю, я сделаю все, чтобы его спасти.

И с утроенным упорством я стала писать письма во все инстанции всем, всем и добиваться приема у всех, от кого, я думала, может зависеть и в чьих руках находится судьба таких, как мой отец.

Было только странно, что никто, никто не разделяет моего энтузиазма. Некоторые даже пытались опять уговорить меня прекратить писать, прекратить искать правду: «Ничего ты не добьешься, а сама загудишь наверняка».

— Но как же так? За что? — спрашивала я у всех.

— Как за что? Те, кому ты пишешь и от кого ждешь ответа, поставили на нем клеймо — «враг народа», а ты — ***дочь «врага народа».***

Прием у Калинина

За это время я все-таки добилась уже приема у Михаила Ивановича Калинина. Что бы ни говорили, но ведь он Верховный староста, и я когда-то на каком-то торжественном собрании подшефного нашему институту завода им. Калинина сидела с ним рядом в президиуме, передавала ему какой-то список о награждениях. Шла я к нему с радостью и огромной надеждой.

Он по-отечески, очень внимательно выслушал меня:

— Я все понимаю, я очень хорошо понимаю вас, и все, все, что будет зависеть от меня, сделаю, постараюсь сделать, но, к сожалению, от меня ничего не зависит, — грустно закончил он. — Но вы не отчаивайтесь, вот увидите, все образуется. В таком огромном государстве, как Советский Союз, ошибки бывают тоже большие.

Уходила я от него в еще более подавленном состоянии. Я поняла, что он такой же беспомощный, как и все остальные, к кому я обращалась раньше и кто уже разделил судьбу тех, кто был арестован раньше.

Бессердечная бестактность

Как-то вечером зашел наш друг дома. Тоже старый большевик, герой Гражданской войны, воевавший на Южном

фронте — на груди орден, один из первого десятка, с облупившейся уже эмалью. Мы на него смотрели как на музейную редкость — как это он не попал в эту мясорубку? Он, как только вошел, с возмущением заявил:

— Надо дойти до такого цинизма, до такой бессердечной бестактности, чтобы семьям тех, кого уже нет в живых, говорить, что осужден как враг народа на 10 лет и сослан в дальние лагеря НКВД без права переписки.

И вся моя радость померкла в одну секунду.

От кого зависит, в чьих руках находятся справедливость и судьба — я тогда уже знала — не сотен тысяч, а миллионов таких же невинных людей, как мой отец. Появилась какая-то эпидемия на «врагов народа», аресты шли направо и налево, и все, все старые соратники отца, все, кто состоял в обществе старых большевиков и политкаторжан, все, все, кого я знала, любила и уважала с детства, превратились во «врагов народа».

Ежов, его заместитель Фриновский и многие их сотрудники в апреле 1939 года были арестованы, а в январе — феврале 1940 года были все расстреляны.

Значит, все эти люди, или нелюди, слишком много знали, и в один прекрасный день у них могли бы развязаться языки, и тогда многое выплыло бы на свет божий, поэтому их, как свидетелей, надо было скорее убрать. Спрашивается, зачем и почему этот мудрейший из мудрых мудрецов назначал и держал во главе органов внутренних дел явных предателей и держал их там столько времени, сколько ему нужны они были для проведения массовых репрессий. Почему он не разоблачал их до того, как назначал на такие ответственные должности? Ведь с его благословения был снят и ликвидирован предатель Ягода и заменен таким же исполнителем массовых репрессий предателем Ежовым. Так кто же должен отвечать за такую преступную близорукость, когда он назначал предателей, из-за которых погибло столько прекрасных незаменимых людей?

И тогда мне уже казалось, что я ищу правду не только об отце, но и о тысячах тысяч таких, как он.

Я не могла понять, не могла постичь: что же, все «они», будучи «врагами народа», вступили в партию в те годы, когда принадлежность к Коммунистической партии означала дорогу на виселицу или пулю в затылок, совершили революцию, защитили вместе с народом в Гражданскую войну новую народную Советскую власть, и те, кто случайно остался после этого жив (а сколько их погибло!), через 20 лет вдруг все сразу оказались «врагами народа».

Почему никто не задал себе вопрос, каким образом сумела удержаться Советская власть 20 лет при наличии повсюду в стране такого количества врагов народа. Ведь не было в нашей стране предприятия, не было учреждения, не было села, деревни, города, где бы эта «чума» не затронула кого-нибудь. Как же могла наша страна не только удержаться, но и стать великим, могучим государством и оказать огромное влияние на судьбу человечества во всем мире? Так почему же они, эти враги народа — а ими впоследствии, по сталинским меркам, оказались миллионы, миллионы!!! — почему же эти миллионы не уничтожили Советскую власть в самом ее зародыше, почему помогли ей стать мощной державой и укрепиться до такой степени, чтобы она могла через 20 лет пустить их всех в эту страшную мясорубку?

Трудно было понять: Почему молчат люди?

Почему молчит такая великая и мудрая партия? Почему превратили Сталина в сверхчеловека? Почему дали ему право и позволили, спекулируя великими лозунгами этого великого происшедшего в мире события для всего человечества, вести завоеванную народом Советскую власть, вести всю страну к гибели, когда надо было кричать, вопить, остановить Сталина, убрать единственного убрать единственного человека и спасти страну от катастрофы, на которую он ее толкал?

Последнее известие об отце

И наконец мой муж набрался смелости и рассказал мне то, что мой брат боялся рассказать мне и маме.

Когда один из друзей брата, который по такому же набору, от которого отказался мой брат Шура, уже работая в НКВД, получил командировку на Украину, брат попросил его:

— Пожалуйста, Коля, разыщи, если сможешь, дело моего отца и узнай, что там с ним произошло.

Друг выполнил его просьбу. Он нашел «дело» отца и передал брату следующее: в протоколе при аресте отца было записано, что у него изъяли при обыске: 1-е издание сочинений Ленина под редакцией Бухарина и «Историю Гражданской войны» под редакцией Максима Горького.

Но к «делу» отца был приложен еще протокол о том, что во время допроса отец выхватил у следователя наган, следователь в панике выскочил в окно. В этот момент в кабинете раздался выстрел, и когда вбежала стража, отец лежал на полу с раздробленной челюстью, истекая кровью. Его отправили в тюремную больницу. И ничего больше он не сумел узнать.

Зная темперамент моего гордого отца и его реакцию на

явную, жестокую несправедливость, я уверена, что он никогда в жизни и ни при каких обстоятельствах не позволил бы никакому ничтожеству издеваться над собой. И никакие пытки не заставили бы его давать какие-либо ложные, вымышленные показания на себя или оклеветать кого-нибудь.

А как раз в это время, 7 августа 1937 года, Сталин издал приказ «о применении специальных мер воздействия и усилении тюремного режима». После этого многие известные политические деятели, такие, как Панас Петрович Любченко, Ян Борисович Гамарник, Михаил Павлович Томский и многие другие, кончали жизнь самоубийством, чтобы избежать ареста с применением специальных мер воздействия и недозволенных методов ведения следствия.

У отца явно ***дрогнула рука*** от сильного волнения, и он не попал в висок, а раздробил себе челюсть. Мне было жутко все это выслушать. И до сих пор мне страшно даже об этом думать, и до сих пор сердце кровью обливается, как же он мог, как же он мог выдержать боль и мучения, с раздробленной челюстью, в тюремной больнице?! И как долго он там лежал, и как долго мучился от нестерпимой боли, и никто, никто из нас не в состоянии был ему помочь. И как можно было не сообщить об этом семье?

И несмотря даже на все это, я все еще надеялась, что он остался жив, ведь ему было только 42 года.

Днем на работе, дома с детьми я кое-как переносила эту пытку, но ночью меня душили кошмары.

Вещий сон

Я помню, мне приснился сон, что я искала отца и долго кружилась вокруг какого-то высокого забора, за которым была тюрьма. Я знала, что отец находится именно в этой тюрьме, за этим забором. Во сне кажется все проще. И я думала: мне бы как-нибудь пройти внутрь, там я все объясню, меня выслушают, поймут, и он будет свободен. Только бы как-нибудь пройти внутрь. Но, обойдя несколько раз вокруг, я входа в тюрьму найти не смогла и удивлялась, как же туда попадают заключенные.

И вдруг в заборе я увидела щель и бросилась к ней, но она оказалась такая узкая, что пройти в нее было невозможно. В эту щель я увидела огромный серый заасфальтированный двор и несколько фигур, двигавшихся из глубины двора в моем направлении. Молодые люди, одетые в новенькую, с иголочки, военную форму сопровождали измученного до неузнаваемости человека. Когда они подошли близко, я узнала отца и хотела

закричать, но не смогла, у меня исчез голос.

Они прошли мимо меня влево и у высокого забора расстреляли отца, положили на носилки, накрыли черной рогожей и медленно удалились в глубину двора.

Я отчаянно закричала, меня разбудил Кира, но я была в такой истерике, что с трудом могла успокоиться. Мне до сих пор кажется, что это был не сон, а что я действительно видела, как у меня на глазах расстреляли моего отца и я ничего, абсолютно ничего не могла сделать. Этот сон я рассказала только мужу и никогда не рассказывала об этом матери, я боялась за ее здоровье.

Самое удивительное было то, что мой сон почти совпал с датой осуждения отца.

Не знаю, кто более счастлив — те, кто ушел из жизни так трагично, или те, кто остался жив. Я, например, годы и годы ношу в себе боль утраты, которая не утихнет до моего последнего вздоха.

План по уничтожению «врагов народа» выполним!

Вот еще один из парадоксов сталинской системы, не ленинской, а именно сталинской, так как Ленин не отталкивал от себя творческую интеллигенцию, а, наоборот, старался привлечь ее. Сталин творил что-то, здравому уму непостижимое. Он, постепенно набирая все больше и больше силы, стал заполнять тюрьмы и лагеря такими крупнейшими учеными, как А. Н. Туполев, С. П. Королев, Н. И. Вавилов и многие, многие другие. Эти люди — гордость нашей страны, и опять, не благодаря Сталину, а наперекор ему, они вознесли славу нашей страны на недосягаемую вершину и принесли ей неугасимую славу во всем мире.

Но Каганович, Молотов, Ворошилов, Микоян, Буденный во главе со Сталиным считали, что только самые жестокие меры могут обеспечить успешное проведение всех задуманных ими мероприятий.

Я всегда считала, что Сталин случайно попал на этот пост и что Советская власть выше, сильнее, мудрее и больше, чем тот, кто стоит во главе ее. И что все сталинские сумасшествия и злодеяния, инициатором и вдохновителем которых был сам Сталин и тот зловещий змеиный клубок, который свили вокруг него такие злоумышленники, как Вышинский, Каганович и другие, которым было ***наплевать*** на народ, рано или поздно все исчезнут, а советская система, Советская власть создана на веки вечные. Потому что она первый, первый раз за всю историю

человечества была завоевана НАРОДОМ для народа.

Он не выносил умных людей в своем окружении. Когда я читаю воспоминания его «соратников» о тех ночных попойках, которые проходили у него на дачах с распитием его любимых кавказских вин и его ехидного издевательства над всеми присутствующими холуями, я невольно вспоминаю, как он со своей зловещей улыбкой вертел шарики из мякоти хлеба и бросал жене прямо в лицо. И даже жена его с таким прекрасным символическим именем Надежда не смогла выдержать его издевательств и покончила жизнь самоубийством, а окружавшие его подхалимы способны были выдержать все.

И вот этого тирана наши средства массовой информации превознесли, навесили на него все достоинства.

Мне казалось немыслимым продолжать жить и видеть, как теперь, уже после тридцати лет существования Советской власти, ни в чем не виновные люди продолжают становиться жертвами бессмысленного, безжалостного сталинского террора. Нам трудно было примириться с тем, что такие страшные преступники, как Ежов, Берия и хитрый, чудовищно подлый закононарушитель советского правосудия Вышинский (имя Малюты Скуратова бледнело перед ним), продолжают творить чудовищные дела под руководством превознесенного до небес «безгрешного» Сталина. Продолжают бесконтрольно и безнаказанно распоряжаться судьбами советских людей и под всякими чудовищными надуманными предлогами привлекать к ответственности, сажать, уничтожать такие таланты нашего народа, как Туполев, Королев, Вавилов, и многих, многих других.

Куда, зачем и почему так торопился Сталин расстреливать пачками лучших людей? Расстрелять одного человека — это уже событие, это уже много, это уже уголовное преступление, но расстреливать сотни, сотни тысяч и больше одновременно — такому массовому уголовному преступлению, мне кажется, нет даже названия в Уголовном кодексе.

Ведь все эти Берии, Ежовы, Ягоды сами были легкоуязвимы, и как только их инквизиторская служба по выполнению гнусных замыслов главного инквизитора была выполнена, он немедленно снимал, арестовывал и казнил всех подряд по своему усмотрению.

Дело было в самом главном инквизиторе, который, находясь у руля управления страной, сам выносил приговор, сам составлял и списки, кого расстрелять, кого сослать. Он, как одержимый, как вошедший во вкус крови вурдалак, не хотел остановиться. Вы только вдумайтесь: он собственноручно только за один год — с 1937 по 1938 — подписал 366 списков на расстрел 44 440

человек, а может быть, и больше! А сколько было у него по всей стране последователей и помощников, которые, боясь отстать от него, так же как и Хрущев с Украины, посылали ему сводки, просили «не беспокоиться» и обещали, что «план по уничтожению „врагов народа“ будет выполнен».

Я вспоминаю, как Кирилл не мог, не хотел примириться с тем, что все эти люди так просто, в одно мгновение, по фальшивым доносам, шитым белыми нитками, осуждены и сразу же расстреляны. И долго он старался убедить меня, что их всех куда-то просто сослали до поры до времени и к ним обратятся сразу же, как только они понадобятся. «Ведь не ***сумасшедший*** же Сталин, чтобы такой золотой фонд страны и так сразу весь уничтожить», — говорил он.

Награда Вышинского

Но весь ужас и заключался в том, что он был не просто убийца, а самый беспощадно жестокий массовый убийца, садист, которому казалось, что слишком мало жертв, и ему хотелось, чтобы их было все больше и больше. Ведь без санкции Сталина ни один волос не упал бы ни у кого с головы. Только ему, только Сталину стоило пальцем шевельнуть, чтобы все это прекратилось в одно мгновение. Но ничего подобного не произошло. Сталин 21 июня 1937 года наградил Ежова и Вышинского за «усердие» и «заслуги» орденами Ленина.

«Тов. А. Я. Вышинского за УСПЕШНУЮ РАБОТУ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЕВОЛЮЦИОННОГО ЗАКОНА и органов прокуратуры орденом Ленина и тов. Н. И. Ежова орденом Ленина ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ в деле руководства органами НКВД по ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ заданий».

«На посту НКВД, как и на других ответственных постах, тов. Ежов показывает ОБРАЗЦЫ СТАЛИНСКОГО СТИЛЯ РАБОТЫ, когда слово у него ни на йоту не расходится с делом. Враги еще есть, и мы будем ВМЕСТЕ разоблачать шпионов, диверсантов и уничтожать их. Фашистские разведки, несомненно, постараются посадить новых, но также несомненно, что и эти новые шпионы в нашей стране так же будут разоблачены и уничтожены, порукой этому славная работа НКВД под руководством тов. Ежова». Это было сказано о Ежове

21 июня 1937 года во время вручения орденов и в самый, самый страшный момент его кровавых злодеяний.

Ежов, его заместитель Фриновский и многие их сотрудники в апреле 1939 года были арестованы, а в январе-феврале 1940 года были все расстреляны.

Значит, все эти люди, или нелюди, слишком много знали, и в один прекрасный день у них могли бы развязаться языки, и тогда многое выплыло бы на свет божий, поэтому их, как свидетелей, надо было скорее убрать. Спрашивается, зачем и почему этот мудрейший из мудрых мудрецов назначал и держал во главе органов внутренних дел явных предателей и держал их там столько времени, сколько ему нужны они были для проведения массовых репрессий. Почему он не разоблачал их до того, как назначал на такие ответственные должности? Ведь с его благословения был снят и ликвидирован предатель Ягода и заменен таким же исполнителем массовых репрессий предателем Ежовым. Так кто же должен отвечать за такую преступную близорукость, когда он назначал предателей, из-за которых погибло столько прекрасных незаменимых людей?

Итак, за «сталинский стиль работы» наградил шпиона орденом ЛЕНИНА и затем ***расстрелял как шпиона иностранной разведки*** и как главного заговорщика в НКВД с враждебными кругами Англии, Германии, Японии и Польши.

Если все это правда, то тогда, когда по требованию лично самого Сталина Ежов занял этот важный ответственный пост, он уже ***был*** иностранный шпион, и при нем погибли миллионы ни в чем неповинных людей. Почему же не привлекли к ответственности Сталина, который не только не распознал в нем иностранного шпиона и главного заговорщика, но даже наградил его за «сталинский стиль работы», а любого другого, который не распознал бы врага, сослали или расстреляли???

А Сталин просто заменил этого шпиона иностранной разведки еще одним иностранным шпионом (как впоследствии выяснилось), Лаврентием Павловичем Берией, тоже главным организатором массовых репрессий и необоснованных политических обвинений, которого распознал, разоблачил Верховный суд СССР и приговорил к расстрелу только после смерти Сталина в 1953 году.

Уму непостижимо!

«Враги народа»

От кого зависит, в чьих руках находятся справедливость и судьба — я тогда уже знала — не сотен тысяч, а миллионов таких же невинных людей, как мой отец. Появилась какая-то эпидемия на «врагов народа», аресты шли направо и налево, и все, все старые соратники отца, все, кто состоял в обществе старых большевиков и политкаторжан, все, все, кого я знала, любила и уважала с детства, превратились во «врагов народа».

И тогда мне уже казалось, что я ищу правду не только об отце, но, и о тысячах тысяч таких, как он.

Я не могла понять, не могла постичь: что же, все «они», будучи «врагами народа», вступили в партию в те годы, когда принадлежность к Коммунистической партии означала дорогу на виселицу или пулю в затылок, совершили революцию, защитили вместе с народом в Гражданскую войну новую народную Советскую власть, и те, кто случайно остался после этого жив (а сколько их погибло!), через 20 лет вдруг все сразу оказались «врагами народа».

Почему никто не задал себе вопрос, каким образом сумела удержаться Советская власть 20 лет при наличии повсюду в стране такого количества врагов народа. Ведь не было в нашей стране предприятия, не было учреждения, не было села, деревни, города, где бы эта «чума» не затронула кого-нибудь. Как же могла наша страна не только удержаться, но и стать великим, могучим государством и оказать огромное влияние на судьбу человечества во всем мире? Так почему же они, эти враги народа — а ими впоследствии, по сталинским меркам, оказались миллионы, миллионы!!! — почему же эти миллионы не уничтожили Советскую власть в самом ее зародыше, почему помогли ей стать мощной державой и укрепиться до такой степени, чтобы она могла через 20 лет пустить их всех в эту страшную мясорубку?

Трудно было понять, почему молчат люди, почему молчит такая великая и мудрая партия. Почему превратили Сталина в сверхчеловека? Почему дали ему право и позволили, спекулируя великими лозунгами этого великого происшедшего в мире события для всего человечества, вести завоеванную народом Советскую власть, вести всю страну к гибели, когда надо было кричать, вопить, остановить Сталина, убрать единственного человека и спасти страну от катастрофы, на которую он ее

толкал?

Ведь теперь совершенно уже было ясно и очевидно, что дело было не в Ягоде, Ежове или Берии. Кто бы ни стоял во главе НКВД, это никакого значения не имело. Дело было в главном дирижере, который оставался у своего дирижерского пульта, оставался у руля управления всей страной, и на это никто не обращал никакого внимания. А ведь все, ну буквально все зависело только от него, от Сталина… И его надо было немедленно убрать. Вы только представьте себе, если бы в живых остались миллионы тех прекрасных людей, которые за такое короткое время, за 20 лет, после всех постигших Россию катастроф сумели создать такое могучее государство, какой могла бы стать наша страна!

Ведь не зря же в те годы вся культурная, цивилизованная, образованная часть населения всего мира поддерживала и горой стояла за Советскую власть. Шли в тюрьму и на каторгу только из симпатии к советской системе. Даже в какой-нибудь малознакомой стране люди считали, что произошло событие мирового значения, которое изменит к лучшему жизнь населения всей нашей планеты.

Король-то был голый!

Я каждый раз задаю себе один и тот же вопрос: если один человек убивает другого человека, его приговаривают к пожизненному заключению, а при отягчающих вину или при преднамеренно продуманных обстоятельствах его лишают жизни. Так почему же и каким образом человека, совершившего не одно убийство, а миллионы и принесшего стране самый большой за всю ее историю вред, не только не привлекли к ответственности, а превознесли до недосягаемых высот?

Король-то голый — это было видно давным-давно, даже невооруженным глазом. Зачем же на него навесили лавры победителя, генералиссимуса?

Кто-то мне сказал: «Да, но он защищал великую идею от врагов этой идеи». Хорошо, но как же могло так произойти, что миллионы раздетых, разутых, голодных и полуголодных людей, которые за эту идею воевали в смертельных боях Гражданской войны, почти безоружные, почти только на одном энтузиазме, против сытых, великолепно одетых, вооруженных до зубов и оснащенных всем необходимым врагов, как могли они после 20 лет существования Советской власти вдруг так сразу превратиться не просто во врагов, а во «врагов народа», ради которого они шли на смерть.

А ведь по-настоящему, врагами были те, кто, прикрываясь красивыми лозунгами и высокими идеями, шел безропотно за Сталиным, кто, якобы спасая страну от «врагов народа», творил страшное, кровавое антигосударственное дело. Они ухитрились создать армию потенциальных врагов советской системы, и надо было иметь много сил и крепкую любовь к Родине, чтобы, подавив в себе чувство горечи, боли и даже ненависти к тем, кто это делал, остаться преданным делу революции и не потерять веру в советскую систему.

Слава героям!

Все замученные, расстрелянные Сталиным если и боролись, то боролись не за высокие звания, не за потерянные поместья и усадьбы, а против сталинского произвола, против сталинских преступлений, за восстановление тех прав, во имя которых они вместе с народом шли на смерть в Гражданскую войну за счастье, равенство и братство всего народа.

И мы должны восстановить не только добрые имена всех «невинно репрессированных и посмертно реабилитированных» жертв (имена которых должны быть записаны золотыми буквами на наших скрижалях), а речь должна идти главным образом о том, чтобы докопаться, найти корни этих страшных сталинских преступлений и распутать этот кровавый клубок. Найти, осудить, посмертно проклясть Сталина и всю ту банду, с помощью которой Сталин уничтожил СОВЕТСКИЙ НАРОДНЫЙ СТРОЙ, завоеванный НАРОДОМ для трудящихся. Советский Союз — единственная страна в мире, где народ, став хозяином своей страны, доказал, что простой народ своим трудом, своим энтузиазмом и врожденным талантом может превратить свою страну в сказку. Ведь не какая-нибудь избранная элита в Советском Союзе правила государством, а первый раз в истории весь многомиллионный советский народ создавал и выделял из своей среды ту элиту, которая была способна и могла управлять страной.

Вот поэтому и только поэтому наша страна — при нашей советской системе — в самых тяжелых условиях стала так быстро и успешно развиваться. А наш Советский Союз мог бы и должен был бы стать самой демократичной страной с самой демократичной властью во всем мире, если бы власть не попала в руки предателей, и я уверена что именно такой она стала бы при Ленине или при тех, кто шел по его стопам.

И поэтому надо также очистить, восстановить не только доброе имя советского строя, нашего Советского Союза, но и идею. Не ту, теперь уже оплеванную Сталиным, а идею Коммунистической партии, той партии, которая боролась вместе с народом «за землю, за волю, за лучшую долю» ***для всех***. Это необходимо сделать не только в нашей стране, это необходимо сделать также для трудового населения и коммунистических партий всего мира, которые продолжают бороться за право трудового народа управлять своими странами и всеми ресурсами своих стран, не ожидая подачек от господствующего класса буржуазии, разжиревшей на эксплуатации их тяжелого, изнурительного труда и разворовавшей принадлежащие всему

народу богатства.

Антисоветская деятельность Сталина

Где же была в это время «мудрая партия большевиков», которая не сумела увидеть и распознать ***самого страшного*** для ее существования врага? Как же мог нормальный человек руководить убийством миллионов людей, включая самых близких членов своей семьи? Как же можно было допустить такое неслыханное, бесчеловечное издевательство над собой, зачем же позволили ему приписать себе все достижения и заслуги нашего многострадального народа? Горько и дорого расплатилась партия за свою близорукость, Сталин и стал ее гробовщиком.

Я вспоминаю еще один из ярких примеров лицемерной лжи Сталина, когда 25 мая 1935 года в Кремлевском дворце на выпуске командиров, окончивших Академию Красной Армии, он сказал: «Старый лозунг „Техника решает все“ надо заменить лозунгом „Кадры решают все“». И сразу же после этого «мудрого» изречения начал избивать и уничтожать эти самые лучшие кадры по-сталински, вот эту миссию он действительно выполнил.

«ГЕНИАЛЬНО», по-сталински.

Ликвидирован был НЭП, потом были разоблачены «Промпартия» и «Трудовая крестьянская партия», коллективизация, хамское отношение к жене, которое довело ее до самоубийства, искусственный голод, который довел страну до людоедства… И даже на этом жутком фоне, когда к нему обращались за помощью, отпустить зерно для голодающих, он отказывал (он же воздвиг настоящий санитарный кордон вокруг Советского Союза, который не сумели создать капиталисты, когда Ленин обратился за помощью голодающей стране ко всему миру). Убийство Кирова и последовавшие за этим массовые репрессии всех руководящих работников под всякими надуманными, вымышленными предлогами, и не только в Ленинграде, а по всему Союзу (он как будто накапливал силы для более мощного удара по всей стране). Арестованными и сосланными за малейшие провинности уже были заполнены все лагеря. И наконец, набрав силу и убедив средствами массовой информации всю страну в своей непогрешимости, он с неслыханной жестокостью обрушился на самую образованную, самую культурную и самую глубоко преданную идее коммунизма часть нашего руководящего персонала.

В числе тех обреченных, которых Сталин без стеснения, наплевав на мнение всего мира, открыто пытал, травил, ссылал, расстреливал, оказался и писатель Максим Горький, робко

посмевший поднять свой голос в защиту обреченных. Вот хоть на секунду задумайтесь, завоевали бы мы космос, если бы он угробил академика Королева, Туполева или таких, как Вавилов, и многих, многих других таких же ценных наших русских самородков? Как бы продвинулась бы наша жизнь вперед и какая бы она была прекрасная, если бы он оставил всех в покое!

Мне до сих пор непонятно, кому пришла в голову такая безумная, преступная, разрушительная для Советской власти идея: уничтожить основной фундамент, уничтожить таких идейных людей, которых никто и никогда возместить не смог и которые еще так нужны были молодому новорожденному советскому строю, Советской власти и компартии при Советской системе. Это были еще молодые, в расцвете сил люди, в возрасте от 40 до пятидесяти лет, это были самые преданные советской системе кадры, которые еще много, много лет могли бы жить и работать, именно работать, на благо нашей страны, нашего народа, на благо советского строя и партии. Это были люди, в душе которых еще не угасло пламя революции, не померк тот идеализм, тот энтузиазм, то великое чувство, во имя чего произошла революция. Каждый из них еще нес в душе чувство личной ответственности за ту революцию, которую они совершили, во имя чего совершили и с такой силой, с такой самоотверженностью защищали в годы Гражданской войны и в первоначальные, самые тяжелые годы ее существования. Они вступили в партию не ради каких-либо привилегий или благ для себя. В те годы это значило деникинскую пулю в затылок или петлю на шею, они рисковали своей жизнью во имя счастья и блага для всего человечества.

А те, кто пришел и продолжил приходить в партию позже, все дальше и дальше отходили от этих идей и не могли так остро чувствовать и так глубоко болеть за это новое детище (пусть на меня за это не обижаются, но ведь это правда). Чем дальше, тем больше — из десятков тысяч они превратились в миллионы, но это уже были далеко не те члены партии, кто вступил в нее в горячие годы Гражданской войны, кто боролся и погибал вместе с народом. Для вновь вступающих в партию партийная книжка была чем-то вроде профсоюзного билета.

Я даже помню, как некоторые секретари партийных организаций, выступая на собраниях партийного актива, часто заявляли, что для некоторых членов партии партийный билет вроде пропуска в клуб, его оставляют как залог в ресторанах, пропивают за поллитровку или пользуются им в качестве записной книжки.

О чем же думал Сталин и те, кто его окружал, давая команду

по приказу Сталина снимать с работы, сажать, судить, ссылать и расстреливать не сотни тысяч, а уже миллионы? И не так просто, кого попало или немощных и больных, а уничтожать самых крепких, здоровых, самых опытных, самых работоспособных, самых отборных военных и гражданских специалистов. Ведь каждый из этих арестованных, годы и годы, а иногда по 15–20 лет работая в той или иной отрасли производства, приобретал такую специальность, которая двигала всю нашу экономику вперед.

Неужели сам Сталин не понимал, что он тем самым разрушал всю государственную систему?! Ведь этих людей нельзя было так сразу заменить без ***ущерба для страны*** новыми, неопытными кадрами, которые часто, очень часто не успевали даже войти в курс дела, не успевали даже место согреть, как их тоже арестовывали и заменяли еще менее квалифицированными людьми, и такие замены иногда происходили по нескольку раз в год. О каком же улучшении условий жизни или системы могла идти речь в таких жутких условиях работы? Поэтому ***вся экономика страны*** во всех отраслях производства, как гражданской, так и военной, пошла под откос.

Отсутствие этих высококвалифицированных кадров было явно видно не только во время Финской кампании, но еще страшнее во время Второй мировой войны.

Казалось, все, что происходит в это время, — это какой-то зловещий заговор. Что какие-то враждебные Советской власти силы, забравшись в высшие органы поближе к Сталину, с ожесточением стараются создать невыносимые условия работы и жизни и шаг за шагом уничтожают все самые лучшие, самые честные, самые преданные и самые полезные и ценные партийные и беспартийные кадры, которые стремились укрепить новую советскую систему, улучшить условия жизни всех советских людей в Советском Союзе. А цель этих зловещих сил заключалась в том, чтобы разрушить и постепенно уничтожить все. Я до сих пор помню, что, как только появлялись какие-нибудь малейшие улучшения и дышать становилось как будто чуть-чуть легче, сразу где-то кто-то немедленно перекрывал кран и закрывал доступ кислорода.

Разве не странно было и ни у кого не вызывало подозрения то, что все эти ужасные вещи начали происходить через десять, пятнадцать, двадцать лет, когда Сталин путем всевозможных манипуляций поднялся на вершину власти и стал самым жутким диктатором?

Это также значило, что в течение первого десятилетия еще были живы и существовали преданные Советской власти люди, которых не успел он так сразу и полностью уничтожить. Что еще

были те здравомыслящие люди, которые могли оказать какое-то влияние на безумие Сталина.

И невыносимо больно было быть безмолвным свидетелем и наблюдать, как один человек узурпировал власть, узурпировал лучшую в мире идею, лучшую в мире систему и, спекулируя тем и другим, ведет нашу великую страну к гибели, а наш народ — к уничтожению.

И все-таки я всегда думала, что наша страна, наш народный Советский Союз — это единственная страна и единственная надежда на светлое будущее для всех трудящихся во всем мире.

Сталины приходят и уходят, а наш Советский Союз останется навсегда.

Новая квартира

Дом, в котором мы ожидали получения квартиры, в это время надстраивали буквально черепашьим шагом, и нашей семье — трое взрослых и двое младенцев, пять человек — надо было ютиться в комнате в 10 кв. м. И только в январе 1939 года мы наконец получили квартиру. Новый год справляли еще на Мытной, 23.

Переехав на новую квартиру, мы начали свою жизнь прямо с нуля. Все, что у нас было, это несколько ящиков учебников и двое детей.

Наша новая квартира выходила на Люсиновскую, на противоположную сторону от Мытной, но большой двор с садом и детской площадкой был общий, и домоуправление было одно.

И так я первый раз в жизни, когда у меня уже было двое детей, почувствовала твердую почву под ногами. Это был не просто угол или тесная, заставленная кроватями комнатка, это была квартира: красивые, просторные, высокие комнаты с балконом и, по тем временам, со всеми удобствами. Выглядела квартира очень хорошо, правда, горячей воды не было, но был газ в кухне и ванная с газовой колонкой, которую нужно было зажигать перед приемом ванны для подогрева воды.

Я помню, один наш знакомый военный вошел и громко произнес: «Министерская квартира». По всем стандартам и по размеру нашей семьи она могла и должна была бы быть больше, но тогда она казалась просто огромной. И обставить ее мне хотелось не как-нибудь, а по своему вкусу, так как это была уже наша квартира.

Нам надо было приобретать все, начиная со столовой посуды и кончая постелями. Любительница старины, я бросилась в комиссионные магазины. Не столько с практической точки зрения, сколько с эстетической. Я любила и люблю смотреть на старинные вещи, так же как на старинную архитектуру, просто как на произведения искусства и восхищаться ими.

Я терпеть не могла то, что мы называли «современная мебель».

Помню, как моя приятельница Нора Шумятская, дочь наркома кинопромышленности СССР, пригласила меня посмотреть вновь обставленную квартиру ее родных в ультрасовременном скандинавском стиле. Три небольшие комнаты были обставлены ну просто, как мне показалось, простыми отполированными деревяшками, как будто из какого-то кустарно-промышленного комбината, хотя они с гордостью

сообщили нам, что привезли эту мебель из своей командировки не то в Финляндию, не то в Голландию, и очень гордились ею. Я же решила покупать только старинные вещи.

В одном комиссионном увидела потрясающей красоты стол. Продавец заявил: «Этому столу цены нет, но никто его не покупает, так как ни у кого нет такой большой комнаты, чтобы поставить». В разложенном виде за ним можно было посадить человек 20. Но стулья к нему я не нашла, и пришлось временно купить современные. И я успела купить еще несколько красивых вещей до начала войны. Но получить удовольствие от этого мы не успели, как только грянула война, все это сразу же потеряло всякий смысл.

Помню, как я стояла у открытой двери балкона, после стольких долгих тяжелых лет бездомного скитания, смотрела на свою комнату и радовалась каждой приобретенной мелочи, которая могла украсить жизнь, и как я сразу почувствовала, что все это ничего, ну просто ничегошеньки не стоит по сравнению с этим страшным словом — ВОЙНА. И в ту минуту я подумала, что готова лишиться всего, перенести в тысячекратном размере все лишения и невзгоды, лишь бы не слышать это проклятое, страшное слово — ВОЙНА.

Когда мы переехали на нашу новую квартиру в 1939 году, я перешла работать в Институт цветных металлов и золота в качестве старшего научного сотрудника в лаборатории легких металлов, и тогда же, как будто на капельку, на какое-то время, чуть-чуть притихли аресты и ссылки. Это было приблизительно в конце 1940 года. Продовольственное снабжение тоже вроде начало постепенно улучшаться в Москве. Прямо на Калужской площади мы с моей приятельницей Надеждой Васильевной Калининой заходили после работы в рыбный магазин, где можно было купить живую и копченую рыбу, икру красную по 10–12 и черную по 16–18 рублей за килограмм, и сколько угодно. В смысле одежды тоже стало немножко легче.

Изобилия никакого не было, нет, но все-таки можно было, гуляя в Парке им. Горького иногда посидеть, выпить кружку пива, даже с раками, или угостить детей мороженым. И это было только в Москве и чуть-чуть в самых крупных промышленных городах. За некоторыми продуктами еще надо было выстаивать в очередях, например — за маслом, сахаром или еще за чем-либо, но в основном было чуть-чуть легче.

И даже в тот день, когда началась война и народ бросился раскупать все, что было в магазинах, Молотов в своем выступлении просил население не поддаваться панике и обещал, что даже карточки вводить не будут, и что у государства

достаточно продовольствия на десять лет.

Я снова встретила Евгения Львовича

Как-то в центре города, недалеко от Большого театра я быстро влетела в трамвай, который почти тронулся с места, и мне показалось, что как будто кто-то еще бросился за трамваем, но не успел. Это был Евгений Львович. «Господи, до сих пор не забыл», — подумала я. И не прошло нескольких дней, как я встретила его после работы у выхода из института.

— Как ты нашел меня? — удивилась я.

— Очень просто — зашел в институт, спросил, помнят ли такую, и где можно ее найти. Они улыбнулись и сказали: подождите, она скоро выйдет. Вот видишь — кто ищет, тот всегда найдет. Можешь уделить мне немного времени? Пойдем в парк.

Мы прогулялись в парке, поужинали в нашем любимом ресторане «Шестигранник».

Он долго смотрел на меня и вдруг я слышу:

— И подбородок широкий, и так крепко-крепко хочется тебя расцеловать.

Я рассмеялась:

— Ты стараешься найти какие-нибудь недостатки, за что уцепиться и сказать, какой же я был слепой, разве я раньше это не видел?

— Если бы ты знала, как крепко я тебя люблю, я ни одной женщине, а их было достаточно у меня, не только не сказал, но даже никогда мне в голову не приходило сказать «будь моей женой». Я гордился и радовался, что я свободен. И надо же было мне после усиленной работы и тяжелых съемок поехать отдыхать, встретить тебя, и с тех пор я хожу, как больной.

— Мне очень больно все это слышать, но ты знаешь, что все это непоправимо, и мы можем остаться только близкими, хорошими друзьями, ведь у меня уже двое детей.

Евгений попросил:

— Нинок, ты можешь пригласить меня домой, и показать мне твоих деток?

Когда мы пришли, дети уже спали. Он опять долго, с глубокой грустью смотрел на детей:

— Какие они красивые. Ведь это могли бы быть наши дети. А как я хотел иметь семью и детей от тебя!

— Женя, ведь ты сам уже видишь, что уже поздно. А потом, сам подумай, какие у нас с тобой разные специальности, тебе бы через некоторое время надоело слушать мои производственные

стенания.

— Да что ты, ведь это было бы замечательно, у нас не было бы о чем спорить. Ведь артисты не уживаются вместе из-за вечных споров по одному и тому же вопросу. А тебя я люблю такой, какая ты есть. Ты знаешь, ведь я тебе об этом уже говорил, даже когда ты уехала из Симеиза, я хотел бросить все и бежать за тобой. Но заставил себя остаться, ходил, гулял по тем местам, где мы с тобой гуляли, думал, что это блажь, и очень надеялся, что все это пройдет, но видишь — ничего из этого не вышло. Вернулся в Москву и готов был прямо ночью мчаться искать тебя, еле-еле до рассвета дотянул.

И действительно, чтобы из центра так рано доехать ко мне в общежитие, надо было выйти из дома еще в полной темноте.

— Ты знаешь, это судьба, с того вечера, как я встретил тебя, для меня уже дороже тебя ничего не существует. Любовь к тебе приносит мне боль, физическую боль, и радость, никогда, никогда за всю мою прошлую жизнь со мной такого не случалось.

— Ты ведь понимаешь, то, что произошло до нашей с тобой встречи, уже исправить нельзя. Я очень люблю своего мужа и отца моих детей. Очень прошу тебя, не причиняй боль себе и мне, не сходи с ума.

— Ты знаешь, все влюбленные немного сумасшедшие, не могут же нормальные люди кончать из-за этого с собой. Я как раз и принадлежу к этой категории.

Он очень просил меня изредка с ним встречаться:

— Мне так хочется побыть с тобой рядом, так просто посидеть, поболтать, погулять… Ты помнишь наши прогулки в Симеизе?

В день моего рождения я получила от него огромный букет красных роз. Война началась 22 июня, а 24 июня я также получила розы с запиской, в которой он очень просил помнить его: «Любил, люблю и буду любить до последнего вздоха. Твой и только твой». И Р. 8.: «Ухожу на фронт вместе с К. К. Р.».

Во время Второй мировой войны он находился при штабе армии маршала К. К. Рокоссовского. И в последнем письме было: «Завидую Косте нежной, нежной завистью». Я решила, что это намек на роман Константина Рокоссовского с Валентиной Серовой.

Война

Зловещий заговор

Серебряный Бор

В памяти также всплыло лето 1939 года, мы отдыхали на даче в Серебряном Бору. Серебряный Бор это небольшой полуостров, омываемый Москва-рекой. Но когда строили канал Москва — Волга и выравнивали русло реки, тогда из этого полуострова образовался островок, покрытый густым лесом сосновых деревьев, издающих в летнее знойное время крепкий смолянистый запах. Там было хорошее купанье, и недалеко от города — всего 15 км. Он стал любимым уголком отдыха для тех, кто имел туда доступ.

Новые дома появлялись здесь редко, строительными участками награждали только знаменитостей. Например, рядом с нами построил дом летчик-герой Советского Союза Владимир Коккинаки, известный своим беспосадочным полетом в Америку. Он очень любил нашего Володю и, взяв его на руки, ходил с ним гулять через дорогу на берег Москва-реки и долго потом вспоминал, как в их первую прогулку Володя, увидев коричневый цвет воды в Москва-реке, громко вскрикнул:

— О, как много чая!

В основном же здесь были особняки старого дореволюционного типа, в которых на лето размещались по два, а иногда даже и больше семейств так называемых ответственных работников. Мы делили свой особняк с вдовой Ивана Дмитриевича Сытина, ее дочерью с мужем и внучкой. Да, да, того самого знаменитого Сытина, который начал свою издательскую деятельность в 1876 году и стал одним из самых крупных издателей-просветителей России. После Октябрьской Революции И. Д. Сытин был консультантом «Госиздата», скончался в 1934 году.

Жена И. Д. Сытина выглядела моложе своей дочери, и все спрашивали, как это ей удалось так сохранить себя. Она с готовностью делилась своим секретом: пила она йод с молоком, начиная от одной капли йода до десяти, и после десяти капель продолжала так же пить, но уже в обратном направлении.

Однажды, вернувшись из Москвы после работы, я почувствовала, что в доме произошло какое-то событие, все были чем-то взволнованы. Оказывается, маленькая внучка Сытиной, девочка лет пяти, проснувшись и спускаясь с постели, наступила на спящего пса — немецкую овчарку, и собака ее укусила. Девочку немедленно взяли на профилактику, а собаку, к

всеобщему огорчению, немедленно убили.

Вот в это замечательное, чудесное лето в июне-июле 1939 года шли усиленные переговоры между Советским Союзом, Англией, США, Францией и другими странами, которые уже вели неравную борьбу с фашистской Германией, о заключении пакта о дружбе и взаимопомощи против агрессии Германии.

Все чувствовали, что переговоры не удаются, зашли в тупик то ли умышленно, то ли действительно по каким-то серьезным причинам. Я смутно припоминаю, главная причина якобы была в том, что Польша категорически отказывалась пропустить войска Красной армии через свою территорию в случае необходимости выступить вместе с союзниками, Англией, Францией и США, в защиту каких-либо европейских государств, оккупируемых один за другим гитлеровскими войсками. Но когда Гитлер напал на Польшу, — писали газеты, — то эти же союзники пальцем не шевельнули в ее защиту.

В это время из США был отозван посол Советского Союза Максим Максимович Литвинов, который старался поддерживать союз и дружбу СССР с англосаксонскими странами, и на его место послом СССР в США был назначен Константин Александрович Уманский.

М. М. Литвинов до 1939 года занимал пост Наркома иностранных дел СССР, но вскоре ушел в отставку, и его место занял послушный, бездарный дипломат В. М. Молотов.

В связи с этим все понимали, что происходит что-то более серьезное в затянувшихся международных переговорах, чем просто смена действующих лиц. Опасения обывателей вскоре оправдались, когда 23 августа все отдыхающие на даче в Серебряном Бору были немало удивлены появлением на горизонте немецкого самолета. Дико было видеть, и даже трудно было поверить своим глазам, когда над аэродромом в Тушино появился и снизился самолет с немецкой свастикой. Тревожное чувство появилось даже у многих ответственных партийных работников. И помню, как мы в тот вечер с глубокой тревогой допоздна обсуждали: зачем это? что это значит и что будет дальше?

Чертовщина какая-то, какой-то совершенно противоестественный фантастический поступок. Казалось, если бы Москва-река вдруг потекла в обратном направлении, никого бы так не удивило, как вид огромной птицы со свастикой, опустившейся на наш советский Тушинский аэродром. Даже самые спокойные смотрели с беспокойством на опускающийся на аэродроме в Тушино самолет со свастикой.

С точки зрения суеверных людей это была плохая примета, и

в те дни каждая гадалка безошибочно могла бы предугадать: кругом пожарища, кровь, кровь и трупы, трупы, и страшная хищная птица со свастикой вьется над этим пепелищем.

Беспокойство сменилось возмущением многих, когда прочли в газетах, что на нашу землю пожаловал сам имперский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп и в тот же день 23 августа 1939 года был принят нашим правительством, и Молотов подписал с ним советско-германское соглашение о ненападении.

Договор с Германией

А ровно через месяц, 28 сентября, был подписан уже договор о дружбе и границе между СССР и Германией.

Хотя Советский Союз заключил договор с Германией после продолжительных тщетных попыток заключить его с союзниками, но все-таки такое очередное, мягко говоря, «смелое мудрое» решение Сталина было неожиданно и непонятно не только для простых людей, которые восприняли это как предзнаменование чего-то недоброго, но даже для многих крупных партийных работников. Поэтому они высказывали свои различные предположения осторожно, неуверенно, вполголоса. Одно из первых предположений было, что эти два года нам необходимы для усиления нашей военной подготовки.

А вот второй договор, заключенный 28 сентября 1939 года, «О дружбе и границах» вообще трудно было объяснить.

Но наша печать, наши средства массовой информации, которые должны были отражать и выражать настроения и волю народа в нашем демократическом государстве, вчера еще последними словами ругавшие Германию, Гитлера и его режим, вдруг переменили пластинку и во все горло завопили: «Это великий исторический перелом для нашей страны», «Мудрая сталинская политика, дружба двух могучих государств против всего капиталистического мира». Странно было читать эти дифирамбы «мудрого» Сталина Гитлеру, внезапно ставшему великим.

И даже у нас в лаборатории, я тогда работала старшим научным сотрудником в институте «Цветметзолото», кто-то принес журнал со статьей, восхвалявшей Гитлера и его заслуги, и сказал:

— Действительно, оказывается не такой уж дурак был Гитлер, если сумел обработать, перехитрить всех нас и наших мудрецов.

А о «мудрости» и «о мудрой сталинской политике» уже вовсю трещали все наши средства массовой информации.

И вот так, сразу, нужно было изменить отношение у

многомиллионного населения нашей страны к Гитлеру, с 1933 года, с момента прихода Гитлера к власти, воспитываемого в духе ненависти и презрения к существующему в Германии режиму и его диктатору.

Некоторая часть «старой», как мы ее тогда называли, интеллигенции — инженеры, профессора, академики, те, кто до революции учился в немецких университетах, — еще хорошо помнили и ценили дисциплину германских университетов и старались, по возможности, позаимствовать кое-что из своего прошлого опыта для учебы в наших вузах. Они тоже полушепотом высказывали свои соображения: Германия сильная, могучая страна с великолепной техникой, высокой культурой и непревзойденной организацией труда и порядка, и дружба, с точки зрения науки и техники, с ближайшей нашей соседкой для интеллигенции в какой-то мере вполне приемлема. Но режим, который существовал там, у всех вызывал тревогу, недоумение и страх, что все это добром не кончится. Как наше правительство решилось пойти на ***такую сделку?***

Неожиданное нападение?

Нам нужны эти два года на передышку, чтобы подготовиться к войне, говорили те, кто старался поддержать политику Сталина.

Неужели Сталин не понимал, если нам для подготовки нашей страны к войне, не к миру, а к войне (обратите на это внимание) потребуется еще два года, Гитлер тоже, надо полагать, не будет почивать на лаврах. И через два года он окажется даже в еще более выгодном положении при его уже хорошо налаженном военном производстве и при его военных кадрах (не как наш высший комсостав, ликвидированный Сталиным).

И это тоже ведь значит, что там наверху Сталин и многие из его окружения не просто предчувствовали, а прямо знали, должны были и обязаны были знать, что рано или поздно война с Германией неизбежно будет.

Так как же он, вместо подготовки к этой самой неизбежной войне, для которой теперь ему требуется два года, эти два года систематически занимался тем, что с садистским наслаждением громил и уничтожал сотни тысяч бойцов, командиров, ликвидировал всю боевую мощь нашей блестящей Красной армии и еще более блестящих ее полководцев.

Он также ***уничтожил*** не только лучшие кадры нашей Красной армии, он с 1937 по 1939 год разгромил, расстрелял, уничтожил самые лучшие, самые опытные и, я бы сказала, самые идейные кадры нашей иностранной разведки, заменив их

молодыми неподготовленными, неопытными агентами. Тем самым была дестабилизирована и нарушена та основная сеть, по которой поступала самая необходимая, самая ценная для нашей страны информация.

Не явилось ли это тоже причиной его «непонимания, незнания и неподготовленности» к так называемой «внезапно» нагрянувшей на нас войны? И вот теперь он пытался получить у Гитлера отсрочку для подготовки к войне. С кем? Выходит с ним же, с Гитлером, и не даром, а за огромный выкуп.

Германия за эту отсрочку потребовала расплатиться с нею, и в Германию потекли дефицитные, стратегически необходимые нам для подготовки к войне материалы, такие как железо, медь, олово, свинец, цинк. А также кавказская нефть, из-за которой Франция и Англия даже готовы были разбомбить, уничтожить нашу нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность Кавказа, чтобы она не досталась немцам. А когда начали переправлять эшелоны, нагруженные продовольствием — зерном, маслом, мясом, сахаром, текстильными товарами, хлопком, шерстью и черт знает чем еще, настроение у многих еще больше упало.

Ведь даже тогда, когда война шла уже полным ходом, с нами, на нашей территории, наши железнодорожные пути были заблокированы эшелонами с продовольствием, направлявшимися в Германию. Абсурд. Нет, Гитлер был вовсе не дурак, если сумел оболванить, облапошить нашего «мудреца».

Люди понимали, что происходит что-то неладное, и потихоньку делились между собой своими мрачными мыслями. Но ТАСС опровергал все.

И вдруг «неожиданный факт»! «Неожиданное нападение»! Какой же это «неожиданный факт и неожиданное нападение»? Для кого оно было неожиданным? Для того, кто должен был знать об этом и должен был сохранить народ, страну и нацию. Как же можно было не помнить об этом?

Зловещий заговор

У меня до сих пор чувство, что где-то там, в Кремле, сидят какие-то «зловещие силы», которые поставили своей целью уничтожить, загубить Советскую власть, уничтожить, разрушить Советский Союз.

Как будто существует какой-то «зловещий заговор», и кто-то очень умело, прикрывая этот зловещий заговор красивыми лозунгами и идеями, уничтожает, губит лучших из лучших людей, называя их изменниками, предателями, уголовниками,

пытаясь достигнуть своей страшной цели полной и абсолютной дискриминации всей системы.

Читаю Историю КПСС, и там (на с. 417), задается вопрос:

Как могло случиться, что врагу в первые недели войны удалось захватить значительную часть территории советской страны?

А в 3 абзаце на с. 518 приводится одна из причин:

«Ей (то есть Красной армии, — ***замечание мое***) не хватало опытных, хорошо подготовленных командных кадров: ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть их была ***необоснованно отстранена*** от руководства войсками в 1937–1938 годы».

Но ведь это же неправда, это ложь, потому что не ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть, а ОСНОВНАЯ, ГЛАВНАЯ, и не ОТСТРАНЕНА, а УНИЧТОЖЕНА.

Читаю и тысячу раз задаю себе один и тот же вопрос: почему значительную часть командных кадров Красной армии можно было так ***легко*** «отстранить», а Сталина и всех тех, кто давал Сталину «умные советы», не отстранили, не смогли отстранить, и оставили у власти?

«Они», то есть Сталин и его советчики, стремились, ***целенаправленно*** стремились создать армию настоящих ***врагов народа*** и ***врагов советской власти***. Вот поэтому они повсюду, даже в самой глухой периферии, арестовывали всех вплоть до председателей сельсоветов и пастухов, и как только на их место появлялись новые, они снова и снова исчезали, и так в некоторых местах по 5–6 раз в год. Пока на это место не усаживали какого-либо олуха царя небесного, которым можно было легко и просто манипулировать тем, кто сидел где-то там наверху.

Это все напоминало, как во время Гражданской войны так же по 5–6 раз менялись люди, занимавшие какой-либо пост, но тогда их убивали террористы, бандиты, враги советской власти, а сейчас, спустя 20 лет, ночью и днем арестовывают и расстреливают «свои, советские люди». Все уже шло, как по хорошо продуманному сценарию «советчиков» Сталина, в основную задачу которых входило путем шантажа, клеветы и фальшивых доносов убрать самые честные, самые трудоспособные и самые лучшие кадры, те самые кадры, которые, по утверждению Сталина в 1935 году, «решают все». Они стремились не просто убрать опору советской власти и не просто свергнуть советскую систему, они хотели создать о ней такую славу, чтобы отбить охоту не только у нынешнего поколения, но и у всех будущих поколений даже думать о ней.

Трудно поверить, чтобы Сталин, спасая якобы страну от «врагов народа», ***«не знал»***, ***«не понимал»***, что он создал такое

количество, такую армию настоящих врагов, которых и в помине не существовало, и о чем настоящие враги Советской власти и мечтать не могли. Создание такого количества, мягко говоря, недовольных внутри страны как раз и было на руку всем врагам Советской власти за рубежом.

Он делал ту кровавую работу, которую ни одна антисоветская зарубежная разведка не в состоянии была бы сделать. Их пропаганда ни гроша не стоила по сравнению с тем, что делал Сталин внутри страны. Они (то есть враги советской власти) брали под свою защиту Сталина, утверждая, что кровавый террор — это характерная черта не сталинского большевизма, а народного советского строя, и что ни большевизм, ни советский строй без террора существовать не могут, а Сталин здесь ни при чем.

Я искренне и глубоко верю, что когда-нибудь, каким-то образом кто-нибудь распутает этот змеиный клубок, который был создан в Кремле, в самом сердце нашей страны.

Невольно задаешь себе вопрос. Почему с самого начала, до начала этой страшной войны, несмотря на все старания Советского Союза, Англия, Америка, Франция не смогли или не захотели договориться с Советским Союзом, не захотели и не стали союзниками и не предотвратили тот ужас, за которым последовал какой-то выдуманный, искусственный союз с гитлеровской Германией. Тогда не было бы Второй мировой войны!

И в живых остались бы 50 миллионов людей!!

Как видно из многочисленных книг о гитлеровской Германии, вышедших сейчас, в частности, начальника гитлеровского штаба германской армии Тальдера, Гитлер стремился к ликвидации русских на европейской части России, к завоеванию русских земель от Каспийского до Белого моря.

Гитлер настаивал и требовал вторжения в СССР еще до 18 декабря 1940 года приказом «Барбаросса». Но в силу каких-то обстоятельств даже вторжение, назначенное на 15 мая 1941 года, было отложено до 15 июня, и затем еще раз, окончательно, до 22 июня 1941 года.

Эти отсрочки, по мнению авторов этих книг, происходили главным образом из-за событий на Балканах, из-за ожесточенного сопротивления Югославии и отчасти Греции, поддерживаемых в какой-то степени английским десантом.

Подготовка к вторжению продолжалась долго, и германские войска, сосредоточенные на русских рубежах, готовы были к вторжению в любое время в течение полугода.

По мнению Черчилля, ход всех этих событий якобы даже спас

Москву.

Если об этом толковали по всей Европе, как же мы «проворонили» то, что стоило нам больше 35 миллионов убитых, миллионов искалеченных, разбитых человеческих жизней?

Как же наше правительство, что, они все оглохли, ослепли, ничего не знали, ничего не слышали, ничего не видели? И это, опять же, ***страшный результат*** уничтожения Сталиным наших лучших, опытнейших агентов, нашей внешней разведки и замена их молодыми неучами.

Начало войны

22 июня 1941 года вдруг нестерпимо громко задребезжал радиорепродуктор. Я мгновенно вскочила и уже потянулась к выключателю, как рука невольно опустилась и я замерла на месте…

«Внимание, внимание. Слушайте экстренное сообщение…» Так необычно и тревожно зазвучал голос диктора, что у меня, привыкшей к стандартно-монотонным радиотрансляциям, испуганно вздрогнуло сердце… Никакие внутренние события, как бы они ужасны ни были, никакие международные не заставляли так энергично дребезжать репродуктор.

«Сегодня, 22-го июня, на рассвете, в 3:30 утра группа немецких бомбардировщиков, прорвавшись на советскую территорию, сбросила бомбы на следующие города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас, румынскую и финскую территории.

22 июня на рассвете, регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части от Балтийского до Черного моря. Встретив сильное сопротивление наших пограничных войск, после неравной схватки, перешли границу вглубь страны, на некоторых участках до 21 км.

Германский посол в Москве граф Фридрих Вернер Шуленбург в пять часов тридцать минут утра от имени своего правительства сделал заявление, что Германия решила выступить против СССР в связи с сосредоточиванием частей Красной армии у восточногерманской границы».

Война — какое страшное слово! Мама, застыв у дверей, беззвучно плакала. В комнату через балконную дверь вошла соседка, растрепанная, вместо халата на плечи наброшено пальто. Глаза полны слез:

— Вы слышали? Война… мальчики, мои мальчики, о, это ведь ужасно, — твердила она растерянно, как будто ища у нас защиты.

И в эту секунду я до глубины души поняла, что самое тяжелое, самое страшное горе война в первую очередь приносит матерям.

И невольно вспомнилось недавнее сообщение ТАСС от 14 июня 41 года. В нем говорилось, что еще до приезда, а особенно после приезда английского посла в СССР г-на Р. С. Криппса в Лондон, в Англии, и вообще в иностранной печати, стали муссироваться слухи о «близости войны между Германией и СССР».

Советская печать на это уверенно ответила: «Несмотря на очевидную бессмыслицу этих слухов, ответственные круги в

Москве все же сочли необходимым уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении войны.

Эта очередная ложь и клевета иностранной печати, — утверждало опровержение ТАСС, — пущена с целью подорвать несокрушимую дружбу двух великих держав».

Тогда еще, читая это опровержение, всем показалось, что ТАСС в слишком мягкой форме выразил свое «возмущение».

«Нет дыма, без огня» — говорил в ответ на это народ.

И в это ласковое, солнечное утро как будто все в доме изменилось, захотелось увидеть людей спокойных, уверенных. Мы быстро вышли на улицу, там царило оживление, несмотря на этот ранний час. На лицах у всех были страх и растерянность. Каждый отчетливо представлял себе ту страшную действительность, которая ожидает его впереди. Все бросились в продуктовые магазины, вокруг которых образовались очереди. Тащили из магазинов все — мыло, крупу, соль, спички. Торопливо мимо меня пробежала соседка: «Нина Ивановна, пойдемте и мы, а то к вечеру ничего не достанем в магазинах».

До этого дня обычно очереди выстраивались возле универсальных магазинов. Люди нуждались в одежде, в обуви, в мебели, брали все с боем, с великим терпением выстаивая по пять-шесть часов, иногда впустую. А теперь все бросились за хлебом и сухарями, спичками и солью.

Это чувство людей, старающихся запастись продуктами, как перед голодом, делало мысли все мрачнее и мрачнее.

К нам зашли друзья, но все угрюмо сидели у обеденного стола перед давно остывшей пищей.

Наконец все решили пойти в Парк культуры и отдыха им. Горького. На Калужской площади мы попали в огромную толпу. Люди с тревожно вытянутыми лицами слушали радио. У микрофона был В. М. Молотов.

— Эта война навязана нам не германским народом, рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков и другие народы… На поход Наполеона в Россию народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение… Мы также ответим отечественной войной — за Родину, за честь и свободу.

Не за партию Ленина-Сталина, а за Родину, за честь и свободу, — говорил Молотов.

Эти слова были непривычны. Все слушавшие знали, что

Сталин последние годы топил родину в крови собственного народа, а честь и свободу душил в тюрьмах, лагерях и подвалах НКВД.

Молотов призывал народ к порядку, к самодисциплине:

— Не поддавайтесь панике.

Народ в панике бросался покупать продукты, хлеб, соль и спички.

— От имени правительства заверяю, что запасов хлеба у правительства хватит на десять лет, и карточки введены не будут, — уверял всех Молотов.

Но не прошло и трех недель, как были введены карточки, а все магазины были совершенно пусты.

На следующее утро по Московским улицам потянулись колонны новобранцев в гражданской одежде, с узелками за плечами.

Женщины и дети бежали по тротуарам, стараясь запомнить образ дорогих и близких людей, которых, быть может, они видели в последний раз. Было больно смотреть на вытянутые и исхудавшие за ночь, заплаканные женские лица. Они старались что-то сказать, дать совет, на который идущий в колонне не имел возможность ответить.

Это было в начале, потом и эти проводы прекратились.

Шли молодые, вновь призванные на отечественную войну, запевая бодрые комсомольские песни:

«Нас не трогай — мы не тронем.
А затронешь — спуску не дадим…»

Припев подхватывала вся колонна, но заканчивали тихими, приглушенными, редкими голосами. Пение с еще большей силой передавало душевное состояние людей. Все смотрели на уходящих с жалостью, со слезами на глазах. За мной стояла мать с ребенком на руках:

— Помаши дяденькам ручкой, скажи «до свидания», — обратилась она к девочке, тихонько утирая слезы.

Путь солдат был усеян не цветами, а слезами и горечью за прошлое, настоящее и будущее.

Народ расходился от репродукторов молча.

Куда исчез отец народов?!

Куда же делся Сталин?!

О Сталине как-то сразу все умолкли, он как будто исчез, даже

по радио ни звука о нем не было слышно. А ведь все беды происходили от этого вечно воспеваемого, превозносимого до небес, обожествленного «мудрого великого Сталина». Где же он?! Куда исчез отец народов? Испарился?!!!

Сталин и только Сталин лучше всех должен был знать, очень хорошо знал о подготовке Германии к нападению на Советский Союз, его предупредили. И предупреждали не только наши разведчики, не только дипломаты различных стран, но даже Черчилль и германский перебежчик, сообщивший не только дату, но даже чуть ли не час нападения. А этот «мудрый ишак» требовал не отвечать на «провокации», когда уже бомбили наши города и аэродромы от Балтийского до Черного моря, когда немцы уже на 21 километр проникли на нашу территорию. Какой же он мудрец?

«Внезапностью» старались только прикрыть сталинское преступное упрямство, тупость и некомпетентность, за что страна, не успев еще оправиться от постигших ее до этого ненастий, расплатилась разрухой и потерей десятков миллионов лучших людей страны.

Сталин молчал, как воды в рот набрал, а мне казалось, что если бы он в это время был даже при смерти, то он и только он должен был обратиться к народу с последними словами, с последним вздохом в своей жизни. Ведь он сам поставил себя выше всех на свете. Значит, когда вопрос шел о войне и о миллионах жизней советских граждан, и даже о существовании самой страны, которую он возглавлял, он, только он один, и никто другой, должен был выступить по поводу этого события. И в ту минуту, когда он струсил и послал кого-то выступить за него, ему нужно было пустить себе пулю в лоб.

Ведь это же было не какое-то ординарное событие. Это была ВОЙНА, им самим и его деятельностью спровоцированная война, и на карту была поставлена судьба страны. Он, и только он один должен был взять на себя всю ответственность за безопасность страны. Ведь когда он безжалостно уничтожал, отправлял на расстрел сотни тысяч — цвет и гордость нашей Красной армии, он никому не передоверял свою страшную кровавую работу. Смело подписывал списки под лживым предлогом, что спасает страну от врагов, и с гордостью брал на себя ответственность за это кровавое преступление. Почему же сейчас он полез в кусты?

Пришел он в себя не в первую минуту начала войны, а опомнился и напомнил о себе в радиообращении к народу только 3 июля.

Колосс на глиняных ногах без головы

Сталин выступил 3 июля, через две недели, только вдумайтесь в это, через две недели после начала войны, когда 23 июня немцы уже заняли Минск. Когда немцы победоносно, несгибаемо шли уже по нашей стране, занимая один за другим наши города, и гнали, гнали без конца в Германию в немецкие лагеря для военнопленных не роты и подразделения, а армии во главе с нашими генералами и миллионы наших безоружных бойцов на голодную смерть, унижения и издевательства.

Вождь вдруг опомнился, когда наши просторы были уже усеяны трупами миллионов наших погибших бойцов.

— Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! (Ему, Сталину, нужны были две недели для того, чтобы он мог прийти в себя, опомниться, и, обратившись к своему народу, произнести эту фразу).

— Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается.

(А он только через две недели очнулся и у микрофона дрожащим голосом, заискивая и заикаясь, обратился ко всем).

— Войну с фашистской Германией нельзя считать обычной войной двух воюющих армий. Она является Великой отечественной войной всего народа против немецко-фашистских войск… Мы должны создать народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь и свою Родину.

Он ни слова не сказал о наших маршалах, генералах, о наших великих героях гражданской войны.

Сталин обратился к нашему прошлому, на сцену выплыло историческое прошлое русского народа, и странно было услышать из уст Сталина имена таких великих полководцев как Суворов, Кутузов, Александр Невский. Он старался пробудить, зажечь в народе патриотические чувства, напомнить народу, что он живет на земле, пропитанной потом и кровью предков. А я в это время думала, что если бы они все очутились под его «мудрым руководством», наверное, так же разделили бы судьбу своих не менее талантливых потомков.

Слушая его выступление, хотелось спросить: ***как же ты мог уничтожить всех своих самых блестящих полководцев, всех героев Гражданской войны, оголить, обезглавить, обескровить нашу блестящую Красную армию? И куда делись наши Тухачевские, Блюхеры, Якиры, Уборевичи и многие, многие другие?*** Ведь К. К. Рокоссовский, почти вынутый из «петли», показал, что могли бы сделать те сотни тысяч военных, которые были замучены, уничтожены, расстреляны в подвалах НКВД росчерком пера Сталина.

Где же ты был раньше? Грудью защищать будешь не ты, а народ. Зачем же ты довел нашу страну, наш народ до такого состояния, что Гитлер решил, если ты смог безнаказанно уничтожать его сотнями тысяч, то, с точки зрения Германии, в этой стране живут только «унтерменши», и он, Гитлер, сумеет покорить их в одно мгновение.

А затеянную с Финляндией войну в конце 1939 года, после всех кровавых сталинских побоищ, в военных кругах Германии вообще считали «пробой пера», которая показала всему миру, что наши войска были в самом плачевном состоянии. «Колосс на глиняных ногах без головы», говорили о Красной армии в то время. И всем было понятно, что слабость нашей армии — это результат репрессий и расстрела сотен тысяч высшего комсостава и миллионов лучших военных кадров.

Оставляли такие бездарности, как «первый командир» Ворошилов, которого даже в самое горячее время, в самый разгар войны с Финляндией пришлось заменить на Тимошенко. Всем стало тогда ясно, что Ворошилов способен только принимать парады.

Ни слова в своем выступлении Сталин не произнес ни о социализме, ни о коммунизме. И в конце вдруг с сильным грузинским акцентом выпалил:

— Да здравствует партия Ленина-Сталина! — без всякой скромности, сам напомнил — «Сталина», не забывайте.

И все с удивлением говорили друг другу: разве вы не слышали, он так прямо и сказал: «Да здравствует партия Ленина-Сталина!».

По голосу слышно было, что он не пришел еще в себя от испуга. Его голос звучал неуверенно, взволнованно, слышно было, как его зубы выстукивали дробь о стакан с водой.

Волнение и неуверенность Сталина передались и слушателям.

Заискивающий, унизительный тон сталинского выступления рассеял миф о его могуществе. Выступление, предназначавшееся для того, чтобы вселить бодрость и поднять патриотический дух населения, вызвало обратную реакцию. И перед народом вдруг предстал обыкновенный человек, не лишенный обычного чувства страха и паники за свою личную судьбу. Это был момент, когда весь народ с гордостью почувствовал, что его судьба и судьба всей страны зависит от народа.

Сталин в первый момент очень испугался, испугался за свою собственную шкуру. Он был трус и дрожал за свое благополучие и за свою собственную жизнь. И пришел он в себя только тогда, когда понял, или его убедили, что ему лично ничего не угрожает

и что никто не собирается ему голову снимать за его злодеяния. Я слышала, что эти две недели его уговаривали, уговаривали и с трудом уговорили, наконец, выступить перед страной, настолько он был напуган.

Как же мог глава правительства две недели спокойно спать, есть, дышать, когда столько миллионов за это время уже погибло? Когда страна уже утопала в крови? Когда:

14 июля немцы были уже в Луге под Ленинградом;

16 июля немцы захватили Смоленск;

30 августа немцы захватили станцию Мга и прервали железнодорожное сообщение с Ленинградом;

8 сентября захватили Шлиссельбург и замкнули кольцо блокады.

И даже его появление на Красной площади на трибуне во время парада 7 ноября 1941 года не очень подняло его авторитет в рядах Красной армии.

7-я симфония Шостаковича

Я помню, как в марте 1942 года вечером к нам постучался военный и спросил, может ли он вместе со своими товарищами переждать у нас комендантский час. Их было четверо, прямо с передовых, навидавшихся уже всяких фронтовых страстей, они были сыты ими по горло. Я приготовила им горячий ужин из того мизерного пайка, который мы получали, ребята поужинали, чуточку выпили и, слово за слово, разговорились. Тот первый военный, который зашел попросить переждать комендантский час, оказывается, до армии был шофером у нашего родственника, у которого мы тоже очутились ввиду разграбления нашей квартиры. Разговор зашел о нашумевшей в это время, только что исполненной 7-й симфонии Шостаковича. И один из них, видно, не очень большой любитель Шостаковича, сказал:

— Хорошо было бы сослать Сталина на Северный полюс, и пусть бы он там сидел и слушал 7-ю симфонию Шостаковича.

Другой сказал, что неплохо было бы просто посадить его в клетку и отправить вверх по проспекту Горького. Тогда вмешался третий:

— Зачем ребята так далеко и так сложно, я бы просто открыл ворота Кремля и выпустил его прямо на улицу и посмотрел, как далеко он дошел бы.

Подготовка к вторжению продолжалась долго, и германские войска, сосредоточенные на русских рубежах, готовы были к вторжению в любое время в течение полугода.

По мнению Черчилля, ход всех этих событий якобы даже спас

Москву.

Если об этом толковали по всей Европе, как же мы «проворонили» то, что стоило нам больше 35 миллионов убитых, миллионов искалеченных, разбитых человеческих жизней?

Как же наше правительство, что, они все оглохли, ослепли, ничего не знали, ничего не слышали, ничего не видели? И это, опять же, ***страшный результат*** уничтожения Сталиным наших лучших, опытнейших агентов, нашей внешней разведки и замена их молодыми неучами.

Защитники родины

Мой брат Александр Саутенко

И когда грянула 2-я Мировая война, мой брат, и не только он, а миллионы, миллионы таких же, как он, юношей, подавив боль и обиду на сталинские злодеяния, ушли на фронт — защищать наше Отечество. Мой брат пошел в армию добровольно, отказавшись от брони. Он принимал участие в партизанском движении в тылу врага. В течение полугода, в жестоких боях с немцами под Ленинградом, был дважды ранен.

Виктор

После долгожданной речи Сталина зашел с женой друг моего детства, еще с Украины, один из маминых питомцев детского дома для беспризорных. Сейчас он был одним из инструкторов Московского комитета партии.

Протягивая руки для пожатия, они в один голос произнесли:

— Поздравляем, поздравляем с высоким родством.

— Да что вы, белены, что ли, все объелись, на работе поздравляют и вы тоже.

— Да как же? Надо было ожидать, пока Гитлер обрушится на нас, чтобы весь народ узнал, что мы все «братья и сестры» не кому-нибудь, а самому Сталину.

— Ведь ты тоже винтик этой маши… — я не успела закончить, как Виктор вскипел.

— Ты брось мне глаза этим колоть, я бы все это послал к чертовой бабушке и обменялся бы своим положением с дворником, чтобы моя Ксения имела возможность спокойно спать, а мои дети не находились бы под страхом лишиться отца. Где лучшие люди нашей страны, которые, не щадя своей жизни, отдали все свои силы для блага страны, где они теперь? Нашли свой конец в тюрьмах, в лагерях, сталинским солнцем согретые. Ты что думаешь, я совсем стал идиотом, ничего не помню? Квартирой из двух комнат с ванной и бутылкой молока, которого не имеют другие дети, меня не купишь! Я не работаю за подачку, которую получаю, как вор, в закрытом распределителе. Я прекрасно знаю, что для народа я ничего реального не могу сделать. Но я хотя бы понимаю, чего он хочет и, что могу, то делаю по мере сил. Я знаю, что это равносильно капле влаги на голодную степь. Но от того, что я уйду, людям легче не станет,

так как мое место займет другой, может быть, в сто раз хуже меня.

— Ну, хватит Виктор, я пошутила, я тебя очень хорошо понимаю.

Виктор пришел с нами попрощаться, он уходил в ополчение. Ксеня расплакалась, Виктор старался быть бодрым.

Пришел Кирилл:

— Вот как хорошо, ты не одна, — и, целуя меня и Ксеню, заметил Виктору: — А вот давать плакать женщинам в своем присутствии — это совсем не хорошо с твоей стороны.

— Да мы так, потихоньку вспомнили радости юношеских лет, а они… А ты пришел как раз кстати, мы уже уходить собирались. У меня правда пропуск есть, а Ксении может позже конвой потребуется.

Кирилл зашел в комнату к детям и, вернувшись, предложил:

— Ну вот, теперь попьем чайку, мне тоже к двенадцати часам нужно быть на работе. Мы все теперь на военном положении, нам даже раскладушки в кабинеты притащили.

Сели за стол, мужчины налили рюмки и, чокаясь, кивнули в нашу сторону: «Ваше здоровье». Вторую рюмку выпили за счастливое окончание войны и за счастливую встречу вновь за этим столом, которой не суждено было состояться.

Кирилл сообщил, что его брат Дося также уходит в ополчение.

— Досю в ополчение?! Да он же в жизни винтовку в руках не держал, да еще с его зрением. Ведь он без очков беспомощен, как младенец, — удивленно воскликнула я, хотя знала, как это все происходит.

Мы решили пойти с ним попрощаться.

Ученые-ополченцы

У нас в институте была та же картина…

— А учеба, научные работы, диссертации? — растерянно спрашивали профессора.

— О какой учебе может идти речь, когда страна находится на военном положении! Кому нужны звания, дипломы? Мы все это создадим, когда победа будет в наших руках. Давайте приступим к делу.

И пошли всех вызывать по очереди и записывать в ополчение.

Так шли научные сотрудники, аспиранты, кандидаты технических наук и доктора. Шли члены партии, кандидаты, комсомольцы, беспартийные.

На следующий день к семи часам утра все были на сборном

пункте на Большой Полянке во дворе бывшей церкви.

В институте по безмолвным опустевшим лабораториям прохаживались престарелые профессора. Прошел профессор Ванюков, седой, как лунь, плотный, коренастый, как мужик, снятый с вологодской телеги. Он горячо любил свою кафедру и хороших, толковых студентов. Им всегда он помогал и в учебе, и в беде. Многие из ушедших в ополчение помнили, как он приходил навестить их во время болезни, приносил всегда что-нибудь съестное и незаметно, как бы невзначай, оставлял несколько рублей.

Сейчас он ходил, заглядывая поочередно в каждую лабораторию, подходил к аппаратуре и долго и молча смотрел, разводя в недоумении руками, мохнатые седые брови были сдвинуты, а на лице не осталось ни тени шутливой веселости, так располагавшей к нему студентов. Он походил на капитана, блуждавшего по покинутому командой кораблю.

Он долго стоял молча, потирая виски пальцами, потом, как бы очнувшись, произнес:

— Да вы еще здесь? Вот чудо, вас-то и не догадались угнать в ополчение. Вы мне скажите, что это за хаос? Или лучше не надо, — присев на опустевшее кресло, произнес он. — Я сам… я сам постараюсь разобраться.

Скрестив руки на столе, он долго сидел, углубившись в свои мысли.

Я присела на высокий лабораторный стул и, взяв журнал с результатами никому теперь не нужных анализов, изредка поглядывала на него.

И вдруг он схватился с места, подскочил к одному шкафу, к другому, дернул за замки, но они только глухо звякнули в ответ. Он резко повернулся ко мне:

— Ведь каждый человек это ценность, где здравый смысл? Я вас спрашиваю. Все эти инженеры обошлись государству в копеечку, сколько труда было положено на воспитание этих кадров! Разве у нас на заводах нельзя было использовать их более разумно? Вот вы молчите. А разве все эти работы, — обводя кругом руками, — не стоят государству бешеных денег, труда и напряжения? Если в один миг все свелось к нулю? Война — скажете. Абсурд. Если мы всех инженеров, всех научных работников пошлем навстречу немцам, мы не остановим немецкой машины. Нам самим создавать эти машины надо, а мы оставляем нашу промышленность без сердца. Пуля — она дура. Она убьет Ваню-военного бойца и с таким же успехом Ваню-инженера, который даже винтовку в руках держать не умеет. Только с Ваней-инженером она уложит еще склад с

боеприпасами.

— Владимир Андреевич, кого же вы вините в этом, ведь это волна энтузиазма, добровольного патриотического подъема, а от этого защищать не полагается.

— Дорогой мой коллега, я не вижу в этом никакой логики и считаю это не только не патриотичным, но даже безумием. Ополченцы — это просто пушечное мясо. Я вижу, вы опять собираетесь мне возразить, дескать, во имя победы можно пожертвовать всем. Я это понимаю и считаю, что так нужно поступать в последний момент, когда нет другого выхода, но к этому моменту мы должны сберечь свои силы. Ведь не проигрывать же войну мы собираемся? Представьте себе конец войны: промышленность вся разбита, страна за годы войны обнищает окончательно, и вот здесь-то и потребуется умелое и быстрое восстановление. А кто восстанавливать будет? Вот для этого нужны будут те самые люди, о которых я говорю, и средства… И опять перед нами будет стоять задача с двумя неизвестными: кадры и деньги.

И он быстро ушел.

Дося

Я так задумалась, что не заметила, как мы пересекли двор и, поднявшись на второй этаж, позвонили у дверей. Открыл нам Дося. Феодосий был самый старший из всех пяти братьев Кирилла. Ему было уже больше сорока пяти лет, все его звали «Старшина». Кирилл был самый младший из них.

Мы вошли в комнату, совмещавшую в себе столовую, гостиную и спальню. Дося снова уселся в кресло и продолжил свое любимое занятие — набивку папирос.

Я очень любила изготовленные им папиросы, и поэтому при наших встречах он первым долгом протягивал мне портсигар. Сейчас, пододвигая ко мне коробку с готовыми папиросами, он спросил: «Как дети?».

Я пристально смотрела на него, мне хотелось почувствовать, что на душе у этого человека старше сорока лет, но он, по-обыкновению, был спокоен, ласково и мило улыбался. И я начала успокаиваться.

Квартира была пуста, всякая мелочь, придававшая квартире жилой вид, была убрана. Книжный шкаф, письменный стол, буфет были прикрыты от пыли газетой. Я кивнула ему:

— Как на дачу уехала Галя.

— На дачу! — горько улыбнулся он.

Дося всегда отличался большим оптимизмом и философски

смотрел на все вещи.

Вот и сейчас мне казалось, что, спокойно занявшись набивкой папирос, он думает: «Чему быть, того не миновать, так чего же зря волноваться?»

Он был любимый дядя всех племянников, сам он тоже любил детей и умел играть с ними, как никто другой. Когда он заходил к нам, становилось шумно. Затем дети усаживались к нему на колени и часто засыпали, прижавшись к нему. Он их бережно и ласково укладывал в постель, а они и сонные не забывали спросить:

— А ты завтра зайдешь, дядя Дося?

— Зайду, зайду, поросята, а сейчас спать.

Его жена Галя с детьми были уже эвакуированы, и он должен был уехать на фронт, даже не попрощавшись со своими мальчиками. Я предложила собрать ему вещи.

— Да долго ли собираться, — ответил он, — а впрочем, как хочешь, можешь уложить.

Укладывая вещи, я старалась как будто вложить в это всю свою любовь к этому человеку и, глядя на чемодан, шепнула: «Берегите Досю» — и горько заплакала. Кто-то погладил меня по голове, и я услышала деланно спокойный голос Доси:

— Ну вот, ведь собрала меня, как в санаторий, как в Сочи, — и взглянув на мое заплаканное лицо, добавил: — Значит, хорошо, что Гали здесь нет.

Было поздно. Прощаясь, я еще раз взглянула на него и увидела сквозь толстые стекла очков его узенькие глаза. Я вспомнила, как дети, шутя, уносили очки с его ночного столика, и он без очков неуверенно шарил вокруг руками.

— Ты хоть пару лишних очков прихвати с собой, — посоветовала я.

Целуя меня, он произнес:

— Было бы, на чем их носить… Не забывайте Галю и детей, целуйте своих ребят и маму.

Когда мы вышли, Виктор не выдержал:

— Это черт знает что, отправлять на фронт таких, как Феодосий. Как же я имею право не идти в ополчение, молодой здоровый человек. Если не убить, так я задушить могу кого угодно. А сколько таких битюгов, забронировавшись, сидят вокруг меня, и на меня смотрели, как на помешанного чудака, когда я отказался от брони.

Сереженька

Попрощавшись с друзьями и Кириллом у подъезда нашего

дома, меня встретила Надюша, студентка МГУ (Московского государственного университета):

— Нина Ивановна, а ведь нам сегодня дежурить всю ночь. Я вот в домоуправлении выцарапала один противогаз. Та сумка, которую все таскали, была пустая, там даже коробки не было. Не хотели давать… Так я бросила ее и заявила: «Зачем мне таскать эту требуху с собой?» Ну и дали…

— Молодец, Надюша.

И мы стали ходить вокруг спящего дома, поглядывая с опаской на небо и останавливая подозрительных или запоздавших жильцов дома, наблюдая, чтобы в наш дом не прошли посторонние.

Тишина стояла вокруг мертвая, изредка проходил пустой трамвай и, когда, вдруг затрещав, яркая, как молния, искра вольтовой дуги пробегала по его проводам, мы вздрагивали и щурились, как от разорвавшейся бомбы.

На следующий день я не успела еще прийти в себя после бессонной ночи, как к нам прибежала соседка. Лицо в слезах, руки дрожат:

— Дорогая Нина Ивановна, помогите, у меня сил нет, час целый верчусь, как помешанная.

— Что случилось? — спрашиваю.

Я знала, что муж ее уже уехал с предприятием, сыновья еще очень молодые, 16–18 лет.

— Сереженьку в ополчение берут, — вдруг застонала она. — Нина Ивановна, родная, я чувствую, что с ума схожу, какой же мой мальчик воин?

Усадив ее возле мамы, я пошла укладывать Сережины вещи.

В красненькой майке за столом сидел подросток, светлые волосы лезли ему на лоб, розовое лицо его было по-девичьи нежно.

Он был низенького роста и походил на мальчика лет тринадцати. При моем появлении он покраснел до ушей, застеснялся, как нашаливший ребенок.

— Вот что, Сереженька, — обратилась я к нему, стараясь ободрить его немного, — командуй, что куда укладывать, ты ведь уже взрослый мужчина.

— Нина Ивановна, вот мама огорчена, плачет… — начал он своим дрожащим от волнения голосом. — А я разве виноват? Пришли в техникум, записали всех, ну и меня вместе со всеми. Отправили по домам и сказали: сегодня же в три часа быть на сборном пункте. Ведь если бы я даже и не был там сегодня, так все равно, ко мне бы прямо сюда пришли, — он как будто оправдывался. — Ну что, мама не может понять?

— Не горюй, Сережа, ведь признайся, любил играть в войну во дворе с мальчиками, стрелять из рогатки, пистолетов, брать зазевавшихся ребят в плен. Ну, а сейчас пойдешь на настоящую войну и в плен будешь брать солдат настоящих.

Заулыбался, видно, перспектива взять в плен настоящего немца понравилась ему.

— Говорят они все высокие, это правда, Нина Ивановна?

— А ты выбирай пониже, не все, наверное — пошутила я, — а, впрочем, напиши нам о них, я их сама не видела. Подумаешь, большие значит виднее будут, а тебе спрятаться будет легче.

— Да я что же, я ничего. А вот маму жаль… как она плачет. Она меня одного за город не пускала съездить, а теперь спать ночами не будет, все будет думать.

Я уложила все.

— Ну, а теперь, Сережа, грудь колесом, и айда к маме.

Сережу проводили. Брата тоже дома не было, он с ним даже проститься не сумел. Времени дали ровно столько, сколько нужно было для сборов. На сборном пункте все стояло коромыслом, не успевали регистрировать. В какую сторону, на какой вокзал, куда кого отправлять — никто не знал.

Среди всех стояла знакомая женщина, обливаясь слезами.

— Вы что, мужа провожаете? — спросила я.

Муж ее, оказывается, ушел с первого дня войны на фронт, а сейчас она провожала сына.

Недели через две пришла Анна Михайловна, мать Сережи, показала письмо:

— Ну, вы посмотрите, разве не ребенок?

В письме он писал, что живут они в лесу, но где он не может сообщить… «Нина Ивановна положила мне лишние вещи, положила мне подушечку, но здесь ни у кого этого нет, и мне стыдно спать на ней… — и в конце: — Очень скучаю, напишите, как вы, как папа, Боря… Крепко целую… Адрес пока сообщить не могу».

— Подумайте. Ну, разве не ребенок? Он хочет знать, как мы. Просит написать, а адрес сообщить не может.

Декабрь-январь 1941–1942 годов, такие трескучие морозы, что птицы на лету замерзают. Из микрофона откуда-то доносится песня:

Вставай страна, огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой черною
С проклятою ордой…

По улице в центре Москвы идут колоны военных: молодые, здоровые красавцы. Подошел трамвай, полный закутанных кто во что горазд стариков в холодной полуголодной Москве. И до сих пор не могу забыть чувство боли и горечи, что колонны, колонны вот этих красавцев, красу и гордость нашей страны, гонят на убой, и что все они погибнут, чтобы спасти страну, в которой им жить уже не суждено. ***Спрашивается, кто дал право главе любого в мире правительства, какого бы то ни было государства совершать уголовные преступления, гнать на массовый убой, лишать жизни его граждан?***

В эти дни в «Главцветмете» — не знаю, как он сюда попал — я встретила одного полковника авиации, который сказал, что ему удалось улететь с аэродрома, уже окруженного немцами, и что его самолет обстреляли свои же солдаты.

Обстановка была очень тяжелая, невыносимо больно было слушать сводки. Народ в недоумении смотрел на наши отступающие, почти безоружные войска.

Как же так?! Отправляют войска на фронт без оружия.

Вот так готовились к войне. Даже винтовок не хватает на всех и, невольно вспомнила, как во время Финской войны пришла к нам женщина, уполномоченная собирать носки, перчатки, ложки для отправки бойцам на фронт. Чему же можно было удивляться.

Годы и годы шел геноцид генофонда нашей страны

Надежда на избавление

«Война — это ужас», — говорили все. Но почти вслух высказывались предположения, что, может быть, война принесет избавление от Сталина и сталинского режима. Так дальше продолжаться не может. Я тоже не только думала, а почти была уверена, что те, кто вернутся с фронта, не захотят и дальше мириться с тем, что творил против народа Сталин, уберут его и разрушат созданную им машину убийств.

Жутко было думать, что довел он страну до такого состояния, что многим в самом начале войны даже Гитлер казался кем-то вроде избавителя.

И даже среди евреев были такие, кто думал так же и не торопился эвакуироваться. Например, когда я вернулась в Москву в декабре 1941 года, мне приятельница из Узбекистана сообщила, что мать ее мужа Феди Сторобина (сосланного в 1937 году на Колыму и погибшего там) отказалась выехать из в Москвы, и попросила меня навестить ее.

— Софья Семеновна, как же вы не побоялись остаться в такой ситуации в Москве, когда немцы были в трех шагах отсюда? — в

недоумении спрашивала я.

— Полжизни прожила я в Германии и знаю немцев, как цивилизованных людей, и не верю всей этой пропаганде про них, ну, а если это все правда, то я кое-что припасла, на всякий случай. Вот вам ответ.

И, к сожалению, это был не единичный случай. Многие евреи, даже имея возможность эвакуироваться, а им предоставлялась эта возможность в первую очередь, не трогались с места, потому что или не верили сталинской пропаганде, или были настолько обижены и обозлены сталинскими, мягко говоря, «мероприятиями», что у многих было чувство — хоть с чертом, но против Сталина. И все они потом оказались в немецких концлагерях или погибли в душегубках.

Об этом даже сейчас больно и не хочется говорить, но, к сожалению, это факт, что среди тех, кто попал в плен или сдался немцам, были и такие, которые шли с немцами в атаку против своих.

Они не искали и не жаждали немецкого господства над собой и над своей страной, а приняли это как возможность избавиться от сталинской деспотии, сталинской тирании, которую они уже крепко отождествляли со словами «коммунизм» и «социализм», ставшими ненавистными при Сталине. Мне казалось, что он довел уже страну до той желаемой точки, которая требовалась тем, кто помогал ему управлять страной.

Нашествие

Немцы двигались без остановки, молниеносно захватили Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Бессарабию. Бои уже шли в Белоруссии, на Украине. Народ встречал немцев хлебом-солью. Растерянность была такая, что казалось, армия не отступает, а в панике бежит. Им доставались аэродромы, на которых наши отступающие войска не успевали завести моторы. Танки, боеприпасы, артиллерия и транспорт в полной неприкосновенности переходили к немцам в руки.

А от населения требовали не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Все уничтожить. Тогда как Сталин два года подряд до войны, эшелон за эшелоном, отправлял, наше добро «другу Гитлеру». Он обеспечил его полностью, на всю войну, продовольствием и горючим, а на железнодорожных станциях еще стояли наши неразгруженные составы.

В это же самое время в городе Ленинграде были уничтожены, разбомблены и сожжены Бадаевские продовольственные склады (говорили, что по улицам тогда текли потоки сахарной патоки), не то немцами во время первых массированных налетов вражеской авиации на Ленинград, не то своими из боязни, что они попадут к немцам. А во время блокады Ленинграда от голода погибли миллионы ее жителей.

Эвакуация детей

Вскоре был издан указ Московского совета об эвакуации предприятий, учреждений, населения и, в первую очередь, детей.

И сразу началась поспешная, лихорадочная эвакуация. Учреждения, предприятия были отправлены за Волгу — в Куйбышев, в Свердловск, в Челябинскую область, Среднюю Азию, Сибирь — с рабочими, и иногда с их семьями.

Как только вышло постановление о немедленной эвакуации в организованном порядке детей школьного и дошкольного возраста, матери со вздохами, горькими слезами и тяжелым чувством вынужденной разлуки начали собирать детей в дорогу. Плакали маленькие дети, их успокаивали плачущие матери. А для тех, кто был постарше, еще не вполне осознавших весь ужас происходящего, это была прогулка, путешествие, вроде как поездка в детские летние лагеря.

Уехали. Стало меньше слышно детского шума, детского смеха во дворе, все как будто осиротело. Женщины из комитета по

эвакуации не успокаивались и, встретив меня, настаивали:

— Нина Ивановна, вы своих детей еще не отправили, у нас есть распоряжение всех детей эвакуировать.

— Мои ведь маленькие, не школьного возраста. Увезу я их сама, — оправдывалась я.

— Это значения не имеет, завтра к шести часам утра приведите их на площадку, там будут все, кто еще не уехал. Как только ребят эвакуируем, у матерей развяжутся руки, а во время войны все свободные люди нужны.

Я сама знала, что во время войны важно было иметь свободные руки для оборонительных работ. Освободившихся женщин немедленно отправляли копать окопы и строить оборонительные заграждения вокруг Москвы.

— А куда вы увозите детвору? — поинтересовалась я.

— Как куда, в Можайск, Волоколамск, Загорск, недалеко от Москвы — бодро ответили мне организаторы эвакуации детей.

— Да вы что, с умом? Отправляете детей навстречу фронту! — не выдержала я. — Ведь любой вражеский самолет, не прорвавшийся к Москве, сбросит свои бомбы на головы наших детей. Вы думаете, немцы остановятся, если мы заградительные отряды из детских голов им устроим?

Члены комиссии на меня взглянули с удивлением. «А ведь и правда, — произнес кто-то, — а нам и в голову не пришло».

— Так вот, мои дорогие товарищи, я своих детей туда не отправлю, — категорически заявила я — и тех, кого вы уже отправили туда, постарайтесь скорее вернуть.

— Мы же не по своей инициативе, мы отправили детей, куда нам было приказано.

Прошло несколько напряженных дней. Комиссия по эвакуации не унималась, ходили за мной по пятам, сама я уехать не могла, и детей эвакуировать в намеченные пункты рука не поднималась.

Но вот, возвращаясь как-то с работы, меня поразило обилие детей во дворе.

У крыльца стояла девочка, мать которой так горько плакала, причитая: «Увидимся ли»?

— Откуда вы? Как вы приехали? Что же ты плачешь?

— Немец, как начал бомбить, как начал бомбить, так страшно. Самолеты летят низко-низко, гудят и бомбы бросают. А мамы дома нет, — еще горше расплакалась девочка.

— Ну, успокойся, детка, пойдем маму искать.

Пришли в домоуправление.

— Вот девочка вернулась из эвакуации, где мать ее?

Там все уже знали о случившемся. Учителя бегали, ругались:

— Мы просто не знали, как выбраться оттуда, там еще много детей осталось, все плачут, спрятаться негде, а «он» летает днем и ночью.

— Зачем же детей вы туда потащили?

— Куда нам приказано было, туда мы их и отправили, — оправдывались снова отправители.

Порылись в книгах.

— Да мать этой девочки эвакуировалась, куда — здесь не отмечено, муж ее выбыл в РККА.

— Так что же делать? — возмутилась я. — Девочка здесь, отец в армии, а мать не известно куда направлена. Как же она адреса не оставила?

Вошла учительница, на чем свет стоит костерит головотяпов, которые отправили чуть не под Смоленск детей:

— Днем и ночью немцы летают, бомбят, выбраться невозможно, транспорта нет, а здесь их родные почти все разъехались. Кто отвечает за детей? Толку нигде не добьешься!

Действительно, была жуткая неразбериха, но все-таки отправить детей в том направлении, куда изо всех сил стремились попасть немцы — надо было иметь голову на плечах. Значит, тот, кто давал эти распоряжения, тоже думал, что так далеко немцы не дойдут или вообще ничего не думал своей пустой башкой.

Учительница мне понравилась, я передала девочку на ее попечение.

Воздушная тревога

До начала бомбежек объявили по радио, что все окна должны быть крест-накрест заклеены бумажными полосками. Все послушно это выполнили. Через несколько дней объявили, что бумага испытания не выдержала. Окна необходимо оклеить тканью. Сняли бумагу, наклеили полоски старых простынь. Комиссия все проверила, поставила у каждой квартиры крестик. Не прошло и нескольких дней, как по радио дали новую инструкцию и приказали всем точно исполнить ее. Наклеить надо было не белые, а темные полосы. Опять хозяйки повисли на окнах, отдирали белые, окунали в черную или в синюю краску. Приходила комиссия, проверяла и ставила крестики.

Приблизительно через месяц начались настоящие воздушные налеты. До этого были только «учебные» или, как мы их называли, «ложные» тревоги.

Как только рано утром или вечером раздавался сигнал воздушной тревоги, все должны были спуститься в

бомбоубежища, наскоро созданные в подвальных этажах домов. Самым надежным из всех существовавших в городе бомбоубежищ было метро. Кто жил вблизи метро, прятался там. Но там не хватало места для всех желающих — и в первую очередь туда пускали женщин и детей.

Тревоги объявлялись почти внезапно, когда тучи немецких самолетов были близко или пролетали уже над городом, и поэтому самым доступным убежищем были подвалы домов. Но не во всех домах существовали подвалы с прочными перекрытиями, которые не обвалились бы при сильном сотрясении, так как в то время еще основная масса московских домов состояла из двух-трехэтажных старых построек, и устраивать под такими домами убежища было невозможно. Поэтому в кварталах со старыми домами рыли во дворе просто траншею с замысловатыми разветвлениями. Сверху прикрывали досками и засыпали землей для камуфляжа и защиты от осколков. С моей точки зрения это были, пожалуй, самые надежные сооружения. В эти «щели», как называл их народ, надо было пробираться гуськом, разойтись было почти невозможно, но я чувствовала себя там гораздо спокойнее, чем в подвале жилого четырех- или шестиэтажного дома, так как если в такой дом попадала бомба, то люди, прятавшиеся в подвале, были все заживо погребены. Если же, случайно, бомба падала на траншею, то погибали только те, кто находился непосредственно в районе поражения, а у остальных была возможность спастись.

Дежуря на крыше, я вспоминала, как до войны в учреждениях, в домоуправлениях проводились занятия по подготовке населения к гражданской обороне. Сюда входили разделы «Учебная стрельба», «Хождение в противогазах», «Защита от отравляющих веществ», «Оказание первой помощи в случае войны» и всякие другие мероприятия. На все эти многочисленные кружки отпускались средства предприятиям, заводам, домоуправлениям, прикреплялись инструктора. Но когда дело доходило до изучения и подготовки, оказывалось, что кроме инструктора, по специальности иногда ихтиолога или агронома-почвоведа, работавшего по совместительству, никто на эти занятия не являлся. Эти кружки существовали только на бумаге. Сидит, бывало, в красном уголке председатель месткома и с ним инструктор — сидят, покуривают, жалуясь друг другу на жизнь. Вот так и протекала жизнь общественных кружков. Все относились к этим занятиям свысока, как к какой-то ненужной забаве, пока гром не грянул.

И вдруг то, что казалось ненужной глупостью, не стоящей затраты сил, времени и денег, стало реальной необходимостью.

Вспомнили опять про кружки, начали искать списки, мобилизовать женщин в санитарные дружины, дружины противовоздушной обороны.

Вспомнили про противогазы. Во время дежурства надо было иметь противогаз. Пошли искать в домоуправлении или на складе. Находили давным-давно испорченные, со снятыми сумками. Изобретательные активисты давно уже таскали в них более нужные вещи — бумаги, носки, завтраки. А более изобретательные из бачков сделали посудины для керосина или масла, предварительно освободив их от содержимого, оставался только шланг с намордником.

Но бомбоубежища сейчас строились ударными темпами, навезли песку, глины и стали мазать подвалы. Через месяц, спасибо немцы дали время, кое-где бомбоубежища были уже готовы. Труднее всего было с вентиляцией и со всякими прочими благоустройствами. Все шло по старинной русской поговорке: «Не до жиру, быть бы живу». И в подвалы набивалось столько людей, сколько могло вместиться, а через 2–3 часа дышать там было уже нечем и повернуться невозможно.

Первая ночная бомбардировка Москвы

Наступили сумерки, к нам пришел в гости наш друг с женой, который в начале войны работал в Киеве и видел первые бомбежки Киева. Мы, сидя за чайным столом, интересовались всем: как сильно «они» (то есть, немцы) бомбили Киев, как велики были разрушения, какое было моральное состояние народа.

И вдруг музыка по радио остановилась на полуноте. Наступила мгновенно зловещая тишина, знакомая всем, кто пережил бомбежки. И затем троекратное:

— Граждане, граждане, воздушная тревога!

И жуткий рев сирены. До сих пор помню этот отвратительный вой сирены, который следовал за сообщением диктора. И все начинали спускаться в бомбоубежище. Противовоздушные дружины занимали свои посты.

Надо было быстро одеть сонных детей, не понимающих в чем дело и тянущихся к подушке, надо было бросить все и спешить с детьми к выходу. И только на лестнице вдруг вспоминали, что не взяли с собой ни хлебных карточек, ни теплой одежды, ни денег, а только прижав к груди самый драгоценный груз — детей мчались вниз. И как только, набравшись храбрости, поднимались обратно, чтобы схватить забытую сумку, как уже раздавался пронзительный гул чужих самолетов, как будто пролетавших над вашей головой. Так было всегда, когда все бежали, спускались со

всех этажей вниз, в бомбоубежище, так было и сейчас, когда кое-как, с трудом, нам удалось втиснуться в уже до предела переполненное бомбоубежище и замереть на месте.

Но сегодня была уже не учебная, не ложная, а первая настоящая бомбардировка, где-то уже грохнули первые бомбы, а затем непрерывно, неистово начали бить зенитки. Прошло уже несколько часов, стрельба не прекращалась, она то затихала, то снова возобновлялась с нарастающей силой. Немецкие самолеты шли волнами. Не успевала пройти одна волна, сбрасывая свой смертоносный груз, за ней шла другая. Разрывы падающих бомб слышались ясно, то совсем близко, то где-то далеко. И вдруг жуткое завывание над нашей головой. Все подняли вверх головы, как будто через потолок можно было что-то разглядеть. И затем рядом раздался оглушительный взрыв, все зашаталось. Каждый, сидящий здесь, подумал, что вот выйдешь, а от соседнего или от моего дома остались одни развалины и кто-то будет похоронен под этими развалинами. При этой мысли матери только теснее прижимали к себе детей, усталых и измученных после жуткой, бессонной ночи. Дети, устав сидеть всю ночь на коленях у матерей, которых они тоже достаточно замучили, плакали и просились спать. Да и сидеть там было не на чем, я даже не помню, на каких бревнах пришлось сидеть всем до утра в первую ночь настоящей бомбежки.

Под утро в бомбоубежище стало трудно дышать, все тело было покрыто влагой. Наш Володюшка долго боролся со сном, устал и, наконец, подошел к нашему другу с просьбой: «Дядя Ваня, скажите по радио, граждане, воздушная тревога окончена, отбой». Все расхохотались, дядя Ваня только улыбнулся и взял его на руки.

Тревога надвинулась на всю страну, и никто не в силах был дать «отбой» этой ужасной, кровавой трагедии. Тот, кто мог предотвратить эту ужасную бойню и от кого зависело быть или не быть этой войне с ее ужасными последствиями, сидел так же, как и все мы, в бомбоубежище, но только в более благоустроенном. Там же с ним сидели все те, кто должен был бы сделать все, чтобы избежать этой войны.

Кругом них сновали врачи, медсестры, стража и прислуга. Для них были приготовлены специальные, самые глубокие подземные дворцы в метро, с кроватями, коврами на полу, водой, туалетом, искусственной вентиляцией. Движение там было закрыто, и поезда пролетали стрелой мимо этих бомбоубежищ. У них были склады с холодильниками, полными продовольствия. У них были шахматы и шашки, чтобы отвлечь их «мудрые» головы от происходящего вокруг. Но руки у них дрожали так же, как у

всех, когда они играли в шахматы, несмотря на то, что даже гул самолетов до них не доносился и почти не было слышно разрывов снарядов. Их семьи были давным-давно, как только началась война, эвакуированы со всем своим скарбом в далекий, надежный тыл.

В первый раз бомбили всю ночь до самого утра. Когда мы рано утром поднялись к нам на балкон, все вокруг было озарено факелами пожарищ, все вокруг горело. Особенно яростно бомбили наш район, как наиболее промышленный. С правой стороны от нас полыхало пламя, кто-то сказал, на Тульской улице метили в Чернышевские казармы, попали в жилые дома, горел целый квартал старых одноэтажных деревянных домиков, факелом пылала мебельная фабрика, разбомбили хлебозавод, кинотеатр, детскую больницу, колхозный рынок. Воздух был насыщен дымом и запахом гари.

— Вы слышали, Нина Ивановна, — обратилась ко мне соседка, — что у Даниловской площади на улице упала «бомбочка» и весь квартал разрушила, три корпуса снесло. Говорят, в убежище было полно народу. Откапывают, но пока откопают… Ведь этакую махину надо разгрести, чтобы добраться к несчастным в подвале, а там почти одни женщины и дети. «Бомбочка», непонятно почему «бомбочка». Как-то само собой стало нарицательным, так же, как всякий немец стал «Фрицем». Или «они», и каждый знал, что «они» — это вражеская армия, что это немцы.

В первую ночь наши зенитки трещали по вражеским самолетам без умолку. А во вторую ночь хранили гробовое молчание, приводя всех в недоумение, еще больше увеличивая страх и панику, и мы решили: так как нужного эффекта они все равно не добились, то сбивать бомбовоз над городом просто неблагоразумно. Но на самом деле оказалось, что зенитки были установлены на самых важных пунктах, на больших домах, как наиболее удобных для наблюдения, вокруг заводских корпусов и военных казарм, то есть там, где они должны были охранять предприятия и другие объекты. А на поверку оказалось, что они вовсе не были опасны для бомбардировщиков как заградительная оборона, а наоборот, стали хорошей мишенью, и в первую же ночь на эти места, с дьявольской точностью, посыпались бомбы. Зенитки просто начали снимать с жилых домов и предприятий и вывозить за город. Решено было усилить также противовоздушную оборонительную линию на подступах к Москве. Это нужно было, по-видимому, сделать с самого начала.

Немецкая пунктуальность

И так пошло и дальше. Как только сумерки в доме сгущались, надвигалось время бомбежки. Немцы бомбили с прославленной немецкой пунктуальностью, начинали вечером в 9. 45 и до утра, днем между 5-ю и 7-ю часами. А если опаздывали минут на 20, выбрасывали издевательские листовки «Извините за опоздание. По вашим законам нас следует отдать под суд с вычетом из зарплаты 20 %».

Это была насмешка над нашим вышедшим недавно постановлением по борьбе с систематическими опозданиями.

Один рабочий, подняв брошенную листовку с извинениями за опоздание, заявил:

— Вишь ты, чертяки, под суд надо отдать за опоздание — ловко придумали, нашими законами да по нам и лупят. Вот я опоздал на 22 минуты, трамвай сломался. Пока его оттащили, пока дорогу освободили, время и ушло, приехал на свой завод, а ехать туда далеко, так и запоздал на 22 минуты. Меня в суд и 6 месяцев 25 % высчитывали — так я и трамвай проклял, и всю свою жизнь. Вот «он» нас и хлещет нашими законами: «Извините, опоздал на 20 минут». Позже может и убьет, но убьет, значит, на 20 минут позже. Такая вот она теперь жизнь — ничего не стоит.

К соседям приехал родственник из Можайска, (это куда наши умники детей эвакуировали). Рассказывал:

— «Они» под Можайском, прежде чем бомбить, тоже сбросили листовки: «Мы бомбить будем военные объекты и армию, а населению предлагаем уйти в лес. Мы идем освободить вас от тирании, которую вы терпели долгие годы». И бомбили так, что мы еле живы остались.

Дежурство

Вечером, подымаясь к себе наверх, я встретила несколько женщин с детьми, с чемоданчиками и подушками, направлявшихся в бомбоубежище.

— Да вы что, может быть, сегодня и налета не будет, а вы уже вниз идете?

— Да что же делать? Дома жутко, а спускаться все равно придется. А потом и присесть негде будет. Мы спустимся в наш подвальный этаж, а в бомбоубежище не пойдем, здесь хоть под своей крышей.

Вдруг завыла сирена. Мимо нас проскочил ребенок и стрелой помчался вниз, а сверху раздавался голос моей матери:

— Володюшка, Володя! Подожди, не беги!

Я бросилась вниз за своим Володенькой, но он уже был во дворе и метался из стороны в сторону. Мой сын бежал в дом

напротив. Увидев меня, он, дрожа всем тельцем, обвил мою шею и зашептал:

— Ты видела, мамочка, бомбу, большая и вся горит. А если она упадет? — и он тащил меня подальше от двери в темный угол.

Мне стало больно, ведь тот страх и ужас, который вызывает у детей бомбежка, они запомнят на всю жизнь. Надо скорее уезжать, — решила я.

Улучив минутку затишья, я схватила моего маленького сына и вернулась в подвал своего дома, где сидела мама с Лялей на руках в кругу соседок. Мама моя была удивительный человек, ее все соседки очень любили, она могла примирить непримиримое, успокоить тогда, когда жизнь казалась беспросветной, ее очень любили все мои подруги за ее спокойную тихую мудрость.

Зенитки неистово трещали, стараясь попасть в повисший в воздухе парашют с осветительной ракетой, освещавшей все кругом ярким синеватомертвым цветом молнии. Этот зловещий цвет леденил душу, а немецкие самолеты уже начали бросать свой смертоносный груз.

Мне часто приходилось дежурить на крыше. Оставив детей с мамой, я поднималась на крышу. Было страшно, замирало сердце, когда в ночной темноте с невероятной быстротой и жутким ревом начинали приближаться вражеские самолеты. И каждый раз, когда этот гул приближался, я думала, не этот ли самолет несет нам разрушения, пожары, смерть. Но бомбардировщики, пролетев над нашей головой и сбросив свой смертельный груз где-то недалеко, улетали, а за ними надвигалась уже другая волна. И так волна за волной бомбежка продолжалась до самого рассвета.

Бомбежки ночью — это захватывающее зрелище.

Зловещий гул самолетов, громовые разрывы бомб. Висящие в воздухе мигающие осветительные ракеты. Разноцветные сверкающие трассирующие пули и синевато-серебристые полосы прожекторов, которые то скрещивались, то расходились во все стороны, ощупывая небо в попытке захватить в свои клещи вражеский самолет, и метание попавшего в скрещенный свет прожекторов вражеского самолета, старавшегося вырваться и скрыться в ночной тьме. Все это представляло потрясающе жуткую и захватывающую картину.

На всех крышах дежурили женщины. В нашей обязанности было, как только упадет бомба, немедленно схватить ее щипцами за хвостовое оперение, швырнуть вниз на улицу, сбросить в бочку с водой или засыпать песком, вообще, сделать все, что возможно, чтобы немедленно локализовать ее.

Во всех домах и квартирах, как внутри, так и снаружи,

следовало иметь посуду, наполненную водой и песком, надо было также поставить бочки с водой и ящики с песком на лестничных клетках и, первым делом, на крыше. Это уже входило в обязанность домоуправления. Но таскать песок на все этажи, а нам на шестой этаж, все-таки пришлось терпеливым женщинам. Московские лифты почти никогда не действовали, даже до войны. Люди уже настолько привыкли к этому, что перестали обращать на них внимание.

Я, например, с 39-го года жила на шестом этаже, и ни разу не смогла воспользоваться лифтом. Он никогда не действовал, его просто загнали на шестой этаж, там он и простоял до нашего отъезда в 44-м году.

А когда грянула война, все уже перестали даже думать о лифте. Песок, воду, дрова таскали на себе. Бочки, установленные на лестничных клетках и на крыше, оказались «бездонными», то есть настолько неприспособленны были к содержанию жидкости, что буквально высыхали на наших глазах. Заменить их было нечем. Так мы и дежурили, надеясь на песок и нашу «ловкость».

Смешно и грустно было смотреть на эти домашние средства противовоздушной обороны.

Воздушных заградительных аэростатов вокруг Москвы вначале тоже не было. Это позволяло пикирующим бомбардировщикам — немецким «Мессершмиттам», которые в то время были загадкой для населения, почти беспрепятственно летать над городом, наводя ужас на население.

В период «дружбы» с Германией о пикирующих бомбардировщиках наши газеты писали с восхищением, как о немецком «чуде», которое наводило ужас на европейские страны. Но когда эти же «чудеса» немцы так же хладнокровно, как над Францией, Англией и другими странами, стали проделывать над нашей страной, наши корреспонденты быстро излечились от своего восторга.

«Бомбочки», действительно, сыпались на наши крыши, как спички из спичечной коробки, но все, или почти все, были мелкие, зажигательные. Видно, в планы наших врагов входило не столько разрушение Москвы, которую они собирались захватить к зиме, сколько деморализация населения.

Фаталист

Утром, после того как прозвучал «отбой», я спустилась во двор. Навстречу мне шел порядочно заспанный старичок.

— Вы откуда? — здороваясь с ним, спросила я.

— Из своего индивидуального бомбоубежища, — гордо

ответил он, указав на пустую канализационную трубу, валявшуюся во дворе.

— Ну, ловко вы устроились — заметила я.

— А вот вы сами посудите, я всегда верил в судьбу, а какая она у меня, от чего я должен умереть, мне еще никто не сказал. Вдруг я должен погибнуть от бомбы? Она и свалится на этот дом в поисках меня. А там соберется народ из пяти корпусов — сотни людей, и все сразу погибнут, всех похоронят из-за меня. А так я спокоен, я один, и если бомба упадет, то меня одного и убьет — потеря не велика. Я вам нужен? Так вот я здесь посреди двора, в трубе. Вы не смейтесь. Советую и вам моему примеру последовать. Кстати, рядом еще две трубы не заняты.

— Спасибо, Иван Николаевич, но я ведь каждую ночь на крыше.

— Так вы уж, коль будете с крыши сбрасывать «бомбочки», так учтите, что в трубе лежу я. Ведь бомба-то дура, куда ей падать, не знает… Ты вот на крыше дежуришь, видела, как из окон домов и всяких других мест сигнальные ракеты немцам подают. Вон, возле «Госзнака», возле Чернышевских казарм, возле обозного завода — разве когда-либо можно было думать, чтобы свой народ сигналы немцам давал! Жизнь моя, слава богу, к концу подходит, три войны прожил, сам на войне был, а такого не видал, срам всем, и на наши седые головы срам ляжет.

— Всякий народ есть, и их найдут, — заметила я.

— Да разве я о том? Ведь найти-то их — плевое дело, а не их, так других загребут. Ведь это же и до войны было. Я-то про другое говорю, чтобы эту сволочь Гитлера предпочитали, позор. Ведь немцы на Украине уже под Киевом, у дверей Ленинграда, почти под Москвой, а колхозницы хлеб-соль своим будущим поработителям выносят.

Война, хаос, неразбериха — у всех накопилось так много, что люди, несмотря ни на что, несмело, робко, с поправками, потихоньку говорили. Никто еще не знал, что ждет их по ту сторону, но свое, при ненавистном Сталине, многие считали настолько жестоким и бесправным, что казалось, хуже этого и придумать уж ничего нельзя.

Наши студенческие друзья

Вечером к нам зашли Сеня и Боря.

— Ну, как дела? А где Кирилл? Мы решили, что надо скорее эвакуироваться, и думаем, что лучше всем вместе.

— Кирилл на военном положении, в наркомате, я почти две недели его не видела.

— А как к нему пробраться? Как к нему дозвониться? Телефоны не работают. Ведь он нам может помочь.

— А вы зайдите в наркомат, — посоветовала я.

— Ну хорошо, мы так и сделаем. А тебе ведь тоже надо уезжать?

— Надо. Я ведь не одна, нас четверо, денег нет, жду, как только получим жалованье, куда-нибудь отправлюсь.

— Да кто их имеет, у нас тоже денег нет. Деньги нужно сделать.

— Ты знаешь, Николай Селиверстов — это наш общий друг и самый близкий друг Кирилла — строитель Норильского никеледобывающего комбината пишет, заработал 33 тысячи, все деньги на сберкнижке, на руки выдают 300 рублей в месяц, в Москву приехать — денег нет.

— Так он же 10 лет проживет безбедно, — рассмеялась я.

— Ну, вот что, — заявил Сеня после ужина и чая. — Ты завтра встретишься с Борисом, и вместе приедете в наркомат вооружения, я там уже кое-какую почву подготовил. Может быть, и вас сумею устроить.

Рано утром, обходя на улицах осколки разбитого стекла после ночной бомбежки, мы с Борей пришли в наркомат вооружения, одно из лучших зданий, выстроенных за последние годы.

Несмотря на раннее время, солнце припекало уже основательно, предвещая сильную жару весь день с грозой к вечеру.

Нас встретил Сеня.

— Я уже позвонил и заказал себе пропуск. Вы здесь подождите, а я поднимусь наверх и попрошу, чтобы и вас пропустили.

Пока мы сидели в переполненной приемной наркомата, я от скуки начала считать присутствующих. Насчитала почти 70 человек, все здоровые, молодые, все с успехом могли бы быть на фронте вместо малолетних ополченцев и немощных стариков. Надоело считать, все бегали, суетились, у внутренних телефонов толпились очереди. Каждый звонил по личному вопросу. Наконец выскочил Сеня:

— Великолепные дела, я получил командировку в Челябинскую область и тысячу рублей командировочных. Вам пропуск заказан, завтра же все сделают, а сегодня запарились там все. А теперь айда в наркомат авиационной промышленности, у меня там тоже есть зацепка.

Солнце жгло уже невыносимо, с утра мы ничего не ели, есть не хотелось, хотелось пить. Недалеко от наркомата увидели

тележку, на ней черным по белому написано: «Эскимо».

Обрадовались — хорошо в жару холодненькое.

— Купим, — предложил Боря.

— Конечно, — ответили мы, — что за вопрос. Мороженое — четыре порции, — скомандовал Борис.

— Нету, — не глядя на нас, ответил продавец.

— Воды холодной? — уже упавшим голосом спросил Боря.

— Нету.

— Так какого черта ты таскаешь эту телегу? — взревели мы все.

— Да вот, ежели теплой, так, пожалуйста, — открыв крышку мороженицы, он достал нам бутылку.

— Да кто же в этакую жару теплую пьет? Ты бы уж лучше чай возил с собой, — не унимался Борис.

— Война, — сокрушено ответил продавец.

«Освежаясь» теплой водой, Сеня предложил:

— Хотите военный анекдот послушать?

— Давай, валяй, — поддержали мы.

— Приходит пассажир на вокзал у нас и спрашивает: «Когда поезд прибудет?» Начальник посмотрел, подумал и ответил: «Через час, через два, а может быть, вечером». «Это почему же так?» — возмутился пассажир. «Война», — сокрушенно ответил начальник станции и закрыл окошечко. Приходит пассажир на вокзал в Европе и спрашивает: «Когда прибудет поезд?» «В 12 часов 35 минут 42 секунды». Удивился пассажир: «Это к чему же такая точность?» «Война», — ответил возмущенный начальник и закрыл окошечко. Вот и все… Чего же вы не смеетесь? — обиделся Сеня.

— Чего же над собой смеяться. Грустно, а не смешно.

— Спасибо за прохладу, — крикнули мы на прощание деду и пошли дальше.

— Да я же что… Я бы рад… — бормотал старик.

Наконец мы в бюро пропусков наркомата авиационной промышленности. Здесь тоже битком набито молодыми людьми. Дым стоял коромыслом. Взглянув на эти бесконечные очереди к телефонам и пропускным окошечкам, мы почти безнадежно махнули рукой. Все были злы и раздражены, слышалась бесконечная перебранка. Большинство из них были приезжими с периферии. Но нам повезло, мы встретили знакомого инженера, который быстро заказал нам пропуск.

— Вот хорошо, что пришли, а я-то уж собирался уходить на совещание, — сказал тот, к кому мы зашли, и начал торопливо засыпать нас вопросами: — Инженеры? Да? Какой специальности?

— Горняки, металлурги, обогатители.

Вдруг его перебил сопровождавший нас Николай:

— Да какое это имеет в данном случае значение? Это к делу не относится, я же с тобой о них говорил, все они ребята свои в доску. Я ведь сам нефтяник.

— Ну хорошо, — крикнул начальник отдела кадров секретарю, — дай этим товарищам анкеты, да поскорей.

— Только вот что, ребята, — обратился он к нам, — вы все технологи по легким металлам. Поняли? Ну, мне вас не учить. Валяйте, пишите.

На прощанье он нам заметил:

— Вот что, молодцы, я сегодня все оформлю, а завтра приходите получать командировки и деньги.

Вышли.

— Ну, а дальше, Сеня, куда же? — спросил Боря.

— В наркомат боеприпасов, сейчас половина четвертого, мы еще успеем.

Та же картина была и здесь. В приемной было тесно, накурено, жарко.

Я обратилась к своим спутникам:

— Вы, ребята, давайте, идите, а я поеду домой.

Я очень устала, голова болела невыносимо.

Вскоре я встретила еще не уехавшего Сеню, он спросил:

— Ну, как дела?

— По-прежнему, — ответила я.

— Ну и чудак-человек же ты, а вот мы почти по пять тысяч получили.

— И куда же вы поедете?

— Вот еще забота, куда сумеем добраться, туда и попадем, выбор большой.

— Но деньги же вам нужно потом возвращать? — я не успела договорить.

— И зря ты… В хорошее время концов, бывало, не найдешь, а теперь какой черт будет копаться? Разве у наших денег есть хозяин? Не я, так другой ловкач это сделал бы, да и делают, ты ведь видела, сколько их там было. Война, а в войну, как я могу поручиться, куда попаду?

Бомбежки усилились, всех, кого можно было отправить рыть окопы, отправили, а у оставшихся работа совершенно не клеилась. Вернее, вообще ничего не делали, эвакуировали только незначительную часть. В коридорах института, в лабораториях еще лежали ящики с оборудованием, подготовленные к вывозу.

Эвакуация

Своя рубашка ближе к телу

После работы я зашла к знакомой Вере Николаевне.

— Вера Николаевна, — удивилась я, — что это вы сидите, как ни в чем не бывало? Ведь завод и лабораторию уже эвакуировали, я думала, что я вас не застану. Телефоны не работают, так я шла мимо и на всякий случай зашла.

В комнате все было вверх дном. Чувствовалось, что у этой, всегда аккуратной женщины, руки совершенно опустились. На столе стояла грязная посуда, постели не убраны, на стульях и на диване валялись разбросанные одежда, полотенца, обувь. Вера Николаевна сидела на краю дивана, двое ребят прижались к ней.

Я освободила стул и села напротив нее.

— Вера Николаевна, ну расскажите, что у вас? Что вы так пригорюнились, ведь вы не одна, все мы в одинаковом положении. Стоит ли так убиваться?

— Так разве я о себе? — сказала она, — я обо всех думаю, у всех у нас участь одна. Я вспоминаю, как все мы раньше работали. Целый день в лаборатории, вечером бежали домой, готовили, кормили мужей, детей, стирали, убирали, ни минутки покоя не знали, как бы трудно нам ни было, всегда была одна дума: вот еще 2–3 годика — и все будет лучше, вот еще чуточку подождем. Ждали-ждали, и дождались! А теперь что еще ждать? Андрея взяли в ополчение, всего неделю тому назад проводила его. Андрей, ты подумай, ему только 17 лет в мае исполнилось! Ну какой он вояка, когда еще молоко на губах не обсохло.

Когда я собралась уходить, за своей спиной я услышала, как она старается заглушить рыдания, но это ей не удавалось. Дети, всхлипывали, прижавшись к ней.

Я вернулась, стараясь успокоить ее.

— Вера Николаевна, хватит дорогая.

И опять та же самая фраза:

— Ведь вы не одна, у всех берут на фронт, а у вас еще двое. Успокойтесь и детей успокойте. Вам надо было уехать, когда лабораторию эвакуировали вместе с заводом, — сказала я.

— А нам сказали, что после отправят. Да куда я поеду, когда душа на две половины раздирается… В одном месте я и ребята, а в другом — мое дитя, его могут ранить, убить, а я ничего не буду знать об этом. Я не буду знать, где он, и он не будет знать, где мы. Я буду сидеть здесь, ожидать здесь и, может быть, бог нас

сохранит.

Она стала рассказывать, как провожала свой завод и насмотрелась, как едут.

— Напихали в вагоны, как сельдей в бочку, ни сесть, ни повернуться. С собой брать почти ничего нельзя, а нас трое. Постель, одежонка, все нужно, каждую тряпку, с таким трудом добытую, все надо бросить и ехать. Что меня там ждет, когда даже в хорошее время нигде, кроме Москвы, нельзя было что-нибудь достать, а теперь-то и подавно. Буду ждать тут. Хоть угол свой. А если совсем невмоготу станет, поеду в Тулу. Там недалеко сестра моя живет, все-таки у своих. Вы знаете, как в эти дни я, как шальная, бегала, укладывала вещи лаборатории. Боже, и что это за упаковка была! Ящиков нет, соломы, бумаги нет, чтобы хоть как-нибудь все завернуть. Ничего нет, сколотили несколько ящиков, а во что обернуть? Кое-как одно на другое уложили. Я укладывала, и душа болела: ведь все это так нужно, все приборы точные, все стекло, а все пошло в одну кучу. Половину тут же, при упаковке, расколотили. Сложили в один ящик аналитические весы, точные приборы и туда же всякие тигли и пробирки. Бутылки с реактивами пошли в ящики без ручек. Начали таскать, один такой сорвался — и все вдребезги. Рабочие посмотрели, бросим, говорят, куда мусор-то везти? А начальник дико ругается, кричит: «Сукины дети, под суд отдам!» Потащили. И такая толкучка целый день стояла. Шум, крик, до сих пор в ушах звон от разбитой аппаратуры. Да разве довезут все это? Начальникам лишь бы отписаться, что все вывезли, а как это доедет, до этого им дела нет. И на вокзале то же самое. Я бегаю от одних рабочих к другим, кричу: «Да ведь это — лабораторное оборудование! Что же вы швыряете все, это ведь не лапти!» А они: «А нам какое дело, лабураторное или еще там како, ишь, прыткая нашлась! Подавай, Ванюха, дальше, а то начальство ругает, говорит, медленно все идет. Вишь, как бежать, так салом пятки смазали. Ну, туда им и дорога! Слободнее будет! А ты, бабочка, ступай, не мешай, видишь, работаем!»

Представив себе всю эту картину, которую так образно обрисовала Вера Николаевна, мы даже рассмеялись. Смешно и грустно было.

Она стала вспоминать, как мы на работе над каждой колбой дрожали. Всегда их не хватало, анализы задерживали из-за отсутствия колб, пробирок, мензурок. А тут все в один миг поколотили, и нигде хозяина не найдешь. Она побежала искать замдиректора по хозяйственной части, ей показали, где он находится, в начале поезда. Когда она бегом подбежала туда, он был занят погрузкой своих собственных вещей, жена сидит в

сторонке, на чемодане, и обмахивается газеткой, на сундуке — мать, возле нее играет ребенок лет восьми. Девочка зачем-то обратилась к матери, та отмахнулась.

— Отстань, Татьянка, видишь, я занята, — воскликнула она, внимательно следя за погрузкой своих вещей.

— Эта картинка, — сказала Вера Николаевна, — на минуту отвлекла мое внимание своим покоем. «Как на дачу» — подумала я. Но вдруг окрик: «Осторожно, черти! вы же зеркало тащите, а не доски!» Это мне напомнило, зачем я сюда бежала с другого конца. «Степан Григорьевич, а я к Вам» — бросилась я к нему. «Ну, что там еще — вот деревня! Таскают все без разбора, чуть не расколотили зеркало, если бы не стоял я у них над душой, так и велосипед бы разбили. Ну и жара же сегодня», — закончил он, вытирая пот с лица и шеи.

«Да у вас что, Вера Николаевна, стряслось?» — наконец обратился он к ней, сделав предварительно еще несколько замечаний рабочим насчет сундука с посудой. «Да я к вам, там ведь тоже грузят все вверх тормашками, ничего не разбирая, одни черепки довезут, а не инвентарь!» Тут он внезапно вспомнил, что он начальник и заорал: «Да что вы, собственно, хотите? Разорвать меня на части? Есть же там народ, пускай и посмотрит. Как только закончу, подойду. Скажите им, чтобы были аккуратнее». Мне хотелось еще что-то ему сказать, но он прервал меня: «Идите к Кудряшову». Я пошла искать Кудряшова. Через три вагона шла погрузка Кудряшова тоже. Он распоряжался здесь, а жена его стояла в дверях вагона и орала: «Расставили все так, что кроватку для Володьки негде поставить, ну чего ты, как пень стоишь, вместо того, чтобы посмотреть!»

Так ничего она не добилась у своих «начальников» — у всех были «дела», и некому было позаботиться о производственном и лабораторном оборудовании.

— Я вернулась, — сказала Вера Николаевна, — старалась хоть кое-как исправить дело и спасти, что можно. Устала, измучилась, до сих пор не могу прийти в себя, и когда вспомню, во что все превратится, пока довезут, так даже страшно становится.

— Зато Кудряшовы довезут свои зеркала и посуду в порядке, — заметила я.

— У каждого из них отдельный вагон, а рабочих с семьями и ребятишками напихали в вагоны и, проходя мимо, только и слышишь: куда вы еще, ведь вагоны не резиновые, итак повернуться негде. Бабы, дети, узлы — все в куче. У следующего вагона баба кричит: «Да что вы, родимые, все выбрасываете, ведь чай я не в гости еду, самовар-то хоть оставьте, веточек соберу и

водицу хоть ребятишкам согрею».

— Что же вы собираетесь делать? — спросила я ее.

— Надо на работу устраиваться, горюй не горюй, а дети есть просят. Пойду в госпиталь — там санитарки нужны. Столько раненых и увечных, им более всего нужна забота и ласка материнская. Да и Андрей, может быть, напишет сюда. Может быть, мое дитя уже в госпитале лежит, а может… — и не договорила.

— Вера Николаевна, времени уже много, я побегу. Ведь сегодня мое дежурство на крыше. А вы не убивайтесь так, идите работать в госпиталь. Сейчас я очень жалею, что я инженер, а не врач.

— Да, Нина Ивановна, инженер это хорошо, но вы правы, врачом быть лучше, тем более вам. С вами так хорошо, всегда так спокойно на душе, когда поговоришь. Это я чувствую. Вы умеете слушать людей, а когда человеку тяжело, для него самое лучшее лекарство, если кто выслушает его и хорошее слово ему вовремя скажет. Я вас полюбила в тот момент, когда Степан мой умер. И как вы сумели меня поддержать, а я ведь думала тогда, не выдержу, повешусь.

Я прошла к Виктору Любимову, в распоряжении которого находились все наши институтские богатства — все образцы драгоценных и цветных металлов, золотые корольки, серебро, платиновые тигли и кое-что еще.

— Почему же вы никуда не отправляете все это добро? Раз уже решено уезжать, то чем скорее, тем лучше. И профессора жалуются. Уезжать не уезжаем, и толчемся все здесь без дела.

— Моя Сима уже эвакуировалась, советую и тебе. Скажу тебе честно, куда и когда, еще не решил.

И когда я после великой, как тогда говорили, октябрьской паники, вернулась в Москву, наши общие друзья рассказали мне грустную историю, которая произошла с Виктором. Во время всеобщей паники 15 октября, когда толпы москвичей громили, грабили склады, банки, квартиры, нагружали машины, подводы и увозили награбленное добро куда попало, Виктор тоже исчез, прихватив с собой все драгоценности института. А когда все улеглось, его нашли где-то далеко от Москвы и расстреляли.

Исповедь старика

Многие из тех, кто не торопился уезжать, кто крепился до первых основательных бомбежек, не выдержали кошмара воздушных налетов. Нервы у людей были потрепаны, всем надоело спускаться и подниматься и, не успев подняться наверх,

снова сходить вниз и слушать почти непрекращающийся гул самолетов. Мучительно было также слышать разрывы бомб над головой. И стал уезжать народ без приглашений, так как уже некому было уговаривать. Наиболее активные исполнители приказов давно уже уехали, народ делал теперь то, что ему подсказывало его внутреннее чувство, сознание, что нужно спасаться, уезжать подальше от этого быстро надвигавшегося на Москву кошмара. Все это сдвинуло людей с места. И вот в этой суматохе я встретила старика и стала уговаривать его уехать. Но вот что ответил мне рабочий, когда я предложила ему собраться с семьей для эвакуации:

— Знаешь, хорошая моя, твое дело предлагать и уговаривать, а я все равно никуда не уеду. Я коренной от прадеда рабочий, был и при Николашке рабочим, участвовал в рабочем движении. На митинги и всякие подпольные собрания ходил, ночью разные прокламации большевистские разбрасывал. И с завода гнали, и пороли меня, и в тюрьмах имел честь посидеть. Семью в восемь человек выкормил и вырастил. На фронте дрался за советскую власть, вот погляди, это осколок снаряда расписался, а точку поставила пуля. Радовались многие, как я — наша власть пришла, наша, советская, все мы «товарищи». Я был стар, чтобы учиться, было поздно, да и семья большая. Давай учить детей. Думал, что дети-то мои настоящую жизнь узнают. Долго я тебя держать не буду, вот списки у тебя в руках. Дел много, и каждому хочется свою биографию рассказать. Да и есть, что рассказывать! Я теперь вот, по старости полагаю так: молодым историю надо было бы проходить не по Марксу (так и сказал «не по Марксу»), а вот ходить да записывать биографии людей. Это главная и настоящая история, ее мало кто знает, а ведь каждый человек — сам история! Так выучил я своих сынов и дочек. Все были в комсомоле и партии. Из пяти самый старший член ВКП(б), стал директором завода, в 1939 году его арестовали, он оказался «вредителем». Другой в ГПУ работал — сам видел весь ужас. Малый он был с хорошей душой, людей любил очень. Приходил домой, напивался, плачет, меня, старого дурака, ругает: «Завоевал ты нам свободу, да лучше бы я света белого не видел, чем видеть эту жизнь и каждый день видеть, как мужиков, рабочих, учителей, баб и детей куда-то отправляем, отправляем и конца этому нет. Вот уже сколько лет. Я все ждал, думал, — это все враги, кулаки, бывшие дворяне какие-то. И кого там только не было! Годы шли, а их меньше не стало, наоборот — все больше и больше нашего брата потекло в далекую Сибирь, в Колыму и, черт его знает, куда еще только не посылают. Ведь кого гонят теперь? Теперь таких, как ты, отец, стариков, рабочих, крестьян,

коммунистов, тех, кто эту свободу добывал своей кровью — и все это „враги народа“. Как посмотрю я на этих несчастных, измученных „врагов народа“, ей богу, отец, душа кровью обливается. Ложусь спать, а передо мной все эти обросшие, одичалые люди и смотрят на меня скорбными, несчастными глазами, и в них я читаю укор: „Нагрел себе место, выслуживаешься, кого в Сибирь гонишь? — Отцов своих, ты глянь на наши руки, на наши морщины и бороды, ведь у меня дети постарше тебя есть“. В эту минуту я, отец, вспоминал тебя и думал: „Если бы так другой должен был бы отправлять тебя в Сибирь, и я бы увидел твою сгорбленную спину перед кем-нибудь, кто посмел бы щелкнуть тебя по щекам, выворачивать тебе руки, я бы задушил такого мерзавца!“ Я хоть сам не должен этого делать, но я должен видеть это, а потом всю ночь спать не могу».

Друг мой, Григорий, не выдержал, был командиром на финской войне и с тех пор он в психиатрической больнице на «Канатчиковой Даче». Я к нему хожу, навещаю. Душа кровью плачет, и пока я не уйду, он весь дрожит.

Я говорю тебе это, дочка, мне в могилу пора, а вам историю надо знать. Что дальше будет — неизвестно. Я-то, наверное, умру и ничего не увижу, но вы еще молодые, вам это понадобится. Двое младших в армии. Один — танкист, другой — летчик. Уцелеют ли их головы, кто знает? Трудно сказать. Вишь, как немец прёт! Пока мы здесь своих душили, да на дыбы задирали, немцы силу готовили, да на нас ее и обрушили. И девки мои тоже мучаются. Когда они еще детьми были, мать сходит на рынок, принесет, накормит, оденет и в школу отправит. Тяжело было старухе, чай, их восемь было! А теперь у одной из моих девок мужа арестовали, он еще учился в Тимирязевской академии, съездил в деревню на практику, вернулся, да видно, душа не выдержала, бухнул сгоряча что-то, ну и готов. Куда он поехал, никто не знает, а через месяц и дочь мою выслали неизвестно куда, как будто за Мурманск. Настя — чертежник, на том же заводе, где я работал всю жизнь. А Аня — врач, получила письмо о мобилизации. Врачи там ведь нужны.

Я всю жизнь честно работал, при советской власти ударником был первым на заводе, мое имя не сходило с «Доски почета», орден «Знак почета» имею. Так разве дело в почете, когда душа болит? Я работал и нарадоваться не мог, для народа, а не для значка. Чтобы народу лучше от моего труда стало. А хожу в одних и тех же портках, переменить не на что. Трое внучат живут у меня, они уже отцов своих не помнят, и Аня пишет, что пришлет своего сына, как только она и ее муж в армию уйдут, а то его девать некуда. Вот, слава богу, дед жив. А старуха моя не

выдержала. Как сына-то старшего с семьей заарестовали, она крепко затосковала. Потом дочь угнали… Заболела и до последнего вздоха все молила: «Весточку бы мне, хоть бы словечко от Наташеньки и Павла». Так и не дождалась, померла.

Спасибо Настеньке, придет с работы усталая и помогает мне управляться по дому, а внучата, вон погляди, уже большие, сами в лавку ходят, лучше меня, старика, знают, где и что по карточкам дают.

Семья большая — и горе большое. Работа не ломит человека, если она радует душу, а вот горе окаянное, как шашель дерево, всех нас подточило.

Это ведь моя история. А теперь послушай, что другие говорят. Народ ведь молчит, молчит. Но иногда бывает невмоготу молчать. Кому веришь, тому и скажешь. Сердце у тебя доброе, слушаешь и плачешь, а сердца у всех черствыми стали, у всякого свое горе, и каждому кажется, что его горе самое тяжелое. А ехать я никуда не поеду. Куда мне ехать? Весь я тут, а семья половина на фронте, а другая — на каторге, в тюрьме.

Я рассталась с этим симпатичным, душевным стариком. Он старался выложить все, что с такой горечью накопилось у него на душе. Теперь я только спрашивала: «Едете вы или нет»? И ответ «нет» мне был понятен.

С первых же дней войны правительство постановило запретить выдачу денег за отпуск, выходные пособия или какие-либо побочные заработки. Со сбережений, если они у кого-нибудь были, можно было получить очень незначительную сумму.

В основном люди должны были рассчитывать только на чистую двухнедельную зарплату. Но на такие деньги далеко тоже не уедешь. Во-вторых, если далеко уехать нет возможности, то какой смысл вообще эвакуироваться. Все знали, что в Москве дают хлебные карточки, которых нигде больше не получишь. Москва все-таки охранялась, а отогнанные от города самолеты чаще всего разбрасывали свои бомбы в его окрестностях, чтобы освободиться от ненужного груза. Так что там тоже можно было пострадать от бомбежек с таким же успехом.

Наконец и я решила выбраться из Москвы

И после очередной ночной бомбежки, обходя хрустящие под ногами на тротуарах озера битых стекол, я отправилась в «Главцветмет». Здесь был такой хаос, что трудно было поверить, что сюда не попала бомба. Мешки и ящики снизу и доверху были навалены бумагами, а перед открытыми шкафами сидели секретари и бросали папки одну в мусорный ящик, другую в

мешок для отправки.

По всей Москве в эти дни носились клочья черного пепла от сожженных бумаг.

В наркомате я встретила тов. Красова. Это был тот самый Николай, который во Владивостоке орал на извозчика «Гони на третий этаж, дам трешку». Он побоялся принять меня на работу, когда я откровенно рассказала все про арест отца.

Во времена студенческой жизни я знала Николая как хорошего парня, чуткого и отзывчивого. Он встретил меня приветливо, узнав причину моего прихода, он быстро оформил мои документы.

— Могу дать тебе направление, куда хочешь, но рекомендую на Чимкентский металлургический комбинат.

Пока мы с ним разговаривали, неожиданно, без всяких докладов, в кабинет вошли двое военных. Это были инженеры-ополченцы, окончившие наш институт. Поздоровавшись, они быстро и без всяких предисловий, стали рассказывать о том, что произошло с ними.

Эти два инженера сообщили, что они вернулись из-под Смоленска, где их эшелон разбомбили немцы, превратив его в кровавое месиво.

— Все дороги забиты отступающими войсками. А вооруженные до зубов немцы прут безостановочно, не оглядываясь. Впереди идут танки, а нам что, палками от них отбиваться? — с озлоблением подчеркнули они.

Любая война — вещь страшная, тем более современная, с ее танками, пушками, самолетами. Техническая оснащенность немцев раньше, до войны с нами, вызывала у многих восхищение. Теперь, когда с фронта стали доходить сведения, что немцы воюют техникой, что танки идут лавиной, сплошной стеной, а за ними мотомеханизированные части пехоты, а в воздухе носятся стаи самолетов, которые уничтожают на своем пути все, без разбора, сея смерть и ужас вокруг, — у всех появилось чувство страха, и в первые месяцы войны даже чувство какой-то обреченности — не выдержим. Вслух никто об этом не говорил, но у всех была тревога на душе.

Сообщения с фронта пока поступали скупо. Знали только то, что сообщали газеты, но им не верили.

— Да как же вы уцелели? — спросил Николай. — И что вы собираетесь делать дальше?

— Ничего, нас переформируют и снова отправят на фронт.

— А я думал мобилизовать вас на производство, там нам тоже нужны сейчас инженеры. Задержишься, приходи, — обратился он ко мне, — а лучше уезжай поскорее, пока пешком

идти не пришлось. Ты видишь, что творится? До свиданья, встретимся ли больше, когда и где?

— Здесь, в Москве, и при лучших обстоятельствах, Коля, — подсказала я.

Дома я застала мать за укладыванием вещей.

— Я решила, что с собой возьмем самое необходимое, может быть, в дороге и это бросить придется. Говорят, что все дороги из Москвы немцы непрерывно бомбят.

Я не возражала. Мама все делала обдуманно и обстоятельно.

— Я бы никуда не бежала, разве не все равно, где смерть найдет меня. Я вот за этих цыплят только боюсь, их мне жалко, — кивнула она головой в сторону игравших около нее детей.

Сколько спокойствия, сколько силы воли было в ее словах. На свою жизнь она смотрела, как на оконченную страницу, она жила только для нас, для своих детей. А ведь ей было только сорок семь лет. Как ее ломала жизнь, как много горя она перенесла — и все молча, стиснув зубы, даже не всплакнув при мне ни разу, чтобы не сделать больно мне. Она не сомневалась ни минуты в том, что сын ее пойдет на фронт и будет честно, как отец, как она сама, защищать свою страну. Она знала, что ее дети, так же, как и она, любят Россию. Она часто говорила, что если бы отца выпустили из тюрьмы, даже после всего, что с ним случилось, он был бы одним из первых в рядах защитников нашей родины, и я знала, что это чистейшая правда.

И глядя в это время на свою мать, на ее спокойное, рассудительное лицо, верилось, что все будет хорошо. Что в России есть чистые, честные матери, которые воспитали таких детей, которые, не щадя своей жизни, спасут Россию. Не ради каких-нибудь привилегий, а ради любви к России.

Расстрел Вани Никулина

Вечером к нам зашел наш старый приятель, ветеран Гражданской войны, старый друг и соратник товарища Е. Ф. Щаденко и Н. А. Щорса, погибшего в боях во время Гражданской войны. Ворошилова он знал по тем временам, как облупленного.

В годы террора, когда всех косили под гребенку, мы часто спрашивали его:

— Иван Павлович, как это вам удается оставаться целым и невредимым?

И он, отшучиваясь, отвечал: «Родился в рубашке».

— Ну вот, так сказать, товарищи, над нами висит пропасть, надо эвакуироваться, — сказал он, как только вошел к нам в дом.

— Да не пропасть над нами, а мы уже давно висим над

пропастью, — поправила я.

— Э, да разве в этом суть, а вот тикать надо.

— Куда же тикать? Защищать надо, а вы «тикать»!

— Защищал, и как защищал. Вот, — он хлопнул себя по ордену (один из первого десятка) «Красного знамени» — эмаль уже вся отлетела, и дурь вся из головы. Защищал. Вот на мне костюм английский, двенадцать долларов стоит, шесть лет ношу, все щупают и чмокают, какой хороший. А у нас инженер должен месяц работать, чтобы на костюм заработать, но в это время не есть и не пить. А кроме этого еще и «блат» иметь, а «блат» дороже инженерного оклада. На кой мне черт все это, я за свободу дрался, за равенство и братство, а где все те, что дрались со мной? Гниют в тюрьмах, сама же ты удивилась, когда увидела меня: «О, дай пощупать, ты ли это? А мы думали, что ты тоже уже „подписал“»! Да не только ты, все мои знакомые удивляются, что я еще жив и хожу на свободе. А сколько я слышал упреков: «Вот завоевали нам свободу и посадили нам на голову этого кавказского ишака». Вот был бы жив В. И. Ленин, ты понимаешь, было бы все: и костюм за 12 долларов и оружие, не отправляли бы на фронт солдат без оружия. Был вчера у Никулиных. У них жуткое несчастье.

— Ты знаешь, я уже слышала об этом.

— Так вот, грузовик, полный ополченцев, гнали куда-то за Смоленск, навстречу немцам, кто-то и спросил, а если немцы нападут, что же мы будем делать? Имея в виду, отсутствие оружия. Ваня Никулин развел руками, сделал жест, вроде руки вверх. Его здесь же на первой остановке на глазах у всех расстреляли.

Ваню Никулина расстреляли! Это было немыслимо.

Я знала его, как свои пять пальцев. Мы вместе кончали институт, после окончания института он работал в лаборатории легких металлов, один из самых трудолюбивых, самых талантливых научных сотрудников. Он был братом одной из моих лучших приятельниц Лизы Никулиной, «нашей двадцатипятитысячницы», тоже окончившей наш институт. Я знала, что Лиза была еще в городе, а Ванину жену, бывшую лаборантку нашей лаборатории, ребята сказали, что куда-то уже сослали.

— Скажи ты мне, кто виноват? Эти беззащитные люди или те сволочи (в своих выражениях против властей имущих он никогда не стеснялся), которые много трещали и мало делали для защиты своей страны и своих людей? А ведь здесь, вот здесь, у нас в нашей стране все могло и все должно было бы быть самое лучшее, в тысячу раз лучше, чем где бы то ни было в мире. Если бы не

этот проклятый кавказский ишак, который сидит у нас у всех на шее.

Он ненавидел Сталина до такой степени, что мог, когда речь заходила о нем, стукнуть кулаком по столу так, что посуда разлеталась во все стороны.

В это страшное, горячее время все молодые ребята, все студенты, у которых были даже на руках документы об освобождении от воинской повинности до конца войны, добровольно шли на фронт.

Но самым страшным в это время было то, что эту замечательную молодежь, готовую жертвовать жизнью для спасения нашей столицы, а значит для спасения страны, не только не могли вооружить до зубов, но даже не могли дать им в руки наши обыкновенные винтовки, а снарядили их польскими трофейными винтовками.

По существу, это ведь значило, чтобы хоть что-то было в их руках. Ну, скажите, кто был в этом виноват? Разве не Сталин? «Отец наш родной», отправлявший своих безоружных сынов на убой, и поэтому миллионы наших погибших безоружных воинов, которые воевали не оружием, а энтузиазмом, тоже лежат на совести Сталина. Не важно, где находился он в это время. Для спасения его драгоценной жизни стояли на всех парах самолеты и отдавали свои жизни миллионы безоружных Вань Никулиных.

Иван Павлович не мог простить Сталину гибели нашей военной верхушки, нашей военной элиты. Всех тех, кто окружал Сталина: Кагановича, Ворошилова, Буденного, Хрущева и других он считал ничтожествами, и что Сталин именно и окружил себя этими ничтожествами, чтобы быть среди этой шпаны первым, он же не выносит умных людей в своем окружении.

Но глубоко был уверен в том, что у Сталина есть какие-то закулисные люди, которые, как суфлер из будки, подсказывают ему, что и как делать, кого миловать, кого уничтожать, и они никогда не «засветятся», их никто не знает и знать никто не должен. Оставался один-единственный порядочный человек в сталинском окружении из старых большевиков, на кого у Сталина не поднялась рука — это Серго Оджоникидзе. И тот не выдержал, покончил с собой.

Ночевал Иван Павлович с женой у нас, вернее, всю ночь мы просидели в сыром подвале в бомбоубежище. Утром по радио сообщили: летело на Москву четыреста самолетов, после ожесточенного воздушного боя прорвалось только шестьдесят.

Мы с балкона наблюдали, как все кругом пылало, дым ел глаза.

— Только шестьдесят, — сокрушенно покачал головой Иван

Павлович, а что было бы, если бы все четыреста налетели?

Так как положение не улучшалось, а с каждым днем ухудшалось, мы решили: нельзя дальше задерживаться, надо скорее выехать из Москвы.

Хаос

Рано утром мы направились на вокзал, доехали до библиотеки Ленина. У входа стояло несколько милиционеров, лаконично отвечали всем «метро не работает». На вопрос «что случилось?» не отвечали.

Мы пошли к троллейбусу, на остановке двое рабочих грустно делились своими впечатлениями.

— «На чужой территории воевать будем», а «он» вот-вот до Москвы скоро допрет, и говорят, «туда» тоже уже «бомбочка» попала, — он выразительно кивнул в сторону Кремля.

— Слышала? — спросил Иван Павлович.

— Слышала.

— Вот так говорили в семнадцатом году о старой власти.

Наконец мы добрались до вокзала, привокзальная Комсомольская площадь была так забита народом, что казалось невероятным через это море голов пробраться к билетным кассам.

Иван Павлович, сверкая на жарком солнце своим орденом, брал штурмом завоеванные двадцать лет назад привилегии.

Ничего не помогало, и вдруг он случайно наскочил на знакомого работника Казанского железнодорожного вокзала, благодаря ему мы быстро получили билеты. Нам некогда было раздумывать. Нам надо было как можно скорее выбраться из этой каши, выехать из Москвы, из-под бомбежек, а дальше, решили мы, где-нибудь спокойно разберемся. Наш поезд уходил в восемь часов вечера, и мы поспешили домой. Солнце жгло невыносимо.

Излишне описывать душераздирающую картину прощания с родными, близкими, с теми, кто оставался в Москве, которую бомбили уже по-настоящему.

Еще не успел народ закончить посадку, проститься, не успел поезд тронуться с места, как пронзительно завыла сирена и загудели над головой вражеские самолеты. В поезде началась паника, перепуганные женщины и дети бросились к выходу, но двери оказались запертыми. По перрону тоже метались женщины с детьми, не успевшие сесть в поезд. Кирилл стоял у вагона и смотрел на прильнувших к окну детей.

Над нашим поездом летал вражеский самолет, единоборствуя с нашим истребителем. В этот момент поезд тронулся. Нет, не тронулся, а рванулся и помчался с невероятной быстротой.

Кирилл пробежал несколько шагов за поездом, взмахнул последний раз рукой и скрылся в белых облаках дыма.

Поезд то рвался вперед, то останавливался мгновенно. Гул самолетов не утихал. Вдруг рывок, все вещи полетели пассажирам на головы, у всех — испуганные лица.

Бомба разорвалась позади. Прогремел еще один взрыв… но опять сбоку.

Наконец все утихло, поезд остановился где-то на вокзале, на поезд накинулась с ожесточением толпа. Ломились в двери, лезли в окна, на крышу. Наиболее ловкие проникали внутрь, где дышать было трудно и стоять даже тесно.

Но все это ничего не значило по сравнению с ужасом, который я видела в глазах матерей, с детьми на руках цеплявшихся за подножки вагонов, почти в ночных сорочках. Господи, с какой же быстротой немцы движутся по нашей стране, думала я. Это все были беженцы с Западной Украины, из Польши, Бессарабии, Белоруссии. Женщины плакали, рассказывали, какие у них были дома, жаловались, что не успели ничего с собой прихватить, еле-еле ноги унесли.

Женщина из Белоруссии рассказывала, как она, покинув свой дом, старалась уничтожить все, чем могли бы воспользоваться немцы, даже кастрюли продырявила.

— Да хватит вам ныть о том, что было. Вы жизнь спасать ушли, о ней и думайте, все остальное придет. — посоветовал кто-то из сидевших рядом.

Мы прибыли на большую узловую станцию Лихую (название-то какое). Здесь было полно женщин и детей в ожидании отправки дальше. Подошла ночь, полил дождь, темнота кромешная. Дети не могли понять, куда и зачем мы едем, расплакались, умоляли меня: поедем обратно, мама, в Москву, пусть бомбят, но там же мы дома.

Но вот, наконец, подали состав для женщин с детьми, так было сказано. На него набросилась озверевшая толпа. Все лезли вперед, не оглядываясь, не щадя друг друга, не щадя никого. Матери растеряли детей… Я с двумя детьми на руках оказалась в центре этой толпы. Меня так прижали, что, если бы я опустила онемевшие руки, то дети все равно не упали бы. Наконец, обернув меня вокруг своей оси несколько раз, толпа своим стремительным потоком втиснула меня в вагон. Здесь я находилась в том же положении, не в состоянии шевельнуться или опустить детей. В вагоне женщины опомнились и с диким криком звали своих детей, но их голоса тонули в общем шуме толпы.

Итак, с двумя детьми на руках, я оказалась втиснутой в вагон, а мама с билетами и вещами осталась стоять на перроне вокзала

и грустно смотрела на всю эту душераздирающую картину. Тогда я, в ужасе, что поезд может вот-вот тронуться, а мама останется здесь, решила выбраться из вагона, но толпа напирала с такой силой, что я не могла даже повернуться. Тогда я передала детей через открытое окно вагона тем, кто стоял снаружи, и с трудом, кое-как вылезла сама. Очутившись на перроне, я здесь только увидела, что вся эта баталия, шла из-за одного вагона для «матери и ребенка». Все остальные, были переполнены, битком набиты военными. Кто распустил слух, что подадут состав для женщин с детьми?!

Володенька помог

Володя, подбежал к бабушке:

— Я бы всех этих дядей под поезд бросил, что они делают! — с возмущением ругал он идиотизм взрослых. — Брось, бабушка, все, и уйдем отсюда!

К нему подошел военный, посмотрел на Володю:

— Чудный ребенок, умница, ты чей?

— Это моя бабушка, а вон там моя мама с моей сестренкой, — ответил ему Володя.

— Хочешь, я возьму тебя к себе в вагон? — спросил военный.

— Только нас всех, — деловито заметил Володя, — а вещи можно бросить, они только мешают бабушке сесть в поезд, папа другие купит.

— Легко сказать купит, да нет, мы уж и вещи, — успокоил его военный.

Так мы, благодаря Володе, совершенно неожиданно очутились в вагоне, так же крепко-накрепко набитом людьми, но только военными. Почему при таком столпотворении этот военный решил втиснуть нас в свой вагон, трудно объяснить. Может быть, Володя напомнил ему сынишку. Не знаю. Но после того, как он нас посадил, мы больше его не видели, даже не могли поблагодарить. Военные в этом эшелоне отправлялись в Сталинград или еще куда-то на переподготовку. Увидев меня с двумя детьми на руках, один из военных встал, уступил мне место. Дети хотели пить, есть, но в вагоне было так тесно, что пошевельнуться нельзя было. Они голодные так и уснули у меня на руках, а о том, чтобы добраться до туалета, и речи быть не могло. Мама так и застыла в тамбуре, весь проход был битком набит стоящими и сидящими военными.

Станция Морозовская

Рано утром мы прибыли на тихую, спокойную станцию Морозовскую. Здесь расформировали поезд, вагоны с военными отцепили от общего состава, мы сошли и решили передохнуть, переждать.

После такой напряженной жизни в Москве, мы как будто сразу попали здесь на другую планету, тихую, спокойную. Наш Юг имеет какую-то особую прелесть, даже воздух какой-то бархатистый, более ласковый. Вокруг вокзала стояла небольшая толпа. Сюда прибывали эшелон за эшелоном с эвакуированными из Белоруссии, Бесарабии, Молдавии, даже из Латвии, Литвы, Эстонии и из тех частей Украины, которые уже были заняты немцами. Здесь, в этом тихом, спокойном, как показалось нам в это утро, месте всех выгружали, видно, в надежде, что сюда немцы не дойдут. Подъезжали подводы и развозили всех по окрестным колхозам, где урожай убирали женщины, старики и дети. Большая часть урожая пропадала в поле, повсюду нужны были рабочие руки.

Вот здесь, в этом тихом, спокойном месте, мы и все наши знакомые, кто ехал с нами из Москвы, решили тоже немного передохнуть, подождать несколько дней, а дальше видно будет, поедем дальше или, может быть, вернемся обратно в Москву. У всех еще теплилась какая-то надежда, что немцев так далеко не пропустят, что где-то их, все-таки, остановят, что сюда они тоже не дойдут и что забираться очень далеко, может быть, тоже не следует. И, как только немцев вытурят, мы все сразу вернемся обратно.

Это была большая казачья станица между Ростовом и Сталинградом недалеко от станицы Шолохова — Вёшинской. Самого моего любимого писателя. Весь тип и облик этой станицы был деревенский, но почему-то называли ее городом. Единственное двухэтажное здание, которое находилось с левой стороны от железной дороги и от вокзала, занимал горсовет. С правой стороны вокзала вдоль железнодорожного полотна протянулась широкая улица с маленькими уютными домиками.

Было тихое, спокойное, теплое утро. Я решила искать временное пристанище. Мама и дети оставались на вокзале. Навстречу мне шла дородная казачка в белом платочке, с кошелкой в руке, как видно, на рынок. На мой вопрос, где и у кого я могу найти временно комнату, задумалась, назвала несколько фамилий.

Я поблагодарила и пошла, но вдруг она окликнула меня и,

махнув рукой, предложила:

— Э, да чего вам искать, пошли к нам. К нам, правда, дочка должна приехать из Воронежа с ребятишками, ну а пока…

— Но я ведь не одна. У меня на вокзале мать и двое детей, — предупредила я.

— Да что там, заберем и детей, и айда к нам. Отдохнете, а там посмотрим.

Как же можно было отказаться от такого широкого гостеприимного жеста?

Она даже попросила у соседа подводу привезти маму и детей с вокзала.

Так мы очутились у милейшей русской женщины — Эмилии Филипповны.

Дом у нее был типичным домом казацкой станицы — две комнатки с сенями. Нам она предложила горницу. Это была самая лучшая комната для гостей, полная цветов. Несмотря на маленькие окна, солнце щедро заливало всю комнату светом. Стол, четыре стула, сундук — вот и вся незатейливая обстановка. В одном углу иконы, а в другом небольшая кучка зерна, ссыпанного прямо на пол. Вторая комната служила кухней, столовой и спальней для хозяйки и хозяина. Сенцы были завалены всяким скарбом. Старые кадушки, горшки, грабли, и вся эта рухлядь составляла хозяйственную ценность этого приветливого дома.

У порога — куст крыжовника и сирени, одинокое дерево, которое хозяйка пожалела срубить на дрова. Небольшой огородик простирался до самого порога, а вокруг этого крохотного огородика огромные участки, густо заросшие буйной дикой травой. Это были отрезанные от огородов участки, которые люди не имели право засевать и которые образовали огромное пустующее поле между усадьбами. А ночью, выйдя из дому или возвращаясь домой, люди косо смотрели на эти высокие заросли, как в старину смотрели на «гиблые заброшенные места», вокруг которых складывались легенды и страшные сказки про леших.

Из «движимого имущества» наша хозяйка имела несколько кур, корову, поросенка и двух собак по имени Гитлер и Кайзер. Гитлер сидел привязанный на цепи, а Кайзер, маленькая собачонка, хватала прохожих за икры. Обе были тощие и злые. Корова доилась, курочки неслись, на огороде была картошка и лук. Филипповна жила по местным понятиям вполне нормально. Она не была колхозницей, муж ее работал судебным исполнителем и относился к разряду выдвиженцев. Из-за выполняемой им работы он не был у населения в фаворе. И даже наоборот, когда я встречала крестьян, они при упоминании его

фамилии делали ужасно кислые физиономии и мычали что-то нечленораздельное.

Со своей стороны я могу сказать одно. Более милого, более приветливого человека трудно встретить.

Эта замечательная женщина мало того что приютила нас, она в тот же день зарезала курицу, приготовила вкусный обед и, как только выдоила корову, напоила детей парным молоком, как будто уже давно ждала нас в гости. Здесь, в этом доме, не было — это ваша, это наша еда. Мы чувствовали себя у них, как дома, как будто мы их и они нас знали всю жизнь.

И когда мы в конце декабря должны были уехать в Москву, а мама с детьми должна была временно, задержаться здесь, Эмилия Филипповна и ее муж, дядя Яша, целую неделю никак не могли договориться с Иваном Ивановичем и его супругой, у кого должна остаться мама с детьми. Филипповна и дядя Яша категорически заявили, что они детей не отпустят, так как они были первые, у кого мы остановились. Поэтому дети с мамой должны остаться у них и только у них.

Ну разве не трогательно было, что две семьи, с которыми мы познакомились, у которых мы жили в такое тяжелое время, никак не могли договориться, кто из них должен приютить детей и маму, пока мы не приедем за ними! До сих пор я не могу забыть этот двухкомнатный маленький уютный домик, в котором у Филипповны и дяди Яши маме с детьми пришлось прожить до мая 1942 года. И мама говорила, что дядя Яша ни разу, сев за стол, не начинал есть, если дети не были рядом за столом. А если он получал свой паек на работе — сахар или конфеты, то это лакомство хранили только для детей.

Завод

Здесь, в этом месте, где мы приземлились, война чувствовалась только в том, что почти все мужское население отсутствовало, а на следующий день после нашего приезда ко мне явился директор местного завода.

— Я слышал, вы инженер-металлург?

— Да, а что?

— Мне сообщили, что вы проездом, а нам позарез нужен инженер вашей квалификации. Выпускаем мы корпуса снарядов, многих квалифицированных работников и даже инженерно-технический персонал под горячую руку забрали в армию. С производством у нас не ладится. На складе стеллажи, полные корпусов снарядов, а военный инспектор все забраковал. Пожалуйста, помогите нам. А когда вам нужно будет уехать, мы

вам поможем.

Долго меня уговаривать не пришлось, разве можно было отказаться помочь? Я решила: действительно, там, куда я еду, инженеров, наверное, достаточно, а вот здесь дела плохи и, пожалуй, я буду пока здесь полезней. Вот это тоже одна из тех нелепостей, как и в институтах, где на фронт в самом начале, как будто с перепугу, отправляли персонал, позарез нужный на производстве.

Когда я пришла на завод, я тоже ахнула. Действительно, стеллажи огромного помещения склада от потолка до пола были завалены корпусами снарядов. Военный инспектор подошел ко мне: «Посмотрите, что творится, я ни одного, ни одного ящика не мог отправить, сплошной брак».

Итак, вместо того, чтобы передохнув, через пару дней двинуться дальше, пришлось остаться здесь надолго. Рабочий день у меня начинался в шесть часов утра и раньше. Уходила я из дому по петушиному крику, и скоро я так привыкла, что могла определить время без часов с точностью до пяти минут. Возвращалась домой часов в десять-двенадцать, а часто и в два часа ночи.

Работали без выходных, и детей видела я только спящими, когда усталая возвращалась домой на несколько часов, только поспать.

Работать было бы легче, если бы на заводе имелось все необходимое.

Кадры пришлось пополнить женщинами из местного населения и, частично, из числа эвакуированных, а их здесь было очень много. Битком был набит первый этаж горсовета и недалеко стоящая школа. Оттуда часто раздавались истошные крики «вы хуже фашистов», когда к ним подъезжали подводы, чтобы развести их по колхозам.

Начинать пришлось с адской работы для женщин, то есть с промывки и проверки. Надо было сначала промыть, освободить всю внутреннюю поверхность корпуса снаряда от лака. Для этого поставили огромные ванны, наполнили их бензином и начали отмачивать и очищать все лежавшие на стеллажах, забракованные военным инспектором корпуса снарядов. После промывки те, которые проходили тщательную проверку военного инспектора на годность, отправлялись на новое покрытие лаком, забракованные отправлялись в литейный цех на переплавку.

Покрыть лаком внутренность корпуса снаряда — работа почти ювелирная. Для этого пришлось спроектировать специальный аппарат, который нам в двухдневный срок выполнило предприятие в еще не занятом немцами Ростове. Лак

должен ложиться на внутреннюю поверхность снаряда так тщательно, чтобы даже с лупой нельзя было заметить какие-нибудь изъяны, воздушные пузырьки или какие-нибудь неровности.

Когда мы утром приходили на завод, тяжелый запах эфирных масел, лаков и бензина наполнял все цеха. Особенно тяжело было в том цехе, где стояли огромные ванны, наполненные бензином. Казалось, здесь можно задохнуться. Женщины, засучив рукава, тряпками и щетками очищали от лака корпуса снарядов внутри. Можете себе представить, если бы какая-нибудь искра сюда попала.

Вентиляция почти отсутствовала. Завод был наглухо закамуфлирован, все щели, откуда мог проникнуть свет и воздух, были наглухо закупорены.

Работали все очень напряженно, от работы трудно было оторваться, ведь работали все на предприятии теперь оборонного значения.

Женщинам свое хозяйство приходилось оставлять чуть ли не на попечении семилетних ребятишек с младенцами на руках.

Подошла ко мне женщина и попросила отпустить ее часа на два домой, посмотреть, подоить корову — сегодня заболел ее семилетний сынишка и некому напоить и выдоить корову, а на его попечении еще осталась двухлетняя сестренка.

Корову посмотреть! Корова, была в хозяйстве все, и мать просила дать ей пару часов не за больным сыном посмотреть, позвать к нему врача, а корову посмотреть. Она беспокоилась и думала, что, не дай бог, что-нибудь случится с коровой без надзора, а, следовательно, с семьей без коровы. Я отпускала таких женщин, на свой страх и риск. Но, что меня поражало, что все они безропотно и быстро возвращались на работу.

Похоронка

Но вот пришла женщина и дрожащей рукой протянула извещение. В опухших от бессонной ночи глазах ужас, боль и страдание за детей, за семью и за того, чья судьба и жизнь были решены без нее. И все, что осталось ей — это серая бумажка, которая жгла пальцы, как раскаленное железо. Перед этой бумажкой все наши горести были не горести, а просто блажь, и как бы тяжело нам ни было, вся наша работа казалась мне такой незначительной, и как мало мы делаем для того, чтобы облегчить судьбу тех, кто на фронте.

Трудно было подобрать слова для сострадания, да и ни к чему они были. Разве можно было найти подходящие слова,

чтобы успокоить измученную, усталую душевно и физически, ушедшую в себя с момента получения рокового известия с фронта женщину. А на завод все чаще стали приходить женщины с извещением о гибели мужа, сына, отца, брата, при виде их все молча, с еще большим ожесточением брались за работу.

В такие дни не слышно было в цехе ни громких разговоров, ни жалоб. Все работали с остервенением, только изредка поглядывали на нашу Петровну или Настеньку. Мы содрогались при виде такого мужества, мне всегда казалось, легче было бы, если бы вдруг вот эта Настенька или Петровна крепко, по-бабьи, громко заголосили. Но этого не было. Женщины подходили к станку и, забыв о еде, об отдыхе, брали деталь в руки и начинали работать. Вот и Петровна как будто слилась со станком, и только ее руки ритмично и ловко мелькали у станка.

Кончилась смена и наша Петровна, как будто выросши выше всех на голову, прямо и строго, пройдя мимо всех, вышла за ворота завода.

И только далеко за полночь, проходя мимо ее дома, я остановилась у ее калитки. Кругом все спали. И только из этого дома, как из склепа, доносились страшные стоны, как вой смертельно раненного животного. Сколько тоски и сколько страданий было в них! Я шагнула было за калитку, желая войти, но, вспомнив сегодняшний день, быстро зашагала домой. Ей не нужны были никакие утешения.

Прошло несколько дней, она все так же молча приходила на работу, а по ночам деревенскую тишину все громче пронзали ее стоны.

Я подошла к ней:

— Ты вот что, Петровна, отдохни денечек-второй, ведь ты не ешь, не пьешь, надолго ли тебя хватит.

— То-то и жаль, — отвечала она, — что не хватит, а то бы я, кажись, и день и ночь работала, щоб всим супостатам по одной зробиты (что бы всем этим палачам хоть по одной сделать), та вы не турбуйтесь, скильки зможу, стильки и зроблю (вы не беспокойтесь, сколько смогу, столько и сделаю).

Женщины мне тоже сочувствовали. Мы как-то живем, хоть маленький да есть огородик, да курочек несколько, а у кого и коровка есть, так тем совсем хорошо, а у вас ничего, все купить надо, а разве сейчас, да в чужом месте, до чего-нибудь докупишься?

Моя работа на этом заводе доставляла мне огромное моральное удовлетворение, ведь все, что я делаю, делаю для фронта.

Мне не хватало суток, жалко было 3–4 часа времени,

затраченного на сон.

Как только я осталась здесь, я сообщила в Москву, что как налажу работу, немедленно выеду по назначению.

Война. И какая разница, на каком заводе я работаю, и особенно вот здесь, где моя помощь действительно была очень необходима. Вся забота о семье легла на плечи мамы.

Несмотря на то что наш завод работал на полную мощность, мы все равно все время старались вмонтировать еще новые станки, завезенные откуда-то с других предприятий, и видно, тоже как в безопасную зону. Монтаж новых станков шел вовсю, и никто не думал о том, что может быть и старые надо будет скоро снимать и эвакуировать, так потом и было, но тогда, когда работа шла полным ходом, никто об этом не думал, они были позарез нужны.

И когда все беспомощно лежавшие до моего прихода на стеллажах корпуса снарядов были промыты, очищены, проверены, одобрены военным инспектором и уложены в зеленые ящики для отправки дальше, туда, где их уже начиняли гремучей смесью, радости всех рабочих не было границ.

Они вызвали меня и, указав на надписи на внутренних крышках ящиков заявили: «Мы отправляем все от вашего имени». И несмотря на все мои просьбы снять мое имя, все дружно запротестовали, заявив: «Да мы бы без вас до сих пор копались».

Работа так хорошо наладилась, что план был не только выполнен, но и намного перевыполнен. Военный инспектор вызвал себе помощника, и очень грустно было ожидать изо дня в день после занятия немцами Ростова, что вот-вот может прийти распоряжение снимать станки и эвакуировать заводское оборудование.

И как только попросила я отпустить меня, чтобы отправиться по назначению «Главцветмета», директор завода не заявил, а завопил:

— Да вы что?! Какое я имею право отпустить вас, вы посмотрите кругом, что было до вас. Мы не отправили ни одного корпуса снаряда, а теперь мы не успеваем отправлять.

И ласково обвел пустые полки склада глазами.

— Я вам открою секрет, мы вас к ордену представили. Так рабочие захотели. Как же я могу вас отпустить?

— Да нет, мне не орден нужен, мне нужно скорее выехать по назначению, меня там, может быть, тоже ждут, — настаивала я.

— А я уже послал телеграмму в ваш «Главцветмет» с просьбой, чтобы вас не трогали, мы вас все равно не отпустим.

В это время секретарь из другой комнаты закричала:

— Нина Ивановна, вам опять телеграмма.

— Я же вам приказал телеграммы, поступающие на имя Нины Ивановны из «Главцветмета», передавать мне, — заорал директор из своего кабинета на нее.

Нашей милой Эмилии Филипповне дочь тоже сообщила, что она скоро приедет из Воронежа с двумя детьми.

Вот вам тоже парадокс военного времени. Почему все думали и считали, что Морозовская на пути к Сталинграду более безопасное место, чем, например, Воронеж?

Иван Иванович и Надежда Петровна

Поэтому мы временно переехали жить к Ивану Ивановичу и Надежде Петровне. Иван Иванович — крепкий, среднего роста мужчина, бывший красный партизан, был когда-то в партии, как он мне рассказывал. Вышел в 32 году, не выдержал коллективизации.

Мой Володя ходил теперь с уполномоченным Иваном Ивановичем и предупреждал соседок:

— Окна не открывать, свет не жажигать.

И все улыбались.

— Во, какой строгий появился у нас квартальный уполномоченный!

Хозяин нашей квартиры Иван Иванович оказался невероятно добрым, понимающим человеком. Он ездил куда-то в колхозы, что-то там делал, помогал и за это получал какие-то продукты, муку или овощи. За компанию он всегда брал с собой Володю и всем представлял его как «мой внучек».

И вот однажды кто-то спросил:

— Откуда у тебя такой внук?

И Иван Иванович ответил:

— Да это беженцы у нас остановились.

Володю так горько обидело слово «беженец», что он всю обратную дорогу с Иваном Ивановичем не проронил ни слова. И когда Иван Иванович спросил у него:

— Ты что молчишь?

Володя ответил:

— А ты зачем меня «беженцем» назвал?

Почему его, четырехлетнего мальчика, так горько обидело слово «беженец»? Ведь это отвратительное слово «беженец» возникло и вошло в обиход в 1-ю Мировую войну, но об этом Володя, конечно, ничего не знал, и до сих пор для меня остается загадкой, почему это так горько обидело его. У него, по-видимому, это ассоциировалось с тем, что это не просто бежать, а бежать надо куда-то, от кого-то, от чего-то очень опасного, а это

казалось ему очень унизительным…

Иван Иванович всегда делился с нами привезенными из колхоза продуктами. Мы тоже в долгу не оставались. Но вопрос в данном случае был не в деньгах, а в той любезности, которую он нам оказывал. Ведь это были продукты, а продукты в это время были дороже денег. И это была уже вторая семья, у которой нам пришлось остановиться, и которая так же трогательно помогала нам, как своим близким родным. Я со студенческих лет умела ценить такое отношение и всегда старалась, если могла, расплачиваться в десятикратном размере, но люди ведь делали это, не ожидая какой-либо щедрой расплаты.

Вспоминаю, как этот простой человек долго вечерами ожидал моего возвращения с работы, чтобы только спросить, какие новости, узнать и услышать где что происходит. Никаких средств информации в это время почти не существовало, радио были конфискованы, телефоны не работали, только газеты, которые если и приходили, то это уже были не новости. Связь с Москвой была нарушена до такой степени, что даже письма доходили с большим трудом.

В то время я курила, а курево тоже было, как говорят, «дороже золота», так он всегда берег для меня либо табак, либо папироску и, присев на корточки у дверей, долго расспрашивал о новостях. Меня всегда поражала его любознательность и жажда знать не только то, что происходит в нашей стране, а то, что происходит во всем мире. О своей прошлой партийной принадлежности говорил он с глубокой болью и грустью.

— Отправили меня на село, а я, як глянув, — рассказывал он, — Матерь Божия, чого ж там до колективу заганять, ище трошки и до могылы не хватыло б духу долизты, а я з оцым партбилетом, уполномоченный вид району. Глянув и ришыв, — який мене черт сюды притащив? Душогуб я? Зайшов я в одну хату, дывлюсь, сыдыть жинка, щось пригорнула до грудей, страшна — як смерть, а молода, слезы у два ручаи. Чого, кажу плачешь? А вона глянула на мене зи злистю, тай каже: «Тильки й залышылось, що плакаты, у мене дытына хвора, ничым накормить. Недили не пройшло як вмерла маты, так мени и досок на домовыну не далы, кажуть — твий чоловик до колхозу не хотив идти, так оце як знаете, так и ховайте. Заплакала я та и вернулась. Зломала лежанку на домовыну, а тут и дочка захворила, там ще двое бигають голопузи та голодни».

Я як уполномоченный, мав все и питы и йисты, прийшов до дому та до рота ничого не лизе, як згадаю (вспомню) ту жинку. Забрав хлиба, масла, та пишов в той дим виднести дитям. Зайшов, дивлюсь на столи лежить дивчинка — тонюсенька,

гарненька, очи закрыти, рученята зложены хрестом. Як побачила мене мати, та як закричить — Геть звидциля, душогубы прокляти, и живым, и мертвым нема покою вид вас.

Страшна, очи, як блискавки (как молнии), два хлопчика прыгорнулысь до ней, та плачуть. Выскочив я из хаты, цилу недилю день и ничь пив, де я не був, звидсиля (отовсюду) на мене дывылись ци страшни очи, та тонюсеньке дивчаче обличье. Став я, як лисовый зверюга (зверь лесной), вернувся до дому, а там уже мене ищуть, покликали мене до райпарткому, та давай мене лаяти (ругать). И як воны мене не обзывали. Выгнать тебя из партии надо, кричалы воны, бо ты не имеешь классового чутья, прихвостень ты, а не коммунист.

Так я взяв свою книжку, положив на стол, та и кажу.

— Я у сю свою жисть воевав за кращу долю нашу, а с жинками та с детьми не вмию.

Та яке классовое чутье треба? Колы я вижу, что лупять нашего брата, как сидорову козу. Ну и довго мене тягалы, и в холодной посидив трошки, а теперь я «сволота безпартийна», спасибо свои хлопци були, та и выручили, а то бы послали вшам на корм, туды де дочка моя зараз.

Каторжанка Мария

Дочь его — Мария, действительно, была выслана, находилась в Соликамске в концлагере уже три года и писала оттуда жуткие письма. Срок ее ссылки в 1941 г. кончался, а так как она была осуждена за растрату, то по истечении своего срока она могла рассчитывать на возвращение. Воров, растратчиков и убийц, почему-то так называемый «социально близкий элемент» (кому он социально близкий, было непонятно), все-таки время от времени выпускали, но не политических.

Но Марии не повезло, ее срок окончился в июне, ее задержали, и как только грянула война, сразу понадобились люди для строительства военных укреплений. На эту работу были согнаны так называемые «бытовики» из концлагерей, разбросанных по Союзу.

— Даже после трех лет лагеря мне показалось, что я попала в ад. А о том, что я живой оттуда выберусь, я старалась и не думать, — рассказывала потом мне Мария. Она вернулась домой в темную осеннюю ночь. Шел бесконечно нудный дождь, дул сырой холодный ветер, разбрасывая капли дождя в разные стороны. Деревья со стоном клонились то в одну, то в другую сторону. Зловеще гудел в трубе, прорываясь сквозь щели в дом, ветер и, леденя ноги, гулял по комнате, а я с ужасом думала, что

вот в такие ненастные ночи миллионы наших прекрасных ребят ходят, бродят по нашей земле, в грязи, в огне, в бою, в поисках смерти.

И сейчас вот в эту ночь где-то тоже взрываются бомбы и из разрушенного дома народ должен бежать на улицу, в грязь и холод, с детишками. Счастливцы те, кто, завернувшись потеплее, могут крепко спать.

Вдруг послышался шорох, как будто кто-то в темноте искал дверь, потом неуверенный, слабый стук, и все замерло…

Мы все разучились крепко спать, несмотря на усталость. Затаив дыхание, я снова услышала шорох и царапанье в дверь, как вдруг что-то упало и с грохотом покатилось по ступенькам крыльца. Мы все поднялись в соседней комнате, зашевелилась Петровна и Иван Иванович, кто-то искал свечку, кто-то лучину. Дверь открылась, и через секунду сквозь пронзительный свист ветра, наполнившего весь дом, я услышала сдавленный крик матери:

— Мария, доченька, помогите мне скорее.

В дверях показалась мать, волоча своего ребенка. Мы все бросились к ней, и через несколько минут Мария лежала на постели.

Даже разжечь огонь в эту ночь в плите не удалось, так мокро было все, и та небольшая горсточка дров, которую берегли на завтра, не успела высохнуть в печке, так как она уже остыла.

Утром я ушла на работу и вернулась, как всегда, поздно ночью. В нашей комнате сидела девушка среднего роста, коротко остриженная шатенка, с обрюзгшим, опухшим лицом лилового цвета. Сиплый, простуженный голос, когда она говорила, казалось, она нажимает на какие-то меха, выталкивая звук вместе со свистом.

Я подала руку:

— Мария, здравствуйте, как чувствуете себя, полежали бы, отдохнули.

Она сунула мне неумело свою твердую мозолистую руку, которую я крепко пожала.

— Не могу лежать, отвыкла, — глухо проговорила она.

Сидела она молча, угрюмо глядя на меня. Вид женщины, одетой по-городскому, как она мне потом рассказывала, смутил ее.

Да и действительно, я была одета так, как будто собралась идти на деловое свидание. На мне был один-единственный синий костюм, который я бензином чистила, гладила и который так и проносила всю эвакуацию. Другого наряда, кроме нескольких блузок, у меня с собой просто не было.

Поэтому и мастер на этом заводе, когда я пришла, вначале смотрел на меня с глубоким недоверием, как это я смогу справиться с такой нелегкой мужской работой в таком городском наряде.

Но скоро в этом доме начались неприятности.

Пока Марии не было, все вспоминали ее, плакали. Но вот она вернулась, и как будто этим оскорбила свою семью. Грубая, озлобленная, она каждое свое слово пересыпала невероятными ругательствами. Ей казалось, что она лишняя, ненужная. Хорошее обращение к ней она принимала за насмешку. Плохое отношение ее убивало.

И я с ужасом наблюдала за ней, как она сумеет приспособиться. В двадцать лет она уже была разбитый, искалеченный человек. Сестры, ожидавшие ее, берегли ей либо кофточку, либо платье. И вдруг сестры стали сторониться ее, стеснялись появиться с ней среди подруг. И Мария почувствовала себя одинокой, даже более одинокой, чем в концлагере, среди десятков тысяч таких же обездоленных жизней, как и ее. На мать и отца она смотрела с укором. Она обвиняла их в том, что они не сумели уберечь ее, а они страдали по-своему. Они были рады, когда их старшая дочь была взята кассиром в кооператив. Думали, что дочь станет служащей, приобретет специальность и выйдет в люди…

Но никто из них не предвидел, что она может стать жертвой опытного проходимца, председателя кооператива, устраивавшего попойки с кучкой своих друзей. Бралась водка, брались из кооператива продукты, а малоопытный кассир не умела, не знала, как скрыть эти недочеты. Нагрянула ревизия, денег у нее в кассе не хватило триста-четыреста рублей.

Председатель взял еще водки и закуски, и дело «уладил». А она дивчина молодая, с нее и «взятки гладки». И вскоре Мария под вопли матери исчезла в бездонной пропасти тюрьмы. И только через год написала из далекого Соликамска.

Люди не привыкли встречать вернувшихся из тюрем и лагерей, хотя и бывало это очень редко, поэтому каждый оплакивал близкого, отправляемого туда, как уже окончившего жизнь человека. И попавшие туда приучали себя не думать уже о прошлом, а жить, чтобы как-нибудь выжить, не надеясь на хороший будущий конец.

Мария оказалась в своей семье чужой, слишком разная жизнь была у нее и ее сестер. Они были молоды и не стремились понять ее.

Постепенно она привязалась ко мне и в долгие ненастные ночи рассказывала обо всех ужасах, пережитых ею в сырых,

темных бараках, где зимой замерзали, а летом задыхались от духоты и вони.

Рассказ Марии

Все женщины были в отдельном лагере за двойной проволокой. Встречаться с обитателями мужского лагеря не разрешалось.

— Вначале было не так строго, и некоторые женщины находили утешение в разврате, — рассказывала Мария. — Рядом со мной на нарах жила девушка артистка, очень красивая, у нее завязался роман с одним инженером из мужского лагеря. И вот начальство узнало, что она беременна. Ее назначили в штрафную бригаду. Мы пилили лес, таскали бревна, корчевали пни, она стала страшной, почти помешанной… Норму она не могла выполнить, и ее почти не кормили, когда она падала, ее поднимали пинками.

«Нагулять сумела, теперь поработать сумей», — издевался над ней садист начальник.

Нас погнали в лес, впереди шла девушка. Она, согнувшись вдвое, держала один конец бревна и вдруг, поскользнувшись в жидкой грязи, она упала, бревно сорвалось, ударило ее по голове и прокатило всей своей тяжестью по ней. К вечеру Ксана умерла, а на другой день и Сережа, из мужского лагеря, перерезал себе вены. После этого у нас стало очень строго, — продолжала свой печальный рассказ Мария.

Гнали нас на работу в шесть и возвращались мы ночью мокрые, грязные, усталые. Падали в этой же одежде на нары и засыпали как убитые. Пошли эпидемии, болезни… У меня все тело покрылось фурункулами. Пришли утром гнать на работу, а я не могу головы поднять… Бригадир схватил меня и стащил с нар, вытащили на улицу и поставили в шеренгу со всеми. Ходила я на работу неделю, но работать не могла. Наконец я пошла к начальнику, тот раскричался на меня:

— Симулировать! — я тебе покажу, как от работы отлынивать. Вот загоню в штрафную, будешь тогда помнить!

Меня не испугала его ругань, я стояла и требовала, чтобы меня отправили к лагерному врачу.

— Врача тебе? Марш на работу!

Тогда я, безо всякого стыда, геть — сняла всю одежку, осталась почти голая. На теле у меня не было живого места, гной, кровь — все слилось и облепило меня, как корой.

Мария стыдливо подняла блузку, я отшатнулась — вся спина, начиная от шеи, была покрыта еще свежими шрамами.

Он, как увидел, закричал:

— Вон отсюда в амбулаторию!

Врач посмотрел, глазом не моргнул, видно привык к этому. Ни мази, ни бинтов все равно не было… Облил меня какой-то жидкостью, я надела снова свою одежду и пошла на «легкую работу». Колола дрова, убирала грязь в бараках, мыла полы… Как я живая осталась, сама не верю, — грустно закончила свой рассказ Мария.

С отъездом пришлось задержаться

Бои шли уже на подступах к Ростову, но здесь было пока спокойно, было только напряженное состояние — а вдруг… Наши войска потихоньку отступали, двигались на восток, в том же направлении шла и эвакуация.

В дом вошли первые красноармейцы. Они неловко и стыдливо жались у порога и на самых разнообразных наречиях и акцентах, спрашивали:

— Нам бы, хозяюшка, где-нибудь переночевать.

И, рассевшись вокруг стола в ожидании, когда будет готова каша из концентрата, угощали хозяйку, потом раздавали своим. Если был остаток, предлагали попробовать солдатской еды другим членам семьи. Иногда хозяйка, если в доме было что-либо из продуктов, предлагала им взамен. Особенно они радовались соленым огурчикам, капусте или просто свежей луковице. Они рассказывали массу интересных эпизодов из своей боевой практики, как сдавали города, как выбирались из окружения.

«Днепропетровск немцы сильно бомбили, мы оставили его без боя, боясь немецкого окружения. Город охватила паника, взрывали заводы, крупные здания, склады, уничтожали продукты, устанавливали мины, несколько дней немцы даже боялись занять его.

Наши части, стоявшие ближе других к городу, решили вернуться в город, поглядеть, что же там творится. Они увидели, что там все коромыслом, любую машину военную перепуганное население принимало за немецкую, и, представьте, нам кидали цветы в автомобили, а в одном месте на рушнике даже хлеб и соль притащили.

Зашли мы в какой-то заброшенный магазин. Нашли ящики конфет да печенья, погрузили в машину и угощали всех по дороге».

Ребята рассказывали наперебой.

Спали они, не раздеваясь, снимали только тяжелую обувь. Возвращаясь с работы поздно ночью, я спотыкалась в темноте о

тела усталых бойцов, лежавших вповалку на полу. Тяжелый запах махорки, масляной коптилки, испарений грязных тел создавали такую тяжелую атмосферу, что трудно было дышать.

Как только прошел слух, что Ростов-на-Дону заняли немцы, в Морозовской появилось много военных, хорошо оснащенные технические части. К крыльцу нашего дома подъехали машины со средним и высшим комсоставом, они заявили:

— Ну вот что, хозяюшка, вам придется потесниться, этот дом и эту улицу занимаем мы.

Это были части политуправления Южного фронта, которые прибыли и здесь задержались.

У меня в это время разболелся зуб, да так, что я готова была своими собственными руками вырвать его. Но зубной врач, посмотрев, сказал, что он ничего сделать не может, что вырвать зуб в таком состоянии нельзя и что я просто должна терпеть. А это было во время сумасшедшей работы на заводе. Забежав после врача на минутку домой, я встретила здесь группу военных, и среди них одну женщину. Они все громко смеялись. Увидев подбежавшего ко мне Володю, они спросили:

— Это ваш сын?

— Да, а что?

Женщина в военной форме со смехом сказала:

— Я подошла к нему обняла, хотела поцеловать, и вы знаете, что он мне сказал? «Из женщин я целую только маму». Такая глубокая преданность.

Как только я вернулась на работу, женщины, эвакуированные из Одессы, Николаева, Херсона и всевозможных других мест, которых выгружали здесь, как будто это была более безопасная зона, и которые работали у нас в конторе, по секрету сообщили мне:

— Думаем уезжать дальше в Ташкент, в Среднюю Азию. Нина Ивановна, поедемте с нами, ведь каждый день могут нагрянуть немцы, вы не боитесь?

— Не могу, ведь у меня завод, не могу же его бросить.

Про себя я решила, как только получим распоряжение об эвакуации и начнем грузить станки и оборудование, я сразу вырвусь и уеду.

И наконец пришло распоряжение об эвакуации заводского оборудования, что потребовало приложить невероятное количество физических и моральных усилий. Так жалко было прекращать работу, ведь завод не кастрюли выпускал, а корпуса снарядов. Когда работаешь на заводе, станок становится для тебя почти одушевленным предметом. Мы старались вывезти все. Часть драгоценных станков еще находилась в цехах, часть уже

валялась у железной дороги, ржавея и портясь под дождем в ожидании погрузки. Мы ничего не хотели оставлять немцам.

Погода стояла отвратительная. Дождь хлестал день и ночь, превращая все вокруг в грязь и месиво, завод стоял окруженный водой, как Ноев ковчег, и мы ждали, когда наступят заморозки. И заморозки наступили, да такие, что все оказалось под толстым ледяным покровом.

Наиболее квалифицированную часть рабочих предписывалось также эвакуировать. Был составлен список, в котором числилась и я.

— Степан Николаевич, не могу я с вами поехать, я должна поехать по назначению.

— Я прошу вас, не бросайте нас, нам вы нужны позарез, — он просто умолял меня. — Я буду все делить с вами пополам, я вам клянусь, куска хлеба без вас не проглочу. Мы уже вас к ордену за вашу работу представили. Нам нельзя без вас, — снова и снова без конца повторял он.

Вопрос о хлебе, как и повсюду, на этом заводе был очень существенным. Карточки сюда не дошли, и каждый местный житель выходил из положения, как умел. Иногда чуть-чуть что-то перепадало через маленький заводской ларек, стоявший прямо напротив входа на завод. Но чаще всего там тоже было пусто.

Я вспоминаю очень грустный случай. Соседка, жившая напротив нас, рассказала мне: «Я отрезала кусочек хлеба и дала Володюшке, и вижу, что он не съел, а бережно хранит. На мой вопрос „почему ты не ешь?“ он ответил: „Сегодня моя мама ушла на работу голодная, у нас не было хлеба“. Я отрезала ему еще и сказала, что это для тебя. Я была так глубоко тронута заботой этого ребенка о матери». Поэтому заявление директора делить со мной, в то уже полуголодное время, последний кусок хлеба пополам было весьма существенно и весомо.

Мне тоже было очень грустно расставаться с этим предприятием и со всем коллективом, но я все же решила, попробую отправиться туда, куда мне рекомендовали поехать по назначению, а дальше, думала, видно будет, может быть, снова сумею вырваться и вернуться к ним.

Мы простились с директором тепло.

— Смотрите, если вы вместо Чимкента сумеете завернуть к нам, в Чкаловск, на меня за вашу помощь можете рассчитывать, как на отца родного.

Знакомый из Киева

Пока Ростов-на-Дону не был занят немцами, все почему-то

рассматривали Морозовскую, как я уже раньше сказала, как «безопасную зону», как будто были уверены, что сюда немцы не дойдут, что сюда их не пропустят. Поэтому сюда, как на станцию «березайку», прибывали эшелоны эвакуированных, здесь их выгружали и отсюда развозили по окрестным колхозам. Вероятно из тех же самых соображений и той же самой уверенности, что немцы так далеко не дойдут, многие предприятия из Киева и из других мест, видно, тоже, как в безопасную зону, были эвакуированы в Мариуполь.

Даже мама как-то предложила мне, что, может быть, она с детьми поедет в Мариуполь, к дедушке.

— У него там дом, пасека, как-нибудь переждем.

Почему-то все думали, что там самое спокойное место. И вдруг на вокзале я встретила знакомого из Киева, директора крупного завода.

— Борис Николаевич, какими судьбами? Откуда вы?!

Он сообщил мне, что его жена с сыном и многие другие семьи его сотрудников были эвакуированы из Киева именно вот сюда, как в наиболее безопасную зону.

А полные железнодорожные составы с наиболее ценным оборудованием были отправлены из Киева (поверите или нет, видно из тех же соображений, что туда немцы тоже не доберутся) прямо в Мариуполь. И только тогда, когда они уже прибыли в Мариуполь, обстановка на фронте настолько изменилась, что они поняли, что это один из самых неудачных вариантов. Тогда собрали совещание для решения вопроса, куда и как они смогут выбраться из этого тупика (Мариупольская железнодорожная линия, я знала это очень хорошо, действительно, тупик), и когда они вышли с этого совещания, не успев ничего еще решить, они вдруг с ужасом увидели, спокойно разгуливающих по городу немецких солдат.

Оказывается, пока они совещались, немцы сбросили десант на безоружный, спокойный Мариуполь. И, конечно, вся верхушка, особенно партийно-административная часть, разбежалась, спасая свою жизнь.

Несколько человек, в том числе и сам Борис Николаевич, закопали где-то свои партбилеты, переоделись из своей полувоенной формы в какую-то крестьянскую одежду и, с большими трудностями выбравшись из этой уже оккупированной зоны, очутились вот здесь, в Морозовской.

Добравшись сюда, в так называемую «безопасную зону», они изо всех сил старались восстановить свою партийную принадлежность, не находя особого сочувствия к себе у местных партийных организаций.

Великая московская паника

В это время, 16 октября, немцы были настолько близко от Москвы, что в Москве произошла такая паника, что этот день вошел в историю, как «день великой московской паники» или, как говорили тогда, «октябрьский позор Москвы». В этот день произошло самое большое разграбление Москвы, были полностью опустошены, разграблены не только ювелирные магазины, а все магазины, продовольственные склады, фабрики, холодильники. Многие директора магазинов, складов, банков бежали, нагрузив машины, подводы, прихватив с собой самые ценные вещи, ящики ювелирных изделий, мешки с деньгами, даже слитки золота, — это был повальный грабеж города Москвы.

Бежал также в панике весь партийный аппарат, уничтожая и бросая на произвол судьбы все партийные документы.

О том, что в это время творилось в Москве и под Москвой, даже скудно поступающие сведения леденили душу и приводили всех в содрогание. Все уже знали, что там, на подступах к Москве, идут не просто жестокие, а жесточайшие бои и все учреждения и предприятия эвакуированы из столицы.

Неожиданная встреча с Кириллом

Наконец, как только я решили выехать отсюда, к нам сразу же присоединились еще человек пятнадцать. Мы все собрались на перроне вокзала в ожидании поезда, идущего со станции Лихая на Сталинград.

Рано утром я зашла в переполненный вокзал, чтобы спросить, когда ожидается прибытие нашего поезда, а в это время как раз прибыл поезд из Сталинграда, и кассирша, ответила: «Через 15 минут после отбытия поезда, прибывшего только что из Сталинграда». Я пошла к выходу, и у самого выхода вдруг передо мной появился, как привидение, Кирилл. Он сошел с поезда, только что прибывшего из Сталинграда.

Господи, только в военное время происходят такие странные вещи, такие «чудеса», которые в нормальных условиях трудно даже объяснить. Он не меньше меня был удивлен нашей встрече на вокзале. А увидев, что мы все ждем поезд на Сталинград, откуда он только что выбрался, заявил, что в Сталинграде сейчас творится что-то ужасное, неописуемое, там полное столпотворение. А что происходит на переправах через Волгу, вообще не поддается никакому описанию. Народ сидит у причала в надежде выбраться, паромы переполнены, люди тонут на глазах у всех. Врачи усиленно борются с эпидемиями разных

заболеваний.

Я никак не могла прийти в себя. Опять на войне, как на войне. Такие почти неправдоподобные случаи происходят, кажется, только в самые напряженные моменты жизни. Если бы я не вошла внутрь вокзала, Кирилл пошел бы в город искать нас, а мы через 15 минут сели бы в поезд, идущий на Сталинград и… разминулись.

У Кирилла с собой ничего, буквально ничего, не было. Он сказал, что его просто втиснули в последний, уходивший с московского вокзала эшелон, который выгрузили где-то в Саратове, и здесь все сидели на нераспакованных ящиках и ждали, а под Москвой в это время шли самые тяжелые, самые кровопролитные сражения.

Рассказы прибывших вместе с Кириллом людей были ужасны. Налеты на Москву и бомбежки не прекращались. Москва задыхалась от дыма, люди в панике жгли и выбрасывали на помойки все книги, бумаги, портреты, партийные документы, двери не просто каких-то учреждений, а военкоматов и партийных организаций были настежь все открыты, и по улицам носились бумаги с грифом «совершенно секретно».

Все они советовали пока здесь переждать в надежде, что, может быть, обстановка немного успокоится.

И все, кто ожидал с нами на вокзале поезд на Сталинград, решили пока переждать, в том числе были и мы.

Когда я вошла в наш наполовину эвакуированный завод, все мне очень обрадовались. Директор рассказал Кириллу, как они не хотели меня отпускать, и сейчас он надеется, может быть, я раздумаю и останусь с ними.

Теперь мы переехали в опустевший заводской детский дом, часть которого уже заняли войска политуправления Южного фронта.

Наш завод еще не был полностью размонтирован, еще не все цеха опустели, из оставшегося оборудования решили временно создать какие-то ремонтные мастерские. Меня попросили снова помочь.

Я с удовольствием согласилась. Среди рабочих были даже красноармейцы, иногда не умевшие что-то сделать, но зато слушавшиеся безоговорочно.

В этом году наступила очень ранняя зима с такими суровыми морозами, которых старожилы за всю свою жизнь не помнили. Ведро воды не успевали донести до дому, как оно замерзало по дороге. Дров, угля, даже соломы для топлива не было. Топливо стало в одной цене с хлебом. Народ закрылся в своих домах. Боялись лишний раз открыть дверь, чтобы не остудить хаты. На

улице, встречались редкие прохожие, и значительно уменьшилось количество эвакуируемых. По цехам завода свободно гулял ветер, и не только деревянные заборы, а все, что могло гореть, люди растаскивали на дрова.

После работы я зашла в летнюю кухню во дворе погреться, так как в доме всегда было холодно. Петька-повар, бывший инструктор стадиона АМО, среднего роста, простой веселый парень, готовил ужин для той части политуправления Южного фронта, которая заняла половину этого дома.

Смахнув пыль с ящика с консервами, он усадил меня поближе к раскаленной докрасна плите. Чурки горели с гуденьем.

— Что это у тебя за дрова?

— Кто их знает, ребята притащили.

Глянув в угол, я увидела, что это полы заводских цехов. Они были пропитаны маслом и горели как факел.

— Ты знает, чем ты топишь?

— Да мне все равно, надо же начальству готовить, а топки нет.

В эти дни горело все, что только могло гореть. Люди ломали и жгли все, что под руку попало.

В этом доме был один-единственный обеденный стол в нашей комнате, вечерами военные с удовольствием собирались здесь, обычно извиняясь перед мамой за беспокойство.

Надо ли было извиняться перед мамой? Она со слезами на глазах вспоминала своего единственного сына, ушедшего в первые дни войны добровольно в армию. И сейчас он был сброшен в партизанские отряды, боровшиеся в тылу врага на далеких подступах к Ленинграду. Как бы она была счастлива и благодарна, если бы и там, в засыпанных снегом лесах, в окружении вражьих полчищ нашлась женщина, которая ласковым материнским словом согрела бы сердце ее сына. В это время она была всем чуткой и заботливой матерью.

Война крепко сплотила всю эту группу военных. Они все были дружны, как одна семья, как родные братья, и с полуслова понимали друг друга. С глубокой горечью вспоминали, как оставляли Кривой Рог. Как те счастливчики, которым удавалось вовремя получить в бою боеприпасы (надо было быть счастливчиком, чтобы обеспечить себя в бою оружием — тоже один из парадоксов военного времени), бились до последнего снаряда, до последнего патрона и показывали образцы доблести и мужества.

Выпьем за героев женщин!

Все сидели, понурив головы, эти воспоминания жгли им сердце.

Их было пятнадцать замечательных, отважных молодых красавцев, готовых с честью сложить свои головы за родину. Все они, за малым исключением, были отцами семейств. Где скитаются сейчас их семьи, мало кто из них знал. Вихрь войны разогнал всех по свету, и они, только грустно вздыхая, показывали фотографии жен и детей.

Мои дети были у них любимцами, каждому хотелось взять их на руки, услышать детский лепет, пробуждавший в них массу чувств и желание бороться, чтобы скорее разбить врага, отвоевав себе право снова увидеть своих собственных детей. Но до сих пор они ни разу еще не ощутили сладости победы, им приходилось только отбиваться и поспешно отступать.

Виктор получил письмо из Сталинграда от жены, она писала, что после эвакуации в Сталинград у них родилась дочь. Это был их третий ребенок.

Вскоре он весело объявил всем, что едет в командировку в Сталинград.

— Я уже сейчас начинаю волноваться, ведь прошло столько времени, как я не видел семью, сколько раз за это время меня могли убить?.. Я даже не знал, где они, и вдруг увижу жену, детей, да еще нового члена семьи.

— Виктор Павлович, вы едете поездом или на машине?

— Кажется, на машине, а что?

— Да ничего особенного, а вот просто удобно, прихватите с собой немного продуктов. У жены грудной ребенок, ее подкормить не мешает, да и детишки рады будут гостинцам, — посоветовала я.

Он нахмурился:

— Нина Ивановна, что вы, я знаю…

— Собственно, как хотите, это ведь я так, по-женски.

К нам подошел красивый молодой его друг, будучи холостым, он создавал впечатление веселого беззаботного человека.

Слушая наш разговор, Олег поддержал меня:

— А знаешь, Виктор, Нина Ивановна дело говорит, ты и впрямь, прихвати свой паек за месячишко — и с женой веселее встреча будет.

Но Виктор только отмахнулся от нас и, прихватив свой паек только на несколько дней уехал.

Как только вернулся Виктор, все вечером собрались вокруг стола. Петьке был заказан «шашлык» по случаю возвращения Виктора. Вино было цимлянское, которое вытаскивали из Дона в

бочках.

После второго или третьего тоста, поднялся Олег:

— Товарищи, я хочу выпить за наших героев, за героев-женщин. Как и во всякую войну, а в эту особенно, вся тяжесть легла на плечи наших женщин, их оторвали от родных очагов и разбросали с детьми по свету, их заботы удесятерились. Нас кормят, мы сыты, а они должны работать за нас, содержать семью, растить детей и наперекор ужасу войны, уносящей сотни, тысячи, миллионы людей, создавать новую жизнь. Что мы можем поставить наперекор смерти, кроме своей головы — ничего, а они, смеясь смерти в глаза, пополняют жизнь новыми людьми. Не мы, товарищи, герои, даже если погибнем. Умереть — просто. Герои — они. Так выпьемте друзья, за женщину в бою, идущую с нами плечом к плечу. За женщину, работающую день и ночь на оборону, женщину, болеющую за нас душой, борющуюся за жизнь жестоко. Виктор, — оглянулся Олег, — так выпьем за твою жену и за твою новорожденную дочь!

Тост был замечательный и запомнился мне на всю жизнь.

Но Виктора за столом уже не было. Он сидел в темном углу, угрюмо уставившись в одну точку.

Все неловко опустили стаканы. Я подошла к нему:

— Виктор Павлович, о чем это вы?

Через некоторое время Виктор, овладев собой, произнёс:

— Простите, то, что вы мне говорили, что Олег говорил мне перед отъездом в Сталинград, все это правда. А я то думал…

Я не спрашивала, что он думал. Я знала, что он думал, что кто-то позаботится о семьях военнослужащих.

— Вы помните, как я уезжал? — начал вспоминать Виктор. — Приехал в Сталинград, застал семью в полутемной подвальной комнате, жена больная, еще не оправилась после родов. В этой же комнате жена еще одного командира, который погиб под Дебальцево у меня на руках. Женам военнослужащих выдают хлеб по карточкам и кое-что еще из продуктов, но за ними нужно становиться в очередь ночью, а под утро уже все кончается, но женщины не расходятся, они остаются ждать, может быть, подбросят еще. Денег, которые получает жена по аттестату, не хватает даже на молоко дочери, — горько улыбнулся он. — Я хотел помочь жене выехать из Сталинграда, но все что смог сделать, это поставил ее на очередь на выезд. А что же она может сделать с тремя ребятишками? В сумке у меня нашлось пять кусочков сахара, какой это был праздник для ребят… Они долго договаривались, как их разделить поровну. К черту вино — водку… Да полнее стакан, — и быстро выпил до дна.

Все зашевелились, Олег повеселел и хотел, пошутить. Я его

одернула, и он принялся за анекдоты. Но в этот вечер все пили угрюмо.

— Нам бы скорее выгнать «фрицев», — сказал угрюмо Николай, — а там видно будет, все по-другому устроим.

— Нам бы их до своих границ погнать, отвоевать свою родную землю, а потом черт с ними, свою жизнь налаживать начнем, — вставил Василий.

Но главное, все были уверены, крепко уверены в том, что «фрицев» мы все-таки выгоним.

Хорошие новости

И вдруг все 15 человек появились радостные, как именинники, оказывается, приятные новости стали поступать отовсюду.

Дела нашего Южного фронта шли к улучшению, 29 ноября 41 года, освободив Ростов-на-Дону, перешли в контрнаступление и погнали 1-ю немецко-фашистскую армию до самой реки Миус, и находившиеся в Морозовской войска тоже с часу на час ожидали распоряжения двинуться вперед, обратно в Ростов-на-Дону.

Под Москвой наши войска так же отбросили немцев от Москвы, где они находились в 27 километрах от центра столицы, и где стремились «расположиться на зимних квартирах», и 5 декабря 1941 года даже пошли в контрнаступление.

Эти свежие сообщения были не просто сообщения, это были прямо ***героические достижения*** после бесконечных утверждений о непобедимости немецких войск, они приподняли настроение у всех, так как это значило, что немцы могут не только наступать, а также могут и отступать под давлением нашей Красной армии.

С утра мы уже настроились празднично, решили искупаться. Задача эта была нелегкая, так как на всех было одно-единственное ведро, две кастрюли, — все наше незатейливое имущество. Нам же надо было натаскать ледяной воды из колодца и плюс разделить микроскопический кусочек мыла на всех.

С наступлением холодов купанье стало редкой роскошью. Летом грели воду на солнце, но зимой надо было расходовать драгоценное топливо.

После ужина стало шумно, весело. Дети долго резвились вокруг нас. Володюшка, взобравшись на стул, взял кружку в руки и, подражая взрослым, произнес тост: «Ну что ж выпьем, грохнем по махонькой!» что привело всех в дикий восторг. Мы с трудом уложили их спать.

В этот вечер решили потанцевать. Ребята притащили патефон

и несколько патефонных пластинок, вывезенных еще из Бендер. В кухне устроили танцевальный клуб, сложили в сторону кухонную утварь, притащили откуда-то дрова, затопили печь, керосиновая лампа без стекла, освещая наше торжество, больше дымила, чем светила. В этот вечер всем было уютно, тепло и весело. На дворе бесновалась вьюга, бросая снег, как песок, в окна и с визгом гоняясь вокруг дома.

Мама даже печенье испекла по поводу этого торжественного случая и устроила нам чай с печеньем. Все были растроганы ее вниманием и на несколько минут даже притихли, устремив свои глаза на праздничный домашний стол, на котором вместо стаканов и чашек красовались походные военные кружки.

Олег поставил пластинку под названием «Калифорнийский апельсин». Откуда она у него взялась, он сам не знал, и чудные звуки, сочные и жаркие, как синее небо Калифорнии, полились в этой необычной военной обстановке. Я больше нигде и никогда не слышала эту пластинку, и все, у кого я спрашивала, понятия не имели, что такая существует.

Всем было очень весело, много пели, у многих были очень хорошие голоса. И глядя на милые веселые лица этих молодых, здоровых, для кого-то самых дорогих людей, больно было думать, что ждет их впереди. Мне казалось, что у каждого из них была одна и та же мысль: сегодня нам весело, а что будет завтра?

В этих диких условиях войны люди быстро и крепко влюблялись, и наш милый красавец Олег Андреевич во время танца вдруг трогательно объяснился мне в любви. Я его нежно поцеловала, он был на два года моложе меня, и я относилась к нему, как к брату. Он быстро выбежал из комнаты, за ним побежал Виктор, вернувшись, сказал: «Олег плачет».

— Вы знаете, товарищи я не боюсь и готов погибнуть, если моя смерть поможет осчастливить нашу жизнь. Но я все-таки хотел бы остаться в живых, чтобы напоминать всем, чтобы не забывали, ради чего погибли миллионы наших лучших товарищей, — как будто угадывая мысли всех нас, вслух произнес Николай.

Рано утром все расквартированные в Морозовской войска, грустно отступавшие, когда немцы заняли Ростов-на-Дону, вдруг возбужденно и радостно, с надеждой и уверенностью, что им улыбнулась фортуна, трогательно и бодро уходя на запад, прощались с нами. Была глубокая уверенность в том, что теперь они будут гнать врага только на запад и что немцы обратно никогда не пойдут.

Мы стояли у обочины дороги, мимо нас проезжали машины, милые веселые ребята, соскочив с машин, подбегали к нам

обнимали, целовали, обещали на прощание: «Ну, теперь мы их погоним!». Мы желали им скорой победы и скорого возвращения. Все они были уверены в том, что все будет в порядке и что мы встретимся и отпразднуем нашу победу. Кто из этих прекрасных людей остался жив, не знаю, но тогда они были полны надежды и веры в нашу победу.

Эти первые большие победы, одержанные нашими войсками над немецко-фашистскими оккупантами, уничтожили иллюзию о непобедимости немецко-фашистских армий и окрылили нас настолько, что мы были уверены, что немцы обратно уже не сунутся.

Мы записываемся в добровольцы

Трудно даже представить и понять сейчас, что двигало человеком, который просился в армию, на фронт. Это можно понять только в той ситуации, когда кругом тебя идет война, и ты вдруг оказываешься как будто невостребованным и не можешь сидеть и смотреть, сложа руки, на все, что происходит вокруг тебя, и тебе кажется, что от твоего присутствия и многих таких, как ты, что-то там, на фронте, может измениться к лучшему. А чем можно объяснить, что человек, не успев выписаться из госпиталя после первого, второго и третьего ранения, как мой брат и многие, многие другие, снова и снова бросались в этот ад на фронт.

Мы вместе с Кириллом пошли в военкомат с просьбой взять нас в армию, нам ответили, что они не могут удовлетворить нашу просьбу, так как мы имеем статус комсостава в запасе. Они могут только дать нам направление и отправить нас в распоряжение московского военного округа по месту жительства.

Наш институт был в какой-то степени военизированный. «Военное дело», как мы говорили, то есть военные предметы, преподавал нам пожилой генерал-артиллерист старой военной школы, прошедший Первую мировую войну. Даже помню, как однажды он вошел в класс и громко произнес:

— Здравствуйте, господа, — и быстро поправился, — товарищи.

Все мы сделали вид, что не заметили его ошибки, но это явно говорило о том, насколько близко в те годы было еще прошлое. Каждый факультет нашего института обязан был изучать один какой-то вид военного дела. Нашему факультету досталась артиллерия, мы усиленно изучали траектории полета снарядов. Молодые ребята призывного возраста проходили какую-то летнюю военную подготовку, и мы даже должны были на последнем курсе защитить какую-то диссертацию по военному делу. Значит, мы уже числились в каком-то ранге комсостава.

Мы быстро приняли решение немедленно отправиться в Москву. Как только доберемся туда и выясним свое положение, один из нас сразу поедет за детьми и мамой, а пока что они оставались в очень хорошем и, как тогда нам казалось, надежном месте. У замечательных людей дяди Яши и Эмилии Филипповны, которые крепко полюбили наших детей и маму и которые так долго воевали за них с Иваном Ивановичем и его супругой, так как и те хотели забрать их к себе.

В Сталинграде

Мы прибыли в Сталинград в конце декабря. Когда я вышла из поезда, то увидела состав, где на открытых платформах, запорошенные снегом, все еще стояли станки с нашего завода. До сих пор помню, как грустно мне было смотреть на них, как на застывших покойников. Появилось желание подойти, притронуться даже, приласкать их холодную поверхность. Удалось ли им переправиться через Волгу, не знаю.

Мы долго бродили по Сталинграду в жгучий декабрьский мороз 1941 года. Одеты мы были далеко не по сезону, и с облегчением вздохнули тогда, когда сели в поезд. С нами в вагоне ехал пожилой человек, который только что похоронил своего сына. Его сыну было 24 года, с первого дня он был на передовой и отличился в боях настолько, что ему дали отпуск на неделю, он вернулся домой, заболел гриппом и через неделю скончался. Старик был потрясен и никак не мог прийти в себя.

С нами также ехала прямо с передовой беременная женщина-врач. Ехала в Москву рожать.

— Там на фронте был сплошной кошмар, — рассказывала она. — Два раза попадали в окружение, как я выбралась оттуда — это просто чудо, до сих пор не могу опомниться. Прятали нас крестьяне под стогами сена или в корытах, завалив сверху кормом для скотины. Я почти сутки пролежала в таком глубоком деревянном корыте, засыпанная сверху соломой и половой. В нашей группе медиков был один еврей, за него мы боялись больше всех. Как раз он и попал к немцам в руки, и они у него требовали указать, где спрятаны все остальные. Их тут же всех расстреляли, в том числе и того, кто выдал своих товарищей. Ночью нас, кто остался жив, крестьяне вывезли в безопасную зону. И еще ехал с нами работник из Днепропетровска, который рассказывал, как тяжело было им, когда они получили приказ взорвать Днепрогэс, и плакал. «Мы все, кому поручено было сделать это, рыдали. Мне до сих пор кажется, что мне легче было бы застрелиться, чем взорвать с таким трудом построенное наше детище».

И я вспомнила, как Костя рассказывал Надежде Сергеевне Аллилуевой, как радовались рабочие, когда им во время торжественного открытия выдали по буханке белого хлеба.

Возвращение в Москву

Когда рано утром 31 декабря 1941 года в последний день накануне нового 1942 года мы прибыли в Москву, она нас

поразила своей пустотой. Метро работало, но поезда шли редко, так как большая часть вагонов была эвакуирована. Это была первая тяжелая, холодная, полуголодная, полупустая военная зима в Москве. Под самой Москвой, в самом ближайшем ее окружении шли еще тяжелые, жестокие, кровавые бои.

Всю дорогу нас не покидала мысль, цел или нет дом, в котором мы жили. Нам хотелось скорее привести наши дела в порядок, привезти детей с мамой, и дальше, мы были глубоко уверены, армия и фронт.

Вот и Даниловская площадь. Мы вышли из троллейбуса, в котором было холодно и мрачно, сквозь заиндевевшие стекла ничего не было видно.

Все улицы были перегорожены баррикадами из камней и бревен. В некоторых местах улицы пересекали глубокие рвы, по бокам которых стояли ежи из железнодорожных рельсов. Окна магазинов были наглухо заколочены досками и мешками с песком. Улицы и тротуары завалены снежными сугробами, вдоль дорог тянулись снежные курганы. А люди? Худые, посиневшие. Вот прошла женщина, поверх пальто накинута еще какая-то куртка, с головой завернута в шаль. Подошла к магазину и стала в длинную очередь. Я стала приглядываться к этой очереди, но никого не могла узнать.

На меня все смотрели, как на диковинку. Я была очень легко одета, меня пронизывал холод, все тело мелко дрожало, губы посинели. А они, наверное, решили — «Модничает, так ей и надо». А я думала, как бы скорее до шестого этажа добраться, там у меня валенки, теплое пальто, теплый костюм, я залезу в кровать, укроюсь потеплее и в первый раз за полгода усну на удобной мягкой постели. И в это время я вспомнила детей, мать — они еще долго будут спать втроём на одной кровати, укрываясь в морозные ночи своими пальто и мечтать о теплой постели. На глазах навернулись слезы. Я решила, что нужно как можно скорее, скорее привезти ребят. Как только выяснится, куда нас направит военкомат, один из нас сразу же отправится за мамой и детьми. Вот и очередь стоит, значит, что-то выдают к праздникам из продуктов.

Вот с этими мыслями я и Кира поднимались по крутой темной лестнице на самый верхний шестой этаж, в доме тишина, как в склепе.

— Ты знаешь, когда я уезжал, — сказал Кирилл, — у нас осталась бутылка шампанского, значит, отпразднуем сегодня Новый год с шампанским.

Мы подошли к нашей двери и долго старались открыть, но все наши усилия были тщетные, как будто мы ломились в чужую

дверь. Я стала звонить к соседям, к одним, другим, никто не отвечал, двери открывались в пустые квартиры. Наконец из квартиры напротив появилась фигура в полувоенной форме, в хорошем полушубке военного образца, в валенках.

— Вам кого граждане? — обратился незнакомый тип к нам.

— Кого-нибудь из соседей, вот уже добрых полчаса ломимся в свою собственную дверь и не можем открыть. Мы хотим видеть товарища Короткова, нашего соседа.

Он удивленно поднял брови:

— Я хозяин этой квартиры, а бывший хозяин этой квартиры получил ордер на вашу квартиру. Значит вы ломились в чужую дверь. Остальные квартиры все обворованы, в них никто не живет — хозяева эвакуированы.

«Вот так номер!» — подумали мы и пошли выяснять в домоуправление.

Там, увидев нас ***живыми и невредимыми,*** переполошились. Начальство, стыдливо отворачиваясь, быстро скрылось, остались три девушки, укутанные с головой в холодной, плохо натопленной комнате.

— Где ключи от нашей квартиры, переданные вам при отъезде? И на каком основании наша квартира занята?

Девушки, дуя на окоченевшие пальцы, развернули толстенные книги.

— Кирилл Алексеев выбыл в РККА, а семья эвакуирована. Так черным по белому записано здесь, в домовой книге. А в начале декабря на вашу квартиру выдан ордер вашему соседу товарищу Короткову. Мы ничего сделать не можем, идите в райжилуправление, там выясните.

Дальше говорить было бесполезно, надо было искать начальников. Усталые после длинного скитания и дороги, голодные, полураздетые, мы очутились на улице.

Домой мы хотели зайти, чтобы одеться потеплей, отдохнуть, привести все дела в порядок, привезти детей, а дальше фронт, война и… полная неизвестность. И вдруг все обернулось таким несуразным образом.

Муж стоял, поёживаясь в легкой осенней одежде, почти в сорокаградусный новогодний мороз. Я улыбнулась: «Ну вот и приехали… Хорошо, что детей не взяли с собой».

Мы имели ключи от квартиры брата Доси, но там мы натолкнулись на ту же картину — он был взят в ополчение, семья в эвакуации, а в его квартиру вселили не одну, а две семьи.

Решив, что сейчас не время заниматься квартирными вопросами, мы отправились в военкомат по месту нашего местожительства.

Военный, к которому мы попали, был очень приятный, пожилой человек в пенсне и с седеющими волосами. Он принял нас очень вежливо, попросил присесть и рассказать ему, по какому вопросу мы к нему пришли.

Муж передал ему наши заявления от военкомата, в который мы обратились, и ответ военкомата, что мы направляемся в военкомат по месту жительства:

— Мы считаем, — сказал Кирилл, — что мы могли бы быть более полезны в армии.

Сидящий за столом военный молча внимательно посмотрел на нас и спросил у Кирилла:

— Это ваша жена? (фамилии у нас в документах были разные).

— Да, — ответил Кирилл.

— И дети у вас есть?

— Двое, дочь и сын.

— И вы оба специалисты, и я не могу, не имею права отправлять вас в армию, вы наш комсостав в области промышленности, и только что вышел приказ Сталина о демобилизации из армии инженеров, особенно металлургов и технологов.

Господи, подумала я про себя, наконец, тряхнулся. А сколько их безоружных, таких как Ваня Никулин, уже погибло.

Но мы продолжали настаивать. Я никак не могла допустить, что нам могут отказать.

— Вы знаете, я очень хорошо понимаю ваши чувства и желание быть полезными и, если бы я думал, что ваша жертва принесет пользу в этой страшной кровавой бойне, я бы, не задумываясь, отправил вас на фронт — прошу вас, поймите меня правильно. Если бы вы были не инженеры, а медработники или рядовые, тогда не было бы и речи, а сейчас ничего не могу сделать, — категорически закончил он.

— Тогда, пожалуйста, — взмолилась я, — переложите мои документы в картотеку для рядовых.

Видя мою настойчивость, он переложил мою карточку из одной картотеки в другую и пообещал, что он будет стараться удовлетворить мою просьбу. Мы вышли.

Не успели мы еще спуститься со второго этажа, он догнал нас и, отозвав мужа в сторону, долго что-то с ним говорил. Затем тепло, как-то даже по-отечески пожав нам руки, быстро удалился.

Когда мы вышли, я почувствовала, что муж чем-то ошеломлен.

— И опять парадокс: на войне, как на войне. Ты знаешь, о чем он со мной говорил? Он сказал мне, что только что получил

сообщение, что его сын погиб на фронте, и он хочет дать нам свой отеческий совет: «Вы оба инженеры и гораздо нужнее и полезней будете на производстве, чем на фронте. Выкиньте из головы эту мысль и, пожалуйста, уговорите жену отказаться от этой сумасшедшей идеи. У вас дети, молодая красивая жена, постарайтесь сохранить свою семью. Я всю жизнь был военный и еще раз хочу вам сказать, если бы я хоть на секунду был уверен, что ваше присутствие в этой кровавой вакханалии принесет какую-нибудь пользу, я бы, не задумываясь, отправил вас туда. И кстати, — сказал он, — кажется, ваше министерство авиапромышленности уже вернулось, желаю вам успеха», — закончил рассказывать Кирилл.

Я лично испытывала чувство глубокого разочарования, так как с мыслью об армии за эти три-четыре недели я уже почти свыклась. Но нельзя было не согласиться с тем, что этот дружеский совет имеет достаточно оснований. Ведь и правда, какая от нас польза армии, а здесь на производстве мы можем быть во много раз полезней.

И действительно, почти на следующий день Кирилл уже работал главным инженером «Спецавиатреста».

Чем мы затронули сердце этого человека, я никак не могла понять. Ведь при нашей настойчивости, а мы сильно настаивали, попади мы к другому человеку, определенно загремели бы без всяких разговоров в армию.

Теперь проблема освобождения нашей квартиры стала для нас очень актуальной, и я вынуждена была немедленно заняться этим.

Опять бездомные

А сейчас, в этот злополучный канун нового 1942 года, мы были в шести квартирах родственников и знакомых, хозяева которых были мобилизованы в армию, иногда с сыновьями и дочерьми, и все их квартиры были либо заняты, либо разграблены. Зашли мы и в свою квартиру, когда вернулся Коротков, в надежде переночевать и что-либо теплое надеть. То, что я увидела, нельзя передать словами. Квартира была пустая, абсолютно пустая. Остался один только диван, на котором угрюмо сидел наш сосед Коротков. Все исчезло, буквально все. Пол был покрыт толстым слоем льда от лопнувших отопительных батарей. Окна были покрыты инеем снаружи, и я решила, что на улице, наверное, теплее, чем внутри.

Коротков сообщил нам, что его квартира и квартиры рядом с нами также все обворованы дотла. Значит в самое страшное,

тяжелое время, когда одни погибали, защищая нашу столицу, нашлись внутри мародеры, которые под грохот орудийной канонады спокойно беспрепятственно грабили квартиры и дома.

Ночевать нам было негде и в поисках ночлега, накануне этой новогодней ночи, мы бродили по Москве, как бездомные. Ноги и руки ничего не чувствовали от холода и голода, поесть ведь тоже было негде. Я только грустно вспоминала, как Кирилл обещал: «Дома у меня бутылка шампанского, мы с тобой встретим Новый год с шампанским».

Вдруг мы услышали бой курантов — «Интернационал», гимн Советского Союза и откуда-то из приглушенного радио донесся поздравительный тост. «За прошедший год блестящих побед и за грядущие великие победы, в новом 1942 году, в котором не только будет разбит, но и добит Гитлер в его собственном логове». И это была истинная правда, не бахвальство.

Ведь от Москвы уже отогнали отборные немецко-фашистские войска, хоть и не так далеко, но все были уверены, что сюда они больше не сунутся. На Южном фронте также наши войска освободили Ростов-на-Дону, и тоже считали — обратно им хода нет. У меня шумело в ушах, а трамвая все не было и не было. И только за полночь мы попали к моей приятельнице. Ее комнатка, в которой снег на подоконнике не таял, показалась мне раем. Аннушка, беременная, сидела за столом в валенках, в шубе, завернувшись в плед. В комнате стояла заиндевевшая елка, и снег на ней тоже не таял, несмотря на то, что ее нарядили и на ней горело несколько электрических свечей. Стол был убран «по-праздничному»: белая скатерть, два ломтика хлеба, консервная банка и графинчик, на донышке которого видна была какая-то настойка.

— Остатки прежней роскоши, — улыбнулась моя приятельница.

Температура в комнате ниже нуля, и женщина, которая собиралась вот-вот родить, ложилась спать в пальто и в валенках.

И только на следующий день мы узнали, что один из родственников Кирилла, работавший при Совнаркоме СССР, вернулся из эвакуации и находится в Москве. К вечеру мы были у него.

Открыв входную дверь, мы почувствовали, что этот дом отапливается.

Найденов Евгений Михайлович был расстроен и с грустью на лице протянул мне письмо:

— Как тяжело Лине в совхозе в Челябинской области.

Я развернула и начала читать:

«Нам выдают только килограмм масла в месяц, литр молока

и пол-литра сливок в день, мало мяса, правда, есть картошка и хлеб. Но в совхозе есть жены некоторых наркомов, получающих гораздо больше продуктов, и я нахожу это возмутительным. Ты, Женечка, сходи, куда следует, и добейся, чтобы нам также увеличили паек. А затем, в закрытом распределителе в Москве много американских товаров, некоторым женщинам мужья уже прислали шелковое трикотажное белье. Женечка, постарайся не прозевать, я видела и пришла в восторг».

А внизу приписка: «Я скучаю о ***шоколаде*** и о тебе. Я шучу, конечно, о тебе больше».

Он сокрушенно, со вздохом, взял письмо.

— Да, Линуше трудно.

Я промолчала, мне нечего было ответить по поводу «горестного» письма Лины, мечтающей в это время о повышенном пайке, шоколаде и американском трикотаже.

Мы рассказали ему о наших делах, о том, что детей оставили с мамой в чужой семье, без теплой одежды, с очень ограниченным запасом продовольствия. О том, что квартиры у нас также нет, и что все наши вещи разворованы. Услышав о нашем желании идти на фронт, он заявил — «безумцы». А узнав, что в квартирном вопросе и воровстве замешан домоуправ нашего дома, он задумался и сказал:

— Он же работник НКВД. Так вот вам мой добрый совет: и не ищите виновных, все равно это не поможет, но для вас это может плохо окончиться.

Мародеры

Мы не послушались его доброго совета. И очень быстро нам вернули нашу квартиру, из которой даже помойное ведро утащили. И я подала заявление в милицию с требованием разыскать наши вещи, указав на предполагаемых воров. А воры-то были все «свои».

Когда я явилась в райжилуправление, мне сообщили:

— Тов. Коротков приехал раньше вас, и мы выдали ему ордер на вашу квартиру, так как его квартиру уже занял секретарь какого-то райкома со своим братом.

Но разве не странно было то, что в домовой книге в нашем домоуправлении, где черным по белому было написано, что Кирилл Алексеев выбыл в РККА, то есть в Красную армию, нашелся человек, который посмел выдать кому-то ордер на квартиру, хозяин которой выбыл в Красную армию. А ведь в таком положении мог бы оказаться любой другой, бывший в армии и вернувшийся с фронта человек. И ни воров, ни райжилуправление ни капли не смутило, что Кирилл Алексеев выбыл в РККА (почему в РККА, я могла только предполагать, потому что он находился на военном положении при наркомате боеприпасов, где он работал с первого дня войны, или они перепутали Феодосия Михайловича с Кириллом).

В армии, решили умники, выдававшие ордер на нашу квартиру, значит, возвращение живым маловероятно. А что будет с семьей, кому какое дело. Это значило также, что вернувшегося с фронта человека оставляли без крыши над головой. Вместо отдыха и покоя многим из них, как и нам, пришлось бы ходить по бесчисленным ступенькам бюрократических учреждений и по судам, пытаясь иногда даже тщетно восстановить свои законные права. Или что же, воры и все их помощники ожидали, что немцы все-таки оккупируют Москву и тогда никто не вернется обратно и все концы в воду. Но ведь все мародеры, все те, кто занимались грабежом квартир, как в нашем жилищном комплексе, так и повсюду, по всей Москве, все они были членами партии. Что же, они рассчитывали остаться живыми и здоровенькими при немцах, и что немцы их не тронут?! Значит, какие-то крепкие основания у мародеров для этого были.

Соседи рассказывали, что Коршунов со своей свитой подъезжал к дому на грузовике, быстро выносил все ценные вещи из квартир, откуда выехали хозяева в эвакуацию, и увозил их в неизвестном направлении. Затем приходили дворники и добирали все, что осталось. Таким образом, по неполным

подсчетам, он вычистил десятки квартир в этом комплексе домов. Да так тщательно, что даже двери оставались настежь открытыми. В милиции мне повезло, я явилась в тот момент, когда там обновился состав работников. Новый начальник уголовного розыска с жаром взялся за мое дело. Он указал мне толстую папку и сказал:

— Вот здесь около семи десятков заявлений только с одного домоуправления вашего жилищного комплекса, а ведь не все жильцы еще вернулись.

Чтобы опустошить, ограбить столько квартир в одном нашем жилищном комплексе требовались и время, и транспорт.

Он обратился ко мне с мольбой:

— Пожалуйста, пойдемте с нами, и при обыске будьте внимательны, опознайте хоть какую-нибудь мелочь, хоть одну пуговицу.

Мне стало ясно, что этот человек по-настоящему решил в это страшное военное время бороться с жуликами и мародерами. Нашу квартиру к этому времени тоже уже освободили и ключи передали нам.

Обыск

Когда мы вошли в квартиру домоуправа, мы увидели толстую обрюзгшую бабу с тупым лицом. Здесь же стоял ее муж Коршунов с огромным кровоподтеком под глазом.

— Это кто же тебя так разукрасил? — спросил начальник розыска.

— Водка, — угрюмо ответил Коршунов.

Попав первый раз в жизни в такую ситуацию, я все время думала: «Ну на кой черт я здесь торчу?» На все, что мне показывали, я смотрела небрежно, потеряв всякую надежду что-нибудь найти. Какой вор, думала я, будет держать ворованные вещи у себя в доме. Как вдруг последние два чемодана, вытащенные из-под кровати, которые Коршунов отказался открывать, заявив, что у него нет ключей и что эти чемоданы принадлежат не ему, а его сыну, оказались набиты вещами Кирилла: костюм, рубашки, белье. На некоторых рубашках, сшитых мамой, она не успела даже пуговицы пришить. А в кухне оказались мои кастрюли и даже пустой бидон из-под меда, который прислал нам перед войной наш дедушка со своей пасеки из Мариуполя. Когда мы уехали, он был полон.

На вопрос, откуда у него оказались эти вещи, Коршунов, заявил, что все это добро он получил от дворника.

Пришлось идти к дворнику. И когда мы вошли в восьмой

корпус в квартиру дворника, я застыла от изумления: она была убрана по-праздничному всеми вещами из нашей квартиры. В углу стояла даже елка, украшенная елочными игрушками моих детей. Здесь, в этой квартире, оказались не только наши вещи, но также и вещи наших соседей.

Все, что мы нашли, это были в основном постели детей, подушки, матрасы, одеяла, всякая хозяйственная утварь и кое-что из белья. Все самые-самые ценные, в том числе и теплые, вещи, в которые я мечтала переодеться, управдом Коршунов со своей бандой вывез куда-то и мы так ничего и не нашли. Но даже привезти только наши, найденные у дворника вещи, потребовалась подвода.

В результате арестованным оказался не управляющий домами Коршунов, которому все отдавали при эвакуации ключи от квартир на хранение, а один из его сообщников — многодетный дворник с женой. Я знала, что суд в таких случаях был жесток, особенно к «стрелочникам». А дворник и был тем самым стрелочником, которого Коршунов втянул в авантюру грабежей.

И этот же самый бандит-домоуправ предупредил дворника через его жену, чтобы он никого из этой шайки воров не выдавал, так как в противном случае, заявил он, военный трибунал будет судить их всех как организованную банду мародеров и по закону военного времени приговорит всех к расстрелу. Перепуганный до смерти дворник взял всю вину на себя. Суды в это время проходили с молниеносной быстротой.

Несмотря на наши протесты и требования привлечь к ответственности самого главного виновника этого преступления — Коршунова, так как при эвакуации мы все обязаны были сдавать ключи ему и часть вещей мы нашли также у него, ни он и никто другой из его сообщников не были вызваны в суд даже в качестве свидетелей.

Судил военный трибунал: дворник получил 8 лет, а его жена 6 лет тюремного заключения, как соучастница. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», — закончил судья.

Я думаю, что только в эту минуту дворник и его жена поняли, какую ошибку они совершили, взяв всю вину на себя.

— Такой суровый приговор, — заявил судья, — вынесен военным трибуналом, потому что девяносто процентов Москвы разграблено за последние несколько месяцев.

Для дворников, я считала, это был суровый приговор, но таких, как Коршунов, мне казалось, надо было расстреливать прямо на месте, не отходя, как говорится, от кассы. Его и всю его компанию позже и расстреляли, но за какие-то уже другие «дела».

Дворника увели. А его жене мне пришлось с трудом добиваться отсрочки приведения приговора в исполнение под предлогом необходимости подготовить детей для передачи в детские приюты. Я понимала, что этот приговор обрекал на гибель семь человек детей, и решила сделать все, чтобы помочь этой женщине спасти детей.

Пострадавший требует отмены приговора

С этого момента, начались мои хождения по всевозможным органам и прокурорам. Там мне прямо заявляли, что заниматься этим делом бесполезно. Судил военный трибунал, приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

А те, к кому я обращалась, стараясь доказать, что главный вор был домоуправ Коршунов, у него были ключи от всех обворованных квартир, а дворник уже подбирал за ним менее ценные остатки, видя мою настойчивость, начинали раздражаться и говорить со мной повышенным тоном.

— Почему вы со мной разговариваете, как с преступницей, я не только требую, а настаиваю на привлечении к ответственности настоящего преступника.

— Дело это, уже законченно, — отвечали мне.

Наконец, я пошла с этой женщиной к одному очень крупному знакомому адвокату товарищу Вышеславцеву с просьбой, чтобы он помог. Выслушав меня, он широко открыл глаза от удивления:

— Не могу понять, кто у кого что украл?

— Муж этой женщины вместе с управляющим домами обворовали нашу квартиру, квартиры наших соседей и многие квартиры из других корпусов. Военный трибунал осудил ее мужа на восемь лет, а ее как соучастницу на шесть лет тюремного заключения. Решение окончательное, обжалованию не подлежит. Но у них семь человек детей, и я прошу вас выручить эту женщину, мать этих детей.

— За двадцать пять лет моей практики первый раз такой невероятный случай, чтобы пострадавший требовал отмены приговора за преступление, совершенное против него. Вы возложили на меня тяжелую миссию, так как решения, вынесенные военным трибуналом, не подлежат обжалованию. Но я сделаю все, что от меня зависит, даю вам слово. Мои коллеги мне не поверят. Ведь, так или иначе, этот человек и его жена принимали участие в ограблении.

Не только принимали участие, но у них была найдена добрая половина вещей не только моих, но и соседей. Но дети-то здесь ни при чем, их вот и надо спасать.

И он выполнил данное мне слово, жену дворника не арестовали, а мужа выпустили через два года. И это мне тоже обошлось довольно дорого.

Встретив меня, мои знакомые говорили:

— Вы слышали, вашего «крестника» выпустили.

Когда я пришла поблагодарить адвоката, он широко улыбаясь, сказал: «Вам спасибо».

Но ни дворник, ни его жена не пришли поблагодарить. Да я, собственно, не претендовала, была рада, что детям вернули отца и мать.

Юные героини

Было горько и больно, что такие суды военного трибунала в борьбе с жуликами и мародерством должны были проходить в нашей стране в тот героический момент, когда все московские радиостанции во всю свою мощь сообщали о бессмертных героических подвигах и гибели нашей прекрасной молодежи, такой как Зоя Космодемьянская и другие. Зое было восемнадцать лет, она погибла, ее замучили немцы. Она долго висела на веревке, к ужасу всех жителей. Ветер раскачивал ее тело, и оно стучало окоченелыми конечностями о виселицу.

— Нас много, всех не перевешаете, — произнесла Зоя перед тем как ей набросили веревку на шею. Она шла на виселицу гордо, не жалея себя и своей молодости. Она пошла защищать спокойное будущее своего отечества, людей, детей и молодых, как она, девушек.

И я вспомнила в этот момент, как предо мной предстала молоденькая красавица Наталия. Волосы завиты, как стружки, блестят золотом. Глаза черные с искоркой.

— Нина Ивановна, поздравьте меня, иду на фронт.

Даже грубая одежда солдата, огромные сапоги, несуразная юбка и гимнастерка, в рукавах которой утонули ее руки, не портили ее изящества.

— Наташенька, ты — солдат? Да разве можно такую пускать в строй? На тебя все засмотрятся и забудут, куда стрелять.

Глядя лукаво, улыбнулась:

— Нина Ивановна, я им покажу в кого и куда стрелять надо.

Какая прекрасная у нас молодежь!

И сколько их было вот таких, что даже немцы… Э, да что там немцы, весь мир поражен был количеством женского героического персонала на передовых рубежах фронта. А сколько их было в партизанских отрядах, и с какой жестокостью расправлялись с ними немцы, когда они попадали к ним в плен, даже передать нельзя.

Наше изобретение — противотанковый снаряд

Наши войска Западного фронта в ходе жесточайших оборонительных боев на подступах к Москве с 30 сентября 1941 года сумели только 5–6 декабря отбросить немецко-фашистские войска, которые уже находились в 27 километрах от центра Москвы, где собирались расположиться на зимние квартиры. И перейдя 7-10 января 1942 года в контрнаступление по всему фронту, в тяжелых упорных боях 30 апреля 1942 года удалось отбросить противника от Москвы на 100–250 километров.

Это уже была не одна из, а крупнейшая победа нашей советской Красной армии над «непобедимой» фашистской. Сколько крови было пролито и сколько жизней положено за эту победу, невозможно даже подсчитать.

И когда я слышала, что бойцы нашей армии продолжают отбиваться от немецких танков бутылками с горючей смесью или обвязывают себя гранатами и бросаются под танки и им посмертно присваивают звания героев Советского Союза, я ходила, как больная.

Снаряды, писали, как будто тоже иногда попадают в танки, но особого вреда им не причиняют, поэтому бутылки с горючим и бойцы с гранатами оставались самим эффективным средством.

И вдруг, среди ночи, мне пришла в голову идея. Я разбудила Кирилла и сказала:

— Когда я работала в Институте цветных металлов и золота научным сотрудником в лаборатории легких металлов, я по специальному заданию проводила испытания смесей термитных порошков различных металлов. Цель этого задания заключалась в том, чтобы установить, какие смеси при взрывах и воспламенении могут создать температуру такой огромной разрушительной силы, при которой металл мог расплавиться, как воск, и погасить горение ничем было бы нельзя. И, ты понимаешь, если этим составом начинить противотанковые бомбы, наша армия получит оружие такой бронебойной силы, которая при прикосновении к броне танка прожжет, растопит, расплавит броню насквозь. И мы должны, должны это осуществить в самый кратчайший срок, вот сейчас и немедленно.

Кириллу надо было только дать идею, и его уже невозможно было оторвать от этой работы. Так мы, путешествуя весь январь и февраль по чужим квартирам наших знакомых, так как наша квартира была все еще необитаема, старались ночами работать

над этой идеей. Нам казалось, что каждая потерянная минута — преступление. Так глубоко мы верили в то, что это оружие спасет тысячи и тысячи жизней.

И как только в апреле чертежи и объяснительная записка к ним были готовы, я, не чувствуя под собой земли, помчалась прямо в Кремль. По дороге туда я твердо решила, что никому, кроме Н. А. Вознесенского, я не передам в руки наше изобретение. Но мне сказали, что Вознесенский на заседании ЦК и ко мне он выслал какого-то своего заместителя. Пришлось с натяжкой, под расписку, передать наше изобретение и письмо, в котором просили как можно скорее приступить к производству такого оружия и что мы безвозмездно передаем наше изобретение в подарок Красной армии и тем бойцам и командирам, которые из-за отсутствия такого оружия рискуют жизнью.

Мне передали, что Н. А. Вознесенский горячо благодарит и твердо обещает, что сам немедленно займется этим вопросом, и я могу через несколько дней с ним повидаться.

Через три дня меня действительно попросили зайти, но не к Н. А. Вознесенскому, а в наркомат (или Главное управление) боеприпасов к начальнику бюро изобретений.

— Ваш проект грандиозен, мы передали его на экспертизу и немедленно приступим к его реализации, как только экспертиза даст свое заключение.

Но время шло, и все затихло. На мои попытки узнать, в чем дело, мне ответили, что для производства такого снаряда потребуются какие-то большие реконструктивные работы на предприятии и что сейчас, во время войны, очень тяжело и трудно этим заниматься. А наши бойцы продолжали, обвязав себя гранатами или «молотовскими коктейлями» — бутылками с горючим — бросаться под вражеские танки.

И вдруг в начале 1943 года Кирилл принес мне вырезку из газеты, не помню даже из какой, что у немцев появились противотанковые снаряды, которые обладают невероятной разрушительной силой, что снаряд, попавший на броню танка, плавит металл, как воск, и погасить ничем нельзя.

Наше состояние было ужасное. Неужели немцы одновременно с нами работали над изготовлением такого же снаряда или каким-то образом это изобретение попало в руки немцев? А что попало, мне казалось, это — факт. И все наши дальнейшие попытки не увенчались успехом. И только в 1944 году пришла открытка на мое имя из бюро изобретательства Академии наук. Меня приглашали на работу в бюро изобретательства Академии наук. Когда я пошла туда, оказалось, что они просто набирают штат сотрудников и я попала в этот список.

С тех пор прошло много времени, много воды утекло и вдруг, читая воспоминания Н. С. Хрущева, я прочла, что он был знаком с замечательным человеком вице-президентом Академии наук тов. Лаврентьевым, который очень много сделал для обороны страны. Хрущев также в этих своих воспоминаниях написал: «Ему (то есть Лаврентьеву — ***мое замечание)*** приписывалось, я точно не могу сказать, что он подал идею кумулятивного снаряда ***(подчеркнуто мной).*** А кумулятивный снаряд оказался очень действенным против брони, и после войны он уже совершенствовал, работал опять же над этой проблемой».

И дальше Хрущев продолжал: «Однажды он предложил мне (то есть Хрущеву — ***мое замечание)*** поехать на испытания и сказал: „Я вам покажу снаряд, сделанный из взрывчатки определенной формы, и мы положим его на лист железа, и я прожгу этот лист железа“. Я ездил и смотрел, и он действительно продемонстрировал это; это как раз была, как он мне объяснял, направленность взрывной силы этого заряда, он как бы не пробивает, а прожигает; он сделал большое дело во время войны, и совершенствовался».

Эти цитаты я привожу слово в слово из описания Хрущева. Значит, все-таки наше изобретение попало в хорошие руки и кому бы оно ни было приписано, это неважно, важно главное, то, что, может быть, было использовано во время войны и спасло кому-то жизнь, от одной этой мысли становится тепло на душе. Наш снаряд должен был именно не пробить, а, прикоснувшись к броне танка, прожечь, растопить, как воск, броню насквозь.

Москва. 1942–1943 годы

Московские кордоны

Несмотря на заверения Молотова в его речи от 22 июня о том, что продовольственных запасов хватит на десять лет, карточная система введена не будет, и жителям страны не нужно сеять панику, запасаясь продуктами, карточная система была введена через несколько недель. Распределение продуктов распространялось только на большие города и крупные промышленные центры.

Что же касается провинции, то там все жили, кто как мог, то есть на самоснабжении… Жители провинций были предоставлены самим себе и, в большинстве своем, жили впроголодь.

О том, что в Москве хлеб «дают» по карточкам, знали во всех уголках Советского Союза. Даже несмотря на то, что Москва еще подвергалась ожесточенным бомбардировкам и немцы находились в нескольких километрах от Москвы, въезд в Москву в это время был еще запрещен, и Москву усиленно охраняли от возвращения всех, кто пытался вернуться без официального вызова.

Легально могли вернуться только те лица, которые имели специальный пропуск. Такие пропуска могли получить только те, кто обязан был вернуться, ответственные работники государственного аппарата и промышленности. Это была очень небольшая горстка людей, они могли привезти и членов своей семьи.

Основная же масса эвакуированных в это тяжелое время таких возможностей не имела, и в Москву люди попадали «нелегально». Все старались «ловчить», искали людей, которых можно было бы подкупить, чтобы достать пропуск. Если в первое время это можно было сделать за литр-полтора водки (водка в это время была дороже всех денег), то с течением времени такса за эту операцию увеличилась, так как вернуться из провинции старались все. В провинции становилось все голоднее и холоднее.

Чем больше появлялось в Москве таких «незаконных жильцов», тем труднее было получить разрешение на въезд в Москву и тем больше контрольных пунктов устанавливалось вокруг Москвы. Но оцепить всю Москву физически было невозможно. И если пикеты устанавливались, главным образом, на главных железнодорожных и шоссейных магистралях, то народ просачивался в город под прикрытием ночной темноты по лесным

тропинкам. И любая старушка за городом, знавшая не хуже всякого генерала топографию местности на «подступах» к Москве, охотно, и иногда безвозмездно, давала справки, как миновать все грозные преграды и проникнуть в Москву. И к весне Москва была уже более или менее укомплектована.

Наша мама также, чтобы не осложнять ситуацию, решила сойти с поезда на последней остановке перед Москвой, и в Москву добралась на пригородной электричке. Значит, не такие уж грозные были все эти преграды. Самое страшное было возобновить прописку, потому что такие ретивые домоуправы, как наш Коршунов, быстро «выписывали», лишали прописки тех, кто был эвакуирован в 1941 г. В эту квартиру или комнату еще кого-нибудь вселяли, как было с моей очень хорошей знакомой Соней Смоткин-Сторобиной (муж ее Федя Сторобин, бывший следователь уголовного розыска, был в 1937 году арестован и погиб в Магадане, куда был сослан). Соню с ребенком эвакуировали, а в ее комнату вселили большую семью — шесть человек, и мне пришлось очень долго хлопотать, чтобы выселить эту семью и вернуть Соне ее комнату. Потеря жилой площади в Москве означала лишение права вернуться в Москву, права на работу и права на продовольственные карточки. Моя мама тоже только после того, как погиб мой брат, получила право жить в Москве со мной и получить продовольственную карточку на этот поистине горький кусок хлеба.

По карточкам всегда можно было получить хлеб. На остальные продукты, такие как овощи, мясо, сахар, масло, крупы, также выдавались талоны, которые с трудом, но отоваривались или отоваривались небольшими порциями, по сто, по двести граммов в месяц по месту прикрепления карточек.

В Москве существовал еще рынок, где картошка стоила 60 рублей килограмм. Одна луковица или морковка стоили от 5 до 10 рублей. Литр молока 60 рублей и дороже. Хлеб 120 рублей килограмм черный, белый дороже. Пара ботинок или костюм уже зашкаливали за 1000 рублей.

Промтоварные магазины в это время тоже были пустые. К открытию народ, еще по старой памяти, собирался вокруг: «А вдруг чего-нибудь дадут». Ворвавшись внутрь, обегали все этажи и вылетали обратно, так как внутри было холодно и пусто. И я всегда с ужасом думала, что бы мы делали, если бы не нашли хотя бы самое-самое необходимое, и что будут делать те, которых так же, как и нас, обворовали до нитки.

Воровство продуктовых карточек судом приравнивалось к убийству, и воров судили как убийц. Но новых, взамен утерянных продуктовых карточек, не выдавали ни при каких

обстоятельствах. Это произошло и с нами. И до сих пор тяжело вспомнить, что мы испытали, потеряв все продуктовые карточки 3 августа, в самом начале месяца.

Поездка за детьми на Морозовскую

Как только чуть-чуть потеплело, я, преодолев ледяные залежи в квартире, решила начать приводить ее в порядок и сразу же немедленно поехать за детьми. Дела в это время на южном фронте снова стали очень напряженные.

Кирилл категорически заявил, что поедет за ними не я, а он.

Я проводила его на вокзал, дорога на Сталинград была еще открыта.

Вернулась домой, на столе лежит паспорт. Взяла в руки и обомлела, паспорт Кирилла. Значит, он выехал с моим паспортом в кармане, с паспортом на чужую фамилию, и не куда-нибудь, а в военную зону в направлении Сталинграда, в том направлении, где в это время в районе Ростова-на-Дону уже снова шли сильные бои. Мой паспорт был на мое имя, и я никогда не собиралась менять его на фамилию мужа. Изменить мне пришлось его на фамилию мужа только тогда, когда мы должны были выехать за границу.

Никаких средств передать или сообщить ему об этой жуткой ошибке в то время не существовало вообще, а паспорта в это тревожное время в дороге могли проверять почти на каждом шагу, он сам будет потрясен, когда предъявит паспорт при первой же проверке. Был ли у него какой-либо другой документ о том, куда и зачем он едет, я не знала. Но не дай бог, если его где-нибудь задержат до выяснения личности, пока он свяжется с местом работы, пока будет выяснять свое положение, при нынешних средствах связи все что угодно может произойти. Я в это время, как говорят, чуть не сошла с ума, не имея никаких сведений, где Кирилл и что там с ним происходит.

Сумеет ли он благополучно добраться к детям и вывезти теперь уже из этой опасной зоны детей и маму? И до тех пор, пока он не вернулся с ребятами и с мамой, я ни спать, ни есть не могла. Помог ему опять, как говорят, «господин случай». Когда привели его в военную комендатуру, комендант, который с ним разговаривал, понял, что перед ним стоит «рассеянный профессор», и выдал ему пропуск. Вот с этим документом, выданным ему в комендатуре совершенно незнакомым ему человеком, Кирилл беспрепятственно сумел добраться до Морозовской, на полпути между Сталинградом и Ростовом-на-Дону, и вывез детей и маму теперь уже из чрезвычайно опасной

зоны.

И это было во время войны, и ехал человек не просто куда-нибудь, а в зону уже приближающихся активных боевых действий. И человек человеку поверил. А сколько у меня в жизни было таких случаев, что, когда я сейчас об этом вспоминаю, то мне самой трудно поверить. И до сих пор я не перестаю удивляться, какие прекрасные, человечные люди были в то, такое тяжелое, время. И это были наши, замечательные наши советские люди. Как стремились помочь друг другу совершено незнакомые, совершенно чужие друг другу люди, а ведь Кирилл легко мог попасть в такую историю, что не только детей вывезти оттуда не сумел бы, а и сам мог бы застрять, где-нибудь всерьез и надолго, попади на мерзавца и подлеца.

Это и были как раз те прекрасные советские люди, которые наперекор всему спасли страну. Но, к сожалению, были и Коршуновы — воры, казнокрады и мародеры, которые в это страшное время, когда другие погибали, грабили страну и увозили мешками, чувалами драгоценности из магазинов и деньги из банков. Такие в конце концов и уничтожили великую державу.

Каждое утро я не могла оторваться от репродуктора, слушая поступающие с фронта сводки. И вдруг, рано утром, когда я с ужасом слушала сообщение, что идут ожесточенные бои не то на подступах к Ростову-на-Дону, не то Ростов уже взят и немцы уже рвутся к СТАЛИНГРАДУ, раздался звонок — на пороге стоял Кирилл, а перед ним дети. Я чуть не потеряла сознание, в таком жутком напряжении находилась я до сих пор.

Солнышки мои! Я целовала, смеялась и плакала одновременно. А когда мама вошла в дом и, устало опустившись на диван, тихо произнесла «дома»… Мне казалось, что в это утро особенно ярко светит солнце.

— Что пишет Шура? — устремив на меня усталый испытующий взгляд спросила она.

Последнее письмо я только что получила и протянула его ей. При виде его почерка руки у нее задрожали, а в глазах было столько любви и материнского счастья, что я подумала: мать обмануть нельзя.

Мама моя, несмотря на все перенесенные ею невзгоды и тяжелую жизнь, была очень сильный, стойкий и мудрый человек, и все, кто ее знал, любили ее за это.

Письма моего брата Шуры с Ленинградского фронта

Шура писал мне отдельно, что был в госпитале после второго

тяжелого ранения (это было уже второе в течение полугода), а сегодня, в день своего рождения, выписался.

«Нина, ты ведь знаешь, я не сентиментален, жизнь у нас была такая, что не учила нас ненужной, излишней чувствительности. Я даже не замечал, когда приходил мой день рождения, и представь, видно госпитальное безделье расшатало что-то внутри, и я взгрустнул еще с утра, а когда услышал от врача „Сегодня 15 мая“, то сорвался с постели и, теребя его за гимнастерку, умолял:

— Выпишите, выпишите меня из госпиталя немедленно.

— Вы с ума сошли, Александр Иванович, — отмахивался доктор, — да ведь вам минимум еще две недели полежать нужно для полного выздоровления.

— Нет, ни дня, ни часа, ни секунды, сегодня я уйду отсюда. Ну, подарите мне этот день! — умолял я доктора.

— Нельзя, — ответил он и ушел.

Но я уже не мог лежать. Меня так потянула к себе жизнь. Весна, зелень, рощи и дубравы, захотелось пройти по Марсову полю, вдоль Невского, на Каменном острове побродить, где любили мы ходить с тобой, так что после обеда я все-таки вырвался и радостно бродил и вдыхал в себя до опьянения душистый, весенний воздух Ленинграда.

Сижу на берегу Невы и пишу тебе письмо. Так много хочется сказать, но мешает орудийная канонада. Нахальные немецкие самолеты летают почти перед носом — при виде них ко мне возвращаются силы, и я завтра же пойду оформляться, и снова скорее на фронт. Улетел…

Мне исполнилось 27 лет, и за эти годы мы ни разу не собрались вместе в тесном семейном кругу. Ты вышла замуж, я женился, у тебя дети, и ни одно из этих событий не было отпраздновано, все эти счастливые минуты в нашей жизни глохли в тяжелой борьбе за жизнь.

Об отце я вспоминаю с неутихающей болью, о вас с грустью.

Как много хорошего создано на свете для людей природой. Я буду бродить, бродить всю ночь — я никогда не чувствовал, что на свете так хорошо.

Ты меня прости, все это звучит так дико и жутко на фоне умирающего от голода и холода и бесконечно обстреливаемого Ленинграда — но виноват, вероятно, госпиталь с его хлороформной атмосферой.

Привет Кириллу, поцелуй ребятишек, и береги, крепко береги маму».

Никогда я от Шуры таких писем не получала. И это письмо было криком души, как ему и всем, всем таким, как он, хочется, так хочется жить в этом холодном, непрерывно обстреливаемом

среди погибающих от голода и холода людей, в этом прекрасном, любимом Ленинграде.

Маме он писал отдельно, мать он любил так крепко, что еще в детстве, помню, стоило маме заболеть, как сразу же заболевал Шурик, и она лежала больная на одной кровати, а он на другой.

Маме он писал, что у него все в порядке, что он жив-здоров, и больше всего просил ее беречь себя для нашей будущей счастливой совместной жизни.

Мама, дочитав письмо, зажав его в руке, задумалась, видно вспоминала всю свою прошлую жизнь, и что *«отвоевались,* чтобы ни тебе, ни твоим детям больше никогда воевать не пришлось»…

Когда дети вернулись, я уже кое-как привела квартиру в порядок, главное — детям было на чем спать. Я была такая счастливая, что дети и мама были уже с нами, но письма, которые приходили от брата из Ленинграда, несмотря на весь его оптимизм, было невыносимо больно читать.

Вот выдержки из нескольких случайно уцелевших писем моего брата Шуры из Ленинграда и Ленинградского фронта маме, начиная с 15 июля 1941 года до 11 сентября 1942 года, от которых сердце обливается кровью.

15-7-41-го год; 15 июля 1941 года

Сплю по 3–4 часа в сутки, но это не утомляет, усталости нет и не должно быть сейчас, в настоящий момент, когда каждая деталь так дорога нашей стране. Завод наш тоже уехал, но с заводом уехали не военнообязанные, а мы все продолжаем работать и выпускать продукцию не меньше, а больше чем раньше.

Ведь на фронтах нет усталости и отдыха, а тем более, выходных…

Борьба идет жестокая, беспощадная и что бы победить нужно работать, работать и еще раз работать, что бы принести как можно больше помощи нашей родине в этой борьбе…

Ленинград 18-7-41 год; 18 июля 1941 года

… С питанием у нас изменилось в лучшую сторону… Выдали карточки…

Ленинград 29-7-41 год; 29 июля 1941 года

… Все в Ленинграде по-прежнему жизнь идет полным ходом. Институты предполагают начать занятия в первых числах августа с теми студентами, которые здесь на лицо…

Ленинград 8-8-41 год; 8 августа 1941 года

… В Институтах 5-го числа начались занятия, а сейчас их всех в организованном порядке отправили на трудовую повинность, конечно, возможно, и не на долго, но еще не известно.

С питанием дело обстоит благополучно, большую роль сыграли карточки.

Не волнуйся и не беспокойся у нас все так же тихо и спокойно, хотя враг все сильнее и сильнее наступает на нас. Но наш отпор с каждым новым часом не просто усиливается, а умножается и уже недалек тот день и час, когда историки после фразы, описывая эту войну, напишут «и так закончилась эта война полным разгромом фашизма» и поставят точку.

… Так что будьте спокойны и уверены в нашей окончательной победе…

Ленинград 16-8-41 год; 16 августа 1941 года

… Сколько счастливых жизней разъединил проклятый, кровавый фашизм.

А фашистские гады у нас найдут вечную разлуку со своими женами и семьями.

Внешняя жизнь Ленинграда не нарушена, не произошло никаких изменений, так же шумно и людно по широким и прямым улицам замечательного нашего города…

… Студентов со всех Институтов отправили за город работать и многие уже больше месяца находятся там на работах. Вообще нет ни одного человека, который не работал бы на оборону.

Но наша задача не только обороняться, но и стереть с лица земли фашистскую гадину, уничтожить совершенно и навсегда.

Ленинград 2-11-41 год; 2 ноября 1941 года

… Спешу сообщить вам, что я жив и здоров — хотя и нахожусь в госпитале.

Ваших писем я не мог получить т. к. все это время, я находился далеко в тылу у врага — партизанил, а сейчас я ранен в

правое плечо и нахожусь в Ленинграде.

… Не беспокойтесь, я сейчас вне опасности, чувствую себя хотя слабо, но хорошо, душа радуется и голова как пьяная от счастья. Я себя не узнаю после этих сражений, но это так, это факт.

Из окружения мы вышли в конце октября и соединились с Красной Армией.

Я немного отдохну покурю потом допишу письмо, а то рука разболелась и пишу какие то каракули. Адреса у меня пока нет, в госпитале я временно, а где буду дальше не знаю, как только у меня установится адрес, я вам его дам и вы будете писать прямо на мою часть…

Ленинград 6-12-41 год; 6 декабря 1941 года

… Мои раны на моем здоровом организме залечиваются быстро и чувствую себя гораздо лучше, но очень ослабел…

… Вот теперь, когда я с оружием в руках защищаю жизнь многих миллионов наших друзей и наших людей, я чувствую как во мне подымается могучая сила жизни и счастья.

Здесь на полях сражений я учусь жить и сохранять жизнь другим. Бой жестокий и кровавый, но только крепкие и здоровые люди-воины могут выдерживать эти натиски врагов.

Как я буду счастлив, когда настанет тот день, когда вся наша родина будет освобождена от гнусного врага.

Эта жизнь будет ***справедливая и счастливая****, ибо она будет завоевана в кровавых боях за счастье и свободу.*

… Эта проклятая и кровопролитная война, когда ни будь кончится, не век же она будет продолжаться и мы будем опять все вместе, и будем жить радостно и счастливо — наша жизнь еще впереди — мы люди будущего и во имя этого нужно перенести все лишения и все трудности…

Писать больше не могу, сердце болит за нашу теперешнюю жизнь, так что трудно даже думать об этом. Настанет время, когда вам расскажут и вы будете удивляться нашей жизни *— но мы должны выдержать все трудности…*

Ленинград 4-5-42 год; 4 мая 1942 года

… Я попал в Ленинград вторично, после второго ранения и теперь вполне выздоровел, окреп и поправился. Ранен я был в левую ногу, сейчас я чувствую себя хорошо. Это опять результат моего

могучего и здорового организма.

… На днях я снова уезжаю из Ленинграда, но куда неизвестно… Враг еще силен, и придется крепко драться, чтобы окончательно разгромить и уничтожить фашизм, и эта задача целиком и полностью ложится на нас…

Действующая Красная армия

П. П. С. 937, 1 с. д. 1 с. п.

А. С. САУТЕНКО 4-6-42 год; 4 июня 1942 года

… Обо мне не беспокойтесь, но работайте так, что бы облегчить нам скорейшую победу над заклятым фашистом…

Мои дорогие, то что пережил великий наш город, наш любимый, наш герой город — Ленина НЕ ЗАБУДЕТСЯ НИКОГДА! ***Все узнаете в свое время и будете удивляться нашему героизму и нашему мужеству.***

… И недалек тот день, когда мы снова соберемся все вместе и будем жить еще дружнее, и еще счастливее, ибо мы отстояли, отвоевали и вырвали свое счастье и жизнь из рук смерти и из рук коварного и злейшего врага человечества — фашизма.

… Берегите себя нам еще многое предстоит сделать, а человек есть и будет в дальнейшем ценнейшим капиталом для нашей родины…

… Я пишу вам уже после второго ранения, я снова на фронте и чувствую себя неплохо и даже хорошо по сравнению с прошлым ранением…

Действующая Красная армия

П. П. С. 1 с. д. 1-ий с. п.

Гор. Ленинград 12-6-42 год; 12 июня 1942 года

… Обо мне не беспокойтесь, я живу на фронте хорошо и в настоящий момент в полной безопасности… Я обеспечен всем необходимым для того, чтобы с меньшими потерями начать истреблять проклятых врагов нашей любимой родины и начать восстанавливать все то, что было потеряно, разрушено за это

время. Для этого потребуется очень много сил и энергии.

Скоро будет всему конец. И недалек тот день когда мы все вместе будем лишь только вспоминать, то что пережили мы наши родные и вся наша страна.

Действующая Красная армия

П. П. С. 937 1 с.д. 1с. п. 1 с. б.

Гор. Ленинград 7-7-1942 год; 7 июля 1942 года

… Мои дорогие пишите, пишите чаще не ожидая от меня ответа на все ваши письма, у меня сейчас времени очень мало, даже на сон, и бываю я свободен только тогда, когда сплю и зачастую проклятый враг нарушает и отнимает у меня это заслуженное свободное время… учусь и обучаю в лесу на чистом воздухе, конечно исключая время, которое я провел в госпитале после ранений.

… Я изъездил и исходил пешком почти все пригороды Ленинграда и такой прелести природы я еще не видел нигде.

Мои дорогие, вы не представляете себе, что это значит жить летом в лесу, спать на сырой влажной траве и дышать ароматным свежим воздухом. И невольно напрашивается вопрос. Как же мы жили зимой? Так я отвечу — жили так же точно, как живем сейчас, разница лишь была в температуре зимой -35 ˚С, а сейчас + 30 ˚С и паек мы получали в три раза меньше чем сейчас, отсюда я думаю картина вам ясна. Вы просите фотографию — мне сфотографироваться нет никакой возможности, но я не упущу случая если подвернется такой — ибо я уже год не видел себя даже какой я есть. Кудри мои почти выросли до плеч, имел прекрасную бороду, которую недавно снял, а усы оставил и сохранил их. Так что я совсем изменился, и вы бы меня не узнали, если бы даже увидели.

… Насчет друзей моих, я могу написать одно — это прекрасные люди, с которыми я вместе работаю, живу, сплю, кушаю и хожу в бой.

… Во время очередной командировки в Ленинград — я встретил нашего общего знакомого в таком состоянии, что даже не уверен, дошел ли он до своего дома или нет. С тех пор я его больше не видел.

9-7-1942-ой год; 9 июля 1942 года

Очень прошу вас берегите свое здоровье.

… Да и пример приведу из своей жизни, ***если бы я не обладал таким могучим организмом, то навряд бы я пережил то, что пришлось пережить и выдержать за этот год.*** *Но сейчас мне удалось восстановить почти все свои силы и здоровье и чувствую себя прекрасно и хорошо. От моих ран остались лишь шрамы на теле без всяких последствий.*

… И так до скорой и счастливой встречи. Желаю вам счастья и уверенности в нашу победу…

Ленинград 23-7-1942 год; 23 июля 1942 года

… В последнее время я вам писал очень редко т. к. приходится работать *очень много. Часто приходится сталкиваться с врагом и доказывать ему на практике, что значить «овладеть оружием и бить врага наверняка».*

… Мое подразделение эти слова выполняет очень умело и искусно.

… Так, что обижаться на себя и на них мне не приходится — ибо все свои знания я передал им и они полностью усвоили и очень хорошо применяют на практике.

… Живем мы в лесу — ох, мои милые, как хорошо в лесу, какая красота жаль, что война, а то бы мы вместе все места бы объездили.

Погода у нас скверная все время идет дождь, но ничего, мы привыкли и к холоду, и к сырости, так что не страшно.

Недавно у нас было кино и я смотрел картину «Разгром немцев под Москвой». Картина мне очень понравилась, т. к. она отразила всю действительность происходившую под Москвой.

Милые мои, очень жалею, что не могу сфотографироваться таким как я сейчас — вчера я нашел в своих волосах седину.

Письма начал писать 21-го закончу 23-го числа. Подлый враг не дал мне закончить 21-го…

Я все время нахожусь в безопасности и за меня не беспокойтесь — так передай маме… Решающие бои еще впереди и мы силами померяемся с подлым врагом…

Я получил новое назначение и вот сейчас нахожусь на новом месте при Штабе Армии и командую одним из специальных подразделений.

Обо мне прошу вас не беспокоится. Берегите себя, берегите маму.

… Я живу хорошо мне ничего не нужно.

Полностью ответить на ваши вопросы не могу, но напишу еще несколько слов о себе коротко (ибо в письме всего не опишешь) о том, что пережил за многие месяцы войны.

… Был партизаном, а затем соединился с Красной Армией.

… Я очень жалею, что мне не пришлось бить проклятого врага с воздуха, но зато доволен своими действиями на земле. Я сейчас лейтенант и командовать приходилось всякими подразделениями, которым я старался вложить весь свой организаторский боевой опыт.

Плохих результатов и оценок я еще не имел.

… Сейчас я усиленно работаю над собой, чтобы ликвидировать в своих действиях партизанщину, ибо в настоящий момент в том подразделении, в котором я командую, партизанщина мне очень мешает, но я постараюсь это все в ближайшее время ликвидировать и полностью отвечать всем требованиям, которые предъявлены всему среднему командному составу Красной Армии.

Действующая Красная армия

25-8-1942-ой год: 25-е августа 1942-й год

Мой новый адрес: П. П. С. 937; 176 с. п. 2 с. б.

11-8-1942-го года (Последнее письмо жене)

Признайся родная, ты когда-либо серьезно задумывалась над вопросом: «Что такое война и что такое фронт???»

Так вот что я тебе по этому поводу напишу и больше писать никогда ни в одном письме не буду. Я КОМАНДИР И БУДУ НА ФРОНТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕОБХОДИМО И НУЖНО БУДЕТ РОДИНЕ.

Ты пишешь, что устала ждать, а ты спрашивала ЗЕМЛЮ РУССКУЮ не устала она от бомбовых ударов, человеческих воплей, стонов, раздающихся в пороховом дыму???

Запомни моя, милая Анечка, ждала больше, осталось меньше, враг будет разбит и мы с тобой будем жить еще счастливее потому, что я своей кровью добыл и добываю это счастье.

Это было последнее письмо, отправленное его жене, ровно через месяц, 11 сентября 1942-го года, он погиб.

Мысли моей мамы

Я готовила завтрак, а ребятишки, помогая мне, весело щебетали. Они рассказывали, как жили. Как на Пасху Филипповна и дядя Яша зарезали поросенка и приготовили очень вкусные колбасы. «Филипповна оставила в погребе кое-что и для вас», сказал Володя.

Весной они решили посадить огород. Все думали, что немцев не пустят в Морозовскую. Вскопали кусок земли.

— Помнишь, мама, где трава высокая росла, но кто-то сказал, что там сажать нельзя, но мы с Филипповной все равно посадили все, что нужно на огороде у Филипповны.

Договорив все, Володя слез со стула и сказал:

— Пойду к бабушке.

— Подожди, сынок, дай бабушке отдохнуть от вас.

Он удивленно посмотрел на меня: как это, бабушка должна была устать от них?

— Бабушка устала от дороги, а не от нас, — поправил он меня.

— Да, да от дороги, конечно, от дороги, — поправила я очень быстро себя.

А мама все сидела и думала. О чем думала она? О судьбе своего сына, который ходит на острие ножа и не знает, что с ним может произойти каждую минуту? Об ужасной судьбе своего мужа или о разбитой собственной жизни? Прошло уже пять лет, как отца отняли у нас, и он мгновенно исчез, исчез в этой страшной тюремной неизвестности, в советской тюрьме. Не где-нибудь, а вот здесь у нас, в нашей советской тюрьме. Его арестовали в год двадцатипятилетия их семейной жизни. Мы с Шурой собирались устроить им приятный сюрприз. Приехать к ним на октябрьские праздники и всем вместе отпраздновать их серебряную свадьбу.

— Сколько у вас предрассудков в голове и откуда они у вас? — радостно проворчал бы наш молодой красивый папа.

Но в том же октябре вместо веселой и радостной серебряной свадьбы были почти его похороны.

Опустошенное Подмосковье

Вспоминаю, как мы с Надеждой Васильевной Калининой очутились в освобожденной от фашистов местности, в 35–45 километрах от Москвы. Мы искали большое село Литвиновку, находившуюся в 20–25 километрах в стороне от железнодорожной станции. Мы шли пешком по полностью

опустошенной местности. Никакого транспорта не было, вокруг рос бурьян выше человеческого роста, из которого кое-где торчали обожженные трубы, — и ни единого домика.

— Где село Литвиновка? — спросили мы у шедшего к нам навстречу старичка.

— Вот она, — обводя вокруг руками, указал он.

— Где народ, где вы живете? — спросили мы.

— Народ в поле, а живем мы в землянках.

Вечером в одной из этих землянок собрались, вернувшись с поля, женщины. Мужчин, кроме этого старика и нескольких подростков, вообще не было никого. Рассказы их были страшные и грустные. Когда зимой в лютые январские морозы немцы под давлением Красной армии отступали, они жгли и уничтожали все на своем пути. Они сожгли дотла и всю Литвиновку. Жители, спрятались в колхозном подвале.

— И когда все утихло, и мы вышли из подвала, вокруг нас все горело, как факел — и мы очутились как на острове среди озера от растаявшего от пожарищ снега, — рассказывали жители. — Кругом было так пусто, как сейчас. А скотина, которую не успели немцы уничтожить, убежала в лес.

Мы, — это я и Надежда Васильевна, врач — ночевали вместе с ними в землянке. Они уговорили нас лечь на кровать, вытащенную из пепелища. На утро все помчались в лес собирать дико растущие травы, ягоды, грибы, все, что можно было употребить в пищу. Мы забрали этого старичка к нам в Москву, мама приготовила ему ванну, обрядила его в чистое свежее белье, и он со слезами на глазах радовался, как ребенок.

В другой деревне, куда мы попали, немцев погнали так быстро, что они не успели сжечь всю деревню, 2–3 дома осталось. Женщина, у которой мы остановились, рассказала нам: ее с младенцем выгнали в холодный сарай, ребенок плакал, она не могла его успокоить. Немцы в ту ночь пили, гуляли, веселились. Зашел немец, подошел к люльке, застрелил ребеночка и пошел продолжать веселье. «Вон там, в огороде, под тем бугорком похоронен мой мальчик».

Сережка вернулся

За несколько дней до приезда детей, вернувшись с работы, я увидела сидящего на ступеньках шестого этажа того самого Сережу, которого я собирала в дорогу, когда он уходил в ополчение. Вид у него был потрясающе жалкий: худой, обмороженные ноги и руки, квартира рядом с нашей, в которой они жили, была обворована до такой степени, что даже двери

были настежь открыты.

Забрав его к нам, я дала ему возможность привести себя в порядок и, накормив, попросила рассказать подробно, что с ним за это время стряслось.

С трудом, приходя в себя, он стал рассказывать. Воинская часть, в которой он был, попала в окружение к немцам, — где, в каком месте, он даже толком не знал. Многие вокруг него кончали жизнь самоубийством.

— А мне было жалко маму, — сказал он.

Так он попал в плен, и когда почти стотысячную колонну наших пленных немцы гнали в Германию, он умудрился сбежать и долго бродил по какому-то дремучему лесу, не зная, где он находится, куда идти и как добраться к своим. По дороге ему попадались немцы. Они его спрашивали: «Русс солдат?» Но, глянув на этого измученного белобрысого подростка, который отвечал им: «Нет, нет, иду к матке» — отпускали. Его всюду принимали за заблудившегося подростка, до такой степени он не был похож на заправского солдата.

— Чем же ты питался, Сережа? — спросила я.

— Я подбирал еду у убитых, и даже кое-что теплое.

А зима была в тот год такая, которую даже прозвали «генерал Мороз». Вышел он из немецкого окружения где-то под Сумами. И после довольно тяжелых испытаний, которые он перенес, как попавший в окружение и в плен, его отпустили. И, добравшись в Москву, он попал в абсолютно пустую, обворованную до нитки квартиру. Родители его давно уже, с первых дней войны, были в эвакуации.

Через несколько дней после его возвращения к нам из военкомата пришел военный комендант, и я попросила у него разрешения взять Сережку к себе, пока мы не свяжемся с его родными, так как ему некуда деваться. Комендант сдал мне его на поруки с условием, что Сережка каждую неделю будет приходить к ним отмечаться.

Сережа жил у нас до тех пор, пока снова из военкомата не получил повестку явиться в Замоскворецкий сборный пункт. Все это время я безуспешно пыталась добиться разрешения его матери вернуться из эвакуации в Москву.

И теперь мне снова, уже второй раз, пришлось проводить его в армию.

Прошло несколько месяцев, рано утром, когда я торопилась на работу, в дом вошла женщина с ребенком на руках и взволнованно сообщила:

— Ваш сын раненый лежит в госпитале вместе с моим мужем. Госпитали переполнены, всех тяжело раненных отправляют в тыл

(Москва еще не считалась тылом, а была пересылочным пунктом), а ваш сын заявил, что никуда он не уедет, пока не увидит маму. Он дал мне ваше имя и ваш адрес.

Я растерялась.

— Какой сын, вот мой сын, — показываю на Володеньку, и вдруг спохватилась: — Да это же Сережка!

Когда я пришла в госпиталь, главврач даже обрадовался:

— Пожалуйста, уговорите сына. Мы стараемся освободить место для вновь прибывших легко раненых. А тяжело раненых отправляем в тыл, а ваш сын, когда пришли с носилками, схватился руками за кровать, так что мы не могли оторвать его, и заявил:

— Пока не увижу маму, никуда отсюда не уеду.

Я сообщила врачу, что это не мой сын, и что его матери в Москве нет, и что я постараюсь, сделаю все, что смогу, чтобы разрешили Сережку не эвакуировать, пока не приедет его мать, а врача попросила пока его не трогать.

Сережа действительно был тяжело ранен. Его ранили, когда он тащил раненого товарища с линии огня в окоп.

Я добилась того, чтобы Сережку оставили в Москве. Но это оказалась не такая простая задача, как я думала. Для этого я должна была дойти до самых, самых высших инстанций, так как этот приказ невозможно было нарушить ни под каким видом. Тогда многие бы захотели остаться в Москве. И все-таки я добилась того, чтобы его перевели в специальный госпиталь в Москве, где лежали раненые с такими же, но более легкими ранениями. Но это было далеко не все. Добиться разрешения вызвать его мать тоже требовало гигантских усилий, ведь я уже давно, еще весной начала об этом хлопотать, когда вернулся Сережа из плена.

И наконец, когда его мать приехала, мы с ней помчались в госпиталь, Сережа вышел к нам уже на костылях.

Мы вернулись из госпиталя поздно вечером и, как только сели пить чай, пришла телеграмма, в которой сообщалось о гибели в боях Сергея Сергеевича Исаичева. Мать в истерике решила снова бежать в госпиталь. Как мы ее не уговаривали, что это ошибка, что мы только что от него пришли, ничего не помогло. И в 11 часов ночи мы снова помчались в госпиталь, где все уже спали, подняли всех на ноги и не могли успокоить ее, пока они не разбудили и не привели к нам Сережу. Анна Михайловна тогда еще не знала, что ее старший сын Борис, которому исполнилось 19 лет, уже погиб, когда сбрасывали десантные войска за линией фронта.

Шуру похоронили в рост

11 сентября 1942 года мой брат Шура погиб, так, как гибли русские герои, не щадившие своей жизни во имя нашей победы. Он погиб в боях при попытке прорвать блокаду Ленинграда в районе Невских Дубровок — у станции Мга.

Он пошел защищать кусочек той земли, которую прозвали «кровавой долиной смерти». Пошел добровольно, мог не пойти, так писали мне его товарищи по оружию, те, кто был с ним рядом до последнего его вздоха.

Они писали: «Когда осколок мины пронзил ему грудь, он обратился ко всем:

— Идите, идите вперед, не останавливайтесь! Я *отдышусь* и тоже пойду за вами.

Это были его последние слова. Он скончался у нас на руках. Здесь и остался он навеки. Мы похоронили своего командира, друга и товарища в *рост* и поклялись, что как только кончится война, если кто из нас останется в живых, мы вернемся на это место и поставим памятник нашему лучшему командиру, другу и товарищу». *Похоронить в рост,* как мне объяснили военные, в тех адских условиях, где трупы убитых лежали штабелями, это означало проявление исключительной любви и уважения к погибшему.

Остался ли кто-либо в живых из этих смелых, кристально чистых, честных, советских юношей?

Такого сына воспитал отец. Тот самый враг народа, которого осудили на 10 лет и сослали в дальние лагеря без права переписки. За что? И что может быть *страшнее* этого?

Саша писал мне: *«Я очень хорошо теперь понимаю отца, помнишь как он говорил: „Я никогда, никакой войны не хочу, но если кто-либо, хоть шаг переступит за наши границы, хоть на пядь нашей земли посягнет, то я буду один из первых, который до последней капли крови будет защищать нашу страну… Любите ее дети, берегите. Вы ее хозяева и вы ее защитники!“.»*

К этому письму была приложена вырезка из военно-фронтовой газеты, выходившей в это время в осажденном Ленинграде. В ней снайпер писал: «На моем боевом счету уже много уничтоженных немцев, но за жизнь такого замечательного человека, каким был наш любимый друг, товарищ, командир, Александр Иванович Саутенко, это слишком малый счет».

Встреча 1943 года

Под Сталинградом и в Сталинграде в это время уже шли

самые, самые тяжелые, самые ожесточенные бои. Недалеко от Москвы также шли жестокие бои, а окруженный Ленинград погибал от холода и голода. Положение было очень, очень тяжелое, казалось, критическое. Приближался новый 1943 год. Я очень хорошо помнила и не могла забыть, как мы встретили 1942 новый год. На улице, дрожа от холода и голода в трескучий мороз, как бездомные, в ожидании трамвая.

Во многих домах, как и у нас, из строя вышла вся отопительная система — полопались все отопительные батареи. Чтобы взяться за ремонт, нужно было ждать весны. Топлива также не было. Наш дом, как и все остальные дома, не отапливался еще два года. И единственное место, где можно было погреться, была кухня (газ в Москве во время войны не отключался никогда). Во всех остальных комнатах было так же холодно, как на дворе, если не хуже.

И все равно, я каждый раз с бьющимся от радости сердцем возвращалась с работы домой. Кухня была небольшая, и я до сих пор забыть не могу, какой ужас охватил меня, когда, вернувшись с работы, я увидела бледного, с воспаленными губками Володюшку. Он опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и тяжело обжег руку, боль была невыносимая. И когда он спросил у меня: «Мама, я не умру от этого?» у меня подкосились ноги.

Ко мне на работе (это был номерной завод) подошел один военный и грустно сказал:

— Новый год, а так не хочется встречать его в казарме.

И я, недолго думая, предложила:

— Вот что ребята, я могу вас пригласить к нам, но предупреждаю, квартира не отапливается, будем сидеть в пальто.

Все с радостью согласились, и кто-то из них накануне Нового года на велосипеде даже елку притащил.

А 31 декабря нам принесли давно заказанную буржуйку и установили ее в детской спальне. Но для нее надо было достать еще дрова. За это взялся наш сосед, которому в наше отсутствие дали ордер на нашу квартиру и которому, кстати, так же как и нам вернули его квартиру напротив нашей. Вот он и получил ордер на один кубометр дров пополам с нами. И эти дрова надо было тащить на каких-то детских салазках черт знает откуда, с какого-то склада где-то далеко, за Чернышевскими казармами.

Здесь мы на наши саночки погрузили толстые, метровой длины, промозгшие насквозь бревна, которые с трудом можно было обхватить вдвоем. Одно бревно упало мне на руку, сломало кольцо, которое так глубоко врезалось в мой палец, что мне нужно было разжать его зубами, чтобы стащить. А когда мы с трудом тронули с места салазки, я поскользнулась и не упала, а

грохнулась на землю с такой силой, что мне показалось, что у меня просто отнялись ноги. Но это было не все, эти бревна надо было еще затащить без лифта по лестнице, на шестой этаж, распилить, разрубить на мелкие щепки и затопить нашу буржуйку, что мы и сделали. Откуда только силы брались.

Трубу от буржуйки выставили в форточку, и я радостно затопила ее, чтобы согреть комнату до прихода наших гостей. А их уже набралось, ни много ни мало, человек 20.

Было уже темно, кто-то вдруг постучал к нам в дверь. И я с перепугу, что, может быть, при полном затемнении на дворе из нашей форточки в трубу снаружи видно пламя, в панике бросила на раскаленную до красна печку мокрую тряпку, которая была у меня в руках. От горящей тряпки комната наполнилась черным удушливым дымом. Надо было скорее гасить печь, открывать окна, чтобы проветрить комнату, а гости должны были вот-вот уже прийти.

Среди наших гостей было также несколько человек, только что вывезенных из блокадного Ленинграда по ладожской ледяной Дороге Жизни. Их воспоминания были не просто грустные, тяжелые, а страшные. Но настолько свежие, что им было трудно удержаться от воспоминаний о них.

Одна молодая женщина, жена полковника, рассказала, как при эвакуации, где-то в Финском заливе на ее глазах утонули ее муж и дочь. Другая рассказала, как в Ленинграде их поместили в одной комнате, где уже было несколько семейств, из-за экономии тепла. Здесь стояла буржуйка. В ней жгли все: антикварную мебель, книги, картины — все-все, что могло гореть, но самое страшное было, когда голод дошел до предела.

И однажды, когда она вернулась с работы, открывая дверь, — рассказывала Лидия Семеновна, — что-то откатилось от двери в темноте. Она не видела, что это было. Но когда вошла в дом, она поняла все. На печке варилось мясо.

— Я выбежала из дому и ночевала в чужих холодных квартирах, и до сих пор стараюсь, но никак не могу освободиться от этого ужаса.

Это было то время, когда полуозверевшие от голода люди отрезали куски мяса от замерзших трупов, которые ни у кого не было сил убрать и похоронить. Семьи прятали трупы умерших членов семьи из боязни лишиться того кусочка хлеба, который полагался покойнику.

Среди наших гостей были и военные, только что вернувшиеся на короткую побывку прямо с передовых позиций фронта. Все были молодые, но успевшие за свою короткую жизнь пережить и повидать такое, что никому даже в страшном сне не могло

привидеться.

И поэтому в этой холодной, пропахшей дымом и всем казавшейся такой уютной комнате при мысли, что еще один страшный 1942 год уже позади и что все мы еще живы, мы встретили 1943 год так приятно и весело.

Никогда больше в жизни я не встречала Новый год с таким чувством, даже в самых роскошных хоромах. Очень скоро многих из тех, с кем мы встречали 1943 год, в живых тоже не осталось.

Битва за Сталинград

А в это время с 17 июля 1942 года и до 2 февраля 1943 года шли страшные, кровавые оборонительные бои за Сталинград.

Наши войска, прижатые к берегу многоводной Волги, окруженные немецкими войсками и запертые внутри города, оказались в очень тяжелом положении. Вывозились только тяжело раненые, и то с трудом. Легко раненые бились до смерти. В огне, в грохоте, в дыму, захлебываясь в потоках своей собственной крови, они бились до последнего вздоха.

«Сталинград в огне» — это мало что говорит. Горел не только город, горела объятая пламенем Волга. Горела нефть, которая толстым слоем растекалась по Волге из разбомбленных барж из Баку (туда и рвались немцы). Сталинград в адском, несмолкаемом ни на минуту грохоте снарядов, превративших город длиной в пятьдесят километров в обгоревшую кучу развалин, где ночью было светло, как днем, от огня и пожарищ, а днем темно, как ночью, от разрыва снарядов, от дыма, копоти и пыли. Сталинград в потоках человеческой крови, заваленный сотнями тысяч человеческих тел, где битвы шли врукопашную за каждый этаж, за каждую комнату. Сколько тысяч человеческих жизней стоил Сталинград России, точно не знает никто.

Это почти слово в слово, что рассказал нам прибывший только что из Сталинграда в Москву военный из командно-политического состава армии Рокоссовского.

— Что делается в Сталинграде — невозможно описать, кошмар… Он завален трупами, из трупов строят баррикады, ими заграждают проезды. Где нужно расчистить хотя бы небольшой участок, трупы наших и немецких солдат складывают вместе в штабеля, поливают горючим и сжигают.

— Ведь это ужасно.

— Да, но дальше, — сказал он, — отступать нам было некуда, за нами была Волга.

Шла невиданная, неслыханная и самая кровавая битва за всю историю человечества.

— Сталинград — это место, это точка, где было поставлено на карту — быть или не быть Советскому Союзу. СССР — единственное место на нашей планете, где страной правит народ и народная коммунистическая партия. И на нас сейчас обращены взоры всего мира, и мы победим, мы должны победить, — закончил опаленный в боях наш друг.

И только в тот день, когда мы услышали по радио, что сдался в плен генерал Паулюс с армией в 91 тысячу солдат, всем стало ясно, что с этого момента мы находимся на пути к победе. Но нам предстояла еще очень долгая, тяжелая, кровопролитная борьба.

Уже погибли и еще должны были погибнуть миллионы наших лучших богатырей, наши родные братья не только за то, чтобы спасти нашу страну, а чтобы спасти, освободить весь земной шар от страшной фашистской чумы. Но вот о чем я очень жалею, что они не смогли спасти нашу страну от нашего тирана. Ведь всех этих миллионов жертв не было бы, если бы он не довел народ до такого критического состояния, не обескровил, не обезглавил всеми любимую, глубоко уважаемую нашу Красную армию.

Трудно, невыносимо трудно было в то время понять зачем, зачем надо было Сталину разгромить, разрушить всю мощь, всю силу нашей Красной армии, зачем понадобилось ему расстрелять сразу трех самых блестящих маршалов — Тухачевского, Блюхера, Егорова — и оставить при себе самые ничтожества. Ну кто может поверить, что эти маршалы сдали бы нашу страну немцам? А вот что при них войны бы не было — в это я глубоко верю. Это опять-таки выглядело так, как будто Сталин продолжает выполнять какой-то заранее запланированный заговор.

Не Сталина благодарить надо за победу, а наш великий народ. За то, что среди него нашлись еще новые великие полководцы, которых Сталин не успел до начала войны уничтожить. Но это он постарался сделать, и успешно сделал, когда война окончилась. Сталин, и только он, виноват в том, что Вторая мировая война унесла в могилу миллионы юношей, самый лучший цвет нашей страны.

Только вдумайтесь на одну секунду, тридцать — тридцать пять миллионов наилучших, крепких, здоровых, отобранных со всей страны. Это же сливки нашей страны, чем, кем и как можно их заменить?! Уничтоженные города, деревни и села, всю разрушенную промышленность можно отстроить и восстановить. Но кто и как может вернуть те таланты, те умные головы, которые полегли на поле боя?

Читаю книгу Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», и у меня болит сердце и дрожат руки от волнения, какое счастье, что вот он остался жив и описал нам страшные дни и ночи битвы за

Сталинград, за каждый дом, за каждую калитку, а сколько, сколько их вот таких там полегло! Сколько умных книг было бы написано, сколько умных изобретений было бы изобретено, сколько прекрасных вещей было бы создано. Зачем, зачем же было устраивать это всемирное побоище? И вообще, зачем люди воюют? Зачем?!! И почему народы не уничтожили такие ничтожества, как Гитлер, как Сталин, а дали им возможность поднять свои ядовитые головы, дали им возможность убивать, калечить и лишать миллионы людей жизни?

Нет войне!

Потери американцев во время Второй мировой войны — 405 тыс. человек, меньше, чем погибает в автомобильных катастрофах по всей стране за один год.

А мы только во время Второй мировой войны потеряли свыше 35 миллионов человек, и разрушена дотла была не только промышленность, но разрушены были жилые дома, больницы, детские сады, школы, университеты, театры, музеи, о господи, да им числа нет! Разрушены и сожжены города, деревни и села. Только в одном Советском Союзе: 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий и около 3 тысяч колхозов и совхозов.

Все поля, леса и реки раздолбили, изранили, усеяли трупами, обагрили кровью, и всю землю удобрили пулями, гильзами, осколками снарядов.

Лишили миллионы матерей детей, сынов и дочерей.

Вы только вдумайтесь в эту человеческую трагедию!! Женщина, будущая мать, носит под сердцем маленький, микроскопический зародыш будущего человека, и через три четверти года появляется на свет ребенок, будущий человек. Для женщины и для семьи это самый дорогой подарок в жизни. Мать кормит грудью этого ребенка, отдавая ему лучшее, что у нее есть. И многие годы, пока этот человек не станет на ноги, отдает ему все лучшее, на что она способна, чтобы воспитать лучшего человека для общества.

И вдруг, не успев еще даже почувствовать счастья материнства, у нее отнимают это самое дорогое для нее в жизни сокровище, кому она дала жизнь, и кто-то где-то в одно мгновение убивает его. Кто-нибудь когда-нибудь подумал о том, что убивая сына или дочь, они наносят также неизлечимую смертельную рану миллионам матерей, детей и жен? Война лишает женщин мужей, а детей родителей. Ведь это не просто статистика убитых на войне — это страшная опустошительная статистика разбитых, уничтоженных семейств.

Война — страшная штука. Страшнее всякой чумы, всякой холеры и всех вместе взятых ураганов, наводнений и землетрясений на свете. И если со всеми этими «детскими шалостями» природы, по сравнению с войной, люди ищут методы и способы борьбы, то почему же эти самые здравомыслящие, гениальные люди целеустремленно и упрямо создают и совершенствуют самые страшные, самые варварские способы ведения войны для лучшего уничтожения человечества, но не

ищут ничего для уничтожения того, что может привести к уничтожению всего человечества?

Ведь изо всех сил наперегонки стараясь создать атомную бомбу, ее создавали не для блага человечества, а для уничтожения его. И в течение нескольких секунд уничтожили, стерли с лица земли не только огромные города со всем содержимым, но и четверть миллиона ни в чем не виновных людей.

Похождения американского солдата

Пол Тиббетс, американский летчик, сбросивший атомную бомбу под названием «Малютка» на Хиросиму вспомнил: «6 августа 1945 года в 9. 15 минут наш самолет, которому я дал имя моей матери „Энола Гей“ (которая всю жизнь до самой смерти гордилась этой честью), пролетая над Хиросимой стал на 4,5 тонны легче. А через 43 секунды, что дало нам достаточно времени развернуться, и как только мы успели сделать это, произошел взрыв на высоте 600 метров над городом, наш самолет хлестнуло воздушной волной такой огромной силы, что нас всех крепко затрясло, но это же вызвало огромную радость у меня и у всего экипажа. Наша экспедиция оказалась успешной и я, задыхаясь от радости, взял микрофон и объявил всему экипажу:

— Друзья! Мы совершили первую в истории атомную бомбардировку.

А в это же самое время наши наблюдатели видели, как поднялось вверх огромное облако, а внизу клокотало черное месиво, напоминавшее кипящую смолу в котле.

День был солнечный, ясный, и там, где мы раньше ясно видели город, дома, парки, — все было в одно мгновение превращено в абсолютный хаос».

В этом хаосе в одно мгновение погибло больше восьмидесяти тысяч человек, ранено больше семидесяти тысяч, и город был абсолютно, до основания разрушен на 95 %.

Летчик продолжал свой рассказ:

— Я легко вздохнул, задача была выполнена, успех превзошел наши ожидания, и я с легким сердцем передал самолет в управление Бобу Луису и крепко уснул.

А внизу в это время, по словам выживших японцев, плыли трупы по реке, бежали обгоревшие, абсолютно ошалевшие голые люди, кожа на них висела, как сорванные тряпки, улицы были покрыты трупами женщин, детей, стариков.

Успех действительно превзошел все ожидания.

Но этого оказалось мало, через два дня, зная уже

разрушительную силу этой адской бомбы, была сброшена вторая бомба, и не на какие-то боевые военные части или даже где-нибудь в окрестностях, а снова на спокойно спящий город Нагасаки, где погибло 60 тысяч мирных жителей.

Жалости к этим людям, он заявил, у него не было. Ведь это были не люди, а «джапс».

— Никогда не испытывайте чувство вины.

Слушая это интервью, я подумала: у немцев были «унтерменши», у американцев «джапс».

Союзнички

И если бы, в конечном итоге, у Советского Союза после окончания Второй мировой войны не было бы атомной бомбы, то нас постигла бы та же судьба, что и Хиросиму, так как этого хотел и на этом, не стесняясь, настаивал даже после этой страшной всемирной войны «наш друг и союзник» во время Второй мировой войны Сэр Уинстон Черчилль.

Вот передо мной лежит документ: «Британия готовилась ударить по советским городам». И это не просто «филькина грамота», а обнародованные сверхсекретные документы британских национальных архивов. Был проведен тщательный анализ результатов ядерного удара по наиболее населенным территориям Советского Союза. В Меморандуме «совершенно секретно» указано, что они собирались уничтожить 44 крупнейших советских города ядерными ракетами «Поларис».

Вот тогда бы я хотела посмотреть, как сказано у Демьяна Бедного: «Что б осталось от Москвы, от Рассеи».

И этот «подарок» готовился преподнести нам наш «друг».

Народная победа

Вопреки воле Сталина

Сталин не только скомпрометировал, он похоронил идею коммунизма, представив всю страну, весь советский народ в таком жутком виде перед всем миром. И только во время Второй мировой войны, не благодаря Сталину, я еще и еще раз повторяю, а вопреки ему, имя советского человека вновь гордо засияло во всем мире. А Сталин, как всегда бесстыдно, присваивал и вешал на себя облитые народной кровью ордена и звания, а вернувшихся с фронта людей вместо благодарности отправлял снова на каторгу и в ссылку.

Сталин ссылал и расстреливал те самые кадры нашей Красной армии, которые могли подготовить и создать непобедимую мощь нашей страны, нашего государства. Именно это и облегчило Сталину подписание договоров с гитлеровской Германией, которые не укрепили, а наоборот ослабили нашу оборону, как показала уже финская война, а также увеличили количество наших врагов на Северном фронте, что и произошло от дикого сталинского самоуправления в Латвии, Литве и Эстонии после раздела территорий с Германией. Так что это, тоже промах или ошибки? Так сколько же может быть этих промахов и ошибок, ведь те, кто хотел бороться с советской властью, хорошо воспользовались тем, что во главе советского государства, в управлении страной оказался коварный, злой, мстительный, отчаянно хитрый, любивший власть и лесть человек, боявшийся, по-видимому, разоблачения.

Сталин, став диктатором, вместо того чтобы по фальшивым, вымышленным доносам и обвинениям уничтожать миллионы наших лучших специалистов, обязан был дать им возможность обеспечить нашу страну оружием, вооружить нашу армию до зубов так, чтобы на каждую выпущенную врагом пулю наши бойцы ответили бы сотней пуль, а не погибали бы сотнями сами, потому что у них не хватало патронов и на десятерых бойцов была одна винтовка. И чтобы наши бойцы через полтора-два года после начала войны не присылали с фронта такие письма как: «Теперь у нас достаточно боеприпасов и мы двинемся вперед». Вот поэтому, как и репрессии до войны, так и гибель каждого нашего солдата на фронте, это преступление Сталина.

Сталин был мастер бросать зажигательные лозунги, вроде «Стоять на смерть — ни шагу назад!». И наши герои сами

бросались с последней гранатой на танки, вместо того чтобы забросать танки сотнями гранат, и разве не Сталин за все за это должен был отвечать? Ведь он сам захотел взять и взял власть в свои руки. И только благодаря неутомимой работе нашего народа появилось то оружие, которое должно было быть с самого начала, и наша армия «двинулась вперед», как писали бойцы с фронта, значит, до этого двигались назад, потому что не хватало оружия, и поплатились за это миллионами убитых.

А если бы еще были живы все расстрелянные Сталиным высококвалифицированные военные кадры, и все усилия, потраченные на их уничтожение, были бы затрачены на подготовку к войне? Тогда никакой вооруженный до зубов Гитлер ни при какой погодке не полез бы к нам, и я глубоко уверена, и еще раз хочу подчеркнуть, что Второй мировой войны не было бы, если бы Сталин не подготовил такую благоприятную почву Гитлеру. Ну, разве кто-либо в здравом уме может поверить, что такие полководцы, как Тухачевский, Блюхер, Егоров, Якир, Корк, Гамарник и многие, многие другие погибшие от таких палачей, как Сталин и Вышинский, могли бы отдать свою страну, свою родину на растерзание Гитлеру? Да если бы эта армия молодых, крепких, здоровых была бы в живых и попала на фронт, враг через нее не прошел бы и шага на нашу территорию.

Я об этом говорю так смело, потому что знаю отца и сотни, сотни таких же, как и он, арестованных и исчезнувших с ним вместе, они бы ринулись на передовые линии защищать свою страну и советскую народную власть. Скажу даже больше, никто бы при тех обстоятельствах, даже сумасшедший Гитлер, никогда бы не посмел сунуться в нашу страну. Гитлер, считал, что Сталин своей деятельностью подготовил весьма благоприятную почву для «блицкрига». Поэтому Гитлер и рассчитывал, что боль и горечь, накипевшая у населения в результате Сталинских преступлений, является скрытым оружием его второго фронта.

И я подумала, ведь прав был отец, когда просил: «Узнай, Саша, что произошло». Он был уверен, что произошел переворот в нашей стране, и нашим государством уже управляют такие антинародные, антисоветские силы, которые сумели приблизиться к Сталину и использовать его тупое упрямство для осуществления своих целей и своих задач.

По существу, это так и было, и поэтому в начале войны население встречало немцев хлебом-солью, как освободителей, как избавителей от сталинского произвола (хоть с чертом, но против Сталина), пока немцы не показали свои волчьи зубы.

Во время Второй мировой войны мы победили не благодаря Сталину, сталинскому руководству и сталинской стратегии,

победы добился народ, наш советский народ. Так же как в Гражданскую войну сумел победить раздетый, разутый, полуголодный народ, который боролся по мере своих сил, способности и возможности за право стать полноправным гражданином страны, а не какая-то «банда большевиков» или один «косноязычный Ленин в башмаках с прохудившимися подошвами», как писали о нем иностранцы.

Вот поэтому во время Гражданской войны, в борьбе за эту идею в Красной армии появилось столько прекрасных генералов, которые охотно обменяли сытую, красивую, комфортабельную жизнь на суровые, полные лишений условия жизни простого народа и шли вместе с народом в бой не под двуглавым орлом и трехцветным знаменем (которых, к слову, не смогла защитить вооруженная до зубов Белая армия с помощью всех иностранных интервентов), а шли под красным знаменем с серпом и молотом. Их всех Сталин и пытался уничтожить.

А ведь это они, и только они, как почти вынутые из петли К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский и многие другие генералы, а также чудом уцелевшие полководцы, как Жуков, оставшиеся в живых только потому, что тиран не успел внести их в свои смертоносные списки, спасли страну и всю Европу от фашизма.

А он, и только он, своей двурушнической политикой довел страну до Второй мировой войны, и поэтому миллионы, миллионы погибших лучших из лучших молодых здоровых людей тоже лежат на его совести и нельзя, невозможно приписывать ему победу, потому что победила та часть населения и те полководцы, которых создала наша могучая великая страна, и которых он не успел уничтожить или сгноить в лагерях. Они и только они спасли страну.

И разве это не чудо, что наша *страна, наш Советский Союз,* невзирая на все внешние и внутренние трудности, после того, как пережил две самые страшные, самые разрушительные мировые войны и потерял свыше 50 млн. молодых, трудоспособных и трудолюбивых людей, *благодаря трудолюбию нашего гениального народа поднялся до уровня 2-й мировой державы после самой богатой, самой могучей страны в мире, Америки.*

А что же дальше?

Как только кончилась война и наша земля не успела еще остыть от разрывов снарядов, от грохота самолетов, не успела впитать в себя всю пролитую кровь, Сталин тут же, оправившись от первоначального испуга и набрав силы, успел присвоить себе все лавры победы и под дифирамбы о «сталинских победах» стал

продолжать ту же политику террора. Вместо благодарности тем, кто чудом уцелел, он снова принялся за аресты, ссылки в лагеря и уничтожение теперь уже не героев Гражданской войны, он всех их давно уничтожил, а самых смелых, самых достойных защитников нашей страны, героев Второй мировой войны.

Кончилась война, и он сразу начал оголтелую кампанию по дискредитации Георгия Константиновича Жукова, которого сняли с должности главнокомандующего сухопутными войсками и заместителя министра Вооруженных сил СССР и в июне 1946 отправили командовать войсками Одесского военного округа.

Но Сталин не был бы Сталиным, если бы он прекратил свою уголовную деятельность. И его новая кампания началась снова с министра авиационной промышленности А. И. Шахурина и блестящих генералов нашей отважной авиации, наших военно-воздушных сил, во главе с главнокомандующим ВВС маршалом авиации А. А. Новиковым и многих других. Ему непрерывно нужны были жертвы, как вурдалаку кровь.

Сталин без остановки, продолжал совершать одно преступление за другим, которые мы из скромной стыдливости до сих пор называем «*ошибками*» и *«просчетами»*. За эти «ошибки» и «просчеты» народ заплатил так дорого и понес такие неисчислимые жертвы, которые не смогла бы выдержать ни одна страна в мире.

Ну, а что касается наших достижений в области промышленности, сельского хозяйства, победы над Гитлером во Вторую мировую войну и всех тех успехов, которых сумела добиться наша страна до войны, во время войны и после войны, по моему твердому убеждению, их никогда и не было бы, если бы не героические усилия нашего многонационального советского народа. За это надо благодарить наш народ, который совершил это, преодолев голод, холод, разруху, утрату миллионов своих сынов и дочерей, обмывших и поливших своей чистой кровью почти каждую пядь нашей многострадальной земли. С огромным терпением и с огромным достоинством, с могучей неиссякаемой силой, народ сумел преодолеть все препятствия, все волчьи ямы, поставленные перед ним сталинской политикой, заглушить все обиды и кровоточащие раны, нанесенные ему сталинщиной, добиться победы над Гитлером и освободить не только нашу страну, а всю Европу. За это надо низко-низко поклониться нашей СОВЕТСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, без нее никто бы это не сделал. И нашему народу, который совершил чудо и, преодолев все невзгоды, сумел восстановить страну не только материально, но и морально, но не благодаря Сталину, а вопреки его политике.

И после всего Сталин снова начал гнать наши лучшие, чудом

уцелевшие силы в лагеря.

Нам надо честно и прямо признаться, что вся власть в стране и наша компартия, в силу абсолютного отсутствия опыта и по несчастному стечению обстоятельств, попала после смерти Ленина в руки Сталина, такого же предателя, как Азеф.

Я ведь все это точно знаю по себе, я была уверена, что война кончится и наступит какое-то успокоение, вернувшиеся с фронта воины не позволят, не дадут Сталину, Берии и вышинским продолжать терроризировать народ.

И что он, Сталин, обратится к народу и скажет ему спасибо за сверхчеловеческие усилия и колоссальные жертвы, которые он понес, спасая не только свою страну, а весь мир от фашизма. Но вместо этого он снова начал всех, кто не погиб на фронте, загонять в концлагеря. Зачем?!! И не только в Советском Союзе, а даже во всех странах-сателлитах, в Польше, Венгрии, Чехословакии. И опять, спрашивается, зачем он это делал?!!

Кто был этим проклятым его советником? Или он снова старался показать всем, что он продолжает быть тем же всесильным, как бы в отместку за свою трусость в начале войны.

Ведь вернувшиеся с фронта люди с невиданным в мире энтузиазмом взялись восстанавливать разбомбленную, разоренную страну и восстановили, отстроили города, деревни, села, восстановили промышленность.

А он с неугасаемым энтузиазмом продолжал свое страшное дело и не только в Советском Союзе, а во всех присоединившихся и присоединенных к нам странах, нагнав на всех такой страх и ужас, который они до сих пор забыть не могут, а могли бы быть только нашими друзьями. И виноват в этом один единственный человек — Сталин.

Советское посольство в Мексике

Международная обстановка

В 1944-м году уже никто не сомневался в окончательном разгроме Германии. Вопрос победы над фашизмом был почти решен, и в этом была колоссальная заслуга советского народа, о чем весь мир уже знал. Авторитет Советского Союза возрастал во всем мире, с каждым днем, а авторитет Красной Армии был на недосягаемой высоте.

Но правительство знало, что разгром Германии не означает для Советского государства конец войны, так как, как только закончится война, начнутся послевоенная чехарда переговоров и урегулирование послевоенных отношений со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Всем нашим западным «союзничкам» захочется вытеснить Советский Союз из всех освобожденных Красной Армией европейских стран. Вопрос был только во времени.

Вот почему одна из главных дипломатических задач Советского Союза заключалась в том, чтобы постараться укрепить наши международные позиции в тех странах, которые до войны не представляли для нас особого интереса, и чем больше таких стран будет в числе сторонников Советского Союза, тем легче будет для нашей страны ее послевоенная борьба. Для этого в Мексике подготавливали так называемых стажеров, которые изучали язык, методы работы, завязывали дружественные связи и знакомства, изучали характеристику, роль и значение тех стран, куда им предназначалось выехать.

Но на пути к осуществлению любого нашего плана самой опасной для СССР была, как всегда, политика Черчилля. Черчилля никогда не покидали назойливая мысль и самое сильное желание теперь уже с помощью атомной бомбы в одно мгновение уничтожить, ликвидировать такую ненавистную ему с первого дня появления на свет, а теперь разрушенную до основания Советскую страну, не дав ей даже времени опомнится после войны.

Но к счастью, его план (а то, что у Черчилля такой план был, видно было из рассекреченных документов) не вдохновил даже такого простого, необразованного, но довольно рассудительного американского президента, как Гарри Трумэн, и он не пошел на поводу у Черчилля. Гарри Трумэн хорошо понимал, что весь мир поднялся бы против них в защиту нашей страны.

Открытие посольства

Посол Уманский

Дипломатические отношения между СССР и Мексикой были прерваны еще в 1929 году, и только в конце 1942 года в результате переговоров мексиканского правительства с советским посольством в Вашингтоне были вновь восстановлены.

Послом Мексики в Москве был назначен Луис Кинтанильяс, а послом СССР в Мексике — Константин Александрович Уманский.

Еще в Москве мы слышали, что Уманский — один из самых талантливых советских дипломатов и что он является восходящей звездой в советских дипломатических кругах, а по приезде в Мексику нам пришлось ближе познакомиться с ним и с его женой Раей Михайловной.

Константин Александрович Уманский — среднего роста, очень подвижный, очень энергичный человек. У него довольно приятные черты лица, темные вьющиеся волосы, большие немного навыкате глаза, которые вызывали к нему огромную симпатию, несмотря на то что всегда смотрели чуть-чуть с иронией. Он умел с достоинством держать себя в любом обществе, а знание иностранных языков — французского, итальянского, английского, немецкого, — на которых он говорил в совершенстве, делало его приятным, неотразимым собеседником.

Он окончил факультет литературы и журналистики при Московском университете, был образован и, пожалуй, даже энциклопедичен. Десять лет он проработал корреспондентом ТАСС в Западной Европе.

Дипломатическую карьеру Уманский начал под покровительством М. М. Литвинова. Когда Литвинов был наркомом иностранных дел, Уманский был у него заведующим отделом печати и быстро и успешно продвигался по службе. В 1936 году, когда Литвинов был назначен послом Советского Союза в Вашингтоне, Уманский стал его первым секретарем. Когда в 1939 году советское правительство начало вести переговоры о дружбе с гитлеровской Германией, Литвинов, открыто выступавший против пакта с Германией, был отозван, и на его место был назначен Уманский, который в это время всецело поддерживал сталинскую позицию союза с гитлеровской Германией.

Уманский не сумел предвидеть нападения Германии на СССР

и последовавшего затем союза СССР с США и Англией, и в октябре 1941 года после заключения договора с союзниками, Уманского отозвали в Москву, и его снова сменил Литвинов. Пронесся даже слух о том, что звезда Уманского закатилась. До весны 1943 года Уманский работал в центральном аппарате НКИД. Но в дальнейшем обстоятельства изменились, опала как будто была снята, и его назначили послом СССР в Мексике.

Мексика рассматривалась советским правительством как ключ ко всей Латинской Америке. Отсюда оно намеревалось распространить свое влияние и налаживать контакты со странами Южной Америки. Самим ярым противником этой политики были, конечно, Соединенные Штаты, поэтому чрезвычайно важно было иметь послом в Мехико подходящего человека. Таким оказался Уманский. Он был достаточно хорошо знаком с политикой США и знал персонально людей, делавших эту политику.

Несмотря на то что в советских дипломатических кругах назначение его в Мексику после работы послом в США рассматривалось как понижение в карьере.

Подготовка к открытию посольства

До приезда Уманского в Мексику туда была уже командирована группа во главе с первым секретарем посольства Тарасовым, которая должна была подготовить почву и создать благоприятную атмосферу для открытия посольства и приема посла. Тарасов сумел окружить себя довольно большой и преданной командой, вошел в контакт с организациями и отдельными лицами, которые искренне и глубоко симпатизировали Советскому Союзу. Он установил хорошие отношения с членами правительства, дипломатами, писателями, артистами и, главное, старался постепенно ликвидировать ту напряженную атмосферу, которая была в Мексике после убийства Троцкого.

Тарасов пользовался в Мексике большим успехом. Высокого роста, красавец, в обществе держал себя независимо, умел «заговаривать зубы». К его красивой, мужественной фигуре очень шла новая дипломатическая форма: черный китель, вышитый золотым позументом, с кортикам на боку.

Семейная трагедия Уманских

В Мексику Уманские прибыли в июне 1943 года, в самый тяжелый момент их жизни, после трагической гибели их единственной дочери Нины.

Жена Уманского Рая Михайловна родилась в Сибири. Отец ее был православный, мать — еврейка. Родителей она лишилась в возрасте четырех лет и в дальнейшем жила и воспитывалась у сестры своей матери в Вене. Поэтому, хотя она считала себя русской, по-русски говорила с большим немецким акцентом.

Рая Михайловна не была красивой, но была чрезвычайно привлекательна, умна и хорошо воспитана. В обществе она всегда пользовалась большим уважением и умела располагать к себе. Она была общительна и имела широкий круг знакомых. Как жена посла, она отвечала всем требованиям и во многом, особенно в вопросах этикета, даже руководила своим мужем.

В Москве Уманские жили в Доме правительства у Каменного моста, построенном архитектором Мордвиновым в 1932 году. Этому дому в истории определено особое место. Он занимает целый квартал между Москвой-рекой и каналом. Фасадом он обращен к Каменному мосту, за которым возвышается Кремль. Несмотря на хорошие большие квартиры, дом выглядит очень мрачно и напоминает тюрьму.

Квартиры в этом доме были отведены членам политбюро, членам правительства, наркомам и т. п. Здесь жили Бухарин, Пятаков, Радек и многие другие. В 1937–1938 гг. в период сталинской чистки, Дом правительства опустел, почти все его обитатели были арестованы, расстреляны, сосланы. В эти годы в редком окне можно было заметить свет, дом как будто вымер. Ночью каждый ждал своей очереди — вот-вот позвонят и к ним. Только перед войной дом чуть-чуть ожил, сохранив за собой навек страшную славу сталинских времен.

Рая Михайловна не любила этот дом, предпочитала жить на даче, со своей дочерью Ниной. В пятнадцать лет Нина была красивой обаятельной девушкой. Гордости Уманских не было границ, весь смысл жизни Раи Михайловны свелся к ней. Семейная жизнь Уманских не была особенно удачной, но единственная дочь, которую они оба боготворили, их крепко связывала. Нина была в семье кумиром, ни отец, ни мать не в состоянии были в чем-нибудь ей отказать. Назначение Уманского в Мексику Нина восприняла с большой радостью. Ей предстояло увидеть новую интересную страну и быть в центре внимания, как и раньше в Вашингтоне, когда отец был послом там. Рая Михайловна часто вспоминала, что Нина ничему так не радовалась, как предстоящей поездке в Мексику, и удивлялась их равнодушию.

Накануне дня отъезда Нина, попрощавшись со своими друзьями, возвращалась домой в сопровождении сына Анастаса Микояна, наркома внешней торговли и сына Александра

Шахурина, наркома авиационной промышленности.

Молодой влюбленный в Нину Шахурин очень просил ее отказаться от поездки с родными в Мексику. Нина же категорически заявила, что она поедет, что этот вопрос уже решен и никто не в состоянии удержать ее. Они остановились у Каменного моста, недалеко от Дома правительства.

Микоян, заметив, что разговор между ними принимал все более и более бурный характер, и, поняв, что он здесь лишний, попрощался с ними, пожелал Нине счастливого пути и ушел.

Знакомая Уманских рассказывала, что когда она шла к кинотеатру «Ударник», то вдруг услышала выстрелы, на мост начал собираться народ. Когда она приблизилась к этому месту, то увидела девушку и юношу, лежащих на земле. Видеть их близко, ей не удалось, так как милиция стала разгонять собравшихся. Очень скоро прибыла карета скорой помощи и увезла обоих. Но в толпе кто-то быстро узнал участников трагедии, и не успела она дойти до кино, как уже знала, что это были сын Шахурина и дочь Уманских Нина.

Нина была убита на месте, сын Шахурина оказался только раненым и умер через два дня.

В это время с дачи позвонила Рая Михайловна и спросила о дочери. Зная, что это известие убьет Раю Михайловну, решили как можно осторожнее подготовить ее. Сестра Раи Михайловны, Лидия Михайловна, сказала ей, что Нина оступилась на лестнице, упала, удар был очень сильный, в голову, и ее отправили в больницу. Мать немедленно вернулась в Москву прямо в больницу. В больнице врачи уговорили ее не тревожить дочь, находящуюся в тяжелом состоянии. Родные и близкие также уговаривали ее подождать, пока врачи, не разрешат повидать Нину.

Рая Михайловна в полуобморочном состоянии просидела всю ночь с телефонной трубкой в руке, врачи из больницы сообщали, что нашли сотрясение мозга и что они прилегают все усилия, чтобы спасти больную. Затем начали поступать известия одно тревожнее другого, что состояние дочери ухудшается, наконец врачи решились сообщить ей страшную истину. Рая Михайловна потеряла сознание.

Константин Александрович первым узнал всю правду. Он был глубоко потрясен. Многие знакомые, члены правительства приходили, звонили по телефону, выражали соболезнование, но Уманский их не слышал и ни на что не реагировал. Позвонил и нарком Шахурин, Уманский взял трубку и, не ответив, повесил ее.

Кремация Нины была в тот же день, Рая Михайловна на ней

не присутствовала, она была без сознания, при ней все время дежурили врачи.

Это был день их вылета в Мексику.

После кремации Константин Александрович и Рая Михайловна Уманские, в сопровождении довольно солидной свиты вновь набранных для советского посольства в Мексике служащих, вылетели с центрального Московского аэродрома. В Мексике их уже ждали.

Прощание Константина Александровича с Родиной

Перед тем как сесть в американский самолет «Дуглас», уносивший их в США, Константин Александрович Уманский опустился на колени, поцеловал землю, взял горсть земли, завернул в носовой платок и увез с собой. Это был последний символический жест посла Уманского, и последняя остановка на советской земле, на которую ему не суждено было вернуться живым.

Уманских сопровождали врачи кремлевской больницы. Рая Михайловна всю дорогу, находилась под действием различных успокоительных средств. С тех пор и всю свою дальнейшую жизнь, до самой своей трагической гибели, Рая Михайловна не могла обходиться без успокаивающих наркотических средств.

Вся сопровождавшая их челядь была строго предупреждена никогда и нигде не проговариваться об этом происшествии. В крайнем случае они должны были объяснить смерть Нины как несчастный случай, а не убийство. Особенно тщательно они старались скрыть настоящую причину смерти дочери от самой Раи Михайловны. Когда Рая Михайловна пришла в себя во время перелета, оглядев всех летевших с ними, она обратилась к жене одного из сотрудников Лене.

— У вас есть дети? — спросила она.

— Нет, — ответила Лена, — моя дочь умерла от скарлатины.

Подошел Уманский, Рая Михайловна сказала:

— Костя, у нее тоже умерла девочка.

Положение обязывает

По словам Раи Михайловны, вся дорога через США до Мексики была для них пыткой. Повсюду их встречали представители дипломатических корпусов, фотографы, журналисты, репортеры, надо было здороваться, улыбаться, отвечать на многочисленные вопросы. И надо отдать им справедливость, это испытание они выдержали мужественно.

Вручение верительных грамот

Первые шаги Уманского начались с вручения верительных грамот президенту Авила Камачо. Он извинился, что свою речь он произнес по-английски и обещал, что через полгода он будет говорить с ними по-испански, но уже через три месяца он свободно говорил на этом языке, что с восторгом и с изумлением отмечала вся мексиканская пресса.

Как мы попали в Мексику

Случайная встреча

Возвращаясь с работы в метро, я встретила инженера из нашего института Николая Краснова. Он сказал, что на днях уезжает в Чили.

— Ты понимаешь, как только я вернулся в Москву, я сразу обратился в отдел кадров наркомата. Мне немедленно предложили через Наркомвнешторг поездку в Чили и оформили ее в течение двух месяцев, у меня сложилось впечатление, что у них имеются вакантные места, а кадры сейчас очень трудно подобрать, сама сходи, попробуй, ты ничего не потеряешь.

На этом мы расстались, я пожелала ему счастливого пути. Дома я рассказала все Кириллу и сказала:

— А что, если я действительно попробую сходить в отдел кадров НКВТ? Как Николай сказал: «сама сходи, ты ничего не потеряешь» (меня в это время оформляли в Наркомцветмете в качестве референта).

Были ли репрессированы ваши родственники?

Так что через несколько дней Кирилл вдруг принес мне анкету — два листочка, четыре странички. Я до сих пор помню, как мы всегда возмущались, что у нас слишком длинные анкеты, и особенно всех возмущала графа: Есть ли у вас родственники за границей?

— На, заполни, — сказал Кирилл, — я свою уже заполнил и оставил там, в отделе кадров, а эту просили тебя заполнить, приложить к ней короткую автобиографию и рекомендацию кого-либо из знакомых членов партии.

Раньше все было проще. Вот вы сами посудите, приходит человек прямо с улицы, ему предлагают работу, не куда-нибудь в другой город, а за границу, на другое полушарие нашей планеты, и дают ему сразу же заполнить анкету.

В автобиографии и в анкете на вопрос о родителях, вместо того чтобы написать «отец репрессирован как враг народа», я написала «мать живет со мной, о судьбе отца мне ничего не известно», но свою фамилию я никогда не меняла. И все прошло. Никому даже в голову не пришло покопаться, поискать, так ли это. Хотя дело моего отца и было на Украине, где-то в Киеве или в Житомире, но если бы в Москве покопались, то нашли бы мои

многочисленные письма с просьбами пересмотреть дело отца.

Но в эту великую панику, я думаю, и в Москве, и во всех других местах все эти бумаги, вероятно, были уничтожены, зачем было держать их, когда и людей уже в живых не было.

Значит, прав был Николай, который сказал, что у него создалось впечатление, что у них имеются вакантные должности, но некем их заполнить. Вы можете себе представить, как и до какой степени в то время была опустошена наша страна!

Деликатное предложение

Месяца за полтора до нашего выезда за границу Кириллу Михайловичу, по-видимому, так же как и всем, не только у нас в Советском Союзе, а во всех странах мира, сотрудникам, выезжающим за границу, предлагали быть внимательным, наблюдательным и в случае чего сообщить куда и кому следует.

Кирилл, не задумываясь, сразу же от всего этого категорически отказался. Как сейчас помню, вернувшись с этого свидания, он сказал:

— Все. Никуда мы не поедем.

— Почему? Что случилось?

— Видишь ли, я только что дал расписку о неразглашении, о чем мы говорили, но тебе я могу все сказать. Меня пригласили, ты понимаешь куда, и предложили, очень вежливо, быть наблюдательным и сообщать о том, что я замечу, в соответствующие органы. Я на это категорически сказал, что я не умею и не могу этим заниматься, я человек болтливый и не умею хранить тайны, легко могу проболтаться, и тем самым от меня вреда будет больше, чем пользы. И тот человек, что говорил со мной, не уговаривал, не настаивал, он просто попросил меня расписаться, что этот разговор останется между нами, пожал мне руку, и я ушел. Я уверен, что теперь они найдут кого-то более покладистого, который скажет: «О чем речь? Пожалуйста, и сколько угодно».

И мы, честно скажу, будучи, как и все, твердо уверены в том, что все зависит от этих органов, так и решили: значит, все кончено и никуда мы не поедем, и были приятно удивлены, когда недели через две нам сообщили:

— Ваши загранпаспорта готовы, приходите за ними.

Законный брак

Кирилл занимал в это время крупный пост, он был главный инженер «Спецавиатреста» при Наркомате боеприпасов, это

можно было легко проверить. Но вот что он женат и у него двое детей поверили так прямо, на слово, так как никакого брачного свидетельства о том, что мы муж и жена, на бумаге у нас никогда не было, да, собственно, никто никогда и не просил его представить.

Мы уже 8 лет жили вместе, у нас было уже двое детей, и у каждого из нас был свой паспорт, у меня — на мою девичью фамилию. И никогда никаких ни у меня, ни у Кирилла по этому поводу недоразумений при поступлении не только на работу, но даже когда мы просили взять нас в армию, не было. Кирилла только спросили:

— Это ваша жена и дети у вас есть?

— Да, — ответил Кирилл, и этого было достаточно, и никто не попросил документа или какого-нибудь доказательства о браке…

И даже когда оформляли нашу поездку за границу, и мы должны были получить паспорт на одну фамилию, и я заполнила и подала анкету на свое имя, с нас никто не потребовал представить свидетельство о браке.

И только тогда, когда в наркомате я сдала наши московские паспорта и взамен получила новые заграничные паспорта оба на фамилию Алексеевы, сотрудник наркомата очень мило сказала:

— Вот мы вас и поженили.

Эта реплика относилась к тому, что они понимали, что у нас не было никакого свидетельства о браке, так как мой паспорт был на мою девичью фамилию и я вовсе не собиралась ее менять, и это для них не имело никакого значения. Но для поездки за границу, мне объяснили, паспорт должен быть на одну фамилию, так я с этого момента стала Алексеева и долго не могла привыкнуть к чужой, как мне казалось, фамилии.

Для загранпаспорта меня попросили сфотографироваться в наркомате вместе с детьми, дети были записаны в мой паспорт.

Больше никто никогда ни Кирилла, ни меня до поездки за границу не беспокоил. Я до сих пор не могу понять — разве запись где-то в книгах или церковный обряд делают брак более прочным? И если бы не поездка за границу, я так навсегда и осталась бы со своей фамилией.

Партийная принадлежность

А вот еще один миф. Что касается нашей, так сказать, «партийной принадлежности», без чего, как все утверждали, в Советском Союзе и шагу ступить нельзя. Это еще один парадокс нашей советской системы. Ни я, ни Кирилл не были членами

партии. Мы были членами комсомола, но из этого возраста мы уже выросли, и автоматически никто не считал нас даже комсомольцами.

Правда, незадолго до войны Кириллу несколько раз предлагали вступить в партию, и, я не помню точно, когда это было, в 39-м или даже, может быть, в 40-м году, Кирилл решил, и был принят в кандидаты. А во время войны умудрился где-то посеять свой членский билет, и никогда об этом он больше не вспоминал, и никто никогда ему об этом не напомнил. Так и работал он главным инженером «Спецавиатреста» в Наркомате боеприпасов как беспартийный во время войны с начала 1942-го до 1944-го года, и за границу мы выехали тоже как беспартийные.

На это тоже никто не обратил внимания. И это значит, что на работу за границу могли попасть как партийные, так и беспартийные граждане Советского Союза.

Старший брат Кирилла Феодосий до того как попал в ополчение в 41-м году, почти 18 лет работал в Наркомвнешторге и тоже был беспартийным. И тоже после нашего отъезда, как только демобилизовался, выехал за границу, и тоже как беспартийный, и он не только в партии, но даже в комсомоле никогда не состоял.

И еще одна очень немаловажная вещь: ведь мы никакого, ну абсолютно никакого отношения к каким-либо организациям, учреждениям или каких-либо личных контактов, связанных с поездками за границу, не имели. По существу, Кирилл так просто прямо с улицы зашел, как и Николай, в отдел кадров Наркомвнешторга, где ему сразу сказали, что есть вакансия в Мексику и еще куда-то. Он выбрал Мексику. Ему тут же вручили анкеты.

Престижная командировка

На работе к его поездке за границу отнеслись очень хорошо, дали ему прекрасную характеристику, поездка их сотрудника за границу им казалась весьма престижной. Оформление шло с конца декабря до начала мая.

Для ознакомления со страной и с языком нам дали литературу, что-то вроде справочника для туристов. Меня ни разу никуда не приглашали, а Кирилла один раз пригласили на какой-то инструктаж, как осторожно нужно вести себя на первых порах за границей, чтобы не попасть впросак, а на повторный инструктаж его уже не пригласили, так как, видно, он производил на них впечатление, что он в этом не нуждается.

Недели за две до поездки нам выдали ваучер на получение

кое-какой одежды, обуви и также продуктов на дорогу.

Почти кругосветное путешествие

Выехали мы с группой советских дипломатов 2 мая 1944 года. Маршрут наш был следующий: Москва — Владивосток целую неделю в поезде. А из Владивостока до Америки на нашем пароходе «Балхаш» под командованием капитана Павла Федоровича, на котором находился его друг и бывший однокурсник капитан Василий Афанасьевич, который ехал в Америку принимать морские корабли по ленд-лизовским лицензиям, с женой которого, Надеждой Васильевной, мы подружились по дороге.

У берегов Японии нас встретил японец-лоцман, он провел наш «Балхаш» через подводные минные заграждения, расположенные вокруг Японии. Наша первая остановка была на Алеутских островах в районе Аляски.

Теплый прием на Алеутских островах

Здесь нас встретил американский военный гарнизон, встреча была потрясающе теплая: капитана нашего парохода с группой дипломатов пригласили на обед. Наш Володя переходил из рук в руки, он всем рассказывал все происшедшие события во время нашего плавания — как он ловил рыбу, сколько он видел китов и как мимо нашего корабля проплыла мина и было страшно. Военные американцы сидели, слушали, кивали головой, и вдруг раздался хохот. Володя, сообразив, что они его не понимают, обратился к ним со словами:

— Ну я же вам русским языком говорю!

Этой репликой он покорил всех, а вечером к нам на «Балхаш» зашел военный капитан и на ломаном русском спрашивал:

— Г-де м-ой д-руг Во-ва?

Вечером в их военном клубе для нас был дан концерт, показали нам кинокартину под названием «Песнь о России», где русская девушка без препятствий выходит замуж за американца, и в заключение вечера были танцы.

Я убежала оттуда просто в истерике. Перед моими глазами все еще стояли страшные картины этой проклятой кровавой бойни. И незабываемые лица родных, друзей и знакомых, погибших и продолжавших погибать на этой страшной проклятой войне. И как им всем до последнего вздоха так же хотелось жить и радоваться!

Порт Сиэтл (США)

Наш пароход, как будто обернувшись вокруг своей оси, проплыв бухту, подошел к пристани и, бросив якорь, врезался в чужую землю.

Чужой берег, чужие корабли, чужая пристань… И даже доски, обычные деревянные доски, выглядели чужими. Яркое солнце поливало щедрым светом раскинувшийся на горе, с полуутопавшими в зелени окраинами, город. Сиэтл — прозвучало незнакомо и чуждо.

На этом пароходе еще был наш советский мирок, но на берегу ходили незнакомые, чужие люди. В удивительно ладной спецовке, в перчатках они толкали тележки с грузом. То закрывались, то вновь открывались какие-то люки, выбрасывая аккуратно запакованные пакеты. Такая же упаковка была у товара, поступавшего к нам на пристань из-за границы, при нашей посадке на пароход она привела нас в восторг.

Чуть в стороне, за огромными зеркальными окнами, за блестевшими от чистоты столами, стояли белокурые, в синих блузах девушки и ловко что-то паковали. Это был рыбоконсервный завод. Вид их, для меня необычный, здоровый цвет лица, свежая краска на губах не вязались в моем представлении с положением работниц.

Несколько аккуратно причесанных женщин в синих брюках, наглаженных кофточках прошли по пристани. Запрокинув головы вверх, они старались разглядеть наши лица. Я оглянулась: весь экипаж нашего парохода, облепив перила, смотрел не отрываясь на берег. Члены партии, комсомольцы, беспартийные советские граждане забыли в эту минуту обо всем и с глубоким, нескрываемым интересом, так же, как и я, смотрели на «заграницу». Все мы старались увидеть что-либо уродливое, что успокоило, привело бы нас в нормальное состояние и оправдало бы наше представление о жизни в капиталистической стране.

Я понимала, что любой недостаток, замеченный нами, привел бы нас в чувство, и мы с большим облегчением принялись бы его горячо обсуждать. Но этого не случилось, и все стояли погруженные в свои мысли.

Меня, я помню, больше всего волновал и интересовал вопрос, как здесь люди могут работать на какого-то владельца той или иной фирмы, то есть на какого-то капиталиста отдельно, а не на государство вообще. У нас я всегда чувствовала, что я работаю на общую большую семью, то есть на государство, и так же как в своей маленькой семье, чувствуешь и думаешь, что работаешь на

благо не одного отдельного члена семьи, а всей семьи.

Кирилл тронул меня за плечо, он, вероятно, звал меня долго, но только его прикосновение меня пробудило.

— Ты что же, уснула, что ли? — улыбнулся он.

За ним стояли Василий Афанасьевич и Надежда Васильевна. В их руках искрились бокалы с шампанским. Мы перешли на противоположную сторону парохода, где не было ни единой души.

— Ну что ж, за благополучный приезд и за счастливую работу.

Бокалы звякнули. И в ту минуту, когда я поднесла бокал к губам, сердце защемило — *изменится ли после войны все у нас там, или все останется по-прежнему?*

Кирилл поцеловал меня:

— Желаю счастья.

Счастье — это непривычное слово вывело меня из равновесия. *Почему счастье должно прийти здесь?* А не там, где оно могло и должно было прийти, там, где я хотела и мечтала о счастье, там, среди родных людей, среди родных полей, лесов и рек, но его не было. Понятие «счастье» было смутное и иллюзорное. О каком счастье я могла думать? И разве имела я право мечтать о нем среди океана слез и горя?

Ни Василий Афанасьевич, ни Надежда Васильевна так остро не реагировали, они уже в Америке не в первый раз. Но когда мужчины покинули нас, я, с трудом стараясь подавить в себе душившие меня слезы, со жгучей тоской смотрела на горизонт, туда, где исчезла земля, где исчезла страна, называемая моей Родиной.

Надежда Васильевна потихоньку произнесла:

— Страна здесь, Нина Ивановна, удивительная, как сказка.

— Да, но как бы я хотела, чтобы моя страна тоже была не разбитая, не искалеченная, не изуродованная, а так же хороша, как сказка.

Почему этого нет? А ведь я всю жизнь хотела этого, мечтала об этом и этим жила. И это давало силы, укрепляло желание работать и жить. Я верила и верю в то, что там тоже была бы самая лучшая сказка в мире, если бы ее не разрушила эта чудовищная, страшная, жестокая сталинская система… Страшнее которой не может создать человеческая фантазия.

— Товарищи, в салон, — дал команду культурный затейник, прославившийся среди пассажиров как ловелас.

Все быстро собрались. Дети, не унимаясь в своих играх, шныряли между ног и под столами, появился даже Костя, которого всю дорогу укачивало.

Напутственная инъекция

В центре за столом рядом с капитаном расположились очень плотный человек среднего роста и двое юношей, их одежда резко отличалась от наших «экипировочных» костюмов, в которых были одеты приехавшие дипломаты. Легкие светлые костюмы, узкие красивые галстуки, начищенные до зеркального блеска ботинки, это были представители торговой конторы в Сиэтле, в обязанность которых входило дать нам первую напутственную инъекцию, прежде чем мы коснемся ногой чужой земли.

— Товарищи, поздравляю вас с благополучным прибытием в Америку (с чем нас действительно можно было поздравить, так как дорога действительно была опасная)! — начал старший из них. — По этому поводу я хотел бы дать вам несколько напутственных советов, так как вам скоро придется покинуть пароход и дальше вы будете следовать железнодорожным транспортом. Но как только вы сойдете на берег, каждый из вас не должен забывать, что вы находитесь в чужом окружении.

— Американцы хорошие, они только по-русски говорить не умеют, — громким шепотом вдруг заметил Володя.

Все рассмеялись.

— Уходи наверх, — приказала я.

Но Надежда Васильевна, задыхаясь от смеха, взяла его к себе на руки.

— Американцы — наши союзники в войне, но здесь, — продолжал он, — за каждым вашим шагом будут следить, вы можете ожидать провокацию каждую минуту, вы должны быть бдительны и начеку. Что бы вам ни попалось на улице, не поднимайте. Это один из излюбленных видов провокаций. Недавно был случай, когда нашему работнику подбросили меховую шубу. И когда он поднял ее и подошел к полицейскому, чтобы вручить находку, его потащили к разбитой витрине магазина, откуда-то появились репортеры, и на следующий день газеты напечатали его фотографию у разбитой витрины с меховой шубой в руках.

Что-то подобное я слышала даже в Москве. Неужели правда? Мне не хотелось верить, и в то же время второй голос шептал: *«А черт его знает, может быть, и да…»* Во всяком случае, я была уверена, что попасть в такую историю нашему брату значило, что ему каюк.

— Так же точно бывает и с подарками — вам дарят вещь, а потом начинается шантаж и вымогательство… Имейте в виду, что все ваши вещи в отелях будут перетряхиваться и пересматриваться. Все ваши разговоры будут подслушиваться.

Документы храните при себе… Не ходите большими группами, чтобы не привлекать к себе внимание, но ни в коем случае не ходите в одиночку.

Много всяких напутственных советов давал он, от которых настроение все более и более мрачнело. Значит, и здесь… А мы-то вечно жаловались, что хуже, чем у нас, нигде и быть не может.

— В ресторанах, в отелях при отъезде оставляйте на чай не меньше десяти процентов. К этому, товарищи, надо вам привыкнуть, так как у нас это считается унижением человеческого достоинства. А здесь же служащий получает нищенскую зарплату, и чаевые — их основной источник существования.

Он обратился к мужчинам:

— Не забывайте уступать женщинам место, а при входе и выходе открыть дверь и пропустить даму впереди себя.

Дальше пошли детали:

— Ежедневно бриться, ежедневно принимать ванну. Чистить обувь, ходить в выглаженных костюмах, при еде вилку держать в левой руке, нож — в правой. И главное — тихо разговаривать.

И сам говорил таким приглушенным голосом, что мне показалось, он боялся, что его услышат через броню парохода на берегу грузчики, увлеченные работой девушки с наружностью артисток и ласково плескавшийся океан.

Когда напутственный доклад кончился, мужчины, не обращая внимания на дам, как обычно, полезли вперед, считая, что эти правила относятся к поведению на американской территории, здесь же они все еще чувствовали себя дома. Значит, и привычки менять было незачем. И вдруг Володюшка, опередив всех, остановился у выхода, оттеснил мужчин, открыл дверь и вежливым жестом пропустил женщин вперед.

— Вам же сказали, женщин пропускать первыми, — укоризненно заметил он растерявшимся мужчинам.

Его поступок вызвал снова взрыв дружного смеха. Молодец, вот, оказывается, с какого возраста эту науку прививать надо.

И как только капитан увел инструкторов к себе угощать, появились таможенные чиновники, и после проверки документов пассажирам было разрешено спускаться на берег.

Народ группами, которые организовались с момента выезда из Владивостока, быстро стал отправляться в город. И через несколько часов все уже преобразились.

Преображение

После того как, собрав вещи, я вошла в салон, я увидела необычную картину. Везде сидели люди и ели, разостлав бумажки

на коленях, на столах, огурцы, помидоры, апельсины, черешню. Млел от удовольствия Костя, которого всю дорогу укачивало, теперь он ожил и весело носился по палубе.

Мимо меня проходили новые незнакомые фигуры. В ярких трикотажных платьях, с умопомрачительными цветами. И только когда они оборачивались, я узнавала, что это наша Маша или Наташа.

Ребятишки носились по палубе в светлых платьицах и ботиночках.

— Вы чьи же это будете? Что-то я вас и не узнаю, — шутил над ними врач парохода.

Ребята со счастливыми, улыбающимися рожицами становились в шеренгу перед ним и, указывая друг на друга пальцем, перечисляли: Ваня, Таня, а это Маня…

— Узнаю, узнаю, бегите… — смеялся врач.

— Игрушек-то сколько… — разговаривали дети. — Велосипеды, пароходы и кораблики… настоящие… всего, чего хочешь.

— А куклы… — с восторгом говорили девчонки. — Подумаешь, кораблики настоящие… Мне мама все обещала купить.

«Боже, как это просто, народ в одну минуту преобразился», — глядя на радостное волнение ребятишек, думала я.

Те же женщины с широкой размашистой походкой и резкими движениями рук. Те же незатейливые прически, так же скупо подкрашенные губы маленьким бантиком. Но ладно сшитое дешевое американское платье делало их менее знакомыми и более подтянутыми. На мужчинах сразу же появились сногсшибательные галстуки и шляпы с широкими полями. Непривычно было видеть их в шляпах, да еще незнакомого фасона.

После обеда кое-кто вынул из кармана сигары и закурил.

— Вонищу-то какую развели! — сморщилась жена ехавшего в Канаду дипломата.

— Кому не нравится, может на палубу отправляться, — усвоив первые уроки вежливости, предложил молодой человек.

— И как эту пакость сосут? — проворчала недовольно женщина и вышла.

— Вот вам и привезли за границу культурность… Эх, и серость же… — обратился один из обладателей сигары ко мне, ища сочувствия.

— Если вы имеете в виду, Николай Иванович, замечание женщины, то вам следовало бы вежливо извиниться и выйти или бросить сигару. Она женщина, и притом старше вас.

Ему это раньше, вероятно, и в голову не пришло.

— Нина Ивановна, извините, но ведь я здесь впервые… — начал оправдываться он. — Вы уже бывали, вам все это знакомо.

Я рассмеялась:

— Я тоже за границу попала первый раз в жизни. Но для того чтобы знать, как себя вести, не нужно бывать за границей, а просто уважать друг друга.

— Чего вы скрываете, ведь мы всю дорогу наблюдали за вами, и все решили, что за границей вам не впервые бывать… Вы одеваетесь не как другие и ведете себя по-другому.

— И тем не менее, кроме Советского Союза, я нигде не была. Значит, и у нас можно кое-чему научиться, было бы желание.

Первые впечатления о загранице

— Да что там говорить, вот у нас все время так и твердили «заграница», да «за границей», как там, как «за границей»… Так я и думал, что здесь все как зеркало, все так и блестит, а вошел в город, ну поверите?.. Грязища на улицах… Упади — и носа не расшибешь. Мусор, бумаги, газеты, так и гуляют по ветру. Эх, подумал я, кабы этот город да русским достался… Вот бы конфетку сделали, весь мусор бы подлизали, сукины дети.

— Бумаги, газеты… А откуда им взяться? — вставила остроносая Аня, ехавшая в военную миссию в Лондон. — Я вот зимой, Нина Ивановна, — обернулась она ко мне, — иду по Красной Пресне и вижу хвост у нашего магазина, решила — что-то дают, и встала. Спрашиваю выходящих: что есть в магазине? Крупа — отвечают. А у меня, Нина Ивановна, ничего нет, кроме карточек. Больше часа стояла, ломая голову, — во что возьму? И вдруг решила, зашла в темный угол, сняла кофточку, завязала рукава… ну вот и пакет готов. Но крупа окончилась, начали соль давать. Так я соли насыпала в рукав. А по сахарным талонам пастилу можно было получить. Я так и не взяла, никто клочка бумаги не одолжил. Да разве я когда выбросила бы на улицу газету?

Воспоминания стали переплетаться с впечатлениями об Америке. Было очень интересно слушать их, но ко мне подошел капитан нашего парохода.

— Пойдемте ко мне, нас хотят фотографировать, а потом мы вместе сойдем на берег.

Я с трепетным волнением ждала этого момента. Сойдем на берег… До сих пор кругом была вода, и наш пароход как наша земля под ногами. И вот первый раз в жизни надо было ступить на другой континент, на чужую землю на противоположной

стороне земного шара. Полагалось бы готовиться к этому моменту, как к торжественному событию. Мы за границей. Разобрать свой гардероб, но все оказалось чрезвычайно просто, при наличии одного костюма, одного платья и одной пары обуви.

Тем не менее наша группа была довольно живописная. Два красавца капитана (они вместе кончали морское училище во Владивостоке) — капитан нашего корабля Павел Федорович и Василий Афанасьевич в очень красивой морской форме. А мы — я, мой муж и моя приятельница, жена Василия Афанасьевича — в синих экипировочных костюмах, полученных в одном и том же спецмагазине, в общем, выглядели довольно торжественно.

В Москве, даже в том же специальном магазине, я ничего летнего для ребят достать не могла.

Пришлось купить два шерстяных костюмчика, которые у меня здесь же выпросила моя приятельница.

— Ты поедешь в Америку, — уговаривала она меня, — разве ты там такие костюмы детям не достанешь?

И моей маме пришлось перешивать им наряды. Но она с такой любовью постаралась, что не только в Америке, но даже в Мексике меня спрашивали, где я такие чудные детские вещи достала и неужели в Советском Союзе есть такие.

Не прошли мы и двух кварталов по городу, как встретившийся нам пожилой американец, увидев наших капитанов, вдруг вскочил на какую-то тумбу и, приподняв шляпу, громко на всю улицу на ломаном русском языке прокричал: «Да здравствует доблестному русскому офицерству, ура-а-а!!!» Это было так неожиданно и так приятно. Значит, есть здесь люди, которые знают, как сейчас тяжело нашему доблестному русскому офицерству где-то там, в далекой отсюда России.

Тем временем американец спокойно сошел со своей «трибуны» и как ни в чем не бывало продолжал свой путь дальше.

У первой же витрины, у которой мы остановились, стояли молодые люди с двумя детьми. Я с удовольствием смотрела на их светлые, приятные лица, а ребятишки с нескрываемой завистью смотрели на их туфельки.

Дальше я увидела мусорные бочки, в которых лежала старая брошенная обувь. У нас носили бы ее годы, а ведь я слышала, что обувь в Америке продают по карточкам.

Мои спутники мне объяснили, что здесь ее полагается две или три пары в год.

Мы в центре города. Море света, магазины ломятся от товаров. Народ ходит нарядный. Вид у всех праздничный. А какие лица… Как будто к ним не прикасалось дуновение ветерка. Я давно не видела такой свежести, беззаботности, я давно не

слышала такого искреннего смеха на улице.

На тенистом бульваре пела женщина. В черном элегантном костюме, белой блузочке. В ушах серьги, на пальце кольцо, губы подкрашены. Она перебирала струны гитары маникюрными пальцами.

— Это американская нищенка, — видя мое недоумение, подсказала Надежда Васильевна.

— Но она так хорошо одета, кто же ей подаст?

На такую нищую на улице Горького в Москве с завистью оглядывались бы москвички.

Мне казалось, что в этот тихий теплый летний вечер всю толпу прохожих только что выпустили из магазина, одев во все новое.

— Давайте купим чулки, — предложила я Надежда Васильевне, проходя мимо небольшого магазинчика, на окне которого было написано «99 центов пара». Цифра эта мне показалась смехотворной. Я зимой сама покупала за 400 рублей пару.

Но как только мы вошли в магазин, раздалась русская речь:

— Очень рады, заходите. Вы с советского парохода?

«Откуда она знает? Что, у нас на носу, что ли, написано?» — подумала я.

Большой универсальный магазин, в который мы попали, поразил меня пышным блеском и богатством товаров. Но меня больше всего поразили люди, их беззаботное состояние, как будто нигде в мире ничего не происходит. Это меня не только удивило, а прямо потрясло. Уже четвертый год шла не просто какая-то война, а мировая война, и вдруг я попала в страну чудес, где даже намека на войну не видно. А вот в магазине, несмотря на все, как мне показалось, несметное богатство, я ничего не купила.

На обратном пути наши мужчины зашли в какую-то забегаловку выпить по кружке пива, меня поразили соленые орешки. Почему соленые? Никогда в жизни не предполагала, что орехи могут быть соленые.

Наступили уже глубокие сумерки, когда мы возвращались к себе на пароход, мимо нас проходила беззаботная молодежь, и редко, очень редко попадались военные. Ни одного искалеченного человека, ни одного раненого. «А *ведь сколько калек уже бродит по моей стране! И эта страна как будто тоже воюет?»* — почти с отчаянием, думала я, вспоминая свою за океаном, их измученные лица, без смеха и радости.

Прощальный вечер на корабле

— Что вас поразило больше всего? — спросил меня вдруг вечером за ужином Павел Федорович, капитан нашего парохода.

— Веселые старушки в девичьих шляпках, — ответила я.

Эту последнюю ночь мы решили провести в кругу своих друзей на пароходе. Ужин был роскошный. Повар на этом пароходе был просто художник, он готовил с такой любовью, я ни в одном ресторане никогда не ела так вкусно.

Наш капитан Павел Федорович с улыбкой заметил:

— Нина Ивановна, я внимательно смотрел на вас и видел, как вы скептически перебирали вещи, и ни одна вещь не привлекла ваше внимание. Я не первый раз в Америке, поэтому хочу вас предупредить: не ищите здесь те качественные вещи, которые вы хотели бы приобрести. Их здесь нет. Американцы покупают вещи на один сезон. Здесь ничего не покупают на ощупь, как мы привыкли. Чтобы вещь была добротной. Такого понятия здесь нет. Я просто хотел предупредить вас, не трате на это время.

И действительно, все вещи показались мне просто дешевкой. Много, пестро, но ни одной крепдешиновой блузочки или платья, ни одних приличных шерстяных брюк я не видела, сплошная синтетика, к которой мы еще не привыкли, и эти изделия показались мне просто тряпками, на которые было жалко тратить деньги.

Но все-таки на следующий день мы с Надеждой Васильевной, чтобы предать себе надлежащий вид и быть менее заметными, отправились в магазин купить себе что-либо из одежды.

Я от души смеялась над тем, что среди такого огромного количества товаров я ничего купить не хотела. Выбрать вещь по вкусу — нашему, конечно, — оказалось не так просто. Перемерено было столько платьев, сколько я за всю свою жизнь не имела.

— Вы знаете, Кирилл Михайлович, вот за Нину Ивановну вам нечего опасаться, но посмотрите, посмотрите на мою Наденьку, как она носится. Накупит сейчас всякой всячины, которую потом надеть нельзя будет… Ну, так и знал, уже шляпку тащит.

Меня удивило, что, как только мы вынимали наши доллары для расплаты, нам их немедленно меняли и спрашивали, нет ли у нас еще таких долларов.

Часам к пяти усталые, но довольные мы вернулись на пароход.

Здесь нам капитан сообщил, что он получил распоряжение отправиться в Такому на погрузку. Наступили грустные минуты прощания.

Пропал Володя!!!

В целях экономии государственных денег почти все должны были жить на пароходе до тех пор, пока не получат билеты на поезд. Почему-то нам было сделано исключение, наши вещи без таможенного осмотра были отправлены прямо в гостиницу.

— Странно, — недоумевала я. — Разве здесь багаж не просматривают? А у нас проверяли всех без исключения. Логично, казалось, должно быть наоборот.

— Не волнуйтесь, — ответил капитан, — где нужно, проверят все до ниточки.

Провожали нас тепло, все просили писать. Надежда Васильевна расплакалась:

— Я бы так хотела с вами в Мексику. Я без вас буду скучать.

Мне жалко было покидать их. Это были свои, русские люди. Капитан уже стоял на своем мостике и готов был дать команду поднять якоря, когда я вдруг заметила, что мой Володя исчез.

— Павел Федорович, мой сын исчез, — крикнула я капитану.

— Отставить! — прозвучала команда капитана. — Искать ВОЛОДЮ!!!

— Есть искать Володю! — ответили матросы и бросились вверх и вниз по лестницам.

Прошло почти полчаса томительного ожидания, я не на шутку была перепугана.

— Найдем, — успокаивали меня все, — ведь только что он был здесь.

Обыскали все каюты. Каюту друга Володи — врача. «Облазили все люки, — докладывали матросы, — Володи нигде нет». Стало нестерпимо страшно. А вдруг утонул? Я обошла кругом корабль, смотрела со всех сторон в воду, как будто что-то надеясь увидеть там.

В это время появился механик корабля — толстый, добродушный моряк. Кличка его «старый морской волк» не клеилась к нему, с его ласковой улыбкой. Узнав, чем вызвана суматоха, он заявил:

— А ну-ка я поищу.

И вскоре он вывел заплаканного, бледного Володю.

— Где ты пропадал? — бросились к нему все.

А механик, заливаясь от смеха, рассказывал:

— В шкафу у меня спрятался. Вы его оставьте здесь, у нас, мы его юнгой сделаем.

— Я не уйду с парохода. Я останусь здесь. Я не хочу ни в какую вашу Америку, я вернусь к бабушке, домой, — категорически, безапелляционно заявил Володя.

«Балхаш» вернулся!

К нам спустился капитан Павел Федорович и твердо пообещал Володе, что, как только завтра утром пароход вернется обратно из Такоми в порт, он сейчас же придет к нам в гостиницу и увезет его обратно с собой. И даже после этого, когда мы наконец спустились с парохода, Володюшка был безутешен. Весь вечер просидел он на подоконнике в гостинице и с глубокой тоской смотрел на море, туда, где уж давно скрылся наш советский пароход «Балхаш». Расставание было очень тяжелое не только для Володюшки, но и для нас. Обрывалась последняя ниточка, когда мы еще стояли на палубе нашего парохода, мы как будто еще держались на своей земле. Сойдя с парохода, мы потеряли нашу почву под ногами и оставались одни в этом огромном, незнакомом, чужом океане.

В гостинице мы старались успокоить Володюшку.

— Вовочка мы тебе купим велосипед, купим машину с педалями!

Боже, чего мы только не «купили» ему в этот день, но он молча, сжав колени руками и положив на них голову, глядел не отрываясь из окна в море.

Это не был каприз, это была глубокая печаль и тоска о покинутом корабле, знакомых, милых людях, с которыми он провел всю дорогу и был всеобщим любимцем. Спал он нервно, все время вздрагивал и всхлипывал во сне. И когда я рано утром, часов в пять, открыла глаза, то увидела его опять во вчерашней позе, сидящим на подоконнике.

— Мамочка, вернемся туда… Я хочу к бабушке, к Жене, к Боре, ведь здесь нас все равно никто не понимает.

— Успокойся Володюшка, как только пароход вернется…

— Тогда можно, мама, я буду здесь ждать?

Его не соблазнили прогулка, его любимые фрукты. Даже арбуз лежал нетронутым. И вдруг он счастливый и радостный бросился ко мне и закричал с восторгом:

— Мамочка, мама, я вижу «Балхаш», наш «Балхаш» идет сюда!

— Успокойся, Володя, пойдем гулять.

— Нет, мама, посмотри, я не вру, это мачта нашего «Балхаша»!

Действительно, в далеком тумане, среди леса мачт я увидела силуэт приближавшегося к этому берегу парохода.

— Может быть, это американский?

— Нет, мама, правда… какая ты невнимательная, — обиделся он за свой любимый пароход. — Я по мачтам его узнал, пойдем к берегу, ты убедишься, что я прав.

А когда к нам в номер вошел Павел Федорович, капитан

нашего парохода, то Володя, сквозь слезы смеясь от счастья, повис у него на шее.

Павел Федорович провел с нами почти весь день. В зоопарке, куда мы поехали гулять все вместе, Володя крепко держал его за руку, стараясь добиться от него честного слова, что он не оставит его и не уйдет один во Владивосток. Ни слоны, ни львы, ни тигры его в этот день не интересовали. Он равнодушно смотрел на купающихся в бассейне среди зеленой лужайки ребятишек, где с большим восторгом плескалась уже Ляля.

— Эти лужи только для девчонок годятся, — заявил он на предложение тоже поплескаться.

Дочь же ко всей новой обстановке относилась спокойно и рассудительно и, признаюсь, удивила меня, когда сказала мне:

— Знаешь, мама, по разговору в Москве я думала, что Америка лучше.

Прочитав книгу Джема Вилларда Шульца «В Скалистых горах», она также с нетерпением ждала встречи с настоящим индейцем. Она пыталась даже успокоить Володю, что прежде нужно посмотреть настоящего индейца, а потом уехать из Америки.

Наш капитан Павел Федорович ужасно мучился, не зная, как уйти на пароход, чтобы не огорчить Володю, и когда он пообещал, что подождет Володю на пароходе и без него не уплывет, Володя со слезами, но поверил. Нам было также тяжело расставаться с ним.

Начеку

Прогуливаясь по городу, я с захватывающим интересом смотрела на кинорекламу. Мне бросилась в глаза огромная разница, как представляют в этой области искусства женщину у нас в СССР и в Америке. У нас вы видите женщин, пасущих овец, убирающих урожай в колхозе, управляющих трактором, стоящих у доменных печей, летающих на самолетах и спускающихся на парашютах. Здесь их изображали изящными и женственными.

Но, не скрою, я смотрела на них с недоумением, с сожалением и даже немножко с презрением.

Наконец, просмотрев всю рекламу, мы решили с Кирой вечером посмотреть совершенно незнакомый нам жанр — мистическое кино. Таких вещей я в жизни не видала. Не помню уже название картины, но только помню, что в ту минуту, когда в темную ночь из могилы вылез человек с крыльями летучей мыши, головой вампира и готовился к уничтожению своей очередной жертвы, мне стало вдруг страшно за спящих в гостинице детей. И

схватив мужа за руку, я быстро выбежала из кино. Какие мы дураки — в чужом городе, в гостинице, оставили детей одних.

Тишина и безмятежный сон наших детей быстро отрезвили нас, и мы, взглянув друг на друга, расхохотались.

— Тьфу ты черт, ну и картинка, мне даже не по себе стало, — смущенно оправдывался Кирилл.

Первые дни мы ходили, вечно оглядываясь и стараясь в каждом человеке распознать шпиона. Стоило кому-нибудь более, чем нужно, задержать свой взгляд, как мы уже решали — вот это и есть тот самый, который должен следить за нами.

Через некоторое время нам показалось, что нашей персоной не столь сильно интересуются американцы. Никаких гидов нам не навязывали, никаких маршрутов нам никто не указывал. И мы решили, что бояться здесь нам, может быть, нужно своих же, русских.

В магазине, который нам рекомендовали наши, мы познакомились с дамой, служившей там переводчицей. Она очень понравилась детям — приветливая. Видно, и дети понравились ей. Она много рассказывала им о парках, музеях. Приглашала нас в гости. Обещала показать дом, где они живут, университет, который окончила ее дочь.

— Мамочка, почему ты отказываешься к ней пойти, ведь она так просит, — спрашивали дети.

Как я могла им объяснить, что я боюсь — а вдруг она по заданию советского консульства хочет нас спровоцировать. Донесет, что мы так просто согласились к ней зайти, и тогда нас могут, не дав доехать до Мексики, тем же пароходом отправить обратно.

— Как ты думаешь, может она быть советским шпионом? — спрашивала я у Кирилла. — Откровенно говоря, я очень хочу зайти к ней.

— Кто ее знает, лучше быть осторожней, — ответил Кира.

Но любопытство взяло верх. Желание увидеть, как живут здесь, в Америке, заставило меня накануне отъезда из Сиэтла принять приглашение и пойти к ней на обед.

Подкупила она нас тем, что угадала наши сомнения:

— Я знаю, что советским не очень разрешается общаться с иностранцами, заходить в частные дома. Но, право, я была бы счастлива, если бы вы зашли к нам.

Мы решили встретиться с ней в парке. Здесь мы встретили ее мужа и дочь. Эта молодая девушка на фоне пышной зелени парка показалась мне красавицей. Добродушный папа растянулся на зеленом ковре и рассказывал детям что-то занимательное. Они с восторгом слушали его.

Какая чистота, сколько цветов! А главное — зелень, по которой народ свободно ходил, лежал, и нигде ни одного объявления «по траве ходить запрещается».

Я вспомнила наш Парк им. Горького. В этот парк мы часто ходили, и не только для того, чтобы погулять, а также, постояв в очереди, купить килограмм яблок или сосисок. По траве там нельзя было ходить.

Тишина, чистота, зелень, цветы… Океан, голубое небо. И я вспомнила рассказы наших бабушек о рае. Милые, милые бабушки умерли… Попали ли они в тот рай, о котором мечтали всю свою земную, тяжелую жизнь? Или это только была мечта, облегчавшая их земное существование.

А вот мне казалось, я увидела рай. С золотыми яблоками, с райскими птицами и белыми лебедями. Все здесь есть, и живут в этом раю люди, простые смертные люди. Не чудо ли это?

Милые, родные… Если бы вы видели, как здесь красиво, я, наверное, не слышала бы так часто из ваших уст: «Ох, хоть бы Господь прибрал меня скорее».

Я думала, что мысль о смерти пугает всех тех, кто живет в этой стране, здесь народ хочет жить, а там у нас зовут смерть.

Так влияют условия жизни на психику людей. Ничего не поделаешь, бытие определяет сознание.

Во время нашей прогулки я убедилась, что нахожусь среди честных, милых людей. Чувство страха, под которым я находилась, показалось мне унизительным, и я свободно поехала к ним на обед.

Как живут в Америке

Домик, в котором они жили, привел меня в восторг. Комнаты как игрушки. Кухня, блестевшая чистотой. Вентилятор, рефрижератор, стиральная машина… Об этих удобствах мы еще даже не мечтали.

— Сколько вы получаете? — не выдержала я.

— Пятьсот долларов.

Пятьсот долларов… И так можно жить. Если бы у нас даже десять тысяч получал обыкновенный гражданин, ему и во сне не приснилось бы то, что я увидела здесь. Держала я себя до чрезвычайности сдержанно, чтобы, не дай бог, не подумали, что я чему-то удивляюсь. Тем временем муж осматривал все строительные детали этого дома. Нам все было интересно. Вплоть до того, как мусор выбрасывается в Америке.

— До какой же степени здесь все продумано и удобно, — восхищался Кирилл.

В поезде Сиэтл — Сан-Франциско

Наши знакомые выразили желание проводить нас на поезд, но мы отговорили их. И не доезжая одного квартала до гостиницы, мы с ними распрощались.

Было уже темно, когда поезд плавно отошел от перрона. Трудно было не удивляться той простоте, чистоте и до мельчайших подробностей продуманных деталей, созданных для удобств пассажиров. Здесь были зеркала, вешалки и постель, предназначенная для отдыха, а не для мук пассажиров.

Я обращала внимание на каждую мелочь, созданную с такой предусмотрительностью.

Разве вы не были бы поражены, как и я, если бы неделю ехали в «международном вагоне», где были и бронза, и зеркала, и обшивка еще николаевских времен, а рукомойник не работал бы почти всю дорогу? Постельное белье было сменено только один раз, да и то такого качества, что только пломба на мешке, в котором его приносили, до некоторой степени гарантировала, что оно должно быть чистым. А ведь это был единственный на весь состав вагон «люкс», как его называли все. И на всех нас, ехавших в этом вагоне, — дипломатов, артистов, героев Советского Союза — все смотрели, как на высший класс, с нескрываемой завистью. А здесь белоснежное, шуршащее под вами белье меняют ежедневно. А полотенце пассажир, вытерев руки, бросает прямо в корзинку.

Мне было жаль, что ехать пришлось ночью, но утром, я как завороженная не отрываясь смотрела в окно.

Беленькие домики, разбросанные среди зелени полей и лесов, на берегах прозрачных, как кристалл, речушек, с огромными амбарами, машинами и тракторами во дворах, говорили без слов о покое и достатке живущих на этих фермах людей.

Попадавшиеся бедные домики казались случайными и заброшенными.

Кирилл подошел, предупредил:

— Будь, Нина, поосторожней, рядом едет человек, по виду русский, который следит за нами. Ты реже выпускай детей, и громко не разговаривайте.

Когда же кончится это вечное «будьте осторожны»?! Я уже устала от этого. Я даже у нас никогда не слышала такого количества предупреждений. Но, открыв дверь, я почти нос к носу столкнулась с низеньким рыжеватым субъектом, отскочившим от нее и быстро исчезнувшим в соседнем купе.

Не прошло и часа, как к нам без стука ворвался этот странный субъект и по-русски произнес:

— Помогите, пожалуйста, объясниться с официантом.

Оказалось, он не так давно прибыл из СССР, вчера выехал вместе с нами и едет с женой также в Сан-Франциско.

На нашем пароходе такого типа я не видела.

Они заказали себе что-то по меню и никак не могут понять, почему им тащат одно блюдо за другим.

И когда официант притащил очередную порцию мяса, мы тоже с трудом, но все-таки объяснили ему, что вышла ошибка. Официант заулыбался, сказал «Ол райт» и ушел. Несколько минут они с облегчением и радостными улыбками разговаривали с нами о том, в какие они нелепые ситуации попадали, не зная языка.

Сан-Франциско

Сан-Франциско показался мне сказочным. Остановились в гостинице «Кентербери». Внимание, с которым к нам отнеслись в консульстве, не могло быть лучшим.

Нас ознакомили со всем городом, возили в чудесный парк Голден-Гейт. Детей поразило обилие здесь белок, голубей, которые так доверчиво брали еду из рук.

Утки целыми стаями покрывали озера парка. Музеи, аквариум, китай-город. Удовольствий было масса. Но мы торопились выехать.

Только для белых

Накануне отъезда из Сан-Франциско, до того как поехать в консульство попрощаться, мы решили еще раз проехать по городу. Вошли в полупустой автобус, я села впереди, Кирилл сел сзади, и вдруг автобус остановился. Водитель подошел к Кириллу и попросил его встать и пересесть на другое место впереди.

— Почему? — удивился Кирилл. — Мне здесь удобно.

И только после долгих пререканий и угроз, что его высадят, нам объяснили, что Кирилл сел на место, отведенное для негров. Пришлось повиноваться, встать и пересесть. Но на нас, советских, это произвело, не скрою, жуткое впечатление.

И в одно мгновение померкли все мои восхищенные впечатления об Америке. Немцы уничтожают русских, евреев, славян, цыган и всех неарийцев как низшие расы. А американцы так же высокомерно обращаются с неграми, как с низшей расой, запрещают им даже в автобусе сидеть рядом с белыми. Относительно того, как американцы относятся к коренному населению, к «краснокожим», мы тогда мало что знали, к ним они относились тогда даже хуже, чем к собакам. Это мы узнали потом.

Значит, все правда, что пишут в нашей печати о линчевании негров и о всяких других страстях.

В советском консульстве

В консульстве мы встретили дипкурьера, он вовсю, последними словами разносил Америку и американскую медицину.

— Что вы так злы на них? — поинтересовалась я.

— Понимаете, три месяца тому назад вставил здесь зубы, всю челюсть. Приехал в Союз и чуть не подох — у меня такое воспаление вспыхнуло во рту… Оказывается, вместо золота они мне какой-то дрянью рот набили. А когда я вернулся, ну и задал же я им жару…

— Ну и что ж, каковы результаты?

— Двести семьдесят долларов высудил у мерзавцев, и новую челюсть вставили.

Ко мне подошла миловидная шатенка лет шестнадцати. Она оказалась дочерью первого секретаря посольства в Вашингтоне.

— Вы в Мексику? А мы только что оттуда, перед отъездом в Москву папе разрешили поездку туда по делу. Какая там бедность, нищета, а страна такая красивая. Наше посольство там помещается в одном из лучших дворцов в Мексике. Лучше даже, чем в Вашингтоне. А вы похожи на испанку, там вас будут принимать за испанку.

Девушка была разговорчивая. Вместе с ней мы прошли к консулу Ломакину, где остановились ее родные.

У Ломакиных сидела полногрудая курносая женщина, мать этой девушки, в черной, похожей на воронье гнездо шляпе, украшенной букетом ромашек и с вуалькой. «В Москве, пожалуй, она ее и носить не будет, а отнесет в комиссионный магазин, но зато хоть здесь душу отведет», — подумала я.

— Сегодня в обувном магазине я покупала туфли, а рядом сидели две негритянки… Смрад от них шел такой, что меня чуть не стошнило. Мне их стало жалко, такие молоденькие.

— А вы бы видели, как они живут… В каких свинских условиях. Американцы их загоняют в самые худшие дома-развалюхи. Работают они как волы, а помыться негде, — сочувственно сказал Ломакин.

Слушая этот разговор, я решила рассказать им, в какой переплет мы тоже попали:

— Мы сели в автобус — решили проехаться и посмотреть еще раз город. Кирилл нашел место, откуда ему казалось все виднее, но к нему быстро подошел водитель и попросил его пересесть. Не поняв в чем дело, Кирилл запротестовал. Тогда водитель заявил, что он просто высадит его из автобуса. Инцидент был исчерпан, когда какая-то дама вмешалась и очень спокойно объяснила, что эти места в конце автобуса отведены только для негров. Честно скажу, мы прямо обалдели, но нам ничего не оставалось, как просто пересесть.

Я должна сказать, это был первый шок для нас, приехавших из Союза. Если бы это не случилось с нами, а кто-нибудь просто рассказал нам такое, думаю, я бы ему даже не поверила.

Негритянский квартал

Перед отъездом в Лос-Анджелес мы решили взять еще один тур по городу. Нам попался гид, который, узнав, что мы только что из Советского Союза, все время повторял нам одно и то же — что он сию минуту готов поехать туда. Это «туда», в его представлении, была страна героизма, страна настоящей демократии и настоящих свобод.

Мы едем по бедному негритянскому району, магазины, бары, рестораны, музыка. Народ гуляет, ест фрукты, здесь же бросая шкурки на мостовую. Кругом полно мусора. В полуоблезших домиках на балкончиках сидят в качалках пожилые негры и негритянки. Ребятишки играют здесь же, среди улицы, и много, даже удивительно много собак.

— Так живут негры в США, — продолжал наш гид. — Вы знаете, хотя негры и освобождены от рабства в 1860 году, но жить они продолжают по-прежнему, как их предки. И несмотря на всю нашу цивилизацию, морально и физически они так же угнетены.

— Разве ваша конституция предусматривает различие для негров?

— Нет, но в психологии людей есть много условностей.

— А вы не думаете, что со временем эти условности могут исчезнуть?

— Что вы, это может быть только при социализме, — заявил он, — при такой же системе, как в СССР, где все населяющие страну национальности живут вместе, учатся, работают и воюют вместе. Десегрегация в американской армии началась только во время Второй мировой войны, да и то не полностью, ведь уже стыдно было перед всем миром. И все равно их не пустят в гостиницу, в которой мы с вами можем жить, в ресторан, где мы с вами будем обедать: убирать — да, подавать — да, мыть посуду — да, но за стол с нами — ни-ни. Вот почему почти все негры коммунисты.

Лос-Анджелес

На следующее утро поезд мчал нас уже из Сан-Франциско в Лос-Анджелес.

Из нашей советской печати я знала об этом городе, что там Голливуд и самая страшная нищета и проституция. Что там люди живут в шалашах, сделанных из ящиков. Крыша не защищает от дождя, вместо окон куски стекол, а вместо дверей старые рогожи. Это еще хорошие жилища, писали у нас.

Имея такую характеристику о Лос-Анджелесе, можно легко себе представить мой интерес к нему.

— Так это точно, здесь так и было во время Великой американской депрессии[12], — подтвердили нам наши знакомые американцы. — Кризис у нас стал подходить к концу только тогда, когда началась подготовка ко Второй мировой войне.

«Значит, вот кому на пользу пошла война», — с горечью подумала я, вспомнив наши разрушенные дотла города и села.

Когда мы сели в поезд, наши билеты оказались в разных местах, а между нами сидел какой-то молодой человек, и сколько мы ни просили его поменяться местами, он не тронулся с места, сидел всю дорогу как пришитый. И я подумала: русский человек сам бы предложил поменяться местами.

Когда поезд, прорезавшись сквозь густо-зеленую стену апельсиновых садов, увешанных ярко-оранжевыми тяжелыми плодами, подошел к станции в Лос-Анджелесе, я рассказала этот эпизод встречавшему нас первому секретарю и добавила:

— Товарищ Пилипенко, странный народ американцы, всю дорогу ехал между нами парень, и сколько мы ни просили его поменяться местами, он с места не тронулся, делал вид, что так ему удобно, а на вас ему наплевать.

— О, это его просто к вам подсадили. Это только так кажется, что за нами никакой слежки нет, а на самом деле здесь дьявольская слежка.

Он продолжал рассказывать нам, что когда он выходит из дому, он ставит вещи и запоминает, как они лежат, а возвращаясь, сразу обнаруживает, что у него были гости, которые рылись в его бумагах. И за его машиной тоже следят, а во время нашего разговора, уже в его квартире, он громко включал радио и накрывал телефонный аппарат подушкой. Эти фокусы мне были знакомы даже у нас.

В день нашего приезда он предложил показать нам вечерние диковинки Лос-Анджелеса.

Кино меня уже не занимало, как в первые дни приезда в

Америку. Последнюю картину мы видели в Сан-Франциско о Гитлере и его зверствах.

— Как хорошо было бы, если бы Голливуд накрутил картину про сталинские «художества», — высказала я мужу свое мнение.

Мы остановились у какого-то ночного клуба — это был театр-бурлеск.

— Послушаете, сюда я не пойду в таком виде, прямо с дороги.

— Что вы, — ответил секретарь, — сюда мы можем спокойно зайти как туристы, это обычный найт-клуб. В большинстве здесь молодежь.

Стриптиз

Вошли… Молодые лица, звонкие голоса, неплохой оркестр.

Стало больно и обидно за нашу сидящую в окопах молодежь. И вдруг на сцене начали появляться молоденькие девочки лет по 16–17, танцуя и кривляясь, начали потихоньку снимать с себя одежду и остались почти в чем мама родила. *Зачем, зачем они это делают?* Никак, никак я не могла этого понять. Молодые красивые девчонки — и так унижать себя перед этой гогочущей толпой, ищущей просто острых ощущений.

Я понимала хорошие спортивные выступления, пение, красивые танцы, какие угодно акробатические номера, где чувствуется искусство, но чтобы девочки так просто обнажали себя перед толпой зевак? И у меня до слез, до боли в сердце появилась *гордость* за нашу красивую молодежь, за наших красавиц и красавцев, спасающих мир от всякой пошлости.

— Ты что загрустила? — ласково спросил Кирилл.

— Пойдемте отсюда, — попросила я. Мне действительно было противно до тошноты то, что я видела.

Мир кино

На следующий день мы были в гостях у Калатозова, представителя советской кинопромышленности в Голливуде. Нас встретила изящная женщина в черных брюках и ярко-сиреневой кофте. Это была артистка, которую Калатозов увез за границу от мужа. Она рассказывала, что жила с мужем плохо, но как только она приехала сюда, он начал писать ей письма, умоляя вернуться к нему. Она страшно страдала, и весь наш разговор вертелся вокруг ее стремления вернуться в Москву. Калатозов решительно препятствовал этому, так как привез он ее в качестве жены и положение ее было довольно запутанное.

На другой день утром нас пригласили посетить киностудию и кинофабрику, а вот свидание, которое хотели нам устроить с Чарли Чаплином, не состоялось, нам сказали, что он был занят своим кляузным процессом, в котором реакционные силы Америки хотели очернить его непорочность.

Сочувствующие

Я должна честно сказать, что не могу пожаловаться на отсутствие к нам внимания, телефон наш в гостинице звонил с утра до поздней ночи. И я просто снимала трубку, уже не было сил отвечать на все приглашения.

В воскресенье консульство передало нам приглашение на обед, в клуб украинского землячества. Здесь ели шашлыки, пили пиво, жертвовали советским ребятишкам на молоко и произносили патриотические речи.

На этом приеме *меня раздражали их смех, их громкие пустые разговоры,* меня унижали их щедрые пожертвования на кружку молока советским детям, и я сидела, стиснув челюсти до боли, чтобы не разрыдаться. А когда ко мне обратились с просьбой рассказать, что сейчас происходит в Союзе, я начала говорить и захлебнулась от слез. До такой степени тяжело было объяснять и вспоминать в этой спокойной, благополучной обстановке весь тот ужас, который происходит там у нас.

Они с гордостью показывали нам «Рашен-Релиф», где собирали одежду для отправки в Россию. Здесь были целые горы этого добра. Здесь же сидели женщины за швейными машинками и все время что-то строчили. Такие «Релифы» я видела в Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе. Слушая, с какой гордостью добрые, милые американские дамы рассказывают о своей работе по сбору вещей для нуждающихся, у меня невольно вырвалось:

— Не дорог подарок, дорога любовь. Что привело их в восторг.

В гостях у слесаря

Не могу скрыть, что мы с радостью приняли, по рекомендации нашего консульства, приглашение на обед дома у рабочего-слесаря, который приехал за нами.

Беленький, чистенький домик, кругом изумрудная зелень, хозяин говорит по-русски плохо, но мы его понимаем. Он коммунист… Показывает нам свое бедное хозяйство. Гараж и рядом три автомобиля.

— Чьи? — спрашиваю в недоумении.

Он удивлен:

— Как чьи? Наши, одна моя, а те две моих сынов. Купили мы их «секонд хенд», самая дорогая из них младшего сына, 275 долларов. Мой младший сын в армии, а старший работает здесь. Живет во второй половине нашего дома.

— Во время войны — не мобилизовали автомобили? — продолжаю спрашивать.

— Нет. А зачем?! — наивно отвечает он. — Вот только, безобразие, бензина мало дают, приходится экономить.

Соглашаюсь… Действительно «безобразие». Иметь три автомобиля и получать только двадцать пять галлонов бензина.

В гараже мотоциклы, велосипеды…

— Сыновья любят спорт. Вот младшего мотоцикл, вчера пришлось смазать… Приедет — увидит, что мы о нем заботились.

«Приедет»!!! Боже, как уверенно звучат его слова. Я невольно вздохнула, вспомнив наши поля, усеянные трупами наших солдат, воевавших одной винтовкой на троих, имевших в лучшем случае еще по одной гранате, вместе с которой можно было броситься под танк. Либо, закрыв своим телом вражескую амбразуру, дать бойцам возможность взять вражеский дот штурмом. А здесь — «*приедет*».

— А вот наш сад, — продолжает он, — с сыновьями сажали.

В дом возвращаемся по зеленому ковру. Дети кувыркаются по бархатной траве вокруг брызгалок, весело поливающих клумбы с цветами.

Мягкая мебель, камин, высокие лампы, легкие занавески, все было уютно и располагало к отдыху. На столе, готовом к обеду, разноцветное желе со свежими фруктами.

— Хотите посмотреть наш дом? — приглашает хозяйка.

Зашла в кухню, глаза от белизны прищурила — все сверкает в лучах заходящего солнца. Белоснежные кастрюли, мечта каждой русской хозяйки. В каких колоссальных очередях простаивала я, чтобы купить хоть что-нибудь.

Хозяйка открыла сказочную для меня роскошь — уютно шумящий рефрижератор — холодильник, полный продуктов.

— Вы знаете, мы получаем мясо, масло, сахар по карточкам.

В ее голосе чувствую недосказанную мысль, что мы, мол, тоже терпим трудности.

Масло, мясо — по карточкам. А сала, птицы, рыбы сколько хочешь. Сахар по карточкам, а варенье, конфеты, печенье бери сколько влезет.

«Разве это трудности?» — высказываю свои мысли не в слух, а про себя.

— А вот спальня младшего сына…

У матери при воспоминании о младшем сыне появляется грусть на лице.

Чистенькие, аккуратные стопки книг, чертежные принадлежности.

— Приедет, учебу закончит, — опять говорит мать. — Ведь у нас не было средств заплатить за его учебу, а когда вернется с войны, это даст ему право закончить колледж. Вы знаете, ведь многие юноши из не очень зажиточных семейств, как и наш сын, ради этого и в армию пошли.

Как приятно слышать *«вернется». Не «погибнет»,* не *«пропадет без вести».* А если вернется из плена или из окружения, *не посадят в концлагерь, не сошлют, не расстреляют как изменника Родины.*

И здесь я сидела, опять стиснув челюсти до боли, чтобы не разрыдаться. *Что заставляет меня плакать, когда другие смеются?* Что я могу им рассказать? Может быть, тогда стало бы мне легче, как после исповеди. Нет, не поймут, а поймут — не поверят. Да и что пользы от всех от них?

Глядя на их спокойные лица, с трудом сдерживалась.

Я давно уже обратила внимание, что многие здесь носили фотографии на груди или на шляпах и что к этим людям относятся с особым уважением. Мне объяснили, что у этих людей кто-то из близких на фронте. И что этой фотографии достаточно, чтобы иметь право на кое-какие привилегии.

Я с глубокой горечью вспомнила, как в течение многих месяцев простаивала в длиннющих очередях, вооруженная справками, газетными вырезками о героической гибели моего брата при защите своей Родины, тщетно пытаясь получить московскую прописку и омытую его кровью хлебную карточку на триста граммов хлеба для его матери.

Обед был кончен огорчением хозяйки, что мы так мало ели из того, что она так щедро приготовила. И мы перешли в гостиную слушать русские пластинки.

«Какая музыка», — вздыхают все. Они слышат только звуки. А я слышу за этими звуками стоны, вопли голодной и холодной, истекающей кровью моей родины.

Прощаемся. Хозяева извиняются за свою простоту, за скромность приема, квартиры, обеда.

А я с облегчением думаю об окончившейся на ночь пытке, когда можно, погрузив голову в длинные американские подушки, отдаться откровенно своим чувствам и мыслям.

Бедный фермер

Но новый день приносит новые впечатления.

Едем на аккуратненьком «шевроле». И здесь радио, я еще не привыкла. У нас во время войны все приемники были изъяты. Я не знала, понятия не имела, что здешние радиоприемники ничего общего не имеют с нашими коротковолновыми радиоприемниками, на которых можно слушать всю Европу и весь мир. На американских приемниках можно слушать передачи только местных радиостанций США и ничего больше. Поэтому я все время слушаю и удивляюсь.

Оглядываюсь по сторонам. Один за другим исчезают нарядные дома бульвара Голливуд. Выезжаем за город. Редко разбросанные жилища.

— Здесь живут наши крестьяне — фермеры, — говорит нам наш проводник. — Вон, видите, изгороди деревянные. Это отгорожены участки один от другого. Это не ваши широкие колхозные поля. Здесь каждый мучается отдельно. Коллективизация — это умная затея, — кончает он.

Я не возражаю. Может быть, и умная. А кто испытал ее, может быть, тоже умнее становится.

Не буду описывать домик. Скажу, что понравился нам очень. Во дворе сарай со всевозможным сельскохозяйственным инвентарем, тракторы, машины.

— И это все ваше? — спрашиваю.

— Да, конечно… Мало, много еще надо купить. Но сейчас война, трудно достать и дорого. Вот в колхозе лучше, то, что не под силу одному купить, легко купить колхозу, — говорит хозяин, как будто сделанный из резины и накачанный автомобильным насосом.

Одежда на нем рабочая, добротная.

— Вот это мой автомобиль — «фордик». Старенькая машина, — жалуется, — а новую не достать. Перед войной я ее за двести долларов купил.

Где снилось нашему колхозу столько инвентаря, автомобиль и две грузовые машины? Когда у нас колхозники делают все вручную. А здесь, я видела, сидит человек на тракторе под зонтиком и работает в поле.

«Прав американец, — подумала я, — в колхозе, пожалуй, и лучше. И *никаких* бы забот не было о новом автомобиле».

Пока мы разглядывали хозяйство «бедного фермера», дети занимались своим делом. Дочь собирала цветы с голубоглазой хозяйкой в клетчатом платье, в аккуратном переднике. А сын, с горящими от восторга глазами, разглядывал великолепную лошадь и разговаривал с ней.

— Ты тоже не понимаешь по-русски? Тяжело, когда тебя не

понимают. А вот Дончак у Ивана Ивановича был, все понимал… Мы по арбузы в колхоз на нем ездили… Только худющий он был и хромал на одну ногу.

Он коснулся шеи лошади.

— Ты индейцев видел? Мне вот пообещали и ни одного не показали. Странный народ — эти взрослые.

Мы старались сдерживать душивший нас смех, прислушиваясь к его разговору с лошадью, но вдруг, не выдержав, все громко расхохотались.

— Ты хочешь верхом покататься? — и хозяин, посадив его впереди себя, проехался с ним несколько кругов.

После обеда на свежем воздухе нас угощали коктейлем из свежих фруктов.

Стало темнеть, затрещали цикады и кузнечики. Нас любезно приглашали остаться ночевать. Но мы, горячо поблагодарив их за воздух, за солнце, за картинку человеческой жизни, поспешили обратно.

Не подумайте, что мы так просто, по своей собственной инициативе болтались повсюду, ничего подобного. Все эти прогулки были предприняты с разрешения, даже по просьбе нашего представительства. Наше расписание было расписано с утра до ночи.

Ведь в те годы люди из Советского Союза вот так запросто не болтались туда-сюда, а мы были «свеженькие». Им всем казалось, что мы оттуда, чуть ли не прямо с фронта.

А симпатия к СССР в это время, особенно при Рузвельте, когда появилось такое невероятное количество просоветски настроенных организаций, была на таком высоком уровне, что после войны потребовался Маккарти, чтобы путем жестокого «маккартизма» ликвидировать эту симпатию к Советскому Союзу, особенно у самой образованной, интеллектуальной элиты в Америке.

И несмотря на все это, у меня почему-то появилось какое-то жуткое чувство, которое, мне казалось, *я поняла,* попав в Америку. Это то, что этой самовлюбленной Америке Россия сейчас нужна как временный союзник, как *пушечное мясо,* и к судьбе народа одной шестой части земного шара здесь полное, *абсолютно полное равнодушие*.

Откровенно говоря, было огромное желание остаться здесь, среди этой тишины и цикад, и замереть до тех пор, пока не затянутся раны и отупеют воспоминания о разрушенных селах, о живущих в землянках людях, о том, что нет ни одной семьи, в которой кто-нибудь не погиб.

И что война еще не кончилась, и сколько еще людей погибнет

до ее конца, и сколько надо будет еще сил, чтобы восстановить снова все то, что с таким трудом и такими сверхчеловеческими лишениями люди создали. Ведь я еще очень хорошо помню конец Первой мировой войны и то, что за такое короткое время постоянно голодные люди должны были создать до начала Второй мировой войны.

Но нас ждала впереди дорога в страну с чарующим названием — Мексика. О чем я думала про себя.

Жалко мне стало, откровенно подумала я, и обидно за тех, кто не покладая рук работал у станков, у домен, в сырых шахтах, в поле и дома на благо родины. Имели ли они возможность нормально жить? Чтобы каждая кастрюлька, кусок мыла не были бы для нас тяжелыми, неразрешимыми проблемами. Зачем, не могла я понять, все время издавались какие-то законы и принимались какие-то постановления, которые вместо облегчения жизни все время ее усложняли. Откуда все эти законы — этого нельзя, другого нельзя.

Почему нельзя? Почему нет мыла, до сих пор понять не могу, что, разучились его делать? Когда, я помню, даже в самое тяжелое время моя бабушка сама варила замечательное туалетное мыло. Так же точно со всеми другими вещами первой необходимости.

Значит, где-то кто-то *умышленно* создавал все эти трудности, чтобы вызвать как можно больше недовольства среди населения. Население с огромным достоинством и великим терпением переносило все это в надежде, что наша армия будет в случае чего оснащена до зубов и будет нас охранять.

Я также помню, как в один прекрасный день нам заявили, что нашему вредному цеху прекратят выдавать на производстве спецмолоко, и как все в один голос заявили: мы все согласны, лишь бы наша армия была оснащена.

И что же? *Оказалось, что у нашей армии не только винтовок, но даже пуль для винтовок не хватало.*

И вспомнила я про благодать нашу колхозную, как овощи и зерно гнили в поле, собранные в кучи, — не было транспорта и мешков, чтобы все это вывезти. Солому собирали в огромные стога и оставляли гнить в степи. А трогать ее нельзя было, она колхозная. И мерзнул всю зиму народ — топить было нечем, ни угля, ни дров.

И как дед мне с неугасимым юмором рассказывал:

— Заболела бабушка, лежит, лихорадка ее треплет. Просит — хоть немного бы тепла, не могу больше… Ноги, руки леденеют. Февраль, буран, снежные заносы, ветер по хате гуляет, а топить нечем. У всех соседей дыма не видать из трубы. Да и колхозные пчелы замерзают.

— Эх, была не была, — решил дед, — пойду в колхозное поле, наберу сапетку соломы.

Жаль мне было старуху, всю жизнь трудилась, а на старости замерзать… Иду обратно, прошагал несколько километров. Несу солому и свет весь проклинаю. И вдруг бригадир:

— Ты откуда, Иван Семенович? Что несешь?

— Помидоры, разве не видишь?

— Не помидоры, а солому!

— Так чего ж ты спрашиваешь?

— Ты знаешь, за расхищение социалистической собственности и колхозного добра тебя под суд надо отдать!

— Какое, к черту, добро, — ругается дед, — солома… А люди болеют, замерзают от холода, это что, не колхозное добро? — Под суд меня, семидесятилетнего старика? Да у меня солома всегда гнила во дворе. Я людям отдавал ее даром. Чтобы только двор освободить. И всю зиму всем топить хватало. А теперь сложили все в поле. Стога снегом замело, как собаки на сене — ни сам не гам, ни другому не дам.

Не помогло, поволокли в правление колхоза. Отобрали солому, составили протокол. Дед считался специалистом — пчеловодом колхоза.

Вспомнил о пчелах и говорю я им:

— Что вы, души-то драные, солому бережете, а пчелы пусть померзнут от холода?

Так пчелки и выручили меня. А вот Степановна за два огурца пять лет получила. Притащила огурцы, свесила, отдала, а два в карман положила. Детям… Заметили, протокол, под суд, за расхищение соцсобственности. А огурцы так в амбаре и сгнили, не было на чем в город отвезти. Так и гибнет добро, ни государству, ни людям.

И я почти вслух твердо произнесла: *«Такого у нас не было бы, если бы жив был Ленин,* он разрешил бы делать всякую мелочь, как кастрюли, сковородки, чулки и зубную пасту, всяким кустарно-промышленным и кооперативным предприятиям, как во время НЭПа.

И всего было бы полно, а государство имело бы больше возможности и больше свободных средств осваивать наши недра и строить тяжелую машиностроительную промышленность: машины, тракторы, комбайны и, ясно, оружие, пока в нем ощущалась острая необходимость. Я уверена, В. И. Ленин именно так бы и поступил».

Дорога в Мехико-Сити

Эль-Пасо

Эль-Пасо — по-испански проход, проезд. Город Эль-Пасо находится на самом юге США в штате Техас. Рано утром мы очутились на этом «проезде», а по-нашему, просто на пограничной станции между Мексикой и США. Здесь царила американо-мексиканская атмосфера.

Первое, что поразило нас, — это более плотная жара, чем в Калифорнии, грязь явно мексиканского происхождения и обилие невероятной величины назойливых мух.

Окна магазинов были наполнены всевозможными украшениями из серебра, покрытыми густым слоем пыли. Их грубые формы, их самобытный вид поразили меня, казалось, все они изъяты из каких-то древних раскопок.

Рядом блестели зеркальной чистотой огромные окна кафетерия: кафельный пол, никель, круглые голубые стулья, чистая белоснежная одежда персонала делали это место оазисом в пустыне грязи, мух и беспощадных лучей солнца. Это была Америка. Вернее, Америка, смешанная с Мексикой, или Америка на мексиканской территории.

Грейпфрутовый сок, джус, который нам предложили, показался с непривычки невероятно горьким, как напиток, сдобренный хиной. Вообще, ко всем американским сокам мы относились довольно скептически, предпочитали им свежие фрукты.

Мы попали на площадь с огромными красивыми деревьями. Воздух был насыщен запахом пережаренного масла, чеснока и перца. Вдоль густо заросших аллей стояли скамейки, на которых в обнимку сидели, а на траве — лежали молодые парни в грязных белых панталонах.

Здесь же разгуливали в невероятной величины соломенных шляпах, бронзовые, с черными, как яхонт, глазами, в расхристанных и довольно грязных, как нам показалось, рубашках продавцы, разносившие разноцветную жидкость в банках сомнительной чистоты и мороженое разных цветов. Я купила детям что-то оранжевое, они поморщились, не понравилось — так вот это и есть Мексика. Мы тогда еще не знали, что все города Мексики окружают такие же скверы.

А рядом за углом прохладный, роскошный магазин — и это опять США. Обедали в ресторане, курица не понравилась. Видно,

и оттого еще, что за долгое наше путешествие все из ресторана опротивело и хотелось наших настоящих щей, борща и гречневой каши.

Через полгода я буду говорить по-испански

Мы не смогли достать отдельное купе и взяли общие сидячие места в первом классе: ждать следующего поезда мы не могли, нас уже ждали. Сидевшие вокруг нас люди по характеру и по внешнему виду крепко отличались от прежней публики.

Первое, что бросилось в глаза, — это многоречивость местного населения, громкие голоса, энергичная жестикуляция и певучесть речи. Настолько этот язык показался мне знакомым, будто когда-то в далеком детстве я изучала его, что, обернувшись к Кириллу, я вдруг заявила:

— Даю слово, что через полгода буду говорить по-испански!

И в самом деле, я совершенно отчетливо отделяла слово от слова, что, несмотря на все прилагаемые усилия, совершенно не могла сделать с английским. И странное это чувство знакомства звуков незнакомого языка создало какое-то теплое чувство к окружающим.

С тех пор как наша группа покинула борт советского парохода и мы очутилась в чужом, незнакомом океане, *чувство заброшенности* не покидало нас: все было красиво, богато, но холодно. А вот здесь, среди пыли, грязи и обнаженной до предела бедности, послышалось *что-то теплое, сердечное.*

Таможенный досмотр

Поезд дернулся туда-сюда и остановился, из окна теперь глядела еще более неприглядная картина: разбросанные там и сям глиняные, ничем не защищенные халупы, которые накалялись, трескались от зноя и разваливались. Босоногая толпа ринулась к поезду с кульками, с узлами и чемоданами первобытного происхождения.

К нам в купе вошли чиновники таможни. Наш багаж, кажется, никто до сих пор не проверял, а вот здесь вдруг решили. Предложили открыть чемоданы.

Кирилл стал что-то объяснять, они вежливо предложили пригласить говорящую по-русски леди. Явилась «леди». Худая и прыщавая, она стеснялась говорить по-русски, почти как я, если бы пришлось говорить по-китайски:

— Откройте, пожалуйста, чемоданы мы хотим проверить, не везете ли вы водку, вино, папиросы.

В одном чемодане были книги, школьные учебники детей, это их заинтересовало больше всего. Они разворачивали, разглядывали и показывали друг другу фотографии наших вождей.

Вдруг кто-то нашел в чемодане длинную белую бумажную ленту шириной в несколько сантиметров с какими то непонятными иероглифами, лица у всех стали серьезными, и передавая из рук в руки все стали разглядывать ее с нескрываемым интересом, чуть не пробуя на язык. Когда они начали что-то записывать в книжку, по-видимому решив конфисковать эту «контрабанду», я не выдержала и рассмеялась:

— Передайте этим господам, что это просто сувенир, на ленте запись сейсмической обсерватории Лос-Анджелеса.

Кто-то постарше виновато откозырял и поезд тронулся.

Жара. Пустыня. Нищета

Подошел проводник-негр:

— Мистер, — обратился он к Кириллу, — у меня для вас есть отдельное купе, разрешите я перенесу туда ваш багаж.

Это было как нельзя кстати. Жара усиливалась. Усталость от длинного путешествия давала себя знать, и страшно хотелось отдыха и уединения.

Дорога тянулась по ровной как стол безводной пустыне, поросшей скудной растительностью, главным образом кактусами; впервые в жизни я увидела такое разнообразие кактусов, то поодиночке, то группами разбросанных по горячему, выжженному немилосердным солнцем плато. Мертвый песок, мертвые холмы, мертвая земля застыла, как бы испугавшись ослепительных до боли в глазах лучей солнца.

В вагоне становилось нестерпимо жарко, бешено вертелся вентилятор, разгоняя раскаленный, как в печи, воздух. Мы постепенно начали снимать одежду, дети перекатывались с дивана на диван в одних трусиках, не помогала и вода из графина со льдом. Мороженное, холодные напитки, казалось, только усиливали жажду, и хоть бы струйка холодного воздуха!

Надев темные очки, я смотрела в окно.

— Господи, какая же здесь грусть, а представляете, каково путешествовать по Африке, да еще на верблюдах!

И вдруг я чуть не пробила окно.

Вдоль железнодорожной линии двигался осел; на спине его сидел человек в огромной соломенной шляпе с переброшенным через плечо рядном (здесь это называется «серапе»), руки висели безжизненно, как плети, а ноги беспомощно болтались в ритм

ленивого движения осла.

— Мама, этот человек заблудился!!! Он здесь погибнет! Давай попросим остановить поезд и взять его, — попросил Володя, но осел со своим пассажиром уже остался далеко позади.

Картина была так однообразна, что, казалось, поезд не движется, а стоит на одном и том же месте. Но вот он основательно дернул и остановился.

— Тоже мне заграничные поезда, а дергает, как настоящий наш Максимка, — засмеялся Кирилл.

Вдоль состава бежали маленькие ребятишки и отчаянно просили копеечку.

— Синьор, пор фавор, уно центавито, уно центавито[13]! — доносились вокруг поезда звонкие детские голоса. Мимо окна промчалось босоногое, с длинными растрепанными волосами создание, черная длинная тряпка обматывала тщедушное детское тельце и тащилась по земле как шлейф.

На пороге полуразвалившейся хижины с единственной дверью и без окон сидела женщина с длинными распущенными волосами с младенцем на руках; вдоль поезда бежала к ней другая, видно только что приехавшая, она споткнулась о рельсы, упала и выронила лукошко. Вокруг разлетелись, как крупинки золота, зерна кукурузы, бедняга бросилась собирать их по зернышку, а я наблюдая за ней, дрожала от страха, боясь, что, когда поезд тронется, она не успеет отскочить.

Я никак не могла прийти в себя, мне трудно было понять, не сон ли это, неужели правда, что на земле существует еще вот такая нищета? Именно нищета, а не просто бедность. И как это возможно, чтобы возле такой богатой причесанной, прилизанной, подстриженной под гребешок Америки существовала такая беспросветная нужда.

Даже на лицах наших детей было чувство жалости и сожаления.

Ведь это чудовищно несправедливо, и впервые меня охватило чувство, что вот это и есть настоящая жизнь, а там сладкая конфетная коробка, игрушечные домики. Там кругом мишура, рекламы, витрины, блестящие медяшки украшений, джусы, джазы, чудовищная бутафория. Мне даже показалось, что были мы в какой-то нереальной, выдуманной стране и что один хороший дождь смоет всю эту мишуру, слиняют краски, сползут карточные домики, и вместо всего виденного останется бесформенная куча мусора.

А здесь настоящая, голая, но настоящая, первобытная, уходящая босыми ногами глубоко в землю жизнь. Дождь пойдет, напоит землю, вздохнет могучей грудью и заживет уснувшая

пустыня, зацветет всей полнотой своих нетронутых материнских сил раскаленная земля.

— Грасияс, синьор, мучиас грасиас[14]! — доносился детский голосок.

А на следующей станции появилась уже целая куча босоногих ребятишек, с увлечением разглядывавших заграничные американские монеты. Значит, Мексика не Америка. Так постепенно умирали созданные раньше в нашем воображении о Мексике картины.

Из книг, прочитанных о Мексике, у меня создалось о ней совсем другое представление: пышная растительность, роскошные тропические деревья, густо переплетенные лианами, благоухающие цветы и несмолкающий птичий шум. Ничего этого не было. Вместо буйной тропической растительности — пустыня, вместо прерий, по которым носятся табуны диких лошадей, а ловкие мексиканцы в широкополых шляпах, вертя отчаянно лассо, набрасывают его на самую красивую лошадь и ведут к чернооким экзотическим красавицам, которых американцы рисуют в ресторанных меню и на железнодорожных расписаниях, кругом была пустыня, пустыня, пустыня.

Мексиканская пустыня изнывала под немилосердными лучами тропического солнца. Земля, казалось, выгорела и побелела от зноя. В этой опаленной, каменной пустыне трудно приспособиться к жизни. Почти не было птиц, животных, редко встречались люди. Только одни кактусы владели всем пространством, начиная от малюсеньких, с трудом пробивающихся в божий мир, и кончая огромными деревьями самых фантастических форм, раскинувшими свои колючие ветки, как дула многоствольных орудий.

Но мы не теряли надежды, что пустыня эта скоро кончится и волшебная мексиканская красота поразит нас, поэтому наши глаза были прикованы к окнам в надежде увидеть покрытую могучими лесами страну. Мы надеялись увидеть роскошную растительность вокруг зеркально блестящих водных источников с жирными ленивыми удавами, лианы, перепрыгивающих с дерева на дерево обезьян, услышать многоголосый шум дивных тропических птиц. Ничего подобного не было и в помине, кругом была пустыня.

Первые знакомые и тропические фрукты

В приоткрытую дверь нашего купе все время заглядывает лисья мордочка белокурой девчурки, волосы как с перманентной завивкой, на ноготках маникюр, она с любопытством

разглядывает длинные косы Виктории. Вскоре девочки сдружились, играли, что-то рассказывали друг другу на каком-то только им одним понятном языке, громко смеялись.

Володя подружился с негром-проводником, ему все надо было знать, а кто лучше мог ему все объяснить! Симпатия была, по-видимому, взаимной, так как проводник относился ко всей нашей семье с особой предупредительностью.

Когда на второй день Володя, не выдержав жары слег, проводник трогательно ухаживал за ним, приносил сок со льдом, чай, булочки. Что-то рассказывал нам всем, указывал за окно, на публику в вагоне, жестикулировал, широко улыбался, обнажая два ряда перламутровых зубов. К сожалению, ни мы его, ни он нас понять не могли.

На остановке Кирилл принес с вокзала тропические фрукты.

— Это манго, эта дыня называется папайя, а вот это, вероятно, мамайя, — пошутил он. — Такая грязь, что я ничего больше купить не рискнул.

Фрукты никому не понравились, за исключением самого Кирилла, — и вкус, и запах не был похож на наши. Позже, распробовав по-настоящему, мы поедали их в невероятных количествах.

Это не та Америка!

Неужели мы едем по Америке? Позади нас осталась тоже Америка, но другая, с ее шумом и крикливыми рекламами. И война не наложила никакого отпечатка на людей. По крайней мере, мне не удалось заметить, что страна воюет. Как же тогда было до войны?

В нашей родной стране, которую мы совсем недавно проехали из конца в конец, народ так же мог бы чувствовать радость жизни, если бы не эта проклятая война. Да и до войны мы, сколько себя помню, должны были все время от чего-то и от кого-то спасаться, никогда никто не оставлял нас в покое. Когда начинаю об этом думать, кажется, что существует какой-то заговор против нас.

Почему не смогли договориться Англия и США с Советским Союзом до начала войны? Их союз мог бы предотвратить эту страшную войну с Германией, и миллионы, миллионы жизней были бы спасены.

Таких «почему» у меня уже накопилась тысяча.

А теперь появилось много вопросов о той стране, куда мы едем, я хочу знать о ней побольше. Все, что мы знали, было так незначительно: статистика, количество населения, процент

обрабатываемой земли, поголовье скота. Но нам ни разу в жизни не приходилось встречаться с мексиканцем, и мы не имели никакого представления об их быте и характере.

Мы ехали работать в посольство, быть представителями своего народа в стране, о который мы не только не знали, но никогда раньше даже не слышали и не встречали ни одного ее представителя!

Путешествие потихоньку подходило к концу, а картина оставалась все той же: чумазые босоногие ребятишки возились вокруг убогих хижин. Смуглые до черноты женщины с прямыми распущенными волосами, одетые в живописные, как мне показалось, лохмотья, сидели на порогах, поджав под себя ноги.

Даже детям бросилась в глаза жуткая, беспросветная нищета. Они всю дорогу ныли:

— Куда ты, папа, привез нас? В эту грязную, чесночную Мексику! Мама, поедем обратно домой.

Я их успокаивала:

— Потерпите, мы еще не доехали, скоро вы увидите настоящую, красивую, прекрасную Мексику.

Марьячос

На одной из остановок мы вдруг услышали музыку. На перроне стояла группа очень симпатичных музыкантов «марячос», они, стараясь угодить иностранным слушателям, с предельным усердием выжимали из своих инструментов простые, но очень красивые народные мелодии. Они пели так сердечно, что изумленный Володя обратился к Кириллу:

— Папа, можно дать им денег? Пусть они еще, что-нибудь сыграют и споют.

Эта музыка стала первым знакомством с нравом и бытом народа, населяющего эту, как нам показалось, грустную страну. Мы почувствовали что-то очень близкое и родное, эти незатейливые мотивы были созданы талантливым, добрым народом с хорошей душой!

По музыке легче всего судить о народе, это всем понятный, интернациональный язык. Ни одна лекция, ни одно экономическое описание не дало нам того, что открыл пятнадцатиминутный концерт народных музыкантов.

Пригороды

По мере того как мы приближались к столице Мексики, пейзаж, как будто нехотя, менялся. Кругом была все та же

пустыня, но появились горы, поезд петлял, кружил, и начала встречаться зелень. У вокзалов чаще попадались ничего не говорящие нам вывески «Пулькерия». Широкие пространства между гор были засажены правильными рядами кактусов, видно было, что люди культивируют этот сорт пустынных растений. Позже мы узнали, что мексиканцы добывают из кактуса свой национальный напиток — пульке, мутный молочного цвета спирт, который пьют как водку, закусывая лимоном.

Унылый пейзаж сменился на более мягкий, временами даже очень приятный. Появилось больше зелени, часто попадались маленькие бедные селения и станции с пестрой толпою народа.

А когда появились величественные горы со снежными вершинами и стиснутые между ними ровные долины, покрытые яркой свежей зеленью, нельзя было оторваться от окна.

Поезд быстро мчал нас по извилистой горной дороге, как ретивый конь, почувствовавший приближение дома и близкий отдых после тяжелого, изнурительного пути. Вот уже окрестности столицы. Пассажиры не торопясь укладывали вещи.

Наконец последний вздох, и поезд подполз к крытой платформе вокзала Мехико-Сити, радостно вздрогнул и остановился. Вот мы и в столице Мексики.

С приездом!

В Мехико мы приехали первого июля 1944 года.

Когда мы последними вышли из вагона, к нам стремительно подошел красивый молодой человек. Это был секретарь Константина Александровича Уманского, Юрий Вдовин. Протягивая руки к детям, он произнес:

— Ну, здорово, приехали! — и, обернувшись к группе встречавших нас представителей посольства, крикнул им: — Они здесь, поможем им выгрузиться!

Мы быстро очутились на платформе. Заботы о расплате с кондуктором и носильщиками взял на себя Юрий. Мексиканских денег у нас не было, и вообще, весь наш капитал, после жизни в Калифорнии и дороги, равнялся четырем долларам. Да и из Москвы мы выехали с небольшими деньгами: нам выдали по 50 долларов на человека, так что по дороге пришлось взять в консульстве аванс в счет будущей зарплаты.

Через несколько минут нас уже усадили в лимузин. Юра сел с нами, по дороге он рассказывал нам о жизни советского посольства и с жадностью задавал вопросы о Москве. Остальные трое встречающих разместились в другой машине, и мы быстро, не останавливаясь на светофорах, помчалась в гостиницу «Регис», расположенную в самой центральной части города.

Минут через тридцать все уже сидели в большой комнате гостиницы. Юра представил нам встречающих: атташе Смирнов, высокий плотный блондин, комендант посольства Петя Кирмасов, среднего роста, смущающийся и быстро краснеющий мужчина лет сорока, и главный бухгалтер Миша Романов, худощавый, уже начинающий лысеть блондин со скучающим скептическим, но очень приятным лицом. Шофер Костя считал себя уже старым знакомым и хлопотал по хозяйству.

— Теперь мы угостим вас настоящим мексиканским ужином, — весело улыбаясь, провозгласил тост за здоровье и за успехи вновь приехавших Романов.

Все дружно выпили и с раскрасневшимися лицами с удовольствием уписывали острые мексиканские кушанья.

Я, попробовав эти мексиканские блюда, ощутила во рту пожар. Укладывая детей, я очень встревожилась, они отказались есть, у обоих была высокая температура. Меня все принялись успокаивать, объясняя это резкой переменой климата, говорили, что, отдохнув с дороги, дети на другой же день будут здоровы.

Нам объяснили, где питаться, где что покупать, что пить сырую воду нельзя, а фрукты и зелень нельзя кушать без

тщательной промывки, рассказали, как пользоваться двумя системами мексиканских телефонов, как добраться до посольства, сколько платить шоферу за такси, с которым следует торговаться, ибо дерут они с иностранцев в два раза дороже.

Муж приехал замещать торгового атташе Малкова. Велико было их удивление, когда мы им сказали, что приехали мы от Наркомвнешторга и в Мексику, оказалось, они думали, что мы проездом в Южную Америку.

Наконец все уехали, пообещав сообщить послу о том, что мы едем не в Аргентину, как они думали, а приехали сюда в Мексику.

Позвонил посол, поздравил с приездом и попросил зайти, как только отдохнем с дороги.

Малков

Вскоре на пороге появился небольшого роста голубоглазый, уже лысеющий блондин лет тридцати пяти с круглым розовато-пухлым лицом. Он монотонно, наводящим тоску голосом, стал рассказывать нам о местных нравах, о жульничестве и лживости всех мексиканцев. Он успел выложить нам все сплетни о сотрудниках посольства, дал характеристику четы Уманских и их сторонников.

Это был тот самый товарищ Малков, о котором мы слышали еще в Москве, в наркомате Внешней торговли от работников Латиноамериканского сектора. Одним из его достоинств было знание испанского языка, которому он научился в Испании, где его отец до падения республиканского правительства был торговым представителем СССР.

Малков ушел часов в одиннадцать, оставив меня в состоянии черной меланхолии. Я всю жизнь смертельно боялась всяких склок, среди большой массы людей от них легко было держаться подальше, можно было лавировать. Но как избежать этого здесь, в небольшом коллективе *«избранных»* советских граждан? Задача предстояла сложная, ибо не только работа, но и вся семейная жизнь проходила в посольстве, и сотрудники буквально варились в своем собственном соку.

Но неприятное чувство, навеянное Малковым, испарилось, когда я подумала, что ведь *на эту работу, нас послала наша Родина,* утопающая в потоках человеческой крови страна. Мы покинули ее только несколько месяцев тому назад, и еще трудно было забыть вопли и стоны, жен, матерей и детей, лишившихся близких на этом страшном побоище. *Я не могла еще смотреть на мир сухими глазами.*

Мысль о том, что *миллионы, миллионы* наших людей отдают свои жизни, защищая не только свою судьбу, но и судьбу всего человечества и все время бередила душевную рану и туманила глаза. И когда ко мне обращались с просьбой, что-нибудь рассказать о России, я задыхалась еще от слез.

Отношения с Мексикой

Мы приехали в Мексику в тот момент, когда после мучительно долгой затяжки с открытием второго фронта, гибель Германии уже давно была предначертана, и союзнички наконец, испугавшись, что советские могут закончить войну и обойтись без них, решили открыть второй фронт. Теперь Германию били с двух сторон. Весь мир с глубоким интересом следил за исходом Второй мировой войны в Старом Свете. Фашизм, со всеми его ужасами, заслуженно возненавидели все и желали его скорой гибели.

Мексиканское правительство, также будучи в числе наших союзников в борьбе против общего врага, считало себя морально обязанным чуть, чуть поддерживать, чуть-чуть не мешать и даже чуть-чуть гордится и помогать просоветской деятельности в стране.

Мексика страна аграрная и торговая. Торговля вся сосредоточена в руках иностранцев, главным образом европейского происхождения. Многие покинули Европу в начале Второй мировой войны и считали свое пребывание в Мексике вынужденным и временным. Их интересы были устремлены обратно в Европу.

Эта благодатная страна, открывшая всем гостеприимно свои объятия, осталась все-таки чужой страной для эмигрантов. Здесь можно было встретить эмиграцию самых различных этнических и политических направлений: еврейскую, русскую, испанскую, итальянскую, португальскую и многие другие. Всем им жилось в Мексике неплохо.

Болезнь детей и господин из Эквадора

Подойдя к кровати, я увидела, что Володюшка и Ляля метались в жару с пересохшими губами, стонали и просили пить. Графин оказался пустым, я позвонила. Вошла тучная симпатичная мексиканка и на просьбу дать кипяченой воды отвернула кран в ванной, налила в графин и ушла. Напуганная рассказами о здешней воде, я не осмелилась поить ею детей и попросила Кирилла принести из аптеки воду в бутылках и необходимые

лекарства.

В посольстве доктора пообещали прислать только утром.

Вернувшись из аптеки, которая была здесь же, внизу, Кирилл попросил разрешения войти с каким-то господином, который любезно помог ему сделать нужные покупки.

В номер вошел *иностранец* в светлом костюме «тропикаль», полный, с широкой заразительной улыбкой на курносом симпатичном лице. И на ломаном русском языке предложил свои услуги, помочь.

Господин этот оказался из Эквадора, только сегодня прилетел в Мексику и остановился в этой же гостинице. Узнав, что мы только что приехали из СССР, он обрадовался нам как землякам.

— Жена моя русская, из Киева, я сам поляк… Она меня научила говорить по-русски. Она очень любит свой родной язык.

Мы просидели около часа, он притащил из своего номера какие то книги по кулинарному искусству, руководство по кройке и шитью, альбомы с фотографиями, на которых он был снят среди эквадорских женщин, обучая их этим премудростям. У него был даже свой метод составления косметических мазей, но, исчерпав все возможности в Эквадоре, он решил попытать счастье в Мексике и открыть здесь свой салон.

По образованию сей господин был инженер-химик, и лично мне очень странно было встретить иностранца с высшим образованием, который занимался, как мне показалось, какой-то чепухой. У меня в сознании не укладывалась еще мысль, что человек, имеющий высшее образование, может заняться тем, что ему в голову взбредет или покажется выгодным, не *отдавая в этом отчет никому.* Жил в Эквадоре, захотел приехать в Мексику, приехал… Удастся сделать дело, хорошо, нет — соберет свои манатки и поедет в Панаму, или в Гватемалу, или куда захочет.

Мы же, привыкли все делать *по указке.* Кончили институт — распределят, и вся забота сводится к тому, чтобы как нибудь не попасть к черту на кулички.

Мне даже было обидно за него, что нет у него такого высокого надежного покровителя. Я же привыкла, чтобы нашей судьбой интересовался если даже не сам нарком то, по крайней мере, начальник главка.

Мексиканский врач

Рано утром приехал доктор, средних лет худощавый испанец. Поздоровавшись на своем языке, он стремительно направился в комнату детей, сел к Володе на кровать и бросил на нее не первой свежести перчатки, жестами давая понять Володе, чтобы тот

открыл рот. Володя поморщился и, обращаясь ко мне, заявил:

— Тоже мне доктор! Свои грязные перчатки бросил ко мне на постель, сам без халата и немытыми руками хочет лезть ко мне в рот.

К моему удивлению, доктор, сильно смутившись, быстро пошел в ванную комнату и, вытирая на ходу руки и улыбаясь, обратился к Вовке:

— О, ты очень серьезный мальчик… Это хорошо!

— Молчи, сынок, ведь доктор понимает по-русски.

— Жаль, если не понимает, — сокрушенно ответил Володя, — врачам все языки нужно знать.

Оказалось, что этот доктор работал во время гражданской войны в Испании в армии вместе с русскими и действительно немного понимал по-русски.

Прогулки по Мехико-Сити

Вскоре дети выздоровели, и я решила заняться знакомством с городом с таким очаровательным названием — Мехико. Дети тоже с огромным интересом разглядывали все для них новое и незнакомое. Мне с большим трудом удавалось затащить их в гостиницу, чтобы только накормить. Первые дорожные впечатления от этой страны стали быстро улетучиваться. Здесь нам все нравилось. И пышная растительность парков, и множество цветов, и пестрота магазинов, полных всяких безделушек и различных мексиканских изделий. И самое главное — почти всегда сверкающее солнце.

Я очень полюбила небольшой тенистый парк Аламеда, где в знойный полдень в глубокой тени роскошных пальм на скамейках, сделанных как будто из окаменевшего дерева, отдыхали мексиканцы. Мы подолгу смотрели на шустро бегавших ребятишек, продававших газеты, на взрослых мексиканцев, часами занятых игрой в «орел и решку» и громко заразительно хохотавших при удачном падении монеты. «Агиля!» (орел), «соль!» (решка), кричали они, приходя в дикий восторг, как дети.

Мы как будто очутились на другой планете. Казалось, никто понятия не имеет, что где-то на другой стороне нашего маленького летающего, как крупинка во Вселенной, шарика продолжается кровавая война.

Здесь спокойно разгуливали смуглые няни-мексиканки с белобрысыми детьми. К ним подходили невысокого роста скуластые парни, удивительно напоминавшие наших якутов, в синих рабочих блузах, в плетеных сандалиях, одетых на босую ногу, и обнявшись, хлопая друг друга по плечам, присаживались к

нянькам и, весело болтая на звучном, певучем языке, угощали их мороженым. Ели папайю, которую лениво разносили на деревянных подносах продавцы в соломенных шляпах. Первые дни я удивлялась, что парни обнимаются при всем честном народе, но вскоре я узнала, что это обычное мексиканское приветствие.

Мне очень нравилось красивое здание театра Белес Артес в стиле декаданс, которое как будто присело в глубокую впадину на площади. И магазины… колоссальное количество магазинов, переполненных ярко блестевшими изделиями из серебра.

Мексика — самая богатая серебром страна в мире, я это знала еще со студенческих лет, когда мы изучали способы добычи и обработки богатейших месторождений серебра на предприятиях «Пачука» в городе Пачука в Мексике. Но то, что его так много в продаже, было *удивительно*. Ведь в России тоже достаточно и золота, и серебра, но найти какие-либо изделия из этого металла не так просто. Разве только случайно попадется в комиссионных магазинах что-нибудь почерневшее от времени.

Трудно было оторваться от сумок, поясов, саквояжей из крокодиловой кожи. Каждая такая вещь в России была бы огромной ценностью, а здесь все это было доступно, заходи и покупай. Продавцы, рассыпаясь в любезностях, приглашали, уговаривали купить…

Русский ресторан

В Мексике, так же как и в США, мне нравились вестибюли в гостиницах, где так спокойно, по-семейному сидели, беседуя, люди.

И как-то встретив нашего знакомого — сеньора Б. из Эквадора, мы тоже решила присесть. Говорили мы, конечно, по-русски.

Напротив подошел и уселся на диване молодой человек с очень красивой наружностью. Огромные голубые глаза на открытом лице, светлые, как спелая рожь, волосы невольно притягивали к нему взгляд. Одет он был для Мексики совсем необычно: в светлых брюках, красной рубашке-косоворотке, выпущенной поверх брюк и подпоясанной шнурком. Русский… *Он должен быть обязательно русским. Он был похож на тысячи русских парней, отдававших лучшие годы своей жизни за спасение Родины*, с щемящей тоской, подумала я.

Мне хотелось узнать, как живет, о чем думает этот заброшенный в далекую чужую страну с таким ясным, русским лицом юноша. Он несколько мгновений с интересом следил за

нами и вдруг заговорил на чистейшем русском языке:

— Вы из России? Из посольства? — радостно волнуясь, произнес он.

Я растерялась, даже немного испугалась в первую минуту.

Я посмотрела на сеньора Б. и тоже вспомнила, что я испугалась при первой встрече. А он оказался далеким от политики, душевным и обаятельным человеком, который проявлял к нам интерес просто как к русским людям с другой части нашей планеты, с которыми встретился случайно.

— Здесь есть русский ресторан, на Венециано Каранца, если хотите пообедать, там хорошая русская кухня.

И он протянул нам карточки.

Пообедать в русском ресторане показалось всем очень заманчивым, и мы сразу направились туда.

Здесь, в этом ресторане, за другим столом сидела группа людей, которые смотрели на нас с нескрываемой неприязнью. Как мне объяснили позже, это были члены местной троцкистской партии. Они еще очень глубоко переживали гибель Лев Давидовича Троцкого.

Через некоторое время туда же пришел и молодой человек в русском наряде. Хозяин знал, что мы получили от него рекомендацию, и, усевшись с ним рядом за стол, сказал: «Если ты так и дальше будешь работать, то и тебе будет хорошо, и мне». И велел накормить его.

Признаюсь честно: мне с моим советским воспитанием, несмотря даже на все наши трудности в Советском Союзе, такой вид заработка на обед показался унизительным, и было обидно и больно за этого молодого человека.

Прощаясь с ним, мне бросились в глаза ужасно порванные ботинки на его ногах, которые он тщетно пытался спрятать под стол. *«Да, нелегко этому юноше достается кусок хлеба, в чужом краю»,* — подумала я.

По дороге он нас нагнал опять:

— Скажите, меня пустят в Советский Союз? — умоляюще глядя на нас, спросил он. — Я бы в армию пошел, куда угодно… Если бы только меня пустили.

— Чем вы занимаетесь здесь? — поинтересовалась я.

— Я артист, выступал с русскими танцами в ресторанах. Но я хочу учиться, моя жизнь еще впереди…

— Попробуйте, сходите в советское консульство, — посоветовала я.

Кирилл сказал:

— Боюсь, что его никогда в жизни не впустят.

Но было жаль и хотелось чем-то и как-то поддержать этого

потерявшегося в чужом океане юношу.

Прошло пару лет, труп этого молодого человека с его подругой нашли в гостинице. Они стали жертвой наркотиков.

В поисках квартиры

Жить в гостинице и питаться в ресторанах было неудобно. Особенно трудно кормить детей: мексиканские блюда отличаются исключительной остротой, и при одном взгляде на них у нас во рту загорался настоящий пожар. К тому же такая жизнь стоила вдвое дороже того, что мы могли себе позволить. Поэтому мы усиленно занимались поисками квартиры, что оказалось не так просто, а главное, не так дешево, как об этом нам говорили в Москве.

Господин, с которым мы познакомились в первый день, нашел чудный домик, чистенький с закрытым двориком, с садом для детей, напротив сквера и сравнительно за недорогую плату. Он предложил нам половину этого дома, а во второй половине он открыл свой «салон кройки и шитья и кулинарии». Мне все нравилось здесь: и то, что есть дворик и садик, о котором мечтали дети, и то, что чисто и недорого. Но для того чтобы поселиться там, надо было получить санкцию посольства.

Но узнав, что этот дом снимает иностранец и нам предлагает часть, а главное, что там один общий двор, они категорически запротестовали. Пришлось покориться, искать отдельный дом либо снимать квартиру в большом доме. Поиски продолжались…

Наконец мы нашли дом без садика и дворика с входом прямо с улицы. Он вполне удовлетворил и нас, и посольство. Правда, оказалось, что кухня там просто первобытная: плиту надо было растапливать углем, а потом раздувать не то сапогом, не то каким-то веером, как в кузнице; вместо холодильника стоял ящик, куда каждое утро привозили кусок свежего льда.

У прежней хозяйки была прислуга, очень милая девушка лет четырнадцати-пятнадцати, которую нам оставили как бы придаток к дому, звали ее Педра.

Нам она очень понравилась, особенно детям, и мы все относились к ней так же, как мы к нашей Дусе, которая помогала ухаживать за детьми у нас в Москве, чисто по-советски, как к члену семьи.

Поэтому, когда мы сменили этот дом на квартиру с более приличной кухней, она убежала от своей хозяйки и пришла к нам, рыдая и умоляя забрать ее от этой рабовладелицы. Дети тоже просили меня: «Мама, оставь Педру у нас!» Но вечером появилась мать Педры и объяснила, что это невозможно, так как она по

контракту сдала свою дочь той женщине и бедная девушка должна, как рабыня, беспрекословно выполнять все, что ей прикажет хозяйка.

Эпоха посла Константина Уманского

Первый визит в советское посольство

Вскоре после нашего приезда Кирилл позвонил из посольства:

— Приезжай к пяти! Рая Михайловна к чаю приглашает.

Оставив детей на попечение няни, я села в такси и назвала адрес: «Кальсада де Такубайя, 204».

— Эмбасада Русса?![15] — обернулся ко мне с радостной улыбкой таксист.

Машина тронулась и помчалась по великолепному, утопавшему в зелени бульвару Пасео де ля Реформа. Я загляделась на роскошные монументы, установленные вдоль дороги, особенно поразила меня своей изящной красотой статуя Независимости из белого гранита. У подножия ее горела неугасимая лампада и лежали венки из живых цветов.

Я с горечью вспомнила безвкусную, мрачную статую «свободы», установленную после революции в Москве на Советской площади, напротив здания Моссовета, — трехгранный шпиль из темно, серого гранита, рядом с которым стояла фигура женщины, державшая земной шар, в протянутой вперед руке.

Про нее ходил анекдот: «Почему статуя свободы стоит против Моссовета? Потому что Моссовет стоит против свободы!»

При реконструкции улицы Горького этот монумент снесли, на его месте сейчас стоит памятник Юрию Долгорукому.

Обогнув фонтан со статуей Дианы, шофер провез меня по парку Чепультепек. Вершины мощных деревьев сплетались над дорогой в пышный шатер. Шелестя листьями, деревья как бы вели повествование об истории Мексики, о легендарной борьбе ее народа за свою независимость.

Выехав из парка, мы очутились на узкой улочке с низенькими домиками, как кубики приставленными, один к другому.

После пышной красоты бульвара и парка здесь мне показалось довольно уныло.

Но машина остановилась у тяжелой железной ограды, за которой я увидела утопающий в зелени замок удивительной красоты.

На воротах, на небольшой бронзовой плите, виднелся герб СССР и надпись: «ПОСОЛЬСТВО СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК».

Посольство… Вот оно, посольство. Я первый раз в жизни

должна была вступить на его порог. Мне трудно даже передать то чувство благоговения и волнения, которые охватили меня в эту минуту. Для меня всегда так гордо звучало это слово «посольство»…

Шутка ли сказать, эта маленькая территория — островок Родины в чужой стране на противоположной стороне земного шара — представляет наше огромное государство, одну шестую часть планеты. Как мне хотелось, чтобы и люди здесь были тоже особенные!

Оправившись от волнения, я нажала кнопку звонка. Появился невысокий плотный мужчина в синем костюме.

— Алексеева? — спросил он. — Рая Михайловна вас ждет.

Я вошла на усыпанный крупным гравием двор. Небольшой фонтанчик перед главным подъездом пускал серебристые струйки воды. Кругом цветы, которые поливал садовник-мексиканец в засученных до колен брюках и белой рубашке. В конце обширного двора виднелся парк с фонтаном посередине, туда вели белые закругленные ступеньки.

Ко мне подошел дежурный и предложил проводить. Мы прошли по широкой террасе, уставленной цветами, с белыми гранитными колонами и бледнозеленой мебелью; с правой стороны, на высоком постаменте, стоял *бюст Сталина.* Через зеркальную дверь мы вошли в огромную гостиную. Зал был высотой в два этажа, дневной свет падал с большого стеклянного купола в потолке. На полу, как лужайка, растянулся ярко-зеленый китайский ковер. На круглом столе огромный букет цветов. Кругом колонны белого мрамора подпирали балкон второго этажа, окружавший весь зал.

Могильная тишина, ослепительная чистота мебели, полов, стекол придавали всему холодный нежилой вид. Налево лестница со сверкавшими как золото, начищенными перилами. В стене — большая мраморная плита, на которой выгравированы барельефы Ленина и Сталина и статья тринадцатая Конституции СССР.

По длинному балкону второго этажа мы прошли в ту часть замка, которую занимали Уманские.

Рая Михайловна Уманская

Рая Михайловна приняла меня в своем круглом салоне. Это была уютная комната, оклеенная веселенькими обоями. На Рае Михайловне темное платье, припухшее, как после глубокого сна, лицо имело печальное выражение. Она обратилась ко мне немного хрипловатым голосом:

— Я очень рада. Хорошо доехали? Нравится вам Мексика?..

Это удивительная страна, ее можно скоро полюбить.

Она участливо засыпала меня вопросами, на большинство из которых сама немедленно и отвечала. А я все ждала — когда же она спросит о главном, о Москве. И как мне показалось, после долгих усилий над собой, она спросила:

— Вы видели перед отъездом мою сестру?

— Да, Раиса Михайловна…

Она быстро прервала меня и, мне показалось, что немножко даже с раздражением сказала:

— Не Раиса, а Рая Михайловна.

— Да, Рая Михайловна, — поправилась я, — мы везли вам около десятка писем. Но их в таможне на нашей границе отобрали. Сказали, что они дойдут к вам раньше нас.

Оказывается, она ничего не получила и была возмущена.

Мне очень хотелось рассказать ей о моем последнем разговоре с ее сестрой Лидией Михайловной. Что урну для праха Нины[16] сделали из розового мрамора, как этого хотела Рая Михайловна, и что поставили ее в колумбарии в отделе для дипломатов. Но взглянув на нее, подумала, что лучше об этом промолчать.

Позже, когда дошли письма, она мне с горечью сказала:

— Вот посмотрите это письмо — моей Нине сделали урну из розового мрамора и поставили ее в колумбарии рядом с урной Луначарского или Трояновского. Нашли чем меня утешить! Не могу, ну просто не могу простить своей сестре, как она не уберегла нашего ребенка. Я посылаю ей посылки, чтобы она с голоду не сдохла, но для меня она больше не существует. — И я снова подумала, как хорошо, что я тогда промолчала.

— Мы очень довольны, что вы приехали. Костя уверен, что здесь можно и нужно начать торговлю. Мы вас кое с кем познакомим, народ здесь хороший. Вся беда в том, что наши люди какие-то суконные. Когда иностранцы приглашают к себе, я просто ума не приложу — кого с собой взять. А сделаешь им замечания, попробуешь объяснить, что надо свободнее и проще себя держать, — обижаются.

А после чая она предложила познакомить меня с «нашими женщинами».

Мы спустились вниз и прошли через арку в соседнюю пристройку. Рая Михайловна указала на дверь церковного стиля:

— Каждое воскресенье здесь демонстрируются наши кинокартины. Для гостей иногда тоже крутят. Вы удивляетесь этой двери?.. Когда мы купили этот дом, здесь была домашняя церковь… Мы перестроили ее под кинотеатр с баром.

Рядом была комната, в которой за длинным столом тесно

сидели женщины. Перед каждой возвышалась стопка бюллетеней и конвертов с заранее напечатанными адресами, и все они занимались тем, что укладывали в конверты издаваемые посольством иллюстрированные листки.

Двадцатипятитысячный тираж этого еженедельного бюллетеня, с первой до последней страницы описывавшего наши достижения, рассылался бесплатно, и его можно было найти почти в каждой лавке.

На полях весело улыбающиеся женщины убирали урожай. На заводах сталевар, в лихо надвинутых на лоб очках, широко улыбался, освещенный жарким пламенем мартена. Наука была представлена Сергеем Ивановичем Вавиловым, братом знаменитого академика *Николая Ивановича Вавилова,* которого знали в Центральной и Южной Америке и особенно в Мексике: в 1933–1935 годах он читал здесь лекции о новшествах, которые были внесены в дело ботаники.

Илюша, друг Николая Ивановича Вавилова

Впоследствии мы познакомилась с высоким худым угрюмым человеком по имени Илюша. Он говорил по-русски с сильным акцентом и сначала показался мне несколько чудаковатым. Этот человек сопровождал Вавилова в его ботанико-агрономических экспедициях по Центральной и Южной Америке в качестве специалиста и переводчика. По образованию он был агрономом и помогал собирать различные образцы растений.

Он рассказывал, что в этой экспедиции Николай Иванович собрал огромный материал и увез в Советский Союз крупнейшую коллекцию семян растений, которые, как он считал, могут быть приспособлены к нашему климату.

— Мы без конца упаковывали образцы всевозможных растений и злаков, а ему все казалось мало, ему хотелось все больше и больше, он просто захлебывался в работе. Он не тратил время даже на сон, и я тоже, кажется, ни разу не выспался.

Илюша рассказывал, каким неутомимым работником был Вавилов и с каким энтузиазмом он работал, и никак не мог понять, почему раньше он все время просил прислать дополнительный материал, а потом вдруг замолчал и все письма к нему остаются без ответа.

Не только он, но и многие другие спрашивали у меня: куда делся Николай Иванович Вавилов, почему о нем ничего не слышно?

Я отвечала, что, кажется, он работает в Ленинграде. Честно сказать мне было стыдно и обидно; было тяжело и больно

слушать, с каким восторгом агроном Илюша рассказывал нам о Вавилове. Я слышала, что он был арестован в августе 1940 года, во время экспедиции в Западную Украину, и сослан, кажется, не то в Магадан, не то еще куда-то, где он и скончался 26 января 1943 года. Мне не хотелось этому верить, и я старалась убедить всех, что все у него в порядке. И что его брат — президент Академии наук (вот тоже парадокс сталинской эпохи!), и что Николай Иванович, вероятно, просто заработался. Ну как можно было объяснить этим людям, куда он делся, за что его арестовали и что этого ученого с мировым именем уже нет в живых!

Дамы

Рая Михайловна представила меня. Женщины лениво обернулись. Их полное равнодушие ко вновь прибывшей было удивительно. Никто даже ради приличия не спросил меня о жизни в Советском Союзе.

Полная курносая симпатичная блондинка с удивительно звонким приятным голосом, притащила два стула и, усаживая нас, пропела:

— Инка-то моя никого на порог не пускает!

Рая Михайловна, обернувшись, объяснила:

— Мне недавно подарили двух удивительных щенят, один черненький, а другой рыжий. Рыжего я подарила Лене. Покажите его, Лена, Нине Ивановне.

Я узнала, что щенят подарил организатор и идеолог социалистической партии Мексики Ломбардо Толедано, они родились у собаки, привезенной им из Москвы. Пока Рая Михайловна и Лена обсуждали проказы своих любимцев, я принялась разглядывать остальных женщин.

Мой глаз еще не привык к разнообразию цветов одежды. В Москве сейчас все носят черное, коричневое, синее. Яркие тона там почти отсутствуют. Во-первых, они не соответствуют настроению людей, а во-вторых, каждый желает быть менее заметным. Здесь же все были одеты в платья самых ярких тонов, какие только можно было вообразить. Казалось, что они соревнуются, кто кого перещеголяет по яркости наряда.

Не нужно было обладать особенной проницательностью, чтобы понять, что здесь было два лагеря. С одной стороны стола сидели сторонники Уманских. С другой — явные противники. В числе сторонников были Лена, жена начальника шифровального отдела, и Вдовина, жена личного секретаря Уманского, с удивительным голосом, благодаря которому даже обыкновенный разговор звучал сварливо. К ней часто подбегали двое очень

милых ребятишек, мальчик лет пяти и девочка лет трех. Рая Михайловна, видно, очень любила этих детей, она пошла с ними наверх, и вскоре они спустились с красивыми коробками.

Меня познакомили с довольно странной женщиной-секретарем у военного атташе Августой Васильевной Окороковой. Даже когда она старалась одеться женственно, в ней было что, то мужское. Про таких говорят, что им на роду написано быть старыми девами. Худая как щепка, в очках, лет под сорок, со свисавшими по плечам косичками, в концы которых были вплетены яркие шерстяные шнурки, она могла быть и грузинкой, и турчанкой, и русской. Говорила она так, будто из пулемета строчила.

Здесь же сидела жена второго секретаря Адочка Глебская. Несмотря на тридцать пять лет, у нее было удивительно детское лицо. Чтобы выглядеть посолидней, она носила странные прически, в этот день у нее на голове было что-то вроде веера из волос, подхваченных черным бантиком. Она умела изобретать для себя самые фантастические прически, которые к ней никогда не шли. Говорила она тихо, почти шепотом.

Муж ее Глебский, умный и очень приятный человек. Он ловко лавировал и оставался всегда в стороне от посольских дрязг. В тихом болоте черти водятся, говорили про него. Если он со своей педантичностью, возьмется за вас, то все доложит, и что сказали, и что недосказали.

Адочка часто не приходила на упаковку бюллетеней, и тогда вместо нее являлся сам Глебский. Садясь за работу, он заявлял:

— В жизни есть три бестолковых занятия: работа на кухне, изучение испанского языка и упаковка бюллетеней.

Злые женские языки говорили, что у них в кухне даже плиты не было. И живя в Мексике, Глебские принципиально учили только английский язык.

Противоположная сторона стола была более колоритной. Там сидела красивая, бледная, с ярко накрашенными губами Слава Малкова, хорошенькая пухленькая Таля — жена советника Яновского, а между ними не без гордости восседала тучная, грудастая Олимпия Кирмасова, жена завхоза посольства. На ее красном, как блин, лоснящемся лице сверкали злые серые глаза. В любую погоду, к месту и не к месту, на ее огромном бюсте колыхались две огромные чернобурые лисы. Как мне рассказывали позже, из-за этих лис ее выгнали Уманские, у которых она была по приезде кухаркой.

— Сэкономила, чего греха таить, сэкономила на яйцах у Уманских, — гремела она мужским басом. Ее лексикону позавидовал бы одесский извозчик.

Как такое чудовище попало за границу?

Здесь же сидела жена исполнявшего обязанности военного атташе Павлова — Зина. Худая, щербатая, курносая, с прямыми пепельного цвета волосами, непослушно торчащими вокруг низенького лба. Сам же Павлов был интересным мужчиной с немного болезненным, бледным лицом.

Дальше сидели жены курьеров и охранников. Почти все они работали в посольстве в качестве обслуживающего персонала. В обязанности их мужей входило брать на заметку всех, кто входил и выходил из посольства, получать почту, дежурить по ночам и кормить здоровенного как лошадь, посольского Дружка, собаку, которая ударом лапы могла сбить с ног любого человека. Когда Дружка ночью выпускали из клетки, то никто не мог появиться во дворе.

К нам подошли Малковы в сопровождении пресс-атташе — Александры Антоновны Никольской. Это была высокая угловатая женщина с мужской походкой и грубым, неприятным голосом, но с большой претензией на важность и неприкосновенность ее личности. Слава, жена Малкова, явно перед ней заискивала. Глядя на них, я недоумевала. Но в это время Слава многозначительно шепнула мне: *«Это дочь Вышинского!»*

Впоследствии кто-то уточнил, что она была якобы побочной дочерью Вышинского. «Неужели, — подумала я про себя, — среди ста семидесяти миллионов не нашлось кого-нибудь *более подходящего* для заграничной командировки!»

Никольская много раз бывала за границей, особенно в Европе. В Мексику она прилетела вместе с Уманскими. Мне передавали, что в первый же день приезда в Америку, когда дамы собирались идти в город, появилась Никольская и, осмотрев всех с ног до головы, скомандовала:

— Снять всем чулки! — Все в недоумении сняли. — Перевернуть наизнанку и надеть снова. За границей неприлично носить их иначе!

Тут вошла Рая Михайловна Уманская.

— Что вы делаете? — спросила она, увидев снимающих чулки женщин. Ей объяснили. — Да бросьте вы, Александра Антоновна, дурака валять, надевайте, как кому нравится.

Никольская, привыкшая командовать, явно была раздражена ее вмешательством.

Когда этих людей отправляют за границу, они так счастливы, что их мало интересует, кто чем будет там заниматься. Но попав сюда, они сразу же чувствуют унижение своего партийного достоинства, с ненавистью и злобой смотрят на тех, кто занимает пост повыше, и с таким жаром принимаются за доносы, что им

могли бы позавидовать профессионалы этого дела.

Катя Калинина

Ко мне подошла милая девушка лет двадцати в синем костюме, серенькой блузочке и аккуратно причесанными белокурыми волосами. От ее присутствия стало как-то приятней и светлей.

— Катя Калинина, самый молодой член посольства, — отрекомендовала ее Рая Михайловна.

— Нина Ивановна, я слышала, что вы мне привет привезли?

— Да, с нами на одном пароходе ехала Надя, которая училась с вами на курсах при Наркоминделе.

Ехала она в Лондон, в военную миссию, переводчицей. Когда мы прибыли в Сиэтл, Надя вернулась после прогулки из города, и горько расплакалась, оказывается, ее глубоко английское произношение, которому ее так усердно учили дома, здесь, в Америке, не понимали и без конца ее переспрашивали, и поэтому она так была расстроена.

Мы разговорились, и я вышла из посольства вместе с ней.

Она прилетела в Мексику из Москвы вместе с Уманскими. И Уманские относились к ней очень покровительственно. Они брали ее с собой на приемы, на банкеты. К. А. Уманский любил верховую езду, Катя тоже, и каждое воскресенье они отправлялись на утренние верховые прогулки по парку Чапультапек, где Константин Александрович всегда встречался с военным министром Мексики синьором Хара и его сыном. Министр Хара даже подарил Уманскому лошадь из своей конюшни.

— Как вы себя чувствуете здесь? Не скучаете?

— Хорошо, но иногда бывает очень грустно… Хоть бы кто из молодежи приехал сюда. У всех свои семьи, заботы, и я иногда чувствую себя очень одинокой. Даже в кино сходить не с кем.

— Я буду очень рада, если вы будете чаще заходить к нам.

Стиль работы

С первого же дня обстановка показалась мне тягостной и напряженной. Я заметила, что Рая Михайловна делала усилия, чтобы вести себя свободно и непринужденно. Но на ее шутки реагировали только сторонники, остальные же молчали, плотно сжав челюсти.

Но я стала членом этого коллектива, и придется втягиваться.

Дома я поделилась своими впечатлениями с мужем:

— Господи, ведь есть же в России культурные,

интеллигентные люди, зачем же присылать сюда таких, как эта Олимпия. Один только вид ее приводит в содрогание!

— Да, но это, по-видимому, относится к стилю работы, такие бывают иногда больше нужны, чем те, которых ты хотела бы здесь видеть.

Блестящий советский дипломат

С самого первого момента, как только появились члены советского посольства в Мексике, старые русские иммигранты, да не только они, а также иммигранты из Польши, Югославии, Чехословакии и других европейских стран, потекли в посольство представляться. Многие из них большую часть своей жизни прожили в Мексике, но они все-таки все тянулись к советскому посольству. Война как будто всех сроднила — у всех один враг — Гитлер, рассуждали они, его надо добить, и тогда кончатся все несчастья на земле. В посольство они шли с открытой душой, даже в искреннем порыве принести какую-нибудь пользу.

В это время популярность Советского Союза и Красной армии были на *самой, самой вершине своей славы* во всем мире.

Популярность Уманского как представителя этой великой могучей державы росла также с каждым днем. Он стал одной из самых видных самых популярных фигур в Мексике, затмив своей популярностью представителей всех остальных государств.

В его честь устраивали невероятное количество приемов. Его приглашали на все вечера, обеды, банкеты на которые если он не мог сам лично, присутствовать он посылал представителей кого — либо из посольства.

В Советском посольстве, устраивались приемы для всех слоев мексиканской общественности: писателей, министров, художников, артистов, военных, торговцев и просто рабочих и служащих, различных ведомств.

Уманские не любили жить замкнуто, они приобрели обширный круг знакомых, с которыми любили проводить время принимать их у себя запросто, или охотно бывать у них в гостях.

Они любили ездить по стране, изучать ее. В такие поездки, они кроме сопровождавших их сотрудников посольства окружали себя большим количеством иностранной элиты. Многие старались показаться на курортах Мексики именно тогда, когда там были Уманские, и долго затем вспоминали о приятно проведенном вместе с ними времени.

Надо отдать должное, он умел создавать вокруг себя дружескую атмосферу. Все стремились пожать руку послу, выразить восторг и благодарность советскому правительству и

Красной Армии, что он и принимал с большим достоинством.

У него бывали люди, которым были недоступны приемы ни в одном посольстве. Наше же посольство показывало всем свое демократическое лицо.

Я помню случай, когда Уманский приказал отправить приглашение одному видному мексиканскому деятелю, очень антисоветски настроенному, и, улыбаясь, заметил:

— Интересно, придет или не придет? Я думаю, придет, из любопытства придет!

Не обходилось и без курьезов. Я помню, как однажды корреспондент журнала «Маньяна» добивался аудиенции у посла. Но тот запретил пускать его даже на порог. Журналисту ничего не оставалось, как выдать себя за репортера прокоммунистической газеты. Что он и сделал.

Его сразу же очень дружески приняли, Уманский долго с ним беседовал, угощал и даже пожелал на прощание сфотографироваться с ним под бюстом Сталина.

Когда в журнале появилась вся эта история с фотографией и подробным описанием, как провели Уманского, он был вне себя от ярости и разносил всех посольских:

— Как можно было впускать этого бандита?

В этот день я встретила Раю Михайловну:

— Костя сегодня не в духе, у него даже припадок головной боли!

— Какой припадок, Рая Михайловна? Припадки бывают при эпилепсии, при головной боли бывают приступы.

Она улыбнулась:

— Ну да все равно, пусть будет приступ.

Уманский умел вести и вел себя с огромным достоинством, как представитель огромной великой державы.

Вспоминаю один эпизод. Мы ужинали в ресторане Сан-Суси, туда же зашел американский посол в Мексике мистер Мессершмитт со своей свитой. Кто-то сразу шепнул об этом Уманскому. Вместо того чтобы встать и пойти поздороваться, как это делали другие сидевшие в этом ресторане послы, Константин Александрович спокойно сказал:

— Сам подойдет.

И действительно, через несколько минут американский посол сам подошел к нашему столу.

Великий советский композитор

В моей памяти ярко запечатлелись густо-черные ночи, которые приходили взамен лениво-сонному жаркому дню, —

тропические ночи Мексики.

Город Мехико ночами кишел, как взбудораженный муравейник. Кафе, рестораны, кино, ночные клубы были полны народу. В некоторых висели объявления: «Просим не бросать окурки на пол, дамы могут обжечь ноги».

Отовсюду доносились песни бродячих музыкантов «марьячос». Под окнами гостиницы надрывалась шарманка, напоминавшая мне давно ушедшее детство. Казалось, даже заунывные мелодии, были похожи на русские напевы. Я быстро полюбила мексиканскую музыку, но все время недоумевала и как-то даже спросила Уманского:

— Чем объяснить, что здесь так популярна музыка Дунаевского?

Уманский громко рассмеялся:

— Очень просто: наш Дунаевский самим бессовестным образом сумел содрать ее.

В ответ я рассказала анекдот про Дунаевского: идет по Красной площади Дунаевский с сыном, вдруг на кремлевской башне пробили часы и заиграли Интернационал. «Папа, это тоже твоя музыка?» — спросил сын. «Пока еще нет», — ответил папа.

Уманский долго хохотал.

А представитель нашей кинопромышленности Иванов загудел густым басом:

— Я купил кучу мексиканских пластинок, вот вернусь в Москву, приглашу гостей и Дунаевского и такой закачу ему концертик!

— Что вы на Дунаевского напали, когда сам Сталин сказал, что сдирать с заграничного можно и должно, только делать это надо с умом, — пыталась защитить композитора Рая Михайловна.

Эмигранты

Русская и еврейская эмиграции, с которой нам больше всего приходилось встречаться, была в основном та, которая попала сюда во время или после Гражданской войны. Большинство из них имели свое дело, многие получили здесь образование, были среди них богачи, были и неудачники, но одно общее было у всех: не сумев органически срастись с страной, где они живут, они нашли в ней только временный приют и тосковали о родной земле, о том местечке, где оставили детство и юность, а невозможность вернуться туда, хотя бы за тем, чтобы еще раз взглянуть, во что превратилась их Родина, усиливала их тягу к ней.

Их грызла эмигрантская тоска, они чувствовали себя чужими

в этой стране. Не их солнце светит над ними, не их дождик поливает их, не их соловьи поют им, и даже те богатые, которые имели сытую, обеспеченную жизнь, не прекращали тосковать по Родине, у многих появилось даже чувство гордости за победоносное продвижение Красной Армии по Германии, и среди них всех было достаточно просоветски настроенных.

В Мексике было очень много троцкистов, которые весьма откровенно проявляли свою неприязнь к советским, как будто советские люди были виноваты в том, что произошло с Троцким.

Я, например, когда его выслали в 1928 году, со многими комсомольцам жарко спорила о том, что с Троцким поступили неправильно. Но сейчас я была уверена, что если бы он остался в России и не сумел бы со всеми другими удалить Сталина, то его постигла бы судьба всех остальных.

Была еще одна группа эмигрантов, — это неудачники. Они страдали оттого, что их талантов не поняли, их гения не оценили и что СССР — единственная страна, где их знания нужны и их оценят.

Прочитав в посольском бюллетене о Стаханове, Марии Демченко, они вздыхали:

— Если эти люди сумели в СССР стать депутатами Верховного Совета, то кем бы могли стать мы?

Третья категория эмигрантов были те, которые говорили:

— Мы Россию любим, побывать в ней хотим, но при Советской власти никогда туда не поедем.

Однажды в магазине, в первые дни нашего приезда в Мексику, ко мне подошла одна женщина и спросила:

— Вы из России? Что делается во всем мире!!! — и она разразилась потоками проклятий по адресу немцев.

— Вы скучаете о России, хотели бы вернуться обратно? — спросила я.

Она, посмотрев на меня внимательно, произнесла:

— Да скучаю, но вернуться не хочу. Перенесла я там столько, что не дай бог никому… И в тюрьме посидела, и права всякого лишена была…

Я очень хорошо поняла эту женщину, но мне было больно, очень больно слышать *правду,* высказанную русской женщиной в чужой стране. Сознание того, что она говорит именно *правду,* еще сильнее увеличивало мою боль. Я знала, что она имеет полное основание высказать свое мнение открыто.

Почему вместо того, чтобы постараться приложить усилия, *улучшить* отношения со всеми слоями населения, делалось все, что бы вызвать чувство не только неприязни, а прямо ненависти? *Для чего и почему это делалось?*

Эти люди в советском посольстве не бывали.

Школа при посольстве

По воскресеньям после двух часов дня все сотрудники с семьями приходили в посольство. Мужчины отправлялись на спортплощадку, женщины располагались на террасе или разбредались по парку.

В один из таких дней ко мне подошел Тарасов:

— Я видел ваших ребят, замечательные дети. А у нас здесь проблема со школой. Я отдал было своих в мексиканскую, но пришлось забрать их оттуда: здешняя школьная атмосфера не для наших детей.

— Я вижу здесь очень много детей, нельзя же их без школы оставлять.

Перспектива оставить детей без школы меня очень беспокоила, несмотря на то что я предусмотрительно захватила с собой все учебники на три года.

— Вот если бы у Уманского были дети, то была бы и школа.

— В Москве меня уверяли, что в Мексику уже командирован преподаватель. Куда же он девался?

— В Москве сидят безмозглые бюрократы, — с досадой ответил он, — недавно в Колумбию поехал учитель, где всего трое ребят, а у нас здесь двадцать человек, а учить их некому.

— При вашей помощи я берусь организовать школу, — заявила я. Он страшно обрадовался:

— Это же замечательно. Хотя я знаю, вам будет трудно.

— Ничего. Попробую.

Когда Уманскому доложили о моем предложении, он отнесся к нему равнодушно. Но я решила, что все-таки устрою школу.

Дело было непростым, надо было найти помещение, организовать ребят разного возраста — при посольстве были дети от первого до десятого класса но все же я добилась своего.

И вскоре при советском посольстве в Мексике возникла школа, а через три месяца из Колумбии приехала учительница по имени Зоя. Правда, она заявила, что может преподавать только русский язык и литературу, и преподавание всех остальных предметов: математики, физики, химии, географии и даже рисования, — я взяла на себя.

Попутчики и члены компартий

Мы часто встречались с людьми, которые, желая сблизиться с сотрудниками советского посольства, рекомендовали себя

членами Коммунистической партии. Но советским служащим внушали, что от членов компартии — иностранцев нужно держаться как можно подальше, потому что среди них много провокаторов. К сожалению, это так и было.

Но а во время приемов их прикомандировывали к сотрудникам посольства помогать поддерживать порядок. Это было удобно, потому что они многих знали в лицо и могли присматривать или удалять нежелательных гостей. В этих случаях они свободно разгуливали по посольству и были довольны, что им доверяли.

Среди симпатизирующих было много культурных и интеллигентных людей, с которыми приятно было беседовать. Их очень интересовала сущность советской системы. Они задавали массу интересных вопросов, на которые я с большим пылом хорошего агитатора отвечала. От них я слышала, что мои разъяснения, им кажутся такими ясными, что даже Уманский не мог со мной сравниться.

Но я никогда не упоминала имя Сталина. Я рассказывала, каким Советский Союз мог бы и должен был бы стать, правду о том, как тяжело было во время войны, и умалчивала только о том, как было до войны, о чем очень больно было вспоминать. *Зачем Сталин довел страну до этого?*

Они внимательно читали все, что писали об СССР, ничему антисоветскому не верили. Они создали себе представление об СССР как о стране прогрессивной, передовой, и с этим жили. Такой она *могла и должна была бы быть,* в это я тоже глубоко верила. Уманский давал им томик советской Конституции, рекомендуя ее прочитать. Мне до сих пор кажется, что лучше советской Конституции другой такой в мире нет.

В числе попутчиков были не только русские, ведь политика компартии и Советской власти была интернациональная и лучшие люди мира были на нашей стороне, все они глубоко и крепко верили, что у нас создана самая лучшая и самая справедливая система в мире для всего человечества.

Очень крепкий контакт держали мы с поляками, югославами и чехами. А испанцы-республиканцы были самые горячие сторонники Советского Союза. В Мексике некоторые работали в советском посольстве.

Успехи посла Уманского

Уманский расширил и укрепил советский престиж в Мексике. Организовал вокруг себя просоветские группы из чиновников государственного аппарата мексиканского правительства.

Он организовал Институт взаимного культурного обмена, который являлся, по существу, вспомогательным отделом нашего советского посольства. Институт культурного обмена руководил рабочим движением в Мексике, устанавливал с ними тесную связь.

Он издавал большим тиражом на хорошей бумаге наш журнал «Культура Советика» и распространял его по всей Южной Америке.

Он нашел правильный путь для своей работы, ему удалось привлечь симпатии не только верхушки, не только рабочих, а симпатию мексиканского народа, всего населения Мексики на сторону советского посольства.

Вне посольства устраивались книжные выставки, выставки советского искусства различные митинги, собрания, доклады, вечера, приемы и многие, многие другие мероприятия.

Внутри посольства показ советских кино картин, арии Сергея Лемешева из оперы «Риголетто» и народные песни Лидии Руслановой сводили всех с ума и повторялись бесконечно.

Весь мир в то время просто преклонялся перед силой и мужеством советского народа. Заслуга в победе над фашизмом была заслуга нашей Красной Армии, нашего народа.

Советник посла

Советник посла В. П. Яновский был очень неприятный тип — худой, бледный, как будто весь слинявший. Говорили, что у него язва желудка, и как, по-видимому, большинство физически нездоровых, особенно желудочных больных, был желчный, подозрительный, молчаливый, с ним рядом можно было часами сидеть, не услышав ни звука. Но тем более поражал поток его красноречия, грубости, злых истерических выкриков, когда он отчитывал кого-нибудь.

Ему было лет 37, он был женат на довольно интересной молодой, монгольского типа, круглолицей брюнетке, лет на 15 моложе его. У них была трехлетняя девочка Надя, и Даня все время сокрушалась:

— Дай бог, когда она подрастет, не будет похожа на отца.

Он все время должен был к кому-то прицепиться по любому поводу. И все старались держаться от него как можно дальше.

Уманский говорил:

— При умном после советник должен быть болван, вот я его и имею.

На приемах он старался улыбаться, что удавалось ему с трудом.

Жена его Даня была, наоборот, жизнерадостная, веселая, кокетливая. До приезда в Мексику он был одним из секретарей нашего посла Богомолова в Лондоне, но когда дружеские отношения его жены с Богомоловым стали вызывать различные толки, Богомолов быстро спохватился и предложил Наркоминделу перевести Яновского в Мексику к Уманскому на вакантную должность советника.

У него было одно достоинство: он был усидчивый бюрократ, и поэтому всю посольскую писанину взваливали на него, он редактировал посольский бюллетень, эту работу он выполнял при помощи нескольких стажеров, присланных в Мексику.

Пачука

На одном из приемов Уманские познакомили нас с замечательной супружеской парой — Василием Васильевичем и Мариной Львовной Никифировыми.

В. В. Никифоров был главой английской компании Дженерал Электрик в Мексике. Отец его был в Петербурге управляющим лесными угодьями при Николае II.

Сам Василий Васильевич уехал в 1913-м году в Англию учиться. В 1914-м началась Первая мировая война, затем одна за другой две революции: Февральская, Октябрьская, затем Гражданская война и он никогда больше в Россию не вернулся. Но к советскому посольству в Мексике они тянулись как к храму.

Позже Василий Васильевич на одном из приемов в посольстве познакомил нас со своим зятем, который сказал, что он главный инженер компании «Пачука». Пачука!!! Это самое крупное, самое древнее (с 1526-го года) месторождение серебра и также самое богатое, серебродобывающее, сереброобрабатывающее предприятие в мире. О них мы не только слышали, но и тщательно изучали в нашем институте производственный процесс почти с первых дней нашей учебы и до конца по чертежам, по анализам, сопоставляли, сравнивали и старались добиться таких же блестящих результатов по добыче и обработке благородных металлов и на наших предприятиях.

И когда зять Василия Васильевича, сам главный инженер этого предприятия, услышал что мы с Кирой тоже специалисты в области добычи и обработки цветных и благородных металлов, он сразу же пригласил нас посетить эти предприятия и полностью ознакомиться с производством. У меня даже дыхание перехватило от такой счастливой возможности.

Разве можно было отказаться от такого приглашения ознакомиться с процессом по добыче, обогащению и

окончательной обработке серебросодержащих руд на предприятии компании «Пачука»!

Мне казалось, что попасть на это предприятие такое же почти чудо, как найти иголку в стоге сена! А если еще имется возможность хорошо изучить их процесс!

Ведь после возвращения домой, я была уверена, что я буду продолжать работать по своей специальности, и тот материал, который я привезла бы отсюда, не был бы выкопан из каких-то случайно попавших к нам технических журналов, а прямо из первых рук и привел бы в неописуемый восторг всех наших профессоров.

Честно признаюсь, мне — да я думаю, и Кириллу тоже, — до смерти хотелось попасть на это производство и своими собственными глазами увидеть работу этого самого старинного предприятия с начала и до конца, ведь сам главный инженер обещал нам.

Об этом приглашении мы немедленно поставила в известность посольство и пригласили поехать с нами тех, кто заинтересован и хотел бы посмотреть, так же как и мы, на это производство с профессиональной точки зрения или просто хотел бы проехаться из любопытства.

Два человека выразили желание поехать с нами: военный атташе Павлов и кто-то еще, кажется Ламзаки.

Прогулка оказалась очень длинная. Эти предприятия, расположенные в штате Идальго, были окружены глухими тропическими джунглями. Мы приехали туда почти к концу дня.

Наши спутники в тот же день решили вернутся обратно, их производственный процесс не интересовал. Но мы, я и Кирилл, остались, чтобы провести весь день на предприятии и посмотреть весь процесс с начала до конца, ведь для этого мы сюда и приехали, а не так просто на прогулку.

Рано утром, на полпути к предприятию, хозяину роскошного «ролс-ройлса» пришлось простоять минут сорок пять, т. к. на самом высоком подъеме два осла или две ослицы преградили нам путь. Два очень милых мексиканца на своем певучем языке нежно их уговаривали сойти с дороги и дать начальству возможность проехать, но ослы не были бы ослами, если бы не уперлись как ослы, и никто не мог ничего с ними поделать, пока они сами не решили по каким-то только им понятным соображениям сойти с дороги.

Здесь, в этой части Мексики, было нестерпимо жарко. Здесь жили настоящие, коренные мексиканские индейцы, которые даже говорить по-испански не умели, и росли экзотические тропические фрукты: на деревьях зрели папайя, размером с

огромную дыню, манго, плантации ананасов и другие очень вкусные фрукты. Для меня это была одна из самых интересных и самых захватывающих наших прогулок в Мексике.

Мы проследили шаг за шагом весь процесс, получили образцы, массу материала, и я даже решила, как только вернемся, я очень подробно опишу весь этот процесс для нашего научно-исследовательского института.

Обедали мы у президента этой компании, и нам даже предложили на недельку задержаться для лучшего ознакомления с работой этого предприятия, настолько они были любезны к советским специалистам. Но мы, расписавшись в их книге для почетных гостей, быстро вернулись обратно. В этой книге, я обратила внимание, были подписи некоторых знаменитостей даже из прошлого столетия.

Подготовка к празднованию годовщины революции

Незадолго до 7 ноября 1944 года жизнь посольства коренным образом поменялась: все были заняты подготовкой к большому приему по случаю 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Уманский дал распоряжение приготовить списки гостей и представить ему на утверждение. Все отделы сидели и трудились над этими списками, эта работа считалась очень ответственной. Списки тщательно проверялись послом и затем окончательно отшлифовывались Тарасовым, который безжалостно вычеркивал имена:

— Этому сукину сыну здесь делать нечего. Этого на пушечный выстрел не следует подпускать к посольству… — работал он красным карандашом по спискам. Доставалось и спискам Уманского: — Нет, Константин Александрович, будьте осторожны в подборе ваших друзей… Х. — американский шпион У. — английский, а этот работает на тех и на других. Положитесь на меня!

Уманский пытался возражать, но безуспешно.

Приглашения рассылались на красивых пригласительных карточках, отпечатанных на хорошей бумаге с тисненым гербом СССР.

Важным персонам — членам правительства, послам иностранных государств и дипломатическому корпусу — приглашения развозили курьеры, а всем остальным рассылали по почте.

Целый месяц непрерывно звонил телефон. Нетерпеливые гости уже начинали волноваться и старались напомнить о себе.

Катя, самый молодой секретарь в посольстве, терпеливо выслушивала все просьбы, записывала и затем докладывала послу. Ей, бедной, в эти предпраздничные дни крепко доставалось.

Тарасов ходил раздраженный. Набрасывался на военного атташе:

— Опять вы напригласили всех постовых полицейских!

Павлов оправдывался, стараясь доказать, что его гости очень важные и нужные. Но Тарасова обмануть было трудно, он знал всех очень хорошо.

Посольские дамы были заняты приготовлением нарядов в соответствии со своим положением и карманом. Перед приемом они окончательно заканчивали свой туалет у парикмахера Миши, симпатичного парня, относившегося ко всем советским и ко всему советскому как к святому.

Жены посольских служащих под руководством Раи Михайловны и Лены напекли пирожков. Основное же угощение было поручено одному из больших мексиканских ресторанов. Даже ресторан к такому приему готовился целую неделю. Привозили продукты, мебель, посуду.

Для посла и самых важных его гостей накрыли столы в богато обставленной малой столовой. Для коммерсантов и всех остальных гостей — в большой столовой на втором этаже, на подпираемой мраморными колоннами балюстраде, в саду и на большой террасе.

Накануне приема посол проинструктировал сотрудников относительно их обязанностей во время приема. По составленным спискам каждому определялось его место, объявили, кто где должен дежурить, кому занимать гостей в помещениях посольства и следить за порядком, а кому — находиться во дворе и вести внешнее наблюдение.

Рая Михайловна тоже проинструктировала своих помощниц.

Несмотря на то что охрана посольства перед праздниками усиливалась, за день или два до приема Тарасов в сопровождения Прошина с большими электрическими фонарями в руках тщательно осматривали чердаки, обширные подвалы и все уголки посольских владений. Таков был порядок: перед большим приемом, надо было быть бдительными, чтобы не дать возможность провести какую-нибудь диверсию. Прошин сам проверил всю телефонную и звонковую проводку в помещениях. Электрическое освещение территории посольства, было усилено.

Никаких пакетов и посылок, полученных по почте, в посольство вносить не разрешалось. Их следовало складывать все в отдаленном углу посольского двора, там же распаковывать и

тщательно проверять содержимое. Приказано было быть осторожнее с цветами, которые в большом количестве слали иностранцы.

Прием 7 ноября 1944 года

Седьмого ноября в ясное солнечное утро теплый ласковый ветерок нежно развевал красный флаг, установленный высоко над зданием посольства. Посольство имело праздничный вид. Сад был подметен, гравий на дорожках разровнен, цветочные клумбы вычищены и подрезаны. Внутри здания блистало все, начиная от пола и до бронзовых рукояток на окнах и дверях. Вычищенная мебель была расставлена в строгом порядке.

Рано утром, когда служащие, уставшие от предпраздничной суеты, еще отдыхали у себя по домам, посол сам еще раз все проверил.

Прием был назначен с шести до девяти часов вечера. В пригласительных билетах предусмотрительно указывалось: «Трахе дель кале». То есть, по-русски говоря: «Не стесняйтесь, приходить к нам в гости вы можете в любой одежде».

Уже с пяти часов все сотрудники посольства были на месте. Мужчины были одеты строго по инструкции — в темных костюмах, белых рубашках и скромных галстуках. Дипломатический состав в форме: черный двубортный китель с золотым шитьем, дубовыми веточками на воротниках и обшлагах, золотыми погонами и изящным кортиком, болтавшимся слева, завершал весь этот очень симпатичный новый элегантный наряд для дипломатов. Эта форма была введена совсем недавно, и советские дипломаты в Мексике надели ее в первый раз.

Уманский решительной походкой вышел к собравшимся. Осмотрев всех критическим взглядом, он одобрительно кивнул головой:

— Ну что ж, по местам, товарищи!

У всех было торжественно-праздничное настроение. Официанты, в черных смокингах, с белоснежными салфетками на плечах и огромными серебряными подносами, наполненными вкусными яствами, были готовы встречать гостей. Слышался приятный звон бокалов и отдаленные звуки духового оркестра.

Взволнованная Катя, в паре с худощавым молодым человеком, стажером посольства Горным, стояла у массивной решетчатой двери парадного входа.

Вскоре появилась первая ласточка — мадам Корзухина, вдова старого русского эмигранта, географа, жившего здесь в Мексике. Катя и Горный раскланялись. Грузная дама лет восьмидесяти с

трудом поднималась по ступенькам.

Дежурный бросился ее поддержать, но тут раздался ее густой бас:

— Не надо, не помогайте мне, я сама войду… Здесь ведь клочок нашей великой Русской земли! — Ее голос гулко раздавался под красивым куполом огромного приемного зала. Катя и Горный взяли даму под руки и повели в золотой салон, где стоял посол с женой и недалеко от них, два официанта с большими подносами, на которых было множество маленьких рюмочек с водкой.

Дама произнесла без запинки:

— От всей души и от всего русского сердца поздравляю вас с днем великого праздника и желаю счастья и успеха нашей великой Родине. Передайте от меня самые горячие пожелания успехов, нашему великому руководителю и собирателю земли Русской… — она на минутку запнулась, очевидно, соображая, как назвать — господин или товарищ, но быстро нашлась: —… гениальному Сталину.

Уманский улыбался. Дама простерла свои руки, готовая обнять и расцеловать посла.

— На трех китах держится земля Русская, — продолжала она. — Первый кит — Петр Великий, создавший силу и мощь великого Русского государства. Второй — императрица Екатерина Великая, просветившая народ русский, и третий кит — Сталин, преумноживший мощь России и просвещение народов, ее населяющих…

Веселая посольская молодежь, в восторге от этой речи, наперебой ее угощала.

Она горячо поздравляла нас с тем самым Октябрем, от которого она с мужем — известным ученым — тридцать лет назад, еще полная сил и здоровья, бежала в панике за границу. Говорили, что она когда-то была акушеркой при царском дворе.

— А вот бы ей сейчас у нас в Кремле принимать деток, так же как она принимала их у ее императорского величества, — заметил Романов, который неизменно всюду поспевал.

Появились разодетые коммерсанты в смокингах, их жены в дорогих нарядах считали за высшую честь провести вечер в кругу важных персон и дипломатов.

Собрались послы южноамериканских стран.

Пришел посол США в Мексике мистер Мессершмитт[17], пожилой сухощавый, с проницательным взглядом человек с характерными чертами желудочно-больного.

Явились генералы и министры мексиканского правительства.

Важно прошел огромный мужчина, с простым лицом

мексиканского индейца — бывший президент Мексики генерал Ласаро Карденас, участник мексиканской революции 1910–1917 года. Он тепло приветствовал Уманского и Раю Михайловну.

Пришел и интеллигентный министр де гобернасион Мигель Алеман. Посол встретил его более официально, но и более предупредительно.

Вместе с дипломатами стали появляться мексиканские знаменитости: сверкающая множеством бриллиантов стройная красавица киноактриса Мария Феликс и более скромная, но более известная Долоресс Дель Рио. Приехали знаменитый композитор Аугустин Лара, кумир мексиканских дам, певец и артист Хорхе Негратте, художник Ороскои и многие другие артисты, художники, футболисты, писатели, поэты.

Ровно в шесть часов, когда помещения посольства были плотно набиты народом, оркестр по сигналу Тарасова сыграл советский и мексиканский гимны.

Гости быстро хмелели. Зал наполнялся непринужденным шумом и смехом. В конце зала послышался выкрик: «Сталин-гра-до-о-о!» также черного цвета, потрясая руками. Это молодой поэт — человек в национальном мексиканском костюме, большом черном сомбреро и с «серапе» через плечо — декламировал свое новое произведение «Сталинград», в котором он так описал оборону Сталинграда, будто дело происходило в его родной Гвадалахаре.

Посол Уманский всех любезно приветствовал и с каждым выпивал рюмочку водки.

Я удивилась, как он может при этом так крепко держаться на ногах:

— Рая Михайловна, расскажите секрет.

— Он перед началом приема выпивает рюмку масла, помогает, — объяснила она.

В большом зале собрались наиболее важные персоны. Уманский суетился между ними, переходя от дипломатов к министрам, важно беседовавшим между собой. На ходу он успевал отпустить комплимент какой-нибудь мексиканской знаменитости. Всюду раздавались его шутки на испанском, английском, на французском и польском языках. Наш посол обладал большими лингвистическими способностями, с каждым он говорил на его родном языке. Находчивый и остроумный собеседник, он был предметом зависти многих своих коллег.

Даже серьезный Мессершмитт старался шутить с окружившими его послами:

— Чем дольше я живу в Мехико-сити, тем хуже говорю по-испански, — улыбаясь, заметил он.

Уманский подошел к известному американскому журналисту, о котором говорили, что он отличается просоветским душком, и, взяв его под руку, подвел к американскому послу:

— Известный американский журналист мистер Солцберг недавно вернулся из Советского Союза, сейчас путешествует по Мексике… Очень хотел бы с вами познакомиться.

Мессершмитт, несколько смутившись, любезно заметил:

— Очень рад, сожалею, что наше знакомство не произошло в посольстве родной страны. — На это журналист ответил, что и он сам этого хотел, но у господина американского посла в Мексике не нашлось для него времени.

Особо важные гости после настоящей русской водки и икры в положенное по протоколу время разъезжались по домам. Их большие черные лимузины, шурша гравием по дорожкам посольского парка, плавно выкатывались за ворота.

Желающим предложили просмотреть новый советский фильм. Все с удовольствием кинулись в кинотеатр, тот самый, перестроенный Уманским из домашней часовни.

Большинство гостей посольства симпатизировали Советскому Союзу. Но Уманский не стеснялся приглашать и кое-кого из тех, кто относился к нему довольно недружелюбно, даже враждебно.

Каждый советский сотрудник умел видеть недругов издалека, безошибочно узнавая их по тому, как они входили в посольство, недоверчиво и пренебрежительно оглядываясь по сторонам. Они, особенно новички, ожидали встретить с экзотическим «советским варваром-комиссаром», но вместо этого видели вокруг культурных советских людей и дружную товарищескую обстановку. Это их поражало, с лиц начинали сходить гримасы пренебрежения, и некоторые даже коренным образом меняли свое отношение ко всему советскому.

Прием решал еще одну более сложную задачу: он показывал превосходство системы, не признающей классовых различий. Здесь могли присутствовать и дипломаты, и министры, и босоногие мексиканцы.

Стемнело. Из открытых окон посольства доносился шум и веселые голоса, во дворе была слышна музыка большого оркестра. Любопытные прохожие стояли на тротуарах. Даже старожилы не могли вспомнить, чтобы в стенах этого замка знатных испанских вельмож проходили подобные «фиесты». Ласковый мексиканский ветер колыхал красный флаг с золотой советской эмблемой, освещенный ярким прожектором.

Длинные шеренги автомобилей, стоявшие у тротуаров, занимали много кварталов вокруг посольства. Наряды полиции охраняли порядок.

А оставшиеся гости только входили во вкус праздника. Выйдя из кинематографа, они снова закусывали и снова выпивали. Посол умел всех подогреть. Торговцам он обещал заманчивые перспективы торговли с Советским Союзом, инженеров приглашал на работу по восстановлению разрушенных городов и промышленности. Было тепло и приятно, уходить никому не хотелось.

— Мой «Сталинградо» будет издан миллионным тиражом, моя поэзия будет поднимать на борьбу миллионы людей, — радовался вслух поэт.

Маленький юркий коммерсант, бегая взволнованно от одного советского человека к другому, допытывался:

— В чем нуждается теперь советский народ? В обуви? Так я буду заготавливать кожи. В одежде? Так я буду заготавливать текстиль. В продуктах? Так я буду работать с продуктами…

Романов, покачивая головой, с саркастической улыбкой, тихонько ворчал:

— Ну и накачал их Костя… Вот чистая работа…

К нему подошел Тарасов:

— Товарищ Романов, а ну давай помогай вежливо, дипломатично вытряхивать публику.

— Неплохая идея, Лев Александрович. Ведь время и нам отдохнуть.

Тарасов и Романов, подавая шляпы тому или другому из гостей, вежливо провожали их до двери.

Наконец служащие посольства, облегченно вздохнули: удалось распрощаться с последней парой, упорно не спешившей домой.

В домашнем кругу

После официального приема все советские сотрудники посольства за хорошо сервированным столом встретили праздник по-своему, затем Уманский предложил всем пройти в музыкальный салон.

Я в первый раз видела Раю Михайловну в таком приподнятом настроении, она раскраснелась и даже выглядела моложе.

— Рая Михайловна, вы сегодня замечательно выглядите.

— Ну что вы, Нина Ивановна, — ведь это все Макс Фактор, — грустно ответила она.

— Товарищи, известный американский скрипач, наш верный друг Ричард Однопосов изъявил желание дать нам небольшой концерт, — объявил Уманский.

Концерт был замечательный, но в самый интересный момент

Уманского внезапно вызвали в шифровальный отдел. Вскоре он вернулся с сияющим от удовольствия лицом: в руках он держал депешу, только что полученную из посольства СССР в Вашингтоне, попросив извинения у артиста, он торжественно сообщил присутствующим:

— Товарищи, имею удовольствие сообщить вам: президентом Соединенных Штатов переизбран в четвертый раз Рузвельт. — В ответ раздались громкие аплодисменты. Ликование было полное. Все мы от души желали победы Рузвельту.

Уманский аплодировал больше всех. Он аплодировал американскому народу и радовался еще одной победе СССР: Сталин, по опыту войны знал, что ему легче ладить с Рузвельтом.

Посол был возбужден и вином, и событиями:

— Германию теперь мы раздраконим. Это для нас не проблема… Сделаем ее сельскохозяйственной страной, и не Украина будет кормить Германию, а немцы будут кормить нас и работать на нас. — Он немцев крепко ненавидел.

Улицы перед посольством опустели. Фыркнул последний мотоцикл дежурившего у ворот полицейского патруля и быстро умчался, подняв пыль и вихрь разбросанных по улице бумажек.

Воротников закрыл на замки ворота, выпустил Дружка, потушил свет в саду. Посольский замок, моргнув своими большими окнами, погрузился в сон.

Для чего существует дипломатия?

Однажды я спросила Уманского, как настроены по отношению к нам в Южной Америке.

— Думаю, что в основном неплохо, — ответил Константин Александрович, — мы скоро отправим в Бразилию, Уругвай, Чили и даже в Аргентину своих представителей.

— Да, но Перрон все-таки фашистский диктатор и во время войны поддерживал Германию, и не только поддерживал, а через него все толстосумы американского и североамериканского континента снабжали Гитлера всеми необходимыми стратегическими материалами и продовольствием, — не унималась я.

Высказала я свое мнение не с потолка, а наслышавшись, как наши знакомые в Мексике евреи с возмущением рассказывали, что многие состоятельные богачи среди еврейских кругов торговали и торгуют с Гитлером через Аргентину и что некоторых таких гешефтников даже от синагоги отлучили, но пожертвовав крупные суммы на строительство новой синагоги, они приобрели в ней почетные места.

Константин Александрович улыбнулся и ответил, что все это известно, но для того и существует дипломатия, чтобы обходить крупные подводные камни. И что иногда такая дружба принесет больше пользы, чем болтовня с буржуазно-демократической Америкой или Англией.

Кстати, в 1944 году в Англии победила партия лейбористов. Премьер-министром Великобритании стал ее лидер Эттли. Это тоже было воспринято в нашем посольстве хоть и с небольшим, но все-таки со вздохом облегчения, и к великой радости советского правительства, хотя бы временно вычеркнуло Великобританию из списка непримиримых врагов СССР.

Вскоре завершились переговоры об установлении дипломатических отношений с Коста-Рикой, и второго декабря 1944 года Уманский получил приказ о назначении его по совместительству послом в Коста-Рику.

Он был очень польщен, что в Москве оценили его и доверили ему работу еще в одной стране.

Начались сборы.

Два Наполеона

Отношения Тарасова с Уманским стали еще более натянутыми: двум Наполеонам в одной берлоге трудно ужиться.

На официальных приемах Тарасов выгодно выделялся своей внешностью среди всех посольских, и дамы просили их с ним познакомить. Одна из них, подойдя ко мне и глядя на него, с восхищением сказала:

— О, если бы я была его женой, я бы каждый день в него влюблялась!

Уманский, среднего роста, полноватый, на котором дипломатическая форма сидела мешковато, проигрывал в присутствии красавца Тарасова, который до приезда Уманского был полновластным организатором и хозяином в посольстве. Теперь же он сошел с подмостков и уступил пальму первенства Уманскому. Его самолюбие от этого страдало, иногда это противостояние прорывалось в бурные сцены.

— Нашла коса на камень, — говорили об их отношениях в посольстве.

Жена Тарасова, очень милая и интеллигентная женщина, перестала появляться в посольстве, даже на приемах. Сам же он ходил хмурый, неразговорчивый и в конце декабря 1944 года был отозван в Москву.

Уманские в это время находились в Акапулько. Константин Александрович не ожидал такого быстрого решения Москвы и,

казалось, даже немного растерялся. Он вернулся в Мехико и предложил Тарасову остаться до его возвращения из Коста-Рики, куда должен был вылететь на днях. Но Тарасов заявил, что делать ему здесь нечего и что он немедленно уезжает.

В посольстве появились новые люди. Приехал Леон Тройницкий, поползли слухи, что это замена Тарасову, но официально никто ничего не знал.

Двадцать второго декабря в Мексику приехал военный атташе Савин-Лазарев с семьей, Тарасов передал ему дом, который снимал и двадцать седьмого выехал.

Я была немало удивлена, когда пришла провожать их на вокзал. Несмотря на то что по должности он был один из главных представителей в дипломатическом корпусе посольства, никто из членов посольства не пришел провожать их.

Уманский в силу необходимости явился в самую последнюю минуту, попрощался и быстро исчез.

Встреча 1945 года

Приближался Новый год. Все дамы посольства усиленно готовились к вечеру. Шили новые платья, покупали туфли, сумки. По посольству носились уборщицы со щетками и швабрами. На кухне гремели посудой.

Как обычно, все праздники в советском посольстве, не носившие характера официальных приемов, встречались вскладчину.

Нам звонили знакомые иностранцы, приглашали к себе. Но такие вечера все обязаны были встречать в своем коллективе. Поэтому от приглашений пришлось вежливо отказаться.

Часов в 10 вечера кинотеатр нашего посольства был полон. Сначала мы прослушали доклад о текущем положении, послали поздравительную телеграмму генералиссимусу Сталину, прослушали в торжественном исполнении Пола Робсона новый гимн Советского Союза. Он пел по-русски, лица у всех стали грустными, у многих появились слезы на глазах. О, как хотелось в эту минуту, чтобы там, на нашей Родине исчезли кошмары и люди вздохнули свободно и радостно!

Я невольно вспомнила, как трудно было удержаться, чтобы не подхватить, когда вместо этого нового гимна пели Интернационал. Сейчас мы все слушали молча, а слова: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил» — я просто возненавидела и считала, что их написал страшный подхалим.

Затем все сели за стол, где опять первый тост был за дорогого

Сталина.

Стол, за которым свободно могли разместиться человек пятьдесят, был убран с царской роскошью. На белоснежной скатерти между сверкавшим хрусталем, серебром и фарфором стояли вазы с букетами цветов. Во всю длину стола из гвоздики были выложены лозунги «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОД СТАЛИНСКИХ ПОБЕД!» и «СЛАВА СТАЛИНУ!».

За столом рассаживались кто где хотел, но всегда получалось так, что левое крыло занимали те, кто намеревался есть и пить целую ночь.

Стол был заставлен холодными закусками; была неизменная селедка с луком и петрушкой во рту, нескольких сортов заливной рыбы, икра, колбасы. Обязательные пирожки и кулебяки и лес бутылок водки, вина, коньяка.

Тосты сменялись один за другим. Но ни у одного из нас не повернулся язык вспомнить тех, кто в дождь и грязь, в бури и метели, утопая в глубоких снежных сугробах, голодные, измученные, усталые, устилая своими трупами путь, шли на запад, добывать победу, лавры которой затем присвоил Сталин.

Я не могла пить, пища в моей тарелке оставалась нетронутой. Меня раздражал смех в этой роскошной столовой. *Какое право имеем мы орать и веселиться, когда вся Россия стонет! Я вспоминала нашу встречу Нового года в 1942 и 1943 годах в утопающей в снежных сугробах Москве с людьми, пережившими ленинградскую голодовку*.

Кто-то заметил, что мой бокал полон:

— Нина Ивановна не пьет, нальем штрафную! Выпьем за нашего…

Я прервала. Руки и голос у меня дрожали:

— Я выпью за наших близких и родных, за тех, кто, жертвуя своей жизнью, завоевал нам право сидеть здесь, среди благоухающих роз и цветов в сказочной Мексике. За тех, кто встречает Новый год в сырых, холодных окопах и слушает не любимую музыку, а гром и треск артиллерийской канонады. Я выпью, чтобы вместо стонов и проклятий, мы услышали смех и радость наших близких. За милые детские лица, которые сейчас спят с портретами отцов под подушкой, надеясь хоть во сне увидеть их. Я выпью за то, чтобы кровь, пролитая на нашей земле, засияла бы ярким светом обновленного счастья — за победу нашего народа.

Когда я говорила, все встали, молча опустив головы. Сидевший рядом со мной военный атташе Савин-Лазарев, только что вернувшийся после трех лет на фронте, крепко пожал мне руку.

У нескольких женщин на глазах навернулись слезы. У других, как будто растерянность и испуг.

Но в это время поднялся один из сотрудников и обратился ко всем:

— Товарищи, я предлагаю произвести денежный сбор для подарков Красной Армии.

Все оживились, гроза прошла благополучно, вроде и мое выступление стало кстати. Тот же Савин-Лазарев, обернулся ко мне:

— Выпьем, Нина Ивановна, выпьем за тех, кто пал в бою, пусть земля им пухом будет.

Стол пустел, народ спускался вниз, в гостиную, рассаживались группами на диванах, креслах, разговоры были скучные. Ни прошлое вспомнить по-настоящему, ни настоящее обсудить откровенно. О чем же можно было говорить? Мужчины занимались своим делом, а женщины — обсуждением каждодневных мелких событий.

Кто-то наладил вечно испорченную радиолу, и как только раздались первые хриплые звуки танцевальной музыки, все пустились в пляс.

Под конец вечера по мексиканскому обычаю следовало разбить «Пинате». Огромный глиняный горшок, наполненный орехами, конфетами, фруктами и с живым голубем внутри, подвешивали в гостиной под потолок, потом завязывали кому-нибудь глаза, и он должен был вслепую тремя ударами палки раздробить спущенный на веревке горшок, а остальные не давали ему это сделать, подтягивая горшок вверх.

Эта игра внесла немного веселья и разнообразила тоскливую обстановку. Удовольствие разбить эту игрушку доставили, конечно, Уманскому.

В тот момент, когда горшок был разбит и все бросились собирать разлетевшиеся конфеты и орехи, откуда-то выскочила группа ребятишек и, овладев своей добычей, так же быстро исчезла.

Учительница Зоя, чуть не со слезами умоляла матерей:

— Да уведите же детей спать, уже почти утро!

Кто-то предложил поехать погулять, посмотреть, как развлекаются мексиканцы.

Мехико в эту ночь выглядел удивительно красиво. Во всех окнах виднелись убранные елки. Украшены были также деревья в садах и вокруг домов. Мы поехали через парк, выехали на улицу Ломас де Чапультепек, где жила самая богатая часть населения. Почти во всех домах веселился народ, раздавалась музыка, веселый смех, длинные вереницы роскошных машин стояли вдоль

тротуаров.

Отсюда мы поехали в бедные мексиканские районы. Здесь было невероятно весело и шумно, на улицах полно людей, оживленно хлопали хлопушки, фейерверки, воздух был насыщен дымом и запахами всевозможной мексиканской еды. Каждый по-своему, весело и радостно встречал новый 1945 год.

Любовь с первого взгляда

Однажды сотрудников советского посольства пригласили на большой банкет в военном клубе «Казино Милитар». Нам также сказали, что на этом банкете состоится конкурс на лучший национальный костюм, и мы решили, что оденем нашу Катю Калинину в украинский национальный костюм. Катя, урожденная москвичка, никак не могла справиться с этой задачей, поэтому я взяла всю заботу о ее украинском наряде на себя.

И когда во время бала вышли девушки и прошлись цепочкой перед зрителями, здесь были гречанки, турчанки, датчанки, японки, итальянки, китаянки и многие другие, то Катя в своем костюме произвела фурор. Ей аплодировали, вызывали, поздравляли, и, конечно, первый приз достался ей.

Весь вечер Катя танцевала с красивым молодым человеком, жгучий брюнет рядом с очаровательной шатенкой в роскошном ярком украинском костюме привлекал взоры всех к себе.

Когда мы возвращались, Рая Михайловна шутила:

— Ну, Катенька, отхватила молодца! Он весь вечер впивался в нее глазами, его нельзя было оторвать от нее.

После этого вечера наша Катенька загрустила, притихла, стала как будто всех сторониться, замкнулась.

Но Артур, пылкий горячий мексиканец, вовсе не намерен был так легко и просто забыть ее, он посылал ей письма, в которых в изящных мексиканских словах выражал свои чувства так горячо, что камень мог бы растаять. Ночами Катю будили грустные, тоскливые серенады.

И Катя почувствовала, что он ее искренне и крепко любит. Что он мучается, ждет и ищет с ней встречи. И жизнь стала для нее совсем невыносимой.

Катастрофа

Дурные предчувствия

Незадолго до полета в Коста-Рику к Рае Михайловне подошла жена одного сотрудника.

— Поздравляю, поздравляю! Я хотела вас на пирожки пригласить.

Рая Михайловна сморщилась:

— Что вы меня поздравляете, вы Константина Александровича поздравляйте, а я только жена при после, а за пирожки спасибо, приедем — зайдем. Ну а вы, Нина Ивановна, что же не поздравляете? — спросила она меня.

— Константина Александровича я уже поздравила, а вы так приняли ее поздравление, что я решила не повторять.

— Вот вы какая, от вас ничего не скроется. Грешна, но ничего не могу поделать, как увижу ее огромную, надвигающуюся, как туча, фигуру и услышу ее писклявый голосок, эти две вещи никак не могу совместить.

Она добавила, что только что говорила с Кириллом, и они решили, что как только Уманские вернутся из Коста-Рики, а пробудут они там, как она полагает, недели две, не больше, мы вместе поедем в Акапулько отдыхать.

— Я очень люблю этот курорт, а ваши нервы, я чувствую, тоже требуют генерального ремонта. Искалеченный мы народ. Вот уж чего, кажется, особенного, летим в Коста-Рику, муж будет вручать верительные грамоты, приемы, обеды, банкеты — а я, поверите, *еду, как на похороны.*

— Что это с вами, Рая Михайловна? Начали за здравие, а кончили за упокой. А вот насчет Акапулько очень стоит подумать.

Подошел Константин Александрович:

— Куда вы делись, мы вас обыскались!

— А мы здесь обсуждаем вопрос о поездке в Акапулько после нашего возвращения из Коста-Рики. Костик, а что, если Нина Ивановна и Кирилл Михайлович поедут с нами в Коста-Рику, ему как торговому представителю интересно будет ознакомиться со страной, оценить ее торговые возможности, а я буду рада, если Нина Ивановна будет со мной.

— Я согласен, да вот как к этому отнесется наш «купец»? — так он в шутку называл Кирилла. — А сейчас пошли, нас ждут.

— Рая Михайловна, предложение очень заманчивое, но я не смогу: во-первых, не могу я оставить школу на одну Зою

Алексеевну, во-вторых, мне не на кого оставить детей, я ищу хорошую домработницу, но пока безуспешно.

В эту ночь мы просидели в посольстве почти до утра. Константин Александрович читал стихи Симонова, Юрий Вдовин играл на рояле, Лена пела арию Леля из «Снегурочки».

Несколько раз Кирилл предлагал уйти домой, но Рая Михайловна, как клещами обхватив мою руку, держала ее в своей не выпуская.

— Рая Михайловна, уже поздно, да и вам отдохнуть пора.

— Вы устали, ну и ступайте, а Нину мы отвезем. А *отдохнуть я на том свете успею.*

— Что вы сегодня целый день каркаете, как ворона, а еще предлагаете поехать с вами.

По дороге домой Кирилл обратился ко мне:

— Знаешь, Константин Александрович предлагает ехать с ними в Коста-Рику.

— Кира, ведь это навязала ему Рая Михайловна. — И я пересказала ему наш разговор.

— Я ведь тоже не могу вот так сорваться и поехать, кроме меня, в отделе никого нет. Я думаю, он поддался настроению Раи Михайловны. Я обещал поговорить с тобой.

За несколько дней до поездки в канцелярию, где работала Лида Вдовина, муж которой, Юра, должен был лететь с Уманскими, зашла Рая Михайловна, и разговор зашел о поездке.

— Рая Михайловна, привезите снимки из Коста-Рики, — попросила Лида.

— Вы знаете, я не хочу ехать, но Костя настаивает. Ну что ж, *подыхать — так вместе!*

Лида почти со слезами вскочила со стула:

— Как вам не стыдно, Рая Михайловна, с вами летит Юра, а у нас дети.

За несколько дней до полета Кирилл играл в посольстве в преферанс с Раей Михайловной, Юрой Вдовиным и дипкурьерами. Константин Александрович заметил, что придется лететь в двух шестиместных самолетах. Но Рая Михайловна все стояла на своем:

— Ну и что ж, Нина и Мара (жена Льва Тройницкого, одного из недавно приехавших секретарей) полетят со мной, а Кирилл Михайлович — с вами.

Я попросила Уманского:

— Константин Александрович, если вы действительно считаете, что Кирилл должен лететь с вами, решайте сами, но я не могу; когда угодно потом, но не сейчас, я не могу бросить ни детей, ни школу, я надеюсь Рая Михайловна тоже поймет.

— Хорошо, тогда мы отставим, Кирилл Михайлович тоже сказал мне, что он не может оставить свой отдел.

Банкет в честь освобождения Варшавы

24 января 1945 года, в банкетном зале ресторана Сан-Суси, накануне поездки в Коста-Рику, польский клуб им. Костюшко давал большой банкет в честь освобождения Варшавы.

На этом банкете присутствовало много гостей, члены советского посольства были в числе самых почетных. Уманские сидели в самом центре стола, рядом с Раей Михайловной, одетой в черное платье и в черную шляпку с вуалью, сидел военно-морской министр Мексики сеньор Хара.

Я сидела между Левой Тройницким и военным атташе Савин-Лазаревым. Мара Тройницкая, жена Левы, на банкет не пришла, укладывалась перед поездкой, жена Савин-Лазарева, с тех пор как приехала из Советского Союза, еще не акклиматизировалась в Мексике, так он сказал.

Были Никольская, Окорокова и многие другие, всех даже не припомню.

Банкет прошел пышно и очень торжественно. Сыграли советский, польский и мексиканский гимны. Выступили представители различных организаций. С самой блестящей речью выступил Уманский, ему устроили овацию, фотографировали без конца; репортеры носились повсюду, как будто старались уловить каждое сказанное слово.

Вино лилось рекой, взоры всех были обращены к нашему столу, это было утомительно и хотелось, чтобы поскорее кончились эти торжества.

Часов в десять вечера торжественная часть закончилась.

Прощание с Уманскими

Уманские, с трудом отбиваясь от окруживших их гостей, журналистов, фотографов, старались выбраться из толпы. Мы подошли к ним попрощаться.

— Рая Михайловна, вы сегодня в хорошем настроении, — заметила я.

— Завтра утром вылетаем, — улыбнулась она.

— Да, — спохватился вдруг Константин Александрович, — самолет нам дали военный на восемнадцать человек, в нем вальс танцевать можно. Может, надумаете?

— Константин Александрович, кто же за несколько часов до полета предлагает?

— Ну что с вами поделаешь!

Рая Михайловна пригласила нас к себе на бридж.

— Рая Михайловна, вы ведь знаете, что я терпеть не могу карты и ничегошеньки в этой игре не понимаю. С вашего разрешения мы приедем вас провожать, скажите только, к которому часу.

— Вылетаем мы в пять, значит, выезжать надо в четыре, ей-богу, не советую вам вскакивать в такую рань. Нет-нет, спите спокойно у нас и так много провожатых. Но в Акапулько, как только вернусь, мы едем вместе.

Мы распрощались, пожелали им счастливого полета, успеха в работе и скорого возвращения.

Последний раз промелькнуло капризное припухшее лицо Раи Михайловны в дверях банкетного зала ресторана Сан-Суси, направляясь к машине, она, улыбаясь, махнула нам перчаткой.

Ранний звонок

Рано утром раздался звонок, Кирилла срочно вызывали в посольство.

Как только Кирилл ушел, я начала одеваться, дети еще мирно спали. Что могло случиться? Может быть, потребовалось что-то срочно выяснить, нервничала я. Вдруг раздался звонок от Кирилла:

— Приезжай, приезжай немедленно! — каким-то незнакомым, чужим голосом произнес Кирилл. В это мгновение в комнату вбежала хозяйка, она слышала по радио:

— Иссусе Мариа, уна коса терибли[18], — бормотала она. Оставив детей на ее попечение, я уже летела в посольство.

Как-то сразу всплыли в памяти все разговоры с Раей Михайловной, почему она так много говорила о смерти: *«Если нужно, я поеду и подохну вместе с Костей»*, «Поверьте, у меня к этой поездке *не лежит душа, добром она не кончится»*.

Когда шли бесконечные переговоры о самолете, на котором они должны были лететь, она говорила: «Вы подумайте, никак не договорятся, на каком самолете нам лететь! Какая разница, на каком *мы разобьемся»*. Однажды она даже выпалила: «Уманским все равно *своей смертью не помирать*!», что я отнесла на счет ее болезненно-нервного состояния. Чувство обреченности не покидало ее. Константин Александрович на такие замечания просто отмалчивался.

Когда я вбежала во двор посольства, там царило гробовое молчание, все сотрудники были ошеломлены и подавлены.

Ко мне подошел муж с иностранцем, это был друг Раи

Михайловны, игравший с ней в бридж сегодня до двух часов утра. Он сказал, когда он прощался с ними, Рая Михайловна тоже попросила его не провожать их в аэропорт, но заметила:

— *Вы тот, кто вобьет последний гвоздь в крышку моего гроба.*

Он также не мог понять, к чему это было сказано, и отнес ее замечание к чрезмерной нервной чувствительности.

Я спросила только:

— Как, все? — Кирилл утвердительно кивнул головой. У меня подкосились ноги, поплыли круги перед глазами, очнулась я на террасе.

Черные повязки

Сверху доносились сдавленные стоны и плач женщин. Плакали Лида Вдовина и жена Савин-Лазерева, Валя.

Я побежала наверх. В кабинете первого секретаря сидела Лида, закрыв лицо руками, сквозь пальцы просачивались слезы, струились по рукам, губы искусаны до крови.

Я присела рядом, слова утешения трудно было подобрать. Лида застонала:

— Юра, Юрочка, ведь только утром ты был с нами. Что скажу я Мише, что скажу я Татке, — и она громко зарыдала: — Рая Михайловна счастливая, она погибла вместе с Костей, а я должна жить, для детей жить!

Меня позвала одна из женщин:

— Что-то нужно сделать, Савин-Лазарева все время теряет сознание.

Кто-то уже побежал за врачом. Я вошла в комнату военного атташе, здесь озабоченно бегала сестра с пузырьком и ватой в руках.

Валя истерично рыдала:

— Три года, три года был на фронте и остался жив, а здесь… — Она дрожала как в лихорадке, ей сделали укол, уложили на диван.

В канцелярии стояли посольские служащие, у женщин заплаканы глаза. На столе лежали черные повязки, их надо было наколоть на рукава. Увидев их, я с ужасом отшатнулась. Значит, это не сон, не просто кошмарный сон. Значит, надо надеть траур. А ведь всего несколько часов назад я стояла, разговаривала с Уманскими. Сидела за столом рядом с Левой Тройницким, с Савин-Лазаревым, мы шутили, смеялись — а сейчас их нет.

Здесь же были шофер Уманских Анатолий Гусаров и два дипкурьера, бледные взволнованные, они с трудом приходили в себя: у них на глазах произошла эта страшная катастрофа. Я

укоряла себя, что поехала провожать, как будто мое присутствие могло кого-нибудь спасти.

Ко мне подошел один из дипкурьеров, попросил наколоть ему повязку, у него дрожали руки.

Рассказ дипкурьера

— Все произошло на наших глазах, — дрожащим голосом рассказывал он. — В аэропорт мы минут на пятнадцать опоздали. Юрий Вдовин ушел оформлять таможенные формальности, Константин Александрович тоже куда-то ушел. Лев Тройницкий с женой пошли пить кофе, а я остался с Раей Михайловной.

Вдруг прибежал Вдовин и сказал:

— Надо скорее садиться в самолет. Где остальные?

Мы показали на пьющих кофе. Савин-Лазарев неподалеку разговаривал с мексиканскими офицерами, которые должны были сопровождать самолет.

Рая Михайловна сказала, что некуда торопиться, самолет в нашем распоряжении и никуда мы не опоздаем, да и посла Коста-Рики в Мексике еще нет, а он должен тоже лететь с нами. Юрий помчался собирать всех остальных, посла Коста-Рики так и не дождались, и все пошли на посадку с опозданием на сорок пять минут, то есть без четверти шесть.

Вдруг Рая Михайловна взглянула на руку, остановилась и, обратившись к Уманскому, произнесла:

— Костя, я часы забыла, без часов я не поеду.

Произошла заминка. Все в нерешительности остановились, и Уманский обратился к Гусарову:

— Анатолий, бегите, поищите в машине.

Гусаров помчался.

— Рая, да ведь это смешно, из-за какой-то суеверной чепухи… Давай скорее пойдем на посадку, чтобы не задерживать..

И, махнув нам всем в последний раз шляпой, Уманский под руку с Раей Михайловной исчез внутри самолета. Самолет рванулся и побежал по дорожке. В это время прибежал Гусаров и жестами стал показывать, что часов в машине нет.

Мы смотрели на самолет. Он побежал по дорожке, потом поднялся в воздух. Он еще не успел набрать высоту, как вдруг раздался взрыв, самолет на мгновение как бы остановился в воздухе, раздался второй взрыв, треск, самолет полетел вниз, и в небо рванулись языки пламени.

Все застыли от ужаса.

Мы рванулись бежать туда, но откуда-то появились люди, нас не пустили, закрыли проход. Примчалась спасательная дружина,

а мы только минут через 10–15 добились разрешения подойти к месту катастрофы.

Когда мы подбежали, все было охвачено пламенем, самолет представлял горящую груду развалин, а в стороне лежала женщина. Я подбежал к ней.

Это была Мара Тройницкая, она была без сознания. Мы сейчас же положили ее в санитарный автомобиль и отправили в госпиталь, а из горевшего самолета, к которому почти невозможно было подойти, извлекали тела.

Константин Александрович, Вдовин и Тройницкий сгореть не успели. Раю Михайловну можно было узнать только по нитке жемчуга на обгоревшем до неузнаваемости туловище, а Савин-Лазарева, сидевшего сзади среди мексиканских офицеров, трудно было даже опознать, нашли только обгоревшую на одной ноге шпору. Вокруг места крушения были обугленные куски человеческих тел.

В живых остались бортмеханик самолета, стоявший, как он сказал нам, в дверях при взлете, его выбросило во время падения, и он остался почти невредим, и Мара Тройницкая.

— Значит, Мара жива?

— Да, ее отвезли в английский госпиталь.

Господи, что же *должна чувствовать* эта женщина, только что висевшая на волоске от смерти, на глазах, у которой горели муж и близкие ей люди.

Кто-то уже вернулся из госпиталя.

— Как Мара? — спросила я.

— Плохо, очень плохо. У нее сильный шок, она то приходит в сознание, то снова впадает в беспамятство. Лицо, руки, ноги — все сожжено. Мы ей сказали, что все живы и находятся в тяжелом состоянии в госпитале, она сначала поверила и как будто успокоилась, потом рванулась и закричала: «Неправда! Вы меня обманываете. Я кричала, я звала их, никто мне не ответил, их нет, никого нет в живых!!!», и она снова потеряла сознание.

— Зачем обманывать? Вы же заставляете ее дважды пережить ужас утраты. Мара умная женщина, перенесенное во время крушения потрясение и чудо ее собственного спасения даст ей силы.

Узнав, в какой больнице лежит Мара, я помчалась навестить.

Она единственная из советских пассажиров чудом уцелела, и только она могла рассказать нам об обстоятельствах этой трагедии. Второго оставшегося в живых — мексиканца-бортмеханика я видела только на газетных снимках.

Рассказ Мары

Мы должны были вылететь в пять часов утра двадцать пятого января. К этому времени все должны были прибыть в аэропорт.

Уманские опоздали на пятнадцать минут, когда мы пришли, нас уже ожидали в аэропорту экипаж самолета и мексиканские офицеры, которые должны были нас сопровождать.

Пока оформляли документы, мы с Левой пошли в буфет выпить чашку кофе. Не успели мы еще допить кофе, как прибежал Юра Вдовин и сказал, что нужно торопиться. Мой муж обернулся и, смеясь, сказал:

— Пусть подождут, пока я допью кофе.

Но через пару минут Юра прибежал снова, видно было, что надо спешить, и мы, не допив кофе, расплатились и присоединились к остальным.

Тут все спохватились, что посла Коста-Рики, который должен был лететь с нами, нет. Произошла заминка, но служащие аэропорта нас торопили.

В это время Рая Михайловна вдруг обнаружила, что у нее нет на руке часов. Она расстроилась до слез, это были часы ее дочери Нины, с которыми она после смерти Нины никогда не расставалась. Существует еще такая примета, что если перед отъездом забыть часы то это к несчастью, и она заявила, что без часов не поедет, так как это не к добру.

Константин Александрович сказал:

— Ну что за глупости, Рая! Смешно из-за какого-то суеверного предрассудка задерживать самолет. Меня предупредили, нам немедленно надо идти на посадку.

Но он все же попросил шофера Гусарова поискать часы в машине.

Гусаров помчался к машине, а мы пошли к самолету. Рая Михайловна все время оглядывалась. Перед самой посадкой она опять сказала:

— Костя, я останусь, я не поеду без этих часов.

Но команда уже заняла свои места. Константин Александрович опять заметил Рае, что смешно из-за предрассудков задерживать самолет, и мы пошли внутрь.

Рая Михайловна села у окна и не отрываясь смотрела на поле. Прибежал Гусаров и показал жестами, что часов он не нашел. Я села рядом с Раей Михайловной. За нами во втором ряду сели мой муж и Константин Александрович, с другой стороны — Юрий Вдовин, Савин-Лазарев и мексиканские офицеры.

Я первый раз в жизни летела на самолете, и поэтому для меня все было необычно. Рая Михайловна молча, со слезами на глазах смотрела в окно, когда самолет еще бежал по дорожке, мне

казалось, что мы уже в воздухе, но вдруг я почувствовала, что он по-настоящему оторвался от земли.

Через мгновение в одном из крыльев раздался взрыв, я вздрогнула и, обернувшись к Константину Александровичу, сидевшему за мной, спросила:

— Константин Александрович, при взлете это всегда так бывает?

Я только взглянула в широко открытые, полные ужаса глаза Константина Александровича, как раздался второй оглушительный взрыв, и я очутилась вместе с креслом недалеко от горевшего самолета.

Я выползла из кресла, так как не могла отстегнуть ремни, и бросилась к самолету. Я бросилась разгребать руками разбитые части самолета и звала, я кричала:

— Лева! Рая! Костя! Кто жив, откликнитесь!

Никто не отвечал…

Я увидела удалявшегося от самолета человека и закричала:

— Аюда, аюда ме[19]!!!

Но он убежал не оборачиваясь. На мне начала гореть одежда, мне стало страшно, и я бросилась бежать. Но побежала я в противоположную от аэровокзала сторону, в поле, у меня почему-то мелькнула мысль, что, если я побегу к вокзалу, меня там убьют. Но, видимо, далеко я отбежать не сумела.

— Я не могу освободиться от страшного звука взрыва, он меня просто преследует, — жаловалась Мара.

Мара рассказывала все так подробно, как будто старалась воспроизвести в памяти все детали.

Мужеству Мары поистине можно было поражаться. Лицо, руки выше локтей и ноги выше колен были у нее сожжены. Волосы остригли, так как и на голове у нее были ожоги. Кроме того, у нее был смещен позвоночник, и на нее надели гипсовую рубашку, которую, по словам врача, ей, может быть, придется носить всю жизнь.

Я вышла из ее палаты, охваченная суеверным страхом, мне казалось, пережив столь страшную трагедию, у нее не хватит сил об этом говорить! Однако она говорила тихо, спокойно, без всякого драматизма.

Когда я вернулась из госпиталя, в посольстве и вокруг посольства было полно народу, как во время самых многолюдных приемов, сновали журналисты, репортеры, пристававшие ко всем посольским служащим.

Похороны

Неразбериха в советском посольстве

Посольство, по существу, было обезглавлено.

Погибли посол и второй секретарь. Третий секретарь, Глебский, был в США, советник Яновский — в Москве.

В посольстве оставался только новый первый секретарь, Григорий Павлович Каспаров, две недели тому назад приехавший из Сан-Франциско и еще с трудом отличавший своих служащих от гостей в переполненном здании посольства.

Для того чтобы ориентироваться среди гостей, которых он должен был встречать, узнавать министров, журналистов, дипломатов разных держав, которые, искренне потрясенные происшедшим, непрерывным потоком подъезжали к посольству с соболезнованиями, он попросил моего мужа быть с ним рядом.

Меня он попросил заняться женской частью и всем тем, чем должна была бы заниматься сейчас его супруга: она была беременна и оставалась дома.

День прошел в суматохе. Невероятный хаос царил в этом всегда спокойном здании, телефоны звонили не переставая. Все рабочие кабинеты опечатали. Стучали молотки, библиотеку обивали черным крепом.

Мексиканцы выражают соболезнования

Непрерывным потоком шли цветы, венки от всех посольств, от мексиканских организаций, министерств, от частных лиц, цветы заполнили все залы посольства, в цветах утопал весь двор.

Ко мне без конца подходили друзья Уманских, выражали соболезнование, я отвечала, благодарила, но сама была в таком жутком состоянии, что еле хватало сил держаться на ногах. Мысль о том, что сейчас, вот-вот, с минуты на минуту должны прибыть из морга пять гробов, мутила сознание.

В посольство вернулся Павлов, который занимал пост военного атташе до приезда Савин-Лазарева, и сообщил, что мексиканское правительство не разрешило везти из морга катафалки днем, во избежание демонстраций, так как все улицы были переполнены народом, и что их привезут только с наступлением темноты.

Друг Раи Михайловны, с которым она *не вчера даже, а сегодня* до двух часов ночи играла в бридж, как тень бродил по саду со

слезами на глазах.

Народ не убывал, и к вечеру уже яблоку упасть было некуда.

Часов в девять вечера разнесся слух, что везут погибших; вдоль дороги от самого морга до посольства плотной стеной стояли люди, между ними медленно продвигались пять катафалков.

Было невыносимо тяжело встречать тела тех, с кем мы совсем недавно с шутками, улыбками прощались.

Катафалки въехали в широко открытые ворота, когда гробы начали вносить в библиотеку, в могильной тишине раздался душераздирающий плач.

В библиотеку уже внесли все пять гробов. Первый у входа был Константин Александрович, за ним Рая Михайловна, рядом Лев Тройницкий, затем Сергей Савин-Лазарев и Юрий Вдовин.

Гробы были обтянуты красным кумачом с траурной отделкой, на каждом фотография погибшего. Поставили почетный караул, и в библиотеку волной хлынул народ, с самого утра ожидавший внутри и снаружи посольства.

Разрешите попрощаться с мужем…

Женам старались не говорить, когда привезут погибших, их решили привести к гробам, когда все посторонние уйдут.

Я зашла к ним. Лида, рыдая, спрашивала:

— Их привезли? Скажите правду, Нина Ивановна, я знаю, что нас к ним сейчас не пустят, я не пойду, если нельзя, только скажите. — Я кивнула головой. Она громко застонала:

— Что же я детям скажу! О, если бы я была одна, я бы знала, что мне делать: *одна таблетка* из шкатулки Раи Михайловны меня бы успокоила навеки, я знаю, где они лежат. Но я не могу! Не имею права! Что же будет с Мишей и Таткой!

Я вспомнила, что, кроме Константина Александровича и меня, никто, наверное, не знал, что в шкатулке Раи Михайловны *давно уже лежал безобидный сарадон*.

Валя рванулась бежать вниз и потеряла сознание.

К полуночи, когда закрыли ворота, посольство относительно опустело, бедные жены погибших измучились в томительном ожидании.

Я не выдержала:

— Товарищи, все время «нельзя» да «нельзя», когда же им наконец кто-нибудь скажет «можно»! Как они только выдержали эту пытку! Нужно провести их вниз, накормить, уложить спать, ведь это не один день продлится, надо поберечь их силы.

Все, потупившись, молчали, и вдруг из угла раздался голос:

— Нельзя пускать их к гробам, нужно увести их домой и на этом закончить… Вы ничего не понимаете, их надо держать подальше от такого зрелища, чтобы поберечь не только их нервы, но и окружающих.

Я взглянула в сторону доносившегося голоса и увидела Никольскую, она сидела в своей шубе из черной обезьяны, похожая на хозяина этой волосатой шкуры.

— Александра Антоновна, я бы вам предложила пойти домой выспаться и восстановить душевное равновесие. А не выполнить просьбу жен погибших ради того, чтобы *не видеть душераздирающую сцену,* мы не имеем права. И так надо преклоняться перед их терпеливым ожиданием с самого утра.

Меня поддержали молчавшие до сих пор сотрудники посольства:

— Глупости вы говорите, Александра Антоновна, какое мы имеем право Лиду и Валю не пускать к праху их мужей!

Спор разгорелся не на шутку. Несколько человек принялись доказывать, что это был бы *бесчеловечный поступок.* Она же, со своей стороны, стала утверждать, что знает много случаев и что это помогает *сохранить душевное равновесие.*

Дочь палача Вышинского, прямая или побочная, великолепно усвоила только один принцип нашей действительности: *можно убивать миллионы, только близких надо держать подальше от этого зрелища, чтобы это не действовало на нервы окружающих*.

Оказывается, Каспаров тоже был такого же мнения. *Он боялся, не хотел слышать* причитания Вали, да еще, не дай бог, услышат иностранцы!

Но все остальные настояли на том, чтобы Лиду и Валю допустили к гробам до того, как их начнут бальзамировать; подготовка к этому уже полным ходом шла на кухне.

Мои чувства

Перед лицом несчастья во мне пробудились все наилучшие чувства, мне были дороги все люди посольства. Я смотрела на всех *с любовью, жалея каждого*, мне было больно думать, что судьба так жестока к нам, что даже здесь ужасный жребий пал на нашу небольшую горсточку советских людей, заброшенных на другую сторону земного шара.

Погибли наши люди, они никогда не ощутят радость Победы и не увидят той новой жизни, которую так загадочно обещали нам офицеры Красной Армии: «Нам бы Гитлера разбить, а *там видно будет*».

Я знала многих, сейчас уже погибших, которые надеялись на

это *«видно будет»*. И вот они тоже *никогда ничего больше не увидят*. Закрадывалось сомнение: а может быть, и после войны нечего будет видеть, и может быть, *счастлив тот, кто погиб*, может быть, и после войны все останется по-старому, и этот теперь уже генералиссимус с еще большей жестокостью будет править страной, уродуя нашу лучшую в мире систему. Так, может быть, *лучше и не видеть ничего?*

От этой мысли становилось жутко. Такая прекрасная страна, в которой существует такая прекрасная система! Лучшая, *лучшая в мире!* Теперь я уже с полной уверенностью могла сказать, что наша советская система, лучшая в мире, *никак не может избавиться от этого чудовища, захватившего в свои руки всю власть.*

И несмотря на все, *была надежда*, что все будет хорошо, что, вернувшись с фронта, люди, прошедшие через огонь и воду, *не позволят больше так издеваться над собой.*

Так, мне казалось, думал и Савин-Лазарев. Когда за столом все пили за Сталина, он *ни разу не пригубил бокал* и тихо сказал мне:

— А мы, Нина Ивановна, *выпьем за тех, кого с нами нет!*

Я была до слез тронута.

В ожидании распоряжений из Москвы

Лида волновалась о детях, они находились в посольской школе, и я пошла их проведать.

Татка и Мишка крепко спали, работница-мексиканка мне сказала, что они весь день ходили скучные и молчаливые. Дома наши дети тоже спали, их, охая и ахая, уложила наша заботливая хозяйка:

— Исуссе Мария, Исуссе Мария, эста уна коса терибле!

Я вернулась в посольство, передала Лиде, что дети в порядке. В эту в посольстве ночь мало кто из взрослых спал.

В Москву была послана радиограмма, ждали ответа — что делать дальше: отправлять погибших в Москву в гробах или кремировать здесь и отправить урны. До получения ответа решили тела бальзамировать, и это надо было сделать сегодня же ночью.

Бальзамирование на кухне

Картина была ужасная. Мужчины вынимали труп из гроба, завертывали в простыню и несли из библиотеки через весь вестибюль кухню на второй этаж, где специалисты по

бальзамированию делали свое дело.

Уманский был цел, у него был лишь выбит глаз и разбит висок, по-видимому, от удара о металлическую ручку переднего сиденья.

На Юре Вдовине вовсе не было следов ушибов, но он кое-где обгорел, и Лида с горечью твердила, что Юра очень легко терял сознание при неожиданностях и что, если бы его сразу вытащили, может быть, сумели бы спасти.

Тройницкий тоже был узнаваем, а Раю Михайловну узнали по ожерелью на обгоревшем туловище.

А вот что было в гробу Сергея Савин-Лазерева сказать никто не мог… Скорей всего, это были вперемешку его останки и куски обгоревших трупов сидевших с ним рядом мексиканских офицеров.

Роковая опечатка в мексиканской газете

Все газеты были полны сообщениями о катастрофе. В одних писали, что это покушение, в других — что просто несчастный случай.

И в какой-то газете по ошибке было напечатано, что в комиссии был представитель от НКВД г-н К. М. Алексеев. В то горячее и такое суматошное время никто не обратил внимания на то, что Кирилл был то от НКВД, а от Наркомвнешторга — НКВТ, а это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. И эта ошибка или опечатка преследовала нас, доставила нам катастрофически много неприятностей и сыграла пагубную роль в нашей судьбе.

Прощание народа с советскими дипломатами

На следующий день, 26 января, для прощания с погибшими был открыт доступ публике. Трое суток с раннего утра до поздней ночи поток людей не прекращался ни на одну секунду. Приходили все, от членов мексиканского правительства до простых бедных мексиканцев. Босоногие женщины с грудными младенцами подходили к гробам, крестились, становились на колени, целовали портреты и со слезами на глазах удалялись. Популярность Советского Союза и Уманского была велика не только среди элиты, приглашаемой на роскошные банкеты, но и среди широких масс мексиканского населения.

Я помню, что часто, когда я брала такси и называла адрес нашего посольства, шофер не хотел брать плату за проезд. Приходилось уговаривать:

— Пожалуйста, возьмите, это не плата за проезд, я вас хочу угостить пивом, и вы не можете отказать мне.

Поэтому гибель Уманских стала тяжелой потерей для всех, мексиканский народ воспринял ее не только как личную обиду, но и как посягательство на свои добрые чувства и надежды. Надежды на о, что и здесь в этой прекрасной богатейшей стране, не только элита будет продолжать наслаждаться всеми благами, но и весь народ сумеет добиться и получить то, за что он уже долгие сотни лет боролся — землю, волю и лучшую долю.

В почетном карауле перестояли все члены мексиканского правительства. У гроба Уманского стояли президент Мексики Авила Камачо, бывший президент Мексики Ласаро Карденас, министр иностранных дел Падилья, военный министр Хара, послы и дипломаты различных держав. Мексиканцы-офицеры стояли в почетном карауле у гроба военного атташе Савин-Лазарева.

Мара поправляется

Когда через несколько дней Света, Таля, Павлов и я пришли навестить Мару, у нее сидела Окорокова. Было время ужина, и Мара ела все, что ей предлагали.

Мы ее похвалили:

— Молодец, Мара! Вы кушайте и скорее поправитесь! А вот Валя уже несколько дней от пищи отказывается.

— Передайте Вале, раз мы живы остались, надо есть, теперь нам нужно в два раза больше сил, чтобы бороться за свое существование и растить детей.

Ей подали очищенное яблоко, она ела и снова и снова с мельчайшими подробностями рассказывала о катастрофе.

— Хотели убить Уманского, — сказала она, — а все остальные просто случайные жертвы, из которых я одна чудом уцелела. Было два сильных взрыва, второй был сильнее первого, и я никогда не забуду, как Константин Александрович схватился за ручку переднего кресла и выражение ужаса в его глазах. Я в Бога не верила, — заключила Мара, — но теперь я уверенно могу сказать, что меня Бог спас ради сына.

Кремация

Из Москвы пришло распоряжение кремировать погибших и выслать в Москву урны.

Накануне дня кремации встал вопрос, как разместить всех сотрудников посольства, желающих поехать на кладбище, в трех

посольских машинах. Мексиканское правительство оплачивало только прямые расходы, связанные с похоронами. Но друг Уманских (тот самый, который до утра играл с Раей Михайловной в бридж) предоставил нам восемь машин.

Вместе с другими я вынесла гроб Раи Михайловны к катафалку.

Похоронная процессия выехала из посольства около трех часов дня. Все пространство от посольства до крематория было забито народом. Те, кто не мог найти себе место на улице, смотрели из окон, с крыш, с деревьев. Вся Мексика от мала до велика провожала в последний путь представителей нашей страны.

Подъехать к кладбищу оказалось просто невозможно. Полиция долго не могла справиться, помогли курсанты военной школы; оттеснив толпу, они освободили небольшой проход, через который с трудом пронесли гробы к дверям крематория.

Поставили небольшую трибуну, с которой произносили прощальные речи. С блестящей речью выступил Падилья — министр иностранных дел Мексики. От посольства выступил Глебский, который только что вернулся из США.

Жены погибших прижались с глухими рыданиями к холодным крышкам гробов. Жене Каспарова стало дурно, ее увели в машину.

А в это время, усердно работая локтями, к гробам Уманских пробиралась Оливия, она упала всей своей тучной фигурой на гроб Константина Александровича, потом Раи Михайловны, причитая:

— Бедные вы несчастные, над вами даже некому поплакать, так поплачу я. Хотели вы нас, Костенька и Раечка отправить в Москву, но не успели, теперь мы годика два поживем еще здесь…

Все мы, близко стоявшие, от такого причитания пришли в ужас. Но остановить ее было не так просто, да и боялись, надо сказать честно, трудно было предугадать, на что еще может быть способна эта дама в порыве добрых чувств. Бросились к ее мужу с просьбой убрать Оливию или хотя бы укротить поток ее красноречия. А она продолжала:

— Выгнали вы нас из посольства, а разве нашли вы кухарку лучше меня? Теперь вам ничего больше не нужно, и я вам прощаю…

Кое-как с трудом оторвали и увели эту плакальщицу. Потом все в посольстве удивлялись, как можно было допустить ее до этого, ведь многие присутствовавшие там иностранцы понимали по-русски.

Печально было наше возвращение в опустевшее посольство.

К кремации должны были приступить только на следующий день.

Печи крематория были не электрические, а газовые, и их бесконечно долго надо было накалять. Из посольства выделили пять человек для наблюдения за этой ужасной процедурой, сжигали трупы в течение суток.

Подготовка к приему урн

Ко мне обратился Каспаров с просьбой помочь привести в порядок и подготовить библиотеку к приему урн.

Я подошла к группе женщин, сосредоточенно чем-то занимавшихся, они сидели в вестибюле на диване и бритвенными ножами отпарывали с красного знамени серп и молот.

— Что это вы вздумали серп и молот отпарывать, — заметила я. — А это что?

На полу у их ног валялась скомканная грязная тряпка, оказалось, это была старая скатерть, покрытая огромными пятнами.

Лена подняла на меня глаза, полные слез:

— Да ведь этими тряпками велели столы накрывать под урны.

— Пожалуйста, принесите хоть бутылку бензина очистить эту скатерть от пятен, — попросила я.

И несколько человек, вооружившись комками ваты приступили усердно к чистке, облегченно вздыхая, когда пятна бледнели.

Нину Туркину я попросила принести утюг.

— А где же черный материал или черная лента?

Стоявший рядом со мной Кирмасов быстро принес огромный комок черной и красной ленты. Когда я начала разматывать, она вся была как будто в дождевых пятнах.

— Откуда вы взяли? — спросила я.

— Да мы их с гробов сняли.

Сомневаться не приходилось, на них видны были следы слез.

Принесли столы, на которые должны были поставить урны, они оказались разными по размеру — один ниже, другой выше. Мы обернули их в разглаженные, на скорую руку сшитые вместе полотнища, оббили черным крепом и кое-как подготовились к приему урн.

Мне, откровенно говоря, было обидно за погибших, ведь долларов за 20 можно было бы заказать специальные, обтянутые крепом постаменты и установить на них урны.

«Бедная Рая Михайловна, если бы ты видела, чем мы тут

занимаемся!», — подумала я. Но это было не все.

Конфетные коробки

Подъехал катафалк, из него вынесли и поставили на стол пять урн, *пять простых деревянных коробок, как из-под конфет или кофе.* Я открыла крышку одной коробки — внутри лежал *мешочек золы.*

Я с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься вслух.

Каспаров стал успокаивать меня, и я, наконец сумев проглотить комок, сдавивший мне горло могла заговорить:

— Неужели Уманские и все остальные, так ужасно погибшие вместе с ними, не заслужили ничего лучше, чем эти *конфетные коробки?*

Я знала, что *ради своих, посольских,* плачущих здесь, рядом со мной, *он ничего менять не станет*, как бы нам больно ни было.

— Григорий Павлович, подумайте, ведь вы объявили, что доступ к урнам открыт, сейчас начнут приходить *иностранцы* прощаться, а на столе стоит такое! Посмотрите, на что похожи эти постаменты с этими *чудовищными конфетными коробочками* на них! Вся *иностранная печать будет рада-радехонька* к чему-нибудь прицепиться.

Кирилл показал ему эскиз, как должны бы выглядеть постаменты и урны из черного мрамора в серебрянной оправе.

Каспаров посмотрел и заявил:

— Раз мексиканское правительство взяло на себя расходы по похоронам, пусть они и платят за это.

Но на следующий день он вдруг обратился к Кириллу:

— Кирилл Михайлович, давайте, давайте скорее ваши эскизы и пожалуйста, закажите немедленно все что вы начертили. Мне без конца звонят по телефону *иностранцы*, желающие постоять в почетном карауле и отдать последний долг Уманским перед отправкой праха в Советский Союз. Я уже всем сказал, что доступ к урнам будет открыт с пятого февраля, как вы думаете, успеют сделать к этому времени?

Задача предстояла нелегкая, надо было по специальному заказу в три дня сделать урны, а в Мексике быстро работать не любят. Но Кирилл нашел мастера, который согласился сделать урны за такой короткий срок и очень недорого.

Наконец все было готово, начали приходить иностранцы, они подолгу стояли у урн, прощаясь и выражая свои соболезнования. Все обращали внимание на то, с какой заботой были сделаны и установлены урны.

Каспаров был очень доволен и от имени всего коллектива

крепко поблагодарил Кирилла и меня за то участие и помощь, которую мы оказали ему в дни похорон.

Мара провожает мужа в последний путь

В день отправки урн в Москву, когда Мара, вся перевязанная, в бинтах, захотела проводить в последний печальный путь прах своего мужа и мы пришли за ней в больницу, ей не в чем было выйти, вся одежда, которая была на ней обгорела в такой степени, что ее нельзя было надеть, ее надо было просто выбросить.

Ее гардероб дома также был пустой, и пришлось одолжить белье, платье, чулки, и, одетая в чужую одежду, с забинтованными руками и ногами, в гипсовом корсете, она, трогательно прижав к себе урну мужа, вынесла ее из машины и поставила в самолет.

Седьмого февраля урны на специальном правительственном самолете были отправлены в США и оттуда в Москву в сопровождении Павлова и Лобзина.

Павлов вернулся из США, а Лобзин сопровождал урны до Москвы и вернулся оттуда с повышением в должности.

Конец эпохи посла Константина Александровича Уманского

Поражало еще одно обстоятельство: если у нашей новой временной администрации к спутникам Уманского и к женам погибших вместе с ним отношение было, мягко говоря, пренебрежительное, то к памяти Уманского было какое-то натянутое.

На собрании в посольстве, посвященном памяти К. А. Уманского и всех сопровождавших его сотрудников, эта новая временная, довольно бездарная администрация говорила о нем только как о человеке, умевшем устраивать большие, шумные приемы, и ничего не упоминалось о его заслугах.

В это время вся Мексика оплакивала его как представителя страны, которая вызывала у них восхищение, и в этом была большая заслуга К. А. Уманского. Он был один из самых молодых, умных, талантливых советских дипломатов, и, безусловно, для своей страны за такое короткое время он сделал много, очень, очень много.

И всем было совершенно очевидно, что другой, равной фигуры для замены Уманского трудно найти, а как впоследствии оказалось, даже невозможно.

Так закончилась блестящая, незабываемая ЭРА СОВЕТСКОГО

ПОСЛА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА УМАНСКОГО В МЕКСИКЕ.

Расследование

Через полтора года после трагической гибели Нины еще трагичнее погибли Уманские. Что-то зловещее было в этой неожиданной для окружающих катастрофе. Как будто чья-то *невидимая рука в дикой жажде мести* подняла их и на глазах у всех бросила в пылающий костер.

Правительство Мексики создало комиссию по расследованию причин, вызвавших аварию и все расходы на похороны приняло на себя.

Представителем от посольства в эту комиссию были назначены Павлов и мой муж Кирилл.

Было очевидно, что это был не несчастный случай, а заранее спланированное покушение. Искренний рассказ случайно уцелевшей Мары Тройницкой не оставлял в этом никаких сомнений. Она с полной ясностью воспроизвела страшную картину этой ужасной катастрофы.

По расчетам, произведенным специалистами, и теми кто подложил бомбу, если бы самолет вылетел вовремя, без опоздания, катастрофа должна была бы произойти бы где-то по дороге, в джунглях, над озером — и, как говорится, концы в воду.

Позже было также установлено, что о подготовляемом покушении было кое-что известно.

Журналист Юрий Дашкевич

Приблизительно дней за десять до своей поездки в Коста-Рику Уманский отправил туда представителя ТАСС, журналиста Юрия Дашкевича, который, как выяснилось потом, получил несколько анонимных писем.

Некто, называвший себя советским другом, предлагал встретиться в одном из ресторанов. Таинственный незнакомец настаивал на немедленной встрече и обещал сообщить ему что-то очень важное.

Дашкевич почему-то это письмо проигнорировал и Уманскому не показал, решил ни во что не ввязываться и ни с кем не встречаться, с тем и укатил в Коста-Рику.

Об этом он рассказал, сразу же вернувшись из Коста-Рика на похороны.

Эта встреча, может быть, имела какое-то отношение к этой катастрофе.

Предупреждение посла Коста-Рики

По-видимому, другой неизвестный предупредил также посла Коста-Рика в Мексике, который должен был сопровождать Уманского в Коста-Рику.

По его заявлению в печати после катастрофы, посол Коста-Рики уже был готов выехать из дома в аэропорт, когда раздался телефонный звонок и кто-то сообщил ему, что самолет с советскими дипломатами уже вылетел и он опоздал.

В день катастрофы посол Коста-Рики пришел в наше посольство и рассказал:

— Я был поражен такой бестактностью! Как могли они вылететь без меня и до назначенного времени! Я, откровенно говоря, растерялся и не заметил сразу странности предупреждения. Говоривший по телефону не назвал своего имени, и по голосу я понял, что этот человек был мне не знаком. Но все это я сообразил позже, пожалуй в тот момент, когда услышал утром по радио сообщение о катастрофе.

Свидетельство сотрудников аэропорта

Сразу же после катастрофы несколько сотрудников в аэропорту заявили, что незадолго до полета они заметили двух неизвестных типов у самолета. Пока они сообразили, что это посторонние и нужно узнать, кто они такие и что они там делали, эти два типа, быстро удаляясь от самолета, исчезли в темноте. Они предполагали, что эти типы вылезли через ограду аэропорта, а заграждение, надо сказать, в Мексике такое, что не только человек, но даже корова легко пройдет. Незадачливые преследователи также сообщили, что они только услышали шум удаляющегося автомобиля.

Проверка самолета

Этот военный самолет был предоставлен лучшим другом Советского Союза, Ласаром Карденасом, бывшим президентом Мексики с 1934 по 1940 год, а сейчас дивизионным генералом. Предоставленный им военный самолет перед полетом прошел тщательную проверку и был в безукоризненном состоянии. Он вылетал с гражданского аэродрома. К этому военному самолету генерал Карденас прикомандировал самых лучших пилотов и офицерский состав.

Из всего состава остался жив только один бортмеханик, так же случайно, как Мара. Все эти факты и масса других крепко

подтверждали, что это было именно покушение.

Бомба в советском посольстве

В это время произошло еще одно для советского посольства странное событие. Через две после похорон Уманских к посольству прибыли трое полицейских и попросили разрешения увидеть по очень важному делу посла или его заместителя.

Их провели в приемную к Каспарову, который не говорил по-испански и попросил моего мужа помочь объясниться с ними.

Они сказали, что к ним в полицию позвонил какой-то неизвестный тип и предупредил, что в здании советского посольства подложена бомба. И они по заданию шефа полиции просят разрешить им произвести обыск.

При слове *обыск,* Кирилл говорил, лицо у Каспарова вытянулось. Он несколько минут помолчал, соображая, и затем вызвал заведующего по хозяйственной части Кирмасова и приказал:

— Проводи. Но пусть не везде нос свой суют.

Бомбу не обнаружили. Но создалось впечатление, что вокруг посольства, а может быть, и внутри, действовала какая-то группа людей.

Поверенный в делах

Через несколько дней после того, как отправили урны с прахом Константина Александровича, Раи Михайловны, Лиона Тройницкого, Сергея Савина-Лазарева и Юрия Вдовина в Москву, из Москвы прилетел бывший советник Уманского *Василий Павлович Яновский* уже в качестве временно исполняющего обязанности посла.

Семьи погибших пока оставались в Мексике. К ним этот временный поверенный в делах советского посольства проявил истинно сталинскую чуткость и понимание.

Сталинская чуткость

Лида Вдовина

В парке я встретила Лиду. Вяжет ребятишкам теплые вещи, жалуется и плачет:

— Мы просили оставить нас в посольстве работать хотя бы до июня месяца, ведь мы находимся в штате и числимся сотрудниками посольства, но нам сказали, что не разрешат. Я просила Яновского, чтобы он послал телеграмму в Мининдел в Москву. Но как я потом узнала, он даже не потрудился отправить телеграмму с запросом, жаловалась Лида. Мне самой тяжело оставаться в Мексике после случившегося, но ведь я прекрасно понимаю, что ждет меня впереди, я должна думать о детях. Я ведь сама знаю, что мне выдадут какое-то единовременное пособие, но что это такое, в лучшем случае — пара пудов муки.

А через несколько дней Лида оказалась в еще худшем положении. Оказывается, при отъезде Юрий, как личный секретарь посла, должен был иметь при себе какую-то сумму подотчетных денег на разные мелкие дорожные расходы, официантам, носильщикам, в гостинице, на всякие чаевые, за которые он после возвращения должен был отчитаться.

Как выяснилось позже, когда выносили трупы из горящего самолета и составляли акт, то у Юрия оказались вывернуты карманы, исчез бумажник с деньгами, документы все были подобраны, а бумажника с деньгами не нашли.

И вот бухгалтер вызвал Лиду и заявил, что эти деньги, взятые Юрием в подотчет на дорожные расходы должна заплатить Лида. Так распорядился Яновский.

— Откуда я возьму эти деньги?!! Ведь деньги пропали во

время катастрофы!!! Разве им мало, что я осталась без мужа, а дети без отца?!! — рыдала Лида. — Так я им еще должна!!!

— Бросьте, Лида, не вздумайте платить! — заметил с возмущением мой муж.

— А как же, Кирилл Михайлович, ведь они мою зарплату уже удержали.

Мы были возмущены этим чудовищно жестоким поступком со стороны Яновского и других членов посольства, которые поддерживали его. Создавалось впечатление, как будто хотят выместить свое недовольство над Лидой, тем что Юрий Вдовин был любимцем Уманских.

Я никак не могла понять, откуда такие чудовища, как этот Яновский и другие, подобные ему берутся!!! А ведь он *занимает почетный пост* и является *гражданином нашей страны.* Зачем таких вот посылают за рубеж?!! *Ведь за границу наша страна должна послать своих лучших из лучших!!!*

— Ты понимаешь, что эти, может быть, как раз и нужнее… Они здесь скандалят и туда вернутся — будут из кожи вон лезть, скандалить! А *те лучшие из лучших,* которых ты бы хотела здесь видеть, очень *быстро в лагерях* могут оказаться, — высказал свои предположения Кирилл.

Валя Савин-Лазарева

Валю Савин-Лазареву числа 20-го февраля в сопровождении дипкурьеров уже отправили обратно в Москву. Она, бедная, день и ночь рыдала:

— Три года, три года я день и ночь страдала, ждала с каждым скрипом двери, что придет известие о его гибели, но он вернулся *живой!!!* И здесь, здесь, когда я думала, что весь этот кошмар окончен, я потеряла его.

Лиде и Маре тоже сообщили через неделю быть готовыми к отъезду.

Мара Тройницкая

Мара, как только вышла из госпиталя после этого страшного потрясения, начала работать и потихоньку приходить в себя. Она надеялась до отъезда еще немного поработать и приобрести кое-что из одежды. Так что увольнение и сообщение об отъезде поставило ее в самое тяжелое положение. Ей принесли пальто, которое она заказала еще до полета, и сейчас у нее не было денег

заплатить за него.

Она побежала к Яновскому с просьбой выручить, дать ей деньги выкупить пальто. Яновский ей холодно ответил:

— Мы вам выдали двухнедельное пособие, больше вам не полагается. А пальто никто не просил вас заказывать.

— Ведь я работала и думала, сумею заплатить.

— Это ваше дело, что вы думали! А мне говорить больше с вами не о чем.

Надо сказать, что Мара оказалась в самом ужасном положении.

Она пережила голод, холод и всю блокаду Ленинграда, что оставило на ней свой тяжелый отпечаток: бледное измученное лицо с глубоко впавшими глазами.

Приехав только два месяца назад из Советского Союза, у нее был столь незначительный гардероб, что она без труда весь его захватила с собой, и он сгорел во время катастрофы.

И вот эта женщина от суконного *представителя нашего советского правительства* за границей получает ответ, «*полный внимания и заботы*».

Было *нестерпимо больно* наблюдать в этой маленькой, почти семейной обстановке, да, именно семейной обстановке, такое равнодушие, даже *бездушие,* где все как будто должны держатся друг за друга и крепко беречь звание советского человека.

Боже мой, неужели Сталин настолько развратил всех, все и вся и всех стоящих ближе к нему людей! Господи, в стране, где вот так просто, среди бела дня или ночи, могут прийти и *без всяких объяснений* увести человека из дому, и этот человек *исчезает навсегда, навсегда, бесследно,* становится понятно, почему Яновский так легко воспринял гибель советских дипломатов: *погибли люди и все — невелика трагедия…*

А какая-то дама даже сказала:

— О чем вы волнуетесь? Им и так нанесли кучу вещей…

«Вот уж нашли чему позавидовать», — подумала я.

Наконец Лида и Мара выехали в сопровождении «сердобольной» Никольской, которая также уезжала в Москву, прихватив с собой даже пуд муки. Мы все отговаривали ее:

— Ну масло, сахар куда ни шло, но муку?!

Вдовы погибших Лида и Мара с ребятишками прибыли в Сан-Франциско, откуда дальше они должны были следовать морским путем.

Как раз в это время в Сан-Франциско на конференцию съезжались отовсюду делегаты, и наш самолет возвращался обратно в Москву пустой. Вот этих женщин и решили отправить в Москву не морским, а воздушным путем.

В посольстве Яновский, услышав об этом, пришел в ярость: полет на самолете сокращал их путь на две недели, а на эти две недели им были выданы суточные. Он отправил в Москву депешу, чтобы с них удержали лишние деньги.

Проказы Дани Яновской

25 января произошла катастрофа, а во время катастрофы, как говорится, все потеряли голову. И видно, Света Малкова и Даня Яновская решили подождать, пока все уляжется…

Когда раньше срока вернулся муж Дани в качестве поверенного в делах, «девушки» решили поехать на курорт в Вера-Крус на отдых.

Светлана рассказывала, что во время ужина в ресторане Дане стало плохо. Там случайно оказался украинский предприниматель, который помог отвести ее в номер и вызвать врача. Так врач сказал им, что ничего страшного с ней не произошло, обычная история — она в положении.

Я слышала об этом раньше от Светланы — что у Дани был обморок, и что ей надо было еще отдохнуть на курорте. По-видимому, Даня собиралась там произвести некую операцию, но, так как после их отъезда внезапно заболел Яновский и их сразу же вызвали обратно, ничего не получилось Света возмущалась, что этот «идиотик» (так она называла поверенного в делах) запер Даню чуть ли не на замок, следит за каждым ее шагом и не разрешает ей ни с кем встречаться, никого видеть, и даже она не могла ее навещать. Светлана ходила злая, как туча.

В ресторане «Эль Патио» был дан ужин для бизнесменов по случаю приезда из Нью-Йорка представителя нашего «Амторга» тов. Николаева, и один из иностранцев, присутствовавших на этом ужине, вдруг спросил у меня с «щирым» украинским акцентом:

— А що у мадам Яновской родилось — дивчина чи хлопчик?

Признаюсь, я растерялась, так неожиданно был задан вопрос человеком, которого я первый раз в жизни видела.

— У них есть девочка, ей три годика…

— Видите, я не о той, — сказал он.

Он оказался тем господином, который помог Дане добраться до номера в гостинице, когда с ней случился обморок в ресторане на курорте Вера-Крус.

— Вы извините, но я ничего об этом не слышала, — ответила я.

Даня родила через семь месяцев нормального ребеночка — девочку, и, конечно, все шепотом и вслух высказывали

предположение, что ребенок не от Яновского.

Подвохи мексиканского климата

В это же самое время поверенный в делах всеми силами старался избавиться от тех служащих, которые были близки к погибшим Уманским.

Отозвали шофера Уманского Гусарова, для него это была трагедия. У него было двое детей и жена без одной ноги. Он был хороший шофер, чудный семьянин и отец, помогал жене готовить, стирать, убирать и за детьми ухаживать.

По-видимому, все разговоры о преждевременном рождении ребенка действовали на нервы поверенного в делах, поэтому он созвал человек восемь к себе в кабинет и стал читать им лекцию о морали и о том, как полагается вести себя советским гражданам за границей.

Гусаров не выдержал:

— Зря стараетесь, тов. Яновский! Не мне, а жене своей прочтите эту лекцию. Мне-то уезжать, а там я сам знаю, как себя вести. А вот вы остаетесь.

Яновский не выдержал и заорал:

— Не смейте оскорблять мою жену!!! За оскорбление личности я вас к ответу привлеку. А ребенок мой.

И в тот же вечер 25 октября в посольстве был издан приказ приблизительно такого содержания:

«Довожу до сведения всех сотрудников посольства и прошу принять во внимание, что *климатические условия* Мексики оказывают отрицательное влияние на некоторых женщин, которое выражается в том, что одни из них устраивают на территории посольства драки (это по поводу того, что только недавно наша Оливия устроила с кем-то драку), другие преждевременно рожают (это он о своей жене)».

Приказ вывесили в канцелярии на видном месте, все сотрудники должны были ознакомиться и расписаться.

Слух о таком чудовищном приказе быстро разлетелся по посольству, и все спешили скорее взглянуть на него. К концу дня стены посольства уже дрожали от хохота.

Каспаров обратился к Кириллу:

— Кирилл Михайлович, какое ваше мнение о происходящем в посольстве?

— Такое же, как и ваше, — ответил Кирилл.

— Ну, как бы вы поступили в данном случае?

— Это дело личное, зависит от характера каждого человека. Я человек ревнивый, а Яновский — нет. А вот такого дурацкого

приказа я на его месте не издал бы и не вывешивал.

— Действительно, этот скандал не должен быть вынесен за пределы посольства.

— Да, выставили в канцелярии, и все работающие здесь иностранцы имеют возможность его прочесть и узнать, что за веселый приказ был издан, ведь вы видите, что делается в посольстве после объявления этого приказа. Я бы на вашем месте убрал его, и как можно поскорее.

Приказ был убран.

Страдания Кати

По посольству прошел слух, что с Катей Калининой не все в порядке. Меня это сообщение обеспокоило. Катюша среди сотрудников нашего посольства была самая молодая, самая юная, всегда спокойная, молчаливая.

Если жизнь всех семейных сотрудников нашего посольства была довольно скучная и однообразная ввиду всевозможных запретов, то жизнь двадцатилетней девушки, которая не могла завести ни с кем со стороны знакомство, не могла никуда пойти одна, была не из сладких.

Мы приглашали ее в различные наши загородные поездки, чтобы она меньше скучала, и нам было очень приятно проводить с ней время.

Я решила поговорить с ней. Катя, рыдая, жаловалась мне:

— Почему, ну почему я не могу выйти замуж за Артура и быть счастливой, как все?!! Кто дал право так жестоко, так бессердечно распоряжаться моей судьбой, моими чувствами, моей жизнью?!! Если я даже уеду, ведь моя жизнь окончена… Я нигде не найду себе покой, я просто сойду с ума. Чтобы предотвратить худшее, — сказала Катя, — я должна уехать!

И она обратилась к первому секретарю посольства П. Г. Каспарову с просьбой немедленно отправить ее в Москву.

— Вы с ума сошли, — ответил ей Каспаров, — вы единственный секретарь, знающий испанский язык, я этого сделать не могу.

— Он не может отпустить меня. А я могу?!! Разве кто-нибудь знает, чего мне стоит просить об этом! Большего наказания мне никто не в состоянии придумать.

Я обратилась к мужу:

— Посоветуй, Кира. Как и чем можно Кате помочь? Она действительно находится в ужасном состоянии. Для нее это трагедия.

— Я понимаю, — отвечал Кирилл, — но ведь в посольстве

сейчас нет ни одного человека, с кем можно было бы поговорить, посоветоваться.

Из Москвы пришел отказ.

Катя сама решила свою судьбу

И вскоре Катя затихла, начала избегать всего, кроме работы. Она жила в том доме, который мы снимали для школы. Здесь я часто встречала ее. Однажды я зашла к ней:

— Как дела, Катенька? Я вас давно не видела.

— Нина Ивановна, умоляю вас, никому ни слова. Я решила свою судьбу сама. Я жена Артура. Я счастлива, а что будет дальше — не хочу об этом думать. Но очень надеюсь, все обойдется благополучно.

Катя действительно была счастлива, она расцвела, стала так хороша, женственна, а у меня только сжималось сердце от страха при мысли о том, какова будет развязка этого романа.

Прошло несколько месяцев, посольство жило своей обычной повседневной жизнью, Катя так ушла от всего, что даже не заметила, как на нее надвинулась гроза и грянул гром. В посольских кулуарах заговорили: Катя беременна, ее вызывают в Москву.

Затишье

Наступило как будто полное равнодушие к советскому посольству.

Кончились встречи, многолюдные приемы, обеды — даже День Победы 9 Мая 1945-го года, прошел почти незаметно, тихо и грустно.

Богатые эмигранты и бизнесмены надеялись, что после окончания войны все в мире должно измениться. Измученная, усталая Россия будет нуждаться во всевозможных товарах, в иностранном капитале; она будет стремиться расширить торговлю, откроет концессии. И они, как люди зарекомендовавшие свою лояльность Советской власти, сумеют выгодно пустить в оборот свои капиталы.

Еще во время войны многие спрашивали:

— А в каких товарах больше всего нуждается Советский Союз?

Одни собирались экспортировать туда готовые вещи, мануфактуру, другие — кожу и кожаные изделия. Завоевывая симпатии советского посольства, они стремились завоевать первенство на «бизнес». Это же давало им приоритетное право на

покупку того небольшого количества товаров, которые в то время вывозил Советский Союз: меха, ковры, икру и драгоценные камни.

Эти попутчики особенно сильно увивались вокруг посольства.

Но после окончания войны, почувствовав, что их надежды не оправдались, они быстро увяли и все реже и реже стали посещать советское посольство. И все откровеннее и чаще давали понять, что с Советским правительством *каши не сваришь* и все как было до войны, так и осталось.

Основная же их торговля шла с США, значит, и держаться надо было США, а дружба с Советами, могла только повредить этому. Да и политика начала быстро меняется. США — сильное государство, и портить с ним отношения не стоило. Так сразу все они и отвернулись от Советского Союза.

Наиболее упорная в своих стремлениях группа эмигрантов возмущалась поведением первой. Они ругали их на чем свет стоит за их неустойчивость, за их жажду к наживе и с неослабевающим рвением стремились в Советский Союз.

И многие, многие из них, распрощавшись с теми странами, которые приютили их, вернулись в Советский Союз. Как поступил с ними позже Сталин, это уже *вторая статья.*

Какой-то умник подсказал ему, что у нас нет пленных, а только предатели, и наши милые союзнички, которые так яро боролись вместе с советским народом против гитлеровского мракобесия, ловили и отправляли Сталину *на расправу*, на верную гибель даже абсолютно невинных, — я не говорю о многих предателях — такие тоже были, и для них существовали суд и судебная расправа, — но с ними вместе шли миллионы чудом спасшихся, совершенно невиновных военных! Истории, видно, суждено было сыграть *еще одну злую, горькую кровавую шутку* с русскими победителями. Вот почему никто, ни одна душа, ни одна организация даже не пикнула против сталинского послевоенного произвола!!!

Мы оказались в центре внимания

Однако многие друзья Уманских, искренне потрясенные их гибелью, старались не потерять контакт с посольством. И мы невольно очутились в центре внимания. Нас приглашали повсюду, но мы старались в основном бывать там, где это требовалось по долгу службы Кирилла.

Муж замещал торгового атташе Малкова. Я преподавала в школе (для детей служащих советского посольства), в организацию которой я вложила много энергии, так как школы при посольстве до нашего приезда не было. К своей работе, где я

преподавала все предметы, кроме русского языка, который преподавала З. А. Батюшкина, я относилась с глубокой любовью.

С иностранцами мы вели себя так, что меня часто спрашивали:

— Скажите, все любят Советскую Родину так, как вы?

— Да, все, кого я знаю, — отвечала я.

— Так Гитлер был безумец, если он хоть на секунду мог подумать, что способен победить страну, в которой живут такие люди, как вы.

Наша популярность среди иностранцев была уже такой, что даже один из ответственных сотрудников как-то сказал:

— Вас так часто приглашают на все приемы, что даже мне завидно.

И когда мы, особенно я, после этого замечания стали отказываться от приглашений, он сам просил поехать вместе с ним на прием.

— Что я буду отвечать им, когда будут спрашивать о вас? Что вы больны? Начнут цветы посылать, — весело смеялся он.

Мы с Кирой старались вести себя так, чтобы у иностранцев не оставалось о советских людях такое же впечатление, как здесь изображали нас и наших «Ниночек» в кино.

Ко мне часто подходили и спрашивали:

— Скажите, ваш муж из «бывших»?

А на одном из приемов ко мне подошла дама и спросила:

— Ваш муж родственник генерала Алексеева[20]?

И когда я ответила: «Нет», другая дама сказала мне:

— Ну что бы вам стоило сказать «да»? Вы бы ее осчастливили.

То есть он выглядел для них таким аристократом, что они не могли понять, как это в Советском Союзе еще сохранились такие. Мне было смешно, настолько все, даже наши старые русские эмигранты, привыкли видеть и слышать о русских из Советского Союза, что там могут и должны быть только такие карикатуры, которые показывают им в кино.

Кирилл действительно, я могу сказать без преувеличения, выглядел и вел себя, как настоящий аристократ. Да, по существу, он и был (как мы тогда еще говорили) из старой, когда-то очень богатой аристократической семьи.

Родился он в замечательном, знаменитом своими ярмарками городе Лебедянь, которые с огромным удовольствием описывал писатель И. С. Тургенев в своем произведении «Касьян с Красивой Мечи».

Этот город также был родным городом писателя Замятина, и даже семья Прокофьева купила усадьбу у бабушки Кирилла.

За то время, что мы были в Мексике, Кирилл установил очень

хорошие деловые отношения со многими известными бизнесменами, которые горели желанием после войны наладить деловые и торговые отношения с Советским Союзом. В это время всем казалось, что рухнул «железный занавес», и рухнул навсегда.

Кирилл очень быстро сходился с людьми. Умел красиво ухаживать за дамами, разговаривать с любыми мужчинами на равных, остроумный, обладал огромным чувством юмора, о котором часто и долго вспоминали наши общие знакомые. И даже во время последнего приема в нашем посольстве 7 ноября к нам подходили сотрудники посольства и говорили:

— Вот вы уедете, и половина этой публики сюда больше не придет, они же здесь помрут без вас от скуки.

Иностранцы спрашивали:

— Скажите, Нина Ивановна, какое ваше мнение: кого пришлют к нам в качестве посла. Ведь это должен быть человек, не уступающий Уманскому.

— Заслуженного прихрамывающего генерала или какого-нибудь старого отставного, хватит?

— Неужели вы так считаете?!!

И я действительно была уверена, что так именно и будет. Война кончилась, и все вернувшиеся с фронта из армии окажутся сразу не у дел. Вот они и заслужили такой пост, их всех надо не только материально обеспечить, но и отправить куда-нибудь подальше, не *будет же наш генералиссимус так сразу всех ссылать на Колыму?* Он тоже подождет, попробует усыпить своих воображаемых противников некоторыми поблажками, пока атмосфера после военной эйфории уляжется, а *затем методично начнет уничтожать всех, как это делал он и раньше.*

Приезд нового посла

Вскоре разнесся слух: едет новый посол из Вашингтона — тов. Капустин, бывший советник Громыко. Кто он, почти никто не знал.

На вокзале при встрече всех поразил невзрачный, небольшого роста пожилой человек, за ним вышла бледная, бесцветная дочь и тучная, по виду — крепкая купчиха — жена посла, которая кинулась сразу считать чемоданы, расставленные почему-то здесь же кругом, под ногами.

Я держала цветы и не знала, как ей их преподнести: нагнуться к ней или попросить ее приподняться.

— Уберите чемоданы, — попросила я, чтобы к ней можно было подойти.

Иностранцы при первой же встречи не забыли съязвить:

— Ну а вы говорили «генерал с орденами и прихрамывающий».

И пошла в посольстве жизнь тихая, тихая, спокойная. Как будто посольство существовало для того, чтобы вариться в своем собственном соку.

Жена посла оказалась экономная, скромная женщина. Часто рассказывала, как она где-то за городом, на каком-то рынке купила по дешевке мясо.

Их бледнолицая дочь никогда и нигде не показывалась, не вылезала из своей «светелки», и все спрашивали:

— Скажите, дочь посла очень красивая или очень уродливая? Почему она боится показаться?

Коварство и любовь

Каспаров понял, что в своих расчетах он ошибся, Катю надо было сразу же, когда она просила, срочно отправить домой.

Как только он узнал о случившемся, сразу принял решение.

Окружил Катю заботой, вниманием. Все разговоры в посольстве по его распоряжению были немедленно прекращены. Каспаров взял над ней опекунство, вызвав ее к себе, он заявил:

— Катя, вы уедете в Москву. Там вас ждут родные, вы родите в Москве, а муж приедет к вам, или вы в ближайшем будущем приедете к нему. И все будет нормально, вы предотвратите назревающий скандал, от которого могут пострадать даже ваши близкие. Я вам помогу, и все обойдется хорошо.

Катя пыталась попросить, чтобы Артур поехал с ней вместе, но из Москвы потребовали немедленного возвращения только

Кати Калининой.

Тогда Каспаров, боясь осложнений, сообщил ей, что поедет сейчас в Москву только она, а Артур приедет к ней позже, и даже пообещал, что, если Артур не сумеет приехать, она вернется к нему.

Он также встретился с Артуром и долго, обстоятельно убеждал его, что Катя должна вернуться и что он, Каспаров, дает ему слово, что он поедет к ней очень скоро.

Свои обещания он подтвердил своим отношением к ней, своим теплым вниманием, заботой. Ей дали продолжительное время для сборов.

— Мы все поможем вам собраться, а в Москве вас уже ждут родные, — напомнил он ей.

Молодая, честная, искренняя, она не могла не поверить Каспарову и только что прибывшему новому послу, который также принял горячее участие в ее судьбе.

Ведь не только ей, они обещали и Артуру, который также поверил, — да и трудно было ему не поверить — ведь он не знал законов нашей страны, а на его родине все было иначе, все было проще.

Катя думала, что ребенок — это та причина, которая заставит их выполнить свои обещания, а там была любимая родина, старушка мать и все родные и близкие. Ей хотелось быть со своими вместе, ей хотелось сказать всем, что она счастлива и все кончится хорошо.

Сборы начались. Румяная, веселая Катя возвращалась из магазинов, нагруженная покупками, покупала подарки родным, а главное — детские вещи, теплые шерстяные костюмчики, ботиночки, туфельки, все до пятилетнего возраста. Она развернула передо мной свои подарки:

— Что еще купить? — спрашивала она. — Я боюсь, забуду самое нужное.

— Самое нужное? — улыбнулась я. — А как Артур?

Она развернула альбом: на одной стороне портрет Артура, на другой — ее.

— Вот, я беру его с собой, а он к нам приедет очень скоро, — и она прижалась щекой к фотографии.

— А если… если не приедет? — с трудом выдавила я. — Тогда…

— Тогда мы приедем к нему, обязательно приедем. Мне ведь обещали. Каспаров обещал и посол, дали слово. А из Москвы пришла телеграмма, я сама ее в руках держала, в которой сообщили, что Артуру немедленно дадут визу, как только он будет готов.

Мне хотелось серьезно и обстоятельно растолковать ей, что это только обещание, что *никогда* Артур к ней не приедет, что, пока *будет жив Сталин*, она к нему не вернется, и что если она не хочет потерять отца ребенка, то должна остаться здесь и навсегда забыть все, что связывало ее с родиной. Забыть родных и близких ради своего счастья, пожертвовать счастьем тех людей, кто был для нее дороже всех на свете, взять на свою совесть клеймо изменницы, преступницы, предательницы своей родины. *Способна ли она этой ценой купить свое счастье, хватит ли у нее мужества?*

Но она так горячо верила, что есть выход простой, естественный, безболезненный, и если бы она поступила иначе, то всю жизнь ее мучило бы *сомнение,* что, может быть, все *обошлось бы хорошо,* если бы она поступила по-другому.

Она смотрела на меня глазами, полными слез, как будто ждала и хотела что-то услышать от меня.

— Катенька, на вас сейчас лежит вся ответственность за свою судьбу и судьбу вашего ребенка, и я уверена, вы найдете правильный выход и поступите так, как подскажет вам ваше чувство.

Катя с облегчением вздохнула:

— Спасибо.

Проводы Кати

Каспаров через несколько дней сообщил нам:

— Завтра у нас будет прощальный ужин. Мы устраиваем проводы Кати. Обязательно приходите. Кстати, я еду по делам в Вашингтон, мы поедем вместе.

Когда мы пришли к Каспаровым, в его небольшом особняке было много провожающих, стол в столовой был накрыт с изысканной пышностью.

Катю посадили в центре стола, *рядом* с ней сидел Каспаров. Все произносили поздравительные тосты, посол заявил:

— Вы сегодня среди нас самая счастливая, вы скоро увидите Москву, мы все с нетерпением ждем этой минуты.

Пили за скорую и радостную встречу. После ужина начались танцы. Катя сидела, не трогаясь с места, как пришитая, мне казалось, что она не выдержит и вот-вот разрыдается.

Каспаров, следивший *внимательно* за ней, подошел к нам:

— Если бы я раньше знал, если бы я раньше был в курсе дела, мы бы такую пышную свадьбу сыграли всем врагам на зависть! Но ничего, Катенька, мы сделаем это в Москве.

Артура на этом вечере не было.

В прохладное солнечное раннее утро мы спешили на вокзал провожать Катю.

Каспаров был в *исключительно* хорошем настроении, он шутил, смеялся, он был уверен, что передаст ее в надежные руки.

На перроне вдали от всех стояли Артур и Катя. Для них *никого* не существовало.

Я чувствовала и понимала, что все мы здесь ненужные, лишние.

Поезд вот-вот должен был тронуться.

Катя подошла, попрощалась, ей трудно было говорить.

В вагоне она прильнула к окну, устремив свой взгляд на Артура, стоявшего на том же месте с глазами, полными слез.

Поезд тронулся и унес Катю с ее горестями и страданиями.

Артур быстро и незаметно исчез в толпе.

Судьба Кати

Вернулся Каспаров.

— Как Катя? — спросила я.

— Все в порядке, она теперь близко к Москве.

Каспаров был доволен, он свою миссию выполнил до конца. Дальнейшая судьба Кати его не волновала, теперь она находилась в *надежных* руках.

Катя обещала писать, обещала, если будет сын, прислать *телеграмму*, но писем от нее никто не дождался. Несколько *месяцев* спустя приехали дипкурьеры, они нам сказали, что у Кати родился мальчик.

Оказывается, это любовь…

Бедный Артур оббивал пороги посольства. Вначале он долго беседовал с Каспаровым, выходил от него счастливый, весело улыбаясь, уверял всех нас, что, только когда он попадает на территорию посольства, он чувствует себя счастливым, это тот островок, который соединяет его с Катей.

Но постепенно все грустнее и грустнее становилось его лицо. Сотрудники при встрече с ним сочувственно улыбались. Прошло много времени, и он начал понимать, что попасть в Москву, несмотря на все обещания, ему не удастся. Он начал просить, потом требовать, чтобы Катю вернули обратно.

Но вдруг и Каспарова вызвали в Москву. Это известие его

страшно взволновало. Мы все тоже поняли, что все события, произошедшие за последнее время в посольстве, сыграли в этом свою роль.

Уже давно известно было, что в посольстве не все благополучно. По-видимому, в доносах все старались спихнуть вину друг на друга. Ясно было одно, что отъезд принимают с огорчением не только рядовые служащие посольства, но и чины высшего ранга.

Узнав об отъезде Каспарова, Артур совсем загрустил. Уезжал человек, на которого хоть и слабая, но все-таки была какая-то надежда.

Последний визит Артура ободрил, ушел он от Каспарова очень веселый. Каспаров обещал, что, как только вернется в Москву, он все уладит и Артур скоро увидит сына и Катю.

За несколько дней до отъезда Артур принес Каспарову огромную посылку для Кати. После ухода Артура испуганный, взволнованный Каспаров обратился к мужу:

— Кирилл Михайлович, выручи, пожалуйста, мне навязали посылку, я не знаю, что с ней делать. Нельзя ли ее как-нибудь другим путем отправить в Москву?

Кирилл напомнил ему, что из Мексики посылки вовсе не принимались, в лучшем случае ее можно было оформить через Нью-Йорк.

Каспаров страшно нервничал:

— Что же я буду с ней делать? Мне вовсе не улыбается это поручение, — сокрушался он.

Потом вызвал завхоза посольства и попросил его в присутствии всех вскрыть посылку, это была одна из мер предосторожности. В посылке оказались концентраты, какие-то питательные порошки для ребенка и различные детские вещи.

— Ну а как там Катя? — спросил Кирилл.

— Черт его знает, вот совсем не ожидал такого оборота. Я думал молодой, красивый парень, пройдет полгода-год и забудет ее, а оказывается, вовсе не так, здесь *любовь,* да еще какая.

Незадолго до нашего отъезда мы были приглашены к послу на ужин, после ужина, не помню *уже, в который раз,* посол показывал нам свои киносъемки из Вашингтона, где повсюду на первом плане *красовался* Громыко с женой. Эти снимки были *гордостью* посла.

Здесь же присутствовал совершенно нам незнакомый, только что приехавший из Москвы человек. Зашла речь о Кате, и он сообщил нам, что видел ее перед отъездом и почти не узнал и что она подала просьбу в Президиум Верховного Совета на выезд, но ей *отказали.*

— Знаю, знаю, — немного *с раздражением* сказал посол.

Гвадалахара

Я проснулась рано утром от внезапного внутреннего толчка, смутное, тяжелое чувство было на душе. Это чувство мне было знакомо уже девять лет.

Сегодня девять лет прошло с тех пор, как исчез мой отец.

Закрыв лицо руками, я шептала: «Папа родной, где ты? Жив ли ты? Я хочу *знать*… О, хотя бы что-нибудь, что-нибудь узнать о тебе. Боже мой! теперь я знаю, я очень хорошо знаю, что на свете существует еще *одна страшная пытка* и этой пытке Сталин подверг *миллионы* людей вне тюрьмы».

Я тихонько встала и прошла в детскую, где, утонув в безмятежном утреннем сне, тихонько посапывали дети.

Володе девять лет. Он родился через полтора месяца после ареста отца. И он *никогда* не услышит голос любимого дедушки и не почувствует прикосновения его ласковых рук.

Дети, увидев играющего с внуками пожилого мужчину, иногда спрашивали:

— Мама, где наш дедушка?

Сжавшись, как от удара, стиснув челюсти, я, еле сдерживая рыдания, отвечала:

— Родные мои, наш дедушка умер.

«Умер». Как тяжело мне было произнести это слово!

Как я могла объяснить им в этом возрасте, что их *дедушка арестован и казнен как «враг народа»?* Когда хотелось закричать:

Кто и зачем посмел поднял руку на отца и не только на отца, а на сотни тысяч и даже миллионы таких же ни в чем не виновных людей и отнял неповторимую радость у моих и у многих других детей?!!

Я не виню и не винила тех или того, кто это делал, но я крепко и всю жизнь винила и виню того *единственного палача*, кто требовал этого и кто ставил на списках резолюции «расстрелять» или заставлял других ставить свои подписи на списках сотен тысяч и миллионов простых честных людей, так как, если бы они не выполнили его приказы, они сами были бы казнены.

Рука, поднятая Петей, Колей, Витей для выстрела, была поднята Сталиным, и он держал ее крепко до тех пор, пока она полностью выполняла *его зловещую волю*. У меня на всю жизнь запечатлелась картина, как он ехидно улыбаясь, *крутил, вертел* шарики из мякоти хлеба и бросал их в глаза своей собственной жене, и молодая цветущая женщина, не выдержав унижения и издевательств, *покончила собой.* Вот так он *безжалостно крутил,*

вертел властью, попавшей к нему в руки, и судьбой многомиллионного населения страны, доставляя себе с ехидной улыбкой удовольствие.

С улицы доносились звуки музыки. Кому-то пели серенаду. Я открыла окно. Город постепенно просыпался. Из дверей противоположного дома вышел пожилой седой господин с тростью. Он подошел к группе «марьячос» и, размахивая ею, запел сильным голосом вместе с ними — Гвадалахару.

Гвадалахара… Боже мой, куда судьба меня закинула! Ведь это слово для советских людей, как *сказка* несбыточная мечта, а я вот здесь, рядом… Пошел уже третий год, как я жила в Мексике, а я никак не могла привыкнуть. Жизнь за границей мне казалась длинным, фантастическим сном.

И *невыносимо больно* было слышать и думать о том, что происходит сейчас там, у нас на родине, что Сталин, сумев оправиться от своего кратковременного испуга и набрав силы и чувства жажды мести за годы войны, творит *то же самое,* что и до войны, со своим *народом-победителем.*

Из дверей выскочили двое мальчиков в длинных, до пят халатиках, подбежали к господину:

— Абуелито, нос вамос кантар кон тиго, порфавор![21]

Он взял одного и другого под руки, закружил вокруг себя и подойдя к «марьячос», сказал:

— Порфавор, уна кансион пара естос мучачитос[22].

И присев на корточки, «марьячос» запели для них.

Закончив пение, поблагодарив друг друга, сели в такси и уехали.

Мне *трудно* передать свои чувства, пережитые в эту минуту. Разве *мог* этот дедушка представить себе, что кто-то войдет в его дом, уведет его среди бела дня, обвинив в нелепых, несуществующих преступлениях, и он исчезнет так же, как исчез мой отец?! Если бы я даже высказала ему такую мысль, он принял бы меня за *ненормальную.*

А вот там, на *моей родине,* где во все горло, день и ночь орут о том, что строится *самая счастливая* жизнь на земле, где поют: *«Я такой другой страны не знаю, где так вольно дышит человек»,* нет семьи, в которой не было бы *узника!* Вот и сейчас *почему* всех вернувшихся после войны из фашистского плена отправляют *в наши* лагеря?! Они же *вернулись* на свою Родину.

Срочный вызов в Москву

Страшный сон

Устав от этих бесконечных мыслей, которые теперь не давали мне покоя даже на работе, я возвращалась домой почти больная. Головные боли не покидали меня ни на секунду.

Приняв лекарство, я, кажется, уснула.

Проснулась я от прикосновения мужа:

— Ты очень стонешь во сне… На, возьми, приложи лед к голове. Холодное тебе поможет.

— Что случилось? Мне кажется, что-то страшное мне снилось.

Муж несколько раз прошелся по комнате и, присев на край кровати, произнес:

— Нина, сегодня пришла телеграмма из Москвы…

Я вскочила:

— Не надо Кирюша, не говори больше, я знаю все, я как будто все это предчувствовала.

Почему нас вызывают *без всякой на то причины?*

Никогда ни в каких склоках в посольстве мы не участвовали, вели себя со всеми одинаково корректно. Без разрешения посольства мы ни с кем не встречались, если это не касалось служебных встреч, а просто так называемых светских. Кто-то приглашал в гости, реже — домой, чаще всего на какие-то проводимые мероприятия в клубе, где собиралась в те дни очень, очень просоветски настроенная публика и где чаще всего проводились вечера по сбору денег, или какой-либо еще помощи в то тяжелое для Советского Союза время.

Но я совершила *«преступление»,* я скрыла от наших правоохранительных органов, что отец мой арестован как «враг народа». И этого одного больше чем достаточно было не только чтобы на долгие годы загнать человека туда, куда — как говорили у нас — Макар телят не гонял, то есть в тюрьму, но и лишить жизни.

Почему так внезапно и вдруг вызывают, когда кажется нет никакой, ну просто *никакой причины* для этого?

У Кирилла все идет так благополучно, что все только удивляются и вся школа на мне держится, на мое место надо прислать двух преподавателей с полным окладом, так *что случилось? Почему?* И в том отделе, где так успешно работал Кирилл, все время нужны новые кадры, тем более сейчас.

Мы никогда с мужем об этом не говорили, но *я знала,* что это должно было случиться и не могло быть иначе до тех пор, *пока Сталин будет жив.*

Счет Сталину

Я Сталина ненавидела. Я ненавидела его, мне кажется, еще с того времени, когда, помню, еще в школе кто-то сказал: «Сталин выслал Троцкого из страны как врага Советской власти».

Я очень возмутилась и долго спорила с ребятами своего возраста. Троцкий был кумиром для многих из нас. Мы еще, шагая, распевали: «Ленин, и Троцкий, и Луначарский грудью защищали народ пролетарский». О Сталине я даже толком не слышала до этого ничего особенного. Да и потом он просто был для меня одним из всех остальных партийных руководителей, а никакой никем не заменимый вождь. И кто дал ему право высылать Троцкого? В те годы средства массовой информации были очень скудные, а радиовещание фактически почти еще не существовало. Я помню, как мы все, ребята, собирались у Николая «слушать радио», когда он усердно ковырял иголочкой в стеклянной баночке, стараясь попасть в какой-то кристаллик, и приходили в дикий восторг, когда оттуда иногда доносился какой-то непонятный звук. Поэтому, мне кажется, услышала я о Сталине по-настоящему во время проведения бессмысленной жуткой коллективизации. И чем старше я становилась, и чем чаще стали повторять его имя, тем больше я его ненавидела. Так как я считала, что происходившее вокруг меня, если все это приписывали ему, простить нельзя.

Гибель под колесами поезда Зои, изломанная, искалеченная жизнь во время раскулачивания и коллективизации умных, талантливых ребят, с которыми я росла и училась, я не могла ни воспринять, ни понять. До этого была такая спокойная, благополучная жизнь у взрослых, и нам, молодым, среди них было так хорошо, тепло и уютно. И вдруг, как смерч, пронеслась сталинская коллективизация. Зачем же надо было так дико и так жестоко поступать с самыми тяжело работавшими людьми, которые не покладая рук трудились, стараясь поднять сельское хозяйство, напоить, накормить нашу еще не совсем окрепшую страну! Аресты и ссылки кулаков, то есть самых трудолюбивых, самых лучших людей, которых надо было ценить, уважать, гордиться ими и ставить их в пример другим, более слабым хозяйствам. Самые крепкие хозяйства разрушались и погибали на моих глазах.

И если он советский вождь и коммунист, ему должен был

быть дорог каждый человек, живущий в Советском Союзе. И чем лучше и счастливее жил бы каждый человек в отдельности, тем крепче и лучше была бы вся наша страна. Так думала я.

Ведь коллективизацию, если это было нужно, можно и надо было проводить мирным путем на добровольных началах, и была бы она более приемлемой, более безболезненной и более успешной для всех. Если бы Сталин, как Ленин в эпоху военного коммунизма, понял, что народ не принимает коллективизацию, то быстро нашел бы другой выход, как Ленин при НЭПе. Ведь в то время некоторые члены партии при введении этой торгово-капиталистической системы даже кончали жизнь самоубийством, но Ленина это не испугало, он только сказал: «Нам, коммунистам, надо научиться торговать».

То же самое произошло бы и во время коллективизации, ведь даже в сознании тех, кто родился, рос и воспитывался при прежнем режиме, а их было много, начали уже постепенно происходить какие-то перемены. Некоторые из них начали даже ценить и уважать то, что происходило в данный момент, кто-то уже перестроился или старался перестроиться, и не только физически, но и психологически. Но все равно, надо честно признаться, что происходящее не только крестьянам, но и всему населению не так легко было понять при общей неграмотности и отсутствии массовой информации. Ведь с начала таких огромных перемен прошло еще очень мало времени. Как этого не мог понять сидящий там наверху мудрец, когда даже мне в мои годы было совершенно ясно, что люди еще совсем не готовы к тому, что происходит, и к тому, что их заставляют делать.

А когда я услышала, что Надежда Аллилуева, жена Сталина, застрелилась — это было как раз в разгар коллективизации и страшной голодовки 32–33 годов, — я не выдержала и произнесла: «Вот глупая, чего же она не застрелила его» (то есть Сталина).

А все, что творилось в дальнейшем, после убийства Кирова, я уже воспринимала с глубокой необратимой ненавистью к нему. И когда я услышала по радио, что в Ленинграде он плакал у гроба Кирова, я не выдержала и вслух произнесла: «Убил, а теперь проливает крокодиловы слезы».

А когда один за другим начали исчезать с детства известные, всеми глубоко уважаемые люди, еще задолго до того, как мой отец попал в эту мясорубку, я уже слышать о Сталине не могла, так как считала его, и только его, виновником тех ужасов, которые происходили у нас в стране. Но это никакого отношения не имело к моей глубокой любви к нашей советской системе, завоеванной народом, я считала, что наш советский строй и идея

коммунизма — это лучшее, что есть в мире. Ведь и сам Сталин держался у власти только потому, что умело спекулировал этими идеями, но он же и оказался гробовщиком этой идеи и этой системы.

Когда началась война, я надеялась, что вот теперь найдется кто-нибудь из его окружения, кто пустит ему пулю в лоб, ведь не одна же я считала, что он довел страну до Второй мировой войны. И если бы он это сделал сам (то есть пустил бы себе пулю в лоб), я еще подумала бы, что в нем сохранилось что-то человеческое.

Но, увы, ни у него, ни у кого-либо другого не нашлось достаточно мужества и не поднялась рука уничтожить это чудовище. И миллионы, миллионы прекрасных, самых лучших людей нашей страны погибли, полегли из-за него и только из-за него, дав этому чудовищу возможность еще выше поднять свою звериную голову и продолжать чинить суд и расправу над людьми, чудом пережившими войну и прошедшими через мыслимые и немыслимые испытания.

Мало того, он сумел приписать, присвоить себе ту огромную славу и симпатию всего мира, которую заслуженно завоевала наша могучая Красная армия, миллионы погибших, миллионы искалеченных советских бойцов и понесший неисчислимые жертвы советский народ. Он сумел нацепить на себя все лавры победителя от маршала до генералиссимуса и удалить из поля зрения всех настоящих победителей, так же, как во время жутких чисток, расстреляв всех героев Гражданской войны, присвоил себе лавры победителя.

Во время всей войны и особенно после ее окончания я очень надеялась, что вернувшиеся с фронта, чудом уцелевшие победители смело и решительно потребуют убрать его. И сама я рвалась на фронт с единственной мыслью, что если я жива останусь и вернусь, то до последнего вздоха буду добиваться этого.

Но вместо фронта мы почти в конце войны очутились в Мексике. Это еще один из парадоксов чисто военного времени. И что же мы слышали, будучи в Мексике в посольстве? Что Сталин стал еще злее и что с еще большей жестокостью и злобой отправляет всех вчерашних героев-победителей в лагеря или на тот свет. И многие советские люди, попавшие волей или неволей в Германию и ожидавшие с надеждой и радостью возвращения домой, на родину, вдруг поняв, что они попадут из одного лагеря в другой, стали бежать, прятаться, кончать жизнь самоубийством, только бы не попасть из огня да в полымя сталинских лагерей.

И как раз в это время, когда мы уже очень хорошо знали и представляли, что творится у нас дома, мы получили

неожиданный не только для нас, но и для всех окружавших нас служащих посольства вызов вернуться в Москву.

Последние дни работы в школе

На следующий день я, разбитая, пришла в школу. Обычно я успокаивалась на работе, как и сейчас, когда я еще издали увидела пеструю веселую стайку детей, бегавших в саду вокруг школьного дома.

«Нина Ивановна! Нина Ивановна!»… Закричали все хором, увидев меня открывающей тяжелую железную калитку. И меня тесным, плотным кольцом, окружили наши русские ребятишки. Они что-то рассказывали, перебивая друг друга. Капризничала Лия Иванова, отталкивая Славу Васькина, вырывала его руку из моих рук, желая быть ко мне поближе. А Слава все теснее, прижимался ко мне. Так я дошла до ступенек балкона.

— Ну, дети, бегите играть!

Меня встретили несколько матерей, искренне огорченных нашим отъездом.

— Нина Ивановна, такого преподавателя, как вы, у наших детей не будет. Как же они теперь учиться будут? Ведь замены вам не прислали. О чем думает Москва?

Учительница Зоя Алексеевна, остающаяся одна на всю школу, жаловалась:

— Что я без вас буду делать? Как я выполню школьную программу? Математику, физику, химию я не могу преподавать, я только преподаватель русского языка и литературы.

Она говорила искренне. Учебный год только начинался, и я знала, что на знаниях детей это отразится плачевно. Но я также знала, что изменить никто ничего не сможет. Народ мы государственный логике и здравому смыслу, в наших головах не должно быть места, если какие-то безмозглые чиновники уже решили все за нас.

Надо сказать, что занятия в школе в это время шли уже полным ходом, поэтому наш отзыв ошеломил всех. И у всех появилась полная уверенность, что без доноса здесь не обошлось. Один из наших друзей, который по долгу службы должен был знать все про всех, определенно сказал:

— Я знаю кто, да и вы, наверное, догадываетесь, чьих рук это дело.

Я пропадала целый день в школе, стараясь помочь остающейся одной и окончательно растерявшейся учительнице подготовить на несколько месяцев вперед школьные задания по математике, по физике, по химии, по алгебре и даже

тригонометрии, так как учеников было не так много, но по возрасту они были с первого по десятый класс. И Зоя Алексеевна говорила, что по всем этим предметам, кроме русского, она чувствует себя «как в дремучем лесу».

Кирилл сдает дела

Посол был искренне потрясен:

— Почему и зачем вас отзывают? Ведь вы так здорово наладили работу, — сокрушался он.

Он даже пытался что-то сделать.

Многие ответственные работники посольства были также немало удивлены:

— Вы, Кирилл Михайлович, были единственным работником Наркомата внешней торговли, сделавшим очень многое за такое короткое время. Мы уверены, что вас вызывают не зря. Вы получите повышение, и вас назначат в другую страну.

Иностранцы же судили по-своему:

— Странные порядки в советском посольстве. Такого популярного работника среди иностранцев, как вы, привыкшего к здешним условиям, освоившего язык, привлекшего симпатии иностранцев к посольству, и вдруг вызывают. Вы уедете, и вся работа заглохнет.

— Что вы говорите? Приедет другой, и все будет по-прежнему, — успокаивал их Кирилл.

— Не скромничайте, нам со стороны виднее. Советское посольство должно гордиться таким работником, как вы.

По существу, все качества, которые иностранцы ставили в заслугу мужу, заставляли Москву отозвать его из Мексики. Популярность — вот что было самым *страшным* для советского правительства.

Кирилл в это время был занят сдачей и оформлением своих дел, что было очень важно. Муж сдавал дела советнику посольства тов. Малкову, помня предупреждение бывшего первого секретаря посольства Черкасова: «Вы остерегайтесь этого проходимца».

Кирилл настаивал на очень тщательной проверке всех финансовых, денежных и материальных документов. Кирилл также обратился с просьбой к послу создать комиссию по приему его дел, чтобы совершенно никаких подлогов не могло быть после нашего отъезда. Посол просьбу Кирилла поддержал и даже считал, по некоторым соображениям, что это необходимо.

После проверки и утверждения всех документов Кирилл отослал один экземпляр в НКВТ Микояну, второй передал послу и

официально заверенные копии оставил себе.

Мучительные раздумья

Мы мучительно решали вопрос: что делать?

Война кончилась. Мы знали, что для таких специалистов, как мы, на нашей родине работы *непочатый* край, захлебнуться можно, и она нас не пугала, а радовала. Так хотелось, как во время войны, много сделать для своей разрушенной, измученной страны! И тут же возникал вопрос, и мы спрашивали друг друга: а что, если нас, не дав даже ступить на твердую почву, не дав даже повидаться с родными, *арестуют?!!* Ведь отправляет же он снова в лагеря и на тот свет *даже героев*, чудом уцелевших и вернувшихся победителями, прямо с фронта.

Ну, сошлют нас, думала я, в *лучшем случае* куда-либо в Сибирь, Казахстан, на Дальний Восток на предприятия цветной металлургии, как специалистов. Я там уже повсюду побывала и встречала там крупных ссыльных специалистов из «группы Рамзина», с которыми даже подружилась, и меня это не пугало, а вот за Кирилла мне было страшно, я боялась, что он не выдержит. Он был *слабее* меня, и я также знала, что *нас разлучат*, а это означало *конец нашей семьи.* И вряд ли когда-нибудь мы могли бы встретиться вновь. И это было бы в *лучшем случае,* а ведь могло бы быть и *хуже…*

Но самое страшное было — как же *дети?* Что будет с ними? Их отправят в детские лагеря, созданные специально для детей репрессированных родителей, а что это такое, я уже знала очень хорошо. Это вовсе не были те детские дома, куда собирали всех беспризорных детей после революции, в которых работала моя мать и в которых были даже учителя немецкого языка.

Наши дети попали бы в те лагеря, которые *специально* были созданы для детей, родители которых как «враги народа» были сосланы или расстреляны.

И это *клеймо* осталось бы на *них* на всю жизнь. Об этих *лагерях* вспоминала я с ужасом.

Перед моим воображением, прошла длинная вереница детских лиц, у которых отняли их родителей, а они исчезли в каких-то «специальных детских домах», по существу бывших детскими тюремными лагерями. Сколько горечи и скорбной обреченности я читала на их не по-детски старческих лицах!

Когда я ходила по всем учреждениям, в надежде что-либо узнать о своем отце, я встречала *детей 10–12 лет,* которые также искали своих уже *не существующих* родителей, сидя со мной, вспоминали своих пап и мам и с болью и недетской тоской в

глазах спрашивали: *где они?* И так же как и я, *ждали и надеялись* получить ответ, что где-то они *живы,* когда их уже давно *не было в живых.*

Почему, зачем в нашей любимой, прекрасной стране должно происходить такое? Что заставляет людей делать такой тяжелый, страшный выбор?

Детей мы не беспокоили, мы знали, что для них это тяжелая травма.

Мы сами проводили бессонные ночи, мучительно решая вопрос: *Как быть?!! Что делать?!!*

Ведь, помимо нашей судьбы, от нас еще зависела судьба *оставшихся там* родных и близких нам людей. Надо вернуться, решали мы. И сразу вставал вопрос:

А если нас *тут же арестуют,* тогда все равно ни мы им *не поможем,* ни детям, ни себе, и, может быть, всем *будет еще хуже.*

Мне было *нестерпимо* тяжело. Я *день и ночь* думала о том, *что будет* с моей матерью, если мы останемся. В 1937 году она так трагично потеряла мужа, в 1942 году — единственного сына, который погиб при защите Ленинграда от немцев, а теперь потеряет меня и детей. Мысль о том, что может случиться с пережившей столько горя матерью, хватит ли у нее мужества и сил пережить еще и этот удар, сводила меня с ума.

Но я знала, что если нас арестуют, сошлют, а детей отнимут и отправят в лагеря, она тоже не выдержит.

Я должна буду *бросить мать*. Да, *бросить*, не вернувшись.

Пошел десятый год дня ареста моего отца. Мне вспомнился тот бесконечно длинный, страшный год. *Вернется или нет отец?* Все девять лет днем и ночью эта мысль не давала мне покоя. Как там переживает все это одна мама?!! Ей каждый день кажется вечностью. Ведь она не знает даже и того, что известно мне о судьбе отца, если я, зная все подробности об отце, *не могу* смириться с тем, что его нет, и, надеясь на *чудо*, жду.

То она, *тем более надеется,* вдруг отец *пережил все-все мучения* и остался *жив*. И что она будет не одна, что кончатся десять лет ужасной разлуки, которые разбили всю семью, все надежды и жуткая, страшная война, которая унесла единственного их сына, моего брата, который на войне, на фронте хотел доказать, *что его отец не враг народа*, а *он не сын врага народа* и, не считаясь ни с чем, подставлял свою голову в самые опасные операции.

Если мы *останемся,* промелькнуло у меня в голове — это значить отнять у нее *все*, что поддерживало ее и приносило ей хоть капельку радости.

Дети не скажут больше:

— Бабушка! Мы поедем к бабушке!!!

Злой рок отнял ее у них… А если вернемся, то у них могут отнять отца и мать.

Ведь мы уже побывали *за границей* и стали *клейменными.*

Подрастали дети, надо было дать им ответ, где мой отец. А это значило, воспитать их так, как *хотелось* Сталину, *по-сталински.* В *ненависти* к моему отцу, их дедушке, *«врагу народа»* и любви к *той* Советской власти, которую Сталин насаждал. Или *научить* их врать и изворачиваться. Я не могла сделать ни того, ни другого. Я хотела, чтобы они были искренние и честные, гордились бы прошлым своего деда и любили бы крепко наше настоящее. Ведь *я никогда не могла забыть*, как мне, заполняя анкету и дойдя до этой *злополучной* графы — были ли репрессированы ваши родственники? — становилось невыносимо больно. *Надорвалась* вера в нашу справедливость.

Душераздирающее решение

И вот в этих условиях *нам* тоже надо было принять *решение.* И мы с мужем, после долгих, мучительных колебаний решили тоже не возвращаться и, перелетев на территорию США, попросить у американского правительства предоставить нам политическое убежище.

Как трудно*, как тяжело* было нам принимать это жуткое решение, пусть никто никогда не спрашивает!

И поверьте, что уйти в это добровольное изгнание, оставить свою Советскую страну, которую мы любили и любим искренне и глубоко, и обратиться к правительству чужой страны было самым тяжелым испытанием, которое мы могли себе придумать. Но это, казалось, была единственно возможная форма протеста против того, с чем мы не могли примириться у себя на Родине.

Причины, побудившие нас, и не только нас, а миллионы (в буквальном смысле этого слова) советских людей, очутившихся, вольно или невольно, за пределами нашей родины, не возвращаться, а бежать, заключались в полном отвращении к Сталину и тому режиму, именно «режиму», который он создал, или с его благословения был создан, в нашей стране. В нашей стране была создана Сталиным не Советская власть и не советская система, а жестокий сталинский режим.

Все так же, как и мы, ожидали и надеялись, что, как только война кончится, победители, вернувшись после победы, уберут Сталина. И из-под грозных сталинских туч засияет солнышко, и на их кровью омытой земле жизнь переменится и пойдет по-другому пути, так, как они мечтали после Гражданской войны.

Получилось все с точностью до наоборот. Сталин всех, кто возвращался, кого пощадила немецкая пуля, не дав им опомниться, повидать родных и близких, отправлял в дальние лагеря.

Побег

Изменение планов

И наконец посол сообщил нам:

— Вы поедете *через США*. В американском консульстве для вас уже заказаны визы.

Мы предполагали, что у нас будет обычный маршрут, как и для всех уезжающих до сих пор, через США.

Когда из американского посольства сообщили мужу, что виза уже готова и ее можно получить, нам в посольстве заявили, что в ней надобности нет. Т. к. на днях приходит советский пароход «Маршал Говоров» в порт Вера-Крус и что для нашей семьи на этом пароходе забронирована каюта, и нам предложили ждать. Это известие расстроило все наши планы. Прибытие парохода ожидали со дня на день.

Нам сообщили, что пароход «Маршал Говоров» уже прибыл в Вера-Круз. День отъезда неумолимо приближался, надо было быстро решать, что нам делать. А мы все никак не могли решить: ехать или не ехать? Этот вопрос казался нам страшнее смерти.

Остаться… Но на пути к осуществлению этого проекта было множество препятствий, и их становилось все больше и больше. Нам казалось, что за нами уже следили. У нас не было паспортов на руках, которые в первый же день после приезда сдаются в посольство, где хранятся до того момента, пока человек не готов сесть в поезд или в самолет.

Оставаться в Мексике с детьми, зная печальную судьбу тщательно охраняемого Троцкого и всю механику осуществления таких замыслов, было просто безумием.

Господин случай

И как всегда, помог господин случай. Кириллу накануне выдали наши паспорта. Но для того чтобы попасть в США, необходимо было получить американскую визу. Вспомнив, что нам была заказана виза раньше на случай выезда через США, и в надежде, что ее не отменили, Кирилл за 15 минут до закрытия зашел в американское посольство. Визы получил тут же, и в аэропорту зарезервировал билеты до Броунсвилля в США на 5 часов утра.

От волнений и переживаний, когда он об этом мне сказал, я совсем заболела. У меня поднялась температура, меня знобило,

лихорадило. В этот вечер часов в 8 к нам зашел наш очень хороший знакомый врач. Взглянув на меня, он немедленно помчался в аптеку, вернулся с лекарством и тут же уложил меня в постель.

Какие это были магические таблетки, я не знаю до сих пор, но они мне помогли. Температура спала, озноб прошел, и я сумела кое-как собраться с мыслями и кое-как собрать самое необходимое, бросив все, как было. И в 5 часов утра мы прибыли в аэропорт.

Прощай, Родина!

27 ноября 1946 года американский самолет в 9 часов утра приземлился на границе Мексики и США в городе Бронсвилл, штат Техас. И только вступив на твердую американскую почву, мы почувствовали себя в относительной безопасности. Потому что, пока самолет летел над мексиканской территорией, мексиканское правительство по просьбе советского посольства могло потребовать вернуть его обратно.

Дети, которых мы разбудили в 4 часа утра и сказали им, что летим на один из мексиканских курортов, сейчас, удивленно оглядываясь по сторонам, протянули:

— Вот вам и Акапулько, мы ведь в Америке.

В здании «Кастом-хаус» на границе, в таможне, еще было чувство страха — а вдруг уже сюда передали требование задержать нас? И когда все формальности как транзитных пассажиров были закончены и мы подошли к такси, я уже еле-еле держалась на ногах от волнения. Такси помчало нас вдоль американо-мексиканской границы в город.

Нам нестерпимо тяжело было расстаться со своей Родиной, со своим многострадальным народом. Разрыв с Советским Союзом для нас (как и для всех советских эмигрантов) значил самим похоронить, поставить крест на всем своем прошлом вместе с родными и дорогими, близкими людьми. Руки и ноги дрожали, сердце стучало так громко, мне казалось, почти вслух.

Шофер такси любезно объяснял нам, как заправским туристам: «Вот мост через Рио-Гранде, а вон там „Кастом-хаус“ с мексиканской стороны, у переезда через мост». И, двигаясь вдоль американской границы, мы с грустью смотрели и чувствовали, что где-то там, за этим мостом осталась приветливая, веселая, бедная и богатая, гостеприимная страна Мексика.

Там же осталась небольшая, но внушительная, отгороженная высокой железной оградой территория, неприкосновенная собственность Советского Союза — советское посольство:

«Кальсада Такубая № 204 (досиэнтос куатро)», которое во всех мельчайших деталях отражало нашу настоящую советскую действительность.

Навсегда

Один этап нашей жизни окончился, и окончился, НАВСЕГДА.

Навсегда. Боже мой, кто из тех, кто не пережил, может это понять? Что вы не просто остаетесь в какой-то стране по тем или иным причинам и в любое время сможете вернуться обратно, вы на всю жизнь превращаетесь в изменника родины, в преступника, не совершив в жизни ничего преступного. Вы покидаете страну, в которой вы родились, выросли, где остаются самые дорогие и близкие вам люди, где прошли лучшие годы вашей жизни, и это — НАВСЕГДА.

Это чувство страшнее, чем возвращаться с похорон. Вы похоронили не просто кого-то из близких, вы хороните — и навсегда! — всю свою прошлую жизнь и самую любимую в мире Родину.

Кто, кто создал и укрепил такую жуткую систему, при которой человек, не совершивший никакого преступления, может быть арестован, сослан, лишен даже жизни и боится вернуться к себе на Родину? А ведь даже после революции, после Гражданской войны, когда был еще жив В. И. Ленин, и несколько лет после его смерти еще были годы, когда человек мог свободно выехать и въехать обратно в страну. Все эти драконовские законы были созданы при Сталине и закреплены Сталиным.

Итак, один этап нашей жизни кончился, и кончился навсегда. А что нас ждет впереди, мы понятия не имели. Мы только знали, что с этого момента судьба наших детей и наша судьба в наших руках. Мы надеялись на то, что мы еще молоды, работы никакой не боимся и что у нас хватит сил дать хорошее воспитание и образование нашим детям. И теперь это было самое-самое главное в нашей жизни.

Политические эмигранты

Письмо Сталину

Люди бежали из СССР не от советской системы, а бежали от вашего сталинского режима, не имевшего ничего общего с советским строем и тем более с коммунистической идеей. Вы, захватив всю власть в свои руки, эксплуатировали идею коммунизма и Советской власти. Называя себя коммунистом, вы были самым большим гробовщиком коммунизма и коммунистической идеи. В эту идею верили лучшие люди всей нашей планеты, а вы оттолкнули всех их. Вы загубили все их надежды и загнали в гроб все их чаяния на светлое будущее для всего человечества.

Вы превратили жизнь людей в каторгу, и все хорошее, чего люди добились, они добились не благодаря вам, а вопреки. Если бы вы не были помехой, наша страна при советском строе стала бы одной из самых передовых, самых справедливых, самых богатых и самых счастливых стран мира. Да, именно самых богатых и счастливых. И, я в этом уверена, это было как раз то, чего боялись и не хотели видеть все наши враги, а вы им помогали и помогли, а народ, выбиваясь из последних сил, старался сделать максимум в тех невыносимых условиях, которые под вашим руководством создавались для них. Почему в нашей богатейшей из стран люди умирали от голода, а штабеля пшеницы прели и прорастали у железнодорожных вокзалов? Почему???

До того как вы захватили всю власть в свои руки, у людей было чувство свободы: это не значило, что каждый мог делать все, что ему в голову взбредет, грабить, насиловать, убивать или вообще ничего не делать, — это была бы не свобода, а анархия. Свобода равенства — это значит, что каждый имеет возможность свободно реализовать свои способности, свой талант и вообще осуществить, в основном, свои желания, стремясь к лучшей жизни для себя и для всех окружающих. Все было возможно до тех пор, пока вы не начали душить это своими дикими и страшными так называемыми мероприятиями.

Начиная с дикой, бесчеловечно жестокой принудительной коллективизации. Это был первый гвоздь, который вы вколотили в гроб советского строя. Это была первая провокация, на которую вы клюнули, превзойдя даже всех тех, кто вам ее подсказал. И дальше все пошло-поехало у вас как по маслу.

Головокружение происходило не от успехов, а от всех содеянных под вашим «идейным руководством» преступлений. Вы разгромили все села, где люди радостно трудились и с веселыми

песнями по ночам, после тяжелого, изнурительного сельскохозяйственного труда счастливо и радостно стремились улучшить, обогатить свою жизнь и жизнь всей нашей страны, и делали это с огромным успехом.

Я ездила по Украине и могу все это подтвердить как очевидец.

Вы согнули крестьянина в бараний рог насильственной коллективизацией, не имея ни малейшего представления, что такое крестьянский труд, да вряд ли вы, судя по всему происходившему, хоть немного соображали, что такое *коллективизация* и как ее надо проводить, если при этом вы довели людей до людоедства.

Уничтожив, ликвидировав трудовое крестьянство, вы создали условия для страшного голода в самой богатой, самой плодородной стране мира, который с ужасом вспоминают пережившие его и который унес несколько миллионов советских людей в могилу. Таков был первый этап ваших чудовищных преступлений.

На втором этапе ваших преступлений вы, якобы для сохранения чистоты идей, с маниакальной настойчивостью взялись уничтожать лучших из лучших, честнейших из честнейших людей, боровшихся за спасение и сохранение коммунистической идеи.

Вы хоть раз подумали о том, разве могла бы удержаться Советская власть, и вы, в том числе, целых 20 лет, находясь в таком «страшном» окружении, среди заслуженно занимавших столь ответственные посты людей, если бы все они были «враги народа и предатели» и желали вашей смерти и ликвидации Советского Союза? Неужели в течение всех этих двадцати лет ни у кого из этих так называемых «предателей» и «врагов народа», собиравшихся вас убить, не нашлось одной единственной пули для вас а у вас для их уничтожения нашлись не сотни тысяч, а миллионы. Как выдержала страна такое с вашей стороны предательство? Вы уничтожили самых самых лучших, талантливых, окружив себя бездарностями.

Вы уничтожили этих людей, приклеив им ярлыки «врагов народа», а на самом деле *враг и предатель народа — это вы и те консультанты,* которые окружают вас. Вы загубили *великую идею*, которая потрясла весь мир, вы *растоптали лучшие надежды всего мира,* вы утопили ее в крови невинных людей. Вы творили *преступления, равных которым не знал весь мир.*

Те люди, которых вы отправляли на эшафот, под пули, всеми силами, ценой своей жизни старались не повредить, сохранить ту идею, за которую они всегда готовы были жизнь отдать, и

косвенно спасали вас, Сталина, т. к. вы отождествляли себя с этой идеей.

Ведь никогда, ни при каких условиях никакая явная и тайная контрреволюция не смогла бы произвести такой террор и нанести такой урон стране без вашей активной помощи. И те, кто проиграл Гражданскую войну народу, могли с триумфом заявить, *что они выиграли ее с помощью Сталина*.

Какой же мудрый вождь способен был гнать на фронт безоружных солдат навстречу до зубов вооруженным немцам?

И наконец, если наш народ в тех отчаянных условиях, в которых находилась во время войны страна, сумел буквально на ходу мобилизовать кадры, создать необходимое вооружение и снаряжение, так почему же при нашем «мудром» руководстве это не было подготовлено заранее, чтобы находящиеся на фронте самые дорогие нам люди не писали нам через полтора-два года: «Теперь мы оснащены и не боимся врага…»

Каждое утро, просыпаясь, я думала: «Неужели не найдется кто-либо из его ближайшего окружения, кто был бы готов пожертвовать собой и пустить ему пулю в лоб?» Поэтому моя первая реакция, когда я услышала, что Надежда Аллилуева покончила с собой, тоже была: «Вот глупая, почему же она не покончила с ним? Ведь она лучше, чем кто-либо другой, уже знала, на что он способен. Сколько миллионов жизней она спасла бы».

И наша победа — это не заслуга Сталина, это заслуга народа, спасшего страну уже второй раз в течение одного столетия и от порабощения в тайной надежде, что сумеют избавиться и от Сталина.

Политическое убежище

Смертельно опасный поступок

Итак, 27 ноября мы приземлились в Броунсвилле, штат Техас. А 2 декабря в 6 часов утра мы прибыли на поезде в Нью-Йорк и вышли со станции Гранд-Централ-Стейшен прямо на 42-ю улицу.

А что дальше? В этом огромном людском океане, в Америке, у нас не было ни единой души знакомых. Мы стояли, смертельно уставшие, растерянные на улице. Куда идти? С чего начинать? К кому обратиться?

К нам подошел какой-то мужчина, на вид довольно прилично выглядевший, и предложил проводить нас в гостиницу. Он остановил такси у гостиницы, которая даже снаружи выглядела как вертеп для дешевых проституток, а внутри в крохотной комнатке стояла кровать, на которую можно было улечься, только с трудом протиснувшись.

Наш «гид» потребовал 3 доллара за свои услуги.

Расплатившись с ним, мы решили сами поискать что-либо более приличное. На 48-й улице вест в отеле «Ашлей» нам предложили номер из двух комнат с ванной за 48 долларов в неделю. Здесь мы и остановились.

Наконец после многих бессонных ночей и невероятно напряженных дней мы поняли, что до сих пор все наши силы уходили на то, как осуществить наш выезд из Мексики и как преодолеть все связанные с этим трудности, что потребовало невероятного физического и морального напряжения. Это был отчаянный, смертельно опасный поступок для нас и для наших детей. Что будет с ними дальше? Как они воспримут то, что произошло?

Ведь до сих пор они думают, что это наша остановка по дороге домой, где их ждут *бабушка,* дяди, тети, кузины, которых они никогда, никогда больше не увидят. Желая спасти их от опасности, мы лишили их всех радостей, а может быть, и счастья общения с родными и близкими им людьми.

Мы лишили их родины, их страны… Как они воспримут это? И как воспримет их новая страна?

Мы, два инженера, два высококвалифицированных специалиста, особенно Кирилл, думали, что в той стране, которая предоставит нам убежище, мы сумеем быть полезными гражданами и сумеем оградить наших детей от того, что в тот момент нам казалось неизбежным.

Первоочередные задачи

Итак, прежде всего нам надо поставить в известность американские власти о нашем пребывании в Америке и просить предоставить нам политическое убежище, а затем немедленно искать работу.

Работа — это было очень важно для нас, так как все наши средства равнялись 1000 долларов, которые мы получили за проданную машину, и они буквально таяли у нас на глазах, поэтому работа была нам необходима как воздух.

Наши ребята, хорошо говорившие по-испански, очень быстро познакомились и подружились с секретаршей нашей гостиницы, и она сразу же пригласила их в кино на очень популярный детский фильм, кажется «Семь гномов», Уолта Диснея.

Мы с Кириллом решили прежде всего познакомиться с русскоязычной прессой и там найти человека, с кем могли бы посоветоваться. Нам в это время необходимы были не просто светские знакомства, а знакомство с теми людьми, которые хотя бы отдаленно понимали, в каком (если так можно выразиться) психологически-моральном состоянии мы находимся.

Кирилл принес целую кипу русских газет, из них мы выбрали «Новое русское слово», она произвела на нас наиболее благоприятное впечатление.

Редактор «Нового русского слова» и адвокат Виноградов

Кирилл пошел в редакцию газеты «Новое русское слово». Его провели к одному из ответственных администраторов.

— Очень милый пожилой человек, принял меня очень приветливо, я не назвал ему своего имени, я только сказал ему, что я русский, с семьей, в США всего один день и хотел бы получить какой-либо совет, какие шаги надо предпринять человеку, имеющему только транзитную визу и желающему остаться в США. Выслушав меня, он только сокрушенно покачал головой.

О чем он сокрушается? — подумал я. — Ведь я не рассказал ему ничего страшного.

И только на следующий день, когда Кирилл снова пришел к нему, взяв с него слово, что он не напечатает в газете то, что он ему расскажет, Кирилл рассказал ему, кто мы. Слово он сдержал и не напечатал.

Выслушав Кирилла очень внимательно и очень сочувственно, он порекомендовал нам обратиться к его знакомому адвокату

Виноградову.

Мы немедленно помчались к нему. Мы хотели узнать, какие правила и какие законы существуют в Америке для таких случаев, как наш.

С чего начинать и к кому обратиться? Виноградов произвел на нас очень приятное впечатление. Эрудированный, приветливый, энергичный, внимательно выслушав нас, дал массу полезных советов. На нашу просьбу взять на себя дело нашей легализации он ответил:

— Заняться делом вашей легализации я бы очень хотел, но, к сожалению, у меня целый ряд дел о наследствах и всякие другие, связанные с Советским Союзом. Если бы ваше дело можно было провести тихо, без шума, я бы за это взялся, но, к сожалению, этого вам избежать не удастся.

Нам бы тоже очень хотелось не поднимать шума, но, к сожалению, это было неизбежно. Он посоветовал нам обратиться к адвокату *Эрнсту Моррису*.

Кирилл спросил:

— Скажите пожалуйста, сколько приблизительно могут стоить услуги адвоката по легализации?

Он ответил:

— 500 долларов, но с вас я даже этого не взял бы, я так глубоко сочувствую и понимаю ваше положение, пока вы не обустроитесь.

Он также посоветовал нам познакомиться с русской (как он сказал) колонией. И дал адрес Толстовского фонда.

Толстовская ферма «Рид Фарм»

Кирилл пошел в контору Толстовского фонда познакомиться с русскими. Когда вернулся, сказал, что Александра Львовна Толстая пришла в ужас и заявила:

— Вы не можете оставаться в гостинице, это *очень опасно* для вас и для ваших детей.

В тот же день часов в шесть вечера к нам в гостиницу пришла Александра Львовна и категорически предложила:

— Собирайтесь, у меня внизу машина, мы поедем к нам на «Рид-фарм», здесь оставаться вам ни в коем случае нельзя. Это очень, очень опасно.

Мы с удовольствием приняли ее приглашение.

Дети радостно побежали вниз. Кирилл всю дорогу проболтал с Александрой Львовной, у них даже какие-то общие близкие знакомые нашлись.

Нам с Кириллом дали маленькую комнату на втором этаже в

главном здании. Детей поместили в домике во дворе под надзором милого пожилого господина, руководившего этим детским домом.

Утром Александра Львовна познакомила нас с Татьяной Алексеевной Шауфус. Руководить нашей судьбой как будто взялись эти две дамы.

— Сколько с вас взял Виноградов за свои услуги? — спросила Т. А. Шауфус.

— Ничего, — ответил Кирилл. — Он сказал, что если бы он взял наше дело, то это стоило бы нам приблизительно 500 долларов.

— Гоните его к черту! Правда, Шура? — обратилась она к Александре Львовне.

Не пользуясь никогда в жизни услугами адвокатов, мы вообще понятия не имели, дешево это или дорого. Учитывая размеры зарплаты советских служащих, нам эта сумма казалась довольно значительной, но мы надеялись, что в будущем мы сумели бы расплатиться.

Александра Львовна и Татьяна Алексеевна Шауфус сообщили нам, что завтра приедут служащие Госдепартамента, которые хотят с нами познакомиться и поговорить.

Нам, по наивности, казалось, что лед тронулся, что это начало нашей связи с американским правительством и теперь наше дело сдвинется с мертвой точки.

Кирилл заявил им, что мы советские граждане, оставили свой пост в посольстве и просим американское правительство предоставить нам и нашим детям политическое убежище в Америке.

Чиновники несколько раз приезжали на толстовскую ферму, очень любезно разговаривали с Кириллом, меня не беспокоили.

Цена опечатки

Кирилл, очень удрученный после разговора с теми, кого мы еще считали представителями от Госдепартамента, сказал мне:

— Ты понимаешь, меня упорно спрашивали, не являюсь ли я агентом НКВД, вот уж к кому-к кому, а к этой почтенной организации я никогда никакого отношения не имел.

Мы долго не могли понять, откуда они это взяли.

Оказывается (о чем мы узнали гораздо позже), после гибели Уманских в мексиканских газетах были напечатаны фамилии членов комиссии по проведению похорон погибших Уманских и его свиты, и там было написано: «сеньор Алексеев, представитель НКВД» (Народный комиссариат внутренних дел) вместо НКВТ

(Народный комиссариат внешней торговли). Из-за одной буквы содержание получилось довольно зловещее. Тогда в той суматохе, во время похорон никто на это не обратил никакого внимания, но здесь эту газету раскопали, и теперь надо было доказывать, что ты не верблюд.

Это тоже создало нам миллион всяких неприятностей. Но главным было то, что мы даже не знали, что они подозревают Кирилла в принадлежности к НКВД. Он упорно твердил, что никогда никакого отношения к этой организации не имел.

— Значит, скрывает, — решили по-дурацки они. Но неужели они не понимали, что ни один агент в здравом уме никогда в жизни не скажет представителям прессы: я представитель или я агент НКВД?

За это время мы уже кое-что узнали о предстоящих нам мытарствах, как в отношении продления визы, получения права на работу, так и оформления нашего статуса политических эмигрантов.

— Так что же нам делать? С чего начинать?

На ферме мы уже познакомились с ее жителями и с некоторыми довольно крепко подружились, особенно быстро мы сблизились с княгиней Лидией Александровной Голицыной, с ее мужем Николаем Васильевичем Голицыным, с их дочерью Татьяной и ее будущим мужем Николаем, бывшим солдатом Красной Армии, который не вернулся в Советский Союз, остался во Франции и которого они приютили и привезли с собой в Америку.

Мы также познакомились с внуком Льва Николаевича Толстого Иваном Михайловичем Толстым.

Они все тоже приехали из Франции совсем недавно. Пройдя там все испытания предвоенной и послевоенной суматохи и будучи сами почти всю свою жизнь эмигрантами, они очень хорошо понимали наше положение и искренне хотели нам помочь. Но они были такие же *вновь приехавшие,* как и мы, и знали Америку и американские порядки *не намного лучше нас.*

Поклонница Евгения Львовича

Такое удивительное сплетение обстоятельств бывает тоже один раз в жизни. Александра Львовна Толстая познакомила нас с очень известным американским журналистом и с его женой. Она и пригласила их на толстовскую ферму, и с тех пор и до самой смерти они были самые близкие наши друзья.

В то время в Нью-Йорке была пара русских ресторанов, в которых поздно ночью выступали неплохие артисты, туда и

любили ходить наши новые знакомые, чтобы послушать русское пение. Они всегда просили нас пойти вместе с ними, составить им компанию.

Когда мы выходили из этих русских ночных клубов, Сюзи, прижавшись ко мне, говорила: «О, как я люблю, Нина, эти русские песни».

Однажды она пригласила меня и Риту, их взрослую дочь, которая была уже замужем, зайти к ней в спальню, и здесь я вдруг увидела точно такую же фотографию, которая привлекла мое внимание в кабинете Евгения Львовича 12 лет назад в предвоенной Москве. Я только успела сказать: «Эту фотографию я ви…», но взглянув на Сюзи, я, что называется, на полуслове проглотила язык — на ней просто лица не было. А спустя несколько дней мы с ней встретились на «ленче» в ресторане «Уолдорф-Астория».

— Нина, я поняла, что ты была знакома с Евгением Львовичем, ты его хорошо знала?

— Мы были хорошие друзья.

— А я этого человека любила так, как никогда никого. Я готова была идти за ним, куда угодно.

— Ты что, могла бы бросить Марти? — спросила я.

— Ты не понимаешь, я могла бы бросить все. Я так тяжело переболела, что думала, не перенесу разлуки с ним.

— Ну а он? Как он к этому относился, ты ведь с ним говорила. Может быть, он не знал о твоих чувствах к нему и думал, что тебе от скуки просто хочется развеяться.

— Как не говорила, мне до сих пор тяжело вспоминать, мне кажется, я и сейчас бросилась бы за ним в огонь и в воду. Я писала, умоляла его. Он всегда был очень корректен и вежлив, но и только. Я два месяца жила рядом с ним в палатке, это самые счастливые дни в моей жизни. Нина, если бы ты знала, как я его и сейчас люблю. Когда ты сказала, что видела точно такую фотографию, я сразу поняла, что ты его знаешь. Я всю ночь не могла уснуть. Как он сейчас, где он?

— Насколько я знаю, он во время войны был на фронте с маршалом К. К. Рокоссовским.

— Его я тоже знаю, мы часто встречались на приемах, они были большие друзья.

— А как Марти к этому относился? Или он не знал об этом?

— Как не знал? Я не могла скрыть свои чувства даже от него, и если бы не он, меня, наверное, в живых давно бы уже не было. Ты знаешь, такое бывает у человека один раз, и это на всю жизнь.

Прошло уже двенадцать лет, как я познакомилась с Евгением Львовичем, с тех пор сколько воды утекло, и вот через океан, на

другой части нашей планеты, в Нью-Йорке я встретила женщину, о которой он, под впечатлением только что закончившегося романа, вспоминал и рассказывал мне.

Слухи ползут

Несмотря на то что мы старались вести себя, как я уже сказала, тише воды и ниже травы, слухи о нашем невозвращении уже распространились, еще до нашего выступления в печати. Несколько американских журналистов отправились в Мексику в советское посольство с вопросом о том, что ходят слухи, что сотрудник советского посольства в Мексике Алексеев с семьей отказался вернуться в Советский Союз и сейчас находится в США и просит американское правительство предоставить ему право политического убежища.

На что в посольстве якобы им сказали, что Алексеев с семьей выехал домой и что сейчас они, по-видимому, находятся либо по дороге домой, либо уже в Москве.

Это сообщение сильно взволновало Александру Львовну, она высказала предположение, что если с нами после такого ответа что-либо случится, то советское правительство *легко может откреститься* и сказать, что таких они не знают и что Алексеев с семьей давно уже в Москве.

Что же делать дальше? С чего начинать? Всем было ясно одно: нам нужен очень опытный адвокат, который знает с чего начинать, куда обратиться, какие бумаги заполнить, куда их подать.

— Собственно, то же самое посоветовали и чиновники из Госдепартамента, — сказал Кирилл.

Крупный адвокат господин Моррис

Лидия Александровна Голицына вызвалась поехать в Нью-Йорк для встречи с ее очень хорошим знакомым, с которым она работала во Франции после освобождения города от нацистов, где он занимал крупный пост как представитель американского правительства. Может быть, он даст какой-либо дельный совет.

Вернувшись из города, Лидия Александровна сказала:

— Я поговорила с моим знакомым о вас и спросила его, знает ли очень известного адвоката г-на Морриса, который занимается вопросами политической эмиграции. Он ответил, что знает его и что приедет с ним вместе сегодня вечером к нам, чтобы с вами познакомиться.

Действительно, поздно ночью, часов в 11, приехали три

человека. Лидия Александровна познакомила нас с очень приятным, лет сорока, господином Джолисом, его женой Эвой, очень интересной испанкой, с которой нам гораздо легче было общаться по-испански, чем по-английски.

Лидия Александровна представила их нам как своих лучших друзей, идейно сочувствующих нашему положению и готовых помочь нам, как своим друзьям.

С ними был довольно симпатичный блондин, которого они представили нам как господина Морриса — очень *известного, крупного* адвоката по политическим вопросам, изъявившего желание нам помочь.

Сам Моррис представился нам как *крупный* адвокат, *убежденный* антикоммунист, всегда готовый помочь людям, бежавшим от коммунистического режима, что у него есть *крупные связи* в правительстве и что ему очень легко будет провести нашу *легализацию* в США, что он через конгрессмена Кудера проведет специальный билль (то есть закон) относительно нас.

Кирилл спросил у него:

— Зачем в нашем случае необходимо проводить *специальный закон?* Если американским властям будет ясно, кто мы, откуда мы и зачем мы находимся в этой стране, нам могут предоставить политическое убежище, так как мы являемся политическими эмигрантами.

Он на это ответил:

— Вы не должны забывать, что ваше положение не такое простое, как вы его себе представляете. Что ваше положение *очень опасное*, и что эмиграционные власти в любой момент могут выдать вас советскому правительству.

И что помочь нам может только такой адвокат, как он, имеющий *большие связи* в правительстве. И что в нашем случае нужно действовать не снизу вверх, а сверху вниз.

Тогда Кирилл спросил:

— Сколько ваши услуги будут стоить?

Для нас этот вопрос был далеко не праздный. Мы знали, что наша жизнь должна начаться с работы. Денег для жизни у нас было в обрез, в лучшем случае на месяц, максимум — полтора. И для нас работа, право на работу являлось главным условием нашего существования. Мы не получили расчета перед отъездом, мы даже не получили зарплату за последний месяц нашей работы.

Весь наш капитал, как я уже сказала, состоял из 1000 долларов, полученных за продажу машины, которые таяли как снег. Моррис не задумываясь быстро ответил:

— Меня ваше дело интересует только *с политической* точки

зрения, а не с коммерческой. В дальнейшем я представлю вам счет за мои *издержки* по вашему делу в очень, очень скромных размерах.

При этом он вынул из кармана лист бумаги с уже напечатанным текстом и протянул нам для подписи, попросив еще раз не беспокоиться сейчас об оплате.

Я немного заколебалась, не зная, что мы подписываем, попросила отложить на денек и попробовать посоветоваться с Виноградовым. Кирилл меня поддержал.

Но все присутствующие, новые и старые друзья, наперебой стали уговаривать нас сейчас же, не теряя времени, подписать этот документ, который даст ему право выступать от нашего имени немедленно. Они уверяли нас, что это *сущая формальность* и что мы можем отказаться от услуг этого адвоката в любое время, если что не так.

Мы подписали этот документ, действительно, в нашем тяжелом положении долго думать было некогда.

Гости уехали далеко за полночь, говорили они долго и о чем угодно, но, к нашему удивлению, теперь уже наш адвокат, взявший на себя обязательство защищать нашу судьбу, не задал нам *ни одного вопроса,* не поинтересовался толком, кто мы, откуда мы, каким образом мы здесь очутились.

В то время как наш поступок был для нас вопросом жизни и смерти, мне показалось, он относится к нам, как к *случайно проезжающим* людям, решившим остаться в Америке и постараться получить право политического убежища.

Господи, подумала я, ведь он о нас ничегошеньки не знает, кроме наших имен, которые он с трудом произнес, когда внес их в тот лист бумаги, который мы подписали. Как же он собирается выступать, и перед кем, в нашу защиту?

Литературные страсти

Шуточки разведчика НЕВИ

На следующий день Лидия Александровна Голицына сообщила нам, что наше дело попало в хорошие руки, к *тому самому адвокату,* о котором мы уже слышали от Виноградова, и что адвокат Моррис приедет к нам в воскресенье.

Действительно, на следующий день, в воскресенье часа в 4 дня подъехали две машины, адвокат Моррис тут же предложил нам немедленно ехать с ними в Нью-Йорк. Он заявил, что оставаться нам здесь на ферме очень опасно, что у него есть все основания утверждать это и что он нашел для нас более надежное убежище. Кирилл попытался возразить:

— Что может быть *опасного* на ферме? Здесь так много людей, и ферму по ночам охраняют патрулирующие машины.

К нам на помощь пришла Александра Львовна Толстая. Она старалась уговорить адвоката:

— Оставьте их здесь. Я обещаю, если и когда будет в этом необходимость, хоть каждый день привозить их в Нью-Йорк.

Но Моррис так *неумолимо* стоял на своем, что нам стало ясно — мы уже в его руках, и если он что-то предпринимает, нам нужно помочь ему.

Мы распрощались, поблагодарив Александру Львовну за ее гостеприимство и участие.

Моррис быстро помог вынести пару наших чемоданов, позвать детей. Им очень не хотелось покидать ферму, но Моррис заявил, что нам нужно всем, всей семьей ехать в Нью-Йорк. Мы скоро поняли, что ему или им нужно было полностью *взять нас под свой контроль*.

Возле той машины, в которую мы должны были сесть, стоял молодой человек, который отрекомендовал себя: Мартин Ричмонд — адвокат, *компаньон* Морриса.

Детей посадили в машину Морриса. Мне и Кириллу Ричмонд предложил сесть в его машину, мы были удивлены, когда увидели в углу машины фигуру спокойно сидящего человека в форме морского офицера. Он поздоровался с нами по-русски и сообщил нам, что работал в Москве при американском посольстве в качестве морского атташе, где и научился вполне терпимо говорить по-русски, а также отрекомендовал себя *работником секретной разведки* НЕВИ.

— Очень приятно, — сказал Кирилл.

— Мне тоже очень приятно с вами познакомиться и узнать, не везете ли вы с собой *атомную* бомбу, — сказал он.

— Не одну, а две, — обернулась я к нему. — Вы знаете, они там, в машине Морриса. А кто мы и откуда, вы, наверное, тоже уже знаете.

— О, нет-нет, извините, я ведь просто пошутил насчет атомной бомбы, — ответил он.

Сколько Кравченко получил за книгу?

В это время Мартин Ричмонд вдруг обратился к нам с вопросом, не подписали ли мы с кем-нибудь *контракт на книгу*.

Несмотря на неожиданность такого вопроса, Кирилл вежливо ответил:

— Никакого контракта мы ни с кем не подписали, и никакой книги мы писать не собираемся.

— А вы знаете, сколько Кравченко получил за свою книгу? — продолжал Ричмонд.

— А вот что касается того, сколько Кравченко получил за свою книгу, этим вопросом я никогда не интересовался. Вы лучше спросите у него, если вас это так интересует.

Я никак не могла понять, какое отношение имеет к нам этот неожиданный, странный вопрос, тем более от совершенно постороннего нам человека.

Но Ричмонд не унимался и несколько раз настойчиво возвращался к тому же самому вопросу. И вдруг не выдержал и спросил:

— Почему Юджин Лайонс приехал на ферму к мисс Толстой? О чем же вы с ним разговаривали? И не подписали ли вы ему какие-либо бумаги?

«О чем он говорит и откуда он взял, что мы говорили с Юджином Лайонсом?» — недоумевала я.

— Почему вас это так волнует? — спросил Кирилл. — Я не успел с ними даже толком поздороваться.

Оказывается, когда Кирилл подошел попрощаться с Александрой Львовной, подъехала машина, из которой вышел Юджин Лайонс (главный редактор журнала «Риддер-Дайджест») с женой, они приехали на ферму по приглашению Александры Львовны, чтобы специально познакомиться с нами.

Честно, я даже очень пожалела, что не успела их повидать и познакомиться с ними. Но все, что происходило с нами в это время, происходило в какой-то сумасшедшей спешке, нас торопили так, как будто мы бежали от пожара.

— С этого момента, — вдруг авторитетным голосом заявил

Ричмонд, — никаких контактов и никаких встреч — ни с кем — вы не должны иметь, не поставив нас в известность.

«Кто он такой? И почему он с нами так разговаривает? Хорошо, он компаньон Морриса, но к нам-то он никакого отношения не имеет» — так думала я и, наверное, Кирилл.

— В дальнейшем, — сообщил нам по дороге уже близко к Нью-Йорку Ричмонд, — вы будете иметь контакт с НЕВИ через Морриса, он является сотрудником этой организации, а через меня — с ФБР. А теперь я везу вас к моим личным друзьям, там вы будете в полной безопасности.

Нью-Йорк. Пиратское убежище

Наконец, уже поздно вечером, часов в десять, мы подъехали на 51-ю улицу (Ист-сайд).

За нами подъехала машина Морриса, в которой ехали дети. В ней находился еще четвертый человек, который также приехал с ними на ферму и которого нам даже не представили. Здесь, в Нью-Йорке, нам дали понять, что он тоже из ФБР.

Прямо с улицы мы вошли в маленькую комнатку, два окна ее выходили на улицу на уровне тротуара. В этой мрачной полуподвальной комнате справа стояла одна узенькая кровать. Посреди комнаты вместо стола опрокинутая черная бочка, и вокруг четыре красные полубочки, раскрашенные какими-то экзотическими цветами. Кругом на стенах были развешаны головы пиратов, сделанные из каких-то засушенных тропических плодов. И мы как будто очутились в убежище пиратов на каком-то необитаемом острове, как в кинофильме. Но это было прямо в самом центре Манхэттена.

Как только мы вошли, в комнате сразу же появились еще какие-то два типа. Один толстый, второй худой. Нам сказали, что они из НЕВИ. Все они, видимо, давно уже здесь торчали, ожидая нашего приезда, и о чем-то таинственно перешептывались. Зашел еще один, высокий блондин, нам сказали — бывший русский. Перебросился с нами несколькими незначительными фразами и быстро ушел. В это время ехавший с нами офицер из НЕВИ внимательно изучал наши паспорта. Все было обставлено таинственно, все говорили полушепотом, как будто боялись кого-то спугнуть.

Когда все собрались уходить, я обратила их внимание на то, что здесь одна кровать. Как можем мы *все четыре* человека разместиться на ней? Ричмонд куда-то исчез и приблизительно через час притащил раскладушки, гордо показав нам надпись на них — НЕВИ. Какое это имело значение, я так и не поняла, но это

уже было лучше, чем ничего.

Перед уходом Ричмонд снова обратился к Кириллу с вопросом, теперь уже сколько Кравченко заплатил Лайонсу за книгу. Я только слышала, что Кирилл ему ответил:

— Абсолютно ничего не знаю, 50 % или 150 %, какое мне дело до этого?

Прежде чем уйти, Ричмонд еще раз повторил свое категорическое требование, чтобы мы теперь *все свои поступки* согласовывали с ним. Без его разрешения никуда не ходили и, главное, ни с кем не встречались.

Когда наконец все ушли, мы выяснили, что туалет находится почти в спальне хозяйки, где она размещалась с пятилетним внуком и дочерью, которая была где-то в отъезде.

Утром нельзя было, пока они не встанут, ни помыться, ни побриться, как сказал Кирилл. А о том, чтобы приготовить что-нибудь для детей, и речи быть не могло. И за все эти неудобства, когда дети, по существу, спали без постели, надо было платить дороже, чем за двухкомнатный номер в гостинице, который мы сняли, зайдя туда прямо с улицы. Там в гостиной был раскладной диван, а в спальне две кровати, номер с ванной.

А уж в смысле безопасности, мне казалось, глупее придумать нельзя. Любой человек, проходящий мимо по тротуару, мог все, что угодно, швырнуть прямо в наши окна или, толкнув дверь, очутиться прямо у нас в комнате.

Литературные страсти накаляются

Но не успели мы прийти в себя, как рано утром к нам приехала Лидия Александровна. Она взволнованно спросила:

— Вы что, сказали вчера вашим адвокатам, что вы видели Лайонса и заключили с ним контракт на 50 % на вашу книгу? Ричмонд вчера ночью позвонил к нам на ферму и просил выяснить этот вопрос.

— Что за глупости! Даже в голову мне такая вещь не приходила, — ответил Кирилл. — Ричмонд всю дорогу и весь вечер изводил меня вопросом, сколько Кравченко уплатил Лайонсу за книгу. Я ответил, что понятия не имею, 50 % или 150 %, какое мне дело. И потом, с какой стати его так волнует этот вопрос? Он же не писатель. Значит, это простое недоразумение, «языковые издержки».

Промучившись еще одну ночь до утра, стараясь устроиться как-нибудь поудобнее, мы решили, что из этого пиратского убежища нам надо немедленно убираться.

Морриса мы не видели, парадом командовал почему-то

Ричмонд. И при первом его появлении мы заявили, что не можем оставаться здесь с детьми и что нам надо возвращаться либо на ферму, либо в гостиницу. Мы не можем держать закупоренными детей в этой комнате, здесь опаснее, чем ходить по улице.

На что он категорически ответил: «Нет!»

Таинственные шаги адвоката Морриса

Наконец накануне Рождества появился наш адвокат Моррис, с ним пришли господин Джоллис с женой, г-н Бармин с женой и Л. А. Голицына. Мы считали, что из всех, здесь присутствовавших, лучше всех понимает наше состояние г-н Бармин, так как он был таким же политическим эмигрантом, как и мы.

К нему и обратился Кирилл:

— Спросите, пожалуйста, у г-на Морриса, что он собирается предпринять или уже предпринял по нашему делу. И я хотел бы знать, сколько будут приблизительно стоить нам его услуги.

Генерал Бармин, поговорив с Моррисом, сказал:

— Я вам передаю точно, слово в слово, то, что сказал г-н Моррис. Он сказал, что уже предпринял кое-какие шаги в отношении вашего дела, а об оплате просит вас не беспокоиться, после окончания вашего дела он представит вам очень скромный счет. И что это не самое важное.

Какие таинственные шаги он предпринял, нам было совсем неясно, так как ни единого вопроса по существу нашего дела он ни разу нам не задал.

Но всем присутствующим стало абсолютно ясно, что здесь оставаться нам, действительно не только не удобно, но и опасно.

Меры безопасности

Мадам Джоллис обратилась к нам с просьбой:

— Пожалуйста, потерпите еще денек, после праздника мы что-нибудь придумаем.

Я чувствовала, что она так искренне, от всей души сочувствует нам и хочет помочь, что обещала выдержать еще денек.

Мадам Джоллис действительно пришла к нам на следующий день после праздника и сказала, что детей она возьмет к себе, а мы с Кириллом будем у ее очень хороших друзей — у доктора Дэвиса в Бронксе.

Мы снова повторили наше настойчивое желание никого не беспокоить, тем более совершенно незнакомых людей, вернуться вместе с детьми на ферму и ждать там, что уже предпринял или

что собирается предпринять наш адвокат Моррис.

Но адвокаты категорически заявили, что они настаивают, что мы постоянно должны находиться под их наблюдением.

Дети уже изнывали взаперти. Кирилл заявил:

— Никуда больше мы не поедем. Александра Львовна предложила сегодня же заехать за нами, и мы поедем к ней на ферму.

И он ушел договориться о нашем к ней возвращении.

Я тем временем решила, с разрешения хозяйки, постирать пару детских вещей.

Когда я вернулась в комнату, была поражена — в комнате было полно народу: г-н Джолис, Моррис, Ричмонд и с ними тот офицер из НЕВИ, который ехал с нами в машине с фермы, но уже в гражданской одежде. И еще какой-то г-н Франк Нельсон, толстый, довольно несимпатичный, но очень подвижный, они представили его как журналиста из газеты «Херальд-Трибюн». Он с каким-то хищным интересом рассматривал нас.

Появились еще какие-то два типа из НЕВИ, которые однажды уже заходили к нам. Все они очень шумно и возбужденно что-то обсуждали.

В это время вдруг вошла Ева Джолис и заявила, что мы находимся в опасности, что все время, пока она шла к нам, ее сопровождал какой-то подозрительный тип.

Тут же за ней вошел Кирилл и не мог понять, что произошло и что происходит.

— Возможно, это кто-то из ФБР, кого приставили следить за нами, — высказал предположение Кирилл.

Тем не менее сразу же вызвали еще двух полицейских, вооруженных детективов. В комнате негде было повернуться.

Решили: отсюда немедленно надо выбраться. Я пошла собрать вещи и расплатиться с хозяйкой. Когда я вернулась, то сказала, что мы готовы немедленно вернуться с Александрой Львовной на Рид-фарм и что г-жа Толстая должна за нами скоро заехать.

Все в один голос закричали: ни в коем случае, детей г-н Джолис отвезет к себе, а мы поедем в Бронкс, и что там уже нас ожидают. Г-жа Джолис заявила, что нам будет хорошо у доктора Дэвиса, и мы, не желая огорчать ее, пообещали подумать.

Но это надо сделать сейчас и немедленно, — в один голос заявили все.

И мы решили опять: если адвокатам так нужно, мы должны сделать все, чтобы им помочь и облегчить их задачу.

Г-н Джолис увез детей к себе, а мы с целой кавалькадой машин с полицейскими детективами, долго петляя по каким-то

дорогам, почти в полночь подъехали к очень милому домику, где нас встретили очень симпатичные господин и госпожа Девис.

Полицейские и детективы исчезли, по-видимому ушли на охрану снаружи. С нами остались г-н и г-жа Джолис, адвокаты Моррис и Ричмонд и журналист из «Херальд-Трибюн» Франк Нельсон, а также супруги Девис.

Ночное интервью

Моррис вдруг заявил, что с нами здесь находится г-н Франк Нельсон, которому мы немедленно должны дать интервью, которое будет напечатано завтра в газете «Херальд-Трибюн».

— В час ночи, после такой суматохи о каком интервью может идти речь? — заявили мы. — Мы сами напишем все, что мы хотели бы сказать, переведем и отправим в печать. И пожалуйста, отложите это на завтра.

— Нет, нет, — заволновались наши адвокаты, — это надо сделать сегодня, сейчас и немедленно.

Мы уже настоятельно повторяли, что для нас это очень, очень тяжелый и даже смертельно опасный шаг, и давать интервью в час ночи без переводчика это просто несерьезно, так как каждое написанное нами слово должно быть хорошо продумано.

На нас налетели все, кроме доктора Дэвиса.

— Мы уже договорились, завтра ваше интервью будет напечатано. Чего вы боитесь? Вот Кравченко (опять Кравченко, что он не дает им покоя? — никак не могли мы понять) дал интервью, и ничего страшного с ним не произошло, — уже почти вопил Франк Нельсон.

— Может быть, у Кравченко другие обстоятельства, — настаивал Кирилл. — И вообще, никакого интервью мы без русского переводчика не можем дать.

Мы чувствовали, что наши доводы не производят на них никакого впечатления, они не могут понять, как можно отказаться от рекламы, от возможности попасть в печать.

Когда все страсти на минутку утихли, Ричмонд, посоветовавшись с журналистом Франком Нельсоном, заявил:

— Я обещаю вам, что завтра в 11 часов утра г-н Нельсон привезет вам русский текст, в который вы внесете свои поправки, и только после этого он будет напечатан в газете «Херальд Трибюн».

Кирилл, не выдержав натиска, согласился.

Началось интервью: г-н Нельсон задавал вопросы мадам Джоллис по-английски, она переводила эти вопросы нам на испанский, мы отвечали ей по-испански, она переводила ему их

на английский.

Наш испанский был намного лучше нашего английского, который мы знали на институтском уровне и который был более или менее необходим для инженера, чтобы суметь прочитать и перевести со словарем инструкцию, приходящую с иностранным оборудованием.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не пользуясь разговорной речью, мы чувствовали себя абсолютно беспомощными.

Испанский для нас тоже был чужой язык, и не настолько хорошо мы его знали, чтобы свободно, как по-русски, в три часа ночи давать такое ответственное интервью. Мы чувствовали и понимали, что многие вещи Еве Джолис трудно было понять, а нам трудно было объяснить.

Были такие моменты, когда ни мы не знали, как перевести на испанский то, что мы хотели сказать, ни Ева не знала, как перевести это на английский. И ей, и нам было трудно.

— Зачем такая спешка? Почему не отложить на день и не сделать это с русским переводчиком? — снова попросили мы.

Ричмонд начал нервничать:

— Я же обещал, мы все сделаем. Давайте, давайте, продолжайте, продолжайте, — настаивал он.

Журналист становился все более и более агрессивным, не мог усидеть на месте, бегал по комнате с ручкой в одной руке и с блокнотом в другой.

Сенсацию! Сенсацию!

И вдруг наконец он не выдержал:

— Ну, давайте, давайте скорее!!! — нетерпеливо торопил он нас.

Я думала, что его раздражает то, что мы долго стараемся объяснить Еве Джолис, чтобы она точно поняла то, что мы хотим сказать. А у него на уме, по-видимому, было что-то другое.

— Ну давайте, давайте же, скорее, скорее! Сенсацию! Сенсацию! Сенсацию!!! — уже кричал он.

— Какую сенсацию?! — удивились мы.

— Чемодан, чемодан документов, как у Гузенко! У него уже куча денег! Он уже ферму купил!

И среди этих раздраженных адвокатов, нервничающего журналиста нам вдруг стало ясно, что у них уже имелся план о каком-то сенсационном заявлении, который мы якобы должны им дать, а мы вдруг расстроили все их планы. И это их бесит.

— Сенсацию! Сенсацию! — почти хрипел уже журналист

Нельсон. — Скорее, скорее, — и никак уже не мог успокоиться.

Я не могла больше вынести этой пытки.

— Какую им нужно сенсацию?! Если я пойду повешусь, достаточная ли эта будет сенсация для них? — заявила я.

Уже было 3 часа ночи, и доктор Девис очень вежливо начал просить их удалиться.

Они ушли, твердо пообещав завтра, то есть это уже было сегодня, в 11 часов утра принести русский перевод нашего заявления до его появления в печати. Всю ночь я глаз не сомкнула. Плакать тоже уже не было слез.

Шутка ли, нам, советским людям, уже пережившим столько, умевшим хранить в себе так много, умевшим молчать, слово «реклама» было совершенно чуждо, а сенсаций мы вообще боялись как огня!

Это возбужденное, агрессивное поведение адвокатов и журналиста, требовавших от нас сенсаций, приводило меня в ужас. Мне казалось, что наше выступление в печати, наше заявление в печати на весь мир, что мы не согласны со сталинским режимом, — уже достаточная сенсация.

Мы хотели, чтобы каждое слово, которое появится в печати, было достаточно весомое, правдивое и отражало бы все, что мы хотели сказать.

Я так нервничала, ожидая 11 часов, что не могла ничего проглотить за завтраком. Но, к сожалению, это были только цветочки.

То, что ожидало нас дальше, вообще не укладывалось в наше представление.

После 11 часов мы каждую минуту ожидали, что вот-вот приедут. И только в час дня позвонила Лидия Александровна Голицына и взволнованно сообщила, что как только она прибыла в Нью-Йорк, то позвонила адвокатам, и те заявили, что прочитают ей текст материала, который собираются отправить в печать, по телефону по-английски, а она переведет нам его по телефону на русский язык.

— Как же я могу это сделать, ведь я звоню им из автомата, с улицы, — нервничала глубоко расстроенная Лидия Александровна.

Мы остолбенели. Такого дикого, такого жестокого непонимания в погоне за сенсацией от представителя печати мы не могли себе представить. Как можно так издевательски небрежно относиться к такому выступлению, когда для нас, и не только для нас, это был почти вопрос жизни и смерти. В этот момент я была в таком ужасном состоянии, что легко могла это сделать.

Кирилл опомнился первый:

— Лидия Александровна, пожалуйста, не волнуйтесь, передайте адвокатам, что мы категорически запрещаем печатать что-либо до тех пор, пока мы не увидим, не прочтем и не подпишем то, что появится в печати.

Отношение адвокатов к этому вопросу мы считали просто возмутительным. Ведь мы не авантюристы, и тот рискованный шаг, который мы вынуждены были предпринять, возлагал на нас слишком большую ответственность.

Мы порывали со сталинским режимом, мы выступали против Сталина в тот момент, когда весь мир считал, что Сталин освободил все человечество от фашизма, от Гитлера. И никто, никто не поднял голос в защиту сотен тысяч людей, которые вынуждены были остаться на оккупированной немцами территории, тех, кого немцы вывозили на принудительные работы в Германию, военнопленных и особенно тех, кто, пройдя весь ад войны, рискуя жизнью каждую секунду, после возвращения попал в сталинские лагеря. Сталин был кумир. А мы рискнули выступить против этого воспеваемого на весь мир кумира.

И на этом фоне все, что мы хотели сказать, должно было быть максимально правдиво и убедительно. А ту боль и тот вред, которые это заявление должно было нанести нашим родным и близким, находящимся там, трудно было представить и никакими словами нельзя было передать.

А вместо хотя бы небольшого, отдаленного понимания нашего положения вокруг нас носятся какие-то субъекты, которых ничего не интересует, кроме сенсации, чемодана документов и денег, денег, особенно таких, какие получили Кравченко и Гузенко. Это нам стало ясно.

Кирилл снова повторил:

— Лидия Александровна, пожалуйста, передайте этим господам, если у них нет времени перевести и дать нам проверить материал, который они собираются отдать в печать, мы категорически запрещаем им печатать о нас что-либо сегодня.

Но в это время начались нервозные, почти истеричные звонки журналиста Нельсона, он не кричал, а в истерике орал:

— Газета выходит сегодня через несколько часов, там уже на 1-й странице оставлено место для вашего «стейтмента»!

— Мы запрещаем, категорически запрещаем отдавать в печать что-либо без нашей проверки русского текста и без нашей подписи, — заявил Кирилл.

Адвокаты просто взбесились.

— Мы тогда отказываемся от их дела, — заявили они Лидии

Александровне.

— Слава богу, может быть, это к лучшему — передайте им, — ответил Кирилл.

В этот день газета вышла без нашего «стейтмента».

Доктор Девис никогда не видел этих адвокатов раньше, но, глядя на эту картину, возмущался: гангстеры, настоящие гангстеры.

К нам немедленно примчались знакомые Кирилла меньшевики Борис Иванович Николаевский, Давид Абрамович Далин с женой, Денике и Моррис, им уже сообщили все о случившемся.

— Почему вы отказались от выступления в печати? — недоумевали они тоже.

И нам пришлось даже им объяснять, как все это происходило.

— Мы же не авантюристы и не собираемся создавать из нашего поступка дешевую сенсацию. Мы отдадим в печать только то, что мы должны и хотели бы сказать. Но адвокаты поставили нас в такое положение, что мы должны были отказаться. А вам, господин Моррис, наверное, сообщили уже, что они отказываются от нашего дела. И мы приняли их отказ с облегчением.

— Что вы, — закричали все в один голос, — нельзя: у этих адвокатов имеются колоссальные связи в правительстве!

Нам трудно было, почти невозможно было понять, при чем в нашем деле связи.

Но все уверяли нас, что здесь надо иметь крепкие связи, без связей мы ничего не добьемся. Логично мы понимали, что это абсурд, но если вас 10 человек стараются убедить, вы начинаете верить.

Страна для нас новая, и нравы тоже. Все наше несчастье было в том, что нас окружали люди, сами только что попавшие в Америку, напуганные, как и мы, и почти ничего не знавшие о ее правах и законах.

Выступление в печати

Для меня лично выступить в печати было все равно что веревку набросить себе на шею.

После того как мы отправили наше заявление в печать, оно было напечатано на следующий день утром, и тоже не без клюквы, но уже не такой страшной, и без сенсации с чемоданом документов, как у Гузенко из Канады. Такой сенсации у нас не было, но в тот же вечер, как на крыльях, к нам влетели Ричмонд и Моррис. Вид у них был победителей.

Ричмонд был на седьмом небе, таким веселым, возбужденным

мы его никогда не видели. Он как будто вырос на целую голову. Он заявил, что целый день не отходил от телефона, что ему звонили со всех концов, даже из Лондона, из Мексики, отовсюду. Его осаждали просьбой созвать пресс-конференцию. Он в одно мгновение из неизвестного Ричмонда стал знаменитостью. Они действительно не ожидали, что наше выступление может вызвать такой интерес и к ним посыпется столько запросов.

Ричмонд был в ударе, в газете был дан адрес фирмы и имя Ричмонда по той причине, что Моррис, будучи секретарем конгрессмена Куддера, не мог якобы выступать в нашем деле открыто. Хотя в то время мы ничего Ричмонду не подписывали и считали Морриса, а не Ричмонда пока нашим адвокатом. Но они были партнеры, и мы думали: это их дело, кто чем будет заниматься.

На фоне всего этого всеобщего возбуждения я чувствовала, что для меня это был один из самых страшных, тяжелых дней в моей жизни. Наше выступление в печати означало, что мы подписали сами свой смертный приговор. Если бы не дети, я бы не выдержала этого испытания, боюсь сказать, но я была на грани, когда могла покончить с собой.

Уйти из страны, куда, вы знаете, возврата вам больше нет. Принести невыносимую боль родным, близким и даже хорошим знакомым было нестерпимо больно. Меня уже меньше волновало, что будет с нами. Но какое-то шестое чувство мне уже подсказывало, что ничего хорошего нас впереди не ждет.

Мне не хотелось никакого шума, никаких пресс-конференций, никаких интервью, никаких фотографов, никакой известности, а просто чтобы все потихоньку о нас забыли, дали возможность, как и миллионам других людей, тихо, спокойно устроиться на работу и заняться воспитанием своих детей. Понять мое состояние мог только тот человек, который пережил это.

До тех пор пока мы не выступили в печати, советские тоже молчали, и мне казалось, что они именно этого хотели. И я знала, что, как только мы выступим в печати, они сразу же предъявят какие-либо обвинения и немедленно потребуют нашей выдачи Советскому Союзу.

Наша милая хозяйка напоила всех чаем. Во время чаепития Ричмонд вдруг заявил:

— Я добьюсь получения денег за ваш замечательный «стейтмент».

Кирилл удивленно ответил:

— Я не за деньги давал этот «стейтмент». Такие вещи не продаются.

— Но вам деньги нужны, и нам деньги нужны для ведения

вашего дела, — твердо заявил Ричмонд.

— Деньги, я знаю, всем нужны, но заработать их я собираюсь не этим путем.

Тактические соображения

К этому времени к нам уже приехала Лидия Александровна Голицына. Все перешли в гостиную. Ричмонд закурил, любезно предложил всем сигареты и, усевшись поудобнее в кресло напротив нас, вынул из портфеля напечатанный лист бумаги и протянул нам для подписи.

— Что это? — спросили мы.

Посмотрев на эту бумажку, Лидия Александровна сказала:

— Это то же самое, что вы уже подписали Моррису.

— Зачем? Нам не нужен второй адвокат, нам вполне достаточно Морриса. А они как партнеры пусть сами разбираются, — сказала я.

Ричмонд заволновался:

— Передайте, — обратился он к Лидии Александровне, — что я компаньон Морриса и от нашей фирмы буду выступать я. Моррис по тактическим соображениям (опять же из-за конгрессмена Куддера) должен стоять в стороне. И это сущая формальность. Но так как моя фамилия уже опубликована в печати, все будут обращаться ко мне.

Наши доводы опять ни к чему не привели. Ричмонд еще раз повторил, что это сущая формальность и что наш настоящий адвокат — это Моррис. Мы нехотя подписали.

Договор с Ричмондом

И тут же, разгладив и уложив эту бумажку в портфель, Ричмонд вынул длинный лист другой бумаги и, обращаясь к Лидии Александровне, заявил:

— Передайте мистеру и миссис Алексеевым, что в связи с их делом сейчас начнутся большие расходы, у нас и у них денег, мы знаем, нет, поэтому мы предлагаем им заключить с нами вот этот контракт.

Лидия Александровна взяла в руки этот контракт и начала читать. Чем дальше, тем более озабоченным становилось ее лицо, мне казалось, она даже побледнела. Видя ее озабоченность, мы обратились к ней:

— Лидия Александровна, в чем там дело, что они хотят от нас в этом контракте?

— Подождите, подождите минутку, я сама с трудом понимаю,

что они хотят от вас, — смущенно и взволнованно сообщила она. — Пока что я поняла только то, что они хотят, чтобы вы подписали с ними контракт, по которому вы обязуетесь платить им 50 % от всей вашей литературной и 50 % заработной платы от всей вашей профессиональной инженерной деятельности в течение двух лет.

— Лидия Александровна, передайте, пожалуйста, им, что никакого контракта мы с ними не собираемся заключать и подписывать. Пусть они, в конце концов, скажут, сколько они хотят получить за свои услуги, и мы с ними закончим, пока не поздно. Ведь я об этом спросил у Морриса в первый же вечер при нашей первой встрече, и вообще, их поведение и их непредсказуемые выходки уже трудно переносить. Я рад буду покончить с ними, — категорически заявил Кирилл.

Наш отказ подписать взбесил Ричмонда и Морриса, их лица из любезных, улыбающихся стали злыми.

Ричмонд нервничал, руки у него дрожали, голос срывался.

— Ведь денег у них нет, мы предлагаем им расплачиваться с нами тогда, когда они начнут зарабатывать, объясните им это, — настаивал Ричмонд.

Лидия Александровна, обратилась к нам:

— Подождите, я им скажу, что я недостаточно хорошо знаю английский язык, чтобы перевести такой документ. А вы завтра посоветуйтесь со своими друзьями, может быть, они что-либо умное посоветуют.

Ушли они в тот вечер, даже не попрощавшись. Лидия Александровна попросила их подбросить ее к метро.

Всю дорогу они были раздражены, почти не разговаривали с ней. Только выразили ей свое неудовольствие, что она недостаточно убедительно уговаривала нас подписать контракт.

— Ведь вот вы все время ходите к ним, за эти услуги вам нужно тоже заплатить, — заявили они ей.

— Я была очень смущена, — рассказывала нам на следующий день Лидия Александровна. — «Простите, — ответила я, — мне такая дикая мысль даже в голову не приходила. Я их друг, что же им делать в их положении, если их друзья за свою помощь начнут требовать у них деньги». Из-за моего ответа, я поняла, они приняли меня за дуру, — засмеялась Лидия Александровна.

Мухи в паутине

Шантаж

Новый 1947 год мы встретили очень грустно. Джолисы были так добры, что привезли к нам детей. Дети были грустные, очень расстроенные, плакали и никак не могли понять, что же с нами случилось. Почему они там, а мы здесь и почему мы не вместе.

Устали и, не выдержав ожидания, когда за ними приедут, уснули одетые.

На следующий день вечером вновь пришли адвокаты Моррис и Ричмонд и старые меньшевики Б. И. Николаевский, Далин с женой. Эти «старые», новые в Америке эмигранты, в один голос, наперебой стали уговаривать нас подписать этот контракт.

— Мы не можем взять на себя такие обязательства, когда мы находимся буквально между небом и землей. Спросите, пожалуйста, у г-на Морриса еще раз, сколько он возьмет за свои услуги, мы об этом спрашивали его с самого начала, но он до сих пор ничего нам на это не ответил и вдруг представил нам для подписи контракт, содержание которого я даже толком не понимаю. Их методы работы мне тоже не нравятся. Я считаю, что мистер Моррис должен просто назвать сумму, которую он возьмет с нас за свою работу.

Моррис сидел на ковре, и когда ему перевели слова Кирилла, он вскочил на ноги. Никогда мы не видели его таким злым, как в этот момент.

— Пять тысяч сейчас, немедленно, и все будущие расходы за их счет, — не без злорадства произнес он.

В первую минуту от его тона и от суммы, которую он назвал, мы пришли в ужас. Сумма 5000 долларов была для нас фантастической.

— Я в жизни таких денег в руках не держал. Да за такие деньги даже Вышинский возьмется защищать нас, — заявил Кирилл.

И вдруг Кирилл сказал:

— Хорошо. Спросите у них, если бы мы достали эти 5000 долларов, согласились бы они за эти деньги закончить наше дело без этого контракта?

Моррис вновь вскочил как ужаленный:

— Нет! Еще раз передайте им, нет! Мы согласны только при условии подписания контракта, и если контракт не будет подписан, мы отказываемся от этого дела, — были последние

слова Морриса.

И с этим, снова ни с кем не попрощавшись, они быстро ушли. Значит, в свободной Америке дешевле нельзя купить свободу?

— Послушайте, — обратились мы к нашим растерявшимся друзьям, — разве в Америке нет других, более нормальных, более человеческих путей? Мы и наши дети смертельно устали. Нам надо найти хоть какое-нибудь пристанище, забрать детей, отправить их в школу. Найти какую-нибудь работу.

И спокойно добиваться легализации нашего положения в стране. Так думали мы.

— Вы с ума сошли, — с испугом вскричали наши советчики, — вы не можете обойтись без адвокатов в этой стране, притом у них колоссальные, колоссальные связи. Вы не знаете Америки. Срок вашей транзитной визы закончится, и вас немедленно вышлют из страны эмиграционные власти.

Мы считали, что наше дело ясное и что нам нужен адвокат, только знающий, какие бумаги надо заполнять, какие документы надо представить и куда их подать с просьбой о предоставлении нам политического убежища. А дальше дело правительства — дать или отказать.

Но все старались убедить нас в том, что здесь без адвоката, имеющего крупные связи, ничего не делается, уж такова система в Америке.

Мы считали, что это абсурд, но откуда нам было знать? Ведь страна эта для нас новая, мы как с луны свалились сюда. Выходит, права русская пословица «с волками жить — по волчьи выть», повсюду, значит, так — здесь связи, у нас говорили «блат».

Все, что происходило с нами, казалось, происходило в каком-то кошмарном сне. Требование наших якобы защитников-адвокатов 5000 долларов сейчас плюс все будущие расходы в дальнейшем или подписание кабального контракта на 50 % всех наших литературных и прочих профессиональных заработков в течение 2 лет казалось нам бредом сумасшедших. Мы были в отчаянии.

Нам казалось, мы попали в руки каких-то авантюристов, которые наслышаны о каких-то сказочных доходах Кравченко за его книгу, написанную Юджином Лайонсом и разделившим с ним доход пополам, и о Гузенко с его чемоданом документов, вынесенных из советского посольства в Канаде, за которые он тоже получил кучу денег.

По-видимому, так называемым нашим адвокатам это вскружило голову, и они решили, что и у нас есть какие-то сенсационные материалы из советского посольства. И поэтому, из страха упустить добычу, которая, казалось, попала им в руки, они

приехали на толстовскую ферму с такой охраной и поторопились увезти нас как можно скорее с толстовской фермы, изолировать от всех наших знакомых.

Мы же, только что ступив на эту землю, не имели никаких сенсаций, никаких чемоданов с документами и никакой мысли о книге. Об этом мы даже думать боялись.

После того как наши адвокаты ушли, гордо заявив — или контракт, или они отказываются от нашего дела, — мы, честно сказать, даже вздохнули с облегчением. Решили, что наши испытания кончились, этот вопрос, казалось нам, был уже окончательно решен.

На следующий день мы собрались распрощаться с нашими добрыми, гостеприимными хозяевами и, освободившись от всех доброжелательных друзей, которые были почему-то обижены нашей несговорчивостью с адвокатами, перейти в отель и начать нашу жизнь без дальнейших авантюр. Мы также решили поехать в Вашингтон, может быть, там найдутся те люди, которые поймут нашу ситуацию.

Правительство СССР требует нашей выдачи

Мы ожидали возвращения доктора Дэвиса, чтобы с ним попрощаться перед нашим уходом. Доктор Девис вернулся очень взволнованный.

— Вы слышали, — сказал он, — сегодня по радио выступил посол Советского Союза мистер Громыко. Он заявил, что советское правительство обвиняет вас в каких-то преступлениях и требует вашей выдачи немедленно как уголовных преступников.

Мы ничего этого, конечно, не слышали. Включили радио, по которому каждые полчаса передавали требование советского правительства о нашей выдаче как уголовных преступников, похитивших какие-то не то деньги, не то драгоценности.

Нет слов, чтобы передать то, что происходило со мной, с нами, когда мы услышали это.

Несмотря на то что после нашего выступления в печати мы знали, что советское правительство изобретет какую-либо версию, на основании которой потребует у американского правительства нашей выдачи, но такого чудовищного обвинения мы не ожидали.

Кирилл старался успокоить меня:

— Тот, кто это выдумал, знал, что более абсурдного обвинения придумать нельзя, и если дело дойдет до трагической развязки, я потребую доказательств перед судом.

Наш смертный приговор был уже там подписан. И здесь мы попали в западню, из которой не знали, как выбраться.

Но видя наше намерение уйти, доктор Девис обратился к нам с просьбой:

— Пожалуйста, не уходите, останьтесь еще на день-два, успокойтесь, соберитесь с мыслями, придите в себя после всех этих гангстерских набегов — гангстеры, ну настоящие гангстеры, — с возмущением непрерывно повторял доктор Девис, — но поверьте, хорошие люди в Америке тоже есть. Оставьте чемодан и пошли обедать, а потом подумаем, что делать.

Но нашим испытаниям не суждено было так быстро и просто окончиться.

Из огня да в полымя

Не успели сесть за обеденный стол, как приехали мистер и миссис Джолис.

— Скорее, скорее поехали, мы нашли для вас гостиницу.

Мы страшно обрадовались, это то, что мы хотели. Перейти в отель, где будут с нами дети, и освободить этих гостеприимных, милых людей.

Через полчаса мы уже были в Манхэттене. По дороге мы заехали на 72-ю авеню вест-энд, забрали детей. И только когда машина остановилась напротив дома с названием «Лео-Хаус» на 23-й улице вест-сайд и наши вещи были внесены в вестибюль, Ева Джолис сообщила нам, что этот отель — какой-то католический приют для приезжающих из Европы и что нашли его наши адвокаты благодаря своим связям в католическом мире.

И тут к нам навстречу со стульев поднялись Ричмонд и Моррис.

И в этой страшной, тревожной обстановке мы оказались снова в руках Морриса и Ричмонда. Шум и звон по радио и в газетах — это и была та сенсация, которая требовалась адвокатам. Это была та реклама, которую они жаждали получить. Они были возбужденные, даже приветливые.

Мы поднялись на 4-й этаж. Две малюсенькие, как кельи, комнатки в разных концах длиннющего коридора, без всяких удобств.

— Почему не вместе? — удивилась я.

— Двух комнат вместе в этом приюте у них не оказалось, — ответил Моррис.

Ричмонд включил радио, по которому уже целый день каждые полчаса передавали требование советского правительства о нашей выдаче.

Во всей этой тревожной, даже опасной, обстановке мы

чувствовали себя бесконечно одинокими, никто, никто не имел ни малейшего представления, что творится у нас на душе. И как тяжело нам было сейчас. Никто этого не мог понять, и никому, абсолютно никому невозможно было объяснить это.

Я только отчетливо ясно помню, что в эту минуту, если бы вопрос стоял только об одной моей судьбе, без детей, я бы вернулась и отдала себя в руки даже такого страшного сталинско-советского правосудия. До такой степени я уже устала, и опротивело мне все. В лучшем случае был бы концлагерь, но там были бы люди, которые поняли бы меня, и у меня был бы с ними общий язык. Но я смотрела на наших растерянных, взбудораженных детей, которые не могли понять, что происходит и к чему все эти внезапные ночные путешествия.

Говорить о контракте или о чем-либо другом в этот вечер мы были не в состоянии. Нам просто нужно было, чтобы все ушли, оставили нас в покое и дали нам возможность собраться с мыслями и успокоить детей.

Перед тем как уйти, наши так называемые защитники Ричмонд и Моррис снова заявили, что для нашей безопасности они требуют, чтобы никто из наших знакомых к нам сюда не заходил, даже принцесс Голицына, подчеркнули они. По-видимому, потому, что она нас плохо уговаривала подписать контракт и совершенно искренне считала, что мы не должны этого делать.

На следующий день к нам снова зашла группа «старых», новых эмигрантов в Америке, г-н Д. Далин с женой и г-н Б. И. Николаевский, Ю. Д. Денике. Г-н Далин сразу сообщил нам, что у них есть сведения о том, что наше положение действительно очень опасное, и что нас в любой момент могут выдать советскому правительству, и что как будто эти сведения они получили уже прямо из Вашингтона.

— Я не думаю, что американское правительство решило вернуть наши трупы советскому правительству, — во всяком случае, мы живыми ни в чьи руки не сдадимся, — с горечью заявила я. — Так и передайте тем, откуда эти слухи идут.

Услышав, что мы контракт не подписали, они вновь с удесятеренной силой, с испугом принялись уговаривать нас:

— Срок вашей транзитной визы окончится, и вас выдадут эмиграционным властям. Кстати, незадолго до вас были выданы советские матросы, бежавшие с советского корабля. Не говоря уже о тех душераздирающих сценах, которые до сих пор происходят в Европе, где советских граждан, очутившихся по тем или иным причинам в Европе и боявшихся вернуться в Советский Союз, даже забаррикадировавшихся, пытавшихся покончить жизнь

самоубийством, истекающих кровью, вылавливали, бросали, как бревна, в машины и увозили. И все это происходило с помощью союзников — Великобритании и США.

Страх этих людей легко можно было понять — все это происходило у них на глазах в высококультурной, цивилизованной Европе.

— Отнеситесь к этому серьезно, — упрашивали они нас, — как только ваша виза окончится, американские эмиграционные власти могут вас арестовать, отправить в тюрьму на «Эллис-Айленд» («Остров слез») и немедленно выслать из страны или выдать советскому правительству.

Мы чувствовали себя как люди, загнанные в западню, из которой у нас, по их словам, никакого выхода нет. Получалось, что и американское правительство, под защиту которого мы пытаемся попасть, — наш злейший враг. Туда нам и нос совать не следует.

В это время появились Ричмонд и Моррис. В этой паре Ричмонд всегда выступал как заправский бизнесмен, а Моррис, как секретарь конгрессмена Кудрина, стоял в стороне.

Мы им заявили, что даже в нашем безвыходном положении мы не можем взять на себя такие кабальные обязательства, не зная, что может произойти с нами в любой момент. Мы категорически отказываемся подписать этот контракт, и они могут считать себя свободными.

И тут Ричмонд заявил:

— Мы готовы внести в контракт поправки. Вычеркнем профессиональные заработки и оставим только 50 % литературных на 1 год.

Кирилл обратил их внимание, что в этом контракте не сказано ничего об их собственных обязательствах по вопросу нашей легализации, и предложил внести этот пункт в контракт.

— Что вы, что вы, — запротестовали в один голос Ричмонд и Моррис. — Вносить этот пункт в этот контракт неэтично. Мы джентльмены, в ранее подписанных нами документах ясно сказано, что мы являемся адвокатами по вашей легализации.

Положение, в котором находились мы, мягко говоря, было ужасное. Делать было нечего, мы снова решили: чужая страна, чужие нравы — и подписали.

— Но это ведь не все, они позже нас замучают, — сказала я, и как в воду глядела.

Наше состояние от всего происходившего вокруг нас и того беспросветного, опасного положения, в котором мы находились, и стремление всех наших знакомых не успокоить, а нагнать на нас как можно больше страха могло свести с ума кого угодно.

В тупике

Все время после нашего выступления в печати и особенно после требования советского правительства о нашей выдаче, корреспонденты буквально осаждали адвокатов, настоятельно требуя от них созвать пресс-конференцию с нами.

Мы упорно отказывались от пресс-конференции, не хотели отвечать на дурацкие вопросы, которые (по нашему опыту в советском посольстве) обычно в таких случаях задаются, и особенно не хотели появления наших фотографий и фотографий детей в печати, на чем настаивали адвокаты. Отдать детей в частную школу у нас не было средств, а в обычной «паблик скул», то есть в обычной городской школе, я боялась каких-либо инцидентов.

Я вспоминала, как на нашем пароходе плакала жена ехавшего в Канаду дипломата. И я в недоумении спрашивала у нее, о чем она так сокрушается.

Она сказала, что они уже были здесь раньше, как только установились дипломатические отношения с Америкой, и у нее остались горькие вспоминания, как ее сына избивали и как над ним измывались американские мальчишки за то, что он был «комми» — советский. Дети дипломатов тогда ходили в общие американские школы, своих школ еще здесь не было. Сын ее сейчас погиб на фронте.

Нас в это время все уговаривали, что мы должны как можно больше печатать о себе и стараться не вылезать из «паблисити», это необходимо, чтобы вызвать симпатию и сострадание американской публики. Вот этих самых «паблисити» мы и боялись как огня.

Наконец мы скрепя сердце согласились на пресс-конференцию при условии отсутствия фотографов.

Пресс-конференция

13 января состоялась пресс-конференция в конторе «Хочвальд, Моррис, Ричмонд, Эсквайр» Эксчендж-плейс, 40, Нью-Йорк. Переводчиком был незнакомый нам г-н Сол Левитас. Очевидно, наши адвокаты были так недовольны «принцесс» Голицыной, что они не хотели ее присутствия, несмотря на то что мы об этом просили. Они также настояли на присутствии на этой пресс-конференции наших детей.

В числе вопросов были вопросы приблизительно такого уровня:

— Почему вы не носите обручальные кольца? Они что,

запрещены в Советском Союзе?

— Запрещать — никто не запрещал. По-моему, кто хочет, тот носит.

— Разрешают ли в Советском Союзе читать иностранную литературу?

— С детства, — ответила я. — Вот, например, наша дочь в 7 лет по дороге из Москвы во Владивосток читала «Всадника без головы» Майна Рида. Правда, эту книгу на таможне, к ее великому огорчению, таможенник изъял. Но я уверена, не по политическим мотивам, а просто, по-видимому, самому хотелось прочитать. Так как тут же рядом лежала моя книга «300-летие дома Романовых», и никто не обратил на нее никакого внимания.

А один из журналистов (даже не помню сейчас, в какой газете) умудрился написать, что остались мы в Америке, увлекаясь чтением произведений Майна Рида и Джека Лондона.

Когда закончилась пресс-конференция, мы попросили вывести нас на улицу к такси с черного входа, чтобы избежать встречи с толпой фотографов и журналистов, не попавших в контору к адвокатам и ожидавших нас у главного выхода на улице.

Газеты писали: «Пресс-конференция проходила в элегантном офисе мистера Ричмонда». От чего он тоже был в восторге — это была реклама их фирмы вообще и его имени в частности. Господи, до чего же все здесь падкие на «паблисити» по любому поводу. Помню даже такой случай: когда американская полиция нагрянула в какой-то дом терпимости на пятой авеню в Нью-Йорке, все его обитательницы старались попасть в прессу и на глаза фотографам.

Для нас, советских граждан, это было дополнительным наказанием.

Мистер и миссис Джолис в тот же день пригласили всех нас на ужин к себе на авеню 270 вест-энд, на 12-й этаж, который их семья занимала полностью.

Ричмонд тут же сообщил нам, что он только что видел очень хороший «апартамент» за 5000 долларов в год и две тысячи «супера» в карман, и все, что потребуется от нас сейчас — это деньги, деньги, деньги.

Для нашей легализации тоже потребуются большие деньги, — несколько раз повторил Ричмонд, и что огромные деньги можно заработать на статьях и на книге. Моррис тут же продемонстрировал всем вырезки из газет о книге Кравченко и заявил:

— С этого момента погоня за деньгами должна начаться, как золотая лихорадка, что Кравченко на своей книге заработал

большие деньги, об этом мы уже слушать устали.

Для нас стало ясно одно: захватив нас в свои руки, они действительно хотели на нас заработать, и договор на 50 % они решили заключить с нами точно такой же, как Кравченко заключил с Юджином Лайонсом.

Но они упустили одну очень существенную деталь, как объяснил нам сам Юджин Лайонс после того, как мы с ним познакомились, а именно что Юджин Лайонс за эти 50 % сам написал для Кравченко книгу, был ее переводчиком, редактором, издателем и агентом по продаже.

Видя все их попытки и усилия, даже я и Кирилл, не имея в виду выступать в печати, решили пойти на уступки. Ладно, решили мы, попробуем, если они договорятся и если то, что мы хотели бы сказать, напечатают.

Но, к сожалению, все старания наших адвокатов, их встречи с издателями, писателями, журналистами в области «литературной» деятельности ни к чему не привели и все их усилия в качестве литературных агентов не дали никаких результатов. Было очевидно, что на этом поприще у них не было опыта.

Поднадзорные

Наконец, между этим, по-видимому, основным теперь для них занятием и нашим неоднократным напоминанием о том, что наши визы подходят к концу, Ричмонд нашел время пойти с нами в эмиграционное бюро, где мы подали прошение о продлении наших виз.

Жить в этом «Лео-Хаус» для нас с детьми было сплошной мукой. Двух смежных комнат так и не нашлось. Дети целый день изнывали от тоски в закрытой комнате.

Мы все силы прилагали к тому, чтобы как-нибудь их развлечь, о школе еще и речи не могло быть. Играли с ними в карты, домино, выходили на прогулку на 23-е улице в скверик, водили их в кино.

Когда мы выходили из отеля, за нами неотступно следовали какие-то типы. Даже дети спрашивали:

— Что за дяди ходят за нами все время?

Кто и зачем поставил их следить за нами: куда мы ходим, с кем встречаемся, кто к нам приходит? Или просто охранять нас? Мы понятия не имели.

Живя в «Лео-Хаус», несмотря на все строгие запреты «наших» адвокатов, наши знакомства постепенно расширялись.

Новые знакомые: русская эмиграция

Великосветские рауты

В первые годы нашего пребывания в Америке нам пришлось встретиться со всеми политическими группами и течениями, и мы были поражены той глубокой неприязни, которая существовала между всеми этими группами. Их не могло сблизить даже общее чувство ненависти, которое все они испытывали к Советскому Союзу, каждый из них ненавидел, но ненавидел по-своему.

И несмотря на всю свою ненависть к большевикам и большевизму, самому страшному для них слову, мне казалось, где-то в глубине души у них таилось все-таки *чувство гордости,* что вот Россия, пусть даже советская, победила могучую Германию, как в былое время Наполеона.

Деятельность *монархистов,* ультрамонархистов, кадетов, высшей, так сказать, касты, в те годы ограничивалась различными великосветскими приемами, балами, на которые они надевали все старые регалии. Их ранги постепенно увеличивались, и величали они друг друга старыми титулами: «ваше величество», «ваше превосходительство», граф такой-то, князь такой-то. Иногда у входа здесь же распродавались фотографии и портреты «августейших».

Для всех попавших сюда из Советского Союза, даже убежденных антикоммунистов, эти балы казались бутафорией из советских кинофильмов.

Из всех тех, кто очутился здесь, — я имею в виду, из всей бывшей царской империи или, позже, из Советского Союза: монархистов, анархистов, сепаратистов и всевозможных других политических группировок — одни меньшевики, как нам казалось, оставались самой сплоченной группой и были наиболее близки к реальной действительности.

Александр Федорович Керенский

Познакомились мы с Александром Федоровичем Керенским в январе 1947 года.

Кирилл пошел на очередное заседание меньшевиков, которые проходили у них чуть ли не еженедельно. Эти заседания были очень долгие, меньшевики на них проявляли невероятно бурную деятельность, такую же, по-видимому, как в свое время большевики. Возвращаясь, он иногда со смехом, а иногда с

грустью рассказывал мне, о чем там шли горячие дискуссии.

Однажды на одном из таких бурных заседаний Кирилл слушал, слушал и заявил:

— Знаете, господа, моя жена права, ваша деятельность здесь не принесла нашему народу никакой пользы, а только огромный вред.

— Знаешь, никто не обиделся, — сказал мне Кирилл, — они просто хотели знать, почему у таких людей, как мы, такое мнение.

В конце заседания к Кириллу подошел Александр Федорович Керенский и спросил:

— Кирилл Михайлович, познакомьте меня, пожалуйста, с вашей женой.

И Кирилл приблизительно часов в 11 ночи позвонил:

— Если ты еще не спишь, я скоро приду, но не один.

Часов в 12 ночи пришел Кирилл, с ним был А. Ф. Керенский, Ю. Денике и кто-то еще, уже даже не помню, и мы за чашкой чая с печеньем и сэндвичами просидели до утра. Я была от него в диком восторге.

Когда он ушел, я не могла удержаться и почти закричала:

— Боже, до чего же несчастна наша Россия, что не могла удержать такого человека, ведь все, все было бы по-другому!

С этого момента мы крепко подружились, часто, очень часто, а иногда почти каждый вечер мы встречались у нас, мы тогда жили на 94-й улице Централ-парк вест. Прямо напротив парка. Он жил приблизительно в том же районе только на «ист-сайд», то есть на восточной стороне парка, 91-я улица, и ежедневно после ужина отправлялся в Центральный парк на прогулку вокруг водного резервуара и оттуда шел прямо к нам.

Мы с ним засиживались чуть ли не до утра. До чего же мне было интересно его слушать!

Он рассказывал нам, какие грандиозные планы были у него и как много хотел он в те годы сделать для своей страны, для России. И как он переживал, что все это не сбылось. И даже я чувствовала, как мучительно тяжело было ему, когда пришлось покинуть Россию. И у него остались боль и горечь в такой степени, что он даже отнесся с какой-то эйфорией к наступлению немцев на Советский Союз. (А от наших общих знакомых я даже слышала, что за эти самые прогерманские настроения он оказался персоной нон грата, и его попросили во время войны убраться из Англии.)

И как он потом невыносимо переживал, когда понял, во что хотели превратить Россию победоносно наступающие с такой жестокостью немцы, и, оставаясь по-прежнему ненавистником

большевизма, радовался и гордился, когда Красная Армия дошла до Берлина.

Мы также часто после наших прогулок шли к нему, он жил в доме госпожи Хелен Симпсон — вдовы американского сенатора Кеннета Симпсона, и там в доме № 109 на 91-й улице ист-сайд в библиотеке на 2-м этаже за чашкой чая проводили долгие часы наших бесед.

Он с удовольствием рассказывал, а иногда даже читал нам, что у него уже было написано, особенно о тех далеких годах, где остались его несбывшиеся мечты и неосуществленные надежды. Он очень подробно рассказывал, с какой радостью воспринял свержение монархии, которую особенно возненавидел после событий 1905 года, свидетелем которых он был, так как все произошло у него на глазах, и впоследствии он даже участвовал в комиссии по расследованию этого потрясающего по своей бессмысленности и жестокости преступления. Он также рассказывал, как много сил и энергии вложил в дело свержения монархии, и поэтому считал его первым этапом к осуществлению своих грандиозных идей. И также с гордостью рассказывал, как много он успел осуществить, несмотря на усиленные протесты всех окружавших его в то время членов Временного правительства.

Он настоял и потребовал отмены смертной казни, полной и немедленной амнистии осужденных по политическим и религиозным делам, а также проведения многих других реформ, за которые — как он сказал — «мои сотоварищи не очень меня любили». Мы слушали его рассказы о том, что он собирался написать и что хотел бы сказать будущим поколениям в России в надежде, что когда-нибудь они сумеют прочитать и понять, о чем он мечтал и что хотел сделать для России. Но, как видно, многое из того, что он нам рассказывал, так никогда им и не было написано.

— Ты любишь его слушать, — как однажды сказал мне Кирилл, — с «оглушительным интересом».

Я действительно поглощала каждое его слово. Ведь все, что я слышала и знала о нем, это была сплошная карикатура, даже с детства я только запомнила, как моя бабушка оклеила сундук керенками. Тогда я была ребенком, а он неудачливый глава Российской империи.

И вот прошло тридцать лет, и мне казалось, что за все эти долгие годы изгнания у него не было ни возможности, ни желания так искренне и запросто рассказать кому-нибудь, тем более кому-нибудь «оттуда», все, что накопилось у него в душе. Может быть, наша общая симпатия способствовала этому, или

потому, что я действительно умела и любила слушать его.

Лето 1947 года дети провели в детском лагере на ферме у Александры Львовны Толстой. Мы с Кирой были в городе одни, и у нас было достаточно времени.

Александр Федорович приглашал нас на прогулки, на концерты, на свои выступления, которые были очень эмоциональные и невероятно сумбурные. То, что он писал и читал нам, было логично и понятно, но его выступления — сплошной хаос. Почему он так сильно нервничал, когда выступал, я так и не могла понять.

Меньшевики

Кроме А. Ф. Керенского мы в то время встречались со многими другими членами бывшего Временного правительства и с меньшевиками. Почти все они в начале войны бежали от Гитлера из Германии во Францию, а из Франции во время или после войны — в Америку.

Всем им было тогда под шестьдесят, и даже с хвостиком, но все они были еще очень активные. Они часто, как я уже сказала, иногда два-три раза неделю, собирались у кого-нибудь на квартире и обсуждали до хрипоты текущие вопросы, которые затем выносили на обсуждение общего собрания, на которое обычно собиралась аудитория человек 100, в основном вновь прибывшие из Европы «ВР», то есть перемещенные лица, бывшие советские граждане.

Кроме этих собраний и заседаний почти каждый вечер со всеми «ветеранами» меньшевистской компании и многими членами бывшего Временного правительства можно было встретиться в кафетерии на 57-й улице, между 6-й и 7-й авеню: Борисом Ивановичем Николаевским, Ю. Денике, Абрамовичем, Далиным, Зензиновым, Вишняком, Александром Федоровичем Керенским, Ираклием Григорьевичем Церетели — бывшим министром почт и телеграфа, Виктором Михайловичем Черновым — бывшим министром земледелия — и многими-многими другими, фамилий которых я уже даже не помню.

Сдвинув столы, они сидели по вечерам за чашкой кофе и до бесконечности горячо обсуждали насущные вопросы Советского Союза. Некоторые выступали за полную и бескомпромиссную ликвидацию большевизма в Советском Союзе и диктатуры Коммунистической партии. Другие настаивали на свержении сталинского режима и сохранении Советского Союза, проведении реформ, ликвидации лагерей, защите индивидуального крестьянского хозяйства, даже за столыпинские реформы без

«столыпинских ошейников».

Были даже такие, кто выступал за сохранение уже окрепших сельскохозяйственных колхозов, потому что, по их мнению, во время войны колхозы очень сильно помогли в снабжении армии и страны продовольствием благодаря тому, что все было под контролем правительства, а не в частных руках. Вопрос надо ставить о свержении сталинского произвола, сталинской власти, а не системы. Но никто никогда не выступал и не высказывался — такая идея, мне кажется, никому даже в голову не приходила — о расчленении Советского Союза.

Меньшевики были уверены в том, что они и именно они придут когда-нибудь к власти в России и что именно они изменят там жизнь так, как не сумели это сделать большевики. С ними мы быстро познакомились и с некоторыми из них даже подружились.

Революционер Борис Иванович Николаевский

С Борисом Ивановичем Николаевским мы познакомились почти сразу после нашего приезда в Нью-Йорк.

Родился Б. И. Николаевский в 1887 году в провинции, на Урале, в семье священника. В партию социал-демократов вступил еще в студенческие годы, в 1917 году он вошел в состав ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов от организации меньшевиков и, будучи всю свою жизнь видным меньшевиком, он также разделял многие важные положения большевиков.

Во время Гражданской войны он призывал меньшевиков бороться вместе с большевиками против Колчака. У меня по отношению к нему было странное чувство, как будто я разговариваю со старым, как тогда говорили, большевиком, и он действительно был не из тех, кто слепо ненавидел всех и все, что там происходило, а искренне старался вникнуть и понять. Он всю свою жизнь, еще со школьных лет, занимался историей и знал ее, как ходячая энциклопедия. Борис Иванович был такой же талантливый историк, как бывают талантливые писатели, художники или музыканты, поэтому собирать исторический архив для него было все равно, что создавать произведение искусства: это доставляло ему колоссальное удовольствие. Из России он выехал или был выслан в Германию и сохранял свое советское гражданство до 1932 года, надеясь вернуться. Но в 1932 году Сталин лишил его советского гражданства.

В 1924 году он стал в Берлине официальным представителем Института К. Маркса и Ф. Энгельса.

В гитлеровские времена, в самый разгул сжигания неугодной Гитлеру и гитлеровцам литературы и книг, он сумел спасти от

уничтожения гитлеровцами германский архив социал-демократической партии, который вывез из Германии в Голландию, в Международный институт социальной истории, а его назначили директором филиала этого же института в Париже. Вот здесь, в Париже Борис Иванович Николаевский в 1936 году и встретился с Николаем Ивановичем Бухариным, которого Сталин послал купить архив Карла Маркса.

Борис Иванович сказал, что Н. И. Бухарин очень откровенно поделился с ним своими опасениями об усилении сталинских репрессий. «И я посоветовал, даже предложил ему остаться, — сказал Борис Иванович, — но он только безнадежно махнул рукой и сказал: „Э, да все равно, он ведь не успокоится, пока всех нас не передушит“».

Николай Иванович Бухарин был в Париже с женой и не остался, а в 1938 году его арестовали и расстреляли, жену спустя много лет реабилитировали.

В сталинскую мясорубку попал и брат Бориса Ивановича, Владимир Иванович, который был женат на сестре Алексея Ивановича Рыкова. Сам А. И. Рыков, председатель СНК СССР, после смерти В. И. Ленина активно выступал за продолжение политики Ленина, против ликвидации НЭПа и усиленной коллективизации, стал позже также жертвой сталинского террора…

Борис Иванович всю свою жизнь внимательно следил и подвергал тщательному анализу все, что происходило в СССР при Сталине. В своих статьях в «Социалистическом вестнике» он твердо осудил насильственную коллективизацию, сталинские репрессии и никогда не прекращал бороться за демократию, он также был одним из основателей, вместе с А. Ф. Керенским, «Лиги борьбы за народные свободы».

Я питала ко всем к ним симпатию, смешанную с грустью, ведь все они искренне и бескорыстно желали добра нашей стране и народу. И все вместе могли бы принести колоссальную пользу народу без сталинских мракобесий. И в то же самое время при наших общих встречах и бесконечных разговорах я смотрела на них и думала: ведь если бы они остались там при Сталине, никого, ни одного человека из них уже не было бы в живых, Сталин их всех давно бы уничтожил. И я с горечью вспоминала свои встречи с такими же замечательными людьми, как Енукидзе, Корк, Гамарник, Бухарин и многими другими. Вспомнила, как наши студенты Н. И. Бухарина, в наш «Институт культуры» (был такой у нас) на третий этаж на руках внесли, а ведь никого из них уже давным-давно нет в живых. Сталин их всех расстрелял.

Основную часть берлинского архива Борис Иванович привез

после войны в Америку и очень жаловался, что многое из этого архива кем-то было разворовано.

Когда мы познакомились с ним и с его секретарем Анной Михайловной Бургиной, замечательным другом и спутником его жизни, работавшей и содержавшей в полном порядке этот замечательный архив, он жил где-то в Астории, а Анна Михайловна Бургина — на Манхэттене. Внешне отношения у них были теплые, но деловые, они всегда обращались друг к другу по имени отчеству и на «вы». Например, если его приглашали куда-нибудь на обед, я не помню, чтобы Анна Михайловна пошла с ним, она только предупреждала его: «Борис Иванович, наденьте, пожалуйста, галстук без меня», так как он особого внимания не обращал на свой туалет и особой аккуратностью не отличался.

Я Анну Михайловну очень любила, но ее старые знакомые, с которыми она нас знакомила, почему-то ее недолюбливали.

Назвал ее Борис Иванович первый раз женой, когда он был уже сильно болен и собирался передать весь свой архив Калифорнийскому университету, поставив при этом одно условие: чтобы его жена Анна Михайловна Бургина до конца своей жизни продолжала работать при архиве.

Когда в 1947 году мы с ними познакомились, это было очень интересное время. И мне кажется, мы с одинаковым любопытством рассматривали и изучали друг друга. Для нас они были исторические личности, потерпевшие крах, мы для них были экспонаты, выросшие в том обществе и в той среде, которые они отвергли. К сожалению, все эти исторические личности были уже в таком возрасте, что в течение последующих 15–20 лет никого из них в живых не осталось. Ведь я была ребенком, когда Александр Федорович был уже главой нашего государства. И я очень жалею об одном: почему такие глубоко русские люди не смогли или не захотели для блага своего как будто всеми любимого народа пойти на уступки друг другу и сделать одну из прекраснейших стран мира еще прекрасней — ведь этого все они хотели.

Американские стукачи

Вообще, потребовалось довольно много времени, чтобы разобраться во всех наших новых знакомых и составить о них свое мнение.

Например, из всех прочих один эпизод особенно мне запомнился. Мы еще находились в «Лео-Хаус», когда меня пригласили в ФБР. Это была моя первая и последняя встреча с ними. С самого утра весь день они мытарили меня вопросами, в

основном все они вертелись вокруг одного: каким образом мой брат был приглашен работать в НКВД и как и почему он отказался или, может быть, он стал работать в этих органах.

Долго и упорно мне пришлось объяснять им, что в 37-м году не то после усиленных арестов служащих НКВД, не то из-за увеличения объема работы эти органы начали набирать новые кадры среди молодежи. И когда моему брату предложили работать в этих органах, он отказался: «Я не могу, — заявил он, — потому что мой отец арестован как враг народа». У брата сначала даже создалось впечатление, что ему не поверили и подумали, что он нарочно приписал себе это, чтобы избежать службы в этих органах. «Если не верите, проверьте, это в ваших силах», — ответил им мой брат. И конечно, после этого его не только не взяли на работу в НКВД, но он подвергался многим гонениям и неприятностям, которым подвергались такие честные и смелые люди, как он.

Мой брат погиб на фронте 11 сентября 1942 года в боях при прорыве блокады Ленинграда.

Для меня все эти вопросы о брате, погибшем в такое трагическое время, были мучительным испытанием. Как сыпать соль на открытую рану. Мне было больно думать и больно вспоминать пережитое, тем более в страшных условиях войны. И вот здесь, среди этой совершенно равнодушной публики, выворачивать душу и говорить, говорить о трагически погибшем брате для меня было хуже всякой пытки.

Я жила в Москве, брат — в Ленинграде, и больше того, что я слышала от брата, я не знала ничего. И потом, зачем им нужен был этот допрос? Ведь не он у них просит право на убежище, а я.

Во время этого допроса мне стало ясно, что кто-то уже успел донести то, о чем я вскользь упомянула в разговоре в присутствии мадам Далиной.

И как на зло, через несколько минут после того, как мы вернулись в наш «Лео-Хаус» и голова моя не просто болела, а трещала от боли, к нам зашел Далин с женой.

Мадам Далина опять завела старую пластинку о том, что в Советском Союзе мораль опустилась до такой степени низко, что все люди без конца доносят друг на друга — сын на отца, отец на сына и так далее.

Я еще не могла никак успокоиться после этого отвратительного дня, не выдержала и сказала:

— Если там все так, как вы говорите, этому, по-моему, там есть извинение: люди живут в условиях сталинской диктатуры. Но кто здесь, в этой свободной, как все утверждают, стране тянет людей за язык заниматься доносами, не успеешь рот открыть.

Мадам Далина на это не задумываясь ответила:

— А разве советское правительство не может подсылать сюда к нам людей, чтобы они знакомились с нами и передавали ему сведения о нас? Разве советское правительство не хочет знать, как мы живем и чем занимаемся?

— Во-первых, я не считаю, что в советском правительстве сидят такие тупые идиоты, которые способны были бы посылать для этой цели семью с детьми. А во-вторых, среди вас они легко могут найти и завербовать человека, умеющего профессионально этим заниматься.

С этого момента к нам стал приходить только г-н Далин. По-видимому, мадам поняла, что я догадалась, кто был в данном случае доносчиком.

Дочь анархиста Кропоткина

— Ниночка Ивановна, с вами хочет познакомиться дочь Петра Александровича Кропоткина.

— Александр Федорович, вот не ожидала, но я с огромным удовольствием. А скажите, она очень глубоко разделяет точку зрения и анархические идеи своего отца, Петра Александровича Кропоткина? Вы знаете, об анархизме я кое-что слышала еще в детстве, а моя семья имела какое-то косвенное отношение к знаменитому анархическому движению батьки Махно на Украине. Да не смотрите на меня так, как-нибудь расскажу.

— Да нет, я лично даже думаю, что она скорее сочувствует Советскому Союзу.

Так мы очутились на 5-й авеню в районе д90-ой улицы в очень скромной квартирке, нас встретила очень милая, симпатичная пожилая дама, Мария Петровна Кропоткина.

За годы моего пребывания за границей я уже успела повстречать довольно много таких маститых князей и княгинь, графов и графинь: Голицыных, Оболенских, Мусиных-Пушкиных, Урусовых, Белосельских-Белозерских и многих других. Всегда было странно видеть обыкновенных людей, которых в автобусе, в метро, на улице ничем не выделишь из окружающей их толпы. Никто из них не был похож на тех князей, графов и графинь, которых все, и я в том числе, видели только в кино или на сцене, от чего создавалось впечатление, что в прошлом вся жизнь в России была какая-то особенная и все эти люди были людьми особой касты, к которым страшно было даже прикоснуться.

А вот здесь мы сидели, пили чай, так же как в любой семье в Москве. Только это была не Москва, а 5-я авеню в Нью-Йорке, и с нами сидела княгиня Мария Петровна Кропоткина, женщина,

смертельно уставшая от эмиграции с 19-го года. И весь разговор крутился вокруг вопроса, насколько опасно или безопасно возвращаться сейчас в Россию и что многие эмигранты после войны, истосковавшись по родному краю, готовы бросить все и вернуться к себе на Родину. И мне до боли обидно было слушать, что война образумила Сталина, что после войны все изменилось к лучшему и все могут спокойно вернуться в родные пенаты. Во время войны, когда у Сталина была более важная задача — отправлять на убой миллионы людей — и он немного отвлекся от гражданского населения, у многих советских граждан появилось чувство, что можно более свободно общаться даже с иностранцами. И старые эмигранты также воспрянули духом в надежде на перемены и на возможность скорого возвращения к себе на родину. Они стали оббивать пороги советских консульств даже уже во время войны, бросали все и возвращались, но Сталин не был бы Сталиным, если бы не остался верен себе, и многие из них горько заплатили за свою доверчивость. Почему не могут люди спокойно вернуться без боязни к себе на родину?

Не знаю, осуществила ли дочь князя Петра Александровича Кропоткина свое желание или осталась здесь где-нибудь на Ново-Деевом, но ее платок, подаренный мне, я храню как реликвию, полученную из рук дочери легендарного лидера анархического движения у нас в России. Но, к сожалению, здесь же я очень хорошо поняла, что существует глубокая пропасть, которую трудно перешагнуть. Мы тепло с ней попрощались.

Мира Гинзбург — лучшая переводчица США

С Мирой нас познакомил, вскоре после того как мы оказались в Нью-Йорке, Юлий Давидович Денике. Рекомендовал он нам ее как лучшую в Америке переводчицу с русского языка. Она в это время как раз переводила одно из лучших произведений Евгения Ивановича Замятина роман «Мы». Кирилл знал Замятина с детства, они оба оказались из одного города Лебедянь Тамбовской губернии, и Кирилл даже учился в той школе, где преподавал священник — отец Замятина. Мира хотела узнать у Кирилла значение каких-то слов или названия каких-то предметов, которые часто упоминал Замятин в своем романе и которые были ей незнакомы.

Она в это время также переводила многие другие произведения русских писателей, в том числе произведения Михаила Афанасьевича Булгакова «Роковые яйца», «Мастер и Маргарита» и его пьесы. Надо сказать, что ее переводы были

самые лучшие, от них пришел в неописуемый восторг даже Корней Иванович Чуковский, от которого она получала восторженные, почти любовные письма о ее переводах, и в Америке она была внесена в книгу: «Who is who» за качество ее переводов.

Мира родилась в Белоруссии, в городе Бобруйске, отец ее принадлежал к бундовцам и еще к какой-то партии не то меньшевиков, не то эсеров, не знаю точно, но пока был жив Ленин, он при нем работал в Белоруссии и даже занимал какой-то значительный, важный пост.

Но вскоре после смерти Ленина, в 1924 или в 1925 году он, как и многие другие, быстро понял, что при Сталине, который начал набирать силу, надо куда-то убираться, куда-то уезжать. Сначала они выехали в Литву, оттуда в Канаду, а из Канады в Нью-Йорк. Здесь у них было довольно много родственников, уехавших давно из России, еще до революции, но отец Миры не мог перенести разрыв с Белоруссией и вскоре очень тяжело заболел. Мира и мама Броня остались без копейки денег с больным отцом. В те годы в Америке никакого социального обеспечения не существовало, получить помощь было неоткуда, немного помогали еврейские организации, вот и все. К какой именно политической группе принадлежала ее семья, я не знаю, я только знаю, что ее мама Броня принимала активное участие в меньшевистских мероприятиях.

Когда мы с Мирой познакомились, она еще с трудом приходила в себя после смерти отца. Жили они тогда в самой криминогенной, быстро разрушавшейся части Южного Бронкса. Когда машины проезжали по этой части города, просили не открывать или закрывать окна в машине.

В первые послевоенные годы по всей Америке, и в Нью-Йорке, появилось такое невероятное количество психоаналитиков, как гадалок и знахарей во многих городах и селах России во время войны. Даже обыкновенные врачи бросились переквалифицироваться. К психоаналитикам ходили прямо семьями, чуть не с младенцами на руках даже собак и кошек таскали к психоаналитикам наперебой.

Народ был буквально полностью охвачен психозом, если не сумасшествием, относительно психоанализа. Это была панацея от всех заболеваний.

Мира также искала у них облегчения от своего потрясения. У нее было невероятное количество различных фобий. Она боялась езды в метро. С этим я с ней вполне согласна, спускаться в метро было поистине страшно. Но она боялась и полетов на самолетах, и когда ей потребовалось полететь во Францию, то после наших

бесконечных уговоров она согласилась на этот подвиг только на «Конкорде». Два часа полета сидела с закрытыми глазами, сжавшись в комочек до тех пор, пока, как она сказала, ее полуживую не вытащили из самолета. Это был один из самых героических поступков в ее жизни.

Она хотела поехать с нами на остров Кейп-Анн. Когда я позвонила, что мы заедем, она ответила:

— Я не могу.

— Почему? — удивилась я.

Оказывается, потому, что из Европы вернулся ее психоаналитик и она не может без его благословения. Мои попытки убедить ее в том, что два месяца без него она существовала, пока он прохлаждался и гулял по Европе, ни к чему не привели, она осталась. Или вдруг она заявила, что он придумал какой-то новый коллективный способ психоанализа.

— Что это значит? — поинтересовалась я. — Что, он вашей группе так называемых больных задает какую-то тему и сам наблюдает за реакцией каждого из вас при ее обсуждении?

— Да нет, он собирает группу из пяти-шести больных, и каждый из нас говорит все что хочет, кому что в голову взбредет.

— Так это же как в сумасшедшем доме. Неужели, Мира, ты не можешь понять, что это шарлатанство? За один и тот же час ему теперь платят пять-шесть человек.

Тогда я вспомнила и поняла, что самым лучшим способом психоанализа были русские завалинки или посиделки наших бабушек. После тяжелой работы вечерами собирались соседки, рассаживались на завалинках и судачили каждая о своем, что у нее наболело за весь день, и, успокоенные сочувствием друг другу, расходились по домам, спокойные, умиротворенные.

Трагическое недоразумение

Мюриель Гарднер, blue blood American

Все это время мы находились в состоянии полной неопределенности. Мы устали, особенно дети. И снова нам на выручку пришла мадам Ева Джолис. Она познакомила нас с замечательной американкой, такой, которых здесь называют «Блу блад американс» (американцы голубой крови), — это те, чьи предки еще на «Мэйфлауэр» приплыли сюда, убежав от гонений, с целью осваивать или завоевывать Америку.

Госпожа Мюриель Гарднер — по специальности врач-психиатр — предложила нам перебраться из «Лео-Хаус» к ней на квартиру на 93-й улице Централ-Парк-вест напротив Центрального парка. В этом огромном доме она занимала пол-этажа.

Здесь находилась ее библиотека, в которой работал какой-то бежавший от Гитлера эмигрант. Она с мужем, тоже бежавшим от Гитлера из Германии, очень много помогала беженцам из Европы. Даже сюжет кинокартины «Джулия» с участием Джейн Фонды и Ванессы Редгрейв, говорят, был взят из ее жизни.

Она была другом русского скульптора Сергея Тимофеевича Конёнкова, у нее даже было несколько деревянных скульптур и очень удачная скульптурная голова Ленина, которую он подарил ей перед самым отъездом в Советский Союз, чем она очень гордилась.

Дети по их рекомендации пошли в католическую школу на 96-й улице Коломбус-авеню. Однажды, когда я пришла за ними после занятий, на улице стоял и горько плакал Володя:

— Мама, я больше никогда, никогда в эту школу не пойду, — заявил он.

— Что случилось?

— Забери меня отсюда.

И только дома, успокоившись, он объяснил, что с ним произошло. Оказывается, во время ленча в его тарелку с супом упала изюминка, которую он старался вытащить. К нему подошел один монах и больно дернул его за волосы за то, что он болтал ложкой в супе. И ему показалось это очень обидным и несправедливым.

— Хорошо, — сказала я, — если тебе так обидно, завтра в школу не пойдешь.

Но наутро, я смотрю, он после завтрака оделся и, взяв в руки

учебники, стал у дверей ожидать меня с Викой.

— Ты что, тоже решил пойти? А я думала, только Вика пойдет.

— Да нет, мама, я тоже решил пойти, мне просто любопытно, что будет дальше.

Я рассмеялась:

— Умник, пойдемте.

Так мудро разрешил он этот «конфликт».

Наша жизнь в это время была похожа на кошмарный сон. Наши ограниченные средства подходили к концу. Дети как будто выросли из своей одежды, и климат после Мексики был другой.

Найти квартиру в тот год было немыслимо тяжело, тем более в нашем положении и с нашими не просто ограниченными средствами, а фактически почти отсутствием средств, когда мы не могли себе позволить даже смотреть на вещи дороже 100 долларов. Наша легализация не продвигалась ни на шаг, и даже наши визы не были продлены.

Кирилл сбился с ног в поисках квартиры. Злоупотреблять гостеприимством нашей замечательной хозяйки было выше наших сил, хотя в эту квартиру она приходила очень редко, так как работала психиатром в какой-то больнице в Нью-Джерси и жила там.

Там у нее было свое огромное поместье, свои конюшни, туда она приглашала нас в гости. Там жила она с дочерью, у которой было много черепах, одну из которых она подарила Володе. Но к его огорчению, как только он вернулся в Нью-Йорк и взял ее в парк погулять у пруда, она умудрилась очень ловко сбежать от него, и все его усиленные поиски ни к чему не привели.

Литературные агенты

Многие наши знакомые, «маститые», как я уже сказала, журналисты и писатели, искренне желавшие нам помочь, как только слышали о нашем контракте с адвокатами, сразу заявляли, что ни одно издательство не согласится что-либо напечатать. Так и вышло, они были правы. Вся деятельность наших тогдашних адвокатов в качестве литературных агентов повредила и им, и нам, хотя они старались вовсю, совсем забыв о своем прямом назначении — о легализации нашего положения в США.

Как-то однажды во время наших встреч с Максом Истманом Кирилл рассказал какой-то эпизод из своей жизни, и Макс спросил Кирилла:

— Я пишу статью, могу я с вашего разрешения упомянуть в

ней об этом?

И Кирилл ответил:

— Конечно.

Через несколько недель Кирилл, к своему удивлению, получил чек на 500 долларов. Согласно нашему контракту Кирилл сейчас же отдал чек Ричмонду, тот разменял, принес нам 250 долларов, и тут же устроил скандал издательству из-за того, что они мало заплатили Алексееву. На что издательство ответило, что это была статья Макса Истмана и что они за тот маленький эпизод, который упомянул Макс Истман, по его же просьбе послали Алексееву 500 долларов. Отношение с этим издательством он испортил и нам, и себе.

Через некоторое время Юджин Лайонс тоже написал небольшую статью и передал мне чек на 300 долларов, я сразу же отдала его Ричмонду. Он принес нам 150 долларов, нежно их разгладил, поцеловал и торжественно преподнес мне.

Ричмонд в это время сообщил, что он обратился в такие издательства, как «Лайф», «Форчун», «Космополитан» и некоторые другие журналы, но как только эти издательства слышали об их контракте с нами, сразу же переговоры прекращались, просто никто не принимал их всерьез.

Я глубоко уверена, что если, бы эти адвокаты не вмешались в качестве литературных агентов, а занимались своим делом, при наших обширных знакомствах и близкой дружбе со всеми этими маститыми журналистами и издателями мы могли бы гораздо больше сделать, что было бы полезно и нам, и адвокатам. Но ни у кого из них никакого желания не было судиться с нашими адвокатами.

Моррис Моррису рознь

Время шло, наши визы кончились.

— Что же будет дальше? — в недоумении спрашивали мы. Ведь адвокаты еще ничего не предприняли в отношении нашей легализации и внесения «билля», как они обещали.

Мистер Джолис вместе с Кирой пошел к ним в контору и спросил, что было ими предпринято в отношении продления наших виз и вообще в отношении статуса нашей легализации. Ричмонд заявил Джолису, что устно договорился с представителем эмиграционного бюро о продлении нашей визы на 2 месяца.

— И это все? — удивился Джолис. Дня через два г-н Джолис сообщил нам, что Моррис обещал лично заняться нашим делом, так как считает, что Ричмонд недостаточно компетентен.

Что можно было сказать на это, если сам адвокат Моррис, втянувший Ричмонда в это и переложивший на него все, что обязан был делать сам, после стольких мучений, которые нам пришлось перенести, заявил, что Ричмонд не способен заниматься нашим делом?

Время шло, а наше дело продолжало висеть в воздухе. Наша надежда на то, что эти адвокаты со своими фантастическими связями, без которых, по утверждению всех наших знакомых, в Америке нельзя и шагу ступить, окажут нам помощь, не оправдалась. Кончилось тем, что сам адвокат Моррис признал неспособность своего партнера — то есть, иными словами, ни им, ни нам никакой пользы от него нет.

Кстати, теперь мы уже знали, что попали к Моррису, который ничего общего не имеет с тем Моррисом, которого нам рекомендовал Виноградов.

Сказал нам об этом Б. И. Николаевский. Когда мы возмутились, что этот хваленый политический адвокат, который якобы так много помогает политическим эмигрантам, притащил еще какого-то подставного адвоката, и ведут они себя как хищники, напавшие на добычу.

— Вы попали к адвокату Моррису, но это не Эрнст Моррис, а Боб Моррис. Он ничего общего с тем Моррисом не имеет.

Это было трагическое недоразумение.

Я уверена, что Лидия Александр овна, как и мы, была в Америке новый человек. Они прибыли в Америку к Александре Львовне Толстой на пару месяцев раньше нас. И поэтому, когда она обратилась к своим действительно хорошим знакомым и упомянула имя Морриса, они сказали ей, что знают такого, что он хороший адвокат по политическим вопросам и имеет большие связи в правительстве. И они, и она были уверены, что это тот самый адвокат, и в ту же ночь представили нам его как известного адвоката по политическим вопросам господина Морриса.

Это, я не знаю даже, как назвать, сущее или трагическое, недоразумение стоило нам слишком дорого, так как превратило всю нашу жизнь, а следовательно и наших детей, в пытку.

Мы с трудом старались прийти в себя. Как же мы попали в такую историю? Вместо того, чтобы иметь дело с человеком, действительно понимающим наши трудности и наше моральное состояние, знающим, как и с чего начинать вести наше дело, попали к каким-то адвокатам, ничего в нашем деле не понимающим.

Разрыв с адвокатами

Наконец мы, что называется, собрались с духом и решили, что с ними нужно покончить и начать все сначала. В конце апреля 48-го года мы написали письмо адвокатам, что мы просим их с этого дня не считать нас своими клиентами и представить нам счет за свои услуги.

Кирилл сам отнес это письмо в контору «Хочвальд, Моррис, Ричмонд, Эсквайр» и отдал под расписку в руки Ричмонду, напомнив ему о том, что по предварительной договоренности мы можем в любой момент отказаться от их услуг. На что Ричмонд ответил:

— Да, можете, но я должен поговорить с Моррисом, так как он является вашим настоящим адвокатом.

Прошло еще около месяца — от адвокатов ни звука. Тогда мы написали второе письмо, в котором напомнили, что в нашем первом письме мы сообщили им, что мы отказались от их услуг и просили представить нам счет за их услуги.

Но так как на наше письмо мы никакого ответа не получили, то их молчание мы рассматриваем как отсутствие каких-либо претензий к нам и просим вернуть наши паспорта и все документы, имеющие отношение к нашему делу.

В кабинете у Ричмонда присутствовал в это время русский переводчик. Ричмонд, закончив читать наше письмо, обратился с раздражением к переводчику:

— Передайте господину Алексееву, что он очень пожалеет об этом.

— Зачем он пугает нас, пусть прямо скажет, сколько стоят их услуги, — попросил Кирилл.

— Передайте г-ну Алексееву, что я не хотел пугать его, а наши услуги стоят 5000 долларов, — ответил Ричмонд.

— Хорошо, — сказал Кирилл, — пусть он представит нам счет, что они сделали в отношении нашей легализации, а также в качестве литературных агентов.

— Пусть г-н Алексеев спросит у г-на Бармина, сколько ему стоила его легализация, — сказал Ричмонд. — Он заплатил за это от 15 до 20 тысяч долларов.

Кирилл тут же поднял трубку и в присутствии Ричмонда позвонил Бармину. И на вопрос, сколько стоила ему его легализация, Бармин твердо ответил: «Ни одного цента».

А ларчик просто открывался

На следующий день мы решили сами пойти в эмиграционное бюро по адресу 70 Коломбус-авеню. Инспектор, который нас встретил, сказал:

— К счастью, вы очень удачно зашли. Я послал вам уже два письма с просьбой зайти и заплатить 16 долларов с человека — налог, требуемый по закону, — и не получил от вас никакого ответа. Вы могли потерять право на продление ваших виз.

Эти письма, как и вся другая наша корреспонденция, поступала по просьбе адвокатов прямо на их адрес. И они ничего нам не сообщили. Как же можно было рассматривать такой поступок адвокатов, когда мы по их вине чуть вообще не лишились права получить отсрочки наших виз! И вообще, сказал нам инспектор, наше дело настолько уже запутано, что, по его мнению, гораздо лучше будет, если мы теперь будем иметь с ними дело сами лично.

Не получив от адвокатов, как говорится, ни ответа ни привета на наши письма, мы решили, что с ними у нас все покончено и постепенно стали приходить в себя.

Я даже не знаю, сумею ли объяснить то жуткое моральное состояние, в котором мы все это время находились. Мы покинули не страну, а систему, которую создал Сталин, при которой даже самое безобидное желание остаться или задержаться в чужой стране означало подписать себе смертный приговор.

И в том положении, в котором мы находились, у нас был только один путь — получить политическое убежище здесь, так как возвращение означало смерть. Мы покинули родных и близких, друзей, с которыми росли, жили, учились, работали, с кем пережили столько тяжелых и радостных дней, и больше никогда, никогда ни мы о них, ни они о нас ничего не узнаем и ничего не услышим. Мы для них уже не существуем. Кроме горечи потери, сколько им еще придется пережить из-за нас! И все это тяжелым камнем лежало у нас на душе. В моей душе жила и, мне казалось, всю мою жизнь будет жить эта кровоточащая рана.

И нам в этот момент нужен был, до смерти нужен был такой адвокат, который хотя бы чуточку нас понимал, помогал и защищал нас.

Мы же попали к таким адвокатам, от которых мы не получили ни одного дельного совета и от которых мы с трудом могли защитить себя.

Наслушавшись, как быстро разбогатели Кравченко и Гузенко, адвокаты решили, что напали на золотую жилу и что у нас, как у Гузенко или у Кравченко, тоже есть что-то, на чем они смогут благодаря нам быстро разбогатеть. Наши средства подошли к концу, а права на работу даже в помине не было.

В поисках работы

Рейл-род апартамент на адской кухне

Кирилл, после долгих поисков, наконец нашел квартиру на 50-й улице между 10-й и 11-й авеню. Здесь кто-то привел в порядок старый заброшенный 4-этажный дом. Мы сняли квартиру на третьем этаже, вход прямо с лестницы в узкое, как коридор, помещение, разделенное перегородками на три части, без дверей. Два окна в конце выходили на пожарную лестницу, на улицу, все остальное темное помещение упиралось в глухую стену соседнего дома.

«Рейл-род апартамент», он действительно напоминал железнодорожный вагон, но там все-таки есть какие-то двери, а здесь их не было. Стоила квартира — со светом, газом, телефоном — больше 120 долларов. Это было все, что мы с трудом могли себе позволить. И с двумя чемоданами, с двумя детьми мы с облегчением вошли в абсолютно пустое, неуютное, но «свое» помещение в районе так называемой «адской кухни».

У нас не было ни мебели, ни посуды, ни постели, ни даже постельного белья. А главное, не было денег на приобретение всего необходимого. Самое важное для нас было — устроить поудобнее детей. Для них мы достали пару раскладушек, поместили их в самую светлую часть этой кишки.

Сами мы спали в средней части этого помещения на полу, в отделении между детской и кухней, и детям, чтобы пройти ночью в туалет, приходилось переступать через наши ноги, такое узкое было это помещение.

Наши знакомые помогли нам собрать кое-что необходимое, кто стул, кто стол, кто кастрюлю. Дети пошли в школу. И их учителя поражались, что дети так быстро освоились, а особенно поражались их математической подготовке.

Спрашивали нас, где они учились. Я не могла им сказать, что учились они только у меня, в той школе, которую организовала я в Мексике.

Без бумажки ты букашка

Мы усиленно и безуспешно искали работу, обращались в различные агентства, компании, фирмы, предприятия. Очень успешно проходили интервью, но как только вопрос касался оформления на работу, у нас никаких документов не было, кроме

единственного письма от эмиграционного бюро о том, что нам продлен срок нашего пребывания в стране на несколько месяцев. И конечно, все вежливо отказывали.

Какие мы были наивные, как дети, в отношении устройства на работу! Нам казалось, достаточно быть хорошим специалистом, чтобы устроиться на работу.

Наше эмиграционное дело было в таком запутанном, запущенном состоянии, что новому адвокату, и не одному, пришлось с трудом приводить его в порядок, что потребовало много времени, средств и терпения.

Усадьба в штате Вермонт

Как только дети закончили занятия, мы вырвались из нашей «адской кухни» в Калифорнию с Анной Михайловной Бургиной, бывшей гражданской женой Ираклия Георгиевича Церетели, одного из бывших лидеров партии меньшевиков, депутата 2-й Государственной думы с 1917 года и министра Временного меньшевистского правительства Грузии в 1918 г. Он был красавцем даже в 70 лет, когда мы с ним познакомились.

Сейчас она была близким другом и товарищем, а впоследствии стала женой Бориса Ивановича Николаевского.

Мы поехали на поезде к его старым друзьям Рабиновичам на север, в город Братсборо в штате Вермонт.

Здесь у Рабиновичей была большая усадьба со старомодным двухэтажным домом, с туалетом во дворе и со многими другими неудобствами, который они купили в те годы буквально за гроши.

Евгений Исаакович Рабинович, старый друг и товарищ Бориса Ивановича Николаевского, когда учился в Германии, был в Берлине председателем Русского студенческого союза. Здесь, в Америке, он был редактором бюллетеня Комитета по атомной энергии и крупным известным ученым по вопросам атомной энергии. Он был страстным ненавистником применения атома в качестве оружия.

Хозяйка этого дома, Анна Димитриевна Рабинович, была такая милая, очаровательная женщина, что превратила наше пребывание с ней в сплошное удовольствие.

У них было два сына — такие разные, что трудно было поверить, что они близнецы. Один худенький, высокий очаровательный блондин — Витя. Другой — Саша, брюнет, ростом пониже, полный крепыш, любил сосать палец, и когда Кирилл делал ему замечание:

— Саша, что ты делаешь, ты же не маленький!

Он, по-своему логично, отвечал:

— Вы же трубку курите.

Мне нравилось, когда Анна Димитриевна в конце дня обращалась к ребятам:

— Господа, вынесите гарбидж (то есть мусор).

Она с нежностью относилась к проползавшим иногда по дачному участку змейкам.

— Какие они миленькие, — нежно говорила она, а меня они приводили в ужас.

Но она отчаянно боялась грозы, и если ночью бывала гроза, то с ужасом прибегала ко мне в комнату и, как ребенок, пряталась под одеяло.

Она утверждала, что ее муж Евгений Исаакович всегда, когда вопрос заходил об использовании атомной бомбы в качестве оружия, приходил в ужас и категорически считал, что использование атомной бомбы в качестве оружия массового уничтожения необходимо раз и навсегда запретить на всей нашей планете.

И это было в то время, когда еще многие среди русской эмиграции, да и не только среди русской эмиграции, а даже сам Черчилль считал, что с большевизмом в России можно бороться, только сбросив на Россию атомную бомбу.

Здесь же, недалеко от Рабиновичей, жил профессор Карпович с семьей.

Мы часто навещали их. Сам профессор Карпович в основном находился в Бостоне, где преподавал в университете.

Его жена, милая, симпатичная дама, буквально как «алкоголичка» не могла пропустить ни одного деревенского аукциона. Она не просто посещала — она взахлеб покупала там невероятное количество всевозможных вещей.

Весь дом, все комнаты были завалены до потолка ящиками. Что там было в них, я думаю, сама хозяйка не знала, но протиснуться между ними можно было только с трудом. Во дворе был внушительных размеров амбар, который был также полностью завален коробками, которые она даже не успевала распечатать. Все знакомые удивлялись, что она собирается делать со всем этим добром.

Калифорния. Предложение от «Гонолулу-Компани»

Наконец благодаря усилиям наших друзей, как только мы вернулись из Вермонта, появилась перспектива работы по специальности в Калифорнии. Это привело нас в восторг, мы просто ожили. И немедленно поехали в Сан-Франциско.

Интервью Кирилла с представителями «Гонолулу-Компани»

произвело на них очень хорошее впечатление, и они решили сразу взять его на работу.

Возвращались мы обратно из Калифорнии в Нью-Йорк, окрыленные надеждой. Мы торопились вернуться в Нью-Йорк только для того, чтобы освободиться от трехгодичного контракта на квартиру, а главным образом, выяснить в эмиграционном бюро, в каком положении находится наше дело и, собрав наши незатейливые пожитки, вернуться в Калифорнию.

Мне самой не терпелось найти работу по специальности, так хотелось попасть на производство, и вообще, жизнь без работы я не могла себе представить. За эти годы отрыва от производства я уже начала тосковать по производственному шуму и грохоту, поэтому я решила: как только вернемся обратно и устроим детей в хорошую школу, я немедленно начну работать.

Мы уже не чувствовали себя в этой стране такими беспомощными и одинокими и горели желанием быть ей полезными.

Мы пересекли страну с востока на запад и с запада на восток, ее могучая природа, колоссальная промышленность произвели на нас потрясающее впечатление.

И так грустно и больно было думать о нашей разбитой, разрушенной после войны стране. И о том, что сейчас переживает наш измученный народ. И нестерпимо больно и обидно было думать, почему там надо было создать такие условия, чтобы молодые люди, оказавшиеся за границей по тем или иным причинам и горевшие желанием вернуться, готовые работать без устали 24 часа в сутки, чтобы помочь поднять страну, должны искать убежище в чужой стране из боязни без всякой вины попасть в тюрьму.

Вся Европа была полна таких людей, превращенных в «перемещенные лица», которые во имя своего спасения и своих близких превращались в поляков, румын, чехов, с болью в сердце лишали себя советского гражданства.

Придумывали себе новые автобиографии, готовы были выехать куда угодно, хоть к черту на кулички, из боязни оказаться после немецких лагерей в наших, и с горечью спрашивали:

— На кой черт мы торчим здесь, когда дома мы могли бы быть намного полезнее?

Сколько стоила Америка?

Пересекая эту роскошную, богатую страну, я вспомнила слова одного знакомого американца, который не без черного юмора

заявил:

— Мы, американцы, приобрели у индейцев прекрасную, богатую страну за бусы, бутылку виски и, конечно, чуть-чуть с помощью оружия и пуль.

Но что нас, людей с советским воспитанием, очень поразило и что было непонятно нам, в каком тяжелом положении находились индейские резервации на фоне всеобщего благополучия. Мы не могли понять, как такое могучее государство в такой грандиозно богатой стране не хочет помочь улучшить жизнь такой небольшой группы коренного населения.

На меня это произвело удручающее впечатление, и было обидно за них.

Я помню, как в одной резервации, куда пришла группа туристов, один высокий, стройный, мужественный на вид индеец гордо сказал:

— Мы не зоопарк, не зверинец, чтобы на нас приезжали смотреть туристы.

И столько было горечи в этой фразе.

У меня было столько симпатии к ним, что трудно даже передать. Ведь каждый из них — это такое же сокровище, как и вся эта роскошная, прекрасная страна. Ведь они коренные жители, как любое дерево, любая травинка, любой куст, живущий на этой земле испокон веков. Они представляют собой неотъемлемую часть этой земли, и их надо беречь, хранить, так же как все сокровища этой страны.

И почему у них нет такого же места и таких же прав в своей собственной родной стране, как у всех ищущих и получающих убежище со всей нашей планеты?

Мне даже пришла в голову шальная идея, ведь это у них я должна попросить разрешения остаться на их земле, в их стране.

Все остальные, по тем или иным мотивам попавшие в эту страну, такие же эмигранты, как и мы. И я вспомнила то жуткое чувство, которое испытывала я, когда немцы чуть-чуть не захватили нашу Родину.

Я не могла, как говорится, ни при какой погоде представить, что немцы будут хозяйничать на моей родине, где все мое, где все принадлежит мне, каждая травинка, каждый кустик мой, это моя земля, это моя родина, и за нее миллионы наших людей, как и я, готовы были жизнь отдать, и отдали.

А вот здесь была та небольшая горстка американских индейцев, которая осталась в живых после упорного желания белых пришельцев уничтожить, истребить всех до единого любыми способами.

Индейцам раздали зараженные оспой одеяла, расстреляли

всех бизонов, стараясь обречь людей на мучительную голодную смерть, отняли у них самые лучшие угодья, загнали их в самые неподходящие для проживания места, а они все еще продолжали в этой своей богатейшей стране бороться в беспросветной нужде за свое существование.

Кажется дико, неправдоподобно, но это факт. Американские индейцы в своей стране не имели американского гражданства, и даже те юноши-индейцы, которые были в армии во время Второй мировой войны и вернулись с фронта ранеными, искалеченными инвалидами, не имели никаких привилегий ветеранов войны, так как не были американскими гражданами.

Крушение надежд

Возвращаясь в Нью-Йорк, мы собирались не тратить ни одного лишнего дня на сборы. Мы собирались выяснить, что нужно предпринять для продолжения нашего дела в Калифорнии, с учетом того, что Кириллу во время собеседования обещали, что, как только он начнет работать в этой компании, они помогут ему в деле нашей легализации. Мы намеревались вернуться обратно к началу учебного года, чтобы устроить детей в хорошую школу.

Лед как будто наконец *тронулся,* и все начало складываться в лучшем для нас направлении.

Вернулись мы в полдень и не успели еще внести в дом вещи, как раздался звонок. Кирилл открыл дверь, за дверью стоял Ричмонд и рядом с ним средних лет полный мужчина со строгой внушительной наружностью. Отвернув полу своего пиджака, он показал нам какую-то бляху, напоминающую ту, какую носят полицейские. Он строгим голосом сказал, что мы находимся под судом за то, что присвоили деньги этого господина, при этом он указал на Ричмонда.

Он еще что-то говорил своим строгим голосом, но ни я, ни Кирилл ничего больше не поняли.

Он передал Кириллу в руки бумажку, которая оказалась исковым заявлением, поданным на нас в суд бывшими «нашими» адвокатами. Кирилл расписался, поблагодарил и закрыл за ними дверь.

Так в одно мгновение рухнули все наши радужные надежды, как после землетрясения.

Стало жутко холодно и мрачно.

Прочитав иск, мы поняли, что с нас взыскивают 5000 долларов за легализацию и 7000 долларов за литературное посредничество согласно нашему контракту.

Что касается легализации, то, когда мы отказались от их

услуг, у нас даже не были продлены наши визы, разрешавшие нам легально временно проживать в этой стране. А что касается литературных услуг, то наоборот, их вмешательство всегда являлось главной помехой, потому что, как только узнавали содержание контракта, так всякие переговоры моментально прекращались.

Мы под судом

Но эта неожиданность нас буквально ошеломила.

Срок контракта с ними давно истек. На наши письма и запросы сообщить нам, сколько они хотят получить с нас за свои услуги и за что именно, а также просьбу вернуть наши паспорта и документы, связанные с легализацией, они ни разу не ответили. И мы считали, что у нас нет перед ними никаких обязательств.

Хотя мы все могли от них ожидать, не зря же они заявили: «Вы, порвав с нами, еще пожалеете». Но такой, как сказал Кирилл, «смелости» мы не ожидали. Только подумать, что такое учинили не какие-то темные личности со стороны, а адвокаты… Люди, призвание которых — помогать государству, соблюдать законы. Люди, которые в силу своего положения обязаны не только соблюдать законность, но и не забывать о самой элементарной этике.

С этого момента мало сказать, что все наши радужные планы были нарушены, а вся наша жизнь превратилась в тяжелое, трагическое испытание. Мы в жизни никогда ни с кем не судились и вообще не имели ни малейшего представления, как это происходит, тем более в чужой, новой стране.

И вместо того, чтобы ехать в Калифорнию на работу, которая нам была необходима как воздух, отправить детей в школу и вообще дать им наконец нормальные условия жизни, ради чего мы готовы были многое перенести, мы оказались под судом в Америке. Такое нам даже в кошмарном сне не могло присниться. Начинать жизнь в Америке с судебной тяжбы было нестерпимо горько.

Итак, вместо хорошей школы, о какой мы с такой радостью мечтали, дети пошли в «паблик скул», а мы должны были заняться этим, с позволения сказать, процессом.

Все наши знакомые и друзья, каждый по-своему, глубоко нам сочувствовали и старались облегчить наше положение. Работы не было, денег тоже. Единственной ценной вещью, которая была у Кирилла, были золотые часы «Ланжин» с браслетом, которые я купила Кириллу в Мексике на день его рождения, их я сдавала ростовщику и выкупала, но дошло до того, что даже их я

выкупить не могла.

И Кирилл отдал, когда я была уже больная, Юджину Лайонсу квитанцию с просьбой выкупить:

— А я их у вас выкуплю, когда у меня будут деньги.

Нам снова все твердили, что без адвоката здесь, в Америке даже показываться в суд не принято. И снова пошли поиски адвоката. Снова надо было обращаться за помощью к адвокатам.

Но сейчас разница была в том, что они не спрашивали, сколько получили за свои книги Кравченко и Гузенко, не требовали от нас немедленно уплатить 5000 долларов и все последующие расходы. Не настаивали на подписание контракта на 50 % наших литературных и профессиональных заработков, не таскали нас по чужим квартирам, как было им удобно, и не запрещали нам встречаться и заводить знакомства без их разрешения.

Наши новые адвокаты присылали нам счет, и мы расплачивались, и никогда никаких недоразумений по этому вопросу у нас ни с кем не возникало.

Нас не пугал этот процесс, так как мы были уверены в своей правоте. Мы надеялись, что этот кошмар скоро кончится и мы сумеем быстро вернуться в Калифорнию.

Но оказалось, все не так просто. Дело тянулось три года, только подумать — три года! — и адвокат наших бывших адвокатов, представитель фирмы «Уайт энд Кейс», находившейся в самом центре Уолл-стрит, угрожал нам тем, что он уж постарается затянуть это дело еще годика на два, не меньше.

Так началось предварительное следствие, так называемое хиринг экзаменейшен.

Допрашивали Кирилла, не меня, но чем больше Кирилл старался подробно рассказать суть дела, тем больше адвокаты приходили в негодование.

Гартфильд, покраснев от раздражения, требовал отвечать только ДА или НЕТ, не вникая ни в какие детали. Это было только начало мучительных допросов. Так невыносимо тяжело было ходить на эти так называемые экзаменейшен, где Кириллу без конца напоминали:

— Вы находитесь под присягой, и за неуважение к суду вас могут посадить в тюрьму.

На что Кирилл даже не выдержал и, обращаясь ко всем, заявил: «Почему мне все время угрожают, ведь я отдаю себе отчет, что, поднимая правую руку, я поднял ее не для рукопожатия».

Меня не допрашивали, но когда я не в силах была выдержать их изнурительные вопросы Кириллу и быстро на них отвечала, меня грозили выставить из комнаты.

Мы всеми силами пытались себя сдерживать. Но сколько этих сил надо было иметь! На все наши просьбы разрешить нам поехать на работу в Калифорнию ответ был один — НЕТ. Мы же были «опасные преступники» и находились под судом.

Вопрос о нашей легализации, несмотря на усилия наших знакомых и друзей, не сдвигался ни на шаг, тоже по милости наших бывших адвокатов.

Вопрос о продлении наших виз висел в воздухе. Разрешение на работу мы не имели и, будучи у эмиграционных властей на виду, не могли без их надзора даже шагу ступить. Судебный процесс висел над нами как дамоклов меч.

Короче, наша жизнь превратилась в сплошной кошмар. Теперь нам было понятно, что сюда надо появляться только с чемоданом документов, быть агентом или уметь врать, и писать, и говорить то, что хочется кому-нибудь. А у нас ничего этого и в помине не было.

Итак, прошло уже три года, а наши пытки все еще не просто продолжались, а были в полном разгаре, и продолжались не два года, как пугал нас Гартфильд-младший, а почти четыре года. Как мы все это выдержали, мне самой трудно понять.

О каком-либо более или менее нормальном устройстве своей жизни в таких условиях и думать было невозможно, мы были под судом. И нам надо было время от времени сидеть на этих идиотских «экзаменейшен» и отвечать ДА или НЕТ на одни и те же дурацкие вопросы.

— Как вас заставили подписать контракт? Вас били? Да или нет?

— Нет. Но обстоятельства…

— Отвечайте — ДА или НЕТ. Нас не интересуют обстоятельства. Отвечайте ДА или НЕТ.

И опять:

— Вас заставили? Что, вас били?

Да лучше бы уж били, чем выматывали душу вот в таком духе часами.

Во-первых, мы никогда не просили их быть нашими адвокатами, они буквально сами навязались.

Во-вторых, мы с самого начала спрашивали у них и просили сказать, сколько будут стоить их услуги по нашей легализации. Нам нужен был не литературный агент, а адвокат, который защищал бы наши интересы, знал бы, с чего начинать, куда следует обратиться, какие анкеты заполнить и куда подать.

Нам в то время и в голову не приходило заниматься литературной деятельностью и тем более иметь литературного агента. Неужели тем, кто проводил эти так называемые хиринги,

не было все понятно?

Матерый журналист и советские перебежчики

Затяжной прыжок Оксаны Косенкиной

Вот в это время к нам зашел журналист Дон Левин, главный редактор журнала «TRUE» (ПРАВДА), который считался одним из тех «хищников», который быстро находил добычу, однако нам почему-то казалось, что в нем было довольно много человеческого, сентиментального сочувствия, с ним легко было даже просто поговорить. Сейчас его занимала Оксана Косенкина с ее трагической историей..

Еще по пути в Калифорнию мы услышали по радио, что из советской миссии ООН сбежали учительница Оксана Косенкина и один из служащих, Самарин с семьей.

Косенкина, было сказано, находится на толстовской ферме, а Самарин с семьей — где-то на ферме у русских, но неизвестно у кого. Мне тогда захотелось поддержать эту простую провинциальную учительницу, какой именно и была Оксана Косенкина, ведь когда еще мы находились на толстовской ферме, я почувствовала, что советскому человеку, попав туда, надо иметь огромное чувство самоуверенности и вести себя так, чтобы никто тебя не унизил в этом великосветском собрании, где многие еще обращались друг к другу по титулам: граф такой-то, князь такой-то.

Журналист Дон Левин пришел к нам, точнее лично ко мне, с просьбой пойти с ним в госпиталь «Рузвельт» навестить Оксану Косенкину, только по счастливой случайности оставшуюся в живых и лежавшую там с переломанными костями, после того как бросилась из окна Советского консульства, и которая никого не хотела видеть.

Наше состояние, как только мы вернулись из Калифорнии в Нью-Йорк и оказались вдруг под судом, было такое, что, если бы не дети, я до сих пор без ужаса не могу вспомнить, на что сама я была уже готова.

И несмотря на мое удрученное настроение, он уговорил меня.

Наша встреча с Оксаной была очень тяжелая. Я и здесь оказалась сильнее и старалась ее успокоить.

— Зачем, ну зачем я осталась жива! — без конца сокрушалась она.

— Вы спасены. Вы в свободной стране. Мы спасли вам вашу

жизнь, — произнес Дон Левин.

— Когда бы я хотела спасти свою жизнь, я спокойно вышла бы через двери консульства, — ответила она.

И действительно, Косенкина бросилась из окна советского консульства не для того, чтобы спасти свою жизнь, а от отчаяния.

На ферме «Рид Фарм», как рассказывала она мне потом, ее отправили на кухню чистить картошку. Это ее не обидело, это она умела делать хорошо и считала, что каждый должен здесь что-то делать.

Но когда к ней подошла какая-то дама и, свысока обращаясь к ней, сказала: «Картошку вы умеете чистить очень хорошо, я надеюсь, вы так же хорошо умеете мыть полы», это показалось ей уже издевательством. Все-таки она была учительница, ее уважали и дети, и мамы, и там никто не посмел бы ее так высокомерно грубо обидеть.

Она никак не ожидала, что здесь среди русских, которые в свое время также отвергли Советскую власть и очутились здесь за границей, она найдет такой прием. И Косенкина почувствовала себя среди этих людей совершенно одинокой, запуганной, обиженной, униженной. Она попала в среду людей, которые как будто через нее, через таких людей, как она, могли выразить свою неприязнь к советской власти, как будто она была виновата в том, что они в свое время, имея всю власть, не смогли защитить ни ее, ни себя.

— Мне показалось, что даже концлагерь в своей стране, среди таких же, как я, людей мне легче будет перенести, — говорила она мне.

Ее охватил страх за свое бесперспективное будущее. Конечно, никаких тысяч долларов, как у всех советских людей, заплатить за легализацию и прочие услуги, у нее не было.

Вот это было то, что заставило ее после нескольких недель, проведенных на толстовской ферме, где она не услышала ни одного слова поддержки, кроме пренебрежительного, высокомерного к ней отношения, обратиться к советскому консулу Ломакину с просьбой приехать за ней и увезти ее с толстовской фермы.

И советскому консулу ничего не оставалось, как спасать гражданку своей страны.

А вот если бы консул Ломакин был поумнее и если бы он разрешил Косенкиной свободно, может быть еще свободнее, чем прежде, ходить по городу и все окружавшие ее были бы тоже потеплее к ней, Косенкина, вместо своего жуткого прыжка, давно жила бы в каком-либо дальнем лагере в Советском Союзе, так как возвращаясь в советское консульство с толстовской фермы,

Косенкина очень хорошо знала, что совершает, может быть, самый смертельный прыжок в своей жизни, но она на него решилась, до того ей показалось невыносимым ее будущее в чужой, неприветливой стране.

Но с толстовской фермы вдруг поступило сообщение, что Косенкину похитил советский консул, и вся американская пресса всполошилась, встала на ноги. И пошла писать губерния.

Вокруг советского консульства днем и ночью шумная, веселая толпа журналистов, жаждавшая сенсации, установила круглосуточное дежурство. Эта вакханалия не утихала круглые сутки, ей с улицы кричали:

— Прыгай! Прыгай!!!

Все, что творилось вокруг, не могло вызывать симпатии в советском консульстве, и угомонить всю эту толпу не было никакой возможности:

— Я чувствовала себя как зверь, попавший в ловушку. Я дошла до такого состояния, что готова была покончить с собой, но ничего у меня под руками не было. Я, с трудом соображая, что я делаю, не помню, как подошла к окну и шагнула через подоконник, я хотела раз и навсегда кончить пытку, длившуюся дни и ночи на глазах у всех. Я бы разбилась насмерть, если бы моя нога не запуталась в каком-то проводе, и только это, к счастью или несчастью, спасло мою жизнь. Но удар был такой, что когда я пришла в себя, то решила — все, конец, я не думала, что выживу. Да и зачем я осталась жива? Ведь все, что происходило вокруг меня, казалось мне страшнее смерти, — с горечью рассказывала мне Оксана Косенкина в госпитале «Рузвельт».

Итак, когда Косенкина с поломанными костями, полуживая лежала в госпитале «Рузвельт», интерес к ней был огромный. Вокруг госпиталя и вокруг нее вертелась целая куча искателей сенсаций, в целях наживы старавшихся опередить друг друга.

И с этого тяжелого в ее жизни момента она оказалась в роли американского «мани-мейкера» — «денежного мешка».

И из всех самым удачливым «мани-мейкером с человеческим лицом» оказался Дон Левин. Из госпиталя он забрал ее к себе в усадьбу. Здесь же он написал ее книгу. «Я попробовала писать сама, — сказала мне Оксана Косенкина, — но Дон Левин сказал, что так не пишут, и даже показал то, что вы написали, и сказал: „Вот так писать нужно“. Как к нему попало и где он достал, что я писала, я понятия не имела. И в День Благодарения он пригласил Александра Федоровича Керенского и нас к себе на дачу.»

Косенкина получила 45 тысяч долларов за книгу, которую написал Дон Левин. Деньги (в то время) как будто большие. Но из

них она сразу же уплатила почти половину налога, 10–12 тыс. долларов в госпитале за лечение.

И очень скоро у этой теперь «богатой» и очень одинокой женщины нашлись какие-то доброжелатели из какой-то западноукраинской сепаратистской организации. Они взяли над ней шефство, вложили ее деньги в двухсемейный дом, который они купили якобы совместно около аэродрома, где от шума самолетов, жаловалась Оксана, она ни спать, ни дышать не могла, и приезжала к нам в так называемую адскую кухню, где мы тогда жили, чтобы «насладиться тишиной».

До тех пор, пока она была сенсацией, ее таскали повсюду как экспонат. Она получала много писем, даже предложений о замужестве. Однажды она принесла письмо какого-то господина (не лишенного юмора), который вместе с предложением о замужестве прислал ей не свою фотографию, а фотографию своих жеребцов. Но как только ажиотаж вокруг ее прыжка иссяк, интерес к ней тоже прошел, и она, вся искалеченная, без гроша, скончалась в каком-то старческом доме. Надо сказать, что у нее был счастливый конец.

Все, с кем мне в то время пришлось встретиться и кто волей или неволей оказался за границей во время войны, а затем в Америке, без конца твердили одно и то же: бежали или уходили они не из Советской Союза, не от советского строя, а от сталинской тирании, от сталинского режима, от сталинщины. И что все они, проболтавшись по заграницам, многое передумали, переоценили и еще крепче уверовали в нашу советскую систему, и все хотели бы вернуться на родину, но боялись вернуться и доживать свой век где-нибудь в сталинских лагерях.

Я вспоминаю встречу в Нью-Йорке с пожилой женщиной, которая вполне сознательно не только сама бежала из Советского Союза с немцами из Ростова, а даже увезла своих детей, заявив своему сыну:

— Нам с тобой нечего защищать.

Ее отец был раскулачен, муж погиб в лагерях. И вот сейчас, когда мы встретили ее проживавшую даже не в бедности, а в хорошем доме, вполне хорошо материально обеспеченную, без конца подававшую заявления в советское консульство с просьбой получить разрешение вернуться обратно к себе домой, и когда мы с ней познакомились, она первое, что нам сказала:

— Если мне разрешат вернуться в Советский Союз, я, как только ступлю ногой на нашу землю, подам заявление с просьбой принять меня в компартию.

И таких было много, которые теперь уже знали и сумели на своем горьком опыте разобраться и оценить достоинства той и

другой системы. Но, к сожалению, Сталин и все те, кто создавал невыносимые условия жизни до войны, еще сильнее подняли свои змеиные головы после войны, и это было страшно.

Душевнобольной

Когда бежала Косенкина, очутившаяся на толстовской ферме, бежал еще один сотрудник советского консульства — Самарин с семьей (жена и трое детей, дочь лет 12-ти, и два младенца, девочка и мальчик, близнецы, родившиеся в Америке). Они очутились на какой-то сельской ферме (сейчас даже не помню точно где). Кажется во Фрихольде.

Теперь к нам обратился с просьбой Александр Федорович Керенский, он очень просил нас поехать с ним туда, где находилась семья Самарина, чтобы подбодрить, поддержать их.

Честно говоря, в нашем отчаянном в то время положении я с трудом представляла, что могли мы сказать им в утешение. Но Александр Федорович считал, что даже в нашем таком безвыходном положении у нас так много мужества, что мы могли бы помочь поднять их дух.

В субботу или в воскресенье мы с Александром Федоровичем и с детьми поехали по адресу, который у него был.

В полдень мы подъехали к беленькому крестьянскому домику, окруженному кукурузными полями выше человеческого роста. Навстречу к нам из дома вышла испуганная, растерянная женщина — жена Самарина. Спущенные чулки, растоптанные башмаки, небрежно накинутая блузка.

Перед нами стояла такая растерянная, усталая женщина, что я даже не знала, что ей сказать, чем ее утешить. Мне только было больно и тяжело на нее смотреть. Как опустилась она сразу! Ее вид очень хорошо отражал, что творилось у нее на душе. Я была глубоко уверена, что она не была в таком состоянии до своего побега.

Самарина мы так и не увидели. Он, как только услышал шум приближающейся машины, убежал и спрятался на кукурузном поле, и так до нашего отъезда не вышел.

Позже жена Самарина говорила мне, что побег и все последующие события, с которыми они столкнулись после побега, оказали на него такое жуткое, удручающее впечатление, что у него произошел такой срыв на нервной почве, от которого он, по существу, до самой смерти так и не пришел в себя. Скончался он в какой-то лечебнице для душевнобольных.

Вдова самоубийцы

Прочитав статью о самоубийстве Вальтера Кривицкого в скромном отеле «Бельвью» в Вашингтоне, я очень хорошо поняла и прочувствовала всю трагедию, которая произошла с этой семьей и которая не должна была произойти. Его судьба, судьба Вальтера Кривицкого, была страшная. Работая всю свою сознательную жизнь на сугубо секретной работе, он должен и обязан был знать то, что не полагалось знать никому, даже тем, кто работал официально в советских посольствах.

Работавшие в посольстве сотрудники знали ровно столько, сколько полагалось им знать в связи с их работой, и ничего больше, все остальное: например, такие, как мы, ставшие невозвращенцами, знали ровно столько, сколько полагалось знать, и ничего больше. Поэтому что могли мы рассказать американцам? По существу, ничего или, как говорят, что-то из области того, «что одна баба на базаре сказала», собственно, так все и было.

Хотя в результате вышеназванных уже мной причин мы очутились в стане не просто эмигрантов, а эмигрантов-невозвращенцев, то есть, по сталинским меркам, предателей, я лично никогда себя предателем не считала, я никогда свою страну ничем не обидела, и всегда она для меня была самая святая из святых. Да по существу, кроме проклятого мной сталинского режима, который я ненавидела, я ничего, никаких секретов, которые могли бы интересовать американскую иностранную разведку, не знала. А если бы и знала, то никогда бы не сказала, если бы они могли нанести какой-либо вред моей стране. В посольстве этим занимались те, кто был для этого туда послан. Я, например, знала всех только по внешнему виду, не прилагая даже усилий, чтобы запомнить их фамилии, что мне вообще удавалось всегда с большим трудом. Может быть, поэтому, а может быть, и потому, что они уже в слежке за всеми советскими в Мексике знали обо мне больше, они, видимо, решили, что на меня им даже время не стоит тратить. А Кирилла теребили, но он тоже мог им сказать ровно столько, сколько «одна баба на базаре сказала», это чаще всего и секретом-то не было. Причем Кирилл, я точно знаю, твердо помнил только формулы, а все остальное его буквально не интересовало. Он даже не помнил точно дату своего рождения, а когда пошел регистрировать своего сына, так тоже перепутал: вместо 27 сентября зарегистрировал его 27 ноября, настолько он был всегда рассеянный. Поэтому даже если он и слышал когда-нибудь что-нибудь, так у него это в одно ухо влетало, в другое вылетало. И когда он отказался от той роли, которую ему хотели предложить, то был абсолютно прав, он бы напутал им там такого! Для такой

работы надо иметь особый характер и даже в какой-то степени талант, чтобы стать Штирлицем.

Но вот, например, у таких, как Кривицкий, Бармин, Гузенко с чемоданом документов, вынесенных из посольства, и у многих других, попавших к ним с такой работы, где они по долгу службы должны были знать все и вся, вымотать душу они могли и были способны сделать это очень легко, особенно при Гувере. И если у перебежчиков нервы не выдерживали, так как вся их предыдущая жизнь тоже держалась на нервах, то очень просто можно было сорваться и покончить с собой.

Вальтер Кривицкий после поездки в Москву в 1937 году никак не мог прийти в себя. Почти все его друзья и соратники, которые искренне и полностью посвятили всю свою жизнь строительству прекрасного будущего не только в Советском Союзе, но и во всем мире, сидели в тюрьме, были сосланы в лагеря или расстреляны как враги народа. И не какими-нибудь врагами, а своими, потому что Сталину и Ежову так захотелось.

Сталин разрушил, уничтожил всю разведывательную диверсионную деятельность, он уничтожил самых сильных, самых опытных в этой области работников. Как угодно можно относиться к людям, занимающимся этой работой, но до тех пор, пока будет существовать необходимость в их услугах, они стране нужны — и очень нужны. Эти люди живут и работают на острие ножа, для такой работы нужно иметь крепкие, железные нервы и многолетний опыт работы. Весь старый штат был полностью ликвидирован по указке Сталина Ежовым, а затем Берией, а таких работников, такие кадры прямо с улицы не наберешь. Вот поэтому в начале войны вся разведывательно-диверсионная деятельность как в НКВД, так и в Красной Армии была почти полностью парализована. Зачем он это сделал, зачем это делалось?! Зачем?!

Я могу легко допустить, что Вальтер Кривицкий не выдержал и покончил жизнь самоубийством. То, что он сделал, он сделал под страхом тех же проклятых сталинских лагерей, и когда ему пришлось под сильным давлением заплатить так дорого за свою так называемую свободу, это уже было хуже самоубийства.

Даже то, что он, или с его помощью Дон Левин, написал в своей книге, означало, что он подписал сам себе смертный приговор, хотя все, что он рассказал, я уверена, уже давно было известно американской разведке, но услышать это из его уст — было другое дело. Хотя он и сказал: «Я много сказал, но самое главное я не сказал и не скажу».

С Тоней Томмас (Кривицкой) нас тоже познакомил Дон Левин.

В День Благодарения он заехал за нами, и когда мы подошли к машине, там сидели очень красивая женщина Тоня и ее сын Алик — юноша лет 15. Мы в это время ничего не знали, что произошло с ними, произошло в дни сталинско-ежовской мясорубки.

Когда мы прибыли за город на ферму к Дону Левину, он сам рассказал нам о них все подробно и даже слезу проронил, когда вспоминал, что происходило с Тоней, оставшейся в чужой стране без языка и без всякой подготовки и умения приспосабливаться. Она попала в психиатрическую лечебницу, и я должна сказать, этот след остался у нее в какой-то степени на всю жизнь.

С Тоней мы просто сблизились. Наша общая тоска, общая любовь к России нас быстро сблизила. Встречались мы очень редко, но я всегда рада Тоне. Господи, что пережила она! Когда она рассказывала мне, в каком положении она осталась с ребенком, без копейки денег, даже не на что было похоронить «покончившего с собой» или кем-то убитого мужа. После смерти Вальтера Кривицкого она попала в нервно-психиатрическую лечебницу. Она сейчас работала в жутких условиях в мастерской, где отпаривали фетровые шляпы: «Пыль, пар, дышать нечем, выхожу с работы больная». Живет с сыном в двухкомнатной квартирке, сдает одну комнату, чтобы как-нибудь свести концы с концами и дать возможность сыну получить образование. Мальчик — Алик с 12 лет работал в книжном магазине возле Колумбийского университета, стараясь заработать на карманные расходы и облегчить жизнь матери.

— Нина, ну разве мы не вернулись бы? И я, и мой муж очень хотели вернуться, но все наши знакомые, все те агенты, которые работали с мужем за границей, как только возвращались домой, мгновенно исчезали один за другим. И мой муж сказал: «Знаешь, Тоня, за себя я не боюсь и немедленно вернулся бы, если бы меня даже арестовали, ведь я ни в чем не виноват перед Советской властью. Но мне страшно за тебя, я боялся за тебя и за Алика (их сына), чтобы вы из-за меня не пострадали». Но если бы он знал, через какие муки нам придется пройти здесь! Сколько раз я, взяв за ручку Алика, подходила к двери советского консульства и сколько раз в отчаянии протягивала руку к крану газовой плиты, только жалость к сыну заставляла меня жить.

Родилась Тоня в 1903 году в Петербурге, но семья ее матери была финского происхождения и жила в Финляндии. Она часто рассказывала, как за ними, за внуками, приезжал их дедушка, и как опасно было ночью ехать по лесным дорогам, и как часто, особенно зимой, сопровождали их стаи голодных волков.

Друзья отправляли ее летом в какие-то лагеря для немецких

рабочих.

Ее сын Алик окончил университет с помощью «РОСТА» и должен был после окончания университета отработать свой долг, для этого он должен был беспрекословно выполнять те задания, которые ему поручали.

Я выбрал свободу!

Меньшевики и члены бывшего Временного правительства в эти послевоенные годы были одной из самых активных групп, все вместе собирались и до полуночи вели бурные дебаты — что будет в России после свержения Советской власти. Особенно жарко обсуждался всегда вопрос о крестьянстве. Этот вопрос больше всех выдвигал бывший министр земледелия Временного правительства Виктор Михайлович Чернов. Одни были за введение реформ, другие, даже за сохранение колхозов как формы хозяйства, которая оправдала себя во время войны. Все долго выступали, старались убедить друг друга. Писали длинные протоколы заседаний, выносили резолюции.

Здесь мы и познакомились с Виктором Кравченко. Он ненавидел эти собрания, эти, как он называл, «говорильни», зеленой ненавистью.

— Правы были большевики, когда, помнишь, они говорили «гнилое меньшевистское болото». Вот здесь я как раз и убедился в этом.

Его тоже, надо сказать, вся эта компания довольно сильно не любила. За то, что он любил дорогие вещи, за то, что он любил хорошо одеваться, любил хорошо, вкусно поесть. Вспоминали, как он заказывал самые дорогие стейки и требовал приготовить их так, как он любит. Они никак не могли понять и часто спрашивали у меня, откуда у бывшего советского человека, да еще у бывшего члена партии такие буржуазные замашки. Они, несмотря на то что большую часть своей жизни прожили за границей, оставались неприхотливыми как в еде, так и в одежде.

Нас с Виктором Кравченко сближала наша общая глубокая ненависть не к советской системе, а к Сталину. Советская власть без Сталина для нас была приемлема. Коммунизм, он считал — как и я — это мираж, но был очень глубоко уверен, что коммунистический мираж лучше реального капитализма.

И это несмотря на то что его книга «Я выбрал свободу», написанная и изданная как раз в то время, когда популярность СССР была на самом высоком и опасном для Америки уровне, принесла ему *колоссальный* успех и материальное благополучие, которое не давало спать всем его завистникам. Да и нашим

адвокатам, видно, вскружило голову, так как об этом буквально с момента нашего прибытия в США нам прожужжали все уши, — эти слухи, видно, и сбили с толку наших бывших адвокатов, и они решили опередить всех и заработать на нас такие же капиталы.

Однажды, не то прочитав, не то услышав о том, что владельцы американских компаний на медных рудниках в Чили платят 31 цент в час рабочим, зная, что Виктор является тоже акционером какой-то из этих компаний, я обратилась к нему:

— Как же вам не стыдно, Витя, так эксплуатировать рабочих? Вы бы им хоть по полтора-два доллара платили, ведь не обеднели бы.

Он на это только громко расхохотался:

— Да я бы там ни одной секунды не задержался.

Неожиданно позвонил Виктор Андреевич Кравченко. Он только что вернулся из Парижа после процесса по поводу его книги «Я выбрал свободу». Долго по-дружески тепло разговаривал, возмущался очень сильно поведением меньшевиков, американской печати и сплетнями вокруг его процесса.

— Я знаю себе цену! Я делал, делаю и буду делать все то, что считаю нужным, а эта шпана привыкла чужими руками угольки подбирать. Сволочи! Да во Франции со мной носились! Во Франции меня на руках носили! Я там был занят день и ночь. Я работал, писал, писал, писал. Хотите послушать мой дружеский совет? Устраивайтесь, используйте свои связи, а я знаю, они у вас есть. Вы женщина умная, энергичная и, я думаю, практичная. Не дай вам бог дожить до того, чтобы 30 долларов надо было одалживать на неделю. Нет, нет, я их знаю — деньги, деньги — вот что важно. Будут деньги — вы сам себе кум королю. Боже, а что там, в Европе, творится — бедолаги! Ну и нагляделся же я там! Как только народ может жить и на что надеется — понять нельзя. Инженеры, врачи, артисты — голодные, стыдятся своей нищеты. Я вам говорю, ужас! — извергал он на меня фонтан слов, не останавливаясь.

Кончили разговор пожеланиями друг другу не падать духом.

В воскресенье опять телефонный звонок, опять Виктор Андреевич. Мы собирались поехать за город с ребятами. Кирилл предложил ему поехать с нами, на что он очень охотно согласился. И всю дорогу одна и та же тема: как шел суд, как его встречали, как кормили. Рассказал о встрече с Дусей Виноградовой:

— Спуталась с каким-то подозрительным субъектом, поэтому я предпочел не вызывать ее в качестве свидетеля. Хотя и была бы она довольно выгодная фигура. Передал ей деньги. Встречал

военных, бывших военнопленных, приехали из Бельгии, они там имеют довольно крупную организацию — хорошие ребята (это те ребята, которые побоялись после немецких лагерей в плену вернуться обратно домой и попасть снова в сталинские лагеря). Грустная картина — почти все работают в шахтах и страшно тоскуют по родине.

Обедали мы за городом в итальянском ресторане. Виктор заказал себе два первых блюда, два супа и коктейль из креветок. Официантка долго не могла взять в толк, для чего ему два первых блюда. «Бестолковая!» — с досадой произнес он, когда она ушла.

С открытой террасы чудный вид на небольшое озеро, берега которого густо заросли лилиями и камышом.

Володя, не доев свои итальянские спагетти, побежал удить рыбу, предварительно стащив с нашего стола крошки хлеба, кусочки мяса, и, сияющий от счастья, показал нам шесть пойманных им рыбешек. А мы тем временем валялись на травке в тени деревьев.

Долго говорили о невозвращенцах и о тех тяжелых испытаниях, которые выпадают на долю этих людей, потому как не понимают нас американцы. И опять разговор о том, как встречали его в Париже и в Лондоне.

— Витя, я слышала, что писатель Роман Гуль оказал вам большую поддержку в Париже?

— Вся помощь Гуля заключалась в том, что я два раза с ним пообедал.

— Скажи Витя, сколько стоил тебе твой процесс? И помогал ли тебе кто-нибудь из друзей?

Виктор засверкал глазами:

— Да ты что, смеешься? Какая помощь, ты что, шутишь? Даже за телефонные разговоры мои «друзья» прислали мне счета для уплаты. Ты знаешь, как я тебе благодарен, ведь это ты, ты мне эту идею подсказала. Помнишь? «А почему, Виктор, не подать тебе в суд за клевету?» Помнишь? А вот печать, фотографы, журналисты меня чуть не задушили в конце процесса.

И опять: рабочие во Франции живут неважно, и главное, нет уверенности в завтрашнем дне. В Англии живут еще хуже, но чувствуют себя более уверенно.

У этого небольшого озера, берега которого густо заросли лилиями и камышом, маленькая пристань, лодочки за полтинник в час. Вова попросил нас взять лодку, и мы долго катались.

Греб больше всех Виктор, очень хорошо. На нем белая рубашка с золотыми запонками и золотой цепочкой на галстуке. Документы и браунинг отдал мне в сумку на время прогулки по воде.

— Витя, на кой черт ты таскаешь с собой эту игрушку и зачем она тебе нужна? — не удержалась, спросила я, указав на браунинг.

— Не знаю, может быть, когда-нибудь пригодится, — печально ответил он.

И столько горечи было в его словах.

Вернулись поздно, расстались очень дружно. Прощаясь, спросил:

— Вы имеете свой апартамент или снимаете квартиру? Я имею свою квартиру, свою мебель, которая обошлась мне в несколько тысяч долларов. Я бы мог завод построить, машину купить. Но к черту все. Мне все это надоело. Я просто не хочу этим заниматься, — и столько горького отвращения ко всему было в его словах.

— К черту, к черту все, если бы была возможность, я бы, не задумываясь ни минуты, обратно поехал. Да я почти уверен, что вы бы тоже здесь не торчали. Кому, ну кому все это нужно? Да разве в деньгах счастье? Счастье в той творческой жизни, которой мы с вами жили. И откуда взялся этот кавказский ишак на нашу голову? Я так рад, что встретил вас и что вот так просто могу с вами по душам говорить. Все то время, что я живу здесь, я живу чужой жизнью. Люблю свою страну до безумия, и не только страну, я люблю и нашу, даже не знаю, как тебе объяснить, советскую, если хочешь, именно советскую систему и должен как будто все время воевать с ней, а ведь я не с ней хочу воевать, а со Сталиным.

— Витя, ведь я тоже без конца задаю себе один и тот же вопрос: на кой черт мы все здесь торчим? Когда подумаю, сколько пользы могли бы мы принести там у себя дома!

— Дорогая Нина, ты просто читаешь мои мысли. Ведь сколько пользы мы действительно могли бы принести именно сейчас нашей стране, если бы не это усатое чудовище. Как избавить от него страну? Чем больше я брожу по свету, тем больше убеждаюсь в том, что лучше нашей советской системы нет ничего на свете. Зачем же ее так испохабил этот параноик? Я ведь очень хорошо знаю, что у вас знакомых здесь во много раз больше, чем у меня, я ведь человек малосговорчивый и трудно, особенно с местной публикой, схожусь. Они, да ты, наверное, уже слышала, меня не любят, да и я их не особенно жалую, даже, более честно, с трудом переношу.

Короткая передышка

Каникулы на чудо-острове с Еленой Истман (Крыленко)

К весне 1950 года мое здоровье настолько пошатнулось, что надо было что-то предпринять. Елена Истман настаивала и просила Кирилла уговорить меня поехать с ней в Мартас-Виньярд хоть на недельку. Там на этом «чудо-острове» у них был свой дом, который они очень любили и где проводили лето, спасаясь от летней жары Нью-Йорка. Макс Истман был в это время в Италии. Кирилл и дети уговорили меня принять приглашение Елены.

Елена Крыленко — художник, и даже не такой уж плохой. У нее были выставки в Северной Америке и в Южной Америке, в таких странах, как Бразилия, Аргентина, Перу, и во многих других. Она сестра Николая Васильевича Крыленко, члена КПСС с 1904 года, члена Петроградского Военно-революционного комитета в 1917–1918 годах, Верховного главнокомандующего, председателя ВЦИК и члена ЦИК СССР, наркома юстиции СССР, расстрелянного в 1938 году, необоснованно репрессированного и посмертно реабилитированного.

Елена Васильевна Крыленко вышла замуж во Франции в начале двадцатых годов за известного в то время американского писателя-журналиста Макса Истмана. «Это было самое бурное, сумасшедшее время, когда мы, бунтующая молодежь, бегали полуголые, прикрепив к груди красную розу», — рассказывала Лена.

Я провела с Леной в их летнем доме на острове Мартас-Виньярд десять замечательных дней. Чудесный остров, кругом заливчики, бухточки, красивая весна, особенно красивый вид с восточной стороны — океан.

И почему меня все время тянет в ту сторону? Дом Истманов стоит на высоком пустынном холме, на длинной узкой полоске земли, поросшей мелким кустарником и врезающейся огромным языком в океан.

Елена издали показала на дом, когда мы подъезжали:

— Посмотри. Правда, красиво?

Я почувствовала — домой она едет с радостью, с гордостью.

Была ранняя, красивая весна, еще не все деревья распустились, и природа здесь показалась мне скучной, зелени мало. Серый приветливый дом и камень, камень вокруг дома, где, любовно приложив большие усилия, Елена выровняла небольшие

площадки перед домом. Окружила каменным заборчиком и насажала множество цветов. Кругом растут низкорослые деревья, с трудом добывающие себе пищу в этой каменистой почве. Домик странный, но уютный.

Я в последнее время уже с огромным трудом переносила все, что навалилось на нас, голова ныла, гудела, как перегруженная до отказа машина, и вдруг все затихло, тишина и этот покой мне казались просто сном. И несмотря на это, я плохо спала, наверное, не хватало шума, а скорее всего от себя никуда не уйдешь. Мысли, мысли, от них никуда не денешься.

Я должна *успокоиться,* привыкнуть к тишине, иначе не отдохну. Какой воздух!

Пробую помочь Елене стричь траву, полоть цветы. Но вдруг через несколько минут: о Господи, ведь я ничего не делаю. Вреден очень, очень просил заполнить все пропуски и закончить рукопись, чтобы Мира могла приступить к переводу. Но усталость так велика и тишина до того неожиданна, что я вдруг почувствовала, что не могу писать. Головные боли меня наконец оставили, и как будто чего-то не хватает без них.

Еленку я очень люблю — веселая, жизнерадостная, трудолюбивая. Приходит вечером усталая, ест с огромным аппетитом, похваливая меня за мои салаты, крепко засыпает.

Мы много болтаем. Рассказала случай с Барминым и его возмутительный поступок с Максом. (К сожалению, я не запомнила суть происшедшего между ними конфликта.)

Я непрерывно ломаю голову над тем, как преодолеть все наши трудности с нашими бывшими адвокатами и что сделать, что предпринять, чтобы хоть как-нибудь облегчить наше положение.

Ездили с Леной в город. Возвращаясь, заехали на пляж нудистов. Пляж был пустой, было еще очень прохладно для купания. Решили позавтракать на берегу океана. Стояли мы на высоком утесе, откуда надо спуститься вниз по висячей лестнице, но, видно, буря снесла несколько пролетов, и мы не могли спуститься к океану. Мы уселись на обломках второго пролета над обрывом и съели вкусную ветчину, колбасу, помидоры, выпили молоко.

Потом заехали к очень известному журналисту Уолтеру Кронкайту. Огромная вилла с прекрасным видом на океан и красивым парком вокруг дома. Показали нам здесь новый холодильник, какие-то еще невиданные безделушки, о которых говорили с каким-то восторгом, показали огромный сарай во дворе, который собирались во что-то перестроить. И мне их разговоры и восторги показались такими мелкими,

неинтересными: Господи, подумала я, ведь от скуки при такой жизни тоже можно удавиться. Мы с Леной нарезали сирени и укатили в свой уютный домик. Какой покой, только ветер воет. И мне кажется, нет на свете больше ни забот, ни тревог и никаких человеконенавистнических законов.

Я просто не узнаю себя. Я, любившая веселые, шумные компании, звонкий смех, так смертельно устала и так наслаждаюсь и радуюсь этой гробовой тишине вокруг.

Дети звонят мне, шлют письма, успокаивают. Пишут, что папа часто водит их в кино. Наверное, будут ворчать. Когда вернусь, это удовольствие будет реже.

Предпоследний день у Лены суматошный. Бедная Лена носится как заведенная. Утром спешим к переправе. Но Лена сбегала к домику Макса, посадила цветочки. Она боготворит Макса. Мне кажется, он должен любить и очень ценить ее уход и заботу о нем.

По дороге обсуждали какую-то статью. Лена в восторге, в Нью-Йорке напишу.

Чем ближе к Нью-Йорку, тем тяжелее на душе. Когда же наконец, кончится наше тяжелое, невыносимо тяжелое положение? Вечный вопрос: что будет завтра? Денег нет. Кирилл и я без работы. Над нами как дамоклов меч висит проклятый, дикий, бессмысленный суд. Куда на лето увезти детей из нью-йоркского пекла? Ведь это тянется не день, не два, а уже три года. Когда же будет конец этим проклятым испытаниям, мукам и можно будет отдохнуть от этого сверхчеловеческого нервного напряжения?

Через пару дней после моего возвращения с Мартас-Виньярд Кирилл сказал:

— Вот что, ты скажи Елене, пусть пошлет твою статью в «Ридер-Дайджест».

— Почему? Ведь «Сатердей-Ивнинг-Пост» еще не ответил.

— Ответил, — смущенно улыбаясь, ответил Кира. — Мы не хотели тебя огорчать, мы с детьми даже конверт от статьи уничтожили, чтобы тебе в руки он не попал случайно.

— И давно ты получил ответ? — поинтересовалась я.

— Когда ты еще на Мартас-Виньярд с Леной отдыхала.

И я вспомнила слова Елены: «Знаешь, у меня такое подозрение, что Кирилл получил ответ, но решил молчать, боясь испортить нам отдых».

Я изо всех сил старалась храбриться, как только умела. Но волнение выдало мое состояние. Дети переглядывались между собой. Володя подошел, сел возле меня на диване и стал успокаивать:

— Ты, мама, не волнуйся, дай слово, что не будешь. Мы знали об этом давно, но пообещали папе молчать. Я ведь знал, что ты расплачешься. Мы идем в школу, до свидания, но ты обещай, мамочка, не плакать.

Дети ушли, а я была в отчаянии. Господи, легко сказать — не плакать, а что же мы будем делать дальше? Дети приходят из школы бледные, усталые. А тут еще наступила эта проклятая нью-йоркская жара, когда весь город превращается в турецкую баню. Ведь детям нужен летний отдых. Куда мы денемся летом без копейки денег?

Когда я была на Мартас-Виньярд, Кирилл получил материал, который перевела Мира Гинзбург, денег у него не было заплатить ей за работу, он сказал ей, что, когда я вернусь, позвоню ей и рассчитаюсь.

И вдруг она сегодня позвонила, мне было так стыдно, я готова была сквозь землю провалиться. Я горячо поблагодарила ее за замечательный перевод и пообещала расплатиться при первой возможности. Мне она очень понравилась. Очень милая девушка.

Кирилл позвонил Елене и сообщил ей о статье:

— Ха-ха-ха, — залилась колокольчиком Елена, — я так и знала. А как Нина?

Через полчаса она мне позвонила:

— Приезжай ко мне — я жду Макса из Италии и очень занята, шью платье и перевожу статью.

После обеда мы отправили еще одну статью в «Сатердей-Ивнинг-Пост» и «Ридерс Дайджест». Чудачка-Лена всегда с широкой улыбкой на лице — такая уж у нее жизнерадостная натура. Хохочет:

— Да что ты приуныла? Ты понимаешь, ведь лучшего ответа трудно было ожидать. Ты знаешь, что они ответили? Хорошо написано. Ты только подумай, заслужить такой комплимент и от такого журнала. Я это письмо обязательно должна показать Максу.

Елена все время звонит, приглашает вновь поехать с ней на остров. Но нам сейчас так тяжело, что даже речи быть не может об отдыхе.

«Ридерс-Дайджест» отказал. Вновь: «Хорошо написано, хороший материал для истории» — но отказал.

«Сатердей-Ивнинг-Пост» тоже отказал, тоже с комплиментами: «Хорошо написано, хороший материал для истории». Елена чуть не прыгает от восторга: «Ты понимаешь, Джеку Лондону отказали сорок раз».

— Да ты только подумай — такие ответы от таких журналов

получать. Я никак не могла ни понять, ни разделить ее восторг.

Наши замечательные знакомые Маркуша Фишер, автор книги «Из окна американского посольства», и Луи Фишер, известный журналист-писатель, автор многочисленных политических произведений, в частности, как я уже сказала, о Ленине и о Ганди, предложили нам с детьми провести лето в их доме в Дач-Каунти в Пенсильвании. Мы с благодарностью приняли приглашение. Там мы познакомились с очень интересной женщиной *Хайдой Мессинг* — активным членом немецкой социал-демократической партии.

Пустяк

Дети кончают «хай скул» и всецело поглощены тем, что делать дальше. Продолжать учебу без денег не так просто. В любой колледж необходимо в среднем около 2000 долларов в год, где их взять? Ляля считает: я заработаю за лето 300 долларов, 300 долларов дадите вы (мы пообещали), значит, останется пустяк, всего 1400 долларов, а кто нам их даст?

А после Лялечки кончает Володюшка.

— Что же мы будем делать?

Так и живем: а что же будет дальше?

Патент

И вдруг получили регистрационный номер на патент. Удивительно приятно было получить его. Но дальше, что с ним делать дальше?

Были у Лайонса, как всегда, жарко обсуждали наше положение Джин уже много сделал в отношении проведения «билля» через сенат.

Кирилл, в частности, упомянул об изобретении и в общих словах постарался объяснить суть его.

Джин, со своей стороны, предложил познакомить нас с г-ном Строссом, которого он обрисовал как мультимультимиллионера.

— По-моему, я его знаю. Он среднего роста, плотный мужчина, — сказал Кирилл.

— Нет, нет, — запротестовал Джин, — высокий, худой.

Подошла Билли:

— Он круглолицый, плотный, плешивый, женат недавно на секретарше, имеет неофициально приемного сына.

— Так это тот самый. Мы его знаем! — почти в один голос произнесли мы с Кириллом.

Не могу сказать, чтобы я была в восторге от того, что мы его знали, хотя Кирилл сделал вид, что это очень приятный сюрприз.

Приговор: туберкулез

Медосмотр

Как только мы вернулись из Пенсильвании, эмиграционное бюро послало нас на медицинский осмотр. Это значило, что наше дело сдвинулось с мертвой точки. Но через неделю после осмотра меня снова вызвали на повторный осмотр, так как обнаружили на снимке пятно на легком и подозревали, что у меня вспыхнула активная форма туберкулеза.

Туберкулез, надо сказать, для американцев хуже проказы. С этой болезнью нельзя попасть в Америку ни при какой погоде.

И очень трогательно было видеть, как врач, зная, чем грозит такой диагноз, долго не хотел давать свое заключение, стараясь найти какую-нибудь лазейку в законе, которая облегчила бы наше положение.

Эмиграционные власти требовали результаты медицинского осмотра, а доктор тянул и искал какой-либо выход, и только после нескольких настойчивых писем из эмиграционного бюро относительно результатов медосмотра Кирилл уговорил доктора дать свое заключение.

Меня же напугали до такой степени, что я боялась приласкать, поцеловать детей, мужа, хотя я не кашляла, температуры у меня не было и вообще не выглядела безнадежной туберкулезной больной. Но, принимая во внимание, через что нам пришлось пройти за это время, всего можно было ожидать, так как для этого надо было иметь чудовищное терпение, железные нервы и здоровье.

Санаторий «Дебора»

Наступил сентябрь, поднялась ужасная тревога, меня требовали чуть не с полицией отправить немедленно в туберкулезный санаторий — больницу. «Санаторий» — это не санаторий в нашем понятии, где люди отдыхают, хорошо питаются, гуляют и набираются здоровья и сил для продолжения своей работы.

Это больница. В то время лекарств для лечения туберкулеза еще не существовало, поэтому какие-то умные врачи придумали довольно странный способ лечения. А именно укладывали больных туберкулезом в больницу в постель, изолировали их от окружающей среды на 2, на 3, на 4 года, а часто и навсегда.

У меня нет ни сил, ни слов передать, что мы чувствовали и как мы пережили это время. Мне кажется, даже такой мировой писатель, как Л. Н. Толстой, и даже такой душу выворачивающий писатель-психолог, как Достоевский, не смогли бы даже приблизительно изложить на бумаге то, что пережили мы в это время.

Как уйти от детей, от семьи, находящейся в таком ужасном положении, минимум на 2 года, как мне сказали врачи? Кирилл без работы. Оставить детей в чужой, еще мало знакомой стране, где у нас не было ни родных, ни близких людей, кроме случайных знакомых, которые искренне сочувствовали, обещали присмотреть за детьми. Но речь шла не о нескольких днях или неделях, а о минимум двухгодичном отсутствии, лежать в больнице, в которой дети не могли бы даже навещать меня.

Итак, я попала в туберкулезный санаторий «Дебора». По нашим советским понятиям это просто больница для туберкулезных больных. Но бог с ним, пусть будет санаторий. Снаружи приветливо, прямые стены выкрашены в светло-желтый цвет, большие окна. Чистенько, цветы, но внутри я никогда не хотела бы быть.

Вечером, часов в шесть, когда мы приехали в этот санаторий, меня приняла симпатичная худенькая секретарша, сама еще как будто не оправившаяся от туберкулеза. Несколько пустых вопросов — и я наверху.

Кириллу, я знаю, очень тяжело было уезжать отсюда одному, а мне нестерпимо тяжко было остаться. Ныло сердце о детях, как они, мои крошки, будут чувствовать себя без меня?

Господи, *что же произошло?* До этого момента я еще не могла вполне осознать всю глубину случившегося. И в тот момент, когда я осталась одна и переступила порог палаты, меня охватило животное чувство страха.

Внутри длинный коридор и двери, двери, двери. Каждая дверь — это вход в палату, и как выглядят эти палаты? Весь корпус с одного конца до другого разделен на квадраты перегородками, не доходящими до потолка приблизительно на метр-полтора. Напротив сплошные окна, и со стороны окон длинный проход вдоль всех палат, с одного конца здания до другого. Палаты не закрываются, как в жестких железнодорожных вагонах в России. В каждом таком квадрате стоят 4 кровати, комод, ночной столик, стул.

При входе в нашу палату с левой стороны от двери моя кровать. С правой стороны напротив подняло голову прозрачное светло-желтое привидение с огромными глубоко впавшими черными глазами (такие я видела у переживших голодовку

ленинградцев), заострившимся носом, руки тонюсенькие, прозрачные, как у рахитичного ребенка.

Ближе к окну бросилось в глаза кроваво-красное, во всю щеку, родимое пятно у очень симпатичной женщины, чем-то напоминавшей Кирину сестру.

Быстро бросив чемодан, я выбежала из палаты, душили слезы, хотелось не плакать, а просто выть. Хотелось уйти, пока не поздно, в лес, в поле, куда угодно, куда глаза глядят, исчезнуть. Но пришлось проглотить застрявший в горле и душивший меня комок и вернуться уложить вещи в комод. Мне не хотелось укладывать свои вещи в ящики стоящего возле моей кровати комода, ведь там уже лежали вещи каких-то больных, а я еще не верила, что я больная, и думала: если произошла ошибка, то здесь я определенно подхвачу туберкулез.

Но я уже здесь и должна быть здесь до тех пор, пока не скажут, что я поправилась, а поправиться я должна, меня ждут дети, ждет Кирилл. Переодеваться я пошла в ванную комнату. Вошла среднего роста женщина в очках:

— Вы новенькая? «It is nice», то есть «это хорошо, или очень приятно».

Я улыбнулась. Хорошего мало, но что же делать, раз человек болен, то, наверное, лучше быть здесь, по-видимому, все так думают.

Я вернулась в палату, где напротив меня лежит полутруп женщины. Чувствовать ее живой можно только по тому, как шевелятся ее тонкие, как спички, пальцы, на одном из которых обручальное кольцо. На ночном столике фотография, чем-то отдаленно напоминает этот полутруп.

Я знакомлюсь, называю свое имя, спрашиваю ее. Зовут ее Айда. Внутри шумно, женщины развязно громко разговаривают, хохочут, разгуливают по палате: «Hello everybody» («Привет!»).

Но самое ужасное — это раздающийся со всех сторон надрывный, харкающий, чахоточный кашель, как будто выворачивающий все внутренности кашляющего и плюющего. Мне от этого кашля жутко, хочется закрыть уши, чтобы не слышать этот ужасный кашель.

Гул самолетов, грохот поездов, даже невыносимый грохот тяжелых дробилок на наших обогатительных предприятиях мне кажутся теперь симфонией. Здоровый шум, грохот, музыка, свидетельствующая о здоровой жизни.

10 часов — моя первая ночь в госпитале. Правый висок невыносимо болит не то от боли, не то от усталости, мысли в голове тяжелые, хочется скорее заснуть, жду, когда все притихнут. Чувствую, что на тишину здесь можно претендовать

только от 12 до 6 утра. А как я мечтала о тишине, именно о тишине, когда можно лежать и думать.

Страшное утро, наверное, трудно мне будет его забыть. Я проснулась в 4 часа, голова болела, как раскаленная. Спать уже не было сил. Я лежала и с отчаянным отвращением слушала кашель, отхаркивание и вообще все звуки, которые способны издавать только больные. Такой дикий кашель, я даже не представляла ничего подобного. Кхе, кхе, кха, кха… Без конца. От этих звуков я чувствовала, что у меня что-то подкатывается к горлу, хотелось сразу откашляться за всех. Часам к шести меня уже тошнило от спертого воздуха и непрерывного кашля со всех сторон. Единственное место, где в это утро было спокойно, с чистым воздухом, это туалет. Приняв душ, я села на стул у открытого окна и не хотела возвращаться в палату.

Господи, я почувствовала себя такой счастливой, когда подошла сестра и сообщила мне, что звонила женщина, у которой мои дети, просила передать, что у них все в порядке, дети передают мне привет. Спасибо вам, мои милые, родные крошки. Я знаю, что Хайда прекрасный человек, но она же не может быть с детьми постоянно.

Я смотрю на все с каким-то отвращением и боюсь прикоснуться к чему-нибудь. Как я буду при моей брезгливости? Неужели привыкну, ведь для меня это просто пытка. Я мою, мою и еще раз мою руки, и стоит случайно прикоснуться к чему-нибудь, как я снова хватаюсь за мыло и снова мою.

Подали завтрак: одно яйцо, тост с маслом, молоко, сок и кашу, один вид которой отбил у меня аппетит. Стараюсь заглушить звуки кашля вокруг меня, чтобы хоть что-нибудь проглотить, иначе вырвет.

После завтрака меня отправили на рентген. В два часа обед: ужасный суп, сухая печенка, ложка пюре и ложка горошка без масла. Из обеда я ни к чему не прикоснулась.

Потихоньку появились какие-то женщины: из Германии, Югославии, Чехословакии, Латвии, чуть-чуть говорящие по-русски.

Самое ужасное, это когда подходят ко мне и говорят: «Я здесь недолго, только 7 месяцев». «А я только 4» — подхватывает другая. «Только», одно это «только», мысль о такой перспективе приводит меня в отчаяние. Да, но ведь здесь лежат и по два, и по три года.

Милые мои детки, что же будет с вами, как вы сумеете управиться одни, как вы одни пойдете в школу, кто вас проводит? Кто вас встретит, кто уберет, кто накормит? Одни вернутся из школы, будут ждать отца. Кто за ними присмотрит, как они

оденутся, не простудятся ли, а не дай бог, заболеют… Я целый день избегала этой мысли, но уже не могу, чувствую, как что-то все сильнее и сильнее давит меня.

Лучше не надо, из-за слез я уже ничего не вижу. Хочется сбежать, а куда? О, если бы я могла. Сегодня только день, а мне кажется, прошла вечность. Я так устала, жду ночи, жду тишины и сна, чтобы хоть во сне немного забыться. Проснулась после тяжелого сна в 4 часа утра. Но и сон не принес никакого успокоения, всю ночь снились какие-то кошмары. Палата окутана мраком. Все-таки тишина была приятна, несмотря на духоту. Душно, а за окном дождь хлещет вовсю. Наступило серое, угрюмое утро, у меня нестерпимое желание открыть окно, чтобы струи дождя захлестнули сюда и смыли всю грязь, духоту.

Ко всем прелестям рано утром появились рабочие, начали колотить, отбивать штукатурку вокруг окон, пылища, грохот, хоть святых выноси. Начали просыпаться больные этого огромного многолюдного корпуса, и палата огласилась душераздирающим кашлем. Над ухом клокочет кашель соседки. Проснулась Айда.

Я лежала и с ужасом и содроганием думала: что же я буду делать, куда уйдешь отсюда? А у нее льется и льется, как фонтан, из горла мокрота. С тяжелым брезгливым чувством закрываю уши, глаза, знаю, что это неприлично, ведь я тоже больная, но мое чувство брезгливости и комок рвоты, подступающий к горлу, заглушают все. Не пойму, зачем они укладывают в одно отделение с такими больными тех, кто хотя бы внешне выглядит здоровым.

До обеда я старалась как можно меньше находиться в палате, хотя ходить не разрешают, надо лежать.

После обеда вызвали к врачу. Огромная светлая комната, сквозь опущенные шторы просвечивают яркие лучи солнца, высоченная пальма с красивыми ажурными листьями, на столе ваза с яркими осенними цветами, диван, столики, кресла. Так уютно, если бы не огромная доска, на которой висят рентгеновские снимки — ребра, позвоночники и темные кисти легких между белой решетки ребер. На темном фоне легких белые пятна, это и есть очаги злополучного туберкулеза.

В кресле сидит женщина, которой врач сообщил, что ей назначена операция.

— Вы уверены, что это единственный выход? — спрашивает она с горькой надеждой.

— Да, надо удалить вот этот очаг, — и он провел круг карандашом по левому легкому.

Обычные вопросы к сидящему за столом, очень симпатичному доктору среднего роста, которого легко можно

принять за грека, турка, еврея и, вообще, человека любой восточной национальности. Белоснежная рубашка, пестрый, но не кричащий галстук и исключительно милая улыбка. Подошла моя очередь.

— Как зовут? Коротко.

— Нина.

После осмотра он заявил:

— Надо лежать в постели. Строго постельный режим.

— Но могу я хотя бы слегка ходить? — со слабой надеждой спрашиваю.

— Посмотрите на легкие, вы видите правое, вот здесь, — очертил посередине белый кружок, — это ТБ. Левое поражено все.

Коротко, но убийственно ясно. Значит, не ошибка, на которую я где-то подсознательно так надеялась, что, может быть, и не туберкулез.

Ну а если есть, ловила я себя на мысли, может быть, уж лучше умереть. Но в этой солнечной, ясной комнате с тропическими растениями так болезненно ощущаешь желание жить. Неужели за всю свою жизнь не сумею пожить в такой огромной, светлой, солнечной комнате? Таким покоем веяло от этой обстановки. И, наверное, я была бы здорова. Мысли летели как птицы, а глаза были устремлены на эти предательские белые пятна. Врач замечает мой взгляд и, углубившись, что-то пишет. Нажал звонок, вызвал сестру.

— Да, да, кресло. Обязательно кресло. Ходить нельзя, — говорит он.

— Скажите, доктор, это долго продлится?

— Минимум год.

— Доктор, это правда?! — губы дрожат, глаза полны слез.

— Не волнуйся, Нина, для ТБ это очень короткий срок.

Меня посадили в кресло, маленькая, почти до пояса мне доходящая сестра везет меня обратно. Я улыбаюсь, как с виселицы, встречным, но в постели, отвернувшись к стенке, я залилась слезами.

Детки, милые, хорошие мои, как же вы будете целый год, а может быть и больше, без меня? Боже мой, ведь я ваша мама! Кто вам поможет, кто вас приласкает? Сколько интересных вопросов у вас сейчас. Каждый день что-то новое. Кто будет радоваться вашим успехам, кто даст вам совет в тяжелую минуту?

Простите маму, мои родненькие. Тяжелая жизнь, лишения и мучительные переживания победили меня. Надо быть железной, чтобы перенести все то, с чем мы по своей наивности, доверчивости столкнулись. Мы до сих пор находимся в таком тяжелом положении, что трудно сказать, чем же все закончится.

За эту неделю уже дважды брали снимки левого легкого, так называемая «шихта», то есть делают шесть снимков подряд, чтобы определить, на какую глубину разрушено легкое.

После того как были готовы все анализы, собрался консилиум из 25 (говорят, иногда даже 40 бывает) врачей, и только этот консилиум назначает методы лечения.

Консилиум кончился. Врачи разъехались. Меня привезли в кабинет врача, там сидел знаменитый врач, которого я видела в Филадельфии, куда ездила в надежде, что, может быть, моя болезнь это ошибка. Высокий, с черными усиками, напоминавший мексиканца. Он встал, очень мило улыбнулся, как старой знакомой, и спросил:

— Нравится вам здесь?

Что я могла ответить? Думаю, что понял он меня без слов.

— Мы решили, что в вашем случае лучше всего постельный режим.

— Как долго?

— Год, — произнес он, как будто сообщил мне что-то хорошее.

— Доктор… — я не успела закончить, как он произнес:

— Для вашего случая это очень короткий срок. — Подошел, пожал мне руку: — Скоро увидимся.

Вернувшись в палату, стараюсь не плакать, но на душе так тяжело, что не плакать, а кричать хочется. Айда улыбается, смотрит на меня и просит:

— Не надо, Нина, плакать.

Юбилей Айды

За это время я уже насмотрелась и знаю, что туберкулез не такая простая болезнь. За перегородкой от меня лежит женщина, у которой 3 месяца назад удалили 3 или 4 ребра, ходит она, согнувшись вдвое. Сегодня видела ее в ванной: правое плечо и лопатка провалились куда-то внутрь, страшно смотреть.

Зашла другая больная, в истерике (разговаривает по-польски, удивительно, но я все понимаю), ей сделали уже три операции, показывает шрамы: два сзади на спине, один шрам впереди. И ранка, говорит она, была небольшая, величиной с 25 центов. Она уже готова была выписаться, и вдруг сегодня сообщили ей, что ее снова отправят на операцию.

Меня охватил ужас, я вспоминаю свои снимки, с правой стороны у меня белое пятно величиной с доллар, а с левой довольно много пятен — что же будет со мной? Неужели меня так же исполосуют по частям с вынимaнием ребер?

Сегодня сестра-толстуха подошла к Айде, подала ей лекарство в рюмочке, поцеловала в лоб и сказала «поздравляю». Я думала, что она поздравляет ее с днем рождения.

— Сегодня мой юбилей, — сообщила Айда, обращаясь ко мне: — Вы знаете, как долго нахожусь я в этом санатории? 5 лет… Сегодня мой юбилей, — повторила она. Страшный юбилей. — Я не хотела сразу говорить вам об этом, чтобы не напугать. Я вижу, вам и без того страшно.

Потихоньку она начала рассказывать мне свою историю. В 1940 году она вышла замуж, в 1943 мужа взяли в армию, она уже чувствовала себя больной, и лечил ее очень известный пожилой врач. Лечил ее от гланд (сдирая, как она говорит, по 40 долларов за визит). Она очень похудела, весила 74 фунта. Год пролежала в больнице, где платила 14 долларов в сутки. Наконец они обратились к другому врачу, молодому, который сразу же поставил диагноз — туберкулез.

— И через три дня я уже была здесь.

В этой больнице был русский врач, о котором она говорит:

— Спас мне жизнь. Он в два часа ночи вставал, поднимался ко мне, когда я лежала под кислородной палаткой. Около 900 уколов стрептомицина сделал он мне. Русский врач умер, заболев воспалением легких. Я даже «кендел» (свечу) зажгла по нему.

Глядя на нее, только удивляешься, как можно не потерять рассудок и продолжать жить.

— Как пахнет воздух на дворе? — спрашивает у пришедшей с улицы сестры.

Сестра села к Айде на кровать и показала ей, какие носочки и кофточку она связала. Дочь ждет ребенка, и она будет бабушка.

Бедная Айда взяла в руки этот крохотный башмачок, и столько боли и горечи было в ее глазах. И когда та ушла, она, горько улыбнувшись, закрыла рукой глаза.

Глядя на ее мужество, действительно надо крепиться. Но у каждого свое горе и свои заботы. Я не могу не думать о детях, и чем больше думаю, тем более безрадостно и тяжелее становится.

Жизнь продолжается

Кирилл приехал в среду, привез мне просмотреть статью. Начало мне нравится, кое-что надо подправить. А главное, с какой он любовью и гордостью рассказал мне о переводах Ляли, и как она перевела такую серьезную статью.

— К ней обратился главный редактор того журнала, куда я пошел с ней, — сказал Кирилл, — и спросил: «Сколько вам лет, барышня?» — «тринадцать», — ответила Ляля, — «А я думал, вам

уже 18. Когда закончите учебу, приходите к нам, будете работать у нас».

Я тоже была рада. Солнышко мое, как я желаю в жизни тебе только удачи, успеха и радости! Я представила себе, как они одни сели в машину. Как грустно было деткам, что мы не могли побыть вместе. Вовочка показал мне новенькую рубашечку, он в ней выглядел очень хорошо. Я рада, что Кира сумел купить ему. Он ведь мечтал о такой рубашке.

Время летит неумолимо. Что такое время по сравнению с вечностью — ничто, так проходят дни, недели, месяцы. Так, наверное, могут пройти и годы. Когда я в первый день переступила порог этой больницы, я понятия не имела, сколько здесь пробуду — неделю, месяц, год… О таком сроке даже думать было страшно. Первый день был страшнее года, а вот прошло уже несколько недель. Неужели так могут пройти месяцы и годы?

Каждый раз жду Кирилла с нетерпением. И каждый раз надеюсь и думаю: а что, если наперекор всему случится что-то неожиданно хорошее? Я чувствую, что, ему нестерпимо тяжело. С работой только одни перспективы, в которые он верит по-детски. Действительно это так или он просто старается меня успокоить? А пока что у него нет денег даже на самое, самое необходимое.

— Часы выкупил? — вспомнила и спросила я.

— Я отдал квитанцию снова Джину, пусть он выкупит, а я возьму их у него, когда будут деньги.

Воскресенье, все больные готовятся к визиту. Шум невообразимый целый день, в это время становится невыносимо, как на базаре. Женщины, несмотря даже на строгие запреты не ходить, а лежать, разгуливают в нарядных пижамах по палатам, демонстрируя свои «наряды». Почти у всех женщин мужья имеют «департмент сторс» — магазины.

Готова к приходу мужа и Айда, накрутила волосы, накрасила губы, подкрасилась и уснула с открытым ртом, орбиты глаз глубоко ввалились, и одна назойливая муха долго и нудно летала у открытого рта этого обтянутого кожей скелета.

Пришел высокий здоровый, цветущий мужчина — как чужой, посидел возле нее, не зная, что с собой делать и куда себя деть, поцеловал ее в лоб и ушел. А какой душераздирающий кашель душил ее весь день и всю ночь, у меня не было сил слушать.

Кирилл приехал с цыплятами. Они улыбались мне снизу, махали руками и посылали поцелуи. А как бы я хотела сбежать к ним, обнять и прижать моих крошек к себе. Кирилл рассказал мне, что Билли пригласила детей, купила им подарки. Мне стало так нестерпимо грустно. Как бы я хотела сделать все сама для них, без посторонней помощи. Как дико и глупо сложилась наша

жизнь здесь.

Кирилл сказал, что в понедельник десятого октября был в эмиграционной конторе.

Никогда, никогда в жизни не думала я, что можно попасть в такую глупую историю, к таким «гангстерам», как их называл д-р Девис. А ведь попали. И чем все это кончится наконец? Мне кажется, что все наши силы уже на исходе.

Я волнуюсь, как же тяжело должно быть ребятам в этот день. Целый день, мои родненькие, должны провести в машине. Бедные детки, как же им должно быть тяжело, и как они устают. Ведь 3 часа тащиться в одну сторону, 3 часа обратно и 2–3 часа сидеть в машине во дворе. Они, наверное, возвращаются домой полумертвые, а рано утром в школу. И оставить их не с кем, а одних дома Кира боится. И он должен их мучить, таская с собой.

Вечером без сил засыпают. Даже уроки не успевают сделать. Они одни — убрать, подмести, постирать, сменить белье, помыть посуду, приготовить еду — все, все легло на их плечи. Главным образом вся тяжесть, конечно, легла на плечи Кирилла, но без заботливой материнской руки детям очень трудно. А ведь самое главное для них — это их занятия. Так мне тяжело, разве в их годы такие заботы надо иметь? А как я безумно мечтала о самом счастливом детстве для них!

Кирилл, в восторге, заявил:

— Ты знаешь, ты права, у Ляли определенно талант художника. Я встретил ее учительницу, и она сказала про Вику, что она очень талантлива. Я думаю, ты совершенно права, нам нужно обратить на это больше внимания.

Талант — это подарок свыше, и я была бы самая счастливая мать на свете, если бы смогла помочь ей в этом. Моя маленькая, какая же она большая умница! Какие славные письма, хотя чувствую, что нет времени у нее! Сколько вопросов не по возрасту!

В одно из воскресений, когда Хайда забрала детей к себе, Кирилл приехал с Тоней Кривицкой.

Он привез мне газеты, в которых я прочитала, что в «Амторге», как в незарегистрированной иностранной шпионской организации, арестовали 5 человек.

Дикая и страшная штука — политика. 11 коммунистов осудили, 5 человек в «Амторге» арестовали. Чего вдруг вожжа под хвост им попала?

В свой следующий очередной приезд Кирилл вновь сообщил много утешительных вещей, и с тем же отчаянным оптимизмом. Был у Никелсов. Никелс — замечательный человек. Обещал поехать в Вашингтон, обещал написать Гуверу.

Кирилл сообщил, что встретил Луи Фишера, он меня ругает очень, передает большой привет и очень просит не нервничать, лежать и поправляться.

Милый, дорогой Луи, я его очень люблю и очень хорошо понимаю, что ему хочется, чтобы я скорее поправилась.

Я вспомнила, как мы вечером были у Хайды Мессинг в Пенсильвании, когда приехал Луи, и Володюшка приготовил, как он сказал, «комбинированный пирог» к чаю из всех остатков. Хайда сказала: «Это вредительский пирог».

— Дон Левин что-то предпринимает. Мира хочет приехать. Хайда, Габриела так жехотят приехать навестить тебя, — сообщил Кирилл.

Но самыми приятными были, пожалуй, звонок и приглашение от Лены Истман приехать к ним в Мартас-Виньярд. Она со своим вечным хи-хи-хи, ха-ха-ха, даже тогда, когда слезы на глазах, очень сердечная, типичная русская Елена Крыленко. Она позвонила Кириллу, и не только от себя, но и от имени Макса. Она так прямо и сказала:

— Мы с Максом поговорили и решили: пусть Нина плюнет на этот санаторий и приедет прямо сюда к нам, в Мартас-Виньярд.

Бизнесменши

Я здесь уже месяц.

Больничная койка. Сегодня врач сказал, что одно легкое, правое, не такое плохое, хуже левое, но на нем нет каверны. И на том спасибо.

Кусочек серого неба, за окном хлюпает дождь, четыре больных физиономии, белый потолок над головой, мухи с особым наслаждением вьются вокруг Айды, садятся ей на нос, лезут в орбиты глаз, в раскрытый рот. Иногда мне кажется, что она уже мертвая, но вдруг зашевелится, закашляет, вытрет рот салфеткой, посмотрит на красное пятно — значит, жива.

Боюсь я. Может быть и зря, но боюсь. Пришла Роза, черт знает что за баба. Человек с выдающимися способностями создавать беспорядок. Коробки на столе, на комоде нагромождаются до отказа, до тех пор, пока все начинает валиться на пол, шоколад вперемешку с огрызками, яблоки гниют на столе. Садится к Айде — играет с ней в карты. Ест с ней один и тот же сандвич. Сегодня сообщили ей, что анализы у нее «позитивные».

— А были «негатив», — удивляется она.

— Меня боится, — говорит Айда, — даже доктор. Когда он заходит в наше отделение, останавливается от меня подальше.

Если это не так страшно, то почему ее боится сам доктор

Реден? Сегодня вечером она захотела есть. Кстати, она все время голодна как волк.

«Я голодная», — только и слышу. Предложила мне разделить с ней компанию — под предлогом, что это для меня поздно, я отказалась. Но Роза всегда готова. Присела и съела сандвич. Когда она кончила, Айда обратилась к ней: «Заплати мне 30 центов за сандвич». — «Отстань от меня», — произнесла та и ушла. Я думала, что она попросила в шутку, оказывается, нет. Около часа Айда ее преследовала: отдай 30 центов за сандвич.

Когда Роза вышла, Айда обернулась ко мне:

— Роза очень богатая женщина.

Я улыбнулась.

— Да, да, она присядет, покушает и уходит. Я ей за карты вчера SS центов заплатила, сегодня 60 центов израсходовала на нее, итого один доллар lS центов — разве это не деньги?

Я не знала, посмеяться или серьезно ей посочувствовать.

Целый день одни и те же разговоры, где что продается, где дешевле, где дороже. Часто устраивают перепродажу, особенно этим отличается Роза, она то и дело продает то одну, то другую пижаму или майку.

Бесконечные разговоры о бизнесе, разговоры о богатых и бедных невестах не прекращаются. Если чей-либо родственник женился на бедной, то она ужасная: «У нее нет ни копейки денег, у нее ничего нет». А если наоборот, он без гроша взял богатую с приданым: «Он очень умный».

Айда каждый вечер получает «Филадельфия ивнинг ньюз». Прочитав заголовки, все внимание она сосредоточивает на объявлениях:

— Нина, посмотри сюда, — просит она, — на всю страницу объявление: «Плимут. Шоу рум». Это дело принадлежит мужу моей приятельницы. Они очень богатые. Ей только 30 лет, ему 40 лет, они богатые и счастливые. Она прислала мне к Рождеству флакон духов за 17 долларов, но прийти ко мне боится. А вот объявление, это тоже мой знакомый, он имеет 17 «маркет сторс». Только за ренту он платит 2700 долларов в месяц.

— Ну и что, — спрашиваю, — он что, счастливый?

— О, да.

— А каким образом появились у него эти 17 «сторс»?

— Ему просто повезло.

— Да, но кроме везения, нужны деньги, — настаиваю я.

— О да, он получил от отца наследство. — В такое везенье я могу поверить.

Несмотря на то что она здесь уже пять лет, она великолепно знает, где, что и за сколько продается. После визита мужа

сообщает: «Джек сказал, что теперь все дешевле».

Бедная, бедная, ведь, кроме пижам, ей еще многие годы ничего не потребуется.

Все прошлое ушло безвозвратно, далеко, даже жутко об этом подумать. Жутко. О, если бы кто знал, как жутко терять чувство и запах прошлого, особенно когда совсем нет настоящего.

Слушаю радио, какая страшная музыка. Уши надрывает. Так хочется услышать нашу дорогую, ласковую, иногда печальную, иногда сильную, но всегда родную мелодию.

Каждый вечер передают по радио разные шуточки, иногда пластинки — ковбойский фольклор с еврейским акцентом.

Только что передали, как Мойша работал 12 часов для других. Ему надоело, и он решил начать свое дело. Теперь он вкалывает по 18 часов, но для себя и имеет партнера «шлымайзел».

Мой научный руководитель — шпион?!

И вдруг я услышала: «Слушайте, слушайте передачу адмирала Илиаса М. Закараяс „Секрет о шпионаже атомной бомбы“». Главным шпионом, которого послал сюда сам Сталин, был профессор Семен Петрович Александров. Слушателям предлагалось запомнить эту фамилию. Говорилось о его росте, о его возрасте, о цвете его волос, о цвете его глаз. Хотя все внешние данные и были перевраны, но шпионом, согласно их передаче, он оказался отличным. И через два месяца после его возвращения в СССР взорвалась атомная бомба.

Неправдоподобно, просто как в каком-то кошмарном сне, странно было мне лежать в Америке на больничной койке где-то в туберкулезном санатории «Дебора» и слушать передачу о Семене Петровиче Александрове, человеке, сыгравшем такую большую роль в моей судьбе. Он был руководителем моего дипломного проекта. Красавец, всегда элегантно одетый, как у нас говорили — с иголочки, джентльмен до мозга костей. Все студентки были безнадежно влюблены в него. И когда он стал руководителем моего дипломного проекта, все они завидовали мне, так как я была первая и, кажется, последняя удостоена этой чести. Он был председателем Государственной квалификационной комиссии по приему дипломных проектов. Наши дипломы, мой и Кирин, подписаны профессором С. П. Александровым. После окончания института и получения диплома он сразу же ввел меня в Государственную квалификационную комиссию, и некоторое время дипломы шли за его и моей подписью.

Он был действительно очень крупный, очень известный

ученый, и это неоспоримо, но шпион?! Этого я не могла себе представить.

Проблеск надежды

В это воскресенье я с нетерпением ожидала прихода Кирилла. Я была рада ему и деткам, которых я видела снова украдкой, через окно. Они улыбались мне, а мне так хотелось побежать к ним, обнять, прижать их к себе и крепко-крепко расцеловать.

Кирилл рассказал мне, что в субботу он с детьми был приглашен к Николсам. Когда Николс спросил Кирилла, почему мы не выехали в Сан-Франциско, так как там нас ждали, и спрашивали, почему мы не приехали. Кирилл рассказал, что выехать мы не могли, так как в тот момент, как мы вернулись и не успели еще войти в дом, появился сам Ричмонд с полицейским и вручил нам повестку в суд. И с нас взяли подписку о невыезде.

Кирилл сказал:

— Я показал им все документы и стенографический отчет — «экзаменейшен» — с Ричмондом и Гартфильдом. Познакомившись с этим материалом, Николс даже вскрикнул: «Это очень интересно!» Мария, жена Николса, была очень взволнована: «Ты слышишь, что произошло? Ведь об этом немедленно, немедленно надо рассказать Эчисону и Гуверу». Николс внимательно просмотрел все документы: «Да, да, я обязательно, обязательно расскажу им все».

А я чувствовала — чем дальше, тем больше путаницы в нашем деле.

Дикая тоска, на кой черт кому нужен этот вынужденный отдых! Кирилл выглядит таким измученным, что ему самому потребуется капитальный отдых. Если бы были нормальные условия жизни, разве я попала бы в эту клоаку? Как бы я хотела очутиться где-нибудь в теплом солнечном месте. Заныло сердце о Мариуполе, Бердянске, Геническе на берегу моего ласкового, теплого Азовского моря. Или просто побродить в родных просторах и степях.

Это все во сне, а наяву туберкулезный санаторий, из окна которого вижу кусок серого, хмурого осеннего неба. А рядом ноет полускелет-получеловек, почти живой труп. Предел моих желаний — освободиться от всех неприятностей, исчезнуть, уйти хоть в дебри и там залечивать свои раны. Самая большая и неизлечимая — это отрыв от родины, от матери и от всего прошлого.

Боже мой, трудно даже представить, как дети будут одни хозяйничать. Лялечку учительница рекомендовала в Мюзик-анд-

Арт-хай-скул. Она рада.

На следующей неделе Кирилл приехал один, Хайда взяла детей к себе.

— Хайда очень хороший человек, — сообщил он, — но глупая… Страшно возмущена Полом (это один из ее бывших мужей), она часто говорит:

— Я сегодня обедала со второй женой моего третьего мужа. — Злится на него, не звонит, не заходит, не хочет быть даже другом.

— Нехороший он, лучше бы он умер, чем думать, что он с другой, — заявила она.

— А я, несмотря на то что очень люблю Нину, если бы она ушла с другим и была бы счастлива и здорова, был бы рад за нее. Я так люблю ее, что ее счастье для меня дороже всего.

— Это «рашен романтизм», — заявила она.

— А у тебя «джерман эгоизм», — ответил я.

Получила письмо от деток. Володюшка пишет: все у нас хорошо, но я все больше и больше скучаю по тебе. Так мне хотелось в воскресенье, мама, побежать к тебе, обнять и расцеловать.

Лялечка, писала о своих «траблс» (треволнениях). Мои милые, дорогие детки, сколько же еще продлится эта пытка?

Еврейский вопрос

Вечером зашла Алла, медсестра, красивая девушка с золотистыми волосами и огромными голубыми глазами, говорит по-польски и чуть-чуть по-русски. Ко мне у нее особая симпатия. Она всего 5 месяцев как приехала из Европы и очень горько жалуется на все и вся. Родители ее погибли в концлагере.

— А я, — говорит она, — скрывала, что я еврейка. Говорила, что я полька. Зачем я должна была говорить, что я еврейка, если у меня была возможность спастись? — заплакала. — Почему они, (то есть американские евреи) к нам, приехавшим из Европы, так плохо относятся? — спрашивает она меня.

Большинство больных — это ДИ-ПИ. Те, кто пережил ужасы лагерной жизни, многие из них чудом уцелели в немецких лагерях.

Привезли их сюда родственники или «Юнайтед-Джуиш-Аппил». У большинства из них мужья и родные погибли в лагерях. Вспоминают о пережитом с ужасом, и почти все они были освобождены из концлагерей Красной Армией. Никто из них никогда не был в России, но с интересом расспрашивают меня о порядках там.

Одна из них сказала:

— Меня Гитлер научил свободу любить, я не хочу никакого насилия, хочу просто для себя пожить.

Но странно, что все прибывшие из Европы не находили общий язык с американскими еврейками и после каждой стычки, происходившей между ними в туалете, бежали ко мне со слезами жаловаться на злых, бессердечных американских евреек. Меня удивляет и поражает невероятный антагонизм между евреями, прибывшими из Европы, и местными. Не могу понять, разве можно так относиться к тем, кто приехал из Европы?

Странно, но ловлю себя на мысли, что национальный вопрос никогда меня не интересовал. Да и никто почти никогда и не спрашивал меня об этом. Здесь отдельные еврейские кварталы, отдельные еврейские больницы, еврейская пища. Ведь это почти такое же гетто, только созданное самими евреями. И только сейчас я поняла, насколько мне было чуждо чувство национальной розни, и вот сейчас, здесь я ощутила, какая это жуткая вещь, и то же самое, по-видимому, происходит в мужской половине этого санатория.

Тенор Большого театра

В воскресенье приехал Кирилл с Мирой Гинзбург, она мне очень понравилась. Рассказывала, что была на концерте Ивана Жадана — тенора московского Большого театра. До войны в Большом театре их было трое: Козловский, Лемешев и Жадан. Вот Жадан и оказался здесь, среди перемещенных лиц.

— Все просто бесновались, так всем понравился его голос и особенно манера петь.

— Я тоже любила его голос. Немного слабее, немного слащавее, чем у Лемешева и у Козловского, но ангельская манера петь, заламывая рученьки. А ведь главное — это то, что здесь он никогда не будет тем, кем он был в России, в Москве.

— Да, конечно, он здесь у кого-то работает садовником, — сказала грустно Мира. — Что здесь делать таким людям, оторвавшимся от родной почвы?

Кирилл рассказал, что видел Макса Истмана и Лену на его лекции. Макс все больше и больше становится махровым антикоммунистом, сообщил он.

— Передавали тебе большой привет и снова приглашали тебя к себе.

Я спросила у Кирилла:

— Есть ли у тебя деньги хоть на хлеб и молоко детям?

Он ответил уклончиво:

— Есть.

И мне стало так жалко Кирилла, он выглядит просто измученным.

Канун Рождества

Сегодня как-то все притихли. По палатам прошел слух, что кто-то на втором этаже сошел с ума и его отправили в дом для умалишенных. И это случается довольно часто, сказали мне.

Время идет так тяжело и нудно, что нет ничего удивительного в том, что люди с ума сходят. Как бы хотелось перестать думать.

Наступила предрождественская, предпраздничная американская суматоха. Шлют подарки, посылают открытки с кровати на кровать. Благодарят друг друга через перегородки:

— Это замечательно, это очень мило.

И опять:

— Мне жарко, мне холодно, я замерзаю…

Поставили в углу елку. Кое-кто запротестовал, что это не еврейская, а христианская традиция, а этот санаторий еврейский. За окном появилась вереница детишек в возрасте 7–8 лет. Они спели несколько рождественских песен, крикнули на прощание «Мерри Кристмас» всем стоявшим у окна больным, помахали ручонками и так же гуськом ушли.

Я тоже получила много поздравлений и письмо от моих деток. В таком теплом, милом письме было так много тоски, что я без слез не могла его читать. «Мы устали есть в кафетериях, — пишет Лялечка. — Хайда мне сказала, что для того, чтобы приготовить обед, надо 3 часа времени. О, если бы я хоть одну треть этого имела, чтобы сходить в парк».

Мои милые, родные детки. Я так любила свою семью и всю жизнь мучилась оттого, что жизнь моих родных была такая неустроенная, вечные переезды, вечная разлука с родными. И я давала себе клятву, что все свои силы, всю свою энергию вложу в то, чтобы мои дети жили в нормальных семейных условиях. И какая страшная ирония, не только я наказана, но и мои дети должны нести этот тяжелый крест нашей жутко неустроенной жизни. И чем все это закончится, никому не известно.

То, что переживаю я сейчас, намного страшнее голода, холода и всех тех лишений, которые я пережила в детстве у себя на родине. Это была моя родина, и я чувствовала себя дома, куда бы судьба ни забросила меня. От польских пограничных лесов до тихоокеанских водных просторов я чувствовала себя дома. А здесь ни тепла, ни уюта, ничего.

Для меня проблема воспитания наших детей самая главная, об этом я думаю больше всего. И вдруг дети остались одни, без матери, на год, а может быть, и больше. Разве это не трагедия? Когда, кроме Кирилла, никого у них нет, ни единой души, к кому они могли бы обратиться, кто бы поинтересовался, что детям нужно и в чем они нуждаются. Мне становится за них страшно. Теперь мне больно, нестерпимо больно, что мы лишили их друзей детства, близких, родных.

В Москве у них было бы много школьных друзей, кузены, кузины, а как это хорошо! И дети это понимают. Как плакала Лялечка, что там остались Галя, Женя, Боря. Недавно они с болью вспоминали: «Мамочка, ведь Женечке и Борюшке уже 18 лет».

В этом возрасте они уже собирались бы все вместе. Вместе ходили бы в театр — в Большой, Художественный, на концерты в консерваторию. А здесь, кроме кино (которое не всегда бывает на должной высоте), мы ничего больше не можем позволить себе. И это больно.

День за днем

Завтра воскресенье, чувствую я себя отвратительно. Ни читать, ни писать, ни думать уже нет сил. Но не думать было трудно. И я много, о, как много передумала за это время. Боже мой, сколько нужно сил! Я креплюсь, но вечером не выдержала, разревелась. Подошел врач.

— Пожалуйста, дайте что-нибудь от нервов, — попросила я.

— Не волнуйтесь, — успокаивал он меня, — дела ваши идут хорошо, показатели анализов негативные, снимки хорошие.

У него хорошая улыбка, мягкий, приятный голос, что вызывает к нему чувство доверия, когда он дает лекарство, я принимаю с уверенностью, что поможет.

Приехал Кира, тоже успокаивает:

— Я с детьми сам справлюсь, а ты только поправляйся поскорей.

Дети шлют мне хорошие письма, скучают, ждут. Лялечка рисует Володюшку с пятачком на носу и подписывает: «хрю-хрю, я есть хочу». На себя тоже карикатуру.

Лялечка хорошо рисует. Пишет: «Волосы у меня длинные, свободно на них сажусь».

Володя пишет: «Видел Вацлава Сольского (наш знакомый польский писатель), — пригласил меня на ланч и сказал мне, что недурно было бы мне поучаствовать в „соревновании дураков“». Володенька пишет об этом как о забавной шутке Вацлава и о том, что в школе у него были перевыборы и он снова президент класса.

Кирилл тоже приписал: «Дела идут ничего». Господи, что такое — ничего, я уже сама ничего не могу понять. Когда же это ничего кончится и наступит что-то?

Наступили праздники, как же дети там одни?

Звонила Ева Джолис, страшно возмущается:

— Неужели Испанию Франко примут в ООН, это же все равно что принять гитлеровскую Германию в ООН.

Она так же ненавидит Франко, как я ненавижу Сталина. Я была рада, что она позвонила, хорошая она.

Позвонил Луи Фишер, много спрашивал обо мне. Спрашивал, что он может сделать, чем помочь. Луи один из тех, которых чем больше знаешь, тем больше уважаешь, который, как говорится, слова на ветер не бросает.

Кирилл привез мне газеты, среди них «Русский голос». Там статья, посвященная семидесятилетию Сталина. Статья «Люди колхозных полей» описывает встречу Сталина с Пашей Ангелиной. Вторая статья Сидора Ковпака: «От Путивля до Карпат». В этой статье он вспоминает о заявке, поданной им во время войны Сталину.

«Я боялся, — пишет он, — что Сталин скажет мне: „Да, размахнулись вы, товарищ Ковпак“».

А произошло совершенно другое, то есть товарищ Сталин, взглянув на заявку, спросил: «Разве вас это обеспечит?» И на заявление Ковпака, что он не решился попросить больше, Сталин приказал составить заявку заново: «Мы можем дать все, что нужно».

— Я не решился попросить сапоги, хотя думал, что для бойцов нашего партизанского отряда это было бы лучше, и попросил просто ботинки. Сталин, прочитав заявку, тотчас вычеркнул ботинки, и не успел я себя отругать, а я еще хотел сапоги, как Сталин над зачеркнутым словом написал собственноручно — сапоги. «А главное, товарищи, крепче держите связь с народом, — и улыбнувшись, добавил: — пока что вы наш второй фронт».

В этой же газете сообщалось о новом назначении Н. С. Хрущева (как высшего руководителя Советской власти) — первым секретарем Московского комитета партии. И перед моими глазами как будто проплыла статья в «Правде», в которой Хрущев обещал искоренить всех врагов народа на Украине, даже приводились цифры. Господи, как было горько читать эти хвалебные, почти отечески заботливые статьи о бойцах, отправляемых без оружия на фронт, о связи с народом на фоне миллионов погибших, исчезнувших с лица земли прекраснейших людей, богатство и сокровище нашей страны. Нет клочка земли,

не политой их кровью, и вся эта кровь на совести этого человека.

Профсоюзный активист

Пришел со второго этажа один из активистов, очень напомнивший мне наших активных комсомольцев.

— Я принадлежу к «Лейбор-парти», — заявил он. — Читаю газеты «Воля» и «Форвардс», хотя их и называют демократической газетой, а это орган меньшевистской печати. Я хотел принести вам вчерашнюю газету за 21 декабря.

Так вот, в этой меньшевистской газете была статья лидера меньшевиков Абрамовича, он умный человек, хотел написать статью против Сталина, но у него ничего не вышло. Я прочел ее всю, она выходит на еврейском языке.

— Почему меньшевистская газета издается на еврейском языке?!

— Вы что, спрашиваете у меня?!

— Да нет. А что же он пишет? — поинтересовалась я.

— Абрамович пишет, что он (Сталин) был сын очень бедного сапожника — что же здесь плохого? Что кто-то платил или должен был платить за его школу, это тоже неплохо. Что он был сильный человек и настойчивый в своих идеях — это же великолепно. Правда, в одном месте он немного хотел очернить его, это что он ограбил банк и что Ленин не разрешал, Ленин был против, но, с другой стороны, пишет он, как будто он тоже воспользовался этими деньгами. Интересно даже, что с точки зрения такого антикоммуниста, как Абрамович, который хотел написать что-то сильное против Сталина, он только крепко размахнулся и… погладил…

— Где вы работаете? — спрашиваю.

— Недалеко от Юнион-Сквер, на фабрике, где делают дамские вещи.

— Когда вы выйдете отсюда, вы снова получите свою работу? Хозяин вас примет?

— Не знаю. Но мое место не принадлежит хозяину, сейчас оно принадлежит «юниону» — профсоюзу. Хозяин только жалованье платит.

— Вы тоже принадлежите «юниону» — профсоюзу дамских портных Дубинского?

— Да, наш лидер меньшевик, он принадлежит к меньшевистской партии.

— Вы ошибаетесь, — сказала я. — На вопрос журналистов для печати, принадлежит ли он к этой партии, то есть к партии меньшевиков, Дубинский ответил отрицательно. Так, по крайней

мере, говорил и Вацлав Сольский (польский писатель), который писал о нем статью. Скажите, а ваш «юнион», ваш профсоюз, — это сильный «юнион»? Дубинский хороший организатор?

— Да разве этот «юнион» его заслуга? Этот юнион сделали русские. Это группа людей, приехавшая из России, это они все создали, это они организовывали «страйки» — забастовки, протесты, а что здесь было до этого, вы даже представить себе не можете. Это они заставили нас, рабочих, требовать от хозяина все, что мы сейчас имеем.

Поэтому в 1932 году, во время Великой депрессии, когда пришел к власти Рузвельт, он понял ситуацию и твердо заявил хозяевам: «Если вы не пойдете на уступки рабочим и будете продолжать сопротивляться, здесь тоже произойдет революция, как в России, и вы потеряете все». Да если бы в России не произошла революция, мы бы до сих пор, так же как и раньше, продолжали париться в «свет шопс», как в бане, по 18 часов в сутки за гроши.

Выписка под расписку

Уже март, я с невероятным трудом выдержала шесть месяцев и дошла, как говорят, до точки. Если я не уйду отсюда, я уже не знала, чем это может закончиться.

Как дети? От одной этой мысли я думала, что с ума сойду. И 15 марта, в очередной раз, когда Кирилл приехал навестить меня, я заявила:

— Все, хватит, сегодня я еду с тобой домой, а дальше что будет, то будет.

Кирилл даже обрадовался такой моей неожиданной решительности. Ведь его тоже можно понять — тащиться каждую неделю почти три часа в одну сторону, три часа обратно, с детьми или без детей, оставив их одних на целый день.

Так 15 марта я выписалась из так называемого санатория «Дебора», или просто из больницы для туберкулезных больных. Дав расписку в том, что в Нью-Йорке я немедленно пойду к доктору и буду продолжать лечение. Кирилл ведет машину с трогательной осторожностью, трудно даже поверить.

Возвращение

Ушла я в госпиталь из «адской кухни», с 520-й улицы, 50 вест, а вернулась в Харлем 410 вест, 141-я улица. Новая крохотная квартирка усилиями детей и Кирилла была приведена к моему приезду в порядок.

Дети вместе с папой покрасили комнаты и где-то раздобыли какие-то койки. Но эта квартира, не в пример прежней, была гораздо удобнее. А главное, дети были со мной. Даже когда они засыпали, я заходила к ним в комнату и думала: как я буду без них, а они снова без меня и неужели мне снова надо оставить их и месяцами валяться в отвратительных госпиталях?

Кирилл приходил, обнимал меня за плечи и просил:

— Ты только не волнуйся, ложись, все будет в порядке.

— Сегодня суд, ты знаешь, так все надоело. Но если присудят, я устрою тарарам американскому правосудию. Сегодня я должен отказаться от услуг адвоката. Я только что уплатил ему 350 долларов, он прислал счет еще на 300 долларов.

Господи, адвокаты в Америке — это страшное дело, их надо бояться больше воров. Вор, рискуя жизнью, лезет за своей добычей, и его ждет в случае неудачи наказание. Адвокат на всех несчастьях делает деньги, грабит у несчастных последнюю копейку и остается уважаемым человеком. И даже если он вас по миру пустит, за это его не осудят.

Вот к этому ужасу я тоже никак не могу привыкнуть.

Позвонили, через 10 минут будет доктор. Тогда еще доктора посещали больных на дому, но вскоре это прекратилось. Пришел довольно милый, симпатичный, пошутил, посмеялся:

— Нужно лежать, полный отдых, хорошее питание, — и ушел.

Вечером Кирилл с горькой улыбкой заявил:

— Ну что ж, полечись, поправляйся и поедем в СССР читать лекции «Способы приобретения и методы лечения туберкулеза в США».

Я рассмеялась. Действительно, было бы смешно, если бы не было все так катастрофично. Что ждет нас завтра? Если уж Кира так пошутил… А ведь я знаю, что еще месяц тому назад у него не повернулся бы язык сказать это.

Задушевные разговоры с А. Ф. Керенским

Симфонический концерт в Карнеги-холл

Помню, мы пошли с ним первый раз на какой-то концерт симфонической музыки в Карнеги-холл. Симфонический оркестр был замечательный, акустика потрясающая, а зал в то время был удивительно обшарпанный. Стены зала были не белые, а серые, позолота на орнаментах почернела, бархат из красного стал коричневым, потрепанным, бумажки, окурки валялись под ногами, в то время демократичный американский народ еще свободно курил в театре, в кинозалах, в метро и автобусах (во время концерта народ тоже курил). Люди были очень буднично одеты (шел дождь, зонты, плащи лежали у всех на коленях). И когда мы вышли, я с грустью вспоминала наши блестевшие чистотой театры и нашу празднично одетую, возбужденную публику.

— Неужели такая богатая, благополучная страна, не пережившая никаких потрясений, не в состоянии отремонтировать такой чудный зал с такой волшебной акустикой? — не выдержала я.

Нью-йоркское метро мне вообще показалось чудовищной трущобой. Оно создало у меня впечатление абсолютного пренебрежения к тем слоям населения, которые должны пользоваться этим видом транспорта. Разве можно было эту подземную трущобу сравнить с нашими московскими дворцами! И поэтому когда я какой-то своей знакомой американке показала наше метро, она мне сказала: «Да, но ведь там у вас в этом метро могут ездить только избранные, а у нас все». И как бы мы наше московское метро ни ругали в свое время, что оно построено с излишней роскошью, но ведь оно было построено не для избранной элиты, а для всех без исключения, для всех. А вот здесь, в Америке, театр — театр! — и не где-нибудь в захолустье, а прямо в центре города — это никак не укладывалось у меня в голове, такое потрясающее пренебрежение к искусству.

— А как в Москве? — спросил Александр Федорович.

— Господи, да там же театры — это дворцы, чистота, все блестит. Вы после концерта или постановки выходите оттуда как обновленный. Когда я выходила из театра, мне не хотелось садиться в трамвай. Я шла пешком, мне хотелось сохранить то возвышенное чувство, что я получила в театре, и не растерять его в трамвайной толпе.

Он повернулся ко мне и крепко поцеловал меня в щеку.

Я с удивлением посмотрела на него и сразу не смогла понять: за что? Я думаю, что ему просто было приятно услышать, кроме вечной ругани России, что-то приятное о русской культуре и о России вообще. Ведь кроме Сталина там живут еще 250 млн населения. Поэтому он мог часами слушать мои рассказы о плохих и хороших сторонах жизни там. Нам вместе никогда не было скучно.

Ему просто безумно хотелось послушать людей «оттуда», выросших и получивших воспитание и образование «там», ни внешне, ни внутренне не похожих на те карикатурные типы «Ниночек» и «Иванов», какими за рубежом любили изображать жителей Советского Союза СМИ, кино, театр и т. п.

Мы были такие же, как они, только помладше, мы были детьми, когда они уже ворочали страной, творили историю, которую оставили нам в наследство расхлебывать, и сейчас, встретившись с нами, им хочется узнать, что же мы, выросшее без них новое поколение, сделали. Я и сейчас думаю, что все, о чем мы с Кириллом вместе и по отдельности ему рассказывали, и то, что он нам рассказывал о себе, если бы было записано, это была бы сама по себе хорошая историческая исповедь.

На Пасху

Александр Федорович всегда на первый день Пасхи приглашал к себе самых близких друзей разговляться. Я помню наш первый визит к нему на Пасху. Мы пришли, когда гости были уже в полном сборе, разговлялись на втором этаже в гостиной. Александр Федорович встретил нас внизу в вестибюле. Он помогал мне снять пальто, когда увидел, что со 2-го этажа спускается вниз священник, отец Шаховской. Видимо, чтобы не ставить нас в неловкое положение, особенно меня, Александр Федорович быстро поднялся к нему навстречу предупредить его, что мы не те, кто подходит к ручке священника с поцелуем. Я вообще не знала, как это нужно делать со священником: трижды целоваться, как и со всеми на Пасху, или поцеловать ему руку, или просто сказать «Христос воскрес». Александр Федорович представил нас просто, по-светски. Мы пожали ему руку и, конечно, сказали: «Христос воскрес». Он ответил: «Воистину воскрес», без поцелуев.

Кричали женщины «ура!» и в воздух лифчики бросали…

Мы с Кириллом по-разному относились к Александру Федоровичу. Я часто, особенно в начале нашего знакомства, говорила:

— До чего же не везет России, вот если бы он остался у власти, все бы было по-другому, — или сетовала: — Почему народ не поддержал его и допустил, чтобы страна лишилась такого человека?

Кирилл отвечал:

— Очень просто. Потому что в то время он оказался не тем вождем, который был необходим народу.

— Ты хочешь сказать, что он был слишком мягкий, слишком человечный? — не унималась я.

— Да нет, — отвечал Кирилл, — он просто не понимал, что народу надо. Он, по-видимому, даже не чувствовал глубоко, что вокруг него происходит.

— Но он же был такой крупный оратор, как же он допустил и не смог зажечь толпы людей, которые смог воспламенить Ленин, не будучи никаким оратором?

— Видишь ли, Ленин говорил то, что люди хотели услышать. Ленин поступил умно, он дал народу возможность бороться за то, что они хотели. Пусть что угодно об этом говорят, но это именно было так. А Керенский и такие, как он, могли зажечь или поднять такую толпу, как они сами, но это была не та толпа, которую народ хотел защищать, поэтому защищать их было некому, и ты ведь помнишь, это были «юнкера и женский батальон».

Кирилл относился к нему не столь трогательно, как я. Он мог даже задать ему довольно колкий, не очень тактичный вопрос, как, например:

— Александр Федорович, правда, как писала советская пропаганда, когда вам пришлось бежать из Зимнего дворца, вы переоделись в женское платье или в платье сестры милосердия?

Александр Федорович ответил, что этот вопрос задают ему часто и что ничего подобного не было, он сказал, что он вышел в своей обычной полувоенной форме, караул отдал ему честь, он сел в свой открытый автомобиль вместе с помощником командующего войсками Петроградского военного округа и двумя адъютантами. Хотя ко дворцу в это время подъехали две машины с представителями английского и американского посольств, которые предложили поехать с ними в машине под американским флагом, но он поблагодарил их и заявил, что, как глава русского правительства, по улицам русской столицы он поедет, как всегда. И эти машины только сопровождали его.

Он также подчеркнул, что его появление на улицах охваченного восстанием города приводило всех в изумление. Но

многие из стражников вытягивались в струнку и отдавали ему честь, а где-то у московской заставы их все же обстреляли, и несмотря на все препятствия, они благополучно добрались до Пскова, где находилась в это время Ставка. Вот трусом, я должна сказать, он никогда не был в то смутное, бурное время.

— Александр Федорович, а как вы попали в Гатчину? — не унимался Кирилл. — Об этом я тоже читал много небылиц.

— Об этом, — сказал он, — я расскажу вам как-нибудь в другой раз.

Кирилл мог даже довольно едко над ним подшутить. Однажды мы обедали у общих знакомых Тереньтевых в Глен-Ков. За столом было человек десять, Александр Федорович начал что-то рассказывать о прошлом. И как только он произнес: «Это было тогда», Кирилл, сидевший напротив, вдруг сказал: «Это было тогда, когда женщины „ура“ кричали и в воздух лифчики бросали».

— Нет, нет, Кирилл Михайлович, чепчики, чепчики, — как будто без обиды рассмеялся он.

Но был момент, когда в наших отношениях не все шло так гладко. Например, он очень горько на нас обиделся, и даже наши отношения немного охладели, когда мы отказались принять участие в только что организованной при его активном участии «Лиге борьбы за освобождение России».

Земляки и почти одноклассники

— Какое потрясающее историческое совпадение! Александр Федорович ведь вы родились с Владимиром Ильичем Ульяновым в одном городе, в Симбирске? Учились в одной школе, знали друг друга с детства и оба возглавили Россию, только с разных концов, ну разве это не чудо?

— Вы знаете, что такое был в то время наш Симбирск, а нынче Ульяновск? Это был довольно захолустный городок, — вспоминал Александр Федорович. — Туда не было даже железной дороги. Связь с внешним миром поддерживалась летом по Волге на пароходе, зимой — по Волге на санях.

— А вы знаете, Александр Федорович, мы еще в тридцатом году на нашу первую студенческую практику на *только что построенный* свинцово-цинковый комбинат в Риддере, в Казахстане, добирались зимой в санях по Иртышу, от Семипалатинска до Усть-Каменогорска, а обратно возвращались летом, тоже по Иртышу на пароходе. И какая в это время на ее берегах черемуха цвела! — вспомнила я.

— А какие там у нас, в нашем Симбирске, были яблоневые и

вишневые сады! Когда весной они покрывались белым цветом, можно было задохнуться от запаха, а по ночам соловьи заливались так, что трудно было уснуть, такого чувства я никогда и нигде не испытывал. Это был город консервативных землевладельцев, враждебно относившихся ко всем либеральным реформам… — закончил он.

— Да, но там появились такие великие реформаторы, как вы, Александр Федорович, Владимир Ильич Ленин и его брат Александр Ильич Ульянов. Разве это не удивительно?

— А вы знаете, — вдруг сказал Александр Федорович, — что мы, то есть наши семьи, моя по материнской, а Ульяновы по отцовской линии, потомки крепостных? И я очень горжусь тем, что моя мать внучка, а я правнук крепостного крестьянина, который выкупил себя, стал купцом и сделал большое состояние.

Отец Александра Федоровича — Федор Михайлович Керенский, сын простого приходского священника, в городе Симбирске был директором средней школы для девочек и мужской гимназии, в которой учились Александр и Владимир Ульяновы.

Отец Владимира Ильича Ульянова — Илья Николаевич Ульянов — был инспектором учебных заведений Симбирской губернии.

— И несмотря на то что Симбирск — это бывшая старинная крепость еще с семнадцатого века, о существовании такого захолустья, как Симбирск, — сказал Александр Федорович, — Санкт-Петербург узнал только тогда, когда был раскрыт заговор партии «Народная воля», которая подготавливала предполагаемое 1 марта 1887 года убийство Александра III, в котором принимал участие Александр Ильич Ульянов, старший сын директора Департамента народных училищ Симбирска, старший брат Владимира Ильича Ульянова.

После раскрытия тайного заговора в Санкт-Петербурге и после ареста и казни сына такого видного в городе Симбирске чиновника в городе начались многочисленные аресты, которые проводились ночью.

— У нас с семьей Ульяновых были хорошие семейные отношения, и постоянные тревожные, таинственные разговоры об этих печальных событиях производили на мое детское воображение ужасное впечатление, и по ночам мне даже снились какие-то кошмары.

— Александр Федорович, вы знаете, я даже еще в детстве слышала, что на суде Александр Ульянов произнес такую обличительную речь, что за это его и повесили в Шлиссельбургской крепости.

— Кажется, вот это и толкнуло меня поступить на юридический факультет, — закончил он.

— Александр Федорович, ведь все это захватывающе интересно, что так переплелись ваши судьбы. Не кажется ли вам, что если бы Ленин был жив и сумел бы удалить от власти Сталина, то, может быть, со временем вы сумели бы примириться? Ведь и вы, и он боролись за благо для народа. И тогда ход событий пошел бы совершенно в ином направлении. Ведь даже врангелевские офицеры при жизни Ленина возвращались в Россию. Хотя в Советском Союзе, насколько я помню, всегда потихоньку говорили, что если бы Ленин не умер и не убрал бы вовремя Сталина, то Сталин обвинил бы и его так же, как всех остальных, в измене и расстрелял. Но мне всегда казалось, что при Ленине не произошло бы то, что произошло при Сталине, и все было бы по-другому.

— Очень интересно, но об этом я никогда не думал, может быть, при Ленине ход событий пошел бы по-иному, — ответил он. — Ведь Владимир Ульянов был высокоодаренный человек, никто этого отрицать не может, таким всегда, еще с детства, считал его мой отец.

Он вспомнил, что его отец когда-то рассказывал: в гимназии было дано задание написать сочинение на тему «Причины благосостояния народа» и о текущих событиях. Когда отец получил сочинение Владимира Ульянова, он сказал, что за такое сочинение его следовало бы немедленно исключить из гимназии. Но оно было написано настолько блестяще, что отец, отчитав его и посоветовав не вдаваться в критику существующего строя, поставил ему высшую отметку.

Он даже согласился со мной, что, несмотря на упрямство, Ленин был одним из наиболее здравомыслящих людей, с которым, может быть, и можно было бы найти общий язык. Например, он считал, что введение НЭПа абсолютно шло вразрез со всеми его установками, но, будучи способным быстро реагировать и не стесняясь признавать и исправлять свои ошибки, он в создавшейся ситуации сразу понял, что нужно не упорствовать, а найти пути и возможности как можно скорее улучшить и облегчить условия жизни и удовлетворить чаяния народа.

У меня даже создалось впечатление, что где-то он даже испытывал какую-то симпатию к нему.

Особенности отечественных вольных каменщиков

В одно отвратительное нью-йоркское воскресенье, когда

температура зашкаливала свыше 100° по Фаренгейту, а влажность и того выше, когда асфальт таял под ногами, и дышать, казалось, легче жабрами, а не легкими, мы решили выбраться за город к морю. Александр Федорович охотно поехал с нами.

Добравшись до Джонс-бич, мы решили зайти в кафетерий выпить что-нибудь холодное.

К нашему столику неожиданно подошел наш знакомый Яша Рубин. Он с женой тоже приехал сюда покупаться и позагорать. Мы познакомили его с Александром Федоровичем. Александр Федорович вдруг спросил Яшу:

— Давно это у вас?

— Да уж лет пятнадцать, — ответил Яша.

Как только Яша ушел, я спросила:

— Александр Федорович, почему вы задали Яше этот вопрос?

— У него на пальце кольцо масона, — ответил Александр Федорович.

Мы были знакомы с Яшей с тех пор, как приехали в Нью-Йорк, и я знала, что он принадлежит к какой-то масонской организации или братству, штаб-квартира которой находится где-то в Швейцарии. Оттуда к ним часто приезжают друзья, или «братья», с которыми они всегда знакомили нас, и даже предлагали Кириллу вступить в это братство. Я догадалась, что речь шла о масонстве, но почему Александр Федорович вдруг спросил об этом Яшу, я не могла понять. Оказывается, Яша носил «масонское кольцо», на которое я никогда не обращала внимания, кольцо как кольцо, что здесь особенного? Но Александр Федорович сразу заметил.

Здесь было прохладно, мы уютно расселись, и я попросила:

— Александр Федорович, расскажите мне, что такое масонство и кто такие масоны. Мои познания в этой области ограничиваются так же, как, по-видимому, у всех, кто читал «Войну и мир» Толстого, — философией Пьера.

— Масонство возникло в начале XVIII века в Великобритании, — начал просвещать меня Александр Федорович. — Название «масон» происходит от французского «франкмасон» (вольный каменщик). К нам в Россию оно проникло после того, как в него вступили в 1770 году Николай Иванович Новиков и многие другие государственные деятели. Вначале даже Екатерина II терпеливо относилась к масонству, но, почувствовав его глубокое влияние на Павла I и его окружение, она заточила Н. И. Новикова в Шлиссельбургскую крепость, откуда освободил его взошедший на престол Павел I.

— Какие цели и задачи этой организации, или «братства»? — спросила я.

— Цели и задачи этой организации очень гуманные — просветительная деятельность, пропаганда либеральных идей. Что касается России, главная задача этого общества заключалась в том, чтобы объединить культурную элиту России для уничтожения абсолютизма и освобождения крестьян, — объяснил мне А. Ф.

— Александр Федорович, вы тоже принадлежите к этой масонской ложе?

Предложение о вступлении в масонскую ложу, сказал А. Ф., он получил в 1912 году, сразу же после избрания в 4-ю Думу. («Господи, это же было до моего рождения», — подумала я.) Но та ложа, в которую он вступил, пояснил А. Ф., была необычной для масонской организации. Она допускала прием в нее женщин, ликвидировала многие ритуалы, а также порвала все связи с зарубежными организациями и только сохранила крепкую, высокоморальную дисциплину и способность хранить тайну.

— Александр Федорович, я слышала, да и не только я, а у многих существует такое мнение, что у масонских организаций была какая-то мистическая тройка, которая, вопреки общественному мнению, навязывала российскому правительству свою программу. Что монархию свергли масоны, что Февральскую революцию совершили тоже масоны, и Временное правительство состояло главным образом из масонов и что это какая-то очень таинственная организация. Это правда?

— Видите ли, — сказал А. Ф., — многие члены Временного правительства в то время действительно были масонами, и в нашей Думе тоже были члены масонских лож, но они принадлежали к различным масонским организациям. Мнение о том, что существовала какая-то мистическая тройка, которая навязывала правительству свою программу вопреки общественному мнению, — абсолютная выдумка. В действительности, — сказал он, — они обсуждали положение в России и в соответствии со своей совестью стремились найти наилучшую форму примирения всех классов общества. Лично я всегда старался установить контакты с либеральными и демократическими группировками, чтобы всегда чувствовать пульс народа. Но моя деятельность после вступления в масонскую ложу привлекла внимание полиции настолько, что ко мне приставили нескольких полицейских сыщиков, которые днем и ночью ходили за мной по пятам.

— Значит, с точки зрения властей, это все-таки была какая-то нелегальная организация, преследовавшая свои политические цели, если даже в те далекие времена ее так преследовали? — спросила я.

— В то время все масонские организации действовали нелегально, потому что общественность не понимала и недоброжелательно воспринимала их деятельность.

— Александр Федорович, как же широкая публика или общественность, как вы говорите, могла понять или воспринять эту организацию, если она носила сугубо аристократический характер и широкую публику в нее не принимали, а одним из ее условий было крепко хранить тайну, какую тайну и от кого? И если, как вы опять же сами сказали, задача масонской ложи заключалась только в том, чтобы не вмешиваться во внутренние дела страны, а только «объединить культурную элиту России для уничтожения абсолютизма и освобождения крестьян», — разве это не вмешательство?

Семья Керенского

Мы разболтались настолько, что никто из нас даже купаться не пошел. Я лично могла слушать и слушать его и задавать ему бесконечное количество вопросов, но о личной жизни я никогда его, да и не только его, я вообще никогда никого из моих даже очень близких знакомых ни о чем не спрашивала.

Я только знала, что в Англии жили его первая жена Ольга Барановская и два сына: Олег и Игорь — мне нравилось, что у них такие красивые древнерусские имена, — он часто к ним ездил и очень гордился успехами своих сынов.

Он часто вспоминал старшего Олега, который был членом Королевского научного общества и также активно участвовал во многих правительственных комитетах. По специальности он был инженером по строительству мостов. Младший Игорь во время Второй мировой войны служил в вооруженных силах Великобритании.

Я также слышала, что он был женат на женщине из Австралии, у которой были состоятельные родители, но после ее смерти они оставили его без копейки денег. И после возвращения из Австралии в США его снова приютили Кеннет и Хелен Симпсон, по завещанию которых он мог жить у них в доме до самой смерти.

Приговор: туберкулез-2

Хорошая больница «Монтеферы»

Моя домашняя передышка была очень короткой. Снова надо было идти в госпиталь на обследование. Перед поездкой позвонила Хайда:

— Можно я поеду с вами?

Мы заехали, у нее оказалась Габриэль, ищущая себе забот, не зная, куда доброту своей души девать.

Нашли госпиталь «Монтеферы». Красное кирпичное здание на горе в Бронксе, развороченный двор, песок, цемент, кирпич. Идем по длинному желто-грязному коридору, в приемной шумно, как в студенческой столовой. Ждем долго. Только через два часа попала к очень симпатичному доктору.

Опять снимки, опять анализы, и через неделю сообщат, что дальше. А пока что по-прежнему — постель, полный отдых, питание и, главное, осторожность. Дети — самое больное.

Позвонила Билли Лайнс:

— Ты чего ходишь, ты что, с ума сошла! Ложись!!!

— Пока еще нет, — отвечаю. — Но ты понимаешь, не могу я лежать, когда надо убрать, постирать, приготовить обед, дети приходят из школы уставшие, голодные, хватают и едят сухой хлеб. Кирилл целый день бегает в поисках работы, о каком тут лежании речь может идти, невольно встанешь.

— Я позвоню, тебе пришлют сестру, она сделает твою работу.

— Не надо. В тех условиях, как мы сейчас живем, кому-нибудь даже убрать трудно. У нас нет ничего, даже совочка подобрать мусор.

— Ты понимаешь, — пожаловалась мне Билли, — нам надо принять четверых журналистов, вернувшихся из Европы, из Лиссабона, — как бы я хотела, чтобы ты была с нами, но я завтра расскажу тебе все, все о чем они говорили…

Я просила прислать мне двух поваров-китайцев, перепутали, прислали одного китайца и одного японца.

— Ну что ж, у тебя будет интернациональная кухня, — пошутила я.

Проводы

Страшна была первая минута, когда внезапно в 2 часа дня позвонили и сообщили, что завтра в 10 часов утра надо явиться в

госпиталь.

— На прием? — спросила я.

— Нет, для вас есть кровать. Захватите все необходимое.

Значит, снова ложиться в больницу.

— Почему так внезапно? Я не смогу. Муж в отъезде, и детей мне не с кем оставить. Он вернется только завтра. Может быть, можно отложить до понедельника?

— Нет-нет. Детей поручите кому-нибудь из знакомых, а мужу передайте, чтобы в воскресенье с двух до четырех пришел вас навестить.

Машинально, почти автоматически повесила трубку. Значит, все. Как в тюрьму, только, слава богу, без полицейского. Никаких отсрочек.

И вдруг, сев на кровать, я вспомнила весь кошмар больничной обстановки и, не в силах подавить горечь, боль и отвращение, громко застонала. О господи, я не хочу, я не могу уже больше переносить все это! Но что же делать? Я не плакала, я просто рыдала вслух, в доме я была одна.

Рано пришли дети.

И когда позвонила Мира, и я, еле-еле сдерживая слезы, говорила с ней по телефону, Лялечка приподнялась и с грустью спросила:

— Это правда, мамусенька, что ты должна снова уйти в больницу?

Володенька весь сжался, глаза полны слез:

— Нет, мамочка, ты никуда не пойдешь, мы тебя не пустим, — и он изо всех сил старался, крепился, чтобы не заплакать.

Когда пришла Мира, она решила позвонить в госпиталь и попросить отложить на один день, ей снова ответили:

— Отложить нельзя, надо явиться завтра утром.

— Вопрос идет об одном только дне, — настаивала Мира.

— Да, мы знаем, но ничем помочь не можем.

— Это безобразие, — возмутился Володюшка, — даже когда в тюрьму забирают, дают 24 часа, а это в больницу.

Дети уснули, а у меня не было сил уснуть. Завтра, значит, завтра. Тяжело было представить, что завтра я уже не буду спать на моей, хоть и не очень удобной, но все-таки моей, более приятной постели.

Может быть, это просто кошмарный сон? Так хотелось верить, что произойдет чудо и все изменится.

Чудо произошло, открылась дверь, и вошел Кирилл:

— Ты что такая, так плохо выглядишь?

Мудрено было выглядеть лучше, когда хотелось кричать,

биться головой об стену.

Проснулась я очень рано и решила — надо собираться. И когда все было уложено и я оделась, позвонила Мира:

— Ничего нельзя сделать, — сообщила она.

— Не беспокойся, я уже готова, — ответила я.

Дети тоже встали. Володюшка, уже не сдерживая слез, плакал в открытую. Лялечка не выходила из своей комнаты. Я только услышала через дверь:

— Я не хочу с тобой говорить. Уйди от меня, — это она Володе.

И вдруг я с ужасом представила себе всю ожидающую меня обстановку и застонала:

— Я не могу, я не выдержу, у меня просто не хватит сил.

Кирилл растерянно и беспомощно уговаривал:

— Не ходи, не пойдем.

Володенька всю дорогу плакал:

— Папа, поверни обратно, — умолял он отца.

Друзья Советского Союза

Мы в офисе администратора.

— Я вас жду. Сохранила ваш обед, — сообщила мне толстая, в два обхвата, сестра.

Она позвала молоденькую голубоглазую, ярко накрашенную, с глубоко обгрызенными, почти до крови, ногтями девушку заполнить анкеты.

И опять эти «уилчерс» — каталки, опять эти длинные коридоры. Грязный, облезлый лифт поднял нас на 4-й этаж. Огромные мешки, полные грязного белья, отвратительный запах больницы. Опустившись на скамью, я не могла удержаться от слез. Кто знает, сколько надо будет находиться в этой обстановке?

Кирилл тоже расплакался:

— Пойдем домой, — почти категорически заявил он.

— Успокойтесь, не надо плакать, — подошла сестра, — переоденьтесь, ваши вещи отправьте с мужем домой, у нас нет места хранить их.

Когда я переоделась и вышла, возле Киры стояла аккуратно подстриженная женщина.

— Вы русские? Давно из России?

— Да, — ляпнула я, — с 44-го года.

Она почему-то сразу прониклась ко мне доверием и с места в карьер, как только Кира ушел, начала вводить меня в курс дела:

— Видите, вон в том углу два товарища, это сочувствующие, а

в зеленой пижаме — партийная, — подчеркнула она. — В 1935 году я была в Советском Союзе. Что здесь рассказывать людям, как там живут, все равно не поймут и не поверят. А что сейчас делается в Америке? Как относятся к Советскому Союзу? Забыли, что без Советского Союза не было бы и их сейчас. Здесь ужасно. Мы ничего говорить не можем. Мы рот боимся открыть. Во время войны здесь не так было. Но тогда был Рузвельт, и отношение было другое. Многие наши товарищи работали в правительстве, было чувство свободы, а теперь? Я просто ничего не могу понять в настоящей политике.

Хочу только предупредить вас, я уже шесть лет работаю здесь, и лучшего места, чем в этой больнице, вы нигде не найдете. Если бы вы знали, что делается в городских госпиталях! Народ на полу валяется в коридорах, белье по две недели не меняют. Подумайте только, такая богатая страна, ни от чего не пострадала, а к больным относятся как к отбросам, это просто непростительно. Поживете здесь, еще не то узнаете.

Помогают бороться с коммунизмом Тито в Югославии, Тайваню, Греции, повсюду, во всех странах, а об улучшении жизни не могут позаботиться.

Вечером сообщила мне, что сегодня идет на доклад — докладчик только что приехал из Москвы, с конференции о мире.

— Этот товарищ раньше работал в «Стейтс департамент», в правительстве. Его уволили за симпатии к коммунистам. Вы ведь не знаете, что сейчас там творится!

В воскресенье с Кирой пришла Мария Моисеевна.

— Как дети?

— Плачут, ходят грустные. Приходят домой, без тебя в доме жутко, пусто. Я успокаиваю их, они успокаивают меня.

— Не надо, что ж теперь делать, надо еще немного потерпеть, — успокаивала я, когда самой хотелось биться головой об стенку, кричать.

— Володя тоже обещал не плакать, а то мама будет себя хуже чувствовать, — мудро заявил он.

Вспомнила Крым, Алушту, мелкие камни, с детскую головку, наваленные в беспорядке в саду Воронцовского замка, прозванные «хаосом». Как и все, я тоже там фотографировалась. Что бы я сейчас дала, чтобы вновь очутиться там, в этом «хаосе»!

Несут ужин. Странно, люди кушают. И я тоже, хоть мне и тошно, должна кушать.

Кончился ужин, собрали посуду. И одна женщина с удивительно теплой улыбкой, подобрав и заколов вверх волосы, приятным голосом запела старинные русские романсы: «захочу, полюблю; захочу, разлюблю…» переходя вдруг на мексиканское

«ая-я-я»… Что-то в ней есть такое теплое, одесское.

Две женщины получили «отпуск» на 24 часа. Как в тюрьме. Ушли одеваться, и когда вернулись, все женщины, все 16 человек, с нескрываемым интересом смотрели на них. Странно было всем видеть их одетыми, все привыкли видеть их в пижамах и шлепанцах, и вдруг платья, туфли.

Каждая старается что-то им сказать, шутят, советуют беречь себя, провести хорошо время. А у меня мелькнуло в голове — а что, если я уйду и не вернусь?

Ушли. Снова разбился народ на кучки, рассказывают друг другу свои горести.

Сегодня суббота, знакомая сестра ходит хмурая с утра. Я спросила ее о докладе. Она радостно заулыбалась мне:

— Говорит он, то есть докладчик, что в Москве всех американцев за сумасшедших считают за то, что здесь они все готовятся к войне, а там все строят. И особенно в этом усердствуют католики, он сам католик, но говорит: вы зайдите в католическую церковь и поймете, откуда все это идет, как настраивают молящихся против коммунизма. Почему не хотят дать им спокойно жить и трудиться?

Первое мая в Нью-Йорке

Сегодня с утра меня уже поздравили с праздником 1-го Мая. Оказалось, здесь еще несколько человек отмечают этот день.

Секретарь ячейки — как в шутку прозвал ее Кирилл — была на демонстрации и с грустью сообщила:

— Разве такие демонстрации мы устраивали раньше, а теперь все боятся. А сколько провокаторов появилось среди нас!

И действительно, пошла какая-то эпидемия на провокаторов, уже объявились несколько человек, все были подосланы, активно работали в партийных организациях и вдруг как-то сразу, как черти из табакерки, начали появляться на белый свет.

Невольно вспомнились наши веселые весенние майские праздники. Такое родное милое детство! Какие пикники устраивали в этот день, бродили по лесу, собирали такие красивые душистые фиалки и до смерти уставшие возвращались домой. Стало как-то особенно грустно, ведь что бы ни говорили, а в идее коммунизма есть много хорошего, только без тюрем, лагерей и без этой проклятой сталинщины.

Ведь все те, кто творил весь этот ужас — сажали, пытали, расстреливали, — были самыми отъявленными антикоммунистами. Понимали ли они, что наносят непоправимый вред идее коммунизма? Мне кажется, да,

понимали, и все, что происходило, делалось для того, чтобы опорочить эту идею. Ведь все лучшие, умные люди во всем мире очень поддерживают эту идею.

Снова и снова приходил в голову этот мучительный вопрос: зачем мы здесь? Может быть, все обошлось бы и нас бы не арестовали. Ведь мы ни в чем, ни в чем не были виноваты. Но страх ареста был настолько велик, что трудно было преодолеть это чувство, тем более, когда вдруг вспоминала, сколько невинных, ну совершенно невинных людей, стремившихся всеми силами создать хорошую жизнь в нашей стране, исчезло без следа. Ведь арестовали ни в чем не виновного папу и всех его друзей, а за что?

Я часто ругала, критиковала, говорила иногда вещи, за которые меня можно было бы сто раз упечь, но я никогда не сделала бы, не могла бы сделать ничего плохого против своей страны. Но от отца я никогда, никогда в жизни дурного слова не слышала, и его уже нет в живых. За что? И когда я смотрела на детей, мне страшно было представить их судьбу, если бы с нами что-либо случилось.

Возвращаться на свою Родину с бьющимся сердцем: арестуют или нет? Останешься жив или нет?

Поездка в Лос-Анджелес

Кирилл сообщил, что мне надо будет выписаться из госпиталя, так как ему передали, что нам придется поехать в Лос-Анджелес.

Когда я спросила «зачем?», он ответил:

— Сам точно не знаю, но как будто там есть для меня какая-то работа.

На следующий день мы выехали в Лос-Анджелес. Володю мы взяли с собой, а Вику пришлось оставить в Нью-Йорке у замечательной пожилой женщины, старой эмигрантки Ольги Константиновны Эмерих, так как Вика кончала «хай-скул» и до окончания оставался только один месяц.

Меня сопровождало очень строгое письмо врача, что мне можно и чего нельзя.

После приезда в Лос-Анджелес меня сразу же после осмотра врача снова отправили в какой-то «санаторий». Здесь я лежала одна в каком-то бунгало, в котором было так нестерпимо жарко, что пожилой индеец, который ухаживал за садом, почти 24 часа в сутки поливал стену этого бунгало из шланга холодной водой, чтобы охладить мою комнату.

Индеец был огромный, прямой, как столб, он рассказывал мне, что когда был моложе, то работал в Голливуде наездником в ковбойских картинах: «Лошадей я очень люблю, и эта игра доставляла мне удовольствие».

Эта поездка в Лос-Анджелес оказалась очередной авантюрой. Кирилл всего два месяца проработал на каком-то предприятии, которое собиралось получить какие-то правительственные заказы, но, не получив, объявило себя банкротом и уволило всех служащих.

В это время началась опять гонка вооружений, все жаждали получить правительственные заказы, и им нужны были строго засекреченные люди, а мы были теперь люди без гражданства, без права на работу и вообще без всяких документов. В довершение ко всему напротив дома, в котором мы остановились, днем и ночью дежурил черный «форд» с двумя «пассажирами», не то они нас охраняли, не то наблюдали и ждали, что же мы будем делать дальше. Даже Володя спрашивал:

— Можно я им отнесу холодной воды или арбуз, они же в такую жару целый день сидят в машине.

Но и нам не было смысла сидеть в этом чужом, незнакомом нам городе, где ни работы, ни права на работу у нас не было, и я

больная, при бесконечных настоятельных требованиях врача немедленно отправить меня снова в госпиталь на лечение.

Мы не могли оставить детей одних в этой чужой незнакомой обстановке где-то на окраине города, где у нас не было ни единого человека знакомых, откуда даже для поездок в город надо было иметь свой транспорт, а у нас ничего не было. Наступил сентябрь, детям надо было пойти в школу.

И мы, наконец решили возвращаться обратно в Нью-Йорк, где у нас была масса знакомых, где находилось так называемое наше дело, где все-таки мы надеялись, что что-то, наконец, прояснится в нашем положении. Хорошо было то, что в Нью-Йорке у нас оставалась квартира с какой-то отовсюду натасканной мебелью и еще контракт на нее, так как у нас не было денег дать хозяину отступные, за нее мы передали ее до окончания контракта знакомому, поэтому у нас хоть было куда вернуться.

Снова Нью-Йорк

Частный доктор

Так мы снова оказались в Нью-Йорке. Здесь я решила пойти к частному врачу в надежде получить более объективное, как мне казалось, мнение.

Приемная у доктора была на 77-й улице, 20 — прямо напротив музея. По дороге Кирилл предупредил меня, что вместе с доктором работает его жена, которая немного говорит по-русски.

Открыла мне дверь женщина, которую я приняла за работницу, она была в черном платье с белой обшивкой, которое показалось мне униформой, и я начала говорить с ней по-английски.

— Миссис Алексеева, мы можем с вами говорить по-русски.

Сразу стало приятнее. Кирилл оставил нас и ушел.

— Вы были в Мексике? — заметила я, обратив внимание на изделия, украшавшие эту комнату.

— О да, до 1947 года.

Зашел доктор, вежливый, даже очень вежливый, сразу видно, что не американец. Внимательно прослушал. Но при моем перечислении всех госпиталей, в которых я уже успела побывать, у него все шире и шире открывались от удивления глаза. Наверное, он подумал, что при таких условиях даже здоровый человек может заболеть.

Не могла же я рассказать ему все наши злоключения. Я только вкратце объяснила кое-что, и когда я дошла до Лос-Анджелеса, он только спросил:

— Могу я ознакомиться с вашими рентгеновскими снимками?

— К сожалению, нет. Потому что те, кто должен был переслать мне снимки, сказали, что они потеряны.

— Потеряны?! Но такие вещи не теряются, — и у него от удивления даже ручка выпала из рук. — Хорошо, значит, все анализы придется сделать заново.

Затем последовали флюроскоп, рентгеновские снимки. Пока их проявляли, он подошел ко мне и так трогательно спросил:

— Скажите, вы чувствуете себя здоровой?

В его голосе была почти просьба, как будто он хотел услышать: «Да, чувствую». Не могла же я сказать ему, что я чувствую себя совсем разбитой и больной.

— Я стараюсь доктор, очень стараюсь. Единственное, я

быстро устаю, — ответила я и как будто подписала свой приговор.

Я поняла, что врачу почти все ясно и он только избегает или ищет какой-либо предлог, дающий ему право не выносить жестокого приговора.

В данном случае он почти судья, который выносит приговор, и, как каждый добросовестный судья, ищет как будто предлог, который дал бы ему возможность как-то облегчить судьбу обреченного, а в данном случае это еще хуже.

Он отнимает у семьи, у детей ни в чем не виновного человека, приговаривает его к годам тяжелого заключения в ненавистных условиях больничного режима, даже еще более тяжелых, чем для закоренелых преступников, где человек должен годы и годы лежать, лишенный общения со всем внешним миром и самыми дорогими, близкими людьми — детьми, мужем, находясь между жизнью и смертью, лежать и ждать бессрочного приговора своей судьбы, где время от времени даже производятся пытки в виде всевозможных анализов и операций.

— Снимок в порядке, можете одеваться, — сообщил доктор.

Он втиснул прозрачную пленку в рамку с изображением моих измученных легких и, не глядя мне в глаза, а как будто через меня, обращаясь к своей жене, произнес:

— Надо немедленно лечь в госпиталь, я не знаю, как в «Монтеферы», туда долго приходится ждать, иногда по 6–8 недель, это не годится. Нужно немедленно, как можно скорее локализовать, пресечь болезнь. Я думаю, снова надо начать стрептомицин.

Слова его, обращенные к жене, били меня как раскаленным молотом по голове.

— Пожалуйста, вы не волнуйтесь, я сделаю все, чтобы вам было легче.

А я как будто окаменела, как будто уже речь шла не обо мне, я даже не знала, как реагировать на это.

Они сердечно, очень сердечно со мной попрощались.

— Я надеюсь, вы скоро поправитесь и все у вас будет хорошо.

Они оба, стоя у порога, мило улыбались и даже помахали мне рукой.

На дворе моросил мелкий противный холодный дождик. Домой я вернулась, когда предупредили — будет буря, а у меня уже буря бушевала внутри, я уже не плакала, а, задыхаясь, рыдала. Вернулись из школы дети. Скоро вернулся Кирилл.

— Ну, что сказал доктор?

— Все то же, госпиталь. А что хорошего у тебя?

Джин начал перечислять все наши проблемы по пальцам,

загибая их. Нину надо в первую очередь поместить в госпиталь, для этого надо найти крепкого «чермена», кто жертвует в госпиталь большие деньги, протолкнуть «билль» через сенат — написать письмо Эчисону или президенту, заявил Джин.

Дебет с кредитом

Кирилл ушел рано утром на какую-то временную работу. Володюшка остался сегодня дома, был слегка нездоров. А когда я ему продиктовала, что нам нужно на неделю и сколько это будет стоить, он решил, что я преувеличиваю и взялся сам составлять наш бюджет. Пыхтел, кряхтел, целый день комбинировал, считал, считал и безнадежно развел руками:

— Не хватает нам, мама, столько, сколько папа получает в месяц.

— Ну что ж, убедился? — улыбнулась я.

— Что же мы будем делать? — задумался он. — Вот что, мама, вы нам к празднику ничего не покупайте, и мы как-нибудь обойдемся.

Родные вы мои, да разве этим спасешь наше положение? Я знала, сколько такая жертва стоила для них. И как-то, вернувшись из школы, Ляля мне сказала:

— Знаешь, мама, девочки в школе заметили мне, что я ношу вещи не по росту, которые меня старят. Мамочка, — старалась она успокоить меня, — я не хочу дорогие, как у Барбары, я только хочу простенькие и по мне.

И я вспомнила, как в Мексике я искала ей платье и все, что мне показывали в магазине, мне казалось не такое хорошее, как я бы хотела купить для нее, и даже одна продавщица сказала:

— Для какой принцессы вы ищете платье?

— Для самой лучшей, какую я знаю, для моей дочери.

Все это ранило, глубоко и больно.

Я была в положении туберкулезной больной, когда ни о какой работе даже думать не могла. Кирилл носился с одной случайной копеечной работы на другую. Мы находились под судом и, по существу, на нелегальном еще положении.

До сих пор никакого просвета. Ляле нужно дать возможность заняться рисованием, а для нас даже купить ей кусок холста проблема. Учителя верят в ее талант и тоже считают, что она должна как можно больше заниматься рисованием. В школе учитель обращается к ученикам:

— Дети, посмотрите на работу Виктории. Я верю, что, если она будет работать над собой, — обратился он к Кириллу, — из нее выйдет незаурядный художник, большой художник.

— Это слишком большая похвала, слышать ее от вас очень лестно, но вы немного преувеличиваете, — ответил Кирилл.

— Нет, нет, — заявил снова учитель, — поверьте моему тридцатилетнему опыту, я не преувеличиваю, а вижу и знаю, но ей надо работать, работать, у нее огромный талант.

— Мне только и осталось поблагодарить его, — ответил Кирилл.

Откуда достать средства, кроме «Арт-стьюдентс-лиг», мы ничего лучше предоставить ей сейчас не можем. У кого просить помощи? Я ненавижу это унизительное слово «просить». В Советском Союзе это было бы просто разрешимо. Она поступила бы в Художественную академию, и я глубоко уверена, что из нее вышел бы, учитель прав, незаурядный художник. А здесь?

Милая, наивная Раней уверяет, что в Америке бывают чудеса и чудом может найтись человек, который поможет материально.

Даже Володенька, и тот понял:

— Здесь, мама, стать доктором такому, как я, просто невозможно. Откуда у папы 10 тысяч найдутся? Мне, мама, очень жаль, я всю жизнь мечтал об этом.

Новый день, и каждый день приносит новые разочарования. Так тяжело, что иногда кажется, что силы могут покинуть, и тогда… К черту, я даже не хочу думать, что тогда. Кирилл смущается, молчит, как будто он в чем-то виноват. Плохо ест, плохо спит. Уже просто согнулся, мне так жалко его.

В пятницу Кирилл встретил Вредена: «Передайте Нине Ивановне, пусть кончает рукопись, мы отдадим перевести ее нашему лучшему переводчику в Америке Мире Гинзбург. Вы понимаете, я сразу бы ее устроил, Нина Ивановна спокойно ее дописала бы, но я не могу этого сделать сейчас. Но как только ваш процесс закончится, немедленно принесите мне рукопись, и я всегда рад помочь. Вы ведь теперь знаете, что такое судебный процесс в Америке?»

К нашему глубокому сожалению, теперь мы уже кое-что знали.

Вреден сообщил также, что видел недавно приехавших из Мексики Марину Львовну и Василия Васильевича, они нам кланялись. Жалко, что мы с ними не смогли встретиться. Я их очень люблю, особенно я люблю Василия Васильевича. Встречи с ними доставляли мне колоссальное удовольствие и останутся в моей памяти, как светлые дни. Но, честно говоря, мне было бы очень тяжело встретиться с ними сейчас.

Я знаю, что нужно дописать, но за это время так много пришлось пережить, что я как после пожара, что-то угасло внутри, и я не могу больше раздуть угольки из пепла. Короче, пустота и

тупое безразличие к моему «литературному творчеству», если можно так высокопарно выразиться.

Будни

До сих пор никакого просвета, уже начало 1952 года. Февраль, усталость, жизнь тянется, как темная липкая патока, приставшая к ногам. До сих пор еще висим в воздухе, и может быть, это было бы не так важно, если бы это не мешало хоть как-нибудь, хоть минимально наладить нашу жизнь. И сейчас я думаю и с горечью вспоминаю, какие же мы были честные и наивные, как дети. Оказывается, для того чтобы совершить такой поступок, надо было быть готовым предать, продать свою родину. Тащить с собой чемодан документов или писать, писать клеветнические статьи по заказу, а наша горькая правда их совсем не волновала. И конечно, прав был тот журналист, который кричал нам: «Сенсацию! Сенсацию! Чемодан документов, как у Гузенко, у него и дом, и ферма уже есть». А у нас не было ничегошеньки, и при одной только мысли, что нужно плевать на свою страну, вспоминая мою родину, мне было настолько больно за нее и за тех, кто погиб за нее, что мне казалось, мне стыдно было бы жить потом на свете.

Растут дети, растут их потребности. Их надо одеть, обуть, дать им возможность получить хорошее образование. Вике надо во что бы то ни стало дать возможность заниматься рисованием, а для нас даже купить ей кусок холста проблема. Экономить надо на всем, и от этого я безумно устала. «Экономьте» стало ходовой фразой. Ничего, абсолютно ничего, о чем я мечтала и что я хотела бы дать детям сейчас, я не могу.

Учителя Вики верят в ее талант и настаивают на том, чтобы она как можно больше занималась рисованием. «Дети, посмотрите на работу Виктории, — обращается к ребятам инструктор. — И я уверен, если она попадет в хорошую школу, то под руководством хороших инструкторов она станет отличным художником. Я не хочу сказать — Рембрандт, — улыбнулся учитель, — но большой художник, поверьте моему тридцатилетнему опыту».

Как после такой аттестации учителя могла не болеть душа, что мы не можем оплатить расходы, самое большое, что мы могли, это заплатить за «Арт-стьюдентс-лиг».

Идти просить помощи? Куда, у кого? В Советском Союзе эта проблема была бы просто разрешена. Она бы поступила в Художественную академию, и я глубоко убеждена, как и ее учитель, что вышел бы из нее незаурядный художник. А здесь?

Милая, наивная Раней уверяет, что здесь, в Америке, бывают чудеса и что может найтись человек, который поможет ей. Очень трогательно. Но с моей точки зрения, это просто бред. Да и не верю я в подобные чудеса. Я допускаю, что среди миллионов зарытых талантов, может быть, кому-то и помогли выбраться на дорогу какие-нибудь чудаковатые филантропы, кому от скуки некуда было деньги девать или просто куда-либо их надо было деть.

Даже Володюшка понял: «Здесь, мама, стать доктором такому, как мне, это невозможно. Откуда у папы 10 тысяч возьмутся, мне, мама, очень жаль, я всю жизнь мечтал об этом». И я до боли верю, что он был бы прекрасным доктором.

И как-то Вика заявила:

— Ты знаешь, мама, я верю, что Вова был бы замечательный доктор, и я, может быть, обязана пожертвовать своей будущей карьерой и помочь ему стать доктором.

До слез трогательно.

Во вторник Кирилл пошел на судебное заседание. Дико, не укладывается в мозгах нормального мышления эта страшная авантюра тех, кто ее инициирует, и тех, кто ее поддерживает. И ничего не сделаешь, приходится ходить и вести идиотские разговоры.

Однажды, когда я адвокату заявила, что это ведь идиотизм, собираются 6–7 взрослых, с виду солидных людей и толкутся над этим чудовищно дурацким вопросом, который даже ребенок может легко и просто разрешить.

На это он мне ответил: «Ничего не поделаешь, это демократия». Нечего сказать, хороша демократия, если жулики и гангстеры могут измываться, как им угодно и сколько им влезет над совершенно невиновным человеком и нигде никакой управы на них нет! Кому нужна такая демократия?

Наивные простаки пугают: «А знаете, ведь в Советском Союзе было бы хуже».

Что может быть хуже существования без цели, они даже не подозревают.

Большее наказание, чем эта жизнь, трудно себе представить.

Кирилла наконец, принял на работу Болсей. Фирма «Болсей» по изготовлению фотоаппаратов, жалованье 55 долларов в неделю. Через пару месяцев Кириллу прибавили к жалованью 5 долларов, и хозяин важно заявил: «Видите, вы к нам хорошо, и мы к вам тоже». Кирилл, ответил: «А знаете, я не думал, что я к вам так хорошо…» Сначала Болсей не понял смысла, насупился и, вдруг поняв, громко расхохотался.

Зная способности Кирилла, даже 500 долларов было бы

немного. Но надо мириться и терпеть, податься ведь некуда.

Лялечка отнесла картину на выставку.

Ее картина, которая мне очень, очень нравилась, получила золотой ключик. Вернулась больная. Через несколько дней, когда поправилась и пошла за картиной, ее не нашли: ее кто-то утащил, хотя она была довольно большая.

Друзья-приятели

Сережа Максимов

Знакомых у нас столько, что не успеваем двери закрывать, только что ушел Володя Петров, появились два друга: один хороший незаурядный писатель Сережа Максимов, просидевший у нас дома в тюрьме среди уголовников пять лет, и второй тоже писатель-журналист Слава Завалишин, оба горькие пропойцы, но, к нам когда заходят, оба клянутся, что ничего не пили — трезвые.

Сережка получил гонорар за книгу, принес и заставил меня принять на хранение, так как он боялся держать их у себя, чтобы не пропить все сразу. Дня два он выдержал данное мне обещание не пить, потом начал заходить и просить дать ему несколько долларов, постепенно его просьбы стали учащаться, пока я не выдержала и не сказала:

— Вот, Серега, конверт с твоим гонораром, и делай с ним что хочешь.

Кирилл вытаскивал его из пивнушек-баров, где он напивался до белой горячки. Мы вызывали скорую помощь и отправляли его в госпиталь на реабилитацию, посещали. После реабилитации отправили его в Калифорнию к брату. Перед отъездом он зашел к нам и заявил:

— Я даже без вина могу быть веселым!

Обещал нам, что теперь все будет хорошо, и он чувствует себя вполне здоровым. Но очень скоро Завалишин сказал, что Сережка вернулся и стесняется зайти к нам.

Зашел Туркубей — чеченец, три года просидел в концлагере на Соловках за растрату или за какие-то другие махинации, так как до этого был начальником какого-то продовольственного комбината. Но то, что рассказывал он нам, как они спекулировали и распродавали в лагере вместе с начальством вагоны продовольствия, предназначенного для заключенных, это уже другая история: «Денег, — сказал Туркубей, — припрятано у меня там столько, что здесь я мог бы замок себе купить. Но все это было там, когда я был „зеком“, — грустно закончил он. — Вы знаете, там легче можно было заработать миллионы — конечно, кто умел, чем здесь, ведь там, по существу, никакого контроля и в помине не было».

Он сообщил нам, что в дрезину пьяный Сергей Максимов ходит и клянчит у прохожих деньги: «Попросил у меня 5 долларов, потом 3 доллара, потом 1 доллар, я ничего ему не дал,

ведь все равно все пропьет».

До чего же горько и больно смотреть на него: молодой талантливый писатель, уже пять лет успел посидеть на Колыме, и так губит себя.

Наша последняя встреча с ним была очень печальная. Часов в 10 вечера мы подошли к магазину на углу 110-й улицы и Бродвея, хозяин вытолкнул из магазина на улицу какого-то бродягу, в нем с трудом можно было узнать Сережку. До сих пор помню его остекленевший взгляд, и вдруг он бросился бежать через улицу, видно, узнал нас. Кирилл пытался перехватить его, но он ускользнул.

Это было не вино, а уже наркотики.

Давид Давидович Бурдюк

С художником, поэтом, писателем, художественным критиком Давидом Бурлюком нас познакомили дочь Виктора Чернова, министра сельского хозяйства при Временном правительстве, Ариадна и ее муж Владимир Сосинский. Мы поехали к ним на Лонг-Айленд в пригород Хэмптона, где жил Давид Бурлюк с женой Марией Никифоровной.

— Зовите меня просто Марусей, — попросила она. — Я ведь только тень Бурлюка.

Встречались мы редко, но наши встречи всегда были очень веселые и радостные. Мне казалось, что я всегда черпала силы в его оптимизме, а его рассказы о годах его молодости и, особенно, о его отношениях с моим любимым поэтом Владимиром Маяковским я могла слушать до бесконечности.

— Пришел ко мне высокий неуклюжий верзила и, спотыкаясь и захлебываясь от смущения, начал мне стихи читать, я прямо обалдел, схватил его за руку и прямо потащил в издательство, говорю им: «Я вам гения привел». А он схватил меня за пиджак и тащит, я обернулся к нему и говорю: «Я уже сказал, а вот ты сейчас попробуй не докажи». Я стал запирать его в комнате, давать ему полтинник на пропитание и заставлял: «Пиши!»

Вот поэтому, наверное, считали, что Давид Бурлюк открыл Маяковского, и когда в Москве был открыт памятник Маяковскому, его с супругой Марусей пригласили в качестве почетных гостей. Об этой поездке он тоже много рассказывал.

Однажды позвонил мне знакомый с Кубы:

— Ты знаешь, я только что видел твой замечательный портрет в комиссионном магазине, написанный Давидом Бурлюком, хотел купить, но продавец сказал, что не знает цену и только завтра хозяин может сказать, я завтра утром зайду и

заберу его, сколько бы он ни стоил.

На следующий день он снова позвонил и сказал:

— Когда я пришел, он уже был продан. Хозяин сказал, что кто-то был уже в аэропорту, и мы ему прямо туда отправили картину, он заплатил и улетел.

У меня имеется только рисунок, который он набросал, разговаривая со мной, и пара маленьких, очень характерных его картин.

На втором этаже его особнячка у него были дивные картины его раннего периода, и я как-то во время нашей прогулки спросила:

— Как вы, Давид, дошли до жизни такой, после таких великолепных картин, до тех, что висят у вас в галерее? Галерея была у него во дворе.

— На такой искренний вопрос я дам вам такой же искренний ответ. Когда я писал вот эти картины, у меня не было пяти копеек поехать на свою собственную выставку в Манхэттен. А вот с этими, что у меня в галерее, я со своей Марусенькой весь мир объехал.

Балетмейстер Джордж Баланчин

Нас на ужин пригласил Джордж Баланчин, он жил тогда на 56-й улице прямо напротив Карнеги-холла, с нами был Лева Волков, наш бывший советский летчик. По дороге к Баланчину Лева рассказывал нам свои впечатления о встрече в домашних условиях с меньшевиками:

— Зашел я к Юлию Давидовичу Денике, встретил он меня в оборванном халате, в истоптанных башмаках. Тоже мне, всю жизнь жили, всю жизнь мотались по заграницам и в такой рвани ходят, они так и остались верны своим пролетарским замашкам. Поэтому у них до сих пор такое мнение, что советские люди, тем более члены партии, должны ходить в косоворотках поверх брюк, подвязанных шнурком, не умея завязать галстук. А тут вдруг из сермяжной Руси появляются такие франты.

У Баланчина было всегда очень приятно. Ужин готовил он сам, какие-то особенные, приготовленные по его собственному рецепту котлеты и очень вкусные грибные супы, и каждый раз мы слушали, как тяжело ему работать и с каким трудом приходится решать финансовые проблемы. Он был в то время руководителем американской балетной школы и в процессе организации балетной группы, которая превратилась в театральную труппу «Нью-Йорк балет» при Линкольн-центре, которого тогда еще не было и в помине. Честно сказать, я во всех этих американских

организационных и благотворительных делах ничего не смыслила и вежливо сидела и слушала, почти ничего не понимая. А когда он нас пригласил на первое представление балета «Щелкунчик», Кирилл по дороге домой грустно сказал: «Разве это балет, это святотатство», до того это было примитивное представление. Но он старался, он всегда просил посмотреть и, не стесняясь, дать объективную оценку: «То, что хорошо, я сам знаю, — говорил он. — Я хочу знать, что кажется со стороны не так».

И как только после смерти Сталина приоткрылся, как тогда говорили здесь, «железный занавес» и известный импресарио Сол Юрок сообщил, что первый визит в Нью-Йорк будет визит знаменитого советского скрипача Эмиля Гилельса, очередь за билетами на его первый концерт в Карнеги-холл была невиданная, вокруг всего блока. Я тоже стояла в этой очереди, как вдруг ко мне подошел Баланчин: «Пойдемте, выпьем по чашке кофе, а билеты достанем потом». И вручая мне билеты, произнес: «Когда-нибудь и на наши представления будет такая же очередь».

Кстати, это также был первый вечер открытия Карнеги-холла после проведенного с пожарной скоростью капитального ремонта. В это время уже многие туристы и корреспонденты успели побывать в Советском Союзе и, вернувшись оттуда, захлебываясь от восторга, писали, какие в СССР даже после такой страшной войны замечательные театры, а наши театры находятся в таком плачевном состоянии. И Карнеги-холл, в котором должен был выступать советский скрипач Гилельс, первым решили привести в порядок, чтобы не стыдно было встречать гостей из Советского Союза. Так началась холодная война на культурном поприще, что в дальнейшем привело и к строительству Линкольн-центра, и к безжалостному разгрому и варварскому уничтожению старого оперного театра, который даже мне со стороны было жалко, когда вспоминали о тех крупных знаменитостях со всего мира, которые выступали в этом театре.

Мы были на последнем представлении этого замечательного старого оперного театра в Нью-Йорке. В этом последнем представлении принимали участие наши советские артисты и выступала Майя Плисецкая, после чего его разрушили, и мне было жалко его до слез. Ведь над ним могли построить какой угодно небоскреб, а этот театр сохранить, как драгоценный камень в короне, как память о тех знаменитых артистах, что выступали на этой сцене. Лучшего памятника никто, нигде и никогда не сможет им поставить.

Мира Гинзбург

Зашла Мира с мамой. Она тоже перебивается с хлеба на квас, хотя все ее считают самой лучшей переводчицей в Америке. Переводит Замятина, Булгакова и массу других замысловатых книг, некоторые переведенные ею пьесы даже идут на Бродвее. Ее имя внесено в книгу «Who is who». А сейчас ходит в какую-то школу, где учат, как нанизывать бусы и делать пуговицы, чтобы заработать что-нибудь на карманные расходы.

Из моего знакомства со всей приехавшей сюда русско-французской старой аристократической эмиграцией я поняла, что все они там, то есть во Франции, занимались именно этим ремеслом — красили шарфики, галстуки, чтобы заработать себе на жизнь. Например, сын Леонида Андреева, Вадим, развозил по утрам молоко. Жизнь у них была тяжелая, и только когда появилась Организация Объединенных Наций, некоторые из них сумели в школы ООН по изучению иностранных языков устроиться.

Я посоветовала Мире:

— Да что ты ломаешь голову над такими тяжелыми вещами, которые приносят тебе такой мизерный доход? Возьмись за детскую литературу, за сказки, у тебя будет больше читателей, — посоветовала я.

И она быстро схватилась за эту идею, начала искать и переводить детские сказки разных народностей, населяющих Советский Союз, что в советское время было вовсе не так трудно найти, и это оказалось самой выгодной доходной статей ее деятельности. Никто ее не беспокоил. Никто не предъявлял никаких авторских прав. После выпуска ее первых книжек сказок она позвонила, поблагодарила меня за идею, и с этого момента она не только не нуждалась, но чувствовала себя вполне состоятельным человеком. Купила кооперативную квартиру на Манхэттене в субсидируемом государством доме на 96-й улице вест-сайд.

Перевела она также с идиша несколько рассказов Айзека Башевиса Зингера, написанных в старомодной манере. Переводить все его произведения она категорически отказалась, переводила только то, что ей нравилось. Мы часто встречали его у Миры. Здесь он сидел всегда тихо и долго и только иногда старался мрачно шутить: «Когда я был молод и пересказывал бабушкины сказки, меня все называли „брехуном“, то есть вруном, теперь все называют меня писателем», — повторял он часто.

Рано утром позвонила мне Мира и с возмущением сообщила:

— После вашего ухода — ты представляешь? — он мне предложил выйти за него замуж!

Развелся он в то время с женой или собирался развестись, мы понятия не имели. Но Мира приняла его предложение о замужестве как оскорбление.

— Не нужны мне его нобелевские премии, да и его я с трудом переношу.

Как только появился Солженицын, он сразу же пришел к ней, поговорили, договорились, вроде все было в порядке, но когда он спросил, сколько будет стоить ее работа и она назвала сумму, он вдруг вскрикнул: «Ну вы и кулак!»

— Да я ему за такую реплику ни за какие деньги не взялась бы переводить, — с возмущением рассказывала она.

Когда в Нью-Йорке объявился Иосиф Бродский, мы пошли послушать его произведения. Он выступал в центре города в каком-то клубе.

— Ну как, — спросила я Миру, когда мы вышли, — понравился?

— Неинтересно, тяжело понимаемо, набор слов, трудно доходит смысл. Да если бы он не был выслан из Советского Союза, никто бы его ни при какой погоде не слушал, здесь таких стихоплетов пруд пруди, весь Гринвич-Виллидж полон, никто на них не обращает никакого внимания. Не понимаю, за что его посадили в Советском Союзе, — видно, за то, что, не умея писать, претендовал, что он поэт.

Такой жестокий приговор вынесла Мира Бродскому. А самое смешное было, когда какая-то ее соседка подарила ей книгу Иосифа Бродского, и возмущенная Мира вместо благодарности вернула ей книгу, упрекнув в отсутствии всякого вкуса.

Странный посетитель

Мы вернулись из музея, пообедали и решили отдохнуть. Кто-то позвонил. Володя открыл дверь:

— Папа, здесь какой-то незнакомый мужчина.

Подошел Кирилл:

— Вы говорите по-русски?

— Да. Вы извините, но я к вам с просьбой. Можно войти?

Кирилл вошел ко мне в спальню:

— Знаешь, зашел какой-то странный тип, просит денег доехать домой, не то пропился, не то обокрали — не пойму. Просит 1 доллар.

— Надо дать. А кто он?

— Понятия не имею, — ответил Кирилл.

Навстречу мне поднялся среднего роста плотный (упитанный) блондин. Круглое недурное лицо, только

неприятные глаза, водянистые, маленькие, воспаленные, как у настоящих пьяниц. Протянул мне руку поздороваться и старался согнуться как можно ниже для поцелуя.

«С чего начать?» — промелькнуло у меня в голове.

— Вы давно в Америке?

— Один год и два месяца.

— Вы из Германии, Ди-Пи?

Он прищурился, устремив на меня свои маленькие бесцветные глазки, характерные для горьких пьяниц.

— Вы что на меня так смотрите? — не выдержала я.

Он еще несколько секунд смотрел на меня, как будто стараясь прочесть мои мысли, стоит ли отвечать на мой вопрос.

— Да знаете, мне еще трудно отвечать на этот вопрос, и пока я еще воздерживаюсь.

— На то ваша добрая воля. Только странно, уже год живете в Америке, и почему вам так страшно сказать, откуда вы.

— Видите ли, когда за вашей головой охотятся, так найдутся такие, кто и продать может.

— Ну тогда молчите. Чудак вы, во-первых, никто мне ничего за вашу голову не предлагал. Во-вторых, насколько мне известно, вы сами зашли к нам, никто вас не приглашал и никто не собирается охотиться за вами.

— Ведь вы не знаете, что там, в Германии, делалось, как за нами гонялись.

— Знаю, слышали. У нас много знакомых, и все рассказывают, а вы молчите и можете не говорить.

— Вы знаете, как нас выдавали советским?

— Кто?

— Конечно, американцы и англичане. Когда наш лагерь в Лиенце окружили, я бежал. Целый день провалялся в канаве под хворостом. Потом нашел меня английский солдат и сказал: беги, а то скоро сюда с облавой подойдут. А как я спасся? Чудом. Проезжали английские танки, раздавили у крестьянки 6-летнего мальчика. Так вот, собрали мы все его останки, свалили прямо на телегу и повезли на кладбище. Так я в качестве родственника пошел за подводой, нас так и пропустили через оградительную цепь.

— Вы что же, были в армии и как военнопленный или вас просто вывезли немцы?

Опять этот жуткий, противный взгляд. И мне как будто хотелось отряхнуть руку от какой-то нечисти. Теперь мне стало ясно, что ни в какой армии он и близко не был. Я подумала: человек он темный.

И вдруг:

— Я сын генерала!

— Где же ваш отец?!

— В Валли-Коттедж.

— На толстовской ферме, значит, в доме для престарелых?

— Да, на толстовской ферме, я немного плачу за него. А раньше жил в Советском Союзе, вернее в тюрьме в Советском Союзе.

Как они встретились, он промолчал. И снова впился в меня взглядом, от которого становилось не по себе.

— Простите, вы не еврейка?

— А что, это имеет какое-либо отношение к вашему рассказу?

— Они меня не любят, они меня преследуют.

— Это вам так кажется. Вы что, тоже сидели в тюрьме в Советском Союзе?

— Нет, я только был приговорен по 58-й статье.

— Ну и что же, как вам удалось избежать тюрьмы?

— Видите ли, я в Советском Союзе был крупным человеком, я занимал большой пост, получал большое жалованье, кроме жалованья я имел другие работы, я преподавал в институте, и мне платили за все это отдельно. У меня была машина и шофер Мишка. Я был главный инженер гидромелиоративного проекта. Когда мы кончили и сдали проект, секретарь обкома сказал: «Ну, крутите дырочку в пиджаке», а через несколько дней всех работников, и секретаря обкома в том числе, арестовали, а меня и еще несколько человек держали под следствием.

— Откуда вы знаете, по какой статье вас привлекли к ответственности? — поинтересовался Кирилл.

— Да я видел на папке у следователя.

— И как же вы спаслись? — спросила я.

— Однажды мой помощник позвал меня к себе распить бутылочку хорошего вина. Вино действительно было хорошее, но вдруг мы услышали, как в другой комнате бабы заголосили. Мы туда, но они нас не пустили.

А на другой день ко мне на работу прибежала жена. Я в Союзе был женат, не венчались, конечно, а так, где-то расписались. И пристала: «Пойдем, Гриша, домой». Оказывается, у жены моего помощника была приемная сестра (только, пожалуйста, не смейтесь, тогда расскажу). Вот эта сестра обладала даром ясновидения. Так она как увидела меня, заявила, что у меня печать смерти на лице. «Поедем к ней сейчас, и она тебе все сама расскажет», — умоляла жена. Приехали, она заявила: «Да, я вижу, вы должны немедленно уехать отсюда» (мы расхохотались). Вот видите, я тоже не поверил. Но она вдруг рассказала мне такую вещь, которую только я знал с детства.

Короче, я решил уехать. На мое место был прислан молодой комсомолец, ничего не знавший, но человек очень хороший, когда я заявил ему, что хочу уехать, и сегодня, так он даже задержал бухгалтера и выдал мне полный расчет, даже за отпуск выписал, получил я 4500 рублей и уехал в Москву.

Там он без прописки, без работы прошатался от одних знакомых к другим, пропил, прокутил деньги, пока не устроился на работу. Работа была неплохая, ездил в командировки между Москвой и Уралом.

— Вы знаете, на Урале есть такой город Уфа, туда многих в ежовские времена ссылали. Там я видел, как по колено в воде в котлованах заключенные работали. Как-то мой знакомый говорит: «Хочешь, я покажу тебе одну интересную картину?» Идем, зашли в какой-то дом, на стуле сидит и плачет ребенок, а жутко измученная женщина на коленях моет пол. «Это жена Тухачевского, — сказал мне товарищ, — а хочешь, я покажу тебе и других жен?» — «Нет, — сказал я, — хватит».

— А как вы здесь устроились? Где работаете, по специальности?

Специальностей у него оказалось много. Кроме гидромелиорации он, оказывается, певец — тенор и композитор. Окончил Московскую консерваторию, даже здесь две пластинки его продаются. И грибовод. Как он стал грибоводом, я прослушала, но он заявил, что, если бы был у него участок земли, он стал бы разводить лисички, подберезовики, маслята. Лисички жиды очень любят, и он бы разбогател на них.

Америка, Америка,
Чудная страна.
Если бы не «железный занавес»,
На кой черт нужна она,

— вдруг продекламировал он.

— Это что, тоже ваше, вы и поэт, оказывается, — расхохоталась я.

Смех его не обидел. Он продолжал свою повесть:

— Когда я приехал в Америку, то устроился садовником к какой-то очень богатой американке. Ходил, поливал, подрезал цветы. Но вот однажды пришла горничная и заявила: «Хозяйка спрашивает, почему вы такой грустный. Она просила передать, что она платит деньги людям и хочет видеть их счастливыми, веселыми, а вы очень мрачный». — «Передай своей хозяйке, что я продаю ей не свою душу и улыбки, а свою мускульную силу». Через несколько дней я получил расчет.

Пошел в «ейдженси», там требовался «хенди мен», но с женой. Я и ушел. По дороге меня догнала интересная, лет 35–40 женщина, из Белграда, и говорит на чистом русском языке: «Послушайте, скажите, что я ваша жена, вместе и устроимся». Устроились. Поехали в Лейквуд. Она горничная, а я унитазы мою, мусор убираю. Шесть месяцев там прожил. Деньги она в банк клала, мне только 25 долларов в месяц на карманные расходы давала.

Приехал я на уикенд в Нью-Йорк, встретил знакомого. «Хочешь, — говорит, — переезжай сюда, будешь здесь работать». Заполнил анкету в Кембриджский институт по изучению Советского Союза. Там нужны люди, но их нужно найти: колхозников, рабочих, тех, кто хотел бы дать показания. Я согласился.

Снял комнату за 55 долларов, надел белую рубашку, галстук и пошел работать зазывалой. Нашел им колхозников, рабочих и всех, кого они просили. В это время приехала моя жена из Германии. Прихожу я к ней и говорю: «Поедем, Женя, со мной». — «Хорошо, — говорит, — пойду босса спрошу». Вернулась и говорит: «Недели через две, когда зав. найдет мне замену». Приезжаю я через две недели. — «Где жена?» — спрашиваю у босса. — «Как где? Она давно уже уехала». — «Куда?» — «Не знаю, и вещи взяла с собой». Я и ушел. Но решил проверить, через месяц приезжаю снова, перелез через забор, смотрю в окно, она подкрашивает губы, брови, в комнате с ней еще кто-то. Я стучал, мне не открыли. Потом ушли куда-то. Я пошел в бар, выпил и вернулся. Выбил окно, вошел — пусто, сел и жду. Заснул. Кто-то толкает за плечо, открыл глаза — полицейский. — «Пойдемте со мной». — «Куда? Я к жене пришел». — «Вы окно разбили». А босс выглядывает из-за его спины. Уволокли в тюрьму. Суд у них по пятницам, а это в субботу случилось, я и сидел там до пятницы. Жена так и не пришла. В пятницу суд оштрафовал на 10 долларов и 10 дней отсидеть. Я уже отсидел неделю, надо было досидеть еще четыре дня, и все, но я не смог объясниться и просидел честно еще все 10 дней, вместе с рэкетирами и убийцами.

Демократическая Америка — она, может быть, и свободная страна, а в тюрьму лучше не попадать здесь.

— Бьют? — спрашиваю.

— Всяко бывает. Убийцы, которые сидели со мной, платили по 100 долларов за наркотики и еще за что-то. Денег у меня не было, так я ночью в унитазе им белье стирал, за это они мне папиросы давали, днем работал на кухне.

— Что ты его держишь, дай ему деньги, и пусть уходит, — предложил Кирилл.

Но я предложила ему поужинать с нами, и он охотно согласился, по-видимому, не очень торопился уйти.

— После этого я здесь жениться тоже пытался. Ходил по объявлению «Нового русского слова»: «Дама средних лет ищет знакомства с целью брака». Вхожу — старуха, посадила меня и ушла — жду невесту. Входит она снова и спрашивает: «Сколько вам лет?» — «Сорок один», — отвечаю. Она давай хохотать: «Вы знаете, что это я давала объявление? Вы должны знать, что дама средних лет в Америке — это 55 и выше». А ей, оказывается, уже 70, и с хвостиком.

Пошел я в агентство тоже по объявлению «Нового русского слова». Сидит девушка, говорящая по-русски, начала заполнять анкету. «Вам какую? Молодую, пожилую, блондинку, брюнетку, с деньгами? И если найду вам по вкусу — за услуги 100 долларов надо заплатить». Послали к еврейке, аптекарше. Толстая в два обхвата, а я не люблю толстых.

Потом попал к агенту-немцу, он дал мне два письма перевести (я ведь говорю на пяти языках). Одно из них от светлейшего князя (фамилию не буду называть, вы, наверное, его знаете). Он пишет, что его род идет еще от Рюриковичей и что ему нужно 150 тысяч, за которые он хочет продать свой титул. Он может не видеть невесту или развестись с ней на другой же день.

После Рюриковичей меня уже другое его письмо не интересовало, и я отвлекла его внимание: что же он собирается делать дальше?

— Вы знаете, ведь я был миллионером, — вдруг заявил он.

Я удивленно взглянула на него. Нет, все-таки он ненормальный. Без копейки денег ходить попрошайничать — и был миллионером.

Но он продолжал:

— А было это при немцах в Новочеркасске. Я руководил там джазом. Вскоре после прихода немцев я приобрел у них дворец, большой ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ — роскошное здание.

Вначале не было ни копейки. Но в пионерском дворце были большие мастерские с великолепным оборудованием, с хорошими станками, так я их продал и купил столы, стулья, кровати и кое-как вначале изворачивался.

Внизу устроил ресторан. Набрал красивых молоденьких девушек, каждая имела свой стол, убирала и обслуживала. Знаете, ведь я их от немцев спас, они все равно вывезли бы их в Германию.

На втором этаже варьете с джазом и артистической программой, а на третьем — номера гостиниц. Через два месяца я стал самым богатым человеком в Новочеркасске. Денег было

столько, я не знал, куда их девать и что делать с ними.

Этот рассказ показался мне самим жутким из всех.

— А немцы, видно, учуяли, что мое предприятие выгодное, однажды пришел комендант, осмотрел все и заявил: «Мы забираем это помещение у вас. Внизу будет дойче-ресторан для немецких офицеров. Второй этаж — кафешантан и игорный клуб для немецких военнослужащих, а на третьем этаже — ну вы сами понимаете».

Мне назначили жалованье. Навезли из каких-то немецких притонов «сестер» смотреть за порядком. Наши девушки потихоньку разбежались. И пошли немцы хозяйничать по-своему. Превратили пионерский дворец в немецкий вертеп. Я покрыл все стулья лаком, так они заставили вымыть их горячей водой, ну они и облезли все, — вздохнул он грустно, — да и много еще такого.

Все это было сказано спокойно, а меня охватил ужас. Он даже спел какой-то советский романс:

— Это из города Ростова-на-Дону. Вы там были когда-нибудь?

— Нет, — ответила я.

Мне даже жутко было подумать, что можно было быть в том же самом месте, где обитало вот такое чудовище. Нет, в таком Ростове я, к счастью, не была и таких людей, кажется, тоже не встречала.

Мы кончили ужин, я дала ему деньги:

— Вы знаете, я сегодня чуть не бросился с моста в Гудзон, так тяжело было. Верите ли, я видел смерть в глаза, но сегодня я впервые плакал, как ребенок, — он даже прослезился, потом запел: «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу. Сегодня ты, а завтра я…»

В лагере он, правда, занимался безобидным делом — продавал землянику.

— Вы знаете, что такое земляника? — спросил он у меня.

Я слушала его и все время думала: «Вот вам еще один „Бег“ Булгакова и даже, пожалуй, похлеще тараканьих бегов в Константинополе».

С его женой Женей, о которой он вспоминал и 10 дней сидел в тюрьме за дебош, кстати, очень неприятной особой, все на нее жаловались за грубость, мы встретились на пятой авеню в Нью-Йорке в книжном магазине «Фор-континент», где она работала.

Опять двадцать пять

Кирилл сообщил:

— Я зашел к доктору, он был очень внимателен и долго со мной говорил. Он сказал мне: «Мы никого не можем заставить»,

но считает, что ты немедленно должна лечь в госпиталь, что там есть свободное место, что это хороший частный госпиталь. Там есть комната на троих, это лучшая комната. Он сказал: «Я буду лично наблюдать за ней и надеюсь, ей будет там неплохо. Около года — и она будет здорова» — так сказал мне доктор.

Легко сказать, около года… Год тому назад мне тоже сказали, что через год, а сколько я мучилась, терпела, и снова — через год. Уйти из дому, оставить опять одних детей в этом положении. Хочется не только кричать, а хочется уснуть и никогда больше не проснуться.

Несмотря на то что я не хотела даже думать о понедельнике, я все-таки решила все перебрать и приготовиться, привести в порядок весь пустой ребячий гардероб. Мои милые, хорошие, как же они будут одни без меня? Мне даже трудно объяснить, как тяжело и больно мне было оставить детей.

Наутро я заявила:

— Знаешь, Кира, не лежит у меня душа снова идти в госпиталь. И честно сказать, я даже смысла не вижу опять мотаться по госпиталям. И для меня и для врачей ясно, что нужно для меня и что мы не можем себе позволить.

— Нинок, но доктор сказал, что у них есть возможность поместить тебя в хороший санаторий, надо пойти, надо же лечиться. Нам хочется, чтобы ты скорее поправилась.

В час дня мы очутились у огромного серого здания, занимавшего почти два квартала. У входов полицейские, идем по длинному как подвал коридору, поднимаемся на второй этаж. За столом регистрации девушка дает нам заполнить анкету. Несмотря на уже приобретенный большой опыт, меня не перестает удивлять куча вопросов, с моей точки зрения никому не нужных: «Ваша религия? Имя и фамилия ваших родных? Чем они занимаются? Где вы родились? На какие средства живете? Есть ли у вас сбережения»? И сотня других подобных.

Католическая больница «Сен-Жозеф» в Бронксе

И так я попала, как говорят, из огня да в полымя.

Всю ночь бушевала буря. В плохо закрепленные рамы со свистом проникал в палату ветер, всю ночь — гу-гу-гу, фю-фю-фю-фю, соседка всю ночь, бедная, кашляла так, что уснуть было невозможно. Третья соседка Стела, рыжая, с зелеными глазами, храпела вовсю. Я всю ночь промучилась, не могла уснуть. Это была «лучшая» угловая комната на троих. Когда вторая соседка пошла в туалет, кашель прекратился, я старалась уснуть, но в это время раздался колокольчик, и все, кто мог, выходили в коридор на утреннюю молитву, а тех, кто не мог ходить, выносили на носилках. Так продолжалось каждое утро. Я через открытую дверь старалась понять, о чем исповедуются или молятся все.

Сестра читала молитвы быстро, задыхаясь, без передышки, почти злым голосом.

Я решила спросить соседку:

— Скажите, Стела, о чем она молится каждый день?

— Она молится обо всем и обо всех, — ответила она.

— Я стараюсь разобрать и понять…

— И не старайтесь, я уже год здесь и с трудом это делаю. Там все: и бейсболисты, и боксеры, и карточные игроки, и наркоманы, и о тех, кто пьет, обо всех у нее молитва одна и та же. Вы католичка? — спрашивает она у меня.

— Нет, — отвечаю.

— Я тоже нет, я принадлежу к методистской церкви. Но сестра моей матери переменила религию на католическую и, поверьте мне, ходила исповедоваться почти каждый день, а домой возвращалась — и ей ничего не стоило голову человеку снять. «Для чего ты переменила религию?» — спрашивает ее моя мать. Разве не все равно, где молиться? Бог ведь один — небо одно.

Зашла сестра, принесла лекарства и заявила про новенькую:

— Она хорошая женщина, но она не католичка.

Удивительно, чтобы не католик и вдруг оказался хорошим человеком.

Счастье Стелы

Вечером зашла женщина, черная как смола, широкое скуластое лицо, приплюснутый нос, на жесткие курчавые волосы низко, почти на глаза, надвинут берет.

Она принесла дочери орешки, яблоки, вареную кукурузу.

Вот так метаморфоза, трудно поверить. Не только трудно поверить, но даже представить что-либо подобное. Стела, рыжая, веснушчатая, молочно-белое тело, не могу себе представить Стелу среди всей этой черноты.

Соседка говорит:

— Это ее мать, а вот ее дядя или еще какие-то там родственники — так те прямо как черти.

Теперь я понимаю, почему в нашу комнату часто заходят негры: она покупает у них лотерейные билеты, просит меня подсказать номер, у нее за год, видно, иссякли все комбинации.

Вечером играет с монашками и монахами в бинго, выигрыш от которого идет в пользу церкви, находящейся в этом же здании внизу. Туда больные, которым разрешалось ходить, по три раза в день бегали Богу молиться, а вечером играли там в бинго.

Наверху, где я лежу, это какой-то частный католический или полукатолический госпиталь, в котором кроме докторов всем заправляют монашки.

Стараюсь быть проще, говорить с ними о тех вещах, которые их волнуют. Однажды я спросила у Стелы после ее рассказа какие чудные арбузы на юге:

— А ты хотела бы поехать туда?

— Ни за что, там негров смертельно ненавидят, хотя что бы они делали, если бы не было негров, которые их обслуживают и делают всю грязную работу за них?

Утром передавали по радио негритянскую музыку. Стела слушала и тихонько плакала. Господи, подумала я, если бы вдруг я услышала вот здесь русские мелодии, я бы тоже разревелась.

Стеле предстояла операция, так как ее болезнь лечению не поддавалась. Ей дали «отпуск» на 10 часов попрощаться или вообще отвлечься.

— Знаете, я домой не пойду, — заявила Стела, — а то когда через несколько часов надо возвращаться, все ревут, как на похоронах. А так пойду, похожу по улицам, по городу, поглазею на витрины, потом пойду в кино, в ресторан, съем «френч фрайтс» — жареную картошку и вернусь к восьми часам обратно.

Прямо как в тюрьме.

Когда она вечером, еле держась на ногах от усталости, вернулась, она, захлебываясь от восторга, твердила:

— О, я была такая счастливая, такая счастливая! Я замечательно провела время. Я была в кино, потом в баре, встретила кузена бывшего мужа и его друга, у меня не было времени даже покушать, — говорила она, уплетая с жадностью сэндвич с сыром. Друг ее кузена занимается чем-то, но это

«тайна». Позже она рассказала мне про свою жизнь, про наркотики, но это уже другая история, сама по себе целый роман.

Зашел доктор:

— Я знаю, вам здесь многое не нравится, но надо потерпеть.

— Я и стараюсь, доктор, изо всех сил.

— О, я знаю, — пожал мне руку и ушел.

Былое и думы

Позвонил Александр Федорович Керенский:

— Ниночка Ивановна, можно вас навестить?

— Очень рада буду. Но учтите, место отвратительное и настроение такое же.

— Что вам привезти, чтобы вас порадовать?

— «Былое и думы», — вырвалось как-то у меня.

— Герцена? — спросил он.

— Былое можно Герцена, а думы ваши, — он рассмеялся. И действительно принес мне «Былое и думы» Герцена.

Через пару дней зашел навестить меня князь Урусов. Высокий, статный, мне он очень понравился, сидел он у меня долго.

Про него мне сообщили, что он из православия перешел в католичество, и не так просто, как рядовой католик, а имеет какой-то католический сан. И я, атеист и безбожник, все время лежала и думала, почему он, один из (кажется, 16-ти) самых знатных, древнейших потомков княжеского рода из православия перешел в католичество. Чтобы сменить одну веру на другую, надо быть очень глубоко верующим. Была ли это в какой-то степени, чуть-чуть, может быть, подсознательная месть за страшную судьбу фанатичных старообрядок боярыни Морозовой и княгини Урусовой, которых, боясь придать более жестокой казни из-за их знатности, уморили прямо в земляной яме голодом? Княгиня Урусова умерла 11 сентября 1675 года, в тот же день, когда погиб мой брат, стараясь прорвать фашистскую блокаду, чтобы спасти население Ленинграда от голодной смерти.

Он принес мне какую-то душеспасительную литературу. По-видимому, ему кто-то сказал, в каком душевном состоянии я нахожусь, и так же как отец Даффи, сообщил мне, что Бог за меня молится и что он тоже будет молиться.

Увидев у меня на столе «Былое и думы» Герцена, произнес:

— Ах вот какая философия вас интересует.

— Вы знаете, читаю ее с огромным удовольствием.

Хотела сказать, что принес мне ее Александр Федорович

Керенский, и спохватилась, так как понятия не имела, как может князь Урусов относиться к Керенскому. Я только знала, что бывшее высшее сословие терпеть не может не только его, но, почти все бывшее Временное правительство, поэтому никогда не видела их вместе, водораздел между ними был огромный.

Политические беседы с А. Ф. Керенским

Член комиссии по кровавым делам

Мы познакомились с Фирой Ильинской, дочерью одного из бывших владельцев золотодобывающих приисков на реке Лене. Она пригласила нас на обед. У нее мы познакомились с князем Оболенским и князем Белосельским-Белозерским, который пригласил нас к себе на дачу, где у него было что-то вроде однодневного дома отдыха, куда по выходным любила собираться и проводить время среди великосветских «знаменитостей» состоятельная еврейская элита. Там они наслаждались русской кухней, гуляли в парке, дышали свежим воздухом, за хорошую, конечно, плату, и очень довольные, что пообщались со знаменитостями (хотя атмосфера там была для них ой-ой-ой какая черносотенная, как я потом узнала), возвращались в город.

После встречи с этой дамой Кирилл во время одного из наших чаепитий на 57-й улице стал рассказывать Александру Федоровичу Керенскому что-то о своей студенческой практике на золотых приисках в этом районе.

— А вы знаете, мне пришлось познакомиться с золотыми приисками на реке Лене в 1912 году, — сказал Александр Федорович. — И вам, специалистам в этой области, я думаю, будет интересно услышать, что произошло там в то время, из первых рук.

4 апреля 1912 года горнорабочие Ленских золотых приисков вместе с семьями направились к административному корпусу могучей англо-русской золотопромышленной компании Лены Голдфильдс, эксплуатировавшей Ленские золотые прииски в районе реки Бодайбо Иркутской области, с требованием улучшить бесчеловечные условия жизни и освободить от ареста членов стачечного комитета. В ответ на протест эту мирную демонстрацию встретили оружейными залпами. Было убито больше 250 человек и гораздо больше ранено. Священник, прибывший к умирающим жертвам, оставил такие записи: «Картина была страшная, раненые валялись на полу, и чтобы совершить последний предсмертный обряд — отпущение грехов, надо было опускаться перед умирающими на колени в лужи крови».

В Думе по расследованию обстоятельств этого жуткого, бесчеловечного расстрела рабочих на золотых приисках были созданы две комиссии — первую комиссию организовал и

отправил глава кабинета Витте, а во вторую комиссию от либеральной оппозиции в Думе вошел и я.

Главой этих думских комиссий был назначен тоже А. Ф. Керенский.

— Это было что-то такое, что напомнило мне события 9 января 1905 года, — сказал Александр Федорович, — очевидцем которых я тогда оказался.

— Ту страшную картину, которую увидели члены комиссии при расследовании условий жизни горнорабочих золотодобывающей промышленности, трудно передать, и никто из членов этих комиссий не мог представить и понять, как в тех суровых, жутких условиях могли жить, работать и даже просто существовать люди, — сказал Александр Федорович. — И так же как после расстрела демонстрации 9 января, никто из пострадавших тоже не мог понять, что же с ними произошло.

— Ну и чем же кончились расследования ваших комиссий страшного преступления расстрела рабочих на реке Лена? — спросила я.

— Вместо трущоб, в которых жили рабочие, начали строить дома, и была повышена зарплата. Мы испытывали удовлетворение от проделанной нами работы, — сказал Александр Федорович.

— Александр Федорович, так как вы уже упомянули, что были очевидцем расстрела демонстрации 9 января 1905 года в Петрограде, очень, очень прошу, расскажите, пожалуйста, как это все произошло.

— Это был тогда не Петроград, а Санкт-Петербург, — поправил он меня.

— Скажите, как вы пережили такое страшное, кровавое побоище в Санкт-Петербурге, происшедшее у вас на глазах? Ведь тогда было убито больше тысячи и ранено больше двух тысяч человек. Как могла русская армия так ожесточенно стрелять прямо в мирную толпу женщин и даже детей, идущую к царю-батюшке с царскими портретами, иконами и петицией?!!

События того Кровавого воскресенья, которых он оказался очевидцем, сказал А. Ф., произвели на него такое жуткое впечатление, что даже после прошедших с тех пор более полусотни лет он до сих пор не может забыть, как по Невскому проспекту спокойно шли, колонна за колонной, с торжественно-важными лицами, празднично одетые рабочие. Впереди шел Гапон, он нес крест, остальные несли портреты царя, хоругви, иконы. На улицах было полно людей просто любопытных, среди этой толпы любопытных был и он со своим товарищем.

— Мы были возле Александровского сада, — сказал

Александр Федорович, — когда услышали звук трубы и поняли, что это сигнал боевой готовности. В это время со стороны Генерального штаба вылетела кавалерия, раздались первые залпы, и в тот же момент открыл огонь воинский отряд, стоявший напротив Адмиралтейства. Люди в панике бросились бежать, и мы тоже в ужасе бежали вместе с толпой.

— Но это была не русская армия, — сказал Александр Федорович, — это были отборные части императорской гвардии, беспрекословно подчинявшиеся чудовищно-абсурдному приказу стрелять в рабочих. Это была непоправимая, чудовищная ошибка власти — стрелять в толпу.

— Александр Федорович! Почему? Ну почему вы вот тоже говорите «чудовищная ошибка» стрелять в толпу? Ведь это не ошибка, а преступление, ошибку можно исправить, но преступление — никогда. Сталин, говорят, тоже «ошибался», уничтожая миллионы людей…

Но когда Александр Федорович сказал, что он был настолько глубоко потрясен тем, что произошло у него на глазах, что не выдержал и написал гневное письмо гвардейским офицерам: как они могли расстрелом невинных рабочих нанести непоправимый вред престижу России за рубежом!

Мне стало и странно, и даже забавно — как русские люди не меняются. Неужели и тогда, в то время, главная забота была о том, что подумают о нас за границей? А я думала, что только при Советской власти мы все время думали и заботились о том, что подумают о нас за рубежом.

Александр Федорович также сказал, что после этих трагических событий он первый раз, будучи еще очень молодым и малоопытным юристом, попал в комиссию по ознакомлению с положением рабочих и оказанию помощи жертвам этой трагедии.

— И вот здесь, — сказал Александр Федорович, — я тоже в первый раз в жизни увидел, в каких жутких трущобах жили наши рабочие и их семьи. Бедные, несчастные, они тоже понять не могли, что же с ними произошло и как и почему это все случилось.

Что же чувствовал и что делал в это время 9 января 1905 года Николай Кровавый (так в это время все его называли)?

Вот как раз я только что прочитала дневник Николая II и усиленно искала в нем то место, где он описал события, происшедшие 9 января 1905 года.

Из дневника Николая II

«9-го января. Воскресенье. Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Мама осталась у нас на ночь.

10-го января. Понедельник. Сегодня особых происшествий в городе не было…»

Ну скажите на милость, как царь-батюшка, отец не только своей семьи, но и всей страны мог такое написать в своем дневнике? Ведь погибли и искалечены были тысячи людей, это же были отцы семейств, а он пишет — «войска должны были стрелять». Трудно поверить? Но ведь весь его дневник как две капли воды похож на эту запись.

— Вот такие преступления, как Кровавое воскресенье и тот же Ленский расстрел, когда людей даже за людей не считали и по ним можно было просто открыть оружейную или пулеметную стрельбу, как по стаду животных, и заставили народ взять оружие в свои руки и защищать себя во время Гражданской войны. И они защитили себя. Не знаю, вы, конечно, со мной не согласитесь, но это воистину было так. Это первое в мире народное государство, завоеванное народом для блага народа. Несчастье его в том, что оно попало в руки такого отвратительного, страшного узурпатора, как Сталин, — закончила я.

Почему Николай II был сослан в Тобольск?

— Александр Федорович, почему вы не отправили семью Николая II куда-либо за границу? Ведь вас обвиняют в их гибели не меньше, чем большевиков?

— Я встретился с бывшим императором Николаем II впервые уже после его отречения от престола. И попытки отправить Николая II с семьей в Англию, Финляндию или даже просто хотя бы куда-нибудь за границу оказались безуспешными. Все это происходило в самое горячее время, когда у всех членов Временного правительства было непреодолимо твердое желание, по примеру французской революции, заточить Николая II прямо в Петропавловскую крепость. Поэтому, — сказал А. Ф., — чтобы спасти Николая II от ареста, надо было найти ему с семьей более или менее безопасное убежище, единственным и самым безопасным показался Тобольск. Туда мы и старались обеспечить ему с семьей безопасный выезд, буквально с трудом вырвав

нашего бывшего царя и его семью из рук жаждавшей его ареста толпы, — закончил Александр Федорович.

Почему народ не пошел за вами?

— Почему вы, Александр Федорович, с вашими ораторскими способностями, не смогли зажечь народные массы, а все косноязычные ораторы смогли? Ведь в вашем распоряжении была миллионная армия в полной боевой готовности, были союзники, были средства, а солдаты разбегались. Вот скажите: почему?!

— Видите ли, в то время, по существу, было не двоевластие, как многие любили утверждать, а были две системы управления: Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов. И русская демократия как будто была расколота на два лагеря: «буржуазный» и «революционный». И примирить эти два лагеря не было никакой возможности. В тех условиях особенно невозможно было погасить ненависть к той власти, которая хотя бы отдаленно напоминала монархию.

— Но ведь это вы свергли всем ненавистную монархию, пересажали генералов, выпустили политических заключенных из царских тюрем и обещали народу столько свобод, от которых можно было задохнуться. За вами, казалось, весь народ мог бы и должен был бы пойти в огонь и в воду. Как же вы упустили такую возможность?

— Вот так как будто и казалось. Когда произошла Февральская революция, — сказал Александр Федорович, — даже все мои друзья думали: свершилось чудо, в которое трудно поверить. В первый Исполнительный комитет на основе кооптации вошли только социал-революционеры, меньшевики, трудовики. Большевики не только не принимали в этом никакого участия, а даже отнеслись к этому враждебно, хотя вскоре все-таки прислали нескольких своих делегатов.

— Александр Федорович, ведь большевиков в том смысле, в каком вы их понимали, тогда было кот наплакал. И кто в те годы вообще имел понятие, что такое и кто такие большевики? А кто такой Ленин, и вовсе знала, да и то, наверное, очень смутно, только самая, самая интеллигентная верхушка. Но вот они, эти самые большевики, даже лишенные красноречия и средств массовой пропаганды, сумели понять желания и чаяния народа. Сумели перехватить и распространить среди малограмотного и абсолютно неграмотного населения те идеи, за которые вместе с ними пошел весь народ. Значит, они умели слушать и говорить народу то, что он хотел услышать, и обещали ему то, за что он готов был бороться до последней капли крови. Так почему же вы

не могли это сделать, вас же в то время знали все, а большевиков — почти никто. Так зачем же и для чего надо было создавать тогда Добровольческую армию, призывать на помощь иностранцев, затевать кровавую Гражданскую войну, если даже сами принимавшие в ней участие не знали, не хотели или не могли никому толком объяснить, за что же они воюют.

Недавно я прочитала, как генерал Деникин формировал Добровольческую армию. Не в Петрограде, нет. А где? В Новочеркасске… И смех и грех, когда даже генерал Алексеев говорил: «Нам неоткуда было черпать свои силы, в то время как у большевиков был неисчерпаемый источник…» Почему? Да просто потому, что ни армия, ни простой народ не хотели воевать за то, за что собиралась воевать Добровольческая армия, которую возглавил сам генерал Алексеев.

Зачем же тогда при таких проигрышных обстоятельствах надо было прилагать такие гигантские усилия, проводить принудительную мобилизацию, загубить, беспощадно уничтожить столько прекрасных людей? Не проще ли было сложить все эти усилия: прислушаться к тому, что хотел народ, постараться найти общий язык для счастья и радости всей страны и сохранить жизнь миллионам? Ведь в то время, за годы Первой мировой войны, уже погибло больше 10 млн человек.

Не «большевикам» и не «красным», как вы их называли, а всей стране в то время позарез нужны были такие, как вы, грамотные люди, желавшие благополучия народу. А нашей огромной страной стали управлять люди, не умевшие иногда даже правильно расписаться. Основная вина за все это лежит на русской аристократии, на русской элите.

— Да, при других обстоятельствах все, может быть, и могло бы быть так, как вам сейчас кажется, и все, может быть, пошло бы по-другому. Но все в то время действовали и вели себя как одержимые, никто никого не хотел слушать. Большевики требовали раздать все народу, а белогвардейцы надеялись при помощи силы сохранить свои богатства и свои привилегии.

— Так, значит, Александр Федорович, под предлогом борьбы с большевизмом, о котором в то время никто еще толком ничего не знал и не понимал, во что это может вылиться, белая армия старалась мобилизовать весь мир для борьбы против своего народа. Так началась и шла четыре года жуткая братоубийственная Гражданская война. Зачем?!!

И не только во время Гражданской войны, но и после вы все отсюда прилагали огромные усилия и средства в борьбе не просто с коммунизмом, а с народной Советской властью, с советской системой, а по существу, с народом, живущим при этой

завоеванной им системе и власти. Вот тут-то и была ваша ошибка. И была она еще в том, что чем больше усилий вы прилагали, тем страшнее и хуже становилось не русскому народу, а советскому, так как я имею в виду все народы, населяющие СССР. Все, что вы делали здесь, давало Сталину право душить народ у себя, а вы по принципу «чем хуже, тем лучше» старались здесь вовсю.

Не успевал закончиться один процесс, как вы давали ему пищу для другого. Сколько отсюда было предпринято уловок и провокаций, благодаря которым он мог душить и держать народ в полном повиновении и страхе. Вы ведь здесь не дремали, все ваши силы уходили на то, какую бы еще пакость придумать и подсунуть ему, а он, в свою очередь, радостно перехватывал вашу инициативу и проводил ее в жизнь. А народ, даже ненавидя Сталина, не хотел и боялся потерять то, что он в таких тяжелых боях завоевал во время Гражданской войны. Поэтому и терпел.

Сталин, собственно, совершая свои преступления, крепко держал весь народ в кулаке как заложников, спекулируя и пугая его тем, что без него произойдет возврат к прежней системе, которая ввергнет его в прошлое рабство, и снова появятся «господа и кухаркины дети».

Я не знаю, как и смогу ли вообще объяснить вам чувство, которое было у людей, помимо страха и ужаса от сталинских злодеяний: было чувство, что это моя страна, одна шестая часть земного шара, каждый клочок этой земли принадлежит всем и мне, и никто не скажет мне «прочь отсюда, я хозяин, и это принадлежит только мне». Каждый надеялся и думал: я могу получить специальность, какую захочу и на какую буду сам способен, никогда не буду безработным, и никто не отнимет у меня надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня. А главное, все это будет зависеть от меня, моего собственного умения, а не от того, что захочет хозяин. И Сталин уверял всех, что он и только он является тем защитником, который, уничтожая «врагов народа», охраняет всю страну. Поэтому и кричали все: «Прочь изменников и предателей». И где же была ваша мировая общественность, и все вы в том числе, когда Сталин громил свой собственный народ?

При Ленине было бы лучше?

Наши разговоры не прекращались, они продолжались во время наших прогулок, во время отдыха.

Кирилл старался остановить меня. Изо всех сил старался прервать мое, как он сказал, «красноречие».

— Нет, нет, Ниночка Ивановна, пожалуйста, продолжайте,

продолжайте, — всегда просил Александр Федорович.

— Вторая мировая война унесла 55 миллионов человеческих жизней, нет такого клочка на нашей земле, который не был бы обагрен святой кровью лучших из лучших наших людей. А прошло ведь всего двадцать, только двадцать так называемых спокойных лет после Первой мировой войны, Гражданской войны, великого голода 1921 года, коллективизации, сталинских голодовок и сталинской мясорубки, спровоцированной также из-за границы, во время которых погибло несколько миллионов лучших из лучших людей.

И все это, говорят, как здесь, так и там делается во имя или для блага народа. Скажите мне, какого народа? Немощных калек, осиротевших, оставшихся без отцов и матерей детей?

А если бы все в свое время решили: ну что ж, давайте посмотрим, попробуем, постараемся принять участие в этой новой, еще никем и никогда не виданной народной системе, может быть, что-то можно было бы улучшить, изменить, что-то ликвидировать, и глядишь — получилось бы что-то лучше не для отдельных лиц, не для отдельной элиты, а для народа. Мне кажется, при Ленине такая кооперация была бы еще возможна.

— Ниночка Ивановна, вы так сильно верите, что при Ленине было бы лучше?

— Вы знаете, верю. Ведь война при Ленине шла не за то, что хотел Ленин, а за то, что хотел народ, и Ленин понимал это больше всех. И если бы не умер так скоро, то сумел бы, прислушиваясь к воле народа, внести такие изменения в стране, которые удивили бы весь мир, и я глубоко убеждена — все бы пошло по-другому. Он также предупреждал, что Сталин после его смерти способен натворить черт знает что, и поэтому просил удалить его с этой работы.

Ленин старался бы примирить всех. Может быть, он не сумел бы сделать это полностью, но ведь многие из вас уехали из страны после его смерти и по инерции могли это делать почти до 30-го года, пока Сталин не захлопнул так называемый железный занавес.

Но против народной советской системы, против Советской, действительно народной власти начали ожесточенно бороться и старались задушить ее еще тогда, когда она была еще в самом зачаточном состоянии. Даже когда она была в утробе матери, из боязни, как только она родится, то отнимет у буржуазии все их состояние и привилегии, и это стоило миллионы, миллионы человеческих жизней.

Александр Федорович, вы ведь адвокат, и вам ясно, что то, что творилось при Сталине, нельзя ничем объяснить и ничем

оправдать: где-то, кем-то выносились приговоры, и нам с каким-то злорадством, не успев еще дочитать, сообщали: «приговор приведен в исполнение». Народ в этом не участвовал, исчезали не какие-то уголовные преступники, а всеми уважаемые государственные деятели, и чем лучше они были, тем скорее исчезали. Как будто существовал какой-то заговор. Убийцу за одно кровавое преступление, за убийство одного человека приговаривают к смерти, а этот убийца уничтожил миллионы и продолжал оставаться на свободе. Кто его поддерживал?

Последняя встреча с Керенским

Однажды Александр Федорович признался:

— Вы знаете, чем больше я с вами разговариваю, тем больше появляется у меня желание очутиться в России.

После смерти Сталина я несколько раз ему говорила:

— Александр Федорович, попробуйте. Постарайтесь встретиться с Хрущевым — он будет очень польщен.

Я слышала от наших общих знакомых, что, когда он был последний раз в Лондоне, он пытался, но смерть опередила его.

Наша последняя встреча с Александром Федоровичем была накануне его отъезда в Лондон к сыновьям. Мы как всегда пошли вместе на выставку живописца Павла Дмитриевича Корина на 57-й улице ист-сайд. Кирилл и Александр Федорович подолгу стояли у каждой картины и делились своими впечатлениями.

Когда мы собрались уходить из выставочного зала, Александр Федорович вдруг остановился: с правой стороны у самого выхода от потолка до пола висела картина «Епископ? Или архи Епископ?» с фигурой в красном облачении. Александр Федорович обратился к Кириллу:

— Кирилл Михайлович, почему он в красном?

— Обновленец, сукин сын. Обновленец, Александр Федорович, — отпарировал как всегда очень острый на язык Кирилл.

— Нет, нет, Кирилл Михайлович, нет. Это одеяние он надевает тогда, когда молится за нас, за нас, грешных.

Мы долго гуляли в парке. Был чудный майский день. И вдруг:

— А знаете, Ниночка Ивановна, о чем я сейчас часто думаю: что, может быть, я сумел бы спасти слабую, уставшую Россию от того, что постигло ее, если бы я заключил мир с Германией вопреки желаниям наших западных союзников.

Он был тогда уже очень-очень болен. Это я узнала потом, а держался и вел себя довольно бодро. Мы вышли из кафетерия, тепло попрощались.

Умер Александр Федорович Керенский 11 июня 1970 года. Нас в городе не было, и мне было очень грустно, когда я узнала об этом. Похоронен Александр Федорович Керенский в Лондоне на кладбище «Пэтни-Вэйл». Я никогда на этом кладбище не была, но от многих знакомых слышала о скромной надписи: родился 5 мая 1881 года — умер 11 июня 1970 года. Итак, еще одна капля нашей прошлой истории ушла, утонула в бездонной пропасти нашего бытия.

Холодная война

Надо сказать, что международная обстановка в те жуткие годы была отвратительная, гораздо хуже, намного хуже, чем до войны. Авторитет Советского Союза был повсюду, по всем странам мира на самой высокой вершине. Советский Союз купался в лучах своей послевоенной славы. Распространение влияния Советского Союза в Западной Европе, Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и одной третьей части Германии действовало на западные страны, особенно на Америку и Англию, как красная тряпка на быка.

Уинстон Черчилль после войны хоть и не был премьер-министром, но оставался самым отчаянным консерватором Великобритании и одним из самых заядлых инициаторов холодной войны, готов был сбросить атомную бомбу на Советский Союз.

И наверное, это произошло бы, если бы у Советского Союза не было такой же бомбы или если бы он и дальше продолжал оставаться у власти, хотя и правительство лейбористской партии Эттли также в 1946 году присоединилось к инициаторам холодной войны.

Советский Союз в это время непреодолимо стремился предотвратить возникновение войн и даже просто любых столкновений. Американцы же всеми силами старались не допустить распространение советского влияния на западные страны, где каким-то образом, считали в США, ущемляются их обширные интересы. Это и целый ряд других больших и малых обстоятельств катастрофически ухудшило отношения между США и СССР и привело к возникновению так называемой ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ (название это тоже придумали на Западе). И если бы у Советского Союза к этому времени еще не было атомной бомбы, то, с уверенностью могу сказать, холодная война очень легко превратилась бы в ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ГОРЯЧУЮ.

Президент США Гарри Трумэн полностью разделял взгляды Черчилля. Но после ужаснувшего весь мир эксперимента с атомной бомбой, сброшенной на Хиросиму 6 августа и Нагасаки 9 августа (что было совершенно лишнее со всех точек зрения), опасался повторить этот опыт с Советским Союзом, особенно принимая во внимание потрясающую популярность Советского Союза во всем мире в то время. Но это вовсе не помешало Америке ухудшить отношения с Советским Союзом до такой степени, особенно после того, как в 1946 году конгресс оказался под контролем республиканцев, чтобы стать главным

инициатором пресловутой холодной войны.

Гарри Трумэн во многих отношениях, даже будучи демократом, довольно часто проводил более жесткую политику к Советскому Союзу, чем республиканцы. При нем усилились гонения не только на Коммунистическую партию, но и на все более или менее либеральные организации в стране. Он был также инициатором создания организации НАТО и многих других предприятий, выступавших против Советского Союза. Гарри Трумэн в своей Доктрине (1947 г.) занял очень жесткую позицию и поставил своей целью «спасти» Грецию и Турцию от коммунизма путем военного вмешательства, а для восстановления и спасения Западной Европы от коммунизма при нем был создан план Маршалла.

При Трумэне, также в 1950 году, вспыхнула война в Корее при попытке северной части Кореи объединиться с Южной Кореей. В эту вакханалию, американцы сумели втянуть и ООН. На заседаниях Совета Безопасности Америка отказывалась вывести из членов ООН правительство Чан Кайши, окопавшегося с помощью Америки на острове Тайвань, и законно ввести в Организацию Объединенных Наций Китайскую Народную Республику. Американцы продолжали категорически протестовать против этого, все еще считая Чан Кай-ши главой Китая. Америка никак не могла простить себе потерю Китая.

Как раз в то время я встретила одного американского полковника, который только что вернулся из тех краев и горько сокрушался, что президент Трумэн виноват в том, что «мы потеряли Китай».

— Как можно терять то, что вам не принадлежит? — удивилась я.

— Да, именно, мы упустили возможность удержать за собой Китай. Все, что нам надо было сделать — это дать китайцам по чашке риса и побольше порнографии тем, кто повыше, — заявил бравый американский полковник.

До сих пор все считают, что если бы на этом заседании Совета Безопасности присутствовала советская делегация, она могла бы предотвратить, пользуясь правом вето, вмешательство ООН в эту ничем не оправданную войну в Корее.

Командующим войсками ООН против Северной Кореи был генерал Дуглас Макартур. Это тот самый заядлый Дуглас Макартур, которого даже президент Трумэн снял с должности из-за непреодолимого желания генерала использовать атомную бомбу в Корейской войне против Северной Кореи и, может быть, даже против Китая, который активно помогал ей.

Маккартизм

У нас на глазах накал антисоветской пропаганды дошел до точки кипения. От того дружелюбия, которое было, когда мы прибыли в США в 1944 году, не осталось и следа. Вдруг как с цепи сорвался сенатор Маккарти, председатель сенатской комиссии конгресса США по расследованию прогрессивной деятельности организаций, со своим сенсационным списком, с обвинениями против тех лиц, которые занимали ответственные должности в правительстве. А дальше пошло поехало: артисты, профессора университетов и вся интеллектуальная часть населения превратились если не в советских агентов, то в красных, розовых или сочувствующих, это точно. Паника охватила всю Америку. Появился даже специальный термин «маккартизм», означавший самую крайне реакционную политику США.

Почти все, кого в то время мы встречали, находились «under investigation», то есть под следствием. Или ожидали, что их вот-вот вызовут. Людей снимали с работы по малейшему подозрению, вносили в черные списки, лишали права на работу, шла усиленная проверка налогов чуть ли не за десять лет.

Появились как грибы после дождя провокаторы вроде «российского Азефа», которые многие годы состояли в американской компартии, одновременно работая на ФБР и ЦРУ И вдруг все они один за другим начали выскакивать из подполья и занялись разоблачительством. Люди стали бояться друг друга. Чем больше накалялись международные отношения, тем злее и злее были нападки на Советский Союз.

И я должна сказать, что в это время поняла, что ответная советская пропаганда, над которой мы всегда смеялись, считая ее чрезмерной, ни к черту не годилась по сравнению с американской по своей озлобленности и целенаправленности. Здесь я очень глубоко почувствовала, что советскую систему хотят стереть с лица земли, уничтожить, и никакого другого компромисса нет и быть не может. «Хороший русский — мертвый русский», подразумевая, что всякий русский — это коммунист.

И Сталин с честью, лучше всех, лучше всех врагов Советского Союза выполнил этот лозунг. Он уничтожил, умертвил, пропустил через сталинскую мясорубку всех лучших из лучших членов партии и беспартийных, весь цвет нашей страны. До войны, во время войны и снова в лагерях после войны погибли писатели, ученые, изобретатели, журналисты, военные и гражданские герои и гении, самые квалифицированные рабочие и самые трудолюбивые, трудоспособные крестьяне.

Что же ***осталось*** от нации? Полуголодные старики, женщины и дети, это как маленькие крупинки золота в тоннах пустой породы. После такого побоища невозможно было найти физически и морально здорового человека. Человек, потерявший родных и близких, уже сам является полуинвалидом на всю жизнь. Какое потомство могла дать горсточка вернувшихся с фронта физически и морально искалеченных людей?

В здоровом теле здоровый дух, крепкие, здоровые животные дают крепкое, здоровое потомство. Над этой проблемой ломают головы и трудятся ученые всего мира. Ведь это должно относиться в первую очередь к людям.

Вот Пушкин и Лермонтов, гениальные сокровища нашей страны, в один миг были убиты абсолютно бесполезными ничтожествами, прошло уже больше ста пятидесяти лет, и до сих пор это невосполнимая потеря. Лучшие силы народа унесли Первая мировая и Гражданская война, и не успел народ оправиться и окрепнуть, началась сталинская кровавая бойны, а затем через 20 лет — всего через 20 лет! — после окончания Гражданской войны вспыхнула Вторая мировая, самая страшная, самая кровопролитная и самая жестокая.

Кому нужны были эти побоища, кто выиграл? Выиграли только те, кто не принимал участия в этих побоищах, а был только инициатором. Это была та отвратительная обстановка в Америке, в которую мы и попали. Каждый в это время старался доказать, что он больше католик, чем папа римский.

Берегитесь докторов!

Антибиотик ойромайссин

Вечером я зашла в грязную, закопченную уборную, где с трудом могли разминуться два человека, там стояли две женщины — кожа да кости — и плакали, жалуясь друг другу.

— Разве это ужин? — жаловалась одна. — Один ломтик сыра и один ломтик хлеба.

Другая продолжает:

— Когда я вижу на подносе пять-шесть кусочков колбасы, а нас в комнате 14 человек, как я могу взять больше?

— Почему же вы не пожалуетесь? — вставила я.

Им эта мысль показалась дикой.

— Что вы! — вскричали обе в один голос. — Вы знаете, сколько нам стоило попасть сюда?

И действительно, вспомнила я, никакая здравоохранительная страховая компания не оплачивает хронические болезни, тем более туберкулез. И вот они стоят и, голодные, плачут в грязной уборной с оторванной дверью.

За эти пару лет я уже всего навидалась и, кажется, ко всему привыкать стала. Сначала было страшно, ей-богу, как кладут на носилки здорового с виду человека, и потом получается живой полутруп ***с вынутыми ребрами***. Постепенно я все меньше и меньше стала бояться даже операций. Уже не так страшно казалось, как я себе представляла. Так люди ко всему привыкают. Так люди и к войне, и к ее опасностям, и к смерти с годами привыкают.

Я прочитала в журнале, что где-то на Аляске, в индейских резервациях, в ледяных домах — иглу живут вместе люди и животные. Вонища, хоть топор вешай, и они никогда в жизни не моются.

Кто-то сказал:

— Может быть, они очень бедные?

— Да нет, у них просто нет культуры, нет потребности в этом, — ответил кто-то другой.

Но в этот госпиталь они тоже, наверное, не пойдут, подумала я.

Прибежала Стела, оторвавшись от игры в бинго. Вся сияет:

— Два пуэрториканца покушались на Трумэна, несколько человек убитых, а Трумэн жив-здоров, — грустно закончила она. Потом включила радио: — О, теперь он тоже станет великим

человеком. Как же, на него ведь покушались, сделали его важной личностью. А у него оснований быть президентом столько же, как и у меня, — закончила Стела.

Влетела возбужденная сестра:

— Вы знаете, что случилось? На президента Трумэна покушались. Это коммунисты, это все коммунисты, кто их не знает! Наших «бойс» тоже убивали коммунисты вместе с Гитлером, — повернувшись в мою сторону, продолжала она.

Стела снова помчалась в карты резаться.

Я умудрилась не то простудиться, не то прихватить какую-то гадость, вообще, чувствовала себя отвратительно. Доктор прописал лекарство, зашла сестра сделать мне укол. Я спрашиваю:

— Что за укол вы мне даете?

Вместо ответа она обратилась ко мне с вопросом:

— Из какой вы страны прибыли?

Я поняла так, что американка ей такого вопроса не задала бы, укололи — значит, так надо. И ушла.

После укола к вечеру мой большой палец на правой руке увеличился почти в два-три раза, превратился в волдырь, как будто накачали его воздухом. Я решила позвонить Кириллу, начала с ним говорить и у автомата потеряла сознание. Кирилл примчался немедленно, это было уже ночью, часов в 10. Поднялась тревога, созвали всех врачей, а я у них на глазах начала пухнуть, сначала руки, ноги, потом все тело, лицо, голова. Это было страшно, сказал мне потом Кирилл. Тебя как будто накачали воздухом, тебя нельзя было узнать, все твое туловище увеличилось почти в два раза.

Кирилл настаивал, требовал вызвать самых, самых лучших врачей. Но я, когда пришла в сознание, помню только одно: они, так же как и местные врачи госпиталя, входили, останавливались у моей кровати, беспомощно глядя на меня, как на прокаженную, как будто боялись ко мне прикоснуться, и уходили. В таком состоянии я была несколько дней. Ни есть, ни пить я не могла. Я ничего не могла проглотить, видно, все мои органы внутри были в таком же состоянии, как и внешние.

Только через неделю опухоль начала спадать, мне стало легче дышать и захотелось пить.

Зашел какой-то, как мне потом объяснили, светило по аллергическим заболеваниям, так как всех остальных уже перепробовали. Так же (теперь я уже начала соображать) постоял у моей постели, с любопытством разглядывая меня — опухоль еще не совсем спала. И ушел, в недоумении пожимая плечами.

Зашла сопровождавшая его монашка и, как сейчас помню,

успокоила меня:

— Не волнуйтесь, — сказала она, — никто не знает, что с вами.

Это называется «успокоила». Значит, из всех этих не просто врачей, а врачей-«светил» никто понятия не имел, что же произошло со мной, отчего такая страшная реакция произошла и что за укол я получила. Потом я смутно узнала, что это был антибиотик ойромайссин.

У меня начало шелушиться все тело. Это была страшная мука, я уже не могла больше переносить эту обстановку без содрогания. До сих пор даже жутко вспоминать грязные пыльные простыни, от которых даже внутренности пылали как в огне.

Сестра принесла мне лекарство, я категорически заявила, что не буду принимать:

— Вы дали мне утром, и я обожглась, я отказываюсь принимать это лекарство.

— Никогда еще такого не было здесь, чтобы пациенты отказывались принимать прописанное доктором лекарство, — заявила сестра.

— Так и передайте доктору, и пусть это будет впервые. У меня от первого раза все челюсти стянуло, как будто я обожгла весь рот и все внутренности.

Прибежал доктор:

— Надо принимать, вы должны принимать между едой, растворив это в стакане воды.

— Так вот, доктор, вы объясните, пожалуйста, это тем, кто приносит это лекарство и заставляет пить неразведенным.

Доктор извинился, и я получила стакан воды и рюмку этой отравы.

Уже 10 часов ночи, а шум и грохот кухонный не прекращались. Трудно себе представить более шумное место, чем этот госпиталь.

— На Корейском военном фронте, я уверена, гораздо тише, — заявила только что вернувшаяся после бинго, кажется, где-то чуть ли не в церкви, Стела.

Ветер соревновался с кухонным грохотом… Холодина, почему-то не топят, дождь, сырость забирается прямо под кожу, ветер непрерывно сотрясает окна и двери, как будто в темную бурную ночь на пароходе скрипят и стонут мачты.

Господи, удивлялась я, как отсюда народ живым домой выбирается?

Вот и я решила выбираться отсюда, пока жива. Что будет, то будет. Но я не могла уже больше здесь оставаться. Буду очень аккуратная, буду лечиться, но дома.

Так я из этого ада вернулась домой, тоже приведя в изумление весь персонал. Они, видно, так привыкли, что отсюда, из этого ада, скорее всего всех сопровождают в дом инвалидов или на тот свет, кстати, и церковь внизу в этом здании есть.

Когда я уже потом познакомилась с врачом Леонидом Александровичем Адамовым и рассказала ему, почти поверхностно, что произошло со мной, он только сказал:

— Нина Ивановна, вы проживете сто лет, если ваш организм перенес такое испытание. Вы знаете, вы были одной ногой в могиле, и это я не преувеличиваю, вы были одна из тысячи тысяч.

Он был один из тех многих прекрасных людей, которых я встречала в жизни.

К сожалению, когда я скиталась по так называемым санаториям, мы еще не были знакомы с этой замечательной супружеской парой.

Отец Леонида Александровича был крещеный еврей, и поэтому он рос и воспитывался в России среди высшей в то время православной русской аристократии. Во время Гражданской войны был призван в белую армию и эмигрировал вместе с ней.

Женат Леонид Александрович был на очаровательной женщине — Сицилии Самойловне. Она была зубной врач. Встретились они в Германии, жили в Париже и в начале Второй мировой войны эмигрировали из Франции в Америку. Поэтому они всегда в одинаковой степени справляли православную Пасху с куличами и крашеными яйцами и ритуальные еврейские праздники с мацой и фаршированной рыбой. На одном из таких праздников мы познакомились у них с дирижером Большого театра Юрием Федоровичем Файером, когда встречали в Нью-Йорке вместе еврейский Новый год.

И вот здесь, в Америке, эти два прекрасных врача не могли получить разрешение на врачебную практику. До такой степени тогда были жесткие законы против вторжения в американскую практику иностранных медицинских специалистов.

Сицилия Самойловна, зубной врач, работала нелегально в кабинете Ольги Владимировны Крамер, жены известного художника, картины которого находятся в музее Вашингтона, тоже зубного врача. Ольга Владимировна по возрасту уже не работала, но всегда сидела здесь в приемной на случай появления инспектора.

Мы были в это время знакомы с очень известным хирургом из Киева, доктором Шоу. Он с горечью нам рассказывал, как ему тяжело смотреть, как молодые, неопытные врачи оперируют

пациентов: «А у меня руки дрожат, так хочется взять скальпель у них из рук». И этот врач после многочисленных и многолетних испытаний, получив право практики, через месяц умер.

Пусть меня минует чаша сия

Сегодня наконец надо позвонить доктору, я до сих пор малодушно все откладывала. Боялась сделать это раньше, да и какой смысл? Снова ложиться в эти помойные ямы — от одной только мысли об этом можно снова заболеть.

И вне госпиталя, просто в домашних условиях тоже нет никакой возможности лечиться, особенно в наших. В такой тесной, неудобной квартире и вечно без денег. Разве мы можем позволить себе нанять кого-нибудь, чтобы он помог сделать хотя бы ту крайне необходимую работу, которую, я знаю, мне просто вредно делать, и это не роскошь, а жестокая необходимость, если я хочу поправиться. Хорошо бы уехать с ребятками в какую-нибудь местность с сухим, здоровым климатом, дышать чистым горным воздухом, может быть, тогда бы я скорее поправилась. Но это уже в области абсолютно неосуществимой фантазии, а реальность — вот она, неумолимая и суровая.

Итак, снова все анализы готовы — вчера я получила их у врача. Конверт был плохо закрыт, легко можно было открыть, я долго боролась с собой — открыть, не открыть? И наконец решила — открою.

Анализ мокроты — отрицательный. Анализ крови — слишком много незнакомых терминов. А вот заключение врача на рентгеновский снимок перевела слово в слово и буквально отупела: «Размягченный язвенный характер с явным просачиванием в правую верхнюю часть легкого — ясно обозначилось».

О господи, кто бы мог подумать, ведь уже 4 года! У меня уже нет слез плакать, мне стало все равно, я даже совершенно не нервничаю. Наступила какая-то апатия, что будет, то будет.

Торговцы здоровьем

Прошло 10 дней, и я снова, собрав все бумаги, все рентгеновские снимки, пошла к доктору Гринбергу. Встретил, улыбнулся, пригласил в кабинет и пошел разгуливать из комнаты в комнату. Ходил, ходил, наконец явился и спросил: «Как вы себя чувствуете?» — и снова скрылся.

Вернулся и сообщил:

— Я думаю, вам снова придется ложиться в госпиталь для

продолжения лечения. Моя миссия окончена, так как ваша страховая компания ХИП не покрывает расходы по лечению туберкулеза.

— А скажите, доктор, можно ли предпринять какие-либо меры для лечения в домашних условиях? Я ненавижу госпитали, я там еще больше болею.

В это время раздался телефонный звонок и последовал длинный разговор. Вовсю работал кондиционер, я начала зябнуть. Говорил без конца, как будто в кабинете никого не было.

— Вы думаете, я ее наказал, нет, она позвонила в тот момент, когда должна была быть у меня с визитом. Я ей назначил новый визит через две недели, а она решила, что я ее наказал. Ведь она лишила визита человека, срочно нуждавшегося в визите, я даже этого ей не сказал. Я ведь не могу заботиться за весь мир.

Это было самое умное, что он сказал, а дальше пошел разговор о разной чепухе. За это время он успел бы отпустить еще троих.

Таким образом, назначить прием через 2–3 недели — тоже своего рода самореклама, к этому доктору можно попасть только через 2–3 недели или через месяц, видите ли, это очень серьезный доктор.

Значит, мне снова по госпиталям надо таскаться. Господи, как я ненавижу и госпитали и докторов, особенно в этом ХИП (HIP), куда ходят одни негры и измученные простые люди, действительно больные, где я вижу хамское отношение к ним. Доктора здесь самодовольные, самовлюбленные хамы. Ни искры скромности: ноги на стол, откинутся в кресле, возьмут телефонную трубку и будут говорить, говорить без конца. О чем угодно — о каком-либо свидании на завтрашний день, о каком-либо незначительном событии, о всякой, всякой ерунде, как будто забыв, что пациент сидит в комнате рядом в самой неудобной позе и ждет. Ждет и мерзнет, проклиная все.

Я тоже мерзла и ругала все на свете: шарлатаны, торговцы, только товар у них самый дорогой — человеческие жизни. «Встать, уйти», — несколько раз мелькало в голове. Это я такая терпеливая, а Кирилл давно бы встал и ушел.

Но наконец он сказал «so long», повесил трубку и удостоил меня своим светлейшим вниманием:

— Так вы говорите, что вам госпитали не нравятся?

— Не только не нравятся, а я просто в них несколько раз тяжело заболевала.

— «Монтеферы» — это хороший госпиталь, я знаю.

— Это правда, лучше других. А вот «Сент-Джозеф» — это помойная яма, туда я ни за что не пошла бы. А как все-таки

насчет домашнего лечения?

— Это я не знаю, надо посоветоваться с докторами, сейчас появились новые методы лечения, то есть новые лекарства, но я не знаю, согласятся ли применить их в вашем случае и в домашних условиях.

Он выразил нетерпение — я слишком долго его задерживала своими пустыми вопросами.

— Я вам дам знать через доктора Спака, я ему позвоню, и он не позже пятницы вам сообщит.

В пятницу позвонил доктор Спак и сообщил:

— Доктор установил, что у вас Т Б в активной форме, но так как ХИП не покрывает расходы по хроническим болезням, а ваша болезнь относится к этому разряду, поэтому мы передаем все ваши документы в Департамент здравоохранения. Доктор Гринберг обещал прислать мне ваши документы в понедельник.

В понедельник их не было, во вторник тоже, в среду доктор Спак позвонил и заявил:

— Если я к концу недели не получу их, то зайдите к нему сами и возьмите их у него.

К концу недели Кирилл помчался сам за документами.

Трогательно-любезный вопрос:

— Как дела? Как миссис Алексеева? С чем вы пришли ко мне? — рассказывает Кирилл.

— Спасибо, хорошо. А я пришел взять документы.

— И только всего? — сразу стал какой-то злой, неприветливый.

— А что же еще? Вы сами сказали, что активная форма, надо лечить. Так зачем же терять время?

— Что же вы будете делать? Куда пойдете? Вам незачем было беспокоиться, я бы сам вам все выслал. У меня еще не готово заключение, я очень занят, у меня не было времени написать.

— Вы извините, но ждать мы тоже не можем, поэтому будьте добры, сделайте это сейчас. В данном случае нельзя терять время.

— У вас что, есть другой доктор? — обратился он к Кире.

— Пока нет, пойду в Департамент здравоохранения.

— Значит, решили в госпиталь?

— Да нет. Еще ничего не решили, но схожу, узнаю.

По поведению он видел, что я уходить вовсе не тороплюсь, и старался дать понять мне, что ему не до меня. Наконец зашевелился, кое-как начал собирать разбросанные документы, у меня было впечатление, что он к ним и не прикасался. Секретарь второпях записывала кое-какие анализы.

— Так как же насчет вашего заключения? — обратился я к нему. — Я подожду.

— О нет, нет. Я его вышлю потом.

И только к концу следующей недели пришло короткое, лаконичное заключение, по существу, почти слово в слово перепечатанное заключение прежнего доктора.

Получив на руки документы, хотя и без заключения Гринберга, я по рекомендации Яши и вместе с ним направилась к доктору Шацбергу. Яша рекомендовал его как своего друга, который может беспристрастно, по-дружески дать окончательное заключение.

Когда мы приехали, мне даже по обстановке стало ясно, что он не специалист. Повертел снимки, прочитал письмо, почесал переносицу. Кирилл сидел серьезный, как аршин проглотил. Яша, представив нас, пустился с ним в продолжительные обсуждения фотографий, какой-то купли-продажи, которую он может устроить по дешевке.

Наконец доктор Шацберг обратился к нам:

— Вы знаете, я не специалист по этой болезни. Хорошо было бы показать эти снимки хорошему специалисту. У меня есть такой на примете, доктор Рубин.

— Я его знаю, года два тому назад я была у него однажды.

— Да-да. Это тот самый специалист по этой болезни, он даже книгу по этому вопросу написал. Он считается светилом в этой области. Он всю свою жизнь только этим и занимался.

— Сколько он взял у вас за прием? — спросил Шацберг.

— 25 долларов.

— Дорого. Хорошо, пойду к нему сам, что он скажет? А сколько вы могли бы заплатить, 10–15 долларов?

— 15 долларов, — быстро ответила я.

На следующий день он сообщил, что все документы передал доктору Рубину и что в понедельник в 9 утра я должна прийти к нему на прием, но что он не сумел сторговаться с ним за 15 долларов, согласился только за 20 долларов. Так и сказал — «сторговаться». Как на рынке не сторговались. Чудовищно.

И еще больше, предупредил: «Вы про ХИП молчите, он этого терпеть не может». — «Почему?» — спросила я. Он замялся: «Видите ли, он один из самых заядлых противников социализации медицины».

Сам Шацберг был очень любезный и за эту услугу ничего не взял. Хотя Кирилл очень старался ему заплатить.

На следующий день доктор Рубин вытащил какую-то папку, старые письма, которые он писал доктору Девису, и справку из госпиталя «Монтеферы». Быстро осмотрел меня, снял Х-рей, взял кровь на анализ и заявил: «Да, надо лечить, так как до сих пор, по существу, не лечили».

Выписал новые лекарства и добавил:

— Надо будет делать уколы.

— Кто же уколы будет делать?

Он ткнул пальцем в ХИП:

— Они должны. Они должны, — повторил он несколько раз с раздражением, — но они, конечно, откажутся, отмахнутся.

Берегитесь докторов!

Скитаясь по частным врачам и по американским больницам, могу твердо сказать, что многие доктора здесь самодовольные, самовлюбленные хамы. К больным относятся с высокомерием, как будто перед ними сидит олух царя небесного, человек, ничего не понимающий. Доктор может разговаривать по телефону целый час, а вы сидите полураздетый и мерзнете в соседней комнате. Иногда в трех-четырех комнатах сидят больные и ждут, когда к ним соизволит явиться доктор, задать несколько незначительных вопросов и, в лучшем случае, выслушать.

Я еще раз хочу подчеркнуть, не все такие, но, к сожалению, подавляющее большинство из них. Еще один бич: американские врачи любят оперировать. Если бы я не сопротивлялась, то за это время уже перенесла бы четыре (я не шучу) «неотложные срочные операции». Скажу честно, только в отношении одной я смалодушничала и пошла на операцию, о чем жалею до сих пор. А три раза просто вставала и уходила из больницы, даже после очень убедительных доводов не только одного врача, а трех врачей и хирурга. Прошло уже двадцать лет. Я встречала женщин, которые имели две-три операции и даже не знали от чего. А кесарево сечение при родах одно время было почти неизбежно. Пока не обратили на это внимание и не стали об этом писать как о жульничестве, так как кесарево сечение стоило почти в пять раз дороже, чем естественные роды. Этим я не хочу сказать, что, если нужна операция, ее можно не делать или можно избежать, а надо просто быть очень осторожной.

Хочу упомянуть еще один вид коммерческого мошенничества с малышами. Одна дама с гордостью как-то сказала мне:

— Вы знаете, что сейчас в Америке младенцев матери не кормят грудью?

— Почему? — удивилась я.

— У нас имеются такие формулы, что молоко матери никогда этого возместить не может.

— Я в жизни не слышала, чтобы существовало что-то лучше материнского молока для младенцев, — ответила я.

И действительно, как только женщина рожала, ей сразу

делали укол, молоко пропадало, и начинали кормить младенца из бутылочек и из баночек. И нет сомнения в том, что те, кто изобрел эту формулу, заработали на этом деле миллионы, пока какой-то умный доктор не начал писать, что нет на свете для младенца ничего полезнее материнского молока, и молодые мамы начали снова, немного даже с опаской, первые пару месяцев кормить младенцев грудью.

Лед тронулся

Смерть Сталина

Каждое утро дети собирались в школу, Кирилл — на работу (слава богу, хоть какая-то работа есть). Я оставалась одна со своими болячками в этой осточертевшей, с облупившейся штукатуркой, с трещинами на потолках, неудобной, тесной для детей и для нас, квартире. Им нужно больше места, больше удобства для занятий. Единственным украшением этой убогой обстановки являются книги, книги, книги, которые собираются вокруг нас, и Лялины картины. Ляля рисует, купили рамы, повесили ее картины — работы ученические, но выглядят очень хорошо… Последнее время увлекается она поэмами, читал их Джин — понравились.

— В школе, — говорит она, — дети шутят: «Ранние работы поэтессы Виктории Алексеевой».

Володя вырос, он уже выше меня. В школе его считают самым успешным и умным учеником.

Боже мой, как бы я хотела увидеть маму! Милая, родная, где ты? Что с тобой? Как ты живешь одна, как перст одна? При мысли о ней ничего меня не радует. Хоть бы раз еще взглянуть в ее ласковые родные глаза. Этот страшный, тяжелый груз ношу я в себе и буду носить всю мою жизнь. Я никогда, никогда не прощу себе, что я тебя оставила. Родная моя, простишь ли ты меня? Я знаю, матери все прощают. Как бы я хотела, чтобы все мы были вместе. Как бы я хотела получить от тебя весточку, хотя бы маленькую весточку, хоть одно слово, хоть листок чистой бумаги, который держала ты в своих руках. Как бы я хотела чтобы дети увидели тебя, и ты детей, какая это была бы радость для всех нас. Почему так все тяжело и сложно? Милая, хорошая моя, мне так больно…

Сегодня было такое же обычное утро, как всегда. Дети собирались в школу, Кира, на работу, а я, как всегда, как только вставала, сразу включала радио, так как мне кажется, что Нью-Йорк — единственное место на земном шаре, где в течение суток можно иметь любой климат: ветер, грозу, снег и жару до седьмого пота.

Поэтому чтобы хоть что-нибудь услышать о погоде, надо включить радио.

И вдруг какой-то необычный, взволнованный голос диктора произнес: «He is dying, he is dead[23]». О ком шла речь, я еще не

слышала, но сразу вскрикнула:

— Сталин умер! Умер!!!

— Да не может быть! — вскочив с места, вскрикнул Кирилл, и мы, затаив дыхание, замерли.

Но на этом официальные сообщения кончились и начали передавать только всевозможные соображения различных экспертов по русским вопросам. Оказывается, не умер, а только при смерти, у него произошел удар, кровоизлияние в мозг, как и у Ленина, доложил кто-то.

— Да его еще, может быть, и откачают, — грустно заключил Кирилл перед уходом.

Но самое невероятное казалось то, как были расстроены все дикторы! Мне казалось, ***никто*** в жизни так не ожидал и так не хотел его смерти, как я. Я так ожидала этого момента и так надеялась, что, как только Сталин умрет, все изменится и всем станет легче.

Мне невыносимо трудно передать то жуткое чувство, которое охватило меня. Зачем, зачем все случилось ***так поздно***? Зачем было уничтожено столько прекрасных жизней, зачем так безжалостно был уничтожен весь цвет нашей страны? Ради чего все это делалось? В угоду ***кому***? Зачем? Ведь все равно ему пришел конец, а зловещий, кровавый след на веки вечные остался в НАШЕЙ СТРАНЕ.

Сколько бы я сейчас дала, чтобы очутиться там с моим народом, чтобы понять, ***прочувствовать*** их настроение, еще и еще раз пересмотреть и осмыслить теперь, имея этот тяжелый опыт за своими плечами, все их и свои чувства и думы.

Теперь я часто думаю: зачем мы не вернулись? Может быть, все бы обошлось, может быть, наши страхи были преувеличены? Ведь мы ни в чем, ну просто ни в чем не были виноваты, кроме огромного желания всегда и везде представлять нашу страну только с хорошей стороны.

И иногда даже на очень каверзные вопросы я отвечала так, что мне говорили: знаете, никто нам никогда так, как вы, не объяснял. Но ведь это и была та правда, о которой мы действительно всю жизнь только и мечтали.

В это время, сразу после войны, была огромная тяга к возвращению, эмиграции в Советский Союз со всех стран мира. И мы, я уверена, обязательно вернулись бы, если бы не начали снова повторяться те страшные обстоятельства, при которых людей снова, без всяких на то оснований, вдруг вызывают и отправляют прямо в тюрьму. Я искренне хотела, думала и считала, что все, все должно измениться после войны.

И снова приходит в голову — может быть (о, это вечное

«может быть»!), нас и не арестовали бы? Но страх ареста был настолько велик, и не за себя, а особенно за детей, что трудно было преодолеть это чувство. И как мне не хотелось, о, как мне не хотелось, чтобы они пережили то, что пережила я!

Но мы же ни в чем, ну абсолютно ни в чем не были виноваты! А в чем виноваты были те воины, которые чудом уцелели, а по возвращении с фронта немедленно были отправлены в концлагеря?

А в чем виноват был перед Советской властью такой безукоризненно честный человек, как мой отец? За что его арестовали и казнили? И не только его, а сотни, сотни тысяч таких, как он.

Разве не жутко возвращаться в свою страну, на свою родину с бьющимся сердцем — арестуют или нет? Жив останешься или нет?

У меня было такое чувство, что где-то там, в Кремле, угнездились какие-то «зловещие силы», которые поставили своей целью уничтожить, загубить Советскую власть и разрушить, ликвидировать Советский Союз. А в лице Сталина они нашли вполне подходящего союзника. Это какой-то «зловещий заговор», и кто-то, умело дирижируя им, прикрываясь высокими идеями и красивыми лозунгами за Советскую власть, жестко и целеустремленно убирая со своего пути всех лучших людей, облегчает тем самым себе возможность осуществить свой страшный, зловещий замысел, который приведет к ликвидации этой системы и погубит страну.

Я уверена, что когда-нибудь кто-нибудь откроет и разоблачит это змеиное гнездо, выяснит, кем и зачем оно было создано в Кремле, именно в самом сердце нашей страны. Сталин умер. Ведь это не просто умер человек, умер самый страшный человек, и многое, многое умрет вместе с ним, но самое главное останется, останется эта раковая опухоль на здоровом, хотя и израненном теле нашей страны и нашей лучшей в мире, завоеванной народом Советской системы.

Я считала и считаю, что при этой системе за короткие 25 лет до начала Второй мировой войны, несмотря на весь ужас, пережитый при Сталине, вопреки и наперекор его тирании у многих миллионов живущих при советской системе людей создалась новая психология: самоуважение, отсутствие раболепия перед власть имущими и чувство гордости, созидательной гордости за с достоинством пройденный тяжкий, но такой героический период жизни — жизни, полной надежд, разочарований и колоссального энтузиазма. Когда каждый гордо считал, что он также положил кирпич для создания нового,

абсолютно нового общества, никогда до сих пор не виданного, не слыханного, находящегося в самом зачаточном состоянии, вызывавшем страх у одних и восторг и восхищение у большинства народов всего мира. И это только за 25 лет, среди грозного океана вражды, ненависти, желания смять, раздавить, уничтожить или просто стереть с лица земли. А главное, не дать спокойно жить и строить, и это было с самого момента зарождения системы. Но смелые, упрямые, жесткие, иногда даже, может быть, очень жесткие люди после трехсотлетия монархического строя дома Романовых воздвигали новый фундамент нового общественного строя, и это то, что привело нашу страну к победе.

УМЕР СТАЛИН — трудно передать, что это значило для меня.

Тысячу раз задаю себе один и тот же вопрос: зачем я должна была очутиться в эмиграции, так глубоко по духу и по натуре русская, даже больше чем русская — советская, которая всю жизнь гордилась нашей страной, ее героическим настоящим и прошлым.

Зачем я здесь, на отшибе, среди чужого, ***до бесконечности чужого*** мне мира? Какая глубокая мировая подлость окружает все человечество! Даже страшно становится, такой подлости я никогда не ожидала от современного цивилизованного общества. Я глубоко, глубоко ненавижу, не переношу всякую несправедливость, быть может, это и привело меня к этому берегу. Я искала и надеялась найти справедливость здесь. Но, оттолкнувшись от той страшной, созданной при Сталине несправедливости, которую я не могла перенести там и которую изо всех сил многие даже старались оправдать, я никогда и нигде ее не нашла. Здесь она оказалась во многих отношениях более изощренной и отшлифованной за многие годы своего существования.

Только что открылось очередное заседание ООН, советская делегация зашла, спокойно заняла свои места. Встал представитель Канады в ООН г-н Пирсон, выразил глубокое сочувствие Вышинскому (Вышинскому — этому Малюте Скуратову, предателю и убийце) и всей делегации. Отстояли минуту траурного молчания, и советская делегация покинула зал заседания.

Итак, со смертью Сталина для них, и не только для них, а для всей нашей страны, для всей планеты, наступил новый этап жизни.

Заседания ООН продолжались, нападки — тоже, но немного поделикатнее и поскромнее.

Запад тоже как будто встрепенулся, решил поменять тактику и стал предлагать деньги на покупку чувств и идей: для поднятия

аграрной промышленности, строительства, здравоохранения. Но взамен они хотели бы получить хлопок, нефть и всевозможные металлы от тех, кто обладает этими богатствами. До чего же исторически верны, откровенны слова нового ханжи — американского президента: «Ведь кое-кто должен и обязан понять, что мы не можем жить без этих жизненно важных источников».

Амнистия!

Унылая, дождливая ночь, все спят, а я не могу уснуть. Сыростью пропитан весь воздух. В такую погоду даже в Нью-Йорке становится тихо. Не слышно ни автомобильных гудков, ни уличного шума. Изредка сорвется с места грузовик или прогрохочет поезд метро, и снова все утихнет.

Даже никогда не сомневаясь в том, что смерть Сталина должна и обязана принести колоссальные изменения, я все равно невероятно нервничала. Как можно исправить теперь все то, что он натворил? И как все будет дальше? И кто из всех оставшихся в живых ничтожеств сумеет это сделать? Я бы лично доверила все генералу Г. К. Жукову, более достойного человека из всех оставшихся в живых трудно найти. И меня вдруг как прорвало, я не могла успокоиться и все время плакала.

— Ну что ты так рыдаешь? Я не думаю, что тебе так жалко Сталина.

— Зачем, зачем же все так жутко происходило? Ведь он умер, умер, ему конец, но он же угробил, унес с собой в могилу самую лучшую из всех существовавших до сих пор идей. Он похоронил ее вместе с собой, не только похоронил, он ее обесславил навсегда. Ты понимаешь, Кира, когда я думаю о том, как могло бы быть и что он натворил за свою жизнь, у меня кровь стынет в жилах, и я уже тысячу раз спрашиваю: зачем? Зачем, в угоду кому он загубил, уничтожил Советскую власть?

— Конечно, все изменится, конечно, станет лучше. Иначе не может, не должно быть — произойдет коренная революция внутри. Много радикальных изменений должно произойти, — старался утешить меня Кира.

И вдруг по радио сообщили: объявлена амнистия. Здесь нервы мои действительно не выдержали, я не плакала, я просто рыдала.

— Да что это с тобой? Ну, о чем ты опять? Не волнуйся, успокойся, — в недоумении говорил Кирилл.

Господи, я так счастлива, так счастлива! АМНИСТИЯ! Ведь только подумать, какое это огромное счастье для тех, кто остался жив. Сколько миллионов людей плачут от счастья вместе со мной.

Отец, ведь уже прошло не 10, а 15–16 лет. Прошло… Жив ли он? Мне все еще не хочется поверить в то, что его нет в живых. Отпустят ли тебя? Отпустили? Родной мой, где ты? Что я узнаю о тебе? И узнаю ли я когда-нибудь и хоть что-нибудь?

Какую нестерпимую, жгучую боль носила я 15 лет, ведь это было наказание не только для него, а наказание для всей нашей семьи. Ведь это сгубило жизнь нашей матери, брата, днем и ночью рвавшегося в бой, чтобы кому-то доказать, что он не сын врага народа. И мою, то есть нашу жизнь, нашей семьи, из-за страха, чтобы наши дети не пережили то, что пережила я.

Как мама? Как она переживет все это? Ведь она навсегда потеряла всю семью, всех нас. Сколько сил и мужества надо иметь, чтобы все это пережить. Это один жуткий пример сталинского господства, сталинской деспотии, а сколько, сколько их во всей стране!

Вот поэтому мне так близки и понятны муки и страдания всех, у кого были заключенные, и я рада за всех тех, у кого хватило сил пережить этот кошмар.

Чем хуже, тем лучше

Вечером мы попали на совещание поредевшей уже элитной группы.

Выступил наш знакомый — польский писатель Вацлав Сольский:

— О, это огромное событие, но я все думаю: а как будет дальше? Ведь самое основное — это уверенность в своей безопасности, уверенность в том, что вас снова не схватят и не потащат в одну прекрасную ночь в тюрьму.

— Я считаю, что этого не должно уже быть, и тем более когда речь идет о том, что существующее судопроизводство должно быть пересмотрено. Я верю в то, что должны произойти радикальные перемены, одной из таких радикальных перемен я считаю амнистию и восстановление всех в правах, — ответил Кирилл.

И я вспомнила слова нашего погибающего молодого талантливого русского писателя Сережи Максимова: «Я бы никогда не убежал, если бы не боялся, что меня снова схватят и снова сошлют на Колыму». И таких, как он, кто не вернулся, много.

Самым большим оптимистом был Кирилл:

— Все переменится к лучшему в сторону демократии.

И вдруг раздался голос:

— А зачем все это нужно? Как же мы все тогда будем

бороться с коммунизмом? — озабоченно заявил только что вошедший Владимир Вишняк.

— Это нужно для того, чтобы укрепить власть, создать хорошие, нормальные условия жизни для людей. Ну, а к коммунизму будут тоже потихоньку либо приближаться, либо отдаляться, в зависимости от обстоятельств. При нашей народной Советской власти без диктатора это все возможно, — продолжал настаивать Кирилл.

— Но все то, о чем вы говорите, при коммунизме создать невозможно, коммунизм — это диктатура, это рабство, — настаивал Вишняк.

— Да вы тоже поймите: «До неба высоко, до коммунизма далеко». А вот сейчас вы понимаете, ведь уже объявили амнистию. Выпустили врачей. Снизили цены. И обещают всякие послабления, значит, и при так называемом коммунизме тоже кое-что возможно.

— Хорошо, а что же будет дальше? Что, они (то есть советские) будут стараться доказать нам, что коммунизм тоже может быть более человечным? И что вы за наивные люди; ведь для успешной борьбы с коммунизмом: «чем хуже, тем лучше», — отвечали они ему.

А один из этой антикоммунистической элиты по борьбе с коммунизмом был предельно откровенен:

— Понимаешь, американцы сразу сократят свои стомиллионные ассигнования, предназначенные для борьбы с коммунизмом. Они уже намного сократили их на антисоветскую пропаганду, а дальше пойдут сокращения служащих. И я уже наблюдаю панику среди многих из нас, работающих на этом поприще.

Я не могла выдержать:

— О чем это вы?! Да я от радости все время рыдала, с глазами, полными слез, и с улыбкой счастья на лице так и ходила целую неделю, как дура.

Честно скажу, от таких выступлений мне становилось жутко. «Чем хуже, тем лучше»! Для кого? У меня глаза на лоб полезли. Амнистия — плохо. Кусок лишнего хлеба — хуже, а всякие там проблески какого-то послабления — так это еще хуже худшего.

Они все здесь боролись с коммунизмом и с советской системой по тому же принципу — чем хуже, тем лучше. Сталин для всех был воплощением коммунизма и советской системы. А если бы они в то время не боролись с советской системой, а прямо и просто боролись со Сталиным, и сумели бы убедить советский народ, что боролись только со Сталиным и с его политикой, и обещали сохранить все достижения и достоинства

советской системы, которые народ завоевал, может быть, может быть, их борьба была бы более успешной, а страдания народа меньше. Ведь люди, ненавидя Сталина, боялись и не хотели потерять те привилегии, которые они с такими тяжелыми потерями завоевали во время Гражданской войны. Сталин, собственно, совершая свои преступления, и держал весь народ в кулаке, спекулируя этим и получая поддержку у народа.

Ленин, наверное, сильнее и больше, чем Сталин, стремился бы к социализму и коммунизму, но не таким путем, как Сталин. Я уверена, при нем не было бы такой жестокой, принудительной коллективизации, не было бы голода и такого страшного кровавого побоища и уничтожения лучших из лучших кадров. Он изо всех сил старался бы накормить страну, при нем, я уверена, рабочие у доменных печей не падали бы в голодные обмороки. Он шел бы по пути Бухарина: «Обогащайтесь!»

Смерть — это крепкий сон

В эту сумрачную ночь, когда все спят, а мне не спится и так тяжело на душе, всякая всячина в голову лезет.

Смерть — это слово меня не пугает. Смерть — это сон, беспробудный сон, без сновидений. Смерти боятся живые, но не спящие.

А что, если я вдруг умру или навеки усну? Я бы не хотела, чтобы тяжелый каменный или чугунный памятник сдавил мне грудь. Надо мной должна быть легкая, рыхлая земля, чтобы невидимые струйки воздуха проникали внутрь, а кругом ветки, зелень, кусты, цветы или, может быть, беседка, светлая, уютная, обвитая вся плющом. Чтобы там были скамеечки, столик, картины, вот этот светлый, ласковый букет моей девочки или ее огненно-яркий натюрморт. Мне жалко расстаться с живыми яркими красками, с шумом веселых голосов, смехом и песнями. Я знаю, что это дико и я все это не услышу. Я знаю больше: загробной жизни нет, так же, как не было ее до появления зародыша, и что через короткий промежуток времени вообще ничего не останется. Но люди в утешение себе во время жизни и перед страхом смерти придумали будущее бессмертие и, как будто желая продлить свою жизнь, дофантазировались до загробной жизни.

И я, твердо зная, что после этого ничего больше нет, что смерть — это точка, все-таки хотела бы, чтобы в беседке над моим прахом висели яркие красивые картины, чтобы собралась веселая группа молодежи, поставили букет цветов, поиграли, попели милые, любимые песни, весело крикнули «Покойной

ночи!» и ушли.

Ведь с тех пор, как мир стоит и стоять будет, люди рождаются, чтобы умирать, и это их самая главная и неотвратимая цель. В ту самую секунду, когда человек отделился от утробы матери, нет — еще даже раньше, в самом первом прикосновении зародышей, это уже первый шаг к своей смерти, и это расстояние с каждым днем, с каждым часом сокращается. И все, что человек делает, вся его жизнь проходит мимо, он в этом мире гость. Единственное, что никогда не пройдет мимо, — это смерть.

Смерть, которая никогда никого не забыла с тех пор, как существует мир. Это так же естественно и нормально, как и сама жизнь.

Значит, не должно быть грусти, печали, а надо постараться сделать ее спокойной и думать о том, что для одного из нас уже кончились горечи, боли, разочарования и вообще все земные страдания и наступил полный физический и душевный покой. Я бы хотела, чтобы над моей могилой была оранжерея или картинная галерея, играла музыка и жизнь била ключом.

Меченые

Ребята закончили «хай-скул», Вика — «Музик-энд-Арт», Володя — «Джордж Вашингтон», и после тяжелых и долгих попыток Вике удалось получить небольшой «сколаршип», то есть стипендию, в «Барнет-Колледж», а Володенька решил пойти в «Сити-Колледж». Когда Володя кончал, ребята в его школе удивлялись и говорили: «Мы думали, что он получит все стипендии», он так хорошо учился и закончил лучше всех. Но он ничего не получил.

Но через семестр он перешел в Колумбийский университет, за который надо было платить. Ему даже пришлось найти «part time job» (подработку на неполный рабочий день) во французском посольстве.

Чтобы поступить в какую-либо серьезную компанию по специальности как инженер, в нашем положении надо было пройти «скрининг», то есть проверку, до седьмого колена. Каждая из этих компаний рассчитывала и надеялась получить какой-либо государственный заказ, и поэтому, каким бы ты крупным специалистом ни был, не получив «clearance» — справку от ФБР, не мог быть принят на работу. В обыкновенную компанию за мизерную зарплату так же проверяют, может быть, чуть-чуть поменьше. Но все они, по существу, звонят в ФБР, если дело касается иностранца, а мы были не просто иностранцы, а

иностранцы, как говорят, «меченые», и еще на особом учете, а это значило, что найти работу в нашем положении было почти невозможно или очень трудно, даже при наличии «билля».

В нашем положении преуспели только те, кто, как Гузенко, явился с чемоданом документов, вынесенных из советского посольства. Или как Бармин, который до побега уже был связан с американскими органами. Или как Виктор Кравченко, которому Джин Лайонс под горячую руку, в самый разгар начала послевоенной антисоветской гонки, написал и издал книгу, и он сумел очень быстро деньги, полученные за эту книгу, вложить в Чилийские медные рудники. И другие, более опытные, чем мы. Мы же по своей наивности рассчитывали работать только по специальности и ни с кем и ни с чем больше не связываться.

«Билль» прошел!

Наконец после стольких лет мучений «билль» наш прошел и был утвержден сенатом только в 1954 году.

Наши друзья действительно из кожи вон лезли, стараясь провести наш злополучный «билль». Джину Лайонсу в конце концов это удалось сделать через сенатора Мак-Каррена.

К этому времени мне опротивело буквально все. Я не только радоваться, а даже смотреть на него уже не хотела. Надо мной еще висел этот проклятый приговор «туберкулезная больная», значит, о работе не могло быть и речи, так как я уже раньше сказала — в Америке быть туберкулезному хуже, чем прокаженному.

Фея-спасительница

И вдруг нашлась фея-спасительница. Даже не помню, как она появилась, но появилась. Антонина Андреевна Гончарова, врач. Из старой, как мы говорили, чехословацкой эмиграции. У нее на Риверсайд-драйв был приют для старых больных, собиравшихся на тот свет, за которыми некоторые состоятельные семьи не могли или не хотели ухаживать.

Это была поистине та русская женщина, о которых так сердечно, так тепло и с таким восторгом писал Некрасов. Это была одна из тех русских женщин, которые даже у немцев вызывали восторженное недоумение. Русских женщин, которые, сами голодая, бросали последний кусок хлеба военнопленным, проходившим мимо: «Может быть, какая-нибудь немецкая мать бросит кусок хлеба и моему Ване или Коле». Совсем не думая о том, что этот самый немец, кому попал кусок ее хлеба, только что

в боях убил ее Ваню или Колю.

Вот ее теплые, ласковые руки помогли, кажется, мне встать на ноги.

Но, к нашему общему сожалению, нам довольно скоро пришлось расстаться. Ее единственный сын страдал от астмы, и он не мог переносить климат Нью-Йорка. Они ухали в Калифорнию, откуда мы долго получали от нее письма, полные заботы и внимания ко всей нашей семье.

И как только я получила заключение врачей: «Размягченный язвенный характер с явным просачиванием в правую верхнюю часть легкого, которое ясно обозначалось раньше, — стабилизировалось», я стала искать работу.

Разочарование

Женщина-металлург?!!

Я тут же решила — была не была! — и пошла ходить по агентствам заполнять анкеты, но скоро поняла, что женщина с моей специальностью попасть на работу по специальности не может.

Тогда я решила пойти к главе горно-металлургического факультета Колумбийского университета профессору Келлогу. Был ли это тот самый профессор Келлог, научные работы которого мы изучали еще в институте, я не знала, но фамилия показалась мне очень знакомой.

Принял он меня моментально. Я рассказала ему подробно не о нашем теперь уже статусе, а о том, где училась, что кончила, где работала, короче говоря, все, что касалось моего образования и моей специальности.

Я должна сказать, к чести нашего образования, когда я ему перечислила все, что мы проходили в институте, он был поражен и сказал, что здесь даже у человека, получившего докторскую степень, нет такой широкой подготовки.

И что в Колумбийский университет на этот горно-металлургический факультет, насколько он помнит, поступили всего две или три девушки, но и те не закончили, сбежали.

Я сказала ему, что я не удивляюсь, так как из своего опыта знаю, что женщин по моей специальности предприниматели на работу не берут.

Он удивленно заявил:

— Как не берут?!! Я знаю, что по вашей специальности специалисты очень нужны. Сейчас проверим.

Он поднял трубку и начал звонить по разным предприятиям. Все отвечали, что да, им нужны специалисты по моей специальности. В нескольких местах ему даже сказали, какое жалованье они дают таким специалистам.

— Вот видите, — шепнул он мне, уверенный, что все сразу образуется. Но как только профессор Келлог упоминал, что этим специалистом является женщина, они тут же, по-видимому даже зная его очень хорошо, как я чувствовала по разговору, отказывали.

Мне даже стало забавно: если ему (который обращался с ними, как у нас бы сказали, запанибрата) отказывают, что же я могу ожидать? В то время еще не подавали так часто в суд за

дискриминацию, да мне бы это и в голову не пришло при нашем советском воспитании.

Он был искренне смущен. Он так уверенно хотел доказать мне, что я не права.

— Теперь вы понимаете, почему ваши женщины бегут с этого факультета? Вот поэтому я и пришла к вам посоветоваться, я уже все испытала.

United Metallurgical Petroleum Society

Тогда он позвонил в «Юнайтед-металлурджикал-петролиум-сосайети» Роберту Шерману и объяснил ему всю ситуацию. Мистер Роберт Шерман, как я позже узнала, был одним из тех, кто стоял во главе этой почтенной организации.

В тот же день я поехала к мистеру Роберту Шерману на собеседование. Наш разговор был очень короткий, значит, профессор Келлог сообщил ему все до моего появления. Господин Шерман сам спустился со мной в роскошную библиотеку, представил меня целой группе специалистов, работавших при библиотеке. Здесь были специалисты из разных стран, которые изучали техническую литературу своей страны и составляли аннотации, интересующего здешних заказчиков.

Самая большая и важная была русскоязычная секция. Я занималась литературой, поступавшей из Академии наук СССР, и была поражена при нашей якобы сверхъестественной секретности, той откровенности, с какой описываются все наши эксперименты, даются подробные анализы: зачем, почему и для чего, как будто каждый пишущий ту или иную научную статью хотел показать свою грамотность и легко и просто выдавал все секреты.

Этого нет у иностранцев, они говорят и пишут много, но сути дела, самого существенного никогда не выдадут, иначе вылетят с работы в два счета. Например, кто работает на третьем этаже, не знает ничего о тех, кто работает на втором или на любом другом этаже и даже в соседней комнате.

Я помню, когда Кирилл, работая на предприятии, спросил у рабочего, что это за деталь, которую он делает, тот, удивленно посмотрев на него, ответил: 15 лет я здесь работаю и никогда не думал об этом, мне говорят: сделай, и я делаю.

Еще один пример. Когда был запущен советский спутник, в Америке поднялась тревога: ведь нам потребуется не меньше десяти лет, чтобы догнать советских. В школах, университетах начали пересматривать все учебные программы и пришли к заключению, что здесь в школах очень мало внимания уделяется математике и, вообще, серьезным предметам. Во всех колледжах

и институтах начали преподавать русский язык — паника была нешуточная. Но когда мне попали в руки материалы издания Академии наук, я сразу сказала: через год здесь запустят спутник. Там было все как на ладони изложено, а здесь в неограниченном количестве были деньги.

А главное, ведь здесь было все: все материалы немецкого ФАУ-2 и сам доктор БРАУН со всей своей свитой. И поэтому все искренне удивлялись, как это американцы при наличии всего этого упустили возможность стать первыми, и даже ставшее им ненавистным слово «спутник» быстро назвали «сателайт», и полет на Луну первыми был компенсацией за этот промах.

Чет, нечет

Г-на Шермана я часто встречала в кафетерии этого учреждения, он всегда присаживался к моему столу, как старый знакомый. Однажды в разговоре об ООН, находившейся через дорогу от нас, я сказала, что с удовольствием пошла бы туда работать, но меня не примут.

— Вы действительно хотели бы туда попасть? — спросил он как-то озадаченно.

Я рассмеялась:

— Скажите Роберт, а кто бы отказался от такой возможности?

Прошло некоторое время, и он, как всегда присев к моему столику, сказал:

— Вот вам визитная карточка, позвоните по этому телефону. Этот господин работает в отделе кадров ООН и я уверен, вас обязательно примут, хоть мне лично будет очень грустно расставаться с вами, но там вам будет лучше, а ведь это самое главное.

Так через некоторое время после встречи с этим начальником отдела кадров ООН, меня приняли по временному контракту на испытательный срок. Очень скоро временный перешел в продолжительный.

Несмотря на все, мне было грустно и очень, очень больно как за себя, так и за Кирилла, расходовать свои знания где-то на чужбине.

Кирилл, который блестяще защитил дипломный проект под бурные аплодисменты всех присутствовавших и был тут же сразу зачислен в аспирантуру, будучи еще студентом, был уже главным конструктором первого и единственного нового предприятия огромного военного значения в СССР. Благодаря ему ни одного агрегата не было заказано за границей, все было изготовлено на наших отечественных предприятиях по его чертежам. После

окончания строительства этого завода он сразу же был назначен главным инженером этого предприятия.

И в день открытия предприятия один из крупнейших, как мы тогда говорили старых ученых в этой области тов. Карасев (когда он скончался, некролог о нем был на первой странице газеты «Правда») сказал мне: «Я преклоняю голову перед гением вашего мужа», и, глядя на наших детей, он продолжал: «У вас двое детей, а у вашего мужа ***трое.*** Завод, который он построил, — это его детище, и какое детище!»

И когда этот первый и единственный в Советском Союзе завод, оснащенный нашим, советским, а не иностранным оборудованием, был пущен в эксплуатацию, все эксперты считали, что качество продукции этого завода выше иностранного.

Поэтому, когда я работала в ООН, у меня все еще было чувство, что я работаю не для какого-то хозяина, а для людей, населяющих нашу планету, и что моя работа нужна и полезна. Кирилл же просто погубил свой талант, и ему было еще больнее, чем мне.

Проработала я там до пенсии. В ООН существует потолок, уходить на пенсию надо было в 60, максимум в 62 года, из-за географического распределения, так как каждая страна желает продвинуть свои кадры.

Эпилог

Находясь здесь, за границей, мы встречались с сотнями эмигрантов из Советского Союза, которые очутились, по тем или иным причинам, во время войны в Европе и которые даже после немецких концлагерей боялись вернуться к себе на Родину, чтобы не попасть в концлагеря снова уже у себя на Родине.

Все спрашивали: «Зачем мы все торчим здесь, почему мы не дома?» И если бы не дикая боязнь снова очутиться в лагерях, то многие, многие вернулись бы.

Вернулись бы даже те, кто, может быть, и думал сначала: хоть с чертом, но, может быть, будет лучше, чем со Сталиным. Но, помотавшись по заграницам, почти все хотели вернуться, и снова Сталин решил без суда и следствия всех сослать в лагеря, утверждая, что у нас нет военнопленных, а только изменники.

Да, были такие, которые ринулись к немцам в пасть, и опять же не потому, что они готовы были стать изменниками своей родины, а потому, что хоть с ***чертом,*** но лишь бы избавиться от сталинщины. Ведь у всех, буквально у всех до единого, кого встречала я здесь, кто-то из близких и родных был арестован, расстрелян или сослан. И все они плакали и твердили одно и то же, что они хотят вернуться ***домой.***

Домой — это слово всегда вызывало грусть и боль даже у тех, у кого, как и у меня, многие годы не было не только «дома», а даже койки в полном смысле этого слова, и в лучшем случае была какая-нибудь комнатка в какой-нибудь коммунальной квартире. Но все равно, это был ***дом,*** для меня вся наша страна была моим домом, и я скучала, тосковала и, как Лермонтов, всегда твердила:

Но я люблю — за что, не знаю сам
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее подобные морям…
Люблю дымок спаленной жнивы,
Вдали кочующий обоз,
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.

И вот на этой до ***боли любимой*** родине у меня нет даже ***родной могилы.*** Где погиб, где похоронен мой отец, я не знаю. Погибло ведь много, много людей, и кто-то когда-то должен дать ответ: за что? И почему? Тем, кто до сих пор остался жив, и тем,

кто таким трагическим образом ушел из жизни, и тем, кто долгие годы был приговорен к мукам вечной неизвестности. Разве эти люди не вправе спросить: «Где ***могилы погибших?*** И куда девались, куда исчезли трупы расстрелянных, или умерших, не выдержавших испытаний в лагерях и тюрьмах? Если их сжигали, то какие крематории надо было соорудить, чтобы в них исчезло, сгорело такое гигантское количество людей? Но если их хоронили в братских могилах, то где находятся эти братские могилы, к которым можно было бы подойти родным и близким и молча уронить горячую слезу или положить цветок на холодный камень?»

Ведь это были трупы отцов, матерей, дочерей и сыновей. Они ведь не могли исчезнуть так прямо, бесследно от выстрела пули. Во всех странах мира трупы даже самых отъявленных преступников после суда и казни могут быть выданы родным и близким на погребение, а здесь уводили человека из дома — и он исчезал навсегда.

Где погиб мой брат, я знаю, а где его могила, я не знаю. И когда умерла моя мать, мне хотелось иметь маленький кусочек нашей родной земли, за которую так горячо и так бескорыстно воевали мои родные, — и этого я не имею.

Смерть моей матери для меня была не просто утратой близкого человека, с ней вместе ушла одна маленькая капля великой, неповторимой истории нашей родины.

С какой силой, с каким энтузиазмом она спасала беспризорных детей после Гражданской войны! Это были сотни, сотни, которые называли ее мамой. Главной целью ее жизни после Гражданской войны было спасение детей, ведь дети — наше будущее, наше сокровище, ради них, ради их будущего, считала она, шла война, и приносились миллионные жертвы. У нее всегда хватало сил поддерживать и помогать всем, кто в этом нуждался.

И когда она скончалась, оказалось, не так просто в Москве найти не только клочок земли, где похоронить ее, но даже нишу в стене для урны не так просто было достать. И когда кто-то сказал, что ***за взятку*** можно получить могилу на любом кладбище в Москве, я ужаснулась, так как я считала, что самым большим ***оскорблением*** памяти моих неподкупных родителей было бы получить кусочек земли для их могилы за взятку.

Подводя итоги

У нас было много веселого, жизнерадостного

Побродив по свету и повидав многое, я должна сказать, что в этой новой системе было так много хорошего, жизнерадостного, веселого. А энтузиазма было столько, что, казалось, хватило бы сил весь мир перестроить!

Начиная с детских лет, вспоминаю эти веселые стайки октябрят и пионеров. Лагеря, когда летом пустели от детворы города. Пионерские дворцы, где любой ребенок мог заниматься тем, чем хотел, и проявить свои способности под руководством прекрасных преподавателей и руководителей. «У нас „культ ребенка“», — сказал мне однажды культурный, образованный журналист. И это была правда. И эта правда была во многом залогом нашей победы во время Второй отечественной войны.

Немцы, которые намеревались за два месяца, одним дыханием свергнуть Советскую власть, вдруг поняли, что этого так просто сделать нельзя из-за того общего чувства коллективизма, которое стало уже нормой. Вот цитата из письма моего брата с Ленинградского фронта: «Насчет друзей моих я могу написать одно — это прекрасные люди, с которыми я вместе работаю, живу, сплю, кушаю и хожу в бой». Так вот, эти прекрасные люди своими жизнями отстояли, спасли не только Ленинград, а всю страну и всю Европу.

В те самые тяжелые постреволюционные годы, пока Сталин не наложил свою кровавую лапу, было много живого, красивого, веселого и радостного. Потому что: «Велика страна МОЯ РОДНАЯ, много в ней лесов, полей и рек»… И это все было наше, наше.

То, что Советская власть это террор, было сущей неправдой. Я всегда, с моих самых юных лет слышала и запомнила, что Ленин и вся его политика были против ТЕРРОРА, так как он считал, что террор — это неэффективный метод борьбы, что на смену убитому чиновнику, как правило, приходит более реакционная и более жестокая личность. И поэтому я уверена, что при Ленине к власти никогда не пришел бы самый страшный за всю историю России террорист.

Диспуты журналистов

Нас часто приглашали журналисты на свои диспуты, которые

происходили в каком-то особняке на Риверсайд-Драйв. И вот однажды, во время возникшего между ними спора по вопросу:

Что такое Советская власть?
Какую роль играет в ней Сталин?
Как с ней бороться?

Когда спор зашел в тупик, они обратились к нам с вопросом: против кого им следует бороться, против советского коммунистического строя или против Сталина?

И когда мы в один голос сказали:

— Конечно, против Сталина, — произошло странное замешательство. Я даже спросила у нашего друга: «В чем дело?»

Кирилл догадался сразу, что мы сказали то, что им не хотелось услышать.

— Видите ли, все они считают, что бороться нужно ***с советской системой,*** со всей коммунистической идеологией, а не со Сталиным, — ответил наш друг. — Он был им не страшен, его в одно мгновение ***можно было бы убрать.***

Значит, Сталин делал все то, к чему стремились империалисты всего мира: не жалея сил и средств, уничтожить, задушить не только великую идею, но и наилучшую в мире народную советскую систему.

Разве мог умный дальновидный человек натворить столько кровавых дел в своей стране, превратив ее благородные лозунги и ее ***великую идею***, за которую боролся не только наш народ и готовы были бороться народы всего мира, в насмешку?

Ведь злодеяния Малюты Скуратова при Иване Грозном, о которых я с таким ужасом читала в детстве, меркли перед злодеяниями Сталина, которые происходили у нас на глазах. Тот расправлялся с непокорными боярами, оставив в покое простой люд, а наш Иосиф Грозный не оставил никого в покое, вплоть до пастухов. Потому что где-то кто-то считал, что ***недовольство*** надо создать во всех ***слоях общества,*** не только на верхах. Это я тоже вычитала из ***инструкции,*** изданной в самой богатой стране мира специально для тех, кто должен был бороться с неугодными ей правительствами.

А сколько расплодилось в эти годы льстецов и подхалимов, которые подхватывали его бредовые идеи, составляли и подсовывали списки тех, кого надо уничтожить для чистоты будущей «сталинской социалистической системы»!

Никто, никто, ну буквально никто другой, кроме Сталина, не мог, не смел и не в состоянии был прекратить эту кровавую вакханалию. Он один, и только он, взял на себя всю власть и все эти открытые, закрытые суды, расстрелы в 24 часа после

вынесения приговора, не дав никому опомниться. Все зависело от Сталина, и только от Сталина, как при Ягоде, так и при Ежове, при Берии и при всех других, тоже «главных исполнителях массовых репрессий».

Разговор по душам

Высказав свою неприязнь к Сталину, я вдруг услышала, по существу, то, о чем, мне казалось, я только догадывалась.

Мы беседовали с одним очень активным организатором и руководителем группы НТС (Народный трудовой союз). Он усиленно уговаривал нас примкнуть к ним, бахвалясь и с гордостью подчеркивая, какую огромную работу проводила эта организация в борьбе с большевизмом, коммунизмом и Советской властью. Он рассказывал, как они подготавливали и отправляли в Советский Союз людей.

Многие погибли, но многим удалось не только выжить, но и работать и даже занимать очень крупные, ответственные посты в правительстве.

— Как выдерживали ваши посланцы тот сталинский террор, который он учинил? — спросила я.

Он ответил, что их люди ***знали*** все его слабости, все его недостатки. Ведь и Ленин в свое время тоже предупреждал о них, но никто не обратил на это внимание, а они здесь очень крепко над этим работали, очень тщательно изучали все.

— Они знали, что он жестокий, мстительный, не терпел никаких возражений, любил власть, и не просто власть, а власть, где он мог проявить свою жестокость и мстительность, это хорошо он продемонстрировал, когда решил выслать Троцкого и затем ликвидировать его, — сказал он.

— А почему он решил выслать Троцкого, когда он мог бы ликвидировать его прямо здесь, на месте? — спросила я. — Это было бы проще.

— Потому что в то время он не набрал еще достаточно сил и не чувствовал себя достаточно крепко и уверенно во власти, а также не успел еще полностью прибрать к рукам все органы, чтобы доверить им ликвидацию такого лидера. И даже когда он решил ликвидировать НЭП, он не мог сделать это сразу быстро и без раздумий. А вот когда он взялся за проведение коллективизации, он не проводил это мероприятие просто так, он проводил его уже с угрожающим ожесточением, доведя этот процесс до точки кипения, и утих, только переметнувшись на чистку партийных рядов, где разгул его жестокости превзошел все наши ожидания, — продолжал свой рассказ наш собеседник. —

Он жаждал власти, жестко, жестоко и безапелляционно. Ему нельзя было ни в чем возражать. А самой его уязвимой слабостью была ***подозрительность.*** И на этом можно было играть как на струнах. Подозрительность болезненная, маниакальная. Он был настоящий ***параноик,*** такой диагноз был поставлен очень известными психологами после того, как были испытаны, изучены многие его качества и поступки в его борьбе с Троцким и троцкистами за власть.

Его параноидальная жестокость, испытанная на таких примерах, как коллективизация и полное уничтожение не только боевых соратников, но и самых близких родственников и членов семьи Аллилуевых и Сванидзе, тогда как для ***нормального*** кавказца семья — это неприкосновенный очаг, — все это не мог сделать нормальный человек.

Мой собеседник также утверждал, что самое главное было — дать ему идею, ***подсказать***, а остальное его болезненное воображение доводило до желаемого предела без труда.

— То же самое, — сказал он, — было с различными уклонами. Нащупав его слабости, они решили ими воспользоваться: — И знаете, с нашей стороны даже интересно было за ним наблюдать, и, как только его ретивость чуть-чуть утихала, ***мы подливали*** масла в огонь, и костер разгорался с новой силой. Я должен сказать, что результаты ***превзошли*** все наши ожидания.

Я, по-видимому, смотрела на него таким взглядом, что он не выдержал:

— Что вы на меня так смотрите? Ничего удивительного здесь нет, такими методами пользуются правительства разных стран. Особенно Германия. У нас там (то есть в России) были «свои» люди.

О том, что в имеются «свои люди» этом я уже не один раз слышала и из разных источников.

— Так как же все это было возможно? При его подозрительности, как же он ***не мог*** догадаться, что его окружают «свои люди» и все, что делается вокруг него, это подвох? — спрашивала я.

— Очень просто, — ответил он. — Зная его тщеславие, его любовь к лести, к сладкословию, — вот на этом мы и играли. Там были ***наши люди,*** которые задавали тон в печати, писали стихи, сочиняли дифирамбы. А подхалимы? Ну, где же их нет? Они всегда находились на месте, если знали, что это принесет им тоже почет и какую-нибудь материальную пользу. Вот ***они-то*** и превозносили его до небес, обожествляли, и чем больше мы убеждались в правоте наших анализов, тем больше и глубже мы

искали и находили пути, как бороться с большевистским режимом.

— Вы называете это борьбой с большевистским режимом? А разве вы не понимали, как ***тяжело*** народу? Вы хоть раз подумали о ***невыносимых*** страданиях народа?

— О, да! — сказал он. — Конечно, думали.

Но они считали, что чаша терпения народа в один прекрасный день будет переполнена сталинскими художествами и тогда наступит ***конец большевизму.***

— Мы ведь не были против ***народа,*** мы собирались сохранить ***все привилегии***, такие, как образование, здравоохранение и многие другие социальные услуги, — все это в нашем уставе есть, нам надо было только ***свергнуть большевистскую тиранию.***

Кирилл не выдержал:

— Но я прочел ваш устав и вашу программу, и она ничем не отличается от фашистской. Что же вы собираетесь предложить русскому народу, неужели эту галиматью, которую я только что прочитал?

— Мы против фашизма, но их программа для немецкого народа заслуживает внимания.

— Скажите, а вот аресты, расправы с ленинской гвардией, со всеми старыми маршалами и командирами Красной Армии в тридцатые годы до начала Второй мировой войны — это тоже входило в эту схему борьбы с большевистским режимом? — спросил Кирилл.

— А по-другому нельзя было, ведь вся власть находилась у него в руках, вокруг него была уже целая армия людей, среди них были и наши, которые не за страх, а за совесть славословили его, выполняли каждое его желание. В руках наших борцов с Советской властью он стал очень удобным оружием. Никто не в состоянии был бы сделать ***лучше его*** то, что мы хотели сделать. Он же развалил сельское хозяйство, разгромил партию, уничтожил ее лучшие руководящие кадры, обезглавил армию. Ну кто бы мог лучше его сделать это? И до чего оказалось все легко и просто! Мы даже убавили свой пыл, делали это с большим тактом, чтобы, не дай бог, не вызвать каких-либо подозрений со стороны. Хотя те, кто мог бы это сделать, давно уже были от этого отстранены.

— Почему же вы не убили Сталина?! Я же днем и ночью думала: господи, хоть бы нашелся кто-нибудь.

— Это была бы самая большая глупость, если бы мы это сделали. Мы же боролись с ***советским режимом***, с коммунизмом, а не со Сталиным. Сталин оказался самым лучшим оружием для осуществления этого. Если бы мы его убрали, а всех остальных не

тронули, Советская власть была бы в тысячу раз сильнее.

Этот разговор я привожу почти дословно с очень (как я уже сказала) видным членом НТС, организатором, создателем. Если он даже бахвалился и преувеличивал, то все равно какая-то доля правды в этом есть. Он еще много и долго говорил и о тех, кто был послан туда и там погиб.

«А ведь он прав, — подумала я, слушая его. — Действительно, если бы его, то есть Сталина, убрали и все остальные погибшие остались на своих местах, счастливее нашей страны не было бы. Пусть потом посмертно его даже обожествили бы.»

А я удивлялась и никак не могла понять, откуда появлялись все эти ***нелепые,*** которые даже трудно придумать, обвинения, которые предъявляли заключенным, какую надо было проявить изобретательность, чтобы выдумывать их. И расстрелы всех осужденных в 24 часа, не давая осужденным время даже опомниться. Ну, скажите на милость, кому и какой они могли бы нанести вред, если бы даже недельку просидели за решеткой в тюрьме после приговора? Значит, кто-то ***торопил*** покончить со всеми как можно скорее, чтобы скорее спрятать концы в воду, а то вдруг кто-то передумает, опомнится.

И после этого откровенного разговора я вспомнила, что еще в Москве я слышала, что немцы подсовывают Сталину ***фальшивые доносы*** на самых крупных военных деятелей и что на маршала Тухачевского немцы тоже состряпали фальшивый донос, за который Сталин якобы заплатил дорого, но фальшивыми деньгами. И когда Сталину сообщили, что его деньги фальшивые, он спокойно ответил:

— Да, но ваши доносы тоже фальшивы.

Так значит, все это правда. И этот «кавказский ишак» (как все за глаза называли его) ***покорно выполнял волю*** тех, кто всех нас ненавидел, кто мстил и боролся с Советской властью и с коммунизмом. Он действительно точно действовал по принципу «пока я у власти, а после меня хоть потоп».

Никакая антикоммунистическая пропаганда никакой страны не сумела бы скомпрометировать в такой степени ***советскую систему,*** нанести такой вред, такой сокрушительный удар коммунистической идее, коммунистическому движению во всем мире, какой нанесли злодеяния Сталина над **своим собственным героическим народом.** И многие честные, преданные коммунисты во всех странах мира с горечью, болью и со слезами на глазах отшатнулись и ушли из партии.

И наша страна, к сожалению, ***никогда и никак*** не сможет смыть это кровавое сталинское пятно из своей истории.

Но разве это не парадокс, что сталинские злодеяния стали трагедией для всего человечества? Как это случилось? Как это могло случиться? Чтобы первое в мире государство трудящихся возглавил человек, по существу не имевший никакого отношения к происходившим в то время событиям, даже при неукротимом желании приписать ему такие заслуги, которые он никогда не совершал. А те интеллигентные, образованные люди, которые могли и хотели сделать из страны сказку, были все уничтожены.

А ведь если бы он, только один он просто пальцем шевельнул, вся эта кровавая вакханалия прекратилась бы и все эти невинно пострадавшие вернулись к мирному созидательному труду. Сколько миллионов жизней сохранил бы этот поступок, сколько пользы принесли бы они не только нашей стране, но и всему человечеству во всех странах мира, но он не сделал это до самой своей смерти.

Сталинский «трест»

Когда-то я прочла, что после разгрома Красной Армией белой армии удалось значительную часть, около 160–170 тысяч человек, под командованием генералов Врангеля и Деникина морским путем перебросить в Турцию. Где их никогда не покидала надежда, перевооружившись, ***при помощи иностранных держав*** (а не ***своего народа)*** под колокольный звон въехать в Россию, уничтожить ***народную Советскую власть*** и перевешать всех большевиков тогда еще во главе с Лениным и Троцким.

В то, что народную Советскую власть можно уничтожить ***при помощи иностранных держав,*** крепко верила ***правая монархическая часть эмигрантов.*** Поэтому основная часть монархически настроенной эмиграции, объединив свои силы, избрала ***Высший монархический совет*** (ВМС), который возглавил генерал Врангель.

Генерал Врангель и все его окружение, так же как и во время Гражданской войны, пытаясь сохранить армию от распада, старались держать ее вне политики и проводить в жизнь монархическую программу под лозунгом «непредрешенчества». Они считали, что наше дело — избавить страну от большевизма, а что дальше — видно будет, потом разберемся.

Но была и другая группа, которая считала, что Советскую власть нельзя ликвидировать военным путем, тем более извне, и что этот путь уже потерпел поражение. Теперь же ставку надо делать на *антисоветские, антибольшевистские силы внутри страны*. Там ведь осталась и живет основная часть монархически настроенного населения. Не могли же

все они так внезапно за 15–20 лет перемениться после трехсот лет дома Романовых!

Почему монархисты считали, что ***основная часть населения*** России монархически настроена? Если бы это было так, то тогда бы они легко победили в Гражданскую войну. А ведь тогда уже видно было как ясный божий день, что в нашей многомиллионной стране против царского режима, помещиков и буржуазии вообще боролась основная часть населения, и если не вполне, то в достаточной степени ***сознательно***.

Ведь крестьяне громили и жгли помещичьи усадьбы ***задолго*** до того, как услышали о большевиках. Вообще, ***что такое большевизм, никто понятия не имел,*** а о Ленине тем более никто даже слыхом не слыхивал.

Да, собственно говоря, и те несколько десятков тысяч, в основном малограмотных тогда, коммунистов на всю нашу огромную страну вряд ли сами толком понимали, что такое коммунизм, а тем более что такое большевизм. Поэтому народ боролся и шел на смерть за одну и ту же простую идею: за будущее счастье жить на земле, которая бы по праву принадлежала всем в равной степени, а не посланным богом небожителям. «Долой, долой монархов, раввинов и попов». Им хотелось даже на небо залезть и разогнать всех «богов», на глазах которых была создана *такая несправедливая жизн*ь на этой земле.

А вот что именно русские монархисты и аристократы в то время не поняли это то, что им надо было уменьшить свой аристократический пыл и гонор, выучить получше свой родной русский язык и снизойти со своих поднебесных вершин и ***постараться понять и поговорить*** с народом. Я подчеркиваю — с НАРОДОМ, тогда не было бы Гражданской войны и не было бы жестокости с обеих сторон.

Известный русский писатель Роман Гуль вот что пишет в своих воспоминаниях о русской аристократии:

«После записи в армию гвардии полковник Пронский обращается к нам с речью… Картавя и не по-русски, а по-петербургски… растягивая слова, он говорит:

— Поступая в ***нашу*** (ударяет на этом слове полковник) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь ***„рабоче-крестьянская“,*** а ***офицерская*** армия.

Я гляжу на его шевроновые узкие, как чулки, сапоги, на золотое кольцо на бледном дворянском пальце, на колодку орденов над карманом хорошо сшитого френча и с чувством подлинной горечи думаю: „Так неужели ж он не хочет, чтобы наша армия стала действительно рабоче-крестьянской?… А нас

всего человек четыреста молодежи. И вот мы, эти двадцатилетние мальчики, мечтающие ввести всероссийский потоп в государственные берега, должны противостать миллионной большевистской России“.»

Обратите внимание, это пишет доброволец, дворянин: «Нас всего человек *четыреста* молодежи… и мы должны противостать *миллионной* большевистской России».

Но они, наши русские аристократы, поступили и поступали, так же как и Николай II Кровавый в то страшное *Кровавое воскресенье,* где он в своем дневнике про расстрел рабочих 9 января 1905 года написал: «ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СТРЕЛЯТЬ» — и вслух сказал: *«не жалея пуль».* Это он, правда, в дневнике не написал, но приказал устно — стрелять в идущий к нему народ *«не жалея пуль».*

Пуль не пожалели, и снег на Дворцовой площади у него на глазах был украшен кровью сотен убитых рабочих, их жен и детей, которые, празднично одетые, шли ко дворцу с хоругвями, иконами и портретами царя в руках. Так рассказывал мне сам Александр Федорович Керенский. Он и его товарищ, прогуливаясь, оказались очевидцами этой демонстрации и, так же как и все, бежали от стрельбы по демонстрантам. И потом он же лично принимал участие в комиссии по расследованию этой жуткой, кровавой трагедии.

И вот в это время из России стали доноситься упорные слухи, что в России происходит распад большевизма. Что там произошли такие перемены, что от коммунизма остались одни только лозунги. Что там уже ищут замену Ленину и с трудом только стараются укрепить власть, завоеванную в Гражданскую войну.

Как раз в это время ГПУ тоже решило создать «антисоветские» партии в целях выявления планов эмигрантских организаций. Задача этих ловушек заключалась еще в том, чтобы, втянув эмигрантов в это подпольное движение, держать их под контролем, стараться перехитрить и по мере возможности дестабилизировать.

Одной из таких партий, созданных ГПУ, было Монархическое объединение Центральной России (МОЦР) под кодовым названием «Трест». Связь с «Трестом» эмигранты поддерживали с назначенным ГПУ лидером А. Федоровым (бывшим крупным царским чиновником, занимавшим теперь какую-то высокую должность в каком-то советском учреждении).

Коммунисты также надеялись быстро осуществить свою утопическую идею, думая, что рецепт ее осуществления уже находится у их руках. Но как и всякое неиспытанное лекарство

может оказаться смертельным, так и эта, казалось, прекрасная идея привела почти к смертельным результатам, оказавшись в руках неопытных идеалистов и проходимцев.

Прав был Ленин, когда сказал: «Шаг вперед, два назад». К сожалению, он рано ушел от нас. Но, к несчастью той части населения, которая хотела и стремилась спасти страну, и к радости антисоветской части населения, власть в свои руки захватил уже тот, кто, тщательно пытаясь скрыть свою бывшую провокационную деятельность, вел себя так, как будто хотел показать всем, что он «больше большевик, чем папа римский католик.»

Я знаю, что социализм, так же как и коммунизм, это как далекие волшебные звезды, прекрасные, светлые, но пока недостижимые, у человечества еще нет такой лестницы, такого космического аппарата, чтобы можно было к ним добраться.

Но, отбросив все, что творилось при Сталине, я глубоко уверена, что советская система и правильный советский государственный строй, если бы попал в хорошие руки, мог бы быть лучшим строем в мире. При советском строе можно было бы иметь все: свободную торговлю, частную собственность, свободу слова, как было в самом начале в период НЭПа, развитую промышленность, здоровую частную инициативу и свободные выборы из нескольких кандидатов, так же как это было в самом начале во время первых выборов после принятия Конституции СССР в 1936 году. И без предвыборного балагана, на который тратятся миллионы государственных и коррумпированных средств, за которые всем купленным заранее членам правительства надо впоследствии расплачиваться. И почти все вначале так и было, было до тех пор, пока Сталин не превратил себя в какого-то на все лады воспеваемого «небожителя», воспетого так, как никто, никогда, никого в мире не воспевал. «Закон, по которому солнце восходит. Закон, по которому степь плодородит».

Я ведь помню, что во время первых закрытых, как тогда говорили, выборов везде стояли две кандидатуры, у нас в Замоскворечье был Булганин и еще один кандидат. Это было, пока он не прибрал все к своим рукам и не стал выставлять на выборах только одну кандидатуру. Было чувство, что все понимают, что это глупо до смешного, но все молчали, затаив желание рассмеяться, потому что так «Сталин сказал».

Вина лежит и на тех, кто поддерживал, кто восхвалял и превозносил его до небес. Зачем? Зачем все это делалось до умопомрачительной тошноты и пошлости? Ведь это делал не народ, а милая образованная интеллигенция. Я имею в виду ту

часть гуманитарной интеллигенции, в чьих руках находились печать и средства массовой информации. Народ в этом не участвовал…

Народ в свое время поднялся и, встав могучей стеной, заставил не кого-либо, а самих дворян и монархистов освободить страну от 300-летней монархии дома Романовых вместе с Николаем II Кровавым и со всеми атрибутами того, всему народу ненавистного времени. Не Ленин, не Сталин, не коммунисты-большевики и не кучка, как все утверждают и утверждали, бандитов совершили революцию. ***Революцию совершил народ.*** Ведь смести Временное правительство, всех дворян, помещиков, капиталистов с их капиталами, генералов с их многомиллионной, вооруженной до зубов армией в одно мгновение не могла бы никакая «кучка белых, красных, большевистских, меньшевистских бандитов», если бы ее не поддержала многомиллионная народная волна.

Даже Александр Федорович Керенский сказал, что по ним стреляли, когда они уносили ноги из Зимнего дворца, не коммунисты, а народ.

Гражданскую войну затеял тоже не народ и не коммунисты, и победу в Гражданскую войну одержал тоже ***народ***, а не партия большевиков и коммунистов.

НАРОД, поднявшись, заявил: ***вся власть Советам,*** а не монархам, дворянам и аристократам, которые в то время еще держали всю империю в своих руках. Без ***поддержки народа*** никакие большевики и никакие коммунисты ни при какой погоде не смогли бы удержаться у власти в такой огромной стране и защитить ее. Так же как и белогвардейцы при всей колоссальной поддержке мировой буржуазии не смогли без воли народа устоять у власти.

Вот что пишут сами белогвардейцы об этом времени в книге «От Ясс до Галлиполи»: «У красных число, там „серое, валом валящее ВСЕХ — ДАВИШЬ“, у нас отдельные люди, отдельные смельчаки. Число никогда не было за нас. За нас всегда было качество», «Большевики как ползли тогда, так ползут, и теперь — на черни, на бессмысленной громаде двуногих. А мы, белые, против человеческой икры, против ползучего безличного числа всегда выставляли живую человеческую грудь…».

Какое высокомерие! Вот так, против ВСЕХ — ДАВИШЬ, против ползучего безличного числа, против бессмысленной громады двуногих — боролась белая армия и… потерпела поражение.

Не чернь, не бессмысленная громада двуногих, не «миллионная большевистская Россия», тогда ее еще не было и в

помине, а разумный народ сражался «За землю, за волю, за лучшую долю». Вот те лозунги и идеи, за которые народ шел на смерть в глубокой уверенности, что все это осуществится. И я глубоко верю, что все это осуществилось бы, даже несмотря на все ухищрения со стороны ненавистников советской системы, советского строя, если бы Ленин был жив и если бы Сталина отстранили от власти.

Ведь после Октябрьской революции Гражданскую войну затеяли не большевики и не народ. Гражданскую войну затеяли свергнутые Временным правительством генералы, посаженные в тюрьму в г. Быхове за провалившийся Корниловский мятеж.

Генерал Алексеев — бывший верховный главнокомандующий, получивший при Керенском должность начальника штаба Ставки, после октябрьского переворота 25 октября считал, что бороться с большевиками в Петрограде дело безнадежное, надо начинать с Дона. И через пять дней после Октябрьской революции, 13 ноября 1917 года, тайно, под чужим именем, в штатской одежде двинулся в Новочеркасск, куда также рванулись в начале декабря 1917 года все освобожденные из быховской тюрьмы генералы: Корнилов, Деникин, Лукомский и другие, офицеры, студенты, всего-то тогда их была небольшая горсточка, но под напором и с помощью извне борьба сильнее и сильнее разгоралась. Так была создана Добровольческая армия, политический курс которой был «непредрешенчество», то есть будем воевать, разгромим большевиков (почему они всему народу с самого начала приклеили ярлык большевиков, непонятно, но так легче было громить народ), а государственное устройство России кто-нибудь придумает за нас потом.

Большевики-ленинцы просто оказались в то время в нужный момент в нужном месте и, сумев понять чаяния народа, воспользовались создавшейся обстановкой и возглавили это народное движение.

Поэтому ответственность за все, что происходило и произошло во время Гражданской войны и даже после, полностью лежит на тех, кто эту войну с народом затеял.

Надо еще учесть, что все, что происходило тогда, как во время Гражданской войны, так и после, в такой необъятной стране, происходило почти без всякой информации о происходящих текущих событиях во всей стране, так как даже простая почта передвигалась в те годы по стране, как шутили тогда, на «волах». Газеты, журналы, издаваемые в городах, в провинцию доходили через месяц, через два, да и кто их читал при более 90 % неграмотного населения? Их сразу рвали на цигарки, все слухи до населения доходили в основном по

принципу «на базаре одна баба сказала». И именно поэтому все, что происходило тогда, говорит о том, что, несмотря на все, у всех была одна и та же идея, одна и та же боль, одна и та же горечь и желание смести все старое. И поэтому народ поднялся стихийно, как самум, на борьбу за все это, и его не могла бы остановить никакая сила, никакая пропаганда и никакие большевики, если бы они даже захотели.

Вот как описывает писатель Роман Гуль начало Гражданской войны: «Зал полон офицерами в блестящих формах; тут — центр быховских узников, участников заговора и восстания Корнилова. Посреди зала, окруженный офицерами, полноватый генерал А. И. Деникин… в синем штатском костюме, похожий больше на доброго буржуа, чем на боевого генерала…»

Вот еще эпизод из воспоминаний Романа Гуля: «Возле ветрянки с недвижно замершими крыльями Неженцев приказывает остановиться… На незнакомой сельской улице навстречу ему из-за хат выводят человек шестьдесят без шапок, без поясов, в солдатских кацавейках, шинелях, бушлатах, в крестьянских пиджаках, пестро и разнообразно одетых людей; головы и руки у всех опущены, это пленные.

— Желающие на расправу! — кричит с седла Неженцев.

„Что такое? — думаю я. — Неужели расстрел? Вот этих крестьян? Быть не может“.

Из наших рядов выходят офицеры, идут к стоящим у ветрянки пленным…

На ходу закладывают обоймы, щелкают затворами и близятся к кучке незнакомых им русских людей… побежденные и победители.

…Кто-то командует, и сухим треском прокатились выстрелы, мешаясь с криками и стонами падающих друг на друга людей; а расстреливающие, плотно расставив ноги и плотно вжав в плечи приклады, стреляют по ним, загоняя все новые обоймы…

У мельницы наступила тишина; офицеры возвращаются к нам, только три человека еще добивают кого-то штыками.

„Вот это и есть гражданская война“, — думаю я, глядя на свалившихся на траву окровавленной кучей расстрелянных, и думаю о том, что эти крестьянские трупы загородят нам все дороги, и с гвардии полковником Кутеповым мы, именно поэтому, не дойдем не только уж до Московского Кремля, а, может быть, даже и до ближайшей деревни…

Гражданская война шла не в белых перчатках с обеих сторон, но если бы не было такой беспощадной жестокости и ненависти со стороны белых, ее не было бы и со стороны красных», — пишет Роман Гуль.

Ленин тоже сгоряча сделал попытку что-то коренным образом изменить во время военного коммунизма, но очень скоро понял, что это несвоевременно, это ошибка, и независимо от его личных политических убеждений быстро ввел НЭП. Ведь главная цель всего происходившего была в том, чтобы улучшить жизнь людей, и к этому он стремился. При нем никогда не было бы этой жуткой, страшной коллективизации, ведь в его декрете крестьяне могли даже нанимать двух рабочих в помощь себе при уборке урожая, он никогда не довел бы людей до повального голода, до людоедства, как это было при Сталине. Он нашел бы пути и способы, как улучшить жизнь людей. Ведь даже во время стихийного голода в 1921 году, в условиях послевоенной разрухи, когда весь капиталистический мир искал пути, как смести с лица земли теперь уже Советскую Россию и пытался установить санитарные кордоны, чтобы заморить голодом Россию, Ленин не постеснялся обратиться ко всему миру с просьбой о помощи голодающей России.

Даже Ллойд Джордж в январе 1919 года на Мирной конференции в Париже, где шли дебаты, как бороться с большевизмом, заметил, что, по сведениям, недавно полученным английским правительством, иностранная интервенция уже привела к тому, что «меньшевики и эсеры начали сотрудничать с большевиками».

И Де Скавениус, датский посланник в России, указал, что «… большевики апеллируют к патриотизму мелкой буржуазии».

Ленин рассуждал здраво, и после окончания Гражданской войны хотел примирить членов разных партий, тех, кто иммигрировал, и тех, кто остался в стране. При нем все пошло бы по пути урегулирования взаимоотношений, а не обострения противоречий.

У меня в руках газета от 8 ноября 1921 года. Четвертая годовщина Октябрьской революции — это грандиозный праздник во всем мире, и в Нью-Йорке тоже: собрания, демонстрации, концертный зал, даже платный, не в состоянии вместить всех желающих. Речи, приветствия: «Несмотря на наличие многочисленных врагов, окружающих Россию, молодое правительство России празднует уже четвертую годовщину своего существования. Все враги России уверяли и уверяют, что Советская власть неустойчива, но мы видим, что в настоящее время нет более надежного правительства, чем советское».

И врангелевские офицеры стали возвращаться в Россию.

Ленин очень хорошо понимал, что стране позарез нужны были грамотные, образованные люди, а не те неучи, которыми впоследствии окружил себя, сам малообразованный, Сталин.

Поэтому он приветствовал возвращение обратно в Россию всех, и при нем все продолжали бы работать вместе не во вред, а на пользу России.

Ведь многие, очень многие выехали или убежали из Советского Союза уже после смерти Ленина, и особенно когда началась война Сталина с Троцким, после чего и занавес крепко опустился. Ведь и выражение «железный занавес» у нас появилось в начале тридцатых, когда Сталин стал упорно перекрывать границы и устанавливать свои собственные «санитарные кордоны» и морить голодом свой собственный народ.

И как бы мне хотелось услышать что-нибудь более утешительное: «А знаете, при Советской власти простому народу жить все-таки стало легче».

И могло бы стать легче, поверьте мне, могло, и для многих стало. Потому что у всех народов, населявших нашу страну, независимо от национальности, было чувство, что все мы живем в одной огромной семье — в СССР. Это чувство семьи с годами все больше и больше крепчало и усиливалось. А если бы еще все силы были направлены на правильное воспитание нового поколения и если бы постепенно были удалены, ликвидированы те недостатки, которые чаще всего искусственно создавались со стороны по всяким политическим соображениям, особенно в послевоенное время, а также из-за недостатка средств и материальных ресурсов. Пусть кто-нибудь хоть на секунду представит себе, во что была превращена наша страна после Первой и Второй мировых войн, и ее надо было восстанавливать без всякой помощи извне, своими внутренними, семейными силами и средствами, и ВОССТАНОВИЛИ.

Открыть Америку

Когда мы были, уже в качестве туристов, в Германии, в Берлине, я увидела в центре города разбомбленный костел. Мне сказали, что немцы берегут эти развалины в таком виде в назидание будущему потомству. Я искренне удивилась и сказала:

— Разве эти развалины церкви надо беречь в назидание будущему потомству, этот костел я бы восстановила сразу. А вот Рейхстаг я бы не тронула и в назидание будущему потомству оставила его в том виде, в каком он был в день освобождения, накрыла бы его стеклянным колпаком со всеми надписями и именами тех героев, которые погибли и, рискуя жизнью, освобождали его, чтобы он всегда им напоминал слова Бисмарка: «С Россией не стоит воевать».

После Второй мировой войны, как ни старались наши, теперь уже так называемые вожди, «открыть Америку» и каждый из них считал, что вот это он один сумел открыть секрет настоящей дружбы с Америкой и с другими капиталистическими странами. Так думал Брежнев, повиснув на шее у американской кинозвезды за какую-то полученную от него курточку, так думал Горбачев и таял от счастья, когда президент Рейган свысока по-дружески похлопывал его по плечу, но искренней дружбы с их стороны никогда не было. Для них не только Советский Союз, но и Россия всегда была бельмом в глазу, враг № 1.

Как же наши государственные умники этого не знали, и каждый из них думал, что вот он самый первый кто открыл секрет дружбы с Америкой. Почему Рейган должен был сказать «Доверяй, но проверяй», когда это должен был бы сказать глава нашего правительства в отношении Америки, атомные боеголовки которой со всех сторон были направлены на СССР, а теперь на Россию.

Лунный пейзаж

Мы сбросили на Вьетнам 7,5 млн тонн взрывчатых веществ, в 3 раза больше, чем во Вторую мировую войну.

Мы покинули землю, похожую на лунный пейзаж.

Для нас мишенью было все, что двигалось и казалось нам чужим на этой земле.

Мы решили: будем бомбить эту страну, пока не доведем ее до пещерного состояния.

Вьетнам для нас был хуже Берлина.

Мы, то есть наши летчики, разбрасывали сотни тысяч тонн

бомб, напалмовых бомб, которые разворачивали стофутовые воронки во всех направлениях, прожигая и уничтожая все на своем пути. Мы жгли (температура напалма доходит до 1600 градусов) и выжигали напалмом людей, как крыс из пещер.

Мы считали, что делаем доброе дело.

Мы разбрасывали подслушивающие передатчики и, получив информацию, стреляли точно, наверняка в цель.

Мы разбросали под Рождество 14 тыс. тонн бомб вокруг Ханоя и 8 тыс. тонн напалма.

Мы обратились к нашему пастору: «Святой отец, мы знаем, что война — это ад, но наша миссия — это мир, и мы будем работать под твоим покровительством для мира. Благослови нас, святой отец, на нашу миссию — благослови нас, чтобы мы вернулись, в целости и сохранности, после выполнения нашей миссии к нашим семьям».

Детоубийцы

Ветеран, вернувшийся после вьетнамской войны, выступил по телевидению и заявил:

— Я заплачу скорее над убитым оленем, чем над убитым человеком-вьетнамцем. Мне их совсем не жалко.

Летчик недоумевал, почему возвращавшихся с вьетнамской войны встречали не как героев, а как людей, вернувшихся с какой-то позорной для страны акции.

Вместо героической встречи вернувшихся после Второй мировой войны, которую он видел в кино, его и всех вернувшихся после вьетнамской войны встретили враждебными репликами:

— Детоубийцы!

Другой ветеран заявил:

— Меня послали убивать. Мне дали оружие, мне дали право стрелять из этого оружия по своему усмотрению, и я этим воспользовался полностью. Никаких законов, никаких препятствий для меня не существовало. Я стрелял на улице, я стрелял в доме, в баре, даже в доме терпимости, когда на мне лежала проститутка.

— Нас послали на операцию. Мы ворвались в деревню, мы стреляли направо и налево. Мы жгли и уничтожали все на своем пути и пришли в себя только тогда, когда вокруг нас ничего живого не осталось. Вокруг нас лежали трупы людей — женщин, детей, стариков; скотины — свиней, собак. Вообще было сожжено и уничтожено все, что могло двигаться.

Третий добавил:

— Когда мы плыли по реке, нам навстречу попалась

вьетнамская лодка, на которой жила целая семья. По ней весело бегали дети, животные, висело белье, готовили обед.

Мы, американские солдаты, остановили и обыскали ее. После обыска изнасиловали всех женщин и из ручного пулемета расстреляли всех, и когда уже готовы были уйти после такого разбоя, мы увидели беленького щенка и спасли его.

Солдат продолжал свой рассказ еще дальше:

— Я стрелял без разбора. Я видел, как падают люди направо и налево, я останавливался возле трупов и строчил, строчил в упор по трупам из ручного пулемета. Я чувствовал себя героем.

— Мы раздавали отравленную мышьяком пищу населению и жвачку детям и с радостью смотрели, как корчатся люди в предсмертных судорогах.

— Зачем вы расстреляли семью, мистер Доббс? — спросили его во время интервью.

— Зачем? Я чувствовал себя богом. Я принял присягу. Мне сказали, что я могу делать все, и я решил, что я могу и должен делать все. Я расстрелял семью, всю семью не за то, что они что-то сделали, а за то, что они оказались в том месте, где что-то произошло. Где во время боя могли быть убиты или были убиты и наши солдаты. Я убил семью, не просто убил, а превратил их в месиво. Они кричали, молили, но я все равно всех их расстрелял. И если бы мне пришлось прожить даже тысячу лет, я никогда не смог бы забыть ужас на их лицах.

— Мы убивали людей, не бойцов в бою, а людей — стариков, женщин, детей, и только потому, что мы были американцы, а они были ничто и подлежали уничтожению.

— Мы, американцы, составляем 4 % мирового населения, а потребляем 40 % мирового богатства. Над мостом у нас висит наш флаг размером два акра, каждая звезда на нем размером 13 футов, весит он 7 тонн и стоит 650 тысяч долларов.

Маленькая уютная планета

Подумайте только. Ведь наша планета Земля — это микроскопическое явление в безграничном космическом пространстве. И на этой малюсенькой планете, которую теперь можно не по Жюлю Верну объехать за 84 дня, а легко и просто облететь за 24 часа. Позавтракать в Москве, облететь наш земной шар и снова спуститься на следующий день к завтраку в Москве.

И вот на этой маленькой, теперь такой «семейной планете» войны и всякие другие идиотские битвы затеваются для того, чтобы уничтожить лучший слой населения, лучшую часть человечества, самых талантливых и самых одаренных — поэтов, писателей, изобретателей, художников, ученых, да просто часть будущего крепкого, здорового трудоспособного населения. И, это самое страшное, убивают наше будущее здоровое, талантливое потомство, которое появилось бы на свет от этих людей. Они лишают государство, страну и нацию самого лучшего урожая людей: и поэтому, чтобы восполнить этот страшный пробел, для восстановления нашей страны потребуется также не одно, а несколько поколений.

Уже давно не появляются на свет такие самородки нашего алмазного фонда, как Лермонтовы, Пушкины, Толстые, Марк Твены, Теодоры Драйзеры, Диккенсы, Моцарты и многие, многие другие. И не только у нас, а во всем мире такие сокровища даже и в мирных условиях очень редко появляются на свет, иногда даже раз в тысячелетие, а мы сами подрезаем им корни. Ведь насколько разумнее весь живой мир, окружающий нас, где в борьбе за жизнь выживает самая крепкая и самая здоровая часть. И это вполне нормально и естественно, а у людей все наоборот.

И становится очень грустно, почему люди не борются за то, чтобы сохранить самую крепкую, самую здоровую, самую талантливую часть населения во имя и для блага будущих поколений.

Я лично считаю и твердо в этом уверена, что женщины-матери, именно они должны, обязаны стать горой против этого чудовищного массового убийства их детей. Если все матери в мире, все как одна встанут и заявят всем правительствам в мире:

— Не для того мы рожали, кормили, растили детей, чтобы любое правительство под любым предлогом гнало наших детей на убой. Ищите способы решения всех возникающих конфликтов, настоящих и придуманных, без кровопролития, садитесь за стол, говорите, договаривайтесь до потери сознания, но не трогайте и не убивайте наших детей!!!

Лично я, пережившая две мировые войны, голод, холод, многие болезни, потерю самых дорогих, близких, родных людей, достаточно повидавшая мир, могу сказать одно: народам, населяющим нашу планету, надо прийти к разумному решению, в мире есть только одна альтернатива — это МИР.

И только **МИР** даст нам возможность накормить, напоить и вырастить не больное, а новое, здоровое духовно и физически, поколение.

И сохранить не лучшие, а самые лучшие кадры не только в нашей стране, но и во всем мире. У каждой страны на нашей планете есть что-то хорошее, что люди могут и должны позаимствовать друг у друга.

Мир, мир и только ***мир*** сможет обеспечить, накормить и напоить всю нашу теперь такую маленькую по сравнению со Вселенной планету ***Земля.*** Ведь никакая война не принесла никакого блага человечеству, кроме маленькой, маленькой части богатых людей, умеющих извлекать пользу из кровавых побоищ войны.

Исторические комментарии

Как возник город Мариуполь

Территория Северного Приазовья окончательно вошла в состав Российской Империи после победы России в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг.

Екатерина II мечтала освоить и заселить эти степные просторы надежными людьми. Узнав от греческого митрополита о тяжелом, бедственном положении находящихся под турецким гнетом греков, она предложила ему переселить греков из Турции на эти земли и выдала грекам-переселенцам дарственную грамоту на эту территорию.

Так в 1778 г. на берегу Азовского моря, в устье реки Кальмиус, где митрополит впервые ступил на берег с группой греков из Турции, спасавшихся от турецких притеснений, был заложен город с красивым названием Мариуполь. Сюда же, при содействии митрополита, начали переселяться греки из Крыма и из других мест. Бабушка рассказывала из воспоминаний ее родных, которые, кстати, были близкими родственниками этого митрополита, как турки издевались над греками — загоняли и запирали взрослых и детей в сараи и живьем сжигали их.

Таким образом, вокруг города Мариуполя появилась большая греческая колония, состоящая из 21 села со старинными красивыми греческими названиями, как: Старый Крым, Ялта, Гурзуф, Мангуш, Чермалык, Сартана, Македоновка и др., в каждом из которых жители говорили на разных греческих диалектах точно так же, как на многочисленных островах в Греции, и часто не понимали друг друга. Но обычаи были одни и те же, и одежда стариков (а стариками мне казались все старше 30 лет) была такой, какую носят до сих пор на их исторической родине.

Молодое поколение, как ровесники моих родных, почти все уже вошли в колею новой жизни, все говорили по-русски, одевались и жили так же, как городские жители. А уже мое поколение полностью прижилось и чувствовало себя больше русскими, чем иностранцами. Любили Россию все — и старые, ни слова не говорившие по-русски, и молодые. Здесь они родились, здесь собирались жить и умирать естественной смертью или защищая эту землю.

Религия не отделяла их от русских, украинцев и многих других, населяющих Россию национальностей, наоборот, она их роднила.

Так греки заселили и освоили пустующие Таврические степи, пустили глубокие корни, построили великолепные, крепкие,

богатые села.

До Первой мировой войны греки жили богато и привольно.

На основании дарственной грамоты они получили колоссальные привилегии от Екатерины II: 25 десятин земли на душу мужского населения, освобождение от налогов, от воинской и от многих других повинностей. В армию и в военные школы они шли добровольно.

Прекрасный климат, плодороднейшая черноземная почва и необыкновенно богатое вкусной рыбой Азовское море дали возможность в конце XVIII и в начале XIX века превратить Мариуполь в оживленный торговый центр Приазовья.

Население занималось сельским хозяйством, рыболовством, торговлей. Мариупольские купцы торговали рыбой, шерстью, кожей, скотом и главным образом пшеницей.

В 1876–1878 гг. в городе были открыты начальные школы, мужская и женская гимназии, театр, больница.

В 1878–1882 гг. была построена железная дорога, соединявшая Донбасс с городом, а в 1886–1889 гг. был построен Мариупольский морской порт, который уже в 1890 г. стал вторым после Одессы по грузообороту, в основном пшеницы.

В городе начали открываться иностранные консульства: Австро-Венгрии, Бельгии, Греции, Германии, Великобритании, Франции, Италии, а также местные и иностранные фирмы.

Мариуполь стал культурно-просветительским центром на юге.

В 1896 г. здесь был заложен трубопрокатный завод «Никополь», а в 1898 г. металлургический завод «Русский Провиданс», принадлежавший бельгийскому акционерному обществу.

И в конце XIX века Мариуполь превратился из торгового в крупный промышленный центр. Появился рабочий класс, появились социал-демократические и другие организации, которые, находясь в глубоком подполье, принимали активное участие в стачках, митингах и в борьбе за улучшение условий труда рабочих на заводах, в порту и на различных других предприятиях.

Беспорядки в стране

Тяжелая, изнурительная война России с Германией, продолжавшаяся с августа 1914 г. до 1917 г., довела страну до полной политической и хозяйственной разрухи. В Петрограде и в других городах проходили массовые демонстрации голодного населения. Да не только там, а по всей стране происходили огромные беспорядки уставшего от четырехлетней войны народа, в ответ на это повсюду усиленно шли аресты.

Председатель 4-го созыва Государственной думы Родзянко, стараясь «спасти родину и династию», посылал в Могилев, в Ставку, где находился царь Николай II, одну телеграмму за другой, умоляя его сделать уступки народу.

Все остальные члены Государственной думы: Гучков, Шульгин, Милюков — также требовали от Николая II прекратить беспорядки, создать «ответственное министерство» под управлением такого человека, такого премьер-министра, который пользовался бы доверием Думы и общественности.

Но царь, находясь в Ставке, также получал успокоительные телеграммы из столицы от царицы: «Это хулиганское движение, — писала она, — мальчишки и девчонки кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение».

Но в это время в Петрограде уже вспыхнули массовые голодные забастовки, переходившие в крупные вооруженные революционные восстания, охватившие весь город; на сторону восставших начался массовый переход войск. Солдаты покидали казармы, шли на улицу, присоединялись к толпам рабочих. Шла перестрелка с полицией. Восставшие захватили арсенал, вооружились и, заняв правительственные здания и основные стратегические пункты, обратились с манифестом ко всем гражданам России с призывом свергнуть самодержавие, создать Временное революционное правительство и прекратить войну, которая принесла и продолжала приносить неисчислимые бедствия народу. В этой войне уже было убито 10 млн и ранено 30 млн человек.

Николай II, считая Думу главным очагом революции, подписал указ о роспуске Государственной думы.

Дума отказалась подчиниться требованиям царя и приступила к формированию нового Временного правительства.

Как рухнула монархия

Таким образом, 23 февраля 1917 г. произошла, как тогда говорили, «Великая бескровная» революция. А 27 февраля 1917 г., когда весь Петроград фактически был уже в руках восставших, в один и тот же день были созданы совместно Совет рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет Государственной думы во главе с председателем 4-й Думы монархистом Родзянко. Этот орган все называли органом буржуазно-помещичьей власти.

И в тот же день 27, февраля великий князь Михаил Александрович, брат царя, также стараясь спасти монархию, сам обратился к царю с отчаянной просьбой, умоляя царя прекратить беспорядки в городе и назначить такого человека на пост премьер-министра, которого уважали бы Дума и общественность.

В ответ на это царь приказал генералу Хабалову подавить восстания всеми имеющимися у него средствами.

Но стихийное восстание перекинулось уже на фронт, и до смерти уставшие после четырехлетней войны солдаты отказывались продолжать войну. Фронт разлагался не по дням, а по часам, солдаты панически разбегались, превращаясь в дезертиров. В военных казармах также вспыхнули восстания, солдаты перестали подчиняться офицерам, и не только подчиняться, но даже арестовывали и убивали их.

Главнокомандующий генерал Алексеев, ввиду создавшегося катастрофического положения на фронте и ради сохранения монархии, обратился к командующим всеми фронтами с предложением решительно просить, умолять царя ***отречься*** от престола в пользу наследника, сына Алексея и назначить регентом великого князя Михаила Александровича. Он был крайне ***удивлен,*** с какой готовностью командующие всеми фронтами согласились с этим предложением, и в 2 ч. 30 мин. генерал Алексеев передал это предложение царю.

В это же время Временный комитет Государственной думы во главе с председателем 4-й Думы монархистом Родзянко, также всеми силами стараясь спасти монархию, издал приказ о ***немедленном*** возвращении всех солдат в казармы, о подчинении их офицерам и ***продолжении*** империалистической войны до ***победного конца.*** Но страну уже охватило восстание такой силы, что Думе пришлось направить в Псков Шульгина и Гучкова и тоже потребовать от Николая II отречения от престола в пользу сына Алексея.

Царь под давлением со всех сторон ***вынужден был отречься*** от престола, но отрекся он не только за себя, но и за своего сына

Алексея в пользу своего брата Михаила Александровича.

Брат Николая II Михаил Александрович 3 марта 1917 г. также ***подписал отречение*** и тем самым передал всю власть Временному правительству.

Так рухнул 300-летний дом РОМАНОВЫХ.

Сообщение об отречении царя от престола было получено от Гучкова и Шульгина 3 марта 1917 г. во время заседания уже нового Временного правительства.

В состав Временного правительства под председательством князя Львова вошли: кадет, профессор истории Милюков — министр иностранных дел; фабрикант и банкир Гучков — военный и морской министр; фабрикант Коновалов — министр торговли и промышленности; сахарозаводчик, миллионер Терещенко — министр финансов и другие. Из 11 министров только один был «народным социалистом» от Партии трудовиков — адвокат А. Ф. Керенский — министр юстиции и внутренних дел.

А. Ф. Керенский попал в Думу «в качестве заложника демократии», писали о нем газеты.

Итак, Февральская революция, которая произошла 23 февраля 1917 г., решила основную задачу — свергла царизм.

Рухнула ненавистная, загаженная Распутиным и ненавистной всем истерической царицей монархия.

Но Дума вовсе не собиралась создавать республику, так утверждал Милюков, она просто хотела видеть на троне новое лицо, способное утихомирить бурю.

Но как раз утихомирить вот эту самую бурю уже никто не мог.

С первых же дней революции в стране, как тогда говорили, установилось своеобразное ***двоевластие,*** и идеи и интересы у них были совершенно разные.

С одной стороны, буржуазное Временное правительство, находясь под руководством помещиков и капиталистов, под председательством князя Львова являясь органом диктатуры буржуазии и защищая их интересы, требовало войны до победного конца.

С другой стороны, ***трудящиеся,*** которые совершили революцию во имя мира, земли, хлеба, требовали от Советов рабочих и солдатских депутатов, органов революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, выполнения лозунгов, во имя которых и произошла революция: «Заводы и фабрики — рабочим, землю — крестьянам».

Временным правительством был выпущен приказ № 1: из тюрем были освобождены политзаключенные, отменили

смертную казнь на фронте, были ликвидированы все специальные суды, а все политические и другие дела, связанные с государственной безопасностью, подлежали рассмотрению в суде присяжных, как и все остальные уголовные дела, и еще многие другие послабления.

Совет рабочих и солдатских депутатов тоже издал приказ № 1 о правах революционных солдат, по которому требовали демократизировать армию, установить права солдат на фронте, отменить обращение к офицерам и генералам «ваше благородие», «ваше превосходительство», а также «тыканье» — обращение к солдатам на «ты». В это время вошло в обращение гордое слово «товарищ», которое стало всем дороже всех знакомых слов. Отменили смертную казнь, военно-полевые суды, физические наказания, и многое другое. Дисциплина в армии в это время находилась в самом критическом состоянии, по существу, армия перестала уже быть армией, вооруженные силы революции уже находились в руках Советов.

На многих предприятиях Москвы, Петрограда, Донбасса и в других промышленных районах страны вооруженные рабочие начали формировать отряды Красной гвардии.

Рабочие на заводах прекращали работу, выгоняли и вывозили, как тогда говорили, на тачках управляющих, были даже раненые и убитые. Крестьяне тоже не отставали, громили вовсю поместья и усадьбы, выгоняли помещиков, захватывали их земли.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская прибыли в Россию из Швейцарии 16 апреля 1917 г. через Германию, по дороге Владимир Ильич беспокоился, сумеют ли они найти извозчика, чтобы добраться до гостиницы. Но на Финляндском вокзале неожиданно для них им была устроена грандиозная встреча.

В. И. Ленин на следующий же день, 17 апреля, выступил в Таврическом дворце на совещании большевиков — членов 7-й Всероссийской конференции Советов и сказал: «Россия сейчас — самая свободная страна в мире из всех воюющих стран… Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности… с другой стороны, отсутствием насилия над массами» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 24. 4-е изд. С. 4).

И в тот же день Ленин выступил перед солдатами и матросами, перед теми, кто никогда его не видел, ничего о нем не слышал и никакого понятия о его идеях не имел. Ведь никто из них ни книг, ни статей его никогда не читал, и даже имени его никто толком не знал.

Но под руководством Ленина в Петрограде быстро возобновилось издание газеты «Правда», обещавшей солдатам

мир, рабочим — фабрики, крестьянам — землю. А уставший от войны народ тоже требовал хлеба, мира и свободы. Лозунги большевиков оказались созвучны желанию народа. Так как никто, кроме большевиков, ни в годы монархии, ни во время двоевластия, ни даже во время Гражданской войны не хотел, не мог или боялся выразить волю народа, а только требовали продолжать войну «за веру, царя и отечество» до победного конца. Но народ, который уже принес неисчислимые жертвы во имя этого, воевать за это никак не хотел.

2 мая 1917 г. в состав Временного правительства были введены новые члены: эсер Виктор Чернов в качестве министра сельского хозяйства, меньшевик Церетели — министра почт и телеграфа, а трудовик А. Ф. Керенский стал теперь военным министром. Так после падения монархии Россия вошла в новый этап русской истории.

Но вся политика Временного правительства была направлена на продолжение войны — принято было решение союзного командования перейти к всеобщему наступлению по всему фронту и вести войну до победного конца.

При военном министре А. Ф. Керенском 18 июня 1917 г. армия перешла в наступление на юго-западном фронте. Артиллерия сровняла все с землей, прорвала австрийский фронт, войска готовы были занять брошенные немецкие окопы, но пехота отказалась идти в наступление. Немцы оправились и перешли в контрнаступление, русская армия бежала. Все вооружение досталось врагу. Газеты писали: «катастрофа под Тернополем», так блестящее начало закончилось провалом.

После катастрофы под Тернополем, где армия потеряла около 60 тысяч человек, наступил правительственный кризис.

Большевики решили использовать этот момент и 3–5 июля возглавили восстание под такими лозунгами, как «Долой войну», «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам» и т. д.

Правительство с жертвами подавило это восстание. Было разгромлено помещение газеты «Правда», многие большевики были арестованы. Ленин скрылся в Финляндии.

Так июльское восстание стало уже третьим политическим кризисом 1917 г.

А 8 июля 1917 г. во главе правительства встал А. Ф. Керенский. Газеты о нем опять трещали: «Хвастун, маленький бонапартик» и что его выдвинули какие-то могучие организации.

Верховным главнокомандующим был назначен генерал Корнилов.

После его назначения было сформулровано 2-е Коалиционное временное правительство под председательством А. Ф.

Керенского. Туда вошли представители всех партий: демократы, социалисты, военные, кадеты и другие.

Председателем 2-го Коалиционного временного правительства стал А. Ф. Керенский. При нем были созданы специальные батальоны из кадетской буржуазной молодежи, казаков и женский батальон.

Коалиционное правительство 2-го состава снова восстановило смертную казнь на фронте. На это Керенский заявил: «Хотя мы и восстановили смертную казнь, но я ни одного приговора не подпишу».

И несмотря даже на восстановление смертной казни на фронте, дисциплина в армии продолжала разваливаться — дезертирство, братание с немецкими солдатами и прочие неповиновения не утихали.

После назначения Корнилова Верховным главнокомандующим он сделал еще одну попытку остановить революционное движение. Он обещал собрать армию и создать правительство, способное прекратить разруху в стране. В это же самое время контрреволюционная буржуазия во главе с кадетами организовала ***военно-монархический заговор*** против Советов. Центром этого заговора была Ставка Верховного главнокомандующего генерала Корнилова, действовавшего сначала с ведома и согласия А. Ф. Керенского. Но когда во исполнение этого заговора Корнилов потребовал у Керенского передать всю военную и гражданскую власть в его руки, Керенский испугался. Испугавшись, что возмущенные народные массы очень легко могут смести не только Корнилова, но и его, Керенского, он выпустил воззвание, объявив Корнилова государственным изменником, и издал приказ о его смещении с поста Верховного главнокомандующего.

Корнилов приказу не подчинился и 25 августа 1917 г. двинул войска, так называемую дикую дивизию, составленную из горцев Кавказа и казаков под командованием генерала Крымова, на Петроград. Но солдаты и казаки отказались воевать и стали переходить на сторону рабочих красногвардейских отрядов. Корниловская авантюра провалилась. Генерал Крымов, возглавлявший ее, застрелился.

По распоряжению коалиционного Временного правительства Керенского, генерал Корнилов, генерал Деникин и многие другие генералы были арестованы и посажены в тюрьму в городе Быхове.

Разгром Корниловщины оказал огромное влияние на дальнейший ход событий. Повсюду начали быстро формироваться красногвардейские отряды из передовых рабочих, готовых бороться и отдать жизнь за революцию. В это же время

усиливалось влияние Коммунистической партии, число ее членов тоже увеличилось с 80 тысяч в апреле 1917 г. до 259 тысяч в сентябре 1917 г.

На заводах спешно вооружались рабочие. Быстро организовывались и вооружались красногвардейские отряды, получавшие оружие из арсенала Петропавловской крепости, перешедшей на сторону народа.

Октябрьская революция

Итак, 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) было назначено открытие 2-го съезда Советов.

По поводу этого Ленин писал: ***«Ждать съезда Советов есть полный идиотизм, ибо это значит пропустить недели, а недели, и даже дни, решают теперь все. Ни в коем случае нельзя оставлять власть в руках Керенского и его компании, решать дело надо немедленно, сегодня вечером или ночью 24 октября, чтобы не дать возможности Керенскому выступить на открытии съезда Советов 25 октября 1917 года».***

Военно-революционный комитет получил от ЦК партии большевиков распоряжение привести воинские части в полную боевую готовность и выступить накануне. Штаб восстания находился в Смольном. Туда и прибыл Ленин из Финляндии. Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде началось 24 октября 1917 г. до открытия съезда Советов 25 октября 1917 г.

По указанию штаба отряды Красной гвардии заняли все намеченные объекты: мосты, вокзалы, телеграф, электростанции, для организации охраны фабрик и заводов были вызваны матросы Балтийского флота.

К утру 25 октября 1917 г. красногвардейский Революционный совет и матросы заняли подступы к Зимнему дворцу, в котором находились члены Временного правительства под защитой юнкеров, организованного ими женского батальона и казаков. Казаки быстро ушли, им не понравились «бабы», а также и члены правительства, которых они должны были защищать.

Военно-революционный комитет дал приказ стоявшему на причале крейсеру «Аврора» продвинуться к Зимнему дворцу. Орудия «Авроры» были наведены на Зимний дворец.

Утром 25 октября 1917 г. были заняты все подступы к Зимнему дворцу, где заседало Временное правительство, которое оказалось в полной изоляции, так как ни одна воинская часть не поддержала его.

Временному правительству было предъявлено требование немедленно сдаться. Но оно отказалось, и в 9 ч. 40 мин. вечера красногвардейские отряды, солдаты, матросы под руководством Антонова-Овсеенко при поддержке холостым выстрелом из 6-дюймовой пушки крейсера «Аврора» бросились на штурм Зимнего дворца, и в 2 ч. 10 мин. ночи Зимний дворец был взят.

А. Ф. Керенский, писали газеты, «на американском автомобиле под американским флагом» сбежал из восставшей

столицы, а перепуганных министров Временного правительства арестовали и отправили в Петропавловскую крепость.

В 10 часов утра Военно-революционный комитет объявил о свержении Временного правительства и переходе власти в руки Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Так 26 октября 1917 г. (8 ноября по новому стилю) вся власть перешла в руки Совета.

На 2-м заседании съезда Советов был оглашен ***Декрет о мире.*** Всем воюющим правительствам предлагалось заключить справедливый мир без аннексий и контрибуций. Был также оглашен ***Декрет о земле***: все помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли со всем живым и мертвым инвентарем переходили в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов.

Крестьянам без всякого выкупа по ленинскому ***Декрету о земле*** было передано около 160 млн. гектаров земли. Крестьяне освобождались от ежегодных арендных платежей помещикам в сумме около 500 млн. рублей золотом.

В 2 ч. 30 мин. ночи был утвержден декрет об образовании первого советского правительства — Совета народных комиссаров. Председателем СНК съезд утвердил В. И. Ленина. Верховным главнокомандующим — Н. В. Крыленко.

Керенский после Октябрьской революции бежал из Петрограда. В районе северного фронта он снял несколько казачьих частей во главе с генералом Красновым и направил их 10 ноября 1917 г. в Петроград на подавление революции. Краснов занял Царское Село под Петроградом. Но рабочие, солдаты и матросы Балтийского флота 13 ноября 1917 г. ликвидировали мятеж и разбили казаков под Пулково.

Прибывшая в Гатчину, теперь уже советская, делегация матросов под руководством легендарного матроса П. Е. Дыбенко предложила отпустить казаков по домам, если они выдадут Керенского, казаки согласились. Но Керенский, переодевшись в женскую одежду, бежал из Гатчины.

Генерал Краснов был арестован и выпущен под честное слово, что он не будет бороться с Советской властью.

Но свое слово генерал Краснов не сдержал. Он бежал на юг, на Дон, где принимал активное участие в контрреволюционном движении.

Белая армия. Борьба на Украине

После провала Корниловского мятежа 25 августа 1917 г., и особенно после Октябрьской революции 25 октября 1917 г., выбранный атаман Всевеликого войска Донского генерал Алексей Максимович Каледин объявил Донскую область самостоятельной, себя — хозяином и начал готовиться к войне с Советской властью. Так Кубанская и Донская области стали убежищем контрреволюции.

Через пять дней после Октябрьской революции, 30 октября 1917 г., бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев решил ехать в штатском со своим адъютантом из Петрограда на Дон к атаману донского казачества генералу А. М. Каледину.

14 ноября (по новому стилю) он прибыл в Новочеркасск и был помещен в здании пустующего лазарета по Барачной улице № 39.

А 15 ноября он отдал уже приказ о формировании Добровольческой армии.

В начале декабря 1917 г. сюда же прибыли выпущенные из Быховской тюрьмы, заключенные туда главой Временного правительства Керенским, генералы Корнилов, Романов, Деникин, Марков, Лукомский и другие.

Так здесь зародилось и начало формироваться, главным образом из бежавшего сюда на юг офицерства, контрреволюционное белогвардейское добровольческое движение, и отсюда началась беспощадно жестокая Гражданская война не только на Украине, но и по всей стране.

27 декабря 1917 г. главкомом Добровольческой армии стал генерал Л. Г. Корнилов, начальником штаба — генерал А. С. Лукомский, начальником 1-й дивизии — генерал А. И. Деникин. А генерал М. В. Алексеев стал Верховным главнокомандующим в политическом, дипломатическом и финансовом отношении.

Генерал А. И. Деникин в своей книге ***«Очерки Русской смуты»*** писал: ***«Было трогательно видеть, как бывший Верховный главнокомандующий, только что правивший миллионными армиями и распоряжавшийся миллиардным военным бюджетом, бегал теперь, хлопотал и волновался, чтобы достать десяток кроватей, несколько пудов сахара и хоть какую-нибудь ничтожную сумму денег, чтобы приютить, накормить и одеть свою армию, гонимых, бездомных людей, стекавшихся на Дон».*** Этим генералом, был генерал М. В. Алексеев.

С самого первого момента было видно, насколько безнадежно их положение. Но с помощью иностранных сил Антанты, куда в апреле 1917 г. вступили и Соединенные Штаты Америки, они надеялись сломить волю народа и добиться победы. Так началась жестокая, кровопролитная борьба, и так называемая самая бескровная революция превратилась в самую кровавую, жестокую братоубийственную Гражданскую войну, продолжавшуюся почти четыре тяжелых года.

Атаман Всевеликого войска Донского генерал Каледин в конце декабря

1917 г. во исполнение своей идеи борьбы с Советской властью, захватив Ростов-на-Дону, двинулся на Донецкий бассейн. Ему помогала Украинская Центральная рада — оружием, боеприпасами, деньгами и вооруженной силой, пропуская к нему казаков и юнкеров со всех сторон.

Но на защиту Донецкого бассейна и ликвидацию мятежа Каледина были быстро мобилизованы красногвардейские рабочие отряды Донбасса, красногвардейские и партизанские отряды Мариуполя, активным организатором и участником которых был в то время наш отец.

Он также был одним из главных участников создания 5 января 1918 г. Центрального штаба Красной гвардии Донбасса во главе с Д. И. Пономаревым. В эти отряды отовсюду шли рабочие, крестьяне, раздетые, разутые, плохо вооруженные, но полные решимости и непобедимого энтузиазма встать несокрушимой стеной на защиту своего родного Донбасса. В помощь рабочим Донбасса и красногвардейским местным отрядам для ликвидации мятежа А. М. Каледина прибыли также красногвардейские отряды по борьбе с контрреволюцией на Юге под командованием В. А. Антонова-Овсеенко.

После тяжелых ожесточенных боев 30 декабря 1917 г. атамана А. М. Каледина изгнали из Макеевки и некоторых других пунктов Донбасса. Но окончательно он был разбит только в феврале 1918 г. После этого поражения генерал Каледин застрелился.

Перед смертью на совещании генералитета он заявил: ***«Положение наше безнадежно. Население к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Свои полномочия Войскового атамана слагаю. Господа, короче говорите, время не ждет. Ведь от нашей болтовни Россия погибла».***

Генерал Каледин ушел с заседания и пустил себе пулю в лоб. Отборные остатки его офицерских частей бежали на Кубань к генералам Деникину и Корнилову, где они и составили основной

костяк белогвардейской Добровольческой армии, при помощи которой генерал Деникин угрожал разогнать Советы и перевешать большевиков.

Австро-венгерская оккупация

После Октябрьской революции Украинская Центральная рада отказалась признать Советскую власть, заключила соглашения с различными контрреволюционными организациями, с Антантой, захватив власть в свои руки, напала на Киевский Совет рабочих депутатов и стала бороться против Советов на Украине.

Несмотря на подписание 2 декабря 1917 г. Брест-Литовского соглашения о перемирии, согласно которому Германия обязывалась прекратить войну с Советской Россией, германские и австро-венгерские империалисты, заключив с Украинской Центральной радой отдельный договор, 18 февраля 1918 г. двинули по всему фронту в Советскую Россию 300-тысячную вооруженную до зубов армию. Захватив Прибалтику и Белоруссию, они вошли на Украину как полноправные хозяева, рассчитывая прибрать к своим рукам военную, политическую и хозяйственную жизнь страны. Оккупированная Украина нужна была австро-германским захватчикам как страна, богатая сырьем и продовольствием. Отсюда они рассчитывали пробраться в угольный Донбасс, а через Дон и Кубань — в Закавказье к нефти Баку.

Советская власть в Мариуполе продержалась недолго. 20 апреля 1918 г., даже после того, как в марте 1918 г. был уже подписан Брест-Литовский мирный договор с Германией, Мариуполь и его окрестности были оккупированы австрогерманскими войсками, а вся Украина находилась в огненном кольце фронтов: белогвардейских контрреволюционных армий Петлюры, Деникина, Дроздова и бесчисленных вновь возникавших анархо-контрреволюционных банд. Украинская Центральная рада по договору, заключенному с Германией и Австро-Венгрией, обязывалась вывезти в Германию миллионы пудов хлеба, мяса, железной руды и различное промышленное сырье. Но когда Центральная рада оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства, немецкие оккупанты 20 апреля 1918 г. разогнали Раду во главе с Петлюрой, избрали гетманом Украины царского генерала Павла Скоропадского и стали немедленно восстанавливать на Украине свергнутые народом дореволюционные порядки.

Вернулись помещики и хозяева предприятий. Помещики потребовали от крестьян немедленного возвращения земель, сельскохозяйственной утвари, возмещения убытков, наложили на крестьян непосильную контрибуцию за разгром помещичьих усадеб во время крестьянских восстаний.

Германские войска, попав на Украину с помощью гетмана П. Скоропадского, учинили на Украине настоящий грабеж. Днем и ночью эшелон за эшелоном вывозили в Германию ее богатства: нефть, уголь, золото, машины, сырье, инвентарь, хлеб, скот, птицу. И там, где крестьяне сопротивлялись такому грабежу и насилию оккупантов и помещиков, появлялись карательные отряды, которые чинили суд и расправу над населением. Секли нагайками, шомполами, расстреливали, вешали, и не только коммунистов и комиссаров, но и местное население, которое подозревали в симпатиях к Советской власти, сжигали их дома, уничтожали имущество.

В огненном кольце

В июне 1918 г. состоялась уездная подпольная большевистская конференция, на которой обсуждался вопрос о подготовке вооруженного восстания.

На Украине начали создаваться нелегальные большевистские организации, военно-повстанческие штабы, революционные комитеты и партизанские отряды.

Весь 1918 г. не только Украина, но и вся Советская республика находилась в огненном кольце фронтов. Но Южный фронт в 1918 г. являлся главным фронтом республики.

Белогвардейская Добровольческая армия генерала Деникина наступала на Северный Кавказ. На Дону с помощью немцев укрепился казачий атаман Краснов, бежавший на Дон после разгрома авантюры Керенского и обещавший не воевать против Советов.

Советское правительство обратилось с призывом к населению Украины дать отпор Центральной раде и войскам немецких оккупантов, наступавшим с запада. Но силы были неравны, части старой армии были в полном разложении и не в были состоянии оказать сопротивление.

И несмотря на декрет, изданный советским правительством 20 января

1918 г., об организации на Украине на добровольных началах Красной Армии, ее фактически тогда еще не было. Она только-только начала формироваться из красногвардейских и партизанских отрядов. Но чем сильнее становилось сопротивление оккупационным и белогвардейским силам, тем сильнее становилось партизанское движение.

Создавались военно-повстанческие штабы, революционные комитеты, и крепла, первоначально созданная на добровольных началах, Красная Армия. Декрет об обязательной мобилизации в Красную Армию был издан только в мае 1918 г., а к осени в ее рядах было уже около миллиона бойцов.

И в ноябре 1918 г. под ударами Красной Армии и партизан от немецкой оккупации была освобождена часть Украины, на которой была установлена Советская власть.

В это время на Украине также был свергнут гетман Скоропадский, который бежал из Киева, переодевшись в немецкую форму. Но в Киеве власть перешла в руки националистов, во главе с Петлюрой образовалась так называемая Директория, которую тоже поддерживали интервенты. На смену немцам в конце ноября 1918 г. на Юге

высадились войска Антанты — вооруженные до зубов две французские и две греческие дивизии, а в черноморских и азовских портах стояли боевые суда Антанты.

Они объединили Донскую и Добровольческую армии под общим командованием генерала Деникина, которую вооружили и снарядили всем необходимым. И Украина снова оказалась в огненном кольце белогвардейских контрреволюционных армий: Петлюры, Деникина, Дроздова и бесчисленных вновь возникавших анархо-контрреволюционных банд.

Южный фронт стал снова самым главным, самым опасным фронтом Советской республики. В ответ на действия Антанты осенью 1918 г. Ленин выдвинул лозунг о создании 3-миллионной Красной Армии.

И только в декабре 1918 г. удалось остановить наступление интервентов и белогвардейцев на юге, а в начале января 1919 г. перейти в контрнаступление. Но в это время со стороны Азовского моря надвигались деникинцы, и очень скоро весь этот район снова оказался в руках контрреволюции. Армия Деникина в апреле 1919 г. захватила часть Донбасса, где уже хозяйничали отряды Май-Маевского, Шкуро, дроздовцев, марковцев, которые очень жестоко расправлялись с населением и рабочими каменноугольного Донбасса. Рабочие Донецкого бассейна и Мариупольского промышленного района, очень враждебно настроенные против иностранных и белогвардейских захватчиков, оказали сильное сопротивление.

Армия Деникина вместо осуществления своего плана похода прямо на Москву должна была в течение 5 месяцев вести упорные, жестокие бои в этом промышленном шахтерском районе Донецкого бассейна. И только когда в начале июля 1919 г. деникинцы вновь захватили весь Донецкий бассейн, а в начале августа 1919 г. — почти всю Украину, армия получила приказ Деникина о наступлении на Москву.

Вдоль Волги наступали части генерала Врангеля, в центре — белоказаки, а на левом фланге — Харьков, Курск, Орел, Тула — части Добровольческой армии, состоявшей из отборных офицерских отрядов.

Помню из рассказов отца, с какой силой сопротивлялись красногвардейские, партизанские и красноармейские части на узловой ж.-д. станции Дебальцево. Здесь произошло одно из самых тяжелых, кровавых столкновений с Добровольческой армией. Добровольческой армии, снаряженной, вооруженной до зубов иностранными интервентами, организовавшей «крестовый поход» против Советской страны, удалось здесь прорваться и двинуться на Москву.

Второе крупное сражение, по рассказам отца сыгравшее огромную роль в задержке продвижения Добровольческой армии на Курск, произошло под Купянском. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, задержавшей наступление белой армии на Курск, им все-таки удалось прорваться еще раз и в начале сентября 1919 г. занять так называемую красную крепость — Курск. А 1 октября 1919 г. корниловцами и марковцами был занят Орел. Они стали приближаться уже к Туле, а Май-Маевскому был дан приказ наступать прямо на Москву.

Советская страна оказалась в катастрофически тяжелом положении. Но на Украине в помощь Красной Армии, была проведена широкая мобилизация. Ударная группа 14-й армии, командиром которой был И. П. Уборевич, получила задание разгромить белогвардейские войска Деникина. Имена Уборевича и Примакова так часто упоминались в воспоминаниях отца, а также во время встречи с его старыми боевыми соратниками, что они казались мне членами нашей семьи.

24 октября 1919 г. была разбита деникинская конница Мамонтова. А в ноябре 1919 г. была создана Первая конная армия Буденного.

Разгром основных сил армии генерала Деникина, без преувеличения можно сказать, закончился поражением их под Орлом, говорил отец. Сорок дней длились упорные бои под Орлом, Воронежем, Костромой и Курском. С занятием Орла фактически закончилось наступление вооруженных сил Юга на Москву и наступил сначала оборонительный период, потом отступление до самого Новочеркасска.

Курск был взят Красной Армией 17 ноября 1919 г.

С этого момента прекратилось наступление белогвардейских вооруженных сил Юга на Москву, после периода оборонительных боев началось их отступление до самого Новороссийска, и произошел решительный перелом в борьбе в пользу Красной Армии. В этот жестокий 1919 год шли упорные бои за каждый клочок земли.

Дроздовец Вл. Кравченко в своей книге «От Ясс до Галлиполи» пишет: ***«Мы дроздовцы, пленных не брали, по улицам Усть-Кайсунского валялись свыше 200 трупов красных, а на улицах Дмитровска валялись 600 трупов китайцев, латышей, и в течение целого дня мы из различных домов и сараев вылавливали красных и „протрезвляли“ их».*** Так они сами пишут о своих «подвигах».

В начале января 1920 г. Первая конная армия освободила Ростов-на-Дону. 27 марта 1920 г. был освобожден Новороссийск.

Разгром генерала Врангеля

Советское правительство в начале 1920 г. предложило правительствам Франции, Италии, Англии, Японии и всем малым странам приступить к переговорам о мире. Из всех малых стран одна Финляндия согласилась на переговоры о мире. Польское правительство отвергло неоднократные предложения советского правительства о мире, рассматривая такие предложения как признак слабости, и 25 апреля 1920 г. польская 50-тысячная армия напала без объявления войны на Украину и захватила всю Правобережную Украину и Киев.

В начале 1920 г. отряды батьки Махно составляли колоссальную силу, он располагал огромным количеством орудий, пулеметов, тачанок и многотысячной конницей. Но идти на польский фронт он отказался, за это от имени всеукраинского ревкома армия Махно вновь была объявлена вне закона, и с этого момента в течение нескольких месяцев между махновцами и Советской властью снова шли ожесточенные бои.

Но как только летом 1920 г. Врангель, мобилизовав все свои силы, начал занимать один город за другим — Бердянск, Мариуполь, Синельниково, Александровск — и стал угрожать захватить весь Донбасс, Махно в конце сентября 1920 г. сделал свой выбор. Он снова присоединил свои силы к Красной Армии для совместной борьбы против генерала Врангеля, считая, что спасти революцию и разбить белогвардейскую контрреволюцию генерала Деникина, а также генерала Врангеля, к которым он питал неукротимую ненависть, можно только совместно с Красной Армией.

Совместными силами разгромили генерала Врангеля, освободили Украину и, двинувшись в глубь Крыма, захватили две первые линии перекопской обороны, перешли Сивашский залив, атаковали оборону Литовского полуострова и, перейдя по импровизированному мосту Чонгарского полуострова, отборные части Красной Армии ворвались в Крым.

Мы, пионеры и комсомольцы, еще в 1930 году лазали по «гнилому морю», так называли Сивашский залив, искали трофеи Гражданской войны и, представьте, находили: котелки, погоны, головные уборы и даже пару пистолетов и шашку нашли, но самыми грустными находками были кости, черепа убитых; взяв их в руки, мы плакали.

Генерал Врангель отступал к портам Крыма. Он понял, что Добровольческая армия потерпела полное, сокрушительное поражение, что война для них закончилась и дальше отступать

некуда, и дал команду об эвакуации гражданского населения и войск в Турцию, в Константинополь.

Итак, 15 ноября 1920 г. закончилась абсолютно никому не нужная, бессмысленная братоубийственная, безжалостная, жестокая, кровопролитная почти 4-летняя Гражданская война. Эта война, кроме горя, страданий, разрухи и голода, ничего не дала стране, за которую якобы воевала Добровольческая, а позже так называемая ***Русская армия.*** По существу, это была не армия освободителей, а ***армия мстителей.*** Она мстила за могучую ***народную революцию,*** которая разрушила, разбила, уничтожила старый строй в России. Мстила народу за защиту Октябрьской революции, которую он совершил в глубокой надежде создать новый, справедливый, свой рабоче-крестьянский строй в измученной, уставшей, веками эксплуатируемой России. Мстила народу, который хотел избавиться от своих поработителей и от иностранной зависимости, народу, который шел на смертный бой за землю, за волю, за лучшую долю и за светлое будущее счастье на всей нашей планете, если не для себя, то для будущих поколений на земле.

Люди шли на смерть и умирали не за свои усадьбы и поместья, нажитые чужим трудом, а за право пользоваться своим собственным трудом и не обогащать паразитов. Они шли против царского режима, державшего его в темноте, голоде, холоде и в рабском повиновении бессердечной эксплуатации. Они шли в бой против заменившего его буржуазного режима, считая его продолжением тех же монархических порядков на новый лад. Народ громил, растаскивал помещичьи усадьбы, делил землю не потому, что он был пронизан разбойничьим и воровским духом, а потому, что считал, что иначе никаких перемен не дождаться. Они тащили и делили то, что, по существу, было нажито их рабским трудом, а не трудом тех, кто прожигал жизнь за границей и проигрывал несметные состояния в игорных домах Европы.

Народ устал от войны и не хотел воевать за веру, царя и отечество и за полусумасшедшую истеричную царицу с ее наставником, авантюристом Распутиным. Не хотел поливать своей кровью и покрывать своими трупами нашу многострадальную, никогда не принадлежавшую ему до этого землю. Или возвращаться израненным, искалеченным в пустую хату, к голодной семье и детям. В то время как офицеры, в блестящей форме, звеня шпорами, шатались по дворцам и штабам, пили, кутили в тылу.

Все это так и было, даже во время Гражданской войны. Вот выдержки из книги Николая Росса «Врангель в Крыму». В главе

«Армия и население» он пишет: «Население, восторженно встречавшее войска „белых“, вскоре с ужасом отшатывалось от грубых пришельцев, менее всего считавшихся с его интересами и заботившихся о его благе». К концу весны 1920 г. на занятой белыми территории генерал Врангель, заменив генерала Деникина и став главнокомандующим Добровольческой армии, переименованной им уже в Русскую армию, считал, что одной из его основных задач было наведение порядка на занятой белыми территории и установление более или менее приемлемых отношений военных с населением. Так как во время правления генерала Деникина белые войска приобрели весьма плачевные привычки: «Грабежи, разбои и другие имущественные преступления не подвергались надлежащему преследованию, стали в войсках обыденным явлением. Даже честные солдаты в белой армии превращались в ***гнусных мародеров***, исчезала всякая идейность и даже простая порядочность, им на смену приходили низкие корыстные мотивы, грубый произвол…»

Генерал Врангель в рапорте генералу Деникину 9 декабря по этому поводу писал: «Война обратилась в ***средство наживы***, а довольствие местными средствами — в ***грабеж и спекуляцию…*** Армия развращалась, обращаясь в торгашей и спекулянтов»… «У ***многих появились бешеные деньги, неизбежным следствием чего явились разврат, игра и пьянство».*** (Н. Росс. «Врангель в Крыму». Ч. 1.

С. 259). (Н. Росс. «Врангель в Крыму». Гл. 5. С. 87–88).

И ничего удивительного не было в том, что Добровольческая армия, а затем так называемая Русская армия, в которую входили сливки высшего общества России, призванная в самую страшную годину, когда рушились вековые традиции, защищать честь и достоинство России, той России, в которой они имели все привилегии и пользовались всеми благами, превратилась в армию грабителей. «…Не ***только в глубоком тылу, но и в самом штабе Добровольческой армии во время командования им генералом Май-Маевским творилось такое безобразие, такое пьянство и разврат, что в результате вызвало замену генерала Май-Маевского на генерала Врангеля».***

В. Кравченко пишет в книге «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи» на с. 358: «Одни ищут причины наших неудач и развала фронта в одном, другие — в другом и т. д., но все сходятся в одном „…все их видят в ***грабежах и бесчинствах*** войсковых частей“».

Привычка к самоснабжению превратилась в насилие над населением. Преступления имели имущественный характер: грабежи, кражи, разбой, продажа казенного оружия, обмундирования, покупка краденого, вымогательство, угон

скотины и лошадей и т. д., и т. п.

В первые же дни своего пребывания на посту генерал Врангель начал принимать меры для пресечения грабежей и насилия в армии. Были расстреляны солдаты-грабители, и даже полковника расстреляли: «Приказом № 3134 была создана Военно-судебная комиссия для ***защиты населения от грабежей и разбоев***, от которой было мало толку, так как члены комиссии никак не могли себе представить, как это им придется хватать своих старых товарищей и судить их за те деяния, в которых каждый из них был сам грешен тысячу раз».

Генерал Врангель как будто стремился, хотя бы отчасти, бороться с прежним ожесточением и беспощадностью в армии, но несмотря на это, по приказанию генерала Слащева военно-полевые суды весьма активно приговаривали к расстрелу и расстреливали всех подозреваемых лиц без всяких приговоров. Так, например, генерал Кутепов в Симферополе всех подозреваемых предавал военно-полевому суду и тела казненных в назидание потомству вешал на телеграфных столбах города, наводя ужас на городское население, и даже жалобу на такие преступления городского головы Усова генерал Врангель отклонил.

И все меньше и меньше вступало в Добровольческую армию военнообязанных с 18 до 34 лет в ответ на призыв от 6 мая 1920 г. о мобилизации. Уклонение стало всеобщим. Мобилизованные уходили в горы к «зеленым», но взамен уклонившихся от мобилизации стали брать на службу членов той же семьи в возрасте от 17 до 47 лет. Брали под стражу родителей, жен уклонившихся и конфисковывали их имущество. Но не только рядовые уклонялись от мобилизации в белую армию. «Несмотря на все старания власти, — пишет Н. Росс на 101-й с. в своей книге „Врангель в Крыму“, — значительное количество офицеров продолжало всеми правдами и неправдами уклоняться от службы на фронте».

Николай Росс также пишет, что отношение к красноармейцам у генерала Деникина было ужасное. И даже желая исправить это, 29 апреля генерал Деникин объявил приказ, по которому приказывал ***«безжалостно расстреливать*** всех комиссаров и других активных коммунистов, захваченных во время сражения, а всех остальных офицеров и солдат Красной Армии, если они сдались или перешли на нашу сторону до сражений или во время боев, привлечь на нашу сторону».

Таким же образом генерал Врангель в мае 1920 г., обращаясь к красным офицерам, призывал их стать в ряды настоящей Русской армии и обещал им «забвение прошлого» и «возможность

искупить свой грех», всякие блага, возвращение званий и привилегий. Но случаи перехода офицеров к белым остались единичными, и к лету, по признанию Павлова, «надежды на переход офицеров со стороны красных определенно рухнули» (В. Е. Павлов «Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917–1920 гг.». С. 282).

Генерал Врангель в своем приказе от 25 августа довольно наглядно выразил свою точку зрения на недружелюбное отношение населения к белой армии: «Ввиду этого считаю необходимым объявить, что, ограждая права населения и сурово карая судом всякое беззаконие со стороны какого бы то ни было чина в армии, я буду также внимательно следить за случаем недружелюбного отношения к армии и ***беспощадно карать*** виновных» (АК-10, приказ № 3570).

Такое разложение тыла происходило еще и потому, что лозунг «За единую, неделимую Россию» оказался голым и никого больше не удовлетворял. А в июне была официально даже выпущена листовка ВАВ-155 с обращением к латышам: «Товарищи латыши, в Совдепии власть держится на жидовских умах, латышских штыках и русских дураках».

Читая и перечитывая литературу, написанную самими участниками или историками, изучающими причины неудач белых в Гражданской войне, приходишь к одному-единственному заключению: на фоне существовавшей в это смутное время неразберихи только у большевиков были брошены те лозунги и выражены те цели и задачи, за которые народные массы готовы были идти на смерть. Рабочим обещали фабрики и заводы, крестьянам — землю и всем, всем — мир, свободу, полную независимость и райскую жизнь здесь, на земле, а не на небесах. А что такое коммунизм, что такое социализм, никто никакого понятия в то время не имел.

Батька Махно

Знаменитое Гуляйполе в Александровском уезде на юге Украины было самое большое, богатое торгово-промышленное украинское не то село, не то город с многотысячным населением разных национальностей. Окруженное огромным количеством богатых землевладельцев и богатейших немецких колоний, Гуляйполе являлось также культурным центром, славилось не только в Александровском уезде, но и во всей Екатеринославской губернии. А в годы Гражданской войны Гуляйполе прославилось еще тем, что стало центром и штаб-квартирой анархо-революционного движения под предводительством Нестора Ивановича Махно.

Нестор Иванович Махно родился 27 октября 1889 г. на юге Украине в Гуляйполе Александровского уезда, Екатеринославской губернии в бедной крестьянской семье.

Отец его умер, когда ему было 11 месяцев. На руках матери кроме него остались четыре брата мал мала меньше. С 7 лет он со своими братьями был пастухом, пас коров, свиней, овец. Позже батрачил у помещиков и у богатых немцев-колонистов. Тяжелые, жесткие условия жизни рано начали развивать в нем чувство ненависти к богатым и желание отомстить за унижения и оскорбления. Будучи активным, любознательным юношей, он быстро примкнул к «Союзу бедных хлеборобов», организации анархического направления, и, собрав шайку таких же головорезов, как и он, начал нападать на барские усадьбы, почту, терроризировать купцов, грабить лавки, банки и раздавать награбленное бедным.

В 1906 году он напал на городскую кассу г. Бердянска, убил одного чиновника и в 1908 году был арестован за анархо-террористическую деятельность, осужден и приговорен к повешению. Приговор к смертной казни, ввиду его несовершеннолетия, был заменен бессрочной каторгой.

Закованный по рукам и ногам за непокорный характер, он 9 лет каторги отбывал в Московской центральной пересыльной тюрьме в Бутырках.

Тюрьма также была его единственной школой. Здесь он встретился и сблизился не только с настоящими анархистами, но и с их идеями безвластной федеративной организации общества на основе свободных трудовых группировок и решил, что это самое правильное для него направление. Все свои знания он черпал из обмена мнениями среди своих товарищей, таких же малограмотных бедолаг, как и он. И сам он часто заявлял: ***«Не***

только я, но и 90 % анархистов из рабочих и крестьян не имеют никакой теоретической подготовки и никакого понятия, что такое анархизм, ввиду своей малограмотности». Но все они считали, что это самое правильное для них направление: крушить, громить, жечь и убивать все и всех, что им не по душе, что им не нравится и не разделяет их взглядов.

Освобожденный Февральской революцией 2 марта 1917 г. из Бутырской тюрьмы, Махно немедленно вернулся в свое родное Гуляйполе, где крестьяне в это время, не обращая внимания на призывы и распоряжения Временного правительства, уже вовсю громили, жгли помещичьи усадьбы, выгоняли помещиков и делили землю.

Здесь оставались его единомышленники ***анархисты-коммунисты.*** Он всю жизнь до самой смерти называл себя анархистом-коммунистом, готовился бороться за освобождение трудящихся от любой эксплуататорской власти и установление социальной справедливости. Многие из его товарищей за эти годы были расстреляны, повешены, высланы в Сибирь или скитались по заграницам. Основное ядро анархистов-коммунистов погибло. Но то, что осталось, пустило глубокие корни среди трудового крестьянства, откуда родилась и поднялась огромная сила революционных масс, на которую и решил опереться Махно.

Как только в марте месяце в Гуляйполе появился Махно, немедленно был организован «Крестьянский союз», куда вступил Махно и был избран председателем этой организации, как бывший политкаторжанин. Он тут же, в качестве председателя Совета, в осуществление своих анархо-коммунистических идей, отобрал у помещиков и землевладельцев документы — купчие бумаги, произвел учет всего имущества и сжег документы. Предложил всем помещикам и кулакам, желающим заняться собственным трудом, получить такую же норму земли, как и все трудящиеся, а крестьянам — организовать в усадьбах сельхозкоммуны на добровольных началах.

Махно также утверждал, что он хочет указать трудовому крестьянству пути и средства, как можно разрушить строй поработителей и угнетателей и как создать новый строй, при котором исчезли бы власть и рабство и наступили бы свобода, равенство и братство. А что для этого необходимо сделать? «Необходимо, — заявил он, — немедленно предпринять решительные меры, разогнать все правительственные учреждения и отнять всю частную собственность у помещиков, капиталистов и у государства. Землю раздать крестьянам, а все фабрики и заводы передать в общественное пользование трудящимся». Для

проведения этих идей в жизнь съезд избрал группу анархистов-коммунистов, которая и стала ядром его «черной гвардии».

В августе 1917 г. гуляйпольским районным съездом трудящихся была принята резолюция, решительно осуждавшая претензии Временного правительства в Петрограде и Украинской Центральной рады в Киеве на управление жизнью людей и призывавшая всех игнорировать всякие распоряжения этих правительств. «Народ должен сам управлять своей судьбой», — категорически и безапелляционно заявил Махно в качестве председателя Совета.

Когда в Петрограде произошла Октябрьская революция под руководством мудрого Ленина, а слухи о ней дошли на Украину лишь в конце ноября или даже в начале декабря 1917 г., ее лозунги «Вся власть Советам рабочих и крестьянских депутатов», «Землю крестьянам, фабрики и заводы рабочим» Махно воспринял с энтузиазмом.

А когда сюда начали доноситься слухи о петроградских событиях и о том, что революция в Петрограде находится в тяжелом положении, что там уже льется кровь братьев-рабочих, Махно решил, что он немедленно должен помочь им вырваться из этой петли и помочь уничтожить антиреволюционную язву — Временное правительство и все окружающие его партии. Для этого решено было организовать «Комитет защиты революции», руководителем которого был назначен тоже Нестор Иванович Махно.

И когда в июне 1918 г. он поехал в Москву на свидание с руководством анархического движения, он встречался даже с Лениным, к которому питал огромную симпатию и уважение.

Но в Москве, решив, что анархисты занимаются только болтовней, а не делом в то время, когда украинское крестьянство бурлило, Махно с большим риском для своей жизни (т. к. оккупировавшие Украину австро-германские войска уже объявили очень высокую цену за его голову) махнул обратно, в свое родное, оккупированное немцами, Гуляйполе. Там в это время вернувшиеся с немецкими оккупантами на Украину помещики отбирали у крестьян обратно землю и требовали с них непосильную арендную плату. Появились карательные отряды, которые чинили суд и расправу над населением. А германские оккупационные войска разоряли, грабили, избивали, вешали, расстреливали население и сжигали дотла деревни и села. Все это способствовало укреплению махновщины, и в течение очень короткого времени она стала огромной грозной силой, которая наводила ужас не только на местную буржуазию и австрогерманские войска, но иногда и на Красную армию.

Вновь избранный Комитет защиты революции обратился с призывом к рабочим и крестьянам взяться за оружие, облететь все помещичьи усадьбы, кулацкие хутора и богатые немецкие колонии всего Гуляйпольского уезда и от имени Комитета защиты революции разоружить всю буржуазию и ликвидировать, отобрать все ее права на народные богатства, на землю, фабрики, заводы, типографии, а если надо и жизнь, и раздать все истинным защитникам революции. Все «соратники» Махно с энтузиазмом отозвались на этот призыв.

Махно к тому времени уже приобрел в этом районе колоссальную популярность среди крестьян и трудового населения и невероятно огромную ненависть помещиков, землевладельцев, капиталистов, всех тех, у кого он отнимал не только оружие и землю, но все имущество и жизнь. И даже Красная армия объявила его вне закона, и под нажимом Красной армии он вынужден был отступить даже до границы с Галицией.

Но как только в сентябре 1919 г. генерал Деникин подошел к Орлу, угрожая Москве, Махно вновь поднял свои повстанческие отряды, призывая их бороться с «золотопогонниками». Он стремительно набросился на деникинские тыловые части, перебил их и начал занимать один город за другим: Александровск, Пологи, Гуляйполе, Бердянск, Мелитополь и очень важные ж.-д. узлы: Лозовую, Синельников о, Волноваху, Мариуполь, через которые проходила основная линия военно-артиллерийского снабжения деникинской армии. Тем самым он совершенно отрезал фронт белых от военной базы снабжения (при взятии махновцами Бердянска и Мариуполя там было обнаружено несметное, не подающееся учету количество оружия), поставил под смертельную угрозу основную штаб-квартиру генерала Деникина в Таганроге.

Деникину пришлось выслать против Махно части, стоявшие в резерве, и оттянуть некоторые лучшие кавалерийские части Шкуро и Мамонтова с северного фронта для сражения в тылу с партизанскими повстанческими бандами Махно.

В это же самое время, в конце сентября 1919 г., ударной группе Красной армии удалось успешно разгромить конницу Мамонтова и генерала Шкуро и, начав наступление по всему фронту, освободить в ноябре ряд городов: Курск, Орел, а также, совместно с партизанским повстанческим движением, нанести сокрушительное поражение армии Деникина в тылу.

Деникинцы, под напором Красной армии, заявили, что центр борьбы теперь переносится с севера на юг, где и будет решаться их судьба. И в ожесточенных боях на юге деникинцы вытеснили Махно из Мариуполя, Бердянска и даже Гуляйполя. Но Махно

снова нанес огромные поражения деникинцам, и особенно его кавказским частям, которые заявили, что они отказываются воевать против Махно, бросили армию Деникина и махнули к себе на Кавказ. Так Деникину не удалось захватить Москву, о чем он мечтал, разогнать Советы и перевешать большевиков.

Поражение Белой армии на Южном фронте в конце 1919 г. дало возможность Красной армии ликвидировать фронты Колчака, Юденича, Закавказский, Туркменский и другие. О, Господи, сколько же их было!

В декабре 1919 г. генерал Врангель, став вместо генерала Деникина главнокомандующим Добровольческой армии, переименовал ее в Русскую армию. Врангель, воспользовавшись тем обстоятельством, что между махновцами и советскими войсками в это время шли ожесточенные бои, послал к батьке Махно посланца с официальным предложением вступить с ним в союз для разгрома большевиков, обещая ему все звания, блага и привилегии, какими пользовалось тогда офицерство Русской армии.

Махно в это время находился недалеко от города Мариуполя в селе Времьевка. Выслушав капитана — посланца генерала Врангеля, он предложил Совету казнить посланца. Капитан был повешен с надписью на груди «Никогда никакого союза у Махно с белогвардейцами не было и не может быть, и если еще кто из белогвардейского стана сделает попытку прислать делегата, его постигнет та же участь, какая постигла первого». Несмотря на это, генерал Врангель послал второго посланца — полковника. Его Махно расстрелял, и все многочисленные дальнейшие неофициальные попытки через различных агентов разведки также не увенчались успехом.

Армия Махно, ведя бескомпромиссную войну с австро-немецкими оккупантами на Украине, помогла уничтожить гетманщину и ликвидировать петлюровщину. Она боролась как с белым контрреволюционным движением на Украине, так и с Красной армией.

Но с последней она часто объединялась для совместной борьбы против Белого движения, но как только цель бывала достигнута, разногласия обострялись, и начиналась жестокая борьба между Красной армией и Махно. И несмотря на то что Нестор Иванович Махно считал себя анархистом-коммунистом, все считали его большим разбойником. Он был смелый, бесстрашный, до наглости решительный и беспощадно жестокий.

Страх и ужас охватывал население, когда сотни пулеметных тачанок и многочисленная конница армии Махно, доходившая иногда до 50 тысяч разношерстных бойцов, внезапно с грохотом и

свистом врывались в города и села. Они жгли, крушили, грабили, уничтожали помещичьи усадьбы, кулацкие хозяйства, вешали и расстреливали урядников, священников, офицеров и всех тех, кто, с точки зрения Махно, являлся символом народного рабства. А после пьяного разгула, опустошительных грабежей и насилия они покидали населенные пункты. Стреляя без разбора направо и налево и так же без разбора убивая, махновцы оставляли после себя горы трупов. А за ними следовали тачанки, нагруженные добычей: золотом, тюками всевозможной одежды, ящиками с коньяком, спиртом и водкой.

Махно также крушил, разрушал и взрывал тюрьмы, так как считал, что являются символом народного рабства, и что буржуазия всех стран в течение тысячелетий укрощала бунты народа плахой и тюрьмой, а свободному народу они не нужны.

Вначале Махно поддерживали украинские беднейшие крестьяне. Когда он собирался в поход, то в мгновение ока мог собрать многотысячную армию мужиков-партизан, он умел зажечь толпу своими речами. Кончался бой — и эти же мужики мирно стояли у своих хат как ни в чем не бывало, в то время как немецкие и австрийские войска с ног сбивались в поисках махновцев.

Контрреволюционные группировки

Итак, несмотря на то что тяжелая, жестокая, кровавая Гражданская война официально закончилась 15 ноября 1920 г. и наступило мирное время, борьба против Советской власти и всевозможные вооруженные столкновения приняли другие формы и продолжались до 1922 г., а в некоторых частях нашей страны — даже дольше. На Украине все еще продолжали активно действовать многочисленные внутренние и внешние, крупные и мелкие контрреволюционные отряды и банды: Махно, Тютюника, Золотого зуба, Черного ворона, Григорьева, Маруськи — и многие другие побитые и недобитые.

Из всех из них самой страшной силой, безусловно, был Махно, который, сразу же после совместной с Красной Армией борьбы по изгнанию белогвардейской армии генерала Деникина и генерала Врангеля и окончания Гражданской войны, вступил в ожесточенную войну с советской властью, нанося ей физические и моральные удары. Махно считал, что Советская власть и Коммунистическая партия монополизировала революцию и поэтому является реакционной силой и с ней надо также бороться. В городе Бердянске махновцы самым зверским образом уничтожили 83 коммуниста, и не только там и не только их, они убивали с изощренной жестокостью всех, всех неугодных им, кто под руку попадал.

С остатками своих когда-то многочисленных войск теперь он метался по всей Украине, стараясь вновь поднять крестьянство за «Свободные советы». Но силы были уже не те. Крестьянство устало от бесконечных побоищ и стремилось к мирной жизни. Бедное крестьянство, на которое он с самого начала опирался, постепенно перешло на советскую сторону, и ему пришлось все больше и больше собирать вокруг себя всякий сброд. Ему пришлось опереться на более зажиточную часть крестьянства, которое боялось советского раскулачивания и теперь начало искать у него защиту. Так он превратился из защитника беднейшего крестьянства в защитника зажиточного слоя, против которого он с самого начала вел беспощадную войну. Ходили даже слухи, что в этом отношении большое влияние на него оказывала его вторая жена. Налеты, грабежи и убийства становились все смелее и наглее. Не успевали ликвидировать их в одном месте, как тревожные сообщения и просьбы о помощи поступали с другого конца. По-видимому, они уже решили: все равно конец — погибать, так с музыкой.

В это же время на Украину прибыл Л. Д. Троцкий, который

твердо заявил, что теперь одной из основных задач Советской власти является ликвидация со всей решительностью на Украине бандитизма, и в первую очередь призывал выступить против махновщины, чтобы разбить и уничтожить ее в самом корне.

На борьбу с бандитизмом направлялись лучшие, отличившиеся в боях командиры. Вот сюда, в Гуляйпольский уезд, по приказу Реввоенсовета в конце 1920 г. и был назначен мой отец командиром особого кавалерийского отряда по борьбе с бандитизмом и махновщиной.

Коллективизация

Больше всего сплошной коллективизации подверглись районы Поволжья, Северного Кавказа и степные части Украины. Во вторую группу входили такие зерновые районы страны, как Центрально-Черноземная область, Сибирь, Урал, Казахстан.

Только за три месяца (июль — сентябрь) 1929 г. в колхозы записали около миллиона крестьянских хозяйств, то есть почти столько же, сколько за двенадцать послеоктябрьских военных лет. А за последний квартал 1929 г. в колхозы втянули около 2,4 миллиона крестьянских хозяйств, а во многих районах в течение первого года количество насильственно коллективизированных хозяйств достигло уже 85–90 %.

Весь 1929 г. и в начале зимы 1930 г. происходило самое сильное принудительное обобществление, за январь и февраль 1930 г. в колхозы уже было зачислено больше 10 миллионов крестьянских хозяйств. Крестьяне под давлением вступали в колхоз целыми селениями, районами, округами, на Украине уже полным ходом шла проводимая таким путем коллективизация крестьянских хозяйств, конфисковано было имущество свыше 200 000 хозяйств.

К началу 1930 г. пятилетняя программа колхозного строительства была выполнена и перевыполнена. А в марте 1930 г. темпы коллективизации уже значительно превысили темпы, установленные постановлением ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. И все это происходило при грубом нарушении ленинского принципа добровольности.

И при таких бешеных темпах коллективизации, по существу, ни колхозного устава, ни программы и в помине еще не существовало. Никаких инструкций, никакой даже бумажечки, что же людям, собранным вместе, делать дальше, когда даже на какую-нибудь незатейливую штучку пишут замысловатые длинные инструкции, как с той штукой обращаться, а здесь ничего, абсолютно ничегошеньки. Нигде, абсолютно нигде не были подготовлены ни кадры, ни помещения, и никто, ну абсолютно никто, ни те, кто вступили в колхозы, ни те, кто издавал постановления сверху, ни местные власти, ни руководители будущих колхозов, ни сами колхозники не имели ни малейшего представления об организации колхозов, организации учета и оплаты труда крестьянина в колхозе. Чем и как будут платить? Деньгами, натурой или вообще ничем? Никто ничего об этом не знал и никакого опыта ни у кого не было, да и откуда же можно было его взять и позаимствовать, если во всей

истории человечества это был один-единственный случай сплошной коллективизации.

Как же можно было по всей стране собрать, согнать вместе, сразу разрушить жизнь такого количества спокойно, мирно работавшего населения, без всякого предупреждения, без всякой подготовки, не имея никакого, абсолютно никакого представления, с чего же надо начинать и что делать. Так можно поступить только из тупоголового упрямства и наплевательского отношения к мучениям и страданиям народа.

И вот в этой, накаленной до предела атмосфере только в конце февраля 1930 г. (видно, допекло уже всех до ручки) разыскали «умники» какой-то примерный устав какой-то сельскохозяйственной артели, внесли на рассмотрение, уточнение, исправления и только 2 марта 1930 г. опубликовали в печати.

В тот же день, 2 марта, по постановлению ЦК была опубликована статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов», которая разъясняла политику партии в колхозном строительстве, «осуждала принудительные меры коллективизации» и предписывала необходимость срочного исправления допущенных ошибок и перегибов.

И только после того как натворили уже столько «ошибок и перегибов», что дальше уже ехать было некуда, Сталин вдруг тряхнулся и выступил. А 14 марта 1930 г. Центральный комитет принял постановление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» и устранении ошибок и перегибов. И опять «ошибок и перегибов», а не преступлений!!! Ведь от этих «ошибок и перегибов» люди погибали! И вся вина за перегибы и ошибки, конечно же, была огульно переложена на местных работников. Но ведь все они действовали согласно полученным ими свыше директивам.

После сталинского выступления начали в ударном порядке подготавливать и создавать «материально-техническую базу для колхозного строительства». А где же все были раньше? С этого ведь и надо было начинать. А не тогда, когда перевернули жизнь миллионов людей. Почему же не создали ее до этого, ведь еще Ленин до своей смерти об этом предупреждал.

Ленин утверждал: «Самая трудная задача после завоевания пролетарской власти, это кооперирование мелких крестьянских хозяйств, и это МОЖНО разрешить только при помощи государственного и активного участия САМИХ КРЕСТЬЯН и ни в коем случае АДМИНИСТРАТИВНЫМИ мерами». — «Советское государство нужно улучшить и укрепить», — это тоже сказал

Ленин. Ленин также подчеркнул, «что для поголовного участия населения в КООПЕРАЦИИ необходима ЦЕЛАЯ ЭПОХА…» И что для такой подготовки потребуются десятилетия и соответствующие МАТЕРИАЛЬНЫЕ БАЗЫ, а также определенный уровень КУЛЬТУРЫ. И что крестьянина необходимо переубедить не словами, а ПРАКТИЧЕСКИМИ примерами.

После статьи Сталина начали распадаться так называемые «бумажные колхозы». Из колхозов выписывались те, кто поверил этому сталинскому выступлению, и «головокружительный процент коллективизации» немного понизился. Но все это было только временно и к так называемым кулакам не имело никакого отношения.

Мне лично казалось, что выступление Сталина должно хоть как-то спасти положение. Но к чувству облегчения примешивалась досада за незаслуженную жестокость и несправедливость к крестьянам, которая так безрассудно исходила откуда-то сверху. Почему же раньше, до выступления Сталина, если даже я видела, что происходит что-то ужасное, никто, ну просто никто как будто этого не замечал? И вдруг Сталин заявил, что произошло головокружение от успехов. Каких успехов? Никаких успехов не было. Было упорное насилие и угрюмое сопротивление насилию. Люди понятия не имели, что с ними происходит, почему и зачем все это нужно. Это же была катастрофа! И все же, несмотря на все, где-то теплилась надежда, что, может быть, теперь все изменится к лучшему.

И никто не думал, я думаю, никто не хотел даже думать, что после этого послабления Сталин вдруг завернет гайки еще туже — и наступит еще более жестокое, более кровавое, более страшное для крестьян время. Но все так и произошло.

Сталин после своего мартовского выступления понял, что никакого «головокружения от успехов» и в помине не было и никаких колхозов — по существу, тоже еще не существовало, а были просто списки крестьянских хозяйств, из которых крестьяне, поверив Сталину, бросились выписываться. Тогда он потребовал с дьявольской настойчивостью немедленно принять новое постановление «О мерах по укреплению социалистической перестройки сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации, окончания проведения коллективизации в кратчайшие сроки, по борьбе с кулачеством и ликвидацией кулачества как класс».

По этому постановлению, так же как и раньше, обобществлению подлежало все: живой и мертвый инвентарь: мелкий скот, коровы, домашние птицы, овцы и даже домашняя

утварь, и все это сгонялось в одну кучу. В административном порядке закрывались рынки, базары, церкви (которые в ударном порядке стали переоборудовать в клубы, кинозалы, а иногда в склады).

Крестьяне из боязни раскулачивания и перед вступлением в колхозы начали разрушать свои хозяйства, уничтожать и распродавать хлеб, скот, сельскохозяйственные машины и всевозможный сельхозинвентарь. В результате этих действий был нанесен огромный вред животноводству. В 1930 г. сильно уменьшилось поголовье скота по сравнению с 1928 г.: лошадей, рогатого скота — на 39 %, свиней — на 55 %, овец, коз — на 45 %. Такое колоссальное уменьшение поголовья скота подорвало всю экономику и уменьшило снабжение. Тогда против крестьян немедленно были предприняты чрезвычайные меры, к ним применили 127-ю статью Уголовного кодекса УССР, которая предусматривала за агитацию против продажи хлеба государству тюремное заключение и полную или частичную конфискацию имущества.

А в районах сплошной коллективизации, где кулаки подвергались полной экспроприации, местным властям предоставлялось право выселять «кулаков» в районы, отдаленные от их постоянного места жительства, с конфискацией всего имущества, всех средств производства и передачей их в собственность колхозам.

Так, под горячую руку в эту категорию попали не только «кулаки», туда попали «середняки» так называемые подкулачники и даже беднота. Добровольность вступления середняка в колхозы также заменялась принуждением под страхом раскулачивания, лишения избирательных прав, высылки и так далее. То есть разошлись до такой степени, что почти ни одно хозяйство не оставили нетронутым. Только вдумайтесь, вдруг после 10–12 лет существования Советской власти появилось сразу столько злостных кулаков. Не один-два, которых можно было бы привлечь к ответственности и кое-как приструнить, если бы они оказались в чем-то неугодны или вредили Советской власти, а ждали пока появится 25–35 % и даже больше, и взялись за всех сразу. Ну разве это не абсурд? И затем все пошло-поехало, да так, что чем дальше в лес, тем больше дров, и наломали их столько, что до сих пор все хорошо помнят. И это тоже ничего общего с ленинской установкой на постепенное добровольное вступление в колхозы не имело.

А в газетах, несмотря ни на что, писали: «В результате допущенных плановыми органами СЕРЬЕЗНЫХ ОШИБОК, ПЕРЕГИБОВ и недостатков в работе партийных, государственных

и кооперативных организаций огромный вред был нанесен колхозному движению».

Да разве допущенные «ОШИБКИ и ПЕРЕГИБЫ» нанесли вред только колхозному движению? Огромный вред был нанесен всей стране главным образом из-за абсолютного отсутствия подготовки и непонимания обстановки, всем отраслям советского хозяйства и даже самому существованию Советской власти.

И опять, ведь это не были ошибки и перегибы, это были уголовные преступления жестокого Сталина перед народом, перед всей страной. Неужели все были настолько слепые и поглупели до такой степени, что не понимали или не хотели понять, что все то, что творил Сталин, — это не ошибки и перегибы, а преступления. Кто, какие недруги, какие антисоветские советчики придумали и подсказали Сталину идею сплошной коллективизации без передышки и эту страшную, жуткую борьбу с кулачеством и ликвидацией кулачества как класса? Неужели до нее додумался он сам?

Ну разве это не абсурд? Когда даже в 1931–1932 гг. главным вопросом в сельском хозяйстве было дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов, и что молодые колхозы в большинстве были мелкими и экономически слабыми. Потому что колхозную собственность тогда составляли обобществленные крестьянами средства производства: сохи, плуги, бороны и всякий мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Так спрашивается, куда и зачем торопился «наш вождь», как все называли его, зачем надо было собирать крестьян с такой первобытной техникой, разве не мог он подождать, пока была бы для этого подготовлена приличная техническая база?

Ведь если бы все те колхозы, которые были уже созданы, стали бы более рентабельными и процветающими, многие индивидуальные крестьянские хозяйства с радостью, безболезненно и добровольно присоединились бы к ним. Но Сталин своей насильственной коллективизацией и вместо того, чтобы дать крестьянам возможность свободно, с достоинством сделать свой выбор, превратил их труд в муки и многих сослал на каторгу. Ведь сельское хозяйство страны даже уже в 1925 году давало 85 % довоенной продукции. Посевная площадь составляла 99,3 % довоенной. Крупного и мелкого рогатого скота стало вдвое больше. И в то же самое время, в самом начале, когда курс был взят на сплошную коллективизацию, совхозы и колхозы по производству зерна в 1927 г. занимали незначительное место и давали лишь 6 % всего товарного хлеба. Так кто придумал или кто подговорил Сталина приступить в этих условиях к проведению этой чудовищной коллективизации?! Это мог сделать

только тот, кто хотел и стремился как можно скорее уничтожить нашу советскую систему, наш советский строй, наше Советское государство.

Крестьянство надо было оставить, как считал Н. И. Бухарин, в покое. Крестьянин, привязанный к своей земле, самый верный раб своей страны. И даже больше: надо было дать им возможность, как завещал Ленин и говорил Бухарин, «обогащаться». Разве индустриализация пострадала бы от этого? Вместо голодных рабочих сытые, здоровые люди подняли бы нашу индустриальную мощь на небывалую высоту, индустриализировали бы нашу страну в сто раз быстрее и в тысячу раз лучше и подготовили бы ту техническую базу, которая была так необходима для проведения безболезненной коллективизации. Ведь все эти великие строительства, которыми мы все так гордились и гордимся, строили на моих глазах голодные и полуголодные рабочие, и голодали не только они, но и их семьи и дети. И строили с энтузиазмом, в надежде, что в конце концов это поможет всем нам улучшить нашу жизнь.

Как же Сталин этого не понимал?

Люди уже пережили одну страшную послевоенную голодовку 1921–1922 гг.

Но тогда Ленин немедленно принял меры и уже 2 августа 1921 г. обратился за помощью ко всему миру. Был создан Межрабпом — Международная организация рабочих в помощь голодающим. Он не постеснялся принять помощь от американского президента Г. Гувера «АРА», даже с условием американцев принять участие в распределении продуктов. Для него самым важным было желание спасти людей от голода. Но тогда это было стихийное бедствие и послевоенная разруха, зачем же сейчас, в мирное время и после всех перенесенных людьми сверхчеловеческих бед, надо было создавать условия для повального голода, который уже угрожающими гигантскими шагами надвигался на всю нашу страну. Это преступление, созданное правительством Сталина, которому не было и нет оправдания.

Кто, какие недруги, какие антисоветские советчики придумали и подсказали Сталину идею ***сплошной коллективизации,*** без передышки, в кратчайшие сроки, и эту страшную, жуткую борьбу с кулачеством и уничтожением кулачества как класса? Ведь в некоторых районах процент раскулаченных и лишенных избирательных прав доходил до умопомрачительных размеров. Неужели до всего этого додумался он сам?

Ведь в это время Сталину были посланы миллионы писем,

покрытых горькими слезами, а он вместо того, чтобы хоть как-то вникнуть в то, что происходит в стране, создавал и разбирал внутрипартийные склоки. Проводил бесконечные чистки членов партии, выбрасывал и изгонял из партии, даже с моей, почти детской точки зрения, самых умных, самых здравомыслящих людей за приписываемые им троцкистские, троцкистско-зиновьевские, зиновьевско-каменевские, левые, правые и разные прочие уклоны, за то, что у них хватило мужества не только видеть, но и понять, что происходило и что происходит вокруг, и высказать свое мнение. «… в 1929 году в результате чистки из партии было исключено 10 процентов ее состава — это были негодные, чуждые, разложившиеся элементы» — так было написано в «Истории Коммунистической партии Советского Союза». Так кто же принимал в партию эти 10 процентов, «негодные, чуждые, разложившиеся элементы», или что, они разложились, будучи уже в партии? Значит, надо наказывать «не детей, а их воспитателей».

Кроме партийных чисток шли суды над вредителями: «Шахтинский процесс», «Дело „Промпартии“», «Трудовая крестьянская партия», разоблачались заговоры. Людей отвлекали всевозможными способами, что вот, мол, с таким трудом завоеванная народом Советская власть может рухнуть, как только вернутся старые времена, когда у всех еще была глубокая вера и крепкая надежда, что жизнь при советской системе станет, и должна стать, лучше.

Но, к сожалению, в эти годы проводилась под идейным руководством Сталина самая большая, самая крупная ***антиленинская, антисоветская, антипартийная и антикоммунистическая*** акция, которую он проводил в жизнь вопреки всякому здравому смыслу. Так он восстановил весь народ против Советской власти, против советской системы и против Коммунистической партии в целом.

И это все происходило в то время и в тех условиях, когда вся мировая буржуазная пресса вела идеологическое наступление не только против коммунизма, а против всей советской системы с самого ее основания, а Сталин подливал им масла в огонь. А наш народ, несмотря ни на что, даже умирая от голода, творил чудеса. А если бы он был накормлен?!

Я с детства помню заветы Ленина, который для повышения материального и культурного уровня жизни всех трудящихся придавал электрификации такое же огромное, первоочередное значение, как и всеобщей грамотности, и считал, что для создания мощной технической базы необходимо мобилизовать все силы для индустриализации страны в области тяжелой

промышленности и покрыть всю страну густой сетью электрических станций.

Поэтому и начали строиться такие гиганты, как Днепрогэс, Сталинградский, Харьковский тракторные заводы, Туркестано-Сибирская железная дорога. Индустриализация проводилась не только в центральных районах, но и на окраинах, в отсталых национальных республиках: в Казахстане строился Риддерский комбинат цветной металлургии, Чимкентский свинцовый завод, в Ташкенте, в Ашхабаде — текстильные фабрики и многие другие предприятия. Индустриализация отсталых национальных районов имела огромное значение, она дала возможность в этих отсталых национальных республиках подготовить свои национальные кадры, квалифицированных рабочих дляпромышленности. Размах, энтузиазм и темпы строительства были потрясающие.

США, 1929 год. Великая депрессия

Великая депрессия в США наступила в 1929 году осенью, при президенте-республиканце Герберте Гувере. В течение нескольких недель рухнула вся экономика США. Произошла паника на бирже из-за падения котировок акций, обанкротились банки. Начали закрываться индустриальные гиганты, выбросив на улицу миллионы безработных, по существу, безработным стал каждый второй трудящийся. И даже наиболее состоятельные люди в одно мгновение превратились в нищих. Начались массовые самоубийства, люди выбрасывались из окон, целые семьи с детьми травили себя газом, все парки превратились в палаточные лагеря, голодные днями стояли в очереди за чашкой супа. В эти годы в США не существовало никакой, абсолютно никакой системы государственной социальной защиты.

Массовые протесты безработных привели к столкновению с полицией, были жертвы. Похороны этих жертв привели к вооруженным столкновениям, успокоить которые смогла только армия, многие утверждали, что эти беспорядки инспирируются коммунистами и анархистами.

Я помню, как мне рассказывал один американский полковник:

— Да если бы не пришел к власти Рузвельт и не настоял на создании «Нового курса» («Нью дилл»), здесь у нас произошла бы революция более страшная и более жестокая, чем в России.

Когда я сказала:

— Трудно поверить.

Он ответил:

— Да, трудно, потому что вы не видели, что здесь происходило. Только избрание в ноябре 1932 года Франка Делано Рузвельта и его законы в области социального обеспечения населения спасли нашу страну от катастрофы.

— Почему с этим не смог справиться Герберт Гувер и вся клика окружавшая его?

— Просто потому, что они думали и ставили свои личные интересы выше всего.

И мне очень странно было слышать, когда, сильно ругая Рузвельта, многие называли его «коммунистом».

Что же предпринял Рузвельт? Он стал первым законодателем социальной защиты населения в Америке. Он мобилизовал федеральное правительство, провел через конгресс законы в области социального обеспечения населения. Открыл дорогу для больших социальных преобразований — создал Гражданский

корпус по охране национальных ресурсов, отправил миллионы безработных на строительство дорог, грандиозных дамб, благоустроил и украсил города роскошными парками — как, например, Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке — и многие другие мероприятия. И все-таки, несмотря ни на что, страна вышла из этого тяжелого кризиса только во время Второй мировой войны, когда вдруг вся страна заработала в полную мощность на военную промышленность. И даже женщины начали работать, так как до этого применение женского труда не очень поощрялось.

И я еще раз решила и почти убедилась в том, что только сильное, разумное вмешательство правительства на высоком государственном уровне может спасти страну от таких тяжелых испытаний.

Иллюстрации

Эпизод Гражданской войны

1920-й год. Иван Федорович Саутенко (нижний ряд, второй справа),
в центре — чекист Лаубе (начальник Чрезвычайной комиссии)

Александр Иванович Саутенко
в годы службы в Красной Армии в 1931 г., 16 лет

Иван Федорович Саутенко в годы Гражданской войны

Родители (1930-е годы)

Нина, 16 лет

Комсомольские друзья, 1929 г.

Первая практика, 1931 г. Риддер, Казахстан

На практике в Казахстане, 1931 г.
В первом ряду госпожа Кент, жена английского инженера,
работающего в СССР по контракту

Дальний Восток, 1935 г., преддипломная практика

Александр Иванович Саутенко
с супругой Анной Мартыновной, 1938 г.

Нина, 1934 г.

Федя Михайлов, друг Нины, 1931 г.

Нина и Лида Горохова, самый молодой секретарь посольства

Сотрудники посольства в гостях на даче у Никифоровых, 1946 г.

Во дворе Советского посольства в Мексике, 1945 г.

У Никифоровых

С сотрудницами посольства и детьми Викторией и Володей.
Мексика, 1945 г.

Кирилл Михайлович Алексеев, 1944 г.,
прибытие в Мексику

Кирилл Михайлович Алексеев
по дороге в командировку, 1945 г.

Константин Александрович Уманский и его жена Рая Михайловна
накануне гибели в авиакатастрофе 25 февраля 1945 г.

Тихий океан, корабль «Балхаш», 28.05.1944 г. Володя Алексеев
и Надежда Васильевна Кушнарева

На мексиканских пирамидах с дочерью Викторией

Посольская школа, Мексика, 1945 г.

Мексика, Сочи-Милко. Семья Алексеевых, 1945 г.

С детьми Викторией и Володей.
Фотография для загранпаспорта в Мексику, 1944 г.

Сотрудники посольства на отдыхе, 1946 г. В парке Чапультапек

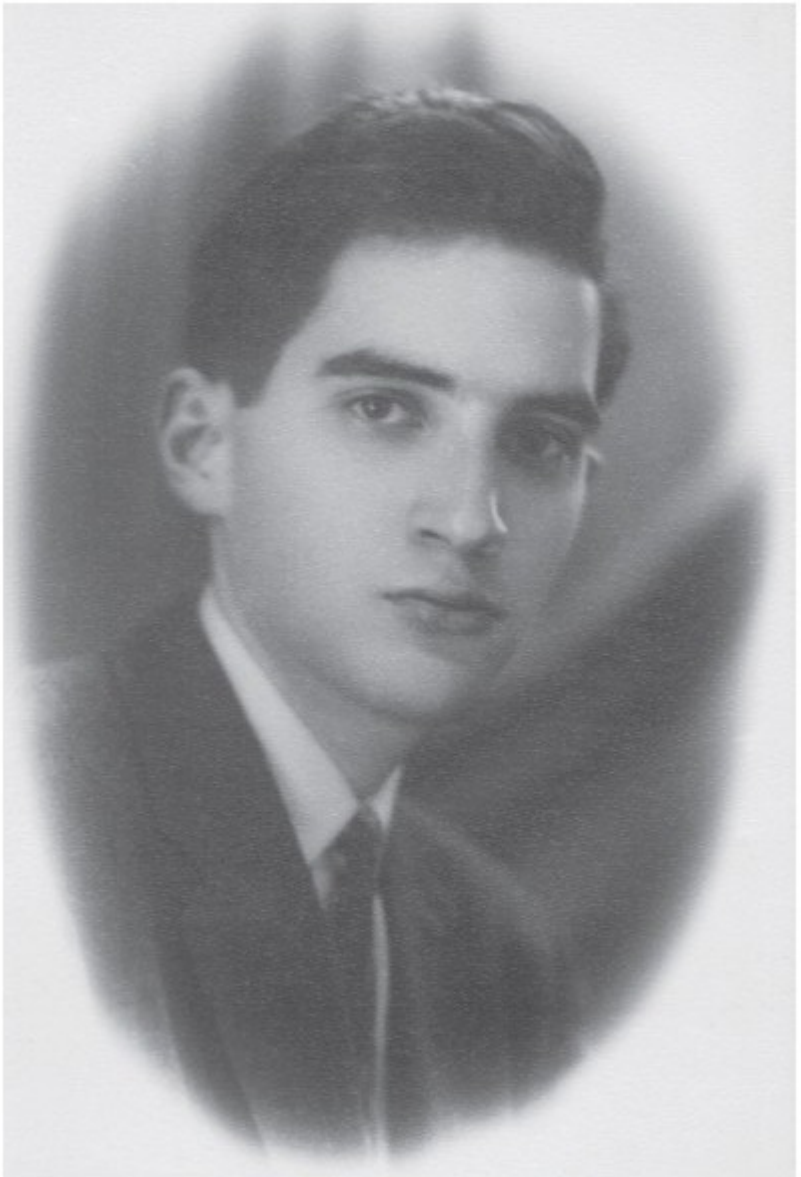
Александра Львовна Толстая, крестная мать Володи Алексеева,
1947 г. Нью-Йорк

Борис Иванович Николаевский (слева),
Кирилл Михайлович и Володя Алексеевы (справа). 1949 г. Нью-Йорк

Известный журналист Джин Лайнс (в центре)
со своей группой у Алексеевых на даче. 1950 г. Нью-Йорк

Жена и дочь Виктора Чернова — министра сельского хозяйства
при Временном правительстве. 1952 г. Нью-Йорк. Нина — справа

С детьми у Ниагарского водопада, 1958 г.



Володя Алексеев в Москве, 1958 г.

Глен-Ков США. Здесь Нина встретила земляка,
который был карателем у Деникина

Семья Алексеевых. Слева направо:
Кирилл Михайлович, Володя, Виктория и Нина Ивановна

Мира Гинзбург — переводчица Замятина и Булгакова, 1965 г.

Владимир Алексеев, Рокфеллер-центр. 1957 г. Нью-Йорк

Владимир Кириллович Алексеев на пресс-конференции

Владимир Кириллович Алексеев, главный редактор журнала «Спутник», в рабочем кабинете АПН, 1980-е гг.

Нина Ивановна Алексеева, Москва, 1980-е гг.

Владимир Алексеев, одна из последних фотографий

Кирилл Михайлович Алексеев, 1985—1986 гг.

Нина Ивановна Алексеева, Москва, осень 2008 г.

© Н. И. Алексеева, 2010
© Языки славянской культуры, 2010

notes

Примечания

1

Подробнее см. Исторические комментарии. Как возник город Мариуполь

2

Подробности см. Исторические комментарии. Беспорядки в стране.

3

Подробнее см. Исторические комментарии. Как рухнула монархия.

4

Подробности см. Исторические комментарии. Октябрьская революция.

5

Подробности см. Исторические комментарии. Белая армия. Борьба на Украине.

6

Подробности см. Исторические комментарии. Австро-Венгерская оккупация.

7

Подробности см. Исторические комментарии. В огненном кольце.

8

Подробности см. Исторические комментарии. Батька Махно.

9

Подробности см. Исторические комментарии. Разгром генерала Врангеля.

10

Подробности см. Исторические комментарии. Контрреволюционные группировки.

11

См. Исторические комментарии. Коллективизация.

12

Подробнее о Великой американской депрессии см. Исторические комментарии.

13

Синьор, пожалуйста, копейку, копеечку! *(Исп.)*

14

Спасибо, господин! Большое спасибо! *(Исп.)*

15

Русское посольство *(Исп.)*.

16

Нина, дочь Уманских, погибла.

17

Джордж Мессершмитт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Мексике

18

Ужасная история! *(Исп.)*

19

Помогите, помогите мне *(Исп.)*.

20

О генерале Алексееве см. Исторический комментарий.

21

Дедушка, можно нам спеть вместе с тобой, пожалуйста.

22

Пожалуйста, спойте песенку этим ребятишкам.

23

Он при смерти. Он умер.